И·А·ГОНЧАРОВ

ФРЕГАТ
«ПАЛЛАДА»

И·А·ГОНЧАРОВ • ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

И·А·ГОНЧАРОВ

ОЧЕРКИ ПУТЕШЕСТВИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Издание подготовила
Т. И. ОРНАТСКАЯ

Ответственный редактор
Д. В. ОЗНОБИШИН

ЛЕНИНГРАД
Издательство «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

РЕДКОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Н. И. Балашов, Г. П. Бердников, И. С. Брагинский, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), *Н. А. Жирмунская, Д. С. Лихачев* (председатель), *А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин* (ученый секретать), *Д. А. Ольдерогге, Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов* (заместитель председателя), *Г. В. Степанов, С. О. Шмидт*

Г $\frac{4702010000\text{-}570}{042(02)\text{-}86}$ **без объявления**

© Издательство «Наука», 1986г.

И. А. Гончаров

Гравюра И. П. Пожалостина по фотографии К. И. Бергамаско.
1873. ИРЛИ. Ленинград.

ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К 3-МУ, ОТДЕЛЬНОМУ, ИЗДАНИЮ «Ф Р Е Г А Т А „П А Л Л А ДА“»

Автор этой, вновь являющейся после долгого промежутка [1] книги не располагал более возобновлять ее издание, думая, что она отжила свою пору.

Но ему с разных сторон заявляют, что обыкновенный спрос на нее в публике не прекращается и что, сверх того, ее требуют воспитатели юношества и училищные библиотеки. Значит, эти путевые очерки приобрели себе друзей и в юных поколениях.

После этого автор не счел уже себя вправе уклоняться от повторения своей книги в печати.

Он относит постоянное внимание публики к его очеркам, прежде всего, к самому предмету их. Описания дальних стран, их жителей, роскоши тамошней природы, особенностей и случайностей путешествия и всего, что замечается и передается путешественниками — каким бы то ни было пером, — все это не теряет никогда своей занимательности для читателей всех возрастов.

Кроме того, история плавания самого корабля, этого маленького русского мира с четырьмястами обитателей, носившегося два года по океанам, своеобразная жизнь плавателей, черты морского быта — все это также само по себе способно привлекать и удерживать за собою симпатии читателей.

Таким образом, автор и с этой стороны считает себя обязанным не перу своему, а этим симпатиям публики к морю и морякам продолжительным успехом своих путевых очерков. Сам он был поставлен своим положением, можно сказать, в необходимость касаться моря и моряков. Связанный строгими условиями плавания военного судна, он покидал корабль ненадолго — и ему приходилось часто сосредоточиваться на том, что происходило вокруг, в его плавучем жилище, и мешать приобретаемые, под влиянием мимолетных впечатлений, наблюдения над чужой природой и людьми с явлениями вседневной жизни у себя «дома», то есть на корабле.

Из этого, конечно, не могло выйти ни какого-нибудь специального, ученого (на что у автора и претензии быть не могло), ни даже сколько-нибудь систематического описания путешествия с строго определенным содержанием. Вышло то, что мог дать автор: летучие наблюдения и заметки, сцены, пейзажи — словом, очерки.

Пересматривая ныне вновь этот дневник своих воспоминаний, автор чувствует сам, и охотно винится в том, что он часто говорит о себе, являясь везде, так сказать, неотлучным спутником читателя.

Утверждают, что присутствие живой личности вносит много жизни в описания путешествий: может быть, это правда, но автор, в настоящем случае, не может присвоить себе ни этой цели, ни этой заслуги. Он, без намерения и также по необходимости, вводит себя в описания, и избежать этого для него было трудно. Эпистолярная форма была принята им не как наиболее удобная для путевых очерков: письма действительно писались и посылались с разных пунктов к тем или другим друзьям, как это было условлено между ними и им. А друзья интересовались не только путешествием, но и судьбою самого путешественника и его положением в новом быту. Вот причина его неотлучного присутствия в описаниях.

По возвращении его в Россию письма, по совету же друзей, были собраны, приведены в порядок — и из них составились эти два тома, являющиеся в третий раз перед публикою под именем «Фрегат „Паллада“».

Если этот фрегат, вновь пересмотренный, по возможности исправленный и дополненный заключительною главою, напечатанною в литературном сборнике «Складчина» в 1874 году, [2] прослужит (как это бывает с настоящими морскими судами после так называемого «тимберования», то есть капитальных исправлений) еще новый срок, между прочим и в среде юношества, автор сочтет себя награжденным сверх всяких ожиданий.

В надежде на это он охотно уступил свое право на издание «Фрегата „Паллада“» И. И. Глазунову, представителю старейшего в России книгопродавческого дома, посвящающего, без малого столетие, [3] свою деятельность преимущественно изданию и распространению книг для юношества.

Издатель пожелал приложить к книге портрет автора: не имея причин противиться этому желанию, автор предоставил и это право его усмотрению тем охотнее, что исполнение этой работы принял на себя известный русский художник, [4] резец которого представил публике прекрасные образцы искусства, между прочим недавно портрет покойного поэта Некрасова. [5]

Январь,
1879.

ТОМ ПЕРВЫЙ

I

ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА

Сборы, прощание и отъезд в Кронштадт.— Фрегат «Паллада».— Море и моряки.— Кают-компания.— Финский залив.— Свежий ветер.— Морская болезнь.— Готланд.— Холера на фрегате.— Падение человека в море.— Зунд.— Каттегат и Скагеррак.— Немецкое море.— Доггерская банка и Галлоперский маяк.— Покинутое судно.— Рыбаки.— Британский канал и Спидгедский рейд.— Лондон.— Похороны Веллингтона.— Заметки об англичанах и англичанках.— Возвращение в Портсмут.— Житье на «Кемпердоуне».— Прогулка по Портсмуту, Саутси, Портси и Госпорту.— Ожидание попутного ветра на Спидгедском рейде.— Вечер накануне Рождества.— Силуэт англичанина и русского.— Отплытие.

Меня удивляет, как могли вы[1] не получить моего первого письма из Англии, от 2/14 ноября 1852 года, и второго из Гон-Конга, именно из мест, где об участи письма заботятся, как о судьбе новорожденного младенца. В Англии и ее колониях письмо есть заветный предмет, который проходит чрез тысячи рук, по железным и другим дорогам, по океанам, из полушария в полушарие, и находит неминуемо того, к кому послано, если только он жив, и так же неминуемо возвращается, откуда послано, если он умер или сам воротился туда же. Не затерялись ли письма на материке, в датских или прусских владениях? Но теперь поздно производить следствие о таких пустяках: лучше вновь написать, если только это нужно...

Вы спрашиваете подробностей моего знакомства с морем, с моряками, с берегами Дании и Швеции, с Англией? Вам хочется знать, как я вдруг, из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое лоно морей, как, избалованнейший из всех вас городскою жизнию, обычною суетой дня и мирным спокойствием ночи, я вдруг, в один день, в один час, должен был ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка? Бывало, не заснешь, если в комнату ворвется большая муха и с буйным жужжаньем носится, толкаясь в потолок и в окна, или заскребет мышонок в углу; бежишь от окна, если от него дует, бранишь дорогу, когда в ней есть ухабы, откажешься ехать на вечер в конец города, под предлогом «далеко ехать», боишься пропустить урочный час лечь спать;

жалуешься, если от супа пахнет дымом, или жаркое перегорело, или вода не блестит как хрусталь... И вдруг — на море! — «Да как вы там будете ходить — качает?» — спрашивали люди, которые находят, что если заказать карету не у такого-то каретника, так уж в ней качает. «Как ляжете спать, что будете есть? Как уживетесь с новыми людьми?» — сыпались вопросы, и на меня смотрели с болезненным любопытством, как на жертву, обреченную пытке. Из этого видно, что у всех, кто не бывал на море, были еще в памяти старые романы Купера или рассказы Марриета,[2] о море и моряках, о капитанах, которые чуть не сажали на цепь пассажиров, могли жечь и вешать подчиненных, о кораблекрушениях, землетрясениях. «Там вас капитан на самый верх посадит,— говорили мне друзья и знакомые (отчасти и вы, помните?),— есть не велит давать, на пустой берег высадит». «За что?» — спрашивал я. «Чуть не так сядете, не так пойдете, закурите сигару, где не велено».— «Я все буду делать, как делают там»,— кротко отвечал я. «Вот вы привыкли по ночам сидеть, а там, как солнце село, так затушат все огни,— говорили другие,— а шум, стукотня какая, запах, крик!» «Сопьетесь вы там с кругу! — пугали некоторые,— пресная вода там в редкость, всё больше ром пьют». «Ковшами, я сам видел, я был на корабле»,— прибавил кто-то. Одна старушка все грустно качала головой, глядя на меня, и упрашивала ехать «лучше сухим путем кругом света». Еще барыня, умная, милая, заплакала, когда я приехал с ней прощаться. Я изумился: я видался с нею всего раза три в год и мог бы не видаться три года, ровно столько, сколько нужно для кругосветного плавания, она бы не заметила. «О чем вы плачете?» — спросил я. «Мне жаль вас»,— сказала она, отирая слезы. «Жаль потому, что лишний человек все-таки развлечение?» — заметил я. «А вы много сделали для моего развлечения?» — сказала она. Я стал в тупик: о чем же она плачет? «Мне просто жаль, что вы едете бог знает куда». Меня зло взяло. Вот как смотрят у нас на завидную участь путешественника! «Я понял бы ваши слезы, если б это были слезы зависти,— сказал я,— если б вам было жаль, что на мою, а не на вашу долю выпадает быть там, где из нас почти никто не бывает, видеть чудеса, о которых здесь и мечтать трудно, что мне открывается вся великая книга, из которой едва кое-кому удается прочесть первую страницу...» Я говорил ей хорошим слогом. «Полноте,— сказала она печально,— я знаю все; но какою ценою достанется вам читать эту книгу? Подумайте, что ожидает вас, чего вы натерпитесь, сколько шансов не воротиться!.. Мне жаль вас, вашей участи, оттого я и плачу. Впрочем, вы не верите слезам,— прибавила она,— но я плачу не для вас: мне просто плачется».

Мысль ехать как хмель туманила голову, и я беспечно и шутливо отвечал на все предсказания и предостережения, пока еще событие было далеко. Я все мечтал — и давно мечтал — об этом вояже, может быть, с той минуты, когда учитель сказал мне,[3] что если ехать от какой-нибудь точки безостановочно, то воротишься к ней с другой стороны: мне захотелось поехать с правого берега Волги, на котором я родился,[4] и воротиться с левого; хотелось самому туда, где учитель указывает пальцем быть экватору, полюсам, тропикам. Но когда потом, от карты и от учительской

указки, я перешел к подвигам и приключениям Куков,[5] Ванкуверов,[6] я опечалился: что́ перед их подвигами Гомеровы герои, Аяксы,[7] Ахиллесы[8] и сам Геркулес[9]? Дети! Робкий ум мальчика, родившегося среди материка и не видавшего никогда моря, цепенел перед ужасами и бедами, которыми наполнен путь пловцов. Но с летами ужасы изглаживались из памяти, и в воображении жили, и пережили молодость, только картины тропических лесов, синего моря, золотого, радужного неба.

«Нет, не в Париж хочу,— помните, твердил я вам,— не в Лондон, даже не в Италию, как звучно вы о ней ни пели, поэт,*[10] — хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом превращает в камень все, чего коснется своим огнем; где человек, как праотец наш, рвет несеянный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето,— туда, в светлые чертоги божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться».

Все было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали: счастливцы ходили и возвращались с заманчивою, но глухою повестью о чудесах, с детским толкованием тайн мира. Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. Он пошел туда с компасом, заступом, циркулем и кистью, с сердцем, полным веры к творцу и любви к его мирозданию. Он внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов и силою светлого разумения указал путь тысячам за собою. «Космос!» Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть живыми глазами на живой космос.[11] «Подал бы я,— думалось мне,— доверчиво мудрецу руку, как дитя взрослому, стал бы внимательно слушать, и, если понял бы настолько, насколько ребенок понимает толкования дядьки, я был бы богат и этим скудным разумением». Но и эта мечта улеглась в воображении вслед многим другим. Дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями: дни, хотя порознь разнообразные, сливались в одну утомительно-однообразную массу годов. Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле, и та же зевота в шумном собрании и в приятельской беседе!

И вдруг неожиданно суждено было воскресить мечты, расшевелить воспоминания, вспомнить давно забытых мною кругосветных героев.[12] Вдруг и я вслед за ними иду вокруг света! Я радостно содрогнулся при мысли: я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь, посмотрю на эти чудеса — и жизнь моя не будет праздным отражением мелких, надоевших явлений. Я обновился; все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей, скорей в путь!

Странное, однако, чувство одолело меня, когда решено было, что я еду: тогда только сознание о громадности предприятия заговорило полно и отчетливо. Радужные мечты побледнели надолго; подвиг подавлял воображение, силы ослабевали, нервы падали по мере того, как наступал час отъезда. Я начал завидовать участи остающихся, радовался, когда

* А. Н. Майков.

являлось препятствие, и сам раздувал затруднения, искал предлогов остаться. Но судьба, по большей части мешающая нашим намерениям, тут как будто задала себе задачу помогать. И люди тоже, даже незнакомые, в другое время недоступные, хуже судьбы, как будто сговорились уладить дело. Я был жертвой внутренней борьбы, волнений, почти изнемогал. «Куда это? Что я затеял?» И на лицах других мне страшно было читать эти вопросы. Участие пугало меня. Я с тоской смотрел, как пустела моя квартира, как из нее понесли мебель, письменный стол, покойное кресло, диван. Покинуть все это, променять на что?

Жизнь моя как-то раздвоилась, или как будто мне дали вдруг две жизни, отвели квартиру в двух мирах. В одном я — скромный чиновник,[13] в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах, с несколькими десятками похожих друг на друга лиц, вицмундиров. В другом я — новый аргонавт, в соломенной шляпе, в белой льняной куртке, может быть с табачной жвачкой во рту, стремящийся по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду,[14] меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Там я редактор докладов, отношений и предписаний; здесь — певец, хотя ex officio,* похода. Как пережить эту другую жизнь, сделаться гражданином другого мира? Как заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергиею мореходца, изнеженность горожанина — загрубелостью матроса? Мне не дано ни других костей, ни новых нерв. А тут вдруг, от прогулок в Петергоф[15] и Парголово,[16] шагнуть к экватору, оттуда к пределам Южного полюса, от Южного к Северному, переплыть четыре океана, окружить пять материков и мечтать воротиться... Действительность, как туча, приближалась все грозней и грозней; душу посещал и мелочный страх, когда я углублялся в подробный анализ предстоящего вояжа. Морская болезнь, перемены климата, тропический зной, злокачественные лихорадки, звери, дикари, бури — все приходило на ум, особенно бури. Хотя я и беспечно отвечал на все, частию трогательные, частию смешные, предостережения друзей, но страх нередко и днем и ночью рисовал мне призраки бед. То представлялась скала, у подножия которой лежит наше разбитое судно, и утопающие напрасно хватаются усталыми руками за гладкие камни; то снилось, что я на пустом острове, выброшенный с обломком корабля, умираю с голода... Я просыпался с трепетом, с каплями пота на лбу. Ведь корабль, как он ни прочен, как ни приспособлен к морю, что он такое? — щепка, корзинка, эпиграмма на человеческую силу. Я боялся, выдержит ли непривычный организм массу суровых обстоятельств, этот крутой поворот от мирной жизни к постоянному бою с новыми и резкими явлениями бродячего быта? Да, наконец, хватит ли души вместить вдруг неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь это дерзость почти титаническая! Где взять силы, чтоб воспринять массу великих впечатлений? И когда ворвутся в душу эти великолепные гости, не смутится ли сам хозяин среди своего пира?

Я справлялся, как мог, с сомнениями: одни удалось победить, другие

* по должности (*лат.*),— *Ред.*

Фрегат «Паллада». Макет. ЦВММ. Ленинград.

оставались нерешенными до тех пор, пока дойдет до них очередь, и я мало-помалу ободрился. Я вспомнил, что путь этот уже не Магелланов путь,[17] что с загадками и страхами справились люди. Не величавый образ Колумба[18] и Васко де Гама[19] гадательно смотрит с палубы вдаль, в неизвестное будущее: английский лоцман, в синей куртке, в кожаных панталонах, с красным лицом, да русский штурман, с знаком отличия беспорочной службы, указывают пальцем путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит «в безбрежную даль» океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии? «Гостиницы отличные,— отвечают ему,— на Сандвичевых островах найдете все: немецкую колонию, французские отели, английский портер — все, кроме диких». В Австралии есть кареты и коляски, китайцы начали носить ирландское полотно; в Ост-Индии говорят все по-английски; американские дикари из леса порываются в Париж и в Лондон, просятся в университет; в Африке черные начинают стыдиться своего цвета лица и понемногу привыкают носить белые перчатки. Лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольца удава или в когти тигра и льва. Китай долго крепился, но и этот сундук, с старою рухлядью, вскрылся — крышка слетела с петель, подорванная порохом. Европеец роется в ветоши, достает, что придется ему впору, обновляет, хозяйничает... Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства. И теперь воды морской нет, ее делают пресною, за пять тысяч верст от берега

является блюдо свежей зелени и дичи; под экватором можно поесть русской капусты и щей. Части света быстро сближаются между собою: из Европы в Америку — рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов[20] — пуф,[21] шутка, конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания.

Скорей же, скорей в путь! Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов: на нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью.

Казалось, все страхи, как мечты, улеглись: вперед манил простор и ряд неиспытанных наслаждений. Грудь дышала свободно, навстречу веяло уже югом, манили голубые небеса и воды. Но вдруг за этою перспективой возникало опять грозное привидение и росло по мере того, как я вдавался в путь. Это привидение была мысль: какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, перед обществом, которое следит за плавателями? Экспедиция в Японию — не иголка: ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить и в Италию, без ведома публики, тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какою физиономией явиться в общество?

Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики,[22] и писатель свободен пробираться в недра гор, или опускаться в глубину океанов, с ученою пытливостью, или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом, на бумагу, их образы; описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры,— словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику. Говорить ли о теории ветров, о направлении и курсах корабля, о широтах и долготах или докладывать, что такая-то страна была когда-то под водою, а вот это дно было наруже; этот остров произошел от огня, а тот — от сырости; начало этой страны относится к такому времени, народ произошел оттуда, и при этом старательно выписать из ученых авторитетов, откуда, что и как. Но вы спрашиваете чего-нибудь позанимательнее. Все, что я говорю, очень важно; путешественнику стыдно заниматься будничным делом: он должен посвящать себя преимущественно тому, чего уж нет давно, или тому, что, может быть, было, а может быть, и нет. «Отошлите это в ученое общество, в академию,— говорите вы,— а беседуя с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес, поэзии, огня, жизни и красок!»

Чудес, поэзии! Я сказал, что их нет, этих чудес: путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса. Все подходит под какой-то прозаический уровень. Колонисты не мучат невольников, покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками; в пустынях учреждаются станции, отели; через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь ряд португальцев и англичан — на Мадере и островах

Зеленого Мыса; голландцев, негров, готтентотов и опять англичан — на мысе Доброй Надежды; малайцев, индусов и... англичан — в Малайском архипелаге и Китае. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве, есть прямо с дерева гуавы, мангу и ананасы, не из теплиц, тощие и сухие, а сочные, с римский огурец[23] величиною? Что удивительного теряться в кокосовых неизмеримых лесах, путаться ногами в ползучих лианах, между высоких, как башни, деревьев, встречаться с этими цветными странными нашими братьями? А море? И оно обыкновенно во всех своих видах, бурное или неподвижное, и небо тоже, полуденное, вечернее, ночное, с разбросанными, как песок, звездами. Все так обыкновенно, все это так должно быть. Напротив, я уехал от чудес: в тропиках их нет. Там все одинаково, все просто. Два времени года, и то это так говорится, а в самом деле ни одного: зимой жарко, а летом знойно; а у вас там, на «дальнем севере»,[24] четыре сезона, и то это положено по календарю, а в самом-то деле их семь или восемь. Сверх положенных, там в апреле является нежданное лето, морит духотой, а в июне непрошенная зима порошит иногда снегом, потом вдруг наступит зной, какому позавидуют тропики, и все цветет и благоухает тогда на пять минут под этими страшными лучами. Раза три в год Финский залив и покрывающее его серое небо нарядятся в голубой цвет и млеют, любуясь друг другом, и северный человек, едучи из Петербурга в Петергоф, не насмотрится на редкое «чудо», ликует в непривычном зное, и все заликует: дерево, цветок и животное. В тропиках, напротив, страна вечного зефира,[25] вечного зноя, покоя и синевы небес и моря. Все однообразно!

И поэзия изменила свою священную красоту. Ваши музы, любезные поэты,* законные дочери парнасских Камен,[26] не подали бы вам услужливой лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ! Не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Они всюду, и я видел его в Англии — на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Все изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах. Я писал вам, как мы, гонимые бурным ветром, дрожа от северного холода, пробежали мимо берегов Европы, как в первый раз пал на нас у подошвы гор Мадеры ласковый луч солнца и, после угрюмого, серо-свинцового неба и такого же моря, заплескали голубые волны, засияли синие небеса, как мы жадно бросились к берегу погреться горячим дыханием земли, как упивались за версту повеявшим с берега благоуханием цветов. Радостно вскочили мы на цветущий берег, под олеандры. Я сделал шаг и остановился в недоумении, в огорчении: как, и под этим небом, среди ярко блещущих красок моря и зелени... стояли три знакомые

---

* В. Г. Бенедиктов и А. Н. Майков.

образа, в черном платье, в круглых шляпах! Они, опираясь на зонтики, повелительно смотрели своими синими глазами на море, на корабли и на воздымавшуюся над их головами и поросшую виноградниками гору. Я шел по горе; под портиками, между фестонами виноградной зелени, мелькал тот же образ; холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали вдаль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден был на палубе кораблей, насвистывающий сквозь зубы: «Rule, Britannia, upon the sea».*[27] Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!

Но довольно делать pas de géants:** будем путешествовать умеренно, шаг за шагом. Я уже успел побывать с вами в пальмовых лесах, на раздолье океанов, не выехав из Кронштадта. Оно и нелегко: если, сбираясь куда-нибудь на богомолье, в Киев,[28] или из деревни в Москву, путешественник не оберется суматохи, по десяти раз кидается в объятия родных и друзей, закусывает, присаживается и т. п., то сделайте посылку, сколько понадобится времени, чтобы тронуться четыремстам человек[29] — в Японию. Три раза ездил я в Кронштадт, и все что-нибудь было еще не готово. Отъезд откладывался на сутки, и я возвращался еще провести день там, где провел лет семнадцать[30] и где наскучило жить. «Увижу ли я опять эти главы и кресты?» — прощался я мысленно, отваливая в четвертый и последний раз от Английской набережной.[31]

Наконец 7 октября фрегат «Паллада» снялся с якоря.[32] С этим началась для меня жизнь, в которой каждое движение, каждый шаг, каждое впечатление были не похожи ни на какие прежние.

Вскоре все стройно засуетилось на фрегате, до тех пор неподвижном. Все четыреста человек экипажа столпились на палубе, раздались командные слова, многие матросы поползли вверх по вантам, как мухи облепили реи, и судно окрылилось парусами. Но ветер был не совсем попутный, и потому нас потащил по заливу сильный пароход и на рассвете воротился, а мы стали бороться с поднявшимся бурным или, как моряки говорят, «свежим» ветром. Началась сильная качка. Но эта первая буря мало подействовала на меня: не бывши никогда на море, я думал, что это так должно быть, что иначе не бывает, то есть что корабль всегда раскачивается на обе стороны, палуба вырывается из-под ног и море как будто опрокидывается на голову.

Я сидел в кают-компании, прислушиваясь в недоумении к свисту ветра между снастей и к ударам волн в бока судна. Наверху было холодно; косой мерзлый дождь хлестал в лицо. Офицеры беззаботно разговаривали между

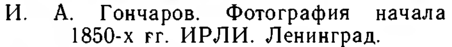
---

* «Правь, Британия, морями» (*англ.*),— *Ред.*

** гигантские скачки (*франц.*),—*Ред.*

И. А. Гончаров среди офицеров фрегата «Паллада». Местонахождение дагерротипа неизвестно. Воспроизведено по журналу «Солнце России», 1911, № 47.

собой, как в комнате, на берегу; иные читали. Вдруг раздался пронзительный свист, но не ветра, а боцманских свистков, и вслед за тем разнесся по всем палубам крик десяти голосов: «Пошел все наверх!» Мгновенно все народонаселение фрегата бросилось снизу вверх; отсталых матросов побуждали боцмана. Офицеры бросили книги, карты (географические: других там нет), разговоры и стремительно побежали туда же. Непривычному человеку покажется, что случилось какое-нибудь бедствие, как будто что-нибудь сломалось, оборвалось и корабль сейчас пойдет на дно. «Зачем это зовут всех наверх?» — спросил я бежавшего мимо меня мичмана. «Свистят всех наверх, когда есть авральная работа»,— сказал он второпях и исчез. Цепляясь за трапы и веревки, я выбрался на палубу и стал в уголок. Все суетилось. «Что это такое — авральная работа?» — спросил я другого офицера. «Это когда свистят всех наверх», — отвечал он и занялся — авральною работою. Я старался составить себе идею о том, что это за работа, глядя, что делают, но ничего не уразумел: делали все то же, что вчера, что, вероятно, будут делать завтра: тянут снасти, поворачивают реи, подбирают паруса. Офицеры объяснили мне сущую истину, мне бы следовало так и понять просто, как оно было сказано — и вся тайна была тут. Авральная работа значит — общая работа, когда одной вахты мало, нужны все руки, оттого всех и «свистят наверх»! По-английски, если не ошибаюсь, и командуют «все руки вверх!» (all hands up!).Через пять минут, сделав что нужно, все разошлись по своим местам. Барон Криднер[33] в трех шагах от меня насвистывал под шум бури мотив из оперы. Напрасно я силился подойти к нему; ноги не повиновались, и он смеялся моим усилиям. «Морских ног нет еще у вас»,— сказал он. «А скоро будут?» — спросил я. «Месяца через два, вероятно». Я вздохнул:

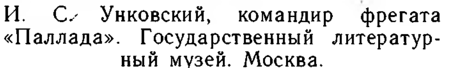


И. А. Гончаров. Фотография начала 1850-х гг. ИРЛИ. Ленинград.

Адмирал Е. В. Путятин. Литография. ЦВММ. Ленинград.

только это и оставалось мне сделать при мысли, что я еще два месяца буду ходить, как ребенок, держась за юбку няньки. Вскоре обнаружилась морская болезнь у молодых и подверженных ей или не бывших давно в походе моряков. Я ждал, когда начну и я отдавать эту скучную дань морю, а ждал непременно. Между тем наблюдал за другими: вот молодой человек, гардемарин, бледнеет, опускается на стул; глаза у него тускнеют, голова клонится на сторону. Вот сменили часового, и он, отдав ружье, бежит опрометью на бак. Офицер хотел что-то закричать матросам, но вдруг отвернулся лицом к морю и оперся на борт... «Что это, вас, кажется, *травит?*» — говорит ему другой. (*Травить, вытравливать* — значит выпускать понемногу канат.) Едва успеваешь отскакивать то от того, то от другого... «Выпейте водки», — говорят мне одни. «Нет, лучше лимонного соку»,— советуют другие; третьи предлагают луку и редьки. Я не знал на что решиться, чтобы предупредить болезнь, и закурил сигару. Болезнь все не приходила, и я тревожно похаживал между больными, ожидая — вот-вот начнется. «Вы курите в качку сигару и ожидаете после этого, что вас укачает: напрасно!» — сказал мне один из спутников. И в самом деле напрасно: во все время плавания я ни разу не почувствовал ни малейшей дурноты и возбуждал зависть даже в моряках.

Я с первого шага на корабль стал осматриваться. И теперь еще, при конце плавания, я помню то тяжелое впечатление, от которого сжалось сердце, когда я в первый раз вглядывался в принадлежности судна, заглянул в трюм, в темные закоулки, как мышиные норки, куда едва доходит



И. С. Унковский, командир фрегата «Паллада». Государственный литературный музей. Москва.

К. Н. Посьет, капитан-лейтенант на «Палладе». ЦВММ. Ленинград.

бледный луч света чрез толстое в ладонь стекло. С первого раза невыгодно действует на воображение все, что потом привычному глазу кажется удобством: недостаток света, простора, люки, куда люди как будто проваливаются, пригвожденные к стенам комоды и диваны, привязанные к полу столы и стулья, тяжелые орудия, ядра и картечи, правильными кучами на кранцах, как на подносах, расставленные у орудий: груды снастей, висящих, лежащих, двигающихся и неподвижных, койки вместо постелей, отсутствие всего лишнего; порядок и стройность вместо красивого беспорядка и некрасивой распущенности как в людях, так и в убранстве этого плавучего жилища. Робко ходит в первый раз человек на корабле: каюта ему кажется гробом, а между тем едва ли он безопаснее в многолюдном городе, на шумной улице, чем на крепком парусном судне, в океане. Но к этой истине я пришел не скоро.

Нам, русским, делают упрек в лени, и недаром. Сознаемся сами, без помощи иностранцев, что мы тяжелы на подъем. Можно ли поверить, что в Петербурге есть множество людей, тамошних уроженцев, которые никогда не бывали в Кронштадте оттого, что туда надо ехать морем, именно оттого, зачем бы стоило съездить за тысячу верст, чтобы только испытать этот способ путешествия? Моряки особенно жаловались мне на недостаток любознательности в нашей публике ко всему, что касается моря и флота, и приводили в пример англичан, которые толпами, с женами и детьми, являются на всякий корабль, приходящий в порт.

Первая часть упрека совершенно основательна, то есть в недостатке любопытства; что касается до второй, то англичане нам не пример. У англичан море — их почва: им не по чем ходить больше. Оттого в английском обществе есть множество женщин, которые бывали во всех пяти частях света. Некоторые постоянно живут в Индии и приезжают видеться с родными в Лондон, как у нас из Тамбова в Москву. Следует ли от этого упрекать наших женщин, что они не бывают в Китае, на мысе Доброй Надежды, в Австралии, или англичанок за то, что они не бывают на Камчатке, на Кавказе, в глубине азиатских степей?

Но не знать петербургскому жителю, что такое палуба, мачта, реи, трюм, трап, где корма, где нос, главные части и принадлежности корабля,— не совсем позволительно, когда под боком стоит флот. Многие оправдываются тем, что они не имеют между моряками знакомых и оттого затрудняются сделать визит на корабль, не зная, как «моряки примут». А примут отлично, как хорошие знакомые; даже самолюбию их будет приятно участие к их делу, и они познакомят вас с ним с радушием и самою изысканною любезностью. Поезжайте летом на кронштадтский рейд, на любой военный корабль, адресуйтесь к командиру, или старшему, или, наконец, к вахтенному (караульному) офицеру с просьбой осмотреть корабль, и если нет «авральной» работы на корабле, то я вам ручаюсь за самый приятный прием.

Приехав на фрегат, еще с багажом, я не знал, куда ступить, и в незнакомой толпе остался совершенным сиротой. Я с недоумением глядел вокруг себя и на свои сложенные в кучу вещи. Не прошло минуты, ко мне подошли три офицера: барон Шлипенбах, мичманы Болтин и Колокольцев — мои будущие спутники и отличные приятели. С ними подошла куча матросов. Они разом схватили все, что было со мной, чуть не меня самого, и понесли в назначенную мне каюту. Пока барон Шлипенбах водворял меня в ней, Болтин привел молодого коренастого гладко остриженного матроса. «Вот этот матрос вам назначен в вестовые»,— сказал он. Это был Фаддеев, с которым я уже давно познакомил вас.[34] «Честь имею явиться»,— сказал он, вытянувшись и оборотившись ко мне не лицом, а грудью: лицо у него всегда было обращено несколько стороной к предмету, на который он смотрел. Русые волосы, белые глаза, белое лицо, тонкие губы — все это напоминало скорее Финляндию, нежели Кострому, его родину. С этой минуты мы уже с ним неразлучны до сих пор. Я изучил его недели в три окончательно, то есть пока шли до Англии; он меня, я думаю, в три дня. Сметливость и «себе на уме» были не последними его достоинствами, которые прикрывались у него наружною неуклюжестью костромитянина и субординациею матроса. «Помоги моему человеку установить вещи в каюте»,— отдал я ему первое приказание. И то, что моему слуге стало бы на два утра работы, Фаддеев сделал в три приема — не спрашивайте как. Такой ловкости и цепкости, какою обладает матрос вообще, а Фаддеев в особенности, встретишь разве в кошке. Через полчаса все было на своем месте, между прочим и книги, которые он расположил на комоде в углу полукружием и перевязал, на случай качки, веревками так, что нельзя было вынуть ни одной без его же

чудовищной силы и ловкости, и я до Англии пользовался книгами из чужих библиотек.

«Вы, верно, не обедали,— сказал Болтин,— а мы уже кончили свой обед: не угодно ли закусить?» Он привел меня в кают-компанию, просторную комнату внизу, на кубрике, без окон, но с люком наверху, чрез который падает обильный свет. Кругом помещались маленькие каюты офицеров, а посредине насквозь проходила бизань-мачта, замаскированная круглым диваном. В кают-компании стоял длинный стол, какие бывают в классах, со скамьями. На нем офицеры обедают и занимаются. Была еще кушетка и больше ничего. Как ни массивен этот стол, но, при сильной качке, и его бросало из стороны в сторону, и чуть было однажды не задавило нашего миньятюрного доброго услужливого распорядителя офицерского стола П. А. Тихменева. В офицерских каютах было только место для постели, для комода, который в то же время служил и столом, и для стула. Но зато все пригнано к помещению всякой всячины как нельзя лучше. Платье висело на перегородке, белье лежало в ящиках, устроенных в постели, книги стояли на полках.

Офицеров никого не было в кают-компании: все были наверху, вероятно «на авральной работе». Подали холодную закуску. А. А. Болтин угощал меня. «Извините, горячего у нас ничего нет,— сказал он,— все огни потушены. Порох принимаем». «Порох? А много его здесь?» — осведомился я с большим участием. «Пудов пятьсот приняли: остается еще принять пудов триста». — «А где он у вас лежит?» — еще с большим участием спросил я. «Да вот здесь,— сказал он, указывая на пол,— под вами». Я немного приостановился жевать при мысли, что подо мной уже лежит пятьсот пудов пороху и что в эту минуту вся «авральная работа» сосредоточена на том, чтобы подложить туда еще пудов триста. «Это хорошо, что огни потушены»,— похвалил я за предусмотрительность. «Помилуйте, что за хорошо: курить нельзя»,— сказал другой, входя в каюту. «Вот какое различие бывает во взглядах на один и тот же предмет!» — подумал я в ту минуту, а через месяц, когда, во время починки фрегата в Портсмуте, сдавали порох на сбережение в английское адмиралтейство, ужасно роптал, что огня не дают и что покурить нельзя.

К вечеру собрались все: камбуз (печь) запылал; подали чай, ужин — и задымились сигары. Я перезнакомился со всеми и вот с тех пор до сей минуты — как дома. Я думал, судя по прежним слухам, что слово «чай» у моряков есть только аллегория, под которою надо разуметь пунш, и ожидал, что когда офицеры соберутся к столу, то начнется авральная работа за пуншем, загорится живой разговор, а с ним и носы, потом кончится дело объяснениями в дружбе, даже объятиями, словом, исполнится вся программа оргии. Я уже придумал, как мне отделаться от участия в ней. Но, к удивлению и удовольствию моему, на длинном столе стоял всего один графин хереса, из которого человека два выпили по рюмке, другие и не заметили его. После, когда предложено было вовсе не подавать вина за ужином, все единодушно согласились. Решили: излишек в экономии от вина приложить к сумме, определенной на библиотеку. О ней был длинный разговор за ужином, «а об водке ни полслова!».[35]

Кронштадтский рейд. Картина И. К. Айвазовского. ЦВММ. Ленинград.

Не то рассказывал мне один старый моряк о прежних временах! «Бывало, сменишься с вахты иззябший и перемокший — да как хватишь стаканов шесть пунша!..» — говорил он. Фаддеев устроил мне койку, и я, несмотря на октябрь, на дождь, на лежавшие под ногами восемьсот пудов пороха, заснул, как редко спал на берегу, утомленный хлопотами переезда, убаюканный свежестью воздуха и новыми, не неприятными впечатлениями. Утром я только что проснулся, как увидел в каюте своего городского слугу, который не успел с вечера отправиться на берег и ночевал с матросами. «Барин! — сказал он встревоженным и умоляющим голосом,— не ездите, Христа ради, по морю!» «Куда?» — «А куда едете: на край света».— «Как же ехать?» — «Матросы сказывали, что сухим путем можно».— «Отчего ж не по морю?» — «Ах, господи! какие страсти рассказывают. Говорят, вон с этого бревна, что наверху поперек висит...» — «С рея,— поправил я.— Что ж случилось?» «В бурю ветром пятнадцать человек в море снесло; насилу вытащили, а один утонул. Не ездите, Христа ради!» Вслушавшись в наш разговор, Фаддеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где «крутит», и когда корабль в этакую «кручу» попадает, так сейчас вверх килем перевернется. «Как же быть-то,— спросил я,— и где такие места есть?» «Где такие места есть? — повторил он,— штурмана знают, туда не ходят».

Итак, мы снялись с якоря. Море бурно и желто, облака серые, непроницаемые; дождь и снег шли попеременно — вот что провожало нас из отечества. Ванты и снасти леденели. Матросы в байковых пальто жались в кучу. Фрегат, со скрипом и стоном, переваливался с волны на волну; берег, в виду которого шли мы, зарылся в туманах. Вахтенный офицер, в кожаном пальто и клеенчатой фуражке, зорко глядел вокруг, стараясь не выставлять наружу ничего, кроме усов, которым предоставлялась полная свобода мерзнуть и мокнуть. Больше всех заботы было *деду*.[36]

Я в предыдущих письмах познакомил вас с ним и почти со всеми моими спутниками. Не стану возвращаться к их характеристике, а буду упоминать о каждом кстати, когда придет очередь. Деду, как старшему штурманскому капитану, предстояло наблюдать за курсом корабля. Финский залив весь усеян мелями, но он превосходно обставлен маяками, и в ясную погоду в нем так же безопасно, как на Невском проспекте. А теперь, в туман, дед, как ни напрягал зрение, не мог видеть Нервинского маяка. Беспокойству его не было конца. У него только и было разговору, что о маяке. «Как же так,— говорил он всякому, кому и дела не было до маяка, между прочим и мне,— по расчету уж с полчаса мы должны видеть его. Он тут, непременно тут, вот против этой ванты,— ворчал он, указывая коротеньким пальцем в туман,— да каторжный туман мешает. Ах ты, господи! поди-ка, посмотри ты, не увидишь ли?» — говорил он кому-нибудь из матросов. «А это что такое там, как будто стрелка?..» — сказал я. «Где? Где?» — живо спросил он. «Да вон, кажется...» — говорил я, указывая вдаль. «Ах, в самом деле — вон, вон, да, да! Виден, виден!» — торжественно говорил он и капитану, и старшему офицеру, и вахтенному и бегал то к карте в каюту, то опять наверх. «Виден, вот, вот он, весь виден!» — твердил он, радуясь, как будто увидел родного отца. И пошел мерять и высчитывать узлы.

Мы прошли Готланд. Тут я услышал морское поверье, что, поравнявшись с этим островом, суда бросали, бывало, медную монету духу, охраняющему остров, чтобы он пропустил мимо без бурь. Готланд — камень с крутыми ровными боками, к которым нет никакого приступа кораблям. Не раз они делались добычей бурного духа, и свирепое море высоко подбрасывало обломки их, а иногда и трупы, на крутые бока негостеприимного острова. Прошли и Борнгольм — помните: «милый Борнгольм» и таинственную, недосказанную легенду Карамзина?[37] Все было холодно, мрачно. На фрегате открылась холера, и мы, дойдя только до Дании, похоронили троих людей, да один смелый матрос сорвался в бурную погоду в море и утонул. Таково было наше обручение с морем, и предсказание моего слуги отчасти сбылось. Подать упавшему помощь, не жертвуя другими людьми, по причине сильного волнения, было невозможно.

Но дни шли своим чередом, и жизнь на корабле тоже. Отправляли службу, обедали, ужинали — всё по свистку, и даже по свистку веселились. Обед — это тоже своего рода авральная работа. В батарейной палубе привешиваются большие чашки, называемые «баками», куда накладывается кушанье из одного общего, или «братского» котла. Дают одно блюдо: щи с солониной, с рыбой, с говядиной или кашицу; на ужин то же, иногда кашу. Я подошел однажды попробовать. «Хлеб да соль»,— сказал я. Один из матросов, из учтивости, чисто облизал свою деревянную ложку и подал мне. Щи превкусные, с сильною приправой луку. Конечно, нужно иметь матросский желудок, то есть нужен моцион матроса, чтобы переварить эти куски солонины и лук с вареною капустой — любимое матросами и полезное на море блюдо. «Но одно блюдо за обедом — этого мало,— думалось мне,— матросы, пожалуй, голодны будут». «А много ли вы едите?» — спросил я. «До отвалу, ваше высокоблагородие»,—

в пять голосов отвечали обедающие. В самом деле, то от одной, то от другой группы опрометью бежал матрос, с пустой чашкой, к братскому котлу, и возвращался осторожно, неся полную до краев чашку.

Веселились по свистку, сказал я; да, там, где собрано в тесную кучу четыреста человек, и самое веселье подчинено общему порядку. После обеда, по окончании работ, особенно в воскресенье, обыкновенно раздается команда: «Свистать песенников наверх!» И начинается веселье. Особенно я помню, как это странно поразило меня в одно воскресенье. Холодный туман покрывал небо и море, шел мелкий дождь. В такую погоду хочется уйти в себя, сосредоточиться, а матросы пели и плясали. Но они странно плясали: усиленные движения ясно разногласили с этою сосредоточенностью. Пляшущие были молчаливы, выражения лиц хранили важность, даже угрюмость, но тем, кажется, они усерднее работали ногами. Зрители вокруг, с тою же угрюмою важностью, пристально смотрели на них. Пляска имела вид напряженного труда. Плясали, кажется, лишь по сознанию, что сегодня праздник, следовательно, надо веселиться. Но если б отменили удовольствие, они были бы недовольны.

Плавание становилось однообразно и, признаюсь, скучновато: все серое небо да желтое море, дождь со снегом или снег с дождем — хоть кому надоест. У меня уж заболели зубы и висок. Ревматизм напомнил о себе живее, нежели когда-нибудь. Я слег и несколько дней пролежал, закутанный в теплые одеяла, с подвязанною щекой.

Только у берегов Дании повеяло на нас теплом, и мы ожили. Холера исчезла со всеми признаками, ревматизм мой унялся, и я стал выходить на *улицу* — так я прозвал палубу. Но бури не покидали нас: таков обычай на Балтийском море осенью. Пройдет день, два — тихо, как будто ветер собирается с силами, и грянет потом так, что бедное судно стонет, как живое существо. День и ночь на корабле бдительно следят за состоянием погоды. Барометр делается общим оракулом. Матрос и офицер не смеют надеяться проспать покойно свою смену. «Пошел все наверх!» — раздается и среди ночного безмолвия. Я, лежа у себя в койке, слышу всякий стук, крик, всякое движение парусов, командные слова и начинаю понимать смысл последних. Когда заслышишь приказание: «Поставить брамсели, лиселя», покойно закутываешься в одеяло и засыпаешь беззаботно: значит, тихо, покойно. Зато как навостришь уши, когда велят «брать два, три рифа», то есть уменьшить парус. Лучше и не засыпать тогда: все равно после проснешься поневоле.

Заговорив о парусах, кстати скажу вам, какое впечатление сделала на меня парусная система. Многие наслаждаются этою системой, видя в ней доказательство будто бы могущества человека над бурною стихией. Я вижу совсем противное, то есть доказательство его бессилия одолеть воду. Посмотрите на постановку и уборку парусов вблизи, на сложность механизма, на эту сеть снастей, канатов, веревок, концов и веревочек, из которых каждая отправляет свое особенное назначение и есть необходимое звено в общей цепи; взгляните на число рук, приводящих их в движение. И между тем к какому неполному результату приводят все эти хитрости! Нельзя определить срок прибытия парусного судна, нельзя бороться

с противным ветром, нельзя сдвинуться назад, наткнувшись на мель, нельзя поворотить сразу в противную сторону, нельзя остановиться в одно мгновение. В штиль судно дремлет, при противном ветре лавирует, то есть виляет, обманывает ветер и выигрывает только треть прямого пути. А ведь несколько тысяч лет убито на то, чтоб выдумывать по парусу и по веревке в столетие. В каждой веревке, в каждом крючке, гвозде, дощечке читаешь историю, каким путем истязаний приобрело человечество право плавать по морю при благоприятном ветре. Всех парусов до тридцати: на каждое дуновение ветра приходится по парусу. Оно, пожалуй, красиво смотреть со стороны, когда на бесконечной глади вод плывет корабль, окрыленный белыми парусами, как подобие лебедя, а когда попадешь в эту паутину снастей, от которых проходу нет, то увидишь в этом не доказательство силы, а скорее безнадежность на совершенную победу. Парусное судно похоже на старую кокетку, которая нарумянится, набелится, подденет десять юбок и затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника, и на минуту иногда успеет; но только явится молодость и свежесть сил — все ее хлопоты разлетятся в прах. И парусное судно, обмотавшись веревками, завесившись парусами, роет туда же, кряхтя и охая, волны; а чуть задует в лоб — крылья и повисли. До паров еще, пожалуй, можно бы не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли же до того, что плаваем по морю с попутным ветром. Некоторые находят, что в пароходе меньше поэзии, что он не так опрятен, некрасив. Это от непривычки: если б пароходы существовали несколько тысяч лет, а парусные суда недавно, глаз людской, конечно, находил бы больше поэзии в этом быстром, видимом стремлении судна, на котором не мечется из угла в угол измученная толпа людей, стараясь угодить ветру, а стоит в бездействии, скрестив руки на груди, человек, с покойным сознанием, что под ногами его сжата сила, равная силе моря, заставляющая служить себе и бурю, и штиль. Напрасно водили меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны, как фрегат, лежа боком на воде, режет волны и мчится по двенадцати узлов в час. «Эдак и пароход не пойдет!» — говорят мне. «Да зато пароход всегда пойдет». Горе моряку старинной школы, у которого весь ум, вся наука, искусство, а за ними самолюбие и честолюбие расселись по снастям. Дело решено. Паруса остались на долю мелких судов и небогатых промышленников; все остальное усвоило пар. Ни на одной военной верфи не строят больше парусных судов; даже старые переделываются на паровые. При нас в портсмутском адмиралтействе розняли уже совсем готовый корабль пополам и вставили паровую машину.

Мы вошли в Зунд; здесь не видавшему никогда ничего, кроме наших ровных степных местностей, в первый раз являются в тумане картины гор, желтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию. Шведский берег весь гористый. Датский виден ясно. Он нам представил картину увядшей осенней зелени, несколько деревень. Романтики, глядя на крепости обоих берегов, припоминали могилу Гамлета,[38] более положительные люди рассуждали о несправедливости зундских пошлин,[39] самые положительные — о необходимости запастись свежею провизией,

а все вообще мечтали съехать на сутки на берег, ступить ногой в Данию, обегать Копенгаген, взглянуть на физиономию города, на картину людей, быта, немного расправить ноги после качки, поесть свежих устриц. Но ничего этого не случилось. На другой день заревел шторм, сообщения с берегом не было, и мы простояли, помнится, трое суток в печальном бездействии. Простоять в виду берега, не имея возможности съехать на него, гораздо скучнее, нежели пробыть месяц в море, не видя берегов. В этом я убедился вполне. Обедали, пили чай, разговаривали, читали, заучили картину обоих берегов наизусть, и все-таки времени оставалось много. Изредка нарушалось однообразие неожиданным развлечением. Вбежит иногда в капитанскую каюту вахтенный и тревожно скажет: «Купец наваливается, ваше высокоблагородие!» Книги, обед — все бросается, бегут наверх; я туда же. В самом деле, купеческое судно, называемое в море коротко «купец», для отличия от военного, сбитое течением или от неуменья править, так и ломит или на нос, или на корму, того и гляди стукнется, повредит как-нибудь утлегарь, поломает реи — и не перечтешь, сколько наделает вреда себе и другим. Начинается крик, шум, угрозы, с одной стороны по-русски, с другой — энергические ответы и оправдания по-голландски или по-английски, по-немецки. Друг друга в суматохе не слышат, не понимают, а кончится все-таки тем, что расцепятся — и все смолкнет: корабль нем и недвижим опять; только часовой задумчиво ходит с ружьем взад и вперед.

Завидят ли огни ночью — еще больше тревоги. На бдительность купеческих судов надеяться нельзя. Там все принесено в жертву экономии; от этого людей на них мало, рулевой большею частию один: нельзя понадеяться, что ночью он не задремлет над колесом и не прозевает встречных огней. Столкновение двух судов ведет за собой неминуемую гибель одного из них, меньшего непременно, а иногда и обоих. От этого всегда поднимается гвалт на судне, когда завидят идущие навстречу огни, кричат, бьют в барабан, жгут бенгальские огни и, если судно не меняет своего направления, палят из пушек. Это особенно приятно, когда многие спят по каютам и не знают, в чем дело, а тут вдруг раздается треск, от которого дрогнет корабль. Но и к этому привыкаешь.

Барон Шлипенбах один послан был по делу на берег, а потом, вызвав лоцмана, мы прошли Зунд, лишь только стихнул шторм, и пустились в Каттегат и Скагеррак, которые пробежали в сутки.

Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря на то, что читал уже не совсем новое. Это «История кораблекрушений»,[40] в которой собраны за старое и новое время все случаи известных кораблекрушений, со всеми последствиями. В. А. Корсаков[41] читал ее и дал мне прочесть «для успокоения воображения», как говорил он. Хорошо успокоение: прочесть подряд сто историй, одна страшнее и плачевнее другой, когда пускаешься года на три жить на море! Только и говорится о том, как корабль стукнулся о камень, повалился на бок, как рухнули мачты, палубы, как гибли сотнями люди — одни раздавленные пушками, другие утонули... Взглянешь около себя и увидишь мачты, палубы, пушки, слышишь рев ветра, а невдалеке, в красноречивом

безмолвии, стоят красивые скалы: не раз содрогнешься за участь путешественников!.. Но я убедился, что читать и слушать рассказы об опасных странствиях гораздо страшнее, нежели испытывать последние. Говорят, и умирающему не так страшно умирать, как свидетелям смотреть на это.

Потом, вникая в устройство судна, в историю всех этих рассказов о кораблекрушениях, видишь, что корабль погибает не легко и не скоро, что он до последней доски борется с морем и носит в себе пропасть средств к защите и самохранению, между которыми есть много предвиденных и непредвиденных, что, лишась почти всех своих членов и частей, он еще тысячи миль носится по волнам, в виде остова, и долго хранит жизнь человека. Между обреченным гибели судном и рассвирепевшим морем завязывается упорная битва: с одной стороны слепая сила, с другой — отчаяние и зоркая хитрость, указывающая самому крушению совершаться постепенно, по правилам. Есть целая теория, как защищаться от гибели. Срежет ли ураган у корабля все три мачты: кажется, как бы не погибнуть? Ведь это все равно, что отрезать вожжи у горячей лошади, а между тем поставят фальшивые мачты, из запасного дерева — и идут. Оторвется ли руль: надежда спастись придает изумительное проворство, и делается фальшивый руль. Оказывается ли сильная пробоина, ее затягивают на первый случай просто парусом — и отверстие «засасывается» холстом и не пропускает воду, а между тем десятки рук изготовляют новые доски, и пробоина заколачивается. Наконец судно отказывается от битвы, идет ко дну: люди бросаются в шлюпку и на этой скорлупке достигают ближайшего берега, иногда за тысячу миль.

В Немецком море, когда шторм утих, мы видели одно такое безнадежное судно. Мы сначала не знали, что подумать о нем. Флага не было: оно не подняло его, когда мы требовали этого, подняв свой. Подойдя ближе, мы не заметили никакого движения на нем. Наконец поехали на шлюпке к нему — на нем ни одного человека: судно было брошено на гибель. Трюм постоянно наполнялся водой, и если б мы остались тут, то, вероятно, к концу дня увидели бы, как оно погрузится на дно. Видите ли, сколько времени нужно и безнадежному судну, чтобы потонуть... к концу дня! А оно уже было лишено своего разума и воли, то есть людей, и, следовательно, перестало бороться. Оно гибло безответно. Носовая его часть опустилась: печальная картина, как картина всякой агонии!

В этот же день, недалеко от этого корабля, мы увидели еще несколько точек вдали и услышали крик. В трубу разглядели лодки; подвигаясь ближе, различили явственнее человеческие голоса. «Рыбаки, должно быть»,— сказал капитан.[42] «Нет,— возразил отец Аввакум,[43]— слышите, вопли! Это, вероятно, погибающие просят о помощи: нельзя ли поворотить?» Капитан был убежден в противном; но, чтоб не брать греха на душу, велел держать на рыбаков. Ему, однако ж, не очень нравилось терять время по-пустому: военным судам разгуливать по морю некогда. «Если это,— ворчал он,— рыбаки кричат, предлагают рыбу... Приготовить брандспойты!»— приказал он вахтенному (брандспойты — пожарные трубы). Матросам велено было набрать воды и держать трубы наготове. Черные точки между тем превратились в лодки. Вот видны и люди, кото-

рые, стоя в них, вопят так, что, я думаю, в Голландии слышно. Подходим ближе — люди протягивают к нам руки, умоляя купить рыбы. Велено держать вплоть к лодкам. «Брандспойты!»— закричал вахтенный, и рыбакам задан был обильный душ, к несказанному удовольствию наших матросов и рыбаков тоже, потому что и они засмеялись вместе с нами.

Впрочем, напрасно капитан дорожил так временем. Мы рассчитывали 20-го, 21-го октября прийти в Портсмут, а пробыли в Немецком море столько, что имели бы время сворачивать и держать на каждого рыбака, которого только завидим. Задул постоянный противный ветер и десять дней не пускал войти в Английский канал. «Что ж вы делали десять дней?»— спросите вы. Вам трудно представить себе, как можно пробыть десять дней на корабле, когда час езды между Петербургом и Кронштадтом наводит скуку. Да, несколько часов пробыть на море скучно, а несколько недель — ничего, потому что несколько недель есть уже капитал, который можно употребить в дело; тогда как из нескольких часов ничего не сделаешь. Впрочем, у нас были и развлечения: появились касатки, или морские свиньи. Они презабавно прыгали через волны, показывая черные толстые хребты. По вечерам, наклонясь над бортом, мы любовались сверкающими в пучине фосфорическими искрами мелких животных.

Идучи Балтийским морем, мы обедали почти роскошно. Припасы были свежие, повар отличный. Но лишь только задул противный ветер, стали опасаться, что он задержит нас долго в море, и решили беречь свежие припасы. Опасение это оправдалось вполне. Оставалось миль триста до Портсмута: можно бы промахнуть это пространство в один день, а мы носились по морю десять дней, и все по одной линии. «Где мы?»— спросишь, проснувшись, утром у деда. «В море»,— говорит он сердито. «Я знаю это и без вас,— еще сердитее отвечаете вы,— да на котором месте?» «Вон, взгляните, разве не видите? Все там же, где были и вчера: у Галлоперского маяка».— «А теперь куда идем?» — «Куда и вчера ходили: к Доггерской банке». Банка эта мелка относительно общей глубины моря, но имеет достаточную глубину для больших кораблей. На ней не только безопасно, но даже волнение не так чувствительно. На ней стараются особенно держаться голландские рыбачьи суда. «Ну что, подвигаемся?» — спросите потом у деда, общего оракула. «Как же, отлично: крутой бейдевинд: семь с половиной узлов хода».— «Да подвигаемся ли вперед?» — спрашиваете вы с нетерпением. «Разумеется, вперед: к Галлоперскому маяку,— отвечает дед,— уж, чай, и виден!»

Вследствие этого на столе чаще стала появляться солонина; состаревшиеся от морских треволнений куры и утки и поросята, выросшие до степени свиней, поступили в число тонких блюд. Даже пресную воду стали выдавать по порциям: сначала по две, потом по одной кружке в день на человека, только для питья. Умываться предложено было морской водой или не умываться, ad libitum *. Скажу вам по секрету, что Фаддеев изловчился как-то обманывать бдительность Терентьева, трюмного унтер-офицера, и из-под носа у него таскал из цистерн каждое утро по кувшину

* по желанию (*лат.*),— *Ред.*

воды мне на умыванье. «Достал,— говорил он радостно каждый раз, вбегая с кувшином в каюту,— на вот, ваше высокоблагородие, мойся скорее, чтоб не застали да не спросили, где взял, а я пока достану тебе полотенце рожу вытереть!» (ей-богу, не лгу!). Это костромское простодушие так нравилось мне, что я Христом богом просил других не учить Фаддеева, как обращаться со мною. Так удавалось ему дня три, но однажды он воротился с пустым кувшином, ерошил рукой затылок, чесал спину и чему-то хохотал, хотя сквозь смех проглядывала некоторая принужденность. «Э! леший, черт, какую затрещину дал!» — сказал он наконец, гладя то спину, то голову. «Кто, за что?» — «Терентьев, черт эдакой! увидал, сволочь! Я зачерпнул воды-то, уж и на трап пошел, а он откуда-то и подвернулся, вырвал кувшин, вылил воду назад да как треснет по затылку, я на трап, а он сзади вдогонку лопарем по спине съездил!» И опять засмеялся. Я уж писал вам, как радовала Фаддеева всякая неудача, приключившаяся кому-нибудь, полученный толчок, даже им самим, как в настоящем случае.

Главный надзор за трюмом поручен был П. А. Тихменеву, о котором я упомянул выше. Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которой бы он не оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. Он, по общему выбору, распоряжался хозяйством кают-компании, и вот тут-то встречалось множество поводов обязать того, другого, вспомнить, что один любит такое-то блюдо, а другой не любит и т. п. Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим, но большею частью выходил из затруднений победителем. А иногда его брал задор: все это подавало постоянный повод к бесчисленным сценам, которые развлекали нас не только между Галлоперским маяком и Доггерской банкой, но и в тропиках, и под экватором, на всех четырех океанах, и развлекают до сих пор. Например, он заметит, что кто-нибудь не ест суп. «Отчего вы не едите супу?» — спросит он. «Так, не хочется»,— отвечают ему. «Нет, вы скажите откровенно»,— настаивает он, мучимый опасением, чтобы не обвинили его в небрежности или неуменье, пуще всего в неуменье исполнять свою обязанность. Он был до крайности щекотлив. «Да, право, я не хочу: так что-то...» — «Нет, верно, нехорош суп: недаром вы не едите. Скажите, пожалуйста!» Наконец тот решается сказать что-нибудь. «Да, что-то сегодня не вкусен суп...» Он не успел еще договорить, как кроткий Петр Александрович свирепеет. «А чем он нехорош, позвольте спросить? — вдруг спрашивает он в негодовании,— сам покупал провизию, старался угодить — и вот награда! Чем нехорош суп?» «Нет, я ничего, право...»,— начинает тот. «Нет, извольте сказать, чем он нехорош, я требую этого,— продолжает он, окидывая всех взглядом,— двадцать человек обедают, никто ни слова не говорит, вы одни только... Господа! я спрашиваю вас — чем нехорош суп? Я, кажется, прилагаю все старания,— говорит он со слезами в голосе и с пафосом,— общество удостоило меня доверия, надеюсь, никто до сих пор не был против этого, что я блистательно оправдывал это доверие; я дорожу оказанною мне доверенностью...»,— и так продолжает, пока дружно не

захохочут все и наконец он сам. Иногда на другом конце заведут стороной, вполголоса, разговор, что вот зелень не свежа, да и дорога, что кто-нибудь будто был на берегу и видел лучше, дешевле. «Что вы там шепчете, позвольте спросить?» — строго спросит он. «Вам что за дело?» — «Может быть, что-нибудь насчет стола, находите, что это нехорошо, дорого, так снимите с меня эту обязанность: я ценю ваше доверие, но если я мог возбудить подозрения, недостойные вас и меня, то я готов отказаться...» Он даже встанет, положит салфетку, но общий хохот опять усадит его на место.

Избалованный общим вниманием и участием, а может быть и баловень дома, он любил иногда привередничать. Начнет охать, вздыхать, жаловаться на небывалый недуг или утомление от своих обязанностей и требует утешений. «Витул, Витул! — томно кличет он, отходя ко сну, своего вестового. — Я так устал сегодня: раздень меня да уложи». Раздеванье сопровождается вздохами и жалобами, которые слышны всем из-за перегородки. «Завтра на вахту рано вставать,— говорит он, вздыхая,— подложи еще подушку, повыше, да постой, не уходи, я, может быть, что-нибудь вздумаю!»

Вот к нему-то я обратился с просьбою, нельзя ли мне отпускать по кружке пресной воды на умыванье, потому-де, что мыло не распускается в морской воде, что я не моряк, к морскому образу жизни не привык, и, следовательно, на меня, казалось бы, строгость эта распространяться не должна. «Вы знаете,— начал он, взяв меня за руки,— как я вас уважаю и как дорожу вашим расположением: да, вы не сомневаетесь в этом?» — настойчиво допытывался он. «Нет»,— с чувством подтвердил я, в надежде, что он станет давать мне пресную воду. «Поверьте,— продолжал он,— что если б я среди моря умирал от жажды, я бы отдал вам последний стакан: вы верите этому?» «Да»,— уже нерешительно отвечал я, начиная подозревать, что не получу воды. «Верьте этому,— продолжал он,— но мне больно, совестно, я готов — ах, боже мой! зачем это... Вы, может быть, подумаете, что я не желаю, не хочу... — (и он пролил поток синонимов).— Нет, не не хочу я, а не могу, не приказано. Поверьте, если б я имел малейшую возможность, то, конечно, надеюсь, вы не сомневаетесь...» И повторил свой монолог. «Ну, нечего делать: le devoir avant tout, *— сказал я,— я не думал, что это так строго». Но ему жаль было отказать совсем. «Вы говорите, что Фаддеев таскал воду тихонько»,— сказал он. «Да».— «Так я его за это на бак отправлю».— «Вам мало кажется, что его Терентьев попотчевал лопарем,— заметил я,— вы еще хотите прибавить? Притом я сказал вам это по доверенности, вы не имеете права...» «Правда, правда, нет, это я так... Знаете что,— перебил он,— пусть он продолжает потихоньку таскать по кувшину, только, ради бога, не больше кувшина: если его Терентьев и поймает, так что ж ему за важность, что лопарем ударит или затрещину даст: ведь это не всякий день...» «А если Терентьев скажет вам, или вы сами поймаете, тогда...» — «Отправлю на бак!» — со вздохом прибавил Петр Александрович.

* Долг прежде всего (*франц.*),— *Ред.*

Уж я теперь забыл, продолжал ли Фаддеев делать экспедиции в трюм для добывания мне пресной воды, забыл даже, как мы провели остальные пять дней странствования между маяком и банкой; помню только, что однажды, засидевшись долго в каюте, я вышел часов в пять после обеда на палубу — и вдруг близехонько увидел длинный скалистый берег и пустые зеленые равнины.

Я взглядом спросил кого-то: что это? — «Англия»,— отвечали мне. Я присоединился к толпе и молча, с другими, стал пристально смотреть на скалы. От берега прямо к нам шла шлюпка; долго кувыркалась она в волнах, наконец пристала к борту. На палубе показался низенький, приземистый человек, в синей куртке, в синих панталонах. Это был лоцман, вызванный для провода фрегата по каналу.

Между двух холмов лепилась куча домов, которые то скрывались, то появлялись из-за бахромы набегавших на берег бурунов: к вершинам холмов прилипло облако тумана. «Что это такое?» — спросил я лоцмана. «Dover», * — каркнул он. Я оглянулся налево: там рисовался неясно сизый неровный и крутой берег Франции. Ночью мы бросили якорь на Спидгедском рейде, между островом Вайтом и крепостными стенами Портсмута.

Июнь 1854 года.
На шкуне «Восток», в Татарском проливе.

Здесь прилагаю два письма к вам, которые я не послал из Англии, в надежде, что со временем успею дополнить их наблюдениями над тем, что видел и слышал в Англии, и привести все в систематический порядок, чтобы представить вам удовлетворительный результат двухмесячного пребывания нашего в Англии. Теперь вижу, что этого сделать не в состоянии, и потому посылаю эти письма без перемены, как они есть. Удовольствуйтесь беглыми заметками, не о стране, не о силах и богатстве ее; не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции, стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего отечества? Поэтому самому наблюдательному и зоркому путешественнику позволительно только прибавить какую-нибудь мелкую, ускользнувшую от общего изучения черту; прочим же, в том числе и мне, может быть, позволено только разве говорить о своих впечатлениях.

Письмо 1-е

20 ноября / 2 декабря 1852 года.

Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из Дании, где, впрочем, я не был, а писал его во время стоянки на якоре, в Зунде. Тогда я был болен и всячески расстроен: все это должно было отразиться и в письме.

---

* «Дувр» (*англ.*),— *Ред.*

Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так, чтобы это, хотя слабо, отразилось в вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не желал бы: ключ к ним не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения, иногда, может быть, фальшивым, и идти путем догадок там, где темно. Теперь еще у меня пока нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения: все это подавлено рядом опытов, более или менее трудных, новых, иногда не совсем занимательных, вероятно, потому, что для многих из них нужен запас свежести взгляда и большей впечатлительности: в известные лета жизнь начинает отказывать человеку во многих приманках на том основании, на каком скупая мать отказывает в деньгах выделенному сыну. Так, например, я не постиг уже поэзии моря, может быть, впрочем, и оттого, что я еще не видал ни «безмолвного», ни «лазурного» моря [44] и, кроме холода, бури и сырости, ничего не знаю. Слушая пока мои жалобы и стоны, вы, пожалуй, спросите, зачем я уехал? Сначала мне, как школьнику, придется сказать «не знаю», а потом, подумав, скажу: «А зачем бы я остался?» Да позвольте: уехал ли я? откуда? из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я на днях уехал из Лондона, а несколько лет тому назад из Москвы, [45] зачем через две недели уеду из Портсмута и т. д.? Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла, «домашнего очага», как говорили в старых романах? Тот не уезжает, у кого есть все это. А прочие век свой живут на станциях. Поэтому я только и выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы, волнения морского плавания: они могли бы остановить. Как будто их нет или меньше на берегу? А отчего же, откуда эти вечные жалобы на жизнь, эти вздохи? Если нет крупных бед или внешних заметных волнений, зато сколько невидимых, но острых игл вонзается в человека среди сложной и шумной жизни в толпе, при ежедневных стычках «с ближним»! Щадит ли жизнь кого-нибудь и где-нибудь? Вот здесь нет сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей. Пружины, двигающие этим, ржавеют на море вместе с железом, сталью и многим другим. Зато тут другие двигатели не дают дремать организму: бури, лишения, опасности, ужас, может быть отчаяние, наконец следует смерть, которая везде следует; здесь только быстрее, нежели где-нибудь. Видите ли: я имел причины ехать или не имел причины оставаться — все равно. Теперь нужно только спросить: к чему же этот ряд новых опытов выпал на долю человека, не имеющего запаса свежести и большей впечатлительности, который не может ни с успехом воспользоваться ими, ни оценить, который даже просто устал выносить их? Вот к этому я не могу прибрать ключа; не знаю, что будет дальше: может быть, он найдется сам собою.

Поэтому я уехал из отечества покойно, без сердечного трепета и с совершенно сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря «о петербургской станции», умолчал о дружбе, [46] которой одной было бы довольно, чтоб удержать человека на месте.

Портсмутский рейд. Гравюра. ИРЛИ. Ленинград.

Дружба, как бы она ни была сильна, едва ли удержит кого-нибудь от путешествия. Только любовникам позволительно плакать и рваться от тоски, прощаясь, потому что там другие двигатели: кровь и нервы; оттого боль и в разлуке. Дружба вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании.

Если много явилось и исчезло разных теорий о любви, чувстве, кажется, таком определенном, где форма, содержание и результат так ясны, то воззрений на дружбу было и есть еще больше. В спорах о любви начинают примиряться; о дружбе еще не решили ничего определительного и, кажется, долго не решат, так что до некоторой степени каждому позволительно составить самому себе идею и определение этого чувства. Чаще всего называют дружбу бескорыстным чувством; но настоящее понятие о ней до того затерялось в людском обществе, что такое определение сделалось общим местом, под которым собственно не знают, что надо разуметь. Многие постоянно ведут какой-то арифметический счет — вроде приходо-расходной памятной книжки — своим заслугам и заслугам друга; справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птоломеевой географии и астрономии [47] или Аристотелевой риторики; [48] всё еще ищут, нет ли чего вроде Пиладова подвига,[49] ссылаясь на любовь, имеющую в ежегодных календарях свои статистические таблицы помешательств, отравлений и других несчастных случаев. Когда захотят похвастаться другом, как хвастаются китайским сервизом или дорогою собольей шубой, то говорят: «Это *испытанный* друг», даже выставляют цифру XV, XX, XXX-летний друг, и таким образом жалуют другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Напротив того, про «неиспытанного» друга говорят: «Этот приходит только есть да пить, а мы не знаем, каков он на деле». Это у многих называется «бескорыстною» дружбой.

Что это, проклятие дружбы? непонимание или непризнание ее прав и обязанностей? Боже меня сохрани! Я только исключил бы слово «обязанности» из чувства дружбы, да и слово «дружба» — тоже. Первое звучит как-то официально, а второе пошло. Разберите на досуге, отчего смешно не в шутку назвать известные отношения мужчины к женщине *любовью*, а мужчины к мужчине *дружбой*. Порядочные люди прибегают в этих случаях к перифразам. Обветшали эти названия, скажете вы. А чувства не обветшали: отчего же обветшали слова? И что за *дружба* такая, что за *друг*? Точно чин. Плохо, когда друг проводит в путь, встретит или выручит из беды по обязанности, а не по влечению. Не лучше ли, когда порядочные люди называют друг друга просто Семеном Семеновичем или Васильем Васильевичем, не одолжив друг друга ни разу, разве ненарочно, случайно, не ожидая ничего один от другого, живут десятки лет, не неся тяжести уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и наслаждаясь друг другом, если можно, бессознательно, если нельзя, то как можно менее заметно, как наслаждаются прекрасным небом, чудесным климатом в такой стране, где дает это природа без всякой платы, где этого нельзя ни дать нарочно, ни отнять? Мудрено ли, что при таких понятиях я уехал от вас с сухими глазами, чему немало способствовало еще и то, что, уезжая

надолго и далеко, покидаешь кучу надоевших до крайности лиц, занятий, стен и едешь, как я ехал, в новые, чудесные миры, в существование которых плохо верится, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда должны прийти в Индию, когда в Китай, и уверяет, что он был везде по три раза.

Декабрь. Лондон. Как я обрадовался вашим письмам — и обрадовался бескорыстно! в них нет ни одной новости, и не могло быть: в какие-нибудь два месяца не могло ничего случиться; даже никто из знакомых не успел выехать из города или приехать туда. Пожалуйста, не пишите мне, что началась опера, что на сцене появилась новая французская пьеса, что открылось такое-то общественное увеселительное место: мне хочется забыть физиономию петербургского общества. Я уехал отчасти затем, чтобы отделаться от однообразия, а оно будет преследовать меня повсюду. Сам я только что собрался обещать вам — не писать об Англии, а вы требуете, чтоб я писал, сердитесь, что до сих пор не сказал о ней ни слова. Странная претензия! Ужели вам не наскучило слышать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии? Прикажете повторить, что туннель под Темзой очень... не знаю, что сказать, о нем: скажу — бесполезен; [50] что церковь св. Павла [51] изящна и громадна, что Лондон многолюден, что королева до сих пор спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити [52] и т. д. Не надо этого: не правда ли, вы все это знаете? — Пишите,— говорите вы,— так, как будто мы ничего не знаем.— Пожалуй; но ведь это выйдет вот что: «Англия страна дикая, населена варварами, которые питаются полусырым мясом, запивая его спиртом; говорят гортанными звуками; осенью и зимой скитаются по полям и лесам, а летом собираются в кучу; они угрюмы, молчаливы, мало сообщительны. По воскресеньям ничего не делают, не говорят, не смеются, важничают, по утрам сидят в храмах, а вечером по своим углам, одиноко и напиваются порознь; в будни собираются, говорят длинные речи и напиваются сообща». Это описание достойно времен Кошихинских, [53] скажете вы и будете правы, как и я буду прав, сказав, что об Англии и англичанах мне писать нечего, разве вскользь, говоря о себе, когда придется к слову.

Через день, по приходе в Портсмут, фрегат втянули в гавань и ввели в док, а людей перевели на «Кемпердоун» — старый корабль, стоящий в порте праздно и назначенный для временного помещения команд. Там поселились и мы, то есть туда перевезли наши пожитки, а сами мы разъехались. Я уехал в Лондон, пожил в нем, съездил опять в Портсмут и вот теперь воротился сюда.

Долго не изгладятся из памяти те впечатления, которые кладет на человека новое место. На эти случаи, кажется, есть особые глаза и уши, зорче и острее обыкновенных, или как будто человек не только глазами и ушами, но легкими и порами вбирает в себя впечатления, напитывается ими, как воздухом. От этого до сих пор памятна мне эта тесная кучка красных, желтых и белых домиков, стоящих будто в воде, когда мы «втягивались» в портсмутскую гавань. От этого так глубоко легла в памяти картина разрезанных нивами полей, точно разлинованных страниц, когда ехал я из Портсмута в Лондон. Жаль только (на этот раз), что

везут с неимоверною быстротою: хижины, фермы, города, замки мелькают, как писаные. Погода странная — декабрь, а тепло: вчера была гроза; там вдруг пахнёт холодом, даже послышится запах мороза, а на другой день в пальто нельзя ходить. Дождей вдоволь; но на это никто не обращает ни малейшего внимания, скорее обращают его, когда проглянет солнце. Зелень очень зелена, даже зеленее, говорят, нежели летом: тогда она желтая. Нужды нет, что декабрь, а в полях работают, собирают овощи — нельзя рассмотреть с дороги — какие. Туманы бывают если не каждый день, то через день непременно; можно бы, пожалуй, нажить сплин; но они не русские, а я не англичанин: что же мне терпеть в чужом пиру похмелье? Довольно и того, что я, по милости их, два раза ходил смотреть Темзу и оба раза видел только непроницаемый пар. Я отчаялся уже и видеть реку, но дохнул ветерок, и Темза явилась во всем своем некрасивом наряде, обстроенная кирпичными неопрятными зданиями, задавленная судами. Зато какая жизнь и деятельность кипит на этой зыбкой улице, управляемая Меркуриевым жезлом! [54]

Не забуду также картины пылающего в газовом пламени необъятного города, представляющейся путешественнику, когда он подъезжает к нему вечером. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов, над изящными пропастями, где, как в калейдоскопе, между расписанных, облитых ярким блеском огня и красок улиц, движется муравейник.

Но вот я наконец, озадаченный впечатлениями и утомленный трехчасовою неподвижностью в вагоне и получасовою ездою в *кебе* по городу, водворен в доме, в квартире.

На другой день, когда я вышел на улицу, я был в большом недоумении: надо было начать путешествовать в чужой стране, а я еще не решил как. Меня выручила из недоумения процессия похорон Веллингтона. [55] Весь Лондон преисполнен одной мысли; не знаю, бы ли он полон того чувства, которое выражалось в газетах. Но decorum * печали был соблюден до мелочей. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки — сомнения нет: он очень печален. Я видел катафалк, блестящую свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа. До пяти или до шести часов я нехотя купался в этой толпе, тщетно стараясь добраться до какого-нибудь берега. Поток увлекал меня из улицы в улицу, с площади на площадь. Никого знакомых со мной не было — не до меня: все заняты похоронами, всех поглотила процессия. Одни нашли где-нибудь окно, другие пробрались в самую церковь св. Павла, где совершалась церемония. Я был один в этом океане и нетерпеливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своею обычною жизнью. Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай: праздничную сторону народа и столицы, но я ждал не того; я видел это у себя; мне улыбался завтрашний, будничный день. Мне хотелось путешествовать не официально, не приехать и «осматривать», а жить и смотреть на все, не насилуя наблюдательности, не задавая себе утомительных уроков осматривать ежедневно, с *гидом* в руках, [56] по стольку-то улиц, музеев, зданий,

* внешняя форма (*лат.*),— *Ред.*

церквей. От такого путешествия остается в голове хаос улиц, памятников, да и то ненадолго.

Вообще большая ошибка — стараться собирать впечатления; соберешь чего не надо, а что надо, то ускользнет. Если путешествуешь не для специальной цели, нужно, чтобы впечатления нежданно и незванно сами забирались в душу; а к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй. Оттого я довольно равнодушно пошел вслед за другими в Британский музеум, по сознанию только необходимости видеть это колоссальное собрание редкостей и предметов знания.[57] Мы целое утро осматривали ниневийские древности, этрусские, египетские и другие залы, потом змей, рыб, насекомых, почти все то, что есть и в Петербурге, в Вене, в Мадрите. А между тем времени лишь было столько, чтобы взглянуть на Англию и на англичан. Оттого меня тянуло все на улицу; хотелось побродить не между мумиями, а среди живых людей.

Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во все, заходил в магазины, заглядывал в домы, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. Чем смотреть на сфинксы и обелиски, мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия; смотреть их походку или какую-то иноходь и эту важность до комизма на лице, выражение глубокого уважения к самому себе, некоторого презрения или по крайней мере холодности к другому, но благоговения к толпе, то есть к обществу. С любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки, с корзинами на плечах, как несется нескончаемая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, как из нее с неподражаемою ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другою нитью, или как вся эта цепь мгновенно онемеет, лишь только полисмен с тротуара поднимет руку.

В тавернах, в театрах — везде пристально смотрю, как и что делают, как веселятся, едят, пьют; слежу за мимикой, ловлю эти неуловимые звуки языка, которым, волей-неволей, должен объясняться с грехом пополам, благословляя судьбу, что когда-то учился ему: иначе хоть не заглядывай в Англию. Здесь, как о редкости, возвещают крупными буквами на окнах магазинов: «Ici on parle français».* Да, путешествовать с наслаждением и с пользой — значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Недаром еще у древних необходимым условием усовершенствованного воспитания считалось путешествие. У нас оно сделалось роскошью и забавою. Пожалуй, без приготовления, да еще без воображения, без наблюдательности, без идеи путешествие, конечно, только забава. Но

* «Здесь говорят по-французски» (*франц.*),— *Ред.*

счастлив кто может и забавляться такою благородною забавой, в которой нехотя чему-нибудь да научишься! Вот Regentstreet, Oxfordstreet, Trafalgarplace* — не живые ли это черты чужой физиономии, на которой движется современная жизнь, и не звучит ли в именах память прошедшего,[58] повествуя на каждом шагу, как слагалась эта жизнь? Что в этой жизни схожего и что несхожего с нашей?.. Воля ваша, как кто ни расположен только забавляться, а бродя в чужом городе и народе, не сможет отделаться от этих вопросов и закрыть глаза на то, чего не видал у себя.

Бродя среди живой толпы, отыскивая всюду жизнь, я, между прочим, наткнулся на великолепное прошедшее: на Вестминстерское аббатство,[59] и был счастливее в это утро. Такие народные памятники — те же страницы истории, но тесно связанные с текущею жизнью. Их, конечно, надо учить наизусть, да они сами так властительно ложатся в память. Впрочем, глядя на это аббатство, я даже забыл историю,— оно произвело на меня впечатление чисто эстетическое. Меня поразил готический стиль в этих колоссальных размерах, я же был во время службы с певчими, при звуках великолепного органа. Фантастическое освещение цветных стекол в стрельчатых окнах, полумрак по углам, белые статуи великих людей в нишах и безмолвная, почти недышащая толпа молящихся — все это образует одно общее, грандиозное впечатление, от которого долго слышится какая-то музыка в нервах.

Благодаря настойчивым указаниям живых и печатных гидов я в первые пять-шесть дней успел осмотреть большую часть официальных зданий, музеев и памятников и, между прочим, национальную картинную галерею, которая величиною будет с прихожую нашего Эрмитажа. Там сотни три картин, из которых запомнишь разве «Снятие со креста» Рембрандта да два-три пейзажа Клода.[60] Осмотрев тщательно дворцы, парки, скверы, биржу, заплатив эту дань официальному любопытству, я уже все остальное время жил по-своему. Лондон по преимуществу город поучительный, то есть нигде, я думаю, нет такого множества средств приобресть дешево и незаметно всяких знаний. Бесконечное утро, с девяти часов до шести, промелькнет — не видишь как. На каждом шагу манят отворенные двери зданий, где увидишь что-нибудь любопытное: машину, редкость, услышишь лекцию естественной истории. Есть учреждение, где показывают результаты всех новейших изобретений: действие паров, образчик воздухоплавания, движения разных машин. Есть особое временное здание, в котором помещен громадный глобус. Части света представлены рельефно, не снаружи шара, а внутри. Зрители ходят по лестнице и останавливаются на трех площадках, чтобы осмотреть всю землю. Их сопровождает профессор, который читает беглую лекцию географии, естественной истории и политического разделения земель. Мало того: тут же в зале есть замечательный географический музей, преимущественно Англии и ее колоний. Тут целые страны из гипса, с выпуклыми изображениями гор, морей, и потом все пособия к изучению всеобщей географии: карты, книги, начиная с младенческих времен географии, с аравитян, римлян,

* Риджентстрит, Оксфордстрит, Трафальгарская площадь (*англ.*),— *Ред.*

греков, карты от Марко Паоло[61] до наших времен. Есть библиографические редкости.

Самый Британский музеум, о котором я так неблагосклонно отозвался за то, что он поглотил меня на целое утро в своих громадных сумрачных залах, когда мне хотелось на свет божий, смотреть все живое,— он разве не есть огромная сокровищница, в которой не только ученый, художник, даже просто фланёр,[62] зевака, почерпает какое-нибудь знание, уйдет с идеей обогатить память свою не одним фактом? И сколько таких заведений по всем частям, и почти даром! Между прочим, я посвятил с особенным удовольствием целое утро обозрению зоологического сада. Здесь уже я видел не мумии и не чучелы животных, как в музеуме, а живую тварь, собранную со всего мира. Здесь до значительной степени можно наблюдать некоторые стороны жизни животных почти в естественном состоянии. Это постоянная лекция, наглядная, осязательная, в лицах, со всеми подробностями, и отличная прогулка в то же время. Сверх того, всякому посетителю в этой прогулке предоставлено полное право наслаждаться сознанием, что он «царь творения»,— и все это за шиллинг.

Наконец, если нечего больше осматривать, осматривайте просто магазины: многие из них тоже своего рода музеи — товаров. Обилие, роскошь, вкус и раскладка товаров поражают до уныния. Богатство подавляет воображение. «Кто и где покупатели?» — спрашиваешь себя, заглядывая и боясь войти в эти мраморные, малахитовые, хрустальные и бронзовые чертоги, перед которыми вся шехеразада[63] покажется детскою сказкой. Перед четырехаршинными зеркальными стеклами можно стоять по целым часам и вглядываться в эти кучи тканей, драгоценных камней, фарфора, серебра. На большей части товаров выставлены цены; и если увидишь цену, доступную карману, то нет средства не войти и не купить чего-нибудь. Я после каждой прогулки возвращаюсь домой с набитыми всякой всячиной карманами, и потом, выкладывая каждую вещь на стол, принужден сознаваться, что вот это вовсе не нужно, это у меня есть и т. д. Купишь книгу, которой не прочтешь, пару пистолетов, без надежды стрелять из них, фарфору, который на море и не нужен, и неудобен в употреблении, сигарочницу, палку с кинжалом и т. п. Но прошу защититься от этого соблазна на каждом шагу при этой дешевизне!

К этому еще прибавьте, что всякую покупку, которую нельзя положить в карман, вам принесут на дом, и почти всегда прежде, нежели вы сами воротитесь. Но при этом не забудьте взять от купца счет с распиской в получении денег,— так мне советовали делать; да и купцы, не дожидаясь требования, сами торопятся дать счет. Случается иногда, без этой предосторожности, заплатить вторично. Я бы, вдобавок к этому, посоветовал еще узнать до покупки цену вещи в двух-трех магазинах, потому что нигде нет такого произвола, какой царствует здесь в назначении цены вещам. Купец назначает, кажется, цену, смотря по физиономии покупателя. В одном магазине женщина спросила с меня за какую-то безделку два шиллинга, а муж пришел и потребовал пять. Узнав, что вещь продана за два шиллинга, он исподтишка шипел на жену все время, пока я был

в магазине. В одном магазине за пальто спросят четыре фунта, а рядом, из той же материи — семь.

Лондон — поучительный и занимательный город, повторю я, но занимательный только утром. Вечером он для иностранца — тюрьма, особенно в такой сезон, когда нет спектаклей и других публичных увеселений, то есть осенью и зимой. Пожалуй, кому охота, изучай по вечерам внутреннюю сторону народа — нравы; но для этого надо слиться и с домашнею жизнью англичан, а это нелегко. С шести часов Лондон начинает обедать и обедает до 10, до 11, до 12 часов, смотря по состоянию и образу жизни, потом спит. Словом «обедает» я хотел только обозначить, чем наполняется известный час суток. А собственно, англичане не обедают, они едят. Кроме торжественных обедов во дворце или у лорда-мэра и других, на сто, двести и более человек, то есть на весь мир, в обыкновенные дни подают на стол две-три перемены, куда входит почти все, что едят люди повсюду. Все мяса, живность, дичь и овощи — все это без распределений по дням, без соображений о соотношении блюд между собою.

Что касается до национальных английских кушаньев, например пудинга, то я где ни спрашивал, нигде не было готового: надо было заказывать. Видно, англичане сами довольно равнодушны к этому тяжелому блюду,— я говорю о пломпудинге. [64] Все мяса, рыба отличного качества, и все почти подаются au naturel, * с приправой только овощей. Тяжеловато, грубовато, а впрочем, очень хорошо и дешево: был бы здоровый желудок; но англичане на это пожаловаться не могут. Еще они могли бы тоже принять в свой язык нашу пословицу: «не красна изба углами, а красна пирогами», если б у них были пироги, а то нет; пирожное они подают, кажется, в подражание другим: это стереотипный яблочный пирог да яичница с вареньем и крем без сахара или что-то в этом роде. Да, не красны углами их таверны: голые, под дуб сделанные или дубовые стены и простые столы; но опрятность доведена до роскоши: она превышает необходимость. Особенно в белье; скатерти — ослепительной белизны, а салфетки были бы тоже, если б они были, но их нет, и вам подадут салфетку только по настойчивому требованию — и то не везде. И это может служить доказательством опрятности. «Зачем салфетка? — говорят англичане,— руки вытирать? да они не должны быть выпачканы», так же как и рот, особенно у англичан, которые не носят ни усов, ни бород. Я в разное время, начиная от пяти до восьми часов, обедал в лучших тавернах, и почти никогда менее двухсот человек за столом не было. В одной из них, divantavern, ** хозяин присутствует постоянно сам среди посетителей, сам следит, все ли удовлетворены, и где заметит отсутствие слуги, является туда или посылает сына. А у него, говорят, прекрасный дом, лучшие экипажи в Лондоне, может быть — все от этого. Пример не для одних трактирщиков!

Итак, из храма в храм, из музея в музей — время проходило неприметно. И везде, во всех этих учреждениях, волнуется толпа зрителей: подумаешь, что англичанам нечего больше делать, как ходить и смотреть

---

* кусjudge ском (*франц.*),— *Ред.*
** диван-таверна (*франц.*).— *Ред.*

достопримечательности. Они в этом отношении и у себя дома похожи на иностранцев, а иностранцы смотрят хозяевами. Такой пристальной внимательности, почти до страдания, нигде не встретишь. В других местах достало бы не меньше средств завести все это, да везде ли придут зрители и слушатели толпами поддержать мысль учредителя? Но если много зрителей умных и любознательных, то и нет нигде столько простых зевак, как в Англии. О какой глупости ни объявите, какую цену ни запросите, посетители явятся, и по обыкновению толпой. Мне казалось, что любопытство у них не рождается от досуга, как, например, у нас; оно не есть тоже живая черта характера, как у французов, не выражает жажды знания, а просто — холодное сознание, что то или другое полезно, а потому и должно быть осмотрено. Не видать, чтоб они наслаждались тем, что пришли смотреть; они осматривают, как будто принимают движимое имущество по описи: взглянут, там ли повешено, такой ли величины, как напечатано или сказано им, и идут дальше.

Я имел терпение осмотреть волей-неволей и все фокусы, например: высиживание цыплят пара́ми, неотпираемые американские замки и т. п. Глядя, как англичане возятся с своим умершим дюком [65] вот уж третью неделю, кажется, что они высидели и эту редкость. Он уж похоронен, а они до сих пор ходят осматривать — что вы думаете? мостки, построенные в церкви св. Павла по случаю похорон! От этого я до сих пор еще не мог заглянуть внутрь церкви: я не англичанин и не хочу смотреть мостков. До сих пор нельзя сделать шагу, чтоб не наткнуться на дюка, то есть на портрет его, на бюст, на гравюру погребальной колесницы. [66] Вчера появилась панорама Ватерлоо: [67] я думаю, снимут панораму и с мостков. «Не на похороны ли дюка приехали вы?» — спросил меня один купец в лавке, узнав во мне иностранца. «Yes, o yes!» * — сказал я. Я в памяти своей никак не мог сжать в один узел всех заслуг покойного дюка, оттого (к стыду моему) был холоден к его кончине, даже еще (прости мне, господи!) подосадовал на него, что он помешал мне торжественным шествием по улицам, а пуще всего мостками, осмотреть, что хотелось. Не подумайте, чтобы я порицал уважение к бесчисленным заслугам британского Агамемнона [68] — о нет! я сам купил у мальчишки медальон героя из какой-то композиции. Думая дать форпенс, [69] я ошибкой вынул из кошелька оставшийся там гривенник или пятиалтынный. Мальчишка догнал меня и, тыча монетой мне в спину, как зарезанный кричал: «No use, no use!» (не ходит).

Глядя на все фокусы и мелочи английской изобретательности, отец Аввакум, живший в Китае, сравнил англичан с китайцами по мелочной, микроскопической деятельности, по стремлению к торгашеству и по некоторым другим причинам. Американский замок, о котором я упомянул,— это такой замок, который так запирается, что и сам хозяин подчас не отопрет. Прежде был принят в здешних государственных кассах, между прочим в банке, какой-то тоже неотпираемый замок; по крайней мере он долго слыл таким. Но явился американец, вызвался отпереть его — и действи-

* «Да, о да!» (*англ.*),— *Ред.*

тельно отпер. Потом он предложил изобретенный им замок и назначил премию, если отопрут. Замок был отдан экспертам, трем самым ловким мошенникам, приглашенным для этого из портсмутской тюрьмы. Знаменитые отпиратели всяких дверей и сундуков, снабженные всеми нужными инструментами, пробились трое суток, ничего не сделали и объявили замок — неотпираемым. Вследствие этого он принят теперь в казенных местах, вместо прежнего. Весь секрет, сколько я мог понять из объяснений содержателя магазина, где продаются эти замки, заключается в бородке ключа, в которую каждый раз, когда надо запереть ящик или дверь, может быть вставляемо произвольное число пластинок. Нельзя отпереть замка иначе, как зная, сколько именно вставлено пластинок и каким образом они расположены; а пластинок много. Есть замки и для колоссальных дверей, и для маленьких шкатулок, ценой от 10 ф. стерлингов до 10 шиллингов. Хитро, не правда ли?

Между тем общее впечатление, какое производит наружный вид Лондона, с циркуляциею народонаселения, странно: там до двух миллионов жителей, центр всемирной торговли, а чего бы вы думали не заметно? — жизни, то есть ее бурного брожения. Торговля видна, а жизни нет: или вы должны заключить, что здесь торговля есть жизнь, как оно и есть в самом деле. Последняя не бросается здесь в глаза. Только по итогам сделаешь вывод, что Лондон первая столица в мире, когда сочтешь, сколько громадных капиталов обращается в день или год, какой страшный совершается прилив и отлив иностранцев в этом океане народонаселения, как здесь сходятся покрывающие всю Англию железные дороги, как по улицам из конца в конец города снуют десятки тысяч экипажей. Ахнешь от изумления, но не заметишь всего этого глазами. Такая господствует относительно тишина, так все физиологические отправления общественной массы совершаются стройно, чинно. Кроме неизбежного шума от лошадей и колес, другого почти не услышишь. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. Экипажи мчатся во всю прыть, но кучера не кричат, да и прохожий никогда не зазевается. Пешеходы не толкаются, в народе не видать ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице, между тем почти каждый англичанин напивается за обедом. Все спешат, бегут: беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет.

Дурно одетых людей — тоже не видать: они, должно быть, как тараканы, прячутся где-нибудь в щелях отдаленных кварталов; бóльшая часть одеты со вкусом и нарядно; остальные чисто, все причесаны, приглажены и особенно обриты. Наш друг Языков непременно сказал бы: здесь каждый — *бритт*.[70] Я бреюсь через день, и оттого слуги в тавернах не прежде начинают уважать меня, как когда, после обеда, дам им шиллинг. Вы, Николай Аполлонович, с своею инвалидною бородой были бы здесь невозможны: вам, как только бы вы вышли на улицу, непременно подадут милостыню. Улицы похожи на великолепные гостиные, наполнен-

ные одними господами. Так называемого простого или, еще хуже, «черного» народа не видать, потому что он здесь — не черный: мужик в плисовой куртке и панталонах, в белой рубашке вовсе не покажется мужиком. Даже иная рабочая лошадь так тихо и важно выступает, как барин.

Известно, как англичане уважают общественные приличия. Это уважение к общему спокойствию, безопасности, устранение всех неприятностей и неудобств — простирается даже до некоторой скуки. Едешь в вагоне, народу битком набито, а тишина, как будто «в гробе тьмы людей», по выражению Пушкина.[71] Англичане учтивы до чувства гуманности, то есть учтивы настолько, насколько в этом действительно настоит надобность, но не суетливы и особенно не нахальны, как французы. Они ответят на дельный вопрос, сообщат вам сведение, в котором нуждаетесь, укажут дорогу и т. п., но не будут довольны, если вы к ним обратитесь просто так, поговорить. Они принимают в соображение, что если одним скучно сидеть молча, то другие, напротив, любят это. Я не видал, чтобы в вагоне, на пароходе один взял, даже попросил у другого праздно лежащую около газету, дотронулся бы до чужого зонтика, трости. Все эти фамильярности с незнакомыми нетерпимы. Зато никто не запоет, не засвистит около вас, не положит ногу на вашу скамью или стул. Есть тут своя хорошая и дурная сторона, но, кажется, больше хорошей. Французы и здесь выказывают неприятные черты своего характера: они нахальны и грубоваты. Слуга-француз протянет руку за шиллингом, едва скажет merci, * и тут же не поднимет уроненного платка, не подаст пальто. Англичанин все это сделает.

Время между тем близится к отъезду. На фрегате работы приходят к окончанию: того и гляди назначат день. А как еще хочется посмотреть и погулять в этой разумной толпе, чтоб потом перейти к невозделанной природе и к таким же невозделанным ее детям! Про природу Англии я ничего не говорю: какая там природа! ее нет, она возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели ею и сглаживают ее вольные следы. Поля здесь расписные паркеты. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли; в парке нет самородного куста. И животные испытывают ту же участь. Все породисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины. Все крупно, красиво, бодро; в животных стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания, а в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта. Животным так внушают правила поведения, что бык как будто бы понимает, зачем он жиреет, а человек, напротив, старается забывать, зачем он круглый божий день и год, и всю жизнь, только и делает, что подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то клапан. В человеке подавляется его уклонение от прямой цели; от этого, может быть, так много встречается людей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они только специальные. И в этой специальности — причина успехов на всех путях. Здесь кузнец

* спасибо (*франц.*).— *Ред.*

не займется слесарным делом, оттого он первый кузнец в мире. И все так. Механик, инженер не боится упрека в незнании политической экономии: он никогда не прочел ни одной книги по этой части; не заговаривайте с ним и о естественных науках, ни о чем, кроме инженерной части,— он покажется так жалко ограничен... а между тем под этой ограниченностью кроется иногда огромный талант и всегда сильный ум, но ум, весь ушедший в механику. Скучно покажется «универсально» образованному человеку разговаривать с ним в гостиной; но, имея завод, пожелаешь выписать к себе его самого или его произведение.

Все бы это было очень хорошо, то есть эта практичность, но, к сожалению, тут есть своя неприятная сторона: не только общественная деятельность, но и вся жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина. Незаметно, чтоб общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть которого общество должно чувствовать непрестанно и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им. Здесь, напротив, видно, что это все есть потому, что оно нужно зачем-то, для какой-то цели. Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно, рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей, показывать, что вот таким-то законом, для той провинции или колонии, добыто столько-то правосудия, или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и т. п. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести. На лицах, на движениях, поступках резко написано практическое сознание о добре и зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Добродетель лишена своих лучей; она принадлежит обществу, нации, а не человеку, не сердцу. Оттого, правда, вся машина общественной деятельности движется непогрешительно, на это употреблено тьма чести, правосудия; везде строгость права, закон, везде ограда им. Общество благоденствует: независимость и собственность его неприкосновенны. Но зато есть щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно и общественное мнение, где люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой: вот там-то машина общего движения оказывается неприложимою к мелким, индивидуальным размерам, и колеса ее вертятся на воздухе. Вся английская торговля прочна, кредит непоколебим, а между тем покупателю в каждой лавке надо брать расписку в получении денег. Законы против воров многи и строги, а Лондон считается, между прочим, образцовою школою мошенничества, и воров числится там несколько десятков тысяч; даже ими, как товарами, снабжается континент, и искусство запирать замки спорит с искусством отпирать их. Прибавьте, что нигде нет такого количества контрабандистов. Везде рогатки, машинки для проверки совестей, как сказано выше: вот какие двигатели поддерживают добродетель в обществе, а кассы в банках и купеческих конторах делаются частенько добычей воров. Филантропия возведена в степень общественной обязанности, а от бедности гибнут не только отдельные лица, семей-

ства, но целые страны под английским управлением. Между тем этот нравственный народ по воскресеньям ест черствый хлеб, не позволяет вам в вашей комнате заиграть на фортепиано или засвистать на улице. Призадумаешься над репутацией умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа!

Но, может быть, это все равно для блага целого человечества: любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым — даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда не быть таким или быть добродетельным по машине, по таблицам, по востребованию? Казалось бы, все равно, но отчего же это противно? Не все ли равно, что статую изваял Фидий,[72] Канова[73] или машина? — можно бы спросить...

Вы можете упрекнуть меня, что, говоря обо всем, что я видел в Англии, от дюка Веллингтона до высиживаемых пара́ми цыплят, я ничего не сказал о женщинах. Но говорить о них поверхностно — не хочется, а наблюсти их глубже и пристальнее — не было времени. И где было наблюдать их? Я не успел познакомиться с семейными домами и потому видал женщин в церквах, в магазинах, в ложах, в экипажах, в вагонах, на улицах. От этого могу сказать только — и то для того, чтоб избежать предполагаемого упрека,— что они прекрасны, стройны, с удивительным цветом лица, несмотря на то, что едят много мяса, пряностей и пьют крепкие вина. Едва ли в другом народе разлито столько красоты в массе, как в Англии. Не судите о красоте англичан и англичанок по этим рыжим господам и госпожам, которые дезертируют из Англии под именем шкиперов, машинистов, учителей и гувернанток, особенно гувернанток: это оборыши; красивой женщине незачем бежать из Англии: красота — капитал. Ей очень практически сделают верную оценку и найдут надлежащее приспособление. Женщина же урод не имеет никакой цены, если только за ней нет какого-нибудь особенного таланта, который нужен и в Англии. Одно преподавание языка или хождение за ребенком там не важность: остается уехать в Россию. Англичанки большей частью высоки ростом, стройны, но немного горды и спокойны,— по словам многих, даже холодны. Цвет глаз и волос до бесконечности разнообразен: есть совершенные брюнетки, то есть с черными, как смоль, волосами и глазами, и в то же время с необыкновенною белизной и ярким румянцем; потом следуют каштановые волосы, и все-таки белое лицо, и, наконец, те нежные лица — фарфоровой белизны, с тонкою прозрачною кожею, с легким розовым румянцем, окаймленные льняными кудрями, нежные и хрупкие создания с лебединою шеей, с неуловимою грацией в позе и движениях, с горделивою стыдливостью в прозрачных и чистых, как стекло, и лучистых глазах. Надо сказать, что и мужчины достойны этих леди по красоте: я уже сказал, что все, начиная с человека, породисто и красиво в Англии. Мужчины подходят под те же разряды, по цвету волос и лица, как женщины. Они отличаются тем же ростом, наружным спокойствием, гордостью, важностью в осанке, твердостью в поступи.

Кажется, женщины в Англии — единственный предмет, который пощадило практическое направление. Они властвуют здесь, и если и

бывают предметом спекуляций, как, например, мистрис Домби,[74] то не более, как в других местах. Перед ними курится постоянный фимиам на домашнем алтаре, у которого англичанин, избегав утром город, переделав все дела, складывает, с макинтошем и зонтиком, и свою практичность. Там гаснет огонь машины и зажигается другой, огонь очага или камина; там англичанин перестает быть администратором, купцом, дипломатом и делается человеком, другом, любовником, нежным, откровенным, доверчивым, и как ревниво охраняет он свой алтарь! Этого я не видал: я не проникал в семейства и знаю только понаслышке и по весьма немногим признакам, между прочим по тому, что англичанин, когда хочет познакомиться с вами покороче, оказать особенное внимание, зовет вас к себе, в свое святилище, обедать: больше уж он сделать не в состоянии.

Гоголь отчасти испортил мне впечатление, которое производят англичанки: после всякой хорошенькой англичанки мне мерещится капитан Копейкин.[75] В театрах видел я благородных леди: хороши, но чересчур чопорно одеты для маленького, дрянного театра, в котором показывали диораму восхождения на Монблан:[76] все — декольте, в белых мантильях, с цветами на голове, отчего немного походят на наших цыганок, когда последние являются на балюстраду петь. Живя путешественником в отелях, я мало имел случаев вблизи наблюдать женщин, кроме хозяек в трактирах, торгующих в магазинах и т. п. Вот две служанки суетятся и бегают около меня, как две почтовые лошади, и убийственно, как сороки, на каждое мое слово твердят: «Yes, sir, no, sir». * Они в ссоре за какие-то пять шиллингов и так поглощены ею, что, о чем ни спросишь, они сейчас переходят к жалобам одна на другую. Еще оставалось бы сказать что-нибудь о тех леди и мисс, которые, поравнявшись с вами на улице, дарят улыбкой или выразительным взглядом, да о портсмутских дамах, продающих всякую всячину; но и те и другие такие же, как у нас. О последних можно разве сказать, что они отличаются такою рельефностью бюстов, что путешественника поражает это излишество в них столько же, сколько недостаток, в этом отношении, у молодых девушек. Не знаю, поражает ли это самих англичан.

Говорят, англичанки еще отличаются величиной своих ног: не знаю, правда ли? Мне кажется, тут есть отчасти и предубеждение, и именно оттого, что никакие другие женщины не выставляют так своих ног напоказ, как англичанки: переходя через улицу, в грязь, они так высоко поднимают юбки, что... дают полную возможность рассматривать ноги.

31 декабря 1852 г. Вам, я думаю, наскучило получать от меня письма всё из одного места. Что делать! Видно, мне на роду написано быть самому ленивым и заражать ленью все, что приходит в соприкосновение со мною. Лень разлита, кажется, в атмосфере, и события приостанавливаются над моею головой. Помните, как лениво уезжал я из Петербурга, и только с четвертою попыткой удалось мне «отвалить» из отечества.[77] Вот и теперь лениво выезжаем из Англии. Мы уж «вытянулись» на рейд: подуй N или NO, и в полчаса мы поднимем крылья и вступим в океан, да он не

* «Да, сэр, нет, сэр» (*англ.*),— *Ред.*

готов, видно, принять нас; он как будто углаживает нам путь вéстовыми ветрами. Я даже не могу сказать, что мы в Англии, мы просто на фрегате; нас пятьсот человек: это уголок России. Берег верстах в трех; впереди ныряет в волнах низенькая портсмутская стена, сбоку у ней тянется песчаная мель, сзади нас зеленеет Вайт, а затем все море, с сотней разбросанных по неизмеримому рейду кораблей, ожидающих, как и мы, попутного ветра. У нас об Англии помину нет; мы распрощались с ней, кончили все дела, а ездить гулять мешает ветер. Третьего дня отправились две шлюпки и остались в порте — так задуло. Изредка только английская верейка, как коза, проскачет по валам к Вайту или от Вайта в Портсмут.

24-го, в сочельник, [78] съехал я на берег утром: было сносно; но когда поехал оттуда... ах, какой ветер! как надолго останется он в памяти! Сделав некоторые покупки, я в пристани Albertpier * взял английскую шлюпку и отправился назад *домой*. Пока ехали в гавани, за стенами, казалось покойно, но лишь выехали на простор, там дуло свирепо, да к этому холод, темнота и яростный шум бурунов, разбивающихся о крепостную стену. Гребцы мои, англичане, не знали, где поместился наш фрегат. «Вечером два огня будут на гафеле»,— сказали мне на фрегате, когда я ехал утром. Я смотрю вдаль, где чуть-чуть видно мелькают силуэты судов и вижу миллионы огней в разных местах. Я придерживал одной рукой шляпу, чтоб ее не сдуло в море, а другую прятал — то за пазуху, то в карманы от холода. Гребцы бросили весла и, поставив парус, сами сели на дно шлюпки и вполголоса бормотали промеж себя. Шлюпку нашу подбрасывало вверх и вниз, валы периодически врывались верхушкой к нам и обливали спину. Небо заволокло тучами, а ехать три версты. Подъехали к одной группе судов: «Russian-frigate?» ** — спрашивают мои гребцы. «No», *** — пронзительно доносится до нас по ветру. Дальше, к другому: «Nein», **** — отвечают нам. Надо было лечь на другой галс и плыть еще версты полторы вдоль рейда. Вот тут я вспомнил все проведенные с вами двадцать четвертые декабря; живо себе воображал, что у вас в зале и светло, и тепло и что я бы теперь сидел там с тем, с дрýгим, с той, другой... «А вот что около меня!» — добавлял я, боязливо и вопросительно поглядывая то на валы, которые поднимались около моих плеч и локтей и выше головы, то вдаль, стараясь угадать, приветнее ли и светлее ли других огней блеснут два фонаря на русском фрегате? Наконец добрался и застал всенощную [79] накануне Рождества. Этот маленький эпизод напомнил мне, что пройден только вершок необъятного, ожидающего впереди пространства; что этот эпизод есть обыкновенное явление в этой жизни; что в три года может случиться много такого, чего не выживешь в шестьдесят лет жизни, особенно нашей русской жизни!

Каким испытаниям подвергается избалованная нервозность вечного горожанина здесь, в борьбе со всем окружающим! Все противоположно прежнему: воздух вместо толстых стен, пропасть вместо фундамента,

---

* Причал Альберта (*англ.*),— *Ред.*

** «Русский фрегат?» (*англ.*),— *Ред.*

*** «Нет» (*англ.*),— *Ред.*

**** «Нет» (*нем.*),— *Ред.*

свод из сети снастей, качающийся стол, который отходит от руки, когда пишешь, или рука отходит от стола, тарелка ото рта. «Не шуми, сиди смирно!» — беспрестанно раздается в обыкновенном порядке береговой жизни. «Шуми, стучи и двигайся!» — твердят здесь на каждом шагу. Вместо удобств и комфорта приучают к неудобствам. На днях капитан ходит взад и вперед по палубе в одном сюртуке, а у самого от холода нижняя челюсть тоже ходит взад и вперед. «Зачем, мол, вы не наденете пальто?» — «Для примера команде»,— говорит. И многое, что сочтешь там, на берегу, сидя на диване, в теплой комнате, отступлением от разума,— здесь истина. И вы видите, что эти уклонения здесь оправдываются, а ваши абсолютные истины нет. Вам неловко, потому что нельзя же заставить себя верить в уклонения или в местную истину, хотя она и оправдывается необходимостью. Забудьте отчасти ваше воспитание, выработанность и изнеженность, когда вы на море. Но ничего: ко всему можно притерпеться, привыкнуть, даже не простуживаться. У меня вот и висок перестал болеть. Даже нескоро потом отделаюсь я от привычек, которые наложит на меня морской быт, по возвращении на берег. Мне будет казаться, что мебель надо «принайтовить», окна не закрыть ставнями, а «задраить», при свежем ветре буду ждать, что «засвистят всех наверх рифы брать».

Сколько благ сулил я себе в вояже [80] и сколько уж их не осуществилось! Вот я думал бежать от русской зимы и прожить два лета, а приходится, кажется, испытать четыре осени: русскую, которую уже пережил, английскую переживаю, в тропики придем в тамошнюю осень. А бестолочь какая: празднуешь два Рождества, русское и английское, два Новые года, два Крещенья.[81] В английское Рождество была крайняя нужда в работе — своих рук недоставало: англичане и слышать не хотят о работе в праздник. В наше Рождество англичане пришли, да совестно было заставлять работать своих.

Сказал бы вам что-нибудь о своих товарищах, но о некоторых я говорил, о других буду говорить впоследствии. В последнее время я жил близко, в одной огромной каюте английского корабля, пока наш фрегат был в доке, с четырьмя товарищами. Один — невозмутимо покоен в душе и со всеми всегда одинаков; ни во что не мешается, ни весел, ни печален; ни от чего ему ни больно, ни холодно; на все согласен, что предложат другие; со всеми ласков до дружества, хотя нет у него друзей, но и врагов нет. Куда его ни повези, ему все равно: он всем доволен, ни на что не жалуется. Всякую новость узнает днем позже других; кажется, для него выдумали слово «покладнóй». Другой, с которым я чаще всего беседую, очень милый товарищ, тоже всегда ровный, никогда не выходящий из себя человек; но его не так легко удовлетворить, как первого. Он любит комфорт и без него несколько страдает, хотя и старается приспособиться к не свойственной ему сфере. Он светский человек, а такие люди всегда мне нравились. Светское воспитание, если оно в самом деле светское, а не претензия только на него, не так поверхностно, как обыкновенно думают. Не мешая ни глубокому образованию, даже учености, никакому специальному направлению, оно выработывает много хороших сторон, не

дает глохнуть порядочным качествам, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее. То, что иногда кажется врожденною скромностью, отсутствием страсти,— есть только воспитание. Светский человек умеет поставить себя в такое отношение с вами, как будто забывает о себе и делает все для вас, всем жертвует вам, не делая в самом деле и не жертвуя ничего, напротив, еще курит ваши же сигары, как барон мои. Все это, кажется, пустяки, а между тем это придает обществу чрезвычайно много, по крайней мере наружного, гуманитета. [82]

Мы мирно жили, еще с неделю, по возвращении из Лондона в Портсмут, на «Кемпердоуне», большим обществом. Все размещены были очень удобно по многочисленным каютам стопушечного старого английского корабля. Утром мы все четверо просыпались в одно мгновение, ровно в восемь часов, от пушечного выстрела с «Экселента», другого английского корабля, стоявшего на мертвых якорях, то есть неподвижно, в нескольких саженях от нас. После завтрака, состоявшего из горы мяса, картофеля и овощей, то есть тяжелого обеда, все расходились: офицеры в адмиралтейство на фрегат к работам, мы, не-офицеры, или занимались дома, или шли за покупками, гулять кто в Портсмут, кто в Портси, кто в Саутси или в Госпорт — это названия четырех городов, связанных вместе и составляющих Портсмут. Все они имеют свой характер. Портси и Портсмут — торговые части, наполненные магазинами, складочными амбарами, с таможней. Тут же помещается адмиралтейство, тут и приют моряков всех наций. Саутси — чистый квартал, где главные церкви и большие домы; там помещаются и власти. Эти кварталы отделяются между собою стеной. Госпорт лежит на другой стороне гавани и сообщается с прочими тремя кварталами посредством парового парома, который беспрестанно по веревке ходит взад и вперед и за грош перевозит публику. Кроме того, есть бесчисленное множество яликов. В Госпорте тоже есть магазины, но уже второстепенные, фруктовые лавки, очень хорошая гостиница indiaarms, * где мы приставали, и станция лондонской железной дороги. Впрочем, все эти города можно обойти часа в два. Госпорт состоит из одной улицы и нескольких переулков. Саутси — из одной площади, вала и крепостной стены. Только Портсмут и Портси, связанные вместе, имеют несколько улиц. Домы, магазины, торговля, народ — всё как в Лондоне, в меньших и не столь богатых размерах; но все-таки относительно богато, чисто и красиво. Море, матросы, корабли и адмиралтейство сообщают городу свой особый отпечаток, такой же, как у нас в Кронштадте, только побольше, полюднее.

Потом часам к шести сходились обедать во второй раз, так что отец Аввакум недоумевал, после которого обеда надо было лечь «отдохнуть».

В прогулках своих я пробовал было брать с собою Фаддеева, чтоб отнести покупки домой, но раскаялся. Он никому спуску не давал, не уступал дороги. Если толкнут его, он не преминет ответить кулаком или задирал ребятишек. Он внес на чужие берега свой костромской элемент

* вооруженных сил Индии (*англ.*),— *Ред.*

и не разбавил его ни каплей чужого. На всякий обычай, непохожий на свой, на учреждение он смотрел как на ошибку, с большим недоброжелательством и даже с презрением. «Сволочь эти *асеи*!» (так называют матросы англичан от употребляемого беспрестанно в английской речи — *I say — я говорю, послушай*). Как он глумился, увидев на часах шотландских солдат, одетых в яркий, блестящий костюм, то есть в юбку из клетчатой шотландской материи, но без панталон и потому с голыми коленками! «Королева рассердилась: штанов не дала»,— говорил он с хохотом, указывая на голые ноги солдата. Только в пользу одной шерстяной материи, называемой «английской кожей» и употребляемой простым народом на платье, он сделал исключение, и то потому, что панталоны из нее стоили всего два шиллинга. Он просил меня купить этой кожи себе и товарищам по поручению и сам отправился со мной. Но боже мой! каким презрением обдал он английского купца, нужды нет, что тот смотрел совершенным джентльменом! Какое счастие, что они не понимали друг друга! Но по одному лицу, по голосу Фаддеева можно было догадываться, что он третирует купца en canaille,* как какого-нибудь продавца баранок в Чухломе. «Врешь, не то показываешь,— говорил он, швыряя штуку материи.— Скажи ему, ваше высокоблагородие, чтобы дал той самой, которой отрезал Терентьеву да Кузьмину». Купец подавал другой кусок. «Не то, сволочь, говорят тебе!» И все в этом роде.

Однажды в Портсмуте он прибежал ко мне, сияя от радости и сдерживая смех. «Чему ты радуешься?» — спросил я. «Мотыгин... Мотыгин...» — твердил он, смеясь. (Мотыгин — это друг его, худощавый, рябой матрос.) «Ну, что ж Мотыгин?» — «С берега воротился...» — «Ну?» — «Позови его, ваше высокоблагородие, да спроси, что он делал на берегу?» Но я забыл об этом и вечером встретил Мотыгина с синим пятном около глаза. «Что с тобой? отчего пятно?» — спросил я. Матросы захохотали; пуще всех радовался Фаддеев. Наконец объяснилось, что Мотыгин вздумал «поиграть» с портсмутской леди, продающей рыбу. Это все равно, что поиграть с волчицей в лесу: она отвечала градом кулачных ударов, из которых один попал в глаз. Но и матрос в своем роде тоже не овца: оттого эта волчья ласка была для Мотыгина не больше, как сарказм какой-нибудь барыни на неуместную любезность франта. Но Фаддеев утешается этим еще до сих пор, хотя синее пятно на глазу Мотыгина уже пожелтело.

Наконец нам объявили, чтоб мы перебирались на фрегат. Поднялась суматоха: баркас, катера с утра до вечера перевозили с берега разного рода запасы; люди перетаскивали все наше имущество на фрегат, который подвели вплоть к «Кемпердоуну». Среди этой давки, шума, суеты, вдруг протискался сквозь толпу к капитану Петр Александрович Тихменев, наш застольный хозяин. «Иван Семенович, ради бога,— поспешно говорил он,— позвольте шлюпку, теперь же, сию минуту...» «Зачем, куда? шлюпки все заняты,— вы видите. Последняя идет за углем. Зачем вам?» — «Курица выскочила, когда переносили курятник, и уплыла. Вон она-с, вон как бьется: ради бога, пожалуйте шлюпку; сейчас утонет. Извольте войти в

---

* как мошенника (*франц.*),— *Ред.*

мое положение: офицеры удостоили меня доверенности, и я оправдывал...» Капитан рассмеялся и дал ему шлюпку. Курица была поймана и возвращена на свое место. Вскоре мы вытянулись на рейд, стоим здесь и ждем погоды.

Каждый день прощаюсь я с здешними берегами, поверяю свои впечатления, как скупой поверяет втихомолку каждый спрятанный грош. Дешевы мои наблюдения, немного выношу я отсюда, может быть отчасти и потому, что ехал не сюда, что тороплюсь все дальше. Я даже боюсь слишком вглядываться, чтоб не осталось сору в памяти. Я охотно расстаюсь с этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти. Боюсь, что образ современного англичанина долго будет мешать другим образам... Сбуду скорее черты этого образа вам и постараюсь забыть.

Замечу, между прочим, что все здесь стремится к тому, чтоб устроить образ жизни как можно проще, удобнее и комфортабельнее. Сколько выдумок для этого, сколько потрачено гения изобретательности на машинки, пружинки, таблицы и другие остроумные способы, чтоб человеку было просто и хорошо жить! Если обстановить этими выдумками, машинками, пружинками и таблицами жизнь человека, то можно в pendant * к вопросу о том, «достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники» — поставить вопрос: «удобнее ли стало жить на свете с тех пор, как размножились удобства?»

Новейший англичанин не должен просыпаться сам; еще хуже, если его будит слуга: это варварство, отсталость, и притом слуги дороги в Лондоне. Он просыпается по будильнику. Умывшись посредством машинки и надев вымытое паром белье, он садится к столу, кладет ноги в назначенный для того ящик, обитый мехом, и готовит себе, с помощию пара же, в три секунды бифштекс или котлету и запивает чаем, потом принимается за газету. Это тоже удобство — одолеть лист «Times» или «Herald»:[83] иначе он будет глух и нем целый день. Кончив завтрак, он по одной таблице припоминает, какое число и какой день сегодня, справляется, что делать, берет машинку, которая сама делает выкладки: припоминать и считать в голове неудобно. Потом идет со двора. Я не упоминаю о том, что двери перед ним отворяются и затворяются взад и вперед почти сами. Ему надо побывать в банке, потом в трех городах, поспеть на биржу, не опоздать в заседание парламента. Он все сделал благодаря удобствам. Вот он, поэтический образ, в черном фраке, в белом галстуке, обритый, остриженный, с удобством, то есть с зонтиком, под мышкой, выглядывает из вагона, из кеба, мелькает на пароходах, сидит в таверне, плывет по Темзе, бродит по музеуму, скачет в парке! В промежутках он успел посмотреть травлю крыс, какие-нибудь мостки, купил колодки от сапог дюка. Мимоходом съел высиженного паром цыпленка, внес фунт стерлингов в пользу бедных. После того покойный сознанием, что он прожил день по всем удобствам, что видел много замечательного, что у него есть дюк и паровые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парла-

---

* в параллель, подстать (*франц.*),— *Ред.*

менте — свой голос, он садится обедать и, встав из-за стола не совсем твердо, вешает к шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает с себя машинкой сапоги, заводит будильник и ложится спать. Вся машина засыпает.

Облако английского тумана, пропитанное паром и дымом каменного угля, скрывает от меня этот образ. Оно проносится, и я вижу другое. Вижу где-то далеко отсюда, в просторной комнате, на трех перинах, глубоко спящего человека: он и обеими руками, и одеялом закрыл себе голову, но мухи нашли свободные места, кучками уселись на щеке и на шее. Спящий не тревожится этим. Будильника нет в комнате, но есть дедовские часы: они каждый час свистеньем, хрипеньем и всхлипываньем пробуют нарушить этот сон — и все напрасно. Хозяин мирно почивает; он не проснулся. когда посланная от барыни Парашка будить к чаю, после троекратного тщетного зова, потолкала спящего хотя женскими, но довольно жесткими кулаками в ребра; даже когда слуга, в деревенских сапогах, на солидных подошвах, с гвоздями, трижды входил и выходил, потрясая половицы. И солнце обжигало сначала темя, потом висок спящего — и все почивал он. Неизвестно, когда проснулся бы он сам собою, разве когда не стало бы уже человеческой мочи спать, когда нервы и мускулы настойчиво потребовали бы деятельности. Он пробудился оттого, что ему приснился дурной сон: его кто-то начал душить во сне, но вдруг раздался отчаянный крик петуха под окном — и барин проснулся, обливаясь потом. Он побранил было петуха, этот живой будильник, но, взглянув на дедовские часы, замолчал. Проснулся он, сидит и недоумевает, как он так заспался, и не верит, что его будили, что солнце уж высоко, что приказчик два раза приходил за приказаниями, что самовар трижды перекипел. «Что вы нейдете сюда?» — ласково говорит ему голос из другой комнаты. «Да вот одного сапога не найду,— отвечает он, шаря ногой под кроватью,— и панталоны куда-то запропастились. Где Егорка?» Справляются насчет Егорки и узнают, что он отправился рыбу ловить бреднем, в обществе некоторых любителей из дворовых людей. И пока бегут не спеша за Егоркой на пруд, а Ваньку отыскивают по задним дворам или Митьку извлекают из глубины девичьей, барин мается, сидя на постеле, с одним сапогом в руках, и сокрушается об отсутствии другого. Но все приведено в порядок: сапог еще с вечера затащила в угол под диван Мимишка, а панталоны оказались висящими на дровах, где, второпях, забыл их Егорка, чистивший платье и внезапно приглашенный товарищами участвовать в рыбной ловле. Сильно бы вымыли ему голову, но Егорка принес к обеду целую корзину карасей, сотни две раков да еще барчонку сделал дудочку из камыша, а барышне достал два водяные цветка, за которыми, чуть не с опасностью жизни, лазил по горло в воду на средину пруда. Напившись чаю, приступают к завтраку: подадут битого мяса с сметаной, сковородку грибов или каши, разогреют вчерашнее жаркое, детям изготовят манный суп — всякому найдут что-нибудь по вкусу. Наступает время деятельности. Барину по городам ездить не нужно: он ездит в город только на ярмарку раз в год да на выборы: и то, и другое еще далеко. Он берет календарь, справляется, какого святого в тот день: нет ли

именинников, не надо ли послать поздравить. От соседа за прошлый месяц пришлют все газеты разом, и целый дом запасается новостями надолго. Пора по работам; пришел приказчик — в третий раз.

«Что скажешь, Прохор?» — говорит барин небрежно. Но Прохор ничего не говорит; он еще небрежнее достает со стены машинку, то есть счеты, и подает барину, а сам, выставив одну ногу вперед, а руки заложив назад, становится поодаль. «Сколько чего?» — спрашивает барин, готовясь класть на счетах.

«Овса в город отпущено на прошлой неделе семьдесят...» — хочется сказать — пять четвертей. «Семьдесят девять»,— договаривает барин и кладет на счетах. «Семьдесят девять»,— мрачно повторяет приказчик и думает: «Экая память-то мужицкая, а еще барин! сосед-то барин, слышь, ничего не помнит...»

— А наведывались купцы о хлебе? — вдруг спросил барин, подняв очки на лоб и взглянув на приказчика.

— Был один вчера.

— Ну?

— Дешево дает.

— Однако?

— Два рубля.

— С гривной? — спросил барин.

Молчит приказчик: купец, точно, с гривной давал. Да как же барин-то узнал? ведь он не видел купца! Решено было, что приказчик поедет в город на той неделе и там покончит дело.

— Что ж ты не скажешь? — вопрошает барин.

— Он обещал побывать опять,— говорит приказчик.

— Знаю,— говорит барин.

«Как знает? — думал приказчик,— ведь купец не обещал...»

— Он завтра к батюшке за медом заедет, а оттуда ко мне, и ты приди, и мещанин будет.

Приказчик все мрачней и мрачней.

— Слушаю-с,— говорит он сквозь зубы.

Барин помнит даже, что в третьем году Василий Васильевич продал хлеб по три рубля, в прошлом дешевле, а Иван Иваныч по три с четвертью. То в поле чужих мужиков встретит да спросит, то напишет кто-нибудь из города, а не то так, видно, во сне приснится покупщик, и цена тоже. Недаром долго спит. И щелкают они на счетах с приказчиком, иногда все утро или целый вечер, так что тоску наведут на жену и детей, а приказчик выйдет весь в поту из кабинета, как будто верст за тридцать на богомолье пешком ходил.

— Ну, что ещё?— спрашивает барин. Но в это время раздался стук на мосту. Барин поглядел в окно. «Кто-то едет?» — сказал он, и приказчик взглянул. «Иван Петрович,— говорит приказчик,— в двух колясках».

— А! — радостно восклицает барин, отодвигая счеты. — Ну, ступай; ужо вечером как-нибудь улучим минуту да сосчитаемся. А теперь пошли-ка Антипку с Мишкой на болото да в лес, десятков пять дичи к обеду наколотить: видишь, дорогие гости приехали!

Завтрак снова является на столе, после завтрака кофе, Иван Петрович приехал на три дня, с женой, с детьми, и с гувернером, и с гувернанткой, с нянькой, с двумя кучерами и с двумя лакеями. Их привезли восемь лошадей: все это поступило на трехдневное содержание хозяина. Иван Петрович дальний родня ему по жене: не приехать же ему за пятьдесят верст — только пообедать! После объятий начался подробный рассказ о трудностях и опасностях этого полуторасуточного переезда.

— Пообедав вчера, выехали мы, благословясь, около вечерень, спешили засветло проехать Волчий Вражек, а остальные пятнадцать верст ехали в темноте — зги божией не видать! Ночью поднялась гроза, страсть какая — боже упаси! Какие яровые у Василья Степаныча, видели?

— Как же, нарочно ездил. Слышали, уж он запродал хлеб. А каковы овсы у вас?

И пошла беседа на три дня.

Дамы пойдут в сад и оранжерею, а барин с гостем отправились по гумнам, по полям, на мельницу, на луга. В этой прогулке уместились три английские города, биржа. Хозяин осмотрел каждый уголок; нужды нет, что хлеб еще на корню, а он прикинул в уме, что у него окажется в наличности по истечении года, сколько он пошлет сыну в гвардию, сколько заплатит за дочь в институт. Обед гомерический, [84] ужин такой же. Потом, забыв вынуть ключи из тульских замков у бюро и шкафов, стелют пуховики, которых достанет всем, сколько бы гостей ни приехало. Живая машина стаскивает с барина сапоги, которые, может быть, опять затащит Мимишка под диван, а панталоны Егорка опять забудет на дровах.

Что же? среди этой деятельной лени и ленивой деятельности нет и помина о бедных, о благотворительных обществах, нет заботливой руки, которая бы... Мне видится длинный ряд бедных изб, до половины занесенных снегом. По тропинке с трудом пробирается мужичок в заплатах. У него висит холстинная сума через плечо, в руках длинный посох, какой носили древние. Он подходит к избе и колотит посохом, приговаривая: «Сотворите святую милостыню». Одна из щелей, закрытых крошечным стеклом, отодвигается, высовывается обнаженная загорелая рука, с краюхою хлеба. «Прими Христа ради!» — говорит голос. Краюха падает в мешок, окошко захлопывается. Нищий, крестясь, идет к следующей избе: тот же стук, те же слова и такая же краюха падает в суму. И сколько бы ни прошло старцев, богомольцев, убогих, калек, перед каждым отодвигается крошечное окно, каждый услышит: «Прими Христа ради», загорелая рука не устает высовываться, краюха хлеба неизбежно падает в каждую подставленную суму.

А барин, стало быть, живет в себя, «в свое брюхо», как говорят в той стороне? Стало быть, он никогда не освежит души своей волнением при взгляде на бедного, не брызнет слеза на отекшие от сна щеки? И когда он считает барыши за не сжатый еще хлеб, он не отделяет несколько сот рублей послать в какое-нибудь заведение, поддержать соседа? Нет, не отделяет в уме ни копейки, а отделит разве столько-то четвертей ржи, овса, гречихи, да того-сего, да с скотного двора телят, поросят, гусей, да меду с ульев, да гороху, моркови, грибов, да всего, чтоб к Рождеству

послать столько-то четвертей родне, «седьмой воде на киселе», за сто верст, куда уж он посылает десять лет этот оброк, столько-то в год какому-то бедному чиновнику, который женился на сиротке, оставшейся после погорелого соседа, взятой еще отцом в дом и там воспитанной. Этому чиновнику посылают еще сто рублей деньгами к Пасхе, столько-то раздать у себя в деревне старым слугам, живущим на пенсии, а их много, да мужичкам, которые то ноги отморозили, ездивши по дрова, то обгорели, суша хлеб в овине, кого в дугу согнуло от какой-то лихой болести, так что спины не разогнет, у другого темная вода закрыла глаза. А как удивится гость, приехавший на целый день к нашему барину, когда, просидев утро в гостиной и не увидев никого, кроме хозяина и хозяйки, вдруг видит за обедом целую ватагу каких-то старичков и старушек, которые нахлынут из задних комнат и занимают «привычные места»! Они смотрят робко, говорят мало, но кушают много. И боже сохрани попрекнуть их «куском»! Они почтительны и к хозяевам, и к гостям. Барин хватился своей табакерки в кармане, ищет глазами вокруг: один старичок побежал за ней, отыскал и принес. У барыни шаль спустилась с плеча; одна из старушек надела ее опять на плечо да тут же кстати поправила бантик на чепце. Спросишь, кто это такие? Про старушку скажут, что это одна «вдова», пожалуй, назовут Настасьей Тихоновной, фамилию она почти забыла, а другие и подавно: она не нужна ей больше. Прибавят только, что она бедная дворянка, что муж у ней был игрок или спился с кругу и ничего не оставил. Про старичка, какого-нибудь Кузьму Петровича, скажут, что у него было душ двадцать, что холера избавила его от большей части из них, что землю он отдает внаем за двести рублей, которые посылает сыну, а сам «живет в людях».

И многие годы проходят так, и многие сотни уходят «куда-то» у барина, хотя денег, по-видимому, не бросают. Даже барыня, исполняя евангельскую заповедь и проходя сквозь бесконечный ряд нищих [85] от обедни, [86] тратит на это всего каких-нибудь рублей десять в год. Вот на выборах, в городе, оно заметно, куда деньги идут. Кончились выборы: предводитель берет лист бумаги и говорит: «Заключимте, милостивые государи, наши заседания посильным пожертвованием в пользу бедных нашей губернии, да на школы, на больницы»,— и пишет двести, триста рублей. А наш барин думал, что, купив жене два платья, мантилью, несколько чепцов да вина, сахару, чаю и кофе на год, он уже может закрыть бумажник, в котором опочил изрядный запасный капиталец, годичная экономия. А вот тут вынимается сто рублей: стыдно же написать при всех двадцать пять, даже пятьдесят, когда Осип Осипыч и Михайло Михайлыч написали по сту. «Теперь, кажется, все»,— думает он. Вдруг у губернатора, вечером, губернаторша сама раздает гостям какие-то билеты. Что это такое? Билеты на лотерею с балом, спектаклем, в пользу погоревших семейств. Губернаторша уж двоих упрекнула в скупости, и они поспешно взяли еще по нескольку билетов. За этим некуда уже тратить денег, только вот остался иностранец, который приехал учить гимнастике, да ему не повезло, а в числе гимнастических упражнений у него нет такой штуки, как выбираться из чужого города без денег, и он не знает, что делать. Дворяне сложились

помочь ему добраться домой; недостает ста рублей: поглядывают на нашего барина... И вот к концу года выходит вовсе не тот счет в деньгах, какой он прикинул в уме, ходя по полям, когда хлеб был еще на корню... Не по машинке считал!

Но... однако... что вы скажете, друзья мои, прочитав это... эту... это *письмо* из Англии? Куда я заехал? что описываю? скажете, конечно, что я повторяюсь, что я... не выезжал... Виноват: перед глазами все еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи. Увижу новое, чужое и сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уж сказал вам, что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!

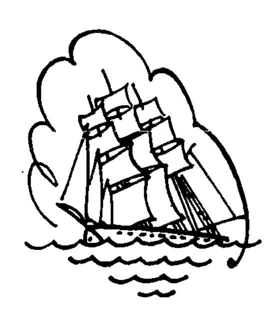
Прощайте: мы уже снялись с якоря, но не совсем удачно. Начались шквалы: шквалы — это когда вы сидите на даче, ничего не подозревая, с открытыми окнами, вдруг на балкон ваш налетает вихрь, врывается с пылью в окна, бьет стекла, валит горшки с цветами, хлопает ставнями, когда бросаются, по обыкновению поздно, затворять окна, убирать цветы, а между тем дождь успел хлынуть на мебель, на паркет. Теперь это повторяется здесь каждые полчаса, и вот третьи сутки мы лавируем в Канале, где дорога неширока: того и гляди прижмет к французскому берегу, а там мели да мели. Английский лоцман соснет немного ночью, а остальное время стоит у руля, следит зорко за каждою струей, он и в туман бросает лот и по грунту распознает место. Всего хуже встречные суда, а их тут множество.

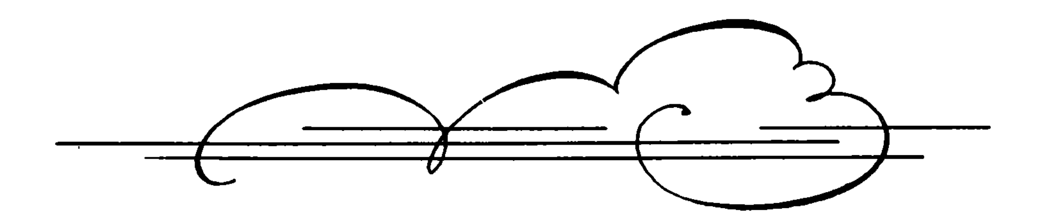
Вы уже знаете, что мы идем не вокруг Горна, а через мыс Доброй Надежды, потом через Зондский пролив, оттуда к Филиппинским островам и, наконец, в Китай и Японию. Пробыв долго в Англии, мы не поспели бы обогнуть до марта Горн. А в марте, то есть в равноденствие, там господствуют свирепые ве́стовые и, следовательно, нам противные ветры. А от мыса Доброй Надежды они будут нам попутные. В Индийских морях бывают, правда, ураганы, но бывают, следовательно, могут и не быть, а противные ветры у Горна непременно будут. Это напоминает немного сказку об Иване-царевиче, в которой на перекрестке стоит столб с надписью: «Если поедешь направо, волки коня съедят, налево — самого съедят, а прямо — дороги нет». Обратный путь предполагается кругом Америки. И обо всем этом толкуют здесь гораздо меньше, нежели, бывало, при сборах в Павловск [87] или Парголово. А хотите ли знать расстояния? От Англии до Азорских островов, например, 2250 морских миль (миля $1^3/_4$ версты), оттуда до экватора 1020 м., от экватора до мыса Доброй Надежды 3180 м., а от мыса Доброй Надежды до Зондского пролива 5400 м., всего около двадцати тысяч верст. Скучно считать, лучше проехать! До вечера.

11 января. До вечера: как не до вечера! Только на третий день после того вечера мог я взяться за перо. Теперь вижу, что адмирал был прав, зачеркнув в одной бумаге, в которой предписывалось шкуне соединиться с фрегатом, слово «непременно». «На море *непременно* не бывает»,— ска-

зал он. «На парусных судах»,— подумал я. Фрегат рылся носом в волнах и ложился попеременно на тот и другой бок. Ветер шумел, как в лесу, и только теперь смолкает. Сегодня, 11-го января, утро ясное, море стихает. Виден Эддистонский маяк и гладкий безотрадный утес Лизарда. Прощайте, прощайте! Мы у порога в океан. Когда услышите вой ветра с запада, помните, что это только слабое эхо того зефира, который треплет нас, а задует с востока, от вас, пошлите мне поклон — дойдет. Но уж пристал к борту бот, на который ссаживают лоцмана. Спешу запечатать письмо. Еще последнее прости! Увидимся ли? В путешествии, или «походе», как называют мои товарищи, пока еще самое лучшее для меня — надежда воротиться.

Январь 1853 года.
Британский канал.





II

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ОСТРОВ МАДЕРА

Выход в океан.— Крепкий ветер и качка.— Прибытие на Мадеру.— Город Фунчал.— Прогулка на гору.— Обед у консула.— Отъезд.

С 6 по 18 января 1853.

Кончено, я решительно путешествую. Я все ждал перемены, препятствия; мне казалось, судьба одумается и не пошлет меня дальше: поэтому нерешительно делал в Англии приготовления к отъезду, не запасал многого, что нужно для дальнего вояжа, и взял кое-что, годное больше для житья не берегу. Но вот океан: переступишь за его порог — и возврата нет! Я из Англии писал вам, как мы плавали по Каналу, как нас подхватил в нем свежий ветер и держал там четверо суток. Письмо это, со многими другими, взял английский лоцман, который провожал нас по Каналу и потом съехал на рыбачьем боте у самого Лизарда. 11-го января ветер утих, погода разгулялась, море улеглось и немножко посинело, а то все было до крайности серо, мутно; только волны, поднимаясь, показывали свои аквамаринные верхушки. Вот милях в трех белеет стройная, как стан женщины, башня Эддистонского маяка. Он построен на море, на камне, в нескольких милях от берега. Бурун с моря хлещет, говорят, в бурю до самого фонаря. Несколько раз ветер смеялся над усилиями человека, сбрасывая башню в море. Но человек терпеливо, на обломках старого, строил новое здание крепче и ставил фонарь и теперь зажигает опять огонь и, в свою очередь, смеется над ветром. Вот и Лизард пустой, голый и гладкий утес, далеко ушедший в море от берегов. От подошвы его расстилается светлая площадь океана.

Все были наверху, пока ссаживали лоцмана. Я, прислонившись к шпилю, смотрел на океан и о чем-то задумался. Вдруг меня кто-то схватил за руку, стиснул ее и начал неистово трясти. Что за штука? [1] А! Это лоцман прощается. Смотрю: лакированная шляпа и синяя куртка пошли дальше, обходя всех таким порядком. Всякого молча схватит за руку, точно укусит, кивнет головой и потом к следующему. Я дал ему письмо, которое уже

у меня было готово, он схватил и опустил его в карман, кивнув тоже головой. Какой карман! Я успел бросить туда взгляд: точно колодезь! Там лежало писем тридцать, но они едва покрывали дно. Мы быстро подвигались к океану. «Дедушка! — спросил кто-то нашего Александра Антоновича,— когда же будем в океане?» «Мы теперь в нем»,— отвечал он. «Так уж из Канала вышли?» — спросил другой, глядя по обеим сторонам Канала. «Нет еще; ведь это Канал и есть, где мы».— «Кто же вас разберет»,— отвечали ему недовольные. «Положите метку,— сказал дедушка,— когда назад пойдем, так я вам и скажу, где кончится Канал и где начало океана... Смотрите, смотрите!» — сказал он мне, указывая на море. «Что такое?» — спросил я, глядя во все стороны. «Неужели не видите? Да вот, смотрите: не дальше кабельтова от нас». Смотрю: то там, то сям брызнет из воды тонкой струей фонтанчик и пропадет. Потом опять. «Не может быть, чтоб здесь были киты!» — сказал я. «Не настоящие киты, а мелочь из их породы», — заметил дед.

Я целое утро не сходил с юта. Мне хотелось познакомиться с океаном. Я уже от поэтов знал, что он «безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим», [2] а учитель географии сказал некогда, что он просто — Атлантический. Теперь я жадно вглядывался в его физиономию, как вглядываются в человека, которого знали по портрету. Мне хотелось поверить портрет с подлинными чертами лежавшего передо мной великана, во власть которого я отдавался на долгое время. «Какой же он в самом деле? — думал я, поглядывая кругом.— Что таится в этом неизмеренном омуте? Чем океан угостит пловцов?..» Он был покоен: по нем едва шевелились легкими рядами волны, как будто ряды тихих мыслей, пробегающих по лицу; страсти и порывы молчали. Попутный ветер и умеренное волнение так ласково манили дальше, а там... «Где же он неукротим? — думал я опять,— на старческом лице ни одной морщинки! Необозрим он, правда: зришь его не больше как миль на шесть вокруг, а там спускается на него горизонт в виде довольно грязной занавески. Поверхность шара и на этом пространстве образует дугу, закрывающую даль. Могуч, мрачен — гм! посмотрим»,— и, оглядев море справа, я оборотился налево и устремил взгляд прямо в физиономию... Фаддеева. Он стоял передо мной с фуражкой в руке. «Что ты?» — «Поди, ваше высокоблагородие, обедать, я давно зову тебя, да не слышишь». Я тем охотнее принял это приглашение, что наверху было холодно. Северный ветер дышал такой прохладой, что в байковом пальто от него трудно было спрятаться.

За столом дед сидел подле меня и был очень весел; он даже предложил мне выпить вместе рюмку вина по случаю вступления в океан. «Поздравляю с океаном»,— сказал он. «Вы очень рады ему, вероятно, как старому знакомому?» — спросил я. «Да, мы друг друга знаем,— отвечал он.— И точно я рад: теперь на карту хоть не гляди, по ночам можно спать: камней, банок, берегов — долго не дождемся». «А буря?» — «Какая буря?» — «Ну, шторм»,— поправился я. «Это не по моей части,— сказал он.— Я буду спать, а Иван Семенович и вот Иван Иванович [3] нет. Да что такое шторм на океане? Если еще при попутном ветре, так это значит мчаться во весь дух на лихой тройке, не переменяя лошадей!»

Внизу, за обедом, потом за чашкой кофе и сигарой, а там за книгой и забыли про океан... да не то что про океан, а забыли и о фрегате. Точно где-нибудь в комнате собралось несколько человек приятелей у доброго хозяина, который предоставляет всякому делать, что он хочет. Я разложил у себя на бюро бумаги, книги, поставил на свое место чернильницу, расположил все мелочи письменного стола, как дома. Фаддееву опять досталось немало возиться с убранством каюты. Я не мог надивиться его деятельности, способностям и силе. Я, кажется, писал вам, что мне дали другую каюту, вверху на палубе. Это была маленькая комнатка с окном. Надо было установить в ней все, как в прежней. И Фаддеев все это сделал еще в Портсмуте, при переселении с «Кемпердоуна» на фрегат. Доска ли нейдет — мигом унесет ее, отпилит лишнее, и уж там, как она ни упрямься, а он втиснет ее в свое место. Ему нужды нет, если от этого что-нибудь расползется врозь: он и то поправит, и опять нужды нет, если доска треснет. Он один приделал полки, устроил кровать, вбил гвоздей, сделал вешалку и потом принялся разбирать вещи по порядку, с тою только разницею, что сапоги положил уже не с книгами, как прежде, а выстроил их длинным рядом на комоде и бюро, а ваксу, мыло, щетки, чай и сахар разложил на книжной полке. «Ближе доставать»,— сказал он на мой вопрос, зачем так сделал. С книгами поступил он так же, как и прежде: поставил их на верхние полки, куда рукой достать было нельзя, и так плотно уставил, что вынуть книгу не было никакой возможности. У него было то же враждебное чувство к книгам, как и у берегового моего слуги: оба они не любили предмета, за которым надо было ухаживать с особенным тщанием, а чуть неосторожно поступишь, так, того и гляди, разорвешь. Иногда он, не зная назначения какой-нибудь вещи, брал ее в руки и долго рассматривал, стараясь угадать, что бы это такое было, и уже ставил по своему усмотрению. Попался ему одеколон: он смотрел, смотрел, наконец налил себе немного на руку. «Уксус»,— решил он, сунув стклянку куда-то подальше в угол.

Мне надо было несколько изменить в каюте порядок, и это стоило немалого труда. Но худо ли, хорошо ли, а каюта была убрана; все в ней расставлено и разложено по возможности как следует; каждой вещи назначено место на два, на три года. А про океан, говорю, и забыли. Только изредка кто-нибудь придет сверху и скажет, что славно идем: девять узлов, ветер попутный. И в самом деле шли отлично. Но океан не забыл про нас. К вечеру стало покачивать. Ну, что за важность? пусть немного и покачает: на то и океан. Странно, даже досадно было бы, если б дело обошлось так тихо и мирно, как где-нибудь в Финском заливе.

К чаю надо было уже положить на стол рейки, то есть поперечные дощечки ребром, а то чашки, блюдечки, хлеб и прочее ползло то в одну, то в другую сторону. Да и самим неловко было сидеть за столом: сосед *наваливался* на соседа. Начались обыкновенные явления качки: вдруг дверь отворится и с шумом захлопнется. В каютах, то там, то здесь, что-нибудь со стуком упадет со стола или сорвется со стены, выскочит из шкафа и со звоном разобьется — стакан, чашка, а иногда и сам шкаф

зашевелится. А там вдруг слышишь, сочится где-то сквозь стенку струя и падает дождем на что случится, без разбора — на стол, на диван, на голову кому-нибудь. Сначала это возбуждало шутки. Смешно было смотреть, когда кто-нибудь пойдет в один угол, а его отнесет в другой; никто не ходил как следует, всё притопывая. Юность резвилась, каталась из угла в угол, как с гор. Вестовые бегали, то туда, то сюда, на шум упавшей вещи, с тем чтоб поднять уже черепки. Сразу не примешь всех мер против неприятных случайностей. Эта качка напоминала мне пока наши похождения в Балтийском и Немецком морях — не больше. Не привыкать уже было засыпать под размахи койки взад и вперед, пока голова и ноги постепенно поднимаются и опускаются. Я кое-как заснул, и то с грехом пополам: не один раз будил меня стук, топот людей, суматоха с парусами.

Еще с вечера начали брать рифы: один, два, а потом все четыре. Едва станешь засыпать — во сне ведь другая жизнь и, стало быть, другие обстоятельства — приснитесь вы, ваша гостиная или дача какая-нибудь; кругом знакомые лица; говоришь, слушаешь музыку: вдруг хаос — ваши лица искажаются в какие-то призраки; полуоткрываешь сонные глаза и видишь не то во сне, не то наяву половину вашего фортепиано и половину скамьи; на картине, вместо женщины с обнаженной спиной, очутился часовой; раздался внезапный треск, звон — очнешься — что такое? ничего: заскрипел трап, хлопнула дверь, упал графин или кто-нибудь вскакивает с постели и бранится, облитый водою, хлынувшей к нему из полупортика прямо на тюфяк. Утомленный, заснешь опять; вдруг удар, точно подземный, так что сердце дрогнет — проснешься: ничего — это поддало в корму, то есть ударило волной... И так до утра! Все еще было сносно, не более того, что мы уже испытали прежде. Но утром 12-го января дело стало посерьезнее. «Буря»,— сказали бы вы, а мои товарищи называли это очень свежим ветром. Я пробовал пойти наверх, или «на улицу», как я называл верхнюю палубу, но ходить было нельзя. Я постоял у шпиля, посмотрел, как море вдруг скроется из глаз совсем под фрегат и перед вами палуба стоит стоймя, то вдруг скроется палуба и вместо нее очутится стена воды, которая так и лезет на вас. Но не бойтесь: она сейчас опять спрячется, только держитесь обеими руками за что-нибудь. Оно красиво, но однообразно... Я воротился в общую каюту. Трудно было и обедать: чуть зазеваешься, тарелка наклонится, и ручей супа быстро потечет по столу до тех пор, пока обратный толчок не погонит его назад. Мне уж становилось досадно: делать ничего нельзя, даже читать. Сидя ли, лежа ли, а все надо думать о равновесии, упираться то ногой, то рукой. Вечером я лежал на кушетке у самой стены, а напротив была софа, устроенная кругом бизань-мачты, которая проходила через каюту вниз. Вдруг поддало, то есть шальной или, пожалуй, девятый вал ударил в корму. Все ухватились кто за что мог. Я, прежде нежели подумал об этой предосторожности, вдруг почувствовал, что кушетка отделилась от стены, а я отделяюсь от кушетки. «Куда?» — мелькнул у меня вопрос в голове, а за ним и ответ: «на круглую софу». Я так и сделал: распростер руки и преспокойно перевалился на мягкие подушки круглой софы. Присутство-

вавшие — капитан Лосев, [4] барон Криднер и кто-то еще — сначала подумали, не ушибся ли я, а увидя, что нет, расхохотались. Но смеяться на море безнаказанно нельзя: кто-нибудь тут же пойдет по каюте, его повлечет наклонно по полу; он не успеет наклониться и, смотришь, приобрел шишку на голове; другого плечом ударило о косяк двери, и он начинает бранить бог знает кого.

Скучное дело качка; все недовольны; нельзя как следует читать, писать, спать; видны также бледные, страдальческие лица. Порядок дня и ночи нарушен, кроме собственного морского порядка, который, напротив, усугублен. Но зато обед, ужин и чай становятся как будто посторонним делом. Занятия, беседы нет... Просто нет житья!

12-го и 13-го января ветер уже превратился в крепкий и жестокий, какого еще у нас не было. Все полупортики, люминаторы были наглухо закрыты, верхние паруса убраны, пушки закреплены задними талями, чтоб не давили тяжестью своею борта. Я не только стоять, да и сидеть уже не мог, если не во что было упираться руками и ногами. Кое-как добрался я до своей каюты, в которой не был со вчерашнего дня, отворил дверь и не вошел — все эти термины теряют значение в качку — был втиснут толчком в каюту и старался удержаться на ногах, упираясь кулаками в обе противоположные стены. Я ахнул: платье, белье, книги, часы, сапоги, все мои письменные принадлежности, которые я было расположил так аккуратно по ящикам бюро,—все это в куче валялось на полу и при каждом толчке металось то направо, то налево. Ящики выскочили из своих мест, щетки, гребни, бумаги, письма — все ездило по полу, вперегонку, что́ скорее скакнет в угол или оттуда на средину.

«Фаддеев!» — закричал я в ужасе. «Фаддеев!» — повторил один матрос. «Фаддеев!» «Фаддеев!» — повторил другой и за ним третий, потом этот третий заглянул ко мне в каюту. «*Они* на кубрике, ваше высокоблагородие,— сказал он,— сейчас придут». «Кто *они?*» — спросил я. «А Фаддеев». Матросы иначе в третьем лице друг друга не называют, как *они* или *матросиком*, тогда как, обращаясь один к другому прямо, изменяют тон. «Иди, Сенька, дьявол, скорее! тебя Иван Александрович давно зовет»,— сказал этот же матрос Фаддееву, когда тот появился. «Ну, ты разговаривай у меня, сволочь!» — отвечал Фаддеев шепотом, показывая ему кулак. Это у них вовсе не брань: они говорят не сердясь, а так, своя манера. Когда же хотят выразиться нежно, то называют друг друга — *братишкой*. «Посмотри-ка!» — сказал я Фаддееву, указывая на беспорядок, и, махнув рукою, ушел в капитанскую каюту.

Это был просторный, удобный, даже роскошный кабинет. Огромный платяной шкаф орехового дерева, большой письменный стол с полками, пианино, два мягкие дивана и более полудюжины кресел составляли его мебель. Вот там-то, между шкафом и пианино, крепко привинченными к стене и полу, была одна полукруглая софа, представлявшая надежное убежище от кораблекрушения. Любезный, гостеприимный хозяин И. С. Унковский предоставлял ее в полное мое распоряжение. Сам он не был изнежен и почти ею не пользовался, особенно в непогоду. Тогда он не раздевался, а соснет где-нибудь в кресле, готовый каждую минуту бежать

на палубу. Сядешь на эту софу, и какая бы качка ни была — килевая ли, то есть продольная, или боковая, поперечная,— упасть было некуда. Одна половина софы шла вдоль, а другая поперек фрегата. Тут не пускал упасть шкаф, а там пианино. [5] Из обоих окон мне видно было море. Что за безобразие или, пожалуй, что за красота! «Буря — прекрасно! поэзия!» — скажете вы в ребяческом восторге. «Какая буря — свежий ветер!» — говорят вам.

Может быть, оно и поэзия, если смотреть с берега, но быть героем этого представления, которым природа время от времени угощает плавателя, право, незанимательно. Сами посудите, что тут хорошего? Огромные холмы с белым гребнем, с воем толкая друг друга, встают, падают, опять встают, как будто толпа вдруг выпущенных на волю бешеных зверей дерется в остервенении, только брызги, как дым, поднимаются да стон носится в воздухе. Фрегат взберется на голову волны, дрогнет там на гребне, потом упадет на бок и начинает скользить с горы, спустившись на дно между двух бугров, выпрямится, но только затем, чтоб тяжело переналиться на другой бок и лезть вновь на холм. Когда он опустится вниз, по сторонам его вздымаются водяные стены. В каюте лампы, картинки, висячий барометр вытягивались горизонтально. Несколько стульев повольничали было, оторвались от своих мест и полетели в угол, но были пойманы и привязаны опять. Какие бы, однако, ни были взяты предосторожности против падения разных вещей, но почти при всяком толчке что-нибудь да найдет случай вырваться; или книга свалится с полки, или куча бумаг, карта поползет по столу и тут же захватит по дороге чернильницу или подсвечник. Вечером раз упала зажженная свеча, и прямо на карту. Я был в каюте один, встал, хотел побежать, но неодолимая тяжесть гнула меня к полу, а свеча вспыхивала сильнее, вот того гляди вспыхнет и карта. Я ползком подобрался к ней и кое-как поставил на свое место.

«Крепкий ветер, жестокий ветер! — говорил по временам капитан, входя в каюту и танцуя в ней.— А вы это все сидите? Еще не приобрели *морских ног*». «Я и свои потерял»,— сказал я. Но ему не верилось, как это человек может не ходить, когда ноги есть. «Да вы встаньте, ну попробуйте»,— уговаривал он меня. «Пробовал,— сказал я,— да без пользы, даже со вредом и для себя, и для мебели. Вот, пожалуй...» Но меня потянуло по совершенно отвесной покатости пола, и я побежал в угол, как давно не бегал. Там я кулаком попал в зеркало, а другой рукой в стену. Капитану было смешно. «Что же вы чай нейдете пить?» — сказал он. «Не хочу!» — со злостью сказал я. «Ну, я велю вам сделать здесь».— «Не хочу!» — повторил я... Я был очень зол. Сначала качка наводит с непривычки страх. Когда судно катится с вершины волны к ее подножию и переходит на другую волну, оно делает такой размах, что, кажется, сейчас рассыплется вдребезги; но когда убедишься, что этого не случится, тогда делается скучно, досадно, досада превращается в озлобление, а потом в уныние. Время идет медленно: его измеряешь не часами, а ровными, тяжелыми размахами судна и глухими ударами волн в бока и корму. Это не тихое чувство покорности, résignation, а чистая злоба, которая

пожирает вас, портит кровь, печень, желудок, раздражает желчь. Во рту сухо, язык горит. Нет ни аппетита, ни сна; ешь, чтоб как-нибудь наполнить праздное время и пустой желудок. Не спишь, потому что не хочется спать, а забываешься от утомления в полудремоте, и в этом состоянии опять носятся над головой уродливые грезы, опять галлюцинации: знакомые лица являются, как мифологические боги и богини. То ваша голова и стан, мой прекрасный друг, но в матросской куртке, то будто пушка в вашем замасленном пальто, любезный мой артист, сидит подле меня на диване. Заснешь и вполглаза видишь наяву снасть, а рядом откуда-то возьмутся шелковые драпри какой-нибудь петербургской гостиной, вазы, цветы, из-за которых тут же выглядывает урядник Терентьев. Далее опять франты, женщины, но вместо кружевного платка в руках женщины — ка́болка (оборвыш веревки) или банник, а франт трет палубу песком... И вдруг эти франты и женщины завоют, заскрипят; лица у них вытянулись, разложились — хлоп, полетели куда-то в бездну... Откроешь глаза и увидишь, что ка́болка, банник, Терентьев — всё на своем месте, а ваз, цветов и вас, милые женщины,— увы, нет! Подчас до того все перепутается в голове, что шум и треск, и эти водяные бугры, с пеной и брызгами, кажутся сном, а берег, домы, покойная постель — действительностью, от которой при каждом толчке жестоко отрезвляешься.

Я так и ночевал не в своей каюте. Капитан тут же рядом спал одетый, беспрестанно вскакивая и выбегая на палубу. Фаддеев утром явился с бельем и звал в кают-компанию, к чаю. «Не хочу!» — был один ответ. «Не надо ли, принесу сюда?» — «Не хочу!» — твердил я, потому что накануне попытка напиться чаю не увенчалась никаким успехом: я обжег пальцы и уронил чашку. «Что, еще не стихает?» — спросил я его. «Куда-те стихать, так и ревет. Уж такое сердитое море здесь!» — прибавил он, глядя с непростительным равнодушием в окно, как волны вставали и падали, рассыпаясь пеною и брызгами. Я от скуки старался вглядеться в это равнодушие, что оно такое: привычка ли матроса, испытанного в штормах, уверенность ли в силах и средствах? Нет, он молод и закалиться в службе не успел. Чувство ли покорности судьбе: и того, кажется, нет. То чувство выражается сознательною мыслью на лице и выработанным ею спокойствием, а у него лицо все так же кругло, бело, без всяких отметин и примет. Это — простое равнодушие, в самом незатейливом смысле. С этим же равнодушием он, то есть Фаддеев,— а этих Фаддеевых легион,— смотрит [6] и на новый прекрасный берег, и на не виданное им дерево, человека — словом, все отскакивает от этого спокойствия, кроме одного ничем не сокрушимого стремления к своему долгу — к работе, к смерти, если нужно. Вглядывался я и заключил, что это равнодушие — родня тому спокойствию или той беспечности, с которой другой Фаддеев где-нибудь на берегу, по веревке, с топором, взбирается на колокольню и чинит шпиц [7] или сидит с кистью на дощечке и болтается в воздухе, наверху четырехэтажного дома, оборачиваясь, в размахах веревки, спиной то к улице, то к дому. Посмотрите ему в лицо: есть ли сознание опасности? — Нет. Он лишь старается при толчке упереться ногой в стену, чтоб не удариться коленкой. А внизу третий Фаддеев, кото-

рый держит веревку, не очень заботится о том, каково тому вверху: он зевает, с своей стороны, по сторонам.

Фаддеев и перед обедом явился с приглашением обедать, но едва я сделал шаг, как надо было падать или проворно сесть на свое место. «Не хочу!» — сказал я злобно. «Третья склянка! зовут, ваше высокоблагородие»,— сказал он, глядя по обыкновению в стену. Но на этот раз он чему-то улыбнулся. «Что ты смеешься?» — спросил я. Он захохотал. «Что с тобой?» — «Да смех такой...» — «Ну, говори, что?» — «Шведов треснулся головой о палубу».— «Где? как?» — «С койки сорвался: мы трое подвесились к одному крючку, крючок сорвался, мы все и упали: я ничего, и Паисов ничего, упали просто и встали, а Шведов голову ушиб — такой смех! Теперь сидит да стонет».

Уже не в первый раз заметил я эту черту в моем вестовом. Попадется ли кто, достанется ли кому — это бросает его в смех. Поди, разбирай, из каких элементов сложился русский человек! И это не от злости: он совсем не был зол, а так, черта, требующая тонкого анализа и особенного определения. Но ему на этот раз радость чужому горю не прошла даром. Не успел он рассказать мне о падении Шведова, как вдруг рассыльный явился в дверях. «Кто подвешивался с Шведовым на один крючок?» — спросил он. «Кто?»— вопросом отвечал Фаддеев. «Паисов, что ли?»—«Паисов?»— «Да говори скорей, еще кто?» — спросил опять рассыльный. «Еще?» — продолжал Фаддеев спрашивать. «Поди к вахтенному,— сказал рассыльный,— всех требуют!» Фаддеев сделался очень серьезен и пошел, а по возвращении был еще серьезнее. Я догадался, в чем дело. «Что ж ты не смеешься? — спросил я,— кажется, не одному Шведову досталось?» Он молчал. «А Паисову досталось?» Он опять разразился хохотом. «Досталось, досталось и ему!» — весело сказал он.

«Нет, этого мы еще не испытали!» — думал я, покачиваясь на диване и глядя, как дверь кланялась окну, а зеркало шкафу. Фаддеев пошел было вон, но мне пришло в голову пообедать тут же на месте. «Не принесешь ли ты мне чего-нибудь поесть в тарелке? — спросил я,— попроси жаркого или холодного». «Отчего не принести, ваше высокоблагородие, изволь, принесу!» — отвечал он. Через полчаса он появился с двумя тарелками в руках. На одной был хлеб, солонка, нож, вилка и салфетка, а на другой кушанье. Он шел очень искусно, упираясь то одной, то другой ногой и держа в равновесии руки, а местами вдруг осторожно приседал, когда покатость пола становилась очень крута. «Вот тебе!» — сказал он (мы с ним были на *ты*; он говорил *вы* уже в готовых фразах: «ваше высокоблагородие» или «воля ваша» и т. п.). Он сел подле меня на полу, держа тарелки. «Чего же ты мне принес?» — спросил я. «Тут все есть, всякие кушанья»,— сказал он. «Как все?» Гляжу: в самом деле — все: вот курица с рисом, вот горячий паштет, вот жареная баранина — вместе в одной тарелке, и все прикрыто вафлей. «Помилуй, ведь этого есть нельзя. Недоставало только, чтоб ты мне супу налил сюда!» «Нельзя было,— отвечал он простодушно,— того гляди, прольешь». Я стал разбирать куски порознь, кладя кое-что в рот, и так мало-помалу дошел — до вафли. «Зачем ты не положил и супу!» — сказал я, отдавая тарелки назад.

«Боже мой! кто это выдумал путешествия? — невольно, с горестью, воскликнул я,— едешь четвертый месяц, только и видишь серое небо и качку!» Кто-то засмеялся. «Ах, это вы!» — сказал я, увидя, что в каюте стоит, держась рукой за потолок, самый высокий из моих товарищей, К. И. Лосев. «Да право! — продолжал я,— где же это синее море, голубое небо да теплота, птицы какие-то да рыбы, которых, говорят, видно на самом дне?» На ропот мой как тут явился и дед.

«Вот ведь это кто все рассказывает о голубом небе да о тепле!»— сказал Лосев. «Где же тепло? Подавайте голубое небо и тепло!..» — приставал я. Но дед маленькими своими шажками проворно пошел к карте и начал мерять по ней циркулем градусы да чертить карандашом. «Слышите ли?» — сказал я ему.

— 42 и 18! — говорил он вполголоса. Я повторил ему мою жалобу.

— Дайте пройти Бискайскую бухту — вот и будет вам тепло! Да погодите, еще и тепло наскучит: будете вздыхать о холоде. Что вы все сидите? Пойдемте.

— Не могу; я не стою на ногах.

— Пойдемте, я вас отбуксирую! — сказал он и повел меня на шканцы. Опираясь на него, я вышел «на улицу» в тот самый момент, когда палуба вдруг как будто вырвалась из-под ног и скрылась, а перед глазами очутилась целая изумрудная гора, усыпанная голубыми волнами, с белыми, будто жемчужными, верхушками, блеснула и тотчас же скрылась за борт. Меня стало прижимать к пушке, оттуда потянуло к люку. Я обеими руками уцепился за леер.

— Ведите назад! — сказал я деду.

— Что вы? посмотрите: отлично!

У него все отлично. Несет ли попутным ветром по десяти узлов в час — «славно, отлично!» — говорит он. Дует ли ветер прямо в лоб и пятит назад — «чудесно! — восхищается он: — по полтора узла идем!» На него не действует никакая погода. Он и в жар и в холод всегда застегнут, всегда бодр; только в жар подбородок у него светится, как будто вымазанный маслом; в качку и не в качку стоит на ногах твердо, заложив коротенькие руки на спину или немного пониже, а на ходу шагает маленькими шажками. Его не возмущает ни буря, ни штиль — ему все равно. Близко ли берег, далеко ли — ему тоже дела нет. Он был почти везде, а где не был, так не печалится, если не удастся побывать. Я не слыхал, чтоб он на что-нибудь или на кого-нибудь жаловался. «Отлично!» — твердит только. А если кто-нибудь при нем скажет или сделает не отлично, так он посмотрит только испытующим взглядом на всех кругом и улыбнется по-своему. Он напоминает собою тех созданных Купером лиц, которые родились и воспитались на море или в глухих лесах Америки и на которых природа, окружавшая их, положила неизгладимую печать. И он тоже с тринадцати лет ходит в море и двух лет сряду никогда не жил на берегу. За своеобразие ли, за доброту ли — а его все любили. «Здравствуйте, дед! Куда вы это торопитесь?» — говорила молодость. «Не мешайте: иду *определиться*!» — отвечал он и шел, не оглядываясь, *ловить* солнце. «Да где мы теперь?» —

спрашивали опять. «В божием мире!» — «Знаем; да где?» — «38° сев. широты и 12° западной долготы».— «На параллели чего?» — «А поглядите на карту».— «Скажите...» — «Пустите, пустите!» — говорил он, расталкивая молодежь, как толпу ребятишек.

— Холодно, дед! ведите меня назад,— говорил я.

— Что за холодно — отлично! — отвечал он. [8]

Не дождавшись его, я пошел один опять на свое место, но дорого заплатил за смелость. Я вошел в каюту и не успел добежать до большой полукруглой софы, как вдруг сильно поддало. Чувствуя, что мне не устоять и не усидеть на полу, я быстро опустился на маленький диван и думал, что спасусь этим; но не тут-то было: надо было прирасти к стене, чтоб не упасть. Диван был пригвожден и не упал, а я, как ни крепился, но должен был, к крайнему прискорбию, расстаться с диваном. Меня сорвало с него и ударило грудью о кресло так сильно, что кресло хотя и осталось на месте, потому что было привязано к полу, но у него подломилась ножка, а меня перебросило через него и повлекло дальше по полу. По дороге я ушиб еще коленку да задел за что-то щекой. Примчавшись к своему месту, я несколько минут сидел от боли неподвижно на полу. К счастью, ушиб не оставил никаких последствий. С неделю больно было дотрогиваться до груди, а потом прошло.

В это время К. И. Лосев вошел в каюту. Я стал рассказывать о своем горе.

— А вы скорей садитесь на пол,— сказал он,— когда вас сильно начнет тащить в сторону, и ничего, не стащит!

Вдруг в это время стало кренить на мою сторону.

— Вот, вот так! — учил он, опускаясь на пол.— Ай, ай! — закричал он потом, ища руками кругом, за что бы ухватиться. Его потащило с горы, и он стремительно домчался вплоть до меня... на всегда готовом экипаже. Я только что успел подставить ноги, чтоб он своим ростом и дородством не сокрушил меня.

Так дни шли за днями, или не «дни», а «сутки». На берегу замечаются только одни дни, а в море, в качке, спишь не когда хочешь, а когда можешь. Там рядом с обыкновенным, природным днем является какой-то другой, искусственный, называемый на берегу ночью, а тут полный забот, работ, возни. Томительные сутки шли за сутками. Человек мечется в тоске, ищет покойного угла, хочет забыться, забыть море, качку, почитать, поговорить — не удается. Всякий сустав в нем, всякий нерв бодрствует, раздраженный и утомленный продолжительным напряжением. Прошлое спокойствие, минуты счастья, отличное плавание, родина, друзья — все забыто; а если и припоминается, так с завистью. «Да неужели есть берег? — думаешь тут,— ужели я был когда-нибудь на земле, ходил твердой ногой, спал в постели, мылся пресной водой, ел четыре-пять блюд и всё в разных тарелках, читал, писал на столе, который не пляшет? Ужели есть сады, теплый воздух, цветы...» И цветы припомнишь, на которые на берегу и не глядел. Так вот она, странническая жизнь, исполненная приключений, тревог, бурь, волнений, о которых вздыхал я на берегу! Ну, заварил кашу, наслаждайся теперь! Неблагодарная память не сохраняет добра. Тут

является жалкое, отравляющее жизнь на море чувство — раскаяния: зачем поехал!

В этом расположении я выбрался из каюты, в которой просидел полторы суток, неблагосклонно взглянул на океан и, пробираясь в общую каюту, мысленно поверял эпитеты, данные ему Байроном, Пушкиным, Бенедиктовым и другими — «угрюмый, мрачный, могучий», и Фаддеевым — «сердитый». «Соленый, скучный, безобразный и однообразный! — прибавил я к этому списку, сходя по трапу вниз,— заладил одно — и конца нет!»

Внизу везде вода, сырость; спали кое-как, где попало. Я тут же прилег и раз десять вскакивал ночью, пробуждаясь от скрипа, от какого-нибудь внезапного крика, от топота людей, от свистков; впросонках видел, как дед приходил и уходил с веселым видом.

— Качает, дед! — жаловался я.

— Еще бы не качать: крутой бейдевинд! — сказал он.— Отлично..

— Что же отличного?..

— Как что́: $10^1/_2$ узлов ходу, прошли Бискайскую бухту, утром будем на параллели Финистерре.

— Подите вы, отлично!

Вдруг показался в дверях своей каюты О. А. Гошкевич, [9] которого мы звали переводчиком. Бледный, с подушкой в руках, он вошел в общую каюту и лег на круглую софу. Его мутило. Он не знал сна, аппетита. Полежав там минут пять, он перешел на кушетку, потом садился на стул, но вскакивал опять и нигде не находил покоя. Жертва морской болезни с первого выхода в море, он возбуждал общее, но бесполезное участие. Его отвели в батарейную палубу и подвесили там койку недалеко от люка, чрез который проходил свежий воздух. Мне стало совестно за свою досаду, и я перестал жаловаться. [10]

Следующие дни тянулись так же однообразно, волнисто, бурно, холодно. Небо и море серые. А ведь это уж испанское небо! Мы были в 30-х градусах широты. Мы были так заняты, что и не заметили, как миновали Францию, а теперь огибали Испанию и Португалию. Я, от нечего делать, любил уноситься мысленно на берега, мимо которых мы шли и которых не видали. Париж возбуждал общий интерес. Мы оставили его в самый занимательный момент: Людовик-Наполеон только что вошел на престол. [11] Англия одна еще признала его — больше ничего мы не знали. Улеглись ли партии? сумел ли он поддержать порядок, который восстановил? тихо ли там? — вот вопросы, которые шевелились в голове при воспоминании о Франции. «В Париж бы! — говорил я со вздохом,— пожить бы там, в этом омуте новостей, искусств, мод, политики, ума и глупостей, безобразия и красоты, глубокомыслия и пошлостей — пожить бы эпикурейцем, насмешливым наблюдателем всех этих проказ!» «А вот Испания, с своей цветущей Андалузией,— уныло думал я, глядя в ту сторону, где дед указал быть испанскому берегу.— Севилья, caballeros с гитарами и шпагами, женщины, балконы, лимоны и померанцы. Dahin *[12] бы, в

* Туда (*нем.*),— *Ред.*

Гренаду куда-нибудь, где так умно и изящно путешествовал эпикуреец Боткин, [13] умевший вытянуть до капли всю сладость испанского неба и воздуха, женщин и апельсинов,— пожить бы там, полежать под олеандрами, тополями, сочетать русскую лень с испанскою и посмотреть, что из этого выйдет».

Но фрегат мчится — едва только дед успевает доносить начальству: 40, 38, 35 градусов, параллель — Сан-Винцента, Кадикса... Прощай, Испания, прощай, Европа! Прощайте, друзья мои! увижу ли я вас? Дойдут ли когда-нибудь до вас эти строки, которые пишу, точно под шум столетней дубровы, хотя под южным, но еще серым небом, пишу в теплом байковом пальто? Далеко, кажется, уехал я, но *чую* еще север *смущенной* душой; [14] до меня еще доносится дыхание его зимы, вижу его колорит на воде и небе. Я как будто близко. Я не вижу ни голубого неба, ни синего моря. Шум, холод и соленые брызги — вот пока моя сфера!

18-го января, в осьмой день по выходе из Англии, часов в 9 утра, кто-то постучался ко мне в дверь. «Кто там?» — спросил я. «Я»,— послышался ответ. «А! это вы, милый мой сосед?» — «Что вы делаете?» — спросил он. «Что?» — отвечал я вопросом, как Фаддеев. «Верно, лежите?» — «Почти...» — сказал я, барахтаясь от качки в постели, одолеваемый подушками. «Стыдитесь!» — «Я и то стыжусь, да что ж мне делать?» — говорил я, унимая подушки и руками, и ногами. «Мадера видна».— «Что вы? Фаддеев, Фаддеев!» — закричал я. Он вошел. «Что ж ты нейдешь будить меня? Мадера видна?» — спросил я, думая, не подшутил ли надо мной сосед. «Мадера?» — спросил Фаддеев, глядя на меня так тонко, как дай бог хоть какому дипломату. «Ну да»,— сказал я с нетерпением. Он стал смотреть на стену с обычным равнодушием. «Берег виден,— отвечал он, помолчав,— уж с седьмого часа». «Что ж ты не пришел мне сказать?»— упрекнул я его. «Воды горячей не было — бриться,— отвечал он,— да и сапоги не чищены». «Ну, давай, давай одеваться! Что там наверху?» — «Господи! как тепло, хорошо ходить-то по палубе: мы все сапоги сняли»,— отвечал он с своим равнодушием, не спрашивая ни себя, ни меня и никого другого об этом внезапном тепле в январе, не делая никаких сближений, не задавая себе задач... «Господи! — отвечал я,— как тебе, должно быть, занимательно и путешествовать, и жить на свете, младенец с исполинскими кулаками! Живо, живо одеваться!» — прибавил я. «Успеешь, ваше высокоблагородие,— отвечал он,— вот — на, прежде умойся!» Я боялся улыбнуться: мне жаль было портить это костромское простодушие европейской цивилизацией, тем более, что мы уже и вышли из Европы и подходили... к Костроме, в своем роде.

Я вышел на палубу. Что за картина! Вместо уродливых бугров с пеной и брызгами — крупная, но ровная зыбь. Ветер не режет лица, а играет около шеи, как шелковая ткань, и приятно щекочет нервы; солнце сильно греет. Перед глазами, в трех милях, лежит масса бурых холмов, один выше другого; разнообразные глыбы земли и скал, брошенных в кучу, лезут друг через друга все выше и выше. Одна скала как будто оторвалась и упала в море отдельно: под ней свод насквозь. Все казалось голо, только покрыто густым мхом. Но даль обманывала меня: это не мох, а целые

Остров Мадера. Порт Фунчал. ЦВММ. Ленинград.

леса; нигде не видать жилья. Холмы, как пустая декорация, поднимались из воды и, кажется, грозили рухнуть, лишь только подойдешь ближе. Налево виден был, но довольно далеко, *Порто-Санто*, а еще дальше — *Дезертос*, маленькие островки, или, лучше сказать, скалы. Дед пальцем показывал рулевым, как держать в пролив между ними. Мы еще были с боку Мадеры. Лицом она смотрела к югу. Стали огибать угол...

18 января. Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать! Cogito, ergo sum *[15] — путешествую, следовательно, наслаждаюсь, перевел я на этот раз знаменитое изречение, поднимаясь в носилках по горе и упиваясь необыкновенным воздухом, не зная, на что смотреть: на виноградники ли, на виллы, или на синее небо, или на океан. Мне казалось, что я с этого утра только и начал путешествовать, что судьба нарочно послала нам грозные, тяжелые и скучные испытания, крепкий, семь дней без устали свирепствовавший холодный ветер и серое небо, чтоб живее тронуть мягкостью воздуха, теплым блеском солнца, нежным колоритом красок и всей этой гармонией волшебного острова, которая связует здесь небо с морем, море с землей — и все вместе с душой человека. [16]

Когда мы обогнули восточный берег острова и повернули к южному, нас ослепила великолепная и громадная картина, которая как будто поднималась из моря, заслонила собой и небо, и океан, одна из тех картин, которые видишь в панораме, на полотне, и не веришь, приписывая обольщению кисти. Группа гор тесно жалась к одной главной горе — это первая большая гора, которую увидели многие из нас, и то она помещена в аристократию гор не за высоту, составляющую всего около 6000 футов над уровнем моря, а за свое вино. Но нам, особенно после низменных и сырых

* Я мыслю, следовательно, существую (*лат.*),— *Ред.*

берегов Англии, гора показалась исполином. И как она была хорошо убрана! На вершине белелся снег, а бока покрыты темною, местами бурою растительностью; кое-где ярко зеленели сады. В разных местах по горам носились облака. Там белое облако стояло неподвижно, как будто прильнуло к земле, а там раскинулось по горе другое, тонкое и прозрачное, как кисея, и сеяло дождь; гора опоясывалась радугами. В одном месте кроется целый лес в темноте, а тут вдруг обольется ярко лучами солнца, как золотом, крутая окраина с садами. Не знаешь, на что смотреть, чем любоваться; бросаешь жадный взгляд всюду и не поспеваешь следить за этой игрой света, как в диораме.

По скату горы шли виноградники, из-за зелени которых выглядывали виллы. На полгоре, на уступе, видна церковь, господствующая над садами и над городом. Город Фунчал... Ужели это город: эти белеющие внизу у самой подошвы, на берегу, домы, как будто крошки сахара или отвалившейся откуда-то штукатурки? Чем ближе подвигались мы к берегу, тем становилось теплее. Чувствуешь чье-то близкое горячее дыхание на лице. Горы справа, слева утесами спускались к берегу. На одном из них, слева от города, поставлена батарея. Внизу, под боком другого утеса, пробирался к рейду купеческий корабль. Мы навели зрительные трубы на него. Корабль был буквально покрыт, почти задавлен пассажирами, все эмигрантами, едущими из Европы в Америку или Австралию. Ну, дай бог им счастливо добраться! Нам показалось, что их там более трехсот человек. Как они помещаются?.. Все они вышли смотреть берег.

Гавани на Мадере нет, и рейд ее неудобен для судов, потому что нет глубины, или она, пожалуй, есть, и слишком большая, оттого и не годится для якорной стоянки: недалеко от берега — 60 и 50 сажен; наконец, почти у самой пристани, так что с судов разговаривать можно — все еще пятнадцать сажен. Военные суда мало становятся здесь на якорь, а купеческие хотя и останавливаются, но, чуть подует ветер с юга, они уходят на северную сторону, а от северных ветров прячутся здесь. Мы остановились здесь только затем, чтоб взять живых быков и зелени, поэтому и решено было на якорь не становиться, а держаться на парусах в течение дня; следовательно, остановка предполагалась кратковременная, и мы поспешили воспользоваться ею. Судно наше не в первый раз видело эти берега. Несколько лет назад оно было здесь и зимовало в Лиссабоне.

Нас окружили шлюпки всяких величин и форм. Приехал капитан над портом поздравить с благополучным прибытием и осведомиться о здоровье плавателей. Кажется, чего учтивее? А скажите-ка, что вы нездоровы, что у вас, например, человек двадцать — тридцать больных лихорадкой, так вас очень учтиво попросят не съезжать на берег и как можно скорее удалиться. Привезли апельсинов, еще чего-то; приехала прачка, трактирщица; все совали нам в руки свои адресы, а я опустил в карман своего пальто еще две карточки, к дюжинам прочих, приобретенных в Англии. Их так много накопилось в карманах всех платьев, что лень было заняться побросать их за борт. «В другое время, nur nicht heute», *[17] — думал я

* только не сегодня (*нем.*),— *Ред.*

согласно с известным немецким двустишием. После всего этого отделилась от берега шлюпка под русским флагом. В ней сидел русский чиновник, в вицмундире Министерства иностранных дел, с русским орденом в петлице. Это консул. Он узнал сейчас корабль, спросил, нет ли между плавателями старых знакомых, и пригласил нас несколько человек к себе на обед. Был час одиннадцатый утра, когда мы сели в консульскую шлюпку. Гребцы, все португальцы, одетые очень картинно, в белых спенсерах [18] с отложными воротниками, в маленьких, едва покрывающих темя красных и синих шапочках, но без обуви. Шея и грудь открыты; все почти с бородами, но без усов, и большею частью рослый, красивый народ.

Я, бывало, с большой недоверчивостью читал в путешествиях о каких-то необыкновенных запахах, которые доносятся, с берега за версту, до носов мореплавателей. Я думал, что эти запахи присутствовали в носовых платках путешественников, франтов эпохи Людовиков XIV и XV, когда прыскались духами до обморока. Но вот в самом деле мы еще далеко были от берега, а на нас повеяло теплым, пахучим воздухом, смесью ананасов, гвоздики, как мне казалось, и еще чего-то. Кто-то из нас, опытный в деле запахов, решил, что пахнет гелиотропом. [19] Вместе с запахом доносились звуки церковного колокола, потом музыки. А декорация гор все поминутно менялась: там, где было сейчас свежо, ясно, золотисто, теперь задернуто точно флером, а на прежнем месте, на высоте, вдруг озарились бурые холмы опаленной солнцем пустыни: там радуга.

Вглядываясь в новый, поразительный красотой берег, мы незаметно очутились у пристани, или, виноват, ее нет — ну там, где она должна быть. Шлюпки не пристают здесь, а выскакивают с бурунами на берег, в кучу мелкого щебня. Гребцы, засучив панталоны, идут в воду и тащат шлюпку до сухого места, а потом вынимают и пассажиров. Мы почти бегом бросились на берег по площади, к ряду домов и к бульвару, который упирается в море.

Как приятно расправить ноги после многодневного плавания! Походка еще неверна, надо несколько минут привыкать ходить, отвыкнешь и устаешь сразу.

На бульваре, под яворами и олеандрами, стояли неподвижно три человеческие фигуры, гладко бритые, с синими глазами, с красивыми бакенбардами, в черном платье, белых жилетах, в круглых шляпах, с зонтиками, и с пронзительным любопытством смотрели то на наше судно, то на нас. Нужно ли называть их? И тут они? Мало еще мы видели их! Лучшие дома в городе и лучшие виноградники за городом принадлежат англичанам. Пусть бы так; да зачем сами-то они здесь? Как неприятно видеть в мягком воздухе, под нежным небом, среди волшебных красок, эти жесткие явления! Но мы развлечены были разнообразием других предметов. Музыка, едва слышная на рейде, раздавалась громко из одного длинного здания — казарм, как сказал консул: музыканты учились. Мы пошли по улицам, расположенным амфитеатром, потому что гора начинается прямо от берега. Однако идти по мостовой не совсем гладко: она вся состоит из небольших довольно острых каменьев: и сквозь подошву чувствительно. В домах жалюзи наглухо опущены от жара; домы очень

просты, в два этажа и в один; многие окружены каменным забором. Везде видны сады, зелень, плющи; даже мостовая поросла мелкой травой.

Но отчего на улицах мало деятельности? Толпа народа гуляет праздно; все нарядно одеты. На юге вообще работать не охотники; но уж так лениться, что нигде ни признака труда,— это из рук вон. «Сегодня воскресенье. оттого и магазины заперты»,— сказал консул, который шел тут же с нами. Не помню, кто-то из путешественников говорил, что город нечист,— неправда, он очень опрятен, а белизна стен и кровель придают ему даже более нежели опрятный вид. Грязи здесь, под этим солнцем, быть не может. По словам консула, здесь никогда более трех дней дурной погоды не бывает, и то немного вспрыснет дождь, погремит гром — и снова солнце заиграет над островом. Да оно и не прячется никогда совершенно, и мы видели, что оно в одном месте светит, в другом на полчаса скроется. Оссиановской, сырой и туманной погоды [20] здесь не бывает.

Пока мы шли к консулу, нас окружила толпа португальцев, очень пестрая и живописная костюмами, с смуглыми лицами, черными глазами, в шапочках, колпаках или просто с непокрытой головой, красавцев и уродов, но больше красавцев. Между уродами немало видно обезображенных оспой. Есть и негры, но немного. Все они, на разных языках, больше по-французски и по-английски, очень плохо на том и другом, навязывались в проводники. «Вот госпиталь, вот казармы»,— говорил один, «это церковь такая-то»,— перебивал другой, «а это дом русского консула»,— добавил третий. Мы туда и повернули, и обманутые проводники вдруг замолчали.

Небольшой каменный дом консула спрятался за каменную же стену, между чистым двором и садом. Консул, родом португалец, женат на второй жене, португалке, очень молодой, черноглазой, бледной, тоненькой женщине. Он представил нас ей, но, к сожалению, она не говорила ни на каком другом языке, кроме португальского, и потому мы только поглядели на нее, а она на нас. Консул говорил по-английски и немного по-французски. Ему лет за 50. От первой жены у него есть взрослый сын, которого он обещал показать нам за обедом. Нас ввели почти в темную гостиную; было прохладно, но подняли жалюзи, и в комнату хлынул свет и жар. Из окон прекрасный вид вниз, на расположенные амфитеатром по берегу домы и на рейд. Но мы только что ступили на подошву горы: дом консула недалеко от берега — прекрасные виды еще были вверху.

Поговорив немного с хозяином и помолчав с хозяйкой, мы объявили, что хотим гулять. Сейчас явилась опять толпа проводников и другая с верховыми лошадьми. На одной площадке, под большим деревом, мы видели много этих лошадей. Трое или четверо наших сели на лошадей и скрылись с проводниками. Консул предложил, не хочу ли я, мне приведут также лошадь, или не предпочту ли я паланкин. «В паланкине было бы покойнее»,— сказал я. Консул не успел перевести оставшейся с нами у ворот толпе моего ответа, как и эта толпа бросилась от нас и исчезла. Консул извинился, что не может провожать нас в горы. «Там воздух холоден,— сказал он,— теперь зима, и я боюсь за себя. Вам советую надеть пальто»,— прибавил он, но я оставил пальто у него в доме. Зима!

хороша зима: по улице жарко идти, солнце пропекает спину чуть не насквозь. «Не опоздайте же к обеду: в 4 часа!» — кричал мне консул, когда я, в ожидании паланкина, пошел по улице пешком. За мной увязались идти двое мальчишек; один болтал по-французски, то есть исковеркает два слова французских да прибавит три португальских; другой то же делал с английским языком. Однако ж мы как-то понимали друг друга.

Я не торопился на гору: мне еще ново было все в городе, где на всем лежит яркий, южный колорит. И тут солнце светит не по-нашему, как-то румянее; тени оттого все резче, или уж мне так показалось после продолжительной дурной погоды. Из-за заборов выглядывает не наша зелень. Везде по стенам и около окон фестоном лепится бесконечный плющ да целая ширма широколиственного винограда. Местами видны, поверх заборов, высокие стройные деревья, с мелкою зеленью, это — мирты и кипарисы. Народ, непохожий на наш, северный: всё смуглые лица да резкие, подвижные черты. А вот вдруг вижу, однако ж, что-то очень северное, будто сани. Что за странность: экипажи на полозьях, из светлого, кажется, ясеневого или пальмового дерева; на них места, как в кабриолете. Запряжены эти сани парой быков, которые, разумеется шагом, тащат странный экипаж по каменьям. В экипаже сидит семейство: муж с женой и дети. «Стало быть, колясок и карет здесь нет,— заключил я,— мало места, и ездить им на гору круто, а по городу негде». Ездят верхом и в носилках. Мимо меня проскакала, на небольшой красивой лошадке, плотная барыня, вся в белой кисее, в белой шляпе; подле, держась за уздечку, бежал проводник. И наши поехали с проводниками, которые тоже бежали рядом с лошадью, да еще в гору — что же у них за легкие? Другую барыню быстро пронесли мимо меня в паланкине. Так вот он, паланкин! Это маленькая повозочка или колясочка, вроде детских, обитая какой-нибудь материей, обыкновенно ситцем или клеенкой. К крышке ее приделана посредине толстая жердь, которую проводники кладут себе на плечи. Я все шел пешком, и двое мальчишек со мной. В домах иногда открывались жалюзи; из-за них сверкал чей-то глаз, и потом решетка снова захлопывалась. Это какой-нибудь сонный португалец или португалка, услышав звонкие шаги по тихой улице, на минуту выглядывали, как в провинции, удовлетворить любопытству и снова погружались в дремоту сьесты.[21] Дальше опять я видел важно шагающего англичанина, в белом галстуке, и если не с зонтиком, так с тростью. Там, должно быть у шинка, толчется кучка народу. Но все тихо: по климату — это столица мира; по тишине, малолюдству и образу жизни — степная деревня.

Слышу топот за собой. За мной мчится паланкин; проводники догнали меня и поставили носилки на землю. Напрасно я упрашивал их дать мне походить; они схватили меня с криком за обе руки и буквально упрятали в колыбель. Мне было как-то неловко, совестно ехать на людях, и я опять было выскочил. Они опять стали бороться со мной и таки посадили или, лучше сказать, положили, потому что сидеть было неловко. «А что ж, ничего! — думал я,— мне хорошо, как на диване; каково им? Пусть себе несут, коли есть охота!» Я ожидал, что они не поднимут меня, но они, как

ребенка, вскинули меня с паланкином вверх и помчали по улицам. А всего двое: но зато что за рослый, красивый народ! как они стройны, мужественны на взгляд! Из-за отстегнутого воротника рубашки глядела смуглая и крепкая грудь. Оба, разумеется, черноглазые, черноволосые, с длинными бородами. Скоро мы стали подниматься в гору; я думал, тут устанут они, но они шли скорым шагом. Однако ж лежать мне надоело: я привстал, чтоб сесть и смотреть по сторонам. Преширокая ладонь подкралась сзади и тихонько опрокинула меня опять на спину. «Это что?» Я опять привстал, колыбель замоталась и пошла медленнее. Опять та же ладонь хочет опрокидывать меня. «Я сидеть хочу, goddam!» * — закричал я. Они объяснили, что им так неловко нести, тяжело... «А, тяжело? мне что за дело: взялись, так несите». Но чуть я задумывался, ладонь осторожно пыталась, как будто незаметно от меня самого, опрокинуть меня. Мне надоело это, и я пошел пешком. «Зима — хороша зима!» — думал я, скидая жакетку. А консул советовал еще надеть пальто, говорил, что в горах воздух холоден. Как не холоден — печет!

Проводники вдруг остановились у какого-то домика, что-то крикнули, и нам вынесли кружки три вина. Подают и мне — как не попробовать: ведь это мадера, еще и прямо из источника! Точно, мадера; но что за дрянь! должно быть, молодое вино. Я отдал кружку назад. Проводники поклонились мне и мгновенно осушили свои кружки, а двое мальчишек, которые бежали рядом с паланкином и на гору, выпили мою. Все это, конечно, на мой счет, потому что, подав кружки, португалец обратился ко мне с словами: «One shilling, signor». ** Из-за забора выглядывала виноградная зелень, но винограда уже не было ни одной ягоды: он весь собран давно. Меня понесли дальше; с проводников ручьями лил пот. «Как же вы пьете вино, когда и так жарко?» — спросил я их с помощью мальчишек и посредством трех или четырех языков. «Вино-то и помогает: без него устали бы»,— отвечали они и, вероятно на основании этой гигиены, через полчаса остановились на горе у другого виноградника и другой лавочки и опять выпили.

Тут на дверях висела связка каких-то незнакомых мне плодов, с виду похожих на огурцы средней величины. Кожа, как на бобах — на иных зеленая, на других желтая, «Что это такое?» — спросил я. «Бананы»,— говорят. «Бананы! тропический плод! Дайте, дайте сюда!» Мне подали всю связку. Я оторвал один и очистил — кожа слезает почти от прикосновения, попробовал — не понравилось мне: пресно, отчасти сладко, но вяло и приторно, вкус мучнистый, похоже немного на картофель, и на дыню, только не так сладко, как дыня, и без аромата или с своим собственным, каким-то грубоватым букетом. Это скорее овощь, нежели плод, и между плодами он — parvenu. *** Я заплатил шиллинг и пошел к носилкам; но хозяин лавочки побежал за мной и совал мне всю связку. «Не надо!» — сказал я. «Вы заплатили за всю, signor! так надо»,— говорил он и положил связку в носилки.

* черт возьми (*англ.*),— *Ред.*

** «Один шиллинг, сеньор» (*англ.*),— *Ред.*

*** выскочка (*франц.*),— *Ред.*

Мы поднимались все выше; дорога шла круче. «Что это такое?» — спрашивал я, часто встречая по сторонам прекрасные сады с домами. «English garden» (английский сад),— говорили проводники. На лучших местах везде были english garden. Я входил в ворота, и глаза разбегались по прекрасным аллеям тополей, акаций, кипарисов. В тени зелени прятались домы изящной архитектуры, с галереями, верандами, со всеми затеями барской роскоши; тут же были и их виноградники. Англичане здесь господа; лучшее вино идет в Англию. Между португальскими торговыми домами мало богачей. Наш консул считается значительным виноторговцем, но он живет очень скромно в сравнении с британскими негоциантами. Они торгуют не одним вином. По просьбе консула, несмотря на воскресенье, нам отперли магазин, лучший на всем острове, и этот магазин — английский. Чего в нем нет! английские иглы, ножи и прочие стальные вещи, английские бумажные и шерстяные ткани, сукна; их же бронза, фарфор, ирландские полотна. Сожалеть ли об этом или досадовать — право, не знаю. Оно досадно, конечно, что англичане на всякой почве, во всех климатах пускают корни, и всюду прививаются эти корни. Еще досаднее, что они носятся с своею гордостью, как курица с яйцом, и кудахтают на весь мир о своих успехах; наконец, еще более досадно, что они не всегда разборчивы в средствах к приобретению прав на чужой почве, что берут, чуть можно, посредством английской промышленности и английской юстиции; а где это не в ходу, так вспоминают средневековый фаустрехт [22] — все это досадно из рук вон. Но зачем не сказать и правды? Не будь их на Мадере, гора не возделывалась бы так деятельно, не была бы застроена такими изящными виллами, да и дорога туда не была бы так удобна; народ этот не одевался бы так чисто по воскресеньям. Не даром он говорит по-английски: даром южный житель не пошевелит пальцем, а тут он шевелит языком, да еще по-английски. Англичанин дает ему нескончаемую работу и за все платит золотом, которого в Португалии немного. Конечно, в другом месте тот же англичанин возьмет сам золото, да еще и отравит, как в Китае например... [23] Но теперь не о Китае речь.

На одной вилле, за стеной, на балконе, я видел прекрасную женскую головку: она глядела на дорогу, но так гордо, с таким холодным достоинством, что неловко и нескромно было смотреть на нее долго. Голубые глаза, льняные волосы: должно быть, мисс или леди, но никак не сеньора. Однако я устал идти пешком и уже не насильно лег в паланкин, но вдруг вскочил опять: подо мной что-то было: я лег на связку с бананами и раздавил их. Я хотел выбросить их, но проводники взяли, разделили поровну и съели. Мы продолжали подниматься по узкой дороге между сплошными заборами по обеим сторонам. Кое-где между зелени выглядывали цветы, но мало. А зима, говорит консул. Хороша зима: олеандр в цвету!

Вдруг в одном месте мы вышли на открытую со всех сторон площадку. Португальцы поставили носилки на траву. «Bella vischta, signor!» — сказали они. В самом деле, прекрасный вид! Описывать его смешно. Уж лучше снять фотографию: та по крайней мере передаст все подробности. Мы были на одном из уступов горы, на половине ее высоты... и того нет: под ногами нашими целое море зелени, внизу город, точно игрушка; там

чуть-чуть видно, как ползают люди и животные, а дальше вовсе не игрушка — океан; на рейде опять игрушки — корабли, в том числе и наш.

Не хотелось уходить оттуда, а пора, да и жарко. Но я все стоял. «Bella vischta!» — сказал я португальцам и потом прибавил grazia — не зная, как сказать им «благодарю». Они поклонились мне, значит, поняли. Можно снять посредством дагерротипа, [24] пожалуй, и море, и небо, и гору с садами, но не нарисуешь этого воздуха, которым дышит грудь, не передашь его легкости и сладости. Много рассказывают о целительности воздуха Мадеры: может быть, действие этого воздуха на здоровье заметно по последствиям; но сладостью, которой он напитан, упиваешься, лишь только ступишь на берег. Я дышал, бывало, воздухом нагорного берега Волги [25] и думал, что нигде лучше не может быть. Откроешь утром в летний день окно, и в лицо дунет такая свежая, здоровая прохлада. На Мадере я чувствовал ту же свежесть и прохладу волжского воздуха, который пьешь, как чистейшую ключевую воду, да, сверх того, он будто растворен... мадерой, скажете вы? Нет, тонкими ароматами этой удивительной почвы, питающей северные деревья и цветы рядом с тропическими, на каждом клочке земли в несколько сажен, и не отравляющей воздуха никаким ядовитым дыханием жаркого пояса. В этом состоит особенность и знаменитость острова.

Кажется, ни за что не умрешь в этом целебном, полном неги воздухе, в теплой атмосфере, то есть не умрешь от болезни, а от старости разве, и то когда заживешь чужой век. Однако здесь оканчивает жизнь дочь бразильской императрицы, сестра царствующего императора. [26] Но она прибегла к целительности здешнего воздуха уже в последней крайности, как прибегают к первому знаменитому врачу — поздно: с часу на час ожидают ее кончины. Португальцы с выражением глубокого участия сказывали, что принцесса — «sick, very sick» (очень плоха) и сильно страдает. Она живет на самом берегу, в красивом доме, который занимал некогда блаженной памяти его императорское высочество герцог Лейхтенбергский.[27] Капитан над портом, при посещении нашего судна, просил не салютовать флагу, потому что пушечные выстрелы могли бы потревожить больную.

Хороша зима! А кто ж это порхает по кустам, поет? Не наши ли летние гостьи? А там какие это цветы выглядывают из-за забора? Бывают же такие зимы на свете!

Меня понесли с горы другою дорогою, или, лучше сказать, тропинкою, извилистою, узенькою, среди неогороженных садов и виноградников, между хижин. Во всю дорогу в глазах была та же картина, которую вытеснят из памяти только такие же, если будут впереди. Нам попадались всё рослые португальцы. Женщины, особенно старые, повязаны платками и в этом наряде — точь-в-точь наши деревенские бабы. Мы опять остановились у виноградника; это было уже в третий и, как я объявил, в последний раз. Четвертый час — надо было торопиться к обеду. В небольшом домике, или сарае с скамьями, был хозяин виноградника или приказчик; тут же были две женщины. Мне бросилась в глаза красота одной, южная и горячая. Она была высокого роста, смугла, с ярким румянцем, с боль-

шими черными глазами и с косой, которая, не укладываясь на голове, падала на шею,— словом, как на картинах пишут римлянок. Другую я едва заметил, хотя она беспрестанно болтала и смеялась. Она была... старуха.

Прежде нежели я сел на лавку, проводники мои держали уже по кружке и пили. «А signor не хочет вина?» — спросил хозяин. Я покачал головой. «А за здоровье сеньоры?» — спросил он, заметив, что я пристально изучаю глазами красавицу. «Вино это нехорошо; красавица лучше стоит»,— сказал я. Едва мальчишки перевели ему это, как он вышел вон и вскоре воротился с кружкой другого вина. Он с гордостью и уверенностью подал мне кружку и что-то сказал, чего я не понял. Я поклонился красавице и попробовал. «Да, это не то вино, что подавали проводникам: это положительно хорошая мадера». Я с удовольствием выпил глотка два и передал кружку красавице. Она отпила немного, но я сделал ей знак, чтоб она продолжала; она смеялась и отговаривалась; хозяин сказал что-то, и она кончила кружку. «А за эту?» — сказали проводники. Я обернулся: старуха сидела уже подле меня. Принесли и еще кружку; я опять попробовал за здоровье старой португалки. Благодарностям не было конца. Все вышли меня провожать, и хозяин, и женщины, награждая разными льстивыми эпитетами.

Мы быстро спустились в город, промчались мимо домов, нескольких отелей, между прочим французского, через площадь. На дороге перегнали меня наши спутники верхом. По дороге пришлось проходить через рынок. Он живо напомнил мне сцену из «Фенеллы»: такая же толпа мужчин и женщин, пестро одетых, да еще вдобавок были тут негры, монахи; все это покупает и продает. [28] Рынок заставлен корзинами с фруктами, с рыбой; тут стоймя приставлены к дверям лавок связки сахарного тростника, который режут кусками и продают простому народу как лакомство. Везде лежат кучи зелени, овощей. Вдруг вижу знакомое лицо: это наш спутник, который закупает провизию. Но отчего у него постное лицо? Меня поднесли к нему. «Ах, это вы?» — сказал он, прищурясь и вглядываясь в меня. «А это вы? — сказал я,— что вы так невеселы?» «Да вот поглядите,— отвечал он, указывая на быка, которого я в толпе народа и не заметил,— что это за бык? В Англии собаки больше: и десяти пудов нет». «Ну, пойдемте к консулу обедать,— сказал я,— и попробуем, каковы эти быки на вкус». Он вздохнул, и мы отправились. Быки здесь в самом деле мелки, но говядина очень хороша.

На дворе у консула оба носильщика, спустив меня с носилок, протянули ко мне руки, а за ними мальчишки. «Сколько они просят?» — спросил я консула, который смотрел в окно. Он поговорил с ними. «Дорого просят: три доллара,— сказал он.— Как далеко вы были? где?» Но почем я знал, где я был? Я отдал ему фунт стерлинг и просил заплатить и носильщикам, и мальчишкам. Получив деньги, мальчишки быстро скрылись со двора, а носильщики протянули опять руки. «Чего им?» — спросил я консула. «Пустое, не надо! — кричал консул, махая им рукой,— идите, идите! На водку еще просят. Не давайте...» «Да они три раза взяли с меня натурою,— сказал я,— теперь вот...» Я бросил им по мелкой монете. Они

быстро подобрали и с поклонами, быстрее мальчишек, исчезли со двора. А все на русского человека говорят, что просит на водку: он точно просит; но если поднесут, так он и не попросит; а жителю юга, как вижу теперь, и не поднесут, а он выпьет и все-таки попросит на водку.

Я застал хозяйку в саду. С ней была пожилая дама, вся в черном, начиная с чепца до ботинок; и сама хозяйка тоже; они, должно быть, в трауре. Хозяйка представила меня старушке: «My mother» (матушка),— сказала она. Сад маленький, но чего тут не было? Кофейные деревья, бананы, ананасы, множество цветов. Хозяйка сорвала одну кофейную почку, открыла и показала нам внутри два уже сформировавшиеся кофейные зерна. «Как жаль, что теперь зима!» — говорила она, а муж переводил: «Ничего нет! Вот ананасы еще не поспели»,— и она указала на гряду известной вам зелени ананасов. «К десерту нечего подать. Одни только бананы!» Зима! «Как жаль, что этакая зима!» До какой степени могут избаловаться люди! «А это что? посмотрите-ка, ведь это наш зеленый лук?» — сказал Бутаков, сорвал пучок, и мы с ним отведали нашего северного плода.

Консул познакомил нас с сыном, молодым человеком лет двадцати с небольшим. Он только что воротился из Франции, где учился медицине. Я все думал, как обедают по-португальски, и ждал чего-нибудь своего, оригинального; но оказалось, что нынче по-португальски обедают по-английски: после супа на стол разом поставили ростбиф, котлеты и множество блюд со всякою зеленью — всё явления знакомые. В этом почти и состоял весь обед. Главным украшением его было вино и десерт. Вино, разумеется, мадера, красная и белая. И та, и другая превосходного качества, особенно красная, как рубин, которая называется здесь тинто. Лучше, кажется, и не выдумаешь вина. Правда, я пил в Петербурге однажды вино, привезенное в подарок отсюда же, превосходное, но другого рода, из сладких вин, известное под названием мальвази-мадеры. Красная мадера не имеет ни малейшей сладости; это капитальное вино, и нам показалось несравненно выше белой, madeire secco, * которую мы только попробовали, а на другие вина и не смотрели.

Десерт состоял из апельсинов, варенья, бананов, гранат; еще были тут, называемые по-английски кастард-эппльз (custard apples), плоды, похожие видом и на грушу, и на яблоко, с белым мясом, с черными семенами. И эти были неспелые. Хозяева просили нас взять по нескольку плодов с собой и подержать их дня три-четыре и тогда уже есть. Мы так и сделали. Действительно, нет лучше плода: мягкий, нежный вкус, напоминающий сливочное мороженое и всю свежесть фрукта, с тонким ароматом. Плод этот, когда поспеет, надо есть ложечкой. Если не ошибаюсь, по-испански он называется *нона*. Обед тянулся довольно долго, по-английски, и кончился тоже по-английски: хозяин сказал спич, в котором изъявил удовольствие, что второй раз уже угощает далеких и редких гостей, желал счастливого возвращения и звал вторично к себе.

Уже в сумерки простились мы с португальским семейством, оказавшим

* сухая мадера (*искаж. порт.*), — *Ред.*

нам гостеприимство. Этот день, вырванный из береговой жизни, надолго разлил чувство удовольствия между нами. Внезапно развернувшаяся перед нами картина острова, жаркое солнце, яркий вид города, хотя чужие, но ласковые лица — все это было нежданным веселым, праздничным мгновением и влило живительную каплю в однообразный, долгий путь. Я забыл о прошедших неудобствах и покойнее смотрел на будущие. Нигде человек не бывает так жалок, дерзок и по временам так внезапно счастлив, как на море. Хозяйка дала нам по букету цветов. Я сказал, что отошлю свой, в подарок от нее, русским женщинам. Она поверила и нарвала мне еще. Я только сел в шлюпку и пустил букет в море. «Что же это? как можно?» — закричите вы на меня... А что ж с ним делать? не послать же в самом деле в Россию. «В стакан поставить да на стол». Знаю, знаю. На море это не совсем удобно. «Так зачем и говорить хозяйке, что пошлете в Россию?» Что это за житье — никогда не солги!

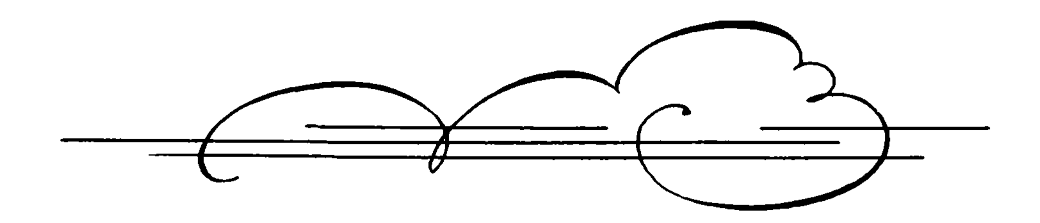
Но пора кончить это письмо... Как? что?.. А что ж о Мадере: об управлении города, о местных властях, о числе жителей, о количестве выделываемого вина, о торговле: цифры, факты — где же все? Вправе ли вы требовать этого от меня? Ведь вы просили писать вам о том, что я сам увижу, а не то, что написано в ведомостях, таблицах, календарях. Здесь все, что я видел в течение 10-ти или 12-ти часов пребывания на Мадере. Жителей всех я не видел, властей тоже и даже не успел хорошенько посетить ни одного виноградника.

Когда мы сели в шлюпку, корабль наш был верстах в пяти; он весь день то подходил к берегу, то отходил от него. Теперь чуть видны были паруса. Ветер дул северный и довольно свежий, но ровный. Было тепло; северный холод не доносился до берегов Мадеры. Я глядел все назад, на остров: мне хотелось навсегда врезать его в память. Между тем темнота наступала быстро. Облака подвигались на высоту пика, потом вдруг обнажали его вершину, а там опять скрывали ее; казалось, надо было ожидать бури, но ничего не было: тучи только играли с горами. Я обернулся на Мадеру в последний раз: она вся закуталась, как в мантию, в облака, как будто занавес опустился на волшебную картину, и лежала далеко за нами темной массой; впереди довольно уже близко неслась на нас другая масса — наш корабль.

Я послал к вам коротенькое письмо с Мадеры, а это пошлю из первого порта, откуда только ходит почта в Европу; а откуда она не ходит теперь?

До свидания.

Атлантический океан.
23 января 1853.



III

ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ

Норд-остовый пассат.— Острова Зеленого Мыса.— С.-Яго и Порто-Прайя.— Северный тропик.— Тропическая зима.— Штилевая полоса.— Экватор.— Южный тропик и зюйд-остовый пассат.— Летучие рыбы и акулы.— Опять штили.— Масленица.— Образ жизни на фрегате.— Купанье.— Море и небо.

(Письмо к В. Г. Бенедиктову)

В поэтическом и дружеском напутствовании * вы указали мне, Владимир Григорьевич, обогнуть земной шар. Я не обогнул еще и четверти, а между тем мне захотелось уже побеседовать с вами на необъятной дали, среди волн, на рубеже Атлантического, Южнополярного и Индийского морей, когда вокруг все спит, кроме вахтенного офицера, меня и океана. Мне хочется поверить, так ли далеко «слышен сердечный голос», как предсказали вы? К сожалению, это обстоятельство зависит более от исправности почт, нежели сердец наших.

Хотелось бы верно изобразить вам, где я, что вижу, но о многом говорят чересчур много, а сказать нечего; с другого, напротив, как ни бейся, не снимешь и бледной копии, разве вы дадите взаймы вашего воображения и красок. Я из Англии писал вам, что чудеса выдохлись, праздничные явления обращаются в будничные, да и сами мы уже развращены ранним и заочным знанием так называемых чудес мира, стыдимся этих чудес, торопливо стараемся разоблачить чудо от всякой поэзии, боясь, чтоб нас не заподозрили в вере в чудо или в младенческом влечении к нему: мы выросли и оттого предпочитаем скучать и быть скучными. Где искать поэзии? Одно анализировано, изучено и утратило прелесть тайны, другое прискучило, третье оказалось ребячеством. Куда же делась

---

* В послании к И. А. Гончарову, напечатанном в полном собрании стихотворений Бенедиктова.[1]

поэзия и что делать поэту? Он как будто остался за штатом. Надеть ли поэзию, как праздничный кафтан, на современную идею или по-прежнему скитаться с ней в родимых полях и лесах, смотреть на луну, нюхать розы, слушать соловьев или, наконец, идти с нею сюда, под эти жаркие небеса? Научите. [2]

Для меня путешествие имеет еще пока не столько прелесть новизны, сколько прелесть воспоминаний. Проходя практически каждый географический урок, я переживаю угасшее, некогда страстное впечатление, какое рождалось с мыслью о далеких странах и морях, и будто переживаю детство и юность. Но подчас бывает досадно. Вот морская карта: она вся испещрена чертами, точками, стрелками и надписями. «В этой широте,— говорит одна надпись,— в таких-то градусах, ты встретишь такие ветры», и притом показаны месяц и число. «Там около этого времени попадешь в ураган»,— далее сказано тоже, как и выйти из него: «А там иди по такой-то параллели, попадешь в муссон, который донесет тебя до Китая, до Японии». Далее еще лучше: «В таком-то градусе увидишь в первый раз акул, а там летучую рыбу» — и точно увидишь. «В 38° ю. ш. и 75° в. д. сидят, сказано, птицы».— «Ну,— думаю,— уж это вздор: не сидят же они там»,— и стал следить по карте. Я просил других дать себе знать, когда придем в эти градусы. Утром однажды говорят мне, что пришли: я взял трубу и различил на значительном пространстве черные точки. Подходим ближе: стая морских птиц колыхается на волнах. Наконец, написано, что в атлантических тропиках термометр не показывает более 23° по Реомюру в тени. И точно не показывает.

Одно только не вошло в Реперовы таблицы, [3] не покорилось никаким выкладкам и цифрам, одного только не смог никто записать на карте...

Но дайте договориться до этих чудес по порядку, как я доехал до них.

Я писал вам, как я был очарован островом (и вином тоже) Мадеры. Потом, когда она скрылась у нас из вида, я немного разочаровался. Что это за путешествие на Мадеру? От Испании рукой подать, всего каких-нибудь миль триста! Это госпиталь Европы.

Но вот стали выходить из тридцатых градусов: все теплее и теплее. «Пар костей не ломит»,— выдумали поговорку у нас; но эта поговорка заключает отрицательную похвалу теплу от печки, которая, кроме тепла, ничего и не дает организму. А солнечное, и притом здешнее тепло! Боже мой! что оно делает с человеком? как облегчит от всякой нравственной и физической тягости! точно снимет ношу с плеч и с головы, даст свободу дыханию, чувству, мысли... И так целые, многие дни и ночи! Долго мы не выйдем из магического круга этого голубого, вечно сияющего лета. Подумайте, года два все будет лето: сколько в этой перспективе уместится тех коротких мгновений, которые мы, за исключением холода, дождей и туманов, насчитаем в нашем северном миньятюрном лете!

«Дед, где мы теперь?» — спросил я однажды. «Я уж вам три раза сегодня говорил; не стану повторять»,— ворчит он; потом по обыкновению скажет. «Пойдемте,— говорит, таща меня за рукав на ют,— вон это что? глядите!..» «Облако». — «Как не облако! посмотрите хорошенько: ну, что?» — «Туча».— «Эх вы, туча! Какая туча? остров Пальма».— «Что

вы! Канарские острова!» — «Как же вы не видите?» — «Что ж делать, если здесь облака похожи на берега, а берега на облака. Где же Тенериф?» — спрашиваю я, пронзая взглядом золотой туман и видя только бледно-синий очерк «облака», как казалось мне. «Не увидим,— говорит дед,— мы у него на параллели, только далеко». «Зайдем в Санта Круц?»— «Опять зайти: часто будет! Эдак никогда не доберемся до Японии».— «А под каким градусом лежит Пальма?» — «Подите посмотрите сами на карте». Я не пошел, зная, что он скажет. И в самом деле сказал. «Под 27°. Ведь с вами же вчера целый час толковали».— «Забыл».— «Как же я-то не забываю?» — «На то вы дед. Да что это, пассат, что ли, дует?» — спросил я, а сам придержался за снасть, потому что время от времени покачивало. «Кто его знает? не разберешь! — ворчал дед.— Рано бы, кажется, а похож. Вот подождем денька два-три».

Но денька два-три прошли, перемены не было: тот же ветер нес судно, надувая паруса и навевая на нас прохладу. По-русски приличнее было бы назвать пассат вечным ветром. Он от века дует одинаково, поднимая умеренную зыбь, которая не мешает ни читать, ни писать, ни думать, ни мечтать. Переход от качки и холода к покою и теплу был так ощутителен, что я с радости не читал и не писал, позволял себе только мечтать — о чем? о Петербурге, о Москве, о вас? Нет, сознаюсь, мечты опережали корабль. Индия, Манила, Сандвичевы острова — все это вертелось у меня в голове, как у пьяного неясные лица его собеседников.

22 января Л. А. Попов, штурманский офицер, за утренним чаем сказал: «Поздравляю: сегодня в восьмом часу мы пересекли северный тропик».— «А я ночью озяб»,— заметил я. «Как так?» — «Так, взял да и озяб: видно, кто-нибудь из нас охладел, или я, или тропики. Я лежал легко одетый под самым люком, а „ночной зефир струил эфир“ [4] прямо на меня».

«Ну, что море, что небо? какие краски там? — слышу я ваши вопросы.— Как всходит и заходит заря? как сияют ночи? Все прекрасно — не правда ли?» — «Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день...» Вы хмуритесь? А позвольте спросить: разве есть что-нибудь не прекрасное в природе? Отыщите в сердце искру любви к ней, подавленную гранитными городами, сном при свете солнечном и беготней в сумраке и при свете ламп, раздуйте ее и тогда попробуйте выкинуть из картины какую-нибудь некрасивую местность. По крайней мере со мной, а с вами, конечно, и подавно, всегда так было: когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и зданий, на минуту, случайно, падали на первый болотный луг, на крутой обрыв берега, всматривались в чащу соснового леса с песчаной почвой: как полюбишь каждую кочку, песчаный косогор [5] и поросшую мелким кустарником рытвину! Все находило почетное место в моей фантазии, все поступало в капитал тех материалов, из которых слагается нежная, высокая, артистическая сторона жизни. Раз напечатлевшись в душе, эти бледные, но полные своей задумчивой жизни образы остаются там до сей минуты, нужды нет, что рядом с ними теснятся теперь в душу такие праздничные и поразительные явления.

Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой [6] Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет чрез Аничков [7] и Полицейский [8] мосты, медленно опустится за Чекуши; [9] когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновенье разольется туман, и потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурино, [10] и Крестовский остров. [11] Сознайтесь, что и Мурино, и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, жемчуг, изумруды...

Виноват, плавая в тропиках, я очутился в Чекушах и рисую чухонский пейзаж; это, впрочем, потому, что мне еще не шутя нечего сказать о тропиках. Каждый день во всякое время смотрел я на небо, на солнце, на море — и вот мы уже в 14° широты, а небо все такое же, как у нас, то есть повыше, на зените, голубое, к горизонту зеленоватое. Тепло, как у нас в июле, и то за городом, а в городе от камней бывает и жарче. Мы оделись в тропическую форму: в белое, а потом сознались, что если б остались в небелом, так не задохлись бы. Реомюр показывал 22° в тени. Лучи теряют свою жгучую силу на море. Кроме того, палубу смачивали водой и над головой растягивали тент. Кругом не было стен и скал, запирающих воздух, и сквозь снасти свободно веял пассат. Небо часто облачно, так что мы не можем видеть ни восхождения, ни захождения солнца. Оно выходило из-за облак и садилось в тучи. «Что ж это вы, дед, насказали о тропических жарах, о невиданных ночах, о Южном Кресте? Все, что мы видим, слабо...» — «Теперь зима, январь,— говорит он, обмахиваясь фуражкой и отирая пот, капавший с небритого подбородка,— вот дайте перевалиться за экватор, тогда будет потеплее. А Южный Крест должен быть теперь здесь, вон за левой вантой!» — и он указал коротеньким пальцем на ванту. «Дался им этот Крест,— ворчал дед, спускаясь в люк,— выдумали Крест! И Креста-то никакого нет: просто четыре небольшие звезды... Пойти-ка лучше лечь, а то еще...» — и исчез в люк.

Вверху, однако ж, небо было свободно от туч, и оттуда, как из отверстий какого-то озаренного светом храма, сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, горячо светят они! кажется, от них это так тепло по ночам! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая на непонятном языке картина неба никогда не надоест глазам. Выйдешь из каюты на полчаса дохнуть ночным воздухом и простоишь в онемении два-три часа, не отрывая взгляда от неба, разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости. Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой пучине Млечного Пути. Все хочется доискаться, на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих таинственных, непонятных речей? И уйдешь, не объяснив ничего, но уйдешь в каком-то чаду раздумья и на другой день жадно читаешь опять.

Море... Здесь я в первый раз понял, что значит «синее» море, а до сих

пор я знал об этом только от поэтов, в том числе и от вас. Синий цвет там, у нас, на севере — праздничный наряд моря. Там есть у него другие цвета, в Балтийском, например, желтый, в других морях зеленый, так называемый аквамаринный. Вот, наконец, я вижу и синее море, какого вы не видали никогда. Это не слегка сверху окрашенная вода, а густая яхонтовая масса, одинаково синяя на солнце и в тени. Не устанешь любоваться, глядя на роскошное сияние красок на необозримом окружающем нас поле вод.

Как ни привыкаешь к противоположностям здешнего климата с нашим и к путанице во временах года, а иногда невольно поразишься мыслью, что теперь январь, что вы кутаетесь там в меха, а мы напрасно ищем в воде отрады. Только Фаддеев ничем не поражается: «Тепло, хорошо!» — говорит он. Зима, зима, а палубу то и дело поливают водой, но дерево быстро сохнет и издает сильный запах; смола, канат тоже, железо, медь — и те под этими лучами пахнут. Видели мы пролетевшую над водой одну летучую рыбу да одну шарку, или акулу, у самого фрегата. О животных больше и помину не было. Зима все продолжалась, то есть облака плотно застилали горизонт, по вечерам иногда бывало душно, но духота разрешалась проливным дождем — и опять легко и отрадно было дышать.

Мои товарищи всё доискивались, отчего погода так мало походила на тропическую, то есть было облачно, как я сказал, туманно и вообще мало было свойств и признаков тропического пояса, о которых упоминают путешественники. Приписывали это близости африканского берега или каким-нибудь неизвестным нам особенным свойствам Гвинейского залива. Любопытно бы было сравнить шканечные журналы нескольких мореплавателей в этих долготах, чтоб решить о том, одинаковые ли обстоятельства сопровождают плавание в большей или в меньшей долготе. Да, я забыл сказать, что мы не последовали примеру большей части мореплавателей, которые, отправляясь из Европы на юг Америки или Африки, стараются, бог знает для чего, пересечь экватор как можно дальше от Африки. Один из новейших путешественников, Бельчер, кажется, первый заметил, что нет причины держаться ближе Америки, особенно когда идут к мысу Доброй Надежды или в Австралию, [12] что это удлиняет только путь, тем более, что зюйд-остовый пассат и без того относит суда далеко к Америке и заставляет делать значительный угол. Следуя этому основательному указанию, наш адмирал велел держать ближе к Африке, и потому мы почти не выходили из 14 и 15° западной долготы.

Мы не заметили, как северный, гнавший нас до Мадеры ветер слился с пассатом, и когда мы убедились, что этот ветер не случайность, а настоящий пассат, и что мы уже его не потеряем, то адмирал решил остановиться на островах Зеленого Мыса, в пятистах верстах от африканского материка, и именно на острове Сант-Яго, в Порто-Прайя, чтобы пополнить свежие припасы. Порт очень удобен для якорной стоянки. Здесь застали мы два американские корвета да одну шкуну, отправляющиеся в Японию же, к эскадре коммодора Перри. [13]

Ровно через неделю после прогулки на Мадере, также в воскресенье, завидели мы разбросанные на далеком расстоянии по горизонту большие

и небольшие острова. Одни из них, подальше, казались темно-синими, другие, поближе, бурыми массами. Самый близкий, Сант-Яго, лежал, как громадный ком красной глины. Мы подвигались все ближе: масса обозначалась яснее, утесы отделялись один от другого, и весь рисунок острова очертился перед нами, когда мы милях в полутора бросили якорь. От Мадеры до островов Зеленого Мыса считается тысяча морских миль по меридиану. Это 1750 наших верст.

Направо утесы, налево утесы, между ними уходит в горы долина, оканчивающаяся песчаным берегом, в который хлещет бурун. У самого берега, слева от нас, виден пустой маленький островок, направо масса накиданных друг на друга утесов. По одному из них идет мощеная дорога кверху, в Порто-Прайя. Пониже дороги, ближе к морю, в ущелье скал, кроется как будто трава — так кажется с корабля. На берегу, в одном углу под утесами, видно здание и шалаши. Остальной берег между скалами весь пустой, низменный, просто куча песку, и на нем растет тощий ряд кокосовых пальм. Как все это вместе взятое печально, скудно, голо, опалено! Пальмы уныло повесили головы; никто нейдет искать под ними прохлады: они дают столько же тени, сколько метла.

Все спит, все немеет. Нужды нет, что вы в первый раз здесь, но вы видите, что это не временный отдых, награда деятельности, но покой мертвый, непробуждающийся, что картина эта никогда не меняется. На всем лежит печать сухости и беспощадного зноя. Приезжайте через год, вы, конечно, увидите тот же песок, те же пальмы счетом, валяющихся в песке негров и негритянок, те же шалаши, то же голубое небо с белым отблеском пламени, которое мертвит и жжет все, что не прячется где-нибудь в ущелье, в тени утесов, когда нет дождя, а его не бывает здесь иногда по нескольку лет сряду. И это же солнце вызовет здесь жизнь из самого камня, когда тропический ливень хоть на несколько часов напоит землю. Ужасно это вечное безмолвие, вечное немение, вечный сон среди неизмеримой водяной пустыни. Бесконечные воды расстилаются здесь, как бесконечные пески той же Африки, через которые торопливо крадется караван, боясь, чтобы жажда не застигла его в безводном пространстве. Здесь торопливо скользит по глади вод судно, боясь штилей, а с ними и жажды, и голода. Пароход забросит немногие письма, возьмет другие и спешит пройти мимо обреченной на мертвый покой страны. А какие картины неба, моря! какие ночи! Пропадают эти втуне истраченные краски, это пролитое на голые скалы бесконечное тепло! Человек бежит из этого царства дремоты, которая сковывает энергию, ум, чувство и обращает все живое в подобие камня. Я припоминал сказки об окаменелом царстве. [14] Вот оно: придет богатырь, принесет труд, искусство, цивилизацию, разбудит и эту спящую от века красавицу, природу, и даст ей жизнь. Время, кажется, недалеко. А теперь, глядя на эту безжизненность и безмолвие, ощущаешь что-то похожее на ужас или на тоску. Ничто не шевелится тут; все молчит под блеском будто разгневанных небес. В море, о, в море совсем иначе говорит этот царственный покой сердцу! Горе жителям, когда нет дождя: они мрут с голода. Земля производит здесь кофе, хлопчатую бумагу, все южные плоды, рис, а в засуху только морскую

соль, которая и составляет одну из главных статей здешней промышленности.

К нам приехал чиновник, негр, в форменном фраке, с галунами. Он по обыкновению осведомился о здоровье людей, потом об имени судна, о числе людей, о цели путешествия и все это тщательно, но с большим трудом, с гримасами, записал в тетрадь. Я стоял подле него и смотрел, как он выводил каракули. Нелегко далась ему грамота.

Вскоре мы поехали на берег: нас не встретили ни ароматы, ни музыка, как на Мадере. Только утесы росли по мере того, как мы приближались; а трава, которая видна с корабля в ущелье, превратилась в пальмовую рощу. Но я с наслаждением путешественника смотрел и на этот берег, печальный образчик африканской природы. Для северного глаза все было поразительно: обожженные утесы и безмолвие пустыни, грозная безжизненность от избытка солнца и недостатка влаги и эти пальмы, вросшие в песок и безнаказанно подставляющие вечную зелень под 40° жара. Может быть, оттого особенно и поразительно, что и у нас есть свои пустыни, и сухость воздуха, и грозная безжизненность, наконец, вечная зелень сосен, и даже 40 градусов.

На берегу теснилась кучка негров и негритянок и голых ребятишек: они ждали, когда пристанет наша шлюпка. Здесь так же нет пристани, как и на Мадере, шлюпка не подходит к берегу, а остается на песчаной мели, шагов за пятнадцать до сухого места. Наши матросы засучили панталоны и соскочили в воду, чтоб перенести нас, но тут же по пояс в воде стояли полунагие негры, желая оказать нам ту же услугу. Спекуляция [15] их не должна пропадать даром: я протянул к ним руки, они схватили меня, я крепко держался за голые плечи и через минуту стоял на песчаном берегу. Там стоит небольшой пакгауз, таможенное здание, как сказали нам. Оно заперто; кругом его шалаши на четырех столбах, с крышей из пальмовых листьев. «Есть ли фрукты?» — спросили мы у негров; они бросились и скрылись за утесом. Но мы не стали ждать их и пошли по мощеной дороге на гору. Африканское солнце, хотя и зимнее, дало знать себя. На море его не чувствуешь: жар умеряется ветром, зато на берегу! Гора не высока и не крута, а мы едва взошли и на несколько минут остановились отдохнуть, отирая платками лоб и виски. На горе, над портом, господствует устроенная на каменной платформе батарея. Мы пошли налево от нее в город и скоро вышли на площадь. Часовые, португальцы и мулаты, в мундирах, но босые, учтиво кланялись. Мулаты не совсем нравятся мне. Уж если быть черным, так черным, как уголь, чтоб кожа лоснилась, как хорошо вычищенный сапог. В этом еще есть если не красота, так оригинальность. А эти бледно-черные, матовые тела неприятны на вид.

На площади были два-три довольно большие каменные дома, казенные, и, между прочим, гауптвахта; далее шла улица. В ней частные домы, небольшие, бедные, но каменные, все с жалюзи, были наглухо закрыты. Улица напоминает любой наш уездный город в летний день, когда полуденное солнце жжет беспощадно, так что ни одной живой души не видно нигде; только ребятишки безнаказанно, с непокрытыми головами, бегают

по улице и звонким криком нарушают безмолвие. Все прочее спит или просто ленится. Изредка нехотя выглянет из окна какое-нибудь равнодушное лицо и опять спрячется. И на нас выглянули два-три офицера из казарм; но этим только сходство и ограничивается, а дальше уж ничего нет похожего. На площади стоит невысокий столб с португальской короной наверху — знак владычества Португалии над группой островов. По всей площади и по улице привязано было к колодам несколько лошадей и премножество ослов, большею частью оседланных деревянными седлами.

Идучи по улице, я заметил издали, что один из наших спутников вошел в какой-то дом. Мы шли втроем. «Куда это он пошел? пойдемте и мы!» — предложил я. Мы пошли к дому и вошли на маленький дворик, мощенный белыми каменными плитами. В углу, под навесом, привязан был осел, и тут же лежала свинья, но такая жирная, что не могла встать на ноги. Дальше бродили какие-то пестрые красивые куры, еще прыгал маленький, с крупного воробья величиной, зеленый попугай, каких привозят иногда на петербургскую биржу. Попугай вертелся под ногами, и кто-то из нас, может быть я, наступил на него: он затрепетал крыльями и, хромая, спотыкаясь, поспешно скрылся от северных варваров в угол. Мы поднялись по деревянной лестнице во второй этаж, в галерею, и потом вошли в комнату. Нас встретила пожилая дама; мы ей поклонились, она нам. Она молча указала на стулья. Мы сели и начали было с ней разговор по-английски, а она с нами по-португальски; мы по-французски, а она опять по-своему. Мы уж хотели раскланяться, но она что-то сказала нам и поспешно вышла из комнаты. Через минуту она вывела молодую прехорошенькую девушку. Та стыдливо шла за нею и робко отвечала на наш поклон. Мы поглядывали друг на друга в недоумении... Что же это такое? Хозяйка кое-как дала нам понять, что эта девушка говорит или понимает по-французски. Мы засыпали ее вопросами, но она или не говорила, или не понимала, или, наконец, в Порто-Прайя под именем французского разумеют совсем другой язык. Однако ж кое-как мы поняли из нескольких по временам вырывавшихся у нее французских слов, что она привезена сюда из Лиссабона и еще не замужем, живет здесь с родственниками. Да бог знает, то ли еще она сказала: это мы так растолковали ее ответы. Мы поклонились и ушли. «У кого это мы были, господа?» — спросил меня один из товарищей. «А, ей-богу, не знаю».—«Да зачем мы заходили сюда?» — приставал он ко мне. «И этого не знаю. Сюда вошел Тихменев, и мы за ним. Да, кстати, где же он?» — «Да он не в этот дом вошел, а вон в тот... вон он выходит». В самом деле, Тихменев вышел из другого дома, рядом. «Плоха провизия и мало! — со вздохом сказал он,— быки, коровы не крупнее здешних ослов. Как-то мы доберемся до мыса Доброй Надежды?» Итак, мы это, в качестве путешественников, посетили незнакомый дом!

Тут негр предложил нам, не хотим ли мы поехать на осле или лошади. Третий наш спутник поехал; а мы вдвоем с отцом Аввакумом пошли пешком и скоро из города вышли в деревню, составляющую продолжение его. Все это предместье состоит из глиняных мазанок, без окон. Я загля-

дывал туда: бедная домашняя утварь, деревянные скамьи — вот и все украшение. Негров молодых не видать: вероятно, все на работе в полях. Тут только старики и старухи, и какие безобразные! Одна особенно поразила нас безобразием; она переходила улицу и не могла разогнуться от старости. На вид ей было лет девяносто. Лысая, с небольшими остатками седых клочков. Зато видели и несколько красавиц в своем роде. Что за губы, что за глаза! Тело лоснится, как атлас. Глаза не без выражения ума и доброты, но более, кажется, страсти, так что и обыкновенный взгляд их нескромен. Веко распахнется медленно и широко, глаз выкатится оттуда весь и выразит разом все, что гнездится в чувственном теле. Одеты они довольно живописно: в юбке, но без рубашки, а сверху через одно плечо накинуто что-то вроде бумажной шали до колен; другое плечо и часть груди обнажены. Голова повязана платком, и очень хорошо: глазам европейца неприятно видеть короткие волосы на женской голове, да еще курчавые. Некоторые из этих дам долго шли за нами и на исковерканном английском языке (и здесь англичане — заметьте!) просили денег, бог знает по какому случаю. Одеты они были нищенски. Разве не предлагали они каких-нибудь услуг?.. Но мы только и могли понять из их бессвязных речей одно слово: money. * Голые ребятишки бегали; старики и старухи одни бродили лениво около домов, другие лежали в своих хижинах. Я видел и англичан, но те не лежали, а куда-то уезжали верхом на лошадях: кажется, на свои кофейные плантации... Это все богатыри, старающиеся разбудить спящую красавицу.

Мы вдвоем прошли всю деревню и вышли в поле. Деревня и город построены на самом краю утеса. По крутизне разбросаны были кое-где хижины или выходили туда садами. Мы по дороге сошли в долину; она была цветущим оазисом посреди этих желтых и серых глыб песку. Чего в ней не растет? И все было ново нам: мы знакомились с декорациею не наших деревьев, не нашей травы, кустов и жадно хотели запомнить все: группировку их, отдельный рисунок дерева, фигуру листьев, наконец, плоды, как будто смотрели на это в последний раз, хотя нам только это и предстояло видеть на долгое время. Из плодов видели фиги, кокосы, много апельсинных деревьев, но без апельсинов, цветов вовсе почти не видать; мало и насекомых, все по случаю зимы. Я видел только одну пролетевшую птицу, величиной с галку, с длинным голубым хвостом. Мы прошли эту рощу или сад — сад потому, что в некоторых местах фруктовые деревья были огорожены; кое-где видел я шалаши, и в них старые негры стерегли сад, как и у нас это бывает. За рощей, дальше, простирались поля, частью возделанные, частью пустые; кое-где виден лес. Но мы ограничили свою прогулку долиною: дальше идти было жарко.

Мы воротились к берегу садом, не поднимаясь опять на гору, останавливались перед разными деревьями. На берегу застали живую сцену. Многие негры натаскали корзин с апельсинами, другие успели устроить кресла на носилках, чтобы переносить нас на шлюпку. Все эти спекулянты сидели и лежали группами на песке, ожидая нас. Я подошел к одной

* деньги (*англ.*).— *Ред.*

группе и застал негров за картами. И как вы думаете, во что они играли? В свои козыри! Если б не эти черные, лоснящиеся лица, не курчавые, точно напудренные березовым углем волосы, я бы подумал, что я вдруг зашел в какую-нибудь провинциальную лакейскую. Я пригляделся к игре — нет сомнения: свои козыри. Вон один из играющих, не имея чем покрыть короля, потащил всю кучу засаленных карт к себе, а другие оскалили белые зубы. Я посмотрел на прочие группы и поскорей отвернулся. Две негритянки, должно быть, сестры: одна положила голову на колени другой, а та... Да вы видали эти сцены, проезжая в летний день дорогой наши села... Некоторые из негров бранились между собой — и это вы знаете: попробуйте остановиться в Москве или Петербурге, где продают сайки и калачи, и поторгуйте у одного: как все это закричит и завоюет! То же и здесь, да и везде, как кажется. Ссоры эти были напрасны: сколько они ни принесли апельсинов, мы всё купили. Меня эти апельсины прежде всего поразили своей величиной: к нам таких не привозят. А съевши один апельсин, я должен был сознаться, что хороших апельсинов до этой минуты никогда не ел. Может быть, это один попался удачный, думал я, и взял другой: и другой такой же, и — третий: все как один.

Пока я производил эти сравнительные опыты любознательности, с разных сторон сходились наши спутники и принялись за то же самое. От одной прогулки все измучились, изнурились; никто не был похож на себя: в поту, в пыли, с раскрасневшимися и загорелыми лицами; но все как нельзя более довольные: всякий видел что-нибудь замечательное. Я решился купить у старой негритянки (я всегда, где можно, отдаю предпочтение дамам) всю корзину апельсинов. Она из другой корзинки выбрала еще несколько самых лучших апельсинов и хотела мне подарить. «Present, present», * — твердила она. Но я не хотел уступить ей в галантерейном обращении и стал вынимать из кармана деньги, чтоб заплатить и за эти. Она ужасно рассердилась и взяла было назад и первую корзину. Она болтала немного по-английски и называла меня: сеньор француз. О русских она не слыхала. Тут же, у самого берега, купались наши матросы, иногда выходили на берег и, погревшись на солнце, шли опять в воду, но черные дамы не обращали на это ни малейшего внимания: видно, им не в первый раз.

Я с пришедшими товарищами при закате солнца вернулся на фрегат, пристально вглядываясь в эти утесы, чтоб оставить рисунок в памяти. Берег постепенно удалялся, утесы уменьшались в размерах; роща в ущелье по-прежнему стала казаться пучком травы; кучки негров на берегу толпились, точно мухи, собравшиеся около капли меду; двое наших, отправившихся на маленький пустой остров, лежащий в заливе, искать насекомых, раковин или растений, ползали, как два муравья. Долина скрылась из глаз, и опять вся картина острова стала казаться такою увядшею, сухою и печальною, точно старуха, но подрумяненная на этот раз пурпуровым огнем солнечного заката.

Шлюпка наша уже приставала к кораблю, когда вдруг Савич [16] закри-

* «Подарок, подарок» (*англ.*),— *Ред.*

чал с палубы гребцам: «Живо, скорей, ступайте туда, вон огромная черепаха плавает поверх воды, должно быть, спит — схватите!» Мы поворотили, куда указал Савич, но черепаха проснулась и погрузилась в глубину, и мы воротились ни с чем. Если б остановка была продолжительнее, можно было бы осмотреть здешние соляные бассейны. Добывание соли — главный промысел островов. Бассейны, во время приливов, наполняются морской водой, которая, испаряясь от жара, оставляет обильный осадок соли. Жители добывают еще какую-то растительную краску, разводят немного кофе, сахарного тростника, хлопчатой бумаги, но все-таки очень бедны.

На другой день мы ушли дальше. Давно уж дед грозил нам штилевой полосой, которая опоясывает землю в нескольких градусах от экватора. Штили, а не бури — ужас для парусных судов. А я перед тем только что заглянул в Араго [17] и ужаснулся, еще не видя ничего. В самом деле, каково простоять месяц на одном месте, под отвесными лучами солнца, в тысячах миль от берега, томиться от голода, от жажды? Припомнишь все сцены ужаса, какими сопровождались подобные события...

29-го января в 3° северной широты мы потеряли пассат и вошли в роковую полосу. Вместо десяти узлов, то есть семнадцати верст, пошли по два, по полтора узла. Ветер иногда падал совсем, и обезветренные паруса тоже падали, хлопая о мачты. Мы вопросительно озирались вокруг, а небо, море сияют нестерпимым блеском, точно смеются, как иногда смеется сильная злоба над немощью. Встанем утром: «Что, идем?» Нет, ползем по полуторы, по две версты в час. Море колыхается целой массой, как густой расплавленный металл; ни малейшей чешуи, даже никакого всплеска. Мы думали, что бездействие ветра протянется долгие дни, но опасения наши оправдались не здесь, а гораздо южнее, по ту сторону экватора, где бы всего менее должно было ожидать штилей. 31-го января паруса зашевелились поживее, повеял ветер, сначала неопределенный, изменчивый, а в 1° сев. широты задул и ожидаемый SO, пассат. Мы были у самого экватора.

2-го февраля, ложась вечером спать, я готовился наутро присутствовать при перехождении через экватор. Но 3-го числа, в 8 часов утра, дед донес начальству, что мы уже в южном полушарии: в пять часов фрегат пересек экватор в 18° западной долготы. Мы все, однако ж, высыпали наверх и вопросительно смотрели во все стороны, как будто хотели видеть тот деревянный ободочек, который, под именем экватора, опоясывает глобус.

Все были погружены в раздумье. П. А. Тихменев, облокотясь на гик, смотрел вдаль. Все заняты экватором. «Ну, что, Петр Александрович, вот и мы за экватор шагнули,— сказал я ему,— скоро на мысе Доброй Надежды будем!» «Да,— отвечал он, глубоко вздохнув и равнодушно поглядывая на бирюзовую гладь вод,— оно, конечно, очень приятно... А есть ли там дрожжи?» Ну, можно ли усерднее заботиться об исполнении своей обязанности, как бы она священна ни была, как, например, обязанность о продовольствии товарищей? Добрый Петр Александрович! Вдруг глаза его заблистали необыкновенным блеском: я думал, что он увидел экватор. Он протянул и руку. «Опять кто-то бананы поел! — воскликнул

он в негодовании,— верно, Зеленый, [18] он сегодня ночью на вахте стоял». На ночь фрукты развешивали для свежести на палубе, и к утру всегда их несколько убывало. Тихменев производил строгое следствие, но, кроме лукавых улыбок, никогда ничего добиться не мог.

Пересеки и тропик и экватор —
И отпируй сей праздник моряков! —

предписывали вы мне, ваше превосходительство, Владимир Григорьевич: [19] я мысленно пригласил вас на этот праздник, но он не состоялся. О нем и помысла не было. Матросы наши мифологии не знают, и потому не только не догадались вызвать Нептуна, [20] даже не поздравили нас со вступлением в его заветные владения и не собрали денежную или винную дань, а мы им не напомнили, и день прошел скромно. Только ночью капитан пригласил нас к себе ужинать. Почетным гостем был дед: не впервые совершал он этот путь, и потому бокал теплого шампанского был выпит за его здоровье. «Сколько раз вы пересекли экватор?» — спросили мы его. «Одиннадцать раз»,— отвечал он. «Хвастаете, дед: ведь вы три раза ходили вокруг света: итого шесть раз!» — «Так; но однажды на самом экваторе корабль захватили штили и нас раза три-четыре перетаскивало то по ту, то по эту сторону экватора».

На шкуне «Восток», купленной в Англии и ушедшей вместе с нами, справляли, как мы узнали после, Нептуново торжество. Я рад, что у нас этого не было. Ведь как хотите, а праздник этот — натяжка страшная. Дурачество весело, когда человек наивно дурачится, увлекаясь и увлекая других; а когда он шутит над собой и над другими по обычаю, с умыслом, тогда становится за него совестно и неловко. Если ж смотреть на это как на повод к развлечению, на случай повеселиться, то в этом и без того недостатка не было. Не только в праздники, но и в будни, после ученья и всех работ, свистят песенников и музыкантов наверх. И вот морская даль, под этими синими и ясными небесами, оглашается звуками русской песни, исполненной неистового веселья, бог знает от каких радостей, и сопровождаемой исступленной пляской, или послышатся столь известные вам хватающие за сердце стоны и вопли от каких-то старинных, исторических, давно забытых страданий. И все это вместе, без промежутка: и дикий разгул, топот трепака,[21] и исторические рыдания заглушают плеск моря и скрип снастей. Такое развлечение имело гораздо более смысла для матросов, нежели торжество Нептуна: по крайней мере в нем не было аффектации, особенно когда прибавлялась к этому лишняя, против положенной от казны, чарка. В этом недостатка на кораблях не бывает: за всякую послугу, угождение матроса офицер платит чаркой водки. Съедет ли он по своей надобности на берег, по возвращении дает гребцам по чарке водки и т. п. Таким образом этих чарок набирается много, и они выпиваются при удобном случае.

Плавание в южном полушарии замедлялось противным зюйд-остовым пассатом; по меридиану уже идти было нельзя: диагональ отводила нас в сторону, все к Америке. 6, 7 узлов был самый большой ход. «Ну, вот вам и лето! — говорил дед, красный, весь в поту, одетый в прюнелевые бо-

тинки, [22] но по обыкновению застегнутый на все пуговицы.— Вот и акулы, вот и Южный Крест, вон и „Магеллановы облака" [23] и „Угольные мешки"!» [24] Тут уж особенно заметно целыми стаями начали реять над поверхностью воды летучие рыбы.

Я забыл посмотреть на магнитную стрелку, когда мы проходили магнитный экватор, отстоящий на три градуса от настоящего. Находясь в равном расстоянии от обоих полюсов, стрелка ложится будто бы там параллельно экватору, а потом, по мере приближения к Южному полюсу, принимает свое обыкновенное положение и только на полюсе становится совершенно вертикально. Так ли это, Владимир Григорьевич? Вы любите вопрошать у самой природы о ее тайнах: вы смотрите на нее глазами и поэта, и ученого... В 11° солнце осталось уже над нашей головой и не пошло к югу. Один из рулевых матрос с недоумением донес об этом штурману.

14-го февраля начались те штили, которых напрасно боялись у экватора. Опять пошли по узлу, по полтора, иногда совсем не шли. Сначала мы не тревожились, ожидая, что не сегодня, так завтра задует поживее; но проходили дни, ночи, паруса висели, фрегат только качался почти на одном месте, иногда довольно сильно, от крупной зыби, предвещавшей, по-видимому, ветер. Но это только слабое и отдаленное дуновение где-то, в счастливом месте, пронесшегося ветра. Появлявшиеся на горизонте тучки, казалось, несли дождь и перемену: дождь точно лил потоками, непрерывный, а ветра не было. Через час солнце блистало по-прежнему, освещая до самого горизонта густую и неподвижную площадь океана.

Покойно, правда, было плавать в этом безмятежном царстве тепла и безмолвия: оставленная на столе книга, чернильница, стакан не трогались; вы ложились без опасения умереть под тяжестью комода или полки книг; но сорок с лишком дней в море! Берег сделался господствующею нашею мыслью, и мы немало обрадовались, вышедши, 16-го февраля утром, из южного тропика. Рассчитывали на дующие около того времени вестовые ветры, но и это ожидание не оправдалось. В воздухе мертвая тишина, нарушаемая только хлопаньем грота. Ночью с 21 на 22 февраля я от жара ушел спать в кают-компанию и лег на диване, под открытым люком. Меня разбудил неистовый топот, вроде трепака, свист и крики. На лицо упало несколько брызг. «Шквал! — говорят, — ну, теперь задует!» Ничего не бывало, шквал прошел, и фрегат опять задремал в штиле.

Так дождались мы масленицы и провели ее довольно вяло, хотя Петр Александрович делал все, чтоб чем-нибудь напомнить этот веселый момент русской жизни. Он напек блинов, а икру заменил сардинами. Сливки, взятые в Англии в числе прочих презервов, [25] давно обратились в какую-то густую массу, и он убедительно просил принимать ее за сметану. Песни, напоминавшие татарское иго, и буйные вопли quasi*-веселья оглашали более нежели когда-нибудь океан. Унылые напевы казались более естественными, как выражение нашей общей скуки,

* якобы, мнимого (*лат.*),— *Ред.*

порождаемой штилями. Нельзя же, однако, чтоб масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки, будь это и среди знойных зыбей Атлантического океана. Так и тут, задумчиво расхаживая по юту, я вдруг увидел какое-то необыкновенное движение между матросами: это не редкость на судне; и я думал сначала, что они тянут какой-нибудь брас. Но что это? совсем не то: они возят друг друга на плечах около мачт. Празднуя масленицу, они не могли не вспомнить катанья по льду и заменили его ездой друг на друге удачнее, нежели Петр Александрович икру заменил сардинами. Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые, и усачи с проседью, расхохочешься этому естественному, национальному дурачеству: это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц.

В этой, по-видимому, сонной и будничной жизни выдалось, однако ж, одно необыкновенное, торжественное утро. 1-го марта, в воскресенье после обедни и обычного смотра команде, после вопросов: всем ли она довольна, нет ли у кого претензии, все, офицеры и матросы, собрались на палубе. Все обнажили головы: адмирал вышел с книгой и вслух прочел морской устав Петра Великого.[26]

Потом опять все вошло в обычную колею, и дни текли однообразно. В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уж высоко; жар палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой маркизы на балконе, и все прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настежь окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уж отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молотка по наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов... Чуткое воображение, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес — какие-то отдаленные образы...

Выйдешь на палубу, взглянешь и ослепнешь на минуту от нестерпимого блеска неба, моря; от меди на корабле, от железа отскакивают снопы лучей; палуба и та нестерпимо блещет и уязвляет глаз своей белизной. Скоро обедать; а что будет за обедом? Кстати, Тихменев на вахте: спросить его. «Что сегодня, Петр Александрович?» Он только было разинул рот отвечать, как вышел капитан и велел поставить лиселя. Ему показалось, что подуло немного посвежее. «На лисель-фалы!» — командует Петр Александрович детским басом и смотрит не на лисель-фалы, а на капитана. Тот тихонько улыбается и шагает со мной по палубе. Вот ка-

питан заметил что-то на баке и пошел туда. «Что ж за обедом?» — спросил я Петра Александровича, пользуясь отсутствием капитана. «Суп с катышками,— говорит Петр Александрович.— Вы любите этот суп?» «Да, ничего, если зелени побольше положить»,— отвечаю я. «Рад бы душой,— продолжает он с свойственным ему чувством и красноречием, — поверьте, я бы всем готов пожертвовать, сна не пожалею, лишь бы только зелени в супе было побольше, да не могу, видит бог, не могу... Ну, так и быть, для вас... Эй, вахтенный! поди скажи Карпову, чтоб спросил у Янцева еще зелени и положил в суп. Видите, это для вас,— сказал он,— пусть бранят меня, если недостанет зелени до мыса Доброй Надежды!» Я с чувством пожал ему руку. «А еще что?» — нежно спросил я, тронутый его добротой. «Еще... курица с рисом...» — «Опять!» — горестно воскликнул я. «Что делать, что мне делать — войдите в мое положение: у меня пяток баранов остался, три свиньи, пятнадцать уток и всего тридцать кур: изо ста тридцати — подумайте! ведь мы с голоду умрем!» Видя мою задумчивость, он не устоял. «Завтра, так и быть, велю зарезать свинью...» — «На вахте не разговаривают: опять лисель-спирт хотите сломать!» — вдруг раздался сзади нас строгий голос воротившегося капитана. «Это не я-с, это Иван Александрович!» — тотчас же пожаловался на меня Петр Александрович, приложив руку к козырьку. «Поправь лисель-фал!» — закричал он грозно матросам. Капитан опять отвернулся. Петр Александрович отошел от меня. «Вы не досказали!» — заметил я ему. Он боязливо поглядел во все стороны. «Жаркое — утка,— грозно шипел он через ют, стараясь не глядеть на меня,— пирожное...» Белая фуражка капитана мелькнула близ юта и исчезла. «Пирожное — оладьи с инбирным вареньем... Отстаньте от меня: вы всё в беду меня вводите!» — с злобой прошептал он, отходя от меня как можно дальше, так что чуть не шагнул за борт. «Десерта не будет,— заключил он почти про себя,— Зеленый и барон по ночам все поели, так что в воскресенье дам по апельсину да по два банана на человека». Иногда и не спросишь его, но он сам не утерпит. «Сегодня я велел ветчину достать,— скажет он,— и вынуть горошек из презервов» и т. д. доскажет снисходительно весь обед.

После обеда, часу в третьем, вызывались музыканты на ют, и мотивы Верди и Беллини разносились по океану. Но после обеда лениво слушали музыку, и музыканты вызывались больше для упражнения, чтоб протверживать свой репертуар. В этом климате сьеста необходима; на севере в самый жаркий день вы легко просидите в тени, не устанете и не изнеможете, даже займетесь делом. Здесь, одетые в легкое льняное пальто, без галстука и жилета, сидя под тентом, без движения, вы потеряете от томительного жара силу, и как ни бодритесь, а тело клонится к дивану, и вы во сне должны почерпнуть освежение организму.

Природа между тем доживала знойный день: солнце клонилось к горизонту. Смотришь далеко, и все ничего не видно вдали. Мы прилежно смотрели на просторную гладь океана и молчали, потому что нечего было сообщить друг другу. Выскочит разве стая летучих рыб и, как

воробьи, пролетит над водой: мгновенно все руки протянутся, глаза загорятся. «Смотрите, смотрите!» — закричат все, но все и без того смотрят, как стадо бонитов[27] гонится за несчастными летуньями, играя фиолетовой спиной на поверхности. Исчезнет это явление — и все исчезнет, и опять хоть шаром покати. Сон и спокойствие объемлют море и небо, как идеал отрадной, прекрасной, немучительной смерти, какою хотелось бы успокоиться измученному страстями и невзгодами человеку. Оттого, кажется, душа повергается в такую торжественную и безотчетно сладкую думу, так поражается она картиной прекрасного, величественного покоя. Картина оковывает мысль и чувство: все молчит и не колыхнется и в душе, как вокруг. «Что-то плывет!» — вдруг однажды сказал один из нас, указывая вдаль, и все стали смотреть по указанному направлению. Некоторые сбегали за зрительными трубами. «Да,— подтвердил другой,— я вижу черную точку». Молчание. Точка увеличивалась. «Ящик какой-то»,— говорят потом. «Ящик... боже мой! что в нем?» Дыхание замирает от ожидания. Воображение рисует бог знает что. Ящик все ближе и ближе. «Курятник!»— воскликнул один. Молчание. «Да, точно, курятник,— подтвердил другой, вглядевшись окончательно,— верно, на каком-нибудь судне вышли куры, вот и бросили курятник за борт». «Позвольте,— заметил один скептик,— не от лимонов ли этот ящик?» «Нет,— возразил другой наблюдатель,— видите, он с решеткой». И долго провожали мы глазами проплывший мимо нас курятник, догадываясь и рассуждая, брошенный ли это по необходимости ящик или обломок сокрушившегося корабля.

Часу в пятом купали команду. На воду спускали парус, который наполнялся водой, а матросы прыгали с борта, как в яму. Но за ними надо было зорко смотреть: они все старались выпрыгнуть за пределы паруса и поплавать на свободе, в океане. Нечего было опасаться, что они утонут, потому что все плавают мастерски, но боялись акул. И так однажды с марса закричал матрос: «Большая рыба идет!» К купальщикам тихо подкрадывалась акула; их всех выгнали из воды, а акуле сначала бросили бараньи внутренности, которые она мгновенно проглотила, а потом кольнули ее острогой, и она ушла под киль, оставив следом по себе кровавое пятно. Около нее, как змеи, виляли в воде всегда сопровождающие ее две или три рыбы, прозванные лоцманами. Петр Александрович во время купанья тоже являлся усердным действующим лицом. Как ротный командир, он носился по всем палубам и побуждал ленивых матросов лезть в воду. «Пошел, пошел,— кричал он,— что ты не раздеваешься? А где Витул, где Фаддеев? Марш в воду! позвать всех коков (поваров) сюда и перекупать их!»

В шестом часу, по окончании трудов и сьесты, общество плавателей выходило наверх освежиться, и тут-то широко распахивалась душа для страстных и нежных впечатлений, какими дарили нас невиданные на севере чудеса. Да, чудеса эти не покорились никаким выкладкам, цифрам, грубым прикосновениям науки и опыта. Нельзя записать тропического неба и чудес его, нельзя измерить этого необъятного ощущения, которому отдаешься с трепетной покорностью, как чувству любви. Где вы,

где вы, Владимир Григорьевич? Плывите скорей сюда и скажите, как назвать этот нежный воздух, который, как теплые волны, омывает, нежит и лелеет вас, этот блеск неба в его фантастическом неописанном уборе, эти цвета, среди которых утопает вечернее солнце? Океан в золоте или золото в океане, багровый пламень, чистый, ясный, прозрачный, вечный, непрерывный пожар без дыма, без малейшей былинки, напоминающей землю. Покой неба и моря — не мертвый и сонный покой: это покой как будто удовлетворенной страсти, в котором небо и море, отдыхая от ее сладостных мучений, любуются взаимно в объятиях друг друга. Солнце уходит, как осчастливленный любовник, оставивший долгий, задумчивый след счастья на любимом лице.

На этом пламенно-золотом, необозримом поле лежат целые миры волшебных городов, зданий, башен, чудовищ, зверей — всё из облаков. Вот, смотрите, громада исполинской крепости рушится медленно, без шума; упал один бастион, за ним валится другой; там опустилась, подавляя собственный фундамент, высокая башня, и опять все тихо отливается в форме горы, островов, с лесами, с куполами. Не успело воображение воспринять этот рисунок, а он уже тает и распадается, и на место его тихо воздвигся откуда-то корабль и повис на воздушной почве; из огромной колесницы уже сложился стан исполинской женщины; плеча еще целы, а бока уже отпали, и вышла голова верблюда; на нее напирает и поглощает все собою ряд солдат, несущихся целым строем.

Изумленный глаз смотрит вокруг, не увидит ли руки, которая, играя, строит воздушные видения. Тихо, нежно и лениво ползут эти тонкие и прозрачные узоры в золотой атмосфере, как мечты тянутся в дремлющей душе, слагаясь в пленительные образы и разлагаясь опять, чтоб слиться в фантастической игре...

Пусть живописцы найдут у себя краски, пусть хоть назовут эти цвета, которыми угасающее солнце окрашивает небеса! Посмотрите: фиолетовая пелена покрыла небо и смешалась с пурпуром; прошло еще мгновение, и сквозь нее проступает темно-зеленый, яшмовый оттенок: он в свою очередь овладел небом. А замки, башни, леса, розовые, палевые, коричневые, сквозят от последних лучей быстро исчезающего солнца, как освещенный храм... Вы недвижны, безмолвны, млеете перед радужными следами солнца: оно жарким ·прощальным лучом раздражает нервы глаз, но вы погружены в тумане поэтической думы; вы не отводите взора; вам не хочется выйти из этого мления, из неги покоя. Очнувшись, со вздохом скажешь себе: ах, если б всегда и везде такова была природа, так же горяча и так величаво и глубоко покойна! Если б такова была и жизнь!.. Ведь бури, бешеные страсти не норма природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс творчества, черная работа — для выделки спокойствия и счастия в лаборатории природы...

Солнце не успело еще догореть, вы не успели еще додумать вашей думы, а оглянитесь назад: на западе еще золото и пурпур, а на востоке сверкают и блещут уже миллионы глаз: звезды и звезды и между

ними скромно и ровно сияет Южный Крест! Темнота, как шапка, накрыла вас: острова, башни, чудовища — все пропало. Звезды искрятся сильно, дерзко и как будто спешат пользоваться промежутком от солнца до луны; их прибывает все больше и больше, они проступают сквозь небо. Та же невидимая рука, которая чертила воздушные картины, поспешно зажигает огни во всех углах тверди, и — засиял вечерний пир! Новые силы, новые думы и новая нега проснулись в душе. Опять, как вчера, она ищет в огнях — разума, жадно читает огненные буквы и порывается туда...

Но вот луна: она не тускла, не бледна, не задумчива, не туманна, как у нас, а чиста, прозрачна, как хрусталь, гордо сияет белым блеском и не воспета, как у нас, поэтами, следовательно, девственна. Это не зрелая, увядшая красавица, а бодрая, полная сил, жизни и строгого целомудрия дева, как сама Диана.[28] Хлынул по морю и по небу ее пронзительный свет; она усмирила дерзкое сверканье звезд и воцарилась кротко и величаво до утра. А океан, вы думаете, заснул? Нет; он кипит и сверкает пуще звезд. Под кораблем разверзается пучина пламени, с шумом вырываются потоки золота, серебра и раскаленных углей. Вы ослеплены, объяты сладкими творческими снами... вперяете неподвижный взгляд в небо: там наливается то золотом, то кровью, то изумрудной влагой Конопус, яркое светило корабля Арго, две огромные звезды Центавра. Но вы с любовью успокоиваетесь от нестерпимого блеска на четырех звездах Южного Креста: они сияют скромно и, кажется, смотрят на вас так пристально и умно. Южный Крест... Случалось ли вам (да как не случалось поэту!) вдруг увидеть женщину, о красоте, грации которой долго жужжали вам в уши, и не найти в ней ничего поражающего? «Что же в ней особенного? — говорите вы, с удивлением всматриваясь в женщину,— она проста, скромна, ничем не отличается...» Всматриваетесь долго, долго и вдруг чувствуете, что любите уже ее страстно! И про Южный Крест, увидя его в первый, второй и третий раз, вы спросите: что в нем особенного? Долго станете вглядываться и кончите тем, что, с наступлением вечера, взгляд ваш будет искать его первого, потом, обозрев все появившиеся звезды, вы опять обратитесь к нему и будете почасту и подолгу покоить на нем ваши глаза.

Наступает, за знойным днем, душно-сладкая, долгая ночь, с мерцаньем в небесах, с огненным потоком под ногами, с трепетом неги в воздухе. Боже мой! Даром пропадают здесь эти ночи: ни серенад, ни вздохов, ни шепота любви, ни пенья соловьев! Только фрегат напряженно движется и изредка простонет да хлопнет обессиленный парус или под кормой плеснет волна — и опять все торжественно и прекрасно-тихо!

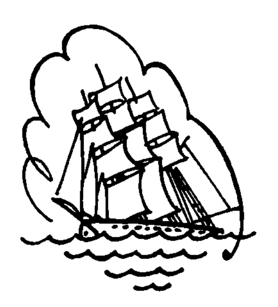
Смотрите вы на все эти чудеса, миры и огни и, ослепленные, уничтоженные величием, но богатые и счастливые небывалыми грезами, стоите, как статуя, и шепчете задумчиво: «Нет, этого не сказали мне ни карты, ни англичане, ни американцы, ни мои учители; говорило, но бледно и смутно, только одно чуткое, поэтическое чувство; оно таинственно манило меня еще ребенком сюда и шептало:

Вот Азия — мир праотца Адама!

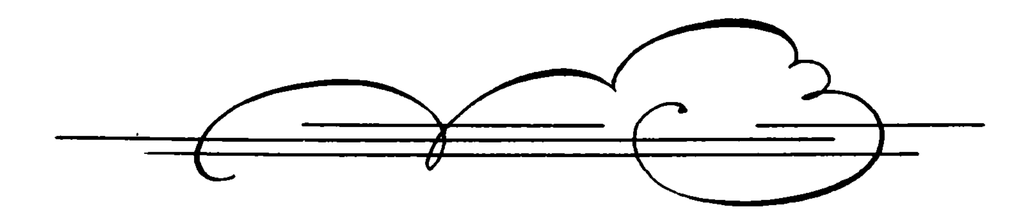
И ты свершишь плавучие заезды
В те древние и новые места,
Где в небесах другие блещут звезды,
Где свет лиет созвездие Креста.*

Берите же, любезный друг, свою лиру, свою палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык, язык богов, которым только и можно говорить о здешней природе, и спешите сюда, — а я винюсь в своем бессилии и умолкаю! [29]

Март 1853 года.
Атлантический океан.



* В послании Бенедиктова к Гончарову.



IV

НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Приход в Falsebay. — Саймонсбей и Саймонстоун.— Поправки на фрегате.— Капштат.— Welch's hotel.**— Столовая гора, Львиная гора и Чертов пик. — Ботанический сад.— Клуб.— Англичане, голландцы, малайцы, готтентоты и негры.— Краткий исторический очерк Капской колонии и войн с кафрами.— Поездка по колонии.— Соммерсет.— Стелленбош.— Ферма Эльзенборг.— Паарль.— Веллингтон.— Мистер Бен.— Тюрьмы и арестанты.— Дороги.— Ущелье.— Устер.— Минеральные ключи.— Обратный путь.— Змеиная горка.— Птица секретарь.— Винберг.— Кафрский предводитель Сейоло.— Отплытие.*

С 10 марта по 12 апреля 1853.

Хотя наш плавучий мир довольно велик, средств незаметно проводить время было у нас много, но все плавать да плавать! Сорок дней с лишком не видали мы берега. Самые бывалые и терпеливые из нас с гримасой смотрели на море, думая про себя: скоро ли что-нибудь другое? Друг на друга почти не глядели, перестали заниматься, читать. Всякий знал, что подадут к обеду, в котором часу тот или другой ляжет спать, даже нехотя заметишь, у кого сапог разорвался или панталоны выпачкались в смоле.

Я писал вам, что нас захватили штили в южном тропике; после штилей наконец засвежело, да ведь как! Опять пошло свое: ни ходить, ни сидеть, ни лежать порядком! Это было в четверг, в начале марта. Не стану повторять, о чем уже писал, о качке. Только это нагнало на меня такую хандру, что море, казалось, опротивело мне навсегда. Хотя это продолжалось всего дней пять, но меня не обрадовал и берег, который мы увидели в понедельник. Море к берегу вдруг изменилось: из синего обратилось в коричнево-зеленоватое, как ботвинье. Это от морских растений, от капусты, трав, животных и т. п. В одну из ночей оно необыкновенно

* Фальсбей (*англ.*),— *Ред.*
** Гостиница госпожи Вельч (*англ.*),— *Ред.*

блистало фосфорическим светом. Какой вид! Когда обливаешься вечером, в темноте, водой прямо из океана, искры сыплются, бегут, скользят по телу и пропадают под ногами, на палубе. Это мелкие животные, называемые, кажется, медузами. Море уже отзывалось землей, несло на себе ее следы: бешено кидаясь на берега, оно оставляет рыб, ракушки и уносит песок, землю и прочее. А какая бездна невидимых и неведомых человеку тварей движется и кипит в этой чаше, переполненной жизнью! Тут пока преприлежно изведывали их альбатросы, чайки и морские ласточки, летавшие низко над водой. Эти птицы одни оживляют море: мы видели их иногда на расстоянии 500 миль от ближайшего берега. Между ними много так называемых у нас «глупышей», больших птиц с тонкими, стройными, пегими крыльями, с тупой головой и с крепким носом. В самом деле, у них глуповата физиономия. Они безвкусны, жестки, летают над самым кораблем и часто зацепляют крыльями за паруса.

7-го или 8-го марта, при ясной, теплой погоде, когда качка унялась, мы увидели множество какой-то красной массы, плавающей огромными пятнами по воде. Наловили ведра два — икра. Недаром видели стаи рыбы, шедшей незадолго перед тем тучей под самым носом фрегата. Я хотел продолжать купаться, но это уже были не тропики: холодно, особенно после свежего ветра. Фаддеев так с радости и покатился со смеху, когда я вскрикнул, лишь только он вылил на меня ведро.

9-го мы думали было войти в Falsebay, но ночью проскользнули мимо и очутились миль за пятнадцать по ту сторону мыса. Исполинские скалы, почти совсем черные от ветра, как зубцы громадной крепости, ограждают южный берег Африки. Здесь вечная борьба титанов — моря, ветров и гор, вечный прибой, почти вечные бури. Особенно хороша скала Hanglip.* Вершина ее нагибается круто к средине, а основание выдается в море. Вершины гор состоят из песчаника, а основание — из гранита. Наконец 10 марта, часу в шестом вечера, идучи снизу по трапу, я взглянул вверх и остолбенел: гора так и лезет на нас. «Мы на мели?» — спросил я деда. «Что вы! Бог с вами: типун бы вам на язык — на якорь становимся!» В самом деле скомандовали: «Из бухты вон!», потом: «Отдай якорь!» Раздался минутный гром рвануьшейся цепи, фрегат дрогнул и остановился. Мы стали в полутора верстах от берега, но он состоял из горы, и она показалась мне так высока, что скрадывала расстояние, подавляя высотой домы и церкви Саймонстоуна. А после, когда я увидел Столовую гору, эта мне показалась пригорком. К нам наехали по обыкновению разные лица, с рекомендательными письмами от датских, голландских и прочих кораблей, портные, прачки мужеского пола и т. п.

Саймонсбей — это небольшой, укромный уголок большой бухты Фальсбей. В нее надо войти умеючи, а то как раз стукнешься о каменья, которые почему-то называются «римскими», или о «Ноев ковчег», большой плоский, высовывающийся из воды камень у входа в залив, в нескольких саженях от берега, который тоже весь усеян более или менее

* Висячая губа (*англ.*),— *Ред.*

Мыс Доброй Надежды. Саймонсбейский рейд. Фотография. ЦВММ. Ленинград.

крупными каменьями. Начиная с апреля суда приходят сюда; и те, которые стоят в Столовой бухте, на зиму переходят сюда же, чтобы укрыться от сильных юго-западных ветров. Саймонская бухта защищена со всех сторон горами.

Лишь только мы стали на якорь, одна из гор, с правой стороны от города, накрылась облаком, которое плотно, как парик, легло на вершину. А по другому, самому высокому утесу медленно ползало тоже облако, спускаясь по обрыву, точно слой дыма из исполинской трубы. У самого подножия горы лежат домов до сорока английской постройки; между ними видны две церкви, протестантская и католическая. У адмиралтейства английский солдат стоит на часах, в заливе качается английская же эскадра. В одном из лучших домов живет начальник эскадры, коммодор Тальбот.

Скудная зелень едва смягчает угрюмость пейзажа. Сады из кедров, дубов, немножко тополей, немножко виноградных трельяжей, кое-где кипарис и мирт да заборы из колючих кактусов и исполинских алоэ, которых корни обратились в древесину,— вот и все. Голо, уединенно, мрачно. В городе, однако ж, есть несколько весьма порядочных лавок; одну из них, помещающуюся в отдельном домике, можно назвать даже богатою.

Спутники мои беспрестанно съезжали на берег, некоторые уехали в Капштат, а я глядел на холмы, ходил по палубе, читал было, да не читается, хотел писать — не пишется. Прошло дня три-четыре, инерция продолжалась. Однажды наши, приехав с берега, рассказывали, что на пристани к ним подошел старик и чисто, по-русски, сказал: «Здравия желаю, ваше благородие». «Кто ты такой? откуда?» — спросил наш

Мыс Доброй Надежды. Капштадт. С гравюры А. Вышеславцева, приведенной в книге: *Вышеславцев А.* Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858 и 1860 годах. С 27-ю рисунками. Литогр. П. Пети. СПб., 1862. В дальнейшем: Вышеславцев.

офицер. «Русский,— отвечал он,— в 1814 году взят французами в плен, потом при Ватерлоо дрался с англичанами, взят ими, завезен сюда, женился на черной, имею шестерых детей». «Откуда ты родом?» — «Из Орловской губернии». Но от него трудно было добиться других сведений — так дурно говорил он уже по-русски. Наш фрегат обнажили, спустили рангоут, сняли ванты — и закипела работа. Шлюпки беспрестанно ездили на берег и обратно. П. А Тихменев, успевший облечься в желтенькое пальто и соломенную шляпу с голубой лентой, ежедневно уезжал в пустой шлюпке и приезжал, или, лучше сказать, приезжала шлюпка с мясом, зеленью, фруктами и с ним. Соломенная шляпа, как цветок, видна была между бычачьей ногой и арбузами.

«Где мы?» — спросил я однажды, скуки ради, Фаддеева. Он косо и подозрительно поглядел на меня, предвидя, что вопрос сделан недаром. «Не могу знать»,— говорил он, оглядывая с своим равнодушием стены. «Это глупо не знать, куда приехал». Он молчал. «Говори же».— «Почем я знаю?» — «Что ж ты не спросишь?» — «На что мне спрашивать?» — «Воротишься домой, спросят, где был; что ты скажешь? Слушай же: я тебе скажу, да, смотри, помни. Откуда мы приехали сюда?» Он устремил на меня глаза, с намерением во что бы ни стало понять, чего я хочу, и по возможности удовлетворить меня; а мне хотелось навести его на какое-нибудь соображение. «Откуда приехали?» — повторил он вопрос. «Ну, да?» — «Из Англии». — «А Англия-то где?» Он еще больше косо стал смотреть на меня. Я вижу, что мой вопрос темен для него. «Где Франция, Италия?» — «Не могу знать».— «Ну, где Россия?» — «В Кронштадте»,— проворно сказал он. «В Европе,— поправил я,— а теперь мы приехали в Африку, на южный ее край, на мыс Доброй Надежды». — «Слушаю-с».— «Помни же!»

И географический урок Фаддееву был развлечением среди гор, песков, в захолустье. На фрегате сильно работали: везде лежали снасти, реи; прохода нет. Только на юте и можно было ходить; там по временам играла музыка. Мы лорнировали берег, удили рыбу и, между прочим, вытащили какую-то толстенькую рыбу, с круглой головкой, мягкую, без чешуи; брюхо у ней желтое, а спина вся в пятнах. Ее посадили в кадку. Приехал кто-то из англичан и, увидев ее, торопливо предупредил, чтоб не ели. «Это ядовитая,— сказал он,— от нее умирают через пять, десять минут. Были примеры: однажды отравилось несколько человек с голландского судна. Свиньи иногда едят ее, выброшенную на берег, повертятся, повертятся, потом и околеют». Вытаскивали много отличной, вкусной рыбы, похожей видом на леща; еще какой-то красной, потом плоской; разнообразие рыбьих пород неистощимо. Еще нам к столу навезли превосходного винограду, весьма посредственных арбузов и отличных крупных огурцов.

На четвертый день и я собрался съехать на берег с нашими докторами и с бароном Криднером. Первые собрались ботанизировать, а мы с бароном Криднером — мешать им. По берегам кое-где были разбросаны каменья, но такие, что из каждого можно построить препорядочный домик. Когда я собрался ехать, и Фаддеев явился ко мне. «Позвольте

и мне с вами, ваше высокоблагородие»,— сказал он. «Куда?» — «Да в Африку-то»,— отвечал он, помня мой урок. «Что ты станешь там делать?»— «А вон на ту гору охота влезть!»

Ступив на берег, мы попали в толпу малайцев, негров и *африканцев*, как называют себя белые, родившиеся в Африке. Одни работали в адмиралтействе, другие праздно глядели на море, на корабли, на приезжих или просто так, на что случится. За нами шли наши слуги; кто нес ружье, кто сетку ловить насекомых, кто молоток — разбивать каменья. «Смотрите,— говорили мы друг другу,— уже нет ничего нашего, начиная с человека; все другое: и человек, и платье его, и обычай». Плетни устроены из кустов кактуса и алоэ: не дай бог схватиться за куст — что наша крапива! Не только честный человек, но и вор, даже любовник не перелезут через такой забор: миллион едва заметных глазу игл вонзится в руку. И камень не такой, и песок рыжий, и травы странные: одна какая-то кудрявая, другая в палец толщиной, третья бурая, как мох, та дымчатая. Пошли за город, по мелкому и чистому песку, на взморье: под ногами хрустели раковинки. «Все не наше, не такое»,— твердили мы, поднимая то раковину, то камень. Промелькнет воробей — гораздо наряднее нашего, франт, а сейчас видно, что воробей, как он ни франти. Тот же лёт, те же манеры, и так же копается, как наш, во всякой дряни, разбросанной по дороге. И ласточки, и вороны есть; но не те: ласточки серее, а ворона чернее гораздо. Собака залаяла, и то не так, отдает чужим, как будто на иностранном языке лает. По улицам бегали черномазые кудрявые мальчишки, толпились черные или коричневые женщины, малайцы с высоких соломенных шляпах, похожих на колокола, но с более раздвинутыми или поднятыми несколько кверху полями. Только свинья так же неопрятна, как и у нас, и так же неистово чешет бок об угол; как будто хочет своротить весь дом, да кошка, сидя в палисаднике, среди мирт, преусердно лижет лапу и потом мажет ею себе голову. Мы прошли мимо домов, садов, по песчаной дороге, миновали крепость и вышли налево за город.

Нас предупреждали, чтоб мы не ходили в полдень близ кустов: около этого времени выползают змеи греться на солнце; но мы не слушали, шевелили палками в кустах, смело прокладывая себе сквозь них дорогу. Змеи, кажется, еще более остерегаются людей, нежели люди их. Я видел только ящерицу, хотел прижать ее тростью на месте, но зеленая тварь с непостижимым проворством скользнула в норку. По одной дороге с нами шли три черные жещины. Я спросил одну, какого она племени: «Финго! — сказала она,— мозамбик,— закричала потом,— готтентот!» Все три начали громко хохотать. Не раз случалось мне слышать этот наглый хохот черных женщин. Если пройдете мимо — ничего: но спросите черную красавицу о чем-нибудь, например о ее имени или о дороге, она соврет, и вслед за ответом раздастся хохот ее и подруг, если они тут есть. «Бичуан! Кафр!» — продолжала кричать нам баба. В самом деле — баба. Одета, как наши бабы: на голове платок, около поясницы что-то вроде юбки, как у сарафана, и сверху рубашка; и иногда платок на шее, иногда нет. Некоторые женщины, из коричневых племен, поразительно сходны

с нашими загорелыми деревенскими старухами; зато черные ни на что не похожи: у всех толстые губы, выдавшиеся челюсти и подбородок, глаза как смоль, с желтым белком, и ряд белейших зубов. Улыбка на черном лице имеет что-то страшное и злое.

Мы нашли целый музеум между каменьями, в которые яростно бьет прибой: раковин, моллюсков, морских ежей и раков. Слизняки так прирастают к каменьям, что нет возможности отодрать их. Они эластичны: только пожмешь, из них фонтанами брызжет вода. Морской еж — это полурастение, полуживотное: он растет и, кажется, дышит. Это комок травянистого тела, которому основанием служит зелененькая, травянистая же чашечка. Весь он усеян иглами и ярко блещет красками. Наш любитель-натуралист набрал их множество, сверх того цветов, прутьев, листьев, раковин. Раковины, однако ж, были так себе, простоваты. Между тем в отеле я видел великолепные разноцветные и огромные раковины. «Это здешние?» — спросил я. «Нет,— отвечали мне,— с острова св. Маврикия». Я заметил, что, куда ни приедешь, найдешь что-нибудь замечательное; спросишь, откуда оно, всегда укажут дальше, вперед, а иногда назад. В Капштате я увидел в табачном магазине футлярчики для спичек, точеные из красивого двухцветного дерева. Я сейчас же купил несколько на память о мысе Доброй Надежды. Я спросил, как зовут дерево. «Бокс»,— сказал англичанин. «А откуда оно?» — «Из Англии»,— отвечал он. На острове св. Маврикия, пожалуй, скажут, что раковины из Парижа. Впрочем, здесь; как в целом мире, есть провинциальная замашка выдавать свои товары за столичные. Что ни спросишь: шляпу, сапоги — это из Лондона! — отвечают вам. Я вспомнил наши уездные города и надписи на бледно-синей доске *портной из Нижнего*. Табачник думал, что бог знает как утешит меня, выдав свой товар за английский.

Воротясь с прогулки, мы зашли в здешнюю гостиницу Fountain hotel:* дом голландской постройки, с навесом в виде балкона, с чисто убранными комнатами, в которых полы были лакированы. Потолок в комнатах был из темного дерева, привозимого с восточного берега, из порта Наталь. Доставка его изнутри колонии обходится дорого, оттого дерево употребляется только на мебель и другие самые необходимые поделки. Зато камень нипочем: все домы каменные. Мы видели даже несколько очень бедных рыбачьих хижин, по дорогое от Саймонстоуна до Капштата, построенных из костей выброшенных на берег китов и других животных. Мы сели у окна за жалюзи, потому что хотя и было *уже* (у нас бы надо сказать *еще*) 15 марта, но день был жаркий, солнце пекло, как у нас в июле или как здесь в декабре.

На камине и по углам везде разложены минералы, раковины, чучелы птиц, зверей или змей, вероятно всё «с острова св. Маврикия». В камине лежало множество сухих цветов, из породы *иммортелей*, как мне сказали. Они лежат, не изменяясь по многу лет: через десять лет так же сухи, ярки цветом и так же ничем не пахнут, как и несорванные. Мы спросили инбирного пива и констанского вина, произведения знаменитой Констан-

* Фонтанная гостиница (*англ.*),— *Ред.*

ской горы. Пиво мальчик вылил все на барона Криднера, а констанское вино так сладко, что из рук вон. Оно напоминает вкусом немного малагу, но только слаще. На стенах были плохие картинки — неизбежная принадлежность станций и трактиров всего земного шара, как я убедился теперь. Без них скучно на станции: это большое развлечение для путешественника. Припомните, сколько раз вам пришлось улыбнуться, рассматривая на наших станциях, пока запрягают лошадей, простодушные изображения лиц и событий? И тут то же самое. Вот, например, на одной картинке представлена драка солдат с контрабандистами: герои режут и колют друг друга, а лица у них сохраняют такое спокойствие, какого в подобных случаях не может быть даже у англичан, которые тут изображены, что и составляет истинный комизм такого изображения. На других картинках представлена скачка с препятствиями: лошади вверх ногами, люди по горло в воде. По этим картинкам я заключил, не видав еще хозяев, что гостиница английская. У голландцев скачек не изображается, зато везде увидишь охоту за тиграми или лисицами, потом портреты королей и королев. И там пленяешься своего рода несообразностями: барс схватил зубами охотника за ногу, а охотник, лежа в тростнике, смотрит в сторону и смеется. Вообще можно различать английские и голландские гостиницы с первого взгляда. У англичан везде виден комфорт или претензия на него, у голландцев — патриархальность, проявляющаяся в старинной, почерневшей от времени, но чисто содержимой мебели, особенно в деревянных пузатеньких бюро и шкафах, с дедовским фарфором, серебром и т. п. По состоянию одних этих гостиниц безошибочно можете заключить, что голландцы падают, а англичане возвышаются в здешней стороне. У первых все смотрит скучно, запущенно; у последних весело, ново и свежо. Мы провели с час, покуривая сигару и глядя в окно на корабли, в том числе на наш, на дальние горы; тешились мыслью, что мы в Африке. «А ведь это самый южный трактир отсюда по прямому пути до полюса,— сказал мне товарищ,— внесите это в вашу записную книжку». Я не знал, к какому роду знаний отнести это замечание, и обещал поместить его особо.

Я никак не ожидал, чтоб Фаддеев способен был на какую-нибудь любезность, но, воротясь на фрегат, я нашел у себя в каюте великолепный цветок: горный тюльпан, величиной с чайную чашку, с розовыми листьями и темным, коричневым мхом внутри, на длинном стебле. «Где ты взял?» — спросил я. «В Африке, на горе достал»,— отвечал он.

Мы собрались всемером в Капштат, но с тем, чтоб сделать поездку подальше, в колонию. И однажды утром, взяв по чемоданчику с бельем и платьем да записные книжки, пустились в двух экипажах, то есть фурах,[1] крытых с боков кожей.

От Саймонсбея до Капштата всего 24 английских мили, или 36 верст. Дорога, первые 12 миль, идет по берегу, то у подошвы утесов, то песками или по ребрам скал, все по шоссе; дорога невеселая, хотя море постоянно в виду, а над головой теснятся утесы, усеянные кустарниками, но все это мрачно, голо. Верхушки утесов резко оттеняются своим темно-серым цветом песчаника от покрытого травой гранита. Мы видели высоко

в ущельях гор пасущихся коров: они казались снизу букашками. В одном месте, направо, есть озерко пресной воды. Кое-где одиноко стоят рыбачьи хижины; две-три дачи под горой да маленькая гостиница — вот и все. Жизни мало; только чайки плавно носятся по прибрежью да море вечно и неумолкаемо шумит и плещет. На половине дороги другая гостиница, так и называется *Halfway* (половина пути). Наш кучер остановился тут, отпряг лошадей и предложил нам потребовать refreshment, то есть закусить. На дворе росло огромное кедровое дерево; главный флигель строился, а гостиница помещалась в другом, маленьком. Мы заказали завтрак и пошли в сад. При входе крупными буквами написано, чтобы ничего не трогали в саду без позволения садовника. Но трогать было нечего, кроме разве незрелых фиг да кукурузы, которую убирал негр. Прочее все давно снято. Хотя погода была жаркая, но уж не летняя здесь. Листья летели с деревьев и усыпали дорожки. Сад был порядочный, он же и огород. Тут посажены были, кроме фиговых деревьев, бананы, виноград, капуста и огурцы. Видно было много цветов. Завтрак состоял из яичницы, холодной и жесткой солонины, из горячей и жесткой ветчины. Яичница, ветчина и картинки в деревянных рамах опять напомнили мне наши станции. Тут, впрочем, было богатое собрание птиц, чучелы зверей; особенно мила головка маленького оленя, с козленка величиной; я залюбовался на нее, как на женскую (благодарите, mesdames), да по углам красовались еще рога диких буйволов, огромные, раскидистые, ярко выполированные, напоминавшие тоже головы, конечно не женские...

Остальная половина дороги, начиная от гостиницы, совершенно изменяется: утесы отступают в сторону, мили на три от берега, и путь, веселый, оживленный, тянется между рядами дач, одна другой красивее. Въезжаешь в аллею из кедровых, дубовых деревьев и тополей: местами деревья образуют непроницаемый свод; кое-где другие аллеи бегут в сторону от главной, к дачам и к фермам, а потом к Винбергу, маленькому городку, который виден с дороги. Налево видна знаменитая по своему вину Констанская гора. Рядом с ней идет хребет вплоть до Столовой горы. По дороге то обгоняли нас, то встречались фуры, кабриолеты, кареты, всадники. Из аллеи неприметно въезжаешь в Капштат. При въезде берут по 8 пенсов с экипажа за шоссе; при выезде из Саймонсбей столько же. По дороге еще есть красивая каменная часовня в полуготическом вкусе, потом, в стороне под горой, на берегу, выстроено несколько домиков для приезжающих на лето брать морские ванны. Есть рыбачья слобода, с рощей вокруг.

Капштат

Задолго до въезда в город глазам нашим открылись три странные массы гор, непохожих ни на одну из виденных нами. Одна предлинная, довольно отлогая, с углублением в средине, с возвышенностями по концам; другая высокая, ровная и одинаково широкая и в основании, и наверху. Вершины нет: она как будто срезана, и гора оканчивается

Мыс Доброй Надежды. С гравюры. Вышеславцев.

к верху площадью, почти равною основанию. К ней прислонилась третья гора, вся в рытвинах, более первых заросшая зеленью. «Что это?» — спросил я кучера малайца, указывая на одну гору. «Tablemountain»,— сказал он (Столовая гора). «А это?» — «Lion's head» (Львиная гора). «А это?» — «Deavilspick» (Чертов пик).

Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, но она похожа и на сундук, и на фортепиано, и на стену — на что хотите, всего меньше на гору. Бока ее кажутся гладкими, между тем в подзорную трубу видны большие уступы, неровности и углубления; но они исчезают в громадности глыбы. Эти три горы, и между ними особенно Столовая, недаром приобрели свою репутацию.

Обливают ли их солнечные лучи, лежит ли густой туман на них, или опоясывают облака — во всех этих уборах они прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное и грандиозное зрелище для путешественника. Три странные формы, как три чудовища, облегли город. Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, состоит из песчаника, почерневшего от солнца и воздуха. Кое-где зеленеет травка, да кустарниковые растения забрались в промытые дождем рытвины. По подошве кучками разбросаны рощицы и сады, с дачами и виноградниками. С вида кажется невозможным войти в эту стену; между тем там проложены тропинки, и любопытные, с проводниками, беспрестанно отправляются туда. И некоторые из наших ходили: пошли в сапогах, а воротились босые. Вершина горы, сказывали они, плоская, поросшая кустарником, во всю площадь. Львиная гора похожа, говорят, на лежащего льва: продолговатый холм в самом деле напоминает хребет какого-то животного, но конический пик, которым этот холм примыкает к Столовой горе, вовсе не похож на львиную голову. Зато коронка пика образует совершенно правильную фигуру спящего львенка. Товарищи мои заметили то же самое: нельзя нарочно сделать лучше; так и хочется снять ее и положить на стол, как presse-papier.*

Любуясь на горы, мы незаметно очутились у широкого крыльца двухэтажного дома: это Welch's hotel. У подъезда, на нижней ступеньке, встретил нас совсем черный слуга; потом слуга малаец, не совсем черный, но и не белый, с красным платком на голове; в сенях — служанка, англичанка, побелее; далее, на лестнице — девушка лет 20, красавица, положительно белая, и наконец — старуха, хозяйка, nec plus ultra** белая, то есть седая. Мы вошли в чистые круглые, освещенные сверху сени, с прекрасной деревянной лестницей и выходом прямо на дворик, с балконом. Около дворика кругом шла шпалера из виноградных лоз, и кисти ягод висели везде, зрелые и крупные, янтарного цвета. Двери направо в гостиную и налево в столовую были отворены настежь, с полуоткрытыми жалюзи и окнами. Везде сумрак и прохлада. В сенях мы встретили своих, которые накануне уехали. Они шли гулять; мы сдали

* пресс-папье (*франц.*),— *Ред.*
** в высшей степени (*лат.*),— *Ред.*

вещи слугам и присоединились к ним. Слуга спросил меня и барона, будем ли мы обедать. Чересчур жесткая солонина и слишком мягкая яичница в Halfway еще были *присущи* у меня в памяти или в желудке,[2] и я отвечал: «Не знаю». — «Будем, будем!» — торопливо за себя и за меня решил барон. На лестнице служанка подошла к нам и спросила, будем ли мы обедать? «Не знаю...» — начал было я, но барон не дал мне договорить. Пока мы сдавали вещи, наши спутники толпой теснились у буфета. Я продрался посмотреть, что они делают. Вот что: из темной комнаты буфета в светлые сени выходило большое окно; в нем, как в рамке, вставлена была прекрасная картинка: хорошенькая девушка, родственница m-rs Welch, Кэролейн, то есть Каролина, та самая, которую мы встретили на лестнице. Она была прекрасного роста, с прекрасной талией, с прекрасными глазами и предурными руками — прекрасная девушка! Сквозь белую нежную кожу сквозили тонкими линиями синие жилки; глаза большие, темно-синие и лучистые; рот маленький и грациозный, с вечной, одинаковой для всех улыбкой. Я после видел, как она обрезала палец и заплакала: лоб у ней наморщился, глаза выразили страдание, а рот улыбался: такова сила привычки. Как грациозно подавала она каждому счет, написанный хотя дурной рукой, но прекрасным почерком! Как мило говорила: «Thank you!»,* когда взамен счета ей подавали кучку фунтов. А что за прелесть, когда она, как сильфида,[3] неслышными шагами идет по лестнице, вдруг остановится посредине ее, обопрется на перила и, обернувшись, бросит на вас убийственный взгляд. Она-то привлекала всех к окну: там было постоянное сборище. Она, то во весь рост, то сидя, рисовалась на темном фоне комнаты. Сзади, как дополнение, аксессуар комнаты, сидела на диване довольно грузная старушка, m-rs Welch. Предоставив Каролине улыбаться и разговаривать с гостями, она постоянно держалась на втором плане, молча, принимала передаваемые ей Каролиной фунты и со вздохом опускала в карман. Увидя нас, новоприезжих, обе хозяйки в один голос спросили, будем ли мы обедать. Этот вопрос занимал весь дом.

День был удивительно хорош: южное солнце, хотя и осеннее, не щадило красок и лучей: улицы тянулись лениво, дома стояли задумчиво в полуденный час и казались вызолоченными от жаркого блеска. Мы прошли мимо большой площади, называемой *Готтентотскою,* усаженной большими елями, наклоненными в противоположную от Столовой горы сторону, по причине знаменитых ветров, падающих с этой горы на город и залив.

На площади учатся обыкновенно войска; но их теперь нет: они еще воюют с кафрами.[4] В конце площади биржа — низенькое, не представляющее ничего замечательного здание, голландской постройки. В нем большая зала, увешенная тысячами печатных уведомлений о продаже, о покупке, да множество столов с газетами. Рядом в комнате помещается библиотека. Мы видели много улиц и площадей, осмотрели английскую и католическую церкви, миновав мечеть, помещающуюся в доме, который

* «Благодарю вас!» (*англ.*).— *Ред.*

ничем не отличается от других. Но куда ни взглянешь, везде взгляд упирается то в зеленеющие бока лежащего Льва, то в Столовую гору, то в Чертов пик. Город как будто сдавлен ими, только к юго-западу раздвигается безграничный простор: там море сливается с небом.

Мы в конце одной улицы заметили темную аллею и поворотили туда. Это была длинная, совсем закрытая вершинами елей дорога для пешеходов, убитая, впрочем, довольно острыми камешками. Пройдя несколько сажен, мы подошли ко входу в ботанический сад, в который вход дозволен за деньги по подписке; но для путешественников он открыт во всякое время безденежно. Что за наслаждение этот сад! Он невелик: едва ли составит половину петербургского Летнего сада, но зато в нем собраны все цветы и деревья, растущие на Капе и в колонии. Все рассажено в порядке, посемейно. Мы обошли кругом сада, не пропуская ни одного растения. Сначала идут деревья: померанцевые, фиговые и другие, потом кусты. Миртовые всевозможных пород, кипарисные и между ними миллионы мелких цветов, ярких, блестящих. Я припоминал наши роскошные дачи и цветники, где все это стоит или под стеклом, или в кадках, а на зиму прячется. Здесь круглый год все зеленеет и цветет. По местам посажено было чрезвычайно красивое и невиданное у нас дерево, называемое по-английски broomtree. Broom значит *метла*; дерево названо так потому, что у него нет листьев, а есть только тонкие и чрезвычайно длинные зеленые прутья, которые висят, как кудри, почти до земли. Они видом немного напоминают плакучие ивы, но гораздо красивее их. Какая богатая коллекция георгин! Вот семейство алоэ; особенно красивы зеленые листья с двумя широкими желтыми каймами. Семья кактусов богаче всех: она занимает целую лужайку. Что за разнообразие, что за уродливость и что за красота вместе! Я мимо многих кустов проходил с поникшей головой, как мимо букв неизвестного мне языка. Посредине главной аллеи растут, образуя круг, точно дубы, огромные грушевые деревья, с большими, почти с голову величиною, грушами, но жесткими, годными только для компота.

С одного места из сада открывается глазам вся Столовая гора. Меня опять поразила эта громада, когда мы были у ее подошвы. Солнце обливало ее лучами; наверху прилипло в одном месте облако и лежало там покойно, не шевелясь, как глыба снегу. Зеленеющие бока Льва казались еще зеленее. На крестце его вертелся телеграф,[5] разговаривая с судами. Я вглядывался в рытвины Столовой горы, промытые протоками и образующие видом так называемые «ножки стола». На этом расстоянии то, что издали казалось мхом, травкой, являлось целыми лесами кустов и деревьев. Вся гора, взятая нераздельно, кажется какой-то мрачной, мертвой, безмолвной массой, а между тем там много жизни: на подошву ее лезут фермы и сады; в лесах гнездятся павианы (большие черные обезьяны), кишат змеи, бегают шакалы и дикие козы. Гора невысока, всего 3500 футов над морем, но громоздка, широка. Вообще все три горы кажутся покинутыми материалами от каких-то громадных замыслов и недоконченных нечеловеческих работ.

Обошедши все дорожки, осмотрев каждый кустик и цветок, мы вышли

опять в аллею и потом в улицу, которая вела в поле и в сады. Мы пошли по тропинке и потерялись в садах, ничем не огороженных, и рощах. Дорога поднималась заметно в гору. Наконец забрались в чащу одного сада и дошли до какой-то виллы. Мы вошли на террасу и, усталые, сели на каменные лавки. Из дома вышла мулатка, объявила, что господ ее нет дома, и по просьбе нашей принесла нам воды.

Город открылся нам весь оттуда, город чисто английский, с немногими исключениями: высокие двухэтажные домы, с магазинами внизу; улицы пересекаются под прямым углом. Кругом далеко видны загородные домы и прячущиеся в зелени фермы. Зелень, то есть деревья, за исключением мелких кустов, только и видна вблизи ферм, а то всюду голь, все обнажено и иссушено солнцем, убито неистовыми, дующими с моря и с гор ветрами. Взгляд далеко обнимает пространство и ничего не встречает, кроме белоснежного песку, разноцветной и разнообразной травы да однообразных кустов, потом неизбежных гор, которые группами, беспорядочно стоят, как люди, на огромной площади, то в кружок, то рядом, то лицом или спинами друг к другу.

Дорогой навязавшийся нам в проводники малаец принес нам винограду. Мы пошли назад всё по садам, между огромными дубами, из рытвины в рытвину, взобрались на пригорок и, спустившись с него, очутились в городе. Только что мы вошли в улицу, кто-то сказал: «Посмотрите на Столовую гору!» Все оглянулись и остановились в изумлении: половины горы не было.

Облако, о котором я говорил, разрослось, пока мы шли садами, и густым слоем, точно снегом, покрыло плотно и непроницаемо всю вершину и спускалось по бокам ровно: это *стол накрывался скатертью*. Мы шли улицей, идущей скатом, и беспрестанно оглядывались: скатерть продолжала спускаться с неимоверной быстротой, так что мы не успели достигнуть середины города, как гора была закрыта уже до половины. Я ждал, не будет ли бури, тех стремительных ветров, которые наводят ужас на стоящие на рейде суда; но жители капштатские говорят, что этого не бывает. Столовая гора может хоть вся закутаться в саван — они не боятся. Беда, когда *лев накинет чепчик!* Я после сам имел случай поверить это собственным наблюдением.

Я пристально всматривался в физиономию города: та же Англия, те же узенькие, высокие английские домы, крытые аспидом[6] и черепицей, в два, редкие в три этажа. Внизу магазины. Только одно исключение допущено в пользу климата: это большие, во всю ширину дома веранды или балконы, где жители отдыхают по вечерам, наслаждаясь прохладой. Есть несколько домов голландской постройки, с одним и тем же некрасивым, тяжелым фронтоном и маленькими окошками, с тонким переплетом в рамах и очень мелкими стеклами. Но остатки голландского владычества редки.[7] Я почти не видал голландцев в Капштате, но язык голландский, однако ж, еще в большом ходу. Особенно на нем говорят все старики, слуги и служанки. На всяком шагу бросаются в глаза богатые магазины сукон, полотен, материй, часов, шляп; много портных и ювелиров, словом — это уголок Англии.

Здесь, как в Лондоне и Петербурге, дома стоят так близко, что не разберешь, один это или два дома; но город очень чист, смотрит так бодро, весело, живо и промышленно. Особенно любовался я пестрым народонаселением. Англичанин — барин здесь, кто бы он ни был: всегда изысканно одетый, холодно, с пренебрежением отдает он приказания черному. Англичанин сидит в обширной своей конторе, или в магазине, или на бирже, хлопочет на пристани, он строитель, инженер, плантатор, чиновник, он распоряжается, управляет, работает, он же едет в карете, верхом, наслаждается прохладой на балконе своей виллы, прячась под тень виноградника.

А черный? Вот стройный красивый негр финго, или мозамбик, тащит тюк на плечах; это «кули» — наемный слуга, носильщик, бегающий на посылках; вот другой, из племени зулу, а чаще готтентот, на козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в кабриолет. Там третий, бичуан, ведет верховую лошадь; четвертый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль. Вот малаец, с покрытой платком головой, по обычаю магометан, едет с фурой, запряженной шестью, восемью, до двенадцати быков и более. Вот идет черная старуха, в платке на голове, сморщенная, безобразная; другая, безобразнее, торгует какой-нибудь дрянью; третья, самая безобразная, просит милостыню. Толпа мальчишек и девчонок, от самых белых до самых черных включительно, бегают, хохочут, плачут и дерутся. Волосы у черных — как куча сажи. Мулаты, мулатки в европейских костюмах; далее пьяные английские матросы, махая руками, крича во все горло, в шляпах и без шляп, катаются в экипажах или толкутся у пристани. И между всем этим народонаселением проходят и проезжают прекрасные, нежные создания — английские женщины.

Мы пришли на торговую площадь; тут кругом теснее толпились дома, было больше товаров вывешено на окнах, а на площади сидело много женщин, торгующих виноградом, арбузами и гранатами. Есть множество книжных лавок, где на окнах, как в Англии, разложены сотни томов, брошюр, газет; я видел типографии, конторы издающихся здесь двух газет,[8] альманахи, магазин редкостей, то есть редкостей для европейцев: львиных и тигровых шкур, слоновых клыков, буйволовых рогов, змей, ящериц.

В городе считается около 25 тысяч всех жителей, европейцев и цветных. Кроме черных и малайцев встречается много коричневых лиц весьма подозрительного свойства, напоминающих не то голландцев, не то французов или англичан: это помесь этих народов с африканками. Собственно же коренных и известнейших племен: кафрского, готтентотского и бушменского, особенно последнего, в Капштате не видать, кроме готтентотов — слуг и кучеров. Они упрямо удаляются в свои дикие убежища, чуждаясь цивилизации и оседлой жизни. Впрочем, племя бушменов малочисленно; они гнездятся в землянках, вырытых среди кустов, оттого и названы бушменами (куст по-голландски *буш*), они и между собой живут не обществом, а посемейно, промышляют ловлей зверей, рыбы и воровством. Один из новых писателей о Капской колонии, Торнли Смит[9] (Thornley Smith), находит у бушменов сходство с Плиниевыми троглоди-

Жители мыса Доброй Надежды. Вышеславцев.

тами,[10] которые жили в землянках, питались змеями и, вместо явственной речи, издавали глухое ворчанье. Есть сходство, особенно когда послушаешь, как бушмены говорят: об этом скажу ниже.

Город посредством водопроводов снабжается отличной водой из горных ключей. За это платится жителями известная подать, как, впрочем, за все удобства жизни. Англичане ввели свою систему сборов, о чем также будет сказано в своем месте.

Устав и наглядевшись всего, мы часов в шесть воротились в гостиницу. Там в длинной столовой накрыт был большой стол. Мы разошлись по нумерам переодеться к обеду. Я осмотрел внимательно свой нумер: это длинная, мрачная комната, с одним пребольшим окном, но очень высокая. В ней постель, по обыкновению прешироkая, с занавесом; дрянной ореховый стол, несколько стульев, которые скликают друг друга; обои разодраны в некоторых местах; на потолке красуется пятно. В окне одно стекло разбито; на столике стояло маленькое зеркало в простой рамке, с ящиком. Я обошел комнату раза два, поглядел на свой не развязанный, туго набитый мешок с бельем и платьем и вздохнул из глубины души. «Фаддеев! Филипп! где вы?» — сорвалось у меня с языка воззвание к слугам. Я позвонил: явился мальчик лет двадцати, угреватый, подслеповатый, и в комнате вдруг запахло собакой. «Воды — бриться!» — сказал я. «Yes, sir»,*— отвечал он и не принес. Я позвонил — и он явился с кружкой воды. «Щетку,— сказал я,— для платья!» То же «yes» в ответ и то же непослушание. Вдруг раздался звонок — это приглашение к обеду. Я сошел в сени. Малаец Ричард, подняв колокол с большой стакан вели-

* «Да, сэр» (*англ.*),— *Ред.*

чиной вровень с своим ухом и зажмурив глаза, звонил изо всей мочи на все этажи и нумера, сзывая путешественников к обеду. Потом вдруг перестал, открыл глаза, поставил колокол на круглый стол в сенях и побежал в столовую.

Там явились всё только наши да еще служащий в Ост-Индии[11] английский военный доктор *Whetherhead*.*[12] На столе стояло более десяти покрытых серебряных блюд, по обычаю англичан, и чего тут не было! Я сел на конце; передо мной поставили суп, и мне пришлось хозяйничать.

Нас село за обед человек шестнадцать. *Whetherhead* сел подле меня. Я разлил всем суп, в том числе и ему, и между нами завязался разговор, сначала по-английски, но потом перешел на немецкий язык, который знаком мне больше. Мне казалось, что будто он умышленно затрудняется говорить по-немецки. Вскоре он стал говорить и со всеми. Он был очень умен, любезен и услужлив. Мое хозяйничанье на супе и окончилось. Ричард снял крышку с другого блюда: там задымился кусок ростбифа. Я трогал его длинным и, как бритва, острым ножом, то с той, то с другой стороны, стал резать, и нож ушел в глубину до половины куска. «Не портьте куска,— сказал мне барон, млея перед этой горой мяса,— надо резать искусно». Я передвинул блюдо к доктору, и тот с уменьем, тонкими ломтями, начал отделять мясо и раскладывать по тарелкам. Но тут уже все стали хозяйничать. Почти перед всяким стояло блюдо с чем-нибудь. Перед одним кусок баранины, там телятина, и почти всё au naturel, как и любят англичане, жаркое, рыба, зелень и еще карри, подаваемое ежедневно везде, начиная с мыса Доброй Надежды до Китая, особенно в Индии; это говядина или другое мясо, иногда курица, дичь, наконец, даже раки и особенно шримсы,[13] изрезанные мелкими кусочками и сваренные с едким соусом, который составляется из десяти или более индийских перцев. Мало того, к этому подают еще какую-то особую, чуть не ядовитую сою, от которой блюдо и получило свое название. Как необходимая принадлежность к нему, подается особо вареный в одной воде рис. Мы, не зная, каково это блюдо, брали доверчиво в рот; но тогда начинались различные затруднения: один останавливался и недоумевал, как поступить с тем, что у него во рту; иной, проглотив, вдруг делал гримасу, как будто говорил по-английски; другой поспешно проглатывал и метался запивать, а некоторые, в том числе и барон, мужественно покорились своей участи.

Как обыкновенно водится на английских обедах, один посылал свою тарелку туда, где стояли котлеты, другой просил рыбы, и обед съедался вдруг. Ричард метался, как угорелый, и отлично успевал подавать вовремя всякому, чего кто требовал. Он же приносил тому бутылку портвейна, другому хересу, а иным и стакан воды, но редко. Англичанам за обедом вода подается только для полосканья рта. Лишь кликнут: «Ричард!», да и кликать не надо: он не допустит; он глазами ловит взгляд, подбегает к вам, и вы — особенно с непривычки — непременно засмеетесь прежде, а потом уже скажете, что вам нужно: такие гримасы делает

---

* Ведерхед (*англ.*),— *Ред.*

он, приготовляясь слушать вас! Вы только намереваетесь сказать ему слово, он открывает глаза, как будто ожидая услышать что-нибудь чрезвычайно важное; и когда начнете говорить, он поворачивает голову немного в сторону, а одно ухо к вам; лицо все, особенно лоб, собирается у него в складки, губы кривятся на сторону, глаза устремляются к потолку. Редко можно встретить физиономию подвижнее этого лица, напоминающего наших татар.

Когда кончили обед, Ричард мгновенно потаскал прочь, одно за другим, блюда, потом тарелки, ножи, вилки, куски хлеба, наконец потащил скатерть. Я так и ждал, что он начнет таскать собеседников, хотя никто в этом надобности и не чувствовал. Он не дотронулся, однако ж, ни до одного стакана, ни до рюмки и особенно до бутылки. Потом стал расставлять перед каждым маленькие тарелки, маленькие ножи, маленькие вилки и с таким же проворством начал носить десерт: прекрупный янтарного цвета виноград и к нему большую хрустальную чашку с водой, груши, гранаты, фиги и арбузы. Опять пошла такая же раздача: тому того, этому другого, нашим молодым людям всего. О пирожном я не говорю: оно то же, что и в Англии, то есть яичница с вареньем, круглый пирог с вареньем и маленькие пирожки с вареньем, да еще что-то вроде крема, без сахара, но, кажется... с вареньем. Наконец Ричард и это все утащил, но бутылки и рюмки опять оставил и скромно удалился. К удивлению его, мы удалились от бутылок еще скромнее и, кто постарше, пошли в гостиную, а большинство — в буфет, к окну. Тут еще дали кому кофе, кому чаю и записали на каждого за все съеденное и выпитое, кроме вина, по четыре шиллинга: это за обед. Мне подали чаю; я попробовал и не знал, на что решиться, глотать или нет. Я стал припоминать, на что это похоже: помню, что в детстве, вместе с ревенем, мятой, бузиной, ромашкой и другими снадобьями, которыми щедро угощают детей, давали какую-то траву вроде этого чая. В Англии он казался мне дурен, а здесь ни на что не похож. Говорят, это смесь черного и зеленого чаев; но это еще не причина, чтоб он был так дурен; прибавьте, что к чаю подали вместо сахару песок, сахарный конечно, но все-таки песок, от которого мутный чай стал еще мутнее.[14]

Мы пошли опять гулять. Ночь была теплая, темная такая, что ни зги не видать, хотя и звездная. Каждый, выходя из ярко освещенных сеней по лестнице на улицу, точно падал в яму. Южная ночь таинственна, прекрасна, как красавица под черной дымкой: темна, нема; но все кипит и трепещет жизнью в ней, под прозрачным флером. Чувствуешь, что каждый глоток этого воздуха есть прибавка к запасу здоровья; он освежает грудь и нервы, как купанье в свежей воде. Тепло, как будто у этой ночи есть свое темное, невидимо греющее солнце; тихо, покойно и таинственно; листья на деревьях не колышутся. Мы ходили до пристани и долго сидели там на больших камнях, глядя на воду. Часов в десять взошла луна и осветила залив. Вдали качались тихо корабли, направо белела низменная песчаная коса и темнели груды дальних гор.

Я воротился домой, но было еще рано; у окна буфета мистрис Вельч и Каролина, сидя друг подле друга на диване, зевали по очереди. Я что-то

спросил, они что-то отвечали, потом м-с Вельч еще зевнула, за ней зевнула Каролина. Я хотел засмеяться и, глядя на них, сам зевнул до слез, а они засмеялись. Потом каждая взяла свечу, раскланялись со мной и, одна за другой, медленно пошли на лестницу. В сенях, на круглом столе, я увидел целый строй медных подсвечников и — о ужас, сальных свеч! Все это приготовлено для гостей. Меня еще в Англии удивило, что такой опрятный, тонкий и причудливый в житье-бытье народ, как англичане, да притом и изобретательный, не изобрел до сих пор чего-нибудь вместо дорогих восковых свеч. Стеариновые есть, но очень дурны; спермацетовые прекрасны, но дороже восковых. «Мне нужна восковая или спермацетовая свечка»,— сказал я живо. Они обе посмотрели на меня с полминуты, потом скрылись в коридор; но Каролина успела обернуться и еще раз подарить меня улыбкой, а я пошел в свой 8-й номер, держа поодаль от себя свечу; там отдавало немного пустотой и сыростью.

Я сел было писать, но английский обед сморит сном хоть кого; да мы еще набегались вдоволь. Я только начал засыпать, как над правым ухом у меня раздалось пронзительное сопрано комара. Я повернулся на другой бок — над ухом раздался дуэт и потом трио, а там все смолкло и вдруг — укушение в лоб, не то в щеку. Вздрогнешь, схватишься за укушенное место: там шишка. Я думал прихлопнуть ночных забияк и не раз издали, тихонько целился ладонью в темноте: бац — больно — только не комару, и вслед за пощечиной раздавалось опять звонкое пение: комар юлил около другого уха и пел так тихо и насмешливо. Я затворил деревянную ставню, но от ветерка она ходила взад и вперед и постукивала. На другой день утром, часов в 8, кто-то стучит в дверь. «Кто там?» — забывшись, по-русски закричал я. «Who is there?»* — опомнившись, спросил я потом. «Чаю или кофе?» — «Чаю... если только это чай, что у вас подают». Я встал отпереть дверь и тотчас же пожаловался человеку, принесшему чай, на комаров, показывая ему следы укушений. Я попросил, чтоб поскорей вставили стекло. «Yes, sir»,— отвечал он. Но я знал уже, что значит это yes.

Только я собрался идти гулять, как раздался звонок Ричарда; я проворно сошел вниз узнать, что это значит. У окна буфета нет никого, и рамка пустая: картинка еще почивала. Только Ричард, стоя в сенях, закрыв глаза, склонив голову на сторону и держа на ее месте колокол, так и заливается звонит — к завтраку. Было всего 9 часов — какой же еще завтрак? «Ни я, никто из наших не завтракает»,— говорил я, входя в столовую, и увидел всех наших; других никого и не было. Стол накрыт, как для обеда; стоит блюд шесть и дымятся; на другом столе дымился чай и кофе. Я сел вместе с другими и поел рыбы — из любопытства, «узнать, что за рыба», по методе барона, да маленькую котлетку. «Чем же это не обед?— говорил я, принимаясь за виноград,— совершенный обед — только супу нет». После завтрака я не забыл пожаловаться м-с Вельч на комаров и просил вставить окно. «Yes, sir!» — отвечала она. И Каролине пожало-

* «Кто там?» (*англ.*),— *Ред.*

вался, прося убедительно велеть к ночи вставить стекло. «Yes, o yes!» — сказала она, очаровательно улыбаясь.

Мы пошли по улицам, зашли в контору нашего банкира, потом в лавки. Кто покупал книги, кто заказывал себе платье, обувь, разные вещи. Книжная торговля здесь довольно значительна; лавок много; главная из них, Робертсона, помещается на большой улице. Здесь есть своя самостоятельная литература. Я видел много периодических изданий, альманахов, стихи и прозу, карты и гравюры и купил некоторые изданные здесь сочинения собственно о Капской колонии. В книжных лавках продаются и все письменные принадлежности. Устройство лавок, искусство раскладывать товар — все напоминает Англию. И здесь, как там, вы не обязаны купленный товар брать с собою: вам принесут его на дом. Другие магазины еще более напоминают Англию, только с легким провинциальным оттенком. Всё попроще, нет зеркальных двухсаженных стекол, газу и роскошной мебели. Между тем здесь есть много своих фабрик и заводов: шляпных, стеклянных, бумажных и т. п., которые вполне удовлетворяют потребности края. Глядя на это множество разного рода лавок, я спрашивал себя: где покупатели? Жителей в Капштате от 25 до 30, а в колонии каких-нибудь 200 тысяч.

К полудню солнце начинало сильно печь. Окна закрылись наглухо посредством жалюзи; движение приутихло, то есть беготня собственно, но езда не прекращалась. Экипажи мчались изо всей мочи по улицам; быки медленно тащили тяжелые фуры с хлебом и другою кладью, а иногда и с людьми. В такой фуре я видел человек по пятнадцати. Посреди улиц, как в Лондоне, гуськом стояли наемные экипажи: кареты четырехместные, коляски, кабриолеты в одну лошадь и парой. Экипажи как будто сейчас из мастерской: ни одного нет даже старого фасона, все выкрашены и содержатся чрезвычайно чисто. Черные кучера ловят глазами ваш взгляд, но не говорят ни слова.

Мы где-то на перекрестке разошлись: кто пошел в магазин редкостей, кто в ванны или даже в бани, помещающиеся в одном доме на торговой площади, кто куда. Я отправился опять в темную аллею и ботанический сад, который мне очень понравился, между прочим и потому, что в городе, собственно, негде гулять. Я с новым удовольствием обошел его весь, останавливался перед разными деревьями, дивился рогатым, неуклюжим кактусам и опять с любопытством смотрел на Столовую гору. Меня поразило пение множества птиц, которого вчера я не слыхал, вероятно потому, что было поздно. Теперь, напротив, утром, раздавалось столько веселых и незнакомых для северного уха голосов. Я искал глазами певиц, но они не очень дичились: из одного куста в другой беспрестанно перелетали стаи колибри, резвых и блестящих. Они шалили и кокетничали, вертясь на ветках довольно низких кустов и сверкая переливами всех возможных цветов. Только я подходил шагов на пять, как они дождем проносились под носом у меня и падали в ближайший шелковичный или другой куст.

В отеле в час зазвонили завтракать. Опять разыгрался один из существенных актов дня и жизни. После десерта все двинулись к буфету, где, в черном платье, с черной сеточкой на голове, сидела Каролина и с улыбкой

наблюдала, как смотрели на нее. Я попробовал было подойти к окну, но места были ангажированы, и я пошел писать к вам письма, а часа в три отнес их сам на почту.

Я ходил на пристань, всегда кипящую народом и суетой. Здесь идут по длинной, далеко уходящей в море насыпи рельсы, по которым возят тяжести до лодок. Тут толпится всегда множество матросов разных наций, шкиперов и просто городских зевак.

Есть на что и позевать: впереди необъятный залив, со множеством судов; взад и вперед снуют лодки; вдали песчаная отмель, а за ней Тигровые горы. Оглянитесь назад: за вами три исполинские массы гор и веселый, живой город. Тут же, на плотине, застал я множество всякого цветного народа, особенно мальчишек, ловивших удочками рыбу. Ее так много, что не проходит минуты, чтоб кто-нибудь не вытащил.

В некоторых улицах видел я множество конюшен для верховых лошадей. В городе и за городом беспрестанно встречаешь всадников, иногда целые кавалькады. Лошади все почти средней величины, но красивы. Требование на них так велико, что в воскресенье, если не позаботишься накануне, не достанешь ни одной. В этот день все из города разъезжаются по дачам. Между прочим, в одном месте я встретил надпись: «Контора омнибусов»; спрашиваю: куда они ходят, и мне называют ближайшие места, миль за 40 и за 50 от Капштата. А давно ли туда ездили на волах, в сопровождении толпы готтентотов, на охоту за львами и тиграми? Теперь за львами надо отправляться миль за 400: города, дороги, отели, омнибусы, шум и суета оттеснили их далеко. Но тигры и шакалы водятся до сих пор везде, рыскают на окрестных к Капштату горах.

Пора, однако, обедать, солнце село: шесть часов. В отеле нас ожидал какой-то высокий, стройный джентльмен, очень благообразной наружности, с самыми приличными бакенбардами, украшенными легкой проседью, в голубой куртке, с черным крепом на шляпе, с постоянной улыбкой скромного сознания своих достоинств и с предлинным бичом в руках. «Вандик»,[15]— рекомендовался он. У меня промелькнул целый поток соображений. «Вандик — конечно, потомок знаменитого живописца:[16] дед или прадед этого, стоящего пред нами Вандика, оставил Голландию, переселился в колонию, и вот теперь это сын его. Он, конечно, пришел познакомиться с русскими, редкими гостями здесь, как и тот майор, адъютант губернатора, которого привел сегодня утром доктор Ведерхед...» «Проводник ваш по колонии,— сказал Вандик,— меня нанял ваш банкир, с двумя экипажами и с осьмью лошадьми. Когда угодно ехать?» Мои соображения рассеялись. «Завтра пораньше»,— сказали мы ему.

Доктор Ведерхед за обедом опять был очень любезен. Тут пришли некоторые дамы, в том числе и его жена. Нехороша — бог с ней: лет тридцати, figure chiffonnée.* Про такие лица прибавляют обыкновенно: но очень мила; про эту нельзя сказать этого. Как кокетливо ни одевалась она, но впалые и тусклые глаза, бледные губы могли внушить только разве сострадание к ее болезненному состоянию. Из их нумера часто

* лицо в мелких морщинках (*франц.*),— *Ред.*

раздавались звуки музыки, иногда пение женского голоса. Играли на фортепиано прекрасно: говорят, это он.

Доктор этот с первого раза заставил подозревать, что он не англичанин, хотя и служил хирургом в полку в ост-индской армии. Он был чрезвычайно воздержан в пище, вина не пил вовсе и не мог нахвалиться нами, что мы почти тоже ничего не пили. «Я все с большим и большим удовольствием смотрю на вас»,— сказал он, кладя ноги на стол, заваленный журналами, когда мы перешли после обеда в гостиную и дамы удалились. «Чем мы заслужили это лестное внимание?» — «Скромность, знание приличий...» — и пошел. «Покорно благодарим. А разве вы ожидали противного?..» — «Нет: я сравниваю с нашими офицерами,— продолжал он,— на днях пришел английский корабль, человек двадцать офицеров съехали сюда и через час поставили вверх дном весь отель. Прежде всего они напились до того, что многие остались на своих местах, а другие и этого не могли, упали на пол. И каждый день так. Ведь вы тоже пробыли долго в море, хотите развлечься, однако ж никто из вас не выпил даже бутылки вина: это просто удивительно!»

Такой отзыв нас удивил немного: никто не станет так говорить о своих соотечественниках, да еще с иностранцами. «Неужели в Индии англичане пьют так же много, как у себя, и едят мясо, пряности?» — спросили мы. «О да, ужасно! Вот вы видите, как теперь жарко; представьте, что в Индии такая зима; про лето нечего и говорить; а наши, в этот жар, с раннего утра отправятся на охоту; чем, вы думаете, они подкрепят себя перед отъездом? Чаем и водкой! Приехав на место, рыщут по этому жару целый день, потом являются на сборное место к обеду, и каждый выпивает по нескольку бутылок портера или элю и после этого приедут домой как ни в чем не бывало; выкупаются только и опять готовы есть. И ничего им не делается,— отчасти с досадой прибавил он,— ровно ничего, только краснеют да толстеют; а я вот совсем не пью вина, ем мало, а должен был удалиться на полгода сюда, чтоб полечиться».

«Но это даром не проходит им,— сказал он, помолчав,— они крепки до времени, а в известные лета силы вдруг изменяют, и вы увидите в Англии многих индийских героев, которые сидят по углам, не сходя с кресел, или таскаются с одних минеральных вод на другие». «Долго ли вы пробудете здесь?» — спросили мы доктора. «Я взял отпуск на год,— отвечал он,— мне осталось всего до пенсии года три. Надо прослужить семнадцать лет. Не знаю, зачтут ли мне этот год. Теперь составляются новые правила о службе в Индии; мы не знаем, что еще будет». Мы спросили, зачем он избрал мыс Доброй Надежды, а не другое место для отдыха. «Ближайшее,— отвечал он,— и притом переезд дешевле, нежели куда-нибудь. Я хотел ехать в Австралию, в Сидней, но туда стало много ездить эмигрантов, и места на порядочных судах очень дороги. А нас двое: я и жена; жалованья я получаю всего от 800 до 1000 ф. стерл.» (от 5000 до 6000 р.). «Куда же отправитесь, выслужив пенсию?» — «И сам не знаю; может быть, во Францию...» — «А вы знаете по-французски?» — «О да...» — «В самом деле?» И мы живо заговорили с ним, а до тех пор, правду сказать, кроме Арефьева, который отлично говорит по-английски, у нас рты были точно

зашиты. Доктор говорил по-французски прекрасно, как не говорит ни один англичанин, хоть он живи сто лет во Франции. «Да он жид, господа!» — сказал вдруг один из наших товарищей. Жид — какая догадка! Мы пристальнее всмотрелись в него: лицо бледное, волосы русые, профиль... профиль точно еврейский — сомнения нет. Несмотря, однако ж, на эту догадку, у нас еще были скептики, оспаривавшие это мнение. Да нет, все в нем не английское: не смотрит он, вытараща глаза; не сжата у него, как у англичан, и самая мысль, суждение, в какие-то тиски; не цедит он ее неуклюже, сквозь зубы, по слову. У этого мысль льется так игриво и свободно: видно, что ум не задавлен предрассудками; не рядится взгляд его в английский покрой, как в накрахмаленный галстук: ну, словом, все, как только может быть у космополита, то есть у жида. Выдал ли бы англичанин своих пьяниц?.. Догадка о его национальности оставалась все еще без доказательств, и доктор мог надеяться прослыть за англичанина или француза, если б сам себе не нанес решительного удара. Не прошло получаса после этого разговора, говорили о другом. Доктор расспрашивал о службе нашей, о чинах, всего больше о жалованье и вдруг, ни с того ни с сего, быстро спросил: «А на каком положении живут у вас жиды?» Все сомнения исчезли.

Кто бы он ни был, если и жид, но он был самый любезный, образованный и обязательный человек. «Вам скучно по вечерам,— сказал он однажды,— здесь есть клуб: вам предоставлен свободный вход. Вы познакомитесь с здешним обществом, почитаете газету, выкурите сигару: все лучше, нежели одним сидеть по нумерам. Да вот не хотите ли теперь? Пойдемте!»

Мы пошли. Клуб, как все клубы: ряд освещенных комнат, кучи журналов, толпа лакеев и буфет. Но, видно, было еще рано: комнаты пусты, только в бильярдной собралось человек пятнадцать. Пятеро, без сюртуков, в одних жилетах, играли; прочие молча смотрели на игру. Между играющими обращал на себя особенное внимание пожилой, невысокого роста человек, с проседью, одетый в красную куртку, в синие панталоны, без галстука. «Заметьте этого джентльмена»,— сказал нам доктор и тотчас же познакомил нас с ним. Тот пожал нам руки, хотел что-то сказать, но голоса три закричали ему: «Вам, вам играть!» — и он продолжал игру. «Кто ж это?» — спросили мы доктора. Он замялся несколько. «Игрок, если хотите»,— сказал он. «Ну, спасибо за знакомство»,— подумал я. Доктор как будто угадал мою мысль. «Я познакомил вас с ним потому,— прибавил он,— что это замечательный человек умом, образованием, приключениями и также счастьем в игре. Вам любопытно будет поговорить с ним: он знает все. У него огромный кредит здесь, в Китае, в Австралии, и его векселя уважаются, как банкирские. А этот молодой человек,— продолжал доктор, указывая на другого джентльмена, недурного собой, с усиками,— замечателен тем, что он очень богат, а между тем служит в военной службе, просто из страсти к приключениям».

Мне, однако ж, неинтересно казалось смотреть на катанье шаров, и я, предоставив своим товарищам этих героев, сел в угол. Мне становилось скучно, я помышлял, как бы уйти. Зову их — нейдут: «Сейчас, да

погодите». Я ушел потихоньку один, но дома было тоже невесело. Там остался наш доктор, еще натуралист да молодой Зеленый. Все они легли спать; натуралист если и не спал, то копался с слизняками, раками или букашками; он чистил их, сушил и т. п. Но я придумал средство вызвать товарищей из клуба. Они после обеда просили м-с Вельч и Каролину пить чай en famille,* вместе, как это делается у нас, в России. Так, романтизм! Но те и понять не могли, зачем это, и уклонились. На этом основал я свою хитрость и отправился в клуб. Игрок говорил с бароном, Посьет с английским доктором. Долго я ловил свободную минуту, наконец улучил и сказал самым небрежным тоном, что я был дома и что старуха Вельч спрашивала, куда все разбежались. «А ей что?» — спросил Посьет. «Да не знаю,— равнодушно отвечал я,— вы просили, кажется, Каролину чай разливать...»

«Это не я, а барон»,— перебил меня Посьет. «Ну, не знаю, только Каролина сидит там за чашками и ждет». Я оставил Посьета и перешел к барону. «Вы, что ли, просили старуху Вельч и Каролину чай пить вместе...» — «Нет, не я, а Посьет,— сказал он — а что?» «Да чай готов, и Каролина ждет...» Я хотел обратиться к Посьету, чтоб убедить его идти, но его уже не было. «А этот господин игрок, в красной куртке, вовсе не занимателен,— заметил, зевая, барон,— лучше гораздо идти лечь спать». Мы пошли и застали Посьета в комнате у хозяек: обе они зевали — старуха со всею откровенностью, Каролина силилась прикрыть зевоту улыбкой. О чае ни тот, ни другой не спросили ни меня, ни их: они поняли всё. Мы вышли на крыльцо, которое выходит на двор, сели под виноградными листьями и напились чаю одни-одинехоньки. Добрый Посьет стал уверять, что он ясно видел мою хитрость, а барон молчал и только на другой день сознался, что вчера он готов был драться со мной.[17]

Утром опять явился Вандик спросить, готовы ли мы ехать; но мы не были готовы: у кого платье не поспело, тот деньги не успел разменять. Просили приехать в два часа. Вандик, с неизменной улыбкой, поклонился и ушел. В два часа явились перед крыльцом две *кареты;* каждая запряжена была четверкой, по две в ряд. И малаец Ричард, и другой, черный слуга, и белый, подслеповатый англичанин, наконец, сама м-с Вельч и Каролина — все вышли на крыльцо провожать нас, когда мы садились в экипажи. «Good journey, happy voyage!»**— говорили они. Моросил дождь, когда мы выехали за город и, обогнув Столовую гору и Чертов пик, поехали по прекрасному шоссе, в виду залива, между ферм, хижин, болот, песку и кустов. Если б не декорация гор впереди и по бокам, то хоть спать ложись. Но нам было не до спанья: мы радовались, что, по обязательности адмирала, с помощию взятых им у банкиров Томсона и К° рекомендательных писем, мы увидим много нового и занимательного.

Я припоминал все, что читал еще у Вальяна о Мысе[18] и у других: описание песков, зноя, сражений со львами, о фермерах, и не верилось мне, что я еду по тем самым местам, что я в 10 000 милях от отечества. Я ласкал

* в семейном кругу (*франц.*),— *Ред.*

** «Доброго пути, счастливого путешествия!» (*англ.*).— *Ред.*

глазами каждый куст и траву, то крупную, сочную, то сухую, как веник. Мы проехали мимо обсерватории, построенной на луговине, на берегу залива, верстах в четырех от города. Я думал, что Гершель здесь делал свои знаменитые наблюдения над луной и двойными звездами,[19] но нам сказали, что его обсерватория была устроена в местечке Винберг, близ Констанской горы, а эта принадлежит правительству. Дождь переставал по временам, и тогда на кустах порхало множество разнообразных птиц. Я заметил одну, синюю, с хвостом более четверти аршина длиной. Она называется sugarbird (сахарная птица) оттого, что постоянно водится около так называемого сахарного кустарника. Дикие канарейки, поменьше немного, погрубее цветом цивилизованных и не так ярко окрашенные в желтый цвет, как те, стаями перелетали из куста в куст; мелькали еще какие-то зеленые, коричневые птицы. Кроме их, медленными кругами носились в воздухе коршуны; близ жилых мест появлялись и вороны, гораздо ярче колоритом наших: черный цвет был на них чернее и резко оттенялся от светлых пятен. Около домов летали капские пегие голуби, ласточки и воробьи. В колонии считается более пород птиц, нежели во всей Европе, и именно до шестисот. Кусты местами были так часты, что составляли непроходимый лес; но они малорослы, а за ними далеко виднелись или необработанные песчаные равнины, или дикие горы, у подошвы которых белели фермы, с яркой густой зеленью вокруг.

Капская колония

Скажите, положа руку на сердце: знаете ли вы хорошенько, что такое Капская колония? Не сердитесь ни за этот вопрос, ни за сомнение. Я уверен, что вы знаете историю Капа и колонии, немного этнографию ее, статистику, но все это за старое время. А знаете ли вы современную историю, нравы, все, что случилось в последние тридцать, сорок лет? Я уверен, что не совсем или даже совсем не знаете, кроме только разве того, что колония эта принадлежит англичанам. Я не помню, чтоб в нашей литературе являлись в последнее время какие-нибудь сведения об этом крае, не знаю также ничего замечательного и на французском языке. По-английски большинство нашей публики почти не читает, между тем в Англии, а еще более здесь, в Капе, описание Капа и его колонии образует почти целую, особую литературу. Имена писателей у нас неизвестны, между тем сочинения их — подвиги в своем роде; подвиги потому, что у них не было предшественников, никто не облегчал их трудов ранними труженическими изысканиями. Они сами должны были читать историю края на песках, на каменных скрижалях гор, где не осталось никаких следов минувшего. Каких трудов стоила им всякая этнографическая ипотеза, всякое филологическое соображение, которое надо было основывать на скудных, почти нечеловеческих звуках языков здешних народов! А между тем нашлись люди, которые не испугались этих неблагодарных трудов: они исходили взад и вперед колонию и, несмотря на скудость источников, под этим палящим солнцем, написали целые томы. Кто ж это? Присяжные ученые, тру-

женики, герои науки, жертвы любознания? Нет, просто любители, которые занялись этим мимоходом, сверх своей прямой обязанности: миссионеры и военные. Одни шли с крестом в эти пустыни, другие — с мечом. С ними проникло пытливое знание и перо. Сочинения Содерлендов, Барро, Смитов, Чезов и многих, многих других о Капе образуют целую литературу,[20] исполненную бескорыстнейших и добросовестнейших разысканий, которые со временем послужат основным камнем полной истории края.

Что же такое Капская колония? Если обратишься с этим вопросом к курсу географии, получишь в ответ, что пространство, занимаемое колониею, граничит к северу рекою Кейскамма, а в газетах, помнится, читал, что граница с тех пор во второй или третий раз меняет место, и обещают, что она не раз отодвинется дальше. На карте показано, что от такого-то градуса и до такого живут негры того или другого племени, а по новейшим известиям оказывается, что это племя оттеснено в другое место. Если прибегнешь за справками к путешественникам, найдешь у каждого ту же разноголосицу показаний, и все они верны, каждое своему моменту, именно моменту, потому что здесь все изменяется не по дням, а по часам.

Здесь все в полном брожении теперь: всеодолевающая энергия человека борется почти с неодолимою природою, дух — с материей, жадность приобретения — с скупостью бесплодия. Но осадка еще мало, еще нельзя определить, в какую физиономию сложатся эти неясные черты страны и ее народонаселения. Дело мало двинуто вперед, и наблюдатель, из настоящего положения, не выведет верного заключения о будущей участи колонии. Ему остается только следить, собирать факты и строить целый мир догадок. В материалах недостатка нет: настоящий момент — самый любопытный в жизни колонии. В эту минуту обработываются главные вопросы, обусловливающие ее существование, именно о том, что ожидает колонию, то есть останется ли она только колониею европейцев, как оставалась под владычеством голландцев, ничего не сделавших для черных племен, и представит в будущем незанимательный уголок европейского народонаселения, или черные, как законные дети одного отца, наравне с белыми, будут разделять завещанное и им наследие свободы, религии, цивилизации? За этим следует второй, также важный вопрос: принесет ли европейцам победа над дикими и природой то вознаграждение, которого они вправе ожидать за положенные громадные труды и капиталы, или эти труды останутся только бескорыстным подвигом, подъятым на пользу человечества? На эти вопросы пока нет ответа — так мало еще европейцы сделали успеха в цивилизации страны, или, лучше сказать, так мало страна покоряется соединенным усилиям ума, воли и оружия. В других местах, куда являлись белые с трудом и волею, подвиг вел за собой почти немедленное вознаграждение: едва успевали они миролюбиво или силой оружия завязывать сношение с жителями, как начиналась торговля, размен произведений, и победители, в самом начале завоевания, могли удовлетворить по крайней мере своей страсти к приобретению. Даже в Восточной Индии, где цивилизация до сих пор встречает почти неодолимое сопротивление в духе каст, каждый занятый пришельцами вершок земли немедленно приносил им соразмерную выгоду богатыми дарами

почвы. В Южной Африке нет и этого: почва ее неблагодарна, произведения до сих пор так скудны, что едва покрывают издержки хлопот. Виноделие, процветающее на морских берегах, дает только средства к безбедному существованию небольшому числу фермеров и скудное пропитание нескольким тысячам черных. Прочие промыслы, как, например, рыбная и звериная ловля, незначительны и не в состоянии прокормить самих промышленников; для торговли эти промыслы едва доставляют несколько неважных предметов, как-то: шкур, рогов, клыков, которые не составляют общих, отдельных статей торга. Самые важные промыслы — скотоводство и земледелие; но они далеко еще не достигли того состояния, в котором можно было бы ожидать от них полного вознаграждения за труд.

А между тем каких усилий стоит каждый сделанный шаг вперед! Черные племена до сих пор не поддаются ни силе проповеди, ни удобствам европейской жизни, ни очевидной пользе ремесл, наконец, ни искушениям золота, словом, не признают выгод и необходимости порядка и благоустроенности.

Местность страны — неограниченные пустые пространства — дает им средства противиться силе оружия. Каждый шаг выжженной солнцем почвы омывается кровью; каждая гора, куст представляют естественную преграду белым и служат защитой и убежищем черных. Наконец, европеец старается склонить черного к добру мирными средствами: он протягивает ему руку, дарит плуг, топор, гвоздь — все, что полезно тому; черный, истратив жизненные припасы и военные снаряды, пожимает протянутую руку, приносит за плуг и топор слоновых клыков, звериных шкур и ждет случая угнать скот, перерезать *врагов* своих, а после этой трагической развязки удаляется в глубину страны — до новой комедии, то есть до заключения мира.

Долго ли так будет? скоро ли европейцы продолжат незаметаемый путь в отдаленные убежища дикарей, и скоро ли последние сбросят с себя это постыдное название? Решением этого вопроса решится и предыдущий, то есть о том, будут ли вознаграждены усилия европейца, удастся ли, с помощью уже недиких братьев, извлечь из скупой почвы, посредством искусства, все, что может только она дать человеку за труд? усовершенствует ли он всеми средствами, какими обладает цивилизация, продукты и промыслы? возведет ли последние в степень систематического занятия туземцев? откроет ли или привьет новые отрасли, до сих пор чуждые стране?

Теперь на мысе Доброй Надежды, по берегам, европейцы пустили глубоко корни; но кто хочет видеть страну и жителей в первобытной форме, тот должен проникнуть далеко внутрь края, то есть почти выехать из колонии, а это не шутка: граница отодвинулась далеко на север и продолжает отодвигаться все далее и далее.

Природных черных жителей нет в колонии как граждан своей страны. Они тут слуги, рабочие, кучера, словом, наемники колонистов, и то недавно наемники, а прежде рабы. Сильные и наиболее дикие племена, теснимые цивилизациею и войною, углубились далеко внутрь; другие,

послабее и посмирнее, теснимые первыми изнутри и европейцами от берегов, поддались не цивилизации, а силе обстоятельств и оружия, и идут в услужение к европейцам, разделяя их образ жизни, пищу, обычаи и даже религию, несмотря на то, что в 1834 году они освобождены от рабства и, кажется, могли бы выбрать сами себе место жительства и промысл. По-видимому, им и в голову не приходит о возможности пользоваться предоставленными им правами свободного состояния и сравняться некогда с своими завоевателями. Путешественник почти совсем не видит деревень и хижин диких, да и немного встретит их самих: все занято пришельцами, то есть европейцами и малайцами, но не теми малайцами, которые заселяют индийский архипелаг: африканские малайцы распространились будто бы, по словам новейших изыскателей, из Аравии или из Египта до мыса Доброй Надежды. Этот важный этнографический вопрос еще не решен. Судя по чертам лиц их, имеющих много общего с лицами обитателей ближайшего к нам Востока, не задумаешься ни минуты причислить их к северо-восточным племенам Африки. Недавно только отведена для усмиренных кафров целая область, под именем Британской Кафрарии, о чем сказано будет ниже, и предоставлено им право селиться и жить там, но под влиянием, то есть под надзором английского колониального правительства. Область эта окружена со всех сторон британскими владениями: как и долго ли уживутся беспокойные племена под ферулой европейской цивилизации и оружия, сблизятся ли с своими победителями и просветителями — эти вопросы могут быть разрешены только временем.

Нужно ли говорить, кто хозяева в колонии? конечно, европейцы, и из европейцев, конечно, англичане. Голландцам принадлежит второстепенная роль, и то потому только, что они многочисленны и давно обжились в колонии. Должно ли жалеть об утраченном владычестве голландцев и пенять на властолюбие или, вернее, корыстолюбие англичан, воспользовавшихся единственно правом сильного, чтоб завладеть этим местом, которое им нужно было как переходный пункт на пути в Ост-Индию?[21] Если проследить историю колонии со времени занятия ее европейцами в течение двухвекового голландского владычества и сравнить с состоянием, в которое она поставлена англичанами с 1809 года, то не только оправдаешь насильственное занятие колонии англичанами,[22] но и порадуешься, что это случилось так, а не иначе.

Здесь предлагается несколько исторических, статистических и других сведений о Капской колонии, извлеченных частью из официальных колониальных источников, частью из прекрасной немецкой статьи: «Das Cap der Guten Hoffnung»,* помещенной в 4-м томе «Gegenwart,** энциклопедического описания новейшей истории».[23] Эта статья составляет систематическое и подробное описание колонии в историческом, естественном и других отношениях.

Мыс Доброй Надежды открыт был в блистательную эпоху мореплава-

* «Мыс Доброй Надежды» (*нем.*),— *Ред.*
** «Будущее» (*нем.*),— *Ред.*

ния, в 1493 году, португальцем Диазом (Diaz), который назвал его *мысом Бурь.*

Но португальский король Иоанн II, радуясь открытию нового, ближайшего пути в Индию, дал мысу Бурь нынешнее его название. После того посещали мыс, в 1497 году, Васко де Гама, а еще позже бразильский вице-король Франциско де Альмейда, последний — с целью войти в торговые сношения с жителями. Но люди его экипажа поссорились с черными, которые умертвили самого вице-короля[24] и около 70 человек португальцев.

Голландцы, на пути в Индию и оттуда, начали заходить на мыс и выменивали у жителей провизию. Потом уже голландская Ост-Индская компания, по предложению врача фон Рибека, заняла Столовую бухту.

В 1652 году голландцы заложили там крепость, и таким образом возник Капштат. Они быстро распространились внутрь края, произвольно занимая впусте лежащие земли и оттесняя жителей от берегов. Со стороны диких сначала они не встречали сопротивления. Последние, за разные европейские изделия, но всего более за табак, водку, железные орудия и тому подобные предметы, охотно уступали им не только земли, но и то, что составляло их главный промысл и богатство,— скот.

Голландские фермеры до сих пор владеют большими пространствами земли: это произошло от системы произвольной раздачи ее поселенцам. Всякий из них брал столько земли во владение, сколько мог окинуть взглядом. От этого многие фермы и теперь отстоят на сутки езды одна от другой. Фермеры, удаляясь от центра управления колонии, почувствовали себя как бы независимыми владельцами и не замедлили подчинить своей власти туземцев, и именно готтентотов. Распространяясь далее к востоку, голландцы встретились с кафрами, известными под общим, собирательным именем *амакоза.* Последние вели кочевую жизнь и, в эпоху основания колонии, прикочевали с севера к востоку, к реке Кей, под предводительством знаменитого вождя Тогу (Toguh),[25] от которого многие последующие вожди и, между прочим, известнейшие из них, Гаика и Гинца, ведут свой род.

Кафры, или амакоза, продолжали распространяться к западу, перешли большую Рыбную реку (Fishriver) и заняли нынешнюю провинцию Альбани, до Воскресной реки.

Голландцы продолжали распространяться внутрь, не встречая препятствий, потому что кафры, кочуя по пустым пространствам, не успели еще сосредоточиться в одном месте. Им даже нравилось соседство голландцев, у которых они могли воровать скот, по наклонности своей к грабежу и к скотоводству, как к промыслу, свойственному всем кочующим народам.

Гористая и лесистая местность Рыбной реки и нынешней провинции Альбани способствовала грабежу и манила их селиться в этих местах. Здесь возникли первые неприязненные стычки с дикими, вовлекшие потом белых и черных в нескончаемую доселе вражду. Всякий, кто читал прежние известия о голландской колонии, конечно помнит, что они были

наполнены бесчисленными эпизодами о схватках поселенцев с двумя неприятелями, кафрами и дикими зверями, которые нападали с одной целью: похищать скот.

Нельзя не отдать справедливости неутомимому терпению голландцев, с которым они старались, при своих малых средствах, водворять хлебопашество и другие отрасли земледелия в этой стране; как настойчиво преодолевали все препятствия, сопряженные с таким трудом, на новой нетронутой почве.

Они целиком перенесли сюда все свое голландское хозяйство и, противопоставив палящему солнцу, пескам, горам, разбоям и грабежам кафров почти одну свою фламандскую флегму, достигли тех результатов, к каким только могло их привести, за недостатком положительной и живой энергии, это отрицательное и мертвое качество, то есть хладнокровие. Они посредством его, как другие посредством военных или административных мер, достигли чего хотели, то есть заняли земли, взяли в невольничество, сколько им нужно было, черных, привили земледелие, добились умеренного сбыта продуктов и зажили, как живут в Голландии, тою жизнью, которою жили столетия тому назад, не задерживая и не подвигая успеха вперед. Они до сих пор еще пашут тем же тяжелым, огромным плугом, каким пахали за двести лет, впрягая в него до двенадцати быков; до сих пор у них та же неуклюжая борона. Плодопеременное хозяйство им неизвестно. Английские земледельческие орудия кажутся им чересчур легкими и хрупкими. Скотоводство распространилось довольно далеко во внутренность края, и фермеры, занимающиеся им, зажиточны, но образ жизни их довольно груб и грязен. Недостаток в воде, ощущаемый внутри края, заставляет их иногда кочевать с места на место.

Лучшие и богатейшие из голландцев — винопроизводители. Виноделие введено в колонию французскими эмигрантами, удалившимися сюда по случаю отмены нантского эдикта.[26] В колонии, а именно в западной части, на приморских берегах, производится большое количество вина почти от всех сортов французских лоз, от которых удержались даже и названия. Вино, кроме потребления в колонии, вывозится в значительном количестве в Европу, особенно в Англию, где оно служит к замену хереса и портвейна, которых Испания и Португалия не производят достаточно для снабжения одной Англии.

Эмигранты, вместе с искусством виноделия, занесли на Мыс свои нравы, обычаи, вкус и некоторую степень роскоши, что все привилось и к фермерам. Близость к Капштату поддержала в западных фермерах до сих пор эту утонченность нравов, о которой не имеют понятия восточные скотопромышленные хозяева.

Но влияние эмигрантов тем и кончилось. Сами они исчезли в голландском народонаселении, оставив по себе потомкам своим только французские имена.

Между фермерами, чиновниками и другими лицами колонии слышатся фамилии Руже, Лесюер и т. п.; всматриваешься в них, ожидая встретить что-нибудь напоминающее французов, и видишь чистейшего голландца. Есть еще и доселе в западной стороне целое местечко, населенное потом-

ками этих эмигрантов и известное под названием French Hoek или Hook.*

Голландцы многочисленны, сказано выше: действительно так, хотя они уступили первенствующую роль англичанам, то есть почти всю внешнюю торговлю, навигацию, самый Капштат, который из Капштата превратился в Кэптоун, но большая часть местечек заселена ими, и фермы почти все принадлежат им, за исключением только тех, которые находятся в некоторых восточных провинциях Альбани, Каледон, присоединенных к колонии в позднейшие времена и заселенных английскими, шотландскими и другими выходцами.

Говоря о голландцах, остается упомянуть об отдельной, независимой колонии голландских так называемых *буров* (boer — крестьянин), то есть тех же фермеров, которую они основали в 1835 году, выселившись огромной толпой за черту границы. Вот как это случилось. Прежде, однако ж, следует напомнить вам, что в 1795 году колония была занята силою оружия англичанами, которые воспользовались случаем завладеть этим важным для них местом остановки на пути в Индию. По амьенскому миру, в 1802 году колония возвращена была Голландии,[27] а в 1806 году снова взята Англиею, за которою и утверждена окончательно венским трактатом 1815 года.[28]

Голландцы терпеливо покорились этому трактату потому только, что им оставили их законы и администрацию. Но в 1827 году обнародован был свод законов в английском духе и произошли многие важные перемены в управлении. Это раздражило колонистов. Некоторые из них тогда же начали мало-помалу выселяться из колонии, далее от берегов. Потом, по заключении в 1835 году мира с кафрами, английское правительство не позаботилось оградить собственность голландских колонистов от нападения и грабежа кафров, имея все средства к тому, и, наконец, внезапным освобождением невольников нанесло жестокий удар благосостоянию голландцев. Правительство вознаградило их за невольников по вест-индским ценам, тогда как в Капской колонии невольники стоили вдвое. Деньги за них высылались из Англии, с разными вычетами, в Капштат, куда приходилось многим фермерам ездить нарочно за несколько сот миль. Все это окончательно восстановило голландцев, которых целое народонаселение двинулось массой к северу и, перешедши реку Вааль, заняло пустые, но прекрасные, едва ли не лучшие во всей Южной Африке, пространства. Движение это было так единодушно, что многие даже из соседних к Капштату голландцев бросили свои фермы, не дождавшись продажи их с аукциона, и удалились с своими соотечественниками. Они заняли пространства в 350 миль к северу от реки Вааль, захватив около полутора градуса южного тропика, крайний предел, до которого достигла колонизация европейцев в Африке.

Они хотели иметь свои законы, управление и надеялись, что сумеют, без помощи англичан, защититься против врагов. И не обманулись. Страна их, по отзывам самих англичан, находится в цветущем положении. Буры разделили ее на округи, построили города, церкви и ведут деятельную,

* Французское селение (*голл.*),— *Ред.*

патриархальную жизнь, не уступая, по свидетельству многих английских путешественников, ни в цивилизации, ни в образе жизни жителям Капштата. Они управляются народным советом (Volksraad), имеют училища и т. п. Страна чрезвычайно плодородна, способна к земледелию, виноделию, скотоводству и производит множество плодов. Ей предстоит блистательная торговая будущность, по соседству ее с английским портом Наталь и занятым англичанами пространством, известным под названием: «Orange river sovereignty».*[29]

Английское правительство умело оценить независимость и уважить права этого тихого и счастливого уголка и заключило с ним в январе 1852 года договор, в котором, с утверждением за бурами этих прав и независимости, предложены условия взаимных отношений их с англичанами и также образа поведения относительно цветных племен, обеспечения торговли, выдачи преступников и т. п., как заключаются обыкновенно договоры между соседями.

Водворяя в колонии свои законы и администрацию, англичане рассчитывали, конечно, на быстрый и несомненный успех, какого достигли у себя дома. Пролагая путь внутрь края оружием, а еще более торговлею, они скоро отодвинули границу, которая до них оканчивалась Рыбною рекою, далее. Английские губернаторы, сменившие голландских, окруженные бóльшим блеском и более богатыми средствами, обнаружили и более влияния на дикие племена, вступили в деятельные сношения с кафрами и, то переговорами, то оружием, вытеснили их из пределов колонии. По окончании неприязненных действий с дикими в 1819 году англичане присоединили к колонии значительную часть земли, которая составляет теперь одну из лучших ее провинций, под именем Альбани.

Из Англии и Шотландии между тем прибыли выходцы и в бухте Альгоа (Algoabay) завели деятельную торговлю с кафрами, вследствие которой на реке Кейскамма учредилась ярмарка.

Кафры приносили слоновую кость, страусовые перья, звериные кожи и взамен кроме необходимых полевых орудий, разных ремесленных инструментов, одежд получали, к сожалению, порох и крепкие напитки. Новые пришельцы приобрели значительные земли и посвятили себя особой отрасли промышленности — овцеводству. Они облагородили грубую туземную овцу: успех превзошел ожидания, и явилась новая, до тех пор неизвестная статья торговли — шерсть. Еще до сих пор не определено, до какой степени может усилиться шерстяная промышленность, потому что нельзя еще, по неверному состоянию края, решить, как далеко может быть она распространена внутри колонии. Но, по качествам своим, эта шерсть стоит наравне с австралийскою, а последняя высоко ценится на лондонском рынке и предпочитается ост-индской. Вскоре возник в этом углу колонии город Грем (Grahamstown) и порт Елизабет, через который преимущественно производится торговля шерстью.

У англичан сначала не было положительной войны с кафрами, но между тем происходили беспрестанные стычки. Может быть, англичане

* «Государство Оранжевой реки» (*англ.*),— *Ред.*

успели бы в самом начале прекратить их, если б они в переговорах имели дело со всеми или по крайней мере со многими главнейшими племенами; но они сделали ошибку, обратясь в сношениях своих к предводителям одного главного племени, Гаики. Это возбуждало зависть в мелких племенах, которые соединялись между собою и действовали совокупными силами против англичан и вместе против союзного с ними племени Гаики.

Во всяком случае с появлением англичан деятельность загорелась во всех частях колонии, торговая, военная, административная. Вскоре основали на Кошачьей реке (Katriver) поселение из готтентотов; в самой Кафрарии поселились миссионеры. Последние, однако ж, действовали не совсем добросовестно: они возбуждали и кафров, и готтентотов к восстанию, имея в виду образовать из них один народ и обеспечить над ним свое господство. Колониальное правительство принуждено было между тем вытеснить некоторые наиболее враждебные племена, сильно тревожившие колонию своими мелкими набегами и грабежом, из занятых ими мест. Все это повело к первой, вспыхнувшей в 1834 году серьезной войне с кафрами.

Сверх провинции Альбани англичане приобрели для колонии два новые округа и назвали их Альберт и Виктория и еще большое и богатое пространство земли между старой колониальной границей и Оранжевой рекой, так что нынешняя граница колонии простирается от устья реки Кейскаммы по прямой линии к северу, до $30^{\circ 30}$ ю. ш. по Оранжевой реке и, идучи по этой последней, доходит до Атлантического океана.

Вся колония разделена на 20 округов, имеющих свои мелкие подразделения. Каждый округ вверен чиновнику, заведовающему судебною и финансовою частями. Для любопытных сообщаются здесь названия всех этих провинций, или округов, заимствованные из капских официальных источников. Кап, Мельмсбери (Melmsbery), Стелленбош, Паарль, Устер (Worcester), Свеллендам, Каледон, Кленвилья Джордж и Бофорт составляют западную часть, а Альбани, порт Бофорт, Грааф-Рейнет, Соммерсет, Кольсберг, Кредок, Уитенхаг (Uitenhage), порт Елизабет, Альберт и, наконец, Виктория — восточную.

С распространением владений колонии англичане постепенно ввели всю систему английского управления. Высшая власть вверена губернатору; но как губернатор в военное время имеет пребывание на границах колонии, то гражданская власть возложена на его помощника, или наместника (lieutenant). Законодательная часть принадлежит так называемому *Законодательному совету* (Legislative Council), состоящему из пяти официальных и восьми приватных членов. Официальные состоят из самого губернатора, потом второго, начальствующего по армии, секретаря колонии, интенданта и казначея. Остальные выбираются губернатором из лиц колонии. Проект закона вносится дважды в совет: после первого прочтения он печатается в капштатских ведомостях, после второго принимается или отвергается. В первом случае он представляется на утверждение лондонского министерства. Исполнительною властью заведовает *Исполнительный совет* (Executive Council). Это род тайного совета губерна-

тора, который, впрочем, сам не только не подчинен ни тому, ни другому советам, но он может даже пустить предложенный им закон в ход, хотя бы Законодательный совет и не одобрил его, и применять до утверждения английского колониального министра.

Наконец, англичане ввели также свою систему податей и налогов. Может быть, некоторые из последних покажутся преждевременными для молодого, только что формирующегося гражданского общества, но они по большей части оправдываются значительностью издержек, которых требовало и требует содержание и управление колонии и особенно частые и трудные войны с кафрами. Впрочем, в 1837 году некоторые налоги были отменены, например налог с дохода, с слуг, также с некоторых продуктов. Многие ошибочно думают, что вообще колонии, и в том числе Капская, доходами своими обогащают британскую казну; напротив, последняя сама должна была тратить огромные суммы. Единственная привилегия англичан состоит в том, что они установили по 12 % таможенной пошлины с иностранных привозных товаров и по 5 % с английских. Но как весь привоз товаров в колонию простирался на сумму около $1^1/_2$ миллиона фунт. стерлингов, и именно: в 1851 году через Капштат, Саймонстоун, порты — Елизабет и Восточный Лондон привезено товаров на 1 277 045 фунт. стерлингов, в 1852 году на 1 675 686 фунт. стерлингов, а вывезено через те же места в 1851 году на 637 282, в 1852 году на 651 483 фунт. стерлингов и таможенный годовой доход составлял в 1849 году 84 256,в1850 году 102 173 и 1851 году 111 260 фунт. стерлингов, то нельзя и из этого заключить, чтобы англичане чересчур эгоистически заботились о своих выгодах, особенно если принять в соображение, что большая половина товаров привозится не на английских, а на иностранных судах.

Напротив, судя по расходам, каких требуют разные учреждения, работы и особенно войны с кафрами, надо еще удивляться умеренности налогов. Лучшим доказательством этой умеренности служит то, что колония выдерживает их без всякого отягощения.

Доход колонии незначителен: он не всегда покрывает ее расходы. В 1851 году дохода было 220 884 фунт. стерлингов, а расход составлял 223 115 фунт. стерлингов. Пошлина, как в Англии, наложена почти на все. Каждый мужчина и женщина, не моложе 16 лет, кроме коронных чиновников[30] и их слуг, платят по 6 шиллингов в год подати. Таксой обложены также домы, экипажи, лошади, хлеб, вода, рынки, аукционы, вина. Все публичные акты подлежат гербовой пошлине.[31] Даже и тот, кто пожелал бы оставить колонию, платит за это право пошлину. Значительный доход получается от продажи казенных земель, особенно в некоторых новых округах, например Виктории и других. Казенные земли приобретаются частными лицами, с платою по два шиллинга за акр,[32] считая в моргене[33] два акра. Если принять в соображение, что из этих доходов платится содержание чиновников, проводятся исполинские дороги через каменистые горы, устроиваются порты, мосты, публичные заведения, церкви, училища и т. п., то окажется, что взимание податей равняется только крайней необходимости. Все пространство, занимаемое колониею, составляет 118 356 кв. миль, а народонаселение простирается до

142000 душ мужеского пола, а всего с женщинами 285279 душ. Черных несколькими тысячами более против белых.

Таким образом, со времени владычества англичан приобретены три новые провинции, открыто на восточном берегу три порта: Елизабет, Наталь и Восточный Лондон, построено много фортов, служащих защитой и убежищем от набегов кафров. Далее, по всем направлениям колонии проложены и пролагаются вновь шоссе, между портами учреждено пароходство; возникло много новых городов, которых имена приобретают в торговом мире более и более известности. Капштатский рынок каждую субботу наводняется привозимыми изнутри, то сухим путем, на быках, то из порта Елизабет и Восточного Лондона, на судах, товарами для вывоза в разные места. Вывозимые произведения: *зерновой хлеб и мука, говядина и свинина, рыба, масло, свечи, кожи* (конские и бычачьи), *шкуры* (козьи, овечьи, морских животных), *водка, вина, шерсть, воск, сухие плоды, лошади, мулы, рога, слоновая кость, китовый ус, страусовые перья, алоэ, винный камень* и другие. Привозимые товары: *кофе, сахар, порох, рис, перец, крепкие напитки, чай, табак, дерево, вина,* также *рыба, мясо, крупичатая мука, масло.* Все привозные товары обложены различною таможенною пошлиною. До 600 кораблей увозят и привозят все эти товары.

Англичане, по примеру других своих колоний, освободили черных от рабства, несмотря на то, что это повело за собой вражду голландских фермеров и что земледелие много пострадало тогда, и страдает еще до сих пор, от уменьшения рук. До 30 000 черных невольников обработывали землю, но сделать их добровольными земледельцами не удалось: они работают только для удовлетворения крайних своих потребностей и затем уже ничего не делают.

Успеху англичан, или, лучше сказать, успеху цивилизации, противоборствуют до сих пор, кроме самой природы, два враждебные обстоятельства, первое: скрытая, застарелая ненависть голландцев к англичанам, как к победителям, к их учреждениям, успехам, торговле, богатству. Ненависть эта передается от отца к сыну, вместе с наследством. И хотя между двумя нациями нет открытой вражды, но нет и единодушия, стало быть, и успеха в той мере, в какой бы можно было ожидать его при совокупных действиях. Второе обстоятельство — войны с кафрами. С одной стороны, эти войны оживляют колонию: присутствие войск и сопряженное с тем увеличение потребления разных предметов до некоторой степени усиливает торговое движение. Живущие далеко от границы фермеры радуются войне, потому что скорее и дороже сбывают свои продукты; но, с другой стороны, военные действия, сосредоточивая все внимание колониального правительства на защиту границ, парализуют его действия во многих других отношениях. Множество рук и денег уходит на эти неблагодарные войны, последствия которых, в настоящее время, не вознаграждают трудов и усилий ничем, кроме неверных, почти бесплодных побед, доставляющих спокойствие краю только на некоторое время.

Кафры, или амакоза, со времени беспокойств 1819 года, вели себя

довольно смирно. Хотя и тут не обходилось без набегов и грабежей, которые вели за собой небольшие военные экспедиции в Кафрарию; но эти грабежи и военные стычки с грабителями имели такой частный характер, что вообще можно назвать весь период, от 1819 до 1830 года, если не мирным, то спокойным. Предводитель одного из главных племен, Гаика, спился и умер; власть его, по обычаю кафров, переходила к сыну главной из жен его. Но как этот сын, по имени Сандилья, был еще ребенок, то племенем управлял старший сын Гаики, Макомо. Он имел пребывание на берегах Кошачьей реки, главного притока Большой Рыбной реки. Хотя этот участок в 1819 году был уступлен при Гаике колонии, но Макомо жил там беспрепятственно до 1829 года, а в этом году положено было его вытеснить, частью по причине грабежей, производимых его племенем, частью за то, что он, воюя с своими дикими соседями, переступал границы колонии. Может быть, к этому присоединились и другие причины, но дело в том, что племя было вытеснено хотя и без кровопролития, но не без сопротивления. На очистившихся местах поселены были мирные готтентоты, обнаружившие склонность к оседлой жизни. Это обстоятельство подало кафрам первый и главный повод к открытой вражде с европейцами, которая усилилась еще более, когда, вскоре после того, англичане расстреляли одного из значительных вождей, дядю Гаики, по имени Секо, оказавшего сопротивление при отнятии европейцами у его племени украденного скота. Смерть этого вождя привела диких в ярость; но они еще сдерживали ее. Макомо, с братом своим Тиали, перешел на берега Чуми, притока реки Кейскаммы, где племя Гаики жило постоянно, с согласия пограничных начальников. Но тут опять возникли жалобы на грабеж скота. Макомо старался взбунтовать готтентотских поселенцев против европейцев и был, в 1833 году, оттеснен с своим племенем за реку в то время, когда еще хлеб был на корню и племя оставалось без продовольствия. Английские миссионеры между тем, с своей стороны, как сказано выше, поджигали кафров к разрыву с европейцами, надеясь извлечь из этого свои выгоды. Война была неизбежна и вскоре вспыхнула.

Восстали четыре племени, составлявшие около 34 000 душ одних мужчин.

Европейцы никак не предполагали, чтоб кафры, после испытанных неудач в 1819 году, отважились на открытую войну, поэтому и не приняли никаких мер к отражению нападения, и толпы кафров, в декабре 1834 года, ворвались в границы колонии. Войск было так мало на границе, что они не могли противостать диким. Кафры умерщвляли поселенцев, миссионеров, оседлых готтентотов, забирали скот и жгли жилища. Они опустошили всю нынешнюю провинцию Альбани, кроме самого Гремстоуна, часть Винтерберга до моря, всего пространство на 100 миль в длину и около 80 в ширину, избегая, однако же, открытого и общего столкновения с неприятелем. Наконец, узнав, что тогдашний губернатор, сэр Бенджамен д'Урбан, прибыл с значительными силами в Гремстоун, они, в январе 1835 года, удалились в свои места, не забыв унести все награбленное. Полковники Смит и Соммерсет (первый был потом губернатором) с февраля начали свои действия. Они должны были отыскивать неприятеля

в ущельях и кустарниках, почти недоступных для европейца. Некоторые племена покорились тотчас же, объявив себя подданными английской короны и обещая содействовать к прекращению беспорядков на границе, другие отступали далее. Наконец и те, и другие утомились: европейцы — потерей людей, времени и денег, кафры теряли свои места, их оттесняли от их деревень, которые были выжигаемы, и потому обе стороны, в сентябре 1835 года, вступили в переговоры и заключили мир, вследствие которого кафры должны были возвратить весь угнанный ими скот и уступить белым значительный участок земли.

До 1846 года колония была покойна, то есть войны не было; но это опять не значило, чтоб не было грабежей. По мере того, как кафры забывали о войне, они делались все смелее; опять поднялись жалобы с границ. Губернатор созвал главных мирных вождей на совещание о средствах к прекращению зла. Вожди, обнаружив неудовольствие на эти грабежи, объявили, однако же, что они не в состоянии отвратить беспорядков. Тогда в марте 1846 года открылась опять война.

Губернатором был только что поступивший вместо сэра Джорджа Нэпира сэр Перегрин Метлэнд. Кафры во множестве вторглись в колонию, по обыкновению убивая колонистов, грабя имущество и сожигая поселения. Эта война особенно богата кровавыми и трагическими эпизодами. Кафры избегали встречи с белыми в открытом поле и, одержав верх в какой-нибудь стычке, быстро скрывались в хорошо известной им стране, среди неприступных ущелий и скал, или, пропустив войска далее вперед, они распространяли ужасы опустошения позади в пределах колонии. Войск было мало; поселенцев приглашали к поголовному ополчению, но без успеха. Кафры являлись в числе многих тысяч, отрезывали подвоз провизии, и войска часто доходили до совершенного истощения сил. Иногда за стакан свежей воды платили по шиллингу, за сухарь — по шести пенсов, и то не всегда находили и то и другое. Негры племени финго, помогавшие англичанам, принуждены были есть свои щиты из буйволовой кожи, а готтентоты по нескольку дней довольствовались тем, что крепко перетягивали себе живот и этим заглушали голод. Ужас был всеобщий, так что в мае 1846 года по всей колонии служили молебны, прося бога о помощи. Церкви были битком набиты; множество траурных платьев красноречиво свидетельствовали о том, в каком положении были дела. Метлэнда укоряли в недостатке твердости, искусства и в нераспорядительности.

В 1847 году вместо него назначен сэр Генри Поттинджер, а главнокомандующим армии на границе — сэр Джордж Берклей. Давно ощущалась потребность в разъединении гражданской и военной частей, и эта мера вскоре оказала благодетельные действия. Вообще в этой последней войне англичане воспользовались опытами прежней и приняли несколько благоразумных мер к обеспечению своей безопасности и доставки продовольствия. Провиант и прочее доставлялось до сих пор на место военных действий сухим путем, и плата за один только провоз составляла около 170 000 фунт. стерлингов в год, между тем как все припасы могли быть доставляемы морем до самого устья Буйволовой реки, что наконец и при-

ведено в исполнение, и Берклей у этого устья расположил свою главную квартиру.

Потом запрещен был всякий торг с кафрами как преступление, равное государственной измене, потому что кафры в этом торге — факт, которому с трудом верится,— приобретали от англичан же оружие и порох.

Когда некоторые вожди являлись с покорностью, от них требовали выдачи оружия и скота, но они приносили несколько ружей и приводили, вместо тысяч, десятки голов скота, и когда их прогоняли, они поневоле возвращались к оружию и с новой яростью нападали на колонию. Так точно поступил Сандилья, которому губернатор обещал прощение, если он исполнит требуемые условия; но он не исполнил и, продолжая тревожить набегами колонию, наконец удалился в неприступные места. Голод принудил его, однако ж, сдаться: он, с некоторыми советниками и вождями, был отправлен в Гремстоун и брошен в тюрьму. Другие вожди удалились с племенами своими в горы, но полковник Соммерсет неутомимо преследовал их и принудил к сдаче.

Между тем губернатор Поттинджер был отозван в Мадрас, и место его заступил отличившийся в войне 1834 и 1835 годов генерал-майор сэр Герри Смит, приобретший любовь и уважение во всей колонии. Он, по прибытии, созвал пленных кафрских вождей, обошелся с ними презрительно и сурово; одному из них, именно Макомо, велел стать на колени и объявил, что отныне он, Герри Смит, главный и единственный начальник кафров. После чего, положив ногу на голову Макомо, прибавил, что так будет поступать со всеми врагами английской королевы. Вскоре он издал прокламацию, объявляя, что все пространство земли от реки Кейскаммы до реки Кей он, именем королевы, присоединил к английским владениям, под названием *Британской Кафрарии.* И тут же, назначив подполковника Мекиннока начальником этой области, объявил условия, на основании которых кафрские вожди Британской Кафрарии должны вперед управлять своими племенами под влиянием английского владычества.

Когда все вожди и народ, обнаружив совершенную покорность и раскаяние, дали торжественные клятвы свято блюсти обязательства, Герри Смит заключил с ними, в декабре 1847 года, мир. От сурового и презрительного обращения он перешел к кроткому и дружественному. Он уговаривал их сблизиться с европейцами, слушать учение миссионеров, учиться по-английски, заниматься ремеслами, торговать честно, привыкать к употреблению монеты, доказывая им, что все это, и одно только это, то есть цивилизация, делает белых счастливыми, добрыми, богатыми и сильными.

Энергические и умные меры Смита водворили в колонии мир и оказали благодетельное влияние на самих кафров. Они, казалось, убедились в физическом и нравственном превосходстве белых и в невозможности противиться им, смирились и отдались под их опеку. Советы, или, лучше сказать, приказания, Смита исполнялись — но долго ли, вот вопрос! Была ли эта война последнею? К сожалению, нет. Это была только вторая по счету: в 1851 году открылась третья. И кто знает, где остановится эта нумерация?

После этого краткого очерка двух войн нужно ли говорить о третьей, которая кончилась в эпоху прибытия на Мыс фрегата «Паллада», то есть в начале 1853 года?

Началась она, как все эти войны, нарушением со стороны кафров обязательств мира и кражею скота. Было несколько случаев, в которых они отказались выдать украденный скот и усиливали дерзкие вылазки на границах. Вскоре в колонии убедились в необходимости новой войны. Но прежде, нежели англичане подумали о приготовлении к ней, кафры поставили всю Британскую Кафрарию на военную ногу. У них оказалось множество прежнего, не выданного ими, по условию мира 1835 года, оружия, и кроме того, несмотря на строгое запрещение доставки им пороха и оружия, привезено было тайно много и того и другого через Альгоабей. Губернатор стал принимать сильные меры, но не хотел, однако ж, первый начинать неприязненных действий. Он собрал все дружественные племена, уговаривая их поддержать сторону своей государыни, что они и обещали. К сожалению, он чересчур много надеялся на верность черных: и дружественные племена, и учрежденная им полиция из кафров, и, наконец, мирные готтентоты — все это обманывало его, выведывало о числе английских войск и передавало своим одноплеменникам, а те делали засады в таких местах, где английские отряды погибали без всякой пользы.

В декабре 1850 года, за день до праздника Рождества Христова, кафры первые начали войну, заманив англичан в засаду, и после стычки по обыкновению ушли в горы. Тогда началась не война, а наказание кафров, которых губернатор объявил уже не врагами Англии, а бунтовщиками, так как они были великобританские подданные.

Поселенцы по обыкновению покинули свои места, угнали скот, и кто мог, бежал дальше от границ Кафрарии. Вся пограничная черта представляла одну картину общего движения. Некоторые из фермеров собирались толпами и укреплялись лагерем в поле или избирали убежищем укрепленную ферму.

Бесполезно утомлять ваше внимание рассказом мелких и незанимательных эпизодов этой войны: они чересчур однообразны. Кафры, после нападения на какой-нибудь форт или отряд, одерживали временно верх и потом исчезали в неприступных убежищах. Но английские войска неутомимо преследовали их и принуждали сдаваться или оружием, или голодом. Все это длилось до тех пор, пока у мятежников не истощились военные и съестные припасы. Тогда они явились с повинной головой, согласились на предложенные им условия, и все вошло в прежний порядок.

Кеткарт, заступивший в марте 1852 года Герри Смита, издал наконец 2 марта 1853 года в Вильямстоуне, на границе колонии, прокламацию, в которой объявляет, именем своей королевы, мир и прощение Сандильи и народу Гаики, с тем, чтобы кафры жили, под ответственностью главного вождя своего, Сандильи, в Британской Кафрарии, но только далее от колониальной границы, на указанных местах. Он должен представить оружие и отвечать за мир и безопасность в его владениях, за доброе поведение гаикского племени и за исполнение взятых им на себя обязательств, также повелений королевы.

Это прощение не простирается, однако ж, за пределы Британской Кафрарии, и всякий, преступивший извне границу колонии, будет предан суду.

Готтентотам тоже не позволено, без особого разрешения губернатора, селиться в Британской Кафрарии.

Выше сказано было, что колония теперь переживает один из самых знаменательных моментов своей истории: действительно, оно так. До сих пор колония была не что иное, как английская провинция, живущая по законам, начертанным ей метрополиею, сообразно духу последней, а не действительным потребностям страны. Не раз заочные распоряжения лондонского колониального министра противоречили нуждам края и вели за собою местные неудобства и затруднения в делах.

Англичане одни заведовали управлением колонии. Англия назначала губернатора и членов Законодательного совета, так что закон, как объяснено выше, не иначе получал силу, как по утверждении его в Англии. Англичанам было хорошо: они были здесь как у себя дома, но голландцы, и без того недовольные английским владычеством, роптали, требуя для колонии законодательной власти независимо от Англии. Наконец этот ропот подействовал. Англия предоставляет теперь право избрания членов Законодательного совета самой колонии, которая таким образом получит самостоятельность в своих действиях, и дальнейшее ее существование может с этой минуты упрочиваться на началах, истекающих из собственных ее нужд. Но вместе с тем на колонию возлагаются и все расходы по управлению, а также предоставляется ей самой распоряжаться военными действиями с дикими племенами.

Событие весьма важное, которое обеспечивает колонии почти независимость и могущественное покровительство Британии. Это событие еще не состоялось вполне; проект представлен в парламент и, конечно, будет утвержден,* ибо, вероятно, все приготовления к этому делались с одобрения английского правительства.

Мы остановились на полчаса в небольшой гостинице, окруженной палисадником. Гостиницу называют по-английски Mitchel, а по-голландски Clauisriver, по имени речки. Первый встретил нас у дверей баран, который метил во всякого из нас рогами, когда мы проходили мимо его, за ним в дверях показался хозяин, голландец, невысокого роста, с беспечным лицом. «Да зачем же тут останавливаться?» — заметил Посьет,[34] страстный охотник ехать вперед. «Немного отдохнуть, и вам, и лошадям»,— приятно улыбаясь, отвечал Вандик, отложивший уже лошадей. «Да нам не нужно, мы не устали». Тут я разглядел другого кучера: этот был небольшого роста, с насмешливым и решительным выражением в лице. Я ехал с бароном Криднером и Зеленым, в другом «карте» сидели Посьет, Вейрих и Гошкевич. Гляжу и не могу разглядеть, кто еще сидит с ними: обезьяна не обезьяна, но такое же маленькое

* Он утвержден был в 1853 году.

существо, с таким же маленьким смуглым лицом, как у обезьяны, одетое в большое пальто и широкую шляпу. Это готтентот, мальчишка, которого зачем-то взял с собой Вандик.

Мы не успели еще расправить хорошенько ног, барон вошел уже в комнату и что-то заказывал хозяину и мальчишке-негру. Мы занялись рассматриванием комнаты: в ней неизбежные — резной шкаф с посудой, другой с чучелами птиц; вместо ковра шкуры пантер, потом старинные массивные столы, массивные стулья. Все смотрело так мрачно; позолоченные рамки на зеркалах почернели; везде копоть. На картинах охота: слон давит ногой тигра, собаки преследуют барса. Темная, закоптелая комнатка, убранная по-голландски, смотрит, однако ж, на путешественника радушно, как небритый и немытый человек смотрит исподлобья, но ласковым взглядом. Так и в этой и подобных ей комнатах все приветливо и приютно. Тут и чашки на виду, пахнет корицей, кофе и другими пряностями — словом, хозяйством; камин должен быть очень тепел, не похоже на трактир, а скорее на укромный домик какой-нибудь бедной тетки, которую вы решились посетить в глуши. Правда, кресло жестковато, да нескоро его и сдвинешь с места; лак и позолота почти совсем сошли; вместо занавесок висят лохмотья, и сам хозяин смотрит так жалко, бедно, но это честная и притом гостеприимная бедность, которая вас всегда накормит, хотя и жесткой ветчиной, еще более жесткой солониной, но она отдаст последнее. Глядя на то, как патриархально подают там обед и завтрак, не верится, чтобы за это взяли деньги: и берут их будто нехотя, по необходимости. Только что мы осмотрели все углы, чучел птиц и зверей, картинки, как хозяин пригласил нас в другую комнату, где уже стояли ветчина с яичницей и кофе. «Уже? опять? — сказал Вейрих, умеренный и скромный наш спутник, немец,— мы завтракали в Капштате». Однако сел и позавтракал с нами.

Часов в пять пустились дальше. Дорога некоторое время шла все по той же болотистой долине. Мы хотя и оставили назади, но не потеряли из виду Столовую и Чертову горы. Вправо тянулись пики, идущие от Констанской горы. Вскоре, однако ж, болота и пески заменились зелеными холмами, почва стала разнообразнее, дальние горы выказывались грознее и яснее; над ними лежали синие тучи и бегала молния: дождь лил довольно сильный. П. А. Зеленый пел во всю дорогу или живую плясовую песню, или похоронный марш на известные слова Козлова: *Не бил барабан перед смутным полком* [35] и т. д. Мы с бароном курили или глубокомысленно молчали, изредка обращаясь с вопросом к Вандику о какой-нибудь горе или дальней ферме. Он был африканец, то есть родился в Африке, от голландских родителей, говорил по-голландски и по-английски и не затруднялся ответом. Он знал все в колонии: горы, леса, даже кусты, каждую ферму, фермера, их слуг, собак, но всего более лошадей. Покупать их, продавать, менять составляло его страсть и профессию. Это мы скоро узнали. Он раскланивался со всяким встречным, и с малайцем, и с готтентотом, и с англичанином; одному кивал, перед другим почтительно снимал шляпу, третьему просто дружески улыбался, а иному что-нибудь кричал, с бранью, грозно.

Дорога шла прекрасная. От Капштата горы некоторое время далеко идут по обеим сторонам, а милях в семидесяти стесняются в длинное ущелье, через которое предстояло нам ехать. Стало темнеть. Вандик придерживал лошадей. «Аппл!» — кричал он по временам. Мы не могли добиться, что это значит: собственное ли имя, или так только, окрик на лошадей, даже в каких случаях употреблял он его; он кричал, когда лошадь пятилась, или слишком рвалась вперед, или оступалась. Когда мы спрашивали об этом Вандика, он только улыбался.

Было часов восемь вечера, когда он вдруг круто поворотил с дороги и подъехал к одинокому длинному одноэтажному каменному зданию с широким, во весь дом, крыльцом. «Что это значит? как? куда?» — «Ужин и ночлег! — кротко, но твердо заметил Вандик.— Лошади устали: мы сегодня двадцать миль сделали». Эта гостиница называется «Фокс анд гоундс» (Fox and hounds), то есть «Лисица и собаки». «Да что же это? — протестовал по обыкновению пылкий Посьет,— это невозможно: поедемте дальше».— «Куда? ведь темно и дождь идет»,— возражали ему любители кейфа. «Нужды нет, мы все-таки поедем».— «Зачем? ведь вы едете видеть что-нибудь, путешествуете, так сказать... Что же вы увидите ночью?» Но партия, помещавшаяся в другом карте и называемая нами «ученою», все возражала. Возникли несогласия. «Артистическая партия», то есть мы трое, вошли на крыльцо, а та упрямо сидела в экипаже. Между тем Вандик и товарищ его молча отпрягли лошадей, и спор кончился.

Барон ушел в комнаты, ученая партия нехотя, лениво вылезла из повозки, а я пошел бродить около дома. Я спросил, как называется это место.

«„Ферст-ривер“ по-английски или „Эршт-ривер“ (первая река) по-голландски»,— отвечал Вандик. Если считать от Капштата, то она действительно первая; но как река вообще она, конечно, последняя. Даже можно сомневаться, река ли это. «Где же тут река?» — спросил я Вандика. «А вот,— отвечал он, указывая на то место, где я стоял,— вы теперь стоите в реке: это все река». И он указал на далекое пространство вокруг. «Тут песок да камни»,— сказал я. «Теперь нет реки,— продолжал он,— или вон, пожалуй, она в той канаве, а зимой это все на несколько миль покрывается водой. Все реки здесь такие».

Я вошел в дом. Что это, гостиница? не совсем похоже. Первая комната имеет вид столовой какого-нибудь частного дома. Полы лакированы, стены оклеены бумажками, посредине круглый стол, по стенам два очень недурные дивана нового фасона. Тут лежали в куче на полу и на диванах наши вещи, а хозяев не было. Но я услышал голоса и через коридор прошел в боковую комнату. Это была большая, очень красиво убранная комната, с длинным столом, еще менее похожая на трактир. На столе лежала Библия и другие книги, рукоделья, тетради и т. п., у стены стояло фортепиано. Нетрудно было догадаться, что хозяева были англичане: мебель новая, все свежо и везде признаки комфорта. Никто не показывался, кроме молодого коренастого негра. Что у него ни спрашивали или что ни приказывали ему, он прежде всего отвечал смехом и обнаруживал ряд чистейших зубов. Этот смех в привычке негров. «Что ж, будем ужинать,

что ли?»— заметил кто-то. «Да я уж заказал»,— отвечал барон. «Уже? — заметил Вейрих.— Что ж вы заказали?» — «Так, немного, безделицу: баранины, ветчины, курицу, чай, масла, хлеб и сыр».

После ужина нас повели в другие комнаты, без лакированных полов, без обоев, но зато с громадными, как катафалки, постелями. В комнатах пахло сыростью: видно, в них не часто бывали путешественники. По стенам даже ползали не знакомые нам насекомые, не родные клопы и тараканы, а какие-то длинные жуки со множеством ног. Зеленый, спавший в одной комнате со мной, не успел улечься и уснул быстро, как будто утонул. Я остался один бодрствующий, но не надолго. Утром рано, мы не успели еще доспать, а неугомонный Посьет, взявший на себя роль нашего ментора, ходил по нумерам и торопил вставать и ехать дальше.

По холмам, по прекрасной дороге, в прекрасную погоду мы весело ехали дальше. Все было свежо кругом после вчерашнего дождя. Песок не поднимался пылью, а лежал смирно, в виде глины. Горы не смотрели так угрюмо и неприязненно, как накануне; они старались выказать, что было у них получше, хотя хорошего, правду сказать, было мало, как солнце ни золотило их своими лучами. Немногие из них могли похвастать зеленою верхушкой или скатом, а у большей части были одинакие, выветрившиеся серые бока, которые разнообразились у одной — рытвиной, у другой — горбом, у третьей — отвесным обрывом. Хотя я и знал по описаниям, что Африка, не исключая и южной оконечности, изобилует песками и горами, но воображение рисовало мне темные дебри, приюты львов, тигров, змей. Напрасно, однако ж, я глазами искал этих лесов: они растут по морским берегам, а внутри, начиная от самого мыса и до границ колонии, то есть верст на тысячу, почва покрыта мелкими кустами на песчаной почве да искусственно возделанными садами около ферм, а за границами, кроме редких оазисов, и этого нет. Но в это утро, в половине марта, кусты «протеа» глядели веселее, зелень казалась зеленее, так что немецкий спутник наш заметил, что тут должно быть много «скотства». В самом деле, скотоводство процветало здесь, как, впрочем, и во всей колонии. Лошади бежали бодрее, даже Вандик сидел ясен и свеж, как майский цветок, сказал бы я в северном полушарии, а по-здешнему надо сказать — сентябрьский.

Не сживаюсь я с этими противоположностями: все мне кажется, что теперь весна, а здесь готовятся к зиме, то есть к дождям и ветрам, говорят, что фрукты отошли, кроме винограда, все. Развернул я в книжной лавке, в Капштате, изданный там кипсек — стихи и проза. Развертываю местами и читаю: «Прошли и для нее, этой гордой красавицы, дни любви и неги, миновал цветущий *сентябрь* и жаркий *декабрь* ее жизни; наступали грозные и суровые *июльские* непогоды» и т. д. А в стихах: «Гнетет ли меня палящее *северное* солнце, или леденит мою кровь холодное, суровое дуновение *южного* ветра, я терпеливо вынесу все, но не вынесу ни палящей ласки, ни холодного взора моей милой». Далее в одном описании какого-то разорившегося богача сказано: «Теперь он беден: жилищем ему служил маленький павильон, огражденный только колючими кустами кактуса и алоэ да осененный насажденными когда-то им самим миндаль-

ными, абрикосовыми и апельсинными деревьями и густою чащею виноградных лоз. Пищей ему служили виноград, миндаль, гранаты и апельсины с этих же дерев или молоко единственной его коровы. Думал ли он, насаждая эти деревья для забавы, что плодами их он будет утолять мучительный голод? Служил ему один старый и преданный негр...» Вот она какова, африканская бедность: всякий день свежее молоко, к десерту quatre mendiants* прямо с дерева, в услужении негр... Чего бы стоила такая бедность в Петербурге?

Если природа не очень разнообразила путь наш, то живая и пестрая толпа прохожих и проезжих всех племен, цветов и состояний дополняла картину, в которой без этого оставалось много пустого места. Бесконечные обозы тянулись к Капштату или оттуда, с людьми и товарами. Длинные фуры и еще более длинные цуги быков, запряженных попарно, от шести до двенадцати в каждую фуру, тянулись непрерывною процессией по дороге. Волы эти, кроме длинного бича, ничем не управляются. Готтентот-кучер сидит обыкновенно на козлах, и если надо ему взять направо, он хлопает бичом с левой стороны, и наоборот. Иногда волы еле-еле передвигают ноги, а в другой раз, образуя цугом своим кривую линию, бегут крупной рысью. При встрече с экипажами волы неохотно и довольно медленно дают дорогу; в таком случае из фуры выскакивает обыкновенно мальчик-готтентот, которых во всякой фуре бывает всегда по нескольку, и тащит весь цуг в сторону. Нам попадалось особенно много пестро и нарядно одетого народа, мужчин и женщин, пеших, верхами и в фурах, все малайцев. Головы у всех были обвязаны бумажными платками, больше красными, клетчатыми. Мы и накануне видели их много, особенно в фурах. Такая фура очень живописна: представьте себе длинную телегу сажени в три, с круглым сводом из парусины, набитую до того этим магометанским народом, что некоторые мужчины и дети, не помещаясь под холстиной, едва втиснуты туда, в кучу публики, и торчат, как сверхкомплектные поленья в возах с дровами. Пары три волов медленно и важно выступают с этим зверинцем. По вечерам обозы располагались на бивуаках; отпряженные волы паслись в кустах, пламя трескучего костра далеко распространяло зарево и дым, путешественники группой сидели у дымящегося котла. Вандик объяснил нам, что малайцы эти возвращаются из местечка Крамати, милях в двадцати пяти от Капштата, куда собираются в один из этих дней на поклонение похороненному там какому-то своему пророку. Все эти караваны богомольцев напоминали немного таборы наших цыган, с тою только разницей, что малайцы честны, трудолюбивы и потому не голы и не дики на вид.

Кроме малайцев попадались готтентоты и негры. Первые везли или несли тяжести, шли на работу в поденщики или с работы. Между неграми мы встречали многих с котомками на палках, но одетых хорошо. «А это что?» — спросил я у Вандика. «Это black people, черные, с войны идут домой». Война с кафрами только что кончилась; некоторые из негритянских племен участвовали в ней по приглашению английского правительства.

* «четверо нищих», десерт из винных ягод, винограда, миндаля и орехов (*франц.*),—*Ред.*

Много проезжало омнибусов, городских карет, фермеров верхами, ехавших или в город, или оттуда. Было довольно весело, так что П. А. Зеленый ни разу не затягивал похоронного марша, а пел все про любовь. Мы переговаривались с ученой партией, указывая друг другу то на красивый пейзаж фермы, то на гору или на выползшую на дорогу ящерицу; спрашивали название трав, деревьев и в свою очередь рассказывали про птиц, которых видели по дороге, восхищались их разнообразием и красотой. Ученые с улыбкой посматривали на нас и друг на друга, наконец объяснили нам, что они не видали ни одной птицы и что, конечно, мы так себе думаем, что если уж заехали в Африку, так надо и птиц видеть. Между тем птицы поминутно встречались, и мы удивлялись, как это они не видали ни одной. А дело было просто: мы ехали впереди, а они сзади; птицы улетали, как только приближался наш карт, так что второй не заставал их на месте.

Часов в десять утра мы приехали в местечко Соммерсет, длинным рядом построившееся у самой дороги, у подошвы горы. Все было зелено здесь: одноэтажные каменные голландские домики, с черепичными кровлями, едва были видны из-за дубов и сосен; около каждого был палисадник с олеандровыми и розовыми кустами, с толпой георгин и других цветов. Гора вдали, как декорация, зеленела с верху до подошвы. Весь этот пейзаж — как будто не африканский: слишком свеж, зелен, тенист и разнообразен для Африки. Мы пошли по местечку к горе. Едва сделали шагов сто, как спутник наш Вейрих идет с кем-то под руку и живо разговаривает. Это был немец, миссионер. Он советовал нам ехать по другой дороге, где в одном месте растет несколько камфарных деревьев, довольно редких здесь. Мы воротились к станции, к такому же, как и прочие, низенькому дому, с цветником.

Собираемся, ищем барона — нет; заглянули в одну комнату направо, род гостиной: там две какие-то путешественницы, а в столовой барон уже завтракает. Он бы непрочь и продолжать, но ученая партия на этот раз пересилила, и мы отправились проселком, по незавидной, изрытой вчерашним дождем дороге. Вскоре мы выбрались, однако ж, опять на шоссе и ехали по долине, мимо множества ферм. Сады их окаймляли дорогу тенистыми дубами, кустами алоэ, но всего более айвой, которая росла непроходимыми кустами, с желтыми фруктами. Вы знаете айву? Это что-то вроде крепкого, кисловатого яблока, с терпкостью, от которой вяжет во рту; его есть нельзя; из него делают варенье и т. п. Но Зеленый выскочил из карта, набрал целую шляпу и ел. Вандик нарвал и дал лошадям: те тоже ели — больше никто. На вопрос мой: «Хорошо ли?» — Зеленый ничего не сказал. Он еще принадлежит к счастливому возрасту перехода от юношества к возмужалости, оттого в нем наполовину того и другого. Кое-что в нем окрепло и выработалось: он любит и отлично знает свое дело, серьезно понимает и исполняет обязанности, строг к самому себе и в приличиях — это возмужалость. Но беспечен насчет всего, что лежит вне его прямых занятий; читает, гуляет, спит, ест с одинаковым расположением, не отдавая ничему особого преимущества — это остатки юношества. Возьмет книгу, все равно какую, и оставит ее без сожаления; ляжет и

уснет где ни попало и когда угодно; ест все без разбора, особенно фрукты. После ананаса и винограда он съест, пожалуй, репу, виноград ест с шелухой, «чтоб больше казалось». Он очень мил; у него много природного юмора, и он мастерски владеет шуткой. Существо вечно поющее, хохочущее и рассказывающее, никогда никого не оскорбляющее и никем не оскорбляемое. Мы все очень любим его. Ему также все равно, где ни быть: придут ли в прекрасный порт или станут на якорь у бесплодной скалы; гуляет ли он на берегу или смотрит на корабле за работами — он или делает дело, тогда молчит и делает комически-серьезное лицо, или поет и хохочет. Он сию минуту уживается в быту, в который поставлен. Благодаря ему мы ни минуты не соскучились в поездке по колонии: это был драгоценный спутник.

День чудесный. Стало жарко. Лошади ленивой рысью тащились по песку; колеса визжали, жар морил; мы с бароном Криднером молчали. Вандик от нечего делать хлестал бичом по выползавшим на дорогу ящерицам. Зеленый сначала бил весело ногами о свою скамью: не в его натуре было долго и смирно сидеть на одном месте. Он пел долго: *Сени новые, кленовые*,[36] а потом мало-помалу прималчивал, задирая то меня, то барона шуткой. Но нас морили жар и тяжесть, и он, наскучив молчанием, сморщился и затянул: *Не бил барабан перед смутным полком.* Мы молча слушали, отмахиваясь от мух, оводов и глядя по сторонам на большие горы, которые толпой как будто шли нам навстречу. Вдруг с левой стороны, из чащи кустов, шагах во ста от нас впереди, выскочило какое-то красивое, белое с черными пятнами, животное; оно одним махом перебросилось через дорогу и стало неподвижно. «Roe-buk! roe-buk!» — сказал Вандик, указывая кнутом. Налево, откуда выскочил козел, кусты тихо шевелились: там притаилось маленькое стадо диких коз, которые не смели следовать за козлом. И козел, и козы, заметив нас, оставались в нерешимости. Козел стоял, как окаменелый, в полуоборот; закинув немного рога на спину и навострив уши, глядел на нас. «Как бы поближе подъехать и не испугать их?» — сказали мы. «Надо вдруг всем закричать что есть мочи,— научил Вандик,— и они на несколько времени оцепенеют на месте». Зачем это он сказал! Боже мой, как мы заорали! особенно Зеленый не пожалел легких, и Вандик тоже. Но не успел затихнуть наш крик, как козел скакнул в кусты и вместе с козами бросился назад. Мы все вопросительно поглядели на Вандика. «Что ж ты, земляк, худо знаешь натуральную историю?» — заметил Зеленый. «Аппл!» — крикнул Вандик на лошадь, и мы поехали дальше. Но долго еще видели, как мчались козы в кустах, шевеля ветвями, и потом бросились бежать в гору, а мы спустились с горы. Местность значительно начала изменяться: горы все ближе к нам; мы ехали по их отлогостям, то взбираясь вверх, то опускаясь.

К обеду мы подъехали к прекрасной речке, обстановленной такими пейзажами, что даже сам приличный и спокойный Вандик с улыбкой указал нам на один живописный овраг, осененный деревьями. «Very nice place!» (прекрасное место),— заметил он. Мы переехали речку через длинный каменный мост, с одной аркой, еще не совсем конченный. «Кто строит этот мост?»— спросил я. «Стелленбошский каретник»,— отвечал

он. «Как так: где же он учился?» — «А нигде; он даже никуда не выезжал отсюда». Прямо с моста мы въехали как будто в сад. Нас с экипажами совсем поглотила зелень, тень и свежесть. Все сады, сады, так что домов не видно: это местечко Стелленбош. Широкие-преширокие улицы пересекались под прямыми углами. Красивее и больше дубов я нигде не видал: под ними прятались низенькие одноэтажные домы, голландской постройки. Улицы так длинны, что конца нет: версты две и более.

Мы долго мчались по этим аллеям и наконец в самой длинной и, по-видимому, главной улице остановились перед крыльцом. Белых жителей не видно по улицам ни души: еще было рано и жарко, только черные бродили кое-где или проезжали верхом да работали. Мы вошли в пустые прохладные комнаты, убранные просто, почти бедно. Мы отворили дверь из залы и остановились на пороге перед оригинальной картиной фламандской школы. Комната была высокая, с деревянным полом, заставлена ветхими деревянными, совершенно почерневшими от времени шкафами и разной домашней утварью. У стены стоял диван, отчасти с провалившимся сиденьем; перед ним круглый стол, покрытый грубой скатертью; кругом стен простые скамьи и табуреты. На одной скамье сидела очень старая старуха, в голландском чепце, без оборки, и макала сальные свечки; другая, пожилая женщина, сидела за прялкой; третья, молодая девушка, с буклями, совершенно белокурая и совершенно белая, цвета топленого молока, с белыми бровями и светло-голубыми, с белизной, глазами, суетилась по хозяйству. Служанкой была плотная и высокая мулатка. Сросшиеся брови и маленький лоб не мешали ей кокетливо играть своими черными, как деготь, глазами. Все остановилось, как мы вошли. Все встали с мест. Хозяйки приветливой улыбкой отвечали на наши поклоны и принялись суетиться, убирать свечи, прялку, всю утварь, очищая нам место сесть. «Что у вас есть к обеду?»— спросил Вейрих. «Мы изготовим»,— отвечали они. «Есть говядина, баранина?» — «Говядины нет, а есть курица и свинина».— «А зелень есть?» — «И зелень есть».— «А фрукты,— спросил Зеленый,— виноград например, апельсины, бананы?» «Апельсинов и бананов нет, а есть арбузы и фиги».— «Хорошо, хорошо. Давайте арбузов и фиг, и еще нет ли чего?»

Поднялась возня: мы поставили вверх дном это мирное хозяйство. Дверцы шкафов пошли хлопать, миски, тарелки звенеть; на кухне затрещал огонь; женщины забегали взад и вперед. Я вышел на двор, на широкое крыльцо, густо осененное, как везде здесь, виноградными лозами. Кисти крупного, желтого винограда соблазнительно висели по трельяжу. Негр с лесенкой переходил от одной кисти к другой и резал лучшие нам к обеду. Черная, как поношенный атлас, старуха-негритянка, с платком на голове, чистила ножи. Увидев меня, она высунула мне язык. За мной показался Зеленый: и ему тоже. Ему ужасно понравилось это, и он пригласил меня смотреть, как она будет приветствовать других наших товарищей, которые шли за нами. Хозяйка, заметив, как встречает нас арабка, показала на нее, потом на свою голову и поводила пальцем по воздуху взад и вперед, давая знать, что та не в своем уме. Маленький двор был дополнением этого хозяйства. Туда уже успел забраться Вандик с обоими экипажами.

Он, с помощью мальчишки и другого кучера, отпряг лошадей и привязал их в тени, по разным углам. Хозяйство было небольшое, но полное у этой африканской Коробочки. [37] Свиньи и домашние птицы ходили по двору, а рядом зеленел сад. Яркая зелень банана резко оттенялась на фоне темно-зеленых фиговых и грушевых деревьев. Из-за забора глядели красные цветы шиповника.

Мы с бароном пошли гулять на улицу. Везде зелено; все сады да аллеи. Мы дошли до конца улицы и уперлись в довольно большую протестантскую церковь, с оградой. Направо стоял большой дом, казенный: дом здешнего правления; перед ним дубы достигли необыкновенного роста и объема. Вероятно, эти деревья ровесники местечку, а оно старше почти всех других в колонии: оно основано двести лет назад и названо в честь тогдашнего губернатора, по имени Стеллен, и жены его, урожденной Бош. Любуясь зеленью садов, мы повернули налево, в узенькую улицу, и вышли за город. С одной стороны перед нами возвышалась гора, местами голая, местами с зеленью; кругом была долина, одна из самых обработанных; вдали фермы. Мы воротились в город и пошли по узенькому ручью, в котором черные бабы полоскали белье. По ручью стояли мазанки готтентотов и негров; кое-где мелочные лавочки. Улицы всё — шоссе. У одного дома европейской наружности, по-видимому почтового, стояло несколько карет, колясок и карт; около них толпились путешественники обоих полов — всё англичане.

Мы застали уже накрытый стол, и хозяйки, стоя вокруг, приглашали нас сесть; мы не заставили долго просить себя. Они ласково смотрели на нас и походили, в своих, старинного покроя, платьях, с бледными лицами и грустными взглядами, на полинявшие портреты добрых предков. Чего только не было наставлено на столе: это лавочка съестных припасов. Миски и тарелки разнокалиберные; у графинов разные пробки, а у судков и вовсе нет; перечница с отбитой головкой — бедность и радушие. Как много барон съел мяса и живности, Зеленый фруктов, я всего — и говорить нечего. Арбузы, продолговатые, формой похожие на дыни, были и красны, и сладки, так что мы заказали себе их на дорогу.

Стелленбош славится в колонии своею зеленью, фруктами и здоровым воздухом. От этого сюда стекаются инвалиды и иностранцы, нанимают домы и наслаждаются тенью и прогулками. В неделю два раза ходят сюда из Капштата омнибусы; езды всего по прямой дороге часов пять. Окрестности живописны: всё холмы и долины. Почва состоит из глины, наносного ила, железняка и гранита. В самом Стелленбоше считается около четырех, а в округе около пяти тысяч жителей. Местечко замечательно еще школой, одной из лучших в колонии. Оттуда вышло несколько хороших учителей для других мест. Преподают все, что входит в круг классического воспитания. Кто знает, какой дуб учености вырастет со временем в этой старинной, но еще молодой и формирующейся на новый лад колонии? Может быть, стелленбошская коллегия будет со временем африканским Геттингеном или Оксфордом.[38] «Молодая колония» — я сказал; да, потому что лет каких-нибудь тридцать назад здесь ни о дорогах, ни о страховых компаниях, ни об улучшении быта черных не думали. И нынче

еще, упорный в ненависти к англичанам, голландский фермер, опустив поля шляпы на глаза, в серой куртке, трясется верст сорок на кляче верхом, вместо того, чтоб сесть в омнибус, который, за три шиллинга, часа в четыре, привезет его на место. А фермеры эти не бедны: у некоторых хозяев от семи до восьми тысяч руб. серебром годового дохода. В стелленбошском округе главное произведение все-таки вино, потом пшеница, дуб, картофель и т. п. предметы.

Часов в пять, когда жара спала, все оживилось: жалюзи открылись; на крыльцах появилось много добрых голландских фигур, мужских и женских. Я встретил нашего доктора и с ним двух если не немцев, то из немцев. Два датчанина, братья, доктор и аптекарь, завели его к себе в дом, показывали сад. Я познакомился с ними, и мы пошли за город, к мосту, через мост по полю, и уже темным вечером, почти ощупью, воротились в город. Датчане завели нас к себе и непременно хотели угостить главным капским произведением, вином. Это был для меня трудный подвиг: пить, да еще после обеда! А они подали три-четыре бутылки и четыре стакана: «Вот это фронтиньяк, это ривезальт»,— говорили они, наливая то того, то другого вина, и я нашел в одном сходство с chambertin:* вино было точно из бургундских лоз. Хозяева сказали, что пришлют нам несколько бутылок вина в Капштат, в нашу гостиницу. Они проводили нас до нашей квартиры.

Тишина и теплота ночи были невыразимо приятны: ни ветерка, ни облачка; звезды так и глазели с неба, сильно мигая; на балконах везде люди и говор. Из нашей гостиницы неслись веселые голоса; из окон лился свет. Все были дома, сидели около круглого стола и пили микстуру с песком, то есть чай с сахаром. Это пародия на то, что мы пьем у себя под именем чая. За столом было новое лицо: пожилой, полный человек, с румяным, добрым, смеющимся лицом. «Г. Ферстфельд, местный доктор»,— сказал нам Посьет. «Что ж он на нас так странно смотрит и откуда вы его взяли?» — спросил я. «Сам пришел; узнал, что русские приехали, пришел посмотреть; никогда, говорит, не видал».

Доктор и сам подтвердил это. Он порядочно говорил по-французски и откровенно объяснил, что так много слышал и читал о русских, что не мог превозмочь любопытства и пришел познакомиться с нами. «Я занимаюсь немного естественными науками, геологией, и не естественными: френологией;[39] люблю также этнографию. Поэтому мне очень интересно взглянуть на русский тип»,— говорил он, поглядывая с величайшим вниманием на барона Криднера, на нашего доктора Вейриха и на Посьета: а они все трое были не русского происхождения. «Так вот какой тип!» — говорил он, продолжая глядеть на них. Мы едва крепились от смеху. «А это какой тип?» — спросил я, указывая на Зеленого. «Это...— он серьезно и долго вглядывался в него,— это... монгольский». Мы было засмеялись, но доктор, кажется, прав: у Зеленого действительно татарские черты. «Ну, а этот?» — показывали мы на Гошкевича. Он долго думал. «Он десять лет жил в Китае»,— заметил кто-то про Гошкевича. «А ведь он похож

* шамбертеном (*франц.*).— *Ред.*

на китайца!» — заметил Ферстфельд. Мы хохотали, и он с нами. Гошкевич был из малороссиян. Чисто русские были только Зеленый и я. «Да, русские сильны: о! о них много-много слуху!» — говорил он. Он ожидал, кажется, увидеть богатырей, а может быть, людей немного зверской наружности, и удивился, когда узнал, что Гошкевич занимается тоже геологией, что у нас много ученых, есть литература.

Это все так заняло его, что он и не думал уходить; а пора было спать. Вандик наотрез отказался ехать. «Дорога дурна»,— объявил он улыбаясь. Голландский доктор настаивал, чтоб мы непременно посетили его на другой день, и объявил, что сам поедет проводить нас миль за десять и завезет в гости к приятелю своему, фермеру.

На ночь нас развели по разным комнатам. Но как особых комнат было только три, и в каждой по одной постели, то пришлось по одной постели на двоих. Но постели таковы, что на них могли бы лечь и четверо. На другой день, часу в восьмом, Ферстфельд явился за нами в кабриолете, на паре прекрасных лошадей.

Мы выехали по свежей утренней прохладе и проезжали по дороге между фермами, как между дачами, по зеленым холмам. Я забыл сказать, что накануне у одной дачи нам указали камфарное дерево. Мы вышли и нарвали себе несколько веток, с листьями и плодами, величиной с крупную горошину, от которых вдруг в экипажах разлился запах, напоминающий зубную боль и подушечки. Дерево не очень красиво; оно показалось мне похожим немного на нашу осину, только листья другие, продолговатые, толще и глаже; при трении они издавали сильный запах камфары. Ферстфельд останавливал наше внимание на живописных местах: то указывал холм, густо поросший кустарником, то белеющуюся на скате горы в рытвине ферму с виноградниками. Мы выходили из экипажей и бродили по сторонам, собирая кто каменья, кто травы или цветы. Между тем, приглядываясь к лошадям у нашего экипажа, я видел какую-то разницу, как будто одна лошадь не прежняя. «Это не прежняя лошадь»,— сказал я Вандику, который, в своей голубой куртке, в шляпе с крепом, прямо и неподвижно, с голыми руками, сидел на козлах. «Нет».— «Где ж та?» — «Променял».— «Разве эта лучше? Верно, она не ладит с другой, все шалит дорогой».— «Выгодно променял,— с улыбкой сказал Вандик.— Я хотел выменять еще беленькую лошадку, very nice horse!» (славная лошадка!),— прибавил потом. «Что ж не выменял?» — «Не отдают; да не уйдет она от меня!»

Эти шесть миль, которые мы ехали с доктором, большею частью по побочным дорогам, были истинным истязанием, несмотря на живописные овраги и холмы: дорогу размыло дождем, так что по горам образовались глубокие рытвины, и экипажи наши не катились, а перескакивали через них. Надо отдать справедливость Вандику: он в искусстве владеть вожжами стоит если не выше, то так же высоко, как его соименник в искусстве владеть кистью. Вот гора и на ней три рытвины, как три ветви, идут в разные стороны, а между рытвинами значительный горб — это задача. Как бы, кажется, не поломать тут колес и даже ребер и как самым смирным лошадям не потерять терпение и не взбеситься, караб-

каясь то на горб, то оступаясь в яму? Может быть, оно так бы и случилось у другого кучера, но Вандик заберет в руки и расположит все вожжи между полуаршинными своими пальцами и начнет играть ими, как струнами, трогая то первую, то третью или четвертую. От этих искусных маневров две передние лошади идут по горбу, а рытвина остается между ними; если же они и спускаются в нее, то так тихо и осторожно, как будто пасутся на лугу. Иногда им приходится лепиться по косогору налево, а экипаж спускается с двумя другими лошадьми в рытвину направо и колышется, как челнок, на гладких, округленных волнах. И это поминутно. Когда мы стали жаловаться на дорогу, Вандик улыбнулся и, указывая бичом на ученую партию, кротко молвил: «А капитан хотел вчера ехать по этой дороге ночью!» Ручейки, ничтожные накануне, раздулись так, что лошади шли по брюхо в воде. Солнце всходило высоко; утренний ветерок замолкал; становилось тихо и жарко; кузнечики трещали, стрекозы начали реять по траве и кустам; к нам врывался по временам в карт овод или шмель, кружился над лошадьми и несся дальше, а не то так затрепещет крыльями над головами нашими большая, как птица, черная или красная бабочка и вдруг упадет в сторону, в кусты.

Зеленый только было запел: *Не бил барабан,* пока мы взбирались на холм, но не успел кончить первой строфы, как мы вдруг остановились, лишь только въехали на вершину, и очутились перед широким крыльцом большого одноэтажного дома, перед которым уже стоял кабриолет Ферстфельда. Кругом нас расположены были строения, сараи и разные службы. Налево от дому, по холму, идет довольно большой сад, сзади дома виноградники, и тоже сад, дальше дикие кусты. Это была голландская ферма Эльзенборг, принадлежащая приятелю доктора.

Ферстфельд пошел в дом, а мы остались у крыльца. Через минуту он возвратился с хозяином и приглашал нас войти. На пороге стоял высокий, с проседью, старик, с нависшими бровями, в длинной суконной куртке, закрывавшей всю поясницу, почти в таком же длинном жилете, в широких нанковых,[40] падавших складками около ног панталонах. От дома и от него так и повеяло Поль Поттером, Миерисом, Теньером.[41] Он, протянув руку, стоял, не шевелясь, на пороге, но смотрел так кротко и ласково, что у него улыбались все черты лица. На крыльце лежало бесчисленное множество тыкв; шагая между ними, мы добрались до хозяина и до его руки, которую потрясли все по очереди.

Наконец мы у голландского фермера в гостях, на Капе, в Африке! Сколько описаний читал я о фермерах, о их житье-бытье; как жадно следил за приключениями, за битвами их с дикими, со зверями, не думая, что когда-нибудь... Мы вошли в большую залу, из которой пахнуло на нас прохладой. В дверях гостиной встретили нас три новые явления: хозяйка в белом чепце, с узенькой оборкой, в коричневом платье; дочь, хорошенькая девочка лет тринадцати, глядела на нас так молодо, свежо, с детским застенчивым любопытством, в таком же костюме, как мать, и еще какая-то женщина, гостья или родственница. Они знаками пригласили нас войти в гостиную. Я не верил глазам: ужели это фермер, крестьянин? Гостиная была еще больше залы; в ней царствовал полумрак, как в мод-

ном будуаре; посреди стоял массивный, орехового дерева, стол, заваленный разными редкостями, раковинами и т. п. предметами. По углам гнездились тяжелые, но красивые старинные диваны и кресла; посредине комнаты группировались крытые штофом козетки;[42] не было уже шкафов и посуды. У окон и дверей висели плотные шелковые драпри из материй, каких не делают нынче; чистота была неимоверная; жаль было ступать ногами по этим лакированным полам. Я боялся сесть на козетку: на ней, кажется, никто никогда не сидел; видно, комнаты выметаются, чистятся, показываются гостям, потом опять выметаются и запираются надолго. Мы сначала молчали, разглядывая друг друга. Мы видели, что хозяева ни за что не начнут сами разговора.

Наконец Посьет заговорил по-голландски, извинялся в нечаянном и, может быть, нескромном посещении. Старик неторопливо, без уверений, без суеты, кротко возразил, что он «рад таким гостям, издалека». И видно, что в самом деле был рад. Боже мой! как я давно не видал такого быта, таких простых и добрых людей и как рад был бы подольше остаться тут! «Что ж они, дадут ли завтракать? — с любопытством шепнул мне барон,— этого требует гостеприимство». «Да ведь вы завтракали».— «Вы кофе называете завтраком — это смешно,— возразил он,— я разумею бифштекс, котлеты, дичь. Здесь, верно, дичи много и „скотства“, должно быть, немало!» — заключил он, пародируя фразу нашего спутника Вейриха.

Из хозяев никто не говорил по-английски, еще менее по-французски. Дед хозяина и сам он, по словам его, отличались нерасположением к англичанам, которые «наделали им много зла», то есть выкупили черных, уняли и унимают кафров и другие хищные племена, учредили новый порядок в управлении колонией, провели дороги и т. п. Явился сын хозяина, здоровый, краснощекий фермер лет двадцати пяти, в серой куртке, серых панталонах и сером жилете. Он тоже молча перещупал нам всем руки. Отец с сыном предложили нам посмотреть ферму, и мы вышли опять на крыльцо. Тут только я заметил, каким великолепным виноградным деревом было оно осенено. Корень его уродливым, переплетшимся, как множество змей, стволом выходил из-под каменного пола и опутывал ветвями, как сетью, трельяж балкона, образуя густую зеленую беседку; листья фестонами лепились по решетке и стенам. Большие кисти винограда, как лампы, висели в разных местах потолка. Мы загляделись на дерево. «Этому дереву около девяноста лет,— сказал хозяин,— оно посажено моим дедом в день его свадьбы». «Зачем эта тыква здесь?»— спросили мы. «Это к обеду черным».— «А много их у вас?» — «Нет, теперь всего двадцать человек, а во время работ нанимаем до сорока; они дороги. Англичане избаловали их и приучили к праздности. Они выработают себе, сколько надо, чтоб прожить немного на свободе, и уходят; к постоянной работе не склонны, шатаются, пьянствуют, пока крайность не принудит их опять к работе».— «У старика до тысячи фунтов стерлингов доходу в год»,— шепнул нам Ферстфельд. Мы с бо́льшим вниманием стали смотреть на старика и его суконную куртку. «Времена не совсем хороши для нас,— продолжал старик,— сбыта мало. Вот только и хорошо, когда

война, как теперь». «Отчего же так?» — «Потребления больше: до двенадцати тысяч одного английского войска; хлеб и вино идут отлично; цены славные: все в два с половиной раза делается дороже».— «Сколько на хорошей ферме выделывается вина в год?» — спросил я. «Около двухсот пип»,— отвечал хозяин. (Пипу надо считать во 114 галлонов, а галлон — в 5 бутылок.) «Куда сбывается вино?» — «Больше в Англию да немного в самую колонию и на острова, на Маврикий».— «Но почти весь испанский херес и портвейн идут в Англию,— заметил я,— что же делают из здешнего?» «Делают херес, портвейн,— сказал Ферстфельд,— потому что настоящего испанского вина недостает». «Да ведь отсюда далеко возить, дорого обходится».— «От тридцати пяти до сорока дней на нынешних судах, особенно на паровых».

Несмотря на отдаленность, здешнее вино, и с процессом подделки под испанские вина, все-таки обходится англичанам дешевле тех.

Мы пошли в сад. Виноград рассажен был на большом пространстве и довольно низок ростом. Уборка уже кончилась. Мы шли по аллее из каштанов, персиковых и фиговых деревьев. Все было обнажено, только на миндальных деревьях кое-где оставались позабытые орехи. Хозяйский сын рвал их и подавал нам. Они были толстокорые, но зато вкусны и свежи. Какая разница с продающимся у нас, залежавшимся и высохшим миндалем! Проходя по двору, обратно в дом, я увидел, что Вандик и товарищ его распорядились уж распрячь лошадей, которые гуляли по двору и щипали траву.

Хозяева извинялись, что, по случаю раннего и кратковременного нашего посещения, не успеют угостить нас хорошенько, и просили отведать наскоро приготовленного сельского завтрака. Мы пришли в светлую пространную столовую, на стене которой красовался вырезанный из дерева голландский герб. Посредине накрыт был длинный стол и установлен множеством блюд с фруктами. У Зеленого глаза разбежались, а барон сделал гримасу. Тут дымились чайники, кофейники той формы, как вы видите их на фламандских картинах. На блюдах лежал виноград нескольких сортов, фиги, гранаты, груши, арбузы. Потом маленькие булки, горячие до того, что нельзя взять в руку, и отличное сливочное масло. Тут же яйца, творог, картофель, сливки и несколько бутылок старого вина — все произведение фермы. Хозяева наслаждались, глядя, с каким удовольствием мы, особенно Зеленый, переходили от одного блюда к другому. Через полчаса стол опустошен был до основания. Вино было старый фронтиньяк, отличное. «Что это,— ворчал барон,— даже ни цыпленка! Охота таскаться по этаким местам!»

Мы распрощались с гостеприимными молчаливыми хозяевами и с смеющимся доктором. «Я надеюсь с вами увидеться,— кричал доктор,— если не на возвратном пути, так я приеду в Саймонстоун: там у меня служит брат, мы вместе поедем на самый мыс смотреть соль в горах, которая там открылась».

Дорога некоторое время шла дурная, по размытым дождями оврагам и буеракам, посреди яркой зелени кустов и крупной травы. Потом выехали мы опять на шоссе и покатились довольно быстро. Горы обозначались

все яснее, и вскоре выдвинулись из-за кустов и холмов две громады и росли, по мере нашего приближения, все выше и выше. Дорога усажена была сплошной стеной айвы; наш молодой приятель и лошади опять поели ее. Мы подъехали к самым горам и к лежащему у подошвы их местечку Paarl по-голландски, а по-русски «перл». Это место действительно перл во всей колонии по красоте местоположения, по обилию и качеству произведений, особенно вина.

Взгляд не успевал ловить подробностей этой большой, широко раскинувшейся картины. Прямо лежит на отлогости горы местечко, с своими идущими частью правильным амфитеатром, частью беспорядочно перегибающимися по холмам улицами, с утонувшими в зелени маленькими домиками, с виноградниками, полями маиса, с близкими и дальними фермами, с бегущими во все стороны дорогами. Налево гора Паарль, которая, картинною разнообразностью пейзажей, яркой зеленью, не похожа на другие здешние горы. Полуденное солнце обливало ее всю ослепительным блеском. На покатости ее, недалеко от вершины, сверкали какие-то три светлые полосы. Сначала я принял их за кристаллизацию соли, потом за горный хрусталь, но мне показалось, что они движутся. Солнечные лучи так ярко играли в этих стальных полосах, что больно было глазам. «Что это такое?» — спросил я Вандика. «Каскады,— отвечал он,— теперь они чуть-чуть льются, а зимой текут потоками: very nice!» * Ну, для каскадов это не слишком грандиозно! Они напоминают те каскады, которые делают из стекла в столовых часах. На южной оконечности горы издалека был виден, как будто руками человеческими обточенный, громадный камень: это Diamond — *Алмаз*, камень-пещера, в которой можно пообедать человекам пятнадцати. По горе, между густой зеленью, местами выбегали и опять прятались тропинки, по которым, казалось, могли бы ползать разве муравьи; а кое-где выглядывала угрюмо из травы кучка серых камней, образуя горб, там рытвина, заросшая кустами. Мы въехали в самое местечко, и я с сожалением оторвал взгляд от живописной горы.

Домики, что за домики — игрушки! Площадки, обвитые виноградом, палисадники, с непроницаемой тенью дубовых ветвей, с кустами алоэ, с цветами — все, кажется, приюты счастья, мирных занятий, домашних удовольствий! Мы быстро мчались из одного сада в другой, то есть из улицы в улицу, переезжая с холма на холм. Деревья как будто кокетничали перед нами, рисуясь, что шаг, то новыми группами. «Мы остановимся здесь?» — спросил я Вандика, видя, что он гонит лошадей так, как будто хочет проехать местечко насквозь. Но Вандик и не слыхал моего вопроса, он устремил глаза на какой-то предмет. Я посмотрел, куда он так пристально глядит: внизу террасы, по которой мы ехали, на лугу паслась лошадь — вот и все. «Странно,— ворчал Вандик,— я не знаю, чья это лошадь». Мы проехали террасу и луг, а он привстал на козлах и оглядывался назад. «В прошедший раз ее не было здесь»,— продолжал он ворчать и, озабоченный, шибче погнал лошадей. «Какое большое местечко!» — сказал я опять. «Шесть миль занимает,— отвечал

---

* очень мило (*англ.*),— *Ред.*

Вандик,— мы здесь остановимся,— продолжал он как будто на мой прежний вопрос,— и я сбегаю узнать, чья это лошадь ходит там на лугу: я ее не видал никогда».— «Да разве ты знаешь всех лошадей?» — «О yes! — с улыбкою отвечал он,— десятка два я продал сюда и еще больше покупал здесь. А эта...» — говорил он, указывая бичом назад, на луг... «Аппл!» — вдруг крикнул он, видя, что одна из передних лошадей отвлекается от своей должности, протягивая морду к стоявшим по сторонам дороги деревьям.

В конце этой террасы, при спуске с горы, близ выезда из местечка, мы вдруг остановились у самого кокетливого домика и спешили скрыться от жары в отворенные настежь двери, куда манили сумрак и прохлада. Мы с бароном первые вбежали в комнату и перепугали внезапным появлением какую-то скромно одетую, не совсем красивую девушку, которая собиралась что-то доставать из шкафа. Она потупила глаза и робко стояла на месте. «Можно приготовить нам завтрак?» — спросил барон, по-английски.«Yes»,— отвечала она. «А обед?» — «Yes».— «Так прикажите приготовить обед, да... получше, побольше... всего».— «А постели нужно?» — спросила она. «Нет,— отвечали мы.— А у вас есть и комнаты для приезжих?» — «Plenty» (много). Девушка внезапно скрылась, и наши спутники и мы расположились кто в комнатах, кто на балконе. Вандик отпряг лошадей и опрометью побежал с горы справляться, чья лошадь ходит по лугу.

Комнаты вовсе не показывали, чтоб это была гостиница. В первой, куда мы вошли, стоял диван, перед ним стол, кругом кресла. На стенах все принадлежности охоты: ружья, яхташи,[43] кинжалы, рога, бичи. В следующей, куда мы сейчас же проникли, стояло фортепиано, круглый, крытый суконной салфеткой стол; на нем лежало множество хорошеньких безделок. По стенам висели картинки с видами мыса Доброй Надежды. Все не только чисто, прилично прибрано, но со вкусом и комфортом. «Кто же здесь живет, чем занимается?» — думали мы, глядя на все кругом. «Живет, конечно, англичанин»,— заключили сами же потом; занимается охотой, как видно, и, между прочим, содержит отель; или, пожалуй, содержит отель и, между прочим, занимается охотой. Но кто же эта девушка: дочь, служанка? Наши, то есть Посьет и Гошкевич, собрались идти на гору посмотреть виды, попытаться, если можно, снять их; доктор тоже ушел, вероятно искать немцев. Я и барон остались, и Зеленый остался было с нами, но спутники увели его почти насильно, навязав ему нести какие-то принадлежности для съемки видов. Чрез полчаса, однако ж, он, кинув где-то их, ушел тайком и воротился в гостиницу. Жар так и палил.

Не успели мы расположиться в гостиной, как вдруг явились, вместо одной, две и даже две с половиною девицы: прежняя, потом сестра ее, такая же зрелая дева, и еще сестра, лет двенадцати. Ситцевое платье исчезло, вместо его появились кисейные спенсеры,[44] с прозрачными рукавами, легкие из муслинь-де-лень [45] юбки. Сверх того, у старшей была синева около глаз, а у второй на носу и на лбу по прыщику; у обеих вид невинности на лице. Напротив, маленькая девочка смотрела совсем маль-

чишкой: бойко глядела на нас, бегала, шумела. Сестры сказывали, что она, между прочим, водит любопытных проезжих на гору показывать *Алмаз*, каскады и вообще пейзажи.[46]

Девицы вошли в гостиную, открыли жалюзи, сели у окна и просили нас тоже садиться, как хозяйки не отеля, а частного дома. Больше никого не было видно. «А кто это занимается у вас охотой?» — спросил я. «Па»,— отвечала старшая. «Вы одни с ним живете?» — «Нет; у нас есть ма»,— сказала другая. Разговор остановился пока на этом. Девицы сидели, потупя глаза, а мы мучительно выработывали в голове английские фразы полюбезнее. Девицы, казалось, ожидали этого. «А обед скоро будет готов?» — вдруг спросил барон после долгого молчания. «Да».— «Спросите, есть ли у них виноград,— прибавил Зеленый,— если есть, так чтоб побольше подали; да нельзя ли бананов, арбузов?..» Меня занимали давно два какие-то красные шарика, которые я видел на столе, на блюдечке. «Что это такое?» — спросил я. «Яд»,— скромно отвечала одна. «Для кого вы держите его?» — «Па где-то достал; так...» — «Это вы занимаетесь музыкой?» — «Да»,— отвечала старшая. «Нельзя ли спеть?» — стали мы просить. Она начала немного жеманиться, но потом села за фортепиано и пела много и долго: то шотландскую мелодию, то южный, полуиспанский, полуитальянский романс. Не спрашивайте, хорошо ли она пела. Скажу только, что барон, который сначала было затруднялся, по просьбе хозяек, петь, смело сел, и боже мой, как и что он пел! Только и позволительно петь так перед обедом, с голоду, и притом в Африке. К счастью, среди пения в гостиную заглянула черная курчавая голова и, оскалив зубы, сказала африканским барышням что-то по-голландски. Барон, нужды нет, что сидел спиной к дверям, сейчас догадался, что это значит. «Обед готов»,— сказал он. «Других еще нет»,— возразили мы. «Нужды нет, мы есть не станем, посмотрим только». Между множеством наставленных на столе жареных и вареных блюд, говядины, баранины, ветчины, свинины и т. п. привлекло наше внимание одно блюдо, с салатом из розового лука. Мы попробовали, да и не могли отстать: лук сладковатый, слегка едок и только напоминает запах нашего лука. Большой салатник вскоре опустел. «Еще салату!» — приказал барон, и, когда наши воротились, мы принялись как следует за суп и своим порядком дошли опять до третьего салатника.

После обеда пробовали ходить, но жарко: надо было достать белые куртки. Они и есть в чемодане, да прошу до них добраться без помощи человека! «Нет, уж лучше пусть жарко будет!..» — заключили некоторые из нас.

Подле отеля был новый двухэтажный дом, внизу двери открыты настежь. Мы заглянули: магазин. Тут все: шляпы, перчатки, готовое платье и проч. Торгуют голландцы. В местечке учреждены банки и другие общественные заведения. Паарльский округ производит лучшее вино, после констанского, и много водки. Здесь делают также *карты*, то есть дорожные капские экипажи, в каких и мы ехали. Я видел щегольски отделанные, не уступающие городским каретам. Вандик купил себе новый карт, кажется, за сорок фунтов. Тот, в котором мы ехали, еле-еле держался. Он

сам не раз изъявлял опасение, чтоб он не развалился где-нибудь на косогоре. Однако ж он в новом нас не повез.

Здесь есть компания омнибусов. Омнибус ходит сюда два раза из Кэптауна. Когда вы будете на мысе Доброй Надежды, я вам советую не хлопотать ни о лошадях, ни об экипаже, если вздумаете посмотреть колонию: просто отправляйтесь с маленьким чемоданчиком в Longstreet* в Капштате, в контору омнибусов; там справитесь, куда и когда отходят они, и за четвертую часть того, что нам стоило, можете объехать вдвое больше.

Часу в пятом мы распрощались с девицами и с толстой их *ма*, которая явилась после обеда получить деньги, и отправились далее, к местечку Веллингтону, принадлежащему к Паарльскому округу и отстоящему от Паарля на девять английских миль.

Оба эти места населены голландцами, ОГОЛЛАНДИВШИМИСЯ французами и отчасти англичанами. Да где же народ — черные? где природные жители края? Напрасно вы будете искать глазами черного народонаселения, как граждан, в городах. О деревнях я не говорю: их вовсе нет, все местечки и города; в немногих из них есть предместья, состоящие из бедных, низеньких мазанок, где живут нанимающиеся в городах чернорабочие. Я смотрел во все стороны в полях и тоже не видал нигде ни хижины, никакого человеческого гнезда на скале: все фермы, на которых помещаются только работники, принадлежащие к ним. Оседлых черных жителей поблизости к Капштату нет. Они, вместе со зверями, удаляются всё внутрь, как будто заманивая белых проникать дальше и дальше и вносить Европу внутрь Африки. Европейцы уже касаются тропиков. Мы, конечно, не доживем до той поры, когда одни из Алжира, а другие от Капштата сойдутся где-нибудь внутри; но нет сомнения, что сойдутся. Никакие львы и носороги, ни Абдель-Кадеры и Сандильи, ни даже — что хуже того и другого — сама Сахара не помешают [47] этому. Уж о-сю-пору омнибусы ходят по колонии, водку дистиллируют; есть отели, магазины, барышни в буклях, фортепиано — далеко ли до полного успеха? Есть проект железной дороги внутрь колонии и послан на утверждение лондонского министерства; но боятся, что не окупится постройка: еще рано. До сих пор одни только готтентоты оказали некоторую склонность к оседлости, к земледелию и особенно к скотоводству, и из них составилась целая область. Там они у себя хозяева. Пашут хлеб, разводят скот и под защитой английских штыков менее боятся набегов кафров.

Мы ехали широкой долиной. На глазомер она простиралась верст на пять в ширину. Нельзя нарочно правильнее обставить горами, как обставлена эта долина. Она вся заросла кустами и седой травой, похожей на полынь. В одном месте подъехали к речке, порядочно раздувшейся от дождей. Надо было переправляться вброд; напрасно Вандик понукал лошадей: они не шли. «Аппл!» — крикнет он, направляя их в воду, но передние две только коснутся ногами воды и вдруг возьмут направо или налево, к берегу. Вандик крикнул что-то другому кучеру, из другого карта

---

* Лонгстрит (*англ.*).— *Ред.*

выскочил наш коричневый спутник, мальчишка-готтентот, засучил панталоны и потащил лошадей в воду; но вскоре ему стало очень глубоко, и он воротился на свое место, а лошади ушли по брюхо. Дно было усыпано мелким булыжником, и колеса производили такую музыку, что даже заставили замолчать Зеленого, который пел на всю Африку: *Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя!* или *У Антона дочка* [48] и т. д.

Весело и бодро мчались мы под теплыми, но не жгучими лучами вечернего солнца, и на закате, вдруг прямо из кустов, въехали в Веллингтон. Это местечко построено в яме, тесно, бедно и неправильно. С сотню голландских домиков, мазанок, разбросано между кустами, дубами, огородами, виноградниками и полями с маисом и другого рода хлебом. Здесь более, нежели где-нибудь, живет черных. Проехали мы через какой-то переулок, узенький, огороженный плетнем и кустами кактусов и алоэ, и выехали на большую улицу. На веранде одного дома сидели две или три девицы и прохаживался высокий плотный мужчина, с проседью. «Вон и мистер Бен!»,[49]— сказал Вандик. Мы поглядели на мистера Бена, а он на нас. Он продолжал ходить, а мы поехали в гостиницу — маленький и дрянной домик, с большой, красивой верандой. Я тут и остался. Вечер был тих. С неба уже сходил румянец. Кое-где прорезывались звезды.

«Пойдемте к Бену с визитом,— сказал барон.— Да прежде надо спросить хозяина, что он даст нам ужинать». Кто же тут хозяин? Тут их было два: один вертелся на балконе, в переднике, не совсем причесанный и бритый англичанин, и давно распоряжался переноской наших вещей в комнаты. Другой, в пальто и круглой шляпе, на улице у крыльца принимал деятельное участие в нашем водворении в гостиницу. Кроме их мальчишка-негр и девчонка-негритянка хлопотали около вещей. «Нет, мне не хочется к Бену,— отвечал я барону,— жаль оставить балкон. Теперь поздно: завтра утром».

Между тем ночь сошла быстро и незаметно. Мы вошли в гостиную, маленькую, бедно убранную, с портретами королевы Виктории и принца Альберта, [50] в парадном костюме ордена Подвязки.[51] Тут же был и портрет хозяина: я узнал таким образом, который настоящий: это — небритый, в рубашке и переднике; говорил в нос, топал, ходя, так, как будто хотел продавить пол. Едва мы уселись около круглого стола, как вбежал хозяин и объявил, что г. Бен желает нас видеть.

Мы отдали ему рекомендательное письмо от нашего банкира из Капштата. Он прочел и потом изъявил опасение, что нам, по случаю воскресенья, не удастся видеть всего замечательного. «Впрочем, ничего,— прибавил он,— я постараюсь кое-что показать вам».

Разговор зашел о геологии, любимом его занятии, которым он приобрел себе уже репутацию в Англии и готовился, неизданными трудами, приобрести еще более громкое имя. «Я покажу вам свою геологическую карту»,— сказал он и ушел за ней домой. Через четверть часа он воротился с огромной и великолепной картой, где подробно означены формации всех гор, от самого Мыса до внутренних границ колонии. Карта начерчена изящно. Трудился один Бен; помощников в этой глуши у него не было. Он работал около пятнадцати лет над этим трудом и послал копию в

Лондон. Вся почва гор в колонии состоит из глинистого сланца, гранита и песчаника. Мы залюбовались картой и выпросили ее оставить у нас до утра. «Она, вероятно, уже печатается ученым обществом,— сказал Бен,— и вы, по возвращении, найдете ее готовою».

Вторая специальность Бена — открытие и описание ископаемых животных колонии, между которыми встречается много двузубых змей. Он нам показывал скелеты этих животных и несколько их подарил. Третья и главная специальность его — прокладывание дорог. Он гражданский инженер и заведовает целым округом.

Бен замечательный человек в колонии. Он с ранних лет живет в ней и четыре раза то один, то с товарищами ходил за крайние пределы ее, за Оранжевую реку, до 20° широты, частью для геологических исследований, частью из страсти к путешествиям и приключениям. Он много рассказывал о встречах со львами и носорогами. О тиграх он почти не упоминал: не стоит, по словам его. Только рассказывал один анекдот, как тигр таскал из-за загородки лошадей и как однажды устроили ему в заборе такой проход, чтоб тигр, пролезая, дернул веревку, привязанную к ружейному замку, а дуло приходилось ему прямо в лоб. Но тигр смекнул, что проход, которого накануне не было, устроен недаром: он перепрыгнул через забор, покушал и таким же образом переправился обратно. О львах Бен говорил с уважением, хвалил их за снисходительность. Однажды он, с тремя товарищами, охотился за носорогом, выстрелил в него — зверь побежал; они пустились преследовать его и вдруг заметили, что в стороне, под деревьями, лежат два льва и с любопытством смотрят на бегущего носорога и на мистера Бена с товарищами, не трогаясь с места. Охотники с большим уважением прошли мимо лесных владык.

Еще страннее происшествие случилось с Беном. Он, с товарищами же, ходил далеко внутрь на большую охоту и попал на племя, которое воевало с другим. Начальник принял его очень ласково и угощал несколько дней. А когда Бен хотел распроститься, тот просил его принять участие в войне и помочь ему завладеть неприятелем. Бен отвечал, что он, без разрешения своего правительства, сделать этого не может. «Ну, так все твои ружья, быки и телеги — мои»,— отвечал дикий. Все убеждения были напрасны, и Бен отправился на войну. К счастью, она недолго продолжалась. Обе сражавшиеся стороны не имели огнестрельного оружия, и неприятели, при первых выстрелах, бежали, оставив свои жилища в руках победителей. «Вам, вероятно, очень неприятно было стрелять в несчастных?» — спросили мы. «Нет, ничего,— отвечал Бен,— ведь я стрелял холостыми зарядами. Никому и в голову не пришло поверить меня. Они не умеют обращаться с ружьями».

Бен высокого роста, сложен плотно и сильно; ходит много, шагает крупно и твердо, как слон, в гору ли, под гору ли — все равно. Ест много, как рабочий, пьет еще больше; с лица красноват и лыс. Он от ученых разговоров легко переходит к шутке, поет так, что мы хором не могли перекричать его. Если б он не был гражданский инженер и геолог, то, конечно, был бы африканский Рубини:[52] у него изумительный фальцетто.[53] Он нам пел шотландские песни и баллады. Ученая партия овладела им

совсем, и Посьет, конечно, много дополнит в печати беседу нашу с г. Беном.

Пока мы говорили с ним, барон исчез. Вскоре хозяин тихонько подошел ко мне и гнусливо что-то сказал на ухо. Я не понял. «Вас зовут»,— повторил он. «Кто? где?» — «На улице».— «Это что за новость? у меня здесь знакомых нет». Однако пошел. На улице темнота, как сажа в трубе: я едва нашел ступени крыльца. Из глубины мрака вышел человек, в шляпе и пальто, и взял меня за руку. Это второй, подставной хозяин. От него сильно пахло водкой. «Что вам надо?» — спросил я. «Пойдемте, пойдемте, я покажу вам бал». «Какой бал? — думал я, идучи ощупью за ним,— и отчего он показывает его мне?» Он провел меня мимо трех-четырех домов по улице и вдруг свернул в сторону. «Stop, stop:* ничего не вижу»,— говорил я, упираясь ногами. «Идите, тут ничего нет, только канава... вот она». И мы оба прыгнули: он знал куда, я — нет, но остался на ногах. Меня поразили звуки музыки, скрипки и еще каких-то духовых инструментов. Мы подошли к толпе, освещенной фонарями, висевшими на дверях. Толпа негров и готтентотов, мужчин и женщин, плясала. Вот и бал. Все были пьяны и неистово плясали, но молча. Посреди их стоял наш главный артист, барон. «Что вы тут делаете?» — спросил я, продравшись к нему. «Изучаю нравы,— отвечал он,— n'est ce pas que c'est pittoresque?» ** «Гм! pittoresque,— думалось мне,— да, пожалуй, но собственного, местного, негритянского тут было только: черные тела да гримасы, все же прочее... Да это кадриль или что-то вроде: шень,[54] балансе».[55] Мы долго смотрели, как веселились, после трудного рабочего дня, черные. Из дома, кажется питейного, слышались нестройные голоса. Я молча, задумавшись о чем-то, смотрел на пляску. «Ужинать пора»,— сказал вдруг барон, и мы пошли.

Подойдя к гостинице, я видел, что *кто-то* в темноте по улице преследует *кого-то*. Оба, преследующий и преследуемый, вбежали на крыльцо. Оказалось, что это сам хозяин загоняет свою девчонку-негритянку домой, как отставшую овцу. «Что это вы делаете? зачем ее гоните?» — спросил я. «Негодная девчонка,— отвечал он,— все вертится на улице по вечерам, а тут шатаются бушмены и тихонько вызывают мальчишек и девчонок, воруют с ними вместе и делают разные другие проказы».— «Нельзя ли поймать где-нибудь бушмена? мне давно хочется посмотреть это племя».— «Нет, не поймаешь, хотя их тут много прячется по ночам,— сказал хозяин с досадой, грозя на поля и огороды,— они, с закатом солнечным, выползают из своих нор и делают беспорядки».

Наши еще разговаривали с Беном, когда мы пришли. Зеленый по обыкновению залег спать с восьми часов и проснулся только поесть винограду за ужином. Мы поужинали и легли. Здесь было немного комнат, и те маленькие. В каждой было по две постели, каждая для двоих.

Утром явился г. Бен и торопил ехать, чтоб засветло проехать ущелье. Он, как был вчера — в зеленом сюртуке, нанковых панталонах, в черном жилете, с лорнеткой на ленточке и в шляпе, без перчаток,— так и пустился

---

* «Остановитесь, остановитесь...» (*англ.*),— *Ред.*

** «...не правда ли, это очень живописно?» (*франц.*),— *Ред.*

с нами в дорогу. Он сел с ученой партией. «Ну, трогай, земляк!» — сказал Зеленый Вандику. У Вандика опять перемена: вместо чалой запряжена пегая лошадь. «А чалую променял?» — спросил я. «Yes»,— с улыбкой отвечал он. «Зачем же: разве та не годилась?» — «О нет, я ее на обратном пути опять куплю, а эту, пегую, я променяю с барышом в Устере».

Славная дорога, славные места! Как мы въехали из кустов в Веллингтон, так и выехали из него прямо в кусты. Тут уже начиналось создание Бена — шоссе. Налево была гора Гринберг, зеленая не по одному названию.[56] Она очень красива, с большими отлогостями, живописными холмами и оврагами. Она похожа на гору, какие есть везде. Это общее место по части гор. Зато бывшие впереди горы уже ни на что не походили. Громады всё росли перед нами, выставляя, одна за другой, дикие, голые вершины. Они, казалось, все более и более жались друг к другу; и когда подъедешь к ним вплоть, они смыкаются сплошной стеной, как будто толпа богатырей, которые стеснились, чтоб дать отпор нападению и не пускать сквозь. «Как же мы проедем через плеча этих великанов?» — думал я, видя, что мы едем прямо на эту массу. «Где дорога?» — спросил я Вандика. Он молча показал на тропинку и бичом провел по воздуху извилину параллельно ей. Эта дорога для экипажей — невероятно! Тропинка бежала кругом горы, пропадала, потом вдруг являлась выше, пропадала опять и так далее.

Мы стали подниматься: лошади пошли не такой крупной рысью, какой ехали по долине. Они было пытались идти и шагом, но грозный «аппл» и хлопанье бича заставляли их постоянно бежать. Зеленый затянул: *Близко города Славянска, на верху крутой горы.*[57] Мы ехали пока еще по горам довольно отлогим, вроде Гринберг. Дорога прорезана в глинистом сланце. Справа у нас глиняная стена отвесно стояла над головой, слева внизу зияли овраги, но эти пропасти еще не были грозны: они как будто улыбались нам. На дне их текли ручьи, росла густая зелень, в которой утопал глаз. Особенно я помню один живописный овраг, весь заросший лесом. Внизу, в самой глубине его, в группе деревьев, прятался белый домик. Во все стороны по горам шли тропинки и одна конная дорога. Домик этот — прежняя квартира мистера Бена. Он жил тут с семейством года три и каждый день, пешком и верхом, пускался в горы, когда еще дорога только что начиналась.

Мы всё поднимались, но это заметно было для глаз и почти вовсе незаметно для лошадей — так дорога идет раскидисто и отлого; лошади не переставали бежать легкой рысью. По дороге могли проехать два экипажа, но это пространство размерено с такою точностью, что сверх этого и мыши негде было бы пройти. Края пропастей уставлены каменьями, расположенными близко один от другого. Каменья эти, на взгляд, казались не велики, так что Зеленый брался каждый из них легко сбросить с места. «И что за пропасти: совсем нестрашные,— говорил он,— этаких у нас, в Псковской губернии, сколько хочешь!» День был жаркий и тихий. По дороге никакого движения, нигде ни души. Дорога не совсем кончена и открыта для публики два дня в неделю.

Хотя горы были еще невысоки, но чем более мы поднимались на них,

тем заметно становилось свежее. Легко и отрадно было дышать этим тонким, прохладным воздухом. Там и солнце ярко сияло, но не пекло. Наконец мы остановились на одной площадке. «Здесь высота над морем около 2000 футов»,— сказал Бен и пригласил выйти из экипажей.

Мы вышли, оглянулись назад и остановились неподвижно перед открывшейся картиной: вся паарльская долина лежала перед нами, местами облитая солнечным блеском, а местами прячущаяся в тени гор. Веллингтон лежал как будто у ног наших, несмотря на то, что мы были милях в пяти от него. Далее белелись из-за зелени домики Паарля, на который гора бросала исполинскую тень; кругом везде фермы. Кусты казались травой, а большие дубы ферм — мелкими кустами. Мы стояли молча и неподвижно. Саженях в пятидесяти от нас плавно проплыл в воздухе, не шевеля крыльями, орел; махнув раза три мерно крыльями над торчавшими голыми вершинами, он как камень ринулся вниз и пропал между скал.

Тут Гошкевич расположился снять фотографические виды и взять несколько образчиков камней. Бен в первый раз только спросил об имени каждого из нас, и мы тут же, на горе, обменялись с ним карточками. Барон и Зеленый, с мешком и молотком, полезли на утесы. Но прежде Зеленый попробовал, с разрешения мистера Бена, столкнуть который-нибудь из камней в бездну, но увидел, что каждый камень чуть не больше его самого. Посьет пустился в длинную беседу с Беном, а я пошел вперед, чтоб расправить ноги, уставшие от постоянного сиденья в экипаже. Я долго шел, поминутно останавливаясь посмотреть на долину. Вскоре она заслонилась утесом, и я шел среди мертвой тишины по шоссе. Дорога все еще шла сквозь глинистые горы.

Чрез полчаса нагнали меня наши экипажи. Я было хотел сесть, но они, не обращая на меня внимания, промчались мимо, повернули за утес направо, и чрез пять минут стук колес внезапно прекратился. Они где-то остановились.

Я обогнул утес, и на широкой его площадке глазам представился ряд низеньких строений, обнесенных валом и решетчатым забором,— это тюрьма. По валу и на дворе ходили часовые, с заряженными ружьями, и не спускали глаз с арестантов, которые, с скованными ногами, сидели и стояли, группами и поодиночке, около тюрьмы. Из тридцати — сорока преступников, которые тут были, только двое белых, остальные все черные. Белые стыдливо прятались за спины своих товарищей.

Здесь была полная коллекция всех племен, населяющих колонию. Черный цвет, от самого чернобархатного с глянцем, как лакированная кожа, переходил, постепенными оттенками, до смугло-желтого. Самые черные были негры племен финго, мозамбик, бичуанов и сулу. У этих племен лицо большею частью круглое, с правильными чертами, с выпуклым лбом и щеками, с толстыми губами; волосы, сравнительно с другими, длинны, хотя и курчавы. Негры все здорового телосложения; мускулы у них правильны и красивы — это африканские Адонисы;[58] зрачки у них подернуты желтоватою влагою и покрыты сетью жилок. Кафры, не

уступая им в пропорциональности членов, превышают их ростом. Это самое рослое племя — атлеты. Но лицом они не так красивы, как первые; у них лоб и виски плоские, скулы выдаются; лицо овальное, взгляд выразительный и смелый; они бледнее негров; цвет более темно-шоколадный, нежели черный. Готтентоты еще бледнее. Они коричневого цвета; впрочем, как многочисленное племя, они довольно разнообразны. Я видел готтентотов тусклого, но совершенно черного цвета. У них, как у кафров, лоб вдавлен, скулы, напротив, выдаются; нос у них больше, нежели у других черных. Вообще лицо измято, обильно перерезано глубокими чертами;вид старческий, волосы скудны. Они малорослы, худощавы, ноги и руки у них тонкие, так, тряпка тряпкой, между тем это самый деятельный народ. Они отличные земледельцы, скотоводы, хорошие слуги, кучера и чернорабочие.

Толпа окружила нас и с бо́льшим любопытством глядела на нас, нежели мы на нее. Особенно негры и кафры смотрели открыто, бойко и смело, без запинки отвечали на вопросы. Нередко дружный хохот раздавался между ними от какой-нибудь шутки, и что́ за зубы обнаруживались тогда! «Есть ли у вас бушмены?» — спросил я. «Трое»,— отвечал смотритель. «Нельзя ли посмотреть?» Он что-то крикнул: в углу, у забора, кто-то пошевелился. Смотритель закричал громче: в углу зашевелилось сильнее. Между черными начался говор, смех. Двое или трое пошли в угол и вытащили оттуда бушмена. Какое жалкое существо! Он шел тихо, едва передвигая скованные ноги, и глядел вниз; другие толкали его в спину и подвели к нам. Насмешки сыпались градом; смех не умолкал. Перед нами стояло существо, едва имевшее подобие человека, ростом с обезьяну. Желто-смуглое, старческое лицо имело форму треугольника, основанием кверху, и покрыто было крупными морщинами. Крошечный нос на крошечном лице был совсем приплюснут; губы, нетолстые, неширокие, были как будто раздавлены. Он казался каким-то юродивым стариком, облысевшим, обеззубевшим, давно пережившим свой век и выжившим из ума. Всего замечательнее была голова: лысая, только покрытая редкими клочками шерсти, такими мелкими, что нельзя ухватиться за них двумя пальцами. «Как тебя зовут?» — спросил смотритель. Бушмен молчал. На лице у него было тупое, бессмысленное выражение. Едва ли он имел, казалось, сознание о том, где он, что с ним делают. Смотритель повторил вопрос. Бушмен поднял на минуту глаза и опустил опять. Я давно слышал, что язык бушменов весь состоит из смеси гортанных звуков с прищелкиванием языка и потому недоступен для письменного выражения. Мне хотелось поверить это, и я просил заставить его сказать что-нибудь по-бушменски. «Как *отец* по-вашему?»— спросил смотритель. Бушмен поднял глаза, опустил и опять поднял, потом медленно раскрыл рот, показал бледно-красные челюсти, щелкнул языком и издал две гортанные ноты. «А *мать?*» — спросил смотритель. Бушмен опять щелкнул и издал две уже другие ноты. Вопросы продолжались. Ответы изменялись или в нотах, или в способе прищелкиванья. Совершенно звериный способ объясняться! «И это мой *брат, ближний!*»[59] — думал я, болезненно наблюдая это, какое-то недосозданное, жалкое существо. «Они, должно быть, совсем без смысла,— сказал я,— ум у них, кажется, вовсе не развит».—

«Нельзя сказать,— отвечал смотритель,— они дики и нелюдимы, потому что живут в своих землянках посемейно, но они очень смышлены, особенно мастера слукавить и стащить что-нибудь. Кроме того, они славно ловят зверей, птиц и рыбу. Зверей они убивают ядовитыми стрелами. Вообще они проворны и отважны, но беспечны и не любят работы. Если им удастся приобрести несколько штук скота кражей, они едят без меры; дни и ночи проводят в этом; а когда все съедят, туго подвяжут себе животы и сидят по неделям без пищи».

Вывели и прочих бушменов: точно такие же малорослые, загнанные, с бессмысленным лицом старички, хотя им было не более как по тридцати лет.

Чем больше я вглядывался в готтентотов и бушменов, тем больше убеждался, что они родня между собой. Готтентоты отрекаются от этого родства, но черты лица, отчасти язык, цвет кожи — все убеждает, что они одного корня. Одним, вероятно, благоприятствовали обстоятельства, и они приучились жить обществом, заниматься честными и полезными промыслами, словом, быть порядочными людьми; другие остаются в диком, почти в скотском состоянии, избегают даже друг друга и ведут себя негодяями. Сколько и в семьях, среди цивилизованного общества, встречается примеров братьев, жизнь которых сложилась так, что один — образец порядочности, другой — отверженец семьи! «За что они содержатся?»— спросил я. «За воровство, как и большая часть арестантов»,— отвечал смотритель. «Подолгу ли содержат их в тюрьме?» — «От трех до пятнадцати лет».— «Что они делают, чем их занимают?» — «А дорогу-то, по которой вы едете,— сказал мистер Бен,— кто ж делает, как не они? Вот завтра вы увидите их за работой».

Мы заглянули в длинный деревянный сарай, где живут преступники. Он содержится чисто. Окон нет. У стен идут постели рядом, на широких досках, устроенных, как у нас полати в избах, только ниже. Там мы нашли большое общество сидевших и лежавших арестантов. Я спросил, можно ли, как это у нас водится, дать денег арестантам, но мне отвечали, что это строго запрещено.

Мы поблагодарили смотрителя и г. Бена за доставленное нам печальное удовольствие и отправились далее. «Это еще не последнее удовольствие: впереди три»,— сказал мистер Бен. «Напрасно мы не закусили здесь! — говорил барон,— ведь с нами есть мясо, куры...» Но мы уже ехали дальше. Зеленый громко пел: *Зачем, зачем обворожила, коль я душе твоей не мил...* Потом вдруг пускался рассказывать то детскую шалость, отрывок из воспитания, то начертит чей-нибудь портрет, характер или просто передразнит кого-нибудь. Мы любили слушать его. Память у него была баснословная, так что он передавал малейшие детали происшествия. Вот барон Криднер, напротив, ничего не помнил, ни местности, ни лиц, и тоже никогда не смотрел вперед. Он жил настоящим мгновением, зато уж жил вполне. Никто скорее его не входил в чужую идею, никто тоньше не понимал юмора и не сочувствовал картине, звуку, всякому артистическому явлению.

Мы стали въезжать в самое ущелье. Зеленые холмы и овраги сме-

нились дикими каменными утесами, черными или седыми. Дорога прорублена была по окраинам скал. Горы близко теснились через ущелье друг к другу. Солнце не достигало до нас. Мы с изумлением смотрели на угрюмые громады, которые висели над нами. В пустыне царствовало страшное безмолвие, та́к что и Зеленый перестал петь. Мы изредка менялись между собою словом и с робостью перебегали глазами от утеса к утесу, от пропасти к пропасти. Мы как будто попали в западню, хотя нам ничего не угрожало.

Представьте себе над головой сплошную каменную стену гор, которая заслоняет небо, солнце и которой не видать вершины. По этим горам брошены другие, меньшие горы; они, упав, раздробились,рассыпались и покатились в пропасти, но вдруг будто были остановлены на пути и повисли над бездной. То видишь точно целый город, с обрушившимися от какого-нибудь страшного переворота башнями, столбами и основаниями зданий, то толпы слонов, носорогов и других животных, которые дрались в общей свалке и вдруг окаменели. Там, кажется, сидят группой изваяния великанов. Здесь, на горе, чуть-чуть держится скала, цепляясь за гору одним углом, и всем основанием висит над бездной. Далее и далее всё стены гор и всё разбросанные на них громадные обломки, похожие на монастыри, на исполинские надгробные памятники, точно следы страшного опустошения.

Кажется, довольно одного прикосновения к этим глыбам, чтоб они полетели вниз, между тем здесь Архимедов рычаг[60] бессилен. Нужно по крайней мере землетрясение или мистера Бена, чтоб сдвинуть их с места.

Внизу зияют пропасти, уже не с зелеными оврагами и чуть-чуть журчащими ручьями, а продолжение тех же гор, с грудами отторженных серых камней и с мутно-желтыми стремительными потоками или мертвым и грязным болотом на дне. Едешь по плечу исполинской горы и, несмотря на всю уверенность в безопасности, с невольным смущением глядишь на громады, которые как будто сдвигаются все ближе и ближе, грозя раздавить путников. Взглянешь вниз, в бездну, футов на 200, на 300, и с содроганьем отвернешься; взглянешь наверх, а там такие же бездны опрокинуты над головой. Все эти массы истерзаны как будто небесным гневом и разбросаны по прихоти нечеловеческой фантазии. «Что,— спросил я у Зеленого,— есть в Псковской губернии такие пропасти?» «Страшновато!» — шептал он с судорожным, нервическим хохотом, косясь пугливо на бездну. Потом вдруг, чтоб ободрить себя и показать, что ему нипочем, горланил: *Люди добрые, внемлите...* Но потом морщился и уныло затягивал: *Не бил барабан* и постепенно затихал.

Мы проехали через продолбленный насквозь и лежащий на самой дороге утес, потом завернули за скалу и ждали, что там будет: мы очутились над бездной, глубже и страшнее всех, которые миновали. Вдобавок к этому дорога здесь была сделана пока только для одного экипажа; охранительных каменьев по сторонам не было, и лошади шли по самой окраине. *Вы всю... грусть мою... поймите,—* запел было, но уже вполголоса, Зеленый и смолк. По узенькой, недоделанной дороге, по которой еще кое-где валялись приготовленные для работ каменья и воткнут был

заступ, надо было заворотить налево. «Что ж вы не поете?» — спросил я. «Постойте, дайте проехать, вы видите...» С мучительным ощущением проехали мы поворот и вздохнули свободно, когда дорога опять расширилась. «Есть ли здесь животные?» — спросил я Вандика. «О, много!» — «Каких же?» — «Бабуанов (павианов, больших черных обезьян). Я удивляюсь,— прибавил Вандик, оглядываясь по сторонам,— что их нет сегодня: они стадами скачут по скалам, и лишь завидят людей и лошадей, поднимают страшный крик». «Может быть, оттого нет, что сегодня воскресенье,— заметил Зеленый.— Слава богу, впрочем, что нет. Если б хоть одна лошадь испугалась и зашалила, так нам пришлось бы плохо». «Есть еще волки, тигры»,— сказал Вандик. «Волки — здесь? быть не может! Волки — северное животное»,— заметили мы. «Знаю,— с улыбкою отвечал Вандик,— но здесь так называют гиен, а я, по привычке, назвал их волками». Вандик был образованный кучер.

Мистер Бен после подтвердил слова его и прибавил, что гиен и шакалов водится множество везде в горах, даже поблизости Капштата. Их отравляют стрихнином. «И тигров тоже много,— говорил он,— их еще на прошлой неделе видели здесь в ущелье. Но здешние тигры мелки, с большую собаку». Это видно по шкурам, которые продаются в Капштате.

Скоро мы подъехали к живописному месту. Горы вдруг раздвинулись на минуту, и образовался поперечный разрез. Солнце тотчас воспользовалось этим и ярко осветило глубокий овраг до дна. Дно и бока оврага заросли травой и кустами. Внизу тек ручей. От утеса к утесу через разрез вел мост — чудо инженерного искусства. Он, как скала, плотно сложен из квадратных плит песчаника. Длиной он футов сорок, а вниз опускался сплошной каменной стеной, футов на семьдесят, и упирался в дно оврага. Налево от моста, в ущелье, заросшем зеленью, журчал каскад и падал вниз. Мы остановились и пошли по уступу скалы — кто пить, кто ловить насекомых и собирать травы. Во всем ущелье, простирающемся на четырнадцать английских миль, сделано до сорока каменных мостов и мостиков; можно судить, сколько употреблено тут дарования, соображений и физического труда! Каменья надо было таскать сверху или снизу; многие скалы рвать порохом. Бен нам показывал следы таких взрывов и обещал показать, на возвратном пути, и самые взрывы.

За мостом ущелье в некоторых местах опять сжималось, но уже заметно было, что оно должно скоро кончиться. Здесь природа веселее; по горам росла обильная зелень. Даже брошенные по скатам каменья обросли кустами и травой, со множеством цветов. Много попадалось птиц, жужжали миллионы насекомых; на камнях часто видели мы разноцветных ящериц, которые выползали на солнце погреться. В одном месте прямо из скалы, чуть-чуть, текла струя свежей, холодной воды; под ней вставлен был арестантами железный желобок. «Зимой это большой каскад,— сказал Бен,— их множество тут; вон там, тут!» — говорил он, указывая рукой в разные места. Сколько грандиозна была та часть ущелья, которую мы миновали, столько же улыбалась природа здесь. Тут были живописные уклонения скал в сторону, образующие тенистые уголки, природные гроты.

Вскоре мы подъехали к самому живописному месту. Мы только спустились с одной скалы, и перед нами представилась широкая расчищенная площадка, обнесенная валом. На площадке выстроено несколько флигелей. Это другая тюрьма. В некотором расстоянии, особо от тюремных флигелей, стоял маленький домик, где жил сын Бена, он же смотритель тюрьмы и помощник своего отца. Кругом теснились скалы, выглядывая одна из-за другой, как будто вставали на цыпочки. Площадка была на полугоре; вниз шли тоже скалы, обросшие густою зеленью и кустами и уставленные прихотливо разбросанными каменьями. На дне живописного оврага тек большой ручей, через который строился каменный мост. Рядом с мостом шла плотина, служившая преградой ручью, на время, пока строился мост. Через эту плотину шла и временная дорога. Берег ручья, скаты горы — все потонуло в зелени. Бен с улыбкой смотрел, как мы молча наслаждались великолепной картиной, поворачиваясь медленно то на ту, то на другую сторону. Потом оглянулись и заметили, что уже мы давно на дворе, что Вандик отпряг лошадей и перед нами стояли двое молодых людей: сын Бена, белокурый, краснощекий молодой человек, и другой, пастор-миссионер. Мы познакомились и вошли в дом. Мы велели вынуть из экипажей провизию и вино, сын Бена тоже засуетился готовить завтрак.

Но прежде мы отправились смотреть тюрьму. Все то же, только поменьше арестантов. Они сидели и лежали на дворе и все старались поместиться на солнце. Особенно один старик-негр привлек мое внимание: у него болела нога, и он лежал, растянувшись, посредине двора и опершись на локоть, лицом прямо к солнцу. Спереди голова у него была совсем лысая, и лучи играли на ней, как на маковке башни. Был полдень, жара так и палила, особенно тут, в ущелье, где воздух сперт и камни сильно отражают лучи. «Зачем их выводят на солнце? — спросили мы,— ведь это вредно». «Нет,— отвечал Бен,— они любят и охотнее работают в солнечный, жаркий день, нежели в пасмурный». Я спросил у многих имена; готтентотов звали: Саломон, Каллюр; бушменов — Вильденсон и Когельман. Но эти имена даны уже европейцами, а я просил, чтоб они сказали мне, как их зовут на их природном языке. Бушмены, казалось, поняли, о чем их спрашивают; они постояли молча, потупив глаза в землю. Миссионер повторил вопрос; тогда они, по порядку, сначала один, потом другой, помычали и щелкнули языком. Записать эти звуки не было возможности. Я обратился к кафрам. Один бойко произнес имя «Дольф», другой — «Дай». Потом я спросил одного черного, какого он племени и как его зовут. Он сказал, что отец у него мозамбик, мать другого племени, но не сказал какого, а зовут его «Лакиди». Все они разумеют и кое-как объясняются по-английски. Одеты они кто в куртке, кто в рубашке и шароварах.

Мы пошли во флигель к Бену. Там молодой, черный как деготь, негр, лет двадцати и красавец собой, то есть с крутыми щеками, выпуклым лбом и висками, толстогубый, с добрым выражением в глазах, прекрасно сложенный, накрывал на стол. Он мне очень понравился. «Вы нанимаете этого негра?» — спросил я сына Бена. «Нет,— отвечал он,— это тоже арестант, военнопленный, дрался за кафров и недавно взят в плен. Я его

не мешаю с другими арестантами: он очень смирен и послушен». «Долго они работают?» — «С восхождения солнца до захождения; тут много времени уходит в ходьбе на место и обратно». Пока мы говорили с Беном, Зеленый, миссионер и наш доктор ходили в ручей купаться, потом принялись за мясо, уток и проч.

Часа в три пустились дальше. Дорога шла теперь по склону, и лошади бежали веселее. Ущелье все расширялось, открывая горизонт и дальние места. «Ничего теперь не боюсь!» — весело говорил Зеленый и запел вместе с птицами, которые щебетали и свистали где-то в вышине. Кругом горы теряли с каждым шагом угрюмость, и мы незаметно выехали из ущелья, переехали речку, мостик и часов в пять остановились на полчаса у маленькой мызы[61] Клейнберг. Тут была третья и последняя тюрьма, меньше первых двух; она состояла из одного только флигеля, окруженного решеткой; за ней толпились черные. Мыза вся состояла из одноэтажного домика, с плантациями маиса вокруг и с виноградником. На дворе росло огромное дерево, к которому на длинной веревке привязана была большая обезьяна, павиан. Несмотря на короткую остановку, кучера наши отпрягли лошадей. Хозяин мызы, по имени Леру, потомок французского протестанта; жилище его смотрело скудно и жалко. Напрасно барон Криднер заглядывал: нет ли чего-нибудь пообедать. Зато Леру вынес нам множество банок... со змеями, потом камни, шкуры тигров и т. п. «Ну, последние времена пришли! — говорил барон,— просишь у ближнего хлеба, а он дает камень, вместо рыбы — змею». Мы сели на стульях, на дворе, и смотрели, как обезьяна то влезала на дерево, то старалась схватить которого-нибудь из бегавших мальчишек или собак. Ни тех, ни других она терпеть не могла, как сказали нам хозяева. Детей не пускали к ней, а собак, напротив, подталкивали. Надо было видеть, как она схватит пребольшую собаку и начнет так поворачивать и кусать ее, что та с визгом едва вывернется из лап ее и бежит спрятаться. Потом обезьяна сядет, подгорюнится и смотрит на нас. Кучера стали бросать в нее каменья, но она увертывалась так ловко, что ни один не попадал. Солнце уже садилось, когда мы поехали дальше, к Устеру; по одной, еще неконченной дороге. Песок, груды камней и рытвины — вот что предстояло нам. Мы переправились вброд через реку, остановились на минуту около какого-то шалаша, где продавали прохожим хлеб, кажется еще водку и где наши купили страусовых яиц, величиной с маленькую дыню.

Недалеко от Устера мы объехали кругом холма, который где-нибудь в саду мог представлять большую гору: это — куча каменьев, поросших кустарниками, в которых, говорят, много змей, оттого она и называется Шлянгенхель, то есть Змеиная горка. Вообще колония изобилует змеями; между ними много ядовитых и, между прочим, известная кобра-капелла. В Стелленбоше Ферстфельд сказывал нам, что, за несколько дней перед нами, восьмилетняя девочка сунула руку в нору ящерицы, как казалось ей, но оттуда выскочила очковая змея и ужалила ее. Девочка чрез полчаса умерла. На мызе Клейнберг говорили, что в окрестностях водится большая желтая толстая змея, которая, нападая на кого-нибудь, становится будто на хвост и перекидывается назад.

Совсем стемнело, когда мы стали подъезжать к Устеру. Дорога ужасная: пески, каменья, беспрестанные ямы. Иногда мы получали такие толчки, что экипаж откидывало в сторону. Темнота адская; мы не видели, куда ехали: перед глазами стояла как будто стена. Лошади бежали чуть-чуть заметной рысью. «Как бы в овраг на свалиться»,— говорили мы. «Нет, не свалимся,— отвечал Вандик,— на камень, может быть, попадем не раз, и в рытвину колесо заедет, но в овраг не свалимся: одна из передних лошадей куплена мною недели две назад, в Устере: она знает дорогу». «Да вот, въезжаем, вот здания какие-то!» — сказал барон. В самом деле, мы поравнялись с какими-то темными массами, которые барон принял за домы; но это оказались деревья. Мы продолжали трястись и пробирались ощупью. Через четверть часа Зеленый сказал . «Вот теперь так приехали: я вижу белую стену неподалеку».— «Это Устер?» — спросили Вандика. «Нет, это ферма,— сказал он,— от нее еще мили четыре до Устера». Ах, какое наказание! Местами мы проезжали большие пространства булыжника: это значит ехали по высохшему руслу реки. Колеса так визжали в каменьях, что нельзя было разговаривать. Мы еще несколько раз ошиблись, принимая то кусты, то ближайшие холмы за городские здания. Потом нам надоело и ехать и ошибаться: мы соскучились и сидели молча, только хватались за бока, когда получали толчок. Наконец, через добрый час езды от фермы, Вандик вдруг остановил лошадей и спросил кого-то и что-то по-голландски. Ему крикнуло в ответ голосов двадцать. «Что это? где мы?»— спрашиваем Вандика. «В городе,— отвечал он,— да вот не вижу улицы, не знаю, как проехать к отелю». Я напряг зрение в темноте и отличил силуэты темных фигур, которые стояли около нашего экипажа. «Что это за народ?» — «Black people»,*— отвечал Вандик, пуская лошадей дальше. Вдруг черные что-то дружно крикнули нам вслед, лошади испугались и сильно дернули вперед. «Аппл!» — закричал Вандик и, обратясь, тоже что-то крикнул черным. Показались огни, и мы уже свободно мчались по широкой, бесконечной улице, с низенькими домами по обеим сторонам, и остановились у ярко освещенного отеля, в конце города. «Ух, уф, ах, ох!»— раздавалось по мере того, как каждый из нас вылезал из экипажа. Отель этот был лучше всех, которые мы видели, как и сам Устер лучше всех местечек и городов по нашему пути. В гостиной, куда входишь прямо с площадки, было все чисто, как у порядочно живущего частного человека: прекрасная новая мебель, крашеные полы, круглый стол, на нем два большие бронзовые канделябра и ваза с букетом цветов.

Очевидно, что хозяева англичане. Мистер Бен с бароном отправились хозяйничать, хлопотать об ужине. Посьет ухаживал около Бена, стараясь отблагодарить его постоянным вниманием за предпринятую им для нас поездку. Я сел на балкон и любовался темной и теплой ночью, дышал и не надышался безмятежным чистым воздухом. Вдали, на темном фоне неба, лежали массы еще темнее: это горы. Гошкевич вышел на балкон, долго вслушивался и вдруг как будто свалился с крыльца в тьму кромешную и исчез. «Куда вы?» — кричал я ему вслед. «Тут должна быть близко

* «Чернокожие» (*англ.*),— *Ред.*

канава,— отвечал он,— слышите, как лягушки квакают, точно стучат чем-нибудь; верно, не такие, как у нас; хочется поймать одну». В самом деле, кузнечики и лягушки взапуски отличались одни пред другими.

Ужин, благодаря двойным стараниям Бена и барона, был если не отличный, то обильный. Ростбиф, бифштекс, ветчина, куры, утки, баранина, с приправой горчиц, перцев, сой, пикулей и других отрав, которые страшно употребить и наружно, в виде пластырей, и которые англичане принимают внутрь, совсем загромоздили стол, так что виноград, фиги и миндаль стояли на особом столе. Было весело. Бен много рассказывал, барон много ел, мы много слушали, Зеленый после десерта много дремал.

После долгой беседы за ужином нас развели по комнатам. Я с Зеленым заняли большой нумер, с двумя постелями, барон и Посьет спали отдельно в этом же доме, а мистер Бен, Гошкевич и доктор отправились во флигель, выстроенный внутри двора и обращенный дверями к садику. Окон в их комнатах не было, да и жарко было бы от солнца. А кому нужен свет, тот мог отворить дверь. Оно, как видите, просто, первобытно, по-африкански. Зеленый спал мертвым сном, даже прислуга — негр и девка, долго гремевшие ложками и тарелками, угомонились. Тишина воцарилась мертвая. Я тоже наконец хотел лечь спать, но прежде посвятил несколько минут тщательному осмотру своей кровати. Она была большая, двуспальная, как везде в английских владениях, но такой, как эта, я еще не видывал. Она была под балдахином из темной шерстяной материи, висевшей тяжелыми фестонами, с кистями и бахромой. На задней доске кровати стоял какой-то щит; на нем вырезано было изображение как будто короны и герба. Занавески, мрачного цвета, с крупными складками, плотно закрывали высокую постель. Я раза три обошел вокруг этого катафалка и не знал, как приступить к угрюмому ложу; робость напала на меня. Мне пришел на память древний замок и мрачная комната, в которой гостил и ночевал какой-нибудь Плантагенет или Стюарт.[62] И с тех пор комната чтится как святыня: она наглухо заперта, и постель оставлена в своем тогдашнем виде; никто не дотрогивался до нее, а я вдруг лягу! Однако ж надо было лечь. Я раздвинул занавески, и передо мной представилась целая гора пуховиков, с неизменной длинной и круглой подушкой. Несколько одеял, сложенных вместе, были так массивны, что я насилу их поднял. Хотел влезть и не мог: высоко. Два раза пытался я добраться до средины постели и два раза скатывался долой. Так и остался на краю. Я стал уже засыпать, как вдруг услышал шорох. Что это? уж не тень ли королевская идет на свой старый ночлег? Шорох все сильнее и сильнее; вскоре по балдахину началась мелкая и частая беготня — мышей. Ну, это не беда. Я хотел было заснуть, но вдруг мне пришло в голову сомнение: ведь мы в Африке; здесь вон и деревья, и скот, и люди, даже лягушки не такие, как у нас; может быть, чего доброго, и мыши не такие: может быть, они... Не решив этого вопроса, я засыпал, но беготня и писк разбудили меня опять; открою глаза и вижу, что к окну приблизится с улицы какая-то тень, взглянет и медленно отодвинется, и вдруг опять сон осилит меня, опять разбудят мыши, опять явится и исчезнет тень

в окне... Точно как в детстве бывало, когда еще нервы не окрепли: печь кажется в темноте мертвецом, висящее всегда в углу платье — небывалым явлением. После этого сравнения, мелькнувшего у меня в голове, как ни резво бегали мыши, как ни настойчиво заглядывала тень в окно, я не дал себе труда дознаваться, какие мыши были в Африке и кто заглядывал в окно, а крепко-накрепко заснул.

Рано утром все уже было на ногах, а я еще все спал. Даже барон и тот встал и приходил два раза сказать, что breakfast* на столе. Пришел Посьет и тоже торопил вставать: «Пора-де ехать».— «Да куда это с этих пор?» — «Визиты делать».— «Какие, кому в Устере визиты делать?» — «А к русскому, который здесь живет. Уж мистер Бен завтракает. Вставайте: он поведет нас,— торопил неотвязчивый Посьет.— Потом,— говорил он,— вчера здешний magistrate (судья), которого мы видели в Бенсклюфе (ущелье Бена), просил заехать к нему; потом отправимся на минеральные воды». «Потом еще куда? — перебил я,— и все в один день!» Но Посьет заказал верховых лошадей и велел заложить наши экипажи.

Я оделся, вышел в поле и тут только увидел, каким прекрасным пейзажем гор ограничен Устер. Громады были местами зелены, местами изрыты и дики, с наростами седых камней, с группами деревьев, с фермами и виноградниками. Равнина вокруг гор была частью песчана, частью зелена и уставлена фермами. День начинался блестящий и жаркий. Пока еще была свежая прохлада, я сделал маленькую прогулку по полям, с маисом и виноградом, и воротился на балкон, кругом обсаженный розовыми кустами, миртами и другими, уже отцветшими деревьями.

Вскоре раздался топот: готтентот приехал верхом на одной лошади, а двух вел порожних, потом явились и наши кучера.

В ожидании товарищей я прошелся немного по улице и рассмотрел, что город выстроен весьма правильно и чистота в нем доведена до педантизма. На улице не увидишь ничего лишнего, брошенного. Канавки, идущие по обеим сторонам улиц, мостики содержатся как будто в каком-нибудь парке. «Скучный город!» — говорил Зеленый с тоской, глядя на эту чистоту. При постройке города не жалели места: улицы так широки и длинны, что в самом деле, без густого народонаселения, немного скучно на них смотреть.

Впрочем, это только слава, что велик город. Будет велик, когда в черту его войдут целые поля! Одних площадей, или скверов, здесь около 24; каждая площадь имеет до 11 акр, сказывал Бен. В городе теперь пока, и с его уездом, около 5000 жителей. Он еще ждет народонаселения, как и вся колония. Проезжая эти пространства, где на далекое друг от друга расстояние разбросаны фермы, невольно подумаешь, что пора бы уже этим фермам и полям сблизиться так, чтобы они касались друг друга, как в самой Англии, чтоб соседние нивы разделялись только канавой, а не степями, чтоб ни один клочок не пропал даром... Но где взять народонаселения? Здесь нет золота, и толпа не хлынет сюда, как в Калифорнию и Австралию. Здесь нужны люди, которые бы шли на подвиг; или надо обмануть пришельцев, сказать, что клад зарыт в земле, как

* первый завтрак (*англ.*),— *Ред.*

сделал земледелец перед смертью с своими детьми, чтобы они изрыли ее всю.[63] На это мало найдется охотников. Английское правительство хотело помочь горю и послало целый груз неохотников — ссыльных; но жители Капштата толпою вышли на пристань и грозили закидать их каменьями, если они выйдут на берег. Черные еще в детстве: они пока, как дети, кусают пекущуюся о них руку. Народонаселение в Устере смешанное. Здесь довольно и черных. Для них есть особая церковь, которых всего две; обе английские. Жители занимаются земледелием, почти во всех видах. До сих пор мало было сбыта, потому что трудно возить продукты в горах. С устройством дороги через ущелье Устер и все ближайшие к Бенсклюфу места должны подняться. Кроме хлеба здесь много и плодов; особенно хвалят яблоки и груши. Те, которые мы видели, нельзя есть: они, правда велики, но жестки и годны на варенье или в компот Другие плоды все уже отошли.

Около города текут две реки: Гекс и Брееде. Из Гекса вода чрез акведуки, миль за пять, идет в город. Жители платят за это удобство маленькую пошлину.

Товарищи воротились от мнимого русского. Он из немцев, по имени Вейнерт, жил долго в Москве, в качестве учителя музыки или что-то в этом роде, получил за службу пенсион и удалился, по болезни, сначала куда-то в Германию, потом на мыс Доброй Надежды, ради климата. Он по-русски помнил несколько слов, все остальное забыл, но любил русских и со слезами приветствовал гостей. Он болен, кажется, параличом, одинок и в тоске доживает век. Вот что сказали мне, воротясь от Вейнерта, товарищи, прибавив, что вечером он сам придет.

Становилось, однако, жарко: надо было отправляться к минеральным источникам и прежде еще заехать к Лесюеру, судье, с визитом. Барон, Посьет и Гошкевич поехали верхом, а мы в экипажах. В конце улицы стоял большой двухэтажный, очень красивый дом, с высоким крыльцом и закрытыми жалюзи. Мы постучались: негритянка отворила нам двери, и мы вошли почти ощупью в темные комнаты. Негр открыл жалюзи и ввел нас в чистую, большую гостиную, убранную по-старинному, в голландском вкусе, так же как на мызе Эльзенборг. Чрез минуту явился хозяин, в черном фраке, в белом жилете и галстуке. Он молча, церемонно подал нам руки и заговорил по-английски о нашей экспедиции, расспрашивал о фрегате, о числе людей и т. п. Тип француза не исчез в нем: черты, оклад лица ясно говорили о его происхождении, но в походке, в движениях уже поселилась не то что флегма, а какая-то принужденность. По-французски он не знал ни слова. Пришел зять его, молодой доктор, очень любезный и разговорчивый. Он говорил по-английски и по-немецки; ему отвечали и на том и на другом языке. Он изъявил, как и все почти встречавшиеся с нами иностранцы, удивление, что русские говорят на всех языках. Эту песню мы слышали везде. «Вы не русский,— сказали мы ему,— однако ж вот говорите же по-немецки, по-английски и по-голландски, да еще, вероятно, на каком-нибудь из здешних местных наречий».

Хозяева повели нас в свой сад: это был лучший, который я видел после капштатского ботанического. Сад старый, тенистый, с огромными

величавыми дубами, исполинскими грушевыми и другими фруктовыми деревьями, между прочим персиковыми и гранатовыми; тут были и шелковичные деревья, и бананы, виноград. Меня поразило особенно фиговое дерево, под которым могло поместиться более ста человек. Под тенью его мы совсем спрятались от солнца. «Что это не потчуют ничем?» — шептал Зеленый, посматривая на крупные фиги, выглядывавшие из-за листьев, на бананы и на кисти кое-где еще оставшегося винограда. Хозяева как будто угадали его мысль: они предложили попробовать фиги, но предупредили, что, может быть, они не совсем спелы. Мы попробовали и бросили их в кусты, а Зеленый съел не одну, упрекая нас «чересчур в нежном воспитании».

Источники отстоят от Устера на $4^1/_2$ английские мили.[64] Все это пространство занято огромной луговиной, которая зимой покрывается водой. Эта луговина, вместе с источниками, называется Brandt Valley.* Мы ехали песками по речному дну, по которому местами росла трава. Вскоре подъехали и к самой речке. Она была довольно широка и глубока. Кучера не знали брода, но в это время переходили реку готтентоты с волами: по их следам проехали и мы. Много было возни с лошадьми. Мальчишка-готтентот должен был сначала их вести, Вандик беспрестанно кричать «аппл». Верховые лошади тоже упрямились. У наших всадников ноги по колени ушли в воду. Они не предвидели этого обстоятельства, а то, может быть, и не поехали бы верхом. Один из них, натуралист, хотел, кажется, избавиться от этого неудобства, громоздился, громоздился на седле, подбирая ноги, и кончил тем, что, к немалому нашему удовольствию, упал в воду. Жара была невыносимая; лошади по песку скоро ехать не могли, и всадники не знали, куда деться от солнца: они раскраснелись ужасно и успели загореть. Я из глубины коляски, из-под полотняного крова, воссылал благодарственные моления небу, что не еду верхом.

Но вот и приехали. Видим: в одном месте из травы валит, как из миски с супом, густой пар и стелется по долине, обозначая путь ключа. Около вод стояла небольшая бедная ферма, где мы оставили лошадей. У самых источников росли прекрасные деревья: тополи, дубы, ели, айва, кусты папоротника, шиповника и густая сочная трава. По тропинке, сквозь кусты, пробрались мы не без труда к круглому небольшому бассейну, в который струился горячий ключ, и опустили в него руки. Горячо, но можно продержать несколько секунд: брали воду в рот: ни вкуса, ни запаха. Мы опускали туда яйцо, Зеленый айву: но ни яйцо, ни айва не варились. Зять Лесюера, доктор, сказывал, что как ни горяча вода, но она не только не варит ничего, но даже не годится для бритья, не размягчает бороды. «Где же холодный ключ?» — спросил я. «А вот»,— сказали мне, указывая под ноги. «Где?» — «Да вот».— «Это?» Я посмотрел, не пролили ли где поблизости из ушата воду, и та бы стремительнее потекла. На сажень от горячего источника струилась из-под дерева нить воды и тихо пропадала в траве — вот вам и минеральный ключ! Воды эти помогают более всего от ревматизма; но больных было всего трое; они жили в двух-трех хижинах, построенных далеко от истока ключей. Посьет, Бен и доктор

* Долина Брандта (*англ.*),— *Ред.*

вошли туда, а я остался. Ужасно было переходить горячую, открытую равнину под вертикальными, полуденными лучами солнца.

Я предпочел остаться в тени деревьев и стал помогать натуралисту ловить насекомых. Он был близорук до слепоты, и ему надо было ползать в траве, чтоб увидеть насекомое. Я заметил множество огромных, ярко-красных кузнечиков, которые не прыгали, как наши, а летали; но их удобно было ловить: они летели недолго и тотчас опускались. Он прятал их в карманы, клал в бумажки, в фуражку — везде. Но все это ни к чему не повело: на другой день нельзя было войти к нему в комнату, что случалось довольно часто, по милости змей, ящериц и потрошеных птиц. «Что это у вас за запах такой?» — «Да вон,— говорил он,— африканские кузнечики протухли: жирны очень, нельзя с ними ничего сделать: ни начинить ватой, ни в спирт посадить — нежны».

Наши товарищи, путешествующие с самоотвержением, едва дотащились назад после посещения больных. Удивительно, как и эти трое больных запаслись ревматизмом в климате, в котором непростительно простудиться! Будь эти воды в Европе, около них возникло бы целое местечко; а сюда из других частей света ездят лечиться одним только воздухом; между тем в окружности Устера есть около восьми мест с минеральными источниками. Мы взяли в бутылку воды, некоторые из всадников пересели в экипаж, и мы покинули это живописное место, оживленное сильною растительностью.

В Устере сейчас сели за tiffing, второй завтрак, потом пошли гулять,а кому жарко, тот сел в тени деревьев, на балконе дома. Часов в пять, когда жара спала, пошли по городу, встретили доктора, зятя Лесюера. Он повел нас в церковь, выстроенную самим пастором для черных. Другая видна была вправо от большой улицы, на площадке; но та была заперта. «Скучный город Устер! — твердил Зеленый, идучи с нами,— домой хочу, на фрегат: там теперь ванты перетягивают — славно, весело!» В этих немногих словах высказался моряк: он любил свое дело. Мы вошли в церковь черных. Проще ничего быть не может: деревянная, довольно большая зала, без всяких украшений, с хорами. Вдоль от алтаря до выхода в два ряда стояли скамьи грубой работы. Впереди, ближе к алтарю, было поставлено поперек церкви несколько скамеек получше. «А это для кого?» — спросил я. «Это для белых, которые бы вздумали прийти сюда».— «Зачем это отличие в церкви? — заметил я.— Может быть, черные мысленно делают не совсем выгодное заключение о смирении своих наставников». «Нет, тут другая причина,— сказал доктор,— с черными нельзя вместе сидеть: от них пахнет: они мажут тело растительным маслом, да и испарина у них имеет особенный запах».

В самом деле, в тюрьмах, когда нас окружали черные, пахло не совсем хорошо, так что барон, более всех нас заслуживший от Зеленого упрек в «нежном воспитании», смотрел на них, стоя поодаль.

Мы вошли к доктору, в его маленький домик, имевший всего комнаты три-четыре, но очень уютный и чисто убранный. Хозяин предложил нам капского вина и сигар. У него была небольшая коллекция предметов натуральной истории. Между прочим, он подарил нашему доктору корень

алоэ особой породы, который растет без всякого грунта. Посади его в пустой стакан, в банку, поставь просто на окно или повесь на стену и забудь — он будет расти, не завянет, не засохнет. Так он рос и у доктора, на стене, и года в два обвил ее всю вокруг.

Когда мы пришли в свой отель часу в седьмом, столовая уж ярко освещена была многими канделябрами. Стол блистал, как банкет. Это был не вчерашний импровизированный обед, а обдуманный и приготовленный с утра. Тут были супы, карри, фаршированные мяса и птицы, сосиски, зелень. Наш скромный доктор так и обомлел, когда вошел в столовую. Он был, по строгой умеренности и простоте нравов, живой контраст с бароном, у которого гастрономические наклонности были развиты до тонкости. «Ведь уж мы, кажется, обедали,— заметил он,— четыре блюда *имели*». «То был tiffing, то есть второй завтрак, а не обед,— заметил барон.— Вчера без обеда, и сегодня тоже — слуга покорный!»

Обед тянулся до полуночи. Здесь Бен показал себя и живым собеседником: он пел своим фальцетто шотландские и английские песни на весь Устер, так что я видел сквозь жалюзи множество глаз, смотревших с улицы на наш пир. Мы тоже пели, и хором, и поодиночке, с аккомпанементом фортепиано, которое тут было в углу. «Thank you, thank you»,* — повторял Бен после каждой русской песни, каждого, немилосердно растерзанного итальянского мотива.

В средине обеда вдруг вошел к нам в столовую пожилой человек, сильно разбитый ногами. Одну из них он немного приволакивал. «Сдравствуйте, каспада̄,— сказал он,— карашо, карашо»,— прибавил потом, не знаю к чему. Мы расступились и дали ему место за столом. Это был Вейнерт, quasi-русский, с которым наши познакомились утром. Он с умилением смотрел на каждого из нас, не различая, с кем уж он виделся, с кем нет, вздыхал, жалел, что уехал из России, просил взять его с собой, а под конец обеда, выпив несколько рюмок вина, совсем ослабел, плакал, говорил смесью разных языков, примешивая беспрестанно *карашо, карашо*. Он напоминал мне старые наши провинциальные нравы: одного из тех гостей, которые заберутся с утра, сидят до позднего вечера и от которого не знают, как освободиться. От него уходят, намекают ему, что пора домой, шепчутся, а он все сидит, особенно если еще выпьет. Мы, один за одним, разошлись по своим комнатам, а гость пошел к хозяевам, и мы еще долго слышали, как он там хныкал, вздыхал и как раздавался около него смех и разговоры. Уж было за полночь, когда я из окна видел, как он, с фонариком в руках, шел домой.

На другой день утром мы поехали обратно. У Змеиной горки завидели мы вдали, в поле, какую-то большую белую птицу, видом напоминающую аиста, которая величаво шагала по траве. «Секретарь, секретарь!» — кричала нам ученая партия. Мы все повыскакали из экипажей и побежали по кустам смотреть птицу, которая носит это имя. Заметив приближающихся людей, птица начала учащенными шагами описывать круги по траве, все меньше и меньше, и когда мы подошли настолько, что могли разглядеть ее, она взмахнула крыльями и скрылась. Птица «секретарь»

* «Благодарю вас, благодарю вас» (*англ.*),— *Ред.*

известна тем, что ведет деятельную войну с змеями. У ней толстые сильные ноги и острые когти. Она одним ударом ноги раздробляет голову кобре-капелле или подхватит ее в когти, взлетит повыше и бросит на камень.

Садясь в экипаж, я заметил, что у нас опять новая лошадь. «Где же та?» — спросил я Вандика. «Вон она!» — отвечал он, указывая назад. Я увидел сзади наших экипажей всадника: наш готтентот-мальчишка ехал верхом. Затем он и был взят в поездку, как объяснилось теперь. «А что ж с этой лошадью станешь делать?» — спросил я. «Променяю в Паарле на ту, которую видел на лугу».— «А ту в Капштат возьмешь?»—«Нет, променяю в Стелленбоше на маленькую, беленькую».— «Как же, мальчишка все будет ехать сзади, каждый раз на новой лошади?» — «Yes»,— отвечал Вандик с усмешкой.

Только мы проехали Змеиную горку и Зеленый затянул было: *Что ты, дева молодая, не отходишь от окна,* как мистера Бена кто-то будто кольнул. Он остановил повозку, быстро вскочил и еще быстрее побежал в кусты. Зеленый с хохотом стал делать лукавые замечания. Но за Беном так же быстро повыскакали и прочие спутники. Хохот и лукавые замечания удвоились. Я подумал: не опять ли показался «секретарь»? Оказалось, что Бен хотел осмотреть поле для новой дороги, которую должен был прокладывать от ущелья до Устера. Мы не хотели отстать и пошли за ними. Но трава была так густа, кусты так непроницаемы, Змеиная горка так близка и рассказы о змеях так живы, что молодой наш спутник, обыкновенно не робкий, хохочущий и среди опасностей, пустился, однако ж, такими скачками вперед, вслед за первой партией, что мы с бароном остановились и преследовали его дружным хохотом. Он скакал через кусты, бежал, спотыкался, опять скакал, как будто за ним бросились в погоню все обитатели Змеиной горки. Среди этих скачков он отвечал нам также хохотом.

Вскоре все пришло в прежний порядок. Мы тряслись по плохой дороге рысью, за нами трясся мальчишка-готтентот, Зеленый заливался и пел: *Разве ждешь ты? да кого же? не солдата ли певца?* Мы с бароном симпатизировали каждому живописному рву, группе деревьев, руслу иссохшей речки и наслаждались молча. Из другого карта слышался живой разговор. Так въехали мы опять в ущелье, и только где становилось поугрюмее, Зеленый опять морщился и запевал мрачно: *Не бил барабан перед смутным полком.* На мызе Клейнберг сын Бена встретил нас верхом. Здесь взяли мы купленных змей, тигровую шкуру, подразнили обезьяну и поехали ко второй тюрьме, к жилищу молодого Бена.

По дороге везде работали черные арестанты, с непокрытой головой, прямо под солнцем, не думая прятаться в тень. Солдаты, не спуская с них глаз, держали заряженные ружья на втором взводе. В одном месте мы застали людей, которые ходили по болотистому дну пропасти и чего-то искали. Вандик поговорил с ними по-голландски и сказал нам, что тут накануне утонул пьяный человек и вот теперь ищут его и не могут найти.

К обеду приехали мы к молодому Бену и расположились обедать и кормить лошадей. Погода была так же хороша, как и за три дня, когда

мы тут были. Но картина угрюмых скал, реки, ущелья и моста оживлена была присутствием множества людей. Черные теснились на дворе, по скалам, но более всего на мосту, который строился. «Вот посмотрите,— сказал нам мистер Бен,— сейчас взрыв будет». Мы обратили взгляд на людей, толпившихся за мостом, около кучи камней. Вдруг люди все бросились бежать от камней в разные стороны и каждый присел неподалеку, кто за пень, кто за камень, и смотрели оттуда, что будет. Раздался взрыв, как глухой пушечный выстрел. Почва приподнялась немного под каменьями, и некоторые из них подскочили, а другие просто покатились в сторону. Сделано было при нас несколько таких взрывов.

Опять мы рассматривали и расспрашивали, с помощью миссионера, черных о их именах, племени, месторождении. Наконец стали снимать с них портреты, сначала поодиночке, потом Гошкевич хотел снять одну общую картину со всего этого живописного уголка ущелья. Из черных составили группу на дворе. Мистер Бен, с сыном, и миссионер стояли возле них. Мы с бароном взобрались на ближайшую скалу, которая была прямо над флигелем Бена и тоже входила в картину. Нас просили не шевелиться. Но мы украдкой покуривали, в твердом убеждении, что Гошкевич по близорукости не разглядит.

Впрочем, из этой великолепной картины, как и из многих других, ничего не выходило. Приготовление бумаги для фотографических снимков требует, как известно, величайшей осторожности и внимания. Надо иметь совершенно темную комнату, долго приготовлять разные составы, давать время бумаге вылеживаться и соблюдать другие подобные этим условия. Несмотря на самопожертвование Гошкевича, с которым он трудился, ничего этого соблюсти было нельзя.

Перед обедом черные принесли нам убитую ими еще утром какую-то ночную змею. Она немного менее аршина, смугло-белая, очень красивая на вид. Ее удавили, принесли на тесемке и повесили на ручке замка у двери. Ее трогали, брали в руки, но признаков жизни не замечали. Глаза у ней закрылись, мелкие и частые зубы были наруже. Она висела уже часа два. Мне вздумалось дотронуться ей до хвоста горящей сигарой: вдруг змея начала биться, извиваться, поджимать и опускать хвост. Другие стали повторять то же самое. Потом посадили ее в спирт.

После обеда мы распрощались с молодым Беном и отправились в Веллингтон, куда приехали поздно вечером. Топающий хозяин опять поставил весь дом вверх дном, опять наготовил баранины, ветчины, чаю — и опять все дурно.

Утром, перед отъездом из Веллингтона, мы пошли с визитом к г. Бену благодарить его за обязательное внимание к нам. Бен представил нас своим дочерям, четырем зрелым «африканкам», то есть рожденным в Африке. Жена у него была голландка. Он вдовец. Около девиц было много собачонок — признак исчезающих надежд на любовь и супружество. Зрелые девы, перестав мечтать, сосредоточивают потребность любить — на кошках, на собачонках, души более нежные — на цветах. Старшая дочь была старая дева. Третья, высокая, стройная девушка, очень недурна собой, прочие — так себе. Они стали предлагать нам кофе, завтрак, но мы

поблагодарили, отговариваясь скорым отъездом. Мистер Бен предложил посмотреть его музей ископаемых. Несколько небольших остовов пресмыкающихся он предложил взять для петербургского музеума натуральной истории.

На прощанье он сказал нам, что мы теперь видели полный образчик колонии. «Вся она такая: те же пески, местами болота, кусты и крупные травы».

Мы ехали по знакомой уже дороге рысью. Приехали в Паарль. Вандик повез нас другой дорогой, которая идет по нижним террасам местечка. Я думал, что он хочет показать нам весь Паарль, а оказалось, что ему хотелось только посмотреть, ходит ли еще на лугу лошадь, которая его так озадачила в первый проезд. Только что он привез нас в знакомую гостиницу, как отпряг лошадей и скрылся. На этот раз нас встретила *ма*. *Па* был тоже дома. Это сухощавый и молчаливый англичанин, весьма благовидной наружности и с приличными манерами. Он, казалось, избегал путешественников и ни во что не вмешивался, как человек, не привыкший содержать трактир. Может быть, это в самом деле не его ремесло; может быть, его принудили обстоятельства. Все это может быть; но дело в том, что нас принимали и угощали *ма* и вторая девица. Первая была, по словам сестры, больна и лежала в постели. Мы пожалели и велели ей кланяться.

По дороге от Паарля готтентот-мальчишка, ехавший на вновь вымененной в Паарле лошади, беспрестанно исчезал дорогой в кустах и гонялся за маленькими черепахами. Он поймал две: одну дал в наш карт, а другую ученой партии, но мы и свою сбыли туда же, потому что у нас за ней никто не хотел смотреть, а она ползала везде, карабкаясь вон из экипажа, и падала.

Вечером мы нагрянули в Стелленбош, заранее обещая себе обильный ужин, виноград, арбузы, покойный ночлег и выразительные взгляды толстой черноглазой мулатки. Но дом был весь занят: из Капштата ехали какие-то новобрачные домой, на ферму, и ночевали в той самой комнате, где мы спали с Зеленым. Нам, однако ж, предложили ужин и фрукты и даже взгляды мулатки — все, кроме ночлега. Хозяйка для спанья заняла комнаты в доме напротив, и мы шумно отправились на новый ночлег, в огромную, с несколькими постелями комнату, не зная, чей дом, что за люди живут в нем. Видели только, что вечером сидело на балконе какое-то семейство.

На другой день рано мы уехали. Мальчишка-готтентот трясся сзади уже на беленькой стелленбошской лошадке. Паарльская была запряжена у нас в карте, а устерская осталась в Стелленбоше.

К обеду, то есть часов в пять, мы, запыленные, загорелые, небритые, остановились перед широким крыльцом Welch's Hotel в Капштате и застали в сенях толпу наших. Каролина была в своей рамке, в своем черном платье, которое было ей так к лицу, с сеточкой на голове. Пошли расспросы, толки, новости с той и с другой стороны. Хозяйки встретили нас, как старых друзей. Ричард сначала сморщился, потом осклабился от радости, неимоверно скривил рот и нос на сторону, хотел было и лоб туда же, но не мог, видно, платок на голове крепко завязан: у него только

складки на лбу из горизонтальных сделались вертикальными. Каролина улыбалась нам приятнее, нежели вновь прибывшим из Капштата товарищам. Слуги вмиг растащили наши вещи по нумерам, и мы были прочно водворены в отеле, как будто и не выезжали из него. Молодая служанка Алиса, как все английские служанки, бросалась из угла в угол, с легкостью птицы летала по лестницам, там отдавала приказание слугам, тут отвечала на вопрос, мимоходом кому-нибудь улыбалась или отмахивалась от чересчур настойчивых любезностей какого-нибудь кругосветного путешественника.

Шумной и многочисленной толпой сели мы за стол. Одних русских было человек двенадцать да несколько семейств англичан. Я успел заметить только белокурого полного пастора с женой и с детьми. Нельзя не заметить: крик, шум, везде дети, в сенях, по ступеням лестницы, в нумерах, на крыльце — и все пастора. Настоящий Авраам — после божественного посещения![65]

Как только я пришел в свой нумер, тотчас посмотрел, вставлено ли стекло. Нет. Я с жалобой к хозяйке: «Что ж стекло-то?» — спросил я с укором. Я так и ждал, что старуха скажет: «Праздники были, нельзя», но вспомнил, что у протестантов их почти нет. «Что ж она скажет мне? — думал я,— что забыла, что жаль деньги тратить; живет и так». Она молчала. Я повторил свою жалобу. «Война с кафрами все мешает»,— сказала она. Ну, я никак не ожидал такой отговорки: совершенно местная! «Все мастеровые заняты... никак не могла найти. Вот завтра пошлю». Но стекло ни завтра, ни послезавтра, ни во вторичный мой приезд в Капштат вставлено не было, да и теперь, я уверен, так же точно, как и прежде, в него дует ветер и хлещет дождь, а в хорошую погоду летают комары. А всё говорят на русского человека: он беспечен, небрежен, живет на авось; чем «кафрская война» лучше наших праздников?

Жизнь наша опять потекла прежним порядком. Ранним утром всякий занимался чем-нибудь в своей комнате: кто приводил в порядок коллекцию собранных растений, животных и минералов, кто записывал виденное и слышанное, другие читали описание Капской колонии. После тиффинга все расходились по городу и окрестностям, потом обедали, потом смотрели на «картинку» и шли спать.

На другой день по возвращении в Капштат мы предприняли прогулку около Львиной горы. Точно такая же дорога, как в Бенсклюфе, идет по хребту Льва, начинаясь в одной части города и оканчиваясь в другой. Мы взяли две коляски и отправились часов в одиннадцать утра. День начинался солнечный, безоблачный и жаркий донельзя. Дорога шла по берегу моря, мимо дач и ферм. Здесь пока, до начала горы, растительность была скудная, и дачи, с опаленною кругом травою и тощими кустами, смотрели жалко. Они с закрытыми своими жалюзи, как будто с закрытыми глазами, жмурились от солнца. Кругом немногие деревья и цветники, неудачная претензия на сад, делали эту наготу еще разительнее. Только одни исполинские кусты алоэ, вдвое выше человеческого роста, не боялись солнца и далеко раскидывали свои сочные и колючие листья. Они сплошным забором окружали дачи. На покатостях горы природа изменяется:

начинается густая зелень, и теснее идут фермы и дачи. Одна из них называется Green Point.* Она построена на скате зеленой оконечности Львиной горы. Сюда ездят из города любоваться морем и горой. Мы поехали в гору. Она идет отлого по прекрасному шоссе, местами в тени густых каштановых и дубовых аллей. Бока горы заросли лесом до самого моря. В лесу, во всех направлениях, идут конные дороги и тропинки. Не последнее наслаждение проехаться по этой дороге, смотреть вниз на этот кудрявый, тенистый лес, на голубую гладь залива, на дальние горы и на громадный зеленый холм над вашей головой слева. Внизу, между каменьями, о которые с яростью плещутся вечные буруны, кое-где в затишьях, в прозрачной воде, я видел стаями игравшую рыбу, разной величины и формы.

Но жарко, очень жарко; лошади начинали останавливаться Пока мы выходили из коляски на живописных местах, я видел, что мальчишка-негр, кучер другой коляски, беспрестанно подбегал к нашему, негру же из племени бичуан, и все что-то шептался с ним. Лишь только мы въехали на самую высокую точку горы, лошади вдруг совсем остановились и будто не могли идти далее. Кучера стали будто погонять их, а они бесились и рвались к пропастям. Понятна кучерская тактика. Я погрозил мальчишке-негру не заплатить ему всех условленных денег. «T'is hot, very hot, sir (очень жарко),— бормотал он,— лошади не могут идти». Под нами, в полугоре, было какое-то деревянное здание, вроде беседки, едва заметное в чаще зелени. «Что это за дом?» — спросили мы. «Трактир ротонда,— сказали кучера,— здесь путешественники заезжают освежиться и отдохнуть». Барон только что услыхал об «освежении», как пустился сквозь чащу леса, целиком, вниз, устраняя тростью ветви. Мы за ним, и скоро, измученные, добрались до трактира, который окружен открытой круглой галерееей, отчего и называется ротондой.

Здесь царствовала такая прохлада, такая свежесть от зелени и с моря, такой величественный вид на море, на леса, на пропасти, на дальний горизонт неба, на качающиеся вдали суда, что мы, в радости, перестали сердиться на кучеров и велели дать им вина, в благодарность за счастливую идею завести нас сюда. Садик кроме дубов, елей и кедров был наполнен фруктовыми деревьями и цветочными кустами. Толстая голландка принесла нам лимонаду и вина. Мы закурили сигары и погрузились взглядом в широкую, покойно лежавшую перед нами картину, горячую, полную жизни, игры, красок!

Кучера, несмотря *на водку,* решительно объявили, что день чересчур жарок и дальше ехать кругом всей горы нет возможности. Что с ними делать: браниться? — не поможет. Заводить процесс за десять шиллингов — выиграешь только десять шиллингов, а кругом Льва все-таки не поедешь. Мы велели той же дорогой ехать домой.

Надо было, однако ж, съездить в Саймонстоун и узнать пообстоятельнее, когда идем в море. Мы вдвоем с Савичем, взяв Вандика, отправились в Саймонстоун на паре, в той же карете, которая возила нас по

* Зеленое место (*англ.*),— *Ред.*

колонии. Дорогой ничего не случилось особенного, только Савич, проехавший тут один раз, наперед рассказывал все подробности местности, всякую отмель, бухту, ферму: удивительный глаз и славная память! Да еще сын Вандика, мальчик лет шести, которого он взял так, прокатиться, долгом считал высовывать голову во все отверстия, сделанные в покрышке экипажа для воздуха, и в одно из них высунулся так неосторожно, что выпал вон, и прямо носом. Пустыня огласилась неистовым криком. К счастью, в африканских пустынях нынче почти везде есть трактиры. Там шалуна обмыли, дали примочки, и потом Вандик, с первым встретившимся экипажем, который был, конечно, знаком ему, отослал сына домой.

В Саймонстоуне я застал у нас большие приготовления к обеду и балу, который давали англичанам, в отплату за их обед и бал и за дружеский прием. Я перепугался: бал и обед! В этих двух явлениях выражалось все, от чего так хотелось удалиться из Петербурга на время, пожить иначе, по возможности без повторений, а тут вдруг бал и обед! Отец Аввакум также втихомолку смущался этим. Он не был в Капштате и отчаивался уже быть. Я подговорил его уехать, и дня через два, с тем же Вандиком, который был еще в Саймонстоуне, мы отправились в Капштат.

Но отец Аввакум имел, что французы называют, du guignon.* К вечеру стал подувать порывистый ветерок, горы закутались в облака. Вскоре облака заволокли все небо. А я подготовлял было его увидеть Столовую гору, назначил пункт, с которого ее видно, но перед нами стояли горы темных туч, как будто стены, за которыми прятались и Стол и Лев. «Ну, завтра увижу,— сказал он,— торопиться нечего». Ветер дул сильнее и сильнее и наносил дождь, когда мы вечером, часов в семь, подъехали к отелю.

Утром я вошел к отцу Аввакуму, окно его комнаты обращено было прямо к Столовой горе. «Ну, смотрите же теперь,— сказал я,— какова гора...» и открыл ставни. Но горы не было: мрачная, туманная пелена закрывала все. Дул ветер, в окно летели брызги дождя. Досадно, надо было подождать полудня: авось разгуляется. Алиса принесла нам чаю, потом мы пошли еще в столовую опять пить чай, с аккомпанементом котлет, рыбы, дичи и фруктов. «It rains» (дождь идет),— сказала m-s Welch. «Да,— с упреком отвечал я ей,— и в моей комнате тоже». Каролина еще почивала. Я повел отца Аввакума смотреть город. Мы ходили по грязным улицам и мокрым тротуарам, заходили в магазины, прошли по ботаническому саду, но окрестностей не видали: за двести сажен все предметы прятались в тумане. Отец Аввакум зашел в книжный магазин, да там и сел. И та книга ему нравится, и другая нужна; там увидит издание, которого у него нет, и купит книгу. Насилу я вытащил его домой. Там застали суматоху: пастор уезжал в Англию. В сенях лежали грудой чемоданы, узлы, ящики; толпились няньки, дети — и все исчезло. Стало просторнее, но ненадолго. Мы завтракали впятером: доктор с женой, еще какие-то двое молодых людей, из которых одного звали капитаном, да еще англичанин, большой ростом, большой крикун, большой говорун, дер-

* неудачу (*франц.*).— *Ред.*

жит себя очень прямо, никогда не смотрит под ноги, в комнате всегда сидит в шляпе. Через час, с пришедшего из Индии парохода, явились другие путешественники и толпой нахлынули в отель.

Трактир стоит на распутии мира. Мыс Доброй Надежды крайняя точка, перекресток путей в Европу, Индию, Китай, Филиппинские острова и Австралию. От этого сегодня вы обедаете в обществе двадцати человек, невольно заводите знакомство, иногда успеет зародиться, в течение нескольких дней, симпатия; каждый день вы с бо́льшим удовольствием спешите свидеться за столом или в общей прогулке, с новым и неожиданным приятелем. Но в одно прекрасное утро приходите и вместо шумного общества или вместо знакомых обедаете в кругу новых лиц; вместо веселого разговора царствует печальное, принужденное молчание. «Где же те?» Вам подают газету: там напечатано, что сегодня в Англию, в Австралию или в Батавию отправился пароход, во столько-то сил, с таким-то грузом и с такими-то пассажирами.

После завтрака я повез отца Аввакума по городу и окрестностям. Напрасно мы глядели на Столовую гору, на Льва: их как будто и не бывало никогда: на их месте висит темно-бурая туча, и больше ничего. Я велел ехать к Green Point. Мы проехали четыре, пять верст по берегу; дальше ехать было незачем: ничего не видать. Ветер свирепствовал, море бушевало. Мы оставили коляску на дороге и сошли с холма к самому морю. Там лежали, частью в воде, частью на берегу, громады камней, некогда сброшенных с горных вершин. О них яростно бились буруны. Я нигде не видал таких бурунов. Они, как будто ряд гигантских всадников, наскакивали с шумом, похожим на пушечные выстрелы, и с облаком пены на каменья, прыгали через них, как взбесившиеся кони через пропасти и преграды, и, наконец, обессиленные, падали клочьями грязной, желтой пены на песок. Мы долго не могли отвести глаз от этой монотонной, но грандиозной картины.

За обедом мы нашли вновь прибывшее большое общество. Старый полковник ост-индской службы, с женой, прослуживший свои лета в Индии и возвращавшийся в Англию. Он высокий худощавый старик, в синей куртке, похож более на шкипера купеческого судна. Жена его, высокая худощавая женщина, с бледно-русыми волосами. Она, волосок к волоску, расположила скудную свою шевелюру и причесалась почти до мозгу. Подле меня сидел другой старик, тоже возвращавшийся из Индии, важный чиновник, весьма благообразный, совсем седой. Как бы он годился быть дядей, который *возвращается из Индии,* с огромным богатством, и подоспевает кстати помочь племяннику жениться на бедной девице, как, бывало, писывали в романах! Он одет чисто, даже изысканно, на пальце у него большой перстень — совершенный дядя! Он давно посматривал на меня, а я на него. Я видел, что он не без любопытства глядит на русских. Вижу, что ему хочется заговорить, узнать, может быть, что-нибудь о России. Пред ним стоял портвейн, передо мной херес. Наконец старик заговорил. «Позвольте мне выпить с вами рюмку вина?» — сказал он. «С удовольствием»,— отвечал я, и мы налили — он мне портвейну, которого я в рот не беру, а я ему хересу, которого он не любит.

После этого водворилось молчание. Мы жевали. Опять, я вижу, он целится спросить меня. «Какова дорога от Саймонстоуна сюда?» — спросил он наконец. «Очень хорошая!» — ответил я, и затем он больше меня ни о чем не спрашивал. Еще за столом сидела толстая-претолстая барыня, лет сорока пяти, с большими, томными, медленно мигающими глазами, которые она поминутно обращала на капитана. Она крепко была затянута в корсет. Платье сидело на ней в обтяжку и обнаруживало круглые, массивные плечи, руки и прочее, чем так щедро одарила ее природа. *Кушала* она очень мало и чуть-чуть кончиком губ брала в рот маленькие кусочки мяса или зелень. Были тут вчерашние двое молодых людей. «Yes, y-e-s» — поддакивала беспрестанно полковница, пока ей говорил кто-нибудь. Отец Аввакум, от скуки, в промежутках двух блюд, считал, сколько раз скажет она yes. «В семь минут 33 раза»,— шептал он мне.

После обеда «картинка» красовалась в рамке, еще с дополнением: подле Каролины — Алиса, или Элейс, как наши звали Alice, издеваясь над английским произношением. Я подошел один любезничать с ними. Цель этой любезности была — выхлопотать себе на вечер восковую свечу. Дня три я напрасно просил, даже дал денег Алисе, чтобы купила свеч. Хозяйки прислали деньги назад, а свечей не прислали. Наконец решились дать мне не сальную свечу. Получив желаемое, я ушел к себе, и только сел за стол писать, как вдруг слышу голос отца Аввакума, который, чистейшим русским языком, кричит: «Нет ли здесь воды, нет ли здесь воды?» Сначала я не обратил внимания на этот крик, но, вспомнив, что, кроме меня и натуралиста, в городе русских никого не было, я стал вслушиваться внимательнее. Голос его приближался все более и более и выражал тревогу. «Нет ли здесь воды? воды, воды скорее!» — кричал он почти с отчаянием. Я выскочил из-за стола, гляжу, он бежит по коридору прямо в мою комнату; в руках у него гром и молния, а около него распространяется облако смрадного дыма. Я испугался. «Что это такое?» — «Нет ли здесь воды? воды скорее!» — твердил он. У него загорелась целая тысяча спичек, и он до того оторопел, что, забывшись, по-русски требовал воды, тогда как во всех комнатах, в том числе и у него, всегда стояло по целому кувшину. Спички продолжали шипеть и трещать у него в руках. «Вот вода! — сказал я, показывая на умывальник,— и у вас в комнате есть вода». «Не догадался!» — отвечал он. Я стал звать Алису вынести остатки фейерверка и потом уже дал полную волю смеху. «Не зовите, не зовите,— перебил он меня,— стыдно будет». «Стыд не дым, глаза не выест,— сказал я,— а от дыма вашего можно в обморок упасть».

На другой день за завтраком сошлось нас опять всего пятеро или шестеро: полковник с женой, англичанин-крикун да мы. Завтракали по-домашнему. Полковница разливала чай и кофе. Она говорила по-французски, и между нами завязался живой разговор. Сначало только и было толку, что о вчерашнем фейерверке. Я, еще проходя мимо буфета, слышал, как крикун спросил у м-с Вельч, что за смрад распространился вчера по отелю; потом он спросил полковницу, слышала ли она этот запах. «Yes, o yes, yes!» — наладила она раз десять сряду. «Отвратительно, невыносимо»,— продолжал крикун. «Yes, y-e-s»,— жалобно, с придыха-

нием повторила полковница. «Раз, два, три, четыре!» — считал отец Аввакум, сколько раз она скажет yes. «А знаете ли, что значит этот yes?»— спросил я его. «Это значит подтверждение, наше *да*»,— отвечал он. «Так, но знаете ли, что оно подтверждает? что вчера отвратительно пахло серой...»— «Что вы: ахти!» — встрепенувшись, заговорил он и, чтоб скрыть смущение, взял всю яичницу к себе в тарелку. «А вы слышали этот запах?» — приставал крикун, обращаясь к полковнику и поглядывая на нас. «Не правда ли, что похоже было, как будто в доме пожар?» — спросил он опять полковницу. «Yes, yes»,— отвечала она. «Пять, шесть!» — считал печально отец Аввакум.

Вскоре она заговорила со мной о фрегате, о нашем путешествии. Узнав, что мы были в Портсмуте, она живо спросила меня, не знаю ли я там в Southsea* церкви св. Евстафия. «Как же, знаю,— отвечал я, хотя и не знал, про которую церковь она говорит: их там не одна.— Прекрасная церковь»,— прибавил я.' «Yes... oui, oui», **— потом прибавила она. «Семь,— считал отец Аввакум, довольный, что разговор переменился,— я уж кстати и oui сочту»,— шептал он мне.

Тучи в этот день были еще гуще и непроницаемее. Отцу Аввакуму надо было ехать назад. С сокрушенным сердцем сел он в карету Вандика и выехал, не видав Столовой горы. «Это меня за что-нибудь бог наказал!» — сказал он, уезжая. Едва прошел час, полтора, я был в ботаническом саду, как вдруг вижу: Столовая гора понемногу раздевается от облаков. Сначала показался угол, потом вся вершина, наконец и основание. По зелени ее заблистало солнце, в пять минут все высохло, кругом меня по кустам щебетали колибри, и весь Капштат, с окрестностями, облился ярким золотым блеском. Мне вчуже стало обидно за отца Аввакума.

Мы одни оставались с натуралистом; но пришла и наша очередь ехать. Нам дано знать, что работы на фрегате кончены, провизия доставлена и через два дня он снимется с якоря. Мы послали за Вандиком. Он приехал верхом на беленькой стелленбошской лошадке, в своей траурной шляпе, с улыбкой вошел в комнату и, опираясь на бич, по-прежнему остановился у дверей. «Отвези в последний раз в Саймонстоун,— сказал я не без грусти,— завтра утром приезжай за нами». «Yes, sir,— отвечал он,— а знаете ли,— прибавил потом,— что пришло еще русское судно?» «Какое? когда?» — «Вчера вечером»,— отвечал он. Оказалось, что это был наш транспорт «Двина», который мы видели в Англии.

Жаль было нам уезжать из Капской колонии: в ней было привольно, мы пригрелись к этому месту. Другие говорят, что если они плавают долго в море, им хочется берега; а поживут на берегу, хочется в море. Мне совсем не так: если мне где-нибудь хорошо, я начинаю пускать корни. Удобна ли квартира, покойно ли кресло, есть хороший вид, прохлада — мне не хочется дальше. Меня влечет уютный домик с садом, с балконом, останавливает добрый человек, хорошенькое личико. Сколько страстишек

* Саутси (*англ.*),— *Ред.*
**«...да, да» (*франц.*),— *Ред.*

успеет забраться в сердце! сколько тонких, сначала неосязаемых нитей протянется оттуда в разные стороны! Поживи еще — и эти нити окрепнут, обратятся в так называемые «узы». Жаль будет покинуть знакомый дом, улицу, любимую прогулку, доброго человека. Так и мне уж становилось жаль бросить мой 8-ой нумер, готтентотскую площадь, ботанический сад, вид Столовой горы, наших хозяев и, между прочим, еврея-доктора.

Долго мне будут сниться широкие сени, с прекрасной «картинкой», крыльцо с виноградными лозами, длинный стол с собеседниками со всех концов мира, с гримасами Ричарда; долго будет чудиться и «yes», и беготня Алисы по лестницам, и крикун-англичанин, и мое окно, у которого я любил работать, глядя на серые уступы и зеленые скаты Столовой горы и Чертова пика. Особенно еще как вспомнишь, что впереди море, море и море!

«Good bye!»*— прощались мы печально на крыльце с старухой Вельч, с Каролиной. Ричард, Алиса, корявый слуга и малаец-повар — все вышли проводить и взять обычную дань с путешественников — по нескольку шиллингов. Дорогой встретили доктора, верхом, с женой, и на вопрос его, совсем ли мы уезжаем,— «нет», обманул я его, чтоб не выговаривать еще раз good bye, которое звучит не веселей нашего «прощай».

Скоро мы выехали из города и катились по знакомой аллее, из дубов и елей, между дач. Но что это меня все беспокоит? Нельзя прижаться спиной: что-то лежит сзади; под ногами тоже что-то лишнее. «Вы не прижимайтесь очень спиной,— говорил мне натуралист,— там у меня птицу раздавите». Я подвинулся на свою сторону и только собрался опереться боком к экипажу: «Ах, поосторожнее, пожалуйста! — живо предупредил он меня,— там змея в банке, разобьете!» Я стал протягивать ноги. «Постойте, постойте! — торопливо заговорил он,— тут ящик с букашками, под стеклом. Да у вас руки пусты: что бы вам подержать его в руках!» Этого только недоставало! Беда ездить с натуралистами! У самого у него в руках была какая-то коробочка, кругом всё узелки, пачки, в углу торчали ветки и листья. Когда ехали по колонии, так еще он вез сомнительную змею: не знали, околела она или нет.

Доехав до местечка Винберг, мы свернули в него и отправились посетить одного из кафрских предводителей, Сейоло, который содержался там под крепким караулом.

Славное это местечко Винберг! Это большой парк, с веселыми, небольшими дачами. Вы едете по аллеям, между дубами, каштанами, тополями. Домики едва выглядывают из гущи садов и цветников. Это все летние жилища горожан, большею частью англичан-негоциантов. Дорога превосходная, воздух отрадный; сквозь деревья мелькают вдали пейзажи гор, фермы. Особенно хороша Констанская гора, вся покрытая виноградниками, с фермами, дачами у подошвы. Мы быстро катились по дороге.

Вдруг я вспомнил, что к Сейоло надо привезти какой-нибудь подарок,

* «Прощайте!» (*англ.*),— *Ред.*

особенно табаку, а у меня ничего нет. «Где бы купить, Вандик?» — спросил я. Вандик молча завернул в узенькую аллею и остановился у ворот какой-то хижины. «Что это?» — «Лавочка».— «Где же?» — «Да вот». Ну, эта лавочка может служить выражением первобытной идеи о торговле и о магазине, как эта идея только зародилась в голове того, кому смутно представлялась потребность продавать и покупать. Под навесом из травы reed * сколочено было несколько досок, образующих полки; ни боковых стен, ни дверей не было. На полках была глиняная посуда, свечи, мыло, кофе, еще какие-то предметы общего потребления и, наконец, табак и сигары. Все это валялось вместе, без обертки, кое-как. «Дайте мне сигар?» — спросил я у высокого, довольно чисто одетого англичанина. Он подал мне несколько пачек. «Еще нет ли у вас чего-нибудь?» — говорил я, оглядывая лавочку. «Are you of the country?» (вы здешний?),— спросил меня продавец. «Нет, а что?» — «То-то я вас никогда не видал, да и по разговору слышно, что вы иностранец. Чего вам еще и зачем?» — прибавил он. «Хочу подарить что-нибудь Сейоло»,— сказал я, закурив сигару. И не рад был, что закурил: давно я не куривал такой дряни. «Так это вы ему покупаете сигары?» — вдруг спросил он. «Да». Англичанин молча отобрал у меня все пачки и положил назад на полку. «Не стоит ему давать таких хороших сигар: он толку не знает,— прибавил он потом,— а вот лучше подарите ему это». Он подал мне черного листового табаку, приготовленного в виде прессованной дощечки для курения и для жевания. «Он вам будет гораздо благодарнее за это, нежели за то»,— говорил хозяин, отдирая мне часть дощечки. «Я всю возьму,— сказал я,— да и то мало, дайте еще».— «Довольно,— решительно сказал англичанин,— больше не дам». Не знаю, как и когда, с таким способом торговли, разбогатеет этот купец.

В полуверсте от местечка, на голой, далеко расчищенной кругом площадке, стояло белое небольшое здание, обнесенное каменной стеной. У дверей стояли часовые и несколько каких-то джентльменов. «Можно видеть Сейоло?» — спросили мы. Джентльмены вежливо поклонились, ввели нас в сени, из которых мы вышли на маленький двор, к железной решетке. Они отперли дверь и пригласили нас войти. Мы вошли. Маленькое, обнесенное стеной пространство усыпано было желтым песком. В углу навес; там видны были постели. На песке, прямо на солнце, лежали два тюфяка, поодаль один от другого. На одном лежал Сейоло, на другом его жена. Когда мы подошли и кивнули ему головой, он привстал, сел на тюфяке и протянул нам руку. Жена его смотрела на нас, опершись на локоть, и тоже первая подала руку. Я отдал Сейоло табак и сигары. Он взял и, не поглядев, что было в бумаге, положил подле себя. Потом мы молча стали разглядывать друг друга. Я любовался и им, и его женой; они, я думаю, нами не любовались. Он мужчина лет тридцати, высокого роста, вершков четырнадцати,[66] атлетического сложения, стройный, темно-коричневого, матового цвета. Одет он был в жакете и синих панталонах; ноги у него босые, грудь открыта нараспашку.Она — в ситцевом платье европейского покроя,

* тростник (*англ.*),— *Ред.*

в чулках и башмаках, голова повязана платком. Она светлее мужа цветом. Ей всего лет девятнадцать или двадцать. У ней круглое смугло-желтое лицо, темно-карие глаза, с выражением доброты, и маленькая стройная нога. Они с любопытством следили за каждым нашим движением и изредка усмехались, продолжая лежать. Нам хотелось поговорить, но переводчика не было дома. У моего товарища был портрет Сейоло, снятый им за несколько дней перед тем посредством фотографии. Он сделал два снимка: один себе, а другой так, на случай. Я взял портрет и показал его, сначала Сейоло: он посмотрел и громко захохотал, потом передал жене. «Сейоло, Сейоло!» — заговорила она, со смехом указывая на мужа, опять смотрела на портрет и продолжала смеяться. Потом отдала портрет мне. Сейоло взял его и стал пристально рассматривать.

Наконец пора было уходить. Сейоло подал нам руку и ласково кивнул головой. Я взял у него портрет и отдал жене его, делая ей знак, что оставляю его ей в подарок. Она, по-видимому, была очень довольна, подала мне руку и с улыбкой кивала нам головой. И ему понравилось это. Он, от удовольствия, привстал и захохотал. Мы вышли и поблагодарили джентльменов.

Я вспомнил, что некоторые из моих товарищей, видевшие уже Сейоло, говорили, что жена у него нехороша собой, с злым лицом и т. п., и удивлялся, как взгляды могут быть так различны в определении даже наружности женщины! «Видели Сейоло?» — с улыбкой спросил нас Вандик. «Да, у него хорошенькая жена»,— сказал я, желая узнать, какого он мнения о ней. «Да которая? у него их семь».— «Семь? что ты?» — «Да, семь; недавно адъютант его привез ему одну, а другую взял. Они по очереди приезжают к нему и проводят с ним недели по три, по четыре». Мы с натуралистом посмотрели друг на друга, засмеялись и поехали дальше.

Сейоло — один из второстепенных вождей. Он взят в плен в нынешнюю войну. Его следовало повесить, но губернатор смягчил приговор, заменив смертную казнь заключением. С тех пор как англичане воюют с кафрами, то есть с 1835 года, эти дикари поступают совершенно одинаково, по принятой ими однажды системе. Они грабят границы колонии, угоняют скот, жгут фермы, жилища поселян и бегут далеко в горы. Там многие племена соединяются и воюют с ожесточением, но не нападают в поле на массы войск, а на отдельные небольшие отряды, истребляют их, берут в плен и прячутся. Когда наконец англичане доберутся до них и в неприступных убежищах, тогда они смиряются, несут повинные головы, выдают часть оружия и скота и на время затихают, грабя изредка, при случае. Их обязывают к миру, к занятиям, к торговле; они всё обещают, а потом, при первой оказии, запасшись опять оружием, делают то же самое. И этому долго не будет конца. Силой с ними ничего не сделаешь. Они подчинятся со временем, когда выучатся наряжаться, пить вино, увлекутся роскошью. Их победят не порохом, а комфортом. Эти войны имеют, кажется, один характер с нашими войнами на Кавказе.[67]

Сейоло нападал на отряды, отбивал скот, убивал пленных англичан, и, когда увидел, что ему придется плохо, что, рано или поздно, не избежит

их рук, он добровольно сдался начальнику войск, полковнику Меклину, и отдан был под военный суд.

Чем ближе подъезжали мы к Саймонстоуну, тем становилось скучнее. Особенно напала на меня тоска, когда я завидел рейд и наш фрегат, вооруженный, с выстреленными брам-стеньгами, вытянутым такелажем, совсем готовый выйти в море. Мы кое-как плелись по песчаной отмели, по которой раскатывался прилив. Чуть вал ударит посильнее — и обдаст шумной пеной колеса нашего экипажа, лошади фыркали и бросались в сторону. «Аппл!» — кричал Вандик и опять пускал их по морскому песку.

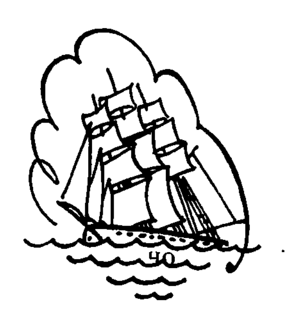
11 апреля вечером, при свете луны, мы поехали с Унковским и Посьетом на шлюпке к В. А. Корсакову на шкуну «Восток», которая снималась с якоря.

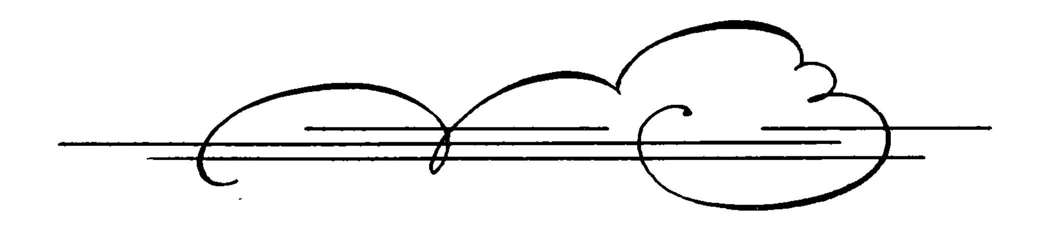
Не помню, писал ли я вам, что эта шкуна, купленная адмиралом в Англии, для совместного плавания с нашим фрегатом, должна была соединиться с нами на мысе Доброй Надежды. Теперь адмирал посылал ее вперед.

Вечер был лунный, море гладко, как стекло; шкуна шла под малыми парами. У выхода из Фальсбэя мы простились с Корсаковым надолго и пересели на шлюпку. Фосфорный блеск был так силен в воде, что весла черпали как будто растопленное серебро, в воздухе разливался запах морской влажности. Небо сквозь редкие облака слабо теплилось звездами, затмеваемыми лунным блеском. Половина залива ярко освещалась луной, другая таилась в тени.

На другой день, 12-го апреля, ушли и мы. Было тихо, хорошо, но не надолго.

Май 1853 года.
Индийский океан.





V

ОТ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ ДО ОСТРОВА ЯВЫ

Шторм.— Святая неделя.— Тридцать дней на Индийском океане.— Жары.— Смерч.— Анжерский рейд.— Вечер на Яве.— Китайцы и малайцы.

От мыса Доброй Надежды предположено было идти по дуге большого круга: спуститься до 38° южной широты и идти по параллели до 105° восточной долготы; там подняться до точки пересечения 30° южной широты. Мы ушли из Фальсбэя 12 апреля.

Индийский океан встретил нас еще хуже, нежели Атлантический: там дул хоть крепкий, но попутный ветер, а здесь и крепкий, и противный, обратившийся в шторм, который на берегу называют *бурей*.

Знаменитый мыс Доброй Надежды как будто совестится перед путешественниками за свое приторное название и долгом считает всякому из них напомнить, что у него было прежде другое, больше ему к лицу. И в самом деле, редкое судно не испытывает шторма у древнего *мыса Бурь*.

Я ничего не знал, что замышляет против нас Мыс, и покойно сидел в общей каюте после обеда, на диване, у бизань-мачты. *Свистали* несколько раз *всех наверх рифы брать*. Я уж не спрашивал теперь, что это значит. «Свежеет!» — говорил то тот, то другой офицер, сходя сверху. А это так же обыкновенно на море, как если б сказать на берегу: «дождь идет, или пасмурно, ясно». Началась качка, и довольно сильная — и это нипочем. Любитель-натуралист по обыкновению отправился в койку мучиться морскою болезнию; слуги ловили стулья, стаканы и все, что начало метаться с места на место; *принайтавливали* мебель в каютах. Пошел дождь и начал капать в каюту. Место, где я сидел, было самое покойное, и я удерживал его до последней крайности. Рев ветра долетал до общей каюты, размахи судна были все больше и больше. Шторм был классический, во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мной сверху, звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой — нестерпи-

мым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но как на мое покойное и сухое место давно уж было три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи; но не удалось. Часов в десять вечера жестоко поддало, вал хлынул и разлился по всем палубам, на которых и без того много скопилось дождевой воды. Она потоками устремилась в люки, которых не закрывали для воздуха. Целые каскады начали хлестать в каюту, на стол, на скамьи, на пол, на нас, не исключая и моего места и меня самого. Все поджали ноги или разбежались куда кто мог. Младший и самый веселый из наших спутников, Зеленый, вскочил на скамью и, с неизменным хохотом, ухватив где-то из угла кота, бросил его под каскады. Мальчишка-голландец горько заплакал, думая, что настал последний час. Барон выглянул из своей каюты и закричал на дневальных, чтоб сводили воду шваброй в трюм. Я стоял в воде на четверть выше ступни и не знал, куда деться, что делать. А я был в башмаках: от сапог мы должны были отказаться еще в северном тропике. Я хотел пробраться вверх, в свою или капитанскую каюту, и ждал, пока вода сбудет.

— Что вы тут стоите? пойдемте вверх,— сказал мне Н. Н. Савич и, ухватив меня мимоходом, потащил с собою бегом.

По трапам еще стремились потоки, но у меня ноги уж были по колени в воде — нечего разбирать, как бы посуше пройти. Мы выбрались наверх: темнота ужасная, вой ветра еще ужаснее; не видно было, куда ступить. Вдруг молния. Она осветила кроме моря еще озеро воды на палубе, толпу народа, тянувшего какую-то снасть, да протянутые леера, чтоб держаться в качку. Я шагал в воде через веревки, сквозь толпу; добрался кое-как до дверей своей каюты и там, ухватясь за кнехт, чтоб не бросило куда-нибудь в угол, пожалуй на пушку, остановился посмотреть хваленый шторм. Молния как молния, только без грома, или его за ветром не слыхать. Луны не было.

— Где ж она? подайте луну,— сказал я деду, который приходил за мной звать меня вверх.[1]

— Нет, уж она в Америку ушла,— сказал он,— еще бы вы до завтра сидели в каюте!

Нечего делать, надо было довольствоваться одной молнией. Она сверкала часто и так близко, как будто касалась мачт и парусов. Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые все силились перелезть к нам через борт.

— Какова картина? — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.

— Безобразие, беспорядок! — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье.

Но это было нелегко, при качке, без Фаддеева, который где-нибудь стоял на брасах или присутствовал вверху, на ноках рей: он один знал, где что у меня лежит. Я отворял то тот, то другой ящик, а ящики лезли вон и толкали меня прочь. Хочешь сесть на стул — качнет, и сядешь мимо. Я лег и заснул. Ветер смягчился и задул попутный; судно понеслось быстро.

На другой день стало потише, но все еще качало, так что в Страстную среду не могло быть службы в нашей церкви. Остальные дни Страстной недели [2] и утро первого дня Пасхи прошли покойно. Замечательно, что в этот день мы были на меридиане Петербурга.

— Это и видно,— заметил кто-то,— дождь льет совершенно по-нашему.

Кажется, это в первый раз случилось — служба в православной церкви, в южном полушарии, на волнах, после только что утихшей бури. В первый день Пасхи, когда мы обедали у адмирала, вдруг с треском, звоном вылетела из полупортика рама, стекла разбились вдребезги, и кудрявый седой вал, как сам Нептун, влетел в каюту и разлился по полу. Большая часть выскочила из-за стола, но нас трое усидели. Я одною рукою держал тарелку, а другою стакан с вином. Ноги мы поджали. Пришли матросы и вывели швабрами нежданного гостя вон.

Дальнейшее тридцатиоднодневное плавание по Индийскому океану было довольно однообразно. Начало мая не лучше, как у нас: небо постоянно облачно; редко проглядывало солнце. Ни тепло, ни холодно. Некоторые, однако ж, оделись в суконные платья — и умно сделали. Я упрямился, ходил в летнем, зато у меня не раз схватывало зубы и висок. Ожидали зюйд-вестовых ветров и громадного волнения, которому было где разгуляться в огромном бассейне, чистом от самого полюса; но ветры стояли нордовые и все-таки благоприятные. Мы неслись верст по семнадцати, иногда даже по двадцати в час, и так избаловались, что, чуть пойдем десять или двенадцать верст, уж ворчим. Волнение ни то ни се: не такое сильное, чтоб мешало жить, но беспокойное настолько, что не давало ничем заняться, кроме чтения.

Мы видели много вблизи и вдали игравших китов, стаи птиц, которым указано по карте сидеть в таком-то градусе широты и долготы, и они в самом деле сидели там: всё альбатросы, чайки и другие морские птицы, с лежащих в 77° восточной долготы пустых каменистых островков, Амстердама и св. Павла. Мы прошли мимо их ночью. Наконец стали подниматься постепенно к северу и дошли до точки пересечения 105° долготы и 30° широты и 10-го мая пересекли тропик Козерога. Ждали пассата, а дул чистый S, и только в 18° получили пассат.

Я надеялся на эти тропики, как на каменную гору: я думал, что настанет, как в Атлантическом океане, умеренный жар, ровный и постоянный ветер; что мы войдем в безмятежное царство вечного лета, голубого неба, с фантастическим узором облаков и синего моря. Но ничего похожего на это не было: ветер, качка, так что полупортики у нас постоянно были закрыты.

— Що-сь воно не тее, эти тропикы! — сказал мне один спутник, живший долго в Малороссии, который тоже надеялся на такое же плавание, как от Мадеры до мыса Доброй Надежды.

Правда, с севера в иные дни несло жаром, но не таким, который нежит нервы, а духотой, паром, как из бани. Дожди иногда лились потоками, но нисколько не прохлаждали атмосферы, а только разводили сырость и мокроту.

13-го мая мы прошли в виду необитаемого острова Рождества, похожего немного фигурой на наш Гохланд.

Но вот стало проглядывать солнце, да уж так, что хоть бы и не надо. Пора вынимать белое пальто и фуражку. Чем ближе к берегу, тем хуже, жарче. Завидели берега Явы, хотели войти в Зондский пролив между Явой и островком Принца, в две мили шириною, покрытым лесом красного дерева. На нем две-три маленькие деревушки; но течением отнесло дальше. Пришлось войти прямо в ворота, минуя калитку. При входе в пролив начались мертвые штили. Вода, как зеркало, небо безмятежно — так и любуются друг другом: ничто не дохнет в природе. Берег — одна зеленая кайма. Кажется, чего бы? дождались и тишины и тепла; но в это тепло хорошо сидеть на балконе загородного дома, в тени непроницаемой зелени, а не тут, под зноем 25° в тени по Реомюру.[3] Купались, да что толку: температура воды от 20 до 22°, ничего не прохлаждает. Дышишь тяжело, ляжешь — волосы и лицо мокнут. «Що-сь воно не тее»,— повторял мой малороссиянин, отирая лицо.

И ночи не приносили прохлады, хотя и были великолепны. Каждую ночь на горизонте, во всех углах, играла яркая зарница. Небо млело избытком жара, и по вечерам носились в нем, в виде пыли, какие-то атомы, помрачавшие немного огнистые зори, как будто семена и зародыши жаркой производительной силы, которую так обильно лили здесь на землю и воду солнечные лучи. Мы часто видели метеоры, пролетавшие по горизонту. В этом воздухе природа, как будто явно и открыто для человека, совершает процесс творчества; здесь можно непосвященному глазу следить, как образуются, растут и зреют ее чудеса; подслушивать, *как растет трава*. Творческие мечты ее так явны, как вдохновенные мысли на лице художника. Авось услышим, как растет — хоть сладкий картофель или табак. По ночам Реомюр показывал только градусом меньше против дня.

Однажды я, в изнеможении, сел в капитанской каюте на диван и нечаянно заснул. Слышу крик, просыпаюсь — светло. Спрашиваю, который час: шестой, говорят. «Зарядить пушку ядром!» — кричит вахтенный. «Что это, кого там?» — подумал я. В это время пришли с вахты сказать, что виден пароход не пароход, а бог знает что. Я бросился наверх, вскочил на пушку, смотрю: близко, в полуверсте, мчится на нас — в самом деле «бог знает что»: черный крутящийся столп с дымом, похожий, пожалуй, и на пароход; но с неба, из облака, тянется к нему какая-то темная узкая полоса, будто рукав; все ближе, ближе. «Готова ли пушка?» — закричал вахтенный. «Готова!» — отвечали снизу. Но явление начало бледнеть, разлагаться и вскоре, саженях в сто пятидесяти от нас, пропало без всякого следа. Известно, что смерчи, или водяные столпы, разбивают ядрами с кораблей, иначе они, налетев на судно, могут сломать рангоут или изорвать паруса. От ядра они разлетаются и разрешаются обильным дождем. Мы еще видели после раза два такие явления, но они близко не подходили к нам.

Штили держали нас дня два почти на одном месте, наконец 17 мая нашего стиля,[4] по чуть-чуть засвежевшему ветерку, мимо низменного, потерявшегося в зелени берега, добрались мы до анжерского рейда и

бросили якорь. Чрез несколько часов прибыл туда же испанский транспорт, который вез из Испании отряд войск в Манилу.

Я очень рад, что наконец приехал к такому берегу, у которого нет никакого прошедшего и никакой истории. Не нужно шевелить книг, справляться и преважно уверять вас, что город, государство основаны тогда-то, заняты тем-то и т. п. Что такое Анжер? Малайское селение, не подверженное никаким переменам. О нем упоминает еще Тунберг.[5] Оно то же было при нем, что и теперь. На рейде, у Анжера, останавливаются налиться водой, запастись зеленью суда, которые не хотят идти в Батавию, где свирепствуют гибельные, особенно для иностранцев, лихорадки. Батавия лежит на сутки езды отсюда сухим путем. Мы мечтали съездить туда, пробыть там день и вернуться. Думали, что тут есть и шоссе, и удобные экипажи. Ничего этого не было. В две недели раз отправляется из Анжера почта в Батавию; почтальон едет верхом.

— А можно ли нанять экипажи? — спросили мы.

— Нет, нанять нельзя, а можно получить даром,— говорят малайцы.

— Ну, нечего делать, хоть даром, все равно. Да у кого же?

— У коменданта есть колясочка, у таможенного чиновника тоже: попросить, так они дадут.

— Мы сейчас же пойдем к ним...

— Да их нет в Анжере: они уехали в городок, лежащий на пути в Батавию, в трех часах езды от Анжера.

— А когда будут?

— Завтра или послезавтра.

Все наши мечты рушились.

Между тем нас окружило множество малайцев и индийцев. Коричневые, красноватые, полуголые, без шляп и в конических тростниковых или черепаховых шляпах, собрались они в лодках около фрегата. Все они кричали, показывая один — обезьяну, другой — корзинку с кораллами и раковинами, третий — кучу ананасов и бананов, четвертый — живую черепаху или попугаев.

Жар несносный; движения никакого ни в воздухе, ни на море. Море — как зеркало, как ртуть: ни малейшей ряби. Вид прилива и обоих берегов поразителен под лучами утреннего солнца. Какие мягкие, нежащие глаз цвета небес и воды! Как ослепительно ярко блещет солнце и разнообразно играет лучами в воде! В ином месте пучина кипит золотом, там как будто горит масса раскаленных угольев: нельзя смотреть; а подальше, кругом до горизонта, распростерлась лазурная гладь. Глаз глубоко проникает в прозрачные воды. Земли нет: всё леса и сады, густые, как щетка. Деревья сошли с берега и теснятся в воду. За садами вдали видны высокие горы, но не обожженные и угрюмые, как в Африке, а все заросшие лесом. Направо явайский берег, налево, среди пролива, зеленый островок, а сзади, на дальнем плане, синеет Суматра.

Наши толпой бросились на берег. Меня капитан пригласил ехать с собой, немного погодя, пока управятся на судне. Наконец, часу во втором, мы поехали втроем. До берега было версты две. Едва мы отъехали сажен сто, как вдруг видим, наши матросы тащат из воды акулу. Они дотащили

Батавия. Остров Ява. Гравюра. ИРЛИ. Ленинград.

ее уже до пушек. «Вернемся на минуту посмотреть»,— сказали мои товарищи. Я был против этого: меня манил берег, и я неохотно возвращался. Но мы не успели обернуть шлюпки, как акула сорвалась и бухнула в воду. Туда и дорога! Я обрадовался, мы продолжали путь и вскоре въехали в мутную узенькую речку, с каменною пристанью.

Направо видно большое низенькое кирпичное здание, обнесенное валом, на котором стояло несколько орудий небольшого калибра. Над домом лениво висел голландский флаг; у ворот, как сонные мухи, чуть ползали, от зноя, часовые с ружьями. Это была крепость и жилище коменданта. Мы не знали, куда нам направиться. Налево от дома, за речкой, сквозь деревья, виден был ряд хижин, за ними густой лес, прямо лес, направо за крепостью лес. Мы вошли на двор крепости: он был сквозной, насквозь виден опять лес. Мы вышли на довольно широкую дорогу и очутились в непроходимом тропическом лесу, с блестящею декорациею кокосовых пальм, которые то тянулись длинным строем, то, сбившись в кучу, вместе с кустами, представляли непроницаемую зеленую чащу. [6]

Нельзя богаче и наряднее одеть землю, как она одета здесь. Право, глядя на эти леса, не поверишь, чтоб случай играл здесь группировкой деревьев. Тут пальмы, как по обдуманному плану, перемешаны с кустами; там, будто тоже с умыслом, оставлена лужайка или небольшое болото, поросшее тем крупным желтым тростником, из которого у нас делаются такие славные трости. Посмотришь ли на каждую пальму отдельно: какая оригинальная красота! Она грациозно наклонилась; листья, как длинные, правильными прядями расчесанные волосы; под ними висят тяжелые кисти огромных орехов. Все, кажется, убрано заботливою рукою человека, который долго и с любовью трудился над отделкою каждой ветви, листка, всякой мелкой подробности. А между тем это девственные, дикие леса. Человек почти не касался их. Бедный малаец только что врубается в чащу, отнимая пространство у зверей. Мы видели новые, заброшенные в глушь леса, еще строящиеся хижины, под пальмами и из пальм, крытые пальмовыми же листьями. К этим хижинам едва-едва протоптаны свежие дорожки. Мы шли, прислушиваясь к каждому звуку, к крику насекомых, неизвестных нам птиц, и пугали друг друга.

«Тигр!» — скажет кто-нибудь. «Змея!» — говорит другой. Все невольно быстро оглянутся и потом засмеются сами над собой.

Я хотел было напомнить детскую басню о лгуне; [7] но как я солгал первый, то мораль была мне не к лицу. Однако ж пора было вернуться к деревне. Мы шли с час все прямо, и хотя шли в тени леса, все в белом с ног до головы и легком платье, но было жарко. На обратном пути встретили несколько малайцев, мужчин и женщин. Вдруг до нас донеслись знакомые голоса. Мы взяли направо в лес, прямо на голоса, и вышли на широкую поляну.

Там были все наши. Но что это они делают? По поляне текла та же мутная речка, в которую мы въехали. Здесь она дугообразно разлилась по луговине, прячась в густой траве и кустах. Кругом росли редкие пальмы. Трое или четверо из наших спутников, скинув пальто и жилеты, стояли под пальмами и упражнялись в сбивании палками кокосовых орехов.

Усерднее всех старался наш молодой спутник по Капской колонии, П. А. Зеленый, прочие стояли вокруг и смотрели, в ожидании падения орехов. Крики и хохот раздавались по лесу. Шагах в пятидесяти оттуда, на вязком берегу, в густой траве, стояли по колени в тине два буйвола. Они, склонив головы, пристально и робко смотрели на эту толпу, не зная, что им делать. Их тут нечаянно застали: это было видно по их позе и напряженному вниманию, с которым они сторожили минуту, чтоб уйти; а уйти было некуда; направо ли, налево ли, все надо проходить чрез толпу или идти в речку.

Наконец полетел один орех, другой, третий. Только лишь толпа заметила нас, как все бросились к нам и заговорили разом.

— Крокодила видели! — кричал один.— Вот этакой величины! — говорил другой, разводя руками.

— Какой страшный! какие зубы!

— Где ж он? — спросили мы.

— Вот, вот здесь.

И потащили нас к мостику и к речке.

— Мы только вошли на мостик...— начал один.

— Нет, еще мы вон где были...— говорил другой.

— Да нет, господа, я прежде всех увидал его; вы еще там, в деревне, были, а я... Постойте, я все видел, я все расскажу по порядку.

— Куда ж он девался? — спросили мы.

— В кусты ушел, вот сюда,— закричали все, показывая на кусты, которые совсем закрывали берег близ мостика.

— Он показался на поверхности воды, проплыл под мостиком. Мы закричали, погнались за ним; он перепугался и ушел туда. Вот, вот на этом самом месте...

— Верно, ящерица! — заметил я, отчасти с досады, что не видал крокодила. Меня не удостоили и ответа.

— Пойдемте же в кусты за ним! — приглашал я, но не пошел. И никто не пошел. Кусты стеснились в такую непроницаемую кучу и смотрели так подозрительно, что можно было побиться об заклад, что там гнездился если не крокодил, так непременно змея, и, вероятно, не одна: их множество на Яве.

— Как жаль, что вы не видали крокодила! — сказал мне один из молодых спутников, которому непременно хотелось выжать из меня сомнение, что это был не крокодил.

— Ну, что ж, увижу у Зама,[8] как вернусь в Петербург,— сказал я,— там маленький есть; вырастет до тех пор.

Мы пошли в деревню. Она вся состояла из бамбуковых хижин, крытых пальмовыми листьями и очень похожих на хлевы.

Окон в хижинах не было, да и не нужно: оттуда сквозь стены можно видеть, что делается наруже, зато и снаружи видно все, что делается внутри. А внутри ничего не делается: малаец лежит на циновке или ребятишки валяются, как поросята.

Малайцы толпились по улицам почти голые; редкие были в панталонах. Они довольствовались куском грубой ткани, накинутой на плечи или

обвязанной около поясницы. Рты у всех как будто окровавлены, от бетеля, который они жуют и который раздражает десны.[9] Мы наткнулись на маленький рынок. На берегу речки росло роскошнейшее из тропических деревьев — *баниан.*[10] Толстый ствол, состоящий из множества крепко сросшихся вместе корней, оканчивается густой шапкой темной зелени, с толстыми маслянистыми листьями. От ветвей вертикально тянутся растительные нити и, врастая в землю, пускают корни, из которых образуются новые деревья. Дай волю — и почва заросла бы этими гигантами растительного царства, подавляющими все вокруг. Анжерское дерево покрывало ветвями весь рынок. Человек около пятидесяти сидели на циновках и продавали готовый бетель на листьях банана, какие-то водяные плоды, вроде орехов и желудей, рыбу, табак.

Вечер наступал быстро. Небо млело заревом и атомами; ни одного облака на нем. Мы шли по деревне, видели в первый раз китайцев, сначала ребятишек с полуобритой головой, потом старух, с целым стогом волос на голове, поддерживаемых большою бронзовою булавкой. Встретились у пристани с толпой испанцев, которые съехали с транспорта погулять. Мы раскланялись, спросили друг друга, кажется, о здоровье (о погоде здесь не разговаривают), о цели путешествия и разошлись. Мы пошли в лавку: да, здесь есть лавка, разумеется китайская. Представьте себе мелочную лавку где-нибудь у нас в уездном городе: точь-в-точь как в Анжере. И тут свечи, мыло, связка бананов, как у нас бы связка луку, потом чай, сахарный тростник и песок, ящики, коробочки, зеркальца и т. п. Купец, седой китаец, в синем халате, с косой, в очках и туфлях, да два приказчика, молодые, с длинными-предлинными, как черные змеи, косами, с длинными же, смугло-бледными, истощенными лицами и с ногтистыми, как у птиц когти, пальцами. Все они говорили по-китайски, по-малайски и по-английски, но не по-голландски. Долго ли англичане владели Явой и как давно,[11] а до сих пор след их не пропадает здесь!

Нам подали по чашке чаю. Узнав, что у них есть лимонный сироп, мы с неистовством принялись за лимонад. Охотники до редкостей покупали длинные трости, раковины и т. п. Тут мы разделились партиями и рассыпались по деревне и окрестностям. В переулках те же хижины, большая часть на сваях, от сырости и насекомых. Хижины прячутся в бананнике и под пальмами кокоса и *areca*.*[12] Скоро и хижины кончились; мы пошли по огромному, огороженному, вероятно для скота, лугу и дошли до болота и обширного оврага, заросшего сплошным лесом. Стало совсем темно; только звезды лили бледный, но пронзительный свет. Несколько человек ощупью пошли по опушке леса, а другие, в том числе и я, предпочли идти к китайцу пить чай. Мы вытащили из лавки все табуреты на воздух и уселись за маленькими столиками.

Что это за вечер! Это волшебное представление, роскошное, обаятельное пиршество, над которым, кажется, все искусства истощили свои средства, а здесь и признаков искусства не было. Какими красками блещут последние лучи угасающего дня и сумрака воцаряющейся ночи! В прост-

---

* арека (*лат.*),— *Ред.*

ранстве носятся какие-то звуки; лес дышит своею жизнью; слышатся то шепот, то внезапный, осторожный шелест его обитателей: зверь ли пробежит, порхнет ли вдруг с ветки испуганная птица, или змей пробирается по сухим прутьям? Вблизи бродят над речкой темные силуэты людей. В берега плещется вода. Тепло, сильно пахнет чем-то пряным.

«Смотрите,— сказал я соседу своему,— видите, звезда плывет в чаще баниана?» «Это ветви колышутся,— отвечал он,— а сквозь них видны звезды... Вон другая, третья звезда, а вон и мимо нас несется одна, две, три — нет, это не звезды». «Витул! — закричал я проходившему мимо матросу,— поймай вон эту звезду!» Витул покрыл ее фуражкой и принес мне, потом бросился за другой, за третьей и наловил несколько продолговатых цветных мух. В конце хвоста, снизу, у них ярко сияет бенгальским, зеленовато-бледным огнем прекрасная звездочка. Блеск этих звезд сиял ярче свеч, но недолго. Минуты через две, три муха ослабевала и свет постепенно угасал.

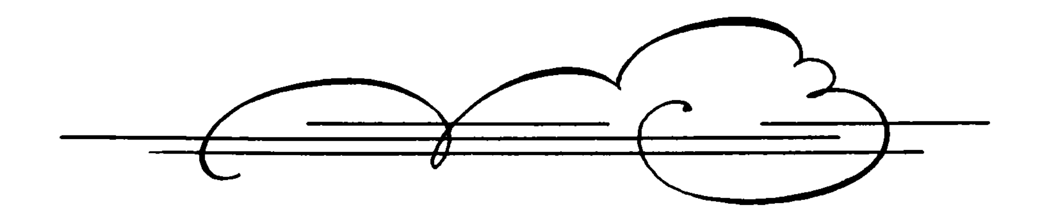
Мы часа два наслаждались волшебным вечером и неохотно, медленно, почти ощупью пошли к берегу. Был отлив, и шлюпки наши очутились на мели. Мы долго шли по плотине и, не спуская глаз с чудесного берега, долго плыли по рейду. Гребцы едва шевелили веслами, разгребая спящую воду. Пробужденная, она густым золотом обливала весла. Вдруг нас поразил нестерпимый запах гнили. Мы сначала не догадывались, что это значит; потом уже вспомнили о кораллах и ракушках, которые издают сильный противный запах. Вероятно, мы ехали над коралловой банкой.

На другой день утром мы ушли, не видав ни одного европейца, которых всего трое в Анжере. Мы плыли дальше по проливу, между влажными, цветущими берегами Явы и Суматры. Местами, на гладком зеркале пролива, лежали, как корзинки с зеленью, маленькие островки, означенные только на морских картах под именем *Двух братьев, Трех сестер*. Кое-где были отдельно брошенные каменья, без имени, и те обросли густою зеленью.

Природа — нежная артистка здесь. Много любви потратила она на этот, может быть, самый роскошный уголок мира. Местами даже казалось слишком убрано, слишком сладко. Мало поэтического беспорядка, нет небрежности в творчестве, не видать минут забвения, усталости в творческой руке, нет отступлений, в которых часто больше красоты, нежели в целом плане создания. Едешь как будто среди неизмеримых возделанных садов и парков всесветного богача. Страстное, горячее дыхание солнца вечно охраняет эти места от холода и непогоды, а другой деятель, могучая влага, умеряет силу солнца, питает почву, родит нежные плоды и... убивает человека испарениями.

Прощайте, роскошные, влажные берега: дай бог никогда не возвращаться под ваши деревья, под жгучее небо и на болотистые пары! Довольно взглянуть один раз: жарко, и как раз лихорадку схватишь!

20 мая 1853 года.
Анжерский рейд.



VI

СИНГАПУР

Приход на рейд.— Малайцы и индийцы.— Прогулка по городу и окрестностям.— Европейский, малайский и китайский кварталы.— Продажа опиума.— Ананасы, мангу и мангустаны.— Кокосовые орехи.— Значение Сингапура.— Кумирни.— Купец Вампоа и его вилла.

С 24-го мая по 2-е июня 1853.

Где я, о, где я, друзья мои? Куда бросила меня судьба от наших берез и елей, от снегов и льдов, от злой зимы и бесхарактерного лета? Я под экватором, под отвесными лучами солнца, на меже Индии и Китая, в царстве вечного, беспощадно знойного лета. Глаз, привыкший к необозримым полям ржи, видит плантации сахара и риса; вечнозеленая сосна сменилась неизменно зеленым бананом, кокосом; клюква и морошка уступили место ананасам и мангу. Я на родине ядовитых перцов, пряных кореньев, слонов, тигров, змей, в стране бритых и бородатых людей, из которых одни не ведают шапок, другие носят кучу ткани на голове; одни вечно гомозятся за работой, с молотом, с ломом, с иглой, с резцом; другие едва дают себе труд съесть горсть рису и переменить место в целый день; третьи, объявив вражду всякому порядку и труду, на легких «проа» [1] отважно рыщут по морям и насильственно собирают дань с промышленных мореходцев.

Осторожно и медленно, как будто высматривая тайного врага в засаде, подходили мы в темноте к сингапурскому рейду. Указания знаменитого Горсбурга, исследовавшего глубины и свойства этих морей,[2] и лот были нашими ежеминутными руководителями. Наконец отдали якорь — и напряженное внимание, заботливое выпытывание местности и суетливая деятельность людей на фрегате тотчас же заменились беззаботностью отдыха. Под покровом черной, но прекрасной, успокоительной ночи, как под шатром, хорошо было и спать мертвым сном уставшему матросу, и разговаривать за чайным столом офицерам. Наверху царствует тор-

Сингапур. Вышеславцев.

жественное, но не мертвое безмолвие, хотя нет движения в воздухе, нет ни малейшей зыби на воде. Но сколько жизни покоится в этой мягкой, нежной теплоте, перед которой вы доверчиво, без опасения, открываете грудь и горло, как перед ласками добрых людей доверчиво открываете сердце! Сколько прелести таится в этом неимоверно ярком блеске звезд и в этом море, которое тихонько ползет целой массой то вперед, то назад, движимое течением,— даже в темных глыбах скал и в бахроме венчающих их вершины лесов!

Все кажется, что среди тишины зреет в природе дума, огненные глаза сверкают сверху так выразительно и умно, внезапный тихий всплеск воды как будто промолвился ответом на чей-то вопрос; все кажется, что среди тишины и живой, теплой мглы раздастся какой-нибудь таинственный и торжественный голос. Чего-то ждешь, о чем-то думаешь, что-то чувствуешь, чего ни определить, ни высказать не можешь. Только сердце трепещет от силы необъяснимого, страстного ощущения: даже нервам больно! Под этим небом, в этом воздухе носятся фантастические призраки; под крыльями таких ночей только снятся жаркие сны и необузданные поэтические грезы о нисхождении Брамы[3] на землю, о жаркой любви богов к смертным — все эти страстные образы, в которых воплотилось чудовищное плодородие здешней природы.

Начиная с Зондского пролива, мы всё наслаждались такими ночами. Небо как книга здесь, которую не устанешь читать: она здесь открытее и яснее, как будто само небо ближе к земле. Мы с бароном Криднером подолгу стояли на вахтенной скамье, любуясь по ночам звездами, ярко игравшей зарницей и особенно метеорами, которые, блестя бенгальскими огнями, нередко бороздили небо во всех направлениях.[4]

Вдруг однажды, среди ночной тишины, раздался подле фрегата шум весел. «Что это такое? лодка в открытом море?» — спросил я и стал пристально смотреть в полупортик. И Фаддеев, который, сидя верхом на пушке, доставал из-за борта воду и окачивал меня, стал тоже смотреть. В лодке сидело трое, но кто — нельзя было разобрать в темноте. «Кто бы это был?» — спрашивал я, не зная, что подумать об этом явлении. «Опять чухны, ваше высокоблагородие!» — сказал Фаддеев равнодушно, разумея малайцев, которых он видел на Яве. «Или литва»,— заметил другой матрос, еще равнодушнее. Малайцы привезли несколько ананасов и предлагали свои услуги как лоцмана́. Мы шутя делали предположения: не пираты ли это, которые подосланы своею шайкою выведать, какого рода судно идет, сколько на нем людей и оружия, чтоб потом решить, напасть на него или нет. Это обыкновенная тактика здешних пиратов. Однажды они явились, также в числе трех-четырех человек, на палубу голландского судна, с фруктами, напитанными ядом, и, отравив экипаж, потом нагрянули целой ватагой и овладели судном. Людей, как это они всегда делают, отвели на один из Зондских островов в плен, а судно утопили.

Один малаец взобрался на палубу и остался ночевать у нас, другие два ночевали в лодке, которая прицепилась за фрегат и шла за нами. Это было 24-го мая, часов в одиннадцать утра; мы вошли в сингапурский пролив, лавируя. Пошел дождь, да еще со шквалом, и освежил атмо-

сферу. Мы отдохнули от жара: Реомюр показывал $23^1/_2°$ в тени, между тем малаец озяб. На нем была ситцевая юбка, на плечах род рубашки, а поверх всего кусок красной бумажной ткани; на голове неизбежный платок, как у наших баб; ноги голые. Это уж полный костюм; прочие большею частию ходят полунагие. Малаец прятался под навесом юта, потом, увидев дверь моей каюты отворенною, поставил туда сначала одну ногу, затем другую и спину, а голова была еще наруже. «Холодно?» — спросил я его. «Yes»,— отвечал он и вошел совсем в каюту. Но мне показалось неестественно озябнуть при двадцати с лишком градусах тепла, оттого я не мог проникнуться состраданием к его положению и махнул ему рукою, чтоб он шел вон, лишь только он загородил мне свет. Два его товарища, лежа в своей лодке, нисколько не смущались тем, что она черпала, во время шквала, и кормой, и носом; один лениво выливал воду ковшом, а другой еще ленивее смотрел на это.

Вечером стали подходить к Сингапуру. Любопытно взглянуть на эту кучу толпящихся на маленьком клочке разноцветных и разноязычных народов, среди которых американец Вилькс насчитывает до двадцати одних азиатских племен.[5]

25-го мая. Утро. Солнце блещет, и все блещет с ним. Какие картины вокруг! какая жизнь, суматоха, шум! Что за лица! какие языки! Кругом нас острова, все в зелени; прямо, за лесом мачт, на возвышенностях видны городские здания. Джонки, лодки, китайцы и индийцы проезжают с берега на суда и обратно, пересекая друг другу дорогу. Направо и налево от нас — все дико; непроходимый кокосовый лес смотрится в залив; сзади море.

Утром рано стучится ко мне в каюту И. И. Бутаков и просовывает в полуотворенную дверь руку с каким-то темно-красным фруктом, видом и величиной похожим на небольшое яблоко. «Попробуйте»,— говорит. Я разрезал плод: под красною мякотью скрывалась белая, кисло-сладкая сердцевина, состоящая из нескольких отделений, с крупным зерном в каждом из них. Прохладительно, свежо, тонко и сладко, с легкой кислотой. Это мангустан, а по английскому произношению «мангустэн». Англичане не могут не исковеркать слова.

Ко мне в каюту толпой стали ломиться индийцы, малайцы, китайцы с аттестатами от судов разных наций, всё портные, прачки, комиссионеры. На палубе настоящий базар: разноплеменные гости разложили товары, и каждый горланил на своем языке, предлагая материи, раковины, обезьян, птиц, кораллы.

Я заглянул за борт: там целая флотилия лодок, нагруженных всякой всячиной, всего более фруктами. Ананасы лежали грудами, как у нас репа и картофель,— и какие! Я не думал, чтоб они достигали такой величины и красоты. Сейчас разрезал и начал есть: сок тек по рукам, по тарелке, капал на пол. Хотел писать письмо к вам, но меня тянуло на палубу. Я покупал то раковину, то другую безделку, а более вглядывался в эти новые для меня лица. Что за живописный народ индийцы и что за неживописный — китайцы! Первые стройны, развязны, свободны в движениях; у них в походке, в мимике есть какая-то торжественная

важность, лень и грация. Говорят они горлом, почти на шевеля губами. Грация эта неизысканная, неумышленная: будь тут хоть капля сознания, нельзя было бы не расхохотаться, глядя, как они медленно и осторожно ходят, как гордо держат голову, как размеренно машут руками. Но это к ним идет: торопливость была бы им не к лицу.

Вся верхняя часть тела у индийцев обнажена, но они чем-то мажутся, чуть ли не кокосовым маслом, иначе никакая кожа не устоит против этого солнца. На бедрах у них род юбки из бумажной синей или красной материи. В ушах серьги непременно, у иных по две, в верхней и нижней части уха, а у одного продета в ухо какая-то серебряная шпилька, у другого сережка в правой ноздре. Этот был стар, одет в белую юбку, а верхняя часть тела прикрыта красной материей; на голове чалма. Стали всех их собирать в один угол судна, на шкафут, чтоб они не бродили везде; старик усердно помогал в этом. Матросы, прогнав всех, наконец прóгнали и его самого туда же.

Китайцы светлее индийцев, которые все темно-шоколадного цвета, тогда как те просто смуглы; у них тело почти как у нас, только глаза и волосы совершенно черные. Они тоже ходят полуголые. У многих старческие физиономии, бритые головы, кроме затылка, от которого тянется длинная коса, болтаясь в ногах. Морщины и отсутствие усов и бороды делают их чрезвычайно похожими на старух. Ничего мужественного, бодрого. Лица точно вылиты одно в другое.

А что за физиономии на лодках! Вот старый индиец, черный, с седыми бакенбардами и бородой, растущей ниже губ, кругом подбородка. А вот малаец, цвета красной меди, гребет двумя вместе связанными веслами, толкая их вперед от себя. Одни лежали прямо под солнцем, другие сидели на пятках, непостижимым для европейца образом. Ко мне уж не раз подходил один говорящий по-французски индиец. «Откуда ты родом?» — спросил я. Он мне сказал непонятное и неизвестное мне название. «Да ты индиец?» — «Нет!» — заговорил он, сильно качая головой. «Ну, малаец?» Он еще сильнее стал отрекаться. «Кто ж ты, из какой страны?» — «Ислам, мусульман».— «Да это твоя религия; а родом?» — «Ислам, мусульман»,— твердил он. «Ну, из какого ты города?» — «Пондишери».— «А! так как же не индиец?» Он махал головой. «Индус вон! — говорил он показывая на такого же, как и он сам,— а я ислам».— «А! те браминской веры».—«Да! да! Брамá, индус!»— повторял он.

Тотчас после обеда судно опустело: все уехали. Мне предложил капитан ехать с ним, но просил подождать, пока не распорядится на фрегате. А лодки все не уезжали от нас, сбывая фрукты. У всех каюты завалены были ананасами; кокосы валялись под ногами. Всякий матрос вооружен был ножом и ананасом; за любой у нас на севере заплатили бы от пяти до семи рублей серебром, а тут он стоит два пенса; за шиллинг давали дюжину, за испанский талер — сотню. Но от ананасов начал чесаться у многих язык (в буквальном смысле), губы щипало кислотой. Многие предпочитали ананасам мангу: он фигурой похож на крупную желтую сливу, только с толстой кожей и с большой косточкой внутри; мясо состоит из волокон оранжевого цвета, напитанных вкусным соком.

Кроме фруктов индийцы продавали платье европейское, рубашки, сапоги, китайские ларчики для чая, для рукоделья и т. п.

Я, в ожидании съезда на берег, облокотившись *на сетки*, смотрел на индийские лодки, на разнообразные группы разноцветных тел. Часов в пять, перед захождением солнца, мухаммедане стали тут же, на лодках, делать омовение и творить намаз.[6] Один молодой, умывшись, взял какой-то старый грязный платок, разостлал его перед собой и, обратясь на запад, к Мекке, начал творить земные поклоны. Он, сидя на пятках, шевелил губами и по временам медленно оборачивал голову направо, налево, назад и не обращал внимания на зрителей с фрегата. Он молился около получаса, и едва кончил, за ним медленно поднялся другой и еще медленнее начал делать то же.

Капитан готов был не прежде, как в шесть часов. Когда мы подъезжали к берегу, было уже темно, а ехать надо рейдом около трех верст. На берегу нас встретили фиакры (легкие кареты, запряженные одной маленькой лошадкой, на каких у нас ездят дети). Мы, однако ж, ехать не хотели, а индийцы все-таки шли за нами. Между тем мы не знали, куда идти: газ еще туда не проник, и на улице ни зги не видно. Пошли налево: нам преградила путь речка и какой-то павильон; на другой стороне мелькали огни, освещавшие, по-видимому, ряды лавок. Мы знали, что есть и мосты, но как попасть на них? К счастью, встретились два немца и проводили нас в London-Hotel.* Вечер был очень темен. Меня поразил приторно-сладкий и сильный запах, будто мускуса,[7] довольно противный. Насекомые сильно трещали в траве, так что это походило больше на пение птиц. Мы спросили в отеле содовой воды и чаю и уселись наверху, на балконе. Мои товарищи вздумали все-таки идти гулять; я было пошел с ними, но как надо было идти ощупью, то мне скоро надоело это, и я вернулся на балкон допивать чай. Тут приходило и уходило несколько, по-видимому, живущих в нумерах трактира англичан и американцев. Они садились на кресла и обе ноги клали на стол (их манера сидеть), требовали себе чаю и молчали. Чай — микстура, с сильным запахом и вкусом — точно лекарственной травы.

С наступлением ночи опять стало нервам больно, опять явилось неопределенное беспокойство до тоски, от остроты наркотических испарений, от теплой мглы, от теснившихся в воображении призраков, от смутных дум. Нет, не вынесешь долго этой жизни, среди роз, ядов, баядерок,[8] пальм, под отвесными стрелами, которые злобно мечет солнечный шар!

От нечего делать я оглядывал стены и вдруг вижу: над дверью что-то ползет, дальше на потолке тоже, над моей головой, кругом по стенам, в углах — везде. «Что это?» — спросил я слугу-португальца. Он отвечал мне что-то — я не понял. Я подошел ближе и разглядел, что это ящерицы, вершка в полтора и два величиной. Они полезны в домах, потому что истребляют насекомых.

Наконец мои товарищи вернулись. Они сказали, что нагулялись вдоволь, хотя ничего и не видели. Пошли в столовую и принялись опять за содовую воду. Они не знали, куда деться от жара, и велели мальчиш-

* гостиницу «Лондон» (*англ.*),— *Ред.*

ке-китайцу махать привешенным к потолку, во всю длину столовой, исполинским веером. Это просто широкий кусок полотна с кисейной бахромой; от него к дверям протянуты снурки, за которые слуга дергает и освежает комнату. Но, глядя на эту затею, не можешь отделаться от мысли, что это — искусственная, временная прохлада, что вот только перестанет слуга дергать за веревку, сейчас на вас опять как будто наденут в бане шубу.

Посидев немного, мы пошли к капитанской гичке. За нами потянулась толпа индийцев, полагая, что мы наймем у них лодку. Обманувшись в ожидании, они всячески старались услужить: один зажег фитиль посветить, когда мы садились, другой подал руку и т. п. Мы дали им несколько центов (медных монет), полученных в сдачу в отеле, и отправились.

Возвращение на фрегат было самое приятное время в прогулке: было совершенно прохладно; ночь тиха; кругом, на чистом горизонте, резко отделялись черные силуэты пиков и лесов и ярко блистала зарница — вечное украшение небес в здешних местах. Прямо на голову текли лучи звезд, как серебряные нити. Но вода была лучше всего: весла с каждым ударом черпали чистейшее серебро, которое каскадом сыпалось и разбегалось искрами далеко вокруг шлюпки.

27 мая. Мы собрались вчетвером сделать прогулку поосновательнее и поехали часов в 11 утра, но и то было уж поздно. Хотели ходить, но не было никакой возможности. Мимоездом, на рейде, мы осмотрели китайскую джонку. Издали она дразнила наше любопытство: корма и нос несоответственно высоко поднимались над водой. Того и гляди, кажется, рухнут эти непрочные постройки на курьих ножках, похожие на голубятни. Джонка была выкрашена голубым, красным и желтым цветами. На носу, с обеих сторон, нарисовано по рыбьему глазу: китайцам все хочется сделать эти суда похожими на рыбу. Мы подъехали; лодки очистили нам дорогу; китайцы приняли нас с улыбкою. Их было человек пять; одни полуголые, другие неопрятно одетые. Мы вошли прямо мимо кухонной печи, около которой возился повар. Нас обдало удушливым, вонючим паром из трубы. Джонка нагружена была разным деревом, которое везла в Китай, красным, сандальным и другими. Эти дерева были так скользки, что мы едва могли держаться на ногах. Мы взобрались по лесенке на корму. Там, в углублении, была кумирня с идолами, а по бокам грязные каюты. Один китаец чесал другому — по-видимому хозяину — косу. Они молча смотрели на нас и предоставляли нам ходить и смотреть. Все было слеплено из дощечек, жердочек, циновок; паруса тоже из циновок. Руль неуклюжий, неотесанный, уродливый. Мы ушли и свободно вздохнули на катере, дивясь, как люди могут пускаться на таких судах в море, до этих мест, за 1800 морских миль от Кантона! После уж, качаясь в штилях китайских морей или несомые плавно попутным муссоном, мы поняли, отчего ходят далеко джонки. Зато сколько их погибает в ураганы!

Въехав прямо в речку и миновав множество джонок и яликов, сновавших взад и вперед то с кладью, то с пассажирами, мы вышли на набережную, застроенную каменными лавками, совершенно похожими на наши гостиные дворы: те же арки, сквозные лавки, амбары, кучи тюков,

Китайцы в Сингапуре. Вышеславцев.

бочки и т. п.; тот же шум и движение. Купцы большею частью китайцы; товары продают оптом и отправляют из Китая в Европу или обратно, выписывают из Европы в Китай. Но вот наконец добрались и до мелких торговцев. Китайцы, в таких же костюмах, в каких мы их видели на Яве, сидели в лавках. Белая бумажная кофта, вроде женских ночных коф и шаровары, черные, а более синие, у богатых атласные, потом брита передняя часть головы и длинная до пят коса, природная, или искусственная, отсутствие шляпы и присутствие веера, заменяющего ее,— вот их костюм. Китаец носит веер в руке и, когда выходит на солнце, прикрывает им голову. Впрочем, простой народ, работающий на воздухе, носит плетеные из легкого тростника шляпы, конической формы, с преширокими полями. На Яве я видел малайцев, которые покрывают себе голову просто спинною костью черепахи. Европейцы ходят... как вы думаете, в чем? В полотняных шлемах! Эти шлемы совершенно похожи на шлем Дон Кихота. Отчего же не видать соломенных шляп? чего бы, кажется, лучше: Манила так близка, а там превосходная солома. Но потом я опытом убедился, что солома слишком жидкая защита от здешнего солнца. Шлемы эти делаются двойные, с пустотой внутри и маленьким отверстием для воздуха. Другие, особенно шкипера, носят соломенные шляпы, но обвивают поля и тулью ее белой материей, в виде чалмы.

Мы прошли каменные ряды и дошли наконец до деревянных, которые в то же время и домы китайцев. Верхний этаж занят жильем, а нижний — лавкой. Здесь собрано все, чтоб оскорбить зрение и обоняние. Голые китайцы, в одних юбках или шароварах, а иные только в повязках кругом поясницы, сидя, в лавках или наруже у порога, чесали длинные

косы друг другу или брили головы и подбородки. Они проводят за этим целые часы; это — их кейф. Некоторые, сидя, клали голову на столик, а цирюльник, обрив, преприлежно начинал поколачивать потом еще по спине, долго и часто, этих сибаритов. Это, кажется, походило на то, как у нас щекотят пятки или перебирают суставы в банях охотникам до таких удовольствий.

Но вид этих бритых донельзя голов и лиц, голых, смугло-желтых тел, этих, то старческих, то хотя и молодых, но гладких, мягких, лукавых, без выражения энергии и мужественности, физиономий, и, наконец, подробности образа жизни, семейный и внутренний быт, вышедший на улицу,— все это очень своеобразно, но не привлекательно.

Самый род товаров, развешенных и разложенных в лавках, тоже, большею частию, заставляет отворачивать глаза и нос. Там видны сырые, печеные и вяленые мяса, рыба, раки, слизняки и т. п. дрянь. Тут же подвижная лавочка, с жаровней и кастрюлей, с какой-нибудь лапшой или киселем, студенью и т. п. вещами, в которые пристально не хочется вглядываться. Или сейчас же рядом совсем противное: лавка с фруктами и зеленью так и тянет к себе: ананасы, мангустаны, арбузы, мангу, огурцы, бананы и т. п. навалены грудами. Среди этого увидишь старого китайца, с седой косой, голого, но в очках; он сидит и торгует. В другом месте вдруг пахнёт чесноком и тем неизбежным, похожим на мускус запахом, который, кажется, издает сандальное и другие пахучие дерева́. К этому еще прибавьте кокосовое масло, табак и опиум — от всего этого теряешься. Все это сильно растворяется в жарком индийском воздухе и разносится всюду.

Мы вырвались из китайского города и, через деревянный высокий ост, перешли на европейскую сторону. Здесь совсем другое: простор, истота, прекрасная архитектура домов, совсем закрытых шпалерою из мелкой, стелющейся, как плющ, зелени, с голубыми цветами; две церкви, протестантская и католическая, обнесенные большими дворами, густо засаженными фиговыми, мускатными и другими деревьями и множеством цветов. К нам пристал индиец, навязываясь в проводники. Мы велели ему вести себя на холм, к губернаторскому дому. Дорога идет по великолепной аллее, между мускатными деревьями и померанцевыми, розовыми кустами. Трава вся состояла из mimosa pudica (не тронь меня). От прикосновения зонтиком к траве она мгновенно сжималась по нашим следам.

Не было возможности дойти до вершины холма, где стоял губернаторский дом: жарко, пот струился по лицам. Мы полюбовались с полугоры рейдом, городом, которого европейская правильная часть лежала около холма, потом велели скорее вести себя в отель, под спасительную сень, добрались до балкона и заказали завтрак, но прежде выпили множество содовой воды и едва пришли в себя. Несмотря на зонтик, солнце жжет без милосердия ноги, спину, грудь — все, куда только падает его луч.

Европейское общество состоит из консулов всех почти наций. Они живут в прекрасных домах, на эспланаде,[9] идущей по морскому берегу.[10] Всех европейцев здесь до четырехсот человек, китайцев сорок, индийцев, малайцев и других азиатских племен до двадцати тысяч: это на всем остро-

Индусы. Вышеславцев.

ве. В городе я видел много европейских домов в упадке; на некоторых приклеены бумажки с надписью: *отдаются внаем.* Самая биржа, старое здание, с обвалившейся штукатуркой, не обновляется с тех пор, как возник Гон-Конг. Говорят, от этого Сингапур несколько потерял в торговом отношении. Некоторые европейцы, особенно англичане, перенесли круг своей деятельности туда. Китайцы тоже несколько реже стали ездить в Сингапур, имея возможность сбывать свои товары там, у самых ворот Китая.

Впрочем, Сингапур, как складочное место между Европой, Азией, Австралией и островами Индийского архипелага, не заглохнет никогда. Притом он служит приютом малайским и китайским пиратам, которые еще весьма сильны и многочисленны в здешних морях. Большую часть награбленных товаров они сбывают здесь, являясь в виде мирных купцов, а оружие и другие улики своего промысла прячут на это время в какой-нибудь маленькой бухте ненаселенного острова. Бельчер говорит, что сингапурские китайцы занимаются выделкой оружия собственно для них. Поэтому истребить пиратов почти нет возможности: у них на некоторых островах есть так хорошо укрепленные места, что могут противиться всякой вооруженной силе. Да и как проникнут к ним большие военные суда, когда бухты эти доступны только легким разбойничьим проа? «Может быть, тут половина пиратов»,— думал я, глядя на сновавшие по рейду длинные барки с парусами из циновок.

На бирже толпятся китайские, армянские, персидские купцы и, разумеется, англичане. Народонаселение кипит и движется. Вот китаец, почти нищий, нагой, бежит проворно, в своей тростниковой шляпе, и несет на нитке какую-нибудь дрянь на обед, или кусок рыбы, или печенки, какие-то внутренности; вот другой, с водой, с ананасами на лотке или другими фруктами, третий везет кладь на паре горбатых быков. Вот выступают

в белых кисейных халатах, персияне; вот парси,[11] с бледным матовым цветом лица и лукавыми глазами; далее армянин в европейском пальто; там карета промчалась с китайцами из лавок в их квартал; тут англичанин едет верхом.

Позавтракав, мы послали за каретами и велели ехать за город. Кареты и кучера — не последняя достопримечательность города и тотчас бросится в глаза. Я уж говорил, что едва вы ступите со шлюпки на берег, вас окружат несколько кучеров, с своими каретами. Последние без рессор, но покойны, как люльки; внутри собственно два места; но если потесниться, то окажется, пожалуй, и четыре. Подушки и стенки обиты циновками. Карету в один конец, поближе, нанимают за полдоллара, подальше — за доллар, и на целый день — тоже доллар. Для кучера места нет: он что есть мочи бежит рядом, держа лошадь за узду, тогда как, по этой нестерпимой жаре, европеец едва сидит в карете. В Сингапуре нет мостовой, а есть убитые песком и укатанные аллеи, как у нас где-нибудь в Елагинском парке.[12] Индиец, полуголый, с маленьким передником, бритый, в чалме, или с большими волосами, смотря по тому, какой он веры, бежит ровно, грациозно, далеко и медленно откидывая ноги назад, улыбаясь и показывая ряд отличных зубов. Ночью их обязали ездить с фонарями, иначе здесь ни зги не видать.

Они помчали нас сначала по предместьям, малайскому, индийскому и китайскому. Малайские жилища — просто сквозные клетки из бамбуковых тростей, прикрытые сухими кокосовыми листьями, едва достойные называться сараями, на сваях, от сырости и от насекомых тоже. У китайцев побогаче — сплошные ряды домов в два этажа: внизу лавки и мастерские, вверху жилье, с жалюзи. Индийцы живут в мазанках.

Кругом все заросло пальмами *areca* или кокосовыми; обработанных полей с хлебом немного: есть плантации кофе и сахара, и то мало: места нет; все болота и густые леса. Рис, главная пища южной Азии, привозится в Сингапур с Малаккского и Индийского полуостровов. Но зато сколько деревьев! хлебное, тутовое, мускатное, померанцы, бананы и другие.

Мы ехали по берегу той же протекающей по городу реки, которая по нем, или город по ней, называется Сингапур. Она мутна и не радует глаз, притом очень узка, но не мелка.

По берегу тянулись мазанки и хижины, из которых выглядывал то индиец, то малаец. В одном месте на большом лугу мы видели группу мужчин, женщин и детей, в ярких, режущих глаза, красных и синих костюмах: они собирали что-то с деревьев. Там высунулась из воды голова буйвола; там бедный и давно не бритый китаец, под плетеной шляпой, тащит, обливаясь потом, ношу; там несколько их сидят около походной лавочки или в своих магазинах, на пятках, в кружок, и уплетают двумя палочками вареный рис, держа чашку у самого рта, и время от времени достают из другой чашки, с темною жидкостью, этими же палочками необыкновенно ловко какие-то кусочки и едят. Мы переехали несколько мостиков; вдали, на холмах, видны европейские дачи, выглядывавшие из гущи кипарисов, бананов и пальмовых рощ. Наконец въехали опять в китайский квартал, и опять нас охватили разные запахи.

В некоторых местах над лавками я видел надпись по-английски: *дозволенная продажа опиума.* Мы хотели взглянуть, как курят опиум, и вошли в лавочку; но там только продавали его. Нас подвозили ко многим таким лавочкам; это были отвратительнейшие, неопрятные клетушки, где нагие китайцы предлагали нам купить отравы. Наконец кули повел нас через одну лавчонку в темный чулан: там, на грязной циновке, лежал один курильщик; он беспрестанно палочкой черпал опиум и клал его в крошечное отверстие круглой большой трубки. Но духота, вонь и жар от помещавшейся рядом китайской кухни были так сильны, что мы, не дождавшись действия опиума, бежали вон и вздохнули свободно, выехав из китайского квартала.

Некоторым нужно было что-то купить, и мы велели везти себя в европейский магазин; но собственно европейских магазинов нет: европейцы ведут оптовую торговлю, привозят и увозят грузы, а розничная торговля вся в руках китайцев. Лавка была большая, в две комнаты: и чего-чего в ней не было! Полотна, шелковые материи, сигары, духи, мыло, помада, наконец, китайские резные вещи, чай и т. п.

Между прочим вдруг нам бросилось в глаза, на куске холста, русское клеймо: *фабрика А. Перлова.* Это дук. [13] «Откуда? как?» — спросили мы приказчика-англичанина. «Это английский дук,— сказал он,— а клеймо русское». Я нарочно мешкал в лавке: мне хотелось дать отдохнуть кучерам; но они, кажется, всего меньше думали сами об этом. Мне сначала было совестно ехать и смотреть, как они бегут, но через полчаса я привык смотреть, а они — бежать. «Куда бы еще пойти? что посмотреть?» — говорили мы. «Ах! да ведь мы некоторым образом в Индии: здесь должны быть слоны; надо посмотреть, поездить на них».— «Есть здесь слоны?» — спросили мы у кули. «Есть»,— отвечал он. «Где ж они? много их?» — «Один».— «Один! Ну, для такого островка и одного довольно! А можно поездить на нем?» — «Нет, нельзя, он на сахарном заводе работает».

Часа в четыре, покружась еще по улицам, походив по эспланаде, полюбовавшись садами около европейских домов, мы вернулись в London-Hotel — и сейчас под веер. Стали звонить к обеду. Хотя у нас еще не успел пробудиться аппетит, однако ж мы с бароном Криднером отправились «посмотреть, что едят», как он говорил. Но я всегда в этих случаях замечал, что он придает слишком много значения глаголу *смотреть.* Столовая помещалась в особой, выстроенной на дворе деревянной, открытой со всех сторон галерее, какие у нас делаются для игры в кегли; да тут же кстати на дворе была и другая такая же галерея для этой игры. Длинный-предлинный стол, над ним веер, висящий с потолка вдоль всего стола, и в углу два не очень мягкие, некрасивые дивана составляли все убранство залы. Мы застали уже человек до пятнадцати англичан и американцев: они по обыкновению пили себе, как будто в Англии, херес, портвейн и эль.

Обед, по английскому обычаю, был весь на столе. Нам подали горячее: я попробовал — что-то родное. «Да это уха»,— сказал я барону. «Суп из рыбы»,— поправил он педантически. Потом подали рыбу, но она показалась мне несвежа, и отличную вареную зелень. Всякий брал, чего хотел, а выбрать было из чего: стояло блюд десять. Свинина была необыкновен-

ной белизны, свежести и вкуса. Надо отдать справедливость здешним свиньям: на взгляд они некрасивы, хуже наших: низенькие, вместо щетины с маленькою, редкою и мягкою шерстью, похожей на пух, через которую сквозит жир; спина вогнута, а брюхо касается земли. Они не могут почти ходить от жиру, но вкусом необычайно нежны. Зато же здесь и обращаются с ними весьма нежно. Я видел, их везли целый воз на двух буйволах: каждая свинья помещалась в особой круглой плетенке, сделанной по росту свиньи. От этого не слышно пронзительного визга, какой у нас иногда раздается по всей улице. В другой раз два китайца несли на плечах, с признаками большой осторожности и даже, кажется, уважения, такую корзину, в которой небрежно покоилась свинья.

На все такие места, как Сингапур, то есть торговые и складочные, я смотрю не совсем благосклонно или, лучше, не совсем весело. На всем лежит печать случайности и необходимости, вынужденной обстоятельствами. Встречаешь европейца и видишь, что он приехал сюда на самое короткое время, для крайней надобности; даже у того, кто живет тут лет десять, написано на лице: «Только крайность заставляет меня томиться здесь, а то вот при первой возможности уеду». И на доме, кажется, написано: «Меня бы не было здесь, если б консул не был нужен: лишь только его не станет, я сейчас же сгорю или развалюсь».

Мы с бароном делали наблюдения над всеми сидевшими за столом лицами, которые стеклись с разных концов мира «для стяжаний», и тихонько сообщали друг другу свои замечания. Между прочим, наше внимание поразил один молодой человек своей наружностью. «Посмотрите, какой красавец!» — сказал барон, указывая на англичанина. «Непростительно хорош!» — отвечал я. В самом деле, тонкий, нежный, матовый цвет кожи, голубые глаза, с трепещущей влагой задумчивости, кудри мягкие, как лен, легкие, грациозно вьющиеся и осеняющие нежное лицо; голос тихий. О, какой это счастливец бежал из Европы? Что повлекло его сюда? ужели золото? Быть бы ему между вас, женщины; но из вас только одни англичанки могут заплатить ему такой же красотой. Это британский тип красоты, нежной, чистой и умной, если можно так выразиться: тут не было никаких роз, ни лилий, ни бровей дугой; все дело было в чистоте и гармонии линий и оттенков, как в отлично составленном букете. [14]

Я смотрел на красавца, следил за его разговором и мимикой: мне хотелось заметить, знает ли он о своей красоте, ценит ли ее, словом — фат ли он. Но тут не было женщин, а это только и можно узнать при них. Беда такому красавцу: если уроду нужно много нравственных достоинств, чтоб не колоть глаз своим безобразием, то красавцу нужно их чуть ли не больше, чтоб заставить простить себе красоту. Сколько надо одного ума, чтоб не знать о ней! Но этого не бывает; надо искусственно дойти до потери сознания о ней, забывать ее, то есть беспрестанно помнить, что надо забывать.[15]

Мы посидели до вечера в отеле, беседуя с седым американским шкипером, который подсел к нам и разговорился о себе. Он смолоду странствует по морям. Теперь он везет груз в Англию, а оттуда его через шесть недель пошлют в Нью-Йорк, потом в Рио-Жанейро. Так он провел сорок лет.

На возвратном пути опять над нами сияла картина ночного неба: с одной стороны Медведица, с другой — Южный Крест, далее Конопус, Центавры, наконец, могучий небесный странник, Юпитер, лили потоки лучей, а за ними, как розово-палевое зарево, сиял блеск Млечного Пути. Черные тучи, проносившиеся над картиной, казались еще чернее, по ним бороздили молнии; весла опять дружно разгребали серебряную влагу. Назади китайский квартал блистал разноцветными фонарями, развешенными у лавок; по рейду мелькали корабельные огни. Мы пробирались мимо джонок, которых уродливые силуэты тяжело покачивались крупными тенями, в одно время на фоне звездного неба и на воде. Едешь: от воздуха жарко, от воды чуть-чуть веет прохлада. И круглый год так, круглый год — подумайте! те же картины, то же небо, вода, жар! Как ни приятно любоваться на страстную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко дышащим ртом, с волнующейся грудью; но видеть перед собой только это лицо и никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали — устанешь и любоваться.

Мне, однако ж, не прошел даром обед и две рюмки шампанского. Только железные желудки англичан могут безнаказанно придерживаться европейского режима в пище и своих привычек. Другие, более или менее, платят дань климату. К этому еще нестерпимая жара преследует и днем, и ночью. Отворяешь двери, садишься на сквозном ветре — ничего не помогает. Ночной воздух стоит, как церемонный гость, у дверей и нейдет в каюту, не сладит с спершимся там воздухом. Днем, облитые ослепительным солнечным блеском, воды сверкают, как растопленное серебро; лучи снопами отвесно и неотразимо падают на все — на скалы, на вершины пальм, на палубы кораблей и, преломляясь, льют каскады огня и блеска по сторонам. Белая палуба блестит, как слоновая кость, песок на скалах белеет, как снег. Все бежит, прячется, защищается; европейцы или сидят дома, или едут в шлюпках под тентом, на берегу — в каретах. Только индиец, растянувшись в лодке, спит, подставляя под лучи то один, то другой бок; закаленная кожа у него ярко лоснится, лучи скользят по ней, не проникая внутрь, да китайцы, с полуобритой головой, машут веслом или ворочают рулем, едучи на барке по рейду, а не то так работают около европейских кораблей, постукивая молотком или таская кладь. «Ах! — слышатся восклицания,— скоро ли вырвемся отсюда!» Пить хочется — а чего? вода теплая, отзывается чаем. Льду, льду бы да снегу: не дым, а лед отечества нам сладок и приятен! [16]

Между тем кругом все так пышно: панорамы роскошнее представить нельзя. Денное небо не хуже ночного. Одно облако проходит за другим и медленно тонет в блеске небосклона. Зори горят розовым фантастическим пламенем, облака здесь, как и в Атлантическом океане, группируются чудными узорами.

А на берегу? Пальма агеса, с своими темно-зелеными листьями, которых верхушки будто отрезаны, и все дерево точно щеголевато острижено, кокосовые, с развесистыми, длинными и острыми листьями, мускатные, с небольшим, ярко-зеленым, жирным листом, далее померанцы, банианы — вот кайма, окружавшая нас! Вдруг перемена декорации: цвета блекнут

на всем. Пошел дождь. Откуда взялось облако? Небо как будто покрылось простыней; полились потоки: в пять, десять минут подставленные бочки полны водой. Но вы не успели подумать о том, долго ли это продолжится, а оно уж и кончилось. Опять сухо; грязи здесь не бывает: ступайте по траве, по земле — подошва суха.

Живут же люди в этих климатах, и как дешево! Одежда — кусок полотна или бумажной материи около поясницы — и только; все остальное наруже; ни сапог, ни рубашек. У европейцев есть и то и другое, но как охотно они бросили бы эти то и другое, и, пожалуй, еще и третье... панталоны! Пища — горсть рису, десерт — ананас, стоящий грош, а если нет гроша, а затем и ананаса, то первый выглянувший из-за чужого забора и ничего не стоящий банан, а нет и этого, так просто поднятый на земле упавший с дерева мускатный орех. Питье — если не вода, которая мутна, то всегда готовый к вашим услугам, никому и всем принадлежащий кокосовый орех. Жить, то есть спать, везде можно: где ни лягте — тепло и сухо.

Кстати о кокосах. Недолго они нравились нам. Если их сорвать с дерева, еще зеленые, и тотчас пить, то сок прохладен; но когда орех полежит несколько дней, молоко согревается и густеет. В зрелом орехе оно образует внутри скорлупы твердую оболочку, как ядро наших простых орехов. Мы делали из ядра молоко, как из миндаля: оно жирно и приторно; так пить нельзя; с чаем и кофе хорошо, как замена сливок.

Какую роль играет этот орех здесь, в тропических широтах! Его едят и люди, и животные; сок его пьют; из ядра делают масло, составляющее одну из главных статей торговли в Китае, на Сандвичевых островах и в многих других местах; из древесины строят домы, листьями кроют их, из чашек ореха делают посуду.

Вот ананасы так всем надоели: охотники ели по целому в день. Один уверял, что будто съел три; мы приняли это за хвастовство. Верхушку ананаса срезывают здесь более, нежели на вершок, и бросают, не потому, чтоб она была невкусна, а потому, что остальное вкуснее; потом режут спиралью, вырезывая лишнее, шелуху и щели; сок течет по ножу, и кусок ананаса тает во рту. У всех в каютах висели ряды ананасов, но один из наших офицеров (с другого судна) заметил, что из зеленых корней ананасов выползли три маленькие скорпиона, которых он принял сначала за пауков. Вскоре после того один из матросов, на том же судне, был ужален, вероятно, одним из них, в ногу, которая сильно распухла, но опухоль прошла, и дело тем кончилось.

Но что ж такое Сингапур? Я еще не сказал ничего об этом. Это островок, в несколько миль величиной, лежащий у оконечности Малаккского полуострова, под 1°30′ сев. шир., следовательно, у самого экватора. Он уступлен англичанам, в 1819 году, одним из малаккских султанов, которому они помогли утвердиться в его владениях. Надо знать, что незадолго пред тем голландцы выхлопотали себе у другого султана, соперника первого, торговое поселение в тех же местах, именно в проливе Рио. Англичане имеют такой обычай, что лишь зачуют где торговлю, то и явятся с своими товарами: так они сделали и там. А у голландцев есть обычай не пускать других туда, где торуют они сами. Все это было причи-

ною того, что Сингапур возник и процвел, а голландское поселение пало.

Стен Биль, командир датского корвета «Галатея» и автор путешествия,[17] сравнивает нынешний Сингапур, в торговом отношении, с древней Венецией. Сравнение слабое, не совсем лестное для Сингапура. Что такое капиталы времен Венецианской республики пред британскими? Что такое положение Венеции между тогдашним Востоком и тогдашним Западом перед положением Сингапура между Индиею, Китаем, Малаккским полуостровом, Австралиею, Сиамом, Кохинхиной и Бирманской империей, которые все шлют продукты свои в Сингапур и оттуда в Европу? А чего не везут теперь из Европы сюда? Что такое, наконец, так называемая тогдашняя роскошь перед нынешним комфортом? Роскошь — порок, уродливость, неестественное уклонение человека за пределы естественных потребностей, разврат. Разве не разврат и не уродливость платить тысячу золотых монет за блюдо из птичьих мозгов или языков или за филе из рыбы, не потому, чтоб эти блюда были тоньше вкусом прочих, недорогих, а потому, что этих мозгов и рыб не напасешься? Или не безумие ли обедать на таком сервизе, какого нет ни у кого, хоть бы пришлось отдать за него половину имения? Не глупость ли заковывать себя в золото и каменья, в которых поворотиться трудно, или надевать кружева, чуть не из паутины, и бояться сесть, облокотиться?

Венецианские граждане (если только слово «граждане» не насмешка здесь) делали все это; они сидели на бархатных, но жестких скамьях, спали на своих колючих глазетовых постелях,[18] ходили по своим великолепным площадям ощупью, в темноте и едва ли имели хоть немного приблизительное к нынешнему, верное понятие об искусстве жить, то есть извлекать из жизни весь смысл, весь здоровый и свежий сок.

Тщеславие и грубое излишество в наслаждениях — вот отличительные черты роскоши. Оттого роскошь недолговечна: она живет лихорадочною и эфемерною жизнью; никакие Крезы[19] не достигают до геркулесовых столпов[20] в ней; она падает, истощившись в насыщении, увлекая падением и торговлю. Рядом с роскошью всегда таится невидимый ее враг — нищета, которая сторожит минуту, когда мишурная богиня зашатается на пьедестале: она быстро, в цинических лохмотьях своих, сталкивает царицу, садится на ее престол и гложет великолепные остатки.

Вспомните не одну Венецию, а хоть Испанию например: уж, кажется, трудно выдумать наряднее эпанчу,[21] а в какую дырявую мантию нарядилась она после![22] Да одни ли Испания и Венеция?..

Где роскошь, там нет торговли; это конвульсивные, отчаяные скачки через препятствия, courses aux clochers: перескачет, схватит приз и сломает ноги.

Не таков комфорт: как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим потребностям. Для роскоши нужны богатства; комфорт доступен при обыкновенных средствах. Богач уберет свою постель валансьенскими кружевами;[23] комфорт потребует тонкого и свежего полотна. Роскошь садится на инкрюстированном, золоченом кресле,

ест на золоте и на серебре; комфорт требует не золоченого, но мягкого, покойного кресла, хотя и не из редкого дерева; для стола он довольствуется фаянсом или, много, фарфором. Роскошь потребует редкой дичи, фруктов не по сезону; комфорт будет придерживаться своего обыкновенного стола, но зато он потребует его везде, куда ни забросит судьба человека: и в Африке, и на Сандвичевых островах, и на Норд-Капе — везде нужны ему свежие припасы, мягкая говядина, молодая курица, старое вино. Везде он хочет находить то сукно и шелк, в которое одевается в Париже, в Лондоне, в Петербурге; везде к его услугам должен быть готов сапожник, портной, прачка. Роскошь старается, чтоб у меня было то, чего не можете иметь вы; комфорт, напротив, требует, чтоб я у вас нашел то, что привык видеть у себя.

Задача всемирной торговли и состоит в том, чтоб удешевить эти предметы, сделать доступными везде и всюду те средства и удобства, к которым человек привык у себя дома. Это разумно и справедливо; смешно сомневаться в будущем успехе. Торговля распространилась всюду и продолжает распространяться, разнося по всем углам мира плоды цивилизации. Вопрос этот важнее, нежели как кажется с первого раза. Комфорт и цивилизация почти синонимы, или, точнее, первое есть неизбежное, разумное последствие второго. И торговля не падет никогда, удовлетворяя хотя тонким, но разумным потребностям большинства, а не безумным прихотям немногих. Дело вполовину уже и сделано. Куда европеец только занесет ногу, везде вы там под знаменем безопасности, обилия, спокойствия и того благосостояния, которым наслаждаетесь дома, протягивая, конечно, ножки по одежке.

Сингапур — один из всемирных рынков, куда пока еще стекается все, что нужно и не нужно, что полезно и вредно человеку. Здесь необходимые ткани и хлеб, отрава и целебные травы. Немцы, французы, англичане, американцы, армяне, персияне, индусы, китайцы — все приехало продать и купить: других потребностей и целей здесь нет.[24] Роскошь посылает сюда за тонкими ядами и пряностями, а комфорт шлет платье, белье, кожи, вино, заводит дороги, домы, прорубается в глушь...

Что ж значит старая Венеция, с своими золочеными галерами, перед этими уродливыми джонками или ост-индскими судами, полными огромных, сырых и возделанных богатств? [25]

Еще слово: что было недоступною роскошью для немногих, то, благодаря цивилизации, делается доступным для всех: на севере ананас стоит пять, десять рублей, здесь — грош: задача цивилизации — быстро переносить его на север и вогнать в пятак, чтоб вы и я лакомились им.

Прогресс сделал уже много побед. Прочтите описание кругосветного путешествия, совершенного пятьдесят лет назад. Что это было? — пытка! Путешественник проходил сквозь строй лишений, нужд, питался соленым мясом, пил воду, зажав нос; дрался с дикими. А теперь? Вы едва являетесь в порт к индийцам, к китайцам, к диким — вас окружают лодки, как окружили они здесь нас: прачка-китаец, или индиец, берет ваше тонкое белье, крахмалит, моет, как в Петербурге; является портной, с длинной косой, в кофте и шароварах, показывает образчики сукон,

материй, снимает мерку и шьет европейский костюм; съедете на берег — жители не разбегаются в стороны, а встречают толпой, не затем, чтоб драться, а чтоб предложить карету, носилки, проводить в гостиницу. Там тот же мягкий бифштекс, тот же лафит, херес и чистая постель, как в Европе.

Я дня два не съезжал на берег. Больной, стоял я, облокотясь на сетки, и любовался на небо, на окрестные острова, на леса, на разбросанные по берегам хижины, на рейд, с движущеюся картиной джонок, лодок, вглядывался в индийские, китайские физиономии, прислушивался к говору.

Особенно любопытно было видеть, как наши матросы покупали у туземцев фрукты, потом разные вещи, ящички, вееры, простые материи и т. п. Что за язык придумали они — и понимали друг друга! Фаддеев, по моему поручению, возьмет деньги, спустится на лодки купить ананасов или что-нибудь другое: вижу, он спорит там, сердится; наконец торг заключается, и он приносит, что нужно. «Черти этакие: с ними не сообразишь! — говорил он, воротясь,— вчера полшильника просил, а теперь хочет *шильник*» (шиллинг). «Да как ты там говоришь с ними?» — «По-англичански».— «Как ты спросишь?» — «А вот возьму в руку вещь, да и спрошу *омач*?» (how much? — что стоит?).

Наконец мне стало легче, и я поехал в Сингапур с несколькими спутниками. Здесь есть громкое коммерческое имя Вампоа. В Кантоне так называется бухта или верфь; оттуда ли родом сингапурский купец — не знаю, только и его зовут Вампоа. Он уж лет двадцать как выехал из Китая и поселился здесь. Он не может воротиться домой, не заплатив... взятки. Да едва ли теперь есть у него и охота к тому. У него богатые магазины, домы и великолепная вилла; у него наши запасались всем; к нему же в лавку отправились и мы.

При входе сидел претолстый китаец, одетый, как все они, в коленкоровую кофту, в синие шаровары, в туфлях, с чрезвычайно высокой замшевой подошвой, так что на ней едва можно ходить, а побежать нет возможности. Голова, разумеется, полуобрита спереди, а сзади коса. Тут был приказчик-англичанин и несколько китайцев. Толстяк и был хозяин. Лавка похожа на магазины целого мира, с прибавлением китайских изделий, лакированных ларчиков, вееров, разных мелочей из слоновой кости, из пальмового дерева, с резьбой и т. п.

Взглянув на этот базар, мы поехали опять по городу, по всем кварталам — по малайскому, индийскому и китайскому, зажимая частенько нос, и велели остановиться перед буддийской кумирней. На улицу выходят наглухо запертые ворота с решетчатым забором, из-за которого видна крыша с загнутыми углами. Все это ярко, пестро разрисовано красной, зеленой и желтой красками. Прислужник-индиец отпер нам калитку, и мы вошли на чистый, вымощенный каменными плитами, большой двор. Направо колодезь, потом пустая стена и в углу открытая со всех сторон кухня. Тут, на плитах и на жаровнях, жарились и варились, шипя, разные яства. Около суетилось несколько китайцев; налево, посредине стены, была маленькая кумирня с жертвенником, идолами, курящимися благовонными

и восковыми свечами. На коленях перед жертвенником стоял бонз: ударяя палочкой в маленький круглый барабан, он читал нараспев по книге, немного в нос. Тут же, в часовне, сидело около стола несколько китайцев и шили что-то, не обращая ни малейшего внимания на монаха. Я заглянул ему в лицо: бледен, худ, глаза закрыты.

Весь двор усажен по стенам банановыми, пальмовыми и мускатными деревьями. Посреди двора стояла главная кумирня — довольно обширное, открытое со всех сторон здание, под тремя или четырьмя кровлями, всё с загнутыми углами. Сколько позолоты, резьбы, мишурных украшений, поддельных камней и какое безвкусие в этой восточной пестроте! Китайцы и индийцы, кажется, сообща приложили каждый свой вкус к постройке и украшениям здания: оттого никак нельзя, глядя на эту груду камней, мишурного золота, полинялых тканей, с примесью живых цветов, составить себе идею о стиле здания и украшений. Внутри кумирни помещались три ниши с идолами; кругом крытая галерея. Резная работа всюду: на перилах, на стенах; даже гранитные, поддерживающие крышу столбы тоже изваяны грубо и представляют животных. Между идолами стоит Будда,[26] с своими двумя прислужниками, и какая-то богиня, еще два другие идола — все с чудовищно-безобразными лицами. Тут, между прочим, есть фигура — эмблема настоящего, прошедшего и будущего. Перед идолами горели тоненькие, длинные свечи. Я хотел посмотреть, из какого дерева, и спросил одну. Индиец тотчас взял, зажег и подал мне, но отец Аввакум проворно сказал: «Плюньте, бросьте: это он хочет, чтоб вы идолу свечку поставили!»

Из буддийской кумирни мы поехали в индийское капище, к поклонникам Брамы. Через довольно высокую башню из диких, грубо отесанных камней входишь на просторный, обсаженный деревьями двор. Прямо крытая галерея, на столбах, ведет в капище. Но едва мы сделали несколько шагов, нас остановил индиец, читавший нараспев книгу, и молча указал нам на сапоги, предлагая или снять их, или не ходить дальше. Мы остановились и издали смотрели в кумирню, но там нечего было смотреть: те же три ниши, что у буддистов, с позолоченными идолами, но без пестроты, украшенными только живыми цветами. В галерее, вне часовни, стоял деревянный конь, похожий на наших балаганных коньков, но в натуральную величину, весь расписанный, с разными привесками и украшениями, назначенный для торжественных процессий, как объяснил нам кое-как индиец.

Мы пошли назад; индиец принялся опять вопить по книге, а другие два уселись на пятки слушать; четвертый вынес нам из ниши роз на блюде. Мы заглянули по соседству и в малайскую мечеть. «Это я и в Казани видел»,— сказал один из моих товарищей, посмотрев на голые стены.

Мы вышли и поехали по улицам, по речке... Вдруг нас поразили звуки какой-то странной музыки.

По улице тянулась процессия, но, благодаря лепетанью китайцев, мы не могли узнать, какая, только печальная. Один твердил на наши вопросы «sick» (больной), но спутник наш, бывший в Китае, объяснил, что это поминки по умершем. Двух женщин, закрытых с головы до ног кисейным

Сингапур. Вышеславцев.

покрывалом, вели под руки. Впереди шли жрецы, потом какие-то оборванцы в рубищах, которые кричали, музыканты с гонгами шли вперед. Мы вышли из карет и вмешались в процессию. Я не скажу, чтоб музыка была совсем нескладна — нет, в ней есть мелодия, но скудная и странная. Процессия повернула в узкий переулок, а мы отправились в отель, на балкон, сидеть и лениться.

На следующий день мы собрались осмотреть *новую гавань* и пришедший из Австралии пароход. Мы поехали в гичке. Погода была — превосходная, сказал бы я, если б здесь была когда-нибудь другая. Мы въехали в узенький пролив, между Сингапуром и другими маленькими островами, покрытыми ярко-изумрудного цвета зеленью. Солнце так и лило потоки язвительных лучей на скалы. Страшно подумать взойти туда, под эти стрелы, а китайцы и малайцы ползали там голые, некоторые без шляп. От здешних лучей, если они застанут европейца с обнаженной головой, надо бежать прятаться под кров попроворнее, нежели иногда бежишь под крышу от ливня.

Европейские дачи, деревеньки, берега — все тонет в зелени; везде густая трава и пальмы. Наконец пристали к пристани и пошли на пароход. Но что мне пароход? Я вошел на минуту, да и долой, а товарищи мои, моряки, начали вглядываться во всякую гайку, винт. Я пошел по пристани. Запасные пакгаузы заперты тяжелыми дверьми, за которыми хранятся грузы, ожидающие кораблей, для развоз в Европу, в Китай или Австралию. Они стоят безмолвные теперь; но чуть завеет ожидаемый флаг, эти двери изрыгнут миллионы или поглотят их. Тут же выстроены обширные угольные сараи. Более сотни китайцев брали кули, пуда в три-четыре, легко и ловко взбрасывали их себе на шею и мчались во всю мочь на пароход, под этим солнцем, когда дышишь будто огнем. А они ничего: тело обнажено, голова открыта, потому что в тростниковой широкой шляпе неловко было бы носить на шее кули; только косы, чтоб не мешали, подобраны на затылке, как у женщин. У многих совершенно женские лица, гладкие; борода и усы почти не растут, а они еще их бреют донельзя. Много видно умных, или, лучше сказать, смышленых, а более лукавых лиц.

Мы прошли около всех этих торговых зданий, пакгаузов, вошли немного на холм, к кустам, под тень пальм. «Ах, если б напиться!» — говорили мы — но чего? Тут берег пустой и только что разработывается. К счастью, наши матросы накупили себе ананасов и поделились с нами, вырезывая так искусно средину спиралью, что любому китайцу впору.

Мы через рейд отправились в город, гоняясь по дороге с какой-то английской яхтой, которая ложилась то на правый, то на левый галс, грациозно описывая круги. Но и наши матросы молодцы: в белых рубашках, с синими каймами по воротникам, в белых же фуражках, с расстегнутой грудью, они при слове «навались! дай ход!» разом вытягивали мускулистые руки, все шесть голов падали на весла, и, как львы, дерущие когтями землю, раздирали веслами упругую влагу.

Мы въехали в речку и пошли бродить по знакомым уже рядам и улицам. Но глаз — несмотря на все разнообразие лиц и пестроту костюмов, на наготу и разноцветность тел, на стройность и грацию индийцев, на

суетливых желтоватых китайцев, на коричневых малайцев, у которых рот, от беспрерывной жвачки бетеля, похож на трубку, из которой лет десять курили жуковский табак,[27] на груды товаров, фруктов, на богатую и яркую зелень, несмотря на все это, или, пожалуй, смотря на все, глаз скоро утомляется, ищет чего-то и не находит: в этой толпе нет самой живой ее половины, ее цвета, роскоши — женщин.

Представьте, что из шестидесяти тысяч жителей женщин только около семисот. Европеянок, жен, дочерей консулов и других живущих по торговле лиц немного, и те, как цветы севера, прячутся в тень, а китаянок и индиянок еще меньше. Мы видели в предместьях несколько китайских противных старух; молодых почти ни одной; но зато видели несколько молодых и довольно красивых индиянок. Огромные золотые серьги, кольца, серебряные браслеты на руках и ногах бросались в глаза.

Европеянок можно видеть у них дома или с пяти часов до семи, когда они катаются по эспланаде, опрокинувшись на эластические подушки щегольских экипажей в легких, прозрачных, как здешний воздух, тканях, и в шляпках, не менее легких, à jour: * точно бабочка сидит на голове. Эти леди лениво проедут по прекрасной дороге, под тенью великолепных банианов, пальм, близ зеленой пелены вод, бахромой рассыпающихся у самых колес. Я только не понимаю одного: как чопорные англичанки, к которым в спальню не смеет войти родной брат, при которых нельзя произнести слово «панталоны», живут между этим народонаселением, которое ходит вовсе без панталон? Разве они так вооружены аристократическим презрением ко всему, что ниже их, как римские матроны, которые, не зная чувства стыда перед рабами, мылись при них и не удостоивали их замечать?.. Может быть, и то: видно, климат меняет нравы.

Еще одно, последнее сказание[28] о Сингапуре или, скорее, о даче Вампоа. Купец этот пригласил нас к себе, не назначив, кого именно, в каком числе, а просто сказал, что ожидает к себе в четыре часа, и просил заехать к нему в лавку, откуда вместе и поехать. Мы отправились впятером и застали его в лавке, неподвижно, с важностью Будды сидящего на своем месте. Он двоих пригласил сесть с собой в карету, и сам, как сидел в лавке, так в той же кофте, без шапки, и шагнул в экипаж. Прочие разместились в наемных каретах. До дачи было мили три, то есть около четырех верст. Вот моцион для кучеров — бегом, по жаре!

Гладкая, окруженная канавками дорога шла между плантаций, фруктовых деревьев или низменных и болотистых полей. С дороги уже видны густые, непроходимые леса, в которых гнездятся рыси, ленивцы, но всего более тигры. Этих животных не было, когда остров Сингапур был пуст, но лишь только он населился, как с Малаккского полуострова стали переправляться эти звери и тревожить людей и домашних животных. Спортсменов еще не явилось для истребления зверей, а теперь пока звери истребляют людей. Сингапур еще ожидает своих Нимвродов.[29] Говорят, тигры здесь так же велики и сильны, как на Индийском полуострове: они одной породы с ними. Круглым счетом истребляется зверями

* ажурных, прозрачных (*франц.*),— *Ред.*

по человеку в два дня; особенно погибает много китайцев, вероятно потому, что их тут до сорока, а прочих жителей до двадцати тысяч. При нас, однако, с людьми ничего не случилось; но у одного китайца, который забрался подальше в лес, тигр утащил собаку.

Мы ехали около часа, как вдруг наши кучера в одном месте с дороги бросились и потащили лошадей и экипаж в кусты. «Куда это? уж не тигр ли встретился?» — «Нет, это аллея, ведущая к даче Вампоа».

Что это такое? как я ни был приготовлен найти что-нибудь оригинальное, как много ни слышал о том, что Вампоа богат, что он живет хорошо, но то, что мы увидели, далеко превзошло ожидание. Он тотчас повел нас показать сад, которым окружена дача. Про китайские сады говорят много хорошего и дурного. Одни утверждают, что у китайцев вовсе нет чистого вкуса, что они насилуют природу, устраивая у себя в садах миньятюрные горы, озера, скалы, что давно признано смешным и уродливым; а один из наших спутников, проживший десять лет в Пекине, сказывал, что китайцы, напротив, вернее всех понимают искусство садоводства, что они прорывают скалы, дают по произволу течение ручьям и устраивают все то, о чем сказано, но не в таких жалких, а, напротив, грандиозных размерах и что пекинские богдыханские сады представляют неподражаемый образец в этом роде. Чему верить? и тому и другому: что богдыханские сады устроены грандиознее и шире других — это понятно; что у частных людей это сжато, измельчено — тоже понятно. Но посмотрим, каков сад Вампоа.

От дома шли большею частию узенькие аллеи во все стороны, обсаженные или крупной породы деревьями, или кустами, или, наконец, цветами. Хозяин — не только охотник, но и знаток дела. Он подробно объяснил нам свойства каждого растения, которые рассажены в систематическом порядке. Не стану исчислять всего, да и не сумею, отчасти потому, что забыл, отчасти не разобрал половину английских названий хорошенько, хотя Вампоа, живущий лет двадцать в Сингапуре, говорит по-английски, как англичанин. «Вот гвоздичное, вот перцовое дерево,— говорил хозяин, подводя нас к каждому кусту,— вот саговая пальма, терновые яблоки, хлопчатобумажный куст, хлебный плод» и т. д., словом, все, что производит Индия.

Между цветами особенно интересны водяные растения, исполинские лилии и лотос: они росли в наполненной водою канаве. Замечателен также растущий в наполненной водою же громадной вазе куст, похожий немного на плющ, привезенный сюда из Китая. Кругом корня в вазе плавали золотые рыбки. Куст этот, по объяснению хозяина, растет так сильно, что если ему дать волю, то года через два им покроется весь сад, и между тем, кроме воды, ему никакой почвы не нужно. Не знаю, правда ли это. Тут же смотрели мы красивое растение, листья которого, сначала темно-красные и угловатые, по мере созревания переходят в зеленый цвет и получают гладкую, продолговатую форму. Бамбук и бананник рассажены в саду в виде шпалеры, как загородки. Цветов не оберешься, и одни великолепнее других. Тут же было несколько гряд с ананасами.

Я не пересказал и двадцатой доли всего, что тут было: меня, как просто-

го любителя, не знатока, занимал более общий вид сада. Да, это Индия и Китай вместе. Вот эти растения, чада тропических лучей, нежно воспитанные любимцы солнца, аристократия природы! Все пышно убрано, или цветуще, или ароматично; все носит в себе тонкий дар природы, назначенный не для простых и грубых надобностей. Тут не добудешь дров и не насытишь грубого голода, не выстроишь ни дома, ни корабля: наслаждаешься этими тонкими изделиями природы как произведениями искусств. На каждом дереве и кусте лежит такая своеобразная и яркая красота, что не пройдешь мимо его незаметно, не смешаешь одного с другим. И Вампоа мастерски, с умом и любовью, расположил растения в своем саду, как картины в галерее.

Кроме растений в саду есть помещения для разных животных. Настроено несколько башенок с решетчатыми вышками для голубей, которые мельче, но пестрее и красивее наших, а для фазанов и других птиц поставлена между кустами огромная проволочная клетка. Мы вошли в нее, и испуганные павлины, цапли и еще какие-то необыкновенные белые утки с красными наростами около носа и глаз, как у пьяниц, стаей бросились от нас в разные стороны. Перешли мостик мимо водяных растений и подошли к сараю, где тоже шарахнулись по углам от нас дикие козы и малорослые олени. Особо, тут же, за проволочной дверью, сидел казуар — высокая, сильная птица с толстыми ногами и ступнями, похожими на лошадиные. Хозяин сказывал, что казуар лягается ногами почти так же сильно, как лошадь. Но при нас он выказывал себя с самой смешной стороны. Когда мы подходили к его клетке, он поспешно удалялся от нас, метался во все четыре угла, как будто отыскивая еще пятого, чтоб спрятаться; но когда мы уходили прочь, он бежал к двери, сердился, поднимал ужасную возню, топал ногами, бил крыльями в дверь, клевал ее — словом, так и просился, по характеру, в басни Крылова.

Наконец хозяин показал последний замечательный предмет — превосходную арабскую лошадь, совершенно белую, с серебристым отливом. Заметно, что он холит ее: она так же почти толста и гладка, как он сам.

Мы пошли в дом. Он еще замечательнее сада.

Из просторных сеней с резными дверями мы поднялись по деревянной, устланной циновками лестнице вверх, в полумрачные от жалюзи комнаты, сообщающиеся круглыми дверьми. Везде стены и мебель тонкой резной работы, золоченые ширмы, длинные крытые галереи, со всеми затеями утонченной роскоши; бронза, фарфор, по стенам фигуры, арабески.[30]

Европейский комфорт и восточная роскошь подали здесь друг другу руку. Это дворец невидимой феи, индийской пери,[31] самой Сакунталы,[32] может быть. Вот, кажется, следы ее ножек, вот кровать, закрытая едва осязаемой кисеей, висячие лампы и цветные китайские фонари, роскошный европейский диван, а рядом длинное и широкое бамбуковое кресло. Здесь резные золоченые колонны, служащие преддверием ниши, где богиня покоится в жаркие часы дня, под дуновением висячего веера.

Но богини нет: около нас ходит будто сам индийский идол — эмблема обилия и плодородия, Вампоа. Неужели это он отдыхает под кисеей в

нише, на него веет прохладу веер, его закрывают ревнивые жалюзи и золоченые резные ширмы от жара? Будто? А зачем же в доме три или четыре спальни? Чьи, вон это, крошечные туфли прячутся под постель? Чьи это мелочи, корзиночки? Кто тут садится около круглого стола, на котором разбросаны шелк, нитки и другие следы рукоделья?

Все комнаты оживлены чьим-то таинственным присутствием: много цветов, китайская библиотека, вазы, ларчики. Мы приездом своим как будто спугнули кого-то. Но в доме не слыхать ни шороха, ни шелеста. А вон два-три туалета: нет сомнения, у Вампоа есть жена, может быть две-три. Где ж они? Что́ эта вилла без них, с своей позолотой, огромными зеркалами, резными шкафами и другими чудесами китайской природы и искусства, не исключая и хозяина?

Хозяин пригласил нас в гостиную, за большой круглый стол, уставленный множеством тарелок и блюд с свежими фруктами и вареньями. Потом слуги принесли графины с хересом, портвейном и бутылки с элем. Мы попробовали последнего и не могли опомниться от удовольствия: пиво было холодно, как лед, так что у меня заныл зуб. Подали воды, тоже прехолодной. Хозяин объяснил, что у него есть глубокие подвалы; сверх того, он нарочно велел нахолодить пиво и воду селитрой.

Мы стали сбираться домой, обошли еще раз все комнаты, вышли на идущие кругом дома галереи: что за виды! какой пламенный закат! Какой пожар на горизонте! В какие краски оделись эти деревья и цветы! как жарко дышат они! Ужели это то солнце, которое светит у нас? Я вспомнил косвенные, бледные лучи, потухающие на березах и соснах, остывшие с последним лучом нивы, влажный пар засыпающих полей, бледный след заката на небе, борьбу дремоты с дрожью в сумерки и мертвый сон в ночи усталого человека — и мне вдруг захотелось туда, в ту милую страну, где... похолоднее.

Мы уехали. Дорогой я видел, как сквозь багровое зарево заката бледно мерцали уже звезды, готовясь вдруг вспыхнуть, лишь только исчезнет солнце. Скоро яркий пурпурный блеск уступил мягким, нежным тонам, и мы еще не доехали до города, как небо, лес — все стало другое.

В городе уже сияли огни; особенно ярко освещаются китайские ряды разноцветными бумажными фонарями. На эспланаде, под банианом, гремела музыка. Мы остановились тут и пробыли до глубокой ночи. В темноте я наткнулся на какого-то француза, с которым разговорился о городе, о жителях, о стране. Я спросил его, между прочим, как четыреста человек европейцев мирно уживаются с шестьюдесятью тысячами народонаселения, при резком различии их в вере, понятиях, цивилизации? Он сказал, что полиция, которая большею частью состоит из сипаев, то есть служащих в английском войске индийцев, довольно многочисленна и бдительна, притом все цветные племена питают глубокое уважение к белым.

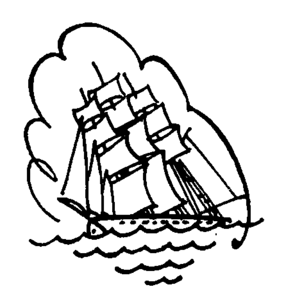
В начале июля мы оставили Сингапур. Недели было чересчур много, чтоб познакомиться с этим местом. Если б мы еще остались день, то не знали бы, что делать от скуки и жара. Нет, Индия не по нас! И англичане бегут из нее, при первом удобном случае, спасаться от климата, на мыс

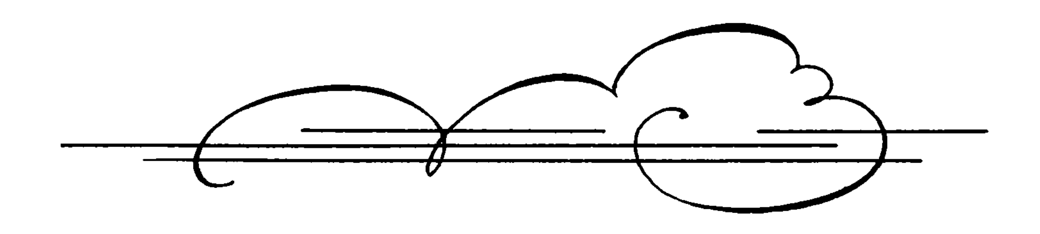
Доброй Надежды, в порт Джаксон — словом, дальше от экватора, от этих палящих дней, от беспрохладных ночей, от мест, где нельзя безнаказанно есть и пить, как едят и пьют англичане.

Я рад, что был в Сингапуре, но оставил его без сожаления; и если возвращусь туда, то без удовольствия и только поневоле.

До свидания.

Китайское море.
Июль, 1853 года.





VII

ГОН-КОНГ

Вид рейда и города.— Улица с дворцами и китайский квартал.— Китайцы и китаянки.— Клуб и казармы.— Посещение фрегата епископом и генерал-губернатором.— Заведение Джердина и Маттисона.

Я не писал к вам из Гон-Конга (или, правильнее, по-китайски: Хонкона): не было возможности писать — так жарко. Я не понимаю, как там люди сидят в конторах, пишут, считают, издают журналы! Солнце стояло в зените, когда мы были там, лучи падали прямо — прошу заняться чем-нибудь! Пишу теперь в море и не знаю, когда и где отправлю письмо; разве из Китая; но в Китай мы пойдем уже из Японии. Все равно: я хочу только сказать вам несколько слов о Гон-Конге, и то единственно по обещанию говорить о каждом месте, в котором побываем, а собственно о Гон-Конге сказать нечего, или если уже говорить как следует, то надо написать целый торговый или политический трактат, а это не мое дело: помните уговор — что писать!

С первого раза, как станешь на гон-конгский рейд, подумаешь, что приехал в путное место: куда ни оглянешься, все высокие зеленые холмы, без деревьев правда, но приморские места, чуть подальше от экватора и тропиков, почти все лишены растительности. Подумаешь, что деревья там где-нибудь, подальше, в долинах: а здесь надо вообразить их очень подальше, без надежды дойти или доехать до них. Глядите на местность самого островка Гон-Конга, и взгляд ваш везде упирается, как в стену, в красно-желтую гору, местами зеленую от травы. У подошвы ее, по берегу, толпятся домы, и между ними, как напоказ, выглядывают кое-где пучки банановых листьев, которые сквозят и желтеют от солнечных лучей, да еще видна иногда из-за забора, будто широкая метла, верхушка убитого солнцем дерева.

Зато песку и камней неистощимое обилие. Англичане сумели воспользоваться и этим материалом. На высотах горы, в разных местах вы видите

Гонконг. Литография. ИРЛИ. Ленинград.

то одиноко стоящий каменный дом, то расчищенное для постройки место: труд и искусство дотронулись уже до скал. Поглядев на великолепные домы набережной, вы непременно дорисуете мысленно вид, который примет со временем и гора. Китайцам, конечно, не грезилось, когда они, в 1842 году, по нанкинскому трактату,[1] уступали англичанам этот бесплодный камень, вместо цветущего острова Чусана, во что превратят камень рыжие варвары. Еще менее грезилось, что они же, китайцы, своими руками и на свою шею, будут обтесывать эти камни, складывать в стены, в брустверы, ставить пушки...

Все это сделано. Город Виктория состоит из одной, правда, улицы, но на ней почти нет ни одного дома; я ошибкой сказал выше *домы*: это все дворцы, которые основаниями своими купаются в заливе. На море обращены балконы этих дворцов, осененные теми тощими бананами и пальмами, которые видны с рейда и которые придают такой же эффект пейзажу, как принужденная улыбка грустному лицу.

Дня три я не сходил на берег: нездоровилось и не влекло туда, не веяло свежестью и привольем. Наконец, на четвертый день, мы с Посьетом поехали на шлюпке, сначала вдоль китайского квартала, состоящего из двух частей народонаселения: одна часть живет на лодках, другая в домишках, которые все сбиты в кучу и лепятся на самом берегу; а иные утверждены на сваях, на воде. Лодки, с семействами, стоят рядами на одном месте или разъезжают по рейду, занимаясь рыбной ловлей, торгуют, не то так перевозят людей с судов на берег и обратно. Все они с навесом, вроде кают. Везде увидишь семейные сцены: обедают, занимаются рукодельем, или мать кормит грудью ребенка.

Мы пристали к одной из множества пристаней европейского квартала, и сквозь какой-то купеческий дом, через толпу китайцев, продавцов и носильщиков (кули), сквозь все возможные запахи протеснились на улицу, думая там вздохнуть свободно. Но, потянув воздух в себя, мы глотнули будто горячего пара, сделали несколько шагов и уже должны были подумать об убежище, куда бы укрыться в настоящую, прохладную тень, а не ту, которая покоилась по одной стороне великолепной улицы. Солнце жжет и в тени. Мы добежали до какого-то магазина, где навалены тюки всяких товаров и где на полках, между прочим, стояли и аптекарские материалы. Тут же продавали почему-то содовую воду, limonade gazeuse. Англичане и здесь пьют его с примесью brandy, то есть коньяку, для уравновешения будто бы внешней температуры с внутренней.

Я и прежде слыхал об этом способе уравновешения температур, но, признаюсь, всегда подозревал в этом лукавство: случалось мне видеть у нас, в России, что некоторые, стыдясь выпить откровенно рюмку водки, особенно вторую или третью, прикрываются локтем или рукавом: это, кажется, то же самое. Иные даже приправляют лукавство свое ссылкой на то, что ром и коньяк даны-де жарким климатам нарочно для этого уравновешения... Не советую прибегать к такому способу: это значит портить свежесть желудка усиленным раздражением, учетверить силу жара и изнемочь под бременем его. Я послушался однажды и для опыта попробовал уравновесить две температуры и создал себе на целый день невыноси-

мую пытку. Некуда было деться, нечем залить палящую сухость рта и желудка.

Напротив, при воздержании от мяса, от всякой тяжелой пищи, также от пряностей (нужды нет, что они тоже родятся в жарких местах), а более всего от вина, легко выносишь жар; грудь, голова и легкие — в нормальном состоянии, и зной «допекает» только снаружи. Я уверен, что если постоянно употреблять в пищу рис, зелень, немного рыбы и живности, то можно сносить так же легко жар, как и в России. Но... но П. А. Тихменев не дает жить, даже в Индии и Китае, как хочется: он так подозрительно смотрит, когда откажешься за обедом от блюда баранины или свинины, от слоеного пирога — того и гляди обидится и спросит: «Разве дурна баранина, черств пирог?» или патетически воскликнет, обратясь ко всем: «Посмотрите, господа: ему не нравится стол! Если мои распоряжения дурны, если я не способен, не умею, так изберите другого...» Нет, уж пусть будет томить жар — куда ни шло!

Отдохнув, мы пошли опять по улице, глядя на дворцы, на великолепные подъезды, прохладные сени, сквозные галереи, наглухо запертые окна. В домах не видать признака жизни, а между тем в них и из них вбегают и выбегают кули, тащат товары, письма, входят и выходят англичане, под огромными зонтиками, в соломенных или полотняных шляпах, и все до одного, и мы тоже, в белых куртках, без жилета, с едва заметным признаком галстука. Конторы все отперты настежь: там китайцы, под присмотром англичан, упаковывают и распаковывают тюки, складывают в груды и несут на лодки, а лодки везут к кораблям. Китайцы одни бестрепетно наполняют улицы, сидят кучами у подъездов, ожидая работы, носят в паланкинах европейцев. Всюду мелькают их голые плечи, спины, ноги и головы, покрытые только густо сложенной в два ряда косой.

Мы дошли до китайского квартала, который начинается тотчас после европейского. Он состоит из огромного ряда лавок, с жильем вверху, как и в Сингапуре. Лавки небольшие, с материями, посудой, чаем, фруктами. Тут же помещаются ремесленники, портные, сапожники, кузнецы и прочие. У дверей сверху до полу висят вывески: узенькие, в четверть аршина, лоскутки бумаги с китайскими буквами. Продавцы, все решительно голые, сидят на прилавках, сложа ноги под себя.

Мы зашли в лавку с фруктами, лежавшими грудами. Кроме ананасов и маленьких апельсинов, называемых мандаринами, все остальные были нам неизвестны . Ананасы издавали свой пронзительный аромат, а от продавца несло чесноком, да тут же рядом, из лавки с съестными припасами, примешивался запах почти трупа от развешенных на солнце мяс, лежащей кучами рыбы, внутренностей животных и еще каких-то предметов, которые не хотелось разглядывать.

Добрый Константин Николаевич перепробовал, по моей просьбе, все фрукты и верно передавал мне понятие о вкусе каждого. «Это сладко с приятной кислотой, а это дряблый, невкусный; а этот,— говорил он про какой-то небольшой, облеченный красной кожицей плод, больше похожий на ягоду,— отзывается печеным луком» и т. д.

Мы дошли по китайскому кварталу до моря и до плавучего населения;

потом поднялись на горку и углубились в переулок — продолжение китайского квартала. Там такие же лавки, такая же нечистота. Здесь, в этом чаду криков, запахов, в тесноте, среди клетушек и всякой всячины, наваленной грудами, китайцы как-то веселее, привольнее смотрят: они тут учредили свой маленький Китай — и счастливы! В европейском квартале простор, свежесть, чистота и великолепие стесняют их; они похожи там на рыб, которых из грязной, болотной речки пересадили в фарфоровый бассейн, наполненный прозрачною водою: негде спрятаться, приютиться, стянуть, надуть, выпачкаться и выпачкать ближнего.

Обойдя быстро весь квартал, мы уперлись в гору, которая в этом месте была отрезана искусственно и состояла из гладкой отвесной стены; тут предполагалась новая улица. Здесь толпился целый полк рабочих; они рыли землю, обтесывали камни, возили мусор. Это все переселенцы из португальской колонии Макао. Едва англичане затеяли здесь поселение и кликнули клич, как Макао опустел почти совсем. Работа, следовательно хлеб и деньги, переманили сюда до тридцати тысяч китайцев. Вместо нищенства в Макао они предпочли здесь бесконечный труд и неиссякаемую плату. Их не испугали свирепствовавшие вначале эпидемические лихорадки. Они, под руководством англичан, принялись очищать и осушать почву: эпидемия унялась, и переселение усилилось.

Мы спустились с возвышения и вошли опять в китайский квартал, прошли, между прочим, мимо одного дома, у окна которого голый молодой китаец наигрывал на инструменте, вроде гитары, скудный и монотонный мотив. Из-за него выглядывало несколько женщин. Не все, однако ж, голые китайцы ходят по городу: это только носильщики, чернорабочие и сидельцы в лавках. Повыше сословия одеты прилично; есть даже франты, в белоснежных кофтах и в атласных шароварах, в туфлях на толстой подошве, и с косой, черной, густой, лоснящейся и висящей до пяток, с богатым веером, которым они прикрывают голову от солнца. Женщины попроще ходят по городу сами, а тех, которые богаче или важнее, водят под руки. Ноги у всех более или менее изуродованы;[2] а у которых «от невоспитания, от небрежности родителей» уцелели в природном виде, те подделывают, под настоящую ногу, другую, искусственную, но такую маленькую, что решительно не могут ступить на нее, и потому ходят с помощью прислужниц. Несмотря на длинные платья, в которые закутаны китаянки от горла до полу, я случайно, при дуновении ветра, вдруг увидел хитрость. Женщины, с оливковым цветом лица и с черными, немного узкими глазами, одеваются больше в темные цвета. С прической á la chinoise * и роскошной кучей черных волос, прикрепленной на затылке большой золотой или серебряной булавкой, они не неприятны на вид.

Мы едва добрались до европейского квартала и пошли в отель, содержимую поляком. Он сказал, что жил года два в Москве, когда ему было лет четырнадцать, а теперь ему более сорока лет. Я хотел заговорить с ним по-русски, но он не помнит ни слова. В закрытой от жара комнате

---

* на китайский манер (*франц.*),— *Ред.*

нам подали на завтрак, он же и обед, вкусной нежной рыбы и жесткой ветчины, до которой, однако, мы не дотрогивались. Посьет сел потом в паланкин и велел нести себя к какому-то банкиру, а я отправился дальше по улице к великолепным, построенным четыреугольником казармам. Я прошел бульвар с тощими, жалкими деревьями и пошел по взморью. Стало не так жарко, с залива веяло прохладой. На набережной я увидел множество крупных красных насекомых, которые перелетали с места на место: мне хотелось взять их несколько и принести Гошкевичу. Гоняясь за ними, я нечувствительно увлекся в ворота казарм и очутился на огромном дворе, который служит плац-парадом для ученья полка.

Меня с балкона увидели английские офицеры, сошли вниз и пригласили войти к ним, to drink a glass of wine (на рюмку вина). Мы вошли в одну из комнат, в которой мебель, посуда — все подтвердило то, что говорят о роскоши образа жизни офицеров. Серебро и тончайшее белье — обыкновенная сервировка их месс и обеденных столов. Офицеры содержат общий стол и так строго придерживаются этого офицерско-семейного образа жизни, что редко отлучаются от обеда. Кругом всего здания идет обширный каменный балкон, или веранда, где, в бамбуковых креслах лениво дремлют в часы сьесты хозяева казарм. Я отказался от вина, и меня угостили лимонадом.

Поздно вечером, при водворившейся страстной, сверкающей и обаятельной ночи, вернулся я к пристани, где застал и Посьета, ожидающего шлюпки. Между тем тут стояла китайская лодка; в ней мы увидели, при лунном свете, две женские фигуры. «Зачем шлюпка? — сказал я,— вот перевозчицы: сядем». Мы сели, и обе женщины, ухватясь за единственное весло, прикрепленное к корме, начали живо поворачивать им направо и налево. Луна светила им прямо в лицо: одна была старуха, другая лет пятнадцати, бледная, с черными, хотя узенькими, но прекрасными глазами; волосы прикреплены на затылке серебряной булавкой. «Везите на русский фрегат!» — сказали мы. «Two shillings!» (два шиллинга),— объявила цену молодая. «Сто фунтов стерлингов такой хорошенькой!» — сказал мой товарищ. «Дорого»,— заметил я. «Two shillings!» — повторила она монотонно. «Ты не здешняя, должно быть, потому что слишком бела? Откуда ты? Как тебя зовут?» — допрашивал Посьет, стараясь подвинуться к ней поближе. «Я из Макао; меня зовут Этола»,— отвечала она по-английски, скрадывая, по обыкновению китайцев, некоторые слоги «Two shillings»,— прибавила потом, помолчав. «Какая хорошенькая! — продолжал мой товарищ,— покажи руку, скажи, который тебе год? Кто тебе больше нравится: мы, англичане или китайцы?» — «Two shillings»,— отвечала она. Мы подъехали к фрегату; мой спутник взял ее за руку а я пошел уже на трап. «Скажи мне что-нибудь, Этола?» — говорил он ей держа за руку. Она молчала. «Скажи же, что ты...» — «Two shillings»,— повторила она. Я со смехом, а он со вздохом отдали деньги и разошлись по своим каютам.

И здесь, как в Англии и в Капштате, предоставили нам свободный вход в клуб. Клуб — это образцовый дворец в своем роде: учредители не пощадили издержек, чтоб придать помещению клуба такую же роскошь,

какая заведена в лондонских клубах. Несколько больших зал обращены окнами на залив; веранда, камины, окна обложены мрамором; везде бронза, хрусталь; отличные зеркала, изящная мебель — все привезено из Англии. Но — увы! залы стоят пустые; насилу докличетесь сонного слуги-китайца, закажете обед и заплатите втрое против того, что он стоит тут же рядом, в трактире. Клуб близок к банкротству. Европейцы сидят большую часть дня по своим углам, а по вечерам предпочитают собираться в семейных кружках — и клуб падает. Но что за наслаждение покоиться на этой широкой веранде под вечер, когда ночная прохлада сменит зной!

В шесть часов вечера все народонаселение высыпает на улицу, по взморью, по бульвару. Появлются пешие, верховые офицеры, негоцианты, дамы. На лугу, близ дома губернатора, играет музыка. Недалеко оттуда, на горе, в каменном доме, живет генерал, командующий здешним отрядом, и тут же близко помещается в здании, вроде монастыря, итальянский епископ с несколькими монахами.

Наши уехали в Кантон, а я в это время лежал в лихорадке и в полусне слышал, как спускали катер. Меня разбудил громовой удар; гроза разразилась в минуту отъезда наших. Оправясь, я каждый день ездил на берег, ходил по взморью и нетерпеливо ожидал дня отъезда. На фрегат ездили ежедневно посетители с берега, которых я должен был принимать. Между прочим, однажды приехали два монаха, от имени епископа, и объявили, что вслед за ними явится и сам монсеньор. Но у нас, на фрегате, пользуясь отсутствием адмирала и капитана, конопатили палубу в их каютах; пакля лежала кучами; все щели залиты смолой, которая еще не высохла. Я убедил монахов попросить епископа отложить свое посещение до приезда адмирала.

По приезде адмирала епископ сделал ему визит. Его сопровождала свита из четырех миссионеров, из которых двое были испанские монахи, один француз и один китаец, учившийся в знаменитом римском училище пропаганды.[3] Он сохранял свой китайский костюм, чтоб свободнее ездить по Китаю, для сношений с тамошними христианами и для обращения новых. Все они завтракали у нас; разговор с епископом, итальянцем, происходил на французском языке, а с китайцем отец Аввакум говорил по-латыни.

Вслед за ними посетил нас английский генерал-губернатор (governor of the strait — губернатор пролива, то есть гон-конгский), он же и полномочный от Англии в Китае. Зовут его сэр Бонэм (sir Bonham). Ему отданы были те же почести, какими он встретил нашего адмирала на берегу: играла музыка, палили из пушек.

Я ходил часто по берегу, посещал лавки, вглядывался в китайскую торговлю, напоминающую во многом наши гостиные дворы и ярмарки, покупал разные безделки, между прочим чаю — так, для пробы. Отличный чай, какой у нас стоит рублей пять, продается здесь (это уж из третьих или четвертых рук) по тридцати коп. серебром и самый лучший по шестидесяти коп. за английский фунт. Сигары здесь манильские, самый низший сорт, чируты, и из Макао; последние решительно никуда не годятся.

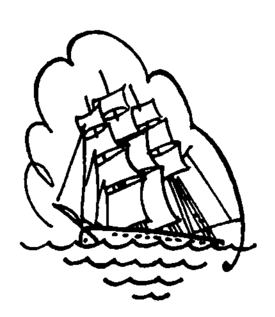
Накупив однажды всякой всячины, я отдал все это кули, который положил покупки в корзину и пошел за мной. Но Фаддеев, бывший со мной, не вытерпел этого, вырвал у него корзину и понес сам. Я никак не мог вселить в него желания сыграть роль иностранца и барина, и все шествие наше до пристани было постоянной дракой Фаддеева с кули, за корзинку. Я нанял лодку и посадил в нее Фаддеева, но и кули последовал за ним и возобновил драку. Китайцы с лодок подняли крик; кули приставал к Фаддееву, который, как мандарин, уселся было в лодку и ухватил обеими руками корзину. Лодочник не хотел везти, ожидая окончания дела. Фаддеев пошел было с корзиной опять на берег — его не пускают. «Позволь, ваше высокоблагородие, я их решу»,— сказал он, взяв одной рукой корзину, а другою энергически расталкивая китайцев, и выбрался на берег. Я ушел, оставя его разведываться как знает, и только издали видел, как он, точно медведь среди стаи собак, отбивался от китайцев, колотя их по протянутым к нему рукам. Потом видел уж его, гордо удалявшегося на нашей шлюпке, с одними покупками, но без корзины, которая принадлежала кули и была предметом схватки, по нашей недогадливости.

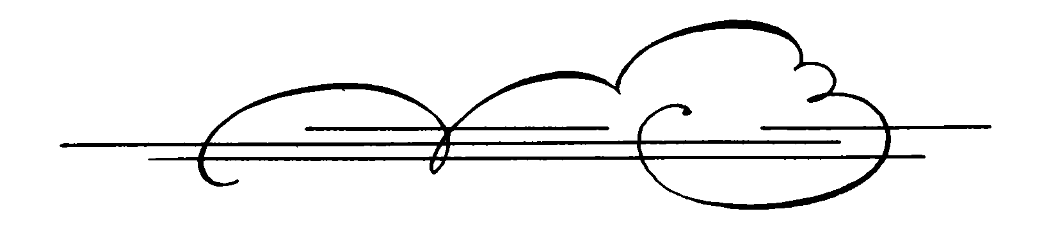
В одном углу обширного гон-конгского рейда устроено торговое заведение, с верфью, Джердина и Маттисона. Мы вчетвером поехали осмотреть этот образчик неутомимой энергии и неутолимой жадности и предприимчивости англичан. Стен Биль, командир датского корвета «Галатея», полагает, что англичане слишком много посадили в Гон-Конг труда и денег и что предприятие не окупится. По занятии этого острова сюда бросились купцы из Калькутты, из Сингапура, и некоторые из них убили все свои капиталы, надеясь на близость китайского рынка и на сбыт опиума. Но до сих пор это не оправдывается. Может быть, опасение за торговую нерасчетливость какого-нибудь Джердина и справедливо, но зато обладание Гон-Конгом, пушки, свой рейд — все это у порога Китая — обеспечивает англичанам торговлю с Китаем навсегда, и этот островок будет, кажется, вечным бельмом на глазу китайского правительства.

В заведении Джердина выстроен дворец, около него разбит сад и парк; другие здания возводятся. При нас толпы работников мостили на грунт плиты; у берега стояло несколько судов. Полудня еще не было, когда мы вошли на пристань и поспешно скрылись в слабую тень молодого сада. Стрекотанье насекомых, с приближением полудня, было так сильно, что могло поспорить с большим оркестром. Мы, утомленные, сидели на скамье, поглядывая на стеклянные двери дворца и ожидая, не выйдет ли гостеприимный хозяин, не позовет ли в сень мраморных зал, не даст ли освежиться стаканом лимонада? Но двери были заперты, никто не показывался. Доктор наш неутомимо преследовал насекомых, особенно больших черных точно из бархата, бабочек. Возвращаясь на пристань, мы видели в толпе китайцев женщину, которая, держа голого ребенка на руках, мочила пальцы во рту и немилосердно щипала ему спину вдоль позвоночного хребта. Ребенок барахтался, отчаянно визжал. Наказанье это или леченье?

Однако нет возможности писать: качка ужасная; командуют «четвертый риф брать». С мыса Доброй Надежды такого шторма не было. Пойду посмотрю, что делается...

Китайское море.
8-го июня.





VIII

ОСТРОВА БОНИН-СИМА

Китайское море. — Шквалы. — Выход в Тихий океан. — Ураган. — Штили и жары. — Остров Пиль, порт Ллойд. — Корвет «Оливуца» и транспорт Американской компании «Князь Меншиков». — Курьеры из России. — Поселенцы. — Прогулка, обед и вечер на берегу.

С 26 июня по 4 августа 1853 года.

Конечно, всякому из вас, друзья мои, случалось, сидя в осенний вечер дома, под надежной кровлей, за чайным столом или у камина, слышать, как вдруг пронзительный ветер рванется в двойные рамы, стукнет ставнем и иногда сорвет его с петель, завоет, как зверь,[1] пронзительно и зловеще в трубу, потрясая вьюшками; как кто-нибудь вздрогнет, побледнеет, обменяется с другими безмолвным взглядом или скажет: «Что теперь делается в поле? Боже сохрани, застанет непогода!»

Представьте себе этот вой ветра, только в десять, в двадцать раз сильнее, и не в поле, а в море — и вы получите слабое понятие о том, что мы испытывали в ночи с 8-го на 9-е и все 9-е число июля, выходя из Китайского моря в Тихий океан.

От Гон-Конга до островов Бонин-Сима, куда нам следовало идти, всего 1600 миль: это в кругосветном плавании составляет не слишком большой переход, который, при хорошем, попутном ветре, совершается в семь, восемь дней. Мы вышли из Гон-Конга 26 июня и до 5-го июля сделали всего миль триста, то есть то, что могли бы сделать в сутки с небольшим,— так задержал нас противный восточный ветер. Надоело нам лавировать, делая от восьми до двадцати верст в сутки, и мы спустились несколько к югу, в надежде встретить там другой ветер и, между прочим, зайти на маленькие острова Баши, лежащие к югу от Формозы, посмотреть, что это такое, запастись зеленью, фруктами и тому подобным. Там, говорят, живет испанский алькад,[2] несколько монахов и есть индийские деревушки.

7-го числа вечером подошли к главному из островов, Батану, на котором, по указанию Бельчера, есть якорное место. Но, обойдя остров с северной и восточной сторон, мы видели только огромный утес и белую кайму буруна, набегающего со всех сторон на берег. К нам не выехало ни одной лодки, как это всегда бывает в жилых местах; на берегу не видно было ни одного человека; только около самого берега, как будто в белых бурунах, мелькнули два огня и исчезли. Ехать было некуда, отыскивать ночью пристани — темно, а держаться до утра под парусами — не стоило.

Полюбовавшись на скалистый угрюмый утес, составляющий северную оконечность острова, мы пустились далее и вышли в Тихий океан. Тихий! Сколько раз он доказывал противное бедным плавателям, в том числе и нам, как будто мы выдумали ему это название!

Надо знать, что еще в Гон-Конге и китайцы, и европейцы говорили нам, что в этот год поджидается ураган, что ураганов не было уже года четыре. Ураган обыкновенно определяют так: это вращающийся, переходящий с румба на румб ветер. Можно определить и так: это такой ветер, который большие военные суда, купеческие корабли, пароходы, джонки, лодки и все, что попадется на море, иногда и самое море, кидает на берег, а крыши, стены домов, деревья, людей и все, что попадется на берегу, иногда и самый берег кидает в море. С нами ничего подобного этому не случилось, впрочем, может быть, оттого, что не было близко берега. Поэтому нас ветер кидал лишь по морю, играл нами, как кошка мышью; схватит, ударит с яростью о волны, поставит боком... Тут бы на дно, а он перекинет на другой бок, поднимет и поставит на минуту прямо, потом ударит сверху и погрузит судно в хлябь.[3] Волны вытолкнут его назад, а ветер заревет, закружится около, застонет, засвистит, обрызжет и обольет корабль облаком воды, вырвет парус и, торжествующий, понесется по необозримому мрачному пространству, гоня воду, как прах. Однако ничего важного не мог он сделать. Китайцы называют ураган «тайфун», то есть сильный ветер, а мы изменили это слово в тифон.

— Стало быть, всего лучше уходить в море? — сказал я негоцианту-немцу, который грозил нам ураганом.

— Бог знает, где лучше! — отвечал он. — Последний раз во время урагана потонуло до восьмидесяти судов в море, а на берегу опрокинуло целый дом и задавило пять человек; в гон-конгской гавани погибло без счета лодок, и с ними до ста человек.

Чрез несколько дней после этого разговора мы ушли. Но еще в последние дни пребывания в Гон-Конге погода значительно изменилась. Стали дуть, особенно по вечерам, северные порывистые ветры. Над окрестными горами часто показывались черные облака и проносились с дождем над рейдом. Нас, как я сказал выше, держал почти на одном месте противный восточный и северо-восточный ветер, неровный, сильный, с беспрерывными шквалами. Только и слышишь команду: «На марсофалах стоять! марсофалы отдать!». Потом зажужжит, скользя по стеньге, отданный парус, судно сильно накренится, так что схватишься за что-нибудь рукой, польется дождь, и праздничный, солнечный

день в одно мгновение обратится в будничный. Небо серо; палуба мокра; офицеры в кожаных пальто; матросы прячутся от дождя под коечные чехлы... И так десять дней!

Но вот мы вышли в Великий океан. Мы были в 21° северной широты: жарко до духоты. Работать днем не было возможности. Утомишься от жара и заснешь после обеда, чтоб выиграть поболее времени ночью. Так сделал я 8-го числа, и спал долго, часа три, как будто предчувствуя беспокойную ночь. Капитан подшучивал надо мной, глядя, как я проснусь, посмотрю сонными глазами вокруг и перелягу на другой диван, ища прохлады. «Вы то на правый, то на левый галс ложитесь!» — говорил он.

Вечером задул свежий ветер. Я напрасно хотел писать: ни чернильница, ни свеча не стояли на столе, бумага вырывалась из-под рук. Успеешь написать несколько слов и сейчас протягиваешь руку назад — упереться в стену, чтоб не опрокинуться. Я бросил все и пошел ходить по шканцам; но и то не совсем удачно, хотя я уже и приобрел *морские ноги.*

Иногда бросало так, что надо было крепко ухватиться или за пушечные тали, или за первую попавшуюся веревку. Ветер между тем завывал больше и больше. У меня дверь была полуоткрыта, и я слышал каждый шум, каждое движение на палубе: слышал, как часа в два вызвали подвахтенных брать рифы, сначала два, потом три, спустили брам-реи, а ветер все крепче. Часа в три утра взяли последний риф и спустили брам-стеньги. Начались сильные размахи. В моей маленькой каюте нельзя было оставаться, особенно в постели: качнет к изголовью — к голове приливает кровь; качнет назад — поползешь совсем, с подушками, к стенке. Все, что расставлено на полках, повешено на гвоздях, лежало в комодах,— все по обыкновению заходило, зашевелилось. Книги валились на пол и на постель; щетки, фуражки сыпались сверху; стаканы и сткляночки звенели и разбивались. Между тем рассвело. Я встал и вышел на палубу. Там были решительно все. Волны ходили выше сеток и заглядывали, как живые, на палубу, точно узнать, что тут делается. Качка и размахи увеличивались. «До чего же это наконец дойдет?» — подумаешь, следя за прогрессивной силой ветра.

Вот отец Аввакум, бледный и измученный бессонницей, вышел и сел в уголок на кучу снастей; вот и другой и третий, все невыспавшиеся, с измятыми лицами. Надо было держаться обеими руками: это мне надоело, и я ушел в свой любимый приют, в капитанскую каюту.

Ветер ревел; он срывал вершины волн и сеял их по океану, как сквозь сито: над волнами стояли облака водяной пыли. Опять я поверил тут свое прежнее сравнение и нашел его верным: да, это толпа диких зверей, терзающих, в ярости, друг друга. Точно несколько львов и тигров бросаются, вскакивают на дыбы, чтоб впиться один в другого, и мечутся кверху, а там вдруг целой толпой шарахнулись вниз — только пыль столбом стоит поверх, и судно летит туда же за ними, в бездну, но новая сила толкает его опять вверх и потом становит боком. Вот шлюпка затрещала на боканцах; двое, трое, в том числе, кажется, и я,

быстро двинулись из того угла в другой. Тут громадный вал вдруг ударил в сетки, перескочил через борт и разлился по палубе, облив ноги матросам. Горизонт весь в серой пыли. Правильного волнения почти нет: вода бурлит, как кипяток; волны потеряли очертания.

Беспрестанно ходили справляться к барометру. «Что, падает?» 30 и 15. Опять — 29 и 75, потом 29 и 45, потом 29 и 30—29 и 15 — наконец 28/42. Он падал быстро, но постепенно, по одной сотой, и в продолжение суток с 30/75 упал до 28/42. Когда дошел до этой точки, ветер достиг до крайних пределов свирепости.

Орудия закрепили тройными талями и, сверх того, еще занесли кабельтовым, и на этот счет были довольно покойны. Качка была ужасная. Вещи, которые крепко привязаны были к стенам и к полу, отрывались и неслись в противоположную сторону, оттуда назад. Так, задумали оторваться три массивные кресла в капитанской каюте. Они рванулись, понеслись, домчались до средины; тут крен был так крут, что они скакнули уже по воздуху, сбили столик перед диваном и, изломав его, изломавшись сами, с треском упали все на диван. Вбежали люди, начали разбирать эту кучу обломков, но в то же мгновение вся эта куча, вместе с людьми, понеслась назад, прямо в мой угол: я только успел вовремя подобрать ноги. Рюмки, тарелки, чашки, бутылки в буфетах так и скакали со звоном со своих мест.

Картины на стенах качались, описывая дугу почти в 45°. Фаддеев принес было мне чаю, но, несмотря на свою *остойчивость*, на пятках, задом помчался от меня прочь, оставляя следом по себе куски сахару, хлеба и черепки блюдечка. Я не мог сделать шагу и не ходил обедать. Можете себе представить, каково было, не евши, сидеть и держаться, чтоб не полететь из своего угла. Окна в каюте были отворены настежь, и море было пред моими глазами во всей своей дикой красе. Только в одни эти окна, или порты по-морскому, и не достигала вода, потому что они были высоко; везде же в прочих местах полупортики были *задраены* наглухо деревянными заставками, иначе стекла летят вдребезги, и при крене вал за валом вторгается в судно. В кают-компании, в батарейной палубе вода лилась ручьями и едва успевала стекать в трюм. Везде мокро, мрачно, нет убежища нигде, кроме этой верхней каюты. Но и тут надо было наконец закрыть окна: ветер бросал верхушки волн на мебель, на пол, на стены. Вечером буря разыгралась так, что нельзя было расслышать, гудит ли ветер, или гремит гром. Вдруг сделалась какая-то суматоха, послышалась ускоренная команда, лейтенант Савич гремел в рупор над ревом бури.

— Что такое? — спросил я кого-то.

— Фок разорвало,— говорят.

Спустя полчаса трисель вырвало. Наконец разорвало пополам и формарсель. Дело становилось серьезное; но самое серьезное было еще впереди. Паруса кое-как заменили другими. Часов в семь вечера вдруг на лицах командиров явилась особенная заботливость — и было от чего. Ванты ослабели, бензеля поползли, и грот-мачта зашаталась, грозя рухнуть.

Знаете ли вы, что такое грот-мачта и что ведет за собой ее падение? Грот-мачта — это бревно, фут во сто длины и до 800 пуд весом, которое держится протянутыми с вершины ее к сеткам толстыми смолеными канатами, или вантами. Представьте себе, что какая-нибудь башня, у подножия которой вы живете, грозит рухнуть; положим даже, вы знаете, в которую сторону она упадет, вы, конечно, уйдете за версту; а здесь, на корабле!.. Ожидание было томительное, чувство тоски невыразимое. Конечно, всякий представлял, как она упадет, как положит судно на бок, пришибет сетки (то есть край корабля), как хлынут волны на палубу: удастся ли обрубить скоро подветренные ванты, чтобы вдруг избавить судно от напора тяжести на один бок. Иначе оно, черпнув глубоко бортом, может быть, уже не встанет более...

У всякого в голове, конечно, шевелились эти мысли, но никто не говорил об этом и некогда было: надо было действовать — и действовали. Какую энергию, сметливость и присутствие духа обнаружили тут многие! Савичу точно праздник: выпачканный, оборванный, с сияющими глазами, он летал всюду, где ветер оставлял по себе какой-нибудь разрушительный след.

Решились не допустить мачту упасть и в помощь ослабевшим вантам «заложили сейтали» (веревки с блоками). Работа кипела, несмотря на то, что уж наступила ночь. Успокоились не прежде, как кончив ее. На другой день стали вытягивать самые ванты. К счастию, погода стихла и дала исполнить это, по возможности, хорошо. Сегодня мачта почти стоит твердо; но на всякий случай заносят пару лишних вант, чтоб новый крепкий ветер не застал врасплох.

Мы отдохнули, но еще не совсем. Налети опять такая же буря — и поручиться нельзя, что будет. Все глаза устремлены на мачту и ванты. Матросы, как мухи, тесной кучкой сидят на вантах, тянут, крутят веревки, колотят деревянными молотками. Все это делается не так, как бы делалось стоя на якоре. Невозможно: после бури идет сильная зыбь: качка, хотя и не прежняя, все продолжается. До берега еще добрых 500 миль, то есть 875 верст. Многие похудели от бессонницы, от усиленной работы и бродили как будто на другой день оргии. И теперь вспомнишь, как накренило один раз фрегат, так станет больно, будто вспомнишь какую-то обиду. Сердце хранит долго злую память о таких минутах!

16 июля. Я писал, что 9 числа оставалось нам около 500 миль до Бонин-Сима: теперь 16 число, а остается тоже 500... ну хоть 420 миль, стало быть, мы сделали каких-нибудь миль семьдесят в целую неделю: да, не более. После шторма наступил штиль... Что это за штука! Тихий океан решительно издевается над нами: тут он вздумал доказать нам, что он в самом деле тихий. Необъятная масса колебалась целиком, то закрывая, то открывая горизонт, но не прибавляя нам хода. Жарко, движения в атмосфере нет, а между тем иногда вдруг появлялись грозные и мрачные тучи. На судне готовились к перемене, убирали паруса: но тучи разрешались маленьким дождем, и штиль продолжал свирепствовать. Кроме того, что изменялись соображения в плане плава-

ния, дело на ум не шло, почти не говорили друг с другом. Встанут утром: «Что, сколько хода?» — «Полтора узла»,— отвечают. «На румбе?» — «Нет, согнало на зюйд». И опять повесили голову. Иной делает догадки: «Тихо, тихо,— говорит,— а потом, видно, хватит опять!» В эту минуту учат ружейной пальбе: стукотня такая, что в ушах трещит. Жарко, скучно, но... что притворяться: все это лучше качки, мокроты, ломки. До свидания.

21-го. Здравствуйте! Недалеко ушли: еще около трехсот миль остается. Тишь мертвая, жар невыносимый; все маются, ищут немного прохлады, чтоб вздохнуть свободнее — а негде. В каютах духота, на палубе палит. Почти все прихварывают: редко кто не украшен сыпью или вередами от жара; у меня желудочная лихорадка и рожа на ноге. Я слег; чувствую слабость, особенно в руках и ногах, от беспрерывных усилий держаться, не упасть. Но я голоден, потому что есть было почти нельзя. А сколько перебилось, переломалось и подмокло всякого добра! Вчера все мокрое вынесли на палубу: что за картина! что за безобразие! Тут развешено платье и белье, там ковры, книги, матросская амуниция, подмокшие сухари — все это разложено, развешено, в пятнах, в грязи, сыростью несет, как из гнилого подвала; на юте чинят разорванные паруса.

Мы счастливы тем, что скоро вырвались из-за черты урагана и потому дешево отделались. Следили каждое явление и сравнивали с описаниями: вихрь задул от W, потом перешел к SW; мы взяли на O и пересекли дугу. Находясь в средине этого магического круга, захватывающего пространство в несколько сот миль, не подозреваешь по тишине моря и ясности неба, что находишься в объятиях могучего врага, и только тогда узнаёшь о нем, когда он явится лицом к лицу, когда раздастся его страшный свист и гул, начнется ломка, треск, когда застонет и замечется корабль...

До свидания. Пойду уснуть, я еще не оправился совсем.

Штили! Ах, если б вы знали, что это за наказание! Оно, конечно, лучше жестокой качки, но все несносно! Вчера оставалось двести пятьдесят миль; и сегодня остается столько же, и завтра, по-видимому, опять! А дунь ветерок, этого расстояния не хватит и на сутки. Кажется, тут бы работать: нет, однообразие и этот неподвижный покой убивает деятельность, да к этому еще жара, духота, истощение свежих припасов. Вдруг кто-нибудь скажет: «Задувает, кажется» — и все оживятся, радость! Ничего не бывало: это так показалось. Другой, также от нечего делать, пророчит: «Завтра будет перемена, ветер: горизонт облачен». Всем до того хочется дальше, что уверуют и ждут — опять ничего. Однажды вдруг мы порадовались было: фрегат пошел восемь узлов, то есть четырнадцать верст в час; я слышал это из каюты и спросил проходившего мимо Посьета:

— Восемь узлов?

— Нет, три,— сказал он,— это только на четверть часа фрегат взял большой ход: теперь стихает.

Наконец миль за полтораста вдруг дунуло, и я на другой день услыхал

обыкновенный шум и суматоху. Доставали канат. Все толпились наверху встречать новый берег. Каюта моя, во время моей болезни, обыкновенно полнехонька была посетителей: в ней можно было поместиться троим, а придет человек семь; в это же утро никого: все глазели наверху. Только барон Криднер, забежал на минуту.

— Узкость проходим! — сказал он и исчез.

С приходом в порт Ллойд у нас было много приятных ожиданий, оттого мы и приближались неравнодушно к новому берегу, нужды нет, что он пустой. Там ожидали нас: корвет из Камчатки, транспорт из Ситхи и курьеры из России, которые, конечно, привезли письма. Все волновались этими надеждами.

Я на другой день вышел, хромая от боли в ноге, взобрался на ют посмотреть, где мы. Мы в заливе, имеющем вид подковы, обстановленном высокими и крупными утесами, покрытыми зеленью. Два громадные камня торчали из воды в бухте, как две башни. Я еще из каюты ночью слышал, когда все утихло на фрегате, шум будто водяной мельницы Это, как я теперь увидел, буруны бешено плещутся в берег; увидел и узкость: надо проходить под боком отвесного утеса, чтобы избежать гряды видных на поверхности камней, защищающих вход от волн с океана.[4] Везде буруны да скалы: вон только кое-где белеют песок и отлогости.

«Где жилье?» — спросил я, напрасно ища глазами хижины, кровли, человека или хоть животное. Ничего не видать; но наши были уже на берегу. Вон в этой бухточке есть хижина, вон в той две, да за горой несколько избушек.

Суда здесь, курьеры здесь, а с ними и письма. Сколько расспросов, новостей! У всех письма в руках, у меня целая дюжина.

Побольше остров называется Пиль, а порт, как я сказал, Ллойд. Острова Бонин-Сима стали известны с 1829 года. Из путешественников здесь были: Бичи, из наших капитан Литке и, кажется, недавно Вонлярлярский,[5] кроме того, многие неизвестные свету англичане и американцы. Теперь сюда беспрестанно заходят китоловные суда разных наций, всего более американские. Бонин-Сима, по-китайски или по-японски, значит «безлюдные острова».

Я думал, что исполнится наконец и эта моя мечта — увидеть необитаемый остров; но напрасно: и здесь живут люди, конечно всего человек тридцать, разного рода Робинзонов, из беглых матросов и отставных пиратов, из которых один до сих пор носит на руке какие-то, выжженные порохом, знаки прежнего своего достоинства. Они разводят ям,[6] сладкий картофель, таро, ананасы, арбузы. У них есть свиньи, куры, утки. На другом острове они держат коров и быков, потому что на Пиле скот портит деревья.

Кроме всей этой живности у них есть жены, каначки или сандвичанки, да и между ними самими есть канаки, еще выходцы из Лондона, из Сан-Франциско — словом, всякий народ. Один живет здесь уже 22 года, женат на кривой пятидесятилетней каначке. Все они живут разбросанно, потому что всякий хочет иметь маленькое поле, огород,

плантацию сахарного тростника, из которого, мимоходом будь сказано, жители выделывают ром и сильно пьянствуют.

Странный остров: ни долин, ни равнин; одни горы. Как съедете, идете четверть часа по песку, а там сейчас же надо подниматься в гору и продираться сквозь непроходимый лес. Жители торгуют или по крайней мере стараются торговать с мореплавателями овощами, черепахами и тому подобными предметами; а мореплаватели, с своей стороны, стараются приобретать все даром, как пишут в «Nautical Magazine» * и как нам подтвердил и сам Севри, или Севрэ, здешний старожил. Года четыре назад приходили два китоловные судна и, постояв несколько времени, ушли, как делают все порядочные люди и корабли. Но один потерпел при выходе какое-то повреждение, воротился и получил помощь от жителей: он был так тронут этим, что, на прощанье, съехал с людьми на берег, поколотил и обобрал поселенцев. У одного забрал всех кур, уток и тринадцатилетнюю дочь, у другого отнял свиней и жену, у старика же Севри, сверх того, две тысячи долларов — и ушел. Но прибывший вслед за тем английский военный корабль дал об этом знать на Сандвичевы острова и в Сан-Франциско, и преступник был схвачен, с судном, где-то в Новой Зеландии. Нынче и на Восточном океане от полиции не уйдешь!

Я, несмотря на боль в ноге, рискнул съехать на берег. Товарищи мои вооружились топорами, а я должен был сесть на бревно (зато красного дерева) и праздно смотреть, как они прорубали себе дорожку на холм. Лес состоял из зонтичной или веерной пальмы, которой каждая ветвь похожа на распущенный веер, потом из капустной пальмы, сердцевина которой вкусом немного напоминает капусту, но мягче и нежнее ее, да еще кардамонов и томанов, как называют эти деревья жители. Томаны — это превосходное красное дерево. Тут мы нашли озерко с пресной водой, сажени в три или четыре шириной и длиной и по грудь глубиной. Матросы полоскались без милосердия. Я смотрел, как из срубленных и падающих деревьев выскакивали ящерицы. Одну кто-то из наших ударил веткой, хвост оторвался и пополз в одну сторону, а ящерица в другую. Да еще бегали по песку — сначала я думал — пауки или стоножки, а это оказались раки, всевозможных цветов, форм и величин, начиная от крошечных, с паука, до обыкновенных: розовые, фиолетовые, синие — с раковинами, в которых они прятались, и без раковин; они сновали взад и вперед по взморью, круглые, длинные, всякие.

Дня через два я опять отправился с бароном Криднером и Посьетом в другую бухточку, совсем закрывающуюся скалой. Мы проехали у подножия двух или трех утесов и пристали к песчаной отлогости, на которой стоял видный, красивый мужчина и показывал нам рукой, где лучше пристать. У него был прекрасный выпуклый профиль, нос орлиный, смелый взгляд, важная походка, без аффектации, и седые кудри почти

* «Морской журнал» (*англ.*).— *Ред.*

до плеч, хотя на вид ему не было и пятидесяти лет. У него-то на руках и были выжжены знаки, похожие на браслеты. Он встретил нас упреком, что мы не хотели его посетить, и повел к хижине. Она состояла из четырех столбов (всё красного дерева), крытых и закрытых со всех сторон сухими пальмовыми листьями. Это была его спальня. Тут же встретила нас и его жена, каначка, седая, смуглая, одетая в синее бумажное платье, с платком на голове, как наши бабы. Особо выстроена была тоже хижина, где эта чета обедала: по крайней мере, заглянув, я видел там посуду, стол и разную утварь. Две собаки, с повисшими хвостами и головами, встретили тоже нас.

А кругом, над головами, скалы, горы, крутизны, с красивыми оврагами, и все поросло лесом и лесом. Криднер ударил топором по пню, на котором мы сидели перед хижиной; он сверху весь серый; но едва топор сорвал кору, как под ней заалело дерево, точно кровь. У хижины тек ручеек, в котором бродили красноносые утки. Ручеек можно перешагнуть, а воды в нем так мало, что нельзя и рук вымыть.

Мы пошли вверх на холм. Криднер срубил капустное дерево, и мы съели впятером всю сердцевину из него. Дальше было круто идти. Я не пошел: нога не совсем была здорова, и я сел на обрубке, среди бананов и таро, растущего в земле, как морковь или репа. Прочитав, что сандвичане делают из него «poï-poï», я спросил каначку, что это такое. Она тотчас повела меня в свою *столовую* и показала горшок с какою-то белою кашею, вроде тертого картофеля. Они едят, доставая ее пальцем. Муж, однако ж, предупредил, чтоб я не ел, потому что это кушанье давно сделано и потому несвежо. [7]

Он вынес нам несколько арбузов, которые мы с удовольствием и съели.

Тихо, хорошо. Наступил вечер: лес с каждой минутой менял краски и наконец стемнел; по заливу, как тени, качались отражения скал с деревьями. В эту минуту за нами пришла шлюпка, и мы поехали. Наши суда исчезали на темном фоне утесов, и только когда мы подъехали к ним вплоть, увидели мачты, озаренные луной.

2-го августа. Сегодня с утра движение и сборы на фрегате: затеяли свезти на берег команду. Офицеры тоже захотели провести там день, обедать и пить чай. «Где же это они будут обедать? — думал я,— ведь там ни стульев, ни столов», и не знал, ехать или нет; но и оставаться почти одному на фрегате тоже невесело. Ко мне пришел Савич сказать, что последняя шлюпка идет на берег, чтоб я торопился.

— А где же обедать? — спросил я.

— Да ведь там у нас устроена баня,— отвечал он. — Теперь все убрали и сделали из нее столовую.

— А столы, стулья?

— Ничего нет: будем обедать на парусах.

«На парусах!» — подумывал я, враг обедов на траве, особенно impromptu, * чаев на открытом воздухе, где то ложки нет, то хлеб с песком или чай с букашками. Но нечего делать, поехал; а жарко, палит.

---

* экспромтом (*франц.*),— *Ред.*

А propos * о жаре: в одно утро вдруг Фаддеев не явился ко мне с чаем, а пришел другой.

— Где ж Фаддеев? — спросил я.

— У него шкура со спины сошла,— отвечал матрос лаконически.

— Как сошла: отчего?

— Да так-с: этаких у нас теперь человек сорок есть: от солнышка. Они на берегу нагишом ходили: солнышком и напекло; теперь и рубашек нельзя надеть.

Я пошел проведать Фаддеева. Что за картина! в нижней палубе сидело, в самом деле, человек сорок: иные покрыты были простыней с головы до ног, а другие и без этого. Особенно один, уже пожилой матрос, возбудил мое сострадание. Он морщился и сидел голый, опершись руками и головой на бочонок, служивший ему столом.

— Что с тобой сделалось? — спросил я.

— Да кто его знает, что такое, ваше высокоблагородие! Вон спина-то какая! — говорил он, поворачивая немного спину ко мне.

На спину страшно было взглянуть: она вся была багровая и покрыта пузырями, как будто ее окатили кипятком.

— Зачем же вы на солнце сидели, и еще без платья? — упрекнул я.

— В Тамбове, ваше высокоблагородие, всегда, бывало, целый день на солнце сидишь и голову подставишь — ничего; ляжешь на траве, спину и брюхо греешь — хорошо. А здесь бог знает что! солнце-то словно пластырь! — отвечал он с досадой.

Все обожженные стонали, охали и морщились. И смешно, и жалко было смотреть. Фаддеев был совсем изуродован и тоже охал. Я побранил его хорошенько.

— Отстань, ваше высокоблагородие! — в тоске сказал он.

Я как съехал на берег, так под палатку, потому что приближался полдень и никакой защиты не было от палящих лучей. На берегу хлопотали: готовили обед; кривая каначка ловила рыбу. В палатке душно — я в лес. Барон Криднер из чащи подает мне голос и зовет смотреть живописную речку, которой я еще не видал. Я продрался сквозь кусты, сквозь томаны, кардамон и пальмы и пошел за ним вдоль по речке. В самом деле живописно: речка-ручей, аршина в два, а в ином месте и меньше шириной, струится с утеса по каменьям и впадает в озерко. Между каменьями ползает бесчисленное множество миниатюрных крабов, точно пауков, и насекомых. Они с неимоверною быстротою исчезали в каменьях, чуть лишь тронешь их. Доктор и О. А. Гошкевич уже давно там и ловят их руками. Савич далеко шел вперед и ломал деревья, как медведь; слышен был только треск по его следам. Впереди меня плелся барон Криднер на своих тоненьких ногах, а сзади пробирался я. Мы оступались, спотыкались. Я хотел перешагнуть в одном месте через ручей, ухватился за куст, он изменил, и я ступил в воду, не без ропота, к удовольствию товарищей.

---

* Кстати (*франц.*),— *Ред.*

Между тем около нас все так красиво: над нами веерные пальмы и томаны расстилали густую тень, берега плотно заросли травой и лесом. Солнце иногда прорезывалось сквозь ветви, палило, как через зажигательное стекло, ярко освещая группу каменьев и сверкая в воде: в минуту все мокло на нас, а там делалось опять темно и прохладно. Эта природная аллея, тишина, яркие краски зелени — все живописно, но немного угрюмо. Цветов нет, птиц мало, не слыхать даже и стрекотанья кузнечиков. У томанов грубый продолговатый лист и серый ствол; у пальм светло-зеленые крепкие листья до того, что едва разорвешь руками. Берег глинистый, крепкий и сухой. Местами по берегу растут бананы, достояние поселенцев — этот хлеб жарких стран да продолговатые зеленые лимоны: во вкусе их есть какая-то затхлость. Видно, что это привитой и искаженный на чужой почве плод. Как прекрасны все природные плоды в жарких климатах, так неудачны все привитые. В Индии старались разводить виноград — не родится; а если где и привился, так никуда не годен; яблоки тоже, чай нехорош. То же можно заметить и о животных: пробовали разводить английских, арабских лошадей и других животных — они перерождаются в какое-то хилое племя. Но что родится там, то уже родится роскошно и сильно.

Мы дошли до какого-то вала и воротились по тропинке, проложенной по берегу прямо к озерку. Там купались наши, точно в купальне, под сводом зелени. На берегу мы застали живописную суету: варили кушанье в котлах, в палатке накрывали... на пол, за неимением стола. Собеседники сидели и лежали. Я ушел в другую палатку, разбитую для магнитных наблюдений, и лег на единственную, бывшую на всем острове, кушетку, и отдохнул в тени. Иногда врывался свежий ветер и проникал под тент, принося прохладу.

Позвали обедать. Один столик был накрыт особо, потому что не все уместились на полу; а всех было человек двадцать. Хозяин, то есть распорядитель обеда, уступил мне свое место. В другое время я бы поцеремонился: но дойти и от палатки до палатки было так жарко, что я измучился и сел на уступленное место — и в то же мгновение вскочил: уж не то что жарко, а просто горячо сидеть. Мое седалище состояло из десятков двух кирпичей, служивших каменкой в бане: они лежали на солнце и накалились.

За обедом был, между прочим, суп из черепахи; но после того супа, который я ел в Лондоне, этого нельзя было есть. Там умеют готовить, а тут наш Карпов как-то не так зарезал черепаху, не выдержал мяса, и оно вышло жестко и грубо. Подавали уток; но утки значительно похудели на фрегате. Зато крику, шуму, веселья было без конца! Я был подавлен, уничтожен зноем. А товарищи мои пили за обедом херес, портвейн, как будто были в Петербурге! Только в ранней молодости и можно пить безнаказанно вино в такой *бане*. Я, не дождавшись конца обеда, ушел скорее в другую палатку, чтоб не заняли места, и глубоко заснул.

Солнце уж было низко на горизонте, когда я проснулся и вышел. Люди бродили по лесу, лежали и сидели группами; одни готовили невод,

другие купались. Никогда скромный Бонин-Сима не видал такой суматохи на своих пустынных берегах!

Бичи пишет,[8] что в его время было так много черепах здесь, что они покрывали берег, приходя класть яйца в песок. Молодые черепахи, вылупившись, спешили к морю, но на пути их ждали бесчисленные враги: на берегу клевали птицы, в море во множестве пожирали шарки (акулы). Зато, выросши и окрепнув, они, в своей броне, не боятся уже ничего. «Шарок,— пишет он,— было еще больше, нежели черепах: они даже хватали за весла зубами». Куда все это делось? Черепахи, с поселением людей, являются реже: жители ловят их и берегут где-то в садках, продавая приезжим. Мы заплатили четыре доллара за черепаху, но зато какую! шесть человек насилу тащили ее. Здесь поселенцы забирают их на берегу посредством собак. Собака схватит и тащит за ласт (у морских черепах — плавательные ласты вместо лап) дальше от берега. Эти черепахи не пригодны ни на что, кроме супа. На гребенки идет кость черных черепах. Шарки есть, но немного, и в двадцать лет один раз шарка откусила голову матросу с китоловного судна. У нас поймали одну небольшую акулу. Я осмотрел рот у ней: зубы расположены в четыре ряда, мелкие, но острые, как пила. Есть чем поесть, было бы что.

Вечером зажгли огни под деревьями; матросы группами теснились около них; в палатке пили чай, оттуда слышались пение, крики. В песчаный берег яростно бил бурун: иногда подойдешь близко, заговоришься, вал хлестнет по ногам и бахромой рассыплется по песку. Вдали светлел от луны океан, точно ртуть, а в заливе, между скал, лежал густой мрак.[9]

Я подошел к небольшой группе, расположившейся на траве, около скатерти, на которой стояли чашки с чаем, блюдо свежей, только что наловленной рыбы да лежали арбузы и ананасы. Надо было лечь на брюхо: это большое счастие, что здесь нет ни одной гадины, ни змей, ни ядовитых насекомых — ничего. Этим фактом некоторые из моих товарищей хотели доказать ту теорию, что будто бы растительные семена или пыль разносятся на огромное расстояние ветром, оттого-де такие маленькие острова, как Бонин-Сима, и притом волканического происхождения, не имевшие первобытной растительности, и заросли, а змей-де и разных гадин занести ветром не могло, оттого их и нет.

Положили было ночью сниматься с якоря, да ветер был противный. На другой день тоже. Наконец 4-го августа, часа в четыре утра, я, проснувшись, услышал шум, голоса, свистки и заснул опять. А часов в семь ко мне лукаво заглянул в каюту дед.

— Здравствуйте! Поздравляю вас...

— А, что?

— В море!

— Далеко?

— Да вон, Нагасаки видно?

«Ах, этот старый!.. Узнай от него правду!» Я вышел на палубу.

Впереди синее море, над головой синее небо, да солнце, как горячий уголь, пекло лицо, а сзади кучка гор жмутся друг к другу плечами, будто проводить нас, пожелать счастливого пути. Это берега Бонин-Сима: прощай, Бонин-Сима!

4-го августа. Тихий ветер, ходу шесть узлов. Жарко в природе, холодно в душе; кругом все море да море...

Конец первого тома

ТОМ ВТОРОЙ

I

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

в конце 1853 и в начале 1854 годов

Вход на нагасакский рейд.— Первые визиты японцев.— Вид рейда и города.— Батареи; деревни.— Переводчики и баниосы.— Караульные лодки и гребцы.— Передача письма к губернатору. — Ежедневные сношения с японцами. — Доставка провизии. — Визит голландцев из фактории. — Буря. — Новый переводчик. — Переговоры о церемониале свидания адмирала с нагасакским губернатором. — Губернаторские секретари. — Торжественный поезд в Нагасаки. — Пристань и носилки. — Японские солдаты. — Улица и домы. — Свидание с губернатором. — Передача письма от русского правительства к японскому. — Японское угощение. — Ожидание ответа из Едо. — Другой губернатор. — Еще переводчик. — Годовщина похода. — Спектакль на корвете «Оливуца». — Смерть сиогуна. — Гроза. — Ответ из Едо. — Катанье на шлюпках. — Паппенберг. — Крысий остров. — Подарки. — Важное известие из Едо. — Отъезд.

Нагасакский рейд. С 10 августа 1853 года.

От островов Бонин-Сима до Японии — не путешествие, а прогулка, особенно в августе: это лучшее время года в тех местах. Небо и море спорят друг с другом, кто лучше, кто тише, кто синее, словом, кто более понравится путешественнику. Мы в пять дней прошли 850 миль. Наше судно, как старшее, давало сигналы другим трем [1] и одно из них вело на буксире. Таща его на двух канатах, мы могли видеться с бывшими там товарищами; иногда перемолвим и слово, написанное на большой доске складными буквами.

9-го августа, при той же ясной, но, к сожалению, чересчур жаркой погоде, завидели мы тридесятое государство. Это были еще самые южные острова, крайние пределы, только островки и скалы японского архипелага, носившие европейские и свои имена. Тут были Юлия, Клара, далее Якуносима, Номосима, Ивосима, потом пошли *саки*: Тагасаки, Коссаки, Нагасаки. *Сима* значит остров, *саки* — мыс, или наоборот, не помню.

Нагасакский рейд. Гравюра. ИРЛИ. Ленинград.

Вот достигается наконец цель десятимесячного плавания, трудов. Вот этот запертой ларец, с потерянным ключом, страна, в которую заглядывали до сих пор с тщетными усилиями склонить, и золотом, и оружием, и хитрой политикой, на знакомство. Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая ловко убегает от ферулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, которая упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее и внутренние, произвольные законы своего муравейника противопоставит и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде.

«Долго ли так будет?» — говорили мы, лаская рукой шестидесятифунтовые бомбовые орудия. Хоть бы японцы допустили изучить свою страну, узнать ее естественные богатства: ведь в географии и статистике мест с оседлым населением земного шара почти только один пробел и остается — Япония. Странная, занимательная пока своею неизвестностью земля растянулась от 32 до 40 с лишком градусов широты, следовательно, с одной стороны южнее Мадеры. В ней господствует зной и морозы, растут пальма и сосна, персик и клюква. Там есть горы, равные нашим высочайшим горам, горящие пики, и в горах — мы знаем уже — родится лучшая медь в свете, но не знаем еще, нет ли там лучших алмазов, серебра, золота, топазов и, наконец, что дороже золота,— лучшего каменного угля, этого самого дорогого минерала XIX столетия.

Мы завидели мыс Номо, обозначающий вход на нагасакский рейд. Все собрались на юте, любуясь на зеленые, ярко обливаемые солнцем берега. Но здесь нас не встретили уже за несколько миль лодки с фруктами, раковинами, обезьянами и попугаями, как на Яве и в Сингапуре, и особенно с предложением *перевезти на берег*: напротив!

Мы входили немного с стесненным сердцем, по крайней мере я, с тяжелым чувством, с какими входят в тюрьму, хотя бы эта тюрьма была обсажена деревьями.

Но это что несется мимо нас по воде: какая-то маленькая, разукрашенная разноцветными флюгарками шлюпка-игрушка? «Это у них религиозный обряд»,— сказал один из нас. «Нет,— перебил другой,— это просто суеверный обычай». «Гаданье,— заметил третий,— видите, видите, еще такая же плывет? — это гаданье; они пробуют счастья». «Нет, позвольте,— заговорил кто-то,— у Кемпфера говорится...» [2] «Просто игрушки: мальчишки пустили»,— проворчал сквозь зубы дед. И чуть ли это мнение было не справедливее всех ученых замечаний. Но здесь всякая мелочь казалась знаменательною особенностью.

Вдруг появилась лодка, только уж не игрушка, и в ней трое или четверо японцев, два одетые, а два нагие, светло-красноватого цвета, загорелые, с белой тоненькой повязкой кругом головы, чтоб волосы не трепались, да такой же повязкой около поясницы — вот и все. Впрочем, наши еще утром видели японцев.

Я только что проснулся, Фаддеев донес мне, что приезжали голые люди и подали на палке какую-то бумагу. «Что ж это за люди?» — спросил я. «Японец, должно быть»,— отвечал он. Японцы остановились

Японцы (Эддо). Вышеславцев.

саженях в трех от фрегата и что-то говорили нам, но ближе подъехать не решались; они пятились от высунувшихся из полупортиков пушек. Мы махали им руками и платками, чтоб они вошли.

Наконец они решились, и мы толпой окружили их: это первые наши гости в Японии. Они с боязнью озирались вокруг и, положив руки на колени, приседали и кланялись чуть не до земли. Двое были одеты бедно: на них была синяя верхняя кофта, с широкими рукавами, и халат, туго обтянутый вокруг поясницы и ног. Халат держался широким поясом. А еще? еще ничего; ни панталон, ничего...

Обувь состояла из синих коротких чулок, застегнутых вверху пуговкой. Между большим и следующим пальцем шла тесемка, которая прикрепляла к ноге соломенную подошву. Это одинаково, и у богатых, и у бедных.

Голова вся бритая, как и лицо, только с затылка волосы подняты кверху и зачесаны в узенькую, коротенькую, как будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой маковке. Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной прической! За поясом у одного, старшего, заткнуты были две сабли, одна короче другой. Мы попросили показать и нашли превосходные клинки.

Мы повели гостей в капитанскую каюту: там дали им наливки, чаю, конфект. Они еще с лодки все показывали на нашу фор-брам-стеньгу, на которой развевался кусок белого полотна, с надписью на японском языке: *Судно Российского государства*. Они просили списать ее, по приказанию, разумеется, чтоб отвезти в город, начальству.

Через полчаса явились другие, одетые побогаче. Они привезли

бумагу, в которой делались обыкновенные предостережения: не съезжать на берег, не обижать японцев и т. п. Им так понравилась наливка, что они выпросили, что осталось в бутылке, для гребцов будто бы, но я уверен, что они им и понюхать не дали.

В бумаге еще правительство, на французском, английском и голландском языках, просило остановиться у так называемых *Ковальских ворот*, на первом рейде, и не ходить далее, в избежание *больших неприятностей,* прибавлено в бумаге, без объяснения, каких и для кого. Надо думать, что для губернаторского брюха.

Японское правительство — как мы знали из книг и потом убедились и при этом случае, и впоследствии сами — требует безусловного исполнения предписанной меры, и, в случае неисполнения, зависело ли оно от исполнителя, или нет, последний остается в ответе. Например, иностранные корабли не иначе допускаются на второй и третий рейды, как с разрешения губернатора. Мы разрешения не требовали, но к нам явилась третья партия японцев, человек восемь кроме гребцов, и привезла «разрешение» идти и на второй рейд. Все эти посещения быстро следовали одно за другим. Губернатор поспешил прислать разрешение, не зная, намерены ли мы, по первому извещению, остановиться на указанном месте. Если б ему предписано было, например, истребить нас, он бы, конечно, не мог, но все-таки должен бы был стараться об этом, а в случае неудачи *распороть себе брюхо.*

Я полагаю так, судя по тому, что один из нагасакских губернаторов, несколько лет назад, распорол себе брюхо оттого, что командир английского судна не хотел принять присланных чрез этого губернатора подарков от японского двора. Губернатору приказано было отдать подарки, капитан не принял, и губернатор остался виноват, *зачем не отдал.*

Вскрывать себе брюхо — самый употребительный здесь способ умирать поневоле, по крайней мере так было в прежние времена. [3] Заупрямься кто сделать это, правительство принимает этот труд на себя; но тогда виновный, кроме позора публичной казни, подвергается лишению имения, и это падает на его семейство. Кто-то из путешественников рассказывает, что здесь в круг воспитания молодых людей входило, между прочим, искусство ловко, сразу распарывать себе брюхо. Впоследствии, при случае как-нибудь, расскажу об этом, что узнаю, подробнее. Теперь некогда.

Третья партия японцев была лучше одета: кофты у них из тонкой, полупрозрачной, черной материи, у некоторых вытканы белые знаки на спинах и рукавах — это гербы. Каждый, даже земледелец, имеет герб и право носить его на своей кофте. Но некоторые получают от своих начальников и вообще от высших лиц право носить их гербы, а высшие сановники — от сиогуна, [4] как у нас ордена.

Но не все имеют право носить по две сабли за поясом: эта честь предоставлена только высшему классу и офицерам; солдаты носят по одной, а простой класс вовсе не носит; да он же ходит голый, так ему не за что было бы и прицепить ее, разве зимой.

Кофта у гостей или хозяев наших — как хотите — застегивалась длинными шелковыми шнурками.

Они объявили, что они переводчики, *оппер-толки* и *ондер-толки*, то есть старшие и младшие. Они назначаются для сношений с голландской факторией. Мы посадили их в капитанскую каюту, и они вынули бумагу, в которой предлагалось множество вопросов.

Переводчиков здесь целое сословие: в короткое время у нас перебывало около тридцати, а всех их около шестидесяти человек; немного недостает до счета семидесяти толковников.[5] Они знают только голландский язык и употребляются для сношений с голландцами, которые, сидя тут по целым годам, могли бы, конечно, и сами выучиться по-японски. Но кто станет учить их? это запрещено под смертною казнью. По-китайски японцы знают все, как мы по-французски, как шведы по-немецки, как ученые по-латыни. Пишут и по-японски, и по-китайски, но только произносят китайские письмена по-своему. Вообще все: язык, вера их, обычаи, одежда, культура и воспитание — все пришло к ним от китайцев.

Мы уже были предупреждены, что нас встретят здесь вопросами, и оттого приготовились отвечать, как следует, со всею откровенностью. Они спрашивали: откуда мы пришли, давно ли вышли, какого числа, сколько у нас людей на каждом корабле, как матросов, так и офицеров, сколько пушек и т. п.

Между прочим, после заявления нашего, что у нас есть письмо к губернатору, они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четырех судах? В этом ироническом вопросе проглядывала детская недоверчивость к нашему приходу и подозрительность насчет каких-нибудь враждебных замыслов с нашей стороны. Мы поспешили успокоить их и отвечали на все искренно и простодушно и в то же время не могли воздержаться от улыбки, глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лукавые и смышленые физиономии, на косички и на приседанья.

Они ознакомились с нами и ободрились ласковым обхождением. Им принесли сладких пирожков, наливок, вина. Они вглядывались во все с любопытством, осматривали все в каюте, раскрыли рот от удивления, когда кто-то дотронулся до клавишей фортепиано. Им предложили сигар, но они не знали, как с ними обойтись: один закуривал, не откусив кончика, другой не с той стороны. Сигары были не по них: крепки. Одному сделалось дурно от духоты в каюте, а может быть, и от качки, хотя волнение было слабое и движение фрегата едва заметное. Они вообще очень нежны. Например, не могли вовсе сидеть в каюте, беспрестанно отирали пот с головы и лица, отдувались и обмахивались веерами. Они вынимали из-за пазухи свой табак, чубуки из пальмового дерева, с серебряным мундштуком и трубочкой, величиной с половину самого маленького женского наперстка. Табак лежал в бумажном кисете, не более porte-monnaie. * Японец брал оттуда щепоть табаку,

---

* кошелек (*франц.*),— *Ред.*

скатывал его в комок, как вату или пеньку, когда хотят положить ее в ухо, клал в трубку и, курнув раза три, выбрасывал пепел и прятал трубку за пазуху. Все это делалось с удивительной быстротой. Табак очень тонок и волокнист, как лен, красно-желтого цвета, и напоминает немного вкусом турецкий, но только очень слаб, а видом похож на рыжие густые волосы.

Как навастривали они уши, когда раздавался какой-нибудь шум на палубе: их пугало, когда вдруг люди побегут по вантам или потянут какую-нибудь снасть и затопают. Они ехали с нами, а лодка их с гребцами шла у нас на бакштове.

Наконец мы вошли на первый рейд и очутились среди островов и холмов. Здесь застал нас штиль, и потом подул противный ветер; надо было лавировать. «Куда ж вы? — говорили японцы, не понимая лавировки,— вам надо сюда, налево». Наконец вошли и на второй рейд, на указанное место.

Что это такое? декорация или действительность? какая местность! Близкие и дальние холмы, один другого зеленее, покрытые кедровником и множеством других деревьев — нельзя разглядеть каких, толпятся амфитеатром, один над другим. Нет ничего страшного; все улыбающаяся природа: за холмами, верно, смеющиеся долины, поля... Да смеется ли этот народ? Судя по голым, палимым зноем гребцам, из которых вон трое завернулись, сидя в лодке, в одно какое-то пестрое одеяло от солнца, нельзя думать, чтоб народ очень улыбался среди этих холмов. Все горы изрезаны бороздами и обработаны сверху донизу.

Вон деревни жмутся в теснинах, кое-где разбросаны хижины. А это что: какие-то занавески, с нарисованными на них, белой и черной краской, кругами? гербы Физенского и Сатсумского удельных князей, сказали нам гости. Дунул ветерок, занавески заколебались и обнаружили пушки: в одном месте три, с развалившимися станками, в другом одна вовсе без станка — как страшно! Наши артиллеристы подозревают, что на этих батареях есть и деревянные пушки.

Где же Нагасаки? Города еще не видать. А! вот и Нагасаки. Отчего ж не Нангасаки? оттого, что настоящее название — *Нагасаки*, а буква *н* прибавляется так, для шика, так же как и другие буквы к некоторым словам. «Нагасаки — единственный порт, куда позволено входить одним только голландцам»,— сказано в географиях, и куда, надо бы прибавить давно, прочие ходят без позволения. Следовательно, привилегия ни в коем случае не на стороне голландцев во многих отношениях.

«Так это Нагасаки!» — слышалось со всех сторон, когда стали на якорь на втором рейде, в виду третьего, и все трубы направились на местность, среди которой мы очутились. В Нагасаки три рейда: один очень открыт с моря и защищен с двух сторон. Там налево, на срытом холме, строится батарея и, кажется, по замечанию наших артиллеристов, порядочная. Но город, конечно, не весь виден, говорили мы: это, вероятно, только часть, и самая плохая, предместье; тут все домишки да хижины! Где же здания, дворцы, храмы, о которых

пишет Кемпфер и другие, особенно Кемпфер, насчитывая их невероятное число? Должно быть, там, дальше, за мысом.

Но какие виды вокруг! что за перспектива вдали! Вот стоишь при входе на второй рейд, у горы Паппенберг, и видишь море, но зато видишь только профиль мыса, заграждающего вид на Нагасаки, видишь и узенькую бухту Кибач, всю. Передвинешься на средину рейда — море спрячется, зато вдруг раздвинется весь залив налево, с островами Кагена, Катакасима, Каменосима, и видишь мыс en face, * а берег направо покажет свои обработанные террасы, как исполинскую зеленую лестницу, идущую по всей горе, от волн до облаков.

Мы стали прекрасно. Вообразите огромную сцену, в глубине которой, верстах в трех от вас, видны высокие холмы, почти горы, и у подошвы их куча домов, с белыми известковыми стенами, черепичными или деревянными кровлями. Это и есть город, лежащий на берегу полукруглой бухты. От бухты идет пролив, широкий, почти как Нева, с зелеными холмистыми берегами, усеянными хижинами, батареями, деревнями, кедровником и нивами.

Декорация бухты, рейда, со множеством лодок, странного города, с кучей сереньких домов, пролив с холмами, эта зелень, яркая на близких, бледная на дальних холмах,— все так гармонично, живописно, так непохоже на действительность, что сомневаешься, не нарисован ли весь этот вид, не взят ли целиком из волшебного балета?

Что за заливцы, уголки, приюты прохлады и лени образуют узор берегов в проливе! Вон там идет глубоко в холм ущелье, темное, как коридор, лесистое, и такое узкое, что, кажется, ежеминутно грозит раздавить далеко запрятавшуюся туда деревеньку. Тут маленькая, обставленная деревьями бухта, сонное затишье, где всегда темно и прохладно, где самый сильный ветер чуть-чуть рябит волны; там беспечно отдыхает вытащенная на берег лодка, уткнувшись одним концом в воду, другим в песок.

Налево широкий и длинный залив, с извилинами и углублениями. Посредине его Паппенберг и Каменосима — две горы-игрушки, покрытые ощетинившимся лесом, как будто две головы с взъерошенными волосами. Их обтекают со всех сторон миньятюрные проливы, а вдали видна отвесная скала и море.

Направо идет высокий холм с отлогим берегом, который так и манит взойти на него по этим зеленым ступеням террас и гряд, несмотря на запрещение японцев. За ним тянется ряд низеньких, капризно брошенных холмов, из-за которых глядят серьезно и угрюмо довольно высокие горы, отступив немного, как взрослые из-за детей. Далее пролив, теряющийся в море; по светлой поверхности пролива чернеют разбросанные камни. На последнем плане синеет мыс Номо.

Пролив отделяет нагасакский берег от острова Кагена, который, в свою очередь, отделяется другим проливом от острова Ивосима, а там чисто, море — и больше ничего.

---

* спереди (*франц.*), — *Ред.*

Везде уступы, мыски или отставшие от берега, обросшие зеленью и деревьями глыбы земли. Местами группы зелени и деревьев лепятся на окраинах утесов, точно исполинские букеты цветов. Везде перспектива, картина, точно артистически обдуманная прихоть!

Но с странным чувством смотрю я на эти игриво-созданные, смеющиеся берега: неприятно видеть этот сон, отсутствие движения. Люди появляются редко; животных не видать; я только раз слышал собачий лай. Нет людской суеты; мало признаков жизни. Кроме караульных лодок, другие робко и торопливо скользят у берегов, с двумя, тремя голыми гребцами, с слюнявым мальчишкой или остроглазой девчонкой.

Так ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? зачем не шевелятся они толпой на этих берегах? отчего не видно работы, возни, нет шума, гама, криков, песен, словом, кипения жизни или «мышьей беготни»,[6] по выражению поэта? Зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешенная синими, белыми, красными тканями? Оттуда слышен однообразный звук бум-бум-бум японского барабана: это, скажут вам, Физенский или Сатсумский князья объезжают свои владения.

Вы знаете, что Япония разделена на уделы, которые все зависят от сиогуна, платят ему дань и содержат войска. Город Нагасаки принадлежит ему, а кругом лежат владения князей.

Зачем же, говорю я, так пусты и безжизненны эти прекрасные берега? зачем так скучно смотреть на них, до того, что и выйти из каюты не хочется? Скоро ли же это все заселится, оживится?

Мы спрашиваем об этом здесь у японцев, за тем и пришли, да вот не можем добиться ответа. Чиновники говорят, что надо спросить у губернатора, губернатор пошлет в Едо, к сиогуну, а тот пошлет в Миако, к микадо, сыну неба: сами решите, когда мы дождемся ответа!

Все мы стояли на палубе, кто чем занят; у всех почти трубы в руках. Одни занимались уборкою парусов, другие прилежно изучали карту, и в том числе дед, который от карты бегал на ют, с юта к карте; и хотя ворчал на неверность ее, на неизвестность места, но был доволен, что труды его кончались. Другие просто думали о том, что видели, глядя туда и сюда, в том числе и я. Меня хотя и занимала новость предмета и проникался я прелестью окружавших нас картин природы, но тут же, рядом с этими впечатлениями, чувствовалась и особенно предчувствовалась скука. Я бы охотно променял Японию на Манилу, на Бразилию или на Сандвичевы острова — на что хотите. Не скучно ли видеть столько залогов природных сил, богатства, всяких даров в неискусных или, скорее, несвободных, связанных какими-то ненужными путами руках!

Да я ли один скучаю? Вон Петр Александрович сокрушительно вздыхает, не зная, как он будет продовольствовать нас: дадут ли японцы провизии, будут ли возить свежую воду; а если и дадут, то по каким ценам? и т. п. От презервов многие *«воротят носы»*, говорит он.

Кстати о презервах: кажется, я о них не говорил ни слова. Это совсем изготовленная и герметически закупоренная в жестянках провизия всякого рода: супы, мясо, зелень и т. п. Полезное изобретение — что

и говорить! Но дело в том, что эту провизию иногда есть нельзя: продавцы употребляют во зло доверенность покупателей; а поверить их нельзя: не станешь вскрывать каждый, наглухо закупоренный и залитой свинцом ящик. После уже, в море окажется, что говядина похожа вкусом на телятину, телятина — на рыбу, рыба — на зайца, а все вместе ни на что не похоже. И часто все это имеет один цвет и запах. Говорят, у французов делают презервы лучше: не знаю. Мы купили их в Англии.

Вон и другие тоже скучают: Савич не знает, будет ли уголь, позволят ли рубить дрова, пустят ли на берег освежиться людям? Барон насупился, думая, удастся ли ему... хоть увидеть женщин. Он уж глазел на все японские лодки, ища между этими голыми телами не такое красное и жесткое, как у гребцов. Косы и кофты мужчин вводили его иногда в печальное заблуждение...

Японцы уехали. Настал вечер; затеплились звезды, и, вдобавок, между ними появилась комета. Мы наблюдаем ее уже третий вечер, едва успевая ловить на горизонте — так рано скрывается она.

Нас, издали, саженях во ста от фрегата, и в некотором расстоянии друг от друга, окружали караульные лодки, ярко освещенные разноцветными огнями в больших круглых крашеных фонарях из рыбьей кожи; на некоторых были даже смоляные бочки. С последним лучом солнца по высотам загорелись огни и нитями опоясали вершины холмов, унизали берега — словом, нельзя было нарочно зажечь иллюминации великолепнее в честь гостей, какую японцы зажгли из страха, что вот сейчас того гляди гости нападут на них. Везде перекликались караульные; лодки ходили взад и вперед. Гребцы гребли стоя, с криком *оссильян, оссильян*, чтоб дружнее работать. По горам, в лесу, огни, точно звезды, плавали, опускаясь и подымаясь по скатам холмов: видно было, что везде расставлены люди, что на нас смотрели тысячи глаз, сторожили каждое движение.

Все мало-помалу утихало на наших судах. Пробили зорю, сыграли гимн «Коль славен наш господь в Сионе»,[7] и матросы улеглись. Многие из нас и чаю не пили, не ужинали: всё смотрели на берега и на их отражения в воде, на иллюминацию, на лодки, толкуя, предсказывая успех или неуспех дела, догадываясь о характере этого народа. Потом, один за другим, разбрелись. Я остался и вслушивался в треск кузнечиков, доносившийся с берега, в тихий плеск волн; смотрел на игру фосфорических искр в воде и на дальние отражения береговых огней в зеркале залива. Здесь уже не было буруна, наводящего тоску на душу, как на Бонин-Сима, только зарница ярко играла над холмами. И я наконец ушел и лег спать, но долго еще мерещились мне женоподобные, приседающие японцы, их косы, кофты, и во сне преследовал долетавший до ушей крик: «Оссильян, оссильян!»

«Хи! Хи! Хи!» — слышу в каюте у соседа, просыпаясь поутру, спустя несколько дней по приходе, потом тихий шепот и по временам внезапное возвышение голоса на каком-нибудь слове. Фаддеев стоит подле меня, с чаем. «Давно ты тут?» — «В начале седьмой склянки, ваше высоко-

благородие». — «А теперь которая?» — «Да вон, слышишь?» В это время забил барабан, заиграла музыка, значит, восемь часов. «Что там такое рядом в каюте?» — спросил я. «Известно что, японец!» — отвечал он. «Зачем они приехали?» — «А кто их знает?» — «Ты бы спросил». — «А как я его спрошу? нам с ним говорить-то все равно, как свинье с курицей...»

От японцев нам отбоя нет: каждый день, с утра до вечера, по нескольку раз. Каких тут нет: оппер-баниосы, ондер-баниосы, оппер-толки, ондер-толки и потом еще куча сволочи, их свита. Но лучше рассказать по порядку, что позамечательнее.

На другой день, а может быть, и дня через два после посещения переводчиков, приехали три или четыре лодки, украшенные флагами, флажками, значками, гербами и пиками — всё атрибуты военных лодок, хотя на лодках были те же голые гребцы и ни одного солдата. Нам здесь все еще было ново, и мы с нетерпением ждали, что это такое. Лодки хоть куда: немного похожи на наши зимние крестьянские розвальни: широкие, плоскодонные, с открытой кормой. Они все чисто выстроены из белого леса, с навесом, покрытым циновками. Весла у гребцов длинные, состоящие из двух частей, связанных посредине. Весло привязано к лодке, и гребец, стоя, ворочает его к себе и от себя. Гребцов, смотря по величине лодки, бывает от 4 до 8 и даже до 12 человек. Лодка — это плавучий дом. Тут есть все: маленький очаг — варить пищу — и вся домашняя утварь. На караульных лодках по очереди дежурят чиновники, чтоб наблюдать за нашими действиями. Этот порядок принят издавна в отношении ко всем иностранным судам.

Сначала вошли на палубу переводчики. «Оппер-баниосы»,— говорили они почтительным шепотом, указывая на лодки, а сами стали в ряд. Вскоре показались и вошли на трап, потом на палубу двое японцев, поблагообразнее и понаряднее прочих. Переводчики встретили их, положив руки на колени и поклонившись почти до земли. За ними вошло человек двадцать свиты.

Оппер-баниосы, один худой, с приятным лицом, с выдавшеюся верхнею челюстью и большими зубами, похожими на клыки, как у многих японцев. Другой, рябоватый, с умным лицом и с такою же челюстью, как у первого. На них, сверх черной кофты из льняной материи и длинного шелкового халата, были еще цветные шелковые же юбки, с разрезанными боками и шелковыми кистями. За пазухой, по обыкновению, был целый магазин всякой всячины: там лежала трубка, бумажник, платок для отирания пота и куча листков тонкой, проклеенной, очень крепкой бумаги, на которой они пишут, отрывая по листку, в которую сморкаются и, наконец, завертывают в нее, что нужно. Они присели, положив руки на колени, то есть поклонились нашим.

По-японски их зовут *гокейнсы*. Они старшие в городе, после губернатора и секретарей его, лица. Их повели на ют, куда принесли стулья; гокейнсы сели, а прочие отказались сесть, почтительно указывая на них. Подали чай, конфект, сухарей и сладких пирожков. Они выпили чай,

покурили, отведали конфект и по одной завернули в свои бумажки, чтоб взять с собой; даже спрятали за пазуху по кусочку хлеба и сухаря. Наливку пили с удовольствием.

Когда дошло дело до вопроса: зачем они приехали, один переводчик, толстый и рябой, по имени Льода, стал перед гокейнсами, низко поклонился и, оставшись в наклоненном положении, передал наш вопрос. *Гокейнс* тихо, тихо, почти шепотом и скоро начал говорить, также нагнувшись к переводчику, и все другие переводчики и другой гокейнс и часть свиты тоже наклонились и слушали. «Хи, хи, хи!» — твердил переводчик отрывисто, пока гокейнс отвечал ему. Частица *хи* означает подтверждение речи, вроде *да, слушаю.* Ее употребляют только младшие, слушая старших. Потом, когда гокейнс кончил, Льода потянул воздух в себя — и вдруг, выпрямившись перед нами, перевел, что они приехали предложить некоторые вопросы.

Он говорил обыкновенным голосом, а иногда вдруг возвышал его на каком-нибудь слове до крика, кивал головой, улыбался. Прочие переводчики молчали: у них правило, когда старший тут, другой молчит, но непременно слушает; так они поверяют друг друга. Эта система взаимного шпионства немного похожа на иезуитскую.[8] Так их переводчик *Садагора* — который страх как походил на пожилую девушку с своей седой косой, недоставало только очков и чулка в руках — молчал, когда говорил *Льода,* а когда Льоды не было, говорил Садагора, а молчал *Нарабайоси* и т. д.

«Отчего у вас,— спросили они, вынув бумагу, исписанную японскими буквами,— сказали на фрегате, что корвет вышел из Камчатки в мае, а на корвете сказали, что в июле?» «Оттого,— вдруг послышался сзади голос командира этого судна, который случился тут же,— я похерил два месяца, чтоб не было придирок да расспросов, где были в это время и что делали». Мы все засмеялись, а Посьет что-то придумал и сказал им в объяснение.

Корвет в самом деле вышел в мае из Камчатки, но заходил на Сандвичевы острова. Мы спросили японцев, зачем это им? «Что вам за дело, где мы были? вам только важно, что мы пришли».

Чтобы согласить эту разноголосицу, Льода вдруг предложил сказать, что корвет из Камчатки, а мы из Петербурга вышли в одно время. «Лучше будет, когда скажете, что и пришли в одно время, в три месяца». Ему показали карту и объяснили, что из Камчатки можно прийти в неделю, в две, а из Петербурга — в полгода. Он сконфузился и стал сам смеяться над собой.

Тут же показали им кстати Россию и Японию. Увидев, как последняя мала, они добродушно стали хохотать.

Им заметили, что напрасно они обременяют себя и других этими вопросами. «В Едо надо послать»,— отвечали они. Потом следовал другой, третий вопрос, всё в том же роде. «И всё надо в Едо посылать?» — «Всё!» — сказал, потянув в себя воздух, Льода. «Ну, много же у вас дела в Едо!» — подумал кто-то подле меня вслух. Но я, вспомнив, какими вопросами осыпали японцы с утра до вечера нашего знаме-

нитого пленника, Головнина, нашел еще, что эти вопросы не так глупы.[9] Они уехали поздно ночью, улыбаясь, приседая и кланяясь.

А между тем наступал опять вечер, с нитями огней по холмам, с отражением холмов в воде, с фосфорическим блеском моря, с треском кузнечиков и криком гребцов: «Оссильян, оссильян!» Но это уж мало заняло нас: мы привыкли, ознакомились с местностью, и оттого шканцы и ют тотчас опустели, как только буфетчики, Янцен и Витул, зазвенели стаканами, а вестовые, с фуражками в руках, подходили то к одному, то к другому с приглашением: «Чай кушать».

Баниосам, на прощанье, сказано было, что есть два письма: одно к губернатору, а другое выше; чтоб за первым он прислал чиновника, а другое принял сам. «Скажем губернатору»,— отвечали они. Они, желая выведать о причине нашего прихода, спросили: не привезли ли мы потерпевших кораблекрушение японцев, потом: не надо ли нам провизии и воды — две причины, которые японцы только и считали достаточными для иноземцев, чтоб являться к ним, и то в последнее время. А прежде, как известно, они и потерпевших кораблекрушение, своих же японцев, не пускали назад, в Японию.[10] «Вы уехали из Нипона,— говорили они,— так ступайте, куда хотите». С иностранцами поступали еще строже: их держали в неволе.

Но время взяло свое, и японцы уже не те, что были сорок, пятьдесят и более лет назад. С нами они были очень любезны; спросили об именах, о чинах и должностях каждого из нас и все записали, вынув из-за пазухи складную железную чернильницу, вроде наших старинных свечных щипцов. Там была тушь и кисть. Они ловко владеют кистью. Я попробовал было написать одному из оппер-баниосов свое имя кистью, рядом с японскою подписью — и осрамился: латинских букв нельзя было узнать.

Прошло дня два: в это время дано было знать японцам, что нам нужно место на берегу и провизия. Провизии они прислали небольшое количество в подарок, а о месте объявили, что не смеют дать его без разрешения из Едо.

На третий день после этого приехали два баниоса: один бывший в прошедший раз, приятель наш *Баба-Городзаймон,* который уже ознакомился с нами и освоился на фрегате, шутил, звал нас по именам, спрашивал название всего, что попадалось ему в глаза, и записывал. Он был, по-видимому, очень добр, жив, сообщителен. Другой — *Самбро.* Не думайте, чтоб в понятиях, словах, манерах японца (за исключением разве сморканья в бумажки да прятанья конфект: но вспомните, как сморкаются две трети русского народа и как недавно барыни наши бросили ридикюли, которые наполнялись конфектами на чужих обедах и вечерах) было что-нибудь дикое, странное, поражающее европейца. Ровно ничего: только костюм да действительно нелепая прическа бросаются в глаза. Во всем прочем это народ, если не сравнивать с европейцами, довольно развитой, развязный, приятный в обращении и до крайности занимательный своеобразностью воспитания. Об этом придется говорить ниже.

Баниосы привезли с собой переводчиков, Льоду и Садагору. Их принял сначала Посьет, потом адмирал, в своей каюте. Баниосов посадили на массивные кресла, несколько человек свиты сели сзади, на стульях. Адмирал поместился на софе, против них, а мы вчетвером у окошек, на длинном диване. Льода и Садагора стояли согнувшись, так что лиц их вовсе было не видать, и только шпаги торчали вверх. Бабá-Городзаймон, наклонясь немного к Льоде и втягивая в себя воздух, начал говорить шепотом, скоро и долго. У него преприятная манера говорить: он говорит, как женщина, так что самые его отказы и противоречия смягчены этим тихим, ласковым голосом. «Хи, хи, хи»,— отрывисто и усердно повторял Льода, у которого подергивало плечи и пот катился струями по вискам. В каюте было душно, а снаружи жарко, до 20°.

Льода, выслушав, выпрямился, обратился к Посьету, который сидел подле баниосов, и объявил, что губернатор просит прислать письмо, адресованное собственно к нему. Про другое, которое следовало переслать в Едо, к высшим властям, он велел сказать, что оно должно быть принято с соблюдением церемониала, а он, губернатор, определить его сам не в состоянии и потому послал в столицу просить разрешения. «А как скоро можно сделать путь туда и обратно?» — спросили их, зная, впрочем, что этот путь можно сделать недели в три и даже, как говорит английский путешественник Бельчер, в две недели. Им сказано было и об этом. Бабá отвечал, однако ж, что, вероятно, на ответ понадобится дней тридцать. Он извинялся тем, что надо обдумать ответ, но адмирал настаивал, чтоб ответ прислали скорее. Тогда Садагора отвечал, что курьер помчится, *как птица*.

Один из свиты все носился с каким-то ящиком, завязанным в платок. Когда отдали письмо Бабá-городзаймону, он развязал деревянный лакированный ящик, поставил его на стол, принял письмо обеими руками, поднял его, в знак уважения, ко лбу, положил в ящик и завязал опять в платок, украшенный губернаторскими гербами. После этого перевязал узел шнурком, достал из-за пазухи маленькую печать, приложил к шнурку и отдал ящик своему чиновнику, сказав что-то переводчику. «Хи, хи, хи!» — повторял тот и, обратившись к нам, перевел, что письмо будет доставлено верно и в тот же день.

Адмирал предложил им завтракать в своей каюте, предоставив нам хозяйничать, а сам остался в гостиной. Мы сели за большой стол. Подали, по обыкновению, чаю, потом все сладкое, до которого японцы большие охотники, пирожков, еще не помню чего, вино, наливку и конфекты. Японцы всматривались во все, пробовали всего понемножку и завертывали в бумажку то конфекту, то кусочек торта, а Льода прибавил к этому и варенья и все спрятал в свою обширную кладовую, то есть за пазуху: «Детям»,— сказал он нам. Гостям было жарко в каюте, одни вынимали маленькие бумажные платки и отирали пот, другие, особенно второй баниос, сморкались в бумажки, прятали их в рукав, обмахивались веерами. О. А. Гошкевич завел ящик с музыкой, и вдруг

тихо, под сурдиной, раздалось «Grâce, grâce» * и «Роберта».[11] Но это мало подействовало: Бáба сказал, что у него есть две табакерки с музыкой: голландцы привезли. В углу накрыт был другой стол, для нескольких лиц из свиты. Бáба не пил совсем вина: он сказал, что постоянно страдает головною болью и «оттого,— прибавил он,— вы видите, что у меня не совсем гладко выбрита голова». Ему предложили посоветоваться с нашим доктором, но он поблагодарил и отказался.

Вообще мы старались быть любезны с гостями, показывали им, после завтрака, картинки и, между прочим, в книге Зибольда[12] изображение японских видов: людей, зданий, пейзажей и прочего. Они попросили показать фрегат одному из баниосов, который еще в первый раз приехал. Их повели по палубам. Они рассматривали пушки, ружья и внимательно слушали объяснения о ружьях с новыми прицелами, купленных в Англии. Все занимало их, и в этом любопытстве было много наивного, детского, хотя японцы и удерживались слишком обнаруживаться.

Они пробыли почти до вечера. Свита их, прислужники бродили по палубе, смотрели на все, полуразиня рот. По фрегату раздавалось щелканье соломенных сандалий и беспрестанно слышался шорох шелковых юбок, так что, в иную минуту, почудится что-то будто знакомое... взглянешь и разочаруешься! Некоторые физиономии до крайности глуповаты.

Тут были, между прочим, два или три старика, в панталонах, то есть ноги у них выше обтянуты синей материей, а обуты в такие же чулки, как у всех, и потом в сандалии. Коротенькие мантии были тоже синие. «Что это за люди?» — спросили. «Солдаты»,— говорят. Солдаты! нельзя ничего выдумать противоположнее тому, что у нас называется солдатом. Они, от старости, едва стояли на ногах и плохо видели. Седая косичка, в три волоса, не могла лежать на голове и торчала кверху; сквозь редкую косу проглядывала лысина цвета красной меди.

Вообще не видно почти ни одной мужественной, энергической физиономии, хотя умных и лукавых много. Да если и есть, так зачесанная сзади кверху коса и гладко выбритое лицо делают их непохожими на мужчин.

С лодок налезло на трапы и русленя множество голых, полуголых и оборванных гребцов. На некоторых много-много, что синий длинный халат — и больше ничего: ни панталон, ни кофт, ни сандалий. О шапках я не упоминаю, потому что здесь эта часть одежды не существует. На юге, в Китае, я видел, носят еще зимние маленькие шапочки, а летом немногие ходят в остроконечных малайских соломенных шапках, похожих на крышку от суповой миски, а здесь ни одного японца не видно с покрытой головой. Они даже редко прикрывают ее и веером, как китайцы. Едет иногда лодка с несколькими человеками: любо смотреть, как солнце жарит их прямо в головы; лучи играют на бритых, гладких лбах, точно на позолоченных маковках какой-нибудь башни, и на каждой

* «Пощадите, пощадите» (*франц.*),— *Ред.*

голове горит огненная точка. Как бы, кажется, не умереть или по крайней мере не сойти с ума от этакой прогулки, под солнечными лучами, а им ничего, да еще под здешними лучами, которые, как медные спицы, вонзаются в голову!

Бабá обещал доставить нам большое удобство: мытье белья в голландской фактории. Наконец японцы уехали. Кто-то из них кликнул меня и схватил за руку. «А, Бабá, adieu!» * «Adieu»,— повторил и он.

Дни мелькали за днями: вот уже вторая половина августа. Японцы одолели нас. Ездят каждый день раза по два, то с провизией, то с вопросом или с ответом. Уж этот мне крайний Восток: пока, кроме крайней скуки, толку нет! Разглядываешь, от нечего делать, их лица и не знаешь, что подумать о их происхождении. Как им ни противно быть в родстве с китайцами, как ни противоречат этому родству некоторые резкие отличия одних от других, но всякий раз, как поглядишь на оклад и черты их лиц, скажешь, что японцы и китайцы близкая родня между собою. Те же продолговатые, смугло-желтые лица, такое же образование челюстей, губ, выдавшиеся лбы и виски, несколько приплюснутый нос, черные и карие, средней величины, глаза. Я не говорю уже о нравственном сходстве: оно еще более подтверждает эту догадку. Вероятно, и те и другие вышли из одной колыбели, Средней Азии, и, конечно, составляли одно племя, которое в незапамятные времена распространилось по юго-восточной части материка и потом перешло на все окрестные острова.

Татарский пролив и племенная, нередкая в истории многих, имеющих один корень народов, вражда могли разделить навсегда два племени, из которых в одно, китайское, подмешались, пожалуй, и маньчжуры, а в другое, японское,— малайцы, которых будто бы японцы, говорит Кемпфер, застали в Нипоне и вытеснили вон. В языке их, по словам знающих по-китайски, есть некоторое сходство с китайским. И опять могло случиться, что первобытный, общий язык того и другого народа — у китайцев так и остался китайским, а у японцев мог смешаться с языком quasi-малайцев или тех островитян, которых они застали на Нипоне, Киузиу и других островах и которые могли быть, пожалуй, и курильцы.

Чем это не мнение, скажите на милость? Я знаю, что я не понравился бы за это японцам, до того, что они непрочь бы посадить меня и в клетку, благо я теперь в Японии. Они сами производят себя от небесных духов, а потом соглашаются лучше происходить с севера, от курильцев, лишь не от китайцев. Но я готов отстаивать свое мнение, теперь особенно, когда я только что расстался с китайцами, когда черты лиц их так живы в моей памяти и когда я вижу другие, им подобные. Чем же это не мнение? Ведь Кемпфер выводит же японцев прямо — откуда бы вы думали? от вавилонского столпотворения! [13] Он ведет их толпой, или *колонией*, как он называет, из-за Каспийского моря, через всю Азию в Китай, и оттуда в Японию, прямо так, как они есть, с готовым языком, нравами, обычаями, чуть не с узелком под мыш-

* «...прощайте!» (*франц.*),— *Ред.*

кой, в котором были завязаны вот эти нынешние их кофты, с гербами, и юбки. Замечу еще, что здесь, кроме различия, которое кладут, между простым и непростым народом, образ жизни, пища, воспитание и занятия, есть еще другое, резкое, несомненно племенное различие. Когда всматриваешься пристально в лица старших чиновников и их свиты и многих других, толпящихся на окружающих нас лодках, невольно придешь к заключению, что тут сошлись и смешались два племени. Простой народ действительно имеет в чертах большое сходство с малайцами, которых мы видели на Яве и в Сингапуре. А так как у японцев строже, нежели где-нибудь, соблюдается нетерпимость смешения одних слоев общества с другими, то и немудрено, что поработившее племя до сих пор остается не слитым с порабощенным.

Сравните японское воспитание с китайским: оно одинаково. Одна и та же привилегированная, древняя религия Синто,[14] или поклонение небесным духам, как и в Китае, далее буддизм.[15] Но и тут и там господствует более нравстенно-философский, нежели религиозный дух, и совершенное равнодушие и того и другого народа к религии. Затем одинакое трудолюбие и способности к ремеслам, любовь к земледелию, к торговле, одинакие вкусы, один и тот же род пищи, одежда — словом, во всем найдете подобие, в иных случаях до того, что удивляешься, как можно допустить мнение о разноплеменности этих народов!

И те и другие подозрительны, недоверчивы; спасаются от опасностей за системой замкнутости, как за каменной стеной; у обоих одна и та же цивилизация, под влиянием которой оба народа, как два брата в семье, росли, развивались, созревали и состарелись. Если бы эта цивилизация была заимствована японцами от китайцев только по соседству, как от чужого племени, то отчего же маньчжуры и другие народы кругом остаются до сих пор чуждыми этой цивилизации, хотя они еще ближе к Китаю, чем Япония?

Нет, пусть японцы хоть сейчас посадят меня в клетку, а я, с упрямством Галилея, буду утверждать,[16] что они — отрезанные ломти китайской семьи, ее дети, ушедшие на острова и, по географическому своему положению, запершиеся там до нашего прихода. И самые острова эти, если верить геологам, должны составлять часть, оторвавшуюся некогда от материка...

Вам, может быть, покажется странно, что я вхожу в подробности о деле, которое, в глазах многих, привыкших считать безусловно Китай и Японию за одно, не подлежит сомнению. Вы, конечно, того же мнения, как и эти многие, как и я, как и все, вероятно, словом — tout le monde.* Только японцы оскорбляются, когда иностранцы, по *невежеству* и *варварству*, как говорят они, смешивают их с китайцами. Я затронул этот вопрос только потому, что я... в Японии теперь. А кто сюда попадет, тот неминуемо коснется и вопроса о сходстве японцев с китайцами. Это здесь капитальный вопрос. Я только следую примеру других. Что делать: от скуки вдался в педантизм!

---

* весь свет (*франц.*),— *Ред.*

Зато избавляю себя и вас от дальнейших воззрений и догадок: рассмотрите эти вопросы на досуге, в кабинете, с помощью ученых источников. Буду просто рассказывать, что вижу и слышу.

Говоря об источниках, упомяну, однако ж, об одном, чуть ли не самом любопытном. Устав от Кемпфера, я напал на одну старую книжку, в библиотеке моего соседа по каюте, тоже о Японии, или о *Японе*, как говорит заглавие, и *о вине гонения на христиан*, сочинения Карона и Гагенара, *переведенные чрез Степана Коровина, Синбиринина и Івана Горліцкого.*[17] К сожалению, конец страницы, с обозначением года издания, оторван. За этой книгой я отдыхал от подробных и подчас утомительных описаний почтенного Кемпфера и других авторитетов. Что за краткость, что за добродушие! какой язык! Не могу не поделиться с вами ученым наслаждением и выпишу на выдержку, с дипломатическою точностью, два, три места о Японии и о японцах.

«...остров Ябадии, о котором сказует Птоломей, есть оной, его же ныне нарицают островом Нифон».

«...империя Японская ныне обретается сочинена из многих островов, из которых некия могут быти и не острова, но полуострова».

«Компания Голландская во Индии восточной пребываша тогда в таком великом благоденствии, по истинне весма великом...»

«...Что ж бы то такое ни было, воспитание ли, или как то естественно, что жены там (в Японии) добры, жестоко верны и очень стыдливы».

«...Много имеют японцы благосклонности к отцам и к матерям и так умствуют, что тот, который в этом поползнется, того уже боги показнят».

«...Доходы вельмож бывают от разного произношения страны, которою кто владеет. У инных земля много произносит жита, инныи вынимают много золота и сребра, а прочии меди, олова, свинца...»

И этим языком и тоном написана вся эта любопытная книга, вероятно, современница Телемахиды![18]

Я ленился записывать имена всех приезжавших к нам *гокейнсов* и *толков*. Баба́ ездил почти постоянно и всякий раз привозил с собой какого-нибудь нового баниоса, вероятно приятеля, желавшего посмотреть большое судно, четырехаршинные пушки, ядра, с человеческую голову величиной, послушать музыку и посмотреть ученье, военные тревоги, беганье по вантам и маневры с парусами. Однажды при них заставили матрос маршировать: японцы сели на юте на пятках и с восторгом смотрели, как четыреста человек стройно перекидывали в руках ружья, точно перья, потом шли, нога в ногу, под музыку, будто одна одушевленная масса. При них катались и на шлюпках, которые, как птицы, с распущенными крыльями, скользили по воде, опрокинувшись почти совсем на бок.

Японцы тихо, с улыбкой удовольствия и удивления, сообщали друг другу замечания на своем звучном языке. Некоторые из них, и особенно один из переводчиков, *Нарабайоси 2-й* (их два брата, двоюродные, иначе *гейстра*), молодой человек лет 25-ти, говорящий немного поанглийски, со вздохом сознался, что все виденное у нас приводит его

в восторг, что он хотел бы быть европейцем, русским, путешествовать и заглянуть куда-нибудь, хоть бы на Бонин-Сима...

Бедный, доживешь ли ты, когда твои соотечественники, волей или неволей, пустят других к себе или повезут своих в другие места? Ты, конечно, будешь из первых. Этот Нарабайоси 2-й очень скромен, задумчив; у него нет столбняка в лице и манерах, какой заметен у некоторых из японцев, нет также самоуверенности многих, которые совершенно довольны своею участью и ни о чем больше не думают. Видно, что у него бродит что-то в голове, сознание и потребность чего-то лучшего против окружающего его... И он не один такой. В этих людях будущность Японии — и наш успех.

Красивых лиц я почти не видал, а оригинальных много, большая часть, почти все. Вон, посмотрите, они стоят в куче на палубе, около шпиля, а не то заберутся на вахтенную скамью. Зачесанные снизу косы придают голове вид груши, кофты напоминают надетые в рукава кацавейки или мантильи с широкими рукавами, далее халат и туфли. Одно лицо толстое, мясистое, другое длинное, худощавое, птичье; брови дугой, и такой взгляд, который сам докладывает о глупости головы; третий рябой — рябых много — никак не может спрятать верхних зубов. Один смотрит, подняв брови, как матросы, купаясь, один за другим бросаются с русленей прямо в море и на несколько мгновений исчезают в воде; другой присел над люком и не сводит глаз с того, что делается в кают-компании; третий, сидя на стуле, уставил глаза в пушку и не может от старости свести губ. Стоят на ногах они неуклюже, опустившись корпусом на коленки, и большею частью смотрят сонно, вяло: видно, что их ничто не волнует, что нет в этой массе людей постоянной идеи и цели, какая должна быть в мыслящей толпе, что они едят, спят и больше ничего не делают, что привыкли к этой жизни и любят ее. Это все свита.

Баниосы тоже, за исключением некоторых, Ба́бы-Городзаймона, Самбро, не лучше: один скажет свой вопрос или ответ и потом сонно зевает по сторонам, пока переводчик передает. Разве ученье, внезапный шум на палубе, или что-нибудь подобное, разбудит их внимание: они вытаращат глаза, навострят уши, а потом опять впадают в апатию. И музыка перестала шевелить их. Нет оживленного взгляда, смелого выражения, живого любопытства, бойкости — всего, чем так сознательно владеет европеец.

Один только, кроме Нарабайоси 2-го, о котором я уже говорил, обратил на себя мое внимание, еще оди́н — и тем он был заметнее. Я не знаю его имени: он принадлежал к свите и не входил с баниосами в каюту, куда, по тесноте и жару, впускались немногие, только необходимые лица. Он высок ростом, строен и держал себя прямо. Совестно ли ему было, что он не был допущен в каюту, или просто он признавал в себе другое какое-нибудь достоинство, кроме чести быть японским чиновником, и понимал, что окружает его,— не знаю, но он стоял на палубе гордо, в красивой, небрежной позе. Лицо у него было европейское, черты правильные, губы тонкие, челюсти не выдавались вперед,

как у других японцев. Незаметно тоже было в выражении лица ни тупого самодовольствия, ни комической важности или наивной, ограниченной веселости, как у многих из них. Напротив, в глазах, кажется, мелькало сознание о своем *японстве* и о том, что ему недостает, чего бы он хотел. Видите ли, и японец может быть интересен, но как редко! Если он приедет еще раз, непременно познакомлюсь с ним, узнаю его имя, зазову в каюту и как-нибудь дознаюсь, что он такое. Я даже думаю, не инкогнито ли он тут, не из любопытства ли замешался в свиту и приехал посмотреть, что мы за люди.

Вечером в тот день, то есть когда японцы приняли письмо, они, по обещанию, приехали сказать, что «отдали письмо», в чем мы, впрочем, нисколько не сомневались.

Дня через три приехали опять *гокейнсы*, то есть один Бабá и другой, по обыкновению новый, смотреть фрегат. Они пожелали видеть адмирала, объявив, что привезли ответ губернатора на письма от адмирала и из Петербурга. Баниосы передали, что его превосходительство «*увидел письмо с удовольствием и хорошо понял*» и что постарается все исполнить. Принять адмирала он, без позволения, не смеет, но что послал уже курьера в Едо и ответ надеется получить скоро.

Время между тем тянулось и наконец дотянулось до 9-го сентября. Ждали ответа из Едо, занимались и скучали, не занимались — и тоже скучали. Развлечений почти никаких. То наши поедут на корвет, то с корвета приедут к нам — обедать, пить чай. Готовят какую-то пьесу для театра. Японцы посещают нас, но пока реже. Вскоре, однако ж, они стáли посещать нас чаще, и вот почему. В начале приезда мы просили прислать нам провизии, разумеется за деньги, и сказали, что иначе не возьмем. В ответ на это японцы запели свою песню, то есть что надо послать в Едо, в верховный совет, тот доложит сиогуну, сиогун микадо, и потому ответа скоро получить — *унмоглик!* невозможно. Губернатор прислал только небольшое количество живности и зелени, прося принять это в подарок. Ему сказали, что возьмут с условием, если и он примет ответный подарок, *контрпрезент*, как они называют.

Наши, взятые из Китая и на Бонин-Сима, утки и куры частию состарелись, не столько от времени, сколько от качки, пушечных выстрелов и других дорожных и морских беспокойств, а частью просто были съедены. Надо было послать транспорт в Китай, за быками и живностью, а шкуну, с особыми приказаниями, на север, к берегам Сибири. Об этом объявили губернатору затем, чтоб он дал приказание своим, при возвращении наших судов, впустить их беспрепятственно на рейд. Он ужасно встревожился, опасаясь, вероятно, не за подкреплением ли идут суда, и поспешно прислал сказать, чтобы мы не посылали транспорта, что свежую провизию мы можем покупать от голландцев, а они будут получать от японцев.

Мы обрадовались, и адмирал принял предложение, а транспорт все-таки послал, потому что быков у японцев бить запрещено, как полезный рабочий скот, и они мяса не едят, а все рыбу и птиц, поэтому мы говядины достать в Японии не могли. Да притом надо было послать

бумаги и письма, через Гон-Конг и Ост-Индию, в Европу. Губернатор ужасно опростоволосился. А мы в выигрыше: в неделю два раза дается длинная записка прислать того, другого, третьего, живности, зелени и т. п. От этого, по середам и пятницам, куча японцев толпится на палубе. Вот сегодня одна партия приехала сказать, что другая везет свинью, и точно привезли. Вчера не преминули сначала дать знать, что привезут воды, а потом уже привезли. Даже и ту воду, которая следовала на корвет, они привезли сначала к нам на фрегат, сказать, что привезли, а потом уже на корвет, который стоит сажен на сто пятьдесят ближе к городу. Теперь беспрестанно слышишь щелканье соломенных подошв, потом визг свиньи, которую тащат на трап, там глухое падение мешка с редькой, с капустой; вон корзинку яиц тащат, потом фруктов, груш, больших, крепких и годных для компота, и *какисов* или *какофиг*.

Мы воспользовались этим случаем и стали помещать в реестрах разные вещи: трубки японские, рабочие лакированные ящики с инкрустацией и т. п. Но вместо десяти, двадцати штук они вдруг привезут три, четыре. На мою долю досталось, однако ж, кое-что: ящик, трубка и другие мелочи. Хотелось бы выписать по нескольку штук на каждого, но скупо возят. За ящик, побольше, берут по 12 таилов (таил — около 3 руб. ассигнациями), поменьше — 8.

Промахнувшись раз, японцы стали слишком осторожны: адмирал сказал, что, в ожидании ответа из Едо об отведении нам места, надо свезти пока на пустой, лежащий близ нас, камень, хронометры, для поверки. Об этом вскользь сказали японцам: что же они? на другой день на камне воткнули дерево, *чтоб сделать камень похожим на берег*, на который мы обещали не съезжать. Фарсёры! [19]

30-го августа, в Александров день, был завтрак у именинника барона Шлипенбаха на корвете. Было очень весело. Между различными развлечениями было одно очень замечательное. На палубу явилось человек осьмнадцать мальчиков, от 12 до 16 лет. Они стройно и согласно пели романсы, хоровые песни: у одного чистый, звучный сопрано, у другого прекрасный контральто. Наконец двое самых маленьких плясали по-русски. Их заставляли говорить наизусть басни Крылова. У всех нерусские физиономии — кто бы это были? Камчадалы! [20] Они учатся в школе, в Петропавловске, и готовятся в лоцманские и штурманские должности. Вот где зажглась искра просвещения и искусства! Все эти мальчики по праздникам ездили на фрегат и прекрасно хором пели обедню.

Нас посетил в начале сентября помощник здешнего обер-гофта, или директора голландской фактории, молодой человек, по имени... забыл как. Самого обер-гофта зовут Донкер Курциус. Он происходит из старой голландской фамилии. С помощником приехала куча японских переводчиков: они не отходили от него ни на шаг. С ним заговорили по-французски, но он просил говорить не иначе, как по-голландски, опасаясь японцев. Жалкое положение — сидеть в тюрьме, бог знает из чего! Этот молодой человек уже девять лет здесь. Он сказал, что на другой

день явится сам обер-гофт, с визитом. Но тот ни на другой, ни на третий день не являлся, потом дал знать, что нездоров. Наконец, когда, по возвращении нашего транспорта из Китая, адмирал послал обер-гофту половину быка, как редкость здесь, он благодарил коротенькой записочкой, в которой выражалось большое удовольствие, что адмирал понял настоящую причину его мнимой невежливости.

2-го сентября, ночью часа в два, задул жесточайший ветер: порывы с гор, из ущелий, были страшные. В три часа ночи, несмотря на луну, ничего не стало видно, только блистала неяркая молния, но без грома, или его не слыхать было за ветром.

Трудно, живучи на берегу, представить себе такой ветер! Гул от него, шум снастей, командный крик — просто ад! Я в свое окошечко видел блуждающий свет фонарей, слышал, точно подземный грохот, стук травимой цепи и глухое, тяжелое падение другого якоря. Рассвело. Я вышел на палубу; жарко; дышать густым, влажным и теплым воздухом было тяжело до тоски. Я перешел в капитанскую каюту, сел там на окно и смотрел на море: оно напоминало выдержанный нами в китайском море ураган. Отдали третий якорь. Весь рейд был как один огромный водоворот. Вода крутилась и кипела, ветер с воем мчал ее в виде пыли, сек волны, которые, как стадо преследуемых животных, метались на прибрежные каменья, потом на берег, затопляя на мгновение хижины, батареи, плетни и палисады. Японские лодки, притаясь под берегом, качались, как скорлупки.[21]

Часов в семь утра мгновенно стихло, наступила отличная погода. Следующая и вчерашняя ночи были так хороши, что не уступали тропическим. Какие нежные тоны — сначала розового, потом фиолетового, вечернего неба! какая грациозная, игривая группировка облаков! Луна бела, прозрачна, и какой мягкий свет льет она на все![22]

Но скучно и жарко: бесконечное наше лето, начавшееся с января, у берегов Мадеры, тянется до сих пор, как кошмар. Пройдет ли оно? Сегодня хотя и прохладно, но надолго ли? «Дайте срок: ужо задует от тропиков, будет вам прохлада!» — пророчески, как Сибилла,[23] ворчит дед. Дни идут однообразно. Встают матросы в четыре часа (они ложатся в восемь), и начинается мытье палубы, с песком и каменьями. Это делается над моей головой. Проснешься, послушаешь и опять заснешь, да ведь как сладко, под это трение камня и песку об доски, как под дробный стук дождя в деревянную кровлю! От шести до семи с половиной встают и офицеры и идут к поднятию флага, потом пьют чай, потом — кто куда. Начинается ученье, тревоги, движение парусами. Я, если хороша погода, иду на ют и любуюсь окрестностями, смотрю в трубу на холмы, разглядываю деревни, хижины, движущиеся фигуры людей, вглядываюсь внутрь хижин, через широкие двери и окна, без рам и стекол, рассматриваю проезжающие лодки, с группами японцев; потом сажусь за работу и работаю до обеда. Обедают от часу до половины третьего, потом сон, потом прогулка, одни и те же битые и перебитые разговоры. А там чай, прогулка по палубе, при звуках музыки нашего оркестра, затем картина вечерней зари и вели-

колепно сияющих, точно бенгальскими огнями, в здешнем редком и прозрачном воздухе, звезд. Ходишь вечером посидеть то к тому, то к другому; улягутся наконец все, идти больше не к кому, идешь к себе и садишься вновь за работу.

Приезд японцев не раз прерывает наши дневные занятия. Заслышишь щелканье их туфлей по палубе, оставишь перо, возьмешь фуражку и пойдешь смотреть, зачем приехали. Вот так приехали они 5 сентября. Мне нездоровилось: я, ослабевший, заснул до обеда. Фаддеев будит: «Поди, ваше высокоблагородие, японцы здесь: приехал новый, такой *толстый*». Я застал его уже у адмирала, с другими японцами. У него круглое, полное и смуглое лицо, без румянца, как у всех у них, с выдавшимися донельзя верхними зубами, с постоянною, отчасти невольною, по причине выдавшихся зубов, улыбкою. Он очень проворен и суетлив; зовут его *Кичибе*. Он приехал поговорить о церемониале, с каким нужно принять посланника и бумагу в верховный совет. А! значит, получен ответ из Едо, хотя они и говорят, что нет: лгут, иначе не смели бы рассуждать о церемониале, не зная, примут ли нас. Мне поручено составить проект церемониала, то есть как поедет адмирал в город, какая свита будет сопровождать его, какая встреча должна быть приготовлена и т. п. Это очень важное дело здесь.

6-го. Так и есть, ответ получен. Сегодня явился опять новый старший переводчик *Кичибе* и сказал, что будто сейчас получили ответ. У меня бумага о церемониале была готова, когда меня позвали в адмиральскую каюту, где были японцы. К. Н. Посьет стал им передавать изустно, по-голландски, статьи церемониала. Кичибе улыбался, кряхтел, едва сидел от нетерпения на стуле, выслушивая его слова. Он ссылался на нашего посланника Резанова, говоря, что у него было гораздо меньше свиты.[24] Ему отвечали, что это нам не пример, что нынешнее посольство предпринято в бо́льших размерах, оттого и свиты больше. Адмирал потому более настаивал на этом, что всем офицерам хотелось быть на берегу.

Не предвидя возможности посылать к вам писем из Нагасаки, я перестал писать их и начал вести дневник. Но случай послать письмо представляется, и я вырываю несколько листов из дневника, чем и заключу это письмо. Сообщу вам, между прочим, о нашем свидании с нагасакским губернатором, как оно записано у меня под 9-м сентября.

Что это, откуда я? где был, что видел и слышал? Прожил ли один час из тысячи одной ночи,[25] просидел ли в волшебном балете, или это так мелькнул перед нами один из тех калейдоскопических узоров, которые мелькнут раз в воображении, поразят своею яркостью, невозможностью и пропадут без следа?

Вы, конечно, бывали во всевозможных балетах, видали много картин в восточном вкусе и потом забывали, как минутную мечту, как вздорный сон, прервавший строгую думу, оторвавший вас от настоящей жизни? Ну, а если б вдруг вам сказали, что этот балет, эта мечта, узор, сон — не балет, не мечта, не узор и не сон, а чистейшая действитель-

ность? «Где-нибудь на островах, у Излера?»,[26] — возразите вы. Да, на островах конечно, но не у Излера, а у Овосавы Бунгоно-ками-сама, нагасакского губернатора. Мы сейчас от него.

Не подумайте, чтоб там поразила нас какая-нибудь нелепая пестрота, от которой глазам больно, груды ярких тканей, драгоценных камней, ковров, арабески — все, что называют восточною роскошью,— нет, этого ничего не было. Напротив, все просто, скромно, даже бедно, но все странно, ново: что шаг, то небывалое для нас.

Еще 5, 6 и 7 сентября ежедневно ездили к нам гокейнсы договариваться о церемониале нашего посещения. Вы там в Европе хлопочете в эту минуту о том, *быть или не быть,*[27] а мы целые дни бились над вопросами: *сидеть* или *не сидеть, стоять* или *не стоять*, потом *как и на чем* сидеть и т. п. Японцы предложили сидеть по-своему, на полу, на пятках. Станьте на колени и потом сядьте на пятки — вот это и значит сидеть по-японски. Попробуйте, увидите, как ловко: пяти минут не просидите, а японцы сидят по нескольку часов. Мы объявили, что не умеем так сидеть; а вот не хочет ли губернатор сидеть по-нашему, на креслах? Но японцы тоже не умеют сидеть по-нашему, а кажется, чего проще? с непривычки у них затекают ноги. Припомните, как угощали друг друга *Журавль и Лисица*[28] — это буквально одно и то же.

На другой день рано утром явились японцы, середи дня опять японцы и к вечеру они же. То и дело приезжает их длинная широкая лодка, с шелковым хвостом на носу, с разрубленной кормой. Это младшие *толки* едут сказать, что сейчас будут старшие *толки*, а те возвещают уже о прибытии *гокейнсов.* Зачем еще? «Да все о церемониале». — «Опять?» — «Мнение губернатора привезли». — «Ну?» — «Губернатор просит, нельзя ли на полу-то вам посидеть?..» — начал со смехом и ужимками Кичибе.

Он, воротясь из Едо, куда был послан, кажется, присутствовать при переговорах с американцами, заменил Льоду и Садагору, как старший.

«Ах ты, боже мой! ведь сказали, что не сядем, не умеем, и платья у нас не так сшиты, и тяжело нам сидеть на пятках...» — «Да вы сядьте хоть не на пятки, просто, только протяните ноги куда-нибудь в сторону...» — «Не оставить ли их на фрегате?» — ворчали у нас и наконец рассердились. Мы объявили, что привезем свои кресла и стулья и сядем на них, а губернатор пусть сидит, на чем и как хочет.

Кичибе, Льода и Садагора — все поникли головой, но потом согласились. Все это говорили они в капитанской каюте. Адмирал объявил им утром свой ответ и, узнав; что они вечером приехали опять с пустяками, с объяснениями о том, как сидеть, уже их не принял. а поручил разговаривать с ними нам. «Да вот еще,— просили они,— губернатор желал бы угостить вас, так просит принять завтрак». — «С удовольствием»,— приказал сказать адмирал. «После разговора о делах,— продолжал Кичибе,— губернатор пойдет к себе *отдохнуть*, и вы тоже пойдете отдохнуть в другую комнату,— прибавил он, вертясь на стуле и судорожно смеясь,— да и... позавтракаете». «Одни? — спросили его,—

вы никак с ума сошли? У нас, в Европе, этого не делается». «По-японски это весьма употребительно,— сказали они,— мы так всегда...»

Но, кажется, лгали: они хотели подражать адмиралу, который велел приготовить, в первое свидание с японцами на фрегате, завтрак для гокейнсов и поручил нам угощать их, а сам не присутствовал. Боже мой! сколько просьб, молений! Кичибе вертелся, суетился; у него по вискам лились потоки испарины. Льода кланялся, улыбался, как только мог хуже. Суровый Садагора и тот осклабился. Но мы были непреклонны. Все *толки* опечалились. Со вздохом перешли они потом к другим вопросам, например к тому, в чьих шлюпках мы поедем, и опять начали усердно предлагать свои, говоря, что они этим хотят выразить нам уважение. Но мы уклонились и сказали, что у нас много своих; опять упрашиванья с их стороны, отказ с нашей. У них вытянулись лица.

Все это такие мелочи, о которых странно бы было спорить, если б они не вели за собой довольно важных последствий. Уступка их настояниям в пустяках могла дать им повод требовать уступок и в серьезных вопросах и, пожалуй, повести к некоторой заносчивости в сношениях с нами. Оттого адмирал и придерживался постоянно принятой им в обращении с ними системы: кротости, вежливости и твердости, как в мелочных, так и в важных делах. По мелочам этим, которыми начались наши сношения, японцам предстояло составить себе о нас понятие, а нам установить тон, который должен был господствовать в дальнейших переговорах. Поэтому обстоятельство это гораздо важнее, нежели кажется с первого взгляда.

У нас стали думать, чем бы оказать им внимание, чтоб смягчить отказы, и придумали сшить легкие полотняные или коленкоровые башмаки, чтоб надеть их сверх сапог, входя в японские комнаты. Это — восточный обычай скидать обувь: и японцам, конечно, должно понравиться, что мы не хотим топтать их пола, на котором они едят, пьют и лежат. Пошла суматоха: надо было в сутки сшить, разумеется на живую нитку, башмаки. Всех заняли, кто только умел держать в руках иглу. Судя по тому, как плохо были сшиты мои башмаки, я подозреваю, что их шил сам Фаддеев, хотя он и обещал дать шить паруснику. Некоторые из нас подумывали было ехать в калошах, чтоб было что́ снять при входе в комнату, но для однообразия последовали общему примеру. Впрочем, я, пожалуй, непрочь бы и сапоги снять, даже сесть на пол, лишь бы присутствовать при церемонии.

Вечером, видим, опять едут японцы. «Который это раз? зачем?» — «Да все о церемониале». — «Что еще?» — «Губернатор просит, нельзя ли вам угоститься без него: так выходит хорошо по-японски»,— говорит Кичибе. «А по-русски не выходит»,— отвечают ему. Начались поклоны и упрашиванья. «Ну, хорошо, скажите им,— приказал объявить адмирал, узнав, зачем они приехали,— что, пожалуй, они могут подать чай, так как это их обычай; но чтоб о завтраке и помину не было».

Японцы обрадовались и тому, особенно Кичибе. Видно, ему приказано от губернатора непременно устроить, чтоб мы приняли завтрак:

губернатору, конечно, предписано от горочью,[29] а этому от сиогуна. «Еще губернатор,— начал Кичибе,— просит насчет шлюпок: нельзя ли вам ехать на нашей...» «Нельзя»,— коротко и сухо отвечено ему.

Стали потом договариваться о свите, о числе людей, о карауле, о носилках, которых мы требовали для всех офицеров непременно. И обо всем надо было спорить почти до слез. О музыке они не сделали, против ожидания, никакого возражения; вероятно, всем, в том числе и губернатору, хотелось послушать ее. Уехали.

На другой день, 8-го числа, явились опять, попробовали, по обыкновению, настоять на угощении завтраком, также на том, чтоб ехать на их шлюпках, но напрасно. Им очень хотелось настоять на этом, конечно затем, чтоб показать народу, что мы *не едем сами, а нас везут,* словом, что чужие в Японии воли не имеют.

Потом переводчики попросили изложить по-голландски все пункты церемониала и отдать бумагу им, для доставления губернатору. Им сказано, что бумага к вечеру будет готова и чтоб они приехали за ней; но они объявили, что лучше подождут. Я ушел обедать, а они все ждали, потом лег спать, опять пришел, а они не уезжали и так прождали до ночи. Им дали на юте обедать, и Посьет обедал с ними. Нужды нет, что у них не едят мяса, а они ели у нас пирожки с говядиной и суп с курицей. Велели принести с лодок и свой обед, между прочим рыбу, жареную, *прессованную* и разрезанную правильными кусочками. К. Н. Посьет говорит, что это хорошо. Не знаю, правда ли: он в деле гастрономии такой снисходительный.

Они уехали, сказав, что свидание назначено завтра, 9-го числа, что *рентмейстер*, первый после губернатора чиновник в городе, и два губернаторские секретаря приедут известить нас, когда губернатор будет готов принять. Мы назначили им в 10-ть часов утра. Тут они пустились в договоры, как примем, где посадим чиновников. «На креслах, на диване, на полу: пусть сядут, как хотят, направо, налево, пусть влезут хоть на стол»,— сказано им. «Нельзя ли нарисовать, как они будут сидеть?» — сказал Кичибе.

Ну сделайте милость, скажите, что делать с таким народом? А надо говорить о деле. Дай бог терпение! Вот что значит запереться от всех: незаметно в детство впадешь.

Настало вожделенное утро. Мы целый месяц здесь: знаем подробно японских свиней, оленей, даже раков, не говоря о самих японцах, а о Японии еще ничего сказать не могли. «Фаддеев! весь парадный костюм мне приготовить; и ты поедешь; оденься». Все нарядились в парадные платья. Я спросил белый жилет, смотрю — он уже не белый, а желтый. Шелковые галстуки, лайковые перчатки — все были в каких-то чрезвычайно ровных, круглых и очень недурных пятнах, разных видов, смотря по цвету, например, на белых перчатках были зеленоватые пятна, на палевых оранжевые, на коричневых массака[30] и так далее: всё от морской сырости. «Что ж ты не проветривал? — строго заметил я Фаддееву,— видишь, ни одной годной пары нет?» — «Да это так нарочно сделано»,— отвечал он, пораженный круглой, правильной формой пятен:

«А галстуки тоже нарочно с пятнами?» Фаддеев стороной посмотрел на галстуки. «И они в пятнах,— сказал он про себя,— что за чудо!»

Но о перчатках нечего было и хлопотать: мы с апреля, то есть с мыса Доброй Надежды, и не пробовали надевать их: напрасный труд, не наденешь в этом жару, а и наденешь, так будешь не рад — не скинешь после.

В 10-м часу приехали сначала оппер-баниосы, потом и секретари. Мне и К. Н. Посьету поручено было их встретить на шканцах и проводить к адмиралу. Около фрегата собралось более ста японских лодок, с голым народонаселением. Славно: пестроты нет, все в одном и том же костюме, с большим вкусом! Мы с Посьетом ждали у грот-мачты, скоро ли появятся гости и что за секретари в Японии, похожи ли на наших?

Вот идут по трапу и ступают на палубу, один за другим, и старые и молодые японцы, и об одной, и о двух шпагах, в черных и серых кофтах, с особенно тщательно причесанными затылками, с особенно чисто выбритыми лбами и бородой, словом, молодец к молодцу: длиннолицые и круглолицые, самые смуглые, и изжелта и посветлее, подслеповатые и с выпученными глазами, то донельзя гладкие, то до невозможности рябые. А что за челюсти, что за зубы! И все это лезло, лезло на палубу... Да будет ли конец? Показались переводчики, а за ними и секретари. «Которые же секретари? где?» — спрашивали мы. «Да вот!..»

Весь этот люд, то есть свита, все до одного вдруг, как по команде, положили руки на колени и поклонились низко, и долго оставались в таком положении, как будто хотят играть в чехарду. «Это-то секретари?» На трап шли, переваливаясь с ноги на ногу, два старика, лет 70-ти каждый, плешивые, с седыми жиденькими косичками, в богатых штофных юбках, с широкой бархатной по подолу обшивкой, в белых бумажных чулках и, как все прочие, в соломенных сандалиях. Они едва подняли веки на нас, на все, что было кругом, и тотчас же опустили. Грянула музыка — опять они подняли веки и опять опустили. Потом тихо поплелись, шаркая подошвами, куда мы повели их, не глядя по сторонам. Оппер-баниосы тут же поступили в их свиту и шли за ними. И они, в свою очередь, *хикали,* когда те обращали к ним речь. Сначала их привели в капитанскую каюту и посадили, по вчерашнему рисунку, на два кресла. Прочие не смели сесть. Секретари объявили, что желали бы видеть адмирала.

Так же сонно, не глядя ни на что вокруг, спустились они в адмиральскую каюту. Там, чтоб почтить их донельзя, положили им на кресла, в отличие от свиты, по сафьянной подушке, так что ноги у них не доставали до полу. Чего, кажется, почетнее? Им принесли чаю и наливки. Чай они хлебнули, а от наливки отказались, сказав, что им некогда, что они приехали только от губернатора объявить, что его превосходительство ожидает русских. Они просили нас не тотчас ехать вслед за ними, чтоб успеть приехать вовремя и встретить нас. «Наши лодки так скоро, как ваши, ходить не могут»,— прибавили они. Баниосы остались, чтоб ехать с нами.

9-го сентября. День рождения его императорского высочества великого князя Константина Николаевича. Когда, после молебна, мы стали садиться на шлюпки, в эту минуту, по свистку, взвились кверху по снастям свер-

нутые флаги, и люди побежали по реям, лишь только русский флаг появился на адмиральском катере. Едва катер тронулся с места, флаги всех наций мгновенно развернулись на обоих судах и ярко запестрели на солнце. Вместе с гимном «Боже, царя храни» грянуло троекратное ура. Все бывшие на шлюпках японцы, человек до пятисот, на минуту оцепенели, потом, в свою очередь, единодушно огласили воздух криком изумления и восторга.

Впереди шла адмиральская гичка: К. Н. Посьет ехал в ней, чтоб установить на берегу почетный караул. Сзади ехал катер с караулом, потом другой, с музыкантами и служителями, далее шлюпка с офицерами, за ней катер, где был адмирал со свитой. Сзади шел еще вельбот; там сидел один из офицеров. Впереди, сзади, по бокам торопились во множестве японские шлюпки — одни, чтоб идти рядом, другие хотели обогнать. Ехали медленно, около часа; музыка играла все время. По батареям, пристаням, холмам — везде толпились кучи бритых голов, разноцветных, больше синих, халатов. Лодки, как утки, плавали вокруг, но близко к нам не подходили.

Мы с любопытством смотрели на великолепные берега пролива, мимо которых ехали. Я опять не мог защищаться от досады, глядя на места, где природа сделала с своей стороны все, чтоб дать человеку случай приложить и свою творческую руку и наделать чудес, и где человек ничего не сделал. Вон тот холм, как он ни зелен, ни приютен, но ему чего-то недостает: он должен бы быть увенчан белой колоннадой, с портиком, или виллой, с балконами на все стороны, с парком, с бегущими по отлогостям тропинками. А там, в рытвине, хорошо бы устроить спуск и дорогу к морю да пристань, у которой шипели бы пароходы и гомозились люди. Тут, на высокой горе, стоять бы монастырю, с башнями, куполами и золотым, далеко сияющим из-за кедров крестом. Здесь бы хорошо быть складочным магазинам, перед которыми теснились бы суда, с лесом мачт...

«А что, если б у японцев взять Нагасаки?» — сказал я вслух, увлеченный мечтами. Некоторые засмеялись. «Они пользоваться не умеют,— продолжал я,— что бы было здесь, если б этим портом владели другие? Посмотрите, какие места! Весь восточный океан оживился бы торговлей...»

Я хотел развивать свою мысль о том, как Япония связалась бы торговыми путями, через Китай и Корею, с Европой и Сибирью; но мы подъезжали к берегу. «Где же город?» — «Да вот он»,— говорят. «Весь тут? за мысом ничего нет? так только-то?»

Мы не верили глазам, глядя на тесную кучу серых, невзрачных, одноэтажных домов. Налево, где я предполагал продолжение города, ничего не было: пустой берег, маленькие деревушки да отдельные, вероятно рыбачьи, хижины. По мысам, которыми замыкается пролив, все те же дрянные батареи да какие-то низенькие и длинные здания, вроде казарм. К берегам жмутся неуклюжие большие лодки. И все завешено: и домы, и лодки, и улицы, а народ, которому бы очень не мешало завеситься, ходит уж чересчур нараспашку.

Я начитался о многолюдстве японских городов и теперь понять не мог, где же помещается тут до шестидесяти тысяч жителей, как говорит,

кажется, Тунберг?[31] «Сколько жителей в Нагасаки?» — спросил я однажды Баба́-Городзаймона, через переводчика, разумеется. Он повторил вопрос по-японски и посмотрел на другого баниоса, тот на третьего, этот на ондер-баниоса, а ондер-баниос на переводчика. И так вопрос и взгляд дошли опять до Бабы́, но без ответа. «Иногда бывает меньше,— сказал наконец Садагора,— а в другой раз больше». Вот вам и ответ! Они всего боятся; все им запрещено: проврутся во вздоре — и за то беда. Я спросил однажды, как зовут сиогуна. «Не знаем»,— говорят. Впрочем, у них имя государя действительно почти тайна, или по крайней мере они, из благоговения, не произносят его; по смерти его ему дают другое имя. У них вообще есть обычай менять имена по нескольку раз в жизни, в разные эпохи, например при женитьбе и тому подобных обстоятельствах.

Мы все ближе и ближе подходили к городу: везде, на высотах, и по берегу, и на лодках, тьмы людей.[32] Вот наконец и голландская фактория. Несколько голландцев сидят на балконе. Мне показалось, что один из них поклонился нам, когда мы поравнялись с ними. Но вот наши передние шлюпки пристали, а адмиральский катер, в котором был и я, держался на веслах, ожидая, пока там все установится.

Берег! берег! Наконец мы ступили на японскую землю. Мы вышли на каменную пристань. Ну, берег не очень занимательный: хоть и не выходить!

На пристань вела довольно высокая, из дикого камня, лестница. Набережная плотно убита была песком: это широкая площадка. Домы были завешены сплошной, синей и белой, холстиной. Караул построился в две шеренги по правую сторону пристани, офицеры по левую. Сзади толпился тощей кучкой народ, мелкий, большею частью некрасивый и голый. Видно было, что на набережную пустили весьма немногих: прочие глядели с крыш, из-за занавесок, провертя в них отверстия, с террас, с гор — отвсюду. В толпе суетился какой-то старик, с злым лицом, тоже не очень одетый. Он унимал народ, не давал лезть вперед, чему, кроме убедительных слов, немало способствовала ему предлинная жердь, которая была у него в руках.

Едва адмирал ступил на берег, музыка заиграла, караул и офицеры отдали честь. А где же встреча, кто ж примет: одни переводчики? Нет, это шутки! Велено спросить, узнать и вытребовать.

Переводчики засуетились, забегали, а мы пока осматривали носилки, или «норимоны» по-японски, которые, по уговору, ожидали нас на берегу. Их было двенадцать или еще, кажется, больше, по числу офицеров. Я думаю, их собрали со всего города. Они заменяют в Японии наши кареты. Носилки, довольно красивые на взгляд, обиты разными материями, украшены значками и кистями. Но в них сесть было нельзя: или ног, или головы девать некуда. «Не для пыток ли заведены у них эти экипажи?» — подумаешь, глядя на них. Полунагие носильщики, на толстой жерди, продетой вверху, несут норимоны на плечах. Все это крайне неловко, не то, что в Китае. В Гон-Конге меня носили в препокойных и удобных носилках, вроде наших качелей, на которых простой народ качается на Святой неделе. В них сидишь, как в креслах. Кроме носилок была тут, говорят, еще и лошадь. Я не заметил лошади и не знаю, зачем она была. В этой

Посольство адмирала Е. В. Путятина в Японии в 1853 г. Фрагмент (1-й) японской картины. ЦВММ. Ленинград.

Посольство адмирала Е. В. Путятина в Японии в 1853 г. Фрагмент (2-й) японской картины. ЦВММ. Ленинград.

суматохе простительно и слона не заметить. Кое-кто из наших попробовали было влезть в эти клетки, то есть носилки, но тотчас же выскочили и пошли пешком.

Наконец явился какой-то старик, с сонными глазами, хорошо одетый; за ним свита. Он стал неподвижно перед нами и смотрел на нас вяло. Не знаю, торжественность ли они выражают этим апатическим взглядом, но только сначала, без привычки, трудно без смеху глядеть на эти фигуры в юбках, с косичками и голыми коленками.

Я стоял сзади, в свите адмирала, в хвосте нашей колонны. Вдруг впереди раздалась команда: *марш вперед!* музыка грянула, и весь отряд тронулся с места. Слышались мерные и дробные шаги идущих в ногу матросов. Отошли не более ста сажен по песчаной набережной и стали подниматься на другую каменную лестницу. По сторонам расставлены были, на сажень один от другого, японские... Ужели это солдаты? Посмотрите, что это такое: взятые на подбор, поменьше ростом, японцы в маленьких, в форме воронки, лакированных шапках, с сонными глазами. Они стояли, откинувшись корпусом назад, ноги врозь, с согнутыми коленками. На плечах у них, казалось, были ружья: надо подозревать так, потому что самые ружья спрятаны в чехлах, а может быть, были одни чехлы без ружей. Здесь все может быть, чего в других местах не бывает.[33]

Мы еще были внизу, а колонна змеилась уже по лестнице, штыки сверкали на солнце, музыка уходила вперед и играла все глуше и глуше. Скомандовали: *левое плечо вперед!* колонна сжалась, точно змей, в кольцо, потом растянулась и взяла направо: музыка заиграла еще глуше, как будто вошла под свод, и вдруг смолкла.

Над головой у нас голубое, чудесное небо, вдали террасы гор, кругом странная улица, с непохожими на наши домами и людьми тоже.

Мы завернули за колонной направо, прошли ворота и очутились на чистом мощеном дворе, перед широким деревянным крыльцом, без дверей.

Прежде всего бросается в глаза необыкновенная опрятность двора, деревянной, крытой циновками лестницы, наконец, и самих японцев. В этом им надо отдать справедливость. Все они отличаются чистотой и опрятностью, как в своей собственной персоне, так и в платье. Как бы в этой густой косе не присутствовать разным запахам, на этих халатах не быть пятнам? Нет ничего. Не говорю уже о чиновниках: те и опрятно и со вкусом одеты; но взглянешь и на нищего, видишь наготу или разорванный халат, а пятен, грязи нет. Тогда как у китайцев, например, чего не натерпишься, стоя в толпе! Один запах сандального дерева чего стоит! от дыхания, напитанного чесноком, кажется, муха умрет на лету. От японцев никакого запаха. Глядишь на голову: через косу сквозит бритый, но чистый череп; голые руки далеко видны в широком рукаве: смуглы, правда, но все-таки чисты. Манеры у них приличны; в обращении они вежливы — словом, всем бы порядочные люди, да нельзя с ними дела иметь: медлят, хитрят, обманывают, а потом откажут. Бить их жаль. Они такой порядок устроили у себя, что если б и захотели не отказать или вообще сделать что-нибудь такое, чего не было прежде, даже и хорошее, так не

могут, по крайней мере добровольно. Например: вот они решили, лет двести с лишком назад, что европейцы вредны и что с ними никакого дела иметь нельзя, и теперь сами не могут изменить этого. А уж, конечно, они убедились, особенно в новое время, что если б пустить иностранцев, так от них многому бы можно научиться: жить получше, быть посведущее во всем, сильнее, богаче.

Правительство знает это, но, по старой памяти, боится, что христианская вера вредна для их законов и властей. Пусть бы оно решило теперь, что это вздор и что необходимо опять сдружиться с чужестранцами. Да как? Кто начнет и предложит? Члены верховного совета? — Сиогун велит им распороть себе брюхо. Сиогун? — Верховный совет предложит ему уступить место другому. Микадо не предложит, а если б и вздумал, так сиогун не сошьет ему нового халата и даст два дня сряду обедать на одной и той же посуде.

Известно, что этот микадо (настоящий, законный государь, отодвинутый узурпаторами-наместниками, или сиогунами, на задний план) не может ни надеть два раза одного платья, ни дважды обедать на одной посуде. Все это каждый день меняется, и сиогун аккуратно поставляет ему обновки, но простые, подешевле.

Японцы так хорошо устроили у себя внутреннее управление, что совет не может сделать ничего без сиогуна, сиогун — без совета и оба вместе — без удельных князей. И так система их держится и будет держаться на своих искусственных основаниях до тех пор, пока не помогут им ниспровергнуть ее... американцы или хоть... мы!

А теперь они еще пока боятся и подумать выглянуть на свет божий из-под этого колпака, которым так плотно сами накрыли себя. Как они испуганы и огорчены нашим внезапным появлением у их берегов! Четыре большие судна, огромные пушки, множество людей и твердый, небывалый тон в предложениях, самостоятельность в поступках! Что ж это такое?

Как они засуетились, когда попросили их убрать подальше караульные лодки от наших судов, когда вдруг вздумали и послали одно из судов в Китай, другое на север, без позволения губернатора, который привык, чтоб судно не качнулось на японских водах без спроса, чтоб даже шлюпки европейцев не ездили по гавани! Теперь им холодно объявляют, чего хотят и чего не хотят. Они думают противиться, иногда вдруг заговорят по-прежнему, *требуют,* а сами глазами умоляют не отказать, чтоб им не досталось свыше. Им поставится всякая наша вина в вину. Узнав, что завтра наше судно идет в море, они бегут к губернатору и торопятся привезти разрешение. Мы хохочем. Они объявили, что с батарей будут палить, завидя суда в море, и этим намекнули, что у них есть пушки, которые даже палят. Палите, отвечаем с улыбкой. Просят не ездить далеко по рейду — мы ничего не отвечаем и едем. А губернатор все еще поднимает нос: делает запросы, хочет настаивать, да вдруг и спустится, уступит.

Давно ли сарказмом отвечали японцы на совет голландского короля [34] отворить ворота европейцам? Им приводили в пример китайцев, сказав, что те пускали европейцев только в один порт, и вот что из этого вышло:

открытие пяти портов,[35] торговые трактаты, отмена стеснений и т. п. «Этого бы не случилось с китайцами,— отвечали японцы,— если б они не пускали и в один порт».

А вот теперь иностранцы постучались и в их заветные ворота, с двух сторон. Пришел и их черед практически решать вопрос: *пускать* или *не пускать* европейцев, а это все равно для японцев, что быть или не быть.[36] Пустить — гости опять принесут свою веру, свои идеи, обычаи, уставы, товары и пороки. Не пускать... но их и теперь четыре судна, а пожалуй, придет и десять, всё с длинными пушками. А у них самих недлинные, и без станков или на соломенных станках. Есть еще ружья с фитилями, сабли, даже по две за поясом у каждого, и отличные... да что́ с этими игрушками сделаешь?

Пустить или не пустить — легко сказать! Пустить — когда им было так тихо, покойно, хорошо — и спать и есть. Не пустить... а как гости сами пойдут, да так, что губернатор не успеет прислать и позволения? С кем посоветоваться? у кого спросить? Губернатор не смеет решить. Он пошлет спросить в верховный совет, совет доложит сиогуну, сиогун — микадо. Этот прямой и непосредственный родственник неба, брат, сын или племянник луны, мог бы, кажется, решить, но он сидит с своими двенадцатью супругами и несколькими стами их помощниц, сочиняет стихи, играет на лютне и кушает каждый день на новой посуде. Губернатору велят на всякий случай прогнать, истребить иностранцев или по крайней мере ни за что не пускать в Едо. Губернатору лучше бы, если б мы, минуя Нагасаки, прямо в Едо пришли: он отслужил свой год и, сдав должность другому, прибывшему на смену, готовился отправиться сам в Едо, домой, к семейству, которое удерживается там правительством и служит порукой за мужа и отца, чтоб он не нашалил как-нибудь на границе. А пока мы здесь, он не может ехать, даже когда приедет другой губернатор. И вот губернатор начинает спроваживать гостей — нейдут; чуть он громко заговорит или не исполняет просьб, не шлет свежей провизии, мешает шлюпкам кататься — ему грозят идти в Едо; если не присылает, по вызову, чиновников — ему говорят, что сейчас поедут сами искать их в Нагасаки, и чиновники едут. «Будьте вы прокляты!» — думает, вероятно, он, и чиновники то же, конечно, думают; только переводчик Кичибе ничего не думает: ему все равно, возьмут ли Японию, нет ли, он продолжает улыбаться, показывать свои фортепиано изо рту, *хикает* и перед губернатором, и перед нами.

Но что же делать им? и пустить нельзя, и не пустить мудрено. Они пробуют хитрить: то скажут, что мы съели всех свиней в Нагасаки, и скоро не будет свежей провизии; продают утку по талеру [37] за штуку, думая этим надоесть. Ничего не берет! Талеры платят и едят дорогих уток, все равно как дешевых. Как поступить? Свысока ли, как прежде, или как требует время и обстоятельства? Они, в недоумении, пробуют и то и другое. Они видят, что их система замкнутости и отчуждения, в которой одной они искали спасения, их ничему не научила, а только остановила их рост. Она, как школьная затея, мгновенно рушилась при появлении учителя. Они одни, без помощи: им ничего больше не остается, как удариться в слезы

и сказать: «виноваты, мы дети!» и, как детям, отдаться под руководство старших.

Кто же будут эти старшие? Тут хитрые, неугомонные промышленники, американцы,[38] здесь горсть русских: русский штык, хотя еще мирный, безобидный, гостем пока, но сверкнул уже при лучах японского солнца, на японском берегу раздалось *вперед*! Avis au Japon! *

Если не нам, то американцам, если не американцам, то следующим за ними — кому бы ни было, но скоро суждено опять влить в жилы Японии те здоровые соки, которые она самоубийственно выпустила, вместе с собственной кровью, из своего тела, и одряхлела в бессилии и мраке жалкого детства.

Я не раз упомянул о *разрезывании брюха*. Кажется, теперь этот обычай употребляется реже. После нашего прихода, когда правительство убедится, что и ему самому, не только подданным, придется изменить многое у себя, конечно будут пороть брюхо еще реже. А вот пока что говорит об этом обычае мой ученый источник,[39] из которого я привел некоторые места в начале этого письма.

«Каким же образом тое отправляется, как себе чрево распарывать, таким: собирают своих родителей и вместе идут в пагод, посреди того пагода постилают циновки и ковры, на тех садятся и пиршествуют, на прощании ядят иждивительно и сладко, а пьют много. И как уже пир окончится, тот, который должен умереть, вставает и разрезывается накрест, так что его внутренняя вся вон выходят. Которыя ж смеляе, то, по таком действии, и глотку себе перерезывают. Думаю, что разных образцов, как себе чрево распарывать, между ими боле до пятьдесяти восходит».

Кажется, иностранцам, если только уступит правительство, с японским народом собственно не будет больших хлопот. Он чувствует сильную потребность в развитии, и эта потребность проговаривается во многом. Притом он беден, нуждается в сообщении с другими. Порядочные люди, особенно из переводчиков, обращавшихся с европейцами, охают, как я писал, от скуки и недостатка жизни умственной и нравственной. Низший класс тоже с завистью и удивлением поглядывает на наши суда, на людей, просит у нас вина, пьет жадно водку, хватает брошенный кусок хлеба, с детским любопытством вглядывается в безделки, ловит на лету в своих лодках какую-нибудь тряпку, прячет. К нам подъехала недавно лодка: в ней были два гребца, а на носу небрежно лежал хорошо одетый мальчик, лет тринадцати. Видно, что он выпросился погулять, посмотреть корабль и других людей. Гребцы, по обыкновению, хватали все, что им ни бросали, но не ели, а подавали ему: он смотрел с любопытством и прятал. Им спустили на веревке бутылку вина, водки, дали сухарей, конфект — всё брали. Да и высший класс, кажется, тяготится отчуждением от мира и своей сонной и бесплодной жизнию. Кто-то из переводчиков проговорился нам, что, в приезд Резанова,[40] в их верховном совете только двое, из семи или осьми членов, подали голос в пользу сношений с европейцами, а теперь только два голоса говорят против этого. Кликни только клич —

* К сведению Японии! (*франц.*).— *Ред.*

и японцы толпой вырвутся из ворот своей тюрьмы. Они общежительны, охотно увлекаются новизной; и не преследуй у них шпионы, как контрабанду, каждое прошептанное с иностранцами слово, обмененный взгляд, наши суда сейчас же, без всяких трактатов, завалены бы были всевозможными товарами, без помощи сиогуна, который все барыши берет себе, нужды нет, что Япония, по словам властей, страна бедная и торговать будто бы ей нечем.

Сколько у них жизни кроется под этой апатией, сколько веселости, игривости! Куча способностей, дарований — все это видно в мелочах, в пустом разговоре, но видно также, что нет только содержания, что все собственные силы жизни перекипели, перегорели и требуют новых, освежительных начал. Японцы очень живы и натуральны; у них мало таких нелепостей, как у китайцев; например, тяжелой, педантической, устарелой и ненужной учености, от которой люди дуреют. Напротив, они все выведывают, обо всем расспрашивают и все записывают. Все почти бывшие в Едо голландские путешественники рассказывают, что к ним нарочно послали японских ученых, чтоб заимствовать что-нибудь новое и полезное. Между тем китайский ученый не смеет даже выразить свою мысль живым, употребительным языком: это запрещено; он должен выражаться, как показано в книгах. Если японцы и придерживаются старого, то из боязни только нового, хотя и убеждены, что это новое лучше. Они сами скучают и зевают, тогда как у китайцев, по рассказам, этого нет. Решительно японцы — французы, китайцы — немцы здешних мест.

Но пока им не растолковано и особенно не доказано, что им хотят добра, а не зла, они боятся перемен, хотя и желают, не доверяют чужим и ведут себя, как дети. Они теперь мечутся, меряют орудия, когда они на них наведены, хотят в одну минуту выучиться строить батареи, лить пушки, ядра и даже — стрелять. Они не понимают, что Россия не была бы Россией, Англия Англией, в торговле, войне и во всем, если б каждую заперли на замок. Не дети ли, когда думали, что им довольно только не хотеть, так их и не тронут, не пойдут к ним даже и тогда, если они претерпевших кораблекрушение и брошенных на их берега иностранцев будут сажать в плен, купеческие суда гонять прочь, а военные учтиво просить уйти и не приходить? Они думали, что и все так будет, что не доберутся до них, не захотят или не смогут.

Вот они теперь ссылаются на свои законы, обычаи, полагая, что этого довольно, что все это будет уважено безусловно, несмотря на то, что сами они не хотели знать и слышать о чужих законах и обычаях.[41] За настойчивостью кроется страх, что мы не послушаем, не исполним их капризов. Им хочется отказать в требованиях, но хочется и узнать, что им за это будет: в самом ли деле будут драться, и больно ли? Ужели не пощадят их? Кажется, нет — и, пожалуй, припомнят все: пролитую кровь христиан, оскорбление посланников, тюрьмы пленных, грубости, надменность, чванство. Еще дела не начались, а на Лю-Чу, в прихожей у порога, и в Китае также, стоит нетерпеливо, как у долго не отпирающихся дверей, толпа миссионеров: они ждут не дождутся, когда настанет пора восстановить дерзко поверженный крест...[42]

А нечего делать японцам против кораблей: у них, кроме лодок, ничего нет. У этих лодок, как и у китайских джонок, паруса из циновок, очень мало из холста, да еще открытая корма: оттого они и ходят только у берегов. Кемпфер говорит, что в его время сиогун запретил строить суда иначе, чтоб они не ездили в чужие земли. «Нечего, дескать, им там делать».

Но я забыл, что нас ждет Овосава Бунгоно-ками-сама, нагасакский губернатор. Мы остановились на крыльце, а караул и музыканты на дворе. В сенях, или первой комнате, устланной белыми циновками, мы увидели и наших переводчиков. Впереди всех был Кичибе. Уж он маялся от нетерпения: ему, по-видимому, давно хотелось очнуться от своей неподвижности, посуетиться, поговорить, пошуметь и побегать. Только что мы на крыльцо, он вскочил, начал кланяться, скалил зубы и усердно показывал рукой на анфиладу комнат, приглашая идти. Тут началась церемония надеванья коленкоровых башмаков. Мы натаскивали, натаскивали с Фаддеевым, едва натащили. Я не узнал Фаддеева: весь в красном, в ливрее, с стоячим воротником, на вытяжке, а лицо на сторону — неподражаем! Он числился при адмиральской каюте, с откомандированием, для прислуги, ко мне.

Мы пошли по комнатам: с одной стороны заклеенная, вместо стекол, бумагой, оконная рама доходила до полу, с другой — подвижные бумажные, разрисованные, и весьма недурно, или сделанные из позолоченной и посеребренной бумаги ширмы, так что не узнаешь, одна ли это огромная зала или несколько комнат.

В глубине зала сидели, в несколько рядов, тесной кучей, на пятках человеческие фигуры, в богатых платьях, с комическою важностью. Ни бровь, ни глаз не шевелились. Не слышно и не видно было, дышат ли, мигают ли эти фигуры, живые ли они, наконец? И сколько их! Вот целые ряды в большой комнате; вот две массивные фигуры седых стариков, посажены в маленьком проходе, как фарфоровые куклы; далее тянутся опять длинные шеренги. Тут и молодые и старые, с густыми и жиденькими косичками, похожими на крысий хвост. Какие лица, какие выражения на них! Ни одна фигура не смотрит на нас, не следит с жадным любопытством за нами, а ведь этого ничего не было у них сорок лет, и почти никто из них не видал других людей, кроме подобных себе. Между тем все они уставили глаза в стену или в пол и, кажется, побились об заклад о том, кто сделает лицо глупее. Все, более или менее, успели в этом; многие, конечно, неумышленно.

Общий вид картины был оригинален. Я был как нельзя более доволен этим странным, фантастическим зрелищем. Тишина была идеальная. Раздавались только наши шаги. «Башмаки, башмаки!» — слышу вдруг чей-то шепот. Гляжу — на мне сапоги. А где башмаки? «Еще за три комнаты оставил»,— говорят мне. Я увлекся и не заметил. Я назад: в самом деле, коленкоровые башмаки лежали на полу. Сидевшие в этой комнате фигуры продолжали сидеть так же смирно и без нас, как при нас; они и не взглянули на меня. Догоняю товарищей, но отсталых не я один: то тот, то другой наклонится и подбирает башмаки. Наконец входим в залу, светлее и больше других: справа стоял, в нише, золоченый большой лук: знак ли это губернаторского сана, или так, украшение — я добиться не мог.

Е. В. Путятин. Японская картина, изображающая его посольство в Японии в 1853 г. ЦВММ. Ленинград.

Зала, как и все прочие комнаты, устлана была до того мягкими циновками, что идешь, как по тюфяку. Здесь эффект сидящих на полу фигур был еще ярче. Я насчитал их тридцать.

В одно время с нами показался в залу и Овосава Бунгоно-ками-сама, высокий, худощавый мужчина, лет пятидесяти, с важным, строгим и довольно умным выражением в лице. Овосава — это имя, Бунгоно — нечто вроде фамилии, которая, кажется, дается, как и в некоторых европейских государствах, от владений, поместьев или земель, по крайней мере так у высшего сословия. Частица *но* повторяется в большей части фамилий и есть, кажется, не что иное, как грамматическая форма. *Ками* — почетное название, вроде нашего *и кавалер; сама* — господин, титул, прибавляемый сзади имен всех чиновных лиц.

Мы взаимно раскланялись. Кланяясь, я случайно взглянул на ноги — проклятых башмаков нет как нет: они лежат подле сапог. Опираясь на

руку барона Криднера, которую он протянул мне из сострадания, я с трудом напялил их на ноги. «Нехорошо»,— прошептал барон и засмеялся слышным только мне да ему смехом, похожим на кашель. Я, вместо ответа, показал ему на его ноги: они были без башмаков. «Нехорошо»,— прошептал я в свою очередь.

А между тем губернатор, после первых приветствий, просил передать ему письмо и, указывая на стоявший на столике маленький лакированный ящик, предложил положить письмо туда.

Тут бы следовало, кажется, говорить о деле, но губернатор просил прежде *отдохнуть*, бог ведает от каких подвигов, и потом уже возобновить разговор, а сам скрылся. Первая часть свидания прошла, по уговору, стоя.

В *отдыхальне*, как мы прозвали комнату, в которую нас повели и через которую мы проходили, уже не было никого: сидящие фигуры убрались вон. Там стояли привезенные с нами кресло и четыре стула. Мы тотчас же и расположились на них. А кому недостало, те присутствовали тут же, стоя. Нечего и говорить, что я пришел в отдыхальню без башмаков: они остались в приемной зале, куда я должен был сходить за ними. Наконец я положил их в шляпу, и дело там и осталось.

За нами вслед, шумной толпой, явились знакомые лица — переводчики: они ринулись на пол и в три ряда уселись по-своему. Мы завели с ними разговор. «У вас стекол нет вовсе в рамах?» — спросил К. Н. Посьет. «Нет»,— был ответ. «У вас все домы в один этаж или бывают в два этажа?» — спрашивал Посьет. «Бывают в два»,— отвечал Кичибе и поглядел на Льоду. «И в три»,— сказал тот и поглядел на Садагору. «Бывают тоже и в пять»,— сказал Садагора. Мы засмеялись. «Часто у вас бывают землетрясения?» — спросил Посьет. «Да, бывают»,— отвечал Садагора, глядя на Льоду. «Как часто: в десять или двадцать лет?» — «Да, и в десять, и в двадцать лет бывают»,— сказал Льода, поглядывая на Кичибе и на Садагору. «Горы расседаются, и домы падают»,— прибавил Садагора. И в этом тоне продолжался весь разговор.

Вдруг из дверей явились, один за другим, двенадцать слуг, по числу гостей; каждый нес обеими руками чашку с чаем, но без блюдечка. Подойдя к гостю, слуга ловко падал на колени, кланялся, ставил чашку на пол, за неимением столов и никакой мебели в комнатах, вставал, кланялся и уходил. Ужасно неловко было тянуться со стула к полу в нашем платье. Я протягивал то одну, то другую руку и насилу достал. Чай отличный, как желтый китайский. Он густ, крепок и ароматен, только без сахару.

Опять появились слуги: каждый нес лакированную деревянную подставку, с трубкой, табаком, маленькой глиняной жаровней, с горячими углями и пепельницей, и тем же порядком ставили перед нами. С этим еще было труднее возиться. Японцам хорошо, сидя на полу и в просторном платье, проделывать все эти штуки: набивать трубку, закуривать углем, вытряхивать пепел; а нам каково со стула? Я опять вспомнил угощенье *Лисицы* и *Журавля*.

Хотя табак японский был нам уже известен, но мы сочли долгом выкурить по трубке, если только можно назвать трубкой эти наперстки, в которые не поместится щепоть нюхательного, не то что курительного

Свита. Японская картина, изображающая русское посольство адмирала Е. В. Путятина в Японии в 1853 г. Фрагмент. ЦВММ. Ленинград.

табаку. Кажется, я выше сказал, что японский табак чрезвычайно мягок и крошится длинными волокнами. Он так мелок, что в пачке, с первого взгляда, похож на кучу какой-то темно-красной пыли.[43]

Кичибе суетился: то побежит в приемную залу, то на крыльцо, то опять к нам. Между прочим, он пришел спросить, можно ли позвать музыкантов *отдохнуть*. «Хорошо, можно»,— отвечали ему и в то же время послали офицера предупредить музыкантов, чтоб они больше одной рюмки вина не пили.

Только что мы перестали курить, явились опять слуги, каждый с деревянным, гладко отесанным и очень красивым, хотя и простым ящиком. Поставили перед нами по ящику: кто постарше, тем на ножках, прочим без ножек. Открываем — конфекты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом; наконец, мелкие, сухие конфекты: обсахаренные плоды и, между прочим, морковь. Не правда ли, отчаянная смелость в деле кондитерского искусства? А ничего, недурно: если, на основании известной у нас в народе поговорки, можно «съесть и обсахаренную подошву», то морковь, конечно, и подавно! Да, взаперти много не выдумаешь, или, пожалуй, чего не выдумаешь, начиная от вареной в сахаре моркови до пороху включительно, что и доказали китайцы и японцы, выдумав и то, и другое.

Наконец, не знаю в который раз, вбежавший Кичибе объявил, что если мы *отдохнули*, то губернатор ожидает нас, то есть если устали, хотел он, верно, сказать. В самом деле устали от праздности. Это у них называется

дело делать. Мы пошли опять в приемную залу, и начался разговор.

Прежде всего сели на перенесенные в залу кресла, а губернатор на маленькое возвышение, на четверть аршина от пола. Кичибе и Льода оба лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола. Было жарко, крупные капли пота струились по лицу Кичибе. Он выслушивал слова губернатора, бросая на него с полу почтительный и, как выстрел, пронзительный взгляд, потом приподнимал голову, переводил нам и опять ложился лбом на пол. Льода лежал все время так и только исподлобья бросал такие же пронзительные взгляды то на губернатора, то на нас. Старший был Кичибе, а Льода присутствовал только для поверки перевода и, наконец, для того, что в одиночку они ничего не делают. Кругом, ровным бордюром вдоль стен, сидели на пятках все чиновники и свита губернатора.

Воцарилось глубочайшее молчание. Губернатор вынул из лакированного ящика бумагу и начал читать чуть слышным голосом, но внятно. Только что он кончил, один старик лениво встал из ряда сидевших по правую руку, подошел к губернатору, стал, или, вернее, пал на колени, с поклоном принял бумагу, подошел к Кичибе, опять пал на колени, без поклона подал бумагу ему и сел на свое место.

После этого вдруг раздался крикливый, жесткий, как карканье вороны, голос Кичибе: он по-голландски передал содержание бумаги нам. Смеяться он не смел, но втягивал воздух в себя; гримасам и всхлипываньям не было конца.

В бумаге заключалось согласие горочью принять письмо. Только было, на вопрос адмирала, я разинул рот отвечать, как губернатор взял другую бумагу, таким же порядком прочел ее; тот же старик, секретарь, взял и передал ее, с теми же церемониями, Кичибе. В этой второй бумаге сказано было, что «письмо будет принято, но что скорого ответа на него быть не может».

Оно покажется нелогично, не прочитавши письма, сказать, что скорого ответа не может быть. Так, но имея дело с японцами, надо отчасти на время отречься от европейской логики и помнить, что это крайний Восток. Я выше сказал, что они народ не закоренелый без надежды и упрямый: напротив, логичный, рассуждающий и способный к принятию других убеждений, если найдет их нужными. Это справедливо во всех тех случаях, которые им известны по опыту; там же, напротив, где для них все ново, они медлят, высматривают, выжидают, хитрят.[44] Не правы ли они до некоторой степени? От европейцев добра видели они пока мало, а зла много: оттого и самое отчуждение их логично. Португальские миссионеры привезли им религию,[45] которую многие японцы доверчиво приняли и исповедовали. Но ученики Лойолы привезли туда и свои страстишки: гордость, любовь к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах, и вообще всякую любовь, кроме христианской. Вам известно, что было следствием этого: варфоломеевские ночи[46] и отчуждение от света.

Но если вспомнить, что делалось в эпоху младенчества наших старых государств, как встречали всякую новизну, которой не понимали, всякое открытие, как жгли лекарей, преследовали физиков и астрономов, то едва

ли японцы не более своих просветителей заслуживают снисхождения в упрямом желании отделаться от иноземцев. Удивительно ли после этого, что осторожность и боязнь повторения старых зол отдалили их от нас, помешали им вырасти и что у них осталась только их природная смышленость да несколько опытов, давших им фальшивое понятие обо всем, что носит название образованности?

Пока читали бумаги, я всматривался в лица губернатора и его придворных, занимаясь сортировкою физиономий на смышленые, живые, вовсе глупые или только затупелые от недостатка умственного движения. Было также несколько загадочных, скрытых и лукавых лиц. У многих в глазах прятался огонь, хотя они и смотрели, по обыкновению, сонно и вяло. Любопытно было наблюдать эти спящие страсти, непробужденные и нетронутые желания, вместо которых выглядывало детское притворство или крайняя неловкость. У них, кажется, в обычае казаться при старшем как можно глупее, и оттого тут было много лиц, глупых из почтения. Если губернатор и казался умнее прочих, так это, может быть, потому, что он был старше всех. А в Едо, верно, и он кажется глуп. Одно лицо забавнее другого.

Вон и все наши приятели: Бабá-Городзаймон например, его узнать нельзя: он, из почтения, даже похудел немного. Чиновники сидели, едва смея дохнуть, и так ровно, как будто во фронте. Напрасно я хочу поздороваться с кем-нибудь глазами: ни Самбро, ни Ойе-Саброски, ни переводчики не показывают вида, что замечают нас.

Впрочем, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия: это делается у них как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью, и оттого это не неприятно видеть. Что касается до лежанья на полу, до неподвижности и комической важности, какую сохраняют они в торжественных случаях, то, вероятно, это если не комедия, то балет в восточном вкусе, во всяком случае спектакль, представленный для нас. Должно быть, и японцы в другое время не сидят точно одурелые или как фигуры воскового кабинета,[47] не делают таких глупых лиц и не валяются по полу, а обходятся между собою проще и искреннее, как и мы не таскаем же между собой везде караул и музыку. Так думалось мне, и мало ли чтó думалось!

Еще мне понравилось в этом собрании шелковых халатов, юбок и мантилий отсутствие ярких и резких красок. Ни одного цельного цвета, красного, желтого, зеленого: все смесь, нежные, смягченные тоны того, другого или третьего. Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то попугаями. И простой народ здесь не похож костюмами на ту толпу мужчин, женщин и детей, которую я видел на одной плантации в Сингапуре. Там я поражен был смесью ярких платьев на малайцах и индийцах, и счел их за какое-то собрание птиц в кабинете натуральной истории. Здесь, в толпе низшего класса, в большинстве, во-первых, бросается в глаза нагота, как я сказал, а потом преобладает какой-нибудь один цвет, но не из ярких, большею частью синий. В платьях же других, высших классов допущены все смешанные цвета, но с большою строгостью и вкусом в выборе их.

Пробегая глазами только по платьям и не добираясь до этих бритых голов, тупых взглядов и выдавшихся верхних челюстей, я забывал, где сижу: вместо крайнего Востока как будто на крайнем Западе: цвета́ в туалете — как у европейских женщин. Я заметил не более пяти штофных, и то неярких, юбок у стариков; у прочих — у кого гладкая серая или дикого цвета юбка, у других темно-синего, цвета Adelaide, vert de gris, vert de pomme,* словом, все наши новейшие модные цвета, couleurs fantaisie,** были тут.

Губернатор был в халате и юбке одного цвета, pensée,*** с темными тоненькими полосками. Мантилья его покроем отличалась от других. У всех прочих спина и рукава гладкие: последние, у кисти руки, широки; все вместе похоже на мантильи наших дам; у него рукава с боков разрезаны, и от них идут какие-то надставки, вроде маленьких крыльев. Это, как я узнал после, полупарадный костюм, соответствующий нашим вицмундирам. Скажите, думал ли я, думали ли вы, что мне придется писать о японских модах?

Обычай сидеть на пятках происходит у них будто бы, как я читал где-то, оттого, что восточные народы считают неприличным показывать ноги, особенно перед высшими лицами. Не думаю: по крайней мере, сидя на наших стульях, они без церемонии выказывают голые ноги выше, нежели нужно, и нисколько этим не смущаются. Пусть они не считают нас за старших, но они воздерживались бы от этого по привычке, если б она у них была. Вся разница в восточной манере сидеть от нашей произошла, кажется, от простой и самой естественной причины. В Европе нежарко: мы ищем света и строим домы с большими окнами, сидим на возвышениях, чтоб быть ближе к свету; нам нужны стулья и столы. В Азии, напротив, прячутся от солнца: от этого окошек почти нет. Зачем же им в полупотемках громоздиться на каких-то хитро придуманных подставках, когда сама природа указывает возможность сесть там, где стоишь? А если приходится сидеть, обедать, беседовать, заниматься делом на том же месте, где ходишь, то, разумеется, пожелаешь, чтоб ноги были у всех чисты. От этого на Востоке, при входе, и надо снять туфли или сандалии. Самые земные поклоны у них происходят от обычая сидеть на пятках. Стоять перед старшим или перед гостем, по их обычаю, неучтиво: они, встречая гостя, сейчас опускаются на пол, а сидя на полу, как же можно иначе поклониться почтительно, как не до земли?

С какой холодной важностью и строгостью в лице, с каким достоинством говорил губернатор, глядя полусурово, но с любопытством на нас, на новые для него лица, манеры, прически, на шитые золотом и серебром мундиры, на наше открытое и свободное между собой обращение! Мы скрадывали невольные улыбки, глядя, как он старался поддержать свое, истинно японское достоинство.

Но это длилось недолго. Вдруг, когда он стал объяснять, почему скоро

---

* медной ржавчины и яблочно-зеленый (*франц.*),—*Ред.*

** фантазийные цвета (*франц.*),— *Ред.*

*** фиолетово-коричневого (*франц.*),— *Ред.*

нельзя получить ответа из Едо, приводя, между причинами, расстояние, адмирал сделал ему самый простой и естественный вопрос: «А если мы сами пойдем в Едо морем, на своих судах: дело значительно ускорится? Мы, при хорошем ветре, можем быть там в какую-нибудь неделю. Как он думает?» Какая вдруг перемена с губернатором: что с ним сделалось? куда делся торжественный, сухой и важный тон и гордая мина? Его японское превосходительство смутился. Он вдруг снизошел с высоты своего величия, как-то иначе стал сидеть, смотреть; потом склонил немного голову на левую сторону и с умильной улыбкой, мягким, вкрадчивым голосом, говорил тихо и долго. «Хи, хи хи!» — слышалось только из Кичибе, который, как груда какая-нибудь, образующая фигурой опрокинутую вверх дном шлюпку, лежал на полу, судорожно подергиваясь от этого всем существом его произносимого *хи*. Губернатор говорил, что *«японскому глазу больно* видеть чужие суда в других портах Японии, кроме Нагасаки; что ответа мы тем не ускорим, когда пойдем сами», и т. п.

После «делового» разговора начались взаимные учтивости. С обеих сторон уверяли, что очень рады познакомиться. Мы не лгали: нам в самом деле любопытно было видеть губернатора, тем более, что мы месяц не сходили с фрегата и во всяком случае видели в этом развлечение. Но за г. Овосаву можно было поручиться, что в нем в эту минуту сидел сам отец лжи, дьявол, к которому он нас, конечно, и посылал мысленно. Говорят, не в пору гость хуже татарина: в этом смысле русские были для него действительно хуже татар. Я сказал выше, что Овосаве оставалось всего каких-нибудь два месяца до отъезда, когда мы приехали. Событие это, то есть наш приход, так важно для Японии, что правительство сочло необходимым присутствие обоих губернаторов в Нагасаки. Не правда ли, что Овосава Бунгоно имел причину сетовать на наше посещение?

После размена учтивостей губернатор встал и хотел было уходить, но адмирал предложил еще некоторые вопросы. Губернатор просил отложить их до другого времени, опасаясь, конечно, всяких вопросов, на которые, без разрешения из Едо, не знал, что отвечать. Он раскланялся и скрылся. Мы пошли назад. За нами толпа чиновников и переводчиков. Тут был и Баба́-Городзаймон. «Здравствуй, Баба́!» — сказал я, уж не помню, на каком языке. Он приветливо кивнул головой. Тут мы видели его чуть ли не в последний раз. Его в тот же день услали с нашим письмом в Едо. Он был счастлив: он уже отслужил годичный срок и готовился уехать с губернатором к семейству, в объятия супруги, а может быть и супруг: у них многоженство не запрещено.

Проходя чрез *отдыхальню*, мы были остановлены переводчиками. Они заступили нам дорогу и просили покушать. В комнате стоял большой, прекрасно сервированный стол, уставленный блюдами, бутылками всех форм, с мадерой, бордо, и чего-чего там не было! И все на европейский лад. Вероятно, стол, посуда и вина, а может быть и кушанья, взяты были у голландцев. Адмирал приказал повторить свое неизбежное условие, то есть чтоб губернатор участвовал в завтраке. Кичибе, кланяясь, разводил руками, давился судорожным смехом и все двигался к столу, усердно приглашая и нас. Другие не отставали от него, улыбались, приседали — все на-

прасно. Мы покосились на завтрак, но твердо прошли мимо, не слушая переводчиков. Едва мы вышли на крыльцо, музыка заиграла, караул отдал честь полномочному, и мы в прежнем порядке двинулись к пристани.

На пристани вдруг вижу в руках у Фаддеева, и у прочих наших слуг, те самые ящики с конфектами, которые ставили перед нами. «Что это у тебя?» — спросил я. «Коробки какие-то».— «Где ты взял?» — «Китаец дал... то бишь японец».— «Зачем?» — «Не могу знать».— «Зачем же ты брал, когда не знаешь?» — «Отчего не взять? Он сказал: на вот, возьми, отнеси домой, господам».— «Как же он тебе сказал, на каком языке?» — «По-своему».— «А ты понял!» — «Понял, ваше высокоблагородие. Чего не понять? говорит да дает коробки, так значит: отнеси господам».

Вон этот ящик стоит и теперь у меня на комоде. Хотя разрушительная десница Фаддеева уже коснулась его, но он может доехать, пожалуй, до России. В нем лежит пока табак, японский же.

— Чего вам дали? — спросили мы музыкантов на пристани.

— По рюмке воды,— угрюмо отвечало несколько голосов.

— Неужели? — спросил кто-то.

— Точно так, ваше благородие.

— Что ж вы?

— Выпили.

— Зачем же?

— Мы думали, что это... не вода.

— Да, может быть, вода-то хорошая? — спросил я.

— Нештó: лучше морской,— отвечал один.

— Это полезно для здоровья,— заметил я.

Трезвые артисты кинули на меня несколько мрачных взглядов. Матросы долго не давали прохода музыкантам, напоминая им японское угощение.

Едва мы тронулись в обратный путь, японские лодки опять бросились за нами с криком «оссильян», взапуски, стараясь перегнать нас, и опять напрасно.

ДНЕВНИК

с 15 сентября по 11 ноября

15 и 16 сентября. Вчера приезжали японцы, вызванные нами: два оппер-баниоса. Их побранили за то, что лодки японские осмеливаются становиться близко; сказали, что будем насильно отбуксировывать их дальше и ездить кататься за линию лодок. Наш транспорт облепили лодки, с расспросами, где он был, да долго ли и т. п. Мало этого: переводчики приехали еще к нам, вызвали Посьета из-за обеда узнать, правду ли объявили им. Он рассердился и сказал, чтоб они об этом вперед не спрашивали; что они во зло употребляют наше снисхождение.[48] Сегодня были японцы с ответом от губернатора, что если мы желаем, то можем стать на внутренний рейд, но не очень близко к берегу, потому что будто бы помешаем движению японских лодок на пристани. Говорят, сегодня прие-

хал новый губернатор на смену *Овосава Бунгоно*. Нового зовут *Мизно Чикогоно-ками-сама*. У нас был еще новый, приехавший из Едо же переводчик, *Эйноске*. Я спал и не видел никого. Приезжие и вида не показывают, что американцы были у них в Едо. Они думают, что мы и не знаем об этом; что вообще в Европе, как у них, можно утаить, что, например, целая эскадра идет куда-нибудь или что одно государство может не знать, что другое воюет с третьим. Адмирал хочет посылать транспорт опять в Шанхай, узнать: война или мир в Европе?

А тепло, хорошо; дед два раза лукаво заглядывал в мою каюту: «У вас опять тепло,— говорил он утром,— а то было засвежело». А у меня жарко до духоты. «Отлично, тепло!» — говорит он обыкновенно, войдя ко мне и отирая пот с подбородка. В самом деле 21° по Реомюру тепла в тени.

17-го. Весь день и вчера всю ночь писали бумаги в Петербург: не до посетителей было, между тем они приезжали опять предложить нам стать на внутренний рейд. Им сказано, что хотим стать дальше, нежели они указали. Они поехали предупредить губернатора и завтра хотели быть с ответом. О береге все еще ни слова: выжидают, не уйдем ли. Вероятно, губернатору велено не отводить места, пока в Едо не прочтут письма из России и не узнают, в чем дело, в надежде, что, может быть, и на берег выходить не понадобится.

18, 19, 20-го. Приехали *гокейнсы* и переводчики: один гокейнс — новый, с глупым лицом, приехавший с другим губернатором из Едо. Я познакомился с новым переводчиком Эйноске. Он говорит по-английски очень мало, но понимает почти все. Он научился у голландцев, из которых некоторые знают английский язык. Эйноске учится немного и по-французски. Он сказал, что у него много книг, большею частью голландских; есть и французские. По-голландски он, по словам Посьета, знает хорошо. Они привезли приглашение стать на рейд, где мы хотели; даже усердно приглашали, настаивали, чтоб фрегат со второго рейда перешел в проход, ведущий на ближайший к Нагасаки рейд. Адмирал, напротив, хотел, чтоб суда наши растянулись и чтоб корвет стал при входе на внутренний рейд, шкуна и транспорт поместились в самом проходе, а фрегат остался бы на втором рейде, который нужно было удержать за собой. Иначе, лишь только фрегат вошел бы в проход, японцы выстроили бы линию из своих лодок позади его и загородили бы нам второй рейд, на котором нельзя было бы кататься на шлюпках; а они этого и добивались. Но мы поняли и не согласились. А как упрашивали они, утверждая, что они хлопочут только из того, чтоб нам было покойнее! «Вы у нас гости,— говорил Эйноске,— представьте, что пошел в саду дождь и старшему гостю (разумея фрегат) предлагают зонтик, а он отказывается...» «Чтоб уступить его младшим (мелким судам)»,— прибавил Посьет.

Японские лодки вздумали мешать нашим ездить подальше и даже махали, чтоб те воротились. Сейчас подняли красный флаг, которым у нас вызывают гокейнсов: им объявили, чтоб этого не было; что если их лодки будут подходить близко, то их отведут силой дальше. Вообще их приняли сухо, а адмирал вовсе не принял, хотя они желали видеть его. Он приказал объявить им, что «и так много делают снисхождения, исполняя их обычаи:

не ездят на берег; пришли в Нагасаки, а не в Едо, тогда как могли бы сделать это, а они не ценят ничего этого, и потому кататься будем».

19 числа перетянулись на новое место. Для буксировки двух судов, в случае нужды, пришло 180 лодок. Они вплоть стали к фрегату: гребцы, по обыкновению, голые; немногие были в простых грубых синих полухалатах. Много маленьких девчонок (эти все одеты чинно), но женщины ни одной. Мы из окон бросали им хлеб, деньги, роздали по чарке рому: они всё хватали с жадностью. Их много налезло на пушки, в порта. Крик, гам!

Корвет перетянулся, потом транспорт, а там и мы, но без помощи японцев, а сами, на парусах. Теперь ближе к берегу. Я целый день смотрел в трубу на домы, деревья. Все хижины да дрянные батареи, с пушками на развалившихся станках. Видел я внутренность хижин: они без окон, только со входами; видел голых мужчин и женщин, тоже голых сверху до пояса: у них надета синяя простая юбка — и только. На порогах, как везде, бегают и играют ребятишки; слышу лай собак, но редко.

21-го. Сегодня жарко, а вечером поднялся крепкий ветер; отдали другой якорь. Японцев не было: свежо, да и незачем; притом в последний раз холодно расстались.

Вечером была славная картина: заходящее солнце вдруг ударило на дальний холм, выглядывавший из-за двух ближайших гор, у подошвы которых лежит Нагасаки. Бледная зелень ярко блеснула на минуту, лучи покинули ее и осветили гору, потом пали на город, а гора уже потемнела; лучи заглядывали в каждую впадину, ласкали крутизны, которые, вслед за тем, темнели, потом облили блеском разом три небольшие холма, налево от Нагасаки, и, наконец, по всему берегу хлынул свет, как золото. Маленькие бухты, хижины, батареи, кусты, густо росшие по окраинам скал, как исполинские букеты, вдруг озарились — все было картина, поэзия, все, кроме батарей и японцев. С этими никакие лучи не сделали бы ничего.

24-го. Ничего не было, и даже никого: японцы, очевидно, сердятся за нашу настойчивость кататься по рейду, несмотря на караульные лодки, а может быть, и за холодный прием.

25-го сентября — ровно год, как на «Палладе» подняли флаг и она вышла на кронштадтский рейд: значит, поход начался. У нас праздник, молебен и большой обед. Вызвали японцев: приехал *Хагивари Матаса,* старший из баниосов, только что прибывший из Едо с новым губернатором.

Японцев опять погладили по голове: позвали в адмиральскую каюту, угостили наливкой и чаем и спросили о месте на берегу. Они сказали, что через день или два надеются получить ответ из Едо. Им объявили, что мы непрочь ввести и фрегат в проход, если только они снимут цепь лодок, заграждающих вход туда. Они сначала сослались, по обыкновению, на свои законы, потом сказали, что люди, нанимаясь в караул на лодках, снискивают себе этим пропитание. Посьет, по приказанию адмирала, отвечал, что ведь законы их не вечны, а всего существуют лет двести, то есть стеснительные законы относительно иностранцев, и что пора их отменить,

уступая обстоятельствам. Эйноске очень умно и основательно отвечал: «Вы понимаете, отчего у нас эти законы таковы (тут он показал рукой, каковы они, то есть стеснительны, но сказать не смел), нет сомнения, что они должны измениться. Но корабли европейские,— прибавил он,— начали посещать, прилежно и во множестве, Нагасаки всего лет десять, и потому не было надобности менять».

Вот как поговаривают нынче японцы! А давно ли они не боялись скрутить руки и ноги приезжим гостям? давно ли называли европейские правительства дерзкими за то, что те смели писать к ним?[49]

У нас все еще веселятся по поводу годовщины выхода в море. Музыка играет, песенники поют. Матросы тоже пировали, получив от начальства по лишней чарке. Были забавные сцены. В кают-компанию пришел к старшему офицеру писарь, с жалобой на музыканта Макарова, что он *изломал ему спину*. «И больно?» — спросили его. «Точно так-с,— отвечал он с той улыбкой человека навеселе, в которой умещаются и обида и удовольствие,— писать вовсе не могу»,— прибавил он, с влажными глазами и с той же улыбкой, и старался водить рукой по воздуху, будто пишет. «Да, видно, Макаров пьян?» — «Точно так-с». Позвали Макарова. Тот был трезвее его и хранил важную и угрюмую мину. «За что ты прибил его?» — был вопрос. «Я не прибил, я только ударил его в грудь...» — сказал он. «Точно так-с, в грудь»,— повторил писарь. «За что ж ты его?» — «С кулаком к роже лез!» — отвечал Макаров. «Ты лез?» — «Точно так-с, лез»,— отвечал писарь. Все хохотали. Прогнали обоих и велели помириться.

Вечером другая комедия: стали бить зорю: вдруг тот, кто играет на рожке, заиграл совсем другое. Вахтенный офицер строго остановил его. Когда все кончили, он подошел к нему. Матрос был не очень боек от природы, что показывало и лицо его. «Что ты заиграл?» — спросил офицер. Молчание. «Что ты заиграл?» — «Ошибся! — отвечал тот,— забыл». «А есть не забываешь?» — «Никак нет-с».— «Сколько раз в день?» —«Два раза».— «Когда?» — «За обедом и за ужином».— «А за завтраком?» — «И за завтраком».— «Стало быть, сколько же раз?» — «Два раза».— «Как два раза: обед?» — «Точно так».— «Ужин?» — «Ужин».— «И завтрак?» — «Точно так-с».— «Сколько же раз?» — «Два раза...» — «А за завтраком?» — «Это не еда, это кашица».

27-го. Ни одного японца не было. Утро ясное и свежее, ветерок; не более 15 или 16° тепла. Наши гонялись на шлюпках и заезжали далеко, к неудовольствию японцев. Их маленькие лодки отделились от больших и пошли, не знаю зачем, за нашими катерами. Было свежо, катера делали длинные и короткие галсы, вдруг поворачивали, лавировали и обрезáли один другого, то есть пересекали, гоняясь, друг другу путь. Те остановились и не знали, что им делать. Я стоял на юте, и одна японская лодка, проходя мимо, показала на наших. Я отвечал жестом, что они далеко будут кататься.

Наши и корветные офицеры играли «Женитьбу» Гоголя и «Тяжбу».[50] Сцена была на шканцах корвета. «Тяжба» — на нагасакском рейде! Я знал о приготовлениях; шли репетиции, барон Криднер дирижировал

всем; мне не хотелось ехать: я думал, что чересчур будет жалко видеть. Однако ничего, вышло недурно, мичман Зеленый хоть куда: у него природный юмор, да он еще насмотрелся на лучших наших комических актеров. Смешон Лосев свахой. Все это было чрезвычайно забавно, по оригинальности, самой неловкости актеров. Едучи с корвета, я видел одну из тех картин, которые видишь в живописи и не веришь: луну над гладкой водой, силуэт тихо качающегося фрегата, кругом темные, спящие холмы и огни на лодках и горах. Я вспомнил картины Айвазовского.[51]

28 и 29-го. Японцы приезжали от губернатора сказать, что он не может совсем снять лодок в проходе; это вчера, а сегодня, то есть 29-го, объявили, что губернатор желал бы совсем закрыть проезд посредине, а открыть с боков, у берега, отведя по одной лодке. Адмирал приказал сказать, что если это сделают, так он велит своим шлюпкам отвести насильно лодки, которые осмелятся заставить собою средний проход к корвету. Переводчики, увидев, что с ними не шутят, тотчас убрались и чаю не пили.

Вчера привезли свежей и отличной рыбы, похожей на форель и огромной. Одной стало на тридцать человек, и десятка три пронсов (раков, вроде шримсов, только большего размера), превкусных. Погода как летняя, в полдень 17 градусов в тени, но по ночам холодно.

Мой дневник похож на журнал заключенного — не правда ли? Что делать! Здесь почти тюрьма и есть, хотя природа прекрасная, человек смышлен, ловок, силен, но пока еще не умеет жить нормально и разумно. Странно покажется, что мы здесь не умираем со скуки, не сходя с фрегата; некогда скучать: работа есть у всех. Адмирал не может видеть праздного человека; чуть увидит кого-нибудь без дела, сейчас что-нибудь и предложит: то бумагу написать, а казалось, можно бы morgen, morgen, nur nicht heute,[52] кому посоветует прочесть какую-нибудь книгу; сам даже возьмет на себя труд выбрать ее в своей библиотеке и укажет, что прочесть или перевести из нее.

30-го. Ничего замечательного. Требовали баниосов, но они не явились: рассердились, вероятно, на нас за то, что мы погрозили отбуксировать их лодки прочь, как только они вздумают мешать нам, и вообще с ними стали действовать порешительнее. Они привезли провизию и, между прочим, больших круглых раков, видом похожих на пауков. Но эти раки мне не понравились: клешней у них нет, и шеи тоже, именно нет того, что хорошо в раках; ноги недурны, но крепки; в средине рака много всякой дряни, но есть и белое мясо, которым наполнен низ всей чашки.

Вечером была всенощная накануне Покрова.[53] После службы я ходил по юту и нечаянно наткнулся на разговор мичмана Болтина с сигнальщиком Феодоровым, тем самым, который ошибся и, вместо повестки к зоре, заиграл повестку[54] к молитве. Этот Феодоров отличался крайней простотой. «Смотри в трубу на луну,— говорил ему Болтин, ходивший по юту,— и как скоро увидишь там трех, четырех человек, скажи мне». «Слушаю-с». Он стал смотреть и долго смотрел. «Что ж ты ничего не говоришь?» — «Да там всего только двое, ваше благородие».— «Что ж они делают?» — «Ничего-с».— «Ну, смотри».— «Что ж это за люди?» — спросил Болтин. Тот молчал. «Говори же!» — «Каин и Авель»,[55] — отвечал он. «Вот еще заметь эти

две звезды и помни, как их зовут: вот эту Венера, а ту Юпитер».— «Слушаю-с».— «И если что-нибудь с ними случится, донеси».— «Слушаю-с». И он серьезно стал смотреть в ту сторону. Чрез минуту я спросил его, в каких местах он бывал с тех пор, как мы вышли из Англии. Он молчал. «Говори же!» — «На Надежде» (мыс Доброй Надежды).— «А до этого?» — «Забыл».— «Вспомни!» Он молчал. «Где же?» Молчал. «Ну, припомни названия разных вин, так доберешься». Молчание. «Какие же есть вина?» — «Пенное».[56]— «Ну, а французские?» — «Ренское».[57]— «А мадера?» — «Точно-с, есть и мадера. Мы и сами там были»,— добавил он. «А что же звезды?» — вдруг спросил Болтин. Феодоров беспокойно оглянулся: хвать — одной нет; она уже скрылась за горизонт. «Где же?» — «Только одна осталась».— «А где другая?» — «Не могу знать».— «А как ее зовут?» Молчание. «Ну, как?» — «Мадера»,— подумав, отвечал Феодоров. «А другую?» — «Питер»,— сказал он. И это было нам развлечение, за неимением других.

Октября 1-го. Праздник у нас, и в природе праздник. Вспомните наши ясно прохладные осенние дни, когда где-нибудь в роще или длинной аллее сада гуляешь по устланным увядшими листьями дорожкам; когда в тени так свежо, а чуть выйдешь на солнышко, вдруг осветит и огреет оно, как летом, даже станет жарко; но лишь распахнешься, от севера понесется такой пронзительный и приятный ветерок, что надо закрыться. А небо синее, все светло, нарядно. Здесь тоже, хоть и 32° широты, а погода, как у нас. Только вечернее небо, перед захождением и восхождением солнца, великолепно и непохоже на наше. Вот и сегодня то же: бледно-зеленый, чудесный, фантастический колорит, в котором есть что-то грустное; чрез минуту зеленый цвет перешел в фиолетовый; в вышине несутся клочки бурых и палевых облаков и, наконец, весь горизонт облит пурпуром и золотом — последние следы солнца; очень похоже на тропики.

Японцев, кажется, не было... ах, виноват — были, были: с рыбой и раками. Баниосы все не едут: они боятся показаться, думая, как бы им не досталось за то, что не разгоняют лодок; а может быть, они, видя нашу кротость, небрежничают и не едут. Но стоит только сказать, что мы сейчас сами пойдем на шлюпках в Нагасаки,— тотчас явятся, нет сомнения. Если попугать их и потребовать губернатора — и тот приедет. Но тогда понадобилось бы изменить уже навсегда принятый адмиралом образ действия, то есть кротость и вежливость.

Иногда, однако ж, не мешало бы пугнуть их порядком. Вот сегодня, например, часу в восьмом вечера, была какая-то процессия. Одну большую лодку тащили на буксире двадцать небольших, с фонарями; шествие сопровождалось неистовыми криками; лодки шли с островов к городу; наши К. Н. Посьет и Н. Назимов[58] (бывший у нас) поехали на двух шлюпках к корвету, в проход; в шлюпку Посьета пустили поленом, а в Назимова хотели плеснуть водой, да не попали — грубая выходка простого народа! Посьет сейчас же поворотил и приблизился к лодке; там было человек двадцать: все присмирели, спрятавшись на дно лодки.

2-го и 3-го. Так и есть: страх сильно может действовать. Вчера, второго октября, послали записку к японцам, с извещением, что если не явятся

баниосы, то один из офицеров послан будет за ними в город. Поздно вечером приехал переводчик сказать, что баниосы завтра будут в 12 часов.

Явились в 11 часов трое: Ойе-Саброски, другой, прибывший из Едо, и третий, новый. Они извинились, что не ехали долго, сваливая все на переводчика, который будто не так растолковал, и сказали, что этого вперед уже не случится. Вчера отвели насильно две их лодки дальше от фрегата; сам я не видал этого, но, говорят, забавно было смотреть, как они замахали руками, когда наши катера подошли, приподняли их якорь и оттащили далеко. Баниосы ни слова об этом. Им сказали о брошенном полене со шлюпки и о других глупостях: они извинялись, отговариваясь, что не знали об этом. Вчерашняя процессия — шествие лодок — просто визит управляющего князя Физенского[59] голландцам, а не религиозный праздник, как мы думали. О береге сказали, что ежедневно ждут ответа.

Сегодня суббота: по обыкновению привезли провизию и помешали опять служить всенощную. Кроме зелени всякого рода, рыбы и гомаров привезли, между прочим, маленького живого оленя, или лань, за неимением свиней; говорят, что больше нет; остались поросята, но те нужны для приплода.

С баниосами были переводчики *Льода* и *Сьоза*. Я вслушивался в японский язык и нашел, что он очень звучен. В нем гласные преобладают, особенно в окончаниях. Нет ничего грубого, гортанного, как в прочих восточных языках. А баниосы сказали, что русский язык похож будто на китайский, — спасибо! Мы заказали привезти много вещей, вееров, лакированных ящиков и тому подобного. Не знаем, привезут ли.

4-го. Воскресенье: началось, по обыкновению, обедней, потом приезжали переводчики сказать, что исполнят наше желание и отведут лодки дальше, но только просили, чтоб мы сами этого не делали. Мы объявили им накануне, что, видно, губернаторские приказания не исполняются, так мы, пожалуй, возьмем на себя труд помочь его превосходительству и будем отбуксировывать. Вечер у нас был замечательный. Когда стемнело, мы видим вдруг в проливе, ведущем к городу, как будто две звезды плывут к нам; но это не японские огни — нет, что-то яркое, живое, вспыхивающее. Мы стали смотреть в ночную трубу, но все потухло; видим только: плывут две лодки; они подплыли к корме, и вдруг раздалось мелодическое пение... Серенада! это корветские офицеры, с маленькими камчадалами, певчими, затеяли серенаду из русских и цыганских песен. Долго плавали они при лунном свете около фрегата и жгли фальшфейеры; мы стояли на юте и молча слушали. Адмирал поблагодарил, когда они кончили, и позвал офицеров пить чай. Маленьких певчих напоили тоже чаем. Японская лодка, завидев яркие огни, отделилась от прочих и подошла, но не близко: не смела и, вероятно, заслушалась новых сирен,[60] потому что остановилась и долго колыхалась на одном месте.

5-го. Сегодня дождь, но теплый, почти летний, так что даже кот Васька не уходил с юта, а только сел под гик. Мы видели, что две лодки, с значками и пиками, развозили по караульным лодкам приказания, после чего эти отходили и становились гораздо дальше. Адмирал не приказал уже

больше и упоминать о лодках. Только, если последние станут преследовать наши, велено брать их на буксир и таскать с собой.

6, 7, 8, 9 и 10-го. Зарезали лань и ели во всех видах: в котлетах, в жарком — отлично! точно лучшая говядина, только нежнее и мягче. П. А. Тихменев косится на лань: он не может есть раков и зайца и т. п., «не показано, — говорит, — да и противно». Про лань говорит, что это «собака». За десертом подавали новый фрукт здешний, по-голландски называемый *kakies*, красно-желтый, мягкий, сладкий и прохладительный, вроде сливы; но это не слива, а род фиги, или *смоквы*, как называет отец Аввакум, привезенной будто бы сюда еще португальцами и называющейся у них *какофига*. Отец Аввакум говорит, что и в Китае таких плодов много... Но не до лани и не до плодов теперь: много нового и важного.[61]

7-го октября был ровно год, как мы вышли из Кронштадта. Этот день прошел скромно. Я живо вспомнил, как, год назад, я в первый раз вступил на море и зажил новою жизнью, как, из покойной комнаты и постели, перешел в койку и на колеблющуюся под ногами палубу, как неблагосклонно встретило нас море, засвистал ветер, заходили волны; вспомнил снег и дождь, зубную боль — и прощанье с друзьями...

Я видел наконец японских дам: те же юбки, как и у мужчин, закрывающие горло кофты, только не бритая голова и у тех, которые попорядочнее, сзади булавка поддерживает косу. Все они смуглянки, и куда нехороши собой! Говорят, они нескромно ведут себя — не знаю, не видал и не хочу чернить репутации японских женщин. Их нынче много ездит около фрегата: все некрасивые, чернозубые; большею частью смотрят смело и смеются; а те из них, которые получше собой и понаряднее одеты, прикрываются веером.

Но это все неважное: где же важное? А вот: 9-го октября, после обеда, сказали, что едут гокейнсы. И это не важность: мы привыкли. Вахтенный офицер посылает сказать обыкновенно К. Н. Посьету. Гокейнсов повели в капитанскую каюту. Я был там. «А! Ойе-Саброски! Кичибе!» — встретил я их, весело подавая руки; но они молча, едва отвечая на поклон, брали руку. Что это значит? Они, такие ласковые и учтивые, особенно Саброски: он шутник и хохотун, а тут...Да что это у всех такая торжественная мина; никто не улыбается? «Болен, что ли, Саброски?» — спросил я. «Нет...» — «Что ж он такой скучный, да и все?» Ответа не было. Только Кичибе постоянно показывал верхние зубы и суетился по обыкновению: то побежит вперед баниосов, то воротится и крякнет, и нехотя улыбается. И Эйноске тут. У этого черты лица правильные, взгляд смелый, не то, что у тех.[62]

Из разговоров, из обнаруживаемой по временам зависти, с какою глядят на нас и на все европейское Эйноске, Сьоза, Нарабайоси 2-й, видно, что они чувствуют и сознают свое положение, грустят и представляют немую, покорную оппозицию: это jeune Japon.* Садагора — нянька, приставленная к голландцам, и гроза их, Льода, напротив, принадлежат, кажется, к разряду застарелых и закоснелых японцев. Они похожи на тех загрубевших в преданиях слуг, которые придерживаются старины; их

* молодая Япония (*франц.*),— *Ред.*

ничем не переломаешь. Они находят все старое прекрасным, перемен не желают и все новое считают грехом. Садагора — старый грубый циник, Льода, напротив, льстивый, кланяющийся плут. Кичибе составляет juste milieu * между тем и другим; он посвежее их: у него нет застарелой ненависти к новому и веры в японскую систему правления, но ему не угнаться и за новыми. Он просто служит за жалованье, кому и как хотите. Есть еще Ясиро, Кичибе-сын и много подростков, всё кандидаты в переводчики. У них наследственные должности: сын по большей части занимает место отца.

Баниосы объявили, что они желают поговорить с адмиралом. Мы с Посьетом давай ломать голову, о чем? «Верно, о месте», — говорил он. «Но нерадостное, должно быть!» — прибавил я. Я сказал адмиралу о их желании. Он велел пустить их к себе. Все сели; воцарилось молчание. Саброски повесил голову совсем на грудь; другой баниос, подслеповатый громоздкий старик, с толстым лицом, смотрел осоловелыми глазами на все и по временам зевал; третий, маленький, совсем исчезал между ними, стараясь подделаться под мину и позу своих соседей. Эйноске задумчиво молчал. Один Кичибе гоголем сидел и ждал, когда ему велят говорить. Мы ждали, что́ будет.

Наконец Саброски, вздохнув глубоко и прищурив глаза, начал говорить так тихо, как дух, как будто у него не было ни губ, ни языка, ни горла; он говорил вздохами; кончил, испустив продолжительный вздох. Кичибе, с своей улыбкой, с ясным взглядом и наклоненной головой, просто, без вздохов и печали, объявил, что сиогун, ни больше, ни меньше, как *gestorben* — умер!

Мы окаменели на минуту, потом — ничего. «Скажите, — заметил адмирал чиновникам,— что я вполне разделяю их печаль». Баниосы поклонились, некоторые опять вздохнули, Ойе вновь заговорил шепотом. «Хи! хи! хи!» — слышалось только от Кичибе, как предсмертная икота. Потом он, потянув воздух в себя, начал переводить, по обычаю, расстановисто, с спирающимся хохотом в горле — знак, что передает какой-нибудь отказ и этим хохотом смягчает его, золотит пилюлю. «Из Едо... по этому печальному случаю... получить скоро ответ — хо, хо, хо — унмоглик, „невозможно!"» — досказал он наконец так, как будто из него выдавили последние слова.

На это приказано отвечать, что возражение пришлют письменное. «Все заняты похоронами покойного и восшествием на престол нового сиогуна,— продолжал Кичибе переводить, — все это требует церемоний» и т. п. Велено было спросить: скоро ли отведут нам место на берегу? Долго говорил Саброски ответ. Кичибе, выслушав его, сказал, что «из Едо об этом... — тут горло ему совсем заперло смехом... — не получено никакого разрешения». «Однако ж могли получить три раза, — строго заметили ему,— отчего же нет ответа?» Кичибе перевел вопрос, потом, выслушав возражение, начал: «Из Едо не получено об этом никакого — хо, хо, хо — разрешения». «Это мы слышали, — переводил К. Н. Посьет, — но будет ли разрешение и скоро ли? нам надо поверять хронометры. Вы не

* золотая середина (*франц.*),— *Ред.*

цените нашей вежливости и внимания: другие давно бы съехали сами. Теперь мы видим, что Нагасаки просто западня, в которую заманивают иностранцев, чтоб водить и обманывать. От столицы далеко, переговоры наскучат, гости утомятся и уйдут — вот ваша цель! Но об этом узнает вся Европа; и ни одно судно не пойдет сюда, а в Едо — будьте уверены». Кичибе опять передал и опять начал свое: «Из Едо... не получено — хо, хо, хо!.. никакого...»

Хоть кого из терпения выведут! «Спросите губернатора: намерен ли он дать нам место или нет? Чтоб завтра был ответ!» — были последние слова, которыми и кончилось заседание.

Потом им подали чаю и наливки. Они выпили по рюмке, подняли головы, оставили печальный тон, заговорили весело, зевали кругом на стены, на картины, на мебель; совсем развеселились; печали ни следа, так что мы стали догадываться, не хитрят ли они, не выдумали ли, если не все, так эпоху [63] события. По их словам, сиогун умер 14 августа, а мы пришли 10-го. Может быть, он умер и в прошлом году, а они сказали, что теперь, в надежде, не уйдем ли. Поверить их трудно: они, может быть, и от своих скрывают такой случай, по крайней мере долго. Мы не знали, что и подумать, толковали и догадывались. Адмирал приказал написать губернатору, что мы подождем ответа из Едо на письмо из России, которое, как они сами говорят, разошлось в пути с известием о смерти сиогуна. Верховный совет не знал, в чем дело, и потому ответа дать не мог. Но как же такое известие могло идти более двух месяцев из Едо до Нагасаки, тогда как в три недели можно съездить взад и вперед? Нечисто! Ясно, что сиогун или умер позже, или они знали раньше, да без надобности не объявили нам об этом, или, наконец, вовсе не умер. Последнее, однако ж, невероятно: народ, уважающий так глубоко своих государей, не употребит такого предлога для побуждения, и то не наверное, иностранцев к отплытию. Адмирал, между прочим, приказал прибавить в письме, что «это событие случилось до получения первых наших бумаг и не помешало им распорядиться принятием их, также определить церемониал свидания российского полномочного с губернатором и т. п., стало быть, не помешает и дальнейшим распоряжениям, так как ход государственных дел в такой большой империи остановиться не может, несмотря ни на какие обстоятельства. Поэтому мы подождем ответа из горочью, и вообще не покинем японских берегов без окончательного решения дела, которое нас сюда привело».

Так японцам не удалось и это крайнее средство, то есть объявление о смерти сиогуна, чтоб заставить адмирала изменить намерение: непременно дождаться ответа. Должно быть, в самом деле *японскому глазу больно видеть* чужие суда у себя в гостях! А они, без сомнения, надеялись, что лишь только они сделают такое важное возражение, адмирал уйдет, они ответ пришлют года через два, конечно отрицательный, и так дело затянется на неопределенный и продолжительный срок.

Через день японцы приехали с ответом от губернатора о месте на берегу, и опять Кичибе начал: «Из Едо... не получено» и т. п. Адмирал не принял их. Посьет сказал им, что он передал адмиралу ответ и не знает,

что он предпримет, потому что его превосходительство ничего не отвечал. Это пугает наших милых хозяев: они уж раз приезжали за какими-то пустяками, а собственно затем, чтоб увериться, не затеваем ли мы что-нибудь, не проговоримся ли о своих намерениях. И точно затеваем: хотим сами съехать на берег с хронометрами. Посьет уж запустил об этом словцо. Они всё отзывались, что губернатор распорядиться не может, что ему за это достанется. «Ну, а если мы сами съедем или другие сделали бы это, тогда не достанется?» — спросил он. «Это будет не дружески», — был ответ. «А это по-дружески, когда вам говорят, что нам необходимо поверить хронометры, что без этого нельзя в море идти, а вы не отводите места?» — «Из Едо... хо, хо, хо... не получено», — начал Кичибе.

Подите с ними! Они стали ссылаться на свои законы, обычаи. На другое утро приехал Кичибе и взял ответ к губернатору. Только что он отвалил, явились и баниосы, а сегодня, 11 числа, они приехали сказать, что письмо отдали, но что из Едо не получено и т. п. Потом заметили, зачем мы ездим кругом горы Паппенберга. «Так хочется», — отвечали им.

На фрегате ничего особенного: баниосы ездят каждый день выведывать о намерениях адмирала. Сегодня были двое младших переводчиков и двое ондер-баниосов: они просили, нельзя ли нам не кататься слишком далеко, потому что им велено следить за нами, а их лодки не угоняются за нашими. «Да зачем вы следите?» — «Велено», — сказал высокий старик в синем халате. «Ведь вы нам помешать не можете».— «Велено, что делать! *Мы и сами желали бы, чтоб это скорее изменилось*», — прибавил он.

У меня, между матросами, есть несколько фаворитов, между ними *Дьюпин*, широкоплечий, приземистый матрос, артиллерист. Он широк не в одних только плечах. Его называют *огневой*, потому что он смотрит, между прочим, за огнями; и когда крикнут где-нибудь в углу: *фитиль!* он мчится что есть мочи по палубе подать огня. Специальность его, между прочим, состоит в том, что он берет и приподнимает, как поднос, кранец с ядрами и картечью и, поставив, только ухнет, а кранец весит пудов пять. Трудно встретить человека, крепче и плотнее сложенного. Я часто разговариваю с ним. «Жарко, Дьюпин», — говорю я ему. «Точно так, тепло, хорошо, ваше высокоблагородие»,— отвечает он. А так тепло, что приходишь в совершенное отчаяние, не зная куда деться. «Да ты, смотри, не напейся холодного после работы, — говорю я шутя, — или на сырости не ложись ночью». «Слушаю, ваше высокоблагородие», — отвечает он серьезно. «Я подарю тебе шерстяные чулки: надевай смотри». И велел Фаддееву дать ему пару. Дьюпин еще в тропиках надел их и, встретив меня, стал благодарить. «Благодарю покорнейше, ваше высокоблагородие, теперь хорошо, тепло», — говорил он. «Холодно что-то, Дьюпин», — сказал я ему, когда здесь вдруг наступили холода, так что надо было приниматься за байковые сюртуки. «Точно так, ваше высокоблагородие, свеженько, хорошо». А сам был босиком. «Что же ты босиком?» — спросил я. «Лучше: ноги не горят, да и палубы не затопчешь сапогами». Вот я на днях сказал ему, что «видел, как японец один поворачивает пушку, а вас тут, — прибавил я, — десятеро возитесь около одной и насилу

двигаете ее». — «Точно так, ваше высокоблагородие, — отвечал он, — куда нам! Намедни и я видел, что волной плеснуло на берег, вон на ту низенькую батарею, да и смыло пушку, она и поплыла, а японец едет подле, да и толкает ее к берегу. Уж такие пушки у них!» Потом, подумав немного, он сказал: «Если б пришлось драться с ними, ваше высокоблагородие, неужели нам ружья дадут?» — «А как же?» — «По лопарю бы довольно». (*Лопарь* — конец толстой веревки.)

13-го октября. Нового ничего. Холодно и ясно; превосходная погода: все так светло, празднично. Холмы и воды в блеске; островки и надводные камни в проливе, от сильной рефракции, кажутся совершенно отставшими от воды; они как будто висят на воздухе. Зори вечерние (утренних я никогда не вижу) обливают золотом весь горизонт, зажгутся звезды, прежде всего Юпитер и Венера. Венера горит ярко, как большая свеча. Вчера мы смотрели в трубу на Сатурна: хорошо видели и кольца. У Юпитера видны три спутника; четвертый прячется за планетой.

17, 18 и 19 октября. Ждем судов наших и начинаем тревожиться. Ну, пусть транспорт медлит за противным NO муссоном, лавируя миль по двадцати в сутки, а шкуна? Вот уж два месяца, как ушла; а ей сказано, чтоб долее семи недель не быть. Делают разные предположения.

Вчера, 18-го, адмирал приказал дать знать баниосам, чтоб они продолжали, если хотят, ездить и без дела, а так, в гости, чтобы как можно более сблизить их с нашими понятиями и образом жизни. Младшие переводчики перепутали все, и двое ондер-баниосов, не бывших ни разу, явились спросить, что нам нужно, думая, что мы их вызывали за делом. Сегодня, 19-го, явились опять двое и, между прочим, Ойе-Саброски, «с маленькой просьбой от губернатора, — сказали они, — завтра, 20-го, поедет князь Чикузен, или Цикузен, от одной пристани к другой в проливе, смотреть свои казармы и войска, так не может ли корвет немного отодвинуться в сторону, потому что князя будут сопровождать до ста лодок, так им трудно будет проехать». Им отвечали, что гораздо удобнее лодкам обойти судно, нежели судну, особенно военному, переходить с места на место. Так они и уехали.

С Саброски был полный высокий ондер-баниос, но с таким неяпонским лицом, что хоть сейчас в надворные советники, лишь только юбку долой, а юбка штофная, голубая: славно бы кресло обить! Когда я стал заводить ящик с музыкой и открыл его, он смотрел по-детски и немного глупо на движение вала.[64]

После обеда, говорят, проезжал какой-то князь, с поездом. Погода была сегодня так хороша, тепла, как у нас в июле, и так ясна, как у нас никогда не бывает. Но по вечерам вообще туманно, по ночам сыро и очень холодно. Скучновато: новостей нет, и занятия как-то идут вяло. Почиваем, кушаем превосходную рыбу ежедневно, в ухе, в пирогах, холодную, жареную; раков тоже, с клешнями, без клешней, толстокожих, с усами и без оных, круглых и длинных. Уж некоторые, в том числе и я, начинаем жаловаться на расстройство желудка от этой монашеской пищи. Фаддеев учится грамоте. Я было написал ему прописи, но он избегает учиться у меня. Я застаю его за какой-то замасленной бумагой, на которой напи-

саны преуродливые азы. Фаддеев копирует их усердно и превосходит уродливостью; а с моих не копирует. «Кто написал тебе?» — спросил я. «Агапка, — отвечает он; — он взялся выучить меня писать». — «А ты что ему за это?» — «Две чарки водки».

25-го. Давно я не принимался за свой дневник: скучно что-то, и болен я. Между тем много кое-чего бы надо было записать. Во-первых, с 20 на 21, ночью была жестокая гроза. Накануне и в тот день шел дождь, потом к вечеру начала блистать молния. Все это к ночи усиливалось. Ночь темная, ни зги не видно, только молния вдруг обливала нестерпимым блеском весь залив и горы. Осмотрели громовые отводы. Какие удары! молния блеснет — и долго спустя глухо загремит гром — значит, далеко; но чрез минуту вдруг опять блеск почти кровавый, и в то же мгновение раздается удар над самой палубой. И поминутно, поминутно, как будто начинает что-то сыпаться с гор: сначала в полтона, потом загремит целым аккордом. Смотреть больно, слушать утомительно. Началось ча́сов с семи, а кончилось в 3-м часу ночи. Один раз молния упала так близко, что часовой крикнул: «*Огонь с фор-русленей упал!*» В другой раз попала в Паппенберг, в третий — в воду, близ кормы. Я видел сам. Недаром Кемпфер, Головнин и другие пишут, что грозы ужасны в Японии. На другой день было очень жарко, парило, потом стало прохладно, и до сих пор все хорошая погода.

Наконец, 23-го утром, запалили японские пушки: «А! судно идет!» Которое? Мы взволновались. Кто поехал навстречу, кто влез на марсы, на салинги — смотреть. Уж не англичане ли? Вот одолжат! Нет, это наш транспорт из Шанхая, с письмами, газетами и провизией.

21-го приехали Ойе-Саброски с Кичибе и Эйноске. Последний решительно отказался от книг, которые предлагали ему и адмирал, и я: боится. Гокейнсы сказали, что желали бы говорить с полномочным. Их повели в каюту. Они объявили, что наконец получен ответ из Едо! — Grande nouvelle! * Мы обрадовались. «Что такое? как? в чем дело?» — посыпались вопросы. Мы с нетерпением ожидали, что позовут нас в Едо или скажут то, другое...

Но вот Кичибе потянул в себя воздух, улыбнулся самою сладчайшею из своих улыбок — дурной признак! «Из Едо... — начал он давиться и кряхтеть, — прислан ответ». «Ну?» — «Что письма ваши прибыли туда... благополучно», — выговорил он наконец, обливаясь потом, как будто дотащил воз до места. «Ну?» — «Что... прибыли... благополучно!..» — повторил он. «Слышали. Еще что?» — «Еще... только и есть!» — «Это не ответ»,— заметили им. Они начали оправдываться, что они не виноваты и т. п. Адмирал сказал, что он надеется чрез несколько дней получить другой ответ, лучше и толковее этого. Потом спросили их о месте на берегу. «Из Едо...— начал, кряхтя и улыбаясь, Кичибе,— не получено...» И запел свою песню. «Знаем. Да что ж, будет ли ответ? Это, видно, губернатор виноват: он не хотел представить об этом?» Баниосы оправдывались, что нет, что ни он, ни они не виноваты. «Из Едо...» и т. д.

* Великая новость! (*франц.*),— *Ред.*

29. Давно ли мы жаловались на жар? давно ли нельзя было есть мяса, выпить рюмки вина? А теперь, хоть и совестно, а приходится жаловаться на холод! Погода ясная, ночи лунные, NO муссон дует с резким холодком. Опять всем захотелось на юг, все бредят Манилой.

Вчера, 28-го, когда я только было собрался уснуть после обеда, мне предложили кататься на шлюпке в море. Мы этим нет-нет да и напомним японцам, что вода принадлежит всем и что мешать в этом они не могут, и таким образом мы удерживаем это право за европейцами. Наши давно дразнят японцев, катаясь на шлюпках.

Но знаете ли, что значит катанье у моряков? Вы думаете, может быть, что это робкое и ленивое ползанье наших яликов и лодок по сонным водам прудов и озер, с дамами, при звуках музыки и т. п.? Нет: с такими понятиями о катанье не советую вам принимать приглашения покататься с моряком: это все равно, если б вас посадили верхом на бешеную лошадь да предложили прогуляться. Моряки катаются непременно на парусах, стало быть, в ветер, чего многие не любят, да еще в свежий ветер, то есть когда шлюпка лежит на боку и когда белоголовые волны скачут выше борта, а иногда и за борт.

Ветер дул NO, свежий и порывистый: только наш катер отвалил, сейчас же окрылился фоком, бизанью и кливером, сильно лег на бок и понесся пуще всякой тройки. Едва мы подошли к проливцу между Паппенбергом и Ивосима, как вслед за нами, по обыкновению, с разных точек бросились японские казенные лодки, не стоящие уже кругом нас цепью, с тех пор как мы отбуксировали их прочь, а кроющиеся под берегом. Лодки бросались не с тем, чтоб помешать нам — куда им! они и не догонят, а чтоб показать только перед старшими, что исполняют обязанности караульных. Они бросаются, гребут, торопятся, и лишь только дойдут до крайних мысов и скал, до выхода в открытое море, как спрячутся в бухтах и ждут. А когда наши шлюпки появятся назад, японцы опять бросятся за ними и толпой едут сзади, с криком, шумом, чтоб показать своим в гавани, что будто и они ходили за нашими в море. Мы хохочем.

Едва наш катер вышел за ворота, на третий рейд, японские лодки прижались к каменьям, к батареям, и там остались. Паппенберг на минуту отнял у нас ветер: сделался маленький штиль, но лишь только мы миновали гору, катер пошел чесать. Волнение было крупное, катер высоко забирал носом, становясь, как лошадь, на дыбы, и бил им по волне, перескакивая чрез нее, как лошадь же. Куда тут японским лодкам! Матросы молча сидели на дне шлюпки, мы на лавках, держась руками за борт и сжавшись в кучу, потому что наклоненное положение катера всех сбивало в одну сторону.

Но холодно; я прятал руки в рукава или за пазуху, по карманам, носы у нас посинели. Мы осмотрели, подойдя вплоть к берегу, прекрасную бухту, которая лежит налево, как только входишь с моря на первый рейд. Я прежде не видал ее, когда мы входили: тогда я занят был рассматриванием ближних берегов, батарей и холмов.

А бухта отличная: на берегу видна деревня и ряд террас, обработанных

до последней крайности, до самых вершин утесов и вплоть до крутых обрывов к морю, где уже одни каменья стоймя опускаются в океан и где никакая дикая коза не влезет туда. Нет вершка необработанной земли, и все в гору, в гору. Везде посеян рис и овощи. Горы изрезаны по бокам уступами, и, чтоб уступы не обваливались, бока их укреплены мелким камнем, как и весь берег, так что вода, в большом обилии необходимая для риса, может стекать по уступам, как по лестнице, не разрушая их. Видели скот, потом множество ребятишек; вышло несколько японцев из хижин и дач и стали в кучу, глядя, как мы то остановимся, то подъедем к самому берегу, то удалимся, лавируя взад и вперед. Мы глядели на некоторые беседки и храмы по высотам, любовались длинною, идущею параллельно с берегом кедровою аллеею.

Не думайте, чтоб храм был в самом деле храм, по нашим понятиям, в архитектурном отношении, что-нибудь господствующее, не только над окрестностью, но и над домами — нет, это, по-нашему, изба, побольше других, с несколько возвышенною кровлею, или какая-нибудь посеревшая от времени большая беседка, в старом заглохшем саду. Немудрено, что Кемпфер насчитал такое множество храмов: по высотам их действительно много; но их, без трубы, не разглядишь, разве подъедешь к самому берегу, как мы сделали в этой бухте.

Какое бы славное предместие раскинулось в ней, если б она была в руках европейцев! Да это еще будет и, может быть, скоро... Знаете, что на днях сказал *Матабе*, один из ондер-толков, привозящий нам провизию? Его спросили: отчего у них такие лодки, с этим разрезом на корме, куда могут хлестать волны, и с этим неуклюжим, высоким рулем? Он сослался на закон, потом сказал, что это худо: «Да ведь Япония не может долго оставаться в нынешнем ее положении, — прибавил он, — скоро надо ожидать перемен». Каков Матабе? а не бойкий, невзрачный человек, и с таким простым, добрым и честным лицом! Оттого, может быть, он и говорит так.

Глядя вчера на эти обработанные донельзя холмы, я вспомнил Гон-Конг и особенно торговое заведение Джердина и Маттисона, занимающее целый угол. Там тоже горы, да какие! не чета здешним: голый камень, а бухта удобна, берега *приглубы*, суда закрыты от ветров. Что же Джердин? нанял китайцев, взял да и срыл гору, построил огромное торговое заведение, магазины, а еще выше над всем этим — великолепную виллу, сделал скаты, аллеи, насадил всего, что растет под тропиками, — и живет, как бы жил в Англии, где-нибудь на о. Вайте. Я не видал в Гон-Конге ни клочка обработанной земли, а везде срытые горы для улиц да для дорог, для пристаней. Китайцы — а их там тысяч тридцать — не боятся умереть с голоду. Они находят выгоднее строить европейцам дворцы, копать землю, не все для одного посева, как у себя в Китае, а работать на судах, быть приказчиками и, наконец, торговать самим. Так должно быть и, конечно, будет и здесь, как справедливо предсказывает Матабе.

Я иззяб с этим катаньем. Был пятый час в исходе; осеннее солнце спешило спрятаться за горизонт, а мы спешили воротиться с моря засветло

и проехали между каменьями, оторвавшимися от гор, под самыми батареями, где японцы строят домики для каждой пушки. Как издевался над этими домиками наш артиллерист К. И. Лосев! Он толковал, что домик мешает углу обстрела и т. п. Сторож японец начал браниться и кидать в нас каменья, но они едва падали у ног его. Мы хохочем. Сзади нас катер — и тому то же, и там хохот. Вот Паппенберг — и опять штиль у его подошвы. Катер вышел из ветра и стал прямо; парус начал хлестать о мачту; матросы взялись за весла, а я в это время осматривал Паппенберг. С западной его стороны отвалился большой камень, с кучей маленьких; между ними хлещет бурун; еще подальше от Паппенберга есть такая же куча, которую исхлестали, округлили и избороздили волны, образовав живописную группу, как будто великанов, в разных положениях, с детьми.

Когда в Нагасаки будет издаваться иллюстрация,[65] непременно нарисуют эти каменья. И *Паппенберг* тоже, и *Крысий* — другой маленький пушистый островок. В тексте скажут, что с Паппенберга некогда бросали католических, *папских* монахов,[66] отчего и назван так остров. В самом деле, есть откуда бросать: он весь кругом в отвесных скалах, сажен в десять и более вышины. Только с восточной стороны, на самой *бахроме*, так сказать, берега, японцы протоптали тропинки да поставили батарею, которую, по обыкновению, и завесили, а вершину усадили редким сосняком, отчего вся гора, как я писал, имеет вид головы, на которой волосы встали дыбом. Вообще японцы любят утыкать свои холмы редкими деревьями, отчего они походят также и на пасхальные куличи, утыканные фальшивыми розанами. На Крысьем острове избиты были некогда испанцы и сожжены их корабли с товарами. На нем, нет сомнения, будет когда-нибудь хорошенький павильон; для другого чего-нибудь остров мал.

Только что мы подъехали к Паппенбергу, как за нами бросились назад таившиеся под берегом, ожидавшие нас японские лодки и ехали с криком, но не близко, и так все дружно прибыли — они в свои ущелья и затишья, мы на фрегат. Я долго дул в кулаки.

Ноябрь. 1, 2, 3. То дождь, то ясно, то тепло, даже жарко, как сегодня например, то вдруг холодно, как на родине.[67]

Японцы еще третьего дня приезжали сказать, что голландское купеческое судно уходит наконец с грузом в Батавию (не знаю, сказал ли я, что мы застали его уже здесь) и что губернатор просит — о чем бы вы думали? — чтоб мы не ездили на судно! А мы велели сказать, что дадим письма в Европу и удивляемся, как губернатору могла прийти в голову мысль мешать сношению двух европейских судов между собою? Опять переводчики приехали, почти ночью, просить по крайней мере сделать это за Ковальскими воротами, близ моря. Им не хочется, чтоб народ видел и заключил по этому о слабости своего правительства; ему стыдно, что его не слушаются. Сказано, что нет. Переводчики объявили, что, может быть, губернатор *не позволит* пристать к борту, загородит своими лодками. «Пусть попробует, — сказано ему, — выйдут неприятные последствия — он ответит за них».

Радость, радость, праздник: шкуна пришла! Сегодня, 3-го числа,

палят японские пушки. С салингов завидели шкуну. Часу в 1-м она стала на якорь подле нас. Сколько новостей!

5-е. Тоска, несмотря на занятия, несмотря на внешнее спокойствие, на прекрасную погоду. Я вчера к вечеру уехал на наш транспорт; туда же поехал и капитан. Я увлек и отца Аввакума. Мы поужинали; вдруг является К. Н. Посьет и говорит, что адмирал изменил решение: прощай, Манила, Лю-Чу! мы идем в Едо. Толки, споры. Говорят, сухарей нет: как идти? Адмирал думает оттуда уже послать транспорт в Шанхай, за полным грузом провизии, на несколько месяцев. Но, кроме недостатка провизии, в Едо мешает идти противный NO муссон. Сегодня вызвали баниосов; приехал Ойе-Саброски, Кичибе и Сьоза, да еще баниос, под пару Саброски (баниосы иначе не ездят, как парами). Он смотрит всякий раз очень ласково на меня своим довольно тупым, простым взглядом и напоминает какую-нибудь безусловно добрую тетку, няньку или другую женщину-баловницу, от которой ума и наставлений не жди, зато варенья, конфект и потворства — сколько хочешь.

Все были в восторге, когда мы объявили, что покидаем Нагасаки; только Кичибе был ни скучнее, ни веселее других. Он переводил вопросы и ответы, сам ничего не спрашивая и не интересуясь ничем. Он как-то сказал, на вопрос Посьета, почему он не учится английскому языку, что жалеет, зачем выучился и по-голландски. «Отчего?» — «Я люблю, — говорит, — *ничего не делать, лежать на боку*».

Но баниосы не обрадовались бы, узнавши, что мы идем в Едо. Им об этом не сказали ни слова. Просили только приехать завтра опять, взять бумаги да подарки губернаторам и переводчикам, еще прислать, как можно больше, воды и провизии. Они не подозревают, что мы сбираемся продовольствоваться этой провизией — на пути к Едо! Что-то будет завтра?

6-го. Были сегодня баниосы и утром и вечером. Пришла и им забота. Губернаторы оба в тревоге. «Отчего вдруг вздумали идти? В какой день идут и... куда?»— хотелось бы еще спросить, да не решаются: сами чувствуют, что не скажут. Сегодня уж они не были веселы. С баниосами был старший из них, *Хагивари*. Их позвали к адмиралу. Они сказали, что губернаторы решили принять бумаги в Совет. Потом секретарь и баниосы начали предлагать вопросы: «Что нас заставляет идти внезапно?» — «Нечего здесь больше делать»,— отвечали им. «Объяснена ли причина в письме к губернатору?» — «В этих бумагах объяснены мои намерения», — приказал сказать адмирал.

О подарках они сказали, что их не могут принять ни губернаторы, ни баниосы, ни переводчики: «Унмоглик!»— «Из Едо,— начал давиться Кичибе,— на этот счет не получено... разрешения». «Ну, не надо. И мы никогда не примем,— сказали мы,— когда нужно иметь дело с вами».

Кичибе извивался, как змей, допрашиваясь, когда идем, воротимся ли, упрашивая сказать день, когда выйдем и т. п. Но ничего не добился. *Спудиг* (скоро), *зер спудиг*,[68] отвечал ему Посьет. Они просили сказать об этом по крайней мере за день до отхода — и того нет. На них, очевидно, напала тоска. Наступила их очередь быть игрушкой. Мы мисти-

фировали их, ловко избегая отвечать на вопросы. Так они и уехали в тревоге, не добившись ничего, а мы сели обедать.

Мы недоумевали, отчего так вдруг обеспокоились японцы нашим отъездом? почему просят сказать за день? Верно, у них есть готовый ответ, да, по своей привычке, медлят объявлять. Вечером явились опять и привезли Эйноске, надеясь, что он потолковее: допросится. Но так же бесполезно. Куда? хотелось им знать. «Куда ветер понесет», — отвечали с улыбкой. Наконец сказали, что будем где-нибудь близко, согласно с тем, как объявил адмирал, то есть *что не уйдем от берегов Японии, не окончив дела.* «Но ответ вы получите в Нагасаки»,— заметили они. Мы ничего не сказали. Беда им, да и только! «Вы представьте, — сказал Эйноске, — наше положение: нам велели узнать, а мы воротимся с тем же, с чем уехали». «И мое положение представьте себе, — отвечал Посьет, — адмирал мне не говорит ни слова больше о своих намерениях, и я не знаю, что сказать вам». Так они и уехали.

7-го. Комедия с этими японцами, совершенное представление на нагасакском рейде! Только что пробило восемь склянок и подняли флаг, как появились переводчики, за ними и оппер-баниосы, Хагивари, Саброски и еще другой, робкий и невзрачный с виду. Они допрашивали, не недовольны ли мы чем-нибудь? потом попросили видеться с адмиралом. По обыкновению, все уселись в его каюте, и воцарилось глубокое молчание.

Хагивари говорил долго, минут десять: мы думали, и конца не будет. Кичибе начал переводить его речь, по-своему, коротко и отрывисто, и передал, по-видимому, только мысль, но способ выражения, подробности, оттенки — все пропало. Он и ограничен, и упрям. Если скажут что-нибудь резко по-голландски, он, сколько мы могли заметить, смягчит в переводе на японский язык или вовсе умолчит. Адмирал недоволен и хочет просить, чтоб его устранили от переговоров. Эйноске, напротив, все понимает и старается объяснить до тонкости.

Они начали с того, что «так как адмирал не соглашается остаться, то губернатор не решается удерживать его, но он предлагает ему на рассуждение одно обстоятельство, чтоб адмирал поступил сообразно этому, именно: губернатору известно наверное, что дней чрез десять, и никак не более одиннадцати, а может быть, и чрез семь придет ответ, который почему-то замедлился в пути».

На это отвечено, что «по трехмесячном ожидании не важность подождать семь дней: но нам необходимо иметь место на берегу, чтоб сделать поправки на судах, поверить хронометры и т. п. Далее, если ответ этот подвинет дело вперед, то мы останемся, в противном случае уйдем... куда нам надо».

Между тем мы заметили, бывши еще в каюте капитана, что то один, то другой переводчик выходили к своим лодкам и возвращались. Баниосы отвечали, что «они доведут об этом заявлении адмирала до сведения губернатора и...»

Вдруг у дверей послышался шум и голоса. Эйноске встал, пошел к дверям, поспешно воротился и сказал, что приехали еще двое баниосов,

но часовой не пускает их. Велено впустить. Вошли двое, знакомые лица, не знаю, как их зовут. Они поклонились, подошли к Хагивари и подали ему бумагу. Я смекнул, что они приехали с ответом из Едо. Хагивари, с видом притворного удивления, прочел бумагу, подал ее Саброски, тот прочел, передал дальше, и так она дошла до Кичибе. Они начали ахать, восклицать. Кичибе чуть не подавился совсем на первом слове. «Почта... почта... из Едо erhalten, получена!»

Я не мог выдержать, отвернулся от них и кое-как справился с неистовым желанием захохотать. Фарсёры! Как хитро: приехали попытаться замедлить, просили десять дней срока, когда уже ответ был прислан. Бумага состояла, по обыкновению, всего из шести или семи строк. «Четверо полномочных, groote herren, важные сановники,— сказано было в ней,— едут из Едо для свидания и переговоров с адмиралом».

Вот тебе раз! вот тебе Едо! У нас как гора с плеч! Идти в Едо без провизии, стало быть, на самое короткое время, и уйти!

Спросили, когда будут полномочные. «Из Едо... не получено... об этом». Ну пошел свое! Хагивари и Саброски начали делать нам знаки, показывая на бумагу, что вот какое чудо случилось: только заговорили о ней, а она и пришла! Тут уже никто не выдержал, и они сами, и все мы стали смеяться. Бумага писана была от президента горочью, *Абе Исено-ками-сама*, к обоим губернаторам о том, что едут полномочные, но кто именно, когда они едут, выехали ли, в дороге ли — об этом ни слова.

Японцы уехали, с обещанием вечером привезти ответ губернатора о месте. «Стало быть, о прежнем, то есть об отъезде, уже нет и речи»,— сказали они, уезжая, и стали отирать себе рот, как будто стирая прежние слова. А мы начали толковать о предстоящих переменах в нашем плане. Я еще, до отъезда их, не утерпел и вышел на палубу. Капитан распоряжался привязкой парусов. «Напрасно,— сказал я,— велите опять отвязывать, не пойдем».

После обеда тотчас явились японцы и сказали, что хотя губернатор и не имеет разрешения, но берет все на себя и отводит место. К вечеру опять приехали сказать, не хотим ли мы взять бухту *Кибач*, которую занимал прежний посланник наш, Резанов.[69] Адмирал отвечал, что во всяком случае он пошлет осмотреть место прежде, нежели примет. Поехали осматривать Пещуров,[70] Корсаков и Гошкевич и возвратились со смехом и досадой, сказав, что место не годится: голое, песок, каменья, Ну, надо терпения с этим народом? Вот четвертый день все идут толки о месте.

Мы хотя и убрали паруса, но адмирал предполагает идти, только не в Едо, а в Шанхай, чтобы узнать там, что делается в Европе, и запастись свежею провизиею на несколько месяцев. Японцам объявили, что место не годится. Губернатор отвечал, что нет другого: видно, рассердился. Мы возразили, что вон есть там, да там, да вон тут: мало ли красивых мест! «Если не дадут, уйдем,— говорили мы,— присылайте провизию». «Не могу,— отвечал губернатор,— требуйте провизию попрежнему, понемногу, от голландцев». Он надеялся нас тем удержать. «Ну, мы пойдем и без провизии»,— отвечено ему.

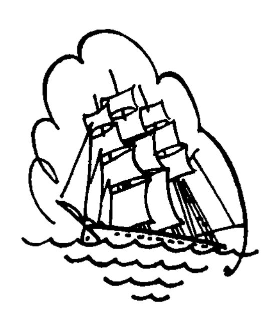
10-го. Сегодня вдруг видим, что при входе в бухту Кибач толпится кучка народу. Там и баниосы и переводчики, смотрят, размеривают, втыкают колышки: ясно, что готовят другое место, но какое! тоже голое, с зеленью, правда, но это посевы риса и овощей; тут негде ступить.

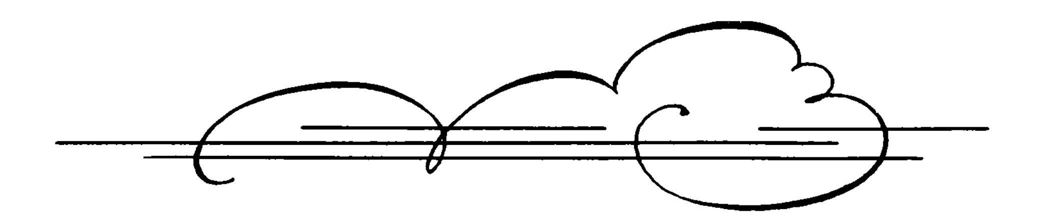
Губернатор, узнав, что мы отказываемся принять и другое место, отвечал, что больше у него нет никаких, что указанное нами принадлежит князю Омуре, на которое он не имеет прав. Оба губернатора после всего этого успокоились: они объявили нам, что полномочные назначены, место отводят, следовательно, если мы и за этим за всем уходим, то они уж не виноваты.

Адмирал просил их передать бумаги полномочным, если они прежде нас будут в Нагасаки. При этом приложена была записочка к губернатору, в которой адмирал извещал его, что он в «непродолжительном времени воротится в Японию, зайдет в Нагасаки, и если там не будет ни полномочных, ни ответа на его предложения, то он немедленно пойдет в Едо».

Баниосы спрашивали, что заключается в этой записочке, но им не сказали, так точно, как не объявили и губернатору, куда и надолго ли мы идем. Мы всё думали, что нас остановят, дадут место и скажут, что полномочные едут: но ничего не было. Губернаторы, догадавшись, что мы идем не в Едо, успокоились. Мы сказали, что уйдем сегодня же, если ветер будет хорош.

Часа в три мы снялись с якоря, пробыв ровно три месяца в Нагасаки: 10 августа пришли и 11 ноября ушли. Я лег было спать, но топот людей, укладка якорной цепи разбудили меня. Я вышел в ту минуту, когда мы выходили на первый рейд, к Ковальским, так называемым, воротам. Недавно я еще катался тут. Вон и бухта, которую мы осматривали, вон Паппенберг, все знакомые рытвины и ложбины на дальних высоких горах, вот Каменосима, Ивосима, вон, налево, синеет мыс Номо, а вот и простор, беспредельность, море!





II

ШАНХАЙ

Седельные острова.— Рыбачья флотилия.— Поездка в Шанхай на купеческой шкуне.— Гуцлав.— Янсекиян.— Пожар.— Река и местечко Вусун.— Военные джонки и европейские суда.— Шанхай.— О чае.— Простой народ.— Таможня.— Американский консул.—Резная китайская работа.— Улицы и базары.— Лавки и продавцы.— Фрукты, зелень и дичь.— Харчевни.— Европейские магазины.— Буддийская часовня.— Шанхайские доллары и медная китайская монета.— Окрестности, поля, гулянье англичан.— Лагерь и инсургенты.— Таутай Самква.— Осада города продавцами провизии.— Обращение англичан с китайцами.— Торговля опиумом.— Значение Шанхая.— Претендент на богдыханский престол.— Успехи христианства в Китае.— Фермы и земледельцы.— Китайские похороны.— Возвращение на фрегат.

С 11 ноября 1853 года.

Опять плавучая жизнь, опять движение по воле ветра или покой по его же милости! Как воет он теперь и как холодно! Я отвык в три месяца от моря и с большим неудовольствием смотрю, как все стали по местам, как четверо рулевых будто приросли к штурвалу, ухватясь за рукоятки колеса, как матросы полезли на марсы и как фрегат распустил крылья, а дед начал странствовать с юта к карте и обратно. Мы пошли по 6 и по 7 узлов, в бейдевинд. За нами долго следила японская джонка, чтоб посмотреть, куда мы направимся. Я не знал, куда деться от холода, и, как был одетый в байковом пальто, лег на кровать, покрылся ваточным одеялом — и все было холодно. В перспективе не теплее: в Шанхае бывают морозы, несмотря на то, что он лежит под 31 градусом северной широты.

Сегодня выхожу на палубу часу в девятом: налево, в тумане, какой-то остров; над ним, как исполинская ширма, стоит сизая туча, с полосами дождя. Пасмурно; дождь моросит; в воздухе влажно, пахнет немного болотом. Предчувствуешь насморк. Погода совершенно такая же, как бывает в Финском заливе, или на Неве, в конце лета, в серенькие дни. «Что это за остров?»— спросил я. *«Гото»,*— говорят.

«А это, направо?» — «*Ослиные уши*».— «Что-о? почему это уши? — думал я, глядя на группу совершенно голых, темных каменьев,— да еще и ослиные?» Но, должно быть, я подумал это вслух, потому что кто-то подле меня сказал: «Оттого, что они торчмя высовываются из воды — вон видите?» Вижу, да только это похоже и на шапку, и на ворота, и ни на что не похоже, всего менее на уши. Ведь говорят же, что Столовая гора похожа на стол, а Львиная — на льва: так почему ж и эти камни не назвать так? А вон, правее, еще три камня: командир нашего транспорта, капитан Фуругельм,[1] первый заметил их. Они не показаны на карте, и вот у нас отмечают их положение. Они видны несколько правее от «Ушей», если идти из Японии, как будто на втором плане картины. Кто предлагал назвать их *Камнями Паллады*, кто *Тремя Стражами*, но они остались без названия.

Ветер стал свежеть: убрали брамсели и вскоре взяли риф у марселей. Как улыбаются мне теперь картины сухопутного путешествия, если б вы знали, особенно по России! Едешь не торопясь, без сроку, по своей надобности, с хорошими спутниками; качки нет, хотя и тряско, но то не беда. Колокольчик заглушает ветер. В холодную ночь спрячешься в экипаже, утонешь в перины, закроешься одеялом — и знать ничего не хочешь. Утром поздно уже, переспав два раза срок, путешественник вдруг освобождает с трудом голову из-под спуда подушек, вскакивает, с прической á l'imbécile,* и дико озирается по сторонам, думая: «Что это за деревья, откуда они взялись и зачем он сам тут?» Очнувшись, шарит около себя, ища картуза, и видит, что в него, вместо головы, угодила нога, или ощупывает его под собой, а иногда и вовсе не находит. Потом пойдут вопросы: далеко ли отъехали, скоро ли приедут на станцию, как называется вон та деревня, что в овраге? Потом станция, чай, легкая утренняя дрожь, теньеровские картины;[2] там опять живая и разнообразная декорация лесов, пашен, дальних сел и деревень, пекущее солнце, оводы, недолгий жар и снова станция, обед, приветливые лица да двугривенные; после еще сон, наконец, знакомый шлагбаум, знакомая улица, знакомый дом, а там она, или он, или оно... Ах! где вы, милые, знакомые явления? А здесь что такое? одной рукой пишу, другой держусь за переборку; бюро лезет на меня, я лезу на стену... До свидания.

14-го. Вот и *Saddle-Islands*, где мы должны остановиться с судами, чтоб нейти в Шанхай и там не наткнуться или на мель, или на англичан, если у нас с ними война. Мы еще ничего не знаем. Да с большими судами и не дойдешь до Шанхая: река Янсекиян вся усеяна мелями: надо пароход и лоцманов. Есть в Шанхае и пароход, «Конфуций», но он берет четыреста долларов за то, чтоб ввести судно в Шанхай. Что сказал бы добродетельный философ, если б предвидел, что его соименник будет драть по стольку с приходящих

---

* как у помешанного (*франц.*).— *Ред.*

судов? проклял бы пришельцев, конечно. А кто знает: если б у него были акции на это предприятие, так, может быть, сам брал бы вдвое. Здесь неимоверно дорог уголь: тонн стоит десять фунт. стерл., оттого и пароход берет дорого за буксир.

Saddle-Islands лежат милях в сорока от бара, или устья, Янсекияна, да рекой еще миль сорок с лишком надо ехать, потом речкой Восунг, Усун или Woosung, как пишут англичане, а вы выговаривайте, как хотите. Отец Аввакум, живший в Китае, говорит, что надо говорить *Вусун*, что у китайцев нет звука *г*.

Saddle-Islands значит «Седельные острова»: видно уж по этому, что тут хозяйничали англичане. Во время китайской войны английские военные суда тоже стояли здесь. Я вижу берег теперь из окна моей каюты: это целая группа островков и камней, вроде знаков препинания; они и на карте показаны в виде точек. Они бесплодны, как бóльшая часть островов около Китая; ветры обнажают берега. Впрочем, пишут, что здесь много устриц и — чего бы вы думали? нарциссов!

Сию минуту К. Н. Посьет вызвал меня посмотреть рыбачий флот. Я думал, что увижу десятка два рыбачьих лодок, и не хотел выходить: вообразите, мы насчитали до пятисот. Они все стоят в линию, на расстоянии около трех кабельтовых от нас, то есть около трехсот сажен,— это налево. А справа видны острова, точно морские чудовища, выставившие темные, бесцветные хребты: ни зелени, ни возвышенностей не видно; впрочем, до них еще будет миль двенадцать. Я все смотрел на частокол китайских лодок. Что они там делают, эти рыбаки, а при случае, может быть, и пираты, как большая часть живущих на островах китайцев? Над ними нет управы. Китайское правительство слишком слабо и без флота ничего не может с ними сделать. Англичан и других, кто посильнее на море, пираты не трогают, следовательно, тем до них дела нет. Даже говорят, что англичане употребляют их для разных послуг. Зато небольшим купеческим судам от них беда. Их уличить трудно: если они одолеют корабль, то утопят всех людей до одного; а не одолеют, так быстро уйдут, и их не сыщешь в архипелагах этих морей. Впрочем, они нападают только тогда, когда надеются наверное одолеть. Все затруднение поймать их состоит в том, что у них не одно ремесло. Сегодня они купцы, завтра — рыболовы, а при всяком удобном случае — разбойники. Наши моряки любуются, как они ловко управляются на море с своими красными бочкообразными лодками и рогожными парусами: видно, что море — их стихия. Старшего над ними, кажется, никого нет: сегодня они там, завтра — здесь, и всегда избегнут всякого правосудия. Народонаселение лезет из Китая врозь, как горох из переполненного мешка, и распространяется во все стороны, на все окрестные и дальние острова, до Явы с одной стороны, до Калифорнии с другой. Китайцев везде много: они и купцы, и отличные мастеровые, и рабочие. Я удивляюсь, как их еще по сю пору нет на мысе Доброй Надежды? Этому народу суждено играть большую роль в торговле, а может быть, и не в одной торговле.

Наше двухдневное плавание до сих пор было хорошо. В среду мы снялись с якоря, сегодня, в субботу, уже подходим. Всего сделали около 450 миль: это семьсот с лишком верст. Качка была, да не сильная, хотя вчера дул свежий ветер, ровный, резкий и холодный. Волнение небольшое, но злое, постоянное: как будто человек сердится, бранится горячо, и гневу его долго не предвидится конца. Фрегат шел, накренясь на левую сторону, и от напряжения слегка судорожно вздрагивал: под ногами чувствуешь точно что-нибудь живое, какие-то натянутые жилы, которые ежеминутно готовы разорваться от усилия. Так заметно, особенно для ног, давление воздуха на мачты, паруса и на весь остов судна.

Сегодня встаем утром: теплее вчерашнего; идем на фордевинд, то есть ветер дует прямо с кормы; ходу пять узлов, и ветер умеренный. «Свистать всех наверх — на якорь становиться!»— слышу давеча, и бегу на ют. Вот мы и на якоре. Но что за безотрадные скалы! какие дикие места! ни кустика нет. Говорят, есть деревня тут: да где же? не видать ничего, кроме скал.

16-го. Вчера наши уехали на шкуне в Шанхай. Я не поехал, надеясь, что успею: мы здесь простоим еще с месяц. Меня звали, но я не был готов, да пусть прежде узнают, что за место этот Шанхай, где там быть и что делать? пускают ли еще в китайский город? А если придется жить в европейской фактории и видеть только ее, так не стоит труда и ездить: те же англичане, тот же ростбиф, те же much obliged* и thank you.** А у китайцев суматоха, беспорядок. Инсургенты в городе, войска стоят лагерем вокруг:[3] нет надежды увидеть китайский театр, получить приглашение на китайский обед, попробовать птичьих гнезд. Хоть бы подрались они при нас между собою! Говорили, будто отсюда восемьдесят миль до Шанхая, а выходит сто пять, это сто восемьдесят четыре версты.

Наши съезжали сегодня на здешний берег, были в деревне у китайцев, хотели купить рыбы, но те сказали, что и настоящий и будущий улов проданы. Невесело, однако, здесь. Впрочем, давно не было весело: наш путь лежал или по английским портам, или у таких берегов, на которые выйти нельзя, как в Японии, или незачем, как здесь например.

Наши, однако, не унывают, ездят на скалы гулять. Вчера даже с корвета поехали на берег пить чай на траве, как, бывало, в России, в березовой роще. Только они взяли с собой туда дров и воды: там нету. Не правда ли, есть маленькая натяжка в этом сельском удовольствии?

В море. Пришло время каяться, что я не поехал в Шанхай. Безыменная скала, у которой мы стали на якорь, защищает нас только от северных, но отнюдь не от южных ветров. Сегодня вдруг подул южный ветер, и барометр стал падать. Скорей стали сниматься с якоря

---

* благодарю (*англ.*),— *Ред.*

** спасибо (*англ.*),— *Ред.*

и чрез час были в море, вдали от опасных камней. Отважные рыбачьи лодки тоже скрылись по бухтам. Мы то лежим в дрейфе, то лениво ползем узел, два вперед, потом назад, ходим ощупью: тьма ужасная; дождь, как в Петербурге, уныло и беспрерывно льет, стуча в кровлю моей каюты, то есть в ют. Но в Петербурге есть ярко освещенные залы, музыка, театр, клубы — о дожде забудешь; а здесь есть скрип снастей, тусклый фонарь на гафеле да одни и те же лица, те же разговоры: зачем это не поехал я в Шанхай!

Сегодня, 19-го, ветер крепкий гнал нас назад узлов по девяти. Я не мог уснуть всю ночь. Часов до четырех, по обыкновению, писал и только собрался лечь, как начали делать поворот на другой галс: стали свистать, командовать; бизань-шкот и грота-брас идут чрез роульсы, привинченные к самой крышке моей каюты, и когда потянут обе эти снасти, точно два экипажа едут по самому черепу. Ветер между тем переменился, и мы пошли на свое место. Нас догнал корвет, ночью жгли фальшфейеры. Часов в восемь мы опять были в желтых струях Янсекияна. Собственно до настоящего устья будет миль сорок отсюда, но вода так быстра, что мы за несколько миль еще до этих Saddle-Islands встретили уже желтую воду.

Страшно подумать, что с 5-го августа, то есть со дня прихода в Японию, мы не были на берегу, исключая визита к нагасакскому губернатору. Эти ровно три месяца. И когда сойдем, еще не знаю. Придет ли за нами шкуна сюда или нет, буду ли я в Шанхае — неизвестно. Ходишь по палубе, слушаешь, особенно по вечерам, почти никогда не умолкающий здесь вой ветра. Слышишь и какие-то, будто посторонние, примешивающиеся тут же голоса, или мелькнет в глаза мгновенный блеск, не то отдаленного пушечного выстрела, не то блуждающего по горам огонька: или это только так, призраки, являющиеся в те мгновения, когда в организме есть ослабление, расстроенность... Корвет сегодня, 21-го, только воротился из нашей коротенькой экспедиции или побега от южного ветра.[4]

22-го. Я еще не был здесь на берегу — не хочется, во-первых, лазить по голым скалам, а во-вторых, не в чем: сапог нет, или, пожалуй, вон их целый ряд, но ни одни нейдут на ногу. Кожа всего скорее портится в море; сначала она отсыреет, заплесневеет, потом ссыхается в жарких климатах и рвется почти так же легко, как писчая бумага. Я советую вам ехать в дальний вояж без сапог или в тех только, которые будут на ногах; но возьмите с собой побольше башмаков и ботинок... и то не нужно: везде сделают вам. Теперь я ношу ботинки китайской работы, сделанные в Гон-Конге... Вот что значит скука-то: заговоришься à propos des bottes.*[5]

23-го. Еще с утра вчера завидели шкуну; думали, наша — нет: чересчур высок рангоут, а лавирует к нам. Капитан, отец Аввакум и я из окна капитанской каюты смотрели, как ее обливало со всех сторон водой, как ныряла она; хотела поворачивать, не поворачивала,

* ни с того, ни с сего (*франц.*).— *Ред.*

наконец поворотила и часов в пять бросила якорь близ фрегата. Мы никак не ожидали, чтоб это касалось до нас. На шкуне были наши К. Н. Посьет и С. П. Шварц: они привезли из Шанхая зелень, живых быков, кур, уток, словом, свежую провизию и новости, но не свежие: от августа, а теперь ноябрь.

В Китае мятеж; в России готовятся к войне с Турцией.[6] Частных писем привезли всего два. Меня зовут в Шанхай: опять раздумье берет, опять нерешительность — да как, да что? Холод и лень одолели совсем, особенно холод, и лень тоже особенно. Вчера я спал у капитана в каюте; у меня невозможно раздеться; я пишу, а другую руку спрятал за жилет; ноги зябнут.

Вот уж четвертый день ревет крепкий NW; у нас травят канат, шкуну взяли на бакштов, то есть она держится за поданный с фрегата канат, как дитя за платье няньки. Это американская шкуна; она, говорят, ходила к южному полюсу, обогнула Горн. Ее зовут *Точкой*. Относительно к океану она меньше точки, или если точка, то математическая. Нельзя подумать, глядя на нее, чтоб она была у Горна: большая лодка и всего 12 человек на ней, и со шкипером. У ней изорвало вчера паруса, подмочило всю нашу провизию, кур, уток, а одного быка совсем унесло валом. Да и путешественники пришли на фрегат — точно из гостей от самого Нептуна.

Так и есть, как я думал: Шанхай заперт, в него нельзя попасть: инсургенты не пускают. Они дрались с войсками — наши видели. Надо ехать, разве потому только, что совестно быть в полутораста верстах от китайского берега и не побывать на нем. О войне с Турцией тоже не решено, вместе с этим не решено, останемся ли мы здесь еще месяц, как прежде хотели, или сейчас пойдем в Японию, несмотря на то, что у нас нет сухарей.

Янсекиян и Шанхай. Все, кто хотел ехать, начали собираться, а я, по своему обыкновению, продолжал колебаться, ехать или нет, и решил не ехать. Утром предполагали отправиться в восемь часов. Я встал в шесть и — поехал. Погода была порядочная, волнение умеренное, для фрегата вовсе незаметное, но для маленькой шкуны чувствительное. Я осмотрелся на шкуне: какая перемена после фрегата! Там не знаешь, что делается на другом конце, по нескольку дней с иным и не увидишься; во всем порядок, чистота. Здесь едешь, как в лодке. Палуба завалена всякой дрянью; от мачты и парусов негде поворотиться; черно, грязно, скользко, ноги прилипают к палубе. Шкипер шкуны, английский матрос, служивший прежде на купеческих судах, нанят хозяином шкуны, за 25 долларов в месяц, ходить по окрестным местам для разных надобностей. На руле сидел малаец, в чалме; матросы все китайцы.

Нас было человек десять: теснота такая, что почти проходу не было. Кроме офицеров гг. Посьета, Назимова, Кроуна,[7] Белавенца,[8] Болтина, Овсянкина, кн. Урусова да нас троих, не офицеров: отца Аввакума, О. А. Гошкевича и меня, ехали пятеро наших матросов, мастеровых, делать разные починки на шкуне «Восток». Посьет, приехавший на

этой шкуне, уж знал, что ни шкипер, несмотря на свое звание матроса, да еще английского, ни команда его не имели почти никакого понятия об управлении судном. Рулевой, сидя на кожаной скамеечке, правил рулем как попало. Он очень об этом не заботился: беспрестанно качал ногой, набивал трубку, выкуривал, выколачивал тут же, на палубу, и опять набивал. На компас он и внимания не обращал; да и стекло у компаса так занесло пылью, плесенью и всякой дрянью, что ничего не видно на нем.

Шкипер немного больше заботился о судне. Это был маленький худощавый человечек, в байковой куртке и суконной шапке, похожей на ночной чепчик. Он вынес изодранную карту Чусанского архипелага и островов Сэдль, положил ее на крышку люка, а сам сжался от холода в комок и стал незаметен, точно пропал с глаз долой. Положив ногу на ногу и спрятав руки в рукава, он жевал табак и по временам открывал рот... что за рот! не обращая ни на что внимания. Его беспрестанно побуждали офицеры, напоминали ему о ветре, о течении. Он крикнет что-нибудь на полуанглийском, полукитайском языке и опять пропадет. Рулевой правил наудачу; китайские матросы, сев на носу в кружок, с неописанным проворством ели двумя палочками рис.

Наши офицеры, видя, что с ними недалеко уедешь, принялись хозяйничать сами. Один оттолкнул рулевого, который давал шкуне *рыскать,* и начал править сам, другой смотрел на карту. Наши матросы заменили китайцев, тянули и отдавали по команде снасти, сделанные из травы и скрипевшие, как едущий по снегу обоз. Ветер, к счастию, был попутный, течение тоже; мы шли узлов семь с лишком. Вот уже миновали знаки препинания, то есть Седельные острова. Вдали, налево, виден был имеющий форму купола островок Гуцлав, названный так в честь знаменитого миссионера Гуцлава.[9]

Как ни холодно, ни тесно было нам, но и это путешествие, с маленькими лишениями и неудобствами, имело свою занимательность, может быть потому, что вносило хоть немного разнообразия в наши монотонные дни.

Посидев на палубе, мы ушли вниз и завладели каютой шкипера. Она состояла из двух чуланчиков, вроде нор, и, по черноте и беспорядку, походила в самом деле на какой-то лисятник. Всего более мутил меня запах проклятого растительного масла, употребляемого китайцами в пищу; запах этот преследовал меня с Явы: там я почуял его в первый раз в китайской лавчонке и с той минуты возненавидел. В Сингапуре и в Гон-Конге он смешивался с запахом чесноку и сандального дерева и был еще противнее; в Японии я три месяца его не чувствовал, а теперь вот опять! Оглядываюсь, чтоб узнать, откуда пахнет — и ничего не вижу: на лавке валяется только дождевая кожаная куртка, вероятно хозяйская. Я отворил все шкапчики, поставцы: там чашки, чай — больше ничего нет, а так и разит!

Мы в крошечной каюте сидели чуть не на коленях друг у друга, а всего шесть человек, четверо остались наверху. К завтраку придут и они. Куда денешься? Только стали звать матроса вынуть наши

запасы, как и остальные стали сходиться. Вон показались из люка чьи-то ноги, долго опускались; наконец появилось и все прочее, после всего лицо. Потом другие ноги, и так далее. Я сначала, как заглянул с палубы в люк, не мог постигнуть, как сходят в каюту: в трапе недоставало двух верхних ступеней, и потому надо было прежде сесть на порог, или «карлинсы», и спускать ноги вниз, ощупью отыскивая ступеньку, потом, держась за веревку, рискнуть прыгнуть так, чтобы попасть ногой прямо на третью ступеньку. Выходить надо было на руках, это значит выскакивать, то есть упереться локтями о края люка, прыгнуть и стать сначала коленями на окраину, а потом уже на ноги. Вообще сходить в каюту надо было с риском. Однако ж к завтраку и к ужину все рискнули сойти. От обеда воздержались: его не было.

Кому не случалось обедать на траве, за городом или в дороге? Помните, как из кулечков, корзин и коробок вынимались ножи, вилки, хлеб, жареные индейки, пироги?[10] Мне даже показалось, что тут подали те же три стакана и две рюмки, которые я будто уж видал где-то в подобных случаях. Вилка тоже, с переломанным средним зубцом, подозрительна: она махнула сюда откуда-нибудь из-под Москвы или из Нижнего. Вон соль в бумажке; есть у нас ветчина, да горчицу забыли. Вообще тут, кажется, отрешаются от всяких правил, наблюдаемых в другое время. Один торопится доесть утиное крылышко, чтоб поспеть взять пирога, который исчезает с невероятною быстротою. А другой, перебирая вилкой остальные куски, ропщет, что любимые его крылышки улетели. Кто начинает только завтракать, кто пьет чай; а этот, ожидая, когда удастся, за толпой, подойти к столу и взять чего-нибудь посущественнее, сосет пока попавшийся под руку апельсин; а кто-нибудь обогнал всех и эгоистически курит сигару. Две собаки, привлеченные запахом жаркого, смотрят сверху в люк и жадно вырывают из рук поданную кость. Ничего, все было бы сносно, если б не отравляющий запах китайского масла! Мне просто дурно; я ушел наверх.

Один только О. А. Гошкевич не участвовал в завтраке, который, по простоте своей, был достоин троянской эпохи.[11] Он занят другим: томится морской болезнью. Он лежит наверху, закутавшись в шинель, и чуть пошевелится, собаки, не видавшие никогда шинели, с яростью лают.

Но вот наконец выбрались из архипелага островков и камней, прошли и Гуцлав. Тут, в открытом океане, стало сильно покачивать; вода не раз плескала на палубу. Пошел мелкий дождь. Шкипер надел свою дождевую куртку и — вдруг около него разлился запах противного масла. Ах, если б я прежде знал, что это от куртки!.. Вода все желтее и желтее. Вскоре вошли за бар, то есть за черту океана, и вошли в реку. Я «выскочил» из каюты посмотреть берега. «Да где ж они?» — «Да берегов нет».— «Ведь это река?» — «Река».— «Янсекиян?» — «Да, „сын океана“ по-китайски».— «А берега?..» — «Вон, вон»,— говорит шкипер. Смотрю — ничего нет.

Наконец показалась полоса с левой стороны, а с правой вода — и только: правого берега не видать вовсе. Левый стал обозначаться яснее. Он так низмен, что едва возвышается над горизонтом воды и состоит из серой глины, весь защищен плотинами, из-за которых видны кровли, с загнутыми уголками, и редкие деревья, да борозды полей, и то уж ближе к Шанхаю, а до тех пор кругозор ограничивается едва заметной темной каймой. Вправо остался островок. Я спросил у шкипера название, но он пролаял мне глухие звуки, без согласных. Пробовал я рассмотреть на карте, но там, кроме чертежа островов, были какие-то посторонние пятна, покрывающие оба берега. Потом ничего не стало видно: сумерки скрыли все, и мы начали пробираться по «сыну океана» ощупью. Два китайца беспрестанно бросали лот. Один кричал: three and half,* потом half and four** и так разнообразил крик все время. Наши следили карту, поверяя по ней глубину. Глубина беспрестанно изменялась, от 8 до $3^1/_2$ сажен. Как только доходило до последней цифры, шкипер немного выходил из апатии и иногда сам брался за руль.

Нашим мелким судам трудно входить сюда, а фрегату невозможно, разве с помощью сильного парохода. Фрегат сидит 23 фута; фарватер Янсекияна и впадающей в него реки Вусун, на которой лежит Шанхай, имеет самую большую глубину 24 фута, и притом он чрезвычайно узок. Недалеко оставалось до Woosung (Вусуна), местечка при впадении речки того же имени в Янсекиян.

У Вусуна обыкновенно останавливаются суда с опиумом и отсюда отправляют свой товар на лодках в Шанхай, Нанкин и другие города. Становилось все темнее; мы шли осторожно. Погода была пасмурная. «Зарево!» — сказал кто-то. В самом деле налево, над горизонтом, рдело багровое пятно и делалось все больше и ярче. Вскоре можно было различить пламя и вспышки — от выстрелов. В Шанхае — сражение и пожар, нет сомнения! Это помогло нам определить свое место.

Наконец при свете зарева, как при огненном столпе израильтян,[12] мы, часов в восемь вечера, завидели силуэты судов, различили наш транспорт и стали саженях в пятидесяти от него на якорь. Китайцы, с помощью наших матросов, проворно убрали паруса и принялись за рис, а мы за своих уток и чай. Некоторые уехали на транспорт. Дремлется. Шкипер сошел вниз пить чай и рассказывал о своей шкуне, откуда она, где она была. Между прочим, он сказал, что вместе с этой шкуной выстроена была и другая, точно такая же, ее «sistership»,*** как он выразился, но что та погибла в океане, и с людьми. Потом рассказывал, как эта уцелевшая шкуна отразила нападение пиратов, потом еще что-то. Я, пробуждаясь от дремоты, видел только — то вдалеке, то вблизи, как в тумане,— суконный ночной чепчик, худощавое лицо, оловянные глаза, масляную куртку, еще косу входившего китайца-слуги да чувствовал запах противного масла. На лавке, однако ж, дремать неудобно; хозяин предложил разместиться по

* три с половиной (*англ.*),— *Ред.*
** половина и четыре (*англ.*),— *Ред.*
*** «однотипный корабль» (перевод-калька; «сестра-корабль», *англ.*) — *Ред.*

нишам и, между прочим, на его постели, которая тут же была, в нише, или, лучше сказать, на полке. Из другой комнаты, или, вернее — чулана, слышалось храпенье. Там, на таких же полках, уже успели расположиться по двое, да двое на лавках. Это был маленький арсенал: вся противоположная двери стена убрана была ружьями, пиками и саблями. А утром хозяин снял с полки пару пистолетов, вынес их наверх и выстрелил на воздух, из предосторожности. «Зачем это оружие у вас?» — спросил я, указывая на пики, сабли и ружья. «Это еще старое,— сказал он,— я застал его тут. В здешних морях иначе плавать нельзя».

Я как был в теплом пальто, так и влез на хозяйскую постель и лег в уголок, оставляя место кому-нибудь из товарищей, поехавших на транспорт. Не знаю, что бы вы сказали, глядя, где и как мы улеглись. Вообразите себе большой сундук, у которого вынут один бок — это наше ложе, для двоих. Я тотчас же заснул, лишь только лег. Ночью, слышу, кто-то сильно возится подле меня, по-видимому, укладывается спать. Это А. Е. Кроун, возвратившийся с транспорта. Все замолчало, и мы заснули. Я проснулся потом от сильной духоты и запаху масла. Ах, хоть бы минуту дохнуть свежим воздухом! Я попробовал освободиться — нет возможности: мой сосед лежит, как гранитный камень, и не шелохнется, как я ни толкал его в бока: он совсем запер мне выход. Я думал, как мне поступить,— и заснул. Просыпаюсь — утро, светло; мы движемся. Китаец ставит чашки на стол; матрос принес горячей воды.

Пасмурно и ветрено; моросит дождь; ветер сильный. Мы идем по реке Вусуну; она широка, местами с нашу Оку. Ясно видим оба берега, низменные, закрытые плотинами; за плотинами группируются домы, кое-где видны кумирни или вообще здания, имеющие особенное назначение; они выше и наряднее прочих. Поля все обработаны; хотя хлеб и овощи сняты, но узор правильных нив красив, как разрисованный паркет. Есть деревья, но редко, и зелени мало на них; мне казалось, что это ивы. Вдали ничего нет: ни горы, ни холма, ни бугра — плоская и, казалось, топкая долина.

Ближе к Шанхаю река заметно оживлялась: беспрестанно встречались джонки, с своими, красно-бурого цвета, парусами, из каких-то древесных волокон и коры. Китайские джонки устройством похожи немного на японские, только у них нет разрезной кормы. У некоторых китайских лодок нос и корма пустые, а посредине сделан навес и каюта; у других, напротив, навес сделан на носу. Большие лодки выстроены из темно-желтого бамбукового корня, покрыты циновками и очень чисты, удобны и красивы, отделаны, как мебель или игрушки. Багры, которыми они управляются, и весла бамбуковые же. Между прочим, много идет на эти постройки камфарного дерева: оно не щепится. Его много в Китае и в Японии, но особенно на Зондских островах.

Лодки эти превосходны в морском отношении: на них одна длинная мачта с длинным парусом. Борты лодки, при боковом ветре, идут наравне с линией воды, и нос зарывается в волнах, но лодка держится, как утка; китаец лежит и беззаботно смотрит вокруг. На этих больших лодках рыбаки выходят в море, делая значительные переходы. От Шанхая

они ходят в Нинпо, с товарами и пассажирами, а это составляет, кажется, сто сорок морских миль, то есть около двухсот пятидесяти верст.

Мили за три от Шанхая мы увидели целый флот купеческих трехмачтовых судов, которые теснились у обоих берегов Вусуна. Я насчитал до двадцати рядов, по девяти и десяти судов в каждом ряду. В иных местах стояли на якоре американские, так называемые «клипера», то есть большие трехмачтовые суда, с острым носом и кормой, отличающиеся красотою и быстрым ходом.

С полудня начался отлив; течение было нам противное, ветер тоже. Крепкий NW дул прямо в лоб. Шкипер начал лавировать. Мы все стояли наверху. Паруса беспрестанно переносили то на правый, то на левый галс. Надо было каждый раз нагибаться, чтоб парусом не сшибло с ног. Шкуна возьмет вдруг направо и лезет почти на самый берег, того и гляди коснется его; но шкипер издаст гортанный звук, китайцы, а более наши люди, кидаются к снастям, отдают их, и освобожденные на минуту паруса хлещут, бьются о мачты, рвутся из рук, потом их усмиряют, кричат: «берегись!», мы нагнемся, паруса переносят налево, и шкуна быстро поворачивает. Минут через десять начинается то же самое. Мокро, скользко; переходя торопливо со стороны на сторону, того и гляди слетишь в люк. Мы сделали уже около десяти поворотов.

Вон и Шанхай виден. Суда и джонки, прекрасные европейские здания, раззолоченная кумирня, протестантские церкви, сады — все это толпится еще неясной кучей, без всякой перспективы, как будто церковь стоит на воде, а корабль на улице. Нетерпение наше усилилось: хотелось переодеться, согреться, гулять. Идти бы прямо, а мы еще все направо да налево. Вдруг — о горе! не поворотили вовремя — и шкуну потащило течением назад, прямо на огромную неуклюжую пеструю джонку; едва-едва отделались и опять пошли лавировать. Ветер неистово свищет; дождь сечет лицо.

Наконец, слава богу, вошли почти в город. Вот подходим к пристани, к доку, видим уже трубу нашей шкуны; китайские ялики снуют взад и вперед. В куче судов видны клипера, поодаль стоит, закрытый излучиной, маленький двадцатишестипушечный английский фрегат «Spartan», еще далее французские и английские пароходы. На зданиях развеваются флаги европейских наций, обозначая консульские дома.

Мы с любопытством смотрели на все: я искал глазами Китая, и шкипер искал кого-то с нами вместе. «Берег очень близко, не пора ли поворачивать?»— с живостью кто-то сказал из наших. Шкипер схватился за руль, крикнул — мы быстро нагнулись, паруса перенесли на другую сторону, но шкуна не поворачивала; ветер ударил сильно — она все стоит: мы были на мели. «Отдай шкоты!» — закричали офицеры нашим матросам. Отдали, и шкуна, располагавшая лечь на бок, выпрямилась, но с мели уже не сходила.

Шкипер сложил ногу на ногу, засунул руки в рукава и покойно сел на лавочку, поглядывая во все стороны. Китайцы проворно убирали паруса, наши матросы ловили разорвавшийся кливер, который хлестал по бушприту. На нас, кажется, насмешливо смотрели прочие суда и джонки. Со-

вершенно то же самое, как сломавшаяся среди непроходимой грязи ось: карета передками упирается в грязь, сломанное колесо лежит возле, кучка извозчиков равнодушно и тупо глядит то на колесо, то на вас. Вы сидите, а мимо вас идут и скачут; иные усмехнутся, глядя, как вы уныло выглядываете из окна кареты, другие посмотрят с любопытством, а бо́льшая часть очень равнодушно — и все обгоняют. Точно то же и на мели. Надо было достать лодку. Они вдали ходили взад и вперед, перевозя через реку, но на нас мало обращали внимания. Выручил В. А. Корсаков: он из дока заметил нас и тотчас же приехал. Нас двое отправились с ним, прочие остались с вещами, в ожидании, пока мы пришлем за ними лодку.

Под проливным дождем, при резком холодном ветре, в маленькой крытой китайской лодке, выточенной чисто, как игрушка, с украшениями из бамбука, устланной белыми циновками, ехали мы по реке Вусуну. Китаец правил стоя, одним веслом; он с трудом выгребал против ветра и течения. Корсаков показывал мне иностранные суда: французские и английские пароходы, потом купленный китайцами европейский бриг, которым командовал английский шкипер, то есть действовал только парусами, а в сражениях с инсургентами не участвовал. Потом ехали мы мимо военных джонок, назначенных против инсургентов же. С них поднялась пальба: китайский адмирал делал ученье. Тут я услыхал, что во вчерашнем сражении две джонки взорваны на воздух. Китайцы действуют, между прочим, так называемыми вонючими горшками (stinkpots). Они с марсов бросают эти горшки, наполненные какими-то особенными горючими составами, на палубу неприятельских судов. Вырывающиеся из горшков газы так удушливы, что люди ни минуты не могут выдержать и бросаются за борт. Китайские пираты с этими же горшками нападают на купеческие, даже на военные суда.

Чрез полчаса мы сидели в чистой комнате отеля, у камина, за столом, уставленным, по английскому обычаю, множеством блюд.[13] Спутники, уехавшие прежде нас в Шанхай, не очень, однако ж, обрадовались нам. «Вас много наехало!»— вместо всякого приветствия встретили они нас. «Да мы еще не все: чрез час придут человек шесть!»— в свою очередь, не без удовольствия, отвечали мы. «А что?» — «Куда ж вы поместитесь? комнат нет, все разобраны: мы живем по двое и даже по трое».— «Ничего,— отвечали мы,— поживем и вчетвером». Так и случилось. Хозяин, с наружным отчаянием, но с внутренним удовольствием, твердил: «Дом мой приступом взяли!» — и начал бегать, суетиться. Откуда явились кушетки, диваны, подушки? Нумера гостиницы, и без того похожие на бивуаки, стали походить на контору дилижансов.

Гостиница наша, Commercial house,* походила, как и все домы в Шанхае, на дачу. Большой двухэтажный каменный дом, с каменной же верандой или галереей вокруг, с большим широким крыльцом, окружен садом, из тощих миртовых, кипарисных деревьев, разных кустов и т. п. Окна все с жалюзи: видно, что, при постройке, принимали в расчет более

---

* Коммерческая (*англ.*),— *Ред.*

лето, нежели зиму. Стены тоненькие, не более как в два кирпича; окна большие; везде сквозной ветер; все неплотно. Дом трясется, когда один человек идет по комнате; через стенки слышен разговор.[14] Но когда мы приехали, было холодно; мы жались к каминам, а из них так и валил черный горький дым.

Вообще зима как-то не к лицу здешним местам, как не к лицу нашей родине лето. Небо голубое, с тропическим колоритом, так и млеет над головой; зелень свежа; многие цветы ни за что не соглашаются завянуть. И всего продолжается холод один какой-нибудь месяц, много — шесть недель. Зима не успевает воцариться и, ничего не сделав, уходит.

Целый вечер просидели мы все вместе дома, разговаривали о европейских новостях, о вчерашнем пожаре, о лагере осаждающих, о их неудачном покушении накануне сжечь город, об осажденных инсургентах, о правителе шанхайского округа, таутае Самква, который был в немилости у двора и которому обещано прощение, если он овладеет городом. В тот же вечер мы слышали пушечные выстрелы, которые повторялись очень часто: это перестрелка императорских войск с инсургентами, безвредная для последних и бесполезная для первых.

На другой день, 28 ноября (10 декабря) утром, встали и пошли... обедать. Вы не поверите? Как же иначе назвать? В столовой накрыт стол человек на двадцать. Перед одним дымится кусок ростбифа, перед другим стоит яичница с ветчиной, там сосиски, жареная баранина; после всего уж подадут вам чаю. Это англичане называют завтракать. Позавтракаешь — и хоть опять ложиться спать. «Да чай это или кофе?»— спрашиваю китайца, который принес мне чашку. «Tea or coffee»,*— бессмысленно повторял он. «Tea, tea»,— забормотал потом, понявши. «Не может быть: отчего же он такой черный?» Попробовал — в самом деле та же микстура, которую я, под видом чая, принимал в Лондоне, потом в Капштате. Там простительно, а в Китае — такой чай, заваренный и поданный китайцем!

Что ж, нету, что ли, в Шанхае хорошего чаю? Как не быть! Здесь есть всякий чай, какой только родится в Китае. Все дело в слове *хороший*. Мы называем «хорошим» нежные, душистые цветочные чаи. Не для всякого носа и языка доступен аромат и букет этого чая: он слишком тонок. Эти чаи называются здесь *пекое* (Pekoe flower).[15] Англичане хорошим чаем, да просто чаем (у них он один) называют особый сорт грубого черного или смесь его с зеленым, смесь очень наркотическую, которая дает себя чувствовать потребителю, язвит язык и нёбо во рту, как почти все, что англичане едят и пьют. Они готовы приправлять свои кушанья щетиной, лишь бы чесало горло. И от чая требуют того же, чего от индийских сой и перцев, то есть чего-то вроде яда. Они клевещут еще на нас, что мы пьем не чай, а какие-то цветы, вроде жасминов.

Оставляю, кому угодно, опровергать это: англичане в деле гастрономии — не авторитет. Замечу только, что некоторые любители в Китае действительно подбавляют себе в чай цветы или какие-нибудь душистые специи; в Японии кладут иногда гвоздику. Кажется, отец Иоакинф тоже

* «Чай или кофе» (*англ.*),— *Ред.*

говорит о подобной противозаконной подмеси,[16] которую допускают китайцы, кладя в черный чай жасминные, а в желтый — розовые листки. Но это уж извращенный вкус самих китайцев, следствие пресыщения. Есть и у нас люди, которые нюхают табак с бергамотом [17] или резедой, едят селедку с черносливом и т. п. Англичане пьют свой черный чай и знать не хотят, что чай имеет свои белые цветы.

У нас употребление чая составляет самостоятельную, необходимую потребность; у англичан, напротив, побочную, дополнение завтрака, почти как пищеварительную приправу; оттого им все равно, похож ли чай на портер, на черепаший суп, лишь бы был черен, густ, щипал язык и не походил ни на какой другой чай. Американцы пьют один зеленый чай, без всякой примеси. Мы удивляемся этому варварскому вкусу, а англичане смеются, что мы пьем, под названием чая, какой-то приторный напиток. Китайцы сами, я видел, пьют простой, грубый чай, то есть простые китайцы, народ, а в Пекине, как мне сказывал отец Аввакум, порядочные люди пьют только желтый чай, разумеется без сахару. Но я — русский человек и принадлежу к огромному числу потребителей, населяющих пространство от Кяхты до Финского залива — я за пекое: будем пить *не с цветами*, а *цветочный чай*, и подождем, пока англичане выработают свое чутье и вкус до способности наслаждаться чаем Pekoe-flower, и притом заваривать, а не варить его, по своему обычаю, как капусту.

Впрочем, всем другим нациям простительно не уметь наслаждаться хорошим чаем: надо знать, что значит чашка чаю, когда войдешь в трескучий тридцатиградусный мороз в теплую комнату и сядешь около самовара, чтоб оценить достоинство чая. С каким наслаждением пили мы чай, который привез нам в Нагасаки капитан Фуругельм! Ящик стоит 16 испанских талеров; в нем около 70 русских фунтов; и какой чай! У нас он продается не менее 5 руб. серебром за фунт.

После обеда... виноват, после завтрака, мы вышли на улицу; наш отель стоял на углу, на перекрестке. Прямо из ворот тянется улица без домов, только с бесконечными каменными заборами, из-за которых выглядывает зелень. Направо такая же улица, налево — тоже, и все одинакие. Домы все окружены дворами, и большею частью красивые; архитектура у всех почти одна и та же: все стиль загородных домов. Я пошел сначала к адмиралу по службе, с тем чтоб от него сделать большую прогулку. Улицы пестрели народом. Редко встретишь европейца; они все наперечет здесь. Всё азиатцы, индийцы, кучками ходят *парси*, или *фарси*,[18] с Индийского полуострова или из Тибета. Они играют здесь роль псов, питающихся крупицами, падающими от трапезы богатых, то есть промышляют мелочами, которые европейцы не считают достойными внимания. Этих парси, да чуть ли не тех самых, мы видели уже в Сингапуре. Они ходят в длинном платье, похожем на костюмы московских греков; на голове что-то вроде узенького кокошника из цветного лоснящегося ситца, похожего на клеенку. Они сильно напоминают армян.

Китайцы — живой и деятельный народ: без дела почти никого не увидишь. Шум, суматоха, движение, крики и говор. На каждом шагу попадаются носильщики. Они беглым и крупным шагом таскают ноши, изда-

вая мерные крики и выступая в такт. Здесь народ не похож на тот, что мы видели в Гон-Конге и в Сингапуре: он смирен, скромен и очень опрятен. Все мужики и бабы одеты чисто, и запахов разных меньше по улицам, нежели в Гон-Конге, исключая, однако ж, рынков. Несет ли, например, носильщик груду кирпичей, они лежат не непосредственно на плече, как у нашего каменщика; рубашка или кафтан его не в грязи от этого. У него на плечах лежит бамбуковое коромысло, которое держит две дощечки, в виде весов, и на дощечках лежат две кучи красиво сложенных серых кирпичей. С ним не страшно встретиться. Он не толкнет вас, а предупредит мерным своим криком, и если вы не слышите или не хотите дать ему дороги, он остановится и уступит ее вам. Все это чисто, даже картинно: и бамбук, и самые кирпичи, костюм носильщика, коса его и легко надетая шапочка из серого тонкого войлока, отороченная лентой или бархатом. Заглянешь в ялик, к перевозчику: любо посмотреть, тянет сесть туда. Дерево лакировано — это бамбуковый корень; навес и лавки покрыты чистыми циновками. Если тут и есть какая-нибудь утварь, горшок с похлебкой, чашка, то около все чисто; не боишься прикоснуться и выпачкаться.

Между прочим, я встретил целый ряд носильщиков: каждый нес по два больших ящика с чаем. Я следил за ними. Они шли от реки: там с лодок брали ящики и несли в купеческие домы, оставляя за собой дорожку чая, как у нас, таская кули, оставляют дорожку муки. Местный колорит! В амбарах ящики эти упаковываются окончательно, герметически, и идут на американские клиперы или английские суда.

Мы вышли на набережную; там толпа еще деятельнее и живописнее. Здесь сближение европейского с крайним Востоком резко. По берегу стоят великолепные европейские домы, с колоннадами, балконами, аристократическими подъездами, а швейцары и дворники — в своих кофтах или халатах, в шароварах; по улице бродит такая же толпа. То идет купец, обритый донельзя, с тщательно заплетенной косой, в белой или серой маленькой куполообразной шляпе, с загнутыми полями, в шелковом кафтане или в бараньей шубке, в виде кацавейки; то чернорабочий, без шапки, обвивший, за недосугом чесаться, косу дважды около вовсе «нелилейного чела».[19] Там их стоит целая куча, в ожидании найма или работы; они горланят на своем негармоническом языке. Тут цирюльник, с небольшим деревянным шкапчиком, где лежат инструменты его ремесла, раскинул свою лавочку, поставил скамью, а на ней расположился другой китаец и сладострастно жмурится, как кот, в то время, как цирюльник бреет ему голову, лицо, чистит уши, дергает волосы и т. п. Тут ходячая кухня, далее, у забора, лавочка с фарфором. Лодочники группой стоят у пристани, вблизи своих лодок, которые тесно жмутся у берега. Идет европеец — и толпа полегоньку сторонится, уступает место. На рейде рисуются легкие очертания военных судов, рядом стоят большие барки, недалеко и военные китайские суда, с тонкими мачтами, которые смотрят в разные стороны. Из-за стройной кормы европейского купеческого корабля выглядывает писанный рыбий глаз китайского судна. Все копошится, сгружает, нагружает, торопится, говорит, перекликается...

Я смотрел на противоположный берег Вусуна, но он низмен, ровен и ничего не представляет для глаз. На той стороне поля, хижины; у берегов отгорожены места для рыбной ловли — и больше ничего не видать. Едва ли можно сыскать однообразнее и скучнее местность. Говорят, многие места кажутся хороши, когда о них вспомнишь после. Шанхай именно принадлежит к числу таких мест, которые покажутся хороши, когда оттуда выедешь. Зевая на речку, я между тем прозевал великолепные домы многих консулов, таможню, теперь пустую, занятую постоем английских солдат с военных судов. Она была некогда кумирней и оттого резко отделяется от прочих зданий своею архитектурною пестротою. Я неприметно дошел до дома американского консула. Это последний европейский дом с этой стороны; за ним начинается китайский квартал, отделяемый от европейского узеньким каналом.

Дом американского консула, Каннингама, который в то же время и представитель здесь знаменитого американского торгового дома Россель и К°, один из лучших в Шанхае. Постройка такого дома обходится 50 тыс. долларов. Кругом его парк, или, вернее, двор с деревьями. Широкая веранда опирается на красивую колоннаду. Летом, должно быть, прохладно: солнце не ударяет в стекла, защищаемые посредством жалюзи. В подъезде, под навесом балкона, стояла большая пушка, направленная на улицу.

Дом... но вы знаете, как убираются порядочные, то есть богатые, домы: и здесь то же, что у нас. Шелковые драпри до полу, зеркала, как озера, вправленные в стены, ковры, бронза. Но не все, однако ж, как у нас: boiserie,* например, массивные шкапы, столы и кровати — здешние образцы китайского искусства из превосходного темного дерева, с мозаическими узорами, мелкой, тонкой работы. Если у кого-нибудь из вас есть дедовский дом, убранный по-старинному, вы найдете там образцы этой мозаической мебели. Кровати особенно изумительно хороши: они обыкновенно двуспальные, с занавесками, как везде в Англии. И в домах, и в гостиницах — везде вас положат на двуспальную кровать, будьте вы самый холостой человек. Дико мне казалось влезать под катафалк английских постелей, с пестрыми занавесами, и особенно неудобно класть голову на длинную, во всю ширину кровати, и низенькую круглую подушку, располагающую к апоплексическому удару. Но чего не делает привычка!

Китайцы, как известно, отличные резчики на дереве, камне, кости. Ни у кого другого, даже у немца, недостанет терпения так мелко и чисто выработать вещь, или это будет стоить бог знает каких денег. Здесь, по-видимому, руки человеческие и время нипочем. Если б еще этот труд и терпение тратились на что-нибудь важное или нужное, а то они тратятся на такие пустяки, что не знаешь, чему удивляться: работе ли китайца или бесполезности вещи? Например, они на коре грецкого или миндального ореха вырезывают целые группы фигур в разных положениях, процессии, храмы, домы, беседки, так что вы можете различать даже лица. Из толстокожего миндального ореха они вырежут вам джонку, со всеми при-

* деревянная обшивка (*франц.*).—*Ред.*

надлежностями, с людьми, со всем; даже вы отличите рисунок рогожки; мало этого: сделают дверцы или окна, которые отворяются, и там сидит человеческая фигура. Каких бы, кажется, денег должно стоить это? а мы, за пять, за шесть долларов, покупали целые связки таких орехов, как баранки.

Мне приходилось часто бывать в доме г. Каннингама, у которого остановился адмирал, и потому я сделал ему обычный визит.[20] Китаец-слуга, нарядно одетый в национальный костюм, сказал, что г. Каннингам в своем кабинете, и мы отправились туда. Маленький белокурый и невидный из себя, г. Каннингам встретил меня очень ласково, непохоже на английскую встречу: не стиснул мне руки и не выломал плеча, здороваясь, а так обошелся, как обходятся все люди между собою, исключая британцев. В кабинете — это только так, из приличия, названо кабинетом, а скорее можно назвать конторой — ничего не было, кроме бюро, за которым сидел хозяин, да двух-трех превысоких табуретов и неизбежного камина. Каннингам пригласил меня сесть. Я кое-как вскарабкался на антигеморроидальное седалище, и г. Каннингам тоже; мы с высот свободно обозревали друг друга. «На чем вы приехали?» — спросил меня г. Каннингам. Я только было собрался отвечать, но пошевелил нечаянно ногой: круглое седалище, с винтом, повернулось, как по маслу, подо мной, и я очутился лицом к стене. «На шкуне», — отвечал я в стену и в то же время с досадой подумал: «Чье это, английское или американское удобство?» и ногами опять приводил себя в прежнее положение. «Долго останетесь здесь?» — «Смотря по обстоятельствам»,— отвечал я, держа рукой подушку стула, которая опять было зашевелилась подо мной. «Сделайте мне честь завтра отобедать со мной»,— сказал он приветливо. «А теперь идите вон»,— мог бы прибавить, если б захотел быть чистосердечен, и не мог бы ничем так угодить. Но визит кончился и без того.

От консула я пошел с бароном Криднером гулять. «Ну, покажите же мне все, что позамечательнее здесь,— просил я моего спутника,— вы здесь давно живете. Это куда дорога?» — «Эта?.. не знаю»,— сказал он, вопросительно поглядывая на дорогу. «Где ж город, где инсургенты, лагерь?» — сыпались мои вопросы. «Там где-то, в той стороне»,— отвечал он, показав пальцем в воздушное пространство. «А вон там, что это видно в Шанхае? — продолжал я,— повыше других зданий, кумирни или дворцы?» «Кажется...» — отвечал барон Криднер. «Где лавки здесь? поведите меня: мне надо кое-что купить».— «Вот мы спросим»,— говорил барон и искал глазами, кого бы спросить. Я засмеялся, и барон Криднер закашлял, то есть засмеялся вслед за мной. «Что ж вы делали здесь десять дней?» — сказал я. «Вы завтра у консула обедаете?» — спросил он меня. «Ужинаю, только немного рано, в семь часов».— «У него будет особенно хороший обед, — задумчиво отвечал барон Криднер, — званый, и обедать будут, вероятно, в большой столовой. Наденьте фрак».

Между тем мы своротили с реки на канал, перешли маленький мостик и очутились среди пестрой, движущейся толпы, среди говора, разнообразных криков, толчков, запахов, костюмов, словом, на базаре.

Здесь представлялась мне полная картина китайского народонаселения, без всяких прикрас, в натуре.

Знаете ли, чем поражен был мой первый взгляд? какое было первое впечатление? Мне показалось, что я вдруг очутился на каком-нибудь нашем московском толкучем рынке или на ярмарке губернского города, вдалеке от Петербурга, где еще не завелись ни широкие улицы, ни магазины; где в одном месте и торгуют, и готовят кушанье, где продают шелковый товар в лавочке, между кипящим огромным самоваром и кучей кренделей, где рядом помещаются лавка с фруктами и лавка с лаптями или хомутами. Разница в подробностях: у нас деготь и лыко — здесь шелк и чай; у нас груды деревянной и фаянсовой посуды — здесь фарфор. Но китайская простонародная кухня обилием блюд, видом, вонью и затейливостью перещеголяла нашу. Чего тут нет? Жаль, что нельзя разглядеть всего: «с души рвет», как говорит Фаддеев, а есть чего поглядеть! Море, реки, земля, воздух — спорят здесь, кто больше принес в дар человеку,— и все это бросается в глаза... это бы еще не беда, а то и в нос.

Длинные бесконечные крытые переулки, или, лучше сказать, коридоры, тянутся по всем направлениям и образуют совершенный лабиринт. Если хотите, это все домы, выстроенные сплошь, с жильем вверху, с лавками внизу. Навесы крыш едва не касаются с обеих сторон друг друга, и оттого там постоянно господствует полумрак. В этом-то лабиринте вращается огромная толпа. От одних купцов теснота, а с продавцами, кажется бы, и прохода не должно быть. Между тем тут постоянно прилив и отлив народа. Тут с удивительною ловкостью пробираются носильщики, с самыми громоздкими ношами, с ящиками чая, с тюками шелка, с охапкой хлопчатой бумаги чуть не со стог сена. А вон пронесли двое покойника, не на плечах, как у нас, а на руках; там бежит *кули* с письмом, здесь тащат корзину с курами. И все бегут, с криками, с напевами, чтоб посторонились. Этот колотит палочкой в дощечку: значит, продает полотно; тот несет живых диких уток и мертвых, висящих через плечо фазанов, или наоборот. Разносчики кричат, как и у нас. Вы только отсторонились от одного, а другой слегка трогает за плечо, вы пятитесь, но вам торопливо кричит третий — вы отскакиваете, потому что у него в обеих руках какие-то кишки или длинная, волочащаяся по земле рыба. «Куда нам деться? две коровы идут»,— сказал барон Криднер, и мы кинулись в лавочку, а коровы прошли дальше. В лавочках, у открытых дверей, расположены припасы напоказ: рыбы разных сортов и видов — вяленая, соленая, сушеная, свежая, одна в виде сабли, так и называется саблей, другая с раздвоенной головой, там круглая, здесь плоская, далее раки, шримсы, морские плоды. Дичи неимоверное множество, особенно фазанов и уток; они висят на дверях, лежат кучами на полу.

Вот обширная в глубину лавка, вся наполненная мужиками, и бабами тоже. Это харчевня. Ну, так и хочется сказать: «Здорово, хлеб да соль!» Народ группами сидит за отдельными столами, как и у нас. Из маленьких синих чашек, без ручек, пьют чай, но не прикусывает широкоплечий ямщик по крошечке сахар, как у нас: сахару нет и не употребляют его с чаем. Зато все курят из маленьких трубок, с длинными тоненькими

чубуками; это опять противно нашему: у нас курят из коротеньких чубуков и предлинных трубок. Над ними клубится облаком пар, от небольших, поставленных в разных углах лавки печей, и, поклубившись по харчевне, вырывается на улицу, обдает неистовым крепким запахом прохожего и исчезает — яко дым. Чего тут нет! лепешки из теста лежат au naturel, потом, по востребованию, опускаются в кипяток и подаются чрез несколько минут готовые. Рядом варится какая-то черная похлебка, едва ли лучше спартанской,[21] с кусочками свинины или рыбы. Я видел даже щи — да, ленивые щи: в кипятке варится кочан отличной зеленой капусты и кусок, кажется, баранины. Есть и оладьи, и жареная свинина, и пирожки.

Много знакомого увидел я тут, но много и невиданного увидел, и особенно обонял. Боже мой, чего не ест человек! Конечно, я не скажу вам, что, видел я, ел один китаец на рынке, всенародно... Я думал прежде, что много прибавляют путешественники, но теперь на опыте вижу, что коечто приходится убавлять. Каких соусов нет тут! все это варится, жарится, печется, кипит, трещит и теплым, пахучим паром разносится повсюду. Напрасно стали бы вы заглушать запах чем-нибудь: ни пачули,[22] ни сами четыре разбойника [23] не помогут; особенно два противные запаха преследуют: отвратительного растительного масла, кажется кунжутного,[24] и чесноку.

Отдохнешь у лавки с плодами: тут и для глаз и для носа хорошо. С удивлением взглянете вы на исполинские лимоны — апельсины, которые англичане называют пампль-мусс. Они величиной с голову шести-семилетнего ребенка; кожа в полтора пальца толщины. Их подают к десерту, но не знаю зачем: есть нельзя. Мы попробовали было, да никуда не годится: ни кислоты лимона нет, ни сладости апельсина. Говорят, они теперь неспелые, что, созревши, кожа делается тоньше и плод тогда сладок: разве так. Потом целыми грудами лежат, как у нас какой-нибудь картофель, *мандарины*, род мелких, но очень сладких и пахучих апельсинов. Они еще хороши тем, что кожа отделяется от них сразу со всеми волокнами, и вы получаете плод, облупленный как яйцо, сочный, почти прозрачный. Тут был и еще плод овальный, похожий на померанец, поменьше грецкого ореха; я забыл его название. Я взял попробовать, раскусил и выбросил: еще хуже пампль-мусса. Китайцы засмеялись вокруг, и недаром, как я узнал после. Были еще так называемые жужубы, мелкие, сухие фиги, с одной маленькой косточкой внутри. Они сладки — про них больше нечего сказать; разве еще, что они напоминают собой немного вкус фиников: та же приторная, бесхарактерная сладость, так же вязнет в зубах. Орехов множество: грецких, миндальных, фисташковых и других. Зелень превосходная; особенно свежи зеленые продолговатые кочни капусты, еще длинная и красная морковь, крупный лук и т. п.

Мы продолжали пробираться по рядам и вышли — среди криков и стука рабочих, которые, совершенно голые, немилосердно колотили хлопчатую бумагу в своих мастерских,— к магазину американца Фога. Там все есть: готовое платье, посуда, материи, вина, сыр, сельди, сигары, фарфор, серебро. Между съестными лавками мы наткнулись на китайскую лавочку, вроде галантерейной. Тут продавались всякие мелочи. Я купил до тридцати

резных фигур из мягкого разноцветного камня *агальматолита* (agalmatolite, fragodite, pierre a magots ou a sculpture;* Bildstein, Speckstein aus China**), попросту называемого *жировиком.*[25] Камень этот кроме Китая находят местами в Венгрии и Саксонии.

Нет, я вижу, уголка в мире, где бы не запрашивали неслыханную цену. Китаец запросил за каменные изделия двадцать два доллара, а уступил за восемь. Этой слабости подвержены и просвещенные, и полупросвещенные народы, и, наконец, дикари. Кто у кого занял: мы ли у Востока, он ли у нас?

Наконец мы вышли на маленькую мутную речку, к деревянному узенькому дугообразному мостику. Тут стояла небольшая часовня; в ней идол Будды. У подножия нищий собирал милостыню. На мосту, в фуражке, в матросской рубашке, с ружьем на плече, ходил часовой с английского парохода «Спартан». При сходе с моста сидел китаец перед котлом вареного риса. Народ толпился у котла. Всякий клал несколько *кашей* (мелких медных монет) на доску, которою прикрыт был котел. Китаец поднимал тряпицу, доставал из котла рукой горсть рису, клал в свой фартук, выжимал воду и, уже сухой, подавал покупателю. Непривлекательна китайская кухня, особенно при масле, которое они употребляют в пищу! Коровьего масла у них нет: его привозят сюда для европейцев из Англии, и то, которое подавали в Шанхае, было несвежо. Иногда китайцы употребляют свиное сало.

Кстати о монете. В Шанхае ходит двух родов монета: испанские и американские доллары и медная китайская монета. Испанские, и именно Карла IV,[26] предпочитаются всем прочим и называются, не знаю почему, шанхайскими. На них даже кладется от общества шанхайских купцов китайская печать, в знак того, что они не фальшивые. По случаю междоусобной войны банкиры необыкновенно возвысили курс на доллары, так что доллар, на наши деньги, вместо обыкновенной цены 1 р. 33 к., стоит теперь около 2 р. Но это только при получении от банкиров, а в обращении он в сущности стоит все то же, то есть вам на него не дадут товара больше того, что давали прежде. Все бросились менять, то есть повезли со всех сторон сюда доллары, и брали за них векселя на Лондон и другие места, выигрывая по два шиллинга на доллар. При покупке вещей за все приходилось платить чуть не вдвое дороже; а здесь и без того дорого все, что привозится из Европы. Беда, кому нужно делать большие запасы: потеря огромная! Прочие доллары, то есть испанские же, но не Карла IV, а Фердинанда[27] и других, и мексиканские тоже, ходят по 80-ти центов. Кроме того, ходят полкроны и шиллинги, но их очень мало в обращении. Зато медной монеты, или *кашей,* множество. Она чеканится из неочищенной меди, чуть не из самородка, и очень грязна на вид; величиной монета с четвертак, на ней грубая китайская надпись, а посредине отверстие, чтобы продевать бечевку. Я сначала не вдруг понял, что значат эти длин-

---

* фрагодит, фигурный камень (*франц.*),— *Ред.*

** камень для скульптур, китайский жировик (*нем.*),— *Ред.*

ные связки, которые китайцы таскают в руках, чрез плечо и на шее, в виде ожерелья.

Я что-то купил в лавочке, центов на 30, и вдруг мне дали сдачи до тысячи монет. Их в долларе считают до 1500 штук. Я не знал, что делать, но выручили нищие: я почти всё роздал им. Остатки, штук 50, в числе любопытных вещей, привезу показать вам.

«Однако ж час,— сказал барон,— пора домой; мне завтракать (он жил не в отеле), вам обедать». Мы пошли не прежней дорогой, а по каналу и повернули в первую длинную и довольно узкую улицу, которая вела прямо к трактиру. На ней тоже купеческие домы, с высокими заборами и садиками, тоже бежали вприпрыжку носильщики с ношами. Мы пришли еще рано; наши не все собрались: кто пошел по делам службы, кто фланировать, другие хотели пробраться в китайский лагерь.

Чрез час по всему дому раздался звук гонга: это повестка готовиться идти в столовую. Чрез полчаса мы сошли к столу, около которого суетились слуги, всё китайцы. Особенно весело было смотреть на мальчишек. На их маленьких лицах, с немного заплывшими глазками, выгнутым татарским лбом и висками, было много сметливости и плутовства; они живо бегали, меняли тарелки, подавали хлеб, воду и еще коверкали, и без того исковерканный, английский язык. Между прочим, мы увидали тут темно-коричневое лицо, в белой чалме, и с зубами еще белее. Мне что-то лицо показалось знакомо, да и он глядел на нас с приветливой улыбкой. Я спросил его, кто он, откуда. «Madrasman,* — отвечал он,— я вас знаю, я видел вас в Сингапуре». «Как же ты сюда попал?» — «Так, приехал служить».— «Что ж там делал, чем был?» — «Купец».— «О, лжешь,— думал я,— хвастаешь, а еще полудикий сын природы!» Я сейчас же вспомнил его: он там ездил с маленькой каретой по городу и однажды целую улицу прошел рядом со мною, прося запомнить нумер его кареты и не брать другой. А здесь он был буфетчиком, раздавал гостям кушанья, китайским мальчишкам — щелчки.

Второй обед был полнее первого. Тут кроме супа была вареная баранина и жареная баранина, вареная говядина и жареная говядина, вареные куры и жареные куры, fowl,** потом гусь, ветчина, зелень. Это только первая перемена. Вторая и последняя состояла из дичи и пирожного. И то и другое подается вместе, мне кажется, между прочим, с тою целью, чтоб гости разделились на партии, одни за пирожное, другие за жаркое. Пирожное то же самое, что я ел в Лондоне, в Портсмуте и на мысе Доброй Надежды: applepie,*** сладкая яичница и пудинг с коринкой.

После обеда пришел барон Криднер, и я же повел его показывать ему город и окрестности. Мы вышли на набережную Вусуна и пошли налево, мимо великолепного дома английского консула, потом португальского, датского и т. д. По дороге встречались, с мерным криком «а-а!

* Житель Мадраса (*англ.*),— *Ред.*

** дичь (*англ.*),— *Ред.*

*** яблочный пирог (*англ.*), — *Ред.*

а-а!», носильщики с чаем и щедро сыпали его по улице. Тут матросы с французских судов играли в пристенок:[28] красивый, рослый и хорошо одетый народ. Мы подошли к впадающей в Вусун речке и к перевозу. Множество возвращающегося с работы простого народа толпилось на пристани, ожидая очереди попасть на паром, перевозивший на другую сторону, где первая кидалась в глаза куча навозу, грязный берег, две-три грязные хижины, два-три тощие дерева и за всем этим — вспаханные поля.

Мимо плетней, огородов, чрез поля, поросшие кустарниками хлопчатой бумаги и засеянные разным хлебом, выбрались мы сначала в деревушку, ближайшую к городу. Хижины из бамбука, без окошек, с одними дверями, лепились друг к другу. По деревне извивалась грязная канавка, стояли кадки с навозом, для удобрения полей. Некуда было деться от запаха; мы не рады были, что зашли. Ноги у нас ползли по влажной, глинистой почве. На нас бросились лаять собаки, а на них бросилась старая китаянка унимать. Некоторые китайцы ужинали на пороге, проворно перекладывая двумя палочками рис из чашек в рот, и до того набивали его, что не могли отвечать на наше приветствие *чинь-чинь* (здравствуй), а только ласково кивали.

Но, несмотря на запах, на жалкую бедность, на грязь, нельзя было не заметить ума, порядка, отчетливости даже в мелочах полевого и деревенского хозяйства. Простыми глазами сразу увидишь, что находишься по преимуществу в земледельческом государстве и что недаром рука богдыхана касается однажды в год плуга, как главного, великого деятеля страны: всякая вещь обдуманно, не как-нибудь, применена к делу; все обработано, окончено; не увидишь кучки соломы, небрежно и не у места брошенной, нет упадшего плетня и блуждающей среди посевов козы или коровы; не валяется нигде оставленное без умысла и бесполезно гниющее бревно или какой-нибудь подобный годный в дело предмет. Здесь, кажется, каждая щепка, камешек, сор — все имеет свое назначение и идет в дело.

Почва, по природе, болотистая, а ни признака болота нет, нет также какого-нибудь недопаханного аршина земли; одна гряда и борозда никак не шире и не уже другой. Самые домики как ни бедны и ни грязны, но выстроены умно; все рассчитано в них; каждым уголком умеют пользоваться: все на месте и все в возможном порядке.

Мы выбрались из деревеньки и вышли на так называемую променаду, отведенное европейцам загородное место для езды и для прогулок. Это широкая дорога, идущая от города, между полей, мимо вала, отделяющего лагерь империалистов[29] от городской земли. Все это место похоже на арену какого-нибудь цирка: земля так же рыхла, вспаханная лошадиными копытами. Мы застали и самое ристалище. Шанхайские европейцы и европейки скакали здесь взад и вперед: одни на прекрасных лошадях лучшей английской породы, привезенных из Англии, другие на малорослых китайских лошадках. Только одно семейство каталось в шарабане, да еще одну леди, кажется жену пастора, несли четыре китайца в железных креслах, поставленных на двух бамбуковых жердях. Несколько пешеходов, офицеров с судов, да мы все, составляли публику, или, лучше

сказать, мы все были действующими лицами. Настоящую публику составляли китайцы, мирные городские или деревенские жители, купцы и земледельцы, кончившие дневной труд. Тут была смесь одежд: видна шелковая кофта и шаровары купца, синий халат мужика, камзол и панталоны империалиста, с вышитым кружком или буквой на спине. Вся эта публика, буквально спустя рукава, однако ж с любопытством, смотрела на пришельцев, которые силою ворвались в их пределы и мало того, что сами свободно разгуливают среди их полей, да еще наставили столбов с надписями, которыми запрещается тут разъезжать хозяевам. Китайцы встречали или провожали замечанием каждого проезжего и смеялись. Особенно скачущие женщины возбуждали их внимание: небывалое у них явление! Их женщины — пока еще так себе, хозяйственная принадлежность: им далеко до львиц.

К нам присоединились другие наши спутники. Мы, сквозь эту фалангу любопытных, подошли к валу, взошли на мостик, брошенный дугой через канавку, и стали смотреть на лагерь. Туда и оттуда беспрестанно носили мимо нас в паланкинах китайских чиновников и купцов. Над сбитыми в кучу палатками насажены были тысячи разноцветных флагов и значков, всё фамильные гербы и отличия этого чиновно-аристократического царства. По временам из лагеря попаливали, но больше холостыми зарядами, для того, как сказывали нам английские офицеры, чтоб показать, что они бдят. В самом деле только бдят и пугают друг друга. Они палят и в туман, ночью, не видя неприятеля. Хоть бы ночное нападение и пожар, который мы видели с реки Вусуна,— жалкая карикатура не сражение.

Империалистами командует здесь правитель шанхайского округа, таутай Самква. Он собрал войско и расположил его лагерем у городских стен, а сам жил на джонках и действовал с реки. Как бы, кажется, не выгнать толпу бродяг и оборванцев? Но до сих пор все его усилия напрасны, европейцы сохраняют строгий нейтралитет, несмотря на то, что он предлагает каждому европейцу по двадцати, кажется, долларов в сутки, если кто пойдет к нему на службу. Охотников до сих пор является мало. Ночное нападение ему не удалось. Он пробовал зажечь город, но и то неудачно: выгорело одно предместье, потому что город зажжен был против ветра и огонь не распространился. А сколько мелких и бесполезных жестокостей употреблено было! И это не устрашает инсургентов. Те заперлись себе в крепости, получают съестные припасы через стены из города — и знать ничего не хотят.[30]

Пока я стоял на валу, несколько империалистов вдруг схватили из толпы одного человека, на вид очень смирного, и потащили к лагерю. Я думал, что это обыкновенная уличная сцена, ссора какая-нибудь, но тут случился англичанин, который растолковал мне, что империалисты хватают всякого, кто оплошает, и, в качестве мятежника, ведут в лагерь, повязав ему что-нибудь красное на голову, как признак возмущения. А там ему рубят голову и втыкают на пику. За всякого приведенного инсургента дают награду. «Oh, that's bad, very bad!» (худо!),— заключил англичанин, махнул рукой и пошел прочь.

Но и инсургенты платят за это хорошо. На днях они объявили, что

готовы сдать город и просят прислать полномочных для переговоров. Таутай обрадовался и послал к ним девять чиновников, или мандаринов, со свитой. Едва они вошли в город, инсургенты предали их тем ужасным, утонченным мучениям, которыми ознаменованы все междоусобные войны.

Англичанин этот, про которого я упомянул, ищет впечатлений и приключений. Он каждый день с утра отправляется, с заряженным револьвером в кармане, то в лагерь, то в осажденный город, посмотреть, что там делается, нужды нет, что китайское начальство устранило от себя ответственность за все неприятное, что может случиться со всяким европейцем, который без особенных позволений и предосторожностей отправится на место военных действий.

Наши вздумали тоже идти в лагерь; я предвидел, что они недолго проходят, и не пошел, а сел, в ожидании их, на бревно подле дороги и смотрел, как ездили англичанки. Вот несется полная, величавая, одна из тех великолепных, драпирующихся в большую шаль женщин, с победоносной походкой, от которых невольно сторонишься. Она, как монумент, крепко сидела на рослой лошади, и та, как будто чувствуя, кого несет на хребте, скакала плавно. Подле нее, свесив до полу ноги, ехал англичанин, такой жидкий и невеличественный, как полна и величественна была его супруга. Другая, низенькая и невзрачная женщина, точно мальчишка, тряслась на седле, на маленькой рыжей лошаденке, колотя по нем своей особой так, что слышно было. Третья — писаная, что называется, красавица: румяная, с алым ротиком, в виде сердечка, и ограниченностью в синих глазах. Все эти барыни были с такими тоненькими, не скажу стройными, талиями, так обтянуты амазонками, что китайская публика, кажется, смотрела на них больше с состраданием, нежели с удовольствием.

Я недолго ждал своих; как я думал, так и вышло: их не пустили, и мы отправились другой дорогой домой, опять мимо полей и огородов. В некоторых местах поливали ведрами навоза поля, мы бежали, что стало сил, от этой пахучей идиллии. Уж вечерело. Солнце опустилось; я взглянул на небо и вспомнил отчасти тропики: та же бледно-зеленая чаша, с золотым отливом над головой, но не было живописного узора облаков, млеющих в страстной тишине воздуха; только кое-где, дрожа, искрились белые звезды. Луна разделила улицы и дороги на две половины, черную и белую. «Вот зима-то! Ах, если б нам этакую!» — говорил я, пробираясь между иссохшими кустами хлопчатой бумаги, клочья которой оставались еще кое-где на сучьях и белели, как снежный пух. В байковом пальто было жарко идти. Вдали скакали в город джентльмены и леди, торопясь обедать.

В шесть часов мы были уже дома и сели за третий обед — с чаем. Отличительным признаком этого обеда, или «ужина», как упрямо называл его отец Аввакум, было отсутствие супа и присутствие сосисок с перцем, или, лучше, перца с сосисками — так было его много положено. Чай тоже, кажется, с перцем.[31] Есть мы, однако ж, не могли: только шкиперские желудки флегматически поглощали мяса через три часа после обеда.[32]

Вечером мы собрались в *клубе*, то есть в одной из самых больших комнат, где жило больше постояльцев, где светлее горела лампа, не дымил камин и куда приносили больше каменного угля, нежели в другие номера. Театра нет здесь, общества тоже, если хотите в строгом смысле, нет. Всюду, куда забрались англичане, вы найдете чистую комнату, камин с каменным углем, отличный кусок мяса, херес и портвейн, но не общество. И не ищите его. Англичане всюду умеют внести свою чопорность, негибкие нравы и скуку. Вас пригласят обедать; вы, во фраке и белом жилете, являетесь туда; если есть аппетит — едите, как едали баснословные герои или как новейшие извозчики, пьете еще больше, но говорите мало, ce n'est pas de rigueur,* потом тихонько исчезаете. Но не думайте прийти сами, без зову. По делу можете, и то в указанный час; а просто побеседовать сами — нельзя. Да и день так расположен: утро все заняты, потом гуляют, с семи и до десяти и одиннадцати часов обедают, а там спят. В Англии есть клубы; там вы видитесь с людьми, с которыми привыкли быть вместе, а здесь европейская жизнь так быстро перенеслась на чужую почву, что не успела пустить корней, и оттого, должно быть, скучно. Не знаю, что делают молодые люди; немолодые наживают деньги. Какой-нибудь мистер Каннингам или другой, подобный ему представитель торгового дома проживет лет пять, наживет тысяч двести долларов и уезжает, откуда приехал, уступая место другому члену того же торгового дома.

Мы очень разнообразили время в своем клубе: один писал, другой читал, кто рассказывал, кто молча курил и слушал, но все жались к камину, потому что как ни красиво было небо, как ни ясны ночи, а зима давала себя чувствовать, особенно в здешних домах.

Только П. А. Тихменев, оставаясь один в Шанхае, перебрался в лучшую комнату и, общий баловень на фрегате, приобрел и тут как-то внимание целого дома. У него лучше и раньше прибиралась комната, в корзинке было больше угля, нежели у других. У нас у всех принесут горсть угля и потом не допросишься. Явная несправедливость! Мы вчетвером составили компанию на акциях для добывания каменного угля из нумера Петра Александровича. Так попросить — он бы или вовсе отказал, или дал бы *самую малость*, как он говорит. А нам нужно было натопить два нумера. Мы положили так: И. В. Фуругельм заговорит с Тихменевым о хозяйстве — это любимая его тема, а В. А. Корсаков и А. Е. Кроун в это время понесут корзину с углем. Мне досталась самая легкая роль: прикрыть отступление Воина Андреевича и Александра Егоровича, что я сделал, став к камину спиной и раздвинув немного, как делают, не знаю зачем, англичане, полы фрака. Фуругельм заговорил о шанхайской капусте, о том, какая она зеленая, сочная, расспрашивал, годится ли она во щи и т. п. Уголь давно уже пылал в каминах, а Петр Александрович все еще рассказывал о капусте. Мы дослушали из приличия, Фуругельм внимательно, я — рассеянно.

На другой день, вставши и пообедавши, я пошел, уже по знакомым ули-

---

* это необязательно (*франц.*),— *Ред.*

цам, в магазины купить и заказать кое-что. В улице, налево от гостиницы, сказали мне, есть магазин: четвертый или пятый дом. Я прошел шестой, а все магазина не вижу, и раза два ходил взад и вперед, не подозревая, что одно широкое, осененное деревьями крыльцо и есть вход в магазин. Меня встретил пожилой мужчина, черноволосый, с клинообразной бородой, в длинном шлафоре-сюртуке,[33] не совсем чистым английским выговором. «Жид!» — шепнул мне бывший со мной Гошкевич, успевший уже обегать европейский квартал. Тут, как и у Фога и как во всякой провинции, было все в магазине. Мы накупили сапог, башмаков и отправились к Фогу за сигарами, но в дверях столкнулись с высоким черноволосым мужчиной. «Вот сам Фог,— сказал опять Гошкевич,— он — жид!» Он, как лягавая собака дичь, чуял жидов.

Мы пошли прямо и вышли на речку. Я зашел за бароном Криднером. «Пойдемте, я вам буду показывать город»,— сказал я. Он молча последовал за мною. Речка, разделяющая европейский квартал от китайского, шириной всего сажен пять, мутна, как и сам Янсекиян, как и Вусун. На речке толпятся джонки, на которых живут китайские семейства; по берегам движется целое народонаселение купцов, лодочников, разного рода мастеровых. В одном месте нас остановил приятный запах: это была мастерская изделий из камфарного дерева. Мы зашли в сарай и лавку и очутились среди гробов, сундуков и ларцев. Когда мы вошли, запах камфары, издали очень приятный, так усилился, что казалось, как будто к щекам нашим вдруг приложили по подушечке с камфарой. Мы хотели купить сундуки из этого дерева, но не было возможности объясниться с китайцами. Мы им по-английски, они по-своему; прибегали к пальцам, но ничего из этого не выходило. Две девки, работавшие тут же, и одна прехорошенькая, смеялись исподтишка, глядя на нас; рыжая собака с ворчаньем косилась: запах камфары сильно щекотал нервы в носу. Мы, шагая по стружкам, выбрались и пошли к Фогу, а потом отправились отыскивать еще магазин, французский, о существовании которого носились темные слухи и который не давался нам другой день.

Мы быстро миновали базар и все запахи, прошли мимо хлопчатобумажных прядилен, харчевен, разносчиков, часовни с Буддой и перебежали мостик. «Куда же теперь, налево или направо?» — спросил я барона. «Да куда-нибудь, хоть налево!» Прямо перед нами был узенький-преузенький переулочек, темный, грязный, откуда, как тараканы из щели, выходили китайцы, направо большой европейский каменный дом; настежь отворенные ворота вели на чистый двор, с деревьями, к широкому чистому крыльцу. Налево открылся нам целый новый китайский квартал, новый лабиринт лавок, почище и побогаче, нежели на той стороне. Тут были лавки с материями, мебельные; я любовался на китайскую мебель, о которой говорил выше, с рельефами и деревянной мозаикой. Здесь нет харчевен и меньше толкотни. Лавки начали редеть; мы шли мимо превысоких, как стены крепости, заборов из бамбука, за которыми лежали груды кирпичей, и наконец прошли через огромный двор, весь изрытый и отчасти заросший травой, и очутились под стенами осажденного города.

Известно, что китайцы — ужасные педанты, не признают городом того, который *не огорожен;* оттого у них каждый город окружен стеной, между прочим и Шанхай.

Но какая картина представилась нам! Еще издали мы слышали смешанный шум человеческих голосов и не могли понять, что это такое. Теперь поняли. Нас от стен разделял ров; по ту сторону рва, под самыми стенами, толпилось более тысячи человек народу и горланили во всю мочь. На стене, облепив ее как мухи, горланила другая тысяча человек, инсургентов. Внизу были разносчики. Они принесли из города все, что только можно принести, притащить, привезти и приволочь. Живность, зелень, фрукты, дрова, целые бревна медленно ползли по стенам вверх. Стена, из серого кирпича, очень высока, на глазомер сажен в шесть вышиною, и претолстая. Осажденные во все горло требовали — один свинью, другой капусты, третий курицу, торговались, бранились, наконец условливались; сверху спускалась по веревке корзина с деньгами и поднималась с курами, апельсинами, с платьем; там тащили доски, тут спорили. Кутерьма ужасная! Посторонним ничего нельзя было разобрать. Я убедился только, что продавцы осаждают город гораздо деятельнее и успешнее империалистов. Там слышны ленивые выстрелы: те осаждают, чтоб истребить осажденных, а эти — чтобы продлить их существование.

Наши проникли-таки потом в лагерь, в обществе английских офицеров, и видели груды жареных свиней, кур, лепешек и т. п., принесенных в жертву пушкам и расставленных у жерл.

Осаждающие могли бы, конечно, помешать снабжению города съестными припасами, если бы сами имели больше свободы, нежели осажденные. Но они не смеют почти показываться из лагеря, тогда как мы видели ежедневно инсургентов, свободно разгуливавших по европейскому городу. У этих и костюм другой; лба уже они не бреют, как унизительного, введенного маньчжурами обычая. Но и тех и других англичане и американцы держат в руках. Посьет видел, как два всадника, возвращаясь из города в лагерь, проехали по земле, отведенной для прогулок англичанам, и как английский офицер с «Спартана» поколотил их обоих палкой за это так, что один свалился с лошади. Ров и стена, где торгуют разносчики, обращены к городу; и если б одно ядро попало в европейский квартал, тогда и осажденные и осаждающие не разделались бы с консулами. Одно и так попало нечаянно в колесо французского парохода: командир хотел открыть огонь по городу. Не знаю, как уладили дело.

Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то чтоб было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот, который они, пожалуй, не бьют, даже холят, то есть хорошо кормят, исправно и щедро платят им, но не скрывают презрения к ним. К нам повадился ходить в отель офицер, не флотский, а морских войск, с «Спартана», молодой человек лет двадцати: он, кажется, тоже непрочь от приключений. Его звали Стокс; он беспрестанно ходил и в осажденный город, и в лагерь. Мы с ним гуляли по улицам, и, если впереди нас шел китаец и, не замечая

нас, долго не сторонился с дороги, Стокс без церемонии брал его за косу и оттаскивал в сторону. Китаец сначала оторопеет, потом с улыбкой подавленного негодования посмотрит вслед. А нет, конечно, народа смирнее, покорнее и учтивее китайца, исключая кантонских: те, как и всякая чернь в больших городах, груба и бурлива. А здесь я не видал насмешливого взгляда, который бы китаец кинул на европейца: на лицах видишь почтительное и робкое внимание. Англичане вот как платят за это: на их же счет обогащаются, отравляют их, да еще и презирают свои жертвы! Наш хозяин, Дональд,— конечно, плюгавейший из англичан, вероятно нищий в Англии, иначе как решиться отправиться на чужую почву заводить трактир, без видов на успех — и этот Дональд, сказывал Тихменев, так бил одного из китайцев, слуг своего трактира, что «меня даже жалость взяла»,— прибавил добрый Петр Александрович.

Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать: не китайцы ли англичан, своею вежливостью, кротостью да и уменьем торговать тоже.

Полюбовавшись на осаду продавцов, мы пошли по берегу рва искать дом французского консула и французский магазин. Утром шел дождь, и ноги вязли в клейкой грязи. Мы кое-как выбрались к мостику, видели веющий над кучей кровель французский флаг, и всё не знали, как попасть к нему. Мы остановились в нерешительности у мостика, подле большого каменного европейского дома с настежь отворенными воротами. Я вошел на двор, отворил дверь в дом и очутился в светлом, чистом, прекрасном магазине, похожем на все европейские столичные магазины. «Где это я?» — спросил я вслух. «Во французском магазине Реми»,— отвечал забравшийся туда прежде нас Гошкевич. Ко мне подошел пожилой невысокий брюнет и заговорил по-французски. «Посмотрите-ка на хозяина»,— сказал мне Гошкевич по-русски. Я посмотрел. «А что?» — «Разве не видите?» — «Вижу... Да что такое?» — «Жид!» — отвечал он.

Из этого очерка одного из пяти открытых англичанам портов вы никак не заключите, какую блистательную роль играет теперь, и будет играть еще со временем, Шанхай! И в настоящее время он в здешних морях затмил, колоссальными цифрами своих торговых оборотов, Гон-Конг, Кантон, Сидней и занял первое место после Калькутты, или «Калькатты», как ее называют англичане. А все опиум! За него китайцы отдают свой чай, шелк, металлы, лекарственные, красильные вещества, пот, кровь, энергию, ум, всю жизнь. Англичане и американцы хладнокровно берут все это, обращают в деньги и так же хладнокровно переносят старый, уже заглохнувший упрек за опиум. Они, не краснея, слушают его и ссылаются одни на других. Английское правительство молчит — одно, что остается ему делать, потому что многие, стоящие во главе правления лица сами разводят мак на индийских своих плантациях, сами снаряжают корабли и шлют в Янсекиян. За 16-ть миль до Шанхая, в Вусуне, стоит целый флот так называемых опиумных судов. Там складочное место отравы. Другие суда привозят и сгружают, а эти только сбывают груз. Торг этот запрещен, даже проклят китайским правительством: но что толку в проклятии без силы? В таможню опиума, разумеется, не повезут,[34] но если кто провезет тайком, тому, кроме огромных барышей, ничего не достается.

Мало толку правительству и от здешней таможни, даром что таможенные чиновники заседают в том же здании, где заседал прежде Будда, то есть в кумирне. Китайцы с жадностью кидаются на опиум и быстро сбывают товар внутрь. Китайское правительство имеет право осматривать товар на судах только тогда, когда уверено, что найдет его там. А оно никогда не найдет, потому что подкупленные агенты всегда умеют заблаговременно предупредить хозяина, и груз бросят в реку или свезут: тогда правительство, за фальшивое подозрение, не разделается с иностранцами, и оттого осмотра никогда не бывает. Английское правительство оправдывается тем, что оно не властно запретить сеять в Индии мак, а присматривать-де за неводворением опиума в Китае — не его дело, а обязанность китайского правительства. Это говорит то же самое правительство, которое участвует в святом союзе против торга неграми!

Но что понапрасну бросать еще один слабый камень в зло, в которое брошена бесполезно тысяча? Не странно ли: дело так ясно, что и спору не подлежит; обвиняемая сторона молчит, сознавая преступление, и суд изречен, а приговора исполнить некому!

Бесстыдство этого скотолюбивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд! Другой пример меркантильности англичан еще разительнее: не будь у кафров ружей и пороха, англичане одною войной навсегда положили бы предел их грабежам и возмущениям. Поэтому и запрещено, под смертною казнью, привозить им порох; между тем кафры продолжали действовать огнестрельным оружием. Долго не подозревали, откуда они берут военные припасы: да однажды, на пути от одного из портов, взорвало несколько ящиков с порохом, который везли, вместе с прочими товарами, к кафрам — *с английских* же *судов*! Они возили это угощение для своих же соотечественников: это уж — из рук вон — торговая нация!

Страшно и сказать вам итог здешней торговли. Тридцать пять лет назад в целый Китай привозилось европейцами товаров всего на сумму около пятнадцати миллионов серебром. Из этого опиум составлял немного более четвертой части. Лет двенадцать назад, еще до китайской войны,[35] привоз увеличился вдвое, то есть более, нежели на сумму тридцать миллионов серебром, и привоз опиума составлял уже четыре пятых и только одну пятую других товаров. Это в целом Китае. А теперь гораздо больше привозится в один Шанхай. Шанхай играет бесспорно первостепенную роль в китайской торговле. Он возвысился не на счет соседних городов: Амоя, Нингпо и Фу-Чу-Фу; эти места имели свой круг деятельности, свой род товаров, и все это имеют до сих пор.

Но Кантон и Гон-Конг не могли не потерять отчасти своего значения с тех пор, как открылась торговля на севере. Многие произведения северного края нашли ближайшую точку отправления, и приток их к этим двум местам уменьшился. Но опасение насчет предполагаемого совершенного упадка — неосновательно. Заключая в своих стенах около миллиона жителей и не один десяток в подведомственных ему и близлежащих областях, Кантон будет всегда служить рынком для этих жителей, которым нет надобности искать работы и сбыта товаров в других местах.

Притом он мануфактурный город: нелегко широкий приток товаров его к южному порту поворотить в другую сторону, особенно когда этот порт имеет еще на своей стороне право старшинства. Гон-Конг тоже не падет от возвышения Шанхая, а только потеряет несколько, и потерял уже, как складочное место: теперь многие суда обращаются непосредственно в Шанхай, тогда как прежде обращались, с грузами или за грузами, в Гон-Конг.

Причины возвышения Шанхая заключаются в выгодном его географическом положении на огромной реке, на которой выше его лежит несколько многолюдных торговых мануфактурных городов, между прочим Нанкин и Сучеу-Фу. Шанхай сам по себе ничтожное место по народонаселению; в нем всего (было до осады) до трехсот тысяч жителей: это мало для китайского города, но он служил торговым предместьем этим городам и особенно провинциям, где родится лучший шелк и чай — две самые важные статьи, которыми пока расплачивается Китай за бумажные, шерстяные и другие европейские и американские изделия. Только торговля опиумом производится на звонкую, больше на серебряную монету.

Один из новых путешественников, именно г. Нопич, сделавший путешествие вокруг света на датском корвете «Галатея», под командою г. Стен-Билля, издал в особой книге собранные им сведения о торговле посещенных им мест. Это добросовестный и полезный труд. Хотя Нопич был в Китае в 1847—1848 годах, а с тех пор торговая статистика много изменилась, особенно в итогах, но некоторые общие выводы и данные сохраняют силу до сих пор. Между прочим, нельзя не привести дельного его совета: при отправлении товаров в Китай строго сообразоваться со вкусом и привычками китайцев: сукна, например, и прочие подобные изделия должны быть изготовляемы по любимым их образцам, известных цветов, известной меры. Он даже дает мелочные, но полезные наставления, как укладывать материи, какими ярлыками снабжать и т. п. Советует еще не потчевать китайцев образчиками, с обещанием, если понравится товар, привезти в другой раз: «Китайцы,— говорит он,— любят, увидевши вещь, купить тотчас же, если она приходится по вкусу»

Теперь, по случаю волнений в Китае, торговля стонет, кризис в полном разгаре. Далеко отзовется этот удар, нанесенный торговле; его, как удар землетрясения, почувствуют Гон-Конг, Сингапур, Индия, Англия и Соединенные Штаты. Хотя торг, особенно опиумом, не прекратился, но все китайские капиталисты разбежались, ушли внутрь, и сбыт производится лениво, сравнительно с прежним, и все-таки громадно само по себе. В самом Шанхае лавки и домы заперты, богатые купцы выбрались, а оставшиеся заплатили контрибуцию инсургентам. Один из этих купцов оказался католиком и был обложен пошлиною в восемьдесят тысяч испанских пиастров; но дело кончилось, кажется, на шести или семи тысячах.

Суда, хотя и не в прежнем числе, продолжают подвозить товары в город и окрестности, мимо таможни. Таутай, однако ж, протестовал против явного нарушения таможенных правил и отнесся к английскому консулу, требуя уплаты пошлин. Тот отвечал, что он не знает, имеет ли право

местная власть требовать пошлин, когда она не в силах ограждать торговлю, о которой купцы должны заботиться сами. Во всяком случае решение дела оставлено до конца войны, а конца войны не предвидится, судя по началу; по крайней мере шанхайская война скоро не кончится.

В Нанкине, лежащем повыше на Янсекияне, теперь главный пункт инсургентов. Там же живет и главный начальник их, и вместе претендент на престол, Тайпин-Ван.[36] Нанкинские инсургенты считают Шанхай слишком ничтожным пунктом и оттого не посылают туда подкрепления. Французский полномочный Бурбулон ездил, со свитою на пароходе, в Нанкин: Тайпин-Ван не принял его, а предоставил видеться с ним своему секретарю. На вопрос француза, как намерено действовать новое правительство, если оно утвердится, Тайпин-Ван отвечал, что подданные его, *как христиане,* приходятся европейцам братьями и будут действовать в этом смысле, но что обязательствами себя никакими не связывают. Тот так и воротился, с чем поехал. Но ответ этот принят европейцами глубоко к сведению. Вся эта восставшая сволочь объявляет себя христианами. Христианство это водворено протестантами или пробравшимися с востока несторианами[37] и смешалось с буддизмом.

Впрочем, оно пробирается туда всеми возможными путями. И знаете ли, что содействует его водворению? религиозный индифферентизм китайцев! У них нет фанатизма, они не заразились им даже от буддистов. Учение Конфуция — не религия, а просто обиходная нравственность, практическая философия,[38] не мешающая никакой религии. Католическое духовенство, правда, не встретит в массе китайского народа той пылкости, какой оно требует от своих последователей, разве этот народ перевоспитается совсем, но этого долго ждать; зато не встретит и не встречает, до сих пор, и фанатического сопротивления, а только ленивое, систематическое противодействие со стороны правительства, как политическую предосторожность.

Практическому и промышленному духу китайцев, кажется, более по плечу дух протестантской, нежели католической проповеди. Протестанты начали торговлей и привели напоследок религию. Китайцы обрадовались первой и незаметно принимают вторую, которая ни в чем им не мешает. Католики, напротив, начинают религией и хотят преподавать ее сразу, со всею ее чистотою и бескорыстным поклонением, тогда как у китайцев не было до сих пор ничего, похожего на религиозную идею. Есть у них, правда, поклонение небесным духам, но это поклонение не только не вменяется в долг народной массе, но составляет, как я уже, кажется, заметил однажды, привилегию и обязанность только богдыхана.

Мне в Шанхае подарили три книги на китайском языке: Новый завет,[39] географию и Езоповы басни — это забота протестантских миссионеров. Они переводят и печатают книги в Лондоне — страшно сказать, в каком числе экземпляров: в миллионах, привозят в Китай и раздают даром. Мне называли имя английского богача, который пожертвовал, вместе с другими, огромные суммы на эти издания. Медгорст — один из самых деятельных миссионеров: он живет тридцать лет в Китае и беспрерывно подвизается в пользу распространения христианства; переводит евро-

пейские книги на китайский язык, ездит из места на место. Он теперь живет в Шанхае. Наши синологи[40] были у него и приобрели много изданных им книг, довольно редких в Европе. Некоторые он им подарил.

Одно заставляет бояться за успех христианства: это соперничество между распространителями; оно, к сожалению, отчасти уже существует. Католические миссионеры запрещают своим ученикам иметь книги, издаваемые протестантами, которые привезли и роздали, между прочим в Шанхае, несколько десятков тысяч своих изданий. Издания эти достались, большею частью, китайцам-католикам, и они принесли их своим наставникам, а те сожгли.

Был уж седьмой час, когда я и Криднер стали сбираться обедать к американскому консулу. Надо было бриться, одеваться, и все это в холоде, в тесноте, на бивуаках. «Вы, верно, мои бритвы взяли?» — скажет мне Криднер, шаря по всем углам. «Нет, не брал; а вот вы не надели ли мои сапоги: я что-то не вижу их? Тут их целая куча лежала, а теперь нет». Тяжело, кажется, без слуги, доставать платье из глубины туго набитого чемодана. «Ну, уж эти путешествия!» — слышится из соседней комнаты, где такой же труженик, как мы, собирался тоже на обед и собственноручно, охая, со стоном, чистит фрак. Щетка вырывается из непривычных рук вместе с платьем и, сопровождаемая бранью, падает на пол.

Мы пришли в самую пору, то есть последние. В гостиной собралось человек восемь. Кроме нас четверых или пятерых тут были командиры английских и американских судов и еще какие-то негоцианты да молодые люди, служащие в конторе Каннингама, тоже будущие негоцианты.

Стол был заставлен блюдами. «Кому есть всю эту массу мяс, птиц, рыб?» — вот вопрос, который представится каждому, неангличанину и неамериканцу. Но надо знать, что в Англии и в Соединенных Штатах для слуг особенного стола не готовится; они едят то же самое, что и господа, оттого нечего удивляться, что чуть не целые быки и бараны подаются на стол.

Кругом по столу ходили постоянно три графина, с портвейном, хересом и мадерой, и останавливались на минуту перед каждым гостем. Всякий нальет себе, чего ему вздумается. Шампанское человек разносил в течение целого обеда и наливал сейчас же, как только заметит у кого-нибудь пустую рюмку. «Г. Каннингам желает выпить с вами рюмку вина»,— сказал, чисто по-английски, наливая мне шампанского, китаец, одетый очень порядочно и похожий в своем костюме немного на наших богатых ярославских баб. Он говорил это почти каждому гостю. Выпить с кем-нибудь рюмку вина — значит поднять свою рюмку, показать ее тому, с кем пьешь, а он покажет свою, потом оба кивнут друг другу и выпьют. Через минуту соседи мои стали пить со мной по рюмке, а там пошло наперекрест, кто с кем хотел.

Это была бы сущая напасть для непьющих, если б надо было выпивать по целой рюмке: но никто не обязывается к этому. Надо только налить или долить рюмку, а выпить можно хоть каплю.

Вино у Каннингама, разумеется, было прекрасное; ему привозили из Европы. Вообще же в продаже в этих местах, то есть в Сингапуре, Гонконге и Шанхае, вина никуда не годятся. Херес, мадера и портвейн сильно приправлены алкоголем, заглушающим нежный букет вин Пиренейского полуострова. Да их большею частью возят не оттуда, а с мыса Доброй Надежды. Шампанское идет из Америки и просто никуда не годится. Это американское шампанское свирепствует на Сандвичевых островах и вот теперь проникло в Китай.

Все убрали, кроме вина, и поставили десерт: все то же, что и в трактире, то есть гранаты, сухие фиги, или жужубы, орехи, мандарины, пампль-мусс и, наконец, те маленькие апельсины, или померанцы, которые я так неудачно попробовал на базаре «Разве это едят?» — спросил я своего соседа. «Yes, o yes!» — отвечал он, взял один померанец, срезал верхушку, выдавил всю внутренность, с косточками, на тарелку, а пустую кожу съел. «Что такое, разве это хорошо?» — «Попробуйте!» Я попробовал: кожа сладкая и ароматическая, между тем как внутри кисло. Все навыворот: у фруктов едят кожу, а внутренность бросают!

Я дал сильный промах и едва-едва поправился. Подали кофе и сигары. «Мне очень нравятся английские обычаи,— сказал я,— по окончании обеда остаются за столом, едят фрукты, пьют вино, курят и разговаривают...» «У англичан не курят,— живо перебил мой сосед,— это наш обычай». Я смотрю на него, что он такое говорит. Я попался: он не англичанин, я в гостях у американцев, а хвалю англичан. Сидевший напротив меня барон Криднер закашлялся своим смехом. Но кто ж их разберет: говорят, молятся, едят одинаково и одинаково ненавидят друг друга!

После обеда нас повели в особые галереи играть на бильярде. Хозяин и некоторые гости, узнав, что мы собираемся играть русскую, пятишаровую партию,[41] пришли было посмотреть, что это такое, но как мы с Посьетом в течение получаса не сделали ни одного шара, то они постояли, да и ушли, составив себе, вероятно, не совсем выгодное понятие о русской партии.

Третий, пятый, десятый, и так далее дни текли однообразно. Мы читали, гуляли, рассеянно слушали пальбу инсургентов и империалистов, обедали три раза в день, переделали все свои дела, отправили почту, и, между прочим, адмирал отправил, курьером в Петербург, лейтенанта Кроуна, с донесениями, образчиками товаров и прочими результатами нашего путешествия до сих мест. Стало скучно. Куда бы нибудь в другое место пора! — твердили мы.— Всех здесь знаем, и все знают нас. Со всеми кланяемся и разговариваем.

Утром 6-го декабря, в самый зимний и самый великолепный солнечный день, с 15° тепла, собрались мы вчетвером гулять на целый день: отец Аввакум, В. А. Корсаков, Посьет и я. Мы долго шли берегом до самого дока, против которого стояла шкуна. На плоту переехали рукав Вусуна, там же переезжало много китайцев на другом плоту. Какой-то старый купец хотел прыгнуть к нам на плот, когда этот отвалил уже от берега, но не попал и бухнулся в воду, к общему удовольствию собравшейся на

берегу публики. Старик держал за руку сына или внука, мальчика лет семи: и тот упал. «Тата, тата! (тятя)»,— кричал он в воде. Посьет, пылкий мой сосед, являющийся всегда, когда надо помочь кому-нибудь, явился и тут и вытащил мальчика, а другие — старика.

Мы заехали на шкуну. Там, у борта, застали большую китайскую лодку с разными безделками: резными вещами из дерева, вазами, тростями из бамбука, каменными изваяниями идолов и т. п. Я хотя и старался пройти мимо искушения, закрыв глаза и уши, однако купил этих пустяков долларов на десять. Мы слегка позавтракали на шкуне и, воротясь на берег, прошли чрез док. Док без шлюз, а просто с проходом, который закладывается илом, когда судно впустят туда; а надо выпустить — ил выкидывается на берег, в кучу: работа нелегкая! Но что значит труд для китайцев? Док принадлежит частному человеку, англичанину кажется. Большое пространство около дока завалено камфарными деревьями, необыкновенно длинными и толстыми. Этот лес идет на разные корабельные надобности.

Оттуда мы вышли в слободку, окружающую док, и по узенькой улице, наполненной лавчонками, дымящимися харчевнями, толпящимся, продающим, покупающим народом, вышли на речку, прошли чрез съестной рынок, кое-где останавливаясь. Видели какие-то неизвестные нам фрукты или овощи, темные, сухие, немного похожие видом на каштаны, но с рожками. Отец Аввакум указал еще на орехи, называя их «водяными грушами».[42]

В. А. Корсаков, который способен есть все не морщась, что попадет под руку — китовину, сивуча, что хотите, пробует все с редким самоотвержением и не нахвалится. Много разных подобных лакомств, орехов, пряников, пастил и т. п. продается на китайских улицах.

С речки мы повернули направо и углубились в поля. Точно залы, а не нивы. Мы шли по маленьким, возвышающимся над нивами тропинкам, которые разграничивают поля. На межах растут большие деревья. Деревень нет, все фермы. Каждый крестьянин живет отдельно в огороженном доме, среди своего поля, которое и обработывает. Похоже на Англию. На многих полях видели надгробные памятники, то чересчур простые, то слишком затейливые. Больше всего квадратные или продолговатые камни, а на одном поле видели изваянные, из белого камня, группы лошадей и всадников. Грубо сделано. Надо вспомнить, что и за артисты работают эти вещи!

Пробираясь чрез большое поле гуськом, по узенькой тропинке, мы вдруг остановились все четверо. Вдали шла процессия: носильщики несли... сундук не сундук — «гроб»,— сказал кто-то. Мы бросились в ту же сторону: она остановилась на одном поле. За гробом шло несколько женщин, все в широких белых платьях, повязанные белыми же платками, несколько детей и собака. Носильщики поставили гроб, женщины выли, или «вопили», как говорят у нас в деревнях. Четыре из них делали это равнодушно, как будто по долгу приличия, а может быть, они были и наняты плакальщицы; зато пятая, пожилая, заливалась горькими слезами. Те, заметя нас, застыдились и понизили голоса; дети робко смотрели на

гроб, собака с повисшим хвостом, увидя нас, тихо заворчала. Пятая женщина не обращала ни на что внимания; она была поглощена горем. Рыдая, она что-то приговаривала; мы, конечно, не понимали слов, но язык скорби один везде. Она бросалась на гроб, обнимала его руками, клала на него голову, на минуту умолкала, потом со стоном начинала опять свою плачевную песнь. Тяжело было смотреть: мы еще скорее пошли прочь, нежели пришли, но нас далеко провожал голос ее, прерываемый всхлипываниями и рыданиями. На месте, где поставили гроб, не было могилы. Китайцы сначала оставляют гробы просто, иногда даже открытыми, а потом уже хоронят.

Мы шли по полям, засеянным разными овощами. Фермы рассеяны саженях во ста пятидесяти или двухстах друг от друга. Заглядывали в домы; «чинь-чинь», говорили мы жителям: они улыбались и просили войти. Из дверей одной фермы выглянул китаец, седой, в очках, с огромными круглыми стеклами, державшихся только на носу. В руках у него была книга. Отец Аввакум взял у него книгу, снял с его носа очки, надел на свой и стал читать вслух по-китайски, как по-русски. Китаец и рот разинул. Книга была — Конфуций.[43]

Мы пошли обратно к городу, по временам останавливаясь и любуясь яркой зеленью посевов и правильно изрезанными полями, засеянными рисом и хлопчатобумажными кустарниками, которые очень некрасивы без бумаги: просто сухие черные прутья, какие остаются на выжженном месте. Голоногие китайцы, стоя по колено в воде, вытаскивали пучки рисовых колосьев и пересаживали их на другое место.

В предместье мы опять очутились в чаду китайской городской жизни; опять охватили нас разные запахи, в ушах раздавались крики разносчиков, трещанье и шипенье кухни, хлопанье на бумагопрядильнях. Ах, какая духота! вон, вон, скорей на чистоту, мимо интересных сцен! Однако ж я успел заметить, что у одной лавки купец, со всеми признаками неги, сидел на улице, зажмурив глаза, а жена чесала ему седую косу. Другие у лавок ели, брились.

Подходя к перевозу, мы остановились посмотреть прелюбопытную машину, которая качала из бассейна воду вверх на террасы, для орошения полей. Это — длинная, движущаяся на своей оси лестница, ступеньки которой загребали воду и тащили вверх. Машину приводила в движение корова, ходя по вороту кругом. Здесь, как в Японии, говядину не едят: не достало бы мест для пастбищ; скота держат столько, сколько нужно для работы, от этого и коровы не избавлены от ярма.

Мы скучно и беспечно жили до 15-го декабря, как вдруг получены были с почтой известия о близком разрыве с западными державами.[44] С часу на час ждали парохода с ост-индской почтой; и если б она пришла с известием о войне, нашу шкуну могли бы захватить английские военные суда. Наш 52-пушечный фрегат и 20-пушечный корвет, конечно, сильнее здешних судов, но они за 90 миль, а в Вусун войти, по мелководью, не могут. Командиру шкуны и бывшим в Шанхае офицерам отдано было приказание торопиться к Saddle-Islands, для соединения с отрядом. Мне предоставлено на волю: остаться или воротиться потом на китайской

лодке. Это крытые и большие лодки, из бамбука, гладкие, лакированные, с резьбой и разными украшениями. Но ехать на них девяносто миль — мученье: тесно и беспокойно, да и окатит соленой водой не один раз.

Я не знал, на что решиться, и мрачно сидел на своем чемодане, пока товарищи мои шумно выбирались из трактира. Кули приходили и выходили, таская поклажу. Все ушли; девятый час, а шкуне в 10 часу велено уйти. Многие из наших обедают у Каннингама, а другие отказались, в том числе и я. Это прощальный обед. Наконец я быстро собрался, позвал писаря нашего, который жил в трактире, для переписки бумаг, велел привести двух кули, и мы отправились.

Они на толстой бамбуковой жерди, с большими крашеными фонарями, понесли мой чемодан, покрикивая: «Аа-аа-аа». Я и писарь едва успевали следовать за ними. Пришли к пристани: темнота; ни души там, ни одной лодки. Кули крикнул: из кучи джонок слабо отозвался кто-то и замолчал, но никто не ехал. Кули обернулся в другую сторону и крикнул громче. Около одного судна послышалась возня и зашевелилось весло: плыла лодка. В это же время послышалось сильное движение весел и от джонок. Наконец мы поехали; все темно; только река блистала от звезд, как стекло. Мы чрез полчаса едва добрались до шкуны. Вдали, в городе, попаливали.

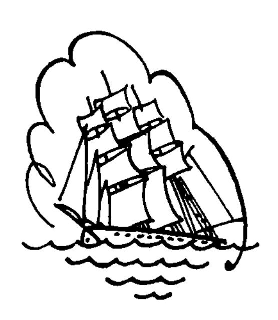
На шкуне битком набито народу: некоторым и сесть было негде. Но в Вусуне многие отделились на транспорт, и стало посвободнее. Спали на полу, по каютам, по лавкам — везде, где только можно. Я лег в капитанской каюте, где горой лежали ящики, узлы, чемоданы. Бараны и куры, натисканные в клетках, криком беспрестанно напоминали о себе. Между ними была пара живых фазанов, которые, вероятно, в первый раз попали в такое демократическое общество. Против меня лежал отец Аввакум. Он, видно, рассуждал о чем-нибудь, хотел, кажется, сказать что-то, да не успел и заснул. На лице осталось раздумье, рот отворен, он опирается на локоть и табакерка в руке. «Непременно упадет,— думал я,— лишь только качнет посильнее». А покачивало. Я все ждал, как это случится, да и сам заснул. Впросонках видел, как пришел Криднер, посмотрел на нас, на оставленное ему место, втрое меньше того, что ему нужно по его росту, подумал и лег, положив ноги на пол, а голову куда-то, кажется, на полку. Пришел П. А. Тихменев, учтиво попросил у нас позволения лечь на полу! «Надеюсь, что вы позволите мне,— начал он, по своему обыкновению, красноречиво,— занять местечко; я не намерен никого обременять, но в подобном случае теснота неизбежна, и потому» и т. д. Ему никто не ответил, все спали или дремали; он вздохнул, разостлал какую-то кожу, потом свое пальто и лег с явным прискорбием. Утром он горько жаловался мне, что мое одеяло падало ему на голову и щекотало по лицу.

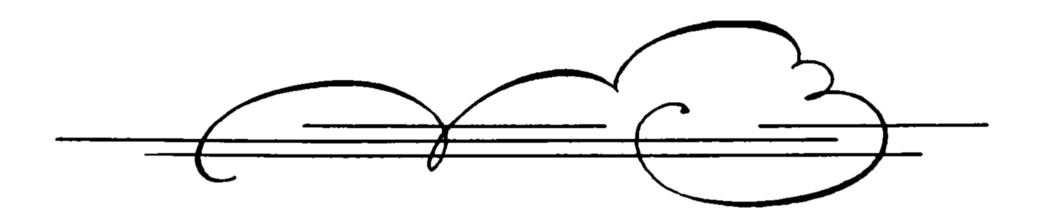
Лишь только вышли за бар, в открытое море, Гошкевич отдал обычную свою дань океану; глядя на него, то же сделал, с великим неудовольствием, отец Аввакум. Из неморяков меня только одного ни разу не потревожила морская болезнь: я не испытал и не понял ее.

К вечеру мы завидели наши качающиеся на рейде суда, а часов в семь

бросили якорь и были у себя — дома. Дома! Что называется иногда домом? Какая насмешка!

Прощайте! Не сетуйте, если это письмо покажется вам вяло, скудно наблюдениями или фактами и сухо: пеняйте столько же на меня, сколько и на Янсекиян и его берега: они тоже скудны и незанимательны, нельзя сказать только сухи: немудрено, что они так отразились и в моем письме.





III

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

Взаимные подарки.— Новые лица.— Известия о японских полномочных.— Условия свидания с ними.— Новый год.— Опять поезд в Нагасаки.— Салют.— Полномочные и оба губернатора.— Приветствия; обед; разговоры.— Междометия.— Посещение полномочными фрегата.— Встреча; обед.— Подарки.— Японские сабли.— Парадный прием и обед у японцев.— Подарки от сиогуна.— Письма от верховного совета.— Частые поездки в Нагасаки для конференции.— Японский новый год.— Вторичное посещение фрегата полномочными.— Прощальный обед у них.— Отъезд.

Опять нагасакский рейд.

Четверо суток шли мы назад, от Saddle-Islands, *домой* — так называли мы Нагасаки, где обжились в три месяца, как дома, хотя и рассчитывали прийти в два дня. Но мы не рассчитывали на противный ветер, а он продержал нас часов сорок почти на одном месте. На этом коротеньком переходе не случилось ничего особенного. Я не упоминаю о качке: и это не особенное в море. В конце четвертых суток увидели острова Гото, потом все скрылось в темноте. До сих пор хлопотали, как бы скорее прийти, а тут начали стараться не приходить скоро. Убавили парусов и стали делать около пяти миль в час, чтобы у входа быть не прежде рассвета. Мы незаметно подкрались в Нагасаки.

Рано утром услыхал я шум, топот; по временам мелькала в мое окошечко, облитая солнцем, зеленая вершина знакомого холма. Фаддеев принес чай и сказал, что японец приезжал уж с бумагой, с которой, по форме, является на каждое иностранное судно. «Да мы на якоре, что ли?» — спросил я. «Никак нет еще».— «Ведь мы на рейде?» — «Точно так».— «Зачем же дело стало?» — «Лавируем: противный ветер, не подошли с полверсты». Но вот и дошли, вот раздалась команда: «из бухты вон!» потом «якорь отдать!» Стали; я вышел на палубу.

Немного холодно, как у нас в сентябрьский день с солнцем, но тихо. Нагасакский ковш синеет, как само небо; вода чуть-чуть плещется. Холмы те же, да не те: бурые, будто выжженные солнцем. Такие точно в прошлом году, месяцем позже, явились мне горы Мадеры. И здесь, как там, молодая зелень проглядывает местами, но какая разница!

Там цветущие сады, плющ и виноград вьются фестонами по стенам, цветы стыдливо выглядывают из-за заборов, в январе веет теплый воздух, растворенный кипарисом, миртом и элиотропом;[1] там храмы, виллы, вино, женщины — полная жизнь! Здесь — огороды с редькой и морковью, заборы, но без цветов, деревянные кумирни, а не храмы, вместо вина — саки;[2] есть и женщины, но какие? Первая страница жизни — и вдобавок холод!

Опять пошло по-прежнему. Вот и японцы едут: баниосы; с ними Сьоза. Они приехали поздравить с приездом. Поговорив с Посьетом в капитанской каюте, явились на ют к адмиралу, с почтением. Ойе-Саброски, с детским личиком своим, был тут старший. Присев перед адмиралом, он уж искал вокруг глазами, как бы сшалить что-нибудь. «А! Гончаров! Гончаров!» — закричал он детским голосом, увидев меня, и засмеялся; но его остановил серьезный вопрос: «Тут ли полномочные?» — «Будут, чрез три дня»,— отвечал он чрез Сьозу. «Если не будут,— приказано было прибавить,— мы идем, куда располагали, в Едо. Время дорого, и терять его не станем. Полномочные, может быть, уж здесь, да вы не хотите нам сказать». «Нет, их нет»,— начали они уверять. Угроза так подействовала на них, что они сейчас же скрылись.

Вечером я читал у себя в каюте: слышу, за стеной как будто колют лучину. «Что там?» — спрашиваю. «Да японцы тут».— «Опять? Кто ж это лучину ломает?» Это разговаривает Кичибе. Я пошел в капитанскую каюту и застал там Эйноске, Кичибе, старшего из баниосов, *Хагивари Матаса,* опять Ойе-Саброски и еще двух подставных: всё знакомые лица. «Здравствуй, Эйноске! Здравствуй, Кичибе!» Кичибе загорланил мое имя, Эйноске подал руку, Ойе засмеялся, а Хагивари потупился, как бык, и подал мне кулак. Тут же был и тот подставной баниос, который однажды так ласково, как добрая тетка, смотрел на меня.

Их повели к адмиралу. «Губернаторы приказали кланяться и поздравить с благополучным приездом»,— сказал Хагивари. Кичибе четыре раза повернулся на стуле, крякнул и начал давиться смехом, произнося каждый слог отдельно. «Благодарите губернаторов за внимание»,— отвечали им. Кичибе перевел ответ: все четыре бритые головы баниосов наклонились разом. Опять Хагивари сказал что-то. «Их превосходительства, губернаторы, приказали осведомиться о здоровье»,— переводил Кичибе. «Благодарите. Надеемся, что и они здоровы»,— приказано отвечать. Поклон и ответ: «Совершенно здоровы». «Губернаторы желают,— продолжал Кичибе,— чтобы впредь здоровье полномочного было удовлетворительно». Им пожелали того же самого.

Бог знает, когда бы кончился этот разговор, если б баниосам не подали наливки и не повторили вопрос: тут ли полномочные? Они объявили, что полномочных нет и что они будут не чрез три дня, как ошибкой сказали нам утром, а чрез пять, и притом эти пять дней надо считать с 8 или 9-го декабря... Им не дали договорить. «Если в субботу,— сказано им (а это было в среду),— они не приедут, то мы уйдем». Они стали торговаться, упрашивать подождать только до их приезда, «а там делайте, как хотите», прибавили они.

Очевидно, что губернатору велено удержать нас, и он ждал высших лиц, чтобы сложить с себя ответственность во всем, что бы мы ни предприняли. Впрочем, положительно сказать ничего нельзя: может быть, полномочные и действительно тут — как добраться до истины? все средства к обману на их стороне. Они могут сказать нам, что один какой-нибудь полномочный заболел в дороге и что трое не могут начать дела без него и т. п.— поверить их невозможно.

Мы еще с утра потребовали у них воды и провизии в таком количестве, чтоб нам стало надолго, если б мы пошли в Едо. Баниосы привезли с собой много живности, овощей, фруктов и — не ящики, а целые сундуки конфект, и подарок от губернаторов. Им заметили, что уж раз было отказано в принятии подарка, потому что губернатор не хотел сам принимать от нас ничего. Начались опять упрашиванья. Кичибе вылезал совсем из своих халатов, которых, по случаю зимы, было на нем до пяти, чтоб убедить, но напрасно. Провизию велено было сгрузить назад в шлюпки.

Тогда переводчики попросили позволения съездить к губернаторам, узнать их ответ. Баниосы остались. Им показывали картинки, заводили маленький орган, всячески старались занять их, а между тем губернаторский подарок пирамидой лежал на палубе. Свиньи, с связанными ногами, делали отчаянные усилия встать и издавали пронзительный визг; петухи, битком набитые в плетеную корзинку, дрались между собою, несмотря на тесноту; куры неистово кудахтали. По палубе носился запах чесноку, редьки и апельсинов. «Хи, хи, хи!» — твердил по-прежнему в каюте Кичибе, а Эйноске тихим, вкрадчивым голосом расспрашивал меня английским ломаным языком, где мы были. «В Китае»,— сказал я. «Что видели?» — «Много, между прочим, войну инсургентов с империалистами».— «А еще?» — «Еще...» Я знал, чего он добивается, но мне хотелось помучить его. «Еще американцев»,— сказал я. «Кого же?» — живо перебил он. «Коммодора Перри...» — «Коммодора Перри?..» — повторил он еще живее. «Не видали, а видели капитана американского корвета „Саратога“!» — «Саратога»!.. Все это знакомые японцам имена судов, бывших в Едо. «Где ж Перри? в Соединенных Штатах?» — спросил он, подвинув нос свой почти вплоть к моему носу. «Нет, не в Соединенных Штатах, а в Амое».— «В Амое?» — «Или в Нинпо».— «В Нинпо?» — «А может быть, и в Гон-Конге»,— заметил я равнодушно.

Чрез полчаса он передал этот разговор Хагивари: я слышал названия: «Амой, Нинпо, Гон-Конг». Тот записал.

— Что бы вам съездить хоть в Шанхай,— сказал я Эйноске,— там бы вы увидели образчик европейского города.

— О, да,— отвечал он,— мне бы хотелось больше: я желал бы ехать вокруг света. Эта мысль обольщает меня.

— Да вот в Россию поедем,— говорил я.— Какие города, храмы, дворцы! какое войско увидел бы там!

— В Россию нет,— живо перебил он,— там женщин нет! [3]

— Кто это вам сказал? — заметил я,— как женщин нет: plenty (много)! Да вы женаты?

— Да; у меня есть десятимесячная дочка; на днях ей оспу прививали.

— Так что ж вам за дело до женщин? — спросил я.

Он усмехнулся. Каков японский Дон Жуан!

К вечеру пришло от губернатора согласие принять подарки. Насчет приезда полномочных губернатор опять просил дать срок, вместо субботы, до четверга, прибавив, что они имеют полное доверие от правительства и большие права. Это все затем, чтоб заинтересовать нас их приездом. Баниосы сказали, что полномочные имеют до шестисот человек свиты с собой и потому едут медленно, и не все четверо вдруг, а по одному. На это приказано отвечать, что если губернатор поручится, что в четверг назначено будет свидание, тогда мы подождем, в противном случае уйдем в Едо.

Такое решение, по-видимому, очень обрадовало их; по этому можно было заключить, что если не все четверо, то хоть один полномочный да был тут.

Живо убрали с палубы привезенные от губернатора конфекты и провизию и занялись распределением подарков с нашей стороны. В этот же вечер с баниосами отправили только подарок первому губернатору, Овосаве Бунгоно: малахитовые столовые часы, с группой бронзовых фигур, да две хрустальные вазы. Кроме того, послали ликеров, хересу и несколько голов сахару. У них рафинаду нет, а есть только сахарный песок.

Надо было прибрать подарок другому губернатору, оппер-баниосам, двум старшим и всем младшим переводчикам, всего человекам двадцати. Хлопот бездна: нужно было перевернуть весь трюм на транспорте, достать зеркала, сукна, материи, карманные часы и т. п., потом назначать, кому что. В этом предстояло немалое затруднение: всех главных лиц мы знали по имени, а прочих нет; их помнили только в лицо; оттого в списке у нас они значились под именами: косого, тощего, рябого, колченогого, а другие носили название некоторых наших земляков, на которых походили. Кое-как уладили и это. Дня два возились с подарками. Другому губернатору подарили трюмо, коврик и два разноцветные комнатные фонаря. Баниосам по зеркалу, еще сукна и материи на халаты. Никто не был забыт, кто чем-нибудь был полезен. Самым мелким чиновникам, под надзором которых возили воду и провизию, и тем дано было по халату и по какой-нибудь вещице.

Сукна у японцев нет, и не все они знают о его употреблении. Им нарочно дарили его, чтоб они узнавали, что это такое, и привыкали носить. Потребность есть: зимой они носят по три, по четыре халата из льняной материи, которые не заменят и одного суконного. А простой народ ходит, когда солнце греет, совсем нагой, а в холод накидывает на плечи какую-то тряпицу. Жалко было смотреть на бедняков, как они, с обнаженною грудью, плечами и ногами, тряслись, посинелые от холода, ожидая часа по три на своих лодках, пока баниосы сидели в каюте.

Еще дарили им зеркала, вместо которых они употребляют полированный металл или даже фарфор; раздавали картинки, термометры, компасы,

дамские несессеры, словом, все, что могло возбудить любопытство и обратиться в потребность.

На другой день, 24-го числа, в рождественский сочельник, погода была великолепная: трудно забыть такой день. Небо и море — это одна голубая масса; воздух теплый, без движения. Как хорош Нагасакский залив! И самые Нагасаки, облитые солнечным светом, походили на что-то путное. Между бурыми холмами кое-где ярко зеленели молодые всходы нового посева риса, пшеницы или овощей. Поглядишь к морю — это бесконечная лазоревая пелена.[4]

В этот день, вместе с баниосами, явился новый чиновник, по имени *Синоуара Томотаро,* принадлежащий к свите полномочных и приехавший будто бы вперед, а вероятнее, вместе с ними. Все они привезли уверение, что губернатор отвечает за свидание, то есть что оно состоится в четверг. Итак, мы остаемся.

Настала наконец самая любопытная эпоха нашего пребывания в Японии: завязывается путем дело, за которым прибыли, в одно время, экспедиции от двух государств. Мы толкуем, спорим между собой о том, что будет: верного вывода сделать нельзя с этим младенческим, отсталым, но лукавым народом. В одном из прежних писем я говорил о способе их действия: тут, как ни знай сердце человеческое, как ни будь опытен, а трудно действовать по обыкновенным законам ума и логики[5] там, где нет ключа к миросозерцанию, нравственности и нравам народа, как трудно разговаривать на его языке, не имея грамматики и лексикона.

Вчера предупредили японцев, что нам должно быть отведено хорошее место, но ни одно из тех, которые они показывали прежде. Они были готовы к этому объяснению. Хагивари сейчас же вынул и план из-за пазухи и указал, где будет отведено место: подле города где-то.

«Там есть кумирня,— прибавил он,— бонзы на время выберутся оттуда». Кроме того, есть дом или два, откуда тоже выгоняют каких-то чиновников. Завтра К. Н. Посьет, по приказанию адмирала, едет осмотреть. Губернаторы, кажется, все силы употребляют угодить нам или, по крайней мере, показывают вид, что угождают. Совсем противное тому, что было три месяца назад! Впечатление, произведенное в Едо нашим прибытием, назначение оттуда, для переговоров с нами, высших сановников и, наконец, вероятно, данные губернаторам инструкции, как обходиться с нами,— все это много сбавило спеси у их превосходительств.[6]

Мы на этот раз подошли к Нагасаки так тихо в темноте, что нас с мыса Номо и не заметили и стали давать знать с батарей в город выстрелами о нашем приходе в то время, когда уже мы становились на якорь. Мы застали японцев врасплох. Ни одной караульной лодки не было на рейде; часа через три они стали было являться, и довольно близко от нас, но мы послали катер отбуксировать их дальше. Шкуна и транспорт вошли далеко в Нагасакский залив, и мы расположились, как у себя дома. Лодки исчезли и уже не появлялись более. Губернаторы предупреждают наши желания.

Сегодня, 26-го, чиновники приезжали опять благодарить за подарки и опять показывали план места. Их тоже поблагодарили за провизию.

Рождество у нас прошло, как будто мы были в России. Проводив японцев, отслушали всенощную, вчера обедню и молебствие; поздравили друг друга, потом обедали у адмирала. После играла музыка. Эйноске, видя всех в парадной форме, спросил, какой праздник. Хотя с ними избегали говорить о христианской религии, но я сказал ему (надо же приучать их понемногу ко всему нашему): затем сюда приехали.

Кажется, недалеко время, когда опять проникнет сюда слово божие и водрузится крест, но так, что уже никакие силы не исторгнут его. Когда-то? Не даст ли бог нам сделать хотя первый и робкий шаг к тому? Хлопот будет немало с здешним правительством — так прочна (правительственная) система отчуждения от целого мира! Приняты все меры против сближения: нелегко познакомить народ с нашим бытом и склонить его на сторону европейцев. Пока нет приманки, нет и искушений: правительство понимает это и строго запрещает привоз всяких предметов роскоши, и особенно новых. Наших подарков не дали чиновникам в руки. Эйноске сказывал вчера, что список вещам отправляют в Едо, и если оттуда пришлют разрешение, тогда и раздадут их. На все у них запрещение: сегодня Посьет дает баниосам серебряные часы, которые забыли отослать третьего дня в числе прочих подарков: чего бы, кажется, проще, как взять да прибавить к прочим? Нет, нельзя, надо губернатора спросить, а тот отнесется в совет, совет к сиогуну, тот к микадо — и пошло! Еще сказали им сегодня, что место поедут посмотреть с Посьетом трое, вместо двоих, как сказано прежде. Опять сомнение и в этих пустяках: даже готовились, после долгих совещаний, отказать, да их не послушали.

И так во всем один неизменный порядок. Нарушить это, обратить их к здравому смыслу ни чем другим нельзя, как только силой. Они долго не допустят свободно ходить по своим городам, ездить внутрь страны, заводить частные сношения, даже и тогда, когда решатся начать торговлю с иностранцами. Если теперь японцам уже нельзя подчинить эту торговлю таким же ограничениям, каким подчинены сношения с голландцами, то, с другой стороны, иностранцам нельзя добровольно склонить их действовать совершенно на европейский лад. Ни хитрость, ни убеждения — не помогут. Одна надежда на их трусость. Угроза со стороны европейцев и желание мира со стороны японцев помогут выторговать у них отмену некоторых стеснений. Словом, только внешние чрезвычайные обстоятельства, как я сказал прежде, могут потрясти их систему, хотя народ сам по себе и способен к реформам.

Сегодня, 28-го декабря русского стиля,[7] приехали Хагивари, Ойе-Саброски и Самбро сказать, что полномочные прибыли. Эйноске и Кичибе и те были в парадных шелковых халатах, в новых кофтах (всегда черных) и в шелковых юбках. Первое свидание назначено в четверг. Адмирал желает, чтобы полномочные приехали на фрегат, так как он уже был на берегу и передал бумаги от своего правительства, следовательно, теперь они, имея сообщить адмиралу ответ, должны также привезти его сами. Но еще не решено, как это должно произойти.

Место видели: говорят, хорошо. С К. Н. Посьетом ездили: В. А. Римский-Корсаков, И. В. Фуругельм и К.И. Лосев. Место отведено на левом

мысу, при входе из пролива на внутренний рейд. Сегодня говорили баниосам, что надо фрегату подтянуться к берегу, чтоб недалеко было ездить туда. Опять затруднения, совещания и, наконец, всегдашний ответ «спросим губернатора».

Спросили и губернатора, тот говорит, что надо еще кое-что убрать, что чиновники и бонзы не перебрались оттуда. Вчера и сегодня шли толки о свидании. Адмирал объявил, что не останется в Нагасаки, если 1 (13) января не будет свидания. Он приказал сказать, что ждет полномочных к себе, а они отвечали, что просят к себе, говоря, что устали с дороги. Адмирал предложил им некоторые условия и, подозревая, что они не упустят случая, по обыкновению, промедлить, объявил, что дает им сроку до вечера. Баниосы вечером приехали сказать, что полномочные согласны и просили дать им записку об этих условиях. Дали.

Сегодня, 30, просыпаемся, говорят, что Кичибе и Эйноске сидят у нас с шести часов утра,— вот как живо стали поворачиваться! Первому особенно — беда: «Люблю лежать и ничего не делать!» — твердит он. Приехали баниосы и привезли бумагу, на голландском и японском языках, в которой изъявлено согласие на все условия, за исключением только двух: что, 1-е, *команда наша съедет на указанное место завтра же.* Говорят: еще не совсем готово место и просят подождать три дня; 2-е, *полномочные приедут не на другой день к нам, а через два дня.*

Адмирал не взял на себя труда догадываться, зачем это, тем более, что японцы верят в счастливые и несчастные дни, и согласился лучше поехать к ним, лишь бы за пустяками не медлить, а заняться делом.

Главные условия свидания состояли в том, чтобы *один из полномочных встретил адмирала при входе в дом, чтобы при угощении обедом или завтраком присутствовали и они,* а не, как хотел Овосава: накормить без себя. Далее, что *караул наш будет состоять из сорока человек, кроме музыкантов; офицеров будет втрое больше прежнего; что поедем мы на девяти шлюпках. Наконец, мы, с своей стороны, встретим полномочных у себя с должным почетом и, между прочим, будем салютовать пушечными выстрелами, если только они этого пожелают.*

На последнее полномочные сказали, что дадут знать о салюте за день до своего приезда. Но адмирал решил, не дожидаясь ответа о том, примут ли они салют себе, салютовать своему флагу, как только наши катера отвалят от фрегата. То-то будет переполох у них! Все остальное будет по-прежнему, то есть суда расцветятся флагами, люди станут по реям и — так далее.

1854 год

1 (13) января. С Новым годом! Как вы проводили старый и встретили новый год? Как всегда: собрались, по обыкновению, танцевали, шумели, играли в карты, потом зевнули не раз, ожидая боя полночи, поймали наконец вожделенную минуту и взялись за бокалы — все одно, как пять, десять лет назад?

В первый раз в жизни случилось мне провести последний день старого года как-то иначе, непохоже ни на что прежнее. Я обедал в этот день у японских вельмож! Слушайте же, если вам не скучно, подробный рассказ обо всем, что я видел вчера. Не берусь одевать все вчерашние картины и сцены в их оригинальный и яркий колорит. Обещаю одно: верное, до добродушия, сказание о том, как мы провели вчерашний день.

Назначено было отвалить нам от фрегата в одиннадцать часов утра. Но известно, что час и назначают затем, чтобы только знать, на сколько приехать позже назначенного времени,— так заведено в хорошем обществе. И мы, как люди хорошего общества, отвалили в половине первого.

Вы улыбаетесь при слове *отваливать:* в хорошем обществе оно не в ходу; но у нас здесь *отваливай* — фешенебельное слово.

Мы отвалили. Ехали на девяти шлюпках, которые растянулись на версту. Порядок тот же, как и в первую поездку в город, то есть впереди ехал капитан-лейтенант Посьет, на адмиральской гичке, чтоб встретить и расставить на берегу караул; далее, на баркасе, самый караул, в числе пятидесяти человек; за ним катер с музыкантами, потом катер со стульями и слугами; следующие два занимали офицеры: человек пятнадцать со всех судов. Наконец, адмиральский катер: на нем кроме самого адмирала помещались командиры со всех четырех судов: И. С. Унковский, капитан-лейтенанты Римский-Корсаков, Назимов и Фуругельм, лейтенант барон Крюднер, переводчик с китайского языка О. А. Гошкевич и ваш покорнейший слуга. Затем ехали два вельбота и еще гичка с некоторыми офицерами.

Люди стали по реям и проводили нас, по-прежнему, троекратным «ура»; разноцветные флаги опять в одно мгновение развязались и пали на снасти, как внезапно брошенная сверху куча цветов. Музыка заиграла народный гимн. Впечатление было все то же, что и в первый раз. Я ждал с нетерпением салюта: это была новость. Мне хотелось видеть, что́ японцы?

Да, я забыл сказать, что, за полчаса до назначенного времени, приехал, как и в первый раз, старший после губернатора в городе чиновник сказать, что полномочные ожидают нас. За ним, по японскому обычаю, тянулся целый хвост баниосов и прочего всякого чина. Чиновник выпил чашку чаю, две рюмки cherry brandy (вишневой наливки) и уехал.

Только японцы стали садиться на лодки, как адмирал поручил К. Н. Посьету сказать переводчикам, чтобы баниосы велели всем японским лодкам подальше отойти от фрегата: салютовать, дескать, будут. Заранее он извещать об этом не хотел, предвидя со стороны губернаторов возражения и просьбы не салютовать. Баниосы так и оцепенели от этой неожиданной новости. Один занес было ногу на трап, чтобы сойти, да и остался на несколько секунд с поднятой ногой. Вся толпа остановилась за ним, а старший чиновник сидел уж в своей лодке и ждал других. Очнувшись, баниос побежал к нему передать новость и тотчас же воротился с просьбою не салютовать, подождать, пока они дадут знать губернатору. Этого-то и не хотели. «Некогда, некогда,— торопили мы их,— поез-

жайте скорее, мы сейчас сами едем». Нейдут с лодки, да и только, всё стоят у трапа; упрашивают.

Мы предвидели смущение японцев и не могли удерживаться от смеха. Я слышу слово «misverstand» от переводчика и подхожу узнать, что такое: он говорит, что на их батареях люди не предупреждены о салюте, и оттого выйдет *недоразумение:* станут, пожалуй, палить и они. «Нужды нет, пусть палят,— говорят им,— так и следует — отвечать на салют». Всё не решаются уходить. «Пора, пора,— торопили их,— сейчас будут палить: вон уж пошли по орудиям». Давно бы надо было сказать так. Раздалось такое дружное щелканье соломенных сандалий по трапу, какого еще, кажется, не было. Они уехали и увели с собой все лодки.

Тронулись с места и мы. Только зашли наши шлюпки за нос фрегата, как из бока последнего вырвался клуб дыма, грянул выстрел, и вдруг горы проснулись и разом затрещали эхом, как будто какой-нибудь гигант закатился хохотом. Другой выстрел, за ним выстрел на корвете, опять у нас, опять там: хохот в горах удвоился. Выстрелы повторялись: то раздавались на обоих судах в одно время, то перегоняли друг друга: горы выходили из себя, а губернаторы, вероятно, пуще их.

Если *японскому глазу больно,* как выразился губернатор в первое свидание, видеть чужие суда в портах Японии, то японскому уху еще, я думаю, больнее слышать рев чужих пушек. Их пушки малы, и выстрелы не будили гор. Я смотрел на лодки, на японские батареи: нигде никакого движения, только две собаки мечутся взад и вперед и ищут места спрятаться, да негде: побегут от выстрела к горам, а оттуда гонит их эхо. Но кончилось: пушки замолчали, горы опять заснули, собаки успокоились, на высотах показалось несколько длиннополых японских фигур. Гребцы наши молчаливо, но сильно налегали грудью на весла. Мы углубились уже далеко в залив, а дым от выстрелов все еще ленивым узором крался по воде, направляясь тихонько к морю. Издали, с передового катера, слабо доносились к нам звуки музыки.

Мы быстро двигались вперед мимо знакомых уже прекрасных бухт, холмов, скал, лесков. Я занялся тем же, чем и в первый раз, то есть мысленно уставлял все эти пригорки и рощи храмами, дачами, беседками и статуями, а воды залива — пароходами и чащей мачт; берега населял европейцами: мне уж виделись дорожки парка, скачущие амазонки; а ближе к городу снились фактории, русская, американская, английская...[8]

Японские лодки кучей шли и опять выбивались из сил, торопясь перегнать нас, особенно ближе к городу. Их гребцы то примолкнут, то вдруг заголосят отчаянно: «Оссильян! Оссильян!» Наши невольно заразятся их криком, приударят веслами, да вдруг как будто одумаются и начнут опять покойно рыть воду.

Наконец надо же и совесть знать, пора и приехать. В этом японском, по преимуществу тридесятом государстве можно еще оправдываться и тем, что «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Чуть ли эта поговорка не здесь родилась и перешла по соседству с Востоком и к нам, как и многое другое... Но мы выросли, и поговорка осталась у нас в сказках.

В Японии, напротив, еще до сих пор скоро дела не делают и не любят даже тех, кто имеет эту слабость. От наших судов до Нагасаки три добрые четверти часа езды. Японцы часто к нам ездят: ну что бы пригласить нас стать у города, чтоб самим не терять по-пустому время на переезды? Нельзя. Почему? Надо спросить у верховного совета, верховный совет спросит у сиогуна, а тот пошлет к микадо.

Японские лодки непременно хотели пристать все вместе с нашими: можете себе представить, что из этого вышло. Одна лодка становилась поперек другой, и все стеснились так, что если б им поручили не пустить нас на берег, то они лучше бы сделать не могли того, как сделали теперь, чтоб пустить.

Потом пошло все по-прежнему, то есть музыканты, караул, все стояло на своих местах. И японские войска расставлены были по обеим сторонам дороги, то есть те же солдаты, с картонными шапками на головах и ружьями, или quasi-ружьями в чехлах, ноги врозь и колени вперед. И лошадь была тут, которой я опять не заметил, и норимоны, и старик с сонными глазами, и толпа переводчиков, и баниосы. Японцы, подобрав халаты, забыв важность, пустились за нами вприпрыжку, бегом, теряя туфли, чтоб поспеть к дому прежде нас. В сенях сидели на пятках те же лица, но на крыльце стоял, по уговору, младший из полномочных в каком-то странном головном уборе.

Мы не успели рассмотреть его хорошенько. Он пошел вперед, и мы за ним. По анфиладе рассажено было менее чиновников, нежели в первый раз. Мы толпой вошли в приемную залу. По этим мирным галереям не раздавалось, может быть, никогда такого шума и движения. Здесь, в белых бумажных чулках, скользили доселе, точно тени, незаметно от самих себя, японские чиновники, пробираясь иногда ползком: а теперь вот уже в другой раз раздаются такие крепкие шаги!

В ту минуту, как мы вошли в приемную залу, отодвинулись, точно кулисы, ширмы с противоположной стороны, и оттуда выдвинулись медленно, один за другим, все полномочные. Показался несколько согбенный старик; от старости рот у него постоянно был немного открыт. За ним другой, лет сорока пяти, с большими карими глазами, с умным и бойким лицом. Третий, очень пожилой человек, худощавый и смуглый, с поникшим взором, как будто проведший всю жизнь в затворничестве, и немного с птичьим лицом. Четвертый — средних лет: у этого было очень обыкновенное лицо, каких много, не выражающее ничего, как лопата. На таких лицах можно сразу прочесть, что, кроме ежедневных будничных забот, они о другом думают мало.

Они стали все четверо в ряд — и мы взаимно раскланялись. С правой стороны, подле полномочных, поместились оба нагасакские губернатора, а по левую еще четыре, приехавшие из Едо, по-видимому, важные лица. Сзади полномочных сели их оруженосцы, держа богатые сабли в руках; налево, у окон, усажены были в ряд чиновники, вероятно тоже из Едо: по крайней мере мы знакомых лиц между ними не заметили.[9]

Все четверо полномочные были в широких мантиях, из богатой толстой, как лубок, шелковой с узорами материи, которая едва сжималась в

складки; рукава у кисти были чрезвычайно широкие, спереди, от самого подбородка до пояса, висел из той же материи нагрудник; под мантией обыкновенный халат и юбка, конечно шелковые же. У старика материя зеленая, у второго белая, вроде моар,[10] только с редкими полосами. У всех четырех полномочных, и у губернаторов тоже, на голове наставлена была на маковку, вверх дном, маленькая, черная, с гранью, коронка, очень похожая формой на дамские рабочие корзиночки и, пожалуй, на кузовки, с которыми у нас бабы ходят за грибами. Коронки эти делаются, как я после узнал, из папье-маше. У двоих чиновников, помещавшихся налево от полномочных, коронки были одинаковой с ними формы, а у следующих двух одна треугольная, другая квадратная, обе плоские. У старших коронки прикреплялись пропущенными под подбородок белыми, а у младших — черными шнурками. Все бы еще ничего; но у третьего полномочного, у обоих губернаторов и еще у одного чиновника шелковые панталоны продолжались на аршин далее ног. Губернаторы едва шли, с трудом поднимая ноги.

Эта одежда присвоена какому-то чину или должности. Вообще весь этот костюм был самый парадный, как наши полные мундиры. Глядя на фигуру стоящего в полной форме японца, с несколько поникшей головой, в этой мантии, с коробочкой на лбу и в бесконечных панталонах, поневоле подумаешь, что какой-нибудь проказник когда-то задал себе задачу одеть человека как можно неудобнее, чтоб ему нельзя было не только ходить и бегать, но даже шевелиться. Японцы так и одеты: шевелиться в этой одежде мудрено. Она выдумана затем, чтоб сидеть и важничать в ней. И когда видишь японцев, сидящих на пятках, то скажешь только, что эта вся амуниция как нельзя лучше пригнана к сидячему положению и что тогда она не лишена своего рода величавости и даже красива. Эти куски богатой шелковой материи, волнами обильно обвивающие тело, прекрасно драпируются около ленивой живой массы, сохраняющей важность и неподвижность статуи.

Обе стороны молча с минуту поглядели друг на друга, измеряя глазами с ног до головы — мы их, они нас. Наш знакомый, Овосава Бунгоно, недавно еще с таким достоинством и гордостью принявший нас, перешел на второй план, он лицом приходился прямо в ухо старику и стоял, потупя взгляд, не поворачиваясь ни направо, ни налево. Только изредка, украдкой, он косился на нас. И было за что: ему оставалось отдежурить всего какой-нибудь месяц и ехать в Едо, а теперь он, по милости нашей, сидит полтора года и, бог знает, сколько времени еще просидит! Другой губернатор, Мизно Чикогоно, был с лица не мудрец, но с сердитым выражением.

Полномочные сделали знак, что хотят говорить, и мгновенно, откуда ни возьмись, подползли к их ногам, из двух разных углов, как два ужа, Эйноске и Кичибе.

Они приложили лбы к полу и слушали в этом положении, едва дыша. Начал старик. Мы так и впились в него глазами: старик очаровал нас с первого раза: такие старички есть везде, у всех наций. Морщины лучами окружали глаза и губы; в глазах, голосе, во всех чертах свети-

лась старческая, умная и приветливая доброта — плод долгой жизни и практической мудрости. Всякому, кто ни увидит этого старичка, захотелось бы выбрать его в дедушки. Кроме того, у него были манеры, обличающие порядочное воспитание. Он начал говорить, но губы и язык уже потеряли силу: он говорил медленно; говор его походил на тихое и ровное переливание из бутылки в бутылку жидкости.

Кичибе приподнял голову, подавился немного и потом уже перевел приветствие. Старик поздравлял адмирала с приездом и желал ему доброго здоровья. Адмирал отвечал тоже приветствием. Кичибе поклонился в землю и перевел. Старик заговорил опять такое же форменное приветствие командиру судна; но эти официальные выражения чувств, очень хорошие в устах Овосавы, как-то не шли к нему. Он смотрел так ласково и доброжелательно на нас, как будто хотел сказать что-нибудь другое, искреннее. И действительно после сказал. Но теперь он продолжал приветствия К. Н. Посьету, взявшему на себя труд быть переводчиком, наконец, всем офицерам.

Лишь только кончил старик, как чиновник, стоявший с левой стороны и бывший чем-то вроде церемониймейстера, кликнул шепотом: «Эйноске!» и показал на второго полномочного. Эйноске быстро подполз к ногам второго и приложил лоб к полу; тот повторил те же приветствия и в таком же порядке. Переводчики ползком подскочили к третьему и четвертому полномочным и, наконец, к губернаторам. Все они по очереди повторяли поздравление, твердо произнося русские имена. Им отвечено было адмиралом благодарственным приветствием от себя и от всех.

Все это делалось стоя, все были в параде: шелковых юбок не оберешься. Видно, что собрание было самое торжественное. Кичибе и Эйноске были тоже в шелку: креповая черная или голубая мантильи, с белыми гербами на спине и плечах, шелковый халат, такая же юбка и белые бумажные чулки.

Пока говорились приветствия, я опять забылся, как в первое свидание с губернатором: это было только второе в том же роде, но с более ярким колоритом. Глаз и мысль не успели привыкнуть к новости зрелища. Мне не верилось, что все это делается наяву. В иную минуту казалось, что я ребенок, что няня рассказала мне чудную сказку о неслыханных людях, а я заснул у ней на руках и вижу все это во сне. Да где же это я в самом деле? кто кругом меня, с этими бритыми лбами, смуглыми, как у мумий, щеками, с поникшими головами и полуопущенными веками, в длинных широких одеждах, неподвижные, едва шевелящие губами, из-за которых, с подавленными вздохами, вырываются неуловимые для нашего уха глухие звуки? Уж не древние ли покойники встали из тысячелетних гробниц и собрались на совещание? Ходят ли они, улыбаются ли, поют ли, пляшут ли? знают ли нашу человеческую жизнь, наше горе и веселье, или забыли в долгом сне, как живут люди? Что это за дом, за комната: окна заклеены бумагой, в комнате тускло и сыро, как в склепе; кругом золоченые ширмы, с изображением аистов — эмблемы долголетия? Крышу поддерживает ряд простых четыреугольных деревянных столбов; она без

потолка, из тесаных досок, дом первобытной постройки, как его выдумали первые люди. Где же я?

Иллюзия, которою я тешил себя, продолжалась недолго: вон один отживший, самый древний, именно старик, вынул из-за пазухи пачку тонкой бумаги, отодрал лист и высморкался в него, потом бросил бумажку, как в бездну, в свой неизмеримый рукав. «А! это живые!»

Нас попросили *отдохнуть* и выпить чашку чаю в ожидании, пока будет готов обед. Ну, слава богу! мы среди живых людей: здесь едят. Японский обед! С какой жадностью читал я, бывало, описание чужих обедов, то есть чужих народов, вникал во все мелочи, говорил, помните, и вам, как бы желал пообедать у китайцев, у японцев! И вот и эта мечта моя исполнилась. Я pique-assiette* от Лондона до Едо. Что будет, как подадут, как сядут — все это занимало нас.

В «отдыхальне» подали чай, на который просили обратить особенное внимание. Это толченый чай, самого высокого сорта: он родится на одной горе, о которой подробно говорит Кемпфер. Часть этого чая идет собственно для употребления двора сиогуна и микадо, а часть, пониже сорт, для высших лиц. Его толкут в порошок, кладут в чашку с кипятком — и чай готов. Чай превосходный, крепкий и ароматический, но нам он показался не совсем вкусен, потому что был без сахара. Мы, однако ж, превознесли его до небес.

После чая подали трубки и табак, потом конфекты, опять в таких же чрезвычайно гладко обтесанных сосновых ящиках, у которых даже углы были не составные, а цельные. Что за чистота, за тщательность в отделке! А между тем ящик этот делается почти на одну минуту: чтоб подать в нем конфекты и потом отослать к гостю домой, а тот, конечно, бросит. Конфекты были — тертый горошек с сахарным песком, опять морковь, кажется, да еще что-то в этом роде, потом разные подобия рыбы, яблока и т. п., все из красного и белого риса.

Около нас сидели на полу переводчики; из баниосов я видел только Хагивари да Ойе-Саброски. При губернаторе они боялись взглянуть на нас, а может быть, и не очень уважали, пока из Едо не прислали полномочных, которые делают нам торжественный и почетный прием. Тогда и прочие зашевелились, не знают, где посадить, жмут руку, улыбаются, угощают.

Через полчаса церемониймейстер пришел звать нас к обеду. Он извинялся, что теснота не позволяет обедать всем вместе и что общество рассядется по разным комнатам. Адмирала, И. С. Унковского, К. Н. Посьета и меня ввели опять в приемную залу; с нами обедали только два старших полномочных, остальные вышли вон. Зала так просторна, что в ней могли бы пообедать, без всякой тесноты, человек шестьдесят; но японцы для каждого из нас поставили по особому столу. Полномочные сидели на своих возвышениях, на которые им и ставили блюда.

Вот появилось ровно шесть слуг, по числу гостей, каждый с подносом, на котором лежало что-то завернутое в бумаге, рыба, как мне казалось. Они поставили подносы, вышли на минуту, потом вошли и унесли их:

* блюдолиз, прихлебатель (*франц.*),— *Ред.*

перед нами остались пустые, ничем не накрытые столы, сделанные, нарочно для нас, из кедрового дерева. «Ну, обычай не совсем патриархальный,— подумал я,— что бы это значило?» «Это наш обычай,— сказал старик,— подавать блюдо с „этим“ на стол и сейчас уносить: *это* у нас — символ приязни». А *это* — была не рыба, как мне показалось сначала, а какая-то тесьма, видом похожая на вязигу. Я принял было ее за морскую траву, но она оказалась перепонкой какой-то улитки, прилипающей, посредством ее, к скалам. Так вот видите: это у них и есть символ симпатии, привязанности или, буквально, «прилипчивости».

Опять появилось шестеро, точно в сказке — молодцов, сказал бы я, если б была малейшая тень молодцеватости. Я был бы снисходителен, не требовал бы многого, но не было ничего похожего, по нашим понятиям, на человеческую красоту в целом собрании. Старик был красивее всех своею старческою обворожительною красотою ума и добродушия, да второй полномочный еще мог нравиться умом и смелостью лица, пожалуй, и Овосава хорош, с затаенною мыслию или чувством на лице, и если с чувством, то, верно, неприязни к нам. Остальные же все — хоть не смотреть. Эйноске разве недурен, и то потому, что похож на европейца и носит на лице след мысли и образования. Но, боже мой! в каком он положении, и Кичибе тоже! Они распростерлись на полу между нами и полномочными, как две лягавые собаки, готовясь... есть — вы думаете? нет, переводить.

Слуги между тем продолжали ставить перед каждым гостем красные лакированные подставки, величиной со скамеечки, что дамы ставят у нас под ноги. Слуга подходил, ловко и мерно поднимал подставку, в знак почтения, наравне с головой, падал на колени и с ловким, мерным движением ставил тихонько перед гостем. Шесть раз подходили слуги и поставили шесть подставок. Но никто ничего еще не трогал. Все подставки тесно уставлены были деревянными, лакированными чашками, величиной и формой похожими на чайные, только без ручки; каждая чашка покрыта деревянным же блюдечком. Тут были также синие фарфоровые обыкновенные чашки, всё с кушаньем, и еще небольшие, с соей. Ко всему этому поданы были две палочки.

«Ну, это значит быть без обеда»,— думал я, поглядывая на две гладкие белые совсем тупые спицы, которыми нельзя взять ни твердого, ни мягкого кушанья. Как же и чем есть? На соседа моего Унковского, видно, нашло такое же раздумье, а может быть, заговорил и голод, только он взял обе палочки и грустно разглядывал их. Полномочные рассмеялись и наконец решились приняться за обед. В это время вошли опять слуги, и каждый нес на подносе серебряную ложку и вилку, для нас.

«В доказательство того, что все поданное употребляется в пищу,— сказал старик,— мы начнем первые. Не угодно ли открыть чашки и кушать, что кому понравится?»

«Ну-ка, что в этой чашке?» — шепнул я соседу, открывая чашку: рис вареный, без соли. Соли нет, не видать, и хлеба тоже нет.

Я подержал чашку с рисом в руках и поставил на свое место. «Вот в этой что?» — думал я, открывая другую чашку: в ней была какая-то

темная похлебка; я взял ложку и попробовал — вкусно, вроде наших бураков, и коренья есть.

«Мы употребляем рис при всяком блюде,— заметил второй полномочный,— не угодно ли кому-нибудь переменить, если поданный уже простыл?» Церемониймейстер, с широким круглым лицом, с плоским и несколько вздернутым, широким же, арабским носом, стоя подле возвышения, на котором сидели оба полномочные, взглядом и едва заметным жестом распоряжался прислугою.

Сзади Эйноске сидели на пятках двое слуг, один с чайником, другой с деревянной лакированной кружкой, в которой был горячий рис.

Мы между тем переходили от чашки к чашке, изредка перекидываясь друг с другом словом. «Попробуйте,— говорил мне вполголоса Посьет,— как хорош винегрет из раков в синей чашке. Раки посыпаны тертой рыбой или икрой; там зелень, еще что-то». «Я ее всю съел,— отвечал я; — а вы пробовали сырую рыбу?» «Нет, где она?» — «Да вот нарезана длинными тесьмами...» — «Ах! неужели это сырая рыба; а я почти половину съел!» — говорил он с гримасой.

В другой чашке была похлебка с рыбой, вроде нашей селянки. Я открыл, не помню, пятую или шестую чашку: в ней кусочек рыбы плавал совершенно в чистом и светлом бульоне, как горячая вода. Я думал, что это уха, и проглотил ложки четыре, но мне показалось невкусно. Это действительно была горячая вода — и больше ничего.

Сосед мой старался есть палочками и возбуждал, да и мы все тоже, не одну улыбку окружавших нас японцев. Не раз многие закрывали рот рукавом, глядя, как недоверчиво и пытливо мы вглядываемся в кушанья и как сначала осторожно пробуем их. Но я с третьей чашки перестал пробовать и съел остальное без всякого анализа, и все одной и той же ложкой, прибегая часто к рису, за недостатком хлеба. Помню, что была жареная рыба, вареные устрицы, а может быть, и моллюск какой-нибудь, похожий вкусом на устрицу. О. А. Гошкевич сказывал, что тут были трепанги; я ел что-то черное, хрупкое и слизистое, но не знаю что. Попадалось мне что-то сладкое, груша кажется, облитая красным сладким соусом, потом хрустело на зубах соленое и моченое: соленое — редька, заменяющая японцам соль. В синей фарфоровой чашке натискано было какое-то тесто, отзывавшееся яичницей, тут же вареная морковь. Потом в горячей воде плавало крылышко утки, с вареной зеленью.

Сзади всех подставок поставлена была особо еще одна подставка перед каждым гостем, и на ней лежала целая жареная рыба, с загнутыми кверху хвостом и головой. Давно я собирался придвинуть ее к себе и протянул было руку, но второй полномочный заметил мое движение. «Эту рыбу почти всегда подают у нас на обедах,— заметил он,— но ее никогда не едят тут, а отсылают гостям домой, с конфектами». Одно путное блюдо и было, да и то не едят! Ох, уж эти мне эмблемы да символы!

Слуга подходил ко всем и протягивал руку: я думал, что он хочет отбирать пустые чашки, отдал ему три, а он чрез минуту принес мне их опять с теми же кушаньями. Что мне делать? Я подумал, да и принялся опять за похлебку, стал было приниматься вторично за вареную рыбу,

но собеседники мои перестали действовать, и я унялся. Хозяевам очень нравилось, что мы едим; старик ласково поглядывал на каждого из нас и от души смеялся усилиям моего соседа есть палочками.

К концу обеда слуги явились с дымившимися чайниками. Мы с любопытством смотрели, что там такое. «Теперь надо выпить саки»,— сказал старик, и слуги стали наливать в красные, почти плоские лакированные чашки разогретый напиток. Мы выпили по чашечке. Нам еще прежде, между прочей провизией, доставлено было несколько кувшинов этого саки, и тогда оно нам не понравилось. Теплый он лучше: похоже вкусом на слабый, выдохшийся ром. *Саки* — перегнанное вино из риса. Потом налили опять. Мы стали было отговариваться, но старик объявил, что надо выпить до трех раз Мы выпили и в третий раз, и наши хозяева тоже. Пока мы ели, нам беспрестанно подбавляли горячего риса. После саки вновь принесли дымившийся чайник: я думал, не опять ли саки, но старик предложил, не хотим ли мы теперь выпить — «горячей воды»! Это что за шутка? Нашел лакомство! «Нет, не хотим»,— отвечали ему. Однако ж я подумал, что уж если обедать по-японски, так надо вполне обедать, и потому попробовал и горячей воды: все так же нехорошо, как если б я попробовал ее и за русским столом. «Ну, не хотите ли полить рис горячей водой и съесть?» — предложил старик. И этого не хотим. Между тем оба полномочные подставили плоскодонные чашки, им налили кипятку, и они выпили. Они объяснили, что они утоляют жажду горячей водой.

Хозяева были любезны. Пора назвать их: старика зовут Тсутсуй Хизено-ками-сама, второго Кавадзи Сойемонно-ками... нет, не ками, а дзио-сама, это все равно: дзио и ками означают равный титул; третий Алао Тосанно-ками-сама; четвертого... забыл, после скажу. Впрочем, оба последние приданы только для числа и большей важности, а в сущности они сидели с поникшими головами и молча слушали старших двух, а может быть, и не слушали, а просто заседали.

После обеда подали чай с каким-то оригинальным запахом; гляжу: на дне гвоздичная головка — какое варварство, и еще в стране чая! Старик все поглядывал на нас дружески, с улыбкой.

«Мы приехали из-за многих сотен,— начал он мямлить,— а вы из-за многих тысяч миль; мы никогда друг друга не видали, были так далеки между собою, а вот теперь познакомились, сидим, беседуем, обедаем вместе. Как это странно и приятно!» Мы не знали, как благодарить его за это приветливое выражение общего тогда нам чувства. И у нас были те же мысли, то же впечатление от странности таких сближений. Мы благодарили их за прием, хвалили обед. Я сделал замечание, что нахожу в некоторых блюдах сходство с европейскими и вижу, что японцы, как люди порядочные, кухней не пренебрегают. В самом деле, рыба под белым соусом — хоть куда. Если б ко всему этому дать хлеба, так можно даже наесться почти досыта. Без хлеба как-то странно было на желудке: сыт не сыт, а есть больше нельзя. После обеда одолевает не дремота, как обыкновенно, а только задумчивость. Но я смеялся, вспомнив, что́ пишут о японском столе и, между прочим, что они будто готовят кушанье на касторовом масле. А у них и обыкновенное деревянное масло[11]

употребляется редко, и только с зеленью; все же прочее жарится и варится на воде, с примесью саки и сои. Потом сказали мы хозяевам, что из всех народов крайнего Востока японцы считаются у нас, по описаниям, первыми — по уменью жить, по утонченности нравов и что мы теперь видим это на опыте.

Наконец кончился обед. Все унесли и чрез пять минут подали чай и конфекты, в знакомых уже нам ящиках. Там были подобия бамбуковых ветвей из леденца, лент, сердец, потом рыбы, этой альфы и омеги японского стола, от нищего до вельможи, далее какой-то тертый горошек с сахарным песком и рисовые конфекты.

Когда убрали наконец все, адмирал сказал, что он желал бы сделать полномочным два вопроса по делу, которое его привело сюда, и просит отвечать сегодня же. Старик вынул пачку бумаги, тщательно отодрал один листок, высморкался, спрятал бумажку в рукав, потом кротко возразил, что, по японским обычаям, при первом знакомстве разговоры о делах обыкновенно откладываются, что этого требуют приличия и законы гостеприимства. Адмирал заметил, что это отнюдь не помешает возникающей между нами приязни; что вопросы эти не потребуют каких-нибудь мудреных ответов, а просто двух слов, *да* или *нет*. Мы видели, что им лень говорить о деле. Вообще и важные сановники, и неважные после обеда выражались больше междометиями, которых невозможно передать словами. Грудные звуки раздавались из всех углов. О деле неприлично говорить, а это ничего! [12]

Адмирал согласился прислать два вопроса на другой день, на бумаге, но с тем, чтоб они к вечеру же отвечали на них. «Как же мы можем обещать это,— возразили они,— когда не знаем, в чем состоят вопросы?» Им сказано, что мы знаем вопросы и знаем, что можно отвечать. Они обещали сделать, что можно, и мы расстались большими друзьями.

С музыкой, в таком же порядке, как приехали, при ясной и теплой погоде, воротились мы на фрегат. Дорогой к пристани мы заглядывали за занавески и видели узенькую улицу, тощие деревья и прятавшихся женщин. «И хорошо делают, что прячутся, чернозубые!» — говорили некоторые. «Кисел виноград...» [13] — скажете вы. А женщины действительно чернозубые: только до замужества хранят они естественную белизну зубов, а по вступлении в брак чернят их каким-то составом.

Фаддеев, бывший в числе наших слуг, сказал, что и их всех угостили и на этот раз хорошо. «Чего ж вам дали?» — спросил я. «Красной и белой каши; да что, ваше высокоблагородие, с души рвет».— «Отчего?» — «Да рыба — словно кисель, без соли, хлеба нет!»

Вслед за нами явилось к фрегату множество лодок, и старший чиновник спросил, довольны ли мы: это только предлог, а собственно ему поручено проводить нас и донести, что он *доставил нас* в целости на фрегат. Случись с нами что-нибудь, несчастие, неприятность, хотя бы от провожатых и не зависело отвратить ее, им бы досталось.

Чрез час каюты наши завалены были ящиками: в большом рыба, что подавали за столом, старая знакомая, в другом сладкий и очень вкусный

хлеб, в третьем конфекты. «Вынеси рыбу вон»,— сказал я Фаддееву Вечером я спросил, куда он ее дел? «Съел с товарищами»,— говорит. «Что ж, хороша?» — «Есть душок, а хороша»,— отвечал он.

На другой день, 1-го января 1854 г., приехал Эйноске условиться о завтрашнем дне. Увидя нас всех в праздничных платьях, он спросил о причине. Ему сказали, что у нас наступил новый год. Он поздравил; мы велели подать шампанского, до которого он, кажется, большой охотник И он, и два бывшие с ним баниоса подпили: те покраснели, а Эйноске смесью английского, голландского и французкого языков с нагасакским наречием, извинялся, что много пил, и, в подтверждение этого, забыл у нас свою мантилью на собачьем меху. Он выучился пить шампанское у американцев, и как скоро: те пробыли всего шесть дней!

А свежо: зима в полном разгаре, всего шесть градусов тепла. Небо ясно; ночи светлые; вода сильно искрится. Вообще, судя по тому, что мы до сих пор испытали, можно заключить, что Нагасаки — один из благословенных уголков мира по климату. Ровная погода: когда ветер с севера — ясно и свежо, с юга — наносит дождь. Но мы видели больше ясного времени.

Завтрашнего дня не было, то есть у нас готовился неслыханный и невиданный праздник и не состоялся. Праздник этот — важный факт доказывающий, что все бессильно перед временем и обстоятельствами Давно ли все крайневосточные народы, японцы особенно, считали нас европейцев, немного хуже собак? не хотели знаться, дичились, чуждались? И нас губернатор хотел принять с таким, с такою... глупостью следовало бы сказать, с гордостью, скажу учтивее: а теперь четыре важные японские сановника сами едут к нам в гости! Кажется, небывалый еще пример в сношениях японцев с иностранцами! Они просили отсрочки на два дня и, вместо пятницы, как обещали было сначала, назначили воскресенье. У них случились тут какие-то праздники, и оттого они отложили.

Да, Эйноске, между прочим, приезжал с Хагивари, объясниться насчет салюта. Мы ожидали, что вчера, при свидании, скажут нам что-нибудь об этом. Но ни слова: хозяева вполне уважили законы гостеприимства. Зато теперь Хагивари приехал с упреком от губернатора за салют. Ему отвечали сначала шуткой, потом заметили, что они сами не сказали ничего решительного о том, принимают ли наш салют или нет оттого мы, думая, что они примут его, салютовали и себе. Они стали просить не палить больше. «Теперь нет повода — и не станем, если только полномочные не хотят, чтоб им палили»,— отвечал Посьет. «Не хотят, не хотят!» — подтвердили они. «А если другой адмирал придет сюда,— спросил Эйноске заботливо,— тогда будете палить?» «Мы не предвидим чтобы пришел сюда какой-нибудь адмирал,— отвечали ему,— оттого и не полагаем, чтоб понадобилось палить».

В этом вопросе крылся, кажется, другой: не придут ли англичане? Японцы уже выразили однажды предположение, что вслед за нами, вероятно, придут и другие нации, с предложениями о торговле.

В новый год, вечером, когда у нас все уже легли, приехали два чи-

новника от полномочных, с двумя второстепенными переводчиками, Сьозой и Льодой, и привезли ответ на два вопроса. К. Н. Посьет спал; я ходил по палубе и встретил их. В бумаге сказано было, что полномочные теперь не могут отвечать на предложенные им вопросы, потому что у них есть ответ верховного совета на письмо из России и что, по прочтении его, адмиралу, может быть, ответы на эти вопросы и не понадобятся. Нечего делать, надо было подождать.

Мы занялись приготовлениями к встрече невиданных на европейских судах гостей. Сколько возни, хлопот, соображений истратилось в эти два дня! Смешать и посадить всех гостей за один стол, как бы сделали в Европе, невозможно. Здесь соблюдается такая строгая постепенность в званиях, что несоблюдением ее как раз наживешь врагов. Вообще нужна большая осторожность в обращении с ними, тем более, что изучение приличий составляет у них важную науку, за неимением пока других. Еще Гвальтьери, говоря о японцах, замечает, что наша вежливость у них — невежливость, и наоборот. Например: встать перед гостем, говорит он, у них невежливо, а надо сесть. Мы снимаем шляпу в знак уважения, а они — туфли. Мы, выходя из дома, надеваем плащ, а они — широкие панталоны или юбку, которую будто бы снимают при входе в дом. (Посещая нас, они не снимали ее: не изменился ли обычай и в самой Японии со времени Гвальтьери?) Наши русые волосы и белые зубы им противны; у них женщины сильно чернят зубы; чернили бы и волосы, если б они и без того не были чернее сажи. У нас женщины, в *интересном положении,* как это называют некоторые, надевают широкие блузы, а у них сильно стягиваются; по разрешении от бремени у нас и мать и дитя моют теплой водой (кажется, так?), а у них холодной. Не знаю, отчего Гвальтьери, приводя эти противоположности, тут же кстати не упомянул, что за обедом у них запивают кушанья, как сказано выше, горячей водой, а у нас холодной. Или это они недавно выдумали?

Да, это все так; эту параллель можно продолжать, пожалуй, еще. Мне, например, не случалось видеть, чтоб японец прямо ходил или стоял, а непременно полусогнувшись, руки постоянно держит наготове, на коленях, и так и смотрит по сторонам, нельзя ли кому поклониться. Лишь только завидит кого-нибудь равного себе, сейчас колени у него начинают сгибаться, он точно извиняется, что у него есть ноги, потом он быстро наклонится, будто переломится пополам, руки вытянет по коленям и на несколько секунд оцепенеет в этом положении; после вдруг выпрямится и опять согнется, и так до трех раз и больше. А иногда два японца, при встрече, так и разойдутся в этом положении, то есть согнувшись, если не нужно остановиться и поговорить. Слуги у них бегают тоже полусогнувшись и приложив обе ладони к коленям, чтоб недолго было падать на пол, когда понадобится. Перед высшим лицом японец быстро падает на пол, садится на пятки и поклонится в землю.[14] У самих полномочных тоже голова всегда клонится долу: все они сидят с поникшими головами, по привычке, в свою очередь, падать ниц перед высшими лицами. Полномочным, конечно, не приходится упражнять себя в этом, пока они в Нагасаки; а в Едо?

Утром 4-го января фрегат принял праздничный вид: вымытая, вытертая песком и камнями, в ущерб моему ночному спокойствию, палуба белела, как полотно; медь ярко горела на солнце; снасти уложены были красивыми бухтами, из которых в одной поместился общий баловень наш, кот Васька. Все нарядились. На юте устроили, из сигнальных флагов, палатку и в ней седалища из ковров для четырех полномочных и стулья для их свиты. В адмиральской каюте, роскошно и без того убранной, устроены были такие же седалища, для них же, за особым столом. Другой стол приготовлен был для адмирала и для троих из его свиты. За маленьким столиком, особо, должен был помещаться японский церемониймейстер. Для переводчиков приготовили было два стула, но они ни сесть на них, ни обедать не смели, а расположились на пятках, на полу.

Часов в 11 приехали баниосы, с подарками от полномочных адмиралу. Все вещи помещались в простых деревянных ящиках, а ящики поставлены были на деревянных же подставках, похожих на носилки с ножками. Эти подставки заменяют отчасти наши столы. Японцам кажется неуважительно поставить подарок на пол. На каждом ящике положены были свертки бумаги, опять с символом «прилипчивости».

Но что за вещи прислали они — загляденье! Один прислал шкатулку, черную, лакированную, с золотыми рельефами храмов, беседок, гор, деревьев. Лак необыкновенно густ, черен, не сходит, говорят, десятки лет и чист, как зеркало. Таких лакированных вещей нигде нет. Другая коробочка испещрена красно-золотистыми, потонувшими в лаке искрами. При шкатулке были разные безделки: курительница для порошков, которую японцы носят на поясе, и еще какие-то принадлежности. Другой подарил чернильницу, с золотыми украшениями, со всем прибором для письма, с тушью, кистями, стопой бумаги и даже с восковыми раскрашенными свечами.

Но самым замечательным и дорогим подарком была сабля, и по достоинству, и по значению. Подарок сабли у них служит несомненным выражением дружбы. Японские сабельные клинки, бесспорно, лучшие в свете. Их строго запрещено вывозить. Клинки у них испытываются, если Эйноске не лгал, палачом над преступниками. Мастер отдает их, по выделке, прямо палачу, а тот пробует, сколько голов (!?) можно перерубить разом. Мастер чеканит число голов на клинке. Это будто бы и служит у них оценкою достоинства сабли. Подаренная адмиралу перерубает, как говорил Эйноске, три головы. Сабли считаются драгоценностью у японцев. Клинок всегда блестит, как зеркало; на него, как говорят, не надышатся. У Эйноске сабля, подаренная ему другом, существует, по словам его, около пятисот лет.

Я не знаю толку в саблях, но не мог довольно налюбоваться на блеск и отделку клинка, подарка Кавадзи. Ножны у ней сделаны, кажется, из кожи акулы, и все зашиты в шелк, чтоб предостеречь от ржавчины. Старик Тсутсуй подарил дорогие украшения к этой сабле, насечки и т. п. Подарок знаменательный, особенно при начале дел наших! Полномочные сами не раз давали понять нам, что подарок этот выражает отношения Японии к России. Оно тем более замечательно, что подарок сделан, конечно,

с согласия и даже по повелению правительства, без воли которого ни один японец, кто бы он ни был, ни принять, ни дать ничего не смеет. Один раз Эйноске тихонько сказал Посьету, что наш матрос подарил одному японцу пустую бутылку. «Ну, так что ж?» — спросил тот. «Позвольте прислать ее назад,— убедительно просил Эйноске,— иначе худо будет: достанется тому, кто принял подарок». «Да вы бросьте в воду».— «Нельзя: мы привезем, а вы уж и бросьте, пожалуй, сами».

Каков народ! какова система ограждения от контрабанды всякого рода! Какая бы, кажется, могла быть надежда на торговлю, на введение христианства, на просвещение, когда так глухо заперто здание и ключ потерян? Как и когда придет все это? А придет, нет сомнения, хотя и нескоро.

В Китае началось и деятельно продолжается. Когда я ехал в Шанхай, я думал, что там, согласно Нанкинскому трактату, далее определенной черты европейцу нельзя и шагу сделать, а между тем мы исходили все окрестности и знаем их, почти как петербургские. Всего десять лет прошло с открытия пяти портов в Китае — и европейцы почти совсем овладели ими. Все делается исподволь, понемногу. Например, в Китае иностранцам позволено углубляться внутрь страны на такое расстояние, чтобы в один день можно было на лошади вернуться домой; а американский консул в Шанхае выстроил себе дачу где-то в горах, миль за восемьдесят от моря. Когда губернатор провинции протестовал против этого, консул отвечал, что католические миссионеры, в разных местах, еще дальше имеют монастыри: пусть губернатор выгонит их оттуда, тогда и он откажется от дачи. А выгнать миссионеров нельзя: они глубоко пустили корни. Католический епископ в Гон-Конге сказывал, что между китайцами считается до пятисот тысяч католиков. Все они тайно покровительствуют миссионерам, укрывают их от взоров правительства, дают селиться среди себя и всячески помогают. Начальство подкуплено, и миссионеры делают свое дело явно. Губернатор знал о миссионерах и потому замолчал на возражение консула.

В другой раз к этому же консулу пристал губернатор, зачем он снаряжает судно, да еще, кажется, с опиумом, в какой-то шестой порт, чуть ли не в самый Пекин, когда открыто только пять? «А зачем,— возразил тот опять,— у острова Чусана, который не открыт для европейцев, давно стоят английские корабли? Выгоните их, и я не пошлю судно в Пекин». Губернатор знал, конечно, зачем стоят английские корабли у Чусана, и не выгнал их. Так судно американское и пошло, куда хотело.

Сделавши одно послабление, губернатор должен был допустить десять и молчать, иначе ему несдобровать. Он сам первый нарушитель законов. А европейцы берут все больше и больше воли, и в Пекине узнают об этом тогда, когда уже они будут под стенами его и когда помешать разливу чужого влияния будет трудно.

Впрочем, этого ожидать скоро нельзя по другим обстоятельствам: во всяком другом месте жители, по лености и невежеству, охотно отдают себя в опеку европейцам, и те скоро делаются хозяевами у них. Китайцы, напротив, сами купцы по преимуществу и, по меркантильному духу и

спекулятивным способностям, превосходят англичан и американцев и не выпустят из своих рук внутренней торговли. Оттого ни те, ни другие не имеют успеха внутри Китая и даже не завязывают там никаких прямых сношений. Торговля производится чрез китайских комиссионеров, которые и ездят внутрь для закупки товаров от самих плантаторов чая и фабрикантов шелка.

Если и Японии суждено отворить настежь ворота перед иностранцами, то это случится еще медленнее; разве принудят ее к тому войной. Но и в этом отношении она имеет огромные преимущества перед Китаем. Если она переймет у европейцев военное искусство и укрепит свои порты, тогда она безопасна от всякого вторжения. Одна измена может погубить ее: то есть если кому-нибудь удастся зажечь в ней междоусобную войну, вооружить удельных князей против метрополии — тогда ей несдобровать. Но пока она будет держаться нынешней своей системы, увертываясь от влияния иностранцев, уступая им кое-что и держа своих, по-прежнему, в страхе, не позволяя им брать без позволения даже пустой бутылки, она еще будет жить старыми своими началами, старой религией, простотой нравов, скромностью и умеренностью образа жизни. В настоящую минуту можно и ее отпереть разом: она так слаба, что никакой войны не выдержит. Но для этого надо поступить по-английски, то есть пойти, например, в японские порты, выйти без спросу на берег и, когда станут не пускать, начать драку, потом самим же пожаловаться на оскорбление и начать войну. Или другим способом: привезти опиум и, когда станут принимать против этого строгие меры, тоже объявить войну.

Долго заставили себя ждать полномочные. Мы уж давно расхаживали по юту и по шканцам, раза по два бегали к камбузу съесть по горячему пирожку или по котлетке, а их все нет!

В первом часу наконец от берега тронулась целая флотилия к нам. Посреди пятидесяти или шестидесяти лодок медленно плыли две огромные крытые лодки, или барки, как два гроба, обтянутые, как гробы же, красной материей, утыканные золочеными луками, стрелами, пиками и булавами. Лодки были в два этажа, с галереею вокруг, для гребцов. Вверху помещалась свита, внизу сами полномочные. Множество мелких лодок вели большие на буксире. На носу большой лодки стоял японец с какой-то белой метелкой и, махая ею, управлял буксиром, под мерный звук гонга и криков. Шум был страшный. Оба гроба пристали к парадному трапу и стали рядом.

Баниосы, переводчики поползли, как из мешка, и затопили палубу. За ними вышло до шестидесяди человек караула. Японцы не хотели уступить нам в церемониале. Для угощения свиты и людей и для соблюдения порядка назначено было несколько офицеров. Наконец вышли и полномочные. К. Н. Посьет и я встретили их при входе, адмирал — у дверей своей каюты. На шканцы был вызван караул, с музыкой. Им предложили посмотреть фрегат, и они с удовольствием согласились. Я никак не думал, чтоб старик приехал. Куда бы, кажется, ему? А он оказал удивительную бодрость, обошел палубы, спустился в самую нижнюю, в арсенал, и не обнаруживал никаких признаков усталости. Они на всем останавливались, расспраши-

вали и, если находили что-нибудь покрытое или завешенное, приподнимали и спрашивали, что там такое, зачем.

Их повели в адмиральскую каюту. Она была очень ярко убрана: стены в ней, или, по-морскому, *переборки,* и двери были красного дерева, пол, или палуба, устлана ковром; на окнах красные и зеленые драпри. Для четырех полномочных приготовлен был широкий и невысокий диван, покрытый пестрыми английскими коврами. Посидев несколько минут, все пошли наверх, в палатку. Полномочные вели себя как тонкие, век жившие в свете люди; все должно было поражать их, не видавших никогда европейского судна, мебели, украшений. Что шаг, то новое для них. Они сознались в этом на другой день, но тут не показали, ни жестом, ни взглядом, удивления или восторга. Музыку они тоже слышали в первый раз, и только один из них качал головой в такт, как делают у нас меломаны, сидя в опере.

Им подали чай. Между тем вся команда выстроилась на палубе; началось ученье ружьем, потом маршировка. Четыреста человек маршировали вокруг мачт, от юта до бака и обратно. Но всего эффектнее было, когда пробили тревогу: из всех люков сыпались люди и разбегались, как мыши, по всем направлениям, каждый к своему орудию. Я уж привык к этому, но и мне зрелище это показалось интересно; а людям, не видавшим никогда ничего подобного! Им показали действие орудиями. Они благодарили адмирала и попросили поблагодарить людей. «Спасибо, ребята»,— сказал адмирал. «Ради стараться!» — раздалось четыреста голосов. Опять эффект.

Накрыли столы. Для полномочных и церемониймейстера в гостиной адмиральской каюты. За другим столом сидел адмирал и трое нас. В столовой посадили одиннадцать человек свиты полномочных и еще десять человек в кают-компании. Для караула отведено было место в батарейной палубе.

Хотя японцы и просили устроить обед на европейский лад, однако ж нельзя было заставить их есть вилками и ножами, и потому наделали палочек. Хлеба они не едят, и им беспрестанно ставили горячий рис. С тарелок они тоже не привыкли есть: им подавали суп и уху в чайных чашках. В столовой, где обедала свита, на столе расставлены были тарелки с вареньем и пирожным. Гости начали с этого и до супу уничтожили все сладкие пирожки и конфекты, полагая, что если поставлено, то медлить нечего. «Что это?» — спрашивали они при каждом блюде и чего-то, казалось, ожидали. Им подавали больше рыбы, но переводчик сказал, что они ждут мяса, которое едят как редкость. Отвращения они к нему не имеют, напротив, очень любят, а не едят только потому, что не велено, за недостатком скота, который употребляется на работы. У нас из мясных блюд приготовлен был для них нарочно пилав из баранины, ветчина, и, кажется, только. Говядины на фрегате в то время не было. Прочие блюда были из рыбы или живности. Они с удовольствием ели баранину, особенно четвертый полномочный. Кончив тарелку, он подал ее человеку сам: знак, что желает повторения. Скатерти, салфетки, солонки — все обращало их внимание. И надо было отдать им справедливость: они так пригляделись к нашему порядку,

что едва можно было заметить разницу между ними и европейцами. Только один из них, Кавадзи, на минуту придержался японского обычая. Подали какое-то жидкое пирожное, вроде крема, с бисквитами: он попробовал, должно быть ему понравилось; он вынул из кармана бумажку, переложил в нее все, что осталось на тарелке, стиснул и спрятал за пазуху. «Не подумайте, что я беру это для какой-нибудь красавицы,— заметил он,— нет, это для своих подчиненных».

При этом случае разговор незаметно перешел к женщинам. Японцы впали было в легкий цинизм. Они, как все азиатские народы, преданы чувственности, не скрывают и не преследуют этой слабости. Если хотите узнать об этом что-нибудь подробнее, прочтите Кемпфера или Тунберга. Последний посвятил этому целую главу в своем путешествии. Я не был внутри Японии и не жил с японцами, и потому мог только кое-что уловить из их разговоров об этом предмете.

Я и Посьет беспрестанно выходили из-за стола то подлить им шампанского, то показать, как надо есть какое-нибудь блюдо, или растолковать, из чего оно приготовлено. Они смущались нашею вежливостью и внимательностью и не знали, как благодарить.

Пили они умеренно. Они пробовали с большим любопытством вино, отпивая понемногу, но бокала не доканчивали, кроме, однако ж, четвертого полномочного, мужчины рослого и полного. Тот выпил бокала четыре.

Им намекнули было о деле, о завтрашнем свидании; но полномочные отвечали, что они увлеклись нашим праздником, сделанным им приемом и приятной беседой, а о деле и забыли совсем.

Переводчики ползали по полу: напрасно я приглашал их в другую комнату, они и руками и ногами уклонились от обеда, как от дела, совершенно невозможного в присутствии grooten herren, важных особ. Но у них в горле пересохло. Кичибе вертелся на полу во все стороны, как будто его кругом рвали собаки. «Хи, хи!» — беспрестанно откликался он то тому, то другому. Под конец обеда, в котором не участвовал, он совсем охрип и осовел. Я налил ему и Эйноске по бокалу шампанского: они стали было отнекиваться и от этого, но Кавадзи махнул головой, и они, поклонившись ему до земли, выпили с жадностью, потом обратили признательный взгляд ко мне и подняли бокалы ко лбу, в знак благодарности.

Я заглянул в другую комнату: там пир был в полном разгаре. Несколько раскрасневшихся лиц и приятных улыбок доказывали, что собеседники тоже пробовали наши вина. Между ними я заметил одну совсем бритую голову, без косички: это доктор. Доктора и жрецы не носят вовсе волос. Он рекомендовался нашим докторам, был очень жив и говорил немного по-голландски. За десертом, в подражание горячему саки, подали им глинтвейн. Полномочные хлебнули немного, более из любопытства. Потом мы, подражая тоже их обычаю, поставили перед каждым полномочным по ящику конфект. Они уже тут не могли скрыть своего удовольствия или удивления и ахнули — так хороши были ящики из дорогого красивого дерева, с деревянной же мозаикой. Да и конфекты, пестротой своей, бросались в глаза. Потом им показали и подарили множество раскрашенных гравюр, с изображением видов Москвы, Петербурга, наших войск,

еще купленных в Англии картинок женских головок, плодов, цветов и т. п. Новые ахи удовольствия и изумления!

Наконец, около сумерек, все это нашествие иноплеменных исчезло от нас, с просьбою посетить их.

На другой день, 5-го января, рано утром, приехали переводчики спросить о числе гостей, и, когда сказали, что будет немного, они просили пригласить побольше, по крайней мере хоть всех старших офицеров. Они сказали, что настоящий, торжественный прием назначен именно в этот день и что будет большой обед. Как нейти на большой обед? Многие, кто не хотел ехать, поехали.

В самом деле, на пристани ожидала нас толпа гуще, было больше суматохи; навстречу вышли важнее чиновники, в самых пестрых юбках. Еще я заметил на этот раз, кроме солдат в конических шапках, какую-то прислугу, несшую белые фонари из рыбьих пузырей, на высоких бамбуковых шестах. Прямо против пристани выстроена была новенькая, только что с иголочки, галерея, вроде гауптвахты. Там, на пятках, сидело в четыре ряда человек пятьдесят японцев. Наверху, на террасе, налево и прямо — везде такие же галереи: не помню, были ли они прежде тут или нет? А! вот и лошадь! наконец я увидел и ее: дрянная буланая лошаденка пугалась музыки, прыгала и рвалась к лестнице. Всадник едва удерживал ее; кажется, он был представитель японской кавалерии. Но с нами караула было меньше, и шествие не так торжественно.

Японские полномочные и свита одеты были, по-прежнему, очень парадно. Тсутсуй и Кавадзи объявили, что они имеют вручить письмо от верховного совета. «Пожалуйте, где оно?» — спросили их. «А вот,— отвечали они, указывая на окованный железом белый сундук, какие у нас увидишь во всяком старинном купеческом доме, и на шелковый, с кистями, тут же стоящий ящик.— Кто примет письмо?» О. А. Гошкевич, по приказанию адмирала, вышел на средину. Церемониймейстер, с поклоном, подошел и открыл шелковый ящик. «Ужели такое большое письмо?» — думал я, глядя с любопытством на ящик. «Извольте же принимать»,— сказал переводчик. Гошкевич взял ящик и насилу держал в руках. Он пошел в «отдыхальню», и мы за ним, а за нами понесли сундук. «Зачем же большой сундук?» — подумал я еще, глядя в недоумении на сундук. Открыли его: там стоял другой сундук, поменьше, потом третий, четвертый, все меньше и меньше. И вот в этот-то четвертый сундук и вставлялся шелковый, по счету пятый, ящик. Но отчего ж он тяжелый? Подняли крышку и увидели в нем еще шестой и последний ящик, из белого лакированного дерева, тонкой отделки, с окованными серебром углами. А уж в этом ящике и лежала грамота от горочью, в ответ на письмо из России, писанная на золоченой, толстой, как пергамент, бумаге и завернутая в несколько шелковых чехлов. Какие затейники!

После этого церемониймейстер пришел и объявил, что его величество сиогун прислал российскому полномочному подарки и просил принять их. В знак того, что подарки принимаются с уважением, нужно было дотронуться до каждого из них обеими руками. «Вот подарят редкостей! — думали все,— от самого сиогуна!» «Что подарили?» — спрашивали мы

Накамура Тамея, секретарь японских уполномоченных. Рисунок. Вышеславцев.

шепотом у Посьета, который ходил в залу за подарками. «Ваты»,— говорит. «Как ваты?» — «Так, ваты шелковой да шелковой материи».— «Что ж, шелковая материя — это хорошо!»

В это время слуги внесли подставки, вроде постелей, и на них разложены были куски материй и ваты. Материя двух цветов, белая и красная, с ткаными узорами, но так проста, что в порядочном доме нельзя и драпри к окну сделать. «Что ж, нет у них лучше или не может дать сиогун?» Как нет! едва ли в Лионе делают материи лучше [15] тех, которые мы видели на платьях полномочных. Но японцы не дарят и не показывают их, чтобы не привлекать на свое добро чужих взглядов и отбить охоту торговать. Притом шелк у них запрещено вывозить, наравне с металлами. В Японии его мало. Им сырец привозится из Китая, и они выделывают материю для собственного употребления. Лучшие и богатые материи делаются ссыльными, на маленькой неприступной скале, к югу от Японии. Там ни одна лодка не может пристать к скалам, и преступникам в известные сроки привозят провизию, а они на веревках втаскивают ее вверх. Сам остров мал и бесплоден.

Наконец сундук с письмом и подарки — все убрали, церемониймейстер пришел опять сказать, что его величество сиогун повелел угостить нас обедом. Обед готовили, как видно, роскошный. Вместо шести, было поставлено по двенадцати подставок, или скамеечек, перед каждым из нас. На каждой скамеечке — по две, по три, а на иных и больше чашек с кушаньями. Кроме того, были наставлены разные миниатюрные столики, коробки,

как игрушки; на них воткнуты цветы, сделанные из овощей и из материй очень искусно. Под цветами лежала закуска: кусочки превкусной прессованной желтой икры, сырая рыба, красная пастила, еще что-то из рыбы, вроде сыра.

На особом миньятюрном столике, отдельно, посажена на деревянной палочке целая птичка, как есть в натуре, с перьями, с хвостом, с головой, похожая на бекаса. Когда я задумался, не зная, за что приняться, Накамура Тамея, церемониймейстер, подошел ко мне и показал на птичку, предлагая попробовать ее. «Да как же ее есть, когда она в перьях?» — думал я, взяв ее в руки. Но между перьями накладено было мясо птички, изжаренное и нарезанное кусочками. Дичь была очень вкусна. Я съел всю птичку. Накамура знаками спросил, не хочу ли я другую? «Гм!» — сделал я утвердительно. Слуга вскочил, взял миньятюрную подставку, с бывшей птичкой, и принес другую. А я между тем обратил внимание на прочее: съел похлебку сладкую, с какими-то клецками, похожими немного и на макароны. Что там было еще — я и вникнуть не мог. Далее была похлебка из грибов, варенных целиком, рыба с бульоном, и под соусами, вареная зелень, раки и вареные устрицы, множество соленых и моченых овощей: все то же, что в первый раз, но со многими прибавлениями.

Рыба, с загнутым хвостом и головой, была, как и в первый раз, тут же, но только гораздо больше прежней. Это красная толстая рыба, называемая steinbrassen по-голландски, по-японски *тай* — лакомое блюдо у японцев; она и в самом деле хороша.[16]

Цветы искусственные и дичь с перьями напомнили мне старую европейскую затейливую кухню, которая щеголяла такими украшениями. Давно ли перестали из моркови и свеклы вырезывать фигуры, узором располагать кушанья, строить храмы из леденца и т. п.? Еще и нынче по местам водятся такие утонченности. Новейшая гастрономия чуждается украшений, не льстящих вкусу. Угождать зрению — не ее дело. Она презирает мелким искусством — из окорока делать конфекту, а из майонеза цветник.

Опять мы пили саки, а японцы, сверх того, горячую воду; опять наставили сластей, только гораздо больше прежнего. Особенно усердно приглашали нас наши амфитрионы[17] есть сладкое тесто из какого-то горошка. Были тут синие, белые и красные конфекты, похожие вкусом частью на картофель, частью на толокно. Мак тоже играл роль, но всего более рис: из него сделаны были звездочки, треугольники, параллелограммы и т. п. Было из теста что-то вроде блина, с начинкой из сахарного песку, в первобытном виде, как он добывается из тростника; были клейкие витушки и проч. Потом подали еще толченого, дорогого чая, взбитого с пеной, как шоколад.

Меня особенно помирило с этой кухней отсутствие всякого растительного масла. Японцы едят три раза в сутки и очень умеренно. Утром, когда встают — а они встают прерано, раньше даже утра, потом около полудня и, наконец, в 6 часов. Порции их так малы, что человеку с хорошим аппетитом их обеда не достанет на закуску. Чашки, из которых японцы

едят, очень малы, а их подают неполные. В целой чашке лежит маленький кусочек рыбы, в другой три гриба плавают в горячей воде, там опять под соусом рыбы столько, что мало один раз в рот взять. И все блюда так. Головнин прав, говоря, что бывшим с ним в плену матросам давали мало есть.[18] По-своему японцы давали довольно, а тем мало.

Мы после узнали, что для изготовления этого великолепного обеда был приглашен повар симабарского удельного князя. Симабара — большой залив по ту сторону мыса Номо, милях в двадцати от Нагасаки. Когда князь Симабара едет ко двору, повар, говорили японцы, сопутствует ему туда щеголять своим искусством.

В сумерки мы простились с хозяевами и с музыкой воротились домой. Вслед за нами приехали чиновники узнать, довольны ли мы, и привезли гостинцы. Какое наказание с этими гостинцами! побросать ящики в воду неловко: японцы увидят, скажут, что пренебрегаем подарками, беречь — места нет. Для большой рыбы также сделаны ящики, для конфект особо, для сладкого хлеба опять особо. Я сберег несколько миньятюрных подставок; если довезу, то увидите образчик терпения и в то же время мелочности.

Привезли подарки от сиогуна, вату и проч., и всё сложили на палубе: пройти негде. Ее было такое множество, что можно было, кажется, обложить ею весь фрегат.

На другой же день начались и переговоры, и наши постоянные поездки в Нагасаки. Мы ездили без всякого уже церемониала, в двух катерах. В одном адмирал и четверо из нас: Посьет, Гошкевич, Пещуров и я, в другом слуги со стульями. Когда мы предложили оставлять стулья на берегу, в доме губернатора, его превосходительство и руками и ногами против этого. Он сказал, что ему придется самому там спать и караулить стулья. «Пожар будет, сгорят, пожалуй,— говорил он,— и крыс тоже много в этом доме: попортят». Мы все засмеялись, и он не выдержал и тоже осклабился. «Да мы не взыщем, у нас еще есть»,— возразил адмирал. «Вы не взыщете, а я все-таки должен буду отвечать, если хоть один стул попортится»,— заметил он и не согласился, а предложил, если нам скучно возить их самим, брать их и доставлять обратно в японской лодке, что и делалось.

Не знаю, писал ли я, что место велено дать и что губернатор просил только сроку для отделки дома там и т. п. Но день за днем проходил, а отговорка все была одна и та же, то есть что помещение для нас еще не готово. Он улыбался, когда ему изъявляли неудовольствие: видно было, что он действовал не сам собою. Ему, конечно, поручено было протянуть дело до нашего ухода, и он исполнял это отлично. Наконец тянуть долее было нельзя, и он сказал, что место готово, но предложил пользоваться им на таких условиях, что согласиться было невозможно: например, чтобы баниосы провожали нас на берег и обратно к судам. Адмирал приказал им сказать, что места не надо, и отослал бумагу об этих условиях назад. Японцы того и хотели. Им нужно было не давать повадки иностранцам съезжать на берег: если б они дали место нам, надо было бы давать и другим, а они надеялись или вовсе уклониться от этой необходимости, или, по возможности, ограничить ее, наконец, хоть отдалить, сколько можно, это событие.

Не касаюсь предмета нагасакских конференций адмирала с полномочными: переговоры эти могут послужить со временем материалом для описаний другого рода, важнее, а не этих скромных писем, где я, как в панораме, взялся представить вам только внешнюю сторону нашего путешествия.

Мы часто повадились ездить в Нагасаки, почти через день. Чиновники приезжали *за нами* всякий раз, хотя мы просили не делать этого, благо узнали дорогу. Но им все еще хочется показывать народу, что иностранцы не иначе, как под их прикрытием, могут выходить на берег.

Что с ними делать? Им велят удалиться, они отойдут на лодках от фрегата, станут в некотором расстоянии; и, только мы отвалим, гребцы затянут свою песню: «Оссильян! оссильян!» и начнут стараться перегнать нас.

В день, назначенный для второй конференции, погода была ужасная: ветер штормовой ревел с ночи, дождь лил как из ведра. Японцы никак не воображали, что мы приедем, не являлись *за нами* и не ждали нас на берегу. А мы надели непромокаемые пальто, взяли зонтики, да и отправились. Вода ручьем текла с нас, мы ничего, едем себе. Японцы и рты разинули. Они, как мухи в непогоду, сидели по своим углам. В доме поставили *мангалы,* небольшие жаровни, для нагревания воздуха. Но воздух не нагревался; а можно было погреть только руки да угореть. Я не понимаю, как они сами терпят это? Мы почти всякий раз, во время заседаний, надевали шинели и пальто. Это подало повод почти каждому японцу подойти ко мне и погладить бобровый воротник. На вопрос, есть ли у них меха, они отвечали, что есть звери: выдры и лисицы, но что мехов почти никто не носит.

Назначать время свидания предоставлено было адмиралу. Один раз он назначил чрез два дня, но, к удивлению нашему, японцы просили назначить раньше, то есть на другой день. Дело в том, что Кавадзи хотелось в Едо, к своей супруге, и он торопил переговорами. «Тело здесь, а душа в Едо»,— говорил он не раз.

Кавадзи этот всем нам понравился, если не больше, так по крайней мере столько же, сколько и старик Тсутсуй, хотя иначе, в другом смысле. Он был очень умен, а этого не уважать мудрено, несмотря на то, что ум свой он обнаруживал искусной диалектикой против нас же самих. Но каждое слово его, взгляд, даже манеры — все обличало здравый ум, остроумие, проницательность и опытность. Ум везде одинаков: у умных людей есть одни общие признаки, как и у всех дураков, несмотря на различие наций, одежд, языка, религий, даже взгляда на жизнь.

Мне нравилось, как Кавадзи, опершись на богатый веер, смотрел и слушал, когда речь обращена была к нему. До половины речи рот его был полуоткрыт, взгляд немного озабочен — признаки напряженного внимания. На лбу, в меняющихся узорах легких морщин, заметно отражалось, как собирались в голове у него, одни за другим, понятия и как формировался из них общий смысл того, что ему говорили. После половины речи, когда, по-видимому, он схватывал главный смысл ее, рот у него сжимался, складки исчезали на лбу, все лицо светлело: он знал уже, что отвечать. Если вопрос противной стороны заключал в себе, кроме сказанного,

еще другой, скрытый смысл, у Кавадзи невольно появлялась легкая улыбка. Когда он сам начинал говорить и говорил долго, он весь был в своей мысли, и тогда в глазах прямо светился ум. Если говорил старик, Кавадзи потуплял глаза и не смотрел на старика, как будто не его дело, но живая игра складок на лбу и содрогание век и ресниц показывали, что он слушал его еще больше, нежели нас. Переговоры все, по-видимому, были возложены на него, Кавадзи, а Тсутсуй был послан так, больше для значения и, может быть, тоже по своему приятному характеру.

Однажды, в частной беседе, адмирал доказывал, что японцы напрасно боятся торговли; что торговля может только разлить довольство в народе и что никакая нация от торговли не приходила в упадок, а, напротив, богатела.

Приводили им в пример, чем бы иностранцы могли торговать с ними. «Вон, например, у вас заметен недостаток в первых домашних потребностях: окна заклеены бумагой,— говорил адмирал, глядя вокруг себя,— от этого в комнатах и темно, и холодно: вам привезут стекла, научат, как его делать. Это лучше бумаги и дешево стоит». «У нас,— далее говорил он,— в Камчатке и других местах, около лежащих, много рыбы, а соли нет; у вас есть соль: давайте нам ее, и мы вам же будем возить соленую рыбу, которая составляет главную пищу в Японии. Зачем употреблять вам все руки на возделывание риса? употребите их на добывание металлов, а рису вам привезут с Зондских островов — и вы будете богаче...» «Да,— прервал Кавадзи, вдруг подняв свои широкие веки,— хорошо, если б иностранцы возили рыбу, стекло да рис и тому подобные необходимые предметы: а как они будут возить вон этакие часы, какие вы вчера подарили мне, на которые у нас глаза разбежались, так ведь японцы вам отдадут последнее...» А ему подарили прекрасные столовые астрономические часы, где кроме обыкновенного циферблата обозначены перемены луны и вставлены два термометра. Мы все засмеялись, и он тоже. «Впрочем, примите эти слова, как доказательство только того, что мне очень нравятся часы»,— прибавил он.

Хотели было после этого говорить о деле, но что-то не клеилось. «Нет, видно, нам уже придется кончить эту беседу смеючись»,— прибавил Кавадзи, приподнимаясь аристократически-лениво с пяток.

Ну, чем он не европеец? Тем, что однажды за обедом спрятал в бумажку пирожное, а в другой раз слизнул с тарелки сою из анчоусов, которая ему очень понравилась? это местные нравы — больше ничего. Он до сих пор не видал тарелки и ложки, ел двумя палочками, похлебку свою пил непосредственно из чашки. Можно ли его укорять еще и за то, что он, отведав какого-нибудь кушанья, отдавал небрежно тарелку Эйноске, который, как пудель, сидел у ног его? Переводчик брал, с земным поклоном, тарелку и доедал остальное.

Я вглядывался во все это, и — как в Китае базары и толкотня на них поразили меня сходством с нашими старыми базарами, так и в этих обычаях поразило меня сходство с нашими же старыми нравами. И у нас, у ног старинных бар и барынь, сидели любимые слуги и служанки, шуты, и у нас так же кидали им куски, называемые подачкой; у нас привозили из гостей

разные сласти или гостинцы. Давно ли еще Грибоедов посмеялся, в своей комедии, над «подачкой»?[19] В эпоху нашего младенчества из азиатской колыбели попало в наше воспитание несколько замашек и обычаев, и теперь еще не совсем изгладившихся, особенно в простом быту.

После восьми или десяти совещаний полномочные объявили, что им пора ехать в Едо. По некоторым вопросам они просили отсрочки, опираясь на то, что у них скончался государь, что новый сиогун очень молод и потому ему предстоит сначала показать в глазах народа уважение к старым законам, а не сразу нарушать их и уже впоследствии как будто уступить необходимости. Далее нужно ему, говорили они, собрать на совет всех своих удельных князей, а их шестьдесят человек.

Однажды на вопрос, кажется, о том, отчего они так медлят торговать с иностранцами, Кавадзи отвечал: «Торговля у нас дело новое, несозрелое; надо подумать, как, где, чем торговать. Девицу отдают замуж,— прибавил он,— когда она вырастет: торговля у нас не выросла еще...»

После семи или восьми заседаний начал уже ездить на фрегат церемониймейстер Накамура Тамея, с Эйноске и с четырьмя секретарями, записывавшими все, что говорилось. Как быстро подчиненный усвоивает здесь роль начальника, да и не здесь только! Накамура, как медведь, неловко влезал на место, где сидели полномочные, сжимал, по привычке многих японцев, руки в кулаки и опирал их о колени, морщил лоб и говорил с важностью. Но его постигла было вот какая беда: адмирал отдал ему, для передачи полномочным, запечатанный пакет, заключавший важные бумаги.

Накамура преблагополучно доставил его по адресу. Но на другой день вдруг явился, в ужасной тревоге, с пакетом, умоляя взять его назад... «Как взять? Это не водится, да и не нужно, причины нет!» — приказал отвечать адмирал. «Есть, есть,— говорил он,— мне не велено возвращаться с пакетом, и я не смею уехать от вас. Сделайте милость, возьмите!»

И сами полномочные перепугались: «В бумагах говорится что-то такое,— прибавил Накамура,— о чем им не дано никаких приказаний в Едо: там подумают, что они как-нибудь сами напросились на то, что вы пишете». Видя, что бумаг не берут, Накамура просил адресовать их прямо в горочью. На это согласились.

Как он обрадовался, когда Посьет, по приказанию адмирала, дотронулся до бумаги рукой: это значило — взял. Он, с радости, отвязал от пояса бронзовый флакончик для духов, который они все носят (то есть кто важнее), и подал его Посьету. Мы все засмеялись. В этом Накамуре есть еще что-то дикое, впрочем только в наружности. Он похож немного, взглядами, голосом и движениями, на зверя. Он полюбил Посьета и меня, беспрестанно гладил нас по плечу, подавал руку. Еще в первое посещение фрегата, когда четверо полномочных и он сидели с нами за обедом в адмиральской каюте, он выказал мне расположение: предлагали тосты, и он предложил, сказав, что очень рад *видеть всех, особенно меня*. Мы все засмеялись. Впрочем, я и Посьет, может быть, обязаны его вниманием тому, что мы усердно хозяйничали, потчевали гостей, подливали им шампанское, в том числе и ему. «Мы не умеем так угостить вас»,— задум-

чиво говорили они как будто с завистью. Накамуре понравилось очень пьянино в каюте капитана. Когда стали играть, он пришел в восторг. «Кото, кото!» — отрывисто твердил он, показывая на фортепьяно. Так называется похожий с виду на фортепьяно японский музыкальный инструмент, вроде гуслей, на которых играют японки.

Чтоб занять его чем-нибудь, пока адмирал читал привезенную им бумагу, я показывал ему разные картинки, между прочим прошлогодних женских мод. Картинки эти вшиты были в журналы. Женские фигуры и платья произвели большой эффект. Заметив это, я выдрал картинки из журналов и подарил ему. Он был в восторге. Еще я подарил ему вид Лондона, в свертке, величиной в восьмнадцать футов, купленный мною в туннеле под Темзой. Накамура обрадовался и на другой же день привез мне коробку лучшего табаку, две трубки и два маленькие кисета. Отдавая, он повторял: «Табакко, табакко». Португальцы завезли им это слово вместе с табаком.

Занимая Накамуру, я взял маленький японский словарь Тунберга и разговоры [20] и начал читать японские фразы, писанные латинскими буквами. Неимоверный хохот поднялся между Накамурой и другими японскими собеседниками. Между прочим там есть фраза: «Покажи мне дом Миссури». Я, вместо Миссури, вставил имя губернатора Овосава и привел гостей в крайнее недоумение, даже в испуг. Накамура, собеседники его и два переводчика стали заглядывать в книгу, чтоб узнать, как попало туда имя губернатора. Узнав мою хитрость, Накамура грозил мне пальцем и хохотал. Впрочем, видно, что он смышленый и распорядительный человек, хотя и медвежьей наружности.

Противнее всех вел себя Эйноске. Он был переводчиком при Кавадзи и потому переводил важнейшую часть переговоров. Он зазнался, едва слушал других полномочных; когда Кавадзи не было, он сидел на стуле развалившись. Вообще не скрывал, что он вырос, и под конец переговоров вел себя гораздо хуже, нежели в начале. Он непрочь и покутить: часто просил шампанского и один раз, при Накамуре, так напился с четырех бокалов, что вздумал было рассуждать сам, не переводить того, что ему говорили; но ему сказали, что возьмут другого переводчика. Кичибе не забывался: он показывал зубы, сидел в уголку и хикал на все стороны. «Хи!» — откликался он, быстро оборачиваясь то к тому, то к другому японцу, когда кликали «Кичибе!». «Кичибе!» — кликнул я однажды в шутку. «Хи!» — отозвался он на мою сторону и пополз ко мне, но, увидев ошибку, добродушно засмеялся и пополз назад.

Когда мы ездили в Нагасаки, нам каждый день давали в полдень закуску, а часа в три так называемый *банкет*, то есть чай и конфекты. Мы тоже угощали Накамуру и всю свиту его, и они охотно ездили к нам. Губернаторские чиновники не показывались больше, так как дела велись уже с полномочными и приехавшими с ними чиновниками. Особенно с удовольствием ели они мясо и пили вишневку. Их всячески забавляли: показывали волшебный фонарь,[21] модель паровоза, рельсы. С разинутыми ртами смотрели они, как мчится сама собою машинка, испуская пар; играли для них на маленьких органах, наконец, гремела наша настоящая музыка.

Адмирал приказал сказать Накамуре, что он просит полномочных на второй прощальный обед, на фрегат. Между тем наступил их новый год, начинающийся с январским новолунием. Это было 17 января. Адмирал послал двум старшим полномочным две свои визитные карточки и подарки, состоящие из вишневки, ликеров, части быка, пирожного, потом послали им маленькие органы, картинки, альбомы и т. п.

20 января нашего стиля обещались опять быть и сами полномочные, и были. Приехав, они сказали, что ехали на фрегат с большим удовольствием. Им подали чаю, потом адмирал стал говорить о делах.

Перед обедом им опять показали тревогу в батарейной палубе, но у них от этого, кажется, душа в пятки ушла. В самом деле, для непривычного человека покажется жутко, когда вдруг четыреста человек, по барабану, бегут к пушкам, так что не подвертывайся: сшибут с ног; раскрепляют их, отодвигают, заряжают, палят (примерно только, ударными трубками, то есть пистонами) и опять придвигают к борту. Почти пятиаршинные орудия летают, как игрушки. Грохот орудий, топот людей, вспышки и удары пистонов, слова команды — все это *больно видеть* и не *японскому глазу*. Видно было, что нашим гостям это удовольствие не совсем понравилось. Старик Тсутсуй испугался до дурноты. Велели скорее прекратить. Накануне они засылали Эйноске просить, будто для себя, а в самом деле, конечно, по приказанию из Едо, подарить одно ружье с новым прицелом да несколько пушечных пистонов. Но адмирал отказал, заметив, что такие предметы можно дарить только тем, с кем находишься в самых дружеских и постоянных сношениях.

После тревоги показали парусное ученье: в несколько минут отдали и убрали паруса.

Потом сели за стол, уже не по-прежнему, а все вместе, на европейский лад, то есть все четверо полномочных, потом Тамея да нас семь человек. Остальным накрыт был стол в кают-компании. Кичибе и Эйноске сели опять на полу, у ног старших двух полномочных. Блюда все подавали по-европейски. Я помогал управляться с ними Кавадзи, а Посьет — Тсутсую. Кавадзи ел все с разбором, спрашивал о каждом блюде, а старик жевал, кажется, бессознательно, что ему ни подавали. Они охотнее и больше пили, нежели в первый раз, выучились у нас провозглашать здоровье и беспрестанно подливали вино и нам, и себе. Мы отпивали понемногу, а они добродушно каждый раз выпивали всю рюмку.

В средине обеда Кавадзи стал немного волноваться; старик ничего. Подали шампанское. Когда пробка выскочила и вино брызнуло вон, они сделали большие глаза. Эйноске, как человек опытный, поспешил растолковать им свойство этого вина. Адмирал предложил тост: «За успешный ход наших дел!» Кавадзи, после бокала шампанского и трех рюмок наливки, положил голову на стол, пробыл так с минуту, потом отряхнул хмель, как сон от глаз, и быстро спросил: «Когда он будет иметь удовольствие угощать адмирала и нас в последний раз у себя?» — «Когда угодно, лишь бы это не сделало ему много хлопот»,— отвечено ему. Но он просил назначить день, и, когда адмирал назначил чрез два дня, Кавадзи прибавил, что к этому сроку и последние, требованные адмиралом бумаги будут

готовы. Кавадзи все твердил: «До свидания, когда увидимся?» Он надеялся, не выскажемся ли мы, куда пойдем из Нагасаки, то есть не воротимся ли в Россию. Эйноске однажды начал мерять стол в адмиральской каюте. «Зачем?» — спросили его. «А чтоб сделать такой же,— отвечал он,— когда придется угощать вас опять». Он думал, не обнаружим ли мы при этом случае наших намерений; но им ничего не сказали; говорили только «до свидания», а где, когда — ни слова.

Это пугало их: ну, как нагрянем в Едо? тогда весь труд полномочных пропал, и их приезд в Нагасаки был напрасен. Им хотелось отвратить нас от Едо, между прочим для того, чтоб мы не стакнулись с американцами да не стали открывать торговлю сейчас же, и, пожалуй, чего доброго, не одними переговорами. Вы, конечно, знаете из газет, что японцы открыли три порта для американцев.[22] Адмирал полагает, что после этого затворничество Японии должно кончиться само собою, без трактатов. Китоловы не упустят случая ходить по портам, тем более что японцы, не желая допускать ничего похожего на торговлю, по крайней мере теперь, пока зрело не обдумают и не решат этот вопрос между собою, не хотят и слышать о плате за дрова, провизию и за доставку воды. А китоловам то и на руку, особенно дрова важны для них: известно, что они, поймав кита, на океане же топят и жир из него. Теперь плавает множество китоловов: как усмотреть, чтоб они не торговали в японских портах, которые открыты только для того, чтоб суда могли забежать, взять провизии, воды да и вон скорей? Японцы будут мешать съезжать на берег, свозить товары; затеется не раз ссора, может быть драка, сначала частная, а там... Известно, к чему все это ведет.

За обедом я взял на минуту веер из рук Кавадзи посмотреть: простой, пальмового дерева, обтянутый бумажкой. Я хотел отдать ему назад, но он просил знаками удержать у себя «на память», как перевел Эйноске слова его. Я поблагодарил, но, не желая оставаться в долгу, отвинтил золотую цепочку от своих часов и подал ему. Он на минуту остановился, выслушал переведенное ему мое приветствие и сказал, что благодарит и принимает мой подарок. Потом вышел из-за стола и что-то шепнул Эйноске. Это вот что: Кавадзи и Тсутсуй приготовили мне и Посьету по два ящика с трубками, в подарок. Приняв от меня золотую цепочку, он, вероятно, нашел, что подарок его слишком ничтожен. Кичибе, не зная ничего этого, после обеда начал вертеться подле меня и, по своему обыкновению, задыхаться смехом и кряхтеть. Он раза два принимался было говорить со мною и, наконец, не вытерпел и в третий раз заговорил, нужды нет, что я не знаю по-голландски. «Их превосходительства, Тсутсуй и Кавадзи, просят вас и Посьета принять по маленькому подарку...» Эйноске не дал ему кончить и увел в столовую. Трубки все подарили Посьету, который, благодаря мне, получил подарок в двойном количестве.

На другой день Кавадзи прислал мне три куска шелковой материи и четыре пальмовые чубука, с медными мундштуками и трубками. Медь блещет, как золото; и в самом деле, в японской меди много его. Тсутсую я подарил серебряную позолоченную ложку, с чернью, фасона наших деревенских ложек, и пожелал, чтоб он привык есть ею и приучил бы

детей своих, «в надежде почаще обедать с русскими». Он прислал мне в ответ два маленькие ящика: один лакированный, с инкрустацией из перламутра, другой деревянный, обтянутый кожей акулы, миньятюрный поставец, в каком возят в дороге пищу. Это очень оригинальная вещь. Третий полномочный, которому я подарил porte-monnaie, отдарил меня полдюжиной кошельков для табаку и черенком для ножа. Японцы носят разные насечки на своих саблях и, между прочим, небольшие ножи. Подаренный мне стальной черенок был тонкой отделки, с рисованными цветами, птицами и с японскою надписью Накамура прислал медную японскую чернильницу, с кистью и тушью.

Подарки, присланные адмиралу, завалили всю палубу, всю каюту. Сами вещи не слишком громоздки, но для всякой сделан особый ящик, и так отчетливо, как будто должен служить целый век. Многие подарки были очень замечательны, одни по изяществу, другие по редкости у нас. Вазы и чашки фарфоровые прекрасны, лакированные вещи еще лучше. Прислали столиков, шкапчиков, этажерок, даже целые ширмы; далее, кукол, в полном японском костюме, кинжал, украшения к нему и прочее. Еще прислали сои — это просто наказание! Один из чиновников подарил до пятнадцати кадочек с соей. Прислали саки, какой-то сушеной рыбы, икры; губернатор — опять зелени, все это на прощанье

После обеда адмирал подал Кавадзи золотые часы; «К цепочке, которую вам сейчас подарили»,— добавил он. Кавадзи был в восторге: он еще и в заседаниях как будто напрашивался на такой подарок и все показывал свои толстые, неуклюжие серебряные часы, каких у нас не найдешь теперь даже у деревенского дьячка. Тсутсую подарили часы поменьше, тоже золотые, и два куска шелковой материи. Прочим двум по куску материи.

В 8 часов они отправились. Едва они отъехали сажен десять от фрегата, носят *Шули); до нее час ходьбы, по прекрасной дороге, среди живопис-* лись огоньки, пока слабо, потом внезапно весь фрегат будто вспыхнул, и окрестность далеко озарилась фантастическим заревом бенгальских огней. На палубе можно было увидеть иголку — так ярко обливало зарево фрегат и удалявшиеся японские лодки, и еще ярче отражалось оно в воде. Это произвело эффект: на другой день у японцев только и разговора было, что об этом: они спрашивали, как, что, из чего, просили показать, как это делается.

В субботу мы были у них. Мрачно, сыро, холодно в комнатах, несмотря на то, что день был порядочный. До обеда время прошло в приветствиях, изъявлениях дружбы. И с губернаторами заключен был мир. Адмирал сказал им, что хотя отношения наши с ними были не совсем приятны, касательно отведения места на берегу, но он понимает, что губернаторы ничего без воли своего начальства не делали и потому против них собственно ничего не имеет, напротив, благодарит их за некоторые одолжения, доставку провизии, воды и т. п.; но просит только их представить своему начальству, что если оно намерено вступить в какие бы то ни было сношения с иностранцами, то пора ему подумать об отмене всех этих стеснений, которые всякой благородной нации покажутся оскорбительными. Губернатор отвечал, что он об этом известит свое начальство, а его просит

извинить только в том, что провизия иногда доставлялась не вполне, сколько требовалось, по причине недостатка. Губернаторам послали по куску шелковой материи; они отдарили, уж не знаю чем: ящиков возили так много, что нам надоело даже любопытствовать, что в них такое.

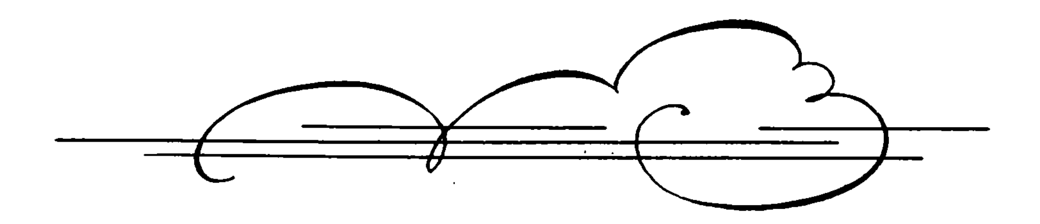
Прощальный обед у полномочных был полный, хороший. Похлебка с луком, приправленная соей и пряностями, очень вкусна. В ней плавали фрикадельки, только не знаю из чего. Я опять с удовольствием поел красной прессованной икры, рыбы под соусом, съел две чашки горячего рису. Накамура, в подражание нам, беспрестанно подходил ко всем нам и усердно потчевал. «Не угодно ли еще чего-нибудь?» — спрашивали хозяева. «Нет, ничего, благодарим».— «Может быть, рису или саки чашечку?» — «Нет, нет; мы сыты».— «Ну, не выпьете ли горячей воды?» — ласково спросил старик. Мы отказались и от этого. «Стало быть, можно убирать?» — «Сделайте милость».

После обеда подали «банкет». Конфекты так и блестели на широкой тарелке синего фаянса. И каких тут не было! желтые, красные, осыпанные рисовой пылью, а всё есть нельзя. Все это завернули, вместе с тарелкой, и отослали к нам: Фаддееву праздник! После поставили перед каждым из нас по подставке, на которой лежали куски материи, еще подарки от сиогуна. Материи льняные, шелковые и, кажется, бумажные. Офицерам всем принесли по ящику, с дюжиной чашек, тонкого, почти прозрачного фарфора — тоже от имени японского государя. Материи, кажется, считаются, как подарок, выше; но их охотно можно променять на эти легкие, почти прозрачные, оригинальные чашки.

Полномочные опять пытались узнать, куда мы идем, между прочим, не в Охотское ли море, то есть не скажем ли — в Петербург. «Теперь пока в Китай,— сказали им,— в Охотском море — льды, туда нельзя». Эта скрытость очевидно не нравилась им. Напрасно Кавадзи прищуривал глаза, закусывал губы: на него смотрели с улыбкой. Беда ему, если мы идем в Едо!

Адмирал не хотел, однако ж, напрасно держать их в страхе: он предполагал объявить им, что мы воротимся не прежде весны, но только хотел сказать это уходя, чтобы они не делали возражений. Оттого им послали объявить об этом, когда мы уже снимались с якоря. На прощанье Тсутсуй и губернаторы прислали еще недосланные подарки, первый — бездну ящиков адмиралу, Посьету, капитану и мне, вторые — живности и зелени, для всех.

Ветер был попутный, погода тихая. Нам не нужно было уже держаться вместе с другими судами. Адмирал отпустил их, приказав идти на Ликейские острова, и мы, поставив все паруса, 24-го января, покатили по широкому раздолью на юг. Шкуна ушла еще прежде, за известиями в Шанхай о том, что делается в Европе, в Китае. Ей тоже велено прийти на Лю-Чу. Не привезет ли она писем от вас? Я что-то отчаиваюсь, получаете ли вы мои? Манила! Манила! вот наша мечта, наша обетованная земля, куда стремятся напряженные наши желания. Это та же Испания, с монахами, сеньорами, покрывалами, дуэньями, боем быков, да еще, вдобавок, Испания тропическая!



IV
ЛИКЕЙСКИЕ ОСТРОВА

Вид берега.— Бо-Тсунг.— Базиль Галль.— Идиллия.— Дорога в столицу.— Столица Чуди.— Каменные работы.— Пейзажи.— Жители, домы и храмы.— Поля.— Королевский замок.— Зависимость островов.— Протестантский миссионер.— Другая сторона идиллии.— Напа-Киян.— Жилище миссионера.— Напакианский губернатор.— Корабль с китайскими эмигрантами.— Прогулка и отплытие.

Порт Напа-Киян, с 31-го января по 9-е февраля 1854 г.

Я все время поминал вас, мой задумчивый артист: [1] войдешь, бывало, утром к вам в мастерскую, откроешь вас где-нибудь за рамками, перед полотном, подкрадешься так, что вы, углубившись в вашу творческую мечту, не заметите, и смотришь, как вы набрасываете очерк, сначала легкий, бледный, туманный; все мешается в одном свете: деревья с водой, земля с небом... Придешь потом через несколько дней — и эти бледные очерки обратились уже в определительные образы: берега дышат жизнью, все ярко и ясно...

В таких бледных очертаниях, как ваши эскизы, явились сначала мне Ликейские острова. Масса земли, не то синей, не то серой, местами лежала горбатой кучкой, местами полосой тянулась по горизонту. Нас отделяли от берега пять-шесть миль и гряда коралловых рифов. Об эту каменную стену яростно била вода, и буруны или расстилались далеко гладкой пеленой, или высоко вскакивали и облаками снежной пыли сыпались в стороны. Издали казалось, что из воды вырывались клубы густого белого дыма; а кругом синее-пресинее море, в которое с рифов потоками катился жемчуг да изумруды. Берег темен; но вдруг луч падал на какой-нибудь клочок, покрытый свежим всходом, и как ярко зеленел этот клочок!

Последние два дня дул крепкий, штормовой ветер; наконец он утих и позволил нам зайти за рифы, на рейд. Это было сделано с рассветом; я спал и ничего не видал. Я вышел на палубу, и берег представился мне вдруг, как уже оконченная, полная картина, прихотливо из-

резанный красивыми линиями, со всеми своими очаровательными подробностями, в красках, в блеске.

Берег, особенно в сравнении с нагасакским, казался низменным; но зато как он разнообразен! Налево от нас выдающаяся в море часть выветрилась. Там росла скудная трава, из-за которой, как лысина сквозь редкие волосы, проглядывали кораллы, посеревшие от непогод, кое-где кусты да глинистые отмели. Прямо перед нами берега далеко отступили от мели назад, представляя коллекцию пейзажей, один другого лучше. Низменная часть тонет в густых садах; холмы покрыты нивами, точно красивыми разноцветными заплатами; вершины холмов увенчаны кедрами, которые стоят дружными кучками, с своими горизонтальными ветвями.

Что за зелень там, в этой куче деревьев? чем засеяны поля? каковы домы?.. Скорей, скорей, на берег! Две коралловые серые скалы выступают далеко из берегов и висят над водой; на вершине одной из них видна кровля протестантской церкви, а рядом с ней тяжело залегли в густой траве и кустах каменные массивные глыбы разных форм, цилиндры, полукруги, овалы; издалека примешь их за здания — так велики они. Это памятники кладбища. Далее направо берег опять немного выдался к морю и идет то холмами, то тянется низменной, песчаной отмелью, заливаемой приливом. Вплоть почти под самым берегом идет гряда рифов, через которые скачут буруны; местами высунулись из воды камни; во время отлива они видны, а в прилив прячутся.

Вообще весь рейд усеян мелями и рифами. Беда входить на него без хороших карт! а тут одна только карта и есть порядочная — Бичи.[2] Через час катер наш, чуть-чуть задевая килем за каменья обмелевшей при отливе пристани, уперся в глинистый берег. Мы выскочили из шлюпки и очутились — в саду не в саду и не в лесу, а в каком-то парке, под непроницаемым сводом отчасти знакомых и отчасти незнакомых деревьев и кустов. Из наших северных знакомцев было тут немного сосен, а то все новое, у нас невиданное.

Меня опять поразил, как на Яве и в Сингапуре, сильный, приторный и пряный запах тропических лесов, охватила теплая влажность ароматических испарений. Мимо леса красного дерева и других, которые толпой жмутся к самому берегу, как будто хотят столкнуть друг друга в воду, пошли мы по тропинке к другому большому лесу или саду, манившему издали к себе. Мы прошли по глинистой отмели, мимо ям и врытых туда сосудов для добывания из морской воды соли. За отмелью начиналась аллея или улица — как хотите, маленькой деревушки Бо-Тсунг.

Возьмите путешествие Базиля Галля[3] (в 1816 году): он в числе первых посетил Ликейские острова, и взгляните на приложенную к книге картину, вид острова: это именно тот, где мы пристали. Вы посмеетесь над этим сказочным ландшафтом, над огромными деревьями, спрятавшимися в лесу хижинами, красивым ручейком. Все это покажется похожим на пейзажи — с деревьями из моху, с стеклянной водой и с бумажными людьми. Но когда увидите оригинал, тогда посмеетесь только бессилию картинки сделать что-нибудь похожее на действительность.

Что это такое «Ликейские острова», или, как писали у нас в старых географиях, «Лиеу-Киеу», или, как иностранцы называют их, «Лю-Чу» (Loo-Choo), а по выговору жителей «Ду-Чу»? Развертываете того же Галля, думаете прочесть путешествие и читаете — идиллию. Да, это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Слушайте теперь сказку: дерево к дереву, листок к листку так и прибраны, не спутаны, не смешаны в неумышленном беспорядке, как обыкновенно делает природа. [4] Все будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Вато. [5] Читаете, что люди, лошади, быки — здесь карлики, а куры и петухи — великаны; деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков да приятно шумят театральные каскады. Люди добродетельны, питаются овощами и ничего между собою, кроме учтивостей, не говорят; иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они патриархально, толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в домы и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов... Что это? где мы? среди древних пастушеских народов, в золотом веке? Ужели Феокрит в самом деле прав?[6]

Все это мне приходило в голову, когда я шел под тенью акаций, миртов и банианов; между ними видны кое-где пальмы. Я заходил в сторону, шевелил в кустах, разводил листья, смотрел на ползучие растения и потом бежал догонять товарищей.

Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. Между деревьями, в самом деле как на картинке, жались хижины, окруженные каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить какую-нибудь хижину. Я заглядывал за забор: миньятюрные домы окружены огородом и маленьким полем. В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. Еще издали завидел я, у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьезными лицами, в широких, простых, но чистых халатах, с широким поясом, виделись — совестно и сказать «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачесанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. За них боязливо прятались дети.

«Что это такое?— твердил я, удивляясь все более и более,— этак не только Феокриту, поверишь и мадам Дезульер и Геснеру, с их Меналками, Хлоями и Дафнами; [7] недостает барашков на ленточках». А тут кстати, как нарочно, наших баранов велено свезти на берег погулять, будто в дополнение к идиллии.

«Куда же мы идем?» — вдруг спросил кто-то из нас, и все мы остановились. «Куда эта дорога?» — спросил я одного жителя по-английски. Он показал на ухо, помотал головой и сделал отрицательный знак. «Пойдемте в столицу,— сказал И. В. Фуругельм,— в Чую или Чуди

(Tshudi, Tshue — по-китайски Шоу-Ли, главное место, но жители произносят *Шули*); до нее час ходьбы, по прекрасной дороге, среди живописных пейзажей». «Пойдемте».

Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической растительности, не теплому, мягкому и пахучему воздуху — это все было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых; дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов: это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. Здесь как все родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. Здесь еще возможен золотой век.

Лес как сад, как парк царя или вельможи. Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берет обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя ее величия. Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные домы — ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде хлевов, крытые рисовой соломой, о трех стенках из тонкого дерева, заплетенного бамбуком; четвертой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стекол; это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. Мы подошли к красивому, об одной арке над ручьем, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней... Кто учил этих детей природы строить? невольно спросишь себя: здесь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад узнали о их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.

Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди, с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. Люди, страсти, дела — все просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Книг, пороху и другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше. Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?

Тронет, и уж тронула. Американцы, или *люди Соединенных Штатов*, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под *свое покровительство* против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. Они выстроили и сарай для

склада каменного угля, и после этого *человек Соединенных Штатов*, коммодор Перри, отплыл в Японию.[8]

«Куда ведет мост?» — спросили мы И. В. Фуругельма, который прежде нас пришел с своим судном «Князь Меншиков» и успел ознакомиться с местностью острова.

«В Напу, или в Напа-Киян: вон он!» — отвечал Фуругельм, указывая через ручей на кучу черепичных кровель, которые жались к берегу и совсем пропадали в зелени.

Мы продолжали идти в столицу по деревне, между деревьями, которые у нас растут за стеклом, в кадках. При выходе из деревни был маленький рынок. Косматые и черные, как чертовки, женщины сидели на полу на пятках, под воткнутыми в землю, на длинных бамбуковых ручках, зонтиками, и продавали табак, пряники, какое-то белое тесто из бобов, которое тут же поджаривали на жаровнях. Некоторые из них, завидя нас, шмыгнули в ближайшие ворота или узенькие переулки, бросив свои товары; другие не успели и только закрывались рукавом. Боже мой, какое безобразие! И это женщины: матери, жены! Да кто же женится на них? Мужчины красивы, стройны: любой из них годится в Меналки, а Хлои их ни на что не похожи! Нет, жаркие климаты неблагоприятны для дам, и прекрасным полом следовало бы называть здесь нашего брата, ликейцев, или лу-чинцев, а не этих обожженных солнцем лу-чинок.

Вы знаете дорогу в Парголово: вот такая же крупная мостовая ведет в столицу; только вместо булыжника здесь кораллы. Они местами так остры, что чувствительно даже сквозь подошву. Я не понимаю, как ликейцы ходят по этим дорогам босиком? Зато местами коралл обтерся совсем, и нога скользит по нем, как по паркету. Выйдя из деревни, мы вступили в великолепнейшую аллею, которая окаймлена двумя сплошными стенами зелени. Кроме банианов замечательны вышиной и красотой толстые деревья, из волокон которых японцы делают свою писчую бумагу; потом разные породы мирт; изредка видна в саду кокосовая пальма, с орехами, и веерная. Но пальма что-то показалась мне невзрачна против виденных нами на Яве и в Сингапуре: видно, ей холодно здесь — листья жидки и малы. Мы прошли мимо какого-то, загороженного высокой каменной и массивной стеной, здания, с тремя входами, наглухо заколоченными, с китайскими надписями на воротах: это буддийский монастырь. В щели, из-за стены, выглядывало несколько бонз, с бритыми головами.

Все это место напомнило мне наши старые и известные европейские сады. От аллей шло множество дорожек и переулков, налево — в лес и к теснящимся в нем частым хижинам и фермам, направо — в обработанные поля. Дорога змееобразно вилась по холмам и долинам... Ах, какая местность вдруг распахнулась перед нами, когда мы миновали лес! Точно вдруг приподнялся занавес: вдали открылись холмы, долины, овраги, скаты, обрывы, темнели леса, а вблизи пестрели поля, убранные террасами и засеянные рисом, плантации сахарного тростника, гряды с огородною зеленью, то бледною, то изумрудно-темною!

Все открывшееся перед нами пространство, с лесами и горами, было облито горячим блеском солнца; кое-где в полях работали люди, рассаживали рис или собирали картофель, капусту и проч. Над всем этим покоился такой колорит мира, кротости, сладкого труда и обилия, что мне, после долгого, трудного и под конец даже опасного плавания, показалось это место самым очаровательным и надежным приютом.

Все это не деревья, не хижины: это древние *веси,* [9] *сени, кущи* [10] и *пажити;* [11] иначе о них неприлично и выражаться. Странно мне было видеть себя и товарищей, в наших коротких, обтянутых платьях, быстро и звонко шагающих под тенью исполинских банианов. Маленькие хорошенькие лошадки, не привыкшие видеть европейцев, пугались при встрече с нами; они брыкались и бросались в сторону. Вожатые, завидя нас, закрывали им глаза соломенной шляпой и торопились пройти мимо. Встречные женщины, хотя и не брыкались, но тоже закрывались, а если успевали, то и они бросались в сторону. Только одна девочка, лет тринадцати, и, сверх ожидания, хорошенькая, вышла из сада на дорогу и смело, с любопытством, во все глаза смотрела на нас, как смотрят бойкие дети. «Какой большой петух! — показывая на петуха, сказал кто-то,— по крайней мере в полтора раза выше наших».

Мы шли в тени сосен, банианов или бледно-зеленых бамбуков, из которых Посьет выломал тут же себе славную зеленую трость. Бамбуки сменялись выглядывавшим из-за забора бананником, потом строем красивых деревьев и так далее. «Что это, ячмень, кажется?» — спросил кто-то. В самом деле, наш кудрявый ячмень! По террасам, с одной на другую, текли нити воды, орошая посевы риса.

Глаза разбегались у нас, и мы не знали, на что смотреть: на пешеходов ли, спешивших, с маленькими лошадками и кладей на них, из столицы и в столицу; на дальнюю ли гору, которая, мягкой зеленой покатостью, манила войти на нее и посидеть под кедрами; солнце ярко выставляло ее напоказ, а тут же рядом пряталась в прохладной тени долина с огороженными высоким забором хижинами, почти совсем закрытыми ветвями. Что это за сила растительности! какое разнообразие почвы! И всюду чистота, порядок. Таково богатство и разнообразие видов, что перестаешь наконец дорожить увидеть то, не прозевать это, запомнить третье. Рассеянно смотришь вокруг: все равно, куда ни смотри, одно и то же — все прекрасно, игриво, зелено.

Дорога пошла в гору. Жарко. Мы сняли пальто: наши узкие костюмы, из сукна и других плотных материй, просто невозможны в этих климатах. Каков жар должен быть летом! Хорошо еще, что ветер с моря приносит со всех сторон постоянно прохладу! А всего в 26-м градусе широты лежат эти благословенные острова. Как не взять их под *покровительство?* Люди Соединенных Штатов совершенно правы, с своей стороны.

На горе начались хижины — всё как будто игрушки; жаль, что они прячутся за эти сплошные заборы; но иначе нельзя: ураганы, или тайфуны, в полосу которых входят и Лю-Чу, разметали бы. как сор, эти

птичьи клетки, не будь они за такой крепкой оградой. По горе лесу уже не было, но зато чего не было в долине, которая простиралась далеко от подошвы ее в сторону! Я устал любоваться, равнодушно смотрел на персиковые деревья в полном цвету, на миртовые и кипарисные кусты! Мы вошли на гору, окинули взглядом все пространство и молчали, теряясь в красоте и разнообразии видов. Глаз видит далеко: с обеих сторон острова видно море на третьем плане. Вон и риф, с пеной бурунов, еще вчера грозивший нам смертью! «Я в бурю всю ночь не спал и молился за вас,— сказал нам один из оставшихся американских офицеров, кажется методист,[12]— я поминутно ждал, что услышу пушечные выстрелы». Время было бурное, а вход на рейд, как я сказал выше, считается очень опасным.

Наконец мы пришли. «Э! да не шутя столица!» — подумаешь, глядя на широкие ворота, с фронтоном в китайском вкусе, с китайскою же надписью.

«Что там написано? прочтите»,— спросили мы Гошкевича. «Не вижу, высоко», — отвечал он. Мы забыли, что он был близорук.

Мы прошли ворота: перед нами тянулась бесконечная широкая улица, или та же дорога, только не мощенная крупными кораллами, а убитая мелкими каменьями, как шоссе, с сплошными, по обеим сторонам, садами или парками, с великолепной растительностью. Из-за заборов местами выглядывали красные черепичные кровли. Никто нас не встретил, никто даже не показывался: все как будто выехали из города. Немногие встречные, и между прочим один доктор, или бонз, с бритой головой, в халате из травяного холста, торопливо шли мимо, а если мы пристально вглядывались в них, они, с выражением величайшей покорности, а больше, кажется, страха, кланялись почти до земли и спешили дальше. У некоторых ворот показывались и исчезали люди или смотрели в щели. Видно, что в этой улице жил высший или зажиточный класс: к домам их вели широкие каменные коридоры. Мы крупным шагом шли все далее; улица заворотилась налево, и мы очутились перед дворцом.

Это замок, с каменной, массивной стеной, сажени в четыре вышины, местами поросшей мохом и ползучими растениями. Широкое каменное крыльцо, грубой работы, вело к высокому порталу, заколоченному наглухо досками. У ворот по обеим сторонам, на пьедесталах, сидели коралловые животные, вроде сфинксов. Нигде ни признака жизни; все окаменело, точно в волшебной сказке, а мы пришли из-за тридевяти земель как будто доставать жар-птицу. У ворот, в стороне, выстроена деревянная галерея, вроде гауптвахты, какие мы видели в Нагасаки. В ней на циновках сидели на пятках ликейцы, вероятно слуги дворца: и те не шевелились, тоже — как каменные. Мы присели тут немного отдохнуть, потом спустились под гору, куда вела покатая терраса, усаженная банианами, кедрами, между которыми змеились во все стороны тропинки. В некоторых местах сочились и чуть-чуть журчали каскады. Вон огороженная забором и окруженная бассейном кумирня; вдали узкие, но правильные улицы; кровли домов и шалашей, разбросанных на горе и по покатости,— решительно кущи да сени древнего мира!

Это не жизнь дикарей, грязная, грубая, ленивая и буйная, но и не царство жизни духовной: нет следов просветленного бытия. Возделанные поля, чистота хижин, сады, груды плодов и овощей, глубокий мир между людьми — все свидетельствовало, что жизнь доведена трудом до крайней степени материального благосостояния; что самые заботы, страсти, интересы не выходят из круга немногих житейских потребностей; что область ума и духа цепенеет еще в сладком, младенческом сне, как в первобытных языческих пастушеских царствах; что жизнь эта дошла до того рубежа, где начинается царство духа, и не пошла далее... Но все готово: у одних дверей стоит религия, с крестом и лучами света, и кротко ждет пробуждения младенцев; у других — «люди Соединенных Штатов», с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации...

Мы сошли с террасы и обошли замок вокруг, взбираясь обратно вверх по крутой каменной тропинке, все из кораллов. Других тропинок я не видал; и те, которые ведут из улиц в поля, все идут лестницами, выложенными из камня. Ликейцы следовали за нами, но издали, робко. И. В. Фуругельм, которому не нравилось это провожанье, махнул им рукой, чтоб шли прочь: они в ту же минуту согнулись почти до земли и оставались в этом положении, пока он перестал обращать на них внимание, а потом опять шли за нами, прячась в кусты, а где кустов не было, следовали по дороге, и всё издали. Я, однако ж, знаками подозвал одного к себе. Он не вдруг подошел: сделает два шага и остановится в нерешимости; наконец подошел. В это время надо было спускаться по чрезвычайно крутой и извилистой каменной тропинке, проложенной сквозь чащу леса, над обрывами и живописными оврагами, сплошь заросшими пальмами, миртами и кедрами. Я оперся на ликейца, и он был, кажется, очень доволен этим, шел ровно и осторожно и всякий раз бросался поддерживать меня, когда я оступался или нога моя скользила по гладкому кораллу. Я, имея надежную опору, не без смеха смотрел, как кто-нибудь из наших поскользнется, спохватится и начнет упираться по скользкому месту, а другой помчится вдруг по крутизне, напрасно желая остановиться, и бежит до первого большого дерева, за которое и уцепится.

Внизу мы прошли чрез живописнейший лесок — нельзя нарочно расположить так красиво рощу — под развесистыми банианами и кедрами и вышли на поляну. Здесь лежала, вероятно занесенная землетрясением, громадная глыба коралла, вся обросшая мохом и зеленью. Романтики тут же объявили, что хорошо бы приехать сюда на целый день с музыкой. «С закуской и обедом»,— прибавили положительные люди. Мы вышли в одну из боковых улиц, с маленькими домиками: около каждого теснилась кучка бананов и цветы.

Из нее вышли в другую улицу, прошли несколько домов; улица вдруг раздвинулась. С одной стороны домов не стало, и мы остановились, очарованные несравненным видом. Представьте пруд, вроде Марли,[13] гладкий и чистый как зеркало; с противоположной стороны смотрелась в него целая гора, покрытая густо, как щетка или как шуба, зеленью самых темных и самых ярких колоритов, самых нежных, мягких, узорчатых

листьев и острых игл. Этот исполинский букет так тесно был сжат, что нельзя было видеть почвы, на которой он растет. [14]

Мы продолжали путь по улице, взглянули вперед — другое неожиданное зрелище привлекло наше внимание. Это была, по-видимому, самая населенная и торговая улица. Но что делают жители? Они с испугом указывают на нас: кто успевает, запирает лавки, а другие бросают их незапертыми и бегут в разные стороны. Напрасно мы маним их руками, кланяемся, машем шляпами: они пуще бегут. Я видел, как по кровле одного дома, со всеми признаками ужаса, бежала женщина: только развевались полы синего ее халата; рассыпавшееся здание косматых волос обрушилось на спину; резво работала она голыми ногами. Но не все успели убежать: оставшиеся мужчины недоверчиво смотрели на нас, женщины закрылись. Товар все тот же, что и на первом рынке. Тут видели мы кузницу, еще пилили дерево, красили простую материю, продавали зелень, табак да разные сласти.

Мы походили еще по парку, подошли к кумирне, но она была заперта. Сидевший у ворот старик предложил нам горшочек с горячими угольями закурить сигары. Мы показывали ему знаками, что хотим войти, но он ласково улыбался и отрицательно мотал головой. У ворот кумирни, в деревянных нишах, стояли два, деревянные же, раскрашенные идола, безобразной наружности, напоминавшие, как у нас рисуют дьявола. Я зашел было на островок, в другую кумирню, которую видел с террасы дворца, но жители, пока мы шли вниз, успели запереть и ее. Между народом я заметил несколько бритых бонз, все молодых; один был просто мальчик: вероятно, это служители храмов.

Заглянув еще в некоторые улицы и переулки, мы вышли на большую дорогу и отправились домой. Я устал и с удовольствием поглядывал на хребет каждой лошадки; но жители не дают лошадей, хотя я видел у одного забора множество их оседланных и привязанных. Сходя с горы, мы увидали чистенький дворик; я подошел к воротам. Старик, которого я тут застал, с красным носом и красными шишками по всему лицу, поклонился и вошел в дом; я за ним, со мной некоторые из товарищей. Дом оказался кумирней, но идола не было, а только жертвенник с китайскими надписями на стенах и столбах да бедная домашняя утварь. Тут, кажется, молились не буддисты, а приверженцы древней китайской религии. Мы заглянули в другую комнату, по-видимому парадную, устланную до того чистыми матами, что совестно было ступить ногой. Хозяева, кажется, обедали. Они зашевелились было готовить нам чай, но мы, чтоб не тревожить их, удалились.

Говорят, жители не показывались нам более потому, что перед нашим приездом умерла вдовствующая королева, мать регента, управляющего островами вместо малолетнего короля. По этому случаю наложен траур на пятьдесят дней. Мы видели многих в белых травяных халатах. Известно, что белый цвет — траурный на Востоке.

Ликейские острова управляются королем. Около трехсот лет назад прибыли сюда японские суда, а именно князя Сатсумского, взяли острова в свое владение и обложили данью, которая, по словам здешнего миссио-

нера, простирается до двухсот тысяч рублей на наши деньги. Но, по показанию других, острова могут приносить впятеро больше. По этим цифрам можно судить о плодородии острова. Недаром князь Сатсумский считается самым богатым из всех японских князей.

Но дань платится натурою: рисом, который выше всех сортов, и даже японского, также табаком, амброй, [15] тканями из банановых волокон и саки. Саки тоже считается лучшим, и японцы выменивают много своего риса на здешний, как лучший для выделки саки.

После ликейцы думали было отложиться от Японии, но были покорены вновь. Ликейский король, в начале царствования, отправляется обыкновенно в Японию и там утверждается окончательно.

Нынешнему королю всего двенадцать лет. Он поедет в Японию по достижении пятнадцатилетнего возраста. Король живет здесь как пленник, в крепком своем замке, который мы видели, и никому не показывается. Показываться народу, как вам известно, считается для верховной власти неприличным на Востоке. Здешний миссионер проник, однако ж, нечаянно, в китайском платье, в замок и, незамеченный, дошел до покоев короля. Король играл в мячик и долго не замечал постороннего; потом увидел и скрылся. Придворные с поклонами окружили нескромного посетителя и показали дорогу вон.

Ликейцы находились в зависимости и от китайцев, платили прежде и им дань; но японцы, уничтожив в XVII столетии китайский флот и десант, посланный из Китая для покорения Японии, избавили и ликейцев от китайской зависимости. Однако ж последние все-таки ездят в Пекин довершать в тамошних училищах образование и оттого знают все по-китайски. Письменного своего языка у них нет: они пишут японскими буквами. Ездят они туда не с пустыми руками, но и не с данью, а с подарками — так сказал нам миссионер, между тем как сами они отрекаются от дани японцам, а говорят, что они в зависимости от китайцев. Кажется, они говорят это по наущению японцев; а может быть, услышав от американцев, что с японцами могут возникнуть у них и у европейцев несогласия, ликейцы, чтоб не восстановить против себя ни тех, ни других, заранее отрекаются от японцев.

Гошкевич и отец Аввакум отыскали между ликейцами одного знакомого, с которым виделись, лет двенадцать назад, в Пекине, и разменялись подарками. Вот стечения обстоятельств! «Вы мне подарили графин»,— сказал ликеец отцу Аввакуму. Последний вспомнил, что это действительно так было.

Однако ж ликейцы не производят себя ни от японцев, ни от китайцев, ни от корейцев. С первого раза видно, что в существовании ликейцев не участвовали китайцы. Корейцев я еще не видал и потому не знаю, есть ли сходство у них с ликейцами или нет. У ликейцев глаза большие, не угловатые, как у китайцев, овал лица правильный, скулы не выдаются. Язык у них, по словам миссионера, сродни японскому и составляет, кажется, его идиом. [16] Ликейцы и японцы понимают друг друга. Ближе всего предположить, что они родня между собою.

Мы лениво возвращались домой, не переставая распространять по

дороге чувство вроде безотчетного ужаса. Мальчишка лет десяти, с вязанкой зелени, вел другого мальчика лет шести; завидя нас, он бросил вязанку и маленького своего товарища и кинулся без оглядки бежать по боковой тропинке в поля. Возвратясь в деревню Бо-Тсунг, мы втроем, Посьет, Аввакум и я, зашли в ворота одного дома, думая, что сейчас за воротами увидим и крыльцо: но забор шел лабиринтом и был не один, а два, образуя вместе коридор. Мы поворотили направо, потом налево... Конец, что ли? нет, опять коридор направо, точно западня для волков, еще налево — и мы очутились в маленьком садике, перед домиком, огороженным еще третьим, бамбуковым, и последним забором. Мы, входя, наткнулись на низенькую черную, как головешка, старуху, с плоским лицом. Она, как мальчишка же, перепугалась и бросилась бежать по грядам к лесу, работая во все лопатки. Мы покатились со смеху; она ускорила шаги. Мы хотели отворить ворота — заперты; зашли с другой стороны к калитке — тоже заперта. Оставалось уйти. Мы посмотрели опять на бегущую все еще вдали старуху и повернули к выходу, как вдруг из домика торопливо вышел заспанный старик и отпер нам калитку, низко кланяясь и прося войти. Мы вошли в палисадник; он отодвинул одну стену или раму домика, и нам представились миньятюрные комнаты, совершенно как клетки попугая, с своей чистотой, лакированными вещами и белыми циновками. Мы туда не вошли, а попросили огня. Сейчас другой, молодой ликеец принес нам горшок с золой и угольями. Мы взглянули кругом себя — цветы, алоэ, бананы, больше ничего; поблагодарили хозяина и вышли вон. Я посмотрел, что старуха? Она в это время добежала до первых деревьев леса, забежала за банан, остановилась и, как орангутанг, глядела сквозь ветви на нас. Увидя, что мы стоим и с хохотом указываем на нее, она пустилась бежать дальше в лес.

Мы догнали товарищей, которые уже садились в катер. Но во время нашей прогулки вода сбыла, и катер трогал килем дно. Мы стянулись кое-как и добрались до нашего судна, где застали гостей: трех длиннобородых старцев, в белых, с черными полосками, халатах и сандалиях на босу ногу. Они приехали от напайского губернатора поздравить с приездом и привезли в подарок зелени, яиц и кур. Их угостили чаем. Один свободно говорил с Гошкевичем, на бумаге, по-китайски, а другой по-английски, но очень мало. И то успех, когда вспомнишь, что наши европейские языки чужды им и по духу, и по формам. Давно ли «человек Соединенных Штатов покровительствует» этим младенцам, а уж кое-чему научил... Ликейцы обещали привезти быков, рыбы, зелени за деньги и уехали.

На другой день, 2-го февраля, мы только собрались было на берег, как явился к нам английский миссионер Беттельгейм, худощавый человек, с еврейской физиономией, не с бледным, а с выцветшим лицом, с руками, похожими немного на птичьи когти; большой говорун. В нем не было ничего привлекательного, да и в разговоре его, в тоне, в рассказах, в приветствиях была какая-то сухость, скрытность, что-то не располагающее в его пользу. Он восемь лет живет на Лю-Чу и в мае отправляется в Англию печатать книги св. Писания на ликейском и японском языках. Жену

и детей он уже отправил в Китай и сам отправится туда же с Перри, который обещал взять его с собою, лишь только другой миссионер приедет на смену.

Восемь лет на Лю-Чу — это подвиг, истинно христианский! Миссионер говорил по-английски, по-немецки и весьма плохо по-французски. Мы пустились в расспросы о жителях, о народонаселении, о промышленности, о нравах, обо всем.

— Что за место, что за жители!— говорили мы,— не веришь Базилю Галлю, а выходит на поверку, что он еще скромен.

— Да, место точно прекрасное,— сказал Беттельгейм,— надо еще осмотреть залив Мельвиль да один пункт на северной стороне — это рай.

— А жители? Какая простота нравов, гостеприимство! Странствуешь точно с Улиссом к одному из гостеприимных царей-пастырей, которые выходили путникам навстречу, угощали...

— Разве они встречали и угощали вас?— спросил пастор.

— Нет, встречали мало, больше провожали...

— Да, они действительно охотнее провожают, нежели встречают: ведь это полицейские, шпионы.

— Как полицейские? Разве здесь есть они?

— Как же! Чтоб наблюдать, куда вы пойдете, что будете делать, замечать, кто к вам подойдет, станет разговаривать, чтоб потом расправиться с тем по-своему...

— Что вы? возможно ли? Кажется, жители так кротки, простодушны, так приветливы: это видно из их поклонов...

— Боятся, так и приветливы. Если японцы стали вдруг приветливы, когда вы и американцы появились с большой силой, то как же не быть приветливыми ликейцам, которых всего от шестидесяти до восьмидесяти тысяч на острове!

— Мне нравится простота и трудолюбие,— сказал я.— Есть же уголок в мире, который не нуждается ни в каком соседе, ни в какой помощи! Кажется, если бы этим детям природы предоставлено было просить чего-нибудь, то они, как Диоген, попросили бы не загораживать им солнца.[17] Они умеренны, воздержны...

— Они точно простоваты,— заметил миссионер,— но насчет воздержания... нельзя сказать: они сильно пьют.

— Пьют! что вы? помилуйте,— защищали мы с жаром (нам очень хотелось отстоять идиллию и мечту о золотом веке),— у них и вина нет: что им пить?

— А саки?— отвечал Беттельгейм,— оно здесь лучше, нежели в Японии, и крепкое, как ром.

— Пьют!— говорил я в недоумении.

— И играют,— прибавил пастор.

— Нет, уж это слишком! ужели в самом деле? Да во что же: в какие-нибудь невинные игры: борются, бегают, как древние на олимпийских играх...

— Нет, нет! — настойчиво твердил Беттельгейм,— играют в азартные игры...

— Скажите, пожалуйста: эти добродетельные, мудрые старцы — шпионы, картежники, пьяницы! Кто бы это подумал!

— Да, у них есть что-то вроде карт,— сказал он,— даже нищие и те играют как-то стружками или щепками и проигрываются дотла.

— Вот тебе и идиллия, и золотой век, и Одиссея! Да у кого они переняли?— хотел было я спросить, но вспомнил, что есть у кого перенять: они просвещение заимствуют из Китая, а там, на базаре, я видел непроходимую кучу народа, толпившегося около другой кучи сидевших на полу игроков, которые кидали, помнится, кости. Каждый ставил деньги; один счастливый загребал потом у всех. Игра начиналась снова; игроки так углубились в свое дело, что не замечали зрителей, и зрители, в свою очередь, не замечали игроков и следили за костями. Вспомнил я еще, что недалеко от ликейцев — Манила, что там проматываются на пари за бои петухов; что еще на некоторых островах Тихого океана страсть к игре свирепствует, как в любом европейском клубе.

— Удивительно,— сказал я,— что такие кроткие люди заражены самою задорною из страстей!

— Нельзя сказать, чтоб они были кротки,— заметил пастор,— здесь жили католические миссионеры: жители преследовали их, и недавно еще они... поколотили одного миссионера, некатолического...

— Кого же это?

— Меня,— кротко и скромно отвечал Беттельгейм (но под этой скромностью таилось, кажется, не смирение).— Потом,— продолжал он,— уж постоянно стали заходить сюда корабли христианских наций, и именно от английского правительства разрешено раз в год посылать одно военное судно, с китайской станции, на Лю-Чу, наблюдать, как поступают с нами, и вот жители кланяются теперь в пояс. Они невежественны, грязны, грубы...

Мне стало подозрительно это поголовное порицание бедных ликейцев. Наши сказывали, что когда они спрашивали ликейцев, где живет миссионер, то последние обнаружили знаки явного нерасположения к нему, и один по-английски сказал про него: «Bad man, very bad man!» (дурной, очень дурной человек).

Платя за нерасположение нерасположением, что было не совсем по-христиански, пастор, может быть, немного преувеличивал миньятюрные пороки этих пигмеев. Они действительно неласковы были всегда к миссионерам. Несколько лет назад здесь поселились два католические монаха. Жители, не зная их звания, обходились с ними очень дружелюбно, всем их снабжали; но узнав, кто они, стали чуждаться их. Они не оскорбляли их, напротив, кланялись им; но лишь только те открывали рот, чтоб заговорить о религии, ликейцы зажимали уши и бежали прочь. Так те, не успев ни в чем, и уехали на французском военном судне, под командою, кажется, адмирала Сесиля, назад, в Китай.

Беттельгейм, однако ж, сказывал, что он беспрепятственно проповедует ликейцам в их домах, и будто они слушают его. Сомневаюсь, судя по тому, как с ним здесь поступают. Он говорит даже, что ему удалось несколько человек крестить.

— Я бы успел и больше,— заключил он,— если б не мешали японцы. Те ежегодно приезжают сюда на шестидесяти лодках, за данью и за товарами, а ликейцы посылают в Японию до шестнадцати. Японцы живут здесь подолгу и поддерживают в народе свою систему отчуждения от иностранцев и, между прочим, ненависть к христианам. И теперь их здесь до 600 человек. Они отрастили себе волосы, оделись в здешний костюм и прячутся, наблюдая и за жителями, и за иностранцами. Вы видите, что здесь все японское: пришедшая оттуда религия, нравы, обычаи, даже письменный язык, наполовину, однако ж, с китайским. Одни и те же произведения почвы и та же промышленность. Они делают такие же материи, такие же лакированные вещи, только всё грубее и проще; едят то же самое, как те,— вся японская жизнь и сама Япония в миньятюре. Не верьте Базилю Галлю,— заключил он, отодвигая лежавшую перед ним книѓу Галля,— в ней ни одного слова правды нет, все диаметрально противоположно истине!

Я действительно не верю Галлю, но не верю также и ему: первого слишком ласково встречали, а другого... поколотили; от этого два разные голоса.

Я выразил ему только опасение, чтоб он и его преемники торопливостью не испортили всего дела. «Если Япония откроет свои порты для торговли всем нациям,— сказал я,— может быть, вы поспешите, вместе с товарами, послать туда и ваши переводы Нового завета. Предсказываю вам, что вы закроете опять Японию, ничего не сделаете для религии и испортите торговлю. Японцы осматривали до сих пор каждое судно, записывали каждую вещь, не в видах торгового соперничества, а чтоб не прокралась к ним христианская книга, крест — все, что относится до религии; замечали число людей, чтоб не пробрался в Японию священник проповедовать религию, которой они так боятся. И долго еще не отступят они от этих строгостей, разве когда заменят свою жизнь европейскою. Вы лучше подождите,— заключил я,— когда учредятся европейские фактории, которые, конечно, выговорят себе право отправлять дома богослужение, и вы сначала везите священные книги и предметы в эти фактории, чего японцы par le temps qui court * запретить уже не могут, а от них исподволь, понемногу, перейдут они и к японцам».

Пока мы рассуждали в каюте, на палубе сигнальщик объявил, что трехмачтовое судно идет. Все пошли вверх. С правой стороны, из-за острова, показалось большое купеческое судно, мчавшееся под всеми парусами прямо на риф.

Был туман и свежий ветер, потом пошел дождь. Однако ж мы в трубу рассмотрели, что судно было под английским флагом. Адмирал сейчас отправил навстречу к нему шлюпку и штурманского офицера, отвести от мели. Часа через два корабль стоял уже близ нас, на якоре.

Но что это у него на палубе? Ужаснейшая толпа народа, непрохо-

* в данное время (*франц.*),— *Ред.*

димой кучей, как стадо баранов, жалась на палубе. Без справок можно было догадаться, что это эмигранты. Точно такое судно видели мы у острова Мадеры, с эмигрантами, отправлявшимися в Австралию. Но откуда и куда их везут? Беттельгейм сказал, что, верно, тут же приехал другой миссионер, на смену ему, и поехал туда разведать. Чрез полчаса он вернулся с молодым человеком, лет 26-ти, которого и представил адмиралу как своего преемника. Оба они обедали у нас. Вновь прибывший пастор, англичанин же, объявил, что судно пришло из Гон-Конга, употребив ровно месяц на этот переход, что идет оно в Сан-Франциско с пятьюстами китайцев, мужчин и женщин. Кого и чего нет теперь в Сан-Франциско? Начало этого города напоминает начало Рима: оба составились из бродяг.[18]

После обеда наши уехали на берег чай пить in's Grüne.* Я прозевал, но зато из привезенной с английского корабля газеты узнал много новостей из Европы, особенно интересных для нас. Дела с Турцией завязались; Англия с Францией продолжают интриговать против нас. Вся Европа в трепетном ожидании...[19]

Часов в семь за мной прислали шлюпку. Уж было темно. Застав наших на мысе, около рощи, у костра, я рассказал им наскоро новости и сам пошел по тропинке к лесу, оставив их рассуждать. Хорошо! Я наслаждался неизвестными вам впечатлениями, светлым сумраком лунной томной и теплой ночи, шелестом листьев рощи, полной мрака. Банианы, пальмы и другие чужеземцы шумели при тихом ветре иначе, нежели наши березы и осины, мягче, на чужом языке; и лягушки квакали по-другому, крепче наших, как кастаньеты. Вблизи плескал прилив, вдали глухо ревели буруны на рифах. До меня доносился живой говор товарищей. Меня позвали ехать, я поспешил на зов и в темноте наткнулся на кучку ликейцев, которые из-за шалаша наблюдали за нашими. Они вдруг низко поклонились и, не разгибаясь, дали мне пройти.

На другой день мы отправились на берег с визитами, сначала к американским офицерам, которые заняли для себя и для матросов — не знаю как, посредством ли покупки или просто «покровительства» — препорядочный домик и большой огород, с сладким картофелем, таро, горохом и табаком. Я не пошел к ним, а отправился по берегу моря, по отмели, влез на холм, пробрался в грот, где расположились бивуаком матросы с наших судов, потом посетил в лесу нашу идиллию: матрос Кормчин пас там овец. Везде, даже в лесу, видел я каменные постройки, заборы, плетни и хижины, с огородами и полями. Все обработано, всюду протоптаны чистые дорожки или сделаны каменные тропинки.

Остров, судя по пространству, очень заселен; он длиной верст восемьдесят, а шириной от шести до пятнадцати и восемнадцати верст: и на этом пространстве живет от шестидесяти до семидесяти тысяч. В Напе, говорил миссионер, до двадцати, и в Чуди столько же тысяч жителей.

Я дождался наших на мосту, ведущем в Напу, и мы пошли в город искать миссионеров.

---

* на лоне природы (*нем.*),— *Ред.*

Там то же почти, что и в Чуди: длинные, загороженные каменными, массивными заборами улицы с густыми, прекрасными деревьями: так что идешь по аллеям. У ворот домов стоят жители. Они, кажется, немного перестали бояться нас, видя, что мы ничего худого им не делаем. В городе, при таком большом народонаселении, было живое движение. Много народа толпилось, ходило взад и вперед; носили тяжести, и довольно большие, особенно женщины. У некоторых были дети за спиной или за пазухой.

Мы не знали, в которую сторону идти: улиц множество и переулков тоже.[20] С нами толпа народа; спрашиваем по-английски, называем миссионера по имени — жители указывают на ухо и мотают головой: «Глухи, дескать, не слышим». Некоторые, при наших вопросах, переговорят между собою, и вот один пойдет вперед и выведет нас к морю. Опять толки, и опять явится провожатый. Один водил, водил по грязи, наконец повел в перелесок, в густую траву, по тропинке, совсем спрятавшейся среди кактусов и других кустов, и вывел на холм, к кладбищу, к тем огромным камням, которые мы видели с моря и приняли сначала за город. Меня зло взяло.

— Ну, теперь вижу, что вы пьяницы и картежники...— ворчал я на ликейцев.

— Да и мошенники уж кстати,— прибавил другой товарищ,— ведь они нарочно водят нас.

Третий товарищ смеялся, слыша ропот. Наконец один ликеец привел нас вторично к морю, на отмель, и ушел, как и прочие, в толпу. Тогда мы насильно вывели одного из толпы за руки и послали вперед показывать дорогу. Делать было нечего. Он привел нас к серой, нависшей над водой скале и указал на зеленый, бывший рядом с ней холм и тропинку в кустах. «Опять вверх!» — ворчали мы, теряя терпение, и пошли на холм, подошли к протестантской церкви, потом спустились с холма и очутились у сада и домика миссионеров. Оказалось, что мы блуждали все время около этого места. На нас бросились лаять две большие собаки, лишь только мы вошли в садик.

Миссионер встретил нас на крыльце и ввел в такую же комнату, с рамой, заклеенной бумагой, как и в ликейских домах. Тут мы застали шкипера вновь прибывшего английского корабля с женой, страдающей зубной болью женщиной, но еще молодой и некрасивой; тут же была жена нового миссионера, тоже молодая и некрасивая, без передних зубов. В одном только кабинете пастора, наполненном книгами и рукописями, были два небольшие окна со стеклами, подаренными ему, кажется, *человеком Соединенных Штатов*. Над дверью был другой подарок, от него же: большая серебряная ваза. Все остальное было более нежели просто: грубый, деревянный стол, такие же стулья и диван — не лучше их.

Миссионер предложил нам вина и каких-то сдобных сухарей, извиняясь, что у него только и есть две рюмки и два стакана. Ему на другой же день адмирал послал дюжину вина и по дюжине или по две рюмок и стаканов — пей не хочу! Он нам показывал много

лакированных вещей, работы здешних жителей: чашки для кушанья, поставцы, судки, подносы и т. п.; но после японских вещей в этом роде на эти и глядеть было нельзя. Беттельгейм просил адмирала взять несколько вещей от него на память. Что было лучше всего, так это великолепный баниан у самого крыльца, бросавший тень на весь дворик, да множество разных кустов и цветов. Жаль только, что на Лю-Чу есть ядовитые змеи. Миссионер сказывал, что он поймал двух у себя в комнатах. В галерее, выходящей на двор, помещалась небольшая аптека и большая библиотека. Несколько ликейцев собралось у ворот и заглядывало на нас во двор; но миссионер махнул им рукой не очень ласково, чтоб они шли прочь. «Не может забыть побоев!» — шепнул мне один из товарищей. Миссионер проводил нас назад до самого фрегата на нашей шлюпке.[21]

Доро́гой адмирал послал сказать начальнику города, что он желает видеть его у себя и удивляется, что тот не хочет показаться. Велено прибавить, что мы пойдем сами в замок видеть их двор. Это очень подействовало. Чиновник, или секретарь начальника, отвечал, что если мы имеем сказать что-нибудь важное, так он, пожалуй, и приедет.

— Очень важное,— сказали ему.

Он хотел быть на другой день, но шел проливной дождь. Наконец вчера, 7-го февраля, начальник приехал на фрегат, с секретарем, помощником, переводчиком китайского языка и маленькою свитою. Он был высокий седой старик, не совсем патриархальной наружности, с красным носом, и вообще — увы, прощай, идиллия! — с следами сильного невоздержания на лице, с изломанными чертами, синими и красными жилками на носу и около. Он говорил сиплым и пискливым голосом. Товарищ его, высокий и здоровый мужчина, лет 50-ти, с черной длинной и жидкой, начинающейся с подбородка, как у всех у них, бородой. Прочие так себе, все здоровой наружности, свежие. У губернатора пучок на голове был проткнут золотой, у помощника и переводчика серебряной, а у прочих медной шпилькой. За первым сидел мальчик лет шестнадцати и беспрестанно набивал ему трубку, а тот давал ему подачки: бисквиты, наливку, которою его потчевали. Он подарил адмиралу два какие-то торта, а ему дали большой самовар, стеклянной посуды и еще прежде послали сукна́ на халат, за присланную живность и зелень. Показывали ему японские подарки и, между прочим, подаренную адмиралу саблю.

— А у вас есть сабли? — спросили его.

— Нет.

— Какое же у вас оружие?

— А вот,— отвечал он, показывая веер.

Его поблагодарили за доставку провизии, и особенно быков и рыбы, и просили доставлять — разумеется, за деньги — вперед русским судам все, что понадобится. Между прочим, ему сказано, что так как на острове добывается соль, то может случиться, что суда будут заходить за нею, за рисом или другими предметами: так нельзя ли завести торговлю?

— Нет, нет! у нас производится всего этого только для самих себя,— с живостью отвечал он,— и то рис едим мы, старшие, а низший класс питается бобами и другими овощами.

— Да еще мы просим сказать жителям,— продолжали мы,— чтоб они не бегали от нас: мы им ничего не сделаем.

— Они бегают оттого, что европейцы редко заходят сюда, и наши не привыкли видеть их. Притом американцы, бывши здесь, брали иногда с полей горох, бобы: если б один или несколько человек сделали это, так оно бы ничего, а когда все...

Мы уверили его, что наши не дотронутся ни до чего.

— Да, сделайте милость,— продолжал переводчик,— насчет женщин тоже... Один американец взял нашу женщину за руку; у нас так строго на этот счет, что муж, пожалуй, и разведется с нею. От этого они и бегают от чужих.

Какова нравственность: за руку нельзя взять! В золотой век, особенно в библейские времена и при Гомере, было на этот счет проще!

Мы съехали после обеда на берег, лениво и задумчиво бродили по лесам или, лучше сказать, по садам, зашли куда-то в сторону, нашли холм между кедрами, полежали на траве, зашли в кумирню, напились воды из колодца, а вечером пили чай на берегу, под навесом мирт и папирусов — словом, провели вечер совершенно идиллически.

Погода здесь во все время нашего пребывания была непостоянная: то дует северный муссон, иногда свежий до степени шторма, то идет проливной, безотрадный дождь. Зато чуть проглянет солнце — все становится так прозрачно, ясно, так млеет в радости... У нас, однако ж, было довольно дурной погоды — такой уж февраль здесь.

С кораблем, везущим эмигрантов, все истории. Третьего дня он стал было сниматься с якоря и сел на мель. С наших судов подали ему немедленную помощь: не будь этого, он бы скоро не снялся и при первом свежем ветре разбился бы в щепы; он и сам засвидетельствовал это. Наши ездили туда на корабль и рассказывают, что такой нечистоты, неурядицы, шума, хаоса и представить себе нельзя. Корабль большой, а матросов всего человек двадцать, и то инвалиды. Едва достает рук управляться с парусами, а толпящиеся на палубе китайцы мешают им пошевелиться. Крик и шум так велики, что слышно у нас. Чтоб облегчить судно и помочь ему сняться с мели, всех китайцев и китаянок перевезли часа на два к нам. Их поместили на баке и шкафуте и отгородили веревкой. Много очень высоких и хорошо сложенных мужчин. Женщины большею частью молодые и всё девицы, от четырнадцати до двадцати лет. Одна обращала на себя особенное внимание. Она, как кажется, была тут старшая, вроде начальницы, как и у мужчин были тоже старшины. Звали ее Ача. Она нехороша собой, но лицо, однако ж, привлекательно. Она была бойкая женщина и говорила по-английски почти как англичанка. На ней было широкое и длинное шелковое голубое платье, надетое как-то на плечо, вроде цыганской шали, белые чистые шаровары; прекрасная, маленькая, но не до уродливости нога, обутая по-европейски. Она сидела на станке пушки, бойко глядела вокруг

и беспрестанно кокетничала ногой, выставляя ее напоказ. Прочие женщины сидели в куче, на полу. Мужчины, которых было гораздо больше, толпились, как стадо. Мы расспрашивали Ачу, где она выучилась по-английски и зачем едет в Калифорнию. Она сказала, что едет обратно, что прожила уж три года в Сан-Франциско; теперь ездила на четыре месяца в Гон-Конг навербовать женщин для какого-то магазина... Мужчины ехали для грубых работ.

Наконец корабль сошел с мели, и китайцев увезли обратно. Он, однако ж, не ушел за противным ветром.

Третьего дня оба миссионера явились в белых холстинных шляпах, в белых галстуках и в черных фраках, очень серьезные, и сказали, что они имеют сообщить что-то важное. «На купеческом судне китайцы не слушаются шкипера»,— объявили они и просили потребовать китайских старшин и спросить, чем они недовольны. По вызову адмирала явились трое китайцев, нарядно одетые, благовидной наружности. Они сказали, что им отказывают в воде; что когда они подходили к бочке, матросы кулаками толкали их прочь. «От этого вышли ссоры,— прибавили они,— и больше ничего». Им представили всю опасность их положения, если б они не исполняли требований шкипера, прибавив, что в море надо без рассуждений делать все, чего он потребует.

— Так, знаем,— отвечали они,— мы просим только раздавать сколько следует воды, а он дает мало, без всякого порядка; бочки у него текут, вода пропадает, а он, отсюда до Золотой горы (Калифорнии), никуда не хочет заходить, между тем мы заплатили деньги за переезд по семидесяти долларов с человека.

Их помирили, заставив китайцев подписать условие слушаться, а шкиперу посоветовали завести побольше порядка и воды, да не идти прямо в Сан-Франциско, а зайти на Сандвичевы острова. Так и расстались с ними. Вечером видели еще, как Ача прогуливалась с своими подчиненными по берегу. Третьего дня корабль ушел; шкипер и миссионеры не знали как и благодарить начальство нашего судна. Наши матросы помогли ему сняться и с якоря: он один не управился бы. Когда эта громада, битком набитая народом, нечистая, некрашеная, в беспорядке как наружном, так и внутреннем, тихо неслась мимо нас, мы стояли наверху и следили за ней глазами.

— Дойдет ли? — сказал я с сомнением.

— До́йдет,— с уверенностию отвечал стоявший подле меня матрос, сильно ударяя на о,— отчего не до́йти, до́йдет!

Вчера, 8-го, и мы в последний раз съехали на берег. Романтики, взяв по бутерброду, отправились с раннего утра, другие в полдень, я с капитаном Лосевым после обеда, и все разбрелись по острову. Мы не пошли ни в деревню Бо-Тсунг, ни на большую дорогу, а взяли налево, прорезали рощу и очутились в обработанных полях, идущих неровно, холмами, во все стороны. С одного холма мы любовались окрестностью; мы очутились как будто среди зеленого волнующегося моря: ничего кругом, кроме зелени. Мы шли по тропинкам, мимо возделанных полей, бедных хижин, состоявших из бамбуковых загородок.

Кругом их огороды. У хижин, на рогожках, кучами лежали овощи и сушились на солнце, между прочим табак, назначенный для жвачки. Табак здесь очень хорош: он несколько крепче и темнее японского; тот чересчур нежен и слаб. Мы шли одни. Сначала за нами по улице следила толпа каких-то провожатых, но они кинули нас, лишь только мы поворотили в поля. Тропинки шли то вверх, на холмы, то спускались в овраги. Жар заставил нас оставить поля и искать тени в густых аллеях.[22] Мы вошли в переулки деревенек — везде одно и то же. Жители пугались менее прежнего; ребятишки с улыбкой кланялись в пояс, заигрывали и вдруг с хохотом разбегались в стороны, лишь только тронешь одного.

Мы вышли к большому монастырю, в главную аллею, которая ведет в столицу, и сели там на парапете моста. Дорога эта оживлена особенным движением: беспрестанно идут с ношами овощей взад и вперед или ведут лошадей, с перекинутыми через спину кулями риса, с папушами[23] табаку и т. п. Лошади фыркали и пятились от нас. В полях везде работают.[24] Мы пошли на сахарную плантацию. Она отделялась от большой дороги полями с рисом, которые были наполнены водой и походили на пруды с зеленой, стоячей водой.

Мы обошли поле сахарного тростника вокруг. Он растет слишком часто; в других местах его сажают реже. Он высок, как добрый кустарник. Тут же его резали и таскали на ближайший холм, в пресс, приводимый в движение быком. За тростником я увидел кучу народа. «Что там такое делается?»— спросили мы друг друга. Пригляделись и видим, что двое наших матросов взяли из рук ликейцев инструмент, вроде согнутого под прямым углом заступа, и преусердно взрывали им гряды с сладким картофелем. Комы земли и картофель так и летели по сторонам, а ликейцы, окружив их, смотрели внимательно на работу.

«Вот, ишь ты! вот! вот!» — слышалось при каждом ударе.

Мы отправились на холм, где были вчера, к кумирне. По дороге встретили толпу крестьян, с прекрасными, темными и гладкими, претолстыми бамбуковыми жердями, на которых таскают тяжести.

Мне хотелось поближе разглядеть такую жердь. Я протянул к одному руку, чтоб взять у него бамбук, но вся толпа вдруг смутилась. Ликейцы краснели, делали глупые рожи, глядели один на другого и пятились. Так и не дали.

Я не знаю, с чем сравнить у нас бамбук, относительно пользы, какую он приносит там, где родится. Каких услуг не оказывает он человеку! чего не делают из него или им! Разве береза наша может, и то куда не вполне, стать с ним рядом. Нельзя перечесть, как и где употребляют его. Из него строят заборы, плетни, стены домов, лодки, делают множество посуды, разные мелочи, зонтики, вееры, трости и проч.; им бьют по пяткам; наконец, его едят в варенье, вроде инбирного, которое делают из молодых веток.[25]

Едва мы взошли на холм и сели в какой-то беседке, предшествующей кумирне, как вдруг тут же, откуда-то из чащи, выполз ликеец, сорвал

в палисаднике ближайшего дома два цветка шиповника, потом сжался, в знак уважения к нам, в комок и поднес нам с поклоном. Он, конечно, имел приказание следить за нами издалека. Еще к нам пришел из дома мальчик, лет двенадцати, и оба они сели перед нами на пятках и рассматривали пристально нас, платья наши, вещи. Лосев вынул записную книжку, а я нарисовал в ней фигуру мальчика, вырвал рисунок из книжки и отдал ему. Что это за рисунок! Моему рисовальному учителю, конечно, и в голову не приходило, чтоб я показывал свое искусство на Ликейских островах. Мальчик был в восторге. Мы дали им сигар, отдали огниво, сверх того я дал старшему доллар. Он вынул из-за пазухи каш (маленькую медную китайскую монету) и смотрел то на нее, то на доллар. Я старался объяснить ему, что таких монет в долларе тысяча четыреста. Ни в Китае, ни у них другой монеты не водится. Американцы стали вводить испанские доллары в употребление. Мы долларами платили в Китае за провизию. Мальчик принес в маленьком чайнике чаю, который, впрочем, не имел никакого вкуса. Мы посидели с полчаса в беседке, окруженной рядом высоких померанцевых и других дерев, из породы мирт.

Уже вечерело, когда мы вышли на большую дорогу. Здесь встретил нас Унковский и подговорил ехать с ним в вельботе, который ждал его в Напе. «Недалеко»,— сказал он. Мы пошли налево, через другой мост, через лес, поле, наконец, по улицам — конца не было. Идучи мимо этих полей, где прорыты канавки, сделаны стоки, глядя на эту правильность и порядок, вы примете остров за образцовую ферму или отлично устроенное помещичье имение. В полях и из некоторых домов несло, как в Китае, удобрением, которое заготовляется в ушатах. Удобрение это состоит из всякого рода нечистот, которые сливаются в особые места, гниют, и потом, при посевах, ими поливают поля, как я видел в Китае. Говорят, это лучше нашего способа удобрения. «Сорных трав меньше»,— сказал Лосев, большой агроном.[26]

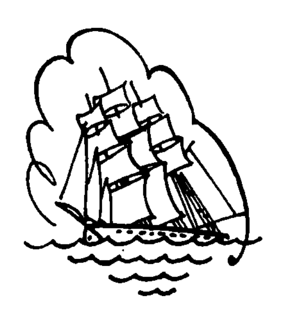
Мы шли, шли в темноте, а проклятые улицы не кончались: все заборы да сады. Ликейцы, как тени, неслышно скользили во мраке. Нас провожал тот же самый, который принес нам цветы. Где было грязно или острые кораллы мешали свободно ступать, он вел меня под руку, обводил мимо луж, которые, видно, знал наизусть. К несчастью, мы не туда попали, и, если б не провожатый, мы проблуждали бы целую ночь. Наконец добрались до речки, до вельбота, и вздохнули свободно, когда выехали в открытое море.

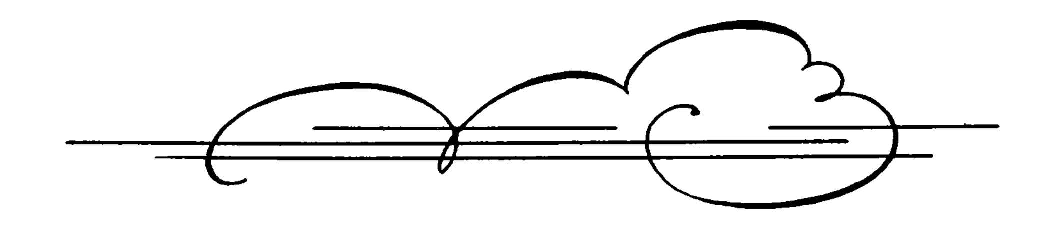
Адмирал хотел отдать визит напакианскому губернатору, но он у себя принять не мог, а дал знать, что примет, если угодно, *в правительственном доме*. Он отговаривался тем, что у них частные сношения с иностранцами запрещены. Этим же объясняется, почему не хотел принять нас и нагасакский губернатор иначе, как в казенном доме.

Но довольно Ликейских островов и о Ликейских островах, довольно и для меня и для вас! Если захотите знать подробнее долготу, широту места, пространство, число островов, не поленитесь сами взглянуть на карту, а о нравах жителей, об обычаях, о произведениях, об истории —

прочтите у Бичи, у Бельчера. Помните условие: я пишу только письма к вам о том, что вижу сам и что переживаю изо дня в день.

Сегодня мы ушли, и вот качаемся теперь в Тихом океане; но если б и остались здесь, едва ли бы я собрался на берег. Одна природа да животная, хотя и своеобразная жизнь не наполнят человека, не поглотят внимания: остается большая пустота. Для того даже, чтоб испытывать глубже новое, непохожее ни на что свое, нужно, чтоб тут же рядом, для сравнения, была параллель другой, развитой жизни.





V

МАНИЛА

От Лю-Чу до Манилы

Манильский залив.— Островки Коррехидор, Конь и Монахиня.— Вход на рейд.— Река Пассиг.— Улицы, лавки, отель.— Предместье Бинондо и старый город.— Тагалы, китайцы, метисы и испанцы.— Окрестности.— Растительность.— Плантации.— Кальсадо.— Французские миссионеры.— Изделия из соломы и ананасных волокон.— Церкви Санта-Круц и Мигель.— Ученье солдат.— Женщины.— Ящерицы в домах.— Ванны.— Визиты к испанцам.— Табачная фабрика.— Французский епископ.— Испанский монастырь.— Собор.— Богомольцы и проповедники.— Петушьи бои.— Породы деревьев.— Канатная фабрика.— Запас сигар.— Дамы на фрегате.— Происхождение слов Люсон и Манила.— Красота природы.— Географическая, историческая и статистическая заметка о Филиппинских островах.

9-го февраля, рано утром, оставили мы напакианский рейд и лавировали, за противным ветром, между большим Лю-Чу и другими, мелкими Ликейскими островами, из которых одни путешественники назвали Ама-Керима, а миссионер Беттельгейм говорит, что Ама-Керима на языке ликейцев значит: *вон там дальше — Керима.* Сколько по белу свету ходит переводов и догадок, похожих на это!

Транспорт «Князь Меншиков» и корвет «Оливуца» получили приказание идти вперед, а шкуна «Восток» послана осмотреть и, по возможности, описать островок, открытый лейтенантом Панафидиным под 25° широты. 10-е число мы всё лавировали день и ночь против S ветра и подались вперед не более сорока миль; зато 11-го, в 8 часов утра, подул чересчур свежий NO. Началась качка. У марселей взяли три рифа и спустили брам-стеньги. Неслись по одиннадцати узлов на фордевинд. Не люблю я фордевинда, или *фордака,* как Фаддеев называет этот ветер: он дует с кормы, следовательно, реи и паруса ставятся тогда прямо. Судно, держась на одном киле, падает то на правую, то на левую сторону.

11-го числа, часов в 9 вечера, мы пересекли северный тропик. Становилось темно. Ночью ни зги не видать; небо заволокло тучами; ветер ревет; а часа в два ночи надо было проходить сквозь группу островов Баши, ту самую, у которой, 9-го и 10-го июля прошлого года, нас встретил ураган. Хотя пролив, через который следовало идти, имеет в ширину до 19 миль, но в темноте поневоле в голову приходят разные сомнения, например, что могла быть погрешность в карте или течением отнесло от курса, тогда можно наткнуться... К счастью, утром погода была ясная и позволила сделать верную обсервацию.[1] В сказанный час, даже в темноте, увидели берег, промчались через пролив благополучно — и вот мы опять в Китайском море.

Сегодня, 12, какая погода! Море еще у Лю-Чу было синее, а теперь, в тропиках, и подавно. Солнце печет иногда до утомления, как у нас бывает перед грозой. Теплота здесь напитана разными запахами; солнце проникает всюду. Появились летучие рыбы, с сельдь величиною; они летают во множестве, стаями и поодиночке.

Ночью несколько стихло; мы отдохнули от качки и спали хорошо. Шли узлов по девяти, при мягком и теплом ветре, который нежит нервы, как купанье. После обеда вдруг, откуда ни возьмись, задул крепкий, но попутный ветер с берега, который был виден влево: это берег Люсона. Остров этот очень велик; от северной его оконечности до Манилы считают с лишком триста миль, а еще сколько от Манилы до южной оконечности! У кого ни посмотришь, описание Манилы в руках. Все заранее обольщают себя мечтами, кто — увидеть природу, еще роскошнее виденной, кто — новых жителей, новые нравы, кто льстится встретиться с крокодилом, кто с креолкой,[2] иной рассчитывает на сигары; тот хочет заказать белье из травяного холста; у всех различные желания. Барон Криднер заглядывает во все путешествия и мучится, что ничего нет об отелях: чего доброго, пожалуй, их нет совсем!

Звезды великолепны; море блещет фосфором. На небе первый бросился мне в глаза Южный Крест, почти на горизонте. Давно я не видал его. Вот и наша Медведица; подальше Орион. Небо не везде так богато: здесь собрались аристократы обоих полушарий.

Часов с шести вечера вдруг заштилело, и мы, вместо 11 и 12 узлов, тащимся по $1^1/_2$ узла. Здесь мудреные места: то буря, даже ураган, то штиль. Почти все мореплаватели испытывали остановку на этом пути; а кто-то из наших, от Баши до Манилы, шел девять суток: это каких-нибудь четыреста пятьдесят миль. Нам остается миль триста. Мы думали было послезавтра прийти, а вот...

Вам, конечно, случалось осматривать картинную галерею какого-нибудь любителя: он перед некоторыми своими дорогими картинами останавливает вас так долго, что картина даже... надоедает. Вот этак, подчас, казалось и нам в штиль, при тишине моря и синеве неба. А ведь как хорошо, красиво это безукоризненно чистое и голубое небо, синяя, беспредельная гладь моря, влажно-теплый береговой воздух! Но и морская поэзия надоест, и тропическое небо, яркие звезды: помянешь и майские петербургские ночи, когда, к полуночи, небо захочет

будто бы стемнеть, да вдруг опять засветлеет, точно ребенок нахмурится: того и гляди заплачет, а он вдруг засмеялся и пошел опять играть!..

Вдали, видишь, качаются три судна, как мы же, обезветренные, да синеет, как туча, берег Люсона. На палубе бездействие; паруса стоят неподвижно; ученье делать нет возможности от жара. Сегодня воскресенье; после обедни мы стояли на юте и смотрели вдаль. Вот мимо пронеслось стадо дельфинов: сначала плыл один — наруже видно было только острое черное перо. Вскоре появились они во множестве, переваливаясь с волны на волну. Еще большая акула долго следила за фрегатом. Ей два раза бросали крюк с наживой; два раза она хватала его, и один раз уже потащили было ее вверх, но крюк сломался. Среди бездействия и эти мелочи кажу́тся занимательны! Завтра новолуние: ожидают перемен, крепких ветров. Сегодня началась масленица; все жалеют, что не поспеют на карнавал в Манилу.

16-го мы наконец были у входа в Манильский залив, один из огромнейших в мире. Посредине входа лежит островок *Коррехидор,* с маяком. Слева подле него торчат, в некотором от него и друг от друга расстоянии, голые камни *Конь* и *Монахиня*; справа сплошная гряда мелких камней. Мы, лавировкой, часов в шесть вечера, пошли в залив. От Коррехидора отделилась было шлюпка и пошла на нас, чтоб, вероятно, «узнать о здоровье». Но где ей за нами! Мы шли по 9-ти узлов, обогнали какое-то странное, не то китайское, не то индийское судно и часу в десятом бросили якорь на манильском рейде, верстах в пяти от берега.

Мы подбирались к рейду тихо, осторожно, и ветер притих; настала ночь. Вы не знаете тропических ночей, светлых без света, теплых, кротких и безмолвных. Ни ветерка, ни звука. Дрожат только звезды. Между Южным Крестом, Конопусом, нашей Медведицей и Орионом, точно золотая пуговица, желтым светом горит Юпитер. Конопус блестит как брильянт, и в его блеске тонут другие бледные звезды корабля Арго, а все вместе тонет в пучине Млечного Пути. Что это за роскошь!.. Но чу! колокол! Давно я не слыхал благовеста. Густые и протяжные звуки разнеслись по рейду и смолкли. Я смотрел на городские огни: все кругом их таилось в сумраке. У меня на душе зашевелилось приятное чувство любопытства; в воображении поднялись из праха забвения картины и образы католического юга. Мне захотелось вдруг побывать в древнем монастыре, побродить в сумраке церквей, поглядеть на развалины, рядом с свежей зеленью, на нищету в золотых лохмотьях, на лень испанца, на красоту испанки — чувства и картины, от которых я было стал уставать и отвыкать.

Но говорят и пишут, между прочим американец Вилькс,[3] француз Малля (Mallat),[4] что здесь нет отелей; что иностранцы, после 11-ти часов, удаляются из города, который на ночь запирается, что остановиться негде, но что зато все гостеприимны и всякий дом к вашим услугам. Это заставляет задумываться: где же остановиться, чтоб не быть обязанным никому? есть ли необходимые для путешественника удобства?

Устал я. До свидания; авось, завтра увижу и узнаю, что такое Манила. Мы сделали от Лю-Чу тысячу шестьсот верст от 9-го до 16-го февраля... Манила! добрались и до нее, а как кажется это недосягаемо из Петербурга! точно так же, как отсюда теперь кажется недосягаем Петербург — ни больше, ни меньше. До свидания. Расскажу вам, что увижу в Маниле.

Февраль, 1854 г.

Лишь только встали мы утром 16 февраля, я вышел на ют смотреть Манилу. «Где же она?» — думал я, поглядев вокруг себя: пусто! Мы, по-вчерашнему, в море; вдали синеют берега; это мы видели всякий день, идучи под берегом Люсона. «Да где же Манила?» — спрашиваю. «А вон, вон»,— говорит дед, показывая пальцем вдаль. «Да вы не туда смотрите; вон где!» — прибавляет он, повертывая меня за плечо. Вижу едва заметную кайму берега; на нем что-то белеет: не то домы, не то церкви; сзади, вдалеке, горы. «Так это Манила?» — «Да; а вон Кавита»,— говорит дед, повертывая меня опять плечом вправо, почти назад от Манилы. Но там уж ничего не видать: ни домов, ни церквей. Снится как будто во сне полоса берега, да между этой полосой и нашим фрегатом виден трепещущий парус рыбачьей лодки. Недалеко от нас стоял французский военный пароход «Colbert» и несколько купеческих судов. «А Манилы все-таки не видать!» — сказал я. «Еще бы видеть! — возразил дед,— мы в двух с половиною милях от нее». «А ближе разве нельзя стать?» — спросил я. «С нашим фрегатом... что вы! тут глубина пойдет шесть да пять сажен. Другое дело купеческие суда — те и в реку входят».

«На берег кому угодно! — говорят часу во втором,— сейчас шлюпка идет». Нас несколько человек село в катер, все в белом — иначе под этим солнцем показаться нельзя — и поехали, прикрывшись холстинным тентом; но и то жарко: выставишь нечаянно руку, ногу, плечо — жжет. Голубая вода не струится нисколько; суда, мимо которых мы ехали, будто спят: ни малейшего движения на них; на палубе ни души. По огромному заливу кое-где ползают лодки, как сонные мухи.

По мере нашего приближения берег стал обрисовываться: обозначилась серая длинная стена, за ней колокольни, потом тесная куча домов. Открылся вход в реку, одетую каменной набережной. На правом берегу, у самого устья, стоит высокая башня маяка.

Река Пассиг — славная, быстрая река; на ней много движения. Берега заставлены, в два-три ряда, судами, джонками, лодками, так что мы с трудом пробирались и не раз принуждены были класть весла по борту. На судах деятельность: выгрузка, нагрузка: сейчас видно, что это большой порт. Некоторые корабли лежат почти на боку и чинятся. Всюду гомозятся за работой красно-смуглые, голые тела: всё

индийцы. На левом берегу крепость. «Вот Манила и есть! — сказал, указывая на крепость, барон Криднер, который уж был у губернатора,— это испанский город; тут все власти». «А это что ж?» — спросили мы, указывая на противоположный берег. «Это предместье Бинондо; тут торговля, иностранцы». Вот пока все, что я узнал.

«Куда ж пристать?» — «Вот одна пристань, а другая там, дальше где-то, у моста».— «Так пристанем к ближайшей!» — сказал кто-то. «Отчего ж к ближайшей? — возразил другой,— уж заберемся подальше». «И здесь хорошо». Стали спорить; большинство решило пристать немедленно; но тут течением потащило нас на мель, на праздно валявшиеся в тине якоря. «Клади лево руля! лево руля!» — говорил один. «Отталкивайся, бери правей...— командовал другой,— вот так! теперь пристанем». «Да нет, поедемте туда, к той пристани!» — решили многие — и поехали. А пристать следовало тут, как мы после увидели.

Мы продолжали плыть по реке. На одном берегу ряд грязноватых пакгаузов, домов, длинных заборов; зелени нигде не видать; изредка выбегают на солнце из-за каменной ограды два-три банановые листа. Направо, у крепости, растет мелкая трава; там бегают с криком ребятишки; в тени лежат буйволы, с ужаснейшими, закинутыми на спину рогами, или стоят по горло в воде. На стене ходят часовые, с большими эполетами из красной бахромы, в уланских киверах и в суконных мундирах, с перевязью. «Крепость славно укреплена»,— говорили наши, рассматривая артиллерию и толщину стен.

Но вот и мост. Насилу продрались мы, между судов и лодок, к каменным ступеням пристани и вышли на улицу. Ух, как душно! Нас охватил горячий и удушливый воздух: точно в пекарню вошли. «Ужели это Манила? — говорил один из наших спутников, помоложе, привыкший с именем Манилы соединять что-то цветущее,— да где же роскошь, поэзия?.. Ах, как нехорошо пахнет!» — вдруг прибавил он. Пахло в самом деле нехорошо. Мы вошли в улицу, состоящую из сплошного ряда лавок, и вдруг угадали причину запаха: из лавок выглядывали бритые досиня китайские головы и лукавые физиономии. Прямые азиатские жиды: где их нет? и всюду разносят они запах чесноку, сандального дерева и растительного масла. Здесь они, однако ж, почище, нежели в Сингапуре и Гон-Конге, и лавки у них поопрятнее, похожи на наши гостиные дворы, только с жильем вверху. Здесь меньше кузнецов, столяров; не видать, чтоб жарили и пекли на улице. Но голых много. Неприятно видеть эти белые и дряблые тела: точно провизия какая-нибудь выставлена напоказ, между частью баранины и окороком ветчины.

Мы искали, кого бы спросить о французском отеле, о котором слышали утром, о том, можно ли поселиться в нем, иметь экипаж и т. п. На улице никого; редко пробежит индиец или китаец с ношей, и опять улица опустеет. Только собаки да свиньи лежат кое-где у забора, в тени. Мы обращались и к китайцам, и к индийцам с вопросом по-английски и по-французски: «Где отель?» Встречные тупо глядели на нас или отвечали вопросом же: «Signor?» Мы стали ухитряться, как бы,

Манила. Улица в поселке. Гравюра. ИРЛИ. Ленинград.

не зная ни слова по-испански, сочинить испанскую фразу. После довольно продолжительной конференции наконец сочинили пять слов, которые долженствовали заключать в себе вопрос: «Где здесь французский отель?» С этим обратились мы к солдату, праздно стоявшему в тени какого-то желтого здания, похожего на казармы. Другой солдат стоял на часах. Первый поглядел на нас, подумал и повел по китайским рядам. Из лавок на нас несло попеременно мылом, сапожным товаром, пряностями, чаем и т. п. Наконец солдат привел нас на какой-то двор, на котором было множество колясок и лошадей. Кучера, чистившие их, посмотрели вопросительно на нас, а мы на них, потом все вместе на солдата: «Что это мы сказали ему?» — спросил один из нас в тоске от жара, духоты и дурного запаха на улицах. «Верно, что-нибудь хорошее, что он нас в конюшню привел!» — «А все же вышло что-нибудь да по-испански: недаром же он привел сюда»,— прибавил кто-то в утешение. «Франческа, франческа»,— повторили мы солдату. Один из кучеров тоже что-то сказал ему, и тот повел нас опять по рядам. Улица была прекрасная; лавки чем дальше шли, тем лучше. Наконец проводник остановился перед одной дверью и указал нам войти туда.

Мы очутились в европейском магазине, но в нем царствовал такой эклектизм, что ни за что не скажешь сразу, чем торгует хозяин. Тут стояло двое-трое столовых часов, коробка с перчатками, несколько ящиков с вином, фортепьяно; лежали материи, висели золотые цепочки, теснились в куче этажерки, красивые столики, шкафы и диваны, на окнах вазы, на столе какая-то машина, потом бумага, духи. Мы имели время рассмотреть все, потому что в магазине никого не было и никто не шел к нам. Минут через пять уже появился молодой, высокий, белокурый, очень красивый француз, по обыкновению изысканно одетый, и удивился, найдя нас тут. За ним вышла немолодая, невысокая, очень некрасивая француженка, одетая еще изысканнее. Она тоже с удивлением посмотрела на нас. Мы заговорили все вместе, и хозяева тоже. Мы стали горько жаловаться на жар, на духоту, на пустоту на улицах, на то, что никто, кроме испанского, другого языка не разумеет и что мы никак не можем найти отеля. Они усердно утешали нас тем, что теперь время сьесты — все спят, оттого никто по улицам, кроме простого народа, не ходит, а простой народ ни по-французски, ни по-английски не говорит, но зато говорит по-испански, по-китайски и по-португальски, что, перед сьестой и после сьесты, по улицам, кроме простого народа, опять-таки никто не ходит, а непростой народ все ездит в экипажах и говорит только по-испански. «Отель,— прибавили они в последнее утешение нам,— точно есть: содержит его француз m-r Демьен, очень хороший человек, но это предалеко отсюда. Вот, не угодно ли, вас проводит туда кули, а вы заплатите ему за это реал [5] или, пожалуй, больше».

Француженка, в виде украшения, прибавила к этим практическим сведениям, что в Маниле всего человек шесть французов, да очень мало американских и английских негоциантов, а то всё испанцы, что они всё спят да едят; что сама она католичка, но терпит и другие

религии, даже лютеранскую, и что хотела бы очень побывать в испанских монастырях, но туда женщин не пускают,— и при этом вздохнула из глубины души. «А много монахов в Маниле?» — спросил я. «On ne voit que ça, m-r»,* — отвечала она. На прощанье хозяева просили удостоить их посещением, если понадобится нам — мебель.

Опять пошли мы кочевать, под предводительством индийца, или, как называет Фаддеев, цыгана, в белой рубашке, выпущенной на синие панталоны, в соломенной шляпе, босиком, по пустым улицам, стараясь отворачиваться от многих лавочек, откуда уж слишком пахло китайцами.

Пока мы шли под каменными сводами лавок, было сносно, но лавки кончились; началась другая улица, пошли перекрестки, площади; надо было проходить по открытым местам. Зонтик оказался слабою защитою; ноги горели в ботинках. Мы прошли мимо моста, у которого пристали; за ним видна большая церковь; впереди, по новой улице, опять ряды лавок, гораздо хуже, чем в той, где мы были. Попадались все те же индийцы и китайцы, изредка метисы, и одна метиска, с распущенной по спине мокрой косой, которую она подставляет под солнце посушить после купанья.

Метисы — это пересаженные на манильскую почву, с разных других мест, цветки, то есть смесь китайцев, испанцев и других племен с индийцами. Испанские метисы одержимы желанием прослыть, где есть случай, испанцами — но это невозможно: чересчур смуглые лица, чересчур черные волосы обличают неиспанскую кровь на каждом шагу. Они и сами понимают это и смиряются. Женщины присвоили себе и особенный костюм: ярко полосатую и даже пеструю юбку и белую головную мантилью, в отличие от черной, исключительного головного убора испанок pur sang.** Испанцы так дорожат привилегией родиться и получить воспитание на своем полуострове, что уже родившиеся здесь, от испанских же родителей, дети на несколько процентов ценятся ниже против европейских испанцев в здешнем обществе. Одна молодая испанка... Но ведь это я все узнал не дорогой к трактиру, а после: зачем же забегать? Расскажу, когда дойдет очередь, если не... забуду.

Улицы, домы, лавки — все это провинциально и похоже на все в мире, как я теперь погляжу, провинциальные города, в том числе и на наши: такие же длинные заборы, длинные переулки без домов, заросшие травой, пустота, эклектизм в торговле и отсутствие движения.

У одного переулка наш вожатый остановился, дав догнать себя, и пошел между двумя заборами, из-за которых выглядывали жарившиеся на солнце бананы. В этом переулке совсем не видно было домов, зато росло гораздо больше травы, в тени лежало гораздо более свиней и собак, нежели в других улицах. Наконец вот и дом, один, вдали, уж на загибе, другой — и только. «Да скоро ли кончится этот путь?» — говорили мы, донельзя утомленные жаром. Тагал [6] остановился у первого из домов, у довольно грязных ворот. «Fonda!» — сказал он, указы-

---

* «Только их одних и видно, сударь» (*франц.*),— *Ред.*

** чистокровных (*франц.*),— *Ред.*

вая рукой во двор. Мы недоверчиво заглянули туда — и что же: опять коляски и лошади. «Что ж это значит: смеются, что ли, над нами?» — ворчали мы. «Fonda!» — твердил упрямо тагал. «Так что ж, что fonda? веди нас в отель!» — кричали мы, кто по-французски, кто по-английски. К счастью, вышел какой-то молодой человек и объявил по-английски, что это фунда, то есть отель и есть. «А лошади, коляски — что это значит?» — сердито спрашивали мы. «Хозяин содержит и экипажи»,— отвечал он.

Мы успокоились и спрятались под спасительную тень, пробежав двор, наполненный колясками и лошадьми, взошли на лестницу и очутились в огромной столовой зале, из которой открытая со всех сторон галерея вела в другие комнаты; далее следовали коридоры с нумерами. О, роскошь! солнца нет; везде сквозной ветер; но, к сожалению, он не всегда здесь к вашим услугам. У нас, на севере, велят избегать его, а здесь искать. Отель напоминал нам Сингапур: такие же длинные залы, длинный стол и огромный веер, прикрепленный к потолку. Везде задвижные рамы во всю величину окна. Есть и балкон, или просто крыша над сараями, огороженная бортами, как на кораблях, или, лучше сказать, как на... балконах.

На нас с любопытством поглядывала толпа слуг, индийцев, большею частью мальчишек. Впрочем, тагалы вообще невысоки ростом и моложавы на вид. «Лимонаду!» — спросили мы, и вся толпа слуг разом бросилась вон, так что пол, столы, стулья — все заходило в зале. Тут я разглядел, что полы, потолки — все это выстроено чересчур на живую нитку. Я сквозь щели досок на полу видел, что делается на дворе; каждое слово, сказанное внизу, слышно в комнате, и обратно. Разглядел я еще, что в рамах нет ни одного стекла, а вместо их что-то другое. «Слюда!» — сказал один из нас. «Нет, это жесть,— решил другой,— посмотрите, какая крепкая!»

Слуги вбежали, как лошади, с таким же шумом, с каким ушли, и принесли несколько бутылок лимонаду. Мы жадно напали на лимонад и потом уже спросили, где хозяин и можно ли его видеть. Опять они с оглушительным топотом шарахнулись вон. Явился хозяин, m-r Demien, лет 35-ти, приятной наружности, с добрым лицом, в белой куртке и соломенной шляпе, вежливый, но не суетливый, держит себя очень просто, но с достоинством, не болтун и не хвастун, что редко встретишь в французе. Он объявил, что за полтора пиастра[7] в сутки дает комнату, со столом, то есть с завтраком, обедом, ужином; что он содержит также и экипажи; что коляска и пара лошадей стоят в день два пиастра с половиной, а за полдня пиастр с четвертью; что завтракают у него в десять часов, обедают в четыре, а чай пьют и ужинают в восемь. «Впрочем, у меня когда хотите, тогда и дадут есть, comme chez tous les mauvais gargotiers»,* — прибавил он. «Excellent, m-r Demien»,** — сказал барон Криднер в умилении.

---

* «...как у всех плохих кабатчиков» (*франц.*),— *Ред.*

** «Превосходно, господин Демьен» (*франц.*),— *Ред.*

«Скажите, пожалуйста,— начали мы расспрашивать хозяина,— как бы посмотреть город?» «Можно,— отвечал он,— вы что хотите видеть?» «Прежде всего испанский город, достопримечательности».— «Можно».— «Церкви, например?» — «Можно».— «Так велите же дать лошадей, мы бы поехали...» — «Церкви видеть нельзя: они заперты»,— сказал Демьен. «Когда ж служат в них?» — «До восьми часов утра; позже — жарко».— «Ну, фабрику сигар можно видеть?» — «Нет, надо до одиннадцати часов утра; к полудню все расходятся отдыхать: жарко. Да у вас есть позволение от губернатора?» — «Позволение?» — спросили мы. «Да?» — «Нет».— «Впрочем, если у вас есть кто-нибудь знакомый в городе, то вас проведут, по знакомству с директором».

Мы призадумались перед этими неожиданными помехами. «Еще нам хотелось бы съездить внутрь острова: посмотреть, например, грот св. Маттео, лагуны... можно ли у вас достать лошадей?» — спрашивали мы далее. «Можно, сколько хотите; только здешнее начальство неохотно пускает иностранцев внутрь... Впрочем, для вас, может быть, губернатор разрешит: вы редкие гости».— «Чем же это лучше Японии? — с досадой сказал я,— нечего делать, велите мне заложить коляску,— прибавил я,— я проедусь по городу, кстати куплю сигар...» «Коляски дать теперь нельзя...» — «Вы шутите, г. Демьен?» — «Нимало: здесь ездят с раннего утра до полудня, потом с пяти часов до десяти и одиннадцати вечера; иначе заморишь лошадей».— «Где ж магазин с сигарами! покажите, мы пешком пойдем».— «Есть один магазин казенный, да там не всегда бывают сигары... надо на фабрике...» — «Это из рук вон! ведь на фабрику попасть нельзя?» — «Трудно».— «Где ж берут сигары? мы на улице видели, все курят».— «В частных лавках есть, да дрянные».— «Нет ли у вас?» — «Нет, я не держу, потому что здесь всякий сам запасает себе».

Мы пожали плечами, а Демьен улыбался: он наслаждался нашим положением. «Что ж нам делать теперь — научите».— «А вот отдохните здесь, теперь три часа, в четыре подадут обед: обедайте, если хотите, а после я тотчас велю закладывать экипажи, пораньше, для вас, и вы поедете кататься. Сигар я пошлю купить сейчас же».— «Мы обедали»,— отвечали мы. «Завтракали,— поспешно добавил барон,— почему ж не отобедать? Надо же изучать нравы, обычаи...» «А что это у вас вставлено в рамы вместо стекол?» — спросил я хозяина. «Перламутровые раковины».— «Зачем же?» — «Они мало света пропускают в комнаты и не принимают в себя жара. Да стекол здесь не напасешься от одних землетрясений»,— прибавил он.

Мы сели у окна, на самом сквозном ветру, и смотрели на огороженный забором плац, с аллеею больших тенистых деревьев, назначенный, по-видимому, для ученья солдат. Дальше виднелись крыши домов, с редкою, выглядывавшею из-за них зеленью. С другой стороны, с балкона, вид был лучше. Балкон выходил на Пассиг, с движущейся по ней живой панорамой судов, странных лодок, индийцев. Из-за крепостной стены глядели куполы и кресты церквей. В трактир приходили и уходили разные лица, всё в белых куртках, индийцы в грязных

рубашках, китайцы без того и без другого. Мимо везли на буйволах разные клади: видно, буйволы, насчет езды по жаре, не входили в одну категорию с лошадьми.

В трактире к обеду стало поживее: из нумеров показались сонные лица жильцов: какой-то очень благообразный, высокий седой старик, в светло-зеленом сюртуке, ирландец, как нам сказали, полковник испанской службы, француз, бледный, донельзя с черными волосами, донельзя в белой куртке и панталонах, как будто завернутый в хлопчатую бумагу, с нежным фальцетто, без грудных нот. Потом, несмотря на жар, пришло с улицы несколько англиистких шкиперов: что за широкоплечесть! что за приземистость! ноги, вогнутые внутрь или дугой наружу. Они вчетвером, как толпа буйволов, прошли по галерее мерно, основательно, так что пол заходил ходенём. Посмотришь ли на индивидуума этой породы спереди, только и увидишь синюю толстую суконную куртку, такие же панталоны, шляпу и под ней, вместо лица, круг красного мяса, с каймой рыжих жестких волос, да огромные жесткие, почти неразжимающиеся кулаки: горе, кому этакой кулак окажет знак вражды или дружбы! Взглянешь сзади — то же самое, только шляпа вплоть приходится к плечам. Он неизменим всегда и везде: ни белых курток, ни соломенных шляп, никаких этих нежностей не знает. Явилось еще несколько лиц, всего человек двадцать. Слуги проявляли необыкновенную деятельность: они продолжали бросаться вон и возвращаться бегом, каждый с каким-нибудь блюдом, и скоро заставили весь стол, так что скатерти стало не видно.

Чего не было за столом! Мяса решительно все и во всех видах, живность тоже; зелени целый огород, между прочим, кукуруза с маслом. Но фруктов мало: не сезон им.

Стол — смесь английского с французским: зелень, например, вся приготовлена по-французски, а мясо и рыба поданы по-английски, неразрезанными; к ним особо опять французские рагу, тут же и сои, пикули.[8] Хотя все кушанья разом поставлены на стол, но собеседники друг друга не беспокоили просьбою отрезать того, другого, как принято у англичан. «Зачем так много всего этого? — скажешь невольно, глядя на эти двадцать, тридцать блюд,— не лучше ли два-три блюда, как у нас?..» Впрочем, я не знаю, что лучше: попробовать ли понемногу от двадцати блюд или наесться двух так, что человек после обеда часа два томится сомнением, будет ли он жив к вечеру, как это делают иные...

Слуги и за обедом суются как угорелые, сталкивают друг друга с ног, беснуются и вдруг становятся неподвижно и глядят на вас, прося глазами приказать что-нибудь еще.

После обеда стало посвежее; все разъехались. Мне подали прекрасную небольшую коляску, запряженную парой мелких, но прехорошеньких, круглых и резвых лошадей. «Велите кучеру ехать сначала в Манилу,— сказал я хозяину,— потом в окрестности; только подальше и позанимательнее». «А на кальсадо[9] хотите ехать?» — спросил он. «Что

это такое кальсадо?» — «Это гулянье около крепости и по взморью: туда по вечерам собираются все кататься».— «Ужо, попозднее»,— сказал я. Он долго что-то говорил кучеру, и тот погнал лошадей, еще по горячим улицам, по которым мы утром тащились пешком до отеля. Я прилежно глядел кругом, чтоб скорее освоиться в городе.

Мы промчались по предместью, теперь уже наполненному толпами народа, большею частию тагалами и китайцами, отчасти также метисами: весь этот люд шел на работу или с работы; другие, казалось, просто обрадовались наступавшей прохладе и вышли из домов гулять, ходили по лавкам, стояли толпами и разговаривали.

Тагалы нехороши собой: лица большею частью плоские, овальные, нос довольно широкий, глаза небольшие, цвет кожи не чисто смуглый. Они стригутся по-европейски, одеваются в бумажные панталоны, сверху выпущена бумажная же рубашка; у франтов кисейная, с вышитою на европейский фасон манишкой. В шляпах большое разнообразие: много соломенных, но еще больше европейских, шелковых, особенно серых. Метисы ходят в таком же или уже совершенно в европейском платье.

Женщины, то есть тагалки, гораздо лучше мужчин: лица у них правильнее, глаза смотрят живее, в чертах больше смышлености, лукавства, игры, как оно и должно быть. Они большие кокетки: это видно сейчас по взглядам, которыми они отвечают на взгляды любопытных, и по подавляемым улыбкам. Как хорош смуглый цвет, при живых, страстных глазах и густой черной косе, которая плотным узлом громоздится на маленькой голове, напоказ всем, без всякого убора! Вас поразила бы еще стройность этих женщин: они не высоки ростом, но сложены прекрасно, тем прекраснее, что никто, кроме природы, не трудился над этим станом. Нет ни пояса, на тесемки около поясницы, ничего, что намекало бы на шнуровку и корсет. Весь костюм состоит из бумажной, плотно обвитой около тела юбки, без рубашки; юбка прикрыта еще большим платком — это нижняя часть одежды; верхняя состоит из одного только спенсера, большею частью кисейного, без всякой подкладки, ничем не соединяющегося с юбкою: от этого, при скорой походке, от грациозных движений тагалки, часто бросается в глаза полоса смуглого тела, внезапно открывающаяся между спенсером и юбкой.

У многих, особенно у старух, на шее, на медной цепочке, сверх платья, висят медные же или серебряные кресты или медальоны, с изображениями святых. Нечего прибавлять, что все здешние индийцы — католики. В дальних местах, внутри острова, есть еще малочисленные племена или, лучше сказать, толпы необращенных дикарей; их называют негритами (negritos). Испанское правительство иногда посылает за ними небольшие отряды солдат, как на охоту за зверями.

Между этими стройными женскими фигурами толкались, кроме тагалов, китайцы в своих кофтах, с длинною, путавшеюся в ногах косою, или пробирались монахи. И мужчины, и женщины почти все курили сигары.

Мы выехали из предместья и по длинному, но довольно узкому мосту через Пассиг, потом мимо казарм, въехали в крепость, окруженную широким, наполненным водой рвом и серой массивной стеной из дикого камня. Проехали еще чрез ворота за внутреннюю, выбеленную кирпичную стену и очутились в длинной, узенькой, мрачной улице испанского города. Домы шли сплошной массой, в два этажа, с непрерывной каймой висячих балконов, похожих на шкафы с плотно затворенными дверцами. Нижние этажи первой улицы заняты китайскими лавками, всё почти с европейскими товарами.

Мы мчались из улицы в улицу, так что предметы рябили в глазах: то выскочим на какую-нибудь открытую площадку — и все обольется лучами света: церковь, мостовая, сад перед церковью, с яркою и нежною зеленью на деревьях, и мы сами, то погрузимся опять во тьму кромешную длинного переулка. В глазах мелькнет вывеска лавки, отворенное жалюзи и заспанное лицо старого испанца; там арфа у окна; там детская головка, солдат на часах. Сказал бы кучеру: *стой, тише!* да как ему скажешь? Выйдет такая же история, пожалуй, как давеча *с фондой.* Мы доскакали до большой площади, с сквером посредине и бронзовым монументом. «Stop, halt»,* — говорил я. Кучер все мчал дальше. Я потерял терпение и тростью тронул его в спину. Он быстро обернулся ко мне и смотрел на меня вопросительно, а лошади все ехали. Насилу я знаками объяснил ему, что хочу выйти.

Я пошел по площади кругом; она образует параллелограмм: с одной стороны дворец генерал-губернатора — большое двухэтажное каменное здание новейшей постройки; внизу, в окнах, вместо рам, большие железные решетки. Здесь все домы в два этажа; в нижних этажах помещаются лавки и кладовые, но не жилые покои, по причине землетрясений. Здания строятся по двум способам: или чрезвычайно массивно, как строятся монастыри, казармы, казенные домы, так что надо необыкновенное землетрясение, чтоб поколебать громадные стены этих зданий; или же сколачиваются на живую нитку, вроде балаганов, как выстроена фонда и почти все другие частные домы. В них потолки и полы так легки и эластичны, что покоряются движению почвы и, пошатавшись немного, остаются на своем месте. Здесь, говорят, все привыкли к землетрясениям: и домы, и люди. Напротив дворца — ратуша с башенкой наверху. С третьей стороны собор, на четвертой ряд больших, выстроенных в линию частных домов.

Площадь вся так и горела жаром — нужды нет, что был уже в исходе пятый час. Домы стоят, точно необитаемые, с закрытыми жалюзи. Церковь, с серыми, обросшими мохом стенами, покоится мертво и немо. Нигде ни звука, ни движения; птичка даже не пролетит, и солдат у ворот дворца точно прирос к земле, как эта статуя Карла IV. Около монумента, на сквере, только что посажены, не сегодня, так вчера, кустики с голыми прутьями — будущие деревья; они смотрели так жалко и сухо, как будто отчаивались вырасти под этим солнцем.

---

* «Стой» (*англ.* и *нем.*),— *Ред.*

Я хотел обойти кругом сквера, но подвиг был не по силам; сделав шагов тридцать, я сел в коляску, и кучер опять беспощадно погнал лошадей, опять замелькали предметы. Но город уже понемногу оживал: кое-где отодвигались жалюзи; появлялись люди. На одном балконе, опершись локтями о решетку, сидела молодая женщина, с матовым лицом, с черными глазами; она смотрела бойко: видно, что не спала совсем. Вот вечером тут, пожалуй, явится кто-нибудь с *отвагой* и *шпагой*,[10] а может быть, и с *шелковыми петлями*.[11] Я стал вглядываться попристальнее в нее, и она скрылась. Кое-где отворяли решетчатые железные ворота в домах; слышался стук колес, там, на балконе, собралось целое семейство наслаждаться чуть-чуть повеявшей прохладой.

Проехав множество улиц, замков, домов, я выехал в другие ворота крепости, ко взморью, и успел составить только пока заключение, что испанский город — город большой, город сонный и город очень приятный. Едучи туда, я думал, правду сказать, что на меня повеет дух падшей, обедневшей державы, что я увижу запустение, отсутствие строгости, порядка, словом, поэзию разорения, но меня удивил вид благоустроенности, чистоты: везде видны следы заботливости, даже обилия.

За городом дорога пошла берегом. Я смотрел на необозримый залив, на наши суда, на озаряемые солнцем горы, одни, поближе, пурпуровые, подальше — лиловые; самые дальние синели в тумане небосклона. Картина впереди — еще лучше: мы мчались по большому зеленому лугу, с декорацией индийских деревень, прячущихся в тени бананов и пальм. Это одна бесконечная шпалера зелени — на бананах нежной, яркой до желтизны, на пальмах темной и жесткой.[12]

Кучер мчит неистово; я только успеваю кидать быстрые взгляды направо и налево. Тут стена бамбуков; я нигде не видал таких больших и стройных деревьев: они растут исполинскими кустами или букетами, устремляясь, как пучки стрел, вверх, и там разбегаются ветвями в разные стороны. Дальше густая, непроницаемая масса смешанной зелени, в которой местами прячутся кисти хлебных плодов, фиг или гранат, как мне казалось при такой быстрой езде. Из чащи зелени мы вдруг вторгались в тагальскую деревню, проскакивали мимо хижин без стен, с одними решетками, сплетенными из растущего тут же рядом бамбука, крытых банановыми листьями, и без того, впрочем, осеняющими круглый год всю хижину. Деревня заменялась опять сплошным лесом-садом, который тянется долго, целые мили. Потом зеленая шпалера внезапно раздвинется, открывая поля с грядами, покосами, фермами, стадами, с пестрыми нивами, как заплатами, которые стелются далеко, вплоть до синеющего на горизонте леса.[13] Местами декорация леса прячет за собой табачную, кофейную или, наконец, сахарную плантацию. Одно цветет, с другого уже собраны плоды, третье едва всходит. Но бананы превозмогают все: везде, из всех углов и щелей, торчат их нескромные, ярко-свежие листья, осеняющие крупные и тяжелые кисти плодов. Все здесь заросло, все зелень, все сад, как на Яве; нет пустого клочка голой земли.

Сколько мостиков и речек перемахнули мы! Везде на них жилье, затишья, углубления в сторону: там, в сонные воды заблудившейся в лесу и ставшей неподвижно речки, смотрятся дачи, во всем убранстве зелени и цветов; через воды переброшен мост игрушечной постройки, каких много видишь на театре, отчасти на Черной речке тоже.[14]

На балконах уже сидят, в праздном созерцании чудес природы, заспанные, худощавые фигуры испанцев de la vieille roche,* напоминающих Дон Кихота: лицо овальное, книзу у́же, с усами и бородой, похожей тоже на ус, в ермолках, с известными крупными морщинами, с выражающим одно и то же взглядом тупого, даже отчасти болезненного раздумья, как будто печати страдания, которого, кажется, не умеет эта голова высказать, за неуменьем грамоте. На всех картинках испанской школы увидите такие лица. Другие еще почивают или, проснувшись, кушают. Быстроглазые тагалки, занятые чем-нибудь в хижинах или около, вдруг поднимают на проезжих глаза и непременно что-нибудь высказывают ими: или вопрос, или насмешку, или другое, но во всяком случае красноречиво. Мужчины — те ничего не говорят: смотрят на вас с равнодушным любопытством, медленно, почесывая грудь, спину или что-нибудь другое, как делают и у нас мужчины в полях, отрываясь на минуту от плуга или косы, чтоб поглядеть на проезжего. Одни из них возятся около волов, другие работают по полям и огородам, третьи сидят в лавочке и продают какую-нибудь дрянь; прочие покупают ее, едят, курят, наконец, многие большею частью сидят кучками всюду на улице, в садах, в переулках, в поле и почти все с петухом подмышкой.

Это вечный товарищ тагала: он с ним всюду. Я видел петухов, привязанных к дверям лавок: хозяин торгует — петух должен быть тут же. Я останавливался, выходил из коляски посмотреть, что они тут делают; думал, что увижу знаменитые манильские петушьи бои, но видел только боевые экзерциции; петухов раздражали, спуская друг на друга, но тотчас же и удерживали за хвост, как только рыцари слишком ощетинятся. Тут лишь пробовали их силу, ценили качества и готовили к настоящим сражениям. А сражения происходят в особых цирках, по праздникам. Странно видеть взрослых людей, с задумчивыми, иногда с такими деловыми физиономиями, за ребяческой забавой. Мне невольно пришла на память Европа, карты и деловые физиономии тоже...

Когда я выезжал из города в окрестности, откуда-то взялась и поехала, то обгоняя нас, то отставая, коляска; в ней на первых местах сидел августинец,[15] с умным лицом, черными, очень выразительными глазами, с выбритой маковкой, без шляпы, в белой полотняной или коленкоровой широкой одежде; это бы ничего: on ne voit que ça, говорит француженка; но рядом с монахом сидел китаец — и это не редкость в Маниле. У этого китайца были светло-русые волосы, голу-

* старого закала (*франц.*),— *Ред.*

бые или по крайней мере серые глаза, белое или, скорее, красноватое лицо, начиная с носа, совершенно как у европейца. Подумав хорошенько, я снизошел и к этому явлению. «Почему ж,— думал я,— не быть у китайца русым волосам и красному носу, как у европейца? ведь англичане давно уж распространяют в Китае просвещение и завели много своего. Между прочим, и носы, и русые волосы...» Но зачем у этого китайца большой золотой крест на груди? Если он христианин, как надо полагать, зачем он в китайском платье? — боится своих, прячется? не думаю: тогда бы он боялся носить и крест. Наконец, зачем он сидит с католическим монахом? Кто это против них, весь в черном светском платье, худощавый мужчина, который не надевает шляпы, а держит ее в руках? Потом отчего они все молчат и смотрят в разные стороны?

Это очень интриговало меня; я поминутно обращал взгляды на коляску, до того, что августинский монах вышел из терпения и поклонился мне, полагая, вероятно, по моим вопросительным и настойчивым взглядам, что я добивался поклона. Мне стало совестно, и я уже не взглянул ни разу на коляску, и не знаю, где и как она отстала от нас.

Солнце уж скрывалось; мертвый полуденный сон миновал; бездействие кончилось. По деревьям, по дороге и по воде заиграл ветерок, подувший с моря, но так мягко, нежно, осторожно, как разве только мать дует в лицо спящему ребенку, чтоб согнать докучливую муху. Почти не слыхать его, а прохладно, тепло и покойно; ветви не качаются взад и вперед и не хлещут одна другую, как в наших северных дубравах; они не движутся, только листья шепчут, и то не все: иной с подошву толщиной — где ему шептать! зефиры не скоро раскачают его.

А кучер все мчал да мчал меня, то по глухим переулкам, с бедными, но чистыми хижинами, по улицам, то опять по полянам, по плантациям. Из-за деревьев продолжали выглядывать идиллии в таких красках, какие, конечно, не снились самому отцу Феокриту. Везде толпы; на балконах множество голов.

Мы проезжали мимо развалин массивного здания, упавшего от землетрясения, как надо полагать. Я вышел из экипажа, заглянул за каменную ограду и видел стену с двумя-тремя окнами да кучу щебня и кирпичей, заросших травой.

В тагальских деревнях между хижинами много красивых домов легкой постройки — это дачи горожан, которые бегут сюда, между прочим, тотчас после первых приступов землетрясения, как сказал мне утром мсьё Демьен. Здесь нечему раздавить человека: все из жердочек, из прутьев; стен нет: место их занимают окна, задвигаемые посредством жалюзи. Жалюзи открывались к вечеру и обнаруживали внутренность домов. У тагалов нечего смотреть: несколько посуды для приготовления пищи, лавки и семейство, сидящее на полу. Хижины строятся на подставках, для защиты от периодически разливающихся рек, от дождей; под хижиной помещаются свиньи, куры, все домашнее хо-

зяйство. Побогаче хижины окружены двориками, огороженными бамбуком, а чаще кустами бананов. Во многих хижинах я видел висящие мундиры, а иногда и сам смуглый воин из тагалов, вроде Отелло, сидел тут же, среди семейства.

Да, прекрасны окрестности Манилы, особенно при вечернем солнце: днем, в полдень, они ослепительны и знойны, как степь. Если б не они, не эта растительность и не веселый, всегда праздничный вид природы, не стоило бы, кажется, и ездить в Манилу, разве только за сигарами.

Мы въехали в город с другой стороны; там уж кое-где зажигали фонари: начинались сумерки. Китайские лавки сияли цветными огнями. В полумраке двигалась по тротуарам толпа гуляющих; по мостовой мчались коляски. Мы опять через мост поехали к крепости, но на мосту была такая теснота от экипажей, такая толкотня между пешеходами, что я ждал минут пять в линии колясок, пока можно было проехать. Наконец мы высвободились из толпы и мимо крепостной стены приехали на гласис [16] и вмешались в ряды экипажей.

Где это я? Под Новинским или в Екатерингофе [17] 1-го мая? По гласису тянутся две аллеи больших широколиственных деревьев; между аллеями, по широкой дороге, движется бесконечная нить двуместных и четвероместных колясок, с сеньорами и сеньоринами, с джентльменами, джентльменками, и огибает огромное пространство от предместий, мимо крепости, до самого взморья. На берегу залива собралось до сотни экипажей: гуляющие любовались морем и слушали прекрасную музыку. Играли полковые музыканты. Я остановился послушать знакомые мотивы из опер и незнакомые польки, мазурки. Многие мужчины — в белом, исключая львов:[18] те — в суконном платье и черных шелковых шляпах. Весь шик заключается в том, чтоб — хоть задохнуться, да казаться европейцем, не изменять европейского костюма и обычаев. Женщины-испанки — все с открытой головой и даже без мантильи; англичанки и американки в шляпках. Лиц не видать: темно. Местами расставлены жандармы, в треугольных шляпах, темных мундирах с белою перевязью, верхом на небольших, но крепких, коренастых лошадях. Порядок строгий; ни одна коляска не смеет обогнать другую, ни остановиться в рядах.

Это и есть знаменитое кальсадо, или гулянье, о котором говорил m-r Demien.

Проехав раза два по нем взад и вперед, я отправился в отель. Кальсадо не уйдет: да хоть бы и ушло — не беда: это та же Москва, Петербург, Берлин, Париж и т. д. В «фонде» уж опять накрыт длинный стол, опять заставили его двадцатью блюдами, все почти теми же, что и за обедом, кроме супа. Это называется *пить чай*, а чаю не видать. Вскоре, один за другим, собрались все — и наши и чужие. Завязался живой и шумный разговор, рассказ, кто что видел, слышал. Я ушел на балкон и велел туда принести себе чай. Боже мой, какая микстура! Полухолодный, темный и мутный настой, мутный от грязного сахарного песку. В Маниле родится прекрасный сахар и нет

ни одного завода для рафинировки. Все идет отсюда вон, больше в Америку, на мыс Доброй Надежды, по китайским берегам, и оттого не достанешь куска белого сахару. Нужды нет, что в двух шагах от Китая, но не достанешь и чашки хорошего чаю. Я убеждаюсь более и более, что иностранцы не знают, что такое чай, и что одни русские знают в нем толк.

Ночь была лунная. Я смотрел на Пассиг, который тек в нескольких саженях от балкона, на темные силуэты монастырей, на чуть-чуть качающиеся суда, слушал звуки долетавшей какой-то музыки, кажется арфы, только не фортепьян, и женский голос.[19] Глядя на все окружающее, не умеешь представить себе, как хмурится это небо, как бледнеют и пропадают эти краски, как природа расстается с своим праздничным убором.

«Ваше высокоблагородие! — прервал голос мое раздумье: передо мной матрос.— Катер отваливает сейчас; меня послали за вами». На рейде было совсем не так тихо и спокойно, как в городе. Катер мчался стрелой под парусами. Из-под него фонтанами вырывалась золотая пена и далеко озаряла воду. Через полчаса мы были дома.

24-го февраля. Я уж давно живу у Демьена в отеле. Наши приезжают утром и к вечеру возвращаются на фрегат. На другой день прихода нашего хотел было я перебраться в город, но к нам приехали с визитом испанцы. Дома были только вахтенный офицер да еще очень немногие, кого удерживала служба. Я с Фаддеевым укладывался у себя в каюте, чтоб ехать на берег; вдруг Криднер просунул ко мне голову в дверь. «Испанцы едут»,— сказал он. «Бог с ними!» — отвечал я. «Примите их, сделайте одолжение»,— просил он. «Что я с ними буду делать?» — «А я еще меньше вас». Но разговаривать было некогда: на палубу вошло человек шесть гидальго, но не таких, каких я видел на балконах и еще на портретах Веласкеца[20] и других; они были столько же гидальго, сколько и джентльмены: все во фраках, пальто и сюртуках, некоторые в белых куртках. «Commendante de bahia!» — сказал мне один из гидальго, показывая на высокого и красивого мужчину с усами. Но commendante de bahia ни по-французски, ни по-английски не говорил, по-русски ни слова, а я знал по-испански одно: fonda да, пожалуй, еще другое — muchacho, которое узнал в отеле и которое значит «мальчик». Теперь к моему лексикону прибавились еще два слова: fuego — огонь, anda — пошел! К счастью, с ним были, между прочим, два молодые человека, которые, хотя очень дурно, но зато очень скоро говорили по-французски. Один Vincento d'Abello,* сын редактора здешней газеты, сборщика податей тож, другой Carmena;** оба они служили и по редакции и по сбору податей.

Я до сих пор имею темное понятие о том, что такое «commendante de bahia» — начальник залива в переводе. Вчера утром уж был у нас какой-то *капитан над портом*, только не этот. Что ж это еще? Им

* Винсенто д'Абелло — *Ред.*

** Кармена — *Ред.*

показали фрегат, вызвали музыку, угощали чаем, только не микстурой, а нашим, благовонным чаем. Они заговорили о турках, об англичанах, о синопском деле,[21] о котором только что получено было известие. А я им о Коррехидоре, острове, лежащем у входа в залив, потом о сигарах. Они обещали мне полное покровительство для осмотра фабрики и для покупки сигар.

Только на другой день утром мог я переселиться в город. Приехал барон Криднер с берега, с каким-то китайцем. Но какой молодец этот китаец! большие карие глаза так и горят, лицо румяное, нос большой, несколько с горбом. Они проходят по палубе и говорят чистейшим французским языком. «Вот французский миссионер, живущий в Китае»,— сказал барон, знакомя нас. Мне объяснилось вчерашнее явление за городом. «Вы здесь не одни,— сказал я французу,— я видел вчера кого-нибудь из ваших, тоже в китайском платье, с золотым наперсным крестом...» «Круглолицый, с красноватым лицом и отчасти носом... figure rubiconde?» * — спросил француз. «Да, да!» — «Это наш епископ, monseigneur Dinacourt:** он заведовает христианами провинции Джеджиан (или Чечиан, или Шешиан) в Китае; теперь приехал сюда отдохнуть в здешнем климате: он страдает приливами к голове. Хотите побывать у него? Он будет очень рад и сам явится к вам».— «Очень рады».— «И к испанскому епископу».— «Мы бы очень желали... особенно интересно посмотреть здешние монастыри».— «И прекрасно: monseigneur Dinacourt живет сам в испанском монастыре. Завтра или — нет, завтра мне надо съездить в окрестности, в pueblo*** — послезавтра приезжайте ко мне, в дом португальского епископа; я живу там, и мы отправимся».

Отель был единственное сборное место в Маниле для путешественников, купцов, шкиперов. Беспрестанно по комнатам проходят испанцы, американцы, французские офицеры, об одном эполете, и наши. Французы, по обыкновению, кланяются всем и каждому; англичане, по такому же обыкновению, стараются ни на кого не смотреть; наши делают и то и другое, смотря по надобности, и в этом случае они лучше всех.

Мне не раз случалось слышать упреки, что мы не очень разговорчивы в публичных местах с незнакомыми, что вот французы любезнее всех и т. п. Справедливы ли такие упреки? Для чего навязывать какому-нибудь народу черту, какой у него нет в нравах? Англичане вовсе не говорят в публичных местах между собою. «Оттого у них и скучно, в их собраниях»,— скажете вы. Совершенно справедливо: едешь ли по железной дороге, сидишь ли в таверне, за обедом, в театре — молчание.[22] Но зато англичане не беспокоят друг друга в публичных местах.[23] Уважение к общественному спокойствию простерто до тонкости и... действительно до скуки. А вот мой приятель, барон

---

* краснолицый (*франц.*),— *Ред.*

** монсеньор Динакур (*франц.*),— *Ред.*

*** деревню (*исп.*),— *Ред.*

Криднер, воротясь из Парижа, рассказывал, что ему на парижской дороге, в одном вагоне, было до крайности весело, а в другом до крайности страшно. В последний забралось несколько чересчур разговорчивых и «любезных» людей: одни пели, другие хохотали, третьи курили; но были и такие, которые не пели, не хохотали и не курили. Беспрестанно слышалось: «Laissez-moi tranquille, je veux dormir».— «Dormez, si vous pouvez. Quant á moi, j'ai payé mon argent aussi bien que vous, je veux chanter».— «Au diable les fumeurs!» — «Tenez-vous tranquille ou bien je vous dirai deux mots...»*

Уж не знаю, что хуже: молчать или разговаривать вот этак? Впрочем, если заговоришь вот хоть с этим американским кэптеном, в синей куртке, который наступает на вас с сжатыми кулаками, с стиснутыми зубами и с зверским взглядом своих глаз, цвета морской воды, он сейчас разожмет кулаки и начнет говорить, разумеется, о том, откуда идет, куда, чем торгует, что выгоднее, привозить или вывозить, и т. п. Болтовни, острот от него не ждите. От француза вы не требуете же, чтоб он так же занимался своими лошадьми, так же скакал по полям и лесам, как англичане, ездил куда-нибудь в Америку бить медведей или сидел целый день с удочкой над рекой... словом, чтоб был предан страстно спорту. «Этот спорт,— заметил мне барон Криднер, которому я все это говорил, — служит только маской скудоумия или по крайней мере неспособности употребить себя как-нибудь лучше...» Может быть, это правда: но зато как англичане здоровы от этих упражнений спорта, который входит у них в систему воспитания юношества!

Мы пошли ходить по лавкам, накупили тонких соломенных шляп и сигарочниц. Заметив большое требование, купцы, особенно китайцы, набивали цену на свой товар. Дюжину посредственных сигарочниц они продавали за три доллара — это еще дешево; но за другие, побольше, мягкие, тонкие и изящные, просили по три доллара за штуку и едва соглашались брать по полтора. Что может быть лучше манильской соломенной шляпы? Она тонка и гладка, как лист атласной почтовой бумаги,— на голове не слыхать — и плотна, солнце не пропекает через нее; между тем ее ни на ком не увидишь, кроме тагалов да ремесленников, потому что шляпы эти — *свое*, туземное изделье и стоит всего доллар, много полтора. Львы носят черные шелковые, как я сказал; просто джентльмены — низенькие некрасивые шляпы, грубой китайской соломы, которые продаются по три доллара. Манила знаменита еще изделиями из волокон *пины*, ананасовых кореньев. Из этих волокон делают материи, вроде кисеи, легкие, прозрачные, и потом носовые платки, те дорогие лоскутки, которые барыни возят в вечерние собрания напоказ и в которые сморкаться не положено. Я долго не догадывался, что это за товар продает всякий день индиянка на полу,

---

* «Оставьте меня, я хочу спать».— «Спите, если можете, что же до меня, то я заплатил так же, как и вы, я хочу петь». — «К черту курильщиков!» — «Успокойтесь или я скажу вам два слова...» (*франц.*),— *Ред.*

в галерее нашего отеля. Около нее всегда толпились некоторые из женатых моих спутников.

Мы ходили из лавки в лавку, купили несколько пачек сигар — оказались дрянные. Спрашивали, по поручению одного из товарищей, оставшихся на фрегате, нюхательного табаку — нам сказали, что во всей Маниле нельзя найти ни одного фунта. Нас всё потчевали европейскими изделиями: сукнами, шелковыми и другими материями, часами, цепочками; особенно француз в мебельном магазине так приставал, чтоб купили у него цепочку, как будто от этого зависело все его благополучие.

Измученные, мы воротились домой. Было еще рано, я ушел в свою комнату и сел писать письма. Невозможно: мною овладело утомление, меня гнело; перо падало из рук; мысли не связывались одни с другими; я засыпал над бумагой и поневоле последовал полуденному обычаю: лег и заснул крепко до обеда.

После обеда мы с бароном Криднером отправились в окрестности. По дороге мы останавливались в двух церквах. В одной — в предместии Бинондо, за мостом, да в другой — уже за городом, при въезде в индийские деревни. У ограды первой встретился нам иезуит, в черной рясе, в черной шляпе, с длинными-предлинными полями — вы знаете эту шляпу. Иезуит поклонился нам: «Don Basilio!»[24] — протяжно пропел мой спутник, отдавая поклон. Церковь совсем нового стиля, чисто итальянского, без всякой примеси готического и мавританского. Внутренность расположена крестом. Образо́в меньше, нежели скульптурных изображений. Иисус Христос, в фиолетовой бархатной рясе, несущий крест, с терновым венком на голове, божия матерь с младенцем — все эти изображения сделаны из воска, иные, кажется, из дерева. Я не скажу, чтоб это возбуждало благоговение... напротив. Вечерняя молитва кончилась, но в церкви было довольно молящихся. Несколько испанок, в черных, метиски в белых мантильях и полосатых юбках; они стояли на коленях по две, по три, уткнувшись носами в книгу и совсем закрывшись мантильями. Напрасно мы ждали, не взглянут ли они кругом себя, но ни одна не шевельнулась, и мы не могли прочесть благоговения или чего-нибудь другого на лицах их. Мальчишки стояли на коленях по трое в ряд; один читал молитвы, другие повторяли нараспев, да тут же кстати шалили — всё тагалы; взрослых мужчин не было ни одного. Священник исповедовал мальчика лет десяти, который, стоя на коленях, шептал ему на ухо. Священник задумчиво слушал, и как долго: все время, пока мы были в церкви! В другой церкви то же самое, только победнее. Ни одной испанки или метиски, всё тагалки. Также много деревянных фигур, работы очень грубой.

Мы вышли... Какое богатство, какое творчество и величие кругом в природе! Мы ехали через предместье Санта-Круц, Мигель и выехали через канал, на который выходят балконы и крыльца домов, через маленький мостик, через глухие улицы и переулки, на Пассиг.

Тут только увидал я, как велик город, какая сеть кварталов и улиц лежит по берегам Пассига, пересекая его несколько раз! После

этого не удивишься, что здесь до ста пятидесяти тысяч жителей. Мы остановились на минуту в одном месте, где дорога направо идет через цепной мост к крепости, мимо обелиска Магеллану, а налево... Ах, как хорошо налево! Когда будете в Маниле, велите везти себя через Санта-Круц в Мигель: тут река образует островок, один из тех, которые снятся только во сне да изображаются на картинах; на нем какая-то миньятюрная хижина в кустах; с одной стороны берега смотрятся в реку ряды домов, лачужек, дач; с другой — зеленеет луг, за ним плантации. Что за картины! что за вечер! «А у нас-то теперь,— сказал я барону,— шубы, сани, визг полозьев...» — «И опера»,— договорил он. «Нет, великий пост и война!»

Мы помчались вдаль, но места были так хороши, что спутник мой остановил кучера и как-то ухитрился растолковать ему, что мы не держали ни с кем пари объехать окрестности как можно скорее, а хотим гулять. Мы поехали тихой рысью; кучер был, кажется, не совсем доволен, но зато лошади и мы с бароном совершенно счастливы. Места — что дальше, то лучше. Мальчишки бежали за коляской, прося милостыни: видно было, что они делали это из баловства. Взрослые стояли тут же, у своих хижин, и не просили ничего. Мне напомнило детство и наши провинции множество бумажных змей, которые мальчишки спускали за городом на каждом шагу. Только у нас, от одного конца России до другого, змеи всё одни и те же, с знаменитым мочальным хвостом и трещоткой, а здесь они в виде бабочек, птиц и т. п. Некоторые хижины едва походили на человеческое жилье. У иной подставки покривились так, что нельзя и угадать, как она держится. Из нее вылезет ребенок, выскочит курица или прыгнет туда же собака и сидит там, рядом с цыпленком и с самим хозяином. В другом месте все жилище состоит из очага, который даже нельзя назвать *домашним*, за отсутствием самого дома; на очаге жарится что-нибудь; около возится старуха; вблизи есть всегда готовый банан или гряда таро, картофелю. Здесь больше и не нужно.

Возвращаясь в город, мы, между деревень, наткнулись на казармы и на плац. Большие желтые здания, в которых поместится до тысячи человек, шли по обеим сторонам дороги. Полковник сидел в креслах на открытом воздухе, на большой, расчищенной луговине, у гауптвахты; молодые офицеры учили солдат. Ученье делают здесь с десяти часов до двенадцати утра и с пяти до восьми вечера.

Солдаты всё тагалы. Их, кто говорит, до шести, кто — до девяти тысяч. Офицеры и унтер-офицеры — испанцы. По всему плацу босые индийские рекруты маршировали повзводно; их вел унтер-офицер, а офицер, с бамбуковой палкой, как коршун, вился около. Палка действовала неутомимо, удары сыпались то на голые пятки, то на плечи, иногда на затылок провинившегося... Я поскорей уехал.

На кальсадо гулянье было в полном разгаре. Весь город приехал туда, а деревни пришли. Есть много хорошеньких лиц, бледных черноглазых сеньор, с открытой головой и волшебным веером в руках. Они отличаются от всех гордостью во взгляде, во всей позе, держат себя

аристократически строго. Вот метиски — другое дело: они бойко врываются, в наемной коляске, в ряды экипажей, смело глядят по сторонам, на взгляды отвечают повторительными взглядами, пересмеиваются с знакомыми, а может быть, и с незнакомыми... Среди круга многие катались верхом, а по обеим сторонам экипажей, по аллее и по полю, шли непрерывной толпой тагалы и тагалки домой из гавани, с фабрик, с работы. Некоторые женщины ехали на волах.

Вдруг раздался с колокольни ближайшего монастыря благовест, и все — экипажи, пешеходы — мгновенно стало и оцепенело. Мужчины сняли шляпы, женщины стали креститься, многие тагалки преклонили колени. Только два англичанина или американца промчались в коляске в кругу, не снимая шляп. Через минуту все двинулось опять. Это Angelus.[25] Мы объехали раз пять площадь. Стало темно; многие разъезжались. Мы поехали на Эскольту, есть сорбетто, то есть мороженое.

В длинной-предлинной зале нижнего этажа с каменным полом, за длинным столом и маленькими круглыми столиками, сидели наши и не наши, англичане, испанцы, американцы, метисы и ели мороженое, пили лимонад. Человек десять тагалов и один негр бросились на нас, как будто с намерением сбить с ног, а они хотели только узнать, чего мы хотим. Я спросил того-другого, попробовал — нет, разве только тагалам впору есть такое мороженое. Кто приехал из Европы, тому трудно глотать этот подслащенный снег. Я закурил сигару и пошел по Эскольте. Это лучшая улица здесь; она по вечерам ярко освещена и оживлена гуляющими высшего класса; они только вечером и посещают лавки.

Дома, после чаю, после долгого сиденья на веранде, я заперся в свою комнату и хотел писать; но мне, как и всем, дали ночник из кокосового масла. Он горел тускло и наконец стал мерцать так слабо, что я почти ощупью добрался до кровати и залез под синий кисейный занавес. Он опускается под тюфяк и не раздвигается. Несмотря на эти предосторожности, москиты пробираются за кисею, и, если заберутся два-три, они так отделают, что на другой день встанешь с десятком красных пятен, которые не сходят по нескольку дней. Я как-то на днях увидел, что из коридора вечером ко мне в комнату проползла ящерица, вершка в два длины, и скрылась, лишь только я зашевелился, чтоб поймать ее. На другой день я пожаловался на нее мсьё Демьену и просил велеть отыскать и извлечь ее вон. «Pourquoi? * — спросил он своим отрывистым голосом,— il ne mord pas».** «Так, да все-таки ведь это ящерица, гадина, так сказать, заползет на постель — нехорошо».— «Напротив, очень хорошо,— сказал он,— у меня в постели семь месяцев жила ящерица, и я не знал, что такое укушение комара,— так она ловко ловит их. И вас не укусит, когда она там, ни один комар...» «Куда ж она делась потом?» — спросил я, заинтересованный историей ящерицы. «Околела».— «Как, сама собой?» — «Нет, я во сне задавил ее». Меня в самом деле почти не кусали комары,

---

* Зачем? (*франц.*),— *Ред.*

** она не кусается (*франц.*),— *Ред.*

но я все-таки лучше бы, уж так и быть, допустил двух-трех комаров в постель, нежели ящерицу. Однако ж я ни разу не видал ее. «Вот скорпионы — другое дело,— говорил Демьен,— c'est très mauvais;* я часто находил их у себя в кухне: с дровами привозили. А с тех пор, как топлю каменным углем, не видать ни одного».

Какое наслаждение, после долгого странствования по морю, лечь спать на берегу, в постель, которая не качается, где со столика ничего не упадет, где над вашей головой не загремит ни бизань-шкот, ни грота-брасс, где ничто не шелохнется!...— думал я... и вдруг вспомнил, что здесь землетрясения — обыкновенное, ежегодное явление. Избави боже от такой качки!

Утром вам приносят чай, или кофе, или шоколад, когда вы еще в постели. Потом вы можете завтракать раза три, потому что иные завтракают, по положению, в десять часов, а другие в это время еще гуляют и завтракают позже, и все это за полтора доллара. Вдобавок ко всему вы можете взять ванну, какую хотите. За теплую платите четыре реала, за холодную ничего — так написано в объявлении, выставленном в зале, на стене. Вода прямо из Пассига. Ванны устроены на веранде, выходящей на двор. В первый раз меня привел muchacho, мальчик. «Где ж вода, aqua?» — спросил я. Он показал шнурок, сделал знак, что надо дернуть, и ушел. Я стал в ванну, под дождь, дернул за шнурок — воды нет, еще — все нет; я дернул из всей мочи — на меня упало пять капель счетом, четыре скоро, одна за другой, пятая немного погодя, шестая показалась и повисла. Как я ни дергал, не мог добыть больше. Досадно. Я оделся и пошел вон. Рядом, вижу, другая дверь; отворяю — точно такое же маленькое помещение для ванны, но ванны нет, а шнурок есть, и лейка вверху для дождя. Есть ли только дождь? «Дай-ко я попробую здесь,— подумал я,— что за нужда, что ванны нет: тем лучше, пол каменный!» И точно так же стал под дождь. Только я дотронулся до шнурка, на меня посыпался сначала частый крупный дождь и в минуту освежил меня. Я дернул сильнее, и дождь обратился в сплошной каскад. «Славно, чудесно!» — твердил я вслух, а сам все подергивал шнурок. На меня низвергались потоки; вверху, над потолком, раздавался рев и клокотанье, как будто вся река притекала к этому месту. «Ну, теперь довольно». Я перестал дергать, но вода не переставала течь, напротив, все неистовее и неистовее вторгалась ко мне и обдавала облаком брызг и меня, и стены, и кресло, а на кресле мое белье и платье. «Что ж это такое будет?» — думал я, отыскивая с беспокойством, нет ли какой пружины остановить это наводнение. Ничего нет. Я дернул шнурок в противную сторону, думая, что остановится; нет, пуще хлещет, только дотронешься. Я не знал, что делать: одеться нельзя; выйти — да как без платья? Мне уж приходило в голову забрать белье и платье да удариться бегом до своего нумера. Но все это можно сделать в крайности, в случае пожара, землетрясения или когда вода дойдет разве до горла, а она

* это совсем худо (*франц.*) — *Ред.*

еще и до колен не дошла. Я подумал, что мне делать, да потом, наконец, решил, что мне не о чем слишком тревожиться: утонуть нельзя, простудиться еще меньше — на заказ не простудиться; завтракать рано, да и после дадут; пусть себе льет: кто-нибудь да придет же. Я скрестил руки на груди, предоставив воде литься, сколько она хочет.

Минуты через три вдруг дверь начала потихоньку отворяться. «Muchacho!» — закричал я сердито. Вместо индийца показалось лицо Фаддеева. Как я обрадовался ему! «Ты как?» — «Белье и платье принес вашему высокоблагородию».— «Уйми, братец, воду как-нибудь,— жаловался я ему,— смотри, ведь я тону». Фаддеев тут только вникнул в мое положение и, верный своему характеру, предался необузданной радости. Напрасно он кусал губы — подавленный смех вырывался наружу, и он, раза два, под предлогом остановить машину, дернул шнурок. «Нет, постой, ваше высокоблагородие, я цыгана приведу», — сказал он после тщетных усилий остановить воду. «Цыган» подергал как-то шнурок, сбегал в другую ванну, рядом, влезал зачем-то наверх, и вода остановилась.

Через час я, сквозь пол своей комнаты, слышал, как Фаддеев на дворе рассказывал анекдот о купанье двум своим товарищам. Я сказал Демьену, и он засмеялся. «Испортились желобы у обеих ванн; надо поправить»,— сказал он вскользь. «А давно испортились?» — спросил я. «Нет, нынешней зимой...» Опять мне пришло в голову, как в Welch's hotel, в Капштате, по поводу разбитого стекла, что на нас сваливают вот этакие неисправности и говорят, что беспечность в характере русского человека: полноте, она в характере — просто человека.

Наконец мы собрались пораньше утром, то есть часу в девятом, отдать визит молодым людям, Абелло и Кармена. Под этой учтивостью крылся умысел осмотреть королевскую сигарную фабрику и купить сигар. Кучер привез нас в испанский город, на квартиру отца Абелло, редактора здешней газеты. Мы вошли под ворота, на крытый двор, и очутились в редакции. В углу под навесом, у самых ворот, сидели двое или трое молодых людей, должно быть сотрудники, один за особым пюпитром, по-видимому главный, и писали. Тут же неподалеку тагалы складывали листы только что отпечатанной газеты. Старший сотрудник говорил по-французски. Мы спросили Абелло и Кармена: он сказал, что они уже должны быть на службе, в администрации сборов, и послал за ними тагала, а нас попросили войти вверх, в комнаты, и подождать минуту.

Мы вошли по деревянной чистой лощеной лестнице темного дерева прямо в бесконечную галерею-залу, убранную очень хорошо, с прекрасными драпри, затейливою новейшею мебелью. Везде уголки с диванами, пате,[26] столики, уставленные безделками, как у редактора хорошего журнала. Тагалка встала из-за работы и пошла сказать о нас господам. Через минуту появилась высокая полная старушка, с седой головой, без чепца, с бледным лицом, черными, кротко мерцавшими глазами, с ласковой улыбкой, вся в белом: совершенно старинный портрет, бежавший со стены картинной галереи; это редакторша. Мы рас-

кланялись и заговорили, она по-испански, мы сначала по-французски, потом по-английски, но это ровно ни к чему нас не повело или, пожалуй, повело к креслу только, которое указала старуха, прося сесть. Мы повторили опыт объясниться, но так же безуспешно. Старушка наконец ушла, сказав нам что-то, вероятно прося подождать. Мы подождали минут пять, употребив это время на рассматривание залы.[27] Между прочим, мы видели и тут в полу такие же щели, как и в фонде; потолок тоже весь собран из небольших дощечек, выбеленных мелом. Видно, землетрясения не шутят здесь и всех держат в постоянном страхе. Но эти наблюдения наскучили нам, и мы решились уйти.

На цыпочках благополучно выбрались мы из залы, сошли с лестницы и в дверях наткнулись на Абелло и Кармена. Они воротили нас, усадили, подали сигар, предлагая позавтракать, освежиться и потом показали вчерашнюю газету, в которой был сделан приятный отзыв о нашем фрегате, о приеме, сделанном там испанцам, и проч. Мы напомнили им обещание показать нам фабрику и помочь купить сигар. Абелло пошел к своему отцу и, воротясь, велел закладывать карету. Он почти насильно усадил нас туда, вместе с собой и Кармена, а нашему кучеру велел ехать за нами.

Фабрика — огромное квадратное здание в предместии Бинондо, в два этажа, с несколькими флигелями, пристройками, со многими воротами и дверями, с большим двором внутри. У главных ворот Абелло поговорил с караульными, и те нас — не пустили. Тут подъехал таможенный офицер верхом: Абелло обратился к нему — и тот не пустил. «Этого можно бы добиться и без протекции»,— заметил я барону. Все говорили, что надо иметь билет от фабричной дирекции. Мы отправились туда, к счастью недалеко, и, после хождения по разным комнатам и отделениям, наконец получили записку и отправились. Тут еще караульные стали передавать ее из рук в руки, оглядывать со всех сторон, понесли вверх, и минут через пять какой-то старый тагал принес назад, а мы пока жарились на солнце. Впрочем, это последнее обстоятельство относилось более к кучеру и лошадям, потому что сами мы сидели в карете. Тагал пригласил нас идти; с нами пошел еще один из караульных.

По мере того, как мы шли через ворота, двором и по лестнице, из дома все сильнее и чаще раздавался стук как будто множества молотков. Мы прошли несколько сеней, заваленных кипами табаку, пустыми ящиками, обрезками табачных листьев и т. п. Потом поднялись вверх и вошли в длинную залу, с таким же жиденьким потолком, как везде, поддерживаемым рядом деревянных столбов.

В зале, на полу, перед низенькими длинными деревянными скамьями, сидело рядами до шести- или семисот женщин, тагалок, от пятнадцатилетнего возраста до зрелых лет: у каждой было по круглому, гладкому камню в руках, а рядом, на полу, лежало по куче листового табаку. Эти дамы выбирали из кучи по листу, раскладывали его перед собой на скамье и колотили каменьями так неистово, что нельзя было не только слышать друг друга, даже мигнуть. Сколько голов поверну-

лось к нам, сколько черных лукавых глаз обратилось на нас! Все молчали, никто ни слова, но глазами действовали сильно, а руками еще сильнее. Вероятно, они заметили, по нашим гримасам, что непривычным ушам неловко от этого стука, и приударили что было сил; большая часть едва удерживали смех, видя, что вместе с усиленным стуком усилились и страдальческие гримасы на наших лицах. Это для них было неожиданным развлечением, кокетством в своем роде.

Молодые мои спутники не очень, однако ж, смущались шумом; они останавливались перед некоторыми работницами и ухитрялись както не только говорить между собою, но и слышать друг друга. Я хотел было что-то спросить у Кармена, но не слыхал и сам, что сказал. К этому еще вдобавок в зале разливался запах какого-то масла, конечно табачного, довольно неприятный.

Но вот уж мы выходим из залы. «Сейчас это кончится»,— утешал я себя: мы в самом деле вышли, но опять в другую, точно такую же залу, за ней, в дальней перспективе, видна была еще зала; с каждым нашим шагом вперед открывались еще и еще. «Да сколько же тут женщин?» — спросил я, остановившись в маленьком пустом промежутке между двух зал. «От восьми до девяти тысяч»,— сказал Абелло. «Что вы!» — «Да. Нынешний губернатор хочет увеличить и улучшить фабрику: очень выгодно».— «Восемь-девять тысяч!» — повторил я в изумлении, глядя на эти большею частью недурные головки и коричневые лица, сидевшие плотными рядами, как на смотру.

Во всех залах повторялся тот же маневр при нашем появлении, то есть со стороны индиянок — сначала взгляды любопытства, потом усиленный стук и подавляемые улыбки, с нашей — рассеянные взгляды, страдальческие гримасы и нетерпение выйти. Впрочем, на фабрике соблюдается строгое приличие. Индиянки не смеются, не разговаривают: им предоставлено только право стучать. Говорят, они тут очень скромно ведут себя: для этого приняты все меры. Кроме двух-трех старых тагалов да двух-трех чиновников-надзирателей, тут нет ни одного мужчины.

В других комнатах одни старухи скатывали сигары, другие обрезывали их, третьи взвешивали, считали и т. д. Мы не ходили по всем отделениям: довольно и этого образчика.

В последней комнате, перед выходом, за бюро, сидел *альфорадор,* заведовающий одним из отделений. Он говорил по-английски и прежде всего, узнав, что мы русские, сказал, что есть много заказов из Петербурга, потом объяснил, что он, несколько месяцев назад, выписан из Гаваны, чтоб ввести гаванский способ свертывать сигары, вместо манильского, который оказывается по многим причинам неудобен. Он сказал, что табак манильский отнюдь не хуже гаванского и что здесь только недостает многих приемов приготовления и, между прочим, свертка нехороша. Он много важности придавал свертке, говорил даже, что она изменяет до некоторой степени вкус самого табаку. «Вот две сигары одного табаку и разных сверток, попробуйте,— сказал он, сунув нам в руки по два полена из табаку,— это лучшие сорты, одна

свернута по-івански, круче и косее, другая по-здешнему, прямо. Одна сделана сегодня, другая вчера», — заключил он, будто для большей похвалы сигарам.

Я вертел в руках обе сигары с крайнею недоверчивостью: «Сделаны вчера, сегодня,— говорил я,— нашел чем угостить!» и готов был бросить за окно, но из учтивости спрятал в карман, с намерением бросить, лишь только сяду в карету. «Нет, нет, покурите», — настаивал альфорадор. Нечего делать, я закурил — и вдруг заструился легкий благовонный дым. Сигара, к удивлению моему, закурилась легко, табак был прекрасный, хотя пепел и не совсем бел. «Да это прекрасная сигара! — сказал я,— нельзя ли купить таких?» «Нет, это гаванской свертки: готовых нет, недели через две можно,— прибавил он тише, оборачиваясь спиной к нескольким старухам, которые в этой же комнате, на полу, свертывали сигары,— я могу вам приготовить несколько тысяч...» «Мы едва ли столько времени останемся здесь. Отчего ж их в магазине нет?» — сказал я. «Здешние женщины привыкли к своей свертке и оттого по гаванскому способу работают медленно. Вот теперь покурите другую сигару, здешней свертки». Я закурил, и та хороша, хотя в самом деле не так, как первая: или это так показалось, потому что альфорадор подсказал. «Ну, нельзя ли хоть таких?» — спросил я. «Таких и гораздо меньше, второго сорта, вы найдете в магазине».— «А обрезанных с обеих сторон сигар можно найти там?» — «*Чирут?* Plenty, o plenty (много!),— отвечал он,— то третий и четвертый сорт, обыкновенные, которые все курят, начиная от Индии до Америки, по всему Индийскому и Восточному океанам».

В самом деле, мы в Сингапуре, в Китае других сигар, кроме чирут, не видали. Альфорадор обещал постараться приготовить сигары ранее двух недель и дал нам записку для предъявления при входе, когда захотим его видеть. Мы ушли, поблагодарив его, потом гг. Абелло и Кармена, и поехали домой, очень довольные осмотром фабрики, любезными испанцами, но без сигар.

Дома мы узнали, что генерал-губернатор приглашает нас к обеду. Парадное платье мое было на фрегате, и я не поехал. Я сначала пожалел, что не попал на обед в испанском вкусе, но мне сказали, что обед был длинен, дурен, скучен, что испанского на этом обеде только и было, что сам губернатор да херес. Губернатора я видел на прогулке, с жокеями, в коляске, со взводом улан; херес пивал, и потому я перестал жалеть.

Вечером я предложил в своей коляске место французу, живущему в отеле, и мы отправились далеко в поле, через Сан-Мигель, оттуда заехали на Эскольту, в наше вечернее собрание, а потом к губернаторскому дому, на музыку. На площади, кругом сквера, стояли экипажи. В них сидели гуляющие. Здесь большею частью гуляют сидя. Я не последовал этому примеру, вышел из коляски [28] и пошел бродить по площади.

Какой вечер! что за вид! Церковь и ратуша облиты были лунным светом, а дворец прятался в тени; бронзовая статуя стояла, как

привидение, в блеске лунных лучей. Как кроток и мягок этот свет, какая нега в теплом воздухе — и вдобавок ко всему — прекрасная музыка. Здесь восемь полковых оркестров и, кроме того, множество частных — до трехсот, сказал кто-то: пошутил, верно. А кто знает, может быть и правда. Говорят, здесь только и делают, что танцуют, и нам бы предстояло множество вечеров и собраний, если б мы пришли не постом. Танцуют, здесь! Вот, говорят, с инквизицией уничтожились все пытки в Испании! Нет, не все! Даже музыкой заниматься — и то жарко, а они танцуют!

Музыканты все тагалы; они очень способны к искусствам вообще. У них отличный слух: в полках их учат будто бы без нот. Не знаю, сколько правды во всем этом, но знаю только, что игра их сделала бы честь любому оркестру где бы то ни было — чистотой, отчетливостью и выразительностью.

Оркестры, один за другим, становились у дворца, играли две-три пьесы и потом шли в казармы.

Играли много, между прочим, из Верди, которого здесь предпочитают всем, я не успел разобрать почему: за его оригинальность, смелость или только потому, что он новее всех.[29]

Последний оркестр, оглашая звуками торжественного марша узкие, прятавшиеся в тени улицы, шел домой. Экипажи зашевелились и помчались по разным направлениям. Мы с французом выехали из крепости опять на взморье, промчались по опустевшему кальсадо и вернулись в город. Он просил у одного дома выпустить его: «J'ai une petite visite à faire»,* — пропел он своим фальцетто и скрылся в дверь. В это же время вверху, у окна, мелькнул очерк женской головы и захлопнулось жалюзи... Я никого не застал в отеле: одни уехали на рейд, другие на вечер, на который Кармена нас звал с утра, третьи залегли спать. Я сел за письма.

Наконец мы собрались к миссионерам и поехали в дом португальского епископа. Там, у молодого миссионера, застали и монсеньора Динакура, епископа в китайском платье, и еще монаха, с знакомым мне лицом. «Настоятель августинского монастыря, по-французски не говорит, но все разумеет»,— так рекомендовал нам его епископ. Я вспомнил, что это тот самый монах, которого я видел в коляске, на прогулке за городом.[30]

Нам подали сигар, и епископ, приветливо и весело, как настоящий француз, начал, после двух-трех вопросов, которые сделал нам о нашем путешествии, рассказывать о себе. Он сказал, что живет двадцать лет в Китае, заведовает христианскою паствою в провинции Джеджиан, в которой считается до пятнадцати миллионов жителей. Он говорит, что цифра триста миллионов, которою определяют народонаселение Китая, не преувеличена: в его провинции есть несколько городов, где считают от двух до трех миллионов жителей, и, между прочим, знаменитый город Сучеу. «А сколько христиан?» — спросил я.

---

* «Я должен завернуть сюда ненадолго» (*франц.*),— *Ред.*

«До пятисот тысяч во всем Китае».— «Мало»,— сказал я. «Да, немного; но теперь обращение пошло скорее,— отвечал епископ,— особенно в среднем и низшем классах. Главное препятствие встречается в буддийских бонзах и в ученых. На них ничто не действует: одни — слепые фанатики, другие — педанты, схоластики: они в мертвой букве видят ученость и свет. Вся трудность состоит в том, чтоб уверить их, что мы пришли и живем тут для их пользы, а не для выгод. Они представить себе этого не могут и не верят». «Вот христианским миссионерам, может быть, скоро предстоят новые подвиги,— сказал я,— возобновить подавленное христианство в Японии, которая не сегодня, так завтра непременно откроется для европейцев...» «À coups des canons, monsieur, à coups de canons!»* — прибавил епископ.

В это время прервали нас два монаха, иезуиты, кажется. Они вошли, преклонили пред епископом колена, приняли благословение и сели. Епископ пригласил нас к себе на квартиру, в монастырь св. Августина. Монастырь занимает большой угол в испанском городе и одной стороной обращен к морю. Это настоящее аббатство, обширное, с галереями, бесконечными коридорами, кельями, в котором можно потеряться. Мы отдохнули в квартире епископа, а настоятель ушел на короткую молитву в церковь, по звону колокола. Нам предложили было завтрак, но мы отказались.

Вскоре настоятель воротился и принес только что присланное к нему официальное объявление от губернатора, что испанская королева разрешилась от бремени дочерью.

Он скрылся опять, а мы пошли по сводам и галереям монастыря. В галереях везде плохая живопись на стенах: изображения святых и портреты испанских епископов, живших и умерших в Маниле. В церковных преддвериях видны большие картины какой-то старой живописи. «Откуда эта живопись здесь?» — спросил я, показывая на картину, изображающую *обращение св. Павла.*[31] Ни епископ, ни наш приятель, молодой миссионер, не знали: они были только гости здесь.

По узенькой извилистой лестнице вошли мы прямо на хоры главной церкви и были поражены тонкостью и изяществом деревянной резьбы, которая покрывала все стены на хорах, кафедру, орган — все. Дерево темное, с нежными оттенками. «Кто это работал? — спросил я с изумлением,— ужели из Европы привезли? в Европе это буазери стоило бы неимоверных цен». «Все индийцы, тагалы,— сказали они.— Вон смотрите: они работают и теперь. Церковь пострадала от землетрясения в прошедшем году, и ее теперь поправляют, и живопись здесь — все тагалов же». Я бросил беглый взгляд на образа — нет, живопись еще в младенческом состоянии у тагалов. В музыке, лепных и резных работах они далеко впереди. Что касается до картин, то они мало чем лучше тех, что у нас иногда продают на тротуаре,

* «Только с помощью пушек, сударь, только с помощью пушек!» (*франц.*),— *Ред.*

на улицах. «Но ведь это в Маниле,— сказал молодой миссионер, прочитавший, должно быть, у меня на лице впечатление от этих картин,— между дикими индийцами, которые триста лет назад были почти звери...» — «Да: но триста лет назад! — сказал я.— И этот храм — ровесник стенам города: можно бы, кажется, украсить его живописью соотечественникам Мурильо».[32]

Мы пошли вниз. Епископ показывал местами трещины по стенам, местами обвалившуюся штукатурку, раздвинувшиеся столбы — всё следы землетрясения. «Да разве часто бывают они?» — спросил я. «Каждый год что-нибудь да бывает, хоть немного, слегка,— сказал он.— Вот иезуитская церковь лежит теперь вся в развалинах». Войдя в большую церковь, епископ, а за ним и молодой миссионер преклонили колена, сложили на груди руки, поникли головами и на минуту задумались. Потом встали и начали опять живо разговаривать. Это была лучшая церковь в Маниле, по их словам. Она в самом деле хороша: прекрасные размеры главного и побочного приделов кажут ее больше, нежели она есть. Она очень хорошо освещена сверху: свет от алтаря разливается ровно до самых дальних углов. Если б не тагальская живопись, то можно было бы увлечься этими стройными, высокими арками, легким куполом. Но живопись мешает, колет глаза; так и преследуют вас эти яркие, то красные, то синие пятна; скульптура еще больше. Является какое-то артистически болезненное раздражение нерв, нужды нет, что вам говорят, чье это произведение. Никакой терпимости, никакого снисхождения нет в человеке, когда оскорблено его эстетическое чувство. Вдобавок к этому, еще все стены и столбы арок были заставлены тяжелыми и мрачными иконостасами с позолотой, тогда как стиль требует белых, чистых пространств, с редким и строго обдуманным размещением картин высокого достоинства. Бывают примеры, что архитектура здания подавляет или поглощает живопись; а здесь наоборот. Я старался не смотреть на живопись и не спускал глаз с буазери.

Потом нас повели в ризницу. Пред ней, в комнате, стояли лавки, пюпитры — это что-то вроде класса для тагалов. Несколько их сидело тут, с флейтами и кларнетами. Они бросились к руке епископа, как все тагалы, которые встречались нам на дворе, на дороге к монастырю. Некоторые становились на колени. Епископ велел музыкантам сыграть что-нибудь. Они заиграли что-то вроде марша, но не совсем стройно, не совсем чисто, особенно после того, что мы слышали у дворца. «Видно, этих учат по нотам: не они ли расписывали церковь?» — подумал я. Мы с бароном дали артистам денег и ушли, сначала в ризницу, всю заставленную шкафами с церковною утварью,— везде золото, куда ни поглядишь; потом пошли опять в коридоры, по кельям. Везде до нас долетали звуки флейт и кларнетов: артисты, от избытка благодарности, не могли перестать сами собою, как испорченная шарманка.

Мы проходили мимо дверей с надписями: *эконом, ризничий* и остановились у эконома. «C'est un bon enfant,— сказал епископ,— entrons

chez lui pour nous reposer un moment».— «Il a une excellente bière, monseigneur»,* — прибавил молодой миссионер нежным голосом.

Они постучались, и нам отпер дверь пожилой монах, весь в белом, волоса с проседью, все лицо в изломанных чертах, но не без доброты. Келья была темна, завалена всякой всячиной, узлами, ящиками; везде пыль; мебель разнохарактерная; в углу, из-за пестрого занавеса, выглядывала постель. На большом круглом столе лежали счеты, реестры, за которыми мы и застали эконома. Он через епископа спросил нас кое-что о путешествии, надолго ли приехали, а потом не хотим ли мы чего-нибудь. «Пива»,— сказали оба француза. Монах засуетился и велел тагалу вскрыть бывшие тут же где-то в углу два ящика и подать несколько бутылок английского элю и портера. Но прежде всего подал огромный поднос с сигарами. Каких тут не было! всяких размеров и сортов, и гаванской, и манильской свертки... Вот где водятся хорошие-то сигары в Маниле!

Мы сидели с полчаса; говорил все епископ. Он рассказывал о Чусанском архипелаге и называл его перлом Китая. «Климат, почва, как в раю,— выразился он.— Я жил там восемь лет,— продолжал он,— там есть колония ирландских католиков: они имеют значительное влияние на китайцев, ввели много европейских обычаев и живут прекрасно. Чусанские китайцы снабжают почти все берега Китая рыбою, за которою выезжают на нескольких тысячах лодок далеко в море». При этой цифре меня взяло сомнение; я хотел выразить его барону Криднеру и вдруг выразил, в рассеянности, по-французски. Эта рассеянность произошла оттого, что епископ, не знаю почему, ни с того ни с сего принялся рассказывать о Чусане по-английски. «Да, несколько тысяч»,— подтвердил настойчиво епископ по-французски.[33]

От эконома повели нас на самый верх, в рекреационную залу. «Я вам покажу прекрасный вид»,— сказал епископ. Мы зашли к монаху, у которого хранился ключ от залы,— это самый полный и красивый монах, какого я только видел где-нибудь, с постоянной улыбкой, с румянцем. Я увидел у него на стене прекрасную небольшую картину: «Снятие со креста» и «Божию матерь». Я отдохнул на этой живописи от всех виденных картин. Напрасно я старался прочесть имя живописца: едва видно было несколько белых точек на темном фоне. «Откуда эта картина?» — «Из Италии, из монастыря». Вот все, что я узнал о ней.

Опять по извилистой лестнице поднялись мы и в рекреационную залу. Это была длинная, крытая галерея, с окошками на три стороны. Пол простой, деревянный; половицы так и ходили под ногами. Все в запустении. Видно, что никто не бывает здесь. Ни на одно кресло сесть нельзя: пыль лежала густыми слоями. Можно подумать, что августинцы совсем не любят отдыхать, а проводят все время в трудах и богомыслии. Посредине стоял бильярд, для моциона; у окон, на

---

* «Он славный малый... зайдем к нему немного отдохнуть». — «У него отличное пиво, монсеньор» (*франц.*), — *Ред.*

треножнике, поставлена большая зрительная труба. Вид из окошек в самом деле прекрасный: с одной стороны весь залив перед глазами, с другой — испанский город, с третьей — леса и деревни. И они не сидят здесь день и ночь, не наслаждаются ничем этим! Мы едва оторвались от окошек. Епископ по очереди сыграл с нами обоими на бильярде и оказался не слабым игроком.

Обратясь спиной к дверям, я вдруг услышал шелест женского платья, мягкую походку — живо оборачиваюсь — белые кисейные блузы... Толпа августинцев, человек двенадцать, всё молодые, с сигарами. Одни, немного заспанные, с горячими щеками, другие, с живым взглядом, с любопытством смотрели на нас, пришельцев издалека, и были очень внимательны. К сожалению, никто из них не знал никакого другого языка, кроме испанского. «Мы виноваты, что не можем говорить с вами,— сказали они чрез молодого француза.— Русские говорят по-французски, по-английски и по-немецки; нам следовало бы знать один из этих языков». «Мы говорили бы и по-испански, если б Испания была поближе к нам»,— отвечал я.

Вдруг послышались пушечные выстрелы. Это суда на рейде салютуют в честь новорожденной принцессы. Мы поблагодарили епископа и простились с ним. Он проводил нас на крыльцо и сказал, что непременно побывает на рейде. «Не хотите ли к испанскому епископу?» — спросил миссионер; но был уже час утра, и мы отложили до другого дня.

«Что они здесь делают, эти французы? — думал я, идучи в отель,— епископ говорит, что приехал лечиться от приливов крови в голове: „в Нинпо, говорит, жарко“; как будто в Маниле холоднее! А молодой все ездит по окрестным *пуэбло*, по каким-то делам...»

Мы рано поднялись на другой день, в воскресенье, чтоб побывать в церквах. Заехали в три церкви, между прочим в манильский собор, старое здание, постройки XVI столетия. Он только величиной отличается от других приходских церквей. Украшения в нем так же безвкусны, живопись так же дурна, как и в церкви предместья и в монастырях. Орган плох, а в других церквах он заменяется виолончелью и флейтой.

Одна церковь, впрочем, лучше других, побогаче, чище, светлее. В ней мало живописи и тусклой позолоты; она не обременена украшениями; и прихожане в ней получше, чище одеты и приличнее на вид, нежели в других местах.

Испанцев в церквах совсем нет; испанок немного больше. Все метисы, тагалы да заезжие европейцы разных наций. Мы везде застали проповедь. Проповедники говорили с жаром, но этот жар мне показался поддельным: манеры и интонация голоса у всех заученные.

После обедни мы отправились в цирк смотреть петуший бой. Нам взялся показать его француз Pl., живший в трактире, очень любезный и обязательный человек. Мы заехали за ним в отель. Цирков много. Мы отправились сначала в предместье Бинондо, но там не было никого, не знаю почему; мы — в другой, в предместье Тондо. С полчаса

колесили мы по городу и наконец приехали в предместье. Оно все застроено избушками на курьих ножках и заселено тагалами.

Француз дорогой подтвердил нам, что тагалы самый счастливый народ в свете. «Они ни в чем не нуждаются,— сказал он,— работают мало, и если выработают какой-нибудь реал в сутки, то есть восьмую часть талера (около 14 коп. серебром), то им с лишком довольно на целый день. Индиец купит себе рису; банан у него есть, сладкий картофель или таро тоже — и обед готов. Еще останется ему на что купить кокосовой водки. Испанцы обходятся с ними хорошо, кротко, и тагалы благословляют свою участь. Конечно, они могли бы быть еще деятельнее, следовательно, жить в большем довольстве, не витать в этих хижинах, как птицы: но для этого надобно, чтоб и повелители их, то есть испанцы, были подеятельнее; а они стоят друг друга: tel maitre, tel valet.*

То же подтвердил накануне и епископ. «Ах, если б Филиппинские острова были в других руках! — сказал он,— какие сокровища можно было бы извлекать из них! Mais les Espagnols sont indolents, paresseux, très paresseux!» ** — прибавил он со вздохом.

От нового губернатора, маркиза Новичелиса, ждут много доброго. Он затевает разные реформы; ему дано больше прав и власти, нежели его предшественникам: он нечто вроде вице-короля. Повод к увеличению его власти подали некоторые опасения на счет духовенства, влияние которого стало слишком ощутительно в этой колонии. Слухи об этом дошли до метрополии; притом индийцы на прочих островах стали пошаливать. Незадолго перед нашим прибытием они, на острове Минданао, умертвили человек двадцать солдат. Потребовались строгие меры, и то судно, которое мы встретили в Анжере, везло новые войска. На том же судне был и Кармена, с которым мы увиделись как с старым знакомым. В губернаторе находят пока один недостаток: он слишком исполнен своего достоинства, гордится древностью рода и тем, что жена его — первая штатс-дама при королеве, от этого он важничает, как петух...

Но вот и цирк, вот и петухи. Цирк — это исполинская бамбуковая клетка, в какую сажают попугаев, вся сквозная: снаружи издалека можно видеть, что в ней делается. В ней три яруса галерей для зрителей, а посредине круглая арена для бойцов. Крыша коническая, сплетена тоже из бамбуковых жердей, и потому сквозная, но в ней сверх того есть несколько люков для воздуха. Мы с трудом пробрались сквозь густую толпу народа ко входу, заплатили по реалу и вошли в клетку. Зрителей было человек до пятисот в самой клетке да человек тысяча около. Последние не зрители, а участники. У всякого под мышкой был петух. Публика вся состояла из тагалов, китайцев и метисов. Мы пробрались в верхнюю галерею и с трудом отыскали три свободные места. Женщинам нельзя сидеть в этих сквозных галереях, осо-

---

* каков хозяин, таков и слуга (*франц.*),— *Ред.*

** Но испанцы бездельники, лентяи, ужасные лентяи! (*франц.*),— *Ред.*

бенно в верхних этажах: поэтому в цирке были только мужчины да петухи — ни женщин, ни кур ни одной. Но зато какое множество петухов! какое свирепое, непрерывное пение раздавалось в клетке и около нее!

На арене ничего еще не было. Там ходил какой-то распорядитель из тагалов, в розовой кисейной рубашке, и собирал деньги на ставку и за пари. Я удивился, с какой небрежностью индийцы бросали пригоршни долларов, между которыми были и золотые дублоны.[34] Распорядитель раскладывал деньги по кучкам на полу, на песке арены. На ней, в одном углу, на корточках, сидели тагалы с петухами, которым предстояло драться.

Вот явились двое тагалов и стали стравливать петухов, сталкивая их между собою, чтоб показать публике степень силы и воинственного духа бойцов. Петухи немного было надулись, но потом равнодушно отвернулись друг от друга. Их унесли, и арена опустела. «Что это значит?» — спросил я француза. «Петухи не внушают публике доверия, и оттого никто не держит за них пари».

Из угла отделились двое других состязателей и стали также стравливать бойцов, держа их за хвост, чтоб они не подрались преждевременно. Петухи надулись, гребни у них побагровели, они только что бросились один на другого, как хозяева растащили их за хвосты. Петухи были надежны; между зрителями обнаружилось сильное волнение. Толпа заколебалась; поднялся говор, как внезапный шум волн, и шел crescendo. Все протягивали друг к другу руки с долларами, перекликались, переговаривались, предлагали пари, кто за желтого, кто за белого петуха. И к нам протянулось несколько рук; нас трогали со всех сторон за плечи, за спину, предлагая пари.

Между тем хозяева петухов сняли с стальной шпоры, прикрепленной к одной ноге бойца, кожаные ножны. Распорядитель подал знак — все умолкло. Петухов бросили друг на друга. Один из них воспользовался первой минутой свободы, хлопнул раза три крыльями и пропел, как будто хотел душу отвести; другие, менее терпеливые поют, сидя у хозяев под мышками. Пропев, он обратился было к своим мирным занятиям, начал искать около себя на полу, чего бы поклевать, и поскреб раза два землю ногой. Но хозяин схватил его, погладил, дернул за подбородок и бросил на другого, который рвался из рук хозяина. Тогда у обоих бойцов образовались из перьев около шеи манжеты, оба нагнули головы и стали метить друг в друга. Долго щетинились они, наконец оба вспрыгнули вдруг, и один перескочил через другого, и тотчас же опять построились в боевую позицию, и опять нагнулись. Потом раза три сильно сшиблись; полетело несколько перьев по сторонам. Опять один перескочил через другого, царапнул того шпорой, другой тоже перескочил и царапнул противника так, что он упал на бок, но в ту же минуту встал и с новой яростью бросился на врага. Тут уж ничего больше разобрать было нельзя: рыцари дрались в общей свалке, сшибались часто и сильно впивались друг другу в гребень, то один повалит другого, то другой первого.

«Это все и у нас увидишь каждый день в любой деревне,— сказал я барону,— только у нас, при таком побоище, обыкновенно баба побежит с кочергой, или кучер с кнутом, разнимать драку, или мальчишка бросит камешком». Вскоре белый петух упал на одно крыло, вскочил, побежал, хромая, упал опять и, наконец, пополз по арене. Крыло волочилось по земле, оставляя дорожку крови.

Всякий раз, при сильном ударе того или другого петуха, раздавались отрывистые восклицания зрителей; но когда побежденный побежал, толпа завыла дико, неистово, продолжительно, так что стало страшно. Все привстали с мест, все кричали. Какие лица, какие страсти на них! и все это по поводу петушьей драки! «Нет, этого у нас не увидите»,— сказал барон. Действительно, этот момент был самый замечательный для постороннего зрителя.

Хозяин победителя схватил своего петуха и взял деньги; противник его молча удалился в толпу. Зрители тоже молча передавали друг другу проигранные доллары. Явились двое других и повторили те же проделки, то есть дразнили петухов, вооружили их шпорами: то же волнение, тот же говор повторились между зрителями, что ваша жидовская синагога! Петухи рванулись — и через минуту большой красный петух разорвал шпорами ноги серому, так что тот упал на спину, а ноги протянул кверху. Кругом кровь и перья. Побежденного петуха брал какой-то запачканный тагал, сдирал у него с груди горсть перьев и клал их в большой мешок, а петуха отдавал хозяину. «Что они делают с своими петухами потом? — спросил я француза,— лечат, что ли». «Нет, едят с салатом»,— отвечал он. «А перья зачем?» — «Не знаю»,— сказал француз. Я обратился с этим вопросом к своему соседу с левой стороны, к китайцу. «Signor?» — отвечал он мне вопросом же. Я забыл, что я не в Гон-Конге, не в Сингапуре, наконец, не в Китае, где китайцы говорят по-английски.

Иногда хозяин побежденного петуха брал его на руки, доказывал, что он может еще драться, и требовал продолжения боя. Так и случилось, что один побежденный выиграл ставку. Петух его, оправившись от удара, свалил с ног противника, забил его под загородку и так рассвирепел, что тот уже лежал и едва шевелил крыльями, а он все продолжал бить его и клёвом и шпорами.

Мы ушли, просидев с час. Говорят, забава продолжается до солнечного заката. Правительство отдает цирки на откуп и берет огромные деньги. Я выше, кажется, сказал, какие суммы получаются от боя петухов. В провинции Тондо казна получает до 80 000 долларов подати, в других — где 20, где 15 000. Тагалы иногда ставят до тысячи долларов на пари. «Я слышал, что здесь есть бои быков,— спросил я француза,— нельзя ли посмотреть?» «Не стоит,— отвечал он,— это пародия на испанские бои. Здесь тореадоры — унтер-офицеры, дерутся с дрянными, измученными быками...»

В гостиницу пришли обедать Кармена, Абелло, адъютант губернатора и много других. Абелло, от имени своей матери, изъявил сожаление, что она, по незнанию никакого другого языка, кроме испанского, не

могла принять нас как следует. Он сказал, что она ожидает нас опять, просит считать ее дом своим и т. д.

После обеда мы все разъехались. Я опять ударился в окрестности один, останавливался, где мне нравилось, заглядывал в рощи, уходил по дорожкам в плантации кофе и табаку. Дорога прекрасная; синий, туманный цвет дальних гор определялся все более и более, по мере приближения к ним. В одной деревеньке я пошел вдоль по ручью, в кусты, между деревьев; я любовался ими, хотя не умел назвать почти ни одного по имени. Француз показывал мне в своем магазине до десяти изящнейших пород дерева, начиная от самого красного до самого черного. Коричневые, розовые, желтые, темные: с какими нежными струями и оттенками и какие массивные! Он показывал круглые столы, аршина полтора в диаметре, сделанные из одного куска. Говорят, в Маниле до тысячи пород деревьев.

Кучер мой, по обыкновению всех кучеров в мире, побежал в деревенскую лавочку съесть или выпить чего-нибудь, пока я бродил по ручью. Я воротился — его нет; около коляски собрались мальчишки, нищие и так себе тагалы, с петухами под мышкой. Я доехал до речки и воротился в Манилу, к дворцу, на музыку.

Шкуна пришла 23-го февраля (7-го марта), и наше общество несколько увеличилось. Посьет уехал на озера, Гошкевич в местечко Сан-Маттео, смотреть тамошний грот.

Говорят, на озерах, вдали от жилых мест, в глуши, на вершине одной горы, есть образовавшийся в кратере потухшего вулкана бассейн стоячей воды, наполненной кайманами.[35] Кругом бассейна, по лесу, гнездятся на деревьях летучие мыши, величиной с ястреба и больше.[36] Туда проникают смелые охотники. Животных из пород ящериц здесь множество; недавно будто бы поймали каймана в 21 фут длиной. Мне один из здешних жителей советовал остерегаться, не подходить близко к развалинам, говоря, что там гнездятся ящерицы, около фута величиной, которые кидаются на грудь человеку и вцепляются когтями так сильно, что скорее готовы оставить на месте лапы, чем отстать. Есть одно средство отцепить их — это подставить им зеркало: тогда они бросаются на свое отражение.[37] Он сказывал, что, вдвоем с товарищем, они убили из ружья двух таких ящериц.

Однако нам объявили, что мы скоро снимаемся с якоря, дня через четыре.[38] «Да как же это? Да что ж это так скоро?..» — говорил я, не зная, зачем бы я оставался долее в Луконии.[39] Мы почти все видели; ехать дальше внутрь — надо употребить по крайней мере неделю, да и здешнее начальство неохотно пускает туда. А все жаль было покидать Манилу!

Утром, дня за три до отъезда, пришел ко мне Посьет. «Не хотите ли осмотреть канатный завод нашего банкира? — сказал он мне,— нас повезет один из хозяев банкирского дома, американец Мегфор». Мне несколько неловко было ехать на фабрику банкира: я не был у него самого даже с визитом, несмотря на его желание видеть всех нас как можно чаще у себя; а не был потому, что за визитом неминуемо

следуют приглашения к обеду, за который садятся в пять часов, именно тогда, когда настает в Маниле лучшая пора глотать не мясо, не дичь, а здешний воздух, когда надо ехать в поля, на взморье, гулять по цветущим зеленым окрестностям, словом, жить. А тут сиди за обедом! Однако ж я поехал с Посьетом и Мегфором, особенно когда узнал, что до фабрики надо ехать по незнакомой мне дороге. Дорога эта довольно глуха и уединенна и оттого еще более понравилась мне. Я удивился, что поблизости Манилы еще так много лежит нетронутых полей, мест, по-видимому, совсем забытых. «Или они *под паром*, эти поля,— думал я, глядя на пустые большие пространства,— здешняя почва так же ли нуждается в отдыхе, как и наши северные нивы, или это нерадение, лень?» Некого было спросить; с нами ехал К. И. Лосев, хороший агроном и практический хозяин, много лет заведовавший большим имением в России, но знания его останавливались на пшенице, клевере и далее не шли. О тропической почве он знал не более меня.

Мы приехали на фабрику, занимающую большое пространство и несколько строений. Самое замечательное на этой фабрике то, что веревки на ней делаются не из того, из чего делают их в целом мире, не из пеньки, а из волокон дерева, похожего несколько на банановое. Мегфор называет его plantin. Мочала или волокна — цвета... как бы назвать его? да светло-мочального — доставляются изнутри острова, в тюках, и идут прежде всего в расческу. При расческе материал чуть-чуть смазывают кокосовым маслом. Мы едва шагали между кучами мочал, от которых припахивало постным маслом. Расчесывают их раза три, сначала грубыми, большими зубцами, потом тонкими, на длинные пряди, и тогда уже машинами вьют веревки.

Машины привезены из Америки: мы видали на фабриках эти стальные станки, колеса; знаете, как они отделаны, выполированы, как красивы — и тут тоже: взял бы да и поставил где-нибудь в зале, как украшение. Сараи, где по рельсам ходит машина, вьющая канаты, имеют до пятисот шагов длины; рабочие все тагалы, мастера — американцы. Мальчикам платят по полуреалу в день (около семи коп. серебром), а работать надо от шести часов утра до шести вечера; взрослым по реалу; когда понадобится, так за особую плату работают и ночью. «Дешево, конечно,— говорит агроном Лосев,— но ведь зато им не надо ни полушубков, ни сапог, ни рукавиц круглый год, притом их кормят на фабрике». Мастера, трое, получают тысячу восемьсот, тысячу пятьсот и тысячу долларов в год. Отправляют товар больше в Америку, частью в канатах, частью тюками, в волокнах. Там эти веревки из «плянтина» предпочитаются на судах пеньковым, но только в бегучем такелаже, то есть для подвижных снастей, а стоячий такелаж, или смоленые неподвижные снасти, делаются из пеньковых.

В Маниле, как и в Сингапуре, в магазине корабельных запасов, продаются *русские* пеньковые снасти, предпочитаемые всяким другим на свете; но они дороже древесных. У нас на суда взяли несколько манильских снастей: при постановке парусов от них раздавалась такая

музыка, что все зажимали уши: точно тысяча саней скрипела по морозу. Говорят, что пройдет со временем, обшаркается. Фабрика производит на 130 000 долларов в год. Она принадлежит Старджису, представителю в настоящее время американского дома Russel и C°* в Маниле, еще Мегфору, который нас возил, и вдове его брата. Брат этот, года два назад, был убит индийцами, которые напали на фабрику и хотели ограбить. Испанское правительство до сих пор не может найти виновных. Говорят, американский коммодор Перри придет сюда с своей эскадрой помогать отыскивать их.

Несколько лет назад на фабрике случился пожар, и отчего? Там запрещено работникам курить сигары: один мальчик, которому, вероятно, неестественно казалось не курить сигар в Маниле, потихоньку закурил. Пришел смотритель: тагал, не зная, как скрыть свой грех, сунул сигару в кипу мочал.

Через предместье Санта-Круц мы воротились в город. Мои товарищи поехали к какой-то Маргарите, покупать платки и материю из ананасовых волокон, а я домой.

Нас торопили собираться к отплытию; надо было подумать о сигарах. Я с запиской отправился на фабрику к альфорадору. У ворот мне встретился какой-то молодой чиновник, какие есть, кажется, во всех присутственных местах целого мира: без дела, скучающий, не знающий куда деваться, словом, лишний. Он шел было вон; а когда я показал ему записку, он воротился — и так, от нечего же делать — повел меня к альфорадору. Опять я, идучи по залам, наслушался адского стука, нанюхался табачного масла и достиг наконец до альфорадора.

Он прежде всего предложил мне сигару гаванской свертки, потом на мой вопрос отвечал, что сигары не готовы: «Дня через четыре приготовим».— «Я через день еду»,— заметил я. Он пожал плечами. «Возьмите в магазине, какие найдете,— прибавил он,— или обратитесь к инспектору».

Праздный чиновник повел меня к инспектору. Тот посоветовал обратиться в магазин. Мы пошли (все с чиновником) туда. Магазин помещался в доме фабричной администрации. Мы зашли прежде в администрацию. Один из администраторов, толстый испанец, столько же похожий на испанца, сколько на немца, на итальянца, на шведа, на кого хотите, встал с своего места, подняв очки на лоб, долго говорил с чиновником, не спуская с меня глаз, потом поклонился и сел опять за бумаги. Около него толпились тагалы и тагалки, дожидавшиеся платы. «Ну что?» — спросил я своего провожатого. Он начал мне длинную какую-то речь по-французски, и хотя говорил очень сносно на этом языке, но я почти ничего не понял, может быть оттого, что он к каждому слову прибавлял: «Je vous parle franchement, vous comprenez? **

---

* Рассел и компания (*англ.*),— *Ред.*

** «Я говорю с вами откровенно, понимаете?» (*франц.*), — *Ред.*

Хотел ли он подарка себе или кому другому — не похоже, кажется: но он говорил о злоупотреблениях, да тут же кстати и о строгости. Между прочим, смысл одной фразы был тот, что официально, обыкновенным путем, через начальство, трудно сделать что-нибудь, что надо «просто прийти», так все и получишь за ту же самую цену. «Je vous parle franchement, vous comprenez?» — заключил он.

«Сигар?» — спросил я в магазине. «Сигар нет»,— отвечал индиец-приказчик. «Нового приготовления, гаванской свертки, первый сорт»,— говорил я. Чиновник переводил мой вопрос и ответ тагала — *нет*. «Их так немного делают, что в магазин они и не поступают»,— сказал он. «Ну, первого сорта здешней свертки, крупных».— «Все вышли»,— был ответ. «Сегодня пришлют»,— прибавил он. «Ну, второго сорта?» — спросил я. Тагал порылся в ящиках, вынул одну пачку в бумаге, 125 штук, и положил передо мной. «Una peso» (один пиастр),— сказал он. «Да мне надо по крайней мере пачек двадцать одного этого сорта»,— заметил я. Тагал опять заглянул в ящик. «Больше нет,— сказал он,— все вышли; сегодня будут».

Тут следовало бы пожать плечами, но я был очень сердит, не до того было, чтоб прибегать к этим общим местам для выражения досады. Вот подите же: где после этого доставать сигары? Я думаю, на Невском проспекте. у Тенкате:[40] это всего вернее. Кто-то искал счастья по всему миру и нашел же его, воротясь, у своего изголовья. Не был ли в Маниле этот путешественник и не охотник ли он курить сигары? Видно, уж так заведено в мире, что на Волге и Урале, не купишь на рынках хорошей икры; в Эперне́ не удастся выпить бутылки хорошего шампанского,[41] а в Торжке не найдешь теперь и знаменитых пожарских котлет:[42] их лучше делают в Петербурге.

«Что ж у вас есть в магазине? — спросил я наконец,— ведь эти ящики не пустые же: там сигары?» «Чируты!» — сказал мне приказчик, то есть обрезанные с обеих сторон (которые, кажется, только и привозятся из Манилы к нам, в Петербург): этих сколько угодно! Есть из них третий и четвертый сорты, то есть одни большие, другие меньше.

А провожатый мой все шептал мне, отворотясь в сторону, что надо прийти «прямо и просто», а куда — все не говорил, прибавил только свое: «Je vous parle franchement, vous comprenez?» — «Да не надо ли подарить кого-нибудь?» — сказал я ему наконец, выведенный из терпения. «Non, non,* — сильно заговорил он; — но вы знаете сами, злоупотребления, строгости... но это ничего; вы можете все достать... вас принимал у себя губернатор — оно так, я видел вас там: но все-таки надо прийти... просто: vous comprenez?» «Я приду сюда вечером,— сказал я решительно, устав слушать эту болтовню,— и надеюсь найти сигары всех сортов...» — «Кроме первого сорта гаванской свертки»,— прибавил чиновник и сказал что-то тагалу по-испански... Я довез его до фабрики и вернулся домой.

Смысл этих таинственных речей был, кажется, тот, что все коли-

* «Нет, нет... (*франц.*).— *Ред.*

чество заготовляемых на фабрике сигар быстро расходится официальным путем по купеческим конторам, оптом, и в магазин почти не поступает, что туземцы курят чируты, и потому трудно достать готовые сигары высших сортов. Но если кто пожелает непременно иметь хорошие сигары не в большом количестве, тот, без всяких фактур и заказов, обращается к кому-нибудь из служащих на фабрике или *приходит прямо и просто*, как говорил мой провожатый, заказывает, сколько ему нужно, и получает за ту же цену, мимо администрации, мимо магазина, куда деньги за эти сигары, конечно, уже не поступают.

По крайней мере я так понял загадочные речи моего провожатого. Et vous, mes amis, vous comprenez? je vous parle franchement.*

Насилу-то наконец вечером я запасся, для себя и для некоторых товарищей, несколькими тысячами сигар, почти всех сортов, всех величин и притом самыми *свежими*. На ящиках было везде клеймо: *Febrero* (февраль), то есть месяц нашего там пребывания. Запрос так велик, что не успевают делать. Другие мои спутники запаслись чрез нашего банкира, но только одними чирутами. За *тысячу* сигар лучшего сорта платят здесь четырнадцать долларов (около 19 р. серебром), а за чируты восемь долларов. В Петербурге первых совсем нет, а вторые продаются, если не ошибаюсь, по шести и никак не менее пяти р. серебром за *сотню*. Каков процент! Табак не в сигарах не продается в Маниле; он дозволен только к вывозу. Говорят, есть еще несколько меньших фабрик, но я тех не видал, так же как и фабрики сигареток или папирос.

Наконец объявлено , что не сегодня, так завтра снимаемся с якоря. Надо было перебраться на фрегат. Я последние два дня еще раз объехал окрестности, был на кальсадо, на Эскольте, на Розарио, в лавках. Вчера отправил свои чемоданы *домой*, а сегодня, после обеда, на катере отправился и сам. С нами поехал француз Pl. и еще испанец, некогда моряк, а теперь commandant des troupes,** как он называл себя. В этот день обещали быть на фрегате несколько испанских семейств, в которых были приняты наши молодые люди.

Когда мы садились в катер, вдруг пришли сказать нам, что гости уж едут, что часть общества опередила нас. А мы еще не отвалили! Как засуетились наши молодые люди! Только что мы выгребли из Пассига, велели поставить паруса и понеслись. Под берегом было довольно тихо, и катер шел покойно, но мы видели вдали, как кувыркалась в волнах крытая барка с гостями.

Часов с трех пополудни до шести на неизмеримом манильском рейде почти всегда дует ветер свежее, нежели в другие часы суток; а в этот день он дул свежее всех прочих дней и развел волнение. «Мы их догоним,— говорил барон,— тяни шкот! тяни шкот!» — командовал он беспрестанно. Паруса надулись так, что шлюпка одним бортом лежала совершенно на воде; нельзя было сидеть в катере, не держась за

---

* И вы, друзья мои, вы понимаете? я говорю с вами откровенно *(франц.)*. — *Ред.*
** сухопутный командир *(франц.)*. — *Ред.*

противоположный борт. Мы ногами упирались то в кадку с мороженым, то в корзины с конфектами, апельсинами и мангу, назначенными для гостей и стоявшими в беспорядке на дне шлюпки, а нас так и тащило с лавок долой. «Не взять ли рифы?» — спросил барон Криднер. «Надо бы; да тогда тише пойдем, не поспеем прежде гостей,— сказал Бутаков,— вот уж они где, за французским пароходом: эк их валяет!»

Наш катер вставал на дыбы, бил носом о воду, загребал ее, как ковшом, и разбрасывал по сторонам, с брызгами и пеной. Мы-таки перегнали, хотя и рисковали если не перевернуться совсем, так *черпнуть* порядком. А последнее чуть ли не страшнее было первого для барона: чем было бы тогда потчевать испанок, если б в мороженое или конфекты вкатилась соленая вода?

Приставать в качку к борту — тоже задача. Шлюпку приподнимает чуть не до борта, тут сейчас и пользуйтесь мгновением: прыгайте на трап, а прозевали, волна отступит и утащит шлюпку опять в преисподнюю.

Мы только что вскочили на палубу, как и гости пристали вслед за нами. Их всего было человек семь испанцев, да три дамы, две испанки, мать с дочерью, и одна англичанка. Прочие приглашенные не поехали, побоявшись качки. Гостей угощали чаем, мороженым и фруктами, которые были, кажется, не без соли, как заметил я, потому что один из гостей доверчиво запустил зубы в мангу, но вдруг остановился и стал рассматривать плод, потом поглядывал на нас. Хотя мы не черпнули, но все-таки нельзя было запретить морской воде брызгать в шлюпку.

С англичанкой кое-как разговор вязался, но с испанками — плохо. Девица была недурна собой, очень любезна; она играла на фортепиано плохо, а англичанка пела нехорошо. Я сказал девице что-то о погоде, наполовину по-французски, наполовину по-английски, в надежде, что она что-нибудь поймет, если не на одном, так на другом языке, а она мне ответила, кажется, о музыке, вполовину по-испански, вполовину... по-тагальски, я думаю.

Наконец мы простились с Манилой, да вот теперь и заштилели в виду Люсона. Я вошел в свою каюту, в которой не был ни разу с тех пор, как переехал на берег. В ней горой громоздились ящики с сигарами, кучи белья, платья. Кое-как мы с Фаддеевым разобрали все по углам, но каюта моя уменьшилась наполовину. «А где соломенные шляпы?» — спросил я. «А вот они»,— сказал Фаддеев, показывая на потолок. «Да как ты их укрепил?» — спросил я, недоумевая, как они там держались. А очень просто: он вставил три или четыре шляпы одну в другую и поля гвоздиками прибил к потолку: прочно, не правда ли?

«Только-то? — скажете вы.— Тут и все о Маниле?» Вы недовольны? И я тоже. Я сам ожидал чего-то больше. А чего? Может быть, ярче и жарче колорита, более грез поэзии и побольше жизни, незнакомой нам всем, европейцам, жизни своеобычной: и нашел, что здесь танцуют, и много танцуют, спят тоже много, и краснеют всего, что похоже на свое. Выше я уже сказал, что, вопреки климату, здесь на обеды

ездят в суконном платье, белое надевают только по утрам, ходят в черных шляпах, предпочитают нежным изделиям манильской соломы грубые изделия Китая, что даже индиец рядится в суконное пальто, вместо своей воздушной ткани, сделанной из растения, которое выросло на его родной почве, и старается походить на метиса, метис на испанца, испанец на англичанина.

Люди изменяются до конца, до своей плоти и крови: и на этом благодетельном острове, как и везде, они перерождаются и меняют нравы, сбрасывают указанный природою костюм, забывают свой язык, забыли изменить только название острова и города. Вас, может быть, вводят в заблуждение звучные имена Манилы, Люсона; они напоминают Испанию. Разочаруйтесь: эти имена не испанские, а индийские. Слово Манилла, или правильнее, Манила, выработано из двух тагальских слов: *mayron nila*, что слово в слово значит: *там есть нила,* а *нилой* называется какая-то трава, которая растет по берегам Пассига. *Майрон-Нила* называлось индийское местечко, бывшее на месте нынешней Манилы. Люсон взято от тагальского слова *лосонг*: так назывались ступки, в которых жители этого острова толкли рис, когда пришли туда первые испанцы, а эти последние и назвали остров Лосонг. Почему нет? ведь наши матросы называют же англичан *асеи*, от слова J say, то есть «эй, послушай!», которое беспрестанно слышится в английском разговоре. *Тагал* или *тагаилог* значит *житель рек.*

Зато природа на Люсоне неизменна, как везде, и богата, как нигде. Как прекрасен этот союз северного и южного неба, будто встреча и объятия двух красавиц! Крест и Медведица, Орион и Конопус так близко кажутся друг от друга... Необыкновенны переливы вечернего света на небе — яшмовые, фиолетовые, лазурные, наконец, такие странные, темные и прекрасные тоны, под какие ни за что не подделаться человеку! Где он возьмет цвета для этого пронзительно-белого луча здешних звезд? как нарисует это мление вечернего, только что покинутого солнцем и отдыхающего неба, эту теплоту и кротость лунной ночи? Чудесен и голубой залив, и зеленый берег, дальние горы, и все эти пальмы, бананы, кедры, бамбуки, черное, красное, коричневое деревья, эти ручьи, островки, дачи — все так ярко, так обворожительно, фантастически прекрасно!..

И при всем том ни за что не остался бы я жить среди этой природы! Есть отрадные мгновения — утром, например, когда, вставши рано, отворишь окно и впустишь прохладу в комнату; но ненадолго оживит она; едва сдунет только дремоту, возбудит в организме игру сил и расположит к деятельности, как вслед за ней, из того же окна дохнет на вас теплый пар раскаленной атмосферы. Вдаль посмотреть нельзя: волны сверкают, как горячие угли, стены зданий ослепительно белы, воздух, как пламя — больно глазам. Часов в десять, одиннадцать, не говоря уже о полудне, сидите ли вы дома, поедете ли в карете, вы изнеможете; жар сморит: напрасно будете противиться сну. Хотите говорить — и на полуслове зевнете; мысль не успела сформироваться,

а вы уж уснули. Но и сон не отрада: подушка душит вас, легчайшая ткань кажется кандалами. Дышишь горячо, ищешь ветра — его нет. Хочешь освежить высохший язык — вода теплая, положишь льду в нее — жди воспаления. К вечеру оживаешь, наслаждаешься, но и то в декабре, январе и феврале: дальше, говорят, житья нет. В летние месяцы льются потоки дождя, свирепствуют грозы, время от времени ураганы и землетрясения. В дождь ни выйти, ни выехать нельзя: в городе и окрестностях наводнение; землетрясение происходит в домах и на улицах то же, что в качку на кораблях: всё в ужасе; индийцы падают ниц...

Но и вечером, в этом душном томлении воздуха, в этом лунном пронзительном луче, в тихо качающихся пальмах, в безмятежном покое природы, есть что-то такое, что давит мозг, шевелит нервы, тревожит воображение. Сидя по вечерам на веранде, я чувствовал такую же тоску, как в прошлом году в Сингапуре. Наслаждаешься и страдаешь, нега и боль![43] Эта жаркая природа, обласкав вас страстно, напутствует сон ваш такими богатыми грезами, каких не приснится на севере.

И все-таки не останешься жить в Маниле, все захочешь на север, пусть там, кроме снега, не приснится ничего! Не нашим нервам выносить эти жаркие ласки и могучие излияния сил здешней природы.

А разве, скажете вы, нет никогда таких жарких дней и обаятельных вечеров и у нас?.. Выдаются дни беспощадные, жаркие и у нас, хотя без пальм, без фантастических оттенков неба: природа, непрерывно творческая здесь и подолгу бездействующая у нас, там кладет бездну сил, чтоб вызвать в какие-нибудь три месяца жизнь из мертвой земли. Но у нас она дает пир, как бедняк, отдающий все до копейки на пышный праздник, который в кои-то веки собрался дать: после он обречет себя на долгую будничную жизнь, на лишения. И природа наша так же: в палящем дне на севере вы уже чувствуете удушливое дыхание земли, предвещающее к ночи грозу, потоки дождя и перемену надолго. А здесь дни за днями идут, как близнецы, похожие один на другой, жаркие, страстные, но сильные, ясные и безмятежные — в течение долгих месяцев.

Может быть, вы всё будете недовольны моим эскизом и потребуете чего-нибудь еще: да чего же? Кажется, я догадываюсь. Вам лень встать с покойного кресла, взять с полки книгу и прочесть, что Филиппинские острова лежат между 114 и 134° в. долг., 5 и 20° северн. шир., что самый большой остров — Люсон, с столичным городом Манила, потом следуют острова: Магинданао, Сулу, Палауан; меньшие: Самар, Панай, Лейт, Миндоро и многие другие.

В 1521 году Магеллан, первый, с своими кораблями, пристал к юго-восточной части острова Магинданао и подарил Испании новую, цветущую колонию, за что и поставлен ему монумент на берегу Пассига. Вторая экспедиция приставала к Магинданао, в 1526 году,[44] под начальством Хуана Гарсия Хозе де-Лоаиза. Спустя недолго приходил мореплаватель Виллалобос, который и дал островам название «Филип-

пинских», в честь наследника престола, Филиппа II,[45] тогда еще принца астурийского.

В 1664 году Мигель Лопец Легаспи пришел, с пятью монахами ордена августинцев и с пятью судами, покорять острова силою креста и оружия. Индийцы некоторых, вновь открытых островов, куда еще не проникали ни Магеллан, ни Лоаиза, перепугались, увидя европейцев. Они донесли своему начальству, что приехали люди «с тоненьким и острым хвостом, что они бросают гром, едят камни, пьют огонь, который выходит дымом из носа, а носы у них,— прибавили они,— предлинные». Индийцы приняли морские сухари за камни, шпагу — за хвост, трубку с табаком — за огонь, а носы — за носы тоже, только длинные: не оттого, что у испанцев носы были особенно длинны, а оттого, что последние у самих индийцев чересчур коротки и плоски.

Легаспи, по повелению короля, покорил и остров Лосонг, или Люсон. Он на Пассиге основал нынешний город,[46] удержав ему название бывшего на этом месте селения Майрон-Нила или, сокращенно, Mai-Nila. Легаспи привлек китайцев, завел с ними торговлю, которая процветает и поныне. Вскоре наехали францисканцы, доминиканцы, настроили церквей, из которых августинский монастырь древнейший, построенный по плану архитектора, строившего Эскуриал.[47]

После того Манила не раз подвергалась нападениям китайцев, даже японских пиратов, далее голландцев, которые завистливым оком заглянули и туда, наконец, англичан. Эти последние, воюя с испанцами, напали, в 1762 году, и на Манилу и вконец разорили ее. Через год и семь месяцев мир был заключен и колония возвращена Испании.

Жидко об истории, скажете вы, может быть. Но стоит ли больше говорить о ней? Филиппинский архипелаг, как parvenu * какой-нибудь, еще не имеет права на генеалогическое дерево. Говорить больше о нем — значит говорить об истории испанского могущества XV, XVI и XVII столетий. Оно отозвалось и в здешних отдаленных углах, но глухо. Мир тогда сжался на маленьком лоскутке: над ним и играло всей силой своей солнце судьбы, и сюда чуть-чуть долетали его лучи. Может быть, заиграет оно когда-нибудь и здесь, как над старой Европой: тогда на путешественнике будет лежать тяжелая обязанность рыться в здешних архивах и с важностью повествовать ленивым друзьям о событиях края.

О торговле три слова:

Из Манилы вывозятся в Америку, в Китай, в Европу и особенно в Англию: сахар, индиго, пенька, сигары, ром, дерево; а привозятся бумажные и шерстяные изделия, железо, корабельные припасы, провизия, стальные изделия, стекло, глиняная посуда.

Ежегодно приходит до двухсот испанских и чужих кораблей и столько же отходит.

---

* выскочка (*франц.*),— *Ред.*

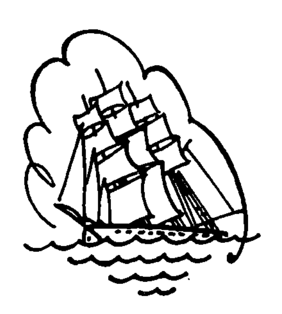
Сумма привоза простирается свыше полутора миллиона пиастров, иногда доходит до двух; вывозится миллиона на три...

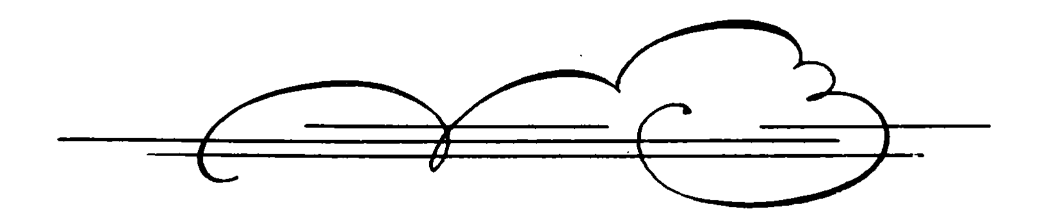
(Зри «Kaufmännische Berichte, gesammelt auf einer Reise um die Welt von W. N. Nopitsch».) * [48]

Ну, теперь, кажется, все!

---

* (...«Торговые отчеты В. Н. Нопича, записанные им во время кругосветного путешествия».) (*нем.*),— *Ред.*





VI

ОТ МАНИЛЫ ДО БЕРЕГОВ СИБИРИ

Качающаяся мачта. — Остров Батан. — Padre и алькад. — Сулой. — Остров Камигуин, порт Пио-Квинто.— Красное дерево.— Птицы и насекомые.— Бананы.— Дракон, пожирающий уток.— Обед в тропическом лесу.— Кит.— Акула.— Остров Гамильтон.— Камелии.— Корейцы.— Вести из Шанхая.— Нагасаки.— Второй губернатор.— Подарки.— Провизия.— Острова Гото.— Берега Кореи; опись их и поверка карт.— Залив Лазарева.— Прогулки по берегу. — Сильные туманы. — Змея. — Сношения с жителями. — Неприятность.— Река Тайманьга.— Историческая заметка о Корее.— Татарский пролив.— Шквал.— Большой залив.— Жители.— Тунгус Афонька.— Гиляки.

С 27 февраля по 22 мая 1854.

Мы вышли из Манилы 27-го февраля вечером и поползли опять теми же штилями вдоль Люсона, какими пришли туда.

Тащились дней пять, но зато чуть вышли из-за острова, как крепкий норд-остовый муссон задул нам в лоб.

Сначала взяли было один, а потом постепенно и все четыре рифа. Медленно, туго шли мы, или, лучше сказать, толклись на одном месте. Долго шли одним галсом, и 8-го числа воротились опять на то же место, где были седьмого. Килевая качка несносная, для меня, впрочем, она лучше боковой, не толкает из угла в угол, но, кого укачивает, тем невыносимо.

Суда наши держались с нами, но адмирал разослал их: транспорт «Князь Меншиков» в Шанхай, за справками, шкуну к острову Батану, отыскать якорное место и заготовить провизию, корвет — еще куда-то. Сами идем на островок Гамильтон, у корейского берега, и там дождемся транспорта.

Только мы расстались с судами, как ветер усилился и вдруг оказалось, что наша фок-мачта клонится совсем назад, еще хуже, нежели грот-мачта. Общая тревога; далее идти было бы опасно: на севере могли встретиться крепкие ветра, и тогда ей несдобровать. Третьего

дня она вдруг треснула; поскорей убрали фок. Надо зайти в порт, а куда? В Гон-Конг всего бы лучше, но это значит прямо в гости к англичанам. Решили спуститься назад, к группе островов Бабуян, на островок Камигуин, в порт Пио-Квинто, недалеко от Люсона.

Но прежде надо зайти на Батан, дать знать шкуне, чтоб она не ждала фрегата там, а шла бы далее, к северу. Мы всё лавировали к Батану; ветер воет во всю мочь, так что я у себя не мог спать; затворишься — душно, отворишь вполовину дверь — шумит как в лесу. [1]

Вчера, с 9-го на 10-е ночью, течением отнесло нас на 35 миль в сутки, против счисления, к норду, несмотря на то, что накануне была хорошая обсервация, и мы очутились выше Батана. Зато как живо спустились к нему попутным ветром! Это тот самый Батан, у которого нас прихватил, в прошлом году в июле месяце, тифон, или «тайфун» по-китайски, то есть сильный ветер. Мы тогда напрасно искали на восточном берегу пристани: нет ее там; зато теперь тотчас отыскали на юго-западном. Шкуна стояла уже там и еще китолов американский.

Островок недурен, весь в холмах, холмы в зелени. Бухта не закрыта от зюйда, и становиться в ней на якорь опасно, хотя в это время года, то есть при норд-остовом муссоне, в ней хорошо; зюйдовых ветров нет. Но положиться на это нельзя. А как вдруг задует? Между скал (тоже зеленых) есть затишье и пристань. Глубина неровная: 50 сажен, потом 38, и вдруг семь, почти рядом. Нам открылся монастырь, потом дом испанского алькада и деревня в зелени. Хорошо, приятно и весело смотреть на берег. Наши поехали, я нет. [2] Меня, кажется, прихватила немного болезнь, которую немцы называют Heimweh.* Просто домой хочется. Даст ли бог сил выдержать! Прелесть того, что манило вдаль,— новизны утратилась; впереди только беспокойства и неизвестность.

У нас сегодня утром завтракали padre** и алькад. Я не выходил из каюты, не хотелось, но смотрел из окна с удовольствием, как приехавшие с ними двое индийских мальчишек, слуг, разинули вдруг рот и обомлели, когда заиграли наши музыканты. Скоро удивление сменилось удовольствием: они сели рядом на палубе и не спускали глаз с музыкантов. Мальчишек укачивало. У меньшего желтенькое лицо позеленело, и он спрятался за пушку. Вдруг padre позвал его; тот не слыхал, и padre дал ему такого подзатыльника, что впору пирату такого дать, а не пастырю.

Нам прислали быков и зелени. Когда поднимали с баркаса одного быка, вдруг петля сползла у него с брюха и остановилась у шеи; бык стал было задыхаться, но его быстро подняли на палубу и освободили. Один матрос на баркасе, вообразив, что бык упадет назад в баркас, предпочел лучше броситься в воду и плавать, пока бык

---

* Тоска по родине (*нем.*),— *Ред.*

** священник (*исп.*),— *Ред.*

будет падать; но падение не состоялось, и предосторожность его возбудила общий хохот, в том числе и мой, как мне ни было скучно.

Приняв провизию, мы снялись с якоря и направляемся теперь на островок Камигуин, поправить немного мачты.

Мы вышли ночью; и как тут кое-где рассеяны островки, то, для безопасности, мы удержались до рассвета под малыми парусами у островов Баши. Я спал, но к утру слышал сквозь сон, как фрегат взял большой ход на фордевинд. Этот ход сопровождается всегда боковой качкой. Мы полагали стать к часам четырем на якорь; всего было миль шестьдесят, а ходу около десяти узлов, то есть по десяти миль, или семнадцать с лишком верст, в час. Но в таких расчетах надо иметь в виду течения; здесь течение было противное; попутный ветер нес нас узлов десять, а течением относило назад узлов пять. Часам к пяти мы подошли к Камигуину, но подвигались так медленно, что солнце садилось, а мы еще были все у входа.

Вдобавок ко всему у острова встретили мы сулой и попали прямо в него. Вы не знаете, что такой «сулой»? И дай бог вам не знать. Сулой — встреча ветра и течения. У нас был норд-остовый ветер, а течение от SW. Что это за наказание! Никогда не испытывали мы такой огромной и беспокойной зыби. Ветер не свежий, а волны, сшибаясь с двух противных сторон, вздымаются как горы, самыми разнообразными формами. Одна волна встает, образует правильную пирамиду и только хочет рассыпаться на все стороны, как ей и следует, другая вдруг представляет ей преграду, привскакивает выше сеток судна, потом отливается прочь, образуя глубокий овраг, куда стремительно падает корабль, не поддерживаемый на ходу ветром. Взад подтолкнет его победившая волна, и он падает на бок и лежит так томительную минуту.[3] Волны хлещут на палубу, корабль черпает бортами. Беда судам: мелкие заливает нередко, да и большие могут потерять мачты. К счастью, ветер скоро вынес нас на чистое место, но войти мы не успели и держались опять ночь в открытом море; а надеялись было стать на якорь, выкупаться и лечь спать.

Утром уже на другой день, 11-го марта, мы вошли в бухту Пио-Квинто северным входом и стали за островком того же имени, защищающим рейд. Бухта большая; берега покрыты непроходимою кудрявою зеленью. На острове есть потухший волкан; есть пальмы, бананы; раковин множество; при мне матросы привезли Посьету набранный ими целый мешок. Я заказал и себе. Доктор убил до шести птиц, золотистых, красных, желтых: их потрошат и набивают хлопчатой бумагой. Гошкевичу раздолье. Мне нельзя на берег: ревматизм в виске напоминает о себе живою болью. Я с фрегата смотрю, как буруны стеною нападают на берег, хлещут высоко и рассыпаются широкой белой бахромой. Океан как будто лелеет эти островки: он играет с берегами, то ревет, сердится, то ласково обнимает любимцев со всех сторон, жемчужится, кипит у берегов и приносит блестящую раковину, или морского ежа, или красивый, выработанный им коралл, как будто игрушки для детей.

Фаддеев сегодня был на берегу и притащил мне раковин, одна другой хуже, и, между прочим, в одной был живой рак, который таскал за собой претяжелую раковину. «Смех какой!» — сказал он. «Верно, с кем-нибудь неприятность случилась»,— подумал я, зная его характер. Так и есть. «Наши ребята,— продолжал он,— наелись каких-то стручков, словно бобы, и я один съел — ничего, годится, только рот совсем свело, не разожмешь, а у них животы подвело, их с души рвет: теперь стонут». «Как же можно есть неизвестные растения? — заметил я,— ведь здесь много ядовитых». «Еще мы нашли,— продолжал Фаддеев,— какие-то... орехи не орехи, похожи и на яблоки, одни красные, другие зеленые. Мы съели по штуке красной — кисло таково; хотели было зеленое попробовать, да тут ребят-то и схватило, застонали — смех! И с господами смех,— прибавил он, стараясь не смеяться,— в буруны попали; как стали приставать, шлюпку повернуло, всех вал и покрыл, все словно купались... да вон они!» — прибавил он, указывая в окно. В самом деле все мокрые.

16-е марта. Меня все одолевала то зубная боль, то хандра. А что за время! зелено, сине, солнечно, ярко и жарко, с легкой прохладой. Я все ленился ехать на берег; я беспрестанно слышал, как один шел по пояс в воде, другой пробирался по каменьям, третий не мог продраться сквозь лианы. Все это мало давало мне охоты ехать туда. Но сегодня утром, лишь только я вышел на палубу, встретил меня Унковский и звал ехать. «Смотрите, бурунов совсем нет, ветер с берега,— говорил он,— вам не придется по воде идти, ног не замочите, и зубы не заболят». Я взял зонтик, надел соломенную шляпу, и мы отправились на вельботе.

В самом деле, бурунов не было, и мы въехали в ручеек, как на санях. Матросы соскочили в воду и потащили вельбот на себе, так что мы выскочили прямо на песчаный берег. В ручейке были раковины, камешки, кораллы — все, кроме воды.[4] Мы вошли под свод развесистых деревьев, и нас охватил влажный горячий пар. Берег весь зарос сплошной чащей, большею частью красным деревом. Зелень густа, как волосы. Красное дерево и придает эту кудрявую наружность всему острову. У дерева крепкие и масляные ярко-зеленые листья, у одних небольшие, у других более четверти аршина длиной и такие толстые, что годились бы на подошву.

Мы подошли к нашим палаткам, разбитым на самом берегу, под деревьями, и застали Гошкевича среди букашек, бабочек, раков — живых и мертвых, потрошенных и непотрошенных птиц, змей и ящериц. Посидевши минут пять в тени, мы пошли дальше, по берегу, к другой речке, очень живописной. Чаща не позволяла пробираться лесом: лианы сетью опутали деревья, и иногда ни перешагнуть, ни прорвать их не было никакой возможности. Надо было идти по берегу, усыпанному крупными и мелкими каменьями, периодически покрываемыми приливом. Каменья или вонзались в подошву, или расступались под ногами и катились во все стороны. Упасть, правду сказать, было нельзя, но сломать ногу, и пожалуй обе, можно. Так мы шли версты

две, и я отчаялся уже дойти, как вдруг увидели наших людей. Они срубили дерево и очищали его от коры. Что это за чудовищный ствол красного дерева! Только дубы на мысе Доброй Надежды да камфарные деревья в Китае видел я такого объема. Здесь мы, по тенистой и сырой тропинке, дошли до пустого шалаша, отдохнули, переправились по доске через речку, до того быструю, что когда я, переходя по зыбкому мостику, уперся в дно ручья длинной палкой, у меня мгновенно вырвало ее течением из рук и вынесло в море.

Далее мы шли лесом все по речке. Я не мог надивиться этой растительности: нас покрывал совершенно свод зелени от солнца. Деревья, одно другого красивее, выше, гуще и кудрявее, теснились, как колосья, в кучу. Множество птиц, красных, желтых, зеленых, летало в ветвях, мелькало из куста в куст. Что за крики! Вверху раздавался то стон, то щелканье, а одна какая-то горланила так, что хоть уши зажми. Насекомых было не меньше. Я заметил много исполинских бабочек, потом что-то вроде ос, синих, с шерстью и с пятном на голове. Одна такая, накануне, сидя уже на булавке, в ящике у Гошкевича, прокусила насквозь сигару, которую я ей подставил. Бабочки тоже до бесконечности разнообразны; есть с ладонь величиной. Мухи мелкие, простые и те отличаются необыкновенной формой и красками.

Мы вышли на поляну, к шалашам индийцев и к их плантациям. Это те же тагалы, что и в Маниле, частью беглые, частью добровольно удалившиеся с Люсона. Все они говорят по-испански. Их до двухсот человек на острове. Жилища их разбросаны в разных местах. Ну, жилища! Четыре столба, аршина в полтора вышиной, на них настилка из досок, потом с трех сторон стенки из бамбуковых жердей, крытые пальмовыми листьями, четвертая сторона открыта. Там бедная утварь, кругом куры и собаки. Жители выжгли лес на далекое расстояние, для плантаций. Я затерялся между бананами, кукурузой, таро и табаком. Бананы великолепны, пока еще будущие плоды не сформировались и таятся в большой, висящей книзу почке фиолетового цвета. Листья почки, вскрываясь, принимают красный цвет, и потом, падая, обнаруживают целую кисть плодов. Кокосов здесь я не видал. Пальм другого рода я видел много, особенно арека.

Усталый, сел я на пень у шалашей и смотрел на веселую речку: она вся усажена кустами, тростником и разливается широким бассейном. Вода, как хрусталь, прозрачна. Тут наши матросы мыли белье, развешивая его по лианам. Одно огромное дерево было опутано лианами и походило на великана, который простирает руки вверх, как Лаокоон,[5] стараясь освободиться от сетей, но напрасно. Внизу, вокруг ствола и вдоль, огибали его и врастали в дерево толстые растительные веревки; кверху они тонки, как нитки. Капитан пробовал разорвать одну и не мог и насилу разрезал ножом. Птицы так и заливались на разные голоса, но они так прятались в тени, что я видел немногих. «Ночью спокоя не дают, ваше высокоблагородие,— сказал матрос, ночевавший на берегу,— забьются под шалаш и кричат изо всей мочи». Пронесся над нами здешний голубь, с белой головой, зеленоватой спи-

ной, больше нашего. Вороны (я сужу по устройству крыльев), напротив, меньше наших: синие, голубые, но с черными крыльями и с белыми симметрическими пятнами на крыльях, как и наши.

С час отдохнули мы в прохладе и пошли назад. На этот раз путешествие по каменьям показалось мне пыткой: идешь, идешь, думаешь, вот скоро конец, взглянешь вперед, а их целая необозримая площадь. Неумолимый полдень жжет; зонтик и толстая соломенная шляпа мало защищают. Пойдешь в тень, под деревья — ноги путаются в лианах. Буруны стеной, точно войско, шли на берег и разбивались у наших ног. Издали шум от них походил на гром. Мы разбрелись врозь, и я, от скуки, собирал дорогой раковины, оставленные приливом, особенно мелкие, чрезвычайно красивые. Некоторые из них двигались: раки были живы в них. Неся их, чуть зазеваешься, раки выползают и щупальцами цепляются за руки.[6]

19-е. Сегодня положено обедать на берегу. В воздухе невозмутимая тишина и нестерпимый жар. Чем ближе подъезжаешь к берегу, тем сильнее пахнет гнилью от сырых кораллов, разбросанных по берегу и затопляемых приливом. Запах этот, вместе с кораллами, перенесли и на фрегат. Все натащили себе их кучи. Фаддеев приводит меня в отчаяние: он каждый раз приносит мне раковины; улитки околевают и гниют. Хоть вон беги из каюты!

Уже дня три рассказывают, что из болотистой речки, недалеко от наших палаток, появляется ежедневно какое-то животное, аршина два длиной. Вчера оно съело мертвую утку. Утки, куры и бараны — все свезены с фрегата на берег. Одна околела и досталась животному. «Да какое животное?» — спрашивали у матросов. «С змеиным хвостом, на двух ножках»,— говорил один. «И с двумя стрелками во рту»,— сказал другой. «Это дракон, ваше высокоблагородие,— заключил, подумавши, один унтер-офицер.— Дня три мы уж караулим его, да все схватить нельзя: часто, да не надолго выходит. Сегодня удалось только ударить его веслом по спине. Теперь сидит там Михелька Керн, скотник, с ружьем».

Я побежал к речке, сунулся было в двух местах, да чрез лес продраться нельзя: папоротники и толстые стволы красного дерева стояли стеной, а лианы раскинуты, как сети. Матрос указал мне тропинку, и я подошел к речке. В одном месте она образовала бассейн, заваленный пнями, увядшими ветвями и сухими листьями. Сквозь кусты я увидел человека, неподвижно стоявшего с ружьем. «Что ты тут делаешь?» — спросил я. «Жду дракона, ваше высокоблагородие»,— почти не дыша, прошептал он. Близ него валялись две утки, одна с выеденным желудком; кругом ее тучей носились и жужжали мухи, лакомые до падали; другая была еще не тронута; на ней-то Михелька Керн основывал свои надежды. И я стал с ним ждать. Но как ему обещали награду, если он дождется, а мне ничего, то я потерял терпение и выдрался опять на чистое место, к палаткам.

У одной из них собралась толпа наших и кого-то окружила. Я удвоил шаги, смотрю, в кружке стоит Гошкевич и держит что-то в руках.

«Что это у вас?» — спросил я. «А вот смотрите»,— отвечал он и поднес мне к самому носу ящерицу, в аршин длиной. Передние и задние лапы связаны были у ней лианой на спине. Она болезненно мигала и по временам высовывала и мгновенно опять прятала длинный, тонкий язык. «Так вот кто ест уток!» — сказал я. «Нет, как можно: та гораздо больше!» — закричали на меня несколько голосов. «И не такая совсем»,— сказал кто-то из толпы. «С крильями»,— прибавил матрос из малороссиян. Я не стал спорить и ушел в палатку. Там негде было ступить: целый музеум раковин, всех цветов и величин, раков, между которыми были некоторые чудовищных размеров и удивительно ярких красок, как и всё здесь, под этим щедрым солнцем. Тут сидели три индийца на полу. Они, за платок, за старую рубашку, за изношенные башмаки, несли Гошкевичу все, чем богата здешняя природа. Один тащил живую змею, другой — мешок раковин, за которыми, с сеткой на плечах, отправлялся в буруны, третий птицу или жука.

Я бросил кончик закуренной сигары на землю: они с жадностью схватили ее и начали по очереди курить. Я дал им всем по сигаре: с какою радостью и поклонами приняли они подарок! Я потом захотел полежать на доске, вне палатки: они бросились услуживать, отирать доску, подставлять под нее камешки.

Как ни привык глаз смотреть на эти берега, но всякий раз, оглянешь ли кругом всю картину лесистого берега, остановишься ли на одном дереве, кусте, рогатом стволе, невольно трепет охватит душу, и, как ни зачерствей, заплатишь обильную дань удивления этим чудесам природы. Какой избыток жизненных сил! какая дивная работа совершается почти в глазах! какое обилие изящного творчества пролито на каждую улитку, муху, на кривой сучок, одетый в роскошную одежду!

Мы обедали в палатке; запах от кораллов так силен, что почти есть нельзя. Обед весь состоял из рыбы: уха, жареная рыба и гомар чудовищных размеров и блестящих красок; но его оставили к ужину. Шея у него — самого чистого дикого цвета, как будто из шелковой материи, с коричневыми полосами; спина синяя, двуличневая, с блеском; усы в четверть аршина длиной, красноватые.

Рыбы здесь так же разнообразны, блестящи и странны, как все прочее. Гошкевичу принесли их бездну: они нанизаны были на нитке. Каких странностей не было тут? У одной только и есть, что голова, а рот такой, что комар не пролезет; у другой одно брюхо, третья вся состоит из спины, четвертая в каких-то шипах, у иной глаза посреди тела, в равном расстоянии от хвоста и рта; другую примешь с первого взгляда за кожаный портмоне, и так далее. Все они покрыты пестрым узором красок. К десерту подали бананы; некоторые любят их, я не могу есть: они мучнисты, приторны, напоминают немного пряники на сусле.

После обеда все разбрелись: кто купаться к другой речке, кто брать пеленги по берегам, а некоторые остались в палатке уснуть. Я с захождением солнца уехал домой.

Фаддеев встретил меня с раковинами. «Отстанешь ли ты от меня с этой дрянью?» — сказал я, отталкивая ящик с раковинами, который

он, как блюдо с устрицами, поставил передо мной. «Извольте посмотреть, какие есть хорошие»,— говорил он, выбирая из ящика то рогатую, то красную, то синюю с пятнами. «Вот эта, вот эта; а эта какая славная!» И он сунул мне к носу. От нее запахло падалью. «Что это такое?» — «Это я чистил: там улитки были,— сказал он,— да, видно, прокисли». «Вон, вон! неси к Гошкевичу!»

Сегодня все перебираются с берега: работы кончены на фрегате, шкалы подняты и фок-мачту как будто зашнуровали. В лесу нарубили деревьев, все, разумеется, красных, для будущих каких-нибудь починок. С берега забирают баранов, уток, кур; не знаю, заберут ли дракона или он останется на свободе доедать трупы уток.

Третьего дня бросали с фрегата, в устроенный на берегу щит, ядра, бомбы и брандскугели. Завтра, снявшись, хотят повторить то же самое, чтоб видеть действие артиллерийских снарядов в случае встречи с англичанами.

Как ни привыкнешь к морю, а всякий раз, как надо сниматься с якоря, переживаешь минуту скуки: недели, иногда месяцы под парусами — не удовольствие, а необходимое зло.[7] В продолжительном плавании и сны перестают сниться береговые. То снится, что лежишь на окне каюты, на аршин от кипучей бездны, и любуешься узорами пены, а другой бок судна поднялся сажени на три от воды; то видишь в тумане какой-нибудь новый остров, хочется туда, да рифы мешают...[8]

Сегодня два события, следовательно, два развлечения: кит зашел в бухту и играл у берегов, да наши куры, которых свезли на берег, разлетелись, штук сто. Странно: способность летать вдруг в несколько дней развилась в лесу так, что не было возможности поймать их; они летали по деревьям, как лесные птицы. Нет сомнения, что если они одичают, то приобретут все способности для летанья, когда-то, вероятно, утраченные ими в порабощенном состоянии.

Снялись с якоря, вышли попутным ветром, и только отошли мили три, как подул противный. Пошли вбок, потом в другой — лавируем. Третьего дня прошли Батан, вчера утром были в группе северных островов Баши, Байет и других; сегодня другой день штиль; идем узел, два. Слава богу, что облачно, а то бы жар был невыносим. Скоро ли дойдем — бог весть: кто сулит две недели, кто шесть. Утром еще я говорил, ходя по юту с Посьетом: «Скучно, хоть бы случилось что-нибудь, чтоб развлечься немного». Судьба как будто услышала мой ропот и дала нам спектакль, возможный только в тропических морях, даже довольно обыкновенный там, но всегда занимательный. Об этом писали так много раз, что я не хотел ничего упоминать, если б не был таким близким свидетелем, почти участником зрелища.

Мы только что отобедали, я пришел, по обыкновению, в капитанскую каюту выкурить сигару и сел на диван, в ожидании, пока принесут огня. Капитан сидел в кресле; жарко, дверь и окна были открыты. Не просидели мы пяти минут, как наверху, над нашими головами, сделалось какое-то движение, суматоха; люди засуетились и затопали. Капитан поспешил, по своей обязанности, вон из каюты,

но прежде выглянул в окно, чтоб узнать, что такое случилось, да так и остался у окна. Я думал, не оборвалась ли снасть или что-нибудь в этом роде, и не трогался с места; но вдруг слышу, многие голоса кричат на юте: «Ташши, ташши!», а другие: «Нет, стой! не ташши, оборвется!»

Я бросился к окну и вижу, на меня снизу смотрит страшное, тупое рыло чудовища. Аршинах в двух или трех от окна висела над водой пойманная, на толстый, пальца в полтора, крюк, акула. Крюк вонзился ей в верхнюю челюсть: она, от боли, открыла рот настежь. Мне сверху далеко было видно в глубину пасти, усаженной кругом белыми, небольшими, но тонкими и острыми зубами. Вся челюсть походила на пилу. Акула была в добрую сажень величиной. Хвост ее болтался в воде, а все остальное выходило на поверхность. Она тихо покачивалась от движения веревки, оборачиваясь к нам то спиной, то брюхом. Спина у ней темно-синего цвета, с фиолетовым отливом, а брюхо ярко-белое, точно густо окрашенное мелом. Она минут пять висела неподвижно, как будто хотела дать нам случай разглядеть себя хорошенько; только большие черные круглые глаза сильно ворочались, конечно от боли. Около хвоста беспокойно плавали взад и вперед обычные спутники акулы, две желтые, с черными полосами, небольшие рыбы, прозванные «лоцманами». Иногда их плавает с нею по три и по четыре. Вдруг акула зашевелилась, затряслась, далеко разбрасывая хвостом воду вокруг. Она сгибалась в кольцо, билась о корму, опять об воду и снова повисла неподвижно.

Я с жадностью смотрел на это зрелище, за которое бог знает что дали бы в Петербурге. Я был, так сказать, в первом ряду зрителей, и если б действующим лицом было не это тупое, крепко обтянутое непроницаемой кожей рыло, одаренное только способностью глотать, то я мог бы читать малейшее ощущение страдания и отчаяния на сколько-нибудь более органически развитой физиономии.

От тяжести акулы и от усилий ее освободиться железный крюк начал понемногу разгибаться, веревка затрещала. Еще одно усилие со стороны акулы — веревка не выдержала бы, и акула унесла бы в море крюк, часть веревки и растерзанную челюсть. «Держи! держи! ташши скорее!» — раздавалось между тем у нас над головой. «Нет, постой ташшить! — кричали другие,— оборвется; давай конец!» (*Конец* — веревка, которую бросают с судна шлюпкам, когда пристают, и в других подобных случаях.)

Акула пока отдыхала. Внутри ее, в глубине пасти, виднелись кости челюсти, потом бледно-розовое мясо, а далее пустое, темное пространство. Из конца сделали широкую петлю и надели на акулу. «Вот так, вот так! — кричали одобрительно голоса наверху,— под крылья-то подцепи ей!» (Под крыльями матросы разумели плавательные ласты, которые формой и величиной в самом деле походят на крылья.) Только лишь зацепили за крылья, акула была уже поймана. Ее стали тянуть кверху. Тут она собрала все силы и начала изгибаться и хлестать хвостом по воздуху, о корму, о висевшую у кормы шлюпку, обо все, что было

на пути. Я должен был посторониться от окна, потому что конец хвоста попал и в окно.

Но ничто не спасло ее, час ее пробил. «Прочь, прочь!» — кричали на юте, втаскивая туда акулу. Раздался тревожный топот людей, потом паденье тяжелого тела и вслед за тем удары в палубу.

Мы с капитаном бросились к двери, чтоб бежать на ют, но, отворив ее, увидели, что матросы кучей отступили от юта, ожидая, что акула сейчас упадет на шканцы. Как выскочить? Ну, ежели она в эту минуту... Но любопытство преодолело; мы выскочили и взбежали на ют.

Там человек двадцать держали концы веревок, которыми было опутано чудовище. Оно билось о палубу, ползало и махало хвостом; все расступались. А. А. Колокольцев схватил топор и нанес акуле удар ниже пасти — хлынула кровь и залила палубу; образовалась широкая, почти в ладонь, рана. Кто-то еще проворно черкнул ее большим ножом по животу: оттуда вывалились внутренности в виде каких-то грязных тряпок. Акула вдруг присмирела. Тогда барон Шлипенбах взял гандшпуг (это почти в руку толщиной деревянный кол, которым ворочают пушки) и воткнул ей в пасть: гандшпуг ушел туда чуть не весь. Пасть оскалила четыре ряда зубов; нижняя челюсть судорожно шевелилась. Животное перевернули на спину и веревками привязали к гику.

Мы толпой стояли вокруг, матросы теснились тут же, другие взобрались на ванты, все наблюдали, не обнаружит ли акула признаков жизни, но признаков не было. «Нет, уж кончено,— говорили некоторые,— она вся изранена и издохла». Другие, напротив, сомневались и приводили примеры живучести акул, и именно, что они иногда, через три часа после мнимой смерти, судорожно откусывали руки и ноги неосторожным.

Велели смыть с палубы кровь. Явились матросы с водой и швабрами. После того один из нас взял топор и начал рубить у акулы понемногу ласты, другой ножом делал в разных местах надрезы, так, из любознательности, посмотреть, толста ли кожа и что под ней. Пришел наш любитель-натуралист, присел около акулы и начал щупать кожу, рассматривать подробно голову, глаза. Кол из пасти вынули и полили окровавленную морду водой. Многие, кому наскучило смотреть, разошлись. Пора бы убрать ее. Веревки развязали, перевернули акулу опять на живот и хотели нести прочь. Кто-то вздумал еще поскоблить ножом ей спину: вдруг она встрепенулась, хлестнула хвостом направо, налево; все отскочили прочь; один матрос не успел, и ему достались два порядочные туза: один по икрам, другой повыше... Он слетел с ног; все захохотали и снова принялись укрощать зверя.

Но это не так легко было сделать теперь, когда сняли с него веревки и вынули из пасти кол. Истерзанная, исколотая, с висящими внутренностями, акула билась о палубу, извивалась змеей, быстро и сильно описывала хвостом круги и все подвигалась к краю. Никто не решался подступить. Это было последнее благоприятное мгновение, которым она могла воспользоваться. Еще один изгиб, один взмах хвоста посильнее, пока ходили за гандшпугом и топором, она полетела бы за борт и по

крайней мере околела бы в своей стихии. Но она на минуту притихла, а наши снова принялись за кол и топор. «Бей ее по голове,— кричали голоса,— да береги ноги: прочь, прочь!»

Ближе всех около нее вертелся тот матрос, которого она угостила двумя пинками. Он рассердился, или боль еще от пинков не прошла, только он с колом гонялся за акулой, стараясь ударить ее по голове и забывая, что он был босиком и что ноги его чуть не касались пасти. Но взмахи хвоста были так порывисты, что попасть в голову было трудно и удары всё приходились по спине, а это ей, по-видимому, нипочем. Наконец матросу удалось попасть два раза и в голову: акула изменила только направление, но все изгибалась и ползла так же скоро и сильно, как и прежде. Другой ударил топором ниже головы: животное присмирело и поползло медленнее. «Руби голову, руби голову!» — кричали ему. Матрос нанес другой удар: она сильно рванулась вперед; он ударил в третий раз: она рванулась еще, но слабее. «Нет, теперь шабаш!» — сказал он, отделяя четвертым ударом голову от туловища. Но и то не шабаш: туловище еще продолжало неровно и медленно изгибаться, но все слабее и слабее, а голова судорожно шевелила челюстями. В туловище воткнули гандшпуг и унесли. Все разошлись.

Этим спектаклем ознаменовалось наше прощание с тропиками, из которых мы выходили в то время и куда более уже не возвращались.

Вечером, идучи к адмиралу пить чай, я остановился над люком общей каюты посмотреть, с чем это большая сковорода стоит на столе. «Не хотите ли попробовать жареной акулы?» — спросили сидевшие за столом. «Нет».— «Ну, так ухи из нее?» — «Вы шутите,— сказал я,— разве она годится?» — «Отлично!» — отвечали некоторые. Но я после узнал, что те именно и не дотрогивались до «отличного» блюда, которые хвалили его.

Кожа акулы очень ценится столярами для полировки дерева; кроме того, ею обивают разные вещи; в Японии обтягивают сабли. Мне один японец подарил маленький баул, обтянутый кожей акулы; очень красиво, похоже немного на тисненый сафьян. Мне показали потом маленькую рыбку, в четверть аршина величиной, найденную прилипшею к спине акулы и одного цвета со спиной. У нас попросту называли ее «прилипалой». На одной стороне ее был виден оттиск шероховатой кожи акулы.

Вчера, 25 марта, видели китолова: топит печь для выварки жира из пойманного кита. Пламя и дым далеко видны, как на пожаре. Сегодня вышли из тропиков, но все жарко. Зато штиль сменился попутным ветром: летим до одиннадцати узлов. Что еще? да! обезьяна упала за борт и в одно мгновение исчезла в волнах. Их всех три у нас. Сегодня в сумерки летала около фрегата какая-то птица, описывая круги все ближе и ближе. Видно, что она была утомлена и, вероятно, не надеялась добраться домой. Два раза опускалась она в шлюпку и опять улетала. Я ходил с капитаном по юту. Птицы не

стало видно. Вдруг видим, ее несет уже к нам матрос, сжав ей одной рукой шею, другой ноги. Птица оказалась «глупыш», род морской утки, никуда не годной. Ее велели отнести к Гошкевичу; тот отравляет животных мышьяком и потом потрошит. Я восстал, назвав это предательством, то есть относительно глупыша: он искал убежища, а его хотят умертвить! Не следует. Пока его заперли в курятник. Завтра, может быть, выпустят.

29 марта. Мы плаваем, плаваем, и все еще около трехсот миль остается до Гамильтона, маленького корейского острова, с удобным портом, где назначено рандеву шкуне. То дунет попутный ветер, и мы пронесемся миль двести вперед, то настанет штиль, идем по три узла. Теперь вот третий день льет проливной дождь; выйти на *улицу* (так мы называли верхнюю палубу) нельзя. Зато тихо. Я рад, что могу заняться делом. Стало заметно холоднее, как мы подвигаемся к северу, и дождь не южный, не летний. Все достают суконные платья.

Вчера матрос поймал в жилой палубе ядовитейшее из тропических насекомых — centipes, стоножку. Она красновата, длиной вершка полтора, суставчатая; у ней, однако ж, не сто ног, а всего двадцать четыре. Сначала я думал, что это шея рака. Укушение ее, если не принять скорых мер, смертельно. Она страшна людям; большие животные бегут от нее; а ей самой страшен цыпленок; он, завидев стоножку, бежит к ней, начинает клевать и съедает всю, оставляя одни ноги.

У нас, впрочем, есть всего понемножку, и особенно много развелось тараканов; мы, вероятно, их захватили в Маниле или на Камигуине. А теперь вот налетело к нам, в туман и дождь, множество ласточек. Они пробирались к северу; из жарких мест в умеренные. Непогода и ночь захватили их далеко в море, и они стаей долго кружились около фрегата, каждый раз все ближе и ближе, наконец сели, обессиленные, на палубу, в шлюпки, на снастях. Их набрали множество и на другой день большую часть выпустили, накормив тараканами. Было довольно ясно; они кружились весело около фрегата и малопомалу исчезли. Тут же показались и воробьи: этим посыпали на шлюпку крупы; они наелись и улетели.

Но дунул холод, свежий ветер, и стоножки, тараканы — все исчезло. Взяли три рифа, а сегодня, 31-го марта утром, и четвертый. Грот взяли на гитовы и поставили грот-трисель. NO дует с холодом: вдруг из тропиков, через пять дней — чуть не в мороз! Нет и 10° тепла. Стихает — слава богу!

Мы в шестидесяти милях от Нагасаки; и туда дует попутный ветер: но нам не расчет заходить теперь: надо прежде идти на Гамильтон.

4-е апреля. Наконец, 2-го апреля, пришли и на Гамильтон. Шкуна была уж там, а транспорта, который послан в Шанхай, еще нет. Я вышел на ют, когда стали становиться на якорь, и смотрел на берег. Порт, говорят наши моряки, очень удобный, а берегов почти нет. Островишка весь три мили, скалистый, в каменьях, с тощими кое-где кустиками и реденькими группами деревьев. «Это все камелии, — сказал

Корсаков, командир шкуны,— матросы камелиями парятся в бане, устроенной на берегу». Некоторые из наших тотчас поехали на берег. Я видел его издали — не заманчиво, и я не торопился на него. Кое-где над сонными водами маленьких бухт жались в кучу хижины корейцев. Видны были только соломенные крыши, да изредка кое-где бродили жители, все в белом, как в саванах. Наконец нам довелось увидеть и этот последний, принадлежащий к крайне восточному циклу народ.

Корею, в политическом отношении, можно было бы назвать самостоятельным государством; она управляется своим государем, имеет свои постановления, свой язык: но государи ее, достоинством равные степени королей, утверждаются на престоле китайским богдыханом. Этим утверждением только и выражается зависимость Кореи от Китая, да разве еще тем, что из Кореи ездят до двухсот человек ежегодно в Китай поздравить богдыхана с новым годом. Это похоже на зависимость отделенного сына, живущего своим домом, от дома отца.

К сожалению, до сих пор мало сведений о внутреннем состоянии и управлении Кореи, о богатстве и произведениях страны, о нравах и обычаях жителей. Отец Аввакум сказывал мне только, что обычай утверждения корейского короля китайским богдыханом до сих пор соблюдается свято. Посланные из Кореи являются в Пекин с подарками и с просьбой утвердить нового государя. Богдыхан обыкновенно утверждает и, приняв подарки, отдаривает посланных гораздо щедрее. Впрочем, он не впутывается в их дела. Когда однажды корейское правительство донесло китайскому, что оно велело прибывшим к берегам Кореи каким-то европейским судам, кажется английским, удалиться, в подражание тому, как поступило с этими же судами китайское правительство, богдыхан приказал объявить корейцам, что «ему дела до них нет и чтобы они распоряжались, как хотят».

Еще известно, что китайцы и корейцы уговорились оставить некоторое количество земель между обоими государствами незаселенными, чтоб избежать близкого между собою соседства и вместе с тем всяких поводов к неприятным столкновениям и несогласиям обоих народов.

Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни бросилось бежать множество женщин и детей к горам, со всеми признаками боязни. При выходе на берег мужчины толпой старались не подпускать наших к деревне, удерживая за руки и за полы. Но им написали по-китайски, что женщины могут быть покойны, что русские съехали затем только, чтоб посмотреть берег и погулять. Корейцы уже не мешали ходить, но только старались удалить наших от деревни.

Через час наши воротились и привезли с собой двух стариков, по-видимому старшин. За ними вслед приехала корейская лодка, похожая на японскую, только без разрубленной кормы, с другими тремя или четырьмя стариками и множеством простого, босоногого, нечесаного и неопрятного народа. И простой и непростой народ — все были одеты

в белые бумажные, или травяные (grasscloth), широкие халаты, под которыми надеты были другие, заменявшие белье; кроме того, на всех надето было что-то вроде шаровар из тех же материй, как халаты, у высших белые и чистые, а у низших белые, но грязные. На некоторых, впрочем немногих, были светло-желтые или синие халаты.

Сандалии у них похожи на японские, у одних тростниковые или соломенные, у других бумажные. Всего замечательнее головной убор. Волосы они зачесывают, как ликейцы, со всех сторон кверху в один пучок, на который надевают шляпу. Что за шляпа! Тулья у ней так мала, что только и покрывает пучок, зато поля широки, как зонтик. Шляпы делаются из какого-то тростника, сплетенного мелко, как волос, и в самом деле похожи на волосяные, тем более что они черные. Трудно догадаться, зачем им эти шляпы? Они прозрачны, не защищают головы ни от дождя, ни от солнца, ни от пыли. Впрочем, много шляп и других форм и видов: есть и мочальные, и колпаки из морских растений.

Я очень пристально вглядывался в лица наших гостей: как хотите, а это все дети одного семейства, то есть китайцы, японцы, корейцы и ликейцы. Китайское семейство, как старшее и более многочисленное, играет между ними первенствующую роль. Ошибиться в этом сходстве трудно. Тогда как при первом взгляде на малайцев, например, ни за что не причтешь их к одному племени с этими четырьмя народами. Корейцы более похожи на ликейцев, но только те малы, а эти, напротив, очень крупной породы. Они носят бороду; она у них большею частью длинная и жесткая, как будто из конского волоса; у одних она покрывает щеки и всю нижнюю часть лица; у других, напротив, растет на самом подбородке. Многие носят большие очки в медной оправе, с тесемкой вокруг головы. Кажется, они носят их не от близорукости, а от глазной болезни. В толпе я заметил множество страждущих глазами.

В 1786 году появилось в Едо сочинение японца *Ринсифе*, под заглавием: *Главное обозрение трех царств,* ближайших к Японии — *Кореи, Лю-Цю* (Лю-Чу) и *Есо* (Матсмая). Клапрот как-то достал сочинение, обогатил разными прибавлениями из китайских географий и перевел на французский язык.[9] Между прочим, там о корейцах сказано: «Корейцы роста высокого и сложения гораздо крепче японцев и китайцев и других народов. Замечено, что кореец ест вдвое больше японца. Корейцы отличаются лукавством, леностью, упрямством и не любят *усилий*».

Гостей посадили за стол и стали потчевать чаем, хлебом, сухарями и ромом. Потом завязалась с ними живая письменная беседа на китайском языке. Они так проворно писали, что глаза не поспевали следить за кистью.

Прежде всего они спросили, какие мы варвары, северные или южные? А мы им написали, чтоб они привезли нам кур, зелени, рыбы, а у нас взяли бы деньги за это или же ром, полотно и тому подобные предметы. Старик взял эту записку, надулся, как петух, и с ко-

мическою важностью, с амфазом,[10] нараспев, начал декламировать написанное. Это отчасти напоминало мерное пение наших нищих о Лазаре.[11] Потом, прочитав, старик написал по-китайски в ответ, что «*почтенных* кур у них нет». А неправда: наши видели кур.

Прочие между тем ели хлеб и пили чай. Один пальцем полез в масло, другой, откусив кусочек хлеба, совал остаток кому-нибудь из нас в рот. Третий выпил две рюмки голого рома, одну за другою, и не поморщился. Прочие трогали нас за платье, за белье, за сапоги, гладили рукой сукно, которое, по-видимому, очень нравилось им. Особенно обратили они внимание на белизну нашей кожи. Они брали нас за руки и не могли отвести от них глаз, хотя у самих руки были слегка смуглы и даже чисты, то есть у высшего класса. У простого, рабочего народа — другое дело: как везде.

Старику повторили, что мы не даром хотим взять провизию, а вот за такие-то вещи. Он прочитал опять название этих вещей, поглядел на нас немного, потом сказал: «Пудди». Что это значит: нельзя? не хочу? Его попросили написать слово это по-китайски. Он написал: вышло «не знаю». Думали, что он не понял, и показали ему кусок коленкора, ром, сухари: «Пудди, пудди», — твердил он. Обратились к другому, бойкому и рябому корейцу, который с удивительным проворством писал по-китайски. Он прочитал записку и, сосчитав пальцем все слова в записке, которыми означались материя, хлеб, водка, сказал: «Пудди».

Передали записку третьему. «Пудди, пудди»,— твердил тот задумчиво. Отец Аввакум пустился в новые объяснения: старик долго и внимательно слушал, потом вдруг живо замахал рукой, как будто догадался, в чем дело. «Ну, понял наконец»,— обрадовались мы. Старик взял отца Аввакума за рукав и, схватив кисть, опять написал «пудди». «Ну, видно, не хотят дать»,— решили мы и больше к ним уже не приставали.

Вообще они грубее видом и приемами японцев и ликейцев, несмотря на то, что у всех одна цивилизация — китайская. Впрочем, мы в Корее не видали людей высшего класса. Говоря о быте этих народов, упомяну мимоходом, между прочим, о существенной разнице во внутреннем убранстве домов китайских с домами прочих трех народов. Китайцы в домах у себя имеют мебель, столы, кресла, постели, табуреты, скамеечки и проч., тогда как прочие три народа сидят и обедают на полу. Оттого эти, чтоб не запачкать пола, который служит им вместе и столом, при входе в комнаты снимают туфли, а китайцы нет.

Корейцы увидели образ Спасителя в каюте; и когда, на вопрос их, «кто это», успели кое-как отвечать им, они встали с мест своих и начали низко и благоговейно кланяться образу. Между тем набралось на фрегат около ста человек корейцев, так что принуждены были больше не пускать. Долго просидели они и наконец уехали.

Довольно бы и этого. Однако нужно было хоть раз съездить на берег, ступить ногой на корейскую землю. Вчера нас человек шесть,

семь отправились в катере к одной из деревень. У двоих из нас были ружья стрелять птиц, третий взял пару пистолетов. На берегу густая толпа сжалась около нас, стараясь отклонить от деревни. Но мы легко раздвинули их, дав знать, что цель наша была только пройти через деревню в поля, на холмы. Видя, что с нами нечего делать, они предпочли вести нас добровольно, нежели предоставить нам бродить, где вздумается. Мы всё хотели идти внутрь села, а они вели нас по окраинам. Впрочем, у нас у самих тотчас же пропала охота углубляться в улицы, шириною в два шага.

Мы шли между двух заборов, грубо сложенных из неровных камней, без всякого цемента. Из-за заборов видны были только соломенные крыши и больше ничего. Какая разница в этих заборах с постройками этого рода у ликейцев! Там тщательность, терпение, порядок и искусство; здесь лень, небрежность и неуменье. Должно быть, корейцы в самом деле не любят «усилий». Когда мы пытались заглянуть за забор или входили в ворота — какой шум поднимали корейцы! Они даже удерживали нас за полы, а иногда и толкали довольно грубо. Но за это их били по рукам, и они тотчас же смирялись и походили на собак, которые идут сзади прохожих, сгорая желанием укусить, да не смеют.

Они успокоились, когда мы вышли через узенькие переулки в поле и стали подниматься на холмы. Большая часть последовала за нами. Они стали тут очень услужливы, указывали удобные тропинки, рвали нам цветы, показывали хорошие виды.

Мы шли по полям, засеянным пшеницей и ячменем; кое-где, но очень мало, виден был рис да кусты камелий, а то все утесы и камни. Все обнажено и смотрит бедно и печально. Немудрено, что жители не могли дать нам провизии: едва ли у них столько было у самих, чтоб не умереть с голоду. Они мочат и едят морскую капусту, выбрасываемую приливом, также ракушки. Сегодня привезли нам десятка два рыб, четыре бочонка воды, да старик вынул из-за пазухи сверток бумаги с сушеными трепангами (род морских слизняков, с шишками). Ему подарили кусок синей бумажной материи и примочку для сына, у которого болят глаза.

Погуляв по северной стороне островка, где есть две красивые, как два озера, бухты, обсаженные деревьями, мы воротились в село. Охотники наши застрелили дорогой три или четыре птицы. В селе на берегу разостланы были циновки; на них сидели два старика, бывшие уже у нас, и пригласили сесть и нас. Почти все жители села сбежались смотреть на редких гостей.

Они опять подробно осматривали нас, трогали платье, волосы, кожу на руках; с меня сняли ботинки, осмотрели их, потом чулки, зонтик, фуражку. Разговор шел по-китайски, письменно, чрез отца Аввакума и Гошкевича. «Сколько вам лет?» — спрашивали они кого-нибудь из наших. «Лет 30—40»,— отвечали им. «Помилуйте,— заговорили они,— мы думали, вам лет 60 или 70». Это крайне восточный комплимент. «Вам должно быть лет 80, вы мне годитесь в отцы и в деды»,—

сказать так, значит польстить. Они, между прочим, спросили, долго ли мы останемся. «Если долго,— сказали они,— то мы, по закону нашей страны, обязаны угостить вас, от имени правительства, обедом». Совершенно как у японцев; но им отвечали, что чрез два дня мы уйдем и потому угощения их принять не можем.

В толпе я видел одного корейца, с четками в руках: кажется, буддийский бонз. На голове у него мочальная шапка.

5-е апреля. Вчера случилась маленькая неприятность. Трое из наших отправились на берег. Толпа корейцев окружила их и не пускала идти от берега далее. Они грозили им и даже толкали их в ров. Наши воротились на фрегат, но отправились обратно уже в сопровождении вооруженных матросов; надо было прибегнуть к мерам строгости. Сегодня старик приехал рано утром и написал предлинное извинение, говоря, что он огорчен случившимся; жалеет, что мы не можем указать виновных, что их бы наказали весьма строго; просил не сердиться и оправдывался незнанием корейцев о том, что делается «внутри четырех морей», то есть на белом свете. Его и товарищей, бывших с ним, угостили чаем, водкой и сухарями и простились с ними надолго, если не навсегда.

В самом деле им неоткуда знать, что делается «внутри четырех морей». Европейцы почти не посещали Корею. Последний был здесь Бельчер, кажется в 1842 году.[12] Это отважный путешественник и бойкий писатель: он живо описывает свои путешествия. Он два раза обошел вокруг земли и теперь странствует в полярных странах. Путешествия его — ряд приключений, одно занимательнее другого. Чего с ним не было? Никто столько не выдерживал штормов; в ураган он должен был срубить в Гон-Конге мачты; где-то на Борнео его положило на бок, и он, недели в три, без посторонней помощи, встал опять. Это настоящий морской волк. Кроме того, он увлекательно рассказывает свои приключения. Он всюду совался с своим фрегатом; между прочим, заходил и в Корею, описал островок Гамильтон, был на соседнем большом острове Квельпарт, где, говорит он, есть города, крепости и большое народонаселение. Кругом нас по горизонту везде разбросаны острова. Корейский архипелаг неисчислим. Корея еще представляет обширную, почти нетронутую почву для мореходцев, купцов, миссионеров и ученых.

Наконец мы, более или менее, видели четыре нации, составляющие почти весь крайний восток. С одними имели ежедневные и важные сношения, с другими познакомились поверхностно, у третьих были в гостях, на четвертых мимоходом взглянули. Все четыре народа принадлежат к одному семейству, если не по происхождению, как уверяют некоторые, производя, например, японцев от курильцев, то по воспитанию, этому второму рождению, по культуре, потом по нравам, обычаям, отчасти языку, вере, одежде и так далее.

Все эти народы образуют одну общую физиономию, характер, склад ума, словом, общую нравственную жизнь в главных ее чертах, но с бесчисленными оттенками, которыми один народ отличается от другого.

Но что это за физиономия! что за жизнь! Я с большей отрадой смотрел на кафров и негров в Африке, на малайцев по островам Индийского океана, но с глубокой тоской следил в китайских кварталах за общим потоком китайской жизни, наблюдал подробности и попадавшиеся мне ближе личности, слушал рассказы других, бывалых и знающих людей. Кафры, негры, малайцы — нетронутое поле, ожидающее посева; китайцы и их родственники японцы — истощенная, непроходимо-заглохшая нива. Китайцы старшие братья в этой семье; они наделили цивилизациею младших. Вы знаете, что́ такое эта цивилизация, на чем она остановилась, как одряхлела и разошлась с жизнью и парализует до сих пор все силы огромного народонаселения юго-восточной части азиатского материка с японскими островами.

Что может оживить эту истощенную почву? какие новые силы нужно, чтоб вновь дать брожение огромной, перегнившей массе сил? Вспомните, сколько различных элементов столпилось на нашем маленьком европейском материке, когда старые соки перебродились, сколько новых жил открылось и впустило туда свежей и молодой крови? Теперь посмотрите, какая работа кипит ближе к нам, чтоб растолкать уснувший и обессилевший Восток, от Босфора до Аравийского залива. Что это перед здешней массой народонаселения? Однако работа начинается, но трудная и пока неблагодарная. Она началась выбрасыванием старых, сгнивших корней, сорных трав.

Нельзя было Китаю жить долее, как он жил до сих пор. Он не шел, не двигался, а только конвульсивно дышал, пав под бременем своего истощения. Нет единства и целости, нет условий органической государственной жизни, необходимой для движения такого огромного целого. Политическое начало не скрепляет народа в одно нераздельное тело, присутствие религии не согревает тела внутри.

У китайцев нет национальности, патриотизма и религии — трех начал, необходимых для непогрешительного движения государственной машины. Есть китайцы, но нации нет; в их языке нет даже слова *отечество*, как сказывал мне один наш синолог.

Все это странно, хотя не совсем ново, если вспомнить браминскую Индию и языческий Египет: они одряхлели, и надо было занять им сил и жизни у других, как истощенному полю нужно переменить посев. Вы знаете, что сделалось или что делается с Индией; под каким посевом и как трудно возрождается это поле для новых всходов, и Египет тоже. Китай дряхлее их обоих и, следовательно, еще менее подает надежды на возрождение сам собой. Напутствованные на жизнь немногими, скоро оскудевшими при развитии жизненных начал нравственными истинами, китайцы едва достигли отрочества и состарелись. В них успело развиться и закоренеть индивидуальное и семейное начало и не дозрело до жизни общественной и государственной, или если и созрело когда-нибудь, то, может быть, затерялось в безграничном размножении народной массы, делающем невозможною — ни государственную, ни какую другую централизацию.[13]

После семейства китаец предан кругу частных своих занятий. Нигде так не применима русская пословица: «До бога высоко, до царя далеко», как в Китае, нужды нет, что богдыхан собственноручно запахивает каждый год однажды землю, экзаменует ученых и т. п. Китайцы знают, что это шутка и что между правительством и народом лежит бездна. Законов, правда, множество, а исполнителей их еще больше, но и это опять-таки шутка, комедия, сознательно разыгрываемая обеими сторонами. Законы давно умерли, до того разошлись с жизнию, что место их заступила целая система, своего рода тариф оплаты за отступления от законов. Оттого китаец делает, что хочет: если он чиновник, он берет взятки с низших и дает сам их высшим; если он солдат, он берет жалованье и ленится и с поля сражения бегает: он не думает, что он служит, чтобы воевать, а чтоб содержать свое семейство. Купец знает свою лавку, земледелец — поле и тех, кому сбывает свой товар. Все они действуют без соображений о целости и благе государства, оттого у них нет ни корпораций, нет никаких общественных учреждений, оттого у них такая склонность к эмиграции. Провинции мало сообщаются между собою; дорог почти нет, за исключением рек и несколька каналов. Если надо везти товар, купец нанимает людей и кое-как прокладывает себе тропинку. Затем уже китайцы равнодушны ко всему. На лице апатия или мелкие будничные заботы. Да и о чем заботиться? Двигаться вперед не нужно: все готово...

От бога китайцы еще дальше, нежели от царя. Последователи древней китайской религии не смеют молиться небесным духам: это запрещено. Молится за всех богдыхан. А буддисты нанимают молиться бонз и затем уже сами в храмы не заглядывают.

В науке и искусстве отразилась та же мелочность и неподвижность. Ученость спокон века одна и та же; истины написаны раз, выучены и не изменяются никогда. У ученых перемололся язык; они впали в детство и стали посмешищем у простого, живущего без ученых, а только здравым смыслом народа. Художники корпят над пустяками, вырезывают из дерева, из ореховой скорлупы свои сады, беседки, лодки, рисуют, точно иглой, цветы да разноцветные платья, что рисовали пятьсот лет назад. Занять иных образцов неоткуда. Все собственные источники исчерпаны, и жизнь похожа на однообразный, тихо, по капле льющийся каскад, под журчанье которого дремлется, а не живется.[14]

Но я гулял по узкой тропинке между Европой и Китаем и видал, как сходятся две руки: одна, рука слепца, ищет уловить протянутую ей руку зрячего; я гулял между европейскими домами и китайскими хижинами, между кораблями и джонками, между христианскими церквами и кумирнями.

Работа кипит: одни корабли приходят с экземплярами Нового завета, курсами наук на китайском языке, другие с ядами всех родов, от самых грубых до тонких. Я слышал выстрелы; с обеих сторон менялись ядрами. Что будет из всего этого? Что привьется скорее: спасение или яд — неизвестно, но, во всяком случае, реформа начинается. Инсургенты уже идут тучей восстановлять старую, законную династию,[15]

называют себя христианами, очень сомнительными, конечно, какими-то эклектиками; но наконец поняли они, что успех возможен для них не иначе, как под знаменем христианской цивилизации,— и то много значит. Они захватили христианство, и с востока и с запада, от католических монахов, и от протестантов, и от бродяг, пробравшихся чрез азиатский материк.

Японцы народ более тонкий и, пожалуй, более развитой: и немудрено — их вдесятеро меньше, нежели китайцев. Притом они замкнуты на своих островах — и для правительственной власти не особенно трудно стройно управлять государством. Там хитро созданная и глубоко обдуманная система государственной жизни несокрушима без внешнего влияния. И все зависят от этой системы, и самая верховная власть. Она первая падет, если начнет сокрушать систему. Китайцы заразили и их, и корейцев, и ликейцев своею младенчески-старческою цивилизациею и тою же системою отчуждения, от которой сами, живучи на материке, освободились раньше. Японцы надежнее китайцев к возделанию: если падет их система, они быстро очеловечатся, и теперь сколько залогов на успех! Молодые сознают, что все свое перебродилось у них и требует освежения извне.

Японец имеет общее с китайцем то, что он тоже эгоист, но с другой точки зрения: как у того нет сознания о государственном начале, о центральной, высшей власти, так у этого, напротив, оно стоит выше всего; но это только от страха. У него сознание это происходит не из свободного стремления содействовать общему благу и проистекающего от того чувства любви и благодарности к той власти, которая несет на себе заботы об этом благе. Ему просто страшно; он всегда боится чего-нибудь: промаха с своей стороны или клеветы — и боится неминуемого, следующего за тем наказания. Он знает, что правительственная система действует непогрешительно, что за ним следят и смотрят строго и что ему не избежать кары. Китаец немного заботится об этом, потому что эта система там давно подорвана равнодушием к общему благу и эгоизмом: там один не боится другого, подчиненный, как я сказал выше, берет подарки с своего подчиненного, а тот с своего, и все делают что хотят.

Что касается ликейцев, то для них много пятнадцати, двадцати лет, чтоб сбросить свои халаты и переменить бамбуковые палки и веера на ружья и сабли и стать людьми, как все. Их мало; они слабы; оторвись только от Японии, которой они теперь еще боятся,— и все быстро изменится, как изменилось на Сандвичевых островах например.[16]

Вот какие мысли приходили мне в голову, когда, вспоминая читанное и слышанное о Китае, я вглядывался в житье-бытье этих народов! Может быть, синологи, особенно синофилы,[17] возразят многое на это, но я не выдаю сказанного за непременную истину. Мне так казалось...

Завтра снимаемся с якоря и идем на неделю в Нагасаки, а потом, мимо корейского берега, к Сахалину и далее, в наши владения. Теперь рано туда: там еще льды. Здесь даже, на южном корейском берегу,

под 34 градусом широты, так холодно, как у нас в это время в Петербурге, тогда как в этой же широте на западе, на Мадере например, в январе прошлого года было жарко. На то восток.

Я забыл сказать, что 2-го же апреля, в один день с нами, пришел на остров Гамильтон и наш транспорт. Новости из Европы все те же, что мы получили и в Маниле, зато из Шанхая много нового. Я предвидел, что без вмешательства европейцев не обойдется; так и вышло: войска таутая Самква наделали беспорядков. Это куча сволочи без дисциплины; скорее разбойники, нежели войска. В Шанхае стало небезопасно ходить по вечерам: из лагеря приходили в европейский квартал кучами солдаты и нападали на прохожих; между прочим, они напали на одного англичанина, который вечером гулял с женой. Они потащили леди в лагерь; англичанин стал защищать жену и получил одиннадцать ран, между прочим одну довольно опасную. К нему подоспели на помощь другие европейцы и прогнали негодяев. Это подняло на ноги всех англичан, моряков и молодых конторщиков. Они вооружились винтовками, пистолетами, даже взяли одно орудие и отправились к лагерю, бросили в него несколько гранат и многих убили.

Потом все европейские консулы, и американский тоже, дали знать таутаю, чтоб он снял свой лагерь и перенес на другую сторону. Теперь около осажденного города и европейского квартала все чисто. Но европейцы уже не считают себя в безопасности: они ходят не иначе как кучами и вооруженные. Купцы в своих конторах сидят за бюро, а подле лежит заряженный револьвер. Бог знает, чем это все кончится.

Сегодня хотели сняться, да ветер противный. Мы говеем: теперь Страстная неделя.

Снялись на другой день, 7-го апреля, в 3 часа пополудни, а 9-го, во втором часу, бросили якорь на нагасакском рейде. Переход был отличный, тихо, как в реке. Японцы верить не хотели, что мы так скоро пришли; а тут всего 180 миль расстояния.

Оппер-баниос *Ойе-Саброски* захохотал, частью от удовольствия, частью от глупости, опять увидя всех нас. *Кичибе* по-прежнему приседал, кряхтел и заливался истерическим смехом, передавая нам просьбу нагасакского губернатора не подъезжать на шлюпках к батареям. Он также, на вопрос наш, не имеет ли губернатор объявить нам чего-нибудь от своего начальства, сказал, что «из Едо... ответа... nicht erhalten, не получено».

Другой переводчик, *Эйноске*, был в Едо и возился там «с людьми Соединенных Штатов». Мы узнали, что эти «люди» ведут переговоры мирно; что их точно так же провожают в прогулках лодки и не пускают на берег и т. п. Еще узнали, что у них один пароход приткнулся к мели и начал было погружаться на рейде; люди уже бросились на японские лодки, но пробитое отверстие успели заткнуть. Американцы в Едо не были, а только в его заливе, который мелководен, и на судах к столице верст за тридцать подойти нельзя.

Между тем в Маниле, в английской или американской газете, я видел рисунки домов и храмов в Едо, срисованных будто бы офицером с

эскадры Перри, срисованных, забыли прибавить, с картинок Зибольда. Не говорю уже о том, как раскудахтались газеты об успехах американцев в Японии, о торговом трактате. Им открыли три порта — это может быть, даже вероятно, правда: открыли порты для снабжения водой, углем, провизиею; но от этого до настоящей, правильной торговли еще не один шаг. Что, если б мы заголосили о своих успехах в Японии и представили их в квадрате? ведь вышло бы, что уж давно и торгуем там.

Провизию губернатор решил доставлять сам, а не чрез голландцев, и притом без платы; все это затем, чтоб доставка провизии как можно менее походила на торговлю. Японцам страх хотелось поправить первый свой промах; словом, он хотел мерами своими против нас выслужиться у своего начальства. Это был второй губернатор, *Мизно Чикогоно-ками-сама*, который до сих пор действовал как под опекой первого, *Овосавы Бунгоно-ками-сама*. Тот уехал с полномочными в Едо, а этому хотелось показать, что он и один умеет распорядиться. Но ему объявили, что провизию мы желаем получать по-прежнему, то есть с платою, чрез голландцев, а если прямо от японцев, то не иначе, как чтоб и они принимали каждый раз равноценные подарки.

Такой способ перепугал губернатора; потому что походил на меновую торговлю непосредственно с самими японцами. Нечего было делать: его превосходительство прислал сказать, что переводчики перепутали — это обыкновенная их отговорка, когда они попробуют какую-нибудь меру и она не удается, что он согласен на доставку провизии голландцами по-прежнему и просит только принять некоторое количество ее в подарок, за который он готов взять контрпрезент. Он не упомянул ни слова о том, что вчера японские лодки вздумали мешать кататься нашим шлюпкам и стали теснить их. Наши отталкивались, пока могли, наконец Зеленый врезался с своей шлюпкой в средину их лодок так, что у одной отвалился нос, который и был привезен на фрегат.

Ночью в первом часу приехал Ойе-Саброски объясниться по этому случаю.

Нагасаки на этот раз смотрели как-то печально. Зелень на холмах бледная, на деревьях тощая, да и холодно, нужды нет, что апрель, холоднее, нежели в это время бывает даже у нас, на севере. Мы начинаем гулять в легких пальто, а здесь еще зимний воздух, и Кичибе вчера сказал, что теплее будет не раньше как через месяц.

Сегодня 11-е апреля — Пасха; была служба как следует: собрались к обедне со всех трех судов; потом разгавливались. Выписали яиц из Нагасаки, выкрасили и христосовались. На столе появились окорока, ростбифы, куличи — праздник как праздник, точно на берегу!

12-го апреля, кучами возят провизию. Сегодня пригласили Ойе-Саброски и переводчиков обедать, но они, вместо двух часов, приехали в пять. Я не видал их; говорят, ели много. Ойе ел мясо в первый раз в жизни и в первый же раз, видя горчицу, вдруг, прежде нежели могли предупредить его, съел ее целую ложку: у него покраснел лоб и выступили слезы. Губернатору послали четырнадцать аршин сукна,

медный самовар и бочонок солонины, вместо его подарка. Послезавтра хотят сниматься с якоря, идти к берегам Сибири.

14-е. Вчера привезли остальную провизию и прощальные подарки от губернатора: зелень, живность и проч. Японцы пили у адмирала чай. Им показывали, как употребляют самовары, которых подарили им несколько.

Вечером наши матросы плясали и пели. С лодок набралось много простых японцев, гребцов и слуг; они с удивлением, разинув рты, смотрели, как двое, рулевой, с русыми, загнутыми кверху усами и строгим, неулыбающимся лицом, и другой, с черными бакенбардами, пожилой боцман, с гремушками в руках, плясали долго и неистово, как будто работали трудную работу. Один, устав, останавливался, как вкопанный; другой в ту ж минуту начинал припрыгивать, сначала тихо, потом все скорее и скорее, глядя вниз и переставляя ноги, одну вместо другой, потом быстро падал и прыгал вприсядку, изредка вскрикивая; хор пел: прочие все молча и серьезно смотрели. Японцы не отходили. По окончании и они так же молча, без улыбки разошлись, как и самые певцы и плясуны.

15-е. Вчера один японец увидел у меня сигарочницу из манильской соломы; он долго любовался ею. Я предложил ее в подарок ему; он сначала отнекивался, потом, по моему настоянию, взял и положил за пазуху. Мы с Посьетом удивились, как это он решился взять, да еще при других. Но скоро перестали удивляться: воротясь в каюту, мы нашли сигарочницу на диване, на котором сидели японцы. Скучный народ: нельзя ничего спросить — соврут или промолчат. Заболел Кичибе и не приехал. Мы спросили, чем он болен. Сын его сказал, что у него желудок расстроен, другой японец — что голова болит, третий — ноги, а сам он на другой день сказал, что у него болело горло: и в самом деле он кашлял. Первое движение у них, когда их о чем-нибудь спросишь, не сказать, второе — солгать, как у Талейрана,[18] который не советовал следовать первому движению сердца, потому что оно иногда бывает хорошо. Мы спросили раз: какой у них первый по торговле город? «Осаки»,— отвечали они, второй «Ясико» (на западном берегу Нифона), третий «Миако», четвертый... Вдруг они спохватились, что уж и так много сказали, и робко замолчали. Стал я показывать Саброски стереоскоп. «Хочешь видеть японский пейзаж?» — спросил я его чрез переводчика смесью немецкого, английского и голландского языков и показал какой-то, взятый, кажется, из Зибольда вид. «Фирандо, Фирандо!» — с удивлением заметил переводчик *Гейстра*, или иначе *Нарабайоси 1-й*. Фирандо — местечко, где прежде торговали португальцы и испанцы; оно лежит западнее Нагасаки. Ойе, с сердцем, быстро что-то проговорил ему, и тот боязливо замолчал. Всюду, и в мелочах, систематическая ложь и скрытность, основанная на постоянном страхе, чтоб не проложили пути в Японию. Мне все слышится ответ французского епископа, когда говорили в Маниле, что Япония скоро откроется: «À coups canons, monsieur, à coups des canons»,— заметил он.

Сегодня опять японцы взяли контрпрезенты и уехали. Мы в эту минуту снимаемся с якоря. Шкуна идет делать опись ближайшим к Японии островам, потом в Шанхай, а мы к берегам Сибири; но прежде, кажется, хотят зайти к корейским берегам. Транспорт идет с нами. В Едо послано письмо с приглашением полномочным прибыть в Аниву, для дальнейших переговоров.

Я забыл сказать, что губернатор ужасно обрадовался, когда объявили ему, что мы уходим. Он, с радости, прислал в подарок от себя множество картофелю, рыбы, лакированный стол и ящик. Его отдарили столовыми часами. Но всего важнее был ему подарок, когда, уходя, послали сказать, что идем не в Едо. «Скоро ли воротитесь домой?» — спросил меня Ойе. Ему хотелось поймать меня врасплох. «Когда кончатся дела в Японии,— отвечал я.— А вы когда в Едо, к жене?» — «Не знаю, не назначено»,— сказал он. Лжет: верно знает и час, и день, и минуту своего отъезда; но нельзя сказать правды, а почему — вот этого он, может быть, в самом деле не знает. Лганье не приносит японцам никакой пользы, потому что им в возврат лгут еще больше; иначе нельзя. Только лишь мы пришли, они приступили с расспросами: где мы были, откуда теперь, на какие берега выходили и т. п. Им сказали, что были на Лю-Чу да в Батане. И вот они давай искать, где это Батан, и вчера сознались, что не могут найти на карте и просят показать. На генеральных картах этот остров не назван по имени; вся группа называется общим именем Баши. Им показали на морской карте. Они срисовали фигуру острова, затем конечно, чтоб подробно донести в Едо. И так взаимной лжи конца не будет. Видя их подозрительность и старинную ненависть к испанцам, им не сказали, что мы были в Маниле: бог знает, какое заключение вывели бы они о нашем посещении Люсона.

Третьего дня, однако ж, говоря о городах, они, не знаю как, опять проговорились, что Ясико или Ессико, лежащий на западном берегу о. Нифона, один из самых богатых городов в Японии, что находящийся против него островок Садо изобилует неистощимыми минеральными богатствами. Адмирал хочет теперь же, дорогой, заглянуть туда.

16-е. Вот уж другие сутки огибаем острова Гото, с окружающими их каменьями. Делают опись берегам, но течение мешает: относит в сторону. Недаром у китайцев есть поговорка: «Хороши японские товары, да трудно обойти Гото». Особенно для их судов — это задача. Всех островов Гото, кажется, пять.

Штиль, погода прекрасная: ясно и тепло; мы лавируем под берегом. Наши на Гото пеленгуют берега. Вдали видны японские лодки; на берегах никакой растительности. Множество красной икры, точно толченый кирпич, пятнами покрывает в разных местах море. Икра эта сияет по ночам нестерпимым фосфорическим блеском. Вчера свет так был силен, что из-под судна как будто вырывалось пламя; даже на парусах отражалось зарево; сзади кормы стелется широкая огненная улица; кругом темно; невстревоженная вода не светится.

18-е. Прошли остров Чу-Сима. С него в хорошую погоду видно и на корейский и на японский берега. Кое-где плавали рыбацкие лодчонки, больше ничего не видать; нет жизни, все мертво на этих водах. Японцы говорят, что корейцы редко, только случайно, заходят к ним, с товарами или за товарами.

А какое бы раздолье для европейской торговли и мореплавания здесь, при этой близости Японии от Кореи и обеих стран от Шанхая! Корея от Японии отстоит где миль на сто, где дальше, к северу, на сто семьдесят пять, на двести, то есть на сто семьдесят пять, на триста и на триста пятьдесят верст, а от Японии до Шанхая семьсот с небольшим верст. Из Англии в Японию почта может ходить в два месяца, чрез Ост-Индию. Скоро ли же и эти страны свяжутся в одну цепь и будут посылать в Европу письма, товары и т. п.? Что за жизнь кипела бы тут, в этих заливах, которыми изрезаны японские берега на Нипоне и на Чу-Симе, дай только волю морским нациям!

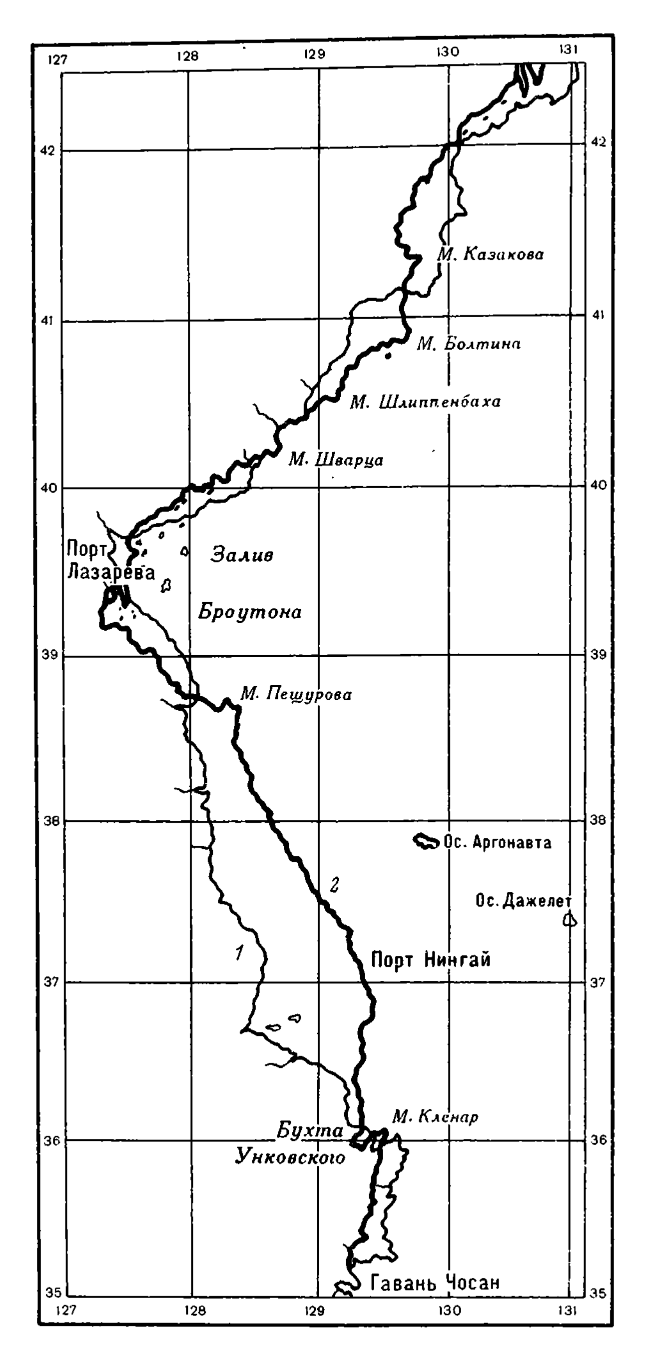
Сегодня, 19-го, штиль вдруг превратился почти в шторм; сначала налетел от NO шквал, потом задул постоянный, свежий, а наконец и крепкий ветер, так что у марселей взяли четыре рифа. Качка сделалась какая-то странная, диагональная, очень неприятная: и привычных к морю немного укачало. Меня все-таки нет, но голова немного заболела, может быть от этого. Вечером и ночью стало тише.

Вчера и сегодня, 20 и 21-го, мы шли верстах в двух от корейского полуострова, в 36° широты. На юте делали опись ему, а смотреть нечего: всё пустынные берега, кое-где покрытые скудной травой и деревьями. Видны изредка деревни: там такие же хижины и так же жмутся в тесную кучу, как на Гамильтоне. Кое-где по берегу бродят жители. На море много лодок, должно быть рыбацкие.

Часов в пять вечера стали на якорь в бухте. Говорят, карты корейского берега — а их всего одна или две — неверны. И в самом деле вдруг перед нами к северу вырос берег, а на карте его нет. Ночью признано неудобным идти далее у неизвестных берегов, и мы остановились до рассвета. Ветер был попутный к северу; погода теплая и солнечная. Один из наших катеров приставал к берегу: жители забегали, засуетились, как на Гамильтоне, и сделали такой же прием, то есть собрались толпой на берег, с дубьем, чтоб не пускать, и расступились, когда увидели у некоторых из наших ружья. Они написали на бумаге по-китайски: «Что за люди? какого государства, города, селения? куда идут?» На катере никто не знал по-китайски и написали им по-русски имя фрегата, год, месяц и число. Жители знаками спрашивали, не за водой ли мы пришли. Отвечали, что нет. Так и разошлись.

25-е. Корейский берег, да и только. Опись продолжается, мы уж в 39° широты; могли бы быть дальше, но ветра́ двое суток были противные и качали нас по-пустому на одном месте. Берега скрывались в тумане. Вчера вдруг показались опять.

Про Корею пишут, что, от сильных холодов зимой и от сильных жаров летом, она бесплодна и бедна. Кажется, так, по крайней мере



Карта восточного берега полуострова Кореи (*1* — Берег, снятый с атласа Крузенштерна, *2* — Берег, описанный офицерами фрегата «Паллада» в 1854 г.).

берега подтверждают это как нельзя больше. Берег с 37° пошел гористый; вдали видны громады пиков, один другого выше, с такими сморщенными лбами, что смотреть грустно. По вершинам кое-где белеет снег или песок; ближайший к морю берег низмен, песчан, пуст; зелень — скудная трава; местами кусты; кое-где лепятся деревеньки; у берегов уныло скользят изредка лодки: верно, добывают дневное пропитание, ловят рыбу, трепангов, моллюсков.

Сегодня вдруг одна из лодок направилась к нам. На ней сидело человек семь корейцев, все в своих грязно-белых халатах, надетых на такие же куртки или камзолы. На всех были того же цвета шаровары на вате; один в шляпе. Издали мы заслышали их крики. Им дали знать, чтоб они вошли на палубу; но когда они вошли, то мы и не рады были посещению. Объясниться с ними было нельзя: они не умели ни говорить, ни писать по-китайски, да к тому же еще все пьяны. Матросы кучей окружили их и делали разные замечания, глядя на их халаты и собранные в пучок волосы. «Хуже литвы!» — слышу я, говорит один матрос. «Чего литвы: хуже черкес! — возразил другой,— этакая, подумаешь, нация!» Им дали сухарей, и они уехали. Один из них, уходя, обнял и поцеловал О. А. Гошкевича, который пробовал было объясниться с ними по-китайски. Мы засмеялись, а бедный Осип Антонович не знал, как стереть следы непрошенной нежности.[19]

У нас идет деятельная поверка карты Броутона,[20] путешествовавшего в конце прошлого столетия, вместе с Ванкувером,[21] только на другом судне. Ванкувер описывал западные берега Америки, Броутон ходил у азиатского материка. Он разбился у островов Меджико-Сима, близ Ликейских островов, спасся и был хорошо принят жителями. Карта его неверна: беспрестанно надо поправлять, так что фигура Кореи должна значительно измениться против обыкновенно показываемой до сих пор на картах. Искали все глубокой, показанной у Броутона бухты, но под той широтой, под которой она у него назначена, не нашли. Зато вчера, севернее против карты, открылся большой залив. Входя в него, не подозревали, до какой степени он велик. Он весь уставлен островками. По мере того как мы двигались, открывались все новые, меньшие заливы; глубина везде прекрасная. Войдя в средину залива, в шхеры, мы бросили якорь. Моря уже не видать: оно со всех сторон заперто берегами; от волнения безопасно, а бассейн огромный. Здесь поместятся целые военные и купеческие флоты. Со всех сторон глядят на нас мысы, там и сям видны маленькие побочные заливы, скалы и кое-где брошенные в одиночку голые камни. Все это немного похоже на Нагасаки, только берега не так зелены и не так унылы, как кажутся издали. Зелень, кажущаяся мили за две, за три скудным мохом, оказалась вблизи деревьями и кустами. Много зеленых посевов, кое-где деревеньки, то на скатах гор, то у отмелей, близ самых берегов.

Сегодня, часу в пятом после обеда, мы впятером поехали на берег, взяли с собой самовар, невод и ружья. Наконец мы ступили на берег, на котором, вероятно, никогда не была нога европейца. Миссионерам сюда забираться было незачем; далеко и пусто. Броутон говорит или

о другой бухте, или, если и заглянул сюда, то на берег, по-видимому, не выходил, иначе бы он определил его верно.

Шлюпка наша остановилась у подошвы высоких холмов, на песчаной отмели. Тут, на шестах, раскинуты были сети для рыбы; текла речка аршина в два шириною. Весь берег усеян раковинами. Кроме сосны около деревень росли разные деревья, которых я до сих пор нигде еще не видал. У одного зелень была не зеленая, а пепельного цвета, у другого слишком зеленая, как у молодого лимонного дерева, потом были какие-то совсем голые деревья, с иссохшим серым стволом, с иссохшими сучьями, как у проклятой смоковницы,[22] но на этом сером стволе и сучьях росли другие, посторонние кусты, самой свежей весенней зелени. Красиво, но и странно: неестественность, натяжка, точно нарумяненная и разряженная старуха!

К сожалению, с нами не было никого из наших любителей-натуралистов, и некого было спросить об этих деревьях. Мы шли по вязкому песку прилива к хижинам, которые видели под деревьями. Жители между тем собирались вдали толпой; четверо из них, и, между прочим, один старик, с длинным посохом, сели рядом на траве и, кажется, готовились к церемониальной встрече, к речам, приветствиям или чему-нибудь подобному. Все младенцы человечества любят напыщенность, декорации и ходули. Но мы, бегло взглянув на них и кивнув им головой, равнодушно прошли дальше по берегу, к деревне. Какими варварами и невежами сочли они нас! Они забыли всякую важность и бросились вслед за нами с криком и, по-видимому, с бранью, показывая знаками, чтоб мы не ходили к деревням; но мы и не хотели идти туда, а дошли только до горы, которая заграждала нам путь по берегу.

Мы видели, однако ж, что хижины были обмазаны глиной, не то, что в Гамильтоне; видно, зима не шутит здесь; а теперь пока было жарко так, что мы сняли сюртуки и шли в жилетах, но все нестерпимо, хотя солнце клонилось уже к западу. Корейцы шли за нами. Рослый, здоровый народ, атлеты, с грубыми, смугло-красными лицами и руками: без всякой изнеженности в манерах, без изысканности и вкрадчивости, как японцы, без робости, как ликейцы, и без смышлености, как китайцы. Славные солдаты вышли бы из них: а они заражены китайской ученостью и пишут стихи! Отец Аввакум написал им на бумажке по-китайски, что мы, русские, вышли на берег погулять и трогать у них ничего не будем. Один из них прочитал и сам написал вопрос: «Русские люди, за каким делом пришли вы в наши края, по воле ветров, на парусах? и все ли у вас здорово и благополучно? Мы люди низшие, второстепенные, видим, что вы особые, высшие люди». И все это в стихах.

Я ушел с бароном Криднером вперед и не знаю, что им отвечали. Корейцы окружили нас тотчас, лишь только мы остановились. Они тоже, как жители Гамильтона, рассматривали с большим любопытством наше платье, трогали за руки, за голову, за ноги и живо бормотали между собою.

Между тем наши закинули невод и поймали одну камбалу, одну морскую звезду и один трепанг. Вдруг подул сильный норд-вест и по-

веял таким холодом и так быстро сменил зной, что я едва успел надеть сюртук. Горы покрылись разорванными клочьями облаков, вода закипела, волны глухо зашумели.

Около нас во множестве летали по взморью огромные утки, красноносые кулики, чайки, голуби и много мелкой дичи. То там, то сям раздавались выстрелы, и к вечеру за ужином явилось лишнее и славное блюдо. Я подумывал, однако ж, как бы воротиться поскорее на фрегат: приготовлений к чаю никаких еще не было, а солнце уж закатывалось. У нас не было ничего, кроме сюртуков, а холод настал такой, что впору одеться в мех. По лугу паслись лошади, ростом с жеребят, между тем это не жеребята, а взрослые. Мы видели следы рогатого скота, колеи телег: видно, что корейцы домовитые люди.

Я пошел берегом к баркасу, который ушел за мыс, почти к морю, так что пришлось идти версты три. Вскоре ко мне присоединились барон Шлипенбах и Гошкевич, у которого в сумке шевелилось что-то живое: уж он успел набрать всякой всячины; в руках он нес пучок цветов и травы.[23]

Наконец завидели баркас и пришли, когда он подымал уже верп и готовился отвалить. Мы были по крайней мере верстах в трех от фрегата. Луна взошла, но туман был так силен, что фрегат то пропадал из глаз, то вдруг появлялся; не раз мы его совсем теряли из виду и тогда правили по звездам, но и те закрывались. Мы плыли в облаке, которое неслось с неимоверной быстротою, закрывая горы, берега, воду, наконец, небо и луну. Сырость ужасная: фуражки и сюртуки были мокрые. На берегу мелькнул яркий огонь: упрямые товарищи наши остались пить чай.

Полтора часа тащились мы домой. С каким удовольствием уселись потом около чайного стола в каюте! Тут Гошкевичу торжественно принесли змею, такую большую, какой, за исключением удавов, мы не видали: аршина два длины и толстая. Она шевелилась в жестяном ящике; ее хотели пересадить оттуда в большую стеклянную банку со спиртом; она долго упрямилась, но когда выгнали, то и сами не рады были: она вдруг заскользила по полу, и ее поймали с трудом. Матрос нашел ее в кусте, на котором сидели еще аист и сорока. Зачем они собрались — неизвестно; может быть, разыгрывали какую-нибудь не написанную Крыловым басню.

28-е. Сегодня туман не позволил делать промеров и осматривать берега. Зато корейцев целая толпа у нас. Мне видно из своей каюты, какие лица сделали они, когда у нас заиграла музыка. Один, услышав фортепиано[24] в каюте, растянулся, от удивления, на полу.

С 1-го мая. *Японское море и берег Кореи.*

Наши съезжали всякий день для измерения глубины залива, а не то так поохотиться; поднимались по рекам внутрь, верст на двадцать, искали города. Я не участвовал в этих прогулках: путешествие — это книга; в ней останавливаешься на тех страницах, которые больше нравятся, а другие пробегаешь только для общей связи. «Как, новые, неисследованные места: да это находка! скоро совсем не будет таких

мест»,— скажут мне. И слава богу, что не будет. Скучно с этими детьми. Притом корейцы не совсем новость для нас. Я выше сказал, что они моральную сторону заняли у китайцев; не знаю, кто дал им вещественную. Увидишь одну, две деревни, одну, две толпы — увидишь и все: те же тесные кучи хижин, с вспаханными полями вокруг, те же белые широкие халаты на всех, широкие скулы, носы, похожие на трефовый туз, и клочок как будто конских волос вместо бороды, да разинутые рты и тупые взгляды; пишут стихами, читают нараспев. На чем же тут долго останавливаться?

Если б еще можно было свободно проникнуть в города, посмотреть других жителей, их быт, а то не пускают. В природе нет никаких ярких особенностей: местность интересна настолько или *потолику*, сказал бы ученый путешественник, *поколику* она нова, как всякая новая местность.

Одну особенность заметил я у корейцев: на расспросы о положении их страны, городов они отвечают правду, охотно рассказывают, что они делают, чем занимаются. Они назвали залив, где мы стояли, по имени, также и все его берега, мысы, острова, деревни, сказали даже, что здесь родина их нынешнего короля; еще объявили, что южнее от них, на день езды, есть место, мимо которого мы уже прошли, большое и торговое, куда свозятся товары в государстве. «Какие же товары?» — спросили их. Хлеб, то есть пшеница, рис, потом металлы: железо, золото, серебро, и много разных других продуктов.

Даже на наши вопросы, можно ли привезти к ним товары на обмен, они отвечали утвердительно. Сказали ли бы все это японцы, ликейцы, китайцы? — ни за что. Видно, корейцы еще не научены опытом, не жили внешнею жизнью и не успели выработать себе политики. Да лучше, если б и не выработали: скорее и легче переступили бы неизбежный шаг к сближению с европейцами и к перевоспитанию себя.

Впрочем, мы видели только поселян и земледельцев; высшие классы и правительство, конечно, имеют понятие о государственных сношениях, следовательно, и о политике: они сносятся же с китайцами, с японцами и с ликейцами. Образ европейских сношений и жизни, конечно, им известен. Здесь сказали нам жители, что о русских и о стране их они никогда не слыхивали. Мы не обиделись: они не слыхивали и об англичанах, и о французах тоже. Да спросите у нас, в степи где-нибудь, любого мужика, много ли он знает об англичанах, испанцах или итальянцах? не мешает ли он их под общим именем немцев, как корейцы мешают все народы, кроме китайцев и японцев, под именем «варваров»? Впрочем, корейцы должны иметь понятие о нас, то есть не здешние поселяне, а правительство их. Корейцы бывают в Пекине: наши отец Аввакум и Гошкевич видали их там и даже, кажется, по просьбе их, что-то выписывали для них из России.

Здесь же нам сказали, что в корейской столице есть что-то вроде японского подворья, на котором живет до трехсот человек японцев; они торгуют своими товарами. А японцы каковы? На вопрос наш, торгуют ли они с корейцами, отвечали, что торгуют случайно, когда будто бы тех занесет бурей к их берегам.

Корейцы называют себя, или страну свою, *Чао-Син* или *Чау-Син*, а название Корея принадлежит одной из их старинных династий.

Мне кажется, всего бы удобнее завязывать сношения с ними теперь, когда они еще не закоренели в недоверчивости к европейцам и не заперлись от них и когда правительство не приняло сильных мер против иностранцев и их торговли. А народ очень склонен к мене. Как они бросились на стеклянную посуду, на медные пуговицы, на фарфор — на все, что видели! На наши суконные сюртуки у них так и разбегались глаза; они гладили сукно, трогали сапоги. За пустую бутылку охотно отдавали свои огромные тростниковые шляпы. Все у нас наменяли этих шляп. Вон Фаддеев и мне выменял одну, как я ни упрашивал его не делать этого, и повесил в каюте. «У всех господ есть, у вашего высокоблагородия только нет»,— упрямо отвечал он и повесил шляпу на гвоздь. Она заняла целую стену. Наменяли тоже множество трубок медных, с чубуками из тростника. Больше им нечего менять. Требовали от них провизии, но они, подумав, опять попотчевали своим *пудди* и привезли только трех петухов, но ни быков, ни баранов, ни свиней.

Третьего дня наши ездили в речку и видели там какого-то начальника, который приехал верхом, с музыкантами. Его потчевали чаем, хотели подарить сукна, но он, поблагодарив, отказался, сказав, что не смеет принять без разрешения высшего начальства, что у них законы строги и по этим законам не должно брать подарков.[25]

Толпа сменяла другую с утра до вечера, пока мы стояли на якоре. Как еще дети натуры, с примесью значительной дозы дикости, они не могли не взглянуть и враждебно на новых пришельцев, что и случилось. Третьего дня вечером корейцы собрались толпой на скале, около которой один из наших измерял глубину, и стали кидать каменья в шлюпку. По ним выстрелили холостым зарядом, но они, по-видимому, мало имеют понятия об огнестрельном оружии. Утром вчера послали в ближайшую к этой скале деревню бумагу, с требованием объяснения. Они вечером прислали ответ, в котором просили извинения, сказали, что кидали каменья мальчишки, «у которых нет смысла». Это неправда: мальчишки эти были вершков четырнадцати ростом, с бородой, с волосами, собранными в густой пучок на маковке, а мальчишки у них ходят, как наши девчонки, с косой и пробором среди головы.

Только лишь прочли этот ответ, как вдруг воротилась партия наших из поездки в реку, верст за десять. Все они были очень взволнованы: им грозила большая опасность. На одном берегу собралось множество народа; некоторые просили знаками наших пристать, показывая какую-то бумагу, и когда они пристали, то корейцы бумаги не дали, а привели одного мужчину, положили его на землю и начали бить какой-то палкой в виде лопатки. После этого положили точно так же и того, который бил лопаткою, и стали бить и его. Наши нашли эту комедию очень глупой и пошли прочь; тогда один из битых бросился за ними, схватил одного из матросов и потащил в толпу. Там его стали было тащить в разные стороны, но матросы бросились и отбили.

Корейцы стали нападать и на этих, но они с такою силою, ловкостью и яростью схватили несколько человек и такую задали им потасовку, что прочие отступили. Когда наши стали садиться в катер, корейцы начали бросать каменья и свинчатки и некоторых ушибли до крови; тогда в них выстрелили дробью, которая назначалась для дичи, и, кажется, одного ранили. Этим несколько остановили нападение, но корейцы продолжали бросать каменья, пока наши успели отвалить.

На другой день рано утром отправлен был баркас и катера, с вооруженными людьми, к тому месту, где это случилось. Из деревни все выбрались вон, с женами и с имуществом; остались только старики. Их-то и надо было. От них потребовали объяснения о случившемся. Старики, с поклонами, объяснили, что несколько негодяев смутили толпу и что они, старшие, не могли унять и просили, чтобы на них не взыскали, «отцы за детей не отвечают» и т. п. Они прибавили еще, что виновные ранены, и один даже будто бы смертельно — и уже тем наказаны. Делать с ними нечего, но положено отдать в первом месте, где мы остановимся, для отсылки в их столицу, бумагу о случившемся.

Сегодня, часу во втором пополудни, мы снялись с якоря и вот теперь покачиваемся легонько в море. Ночь лунная, но холодная, хоть бы и в России впору.

Я забыл сказать, что большой залив, который мы только что покинули, описав его подробно, назвали, в честь покойного адмирала Лазарева, его именем.

5 мая. *Японское море; корейский берег.* Мы только что сегодня вступили в 41° широты, и то двинул нас внезапно подувший попутный ветер. Идем все подле берега; опись продолжается. Корея кончается в 43 градуса. Там начинается маньчжурский берег. Сегодня, с кочующих по морю лодок, опять набралась на фрегат куча корейцев. Я не выходил; ко мне в каюту заглянули две-три косматые головы и смугложелтые лица. Крику, шуму! Когда у нас все четыреста человек матросов в действии, наверху такого шуму нет. Один украл у Посьета серебряную ложку и спрятал в свои широкие панталоны. Ложку отняли, а вора за чуб вывели из каюты.

После обеда я смотрел на берега, мимо которых мы шли: крутые, обрывистые скалы, все из базальта, громадами теснятся одна над другой. Обрывисто, круто. Горе плавателям, которые разобьются тут: спасения нет. Если и достигнешь берега, влезть на него все равно что на гладкую, отвесную стену. Нигде не видать ни жилья, ни леса. Бледная зелень кое-где покрывает крутые ребра гор. Берег вдруг заворотил к W, и мы держим вслед за изгибами. Скоро должна быть пограничная с Маньчжуриею река Тамань, или Тюймэн, или Тай-мень, что-то такое.

Часа два назад, около полуночи, капитан вдруг позвал меня на ют послушать, как *дышит кит.* «Я, кроме скрипа снастей, ничего не слышу»,— сказал я, послушавши немного. «Погодите, погодите... слышите?» — сказал он. «Право, нет; это манильские травяные снасти с музыкой...» Но в это время вдруг под самой кормой раздалось густое, тяжелое и продолжительное дыхание, как будто рядом с нами шел

паровоз. «Что, слышите?» — сказал капитан. «Да; только неужели это кит?..» Вдруг опять вздох, еще сильнее, раздался внизу, прямо под нашими ногами. «Что это такое, не знаешь ли ты?» — спросил я моего фаворита, сигнальщика Федорова, который стоял тут же. «Это не кит,— отвечал он,— это все водяные: их тут много!..» — прибавил он, с пренебрежением махнул рукой на бездну и, повернувшись к ней спиной, сам вздохнул немного легче кита.[26]

9-е мая. Наконец отыскали и пограничную реку *Тайманьга*; мы остановились миль за шесть от нее. Наши вчера целый день ездили промерять и описывать ее. Говорят, что это широкая, версты в две с половиной, река, с удобным фарватером. Вы, конечно, с жадностью прочтете со временем подробное и специальное описание всего корейского берега и реки, которое, вот в эту минуту, за стеной, делает сосед мой Пещуров, сильно участвующий в описи этих мест. Я передаю вам только самое общее и поверхностное понятие, не поверенное циркулем и линейкой.

Не без удовольствия простимся мы не сегодня, так завтра с Кореей. Уж наши видели пограничную стражу на противоположном от Кореи берегу реки. Тут начинается Маньчжурия, и берег с этих мест исследован Лаперузом.

Кто знает что-нибудь о Корее? Только одни китайцы занимаются отчасти ею, то есть берут с нее годичную дань, да еще японцы ведут небольшую торговлю с нею; а между тем посмотрите, что отец Иакинф рассказывает[27] во 2-й части статистического описания Маньчжурии, Монголии и проч. об этой земле, занимающей 8° по меридиану.

Корейское государство, или *Чао-Сян*, формировалось в эпоху троян, первобытных греков. Здесь разыгрывались свои Илиады, были Аяксы, Гекторы, Ахиллесы. За Гомером дела никогда не станет.[28] Я уже сказал, какие охотники корейцы сочинять стихи. Даже одна корейская королева, покорив соседнюю область, сама сочинила оду на это событие и послала ко двору китайского богдыхана, который, пишет отец Иакинф, был этим *очень доволен*. Только имена здешних Агамемнонов и Гекторов никак не пришлись бы в наши стихи, а впрочем, попробуйте: Вэй-мань, Цицзы, Вэй-ю-цюй и т. д. Город, вроде Илиона,[29] называли Пьхин-сян.

Но это все темные времена корейской истории; она проясняется немного с третьего века по Р<ождеству> Х<ристову>. Первобытные жители в ней были одних племен с маньчжурами, которых сибиряки называют тунгусами. К ним присоединились китайские выходцы. После Р<ождества> Х<ристова> один из тунгус, *Гао*, основал царство *Гао-Ли*.

Отец Иакинф говорит, что европейцы это имя как-то ухитрились переделать в *Корею*. Это правдоподобно. До сих пор жители многих островов Восточного океана, в том числе японцы, канаки (на Сандвичевых островах) и ликейцы, букву *л* заменяют буквой *р*. Одни называют японскую и китайскую милю *ли*, другие — *ри*; одни Ликейские острова зовут *Лиу-Киу*, другие — *Риу-Киу*, третьи, наконец, *Ру-Ку*;

Гонолюлю многие зовут и пишут *Гоноруру.* Отчего ж не переделать Гао-Ли в Ко-Ри? И в переделке этой виноваты не европейцы, а сами же корейцы. Когда я при них произнес *Корея*, они толпой повторили *Кори, Кори!* и тут же, чрез отца Аввакума объяснили, что это имя их древнего королевского дома. Поэтому вся переделка европейцев состоит в том, что они из *Ко-Ри* сделали *Корея.* Да много ли тут оставалось сделать?

По основании царства Гао-Ли судьба, в виде китайцев, японцев, монголов, пошла играть им, то есть покорять, разорять, низвергать старые и утверждать новые династии. Корейские короли, не имея довольно силы бороться с судьбой, предпочли добровольно подчиниться китайской державе. Китайцы то сделают Корею своею областью, то посовестятся и восстановят опять ее самостоятельность. А когда на Китай, в V веке, хлынули монголы, корейцы покорились и им. Иногда же они вдруг обидятся и вздумают отделиться от Китая, но не надолго: китайцы или покорят их, или они сами же опять попросят взять себя в опеку.

За эту покорность и признание старшинства Китая китайцы наградили данников своими познаниями, отчасти языком, так что корейцы пишут, чуть что поважнее и поученее, китайским, а что попроще — своим языком. Я видел их книги: письмена не такие кудрявые и сложные, как у китайцев. Далее китайцы наградили их изделиями своих мануфактур и искусством писать стихи. Иногда случалось даже так, что китайцы покровительствовали корейцам и в то же время не мешали брать с них дань монголам и тунгусам. Наконец, в исходе XIV века, вступил на престол дом *Ли*, который царствует и теперь, платя дань или посылая подарки маньчжурской, царствующей в Китае династии.

Корея разделяется на восемь областей, или *дорог,* по сказанию отца Иакинфа. Пощажу ваш слух от названий; если полюбопытствуете, загляните сами в книгу знаменитого синолога. Читая эти страницы, испещренные названиями какого-то птичьего языка, исполненные этнографических, географических, филологических данных о крае, известном нам только по имени, благоговею перед всесокрушающею любознательностью и громадным терпением ученого отца и робко краду у него вышеприведенные отрывочные сведения о Корее — все для вас. Может быть, вы удовольствуетесь этим и не пойдете сами в лабиринт этих имен: когда вам? того гляди, пропадет впечатление от вчерашней оперы.[30]

18 мая мы вошли в Татарский пролив. Нас сутки хорошо нес попутный ветер, потом задержали штили, потом подули противные N и NO ветра, нанося с матсмайского берега холод, дождь и туман. Какой скачок от тропиков! Не знаем, куда спрятаться от холода. Придет ночь — мученье раздеваться и ложиться, а вставать еще хуже.[31]

По временам мы видим берег, вдоль которого идем к северу, потом опять туман скроет его. По ночам иногда слышится визг: кто говорит — сивучата пищат, кто — тюлени. Похоже на последнее, если только тюлени могут пищать, похоже потому, что днем иногда они целыми

стадами играют у фрегата, выставляя свои головы, гоняясь точно взапуски между собою. Во всяком случае, это *водяные*, как и сигнальщик Федоров полагает.

Вчера, 17-го, какая встреча: обедаем; говорят, шкуна какая-то видна. Велено поднять флаг и выпалить из пушки. Она подняла наш флаг. Браво! Шкуна «Восток» идет к нам, с вестями из Европы, с письмами... Все ожило. Через час мы читали газеты, знали все, что случилось в Европе по март. Пошли толки, рассуждения, ожидания. Нашим судам велено идти к русским берегам. Что-то будет? Скорей бы добраться: всего двести пятьдесят миль осталось до места, где предположено ждать дальнейших приказаний.

Холодно, скучно, как осенью, когда у нас, на севере, все сжимается, когда и человек уходит в себя, надолго отказываясь от восприимчивости внешних впечатлений, и делается грустен поневоле. Но это перед зимой, а тут и весной то же самое. Нет ничего, что бы предвещало в природе возобновление жизни, со всею ее прелестью. Всем бы хотелось на берег, между прочим и потому, что провизия на исходе. На столе чаще стала появляться солонина и овощи. Из животного царства осталось на фрегате два-три барана, которые не могут стоять на ногах, две-три свиньи, которые не хотят стоять на ногах, пять-шесть кур, одна утка и один кот. Пора, пора...

20-го числа. «Что нового?» — спросил я Фаддеева, который пришел будить меня. «Сейчас на якорь будем становиться,— сказал он,— канат велено доставать». В самом деле, я услышал приятный, для утомленного путешественника, звук: грохотанье доставаемого из трюма якорного каната.

Вы не совсем доверяйте, когда услышите от моряка слово *канат*. Канат — это цепь, на которую можно привязать полдюжины слонов — не сорвутся. Он держит якорь в сто пятьдесят пуд. Вот когда скажут «пеньковый канат», так это в самом деле канат.

Утро чудесное, море синее, как в тропиках, прозрачное; тепло, хотя не так, как в тропиках, но, однако ж, так, что в байковом пальто сносно ходить по палубе. Мы шли все в виду берега. В полдень оставалось миль десять до места; все вышли, и я тоже, наверх, смотреть, как будем входить в какую-то бухту, наше временное пристанище. Главное только усмотреть вход, а в бухте ошибиться нельзя: промеры показаны.

«Вот за этим мысом должен быть вход,— говорит дед,— надо только обогнуть его.— Право! куда лево кладешь?» — прибавил он, обращаясь к рулевому. Минут через десять кто-то пришел снизу. «Где вход?» — спросил вновь пришедший. «Да вот мыс...» — хотел показать дед — глядь, а мыса нет. «Что за чудо! Где ж он? сию минуту был»,— говорил он. «Марсофалы отдать!» — закричал вахтенный. Порыв ветра нагнал холод, дождь, туман, фрегат сильно накренило — и берегов как не бывало: все закрылось белой мглой; во ста саженях не стало видно ничего, даже шкуны, которая все время качалась, то с одного, то с другого бока у нас. Ну, поскорей отлавировываться от берега! Надея-

лись, что шквал пройдет, и мы войдем. Нет: ветер установился, и туман тоже, да такой, что закутал верхние паруса.

Вечер так и прошел; мы были, вместо десяти, уже в шестнадцати милях от берега. «Ну, завтра, чем свет, войдем»,— говорили мы, ложась спать. «Что нового?» — спросил я опять, проснувшись утром, Фаддеева. «Васька жаворонка съел»,— сказал он. «Что ты, где ж он взял?» — «Поймал на сетках».— «Ну что ж не отняли?» — «Ушел в ростры, не могли отыскать».— «Жаль! Ну, а еще что?» — «Еще — ничего». — «Как ничего: а на якорь становиться?» — «Куда те становиться: ишь какая погода! со шканцев на бак не видать».

Мы проскитались опять целый день, лавируя по проливу и удерживая позицию. Ветер дул свирепо, волна не слишком большая, но острая, производила неприятную качку, неожиданно толкая в бока. На другой день к вечеру я вышел наверх; смотрю; все толпятся на юте. «Что такое?» — спрашиваю. «Входим»,— говорят. В самом деле, мы входили в широкие ворота гладкого бассейна, обставленного крутыми, точно обрубленными берегами, поросшими непроницаемым для взгляда мелким лесом — сосен, берез, пихты, лиственницы. Нас охватил крепкий смоляной запах. Мы прошли большой залив и увидели две другие бухты, направо и налево, длинными языками вдающиеся в берега, а большой залив шел сам по себе еще мили на две дальше. Вода не шелохнется, воздух покоен, а в море, за мысами, свирепствует ветер. В маленькой бухте, куда мы шли, стояло уже опередившее нас наше судно «Кн. Меншиков», почти у самого берега. На берегу успели разбить палатки. Около них толпится человек десять людей, с судов же; бегают собаки. Мы стали на якорь.

Что это за край: где мы? сам не знаю, да и никто не знает: кто тут бывал и кто пойдет в эту дичь и глушь?

Кто тут живет? что за народ? Народов много, а не живет никто.

Здешние народы, с которыми успели поговорить, не знаю, на каком языке, наши матросы, умеющие объясняться по-своему со всеми народами мира, называют себя *орочаны, мангу, кекель*. Что это — племена или фамильные названия? И этого не знаю. Наши большую часть из них называют общим именем тунгусов. Они не живут тут, а бродят с места на место, приходят к морю ловить рыбу. За ними же скоро, говорят, придут медведи, за этим же. Мы пока делаем то же: рыбы пропасть, камбала, бычки, форели, род налимов. Скоро пойдет периодическая рыба, из породы красных, сельди и т. п. У нас теперь рыба и рыба на столе. Вместо лошадей на берегу бродят десятка три тощих собак: но тут же с берегов выглядывает из чащи леса полная невозможность ездить ни на собаках, ни на лошадях, ни даже ходить пешком. Я пробовал и вяз в болоте, спотыкался о пни и сучья.

Какой же это берег? что за бухта? — спросите вы. Да все тянется глухой, маньчжурский, следовательно, принадлежащий китайцам берег.

Июнь. Нет, берег, видно, нездоров мне. Пройдусь по лесу, чувствую утомление, тяжесть; вчера заснул в лесу, на разостланном брезенте, и схватил лихорадку. Отвык совсем от берега. На фрегате, в море

лучше. Мне хорошо в моей маленькой каюте: я привык к своему уголку, где повернуться трудно; можно только лечь на постели, сесть на стул, а затем сделать шаг к двери — и все тут. Привык видеть бизань-мачту, кучу снастей, а через борт море.

Хожу по лесу, да лес такой бестолковый, не то, что тропический: там или вовсе не продерешься сквозь чащу, а если продерешься, то не налюбуешься красотой деревьев, их группировкой, разнообразием; а здесь можно продраться везде, но деревья стоят так однообразно, прямо, как свечки: пихта, лиственница, ель; ель, лиственница, пихта, изредка береза; куда ни взглянешь, везде этот частокол; взгляд теряется в печальной бесконечности леса. Здесь все деревья мешают друг другу расти, и ни одно не выигрывает на счет другого. В тропиках если одно дерево убивает жизнь вокруг, зато разрастется само так широко, великолепно!

Мы успели войти кое в какие сношения с бродячими мангунами, ороча, или, по-сибирски, тунгусами. К нам часто ездит тунгус Афонька, с товарищем своим, Иваном — так их называли наши. Он подряжен бить лосей, или *сохатых* по-сибирски, и доставлять нам мясо. Он уже убил трех: всего двадцать пять пуд мяса. Оно показалось мне вкуснее говяжьего. Он бьет и медведей. Недавно провожал одного из наших по лесу на охоту. «Чего ты хочешь за труды, Афонька? — спросил тот его,— денег?» — «Нет»,— был ответ. «Ну, коленкору, холста?» — «Нет»— «Чего же?» — «Бутылочку».

А чем он сражается со зверями? Я заметил, что все те, которые отправляются на рыбную ловлю с блестящими стальными удочками, с щегольским красного дерева поплавком и тому подобными затеями, а на охоту с выписанными из Англии и Франции ружьями, почти всегда приходят домой с пустыми руками. Афонька бьет лосей и медведей из ружья с кремнем, которое сделал чуть ли не сам или, может быть, выменял в старину у китобоев и которое беспрестанно распадается, так что его чинят наши слесаря всякий раз, как он возвратится с охоты. На днях дали ему хорошее двуствольное ружье, с пистоном. Он пошел в лес и скоро воротился. «Что ж ты?» — спрашивают. «Возьмите,— говорит,— ружье: не умею из него стрелять». Он обещал мне принести медвежьих шкур — «за бутылочку».

Про семейства гиляков рассказывают, что они живут здесь зимой при 36° мороза, под кустами валежнику, даже матери с грудными детьми, а захотят погреться, так разводят костры, благо лесу много. Едят рыбу *горбушу* и черемшу (род чесноку).

Но их мало, жизни нет, и пустота везде. Мимо фрегата редко и робко скользят в байдарках полудикие туземцы. Только Афонька, доходивший, в своих охотничьих подвигах, через леса и реки, и до китайских, и до наших границ и говорящий понемногу на всех языках, больше смесью всех, между прочим и наречиями диких, не робея, идет к нам, и всегда норовит прийти к тому времени, когда команде раздают вино. Кто-нибудь поднесет и ему: он выпьет и не благодарит выпивши, не скажет ни слова, оборотится и уйдет.

Гиляки. Гравюра.

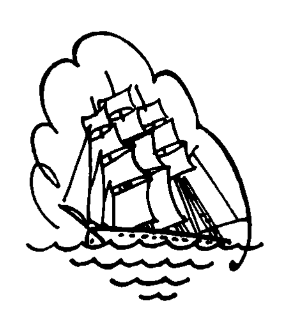
Я пробрался как-то сквозь чащу и увидел двух человек, сидевших верхом на обоих концах толстого бревна, которое понадобилось для какой-то починки на наших судах. Один, высокого роста, красивый, с покойным, бесстрастным лицом: это из наших. Другой, невысокий, смуглый, с волосами, похожими, и цветом и густотой, на медвежью шерсть, почти с плоским лицом и с выражением на нем стоического равнодушия: это — из туземцев. Наш пригласил его, вероятно, вместе заняться делом. Русский делал вырубку на бревне, а туземец сидел на другом конце, чтоб оно не шевелилось, и курил трубку. Щепки и осколки, как дождь, летели ему в лицо и в голову: он мигал мерно и ровно, не торопясь, всякий раз, когда горсть щепок попадала в глаза, и не думал отворотить головы, также не заботился вынимать осколков, которые попадали в медвежью шерсть и там оставались. Русский рубил сильно и глубоко вонзал топор в дерево. При всяком ударе у него отзывалось что-то в груди. Он кончил и передал топор туземцу, а тот передал ему трубку. Русский закурил и сел верхом на конец, а туземец стал рубить. Щепки и осколки полетели в глаза казаку; он в свою очередь, стал мигать.

Что за плавание в этих печальных местах! что за климат! Лета почти нет: утром ни холодно, ни тепло, а вечером положительно холодно. Туманы скрывают от глаз чуть не собственный нос. Вчера палили из пушек, били в барабан, чтоб навести наши шлюпки с офицерами на место, где стоит фрегат. Ветра́ большею частию свежие, холодные, тишины почти не бывает, а половина июля!

Но путешествие идет к концу: чувствую потребность от дальнего плавания полечиться — берегом. Еще несколько времени, неделя, дру-

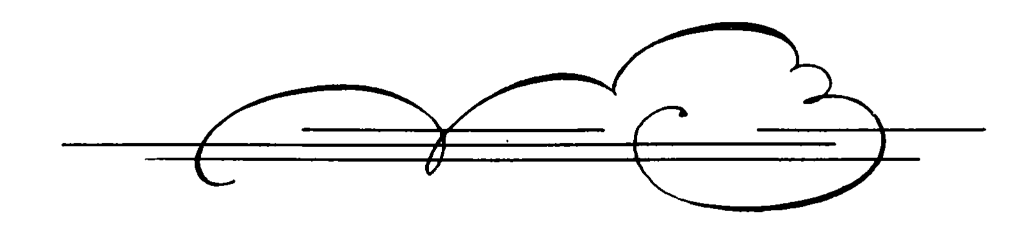
гая — и я ступлю на отечественный берег. Dahin! dahin! *[32] Но с вами увижусь нескоро: мне лежит путь через Сибирь, путь широкий, безопасный, удобный, но долгий, долгий! И притом Сибирь гостеприимна, Сибирь замечательна: можно ли проехать ее на курьерских, зажмуря глаза и уши? Предвижу, что мне придется писать вам не один раз и оттуда.

Странно, однако ж, устроен человек: хочется на берег, а жаль покидать и фрегат! Но если б вы знали, что это за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так не удивились бы, что я скрепя сердце покидаю «Палладу»!



---

* Туда, туда! (*нем.*),— *Ред.*



VII

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

Плавание по Охотскому морю.— Китолов.— Петровское зимовье.— Аянские утесы и рейд.— Сборы в путь.— Верховая езда.— Восхождение на Джукджур.— Горы и болота. — Нелькан и река Мая. — Якуты и русские поселенцы. — Опять верхом. — Леса и болота.— Юрты.— Телеги.

Август, 1854 года.

Шкуна «Восток», с своим, как стрелы, тонким и стройным рангоутом, покачивалась, стоя на якоре, между крутыми, но зелеными берегами Амура, а мы гуляли по прибрежному песку, чертили на нем прутиком фигуры, лениво посматривали на шкуну и праздно ждали, когда скажут нам трогаться в путь, сделать последний шаг огромного пройденного пути: остается всего каких-нибудь пятьсот верст до Аяна, первого пристанища на берегах Сибири.

Наконец, 12 августа, толпа путешественников, и во главе их — генерал-губернатор Восточной Сибири, высыпали на берег. Всех гостей было более десяти человек, да слуг около того, да принадлежащих к шкуне офицеров и матросов более тридцати человек. А багажа сколько!

Если все, что грузится в судно, выложить на свободное место, то неосторожный человек непременно подержит пари, что это не войдет туда,— и проиграет.

Так когда и мы все перебрались на шкуну, рассовали кое-куда багаж, когда разошлись по углам, особенно улеглись ночью спать, то хоть бы и еще взять народу и вещей. Это та же история, что с чемоданом: не верится, чтоб вошло все приготовленное количество вещей, а потом окажется, что можно как-нибудь сунуть и то, втиснуть другое, третье.

При этом, конечно, обыкновенный, принятый на просторе порядок нарушается и водворяется другой, не обыкновенный. В капитанской

каюте, например, могло поместиться свободно — как привыкли помещаться порядочные люди — всего трое, если же потесниться, то пятеро. А нас за стол садилось в этой каюте одиннадцать человек, да в другой, офицерской, шестеро. Не одни вещи эластичны!

Для стола приносилась, откуда-то с бака, длинная и широкая доска: одним концом ее клали на диван, а другим на какую-то подставку — это и был стол. Там, где на диване могли сесть трое, садилось пятеро, плотно прижавшись друг к другу. Одна рука употреблялась для угощения себя, а другая оставалась позади праздною. Остальные шестеро помещались с другой стороны доски, да еще кто-нибудь скромно стоял в дверях. Прислуге оставалось только просовывать в дверь кончик носа и руку с блюдом. Спали на столах, на стульях, на лавках.

Едва исследованное и еще не «положенное на карту» устье Амура усеяно множеством мелей. Если б эти мели были постоянны, то их изучили бы сразу; но они наносные, образуются течением реки и потому изменяются почти каждый год. Прибыль и убыль в этих водах также не подвергнута пока контролю мореплавателей, и оттого мы частенько становились на мель в виду какого-нибудь мыса или скалы. Благо, что еще не застало нас волнение в лимане, но и то однажды порядочно поколотило о песок, так что импровизованный стол наш и мы сами, сидя за ужином, подскакивали, вопросительно озираясь друг на друга. Однажды шкуна, стоя на песке, так обмелела, что принуждены были подпереть ей бока, чтоб она не расположилась лечь на один из них.

Но, слава богу, однако ж, мы выбрались из лимана и, благополучно проскользнув между материком Азии и островом Сахалином, вышли в Охотское море и бросили якорь у песчаной косы, перед маленьким нашим поселением, *Петровским зимовьем.*

В 1849 году в первый раз военный транспорт «Байкал» решил не решенную Лаперузом задачу.[1] Он послал шлюпки, которые из Охотского моря прошли в Амурский лиман, и таким образом оказалось, что Сахалин не соединен с материком, как прежде думали.

До тех пор об этом знали только гиляки, орочане, мангу и другие бродячие племена приамурского края, но никакой важности этому не приписывали и потому молчали. Да и теперь не мало удивляются они, что от них всячески стараются допытаться, где устье глубже, где мельче.

Наш рейс по проливу, на шкуне «Восток», между Азией и Сахалином, был всего третий со времени открытия пролива. Эта же шкуна уже ходила из Амура в Аян и теперь шла во второй раз. По этому случаю, лишь только мы миновали пролив, торжественно, не в урочный час, была положена доска, заменявшая стол, на свое место; в каюту, вместо одиннадцати, пришло семнадцать человек, учредили завтрак и выпили несколько бокалов шампанского.

Мне так хотелось перестать поскорее путешествовать, что я не съехал с нашими, в качестве путешественника, на берег в Петровском зи-

мовье и нетерпеливо ждал, когда они воротятся, чтоб перебежать Охотское море, ступить наконец на берег твердой ногой и быть дома.

Но задул жестокий ветер, сообщения с берегом не было, и наши пробыли на берегу целые сутки. Наконец тронулись далее. Дорогой, для развлечения, нам хотелось принять участие в войне и поймать французское или английское судно. Однажды завидели довольно большое судно и велели править на него. Между тем зарядили наши шесть пушечек, приготовили абордажное оружие и, вооруженные отвагой, с сложенными назад руками, стали смотреть на чужое судно, стараясь угадать по оснастке, чье оно. Флага не было. Барон Криднер счел нужным и сам вооружиться. Он появился на палубе с двумя заряженными пистолетами, опустив их, по рассеянности, дулом в карман. Он, по рассеянности же, не заметил, как я вынул их оттуда и отдал Афанасью, его камердинеру, положить на свое место. Между тем судно подняло американский флаг; но мы не поверили, потому что слышали, как англичане в это время отличались под чужими флагами в разных морях. Мы вызвали шкипера, с бумагами. Он явился, выпил рюмку вина и объявил, что он китолов. Этого сорта суда находят в Охотском море огромную поживу и в иное время заходят туда в числе двухсот и более.

Разочарованные насчет победы над неприятелем,* мы продолжали плыть по курсу в Аян. Погода была серенькая, но теплая, волнение небольшое, какое именно нам было нужно. Обеды Н. Н. Муравьева прекрасные, общество избранное и веселое, вино, до которого, впрочем, мне никакого дела нет, отличное, сигары — из первых рук — манильские, и состояние духа у всех приятное.

Любезная шкуна старалась, сколько могла, удовлетворить нашему нетерпению. Она усердно жгла некупленный, добытый руками ее матросов на Сахалине уголь да еще обвесилась парусами и бежала верст по четырнадцати в час. И горизонт уж не казался нам дальним и безбрежным, как бывало на различных океанах, хотя дугообразная поверхность земли и здесь закрывала даль и, кроме воды и неба, ничего не было видно. Но нам мерещились поля и домы родины, мы вдыхали в себя сырой морской воздух, воображая, что дышим ее воздухом. Наконец на четвертый день мы заметили на горизонте не поля, не домы, а какую-то серую, неприступную, грозную стену. Это была куча громадных утесов.

По мере нашего приближения они всё казались страшнее, отвеснее и неприступнее. Жилья и признаков нет; да и какое тут может быть жилье? кажется, на этих утесах и чайкам страшно сидеть. Пустота, голь и вышина, от которой дух занимается, да свист ветра — вот характер этого места. Здесь бы в старину хорошо поставить разбойничий замок, если б было кого грабить, а теперь разве поставить батареи.

---

* В это самое время, именно 16 августа, совершилось между тем, как узнали мы в свое время, геройское, изумительное отражение многочисленного неприятеля горстью русских по ту сторону моря, в Камчатке. [2]

Порт Аян. Литография П. Смирнова. 1857 г. ЦВММ. Ленинград.

«Вон нора, должно быть бобра!»— заметил кто-то, указывая на круглую, правильную лазейку в скале, прорытую почти вровень с водой.

Вглядыванье в общий вид нового берега или всякой новой местности, освоение глаз с нею, изучение подробностей — это привилегия путешественника, награда его трудов и такое наслаждение, перед которым бледнеет наслаждение, испытываемое перед картиной самого великого мастера. Посмотрите на толпу путешественников, когда они медленно подбираются к новому месту: на горизонте видна еще синяя линия берега, а они все наверху: равнодушных, отсталых, ленивых, сонных нет. Они стоят не шевелясь, как окаменелые, молчат, как немые, и если кто сделает вопрос, то робко, шепотом, и почти никогда не получит ответа. На лицах сначала напряженное внимание, в глазах вопросы, потом целая страница мыслей, живых впечатлений, удовлетворенного или неудовлетворенного любопытства. Я, под шумок, незаметно от товарищей своих, наслаждался, по праву путешественника, и картиной нового берега и поверял свои впечатления по лицам спутников. «Где же Аян?» — спрашивают наконец нетерпеливые, отвращая взгляды от безжизненных утесов, которые недолго изучить.

Как берег ни красив, как ни любопытен, но тогда только глаза путешественника загорятся огнем живой радости, когда они завидят жизнь на берегу. Шкуна между тем, убавив паров, подвигалась прямо на утесы. Вот два из них вдруг посторонились, и нам открылись сначала два купеческие судна на рейде, потом длинное деревянное строение на берегу, с красной кровлей.

Кровля пуще всего говорит сердцу путешественника, и притом красная: это целая поэма, содержание которой — отдых, семья, очаг — все домашние блага. Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскивал глазами Итаки? [3] «Это пакгауз», [4] — прозаически заметил кто-то, указывая на дразнившую нас кровлю, как будто подслушав заветные мечты странников.

Ущелье все раздвигалось, и наконец нам представилась довольно узкая ложбина между двух рядов высоких гор, усеянных березняком и соснами. Беспорядочно расставленные, с десяток более нежели скромных домиков, стоящих друг к другу, как известная изба на курьих ножках,— по очереди появлялись из-за зелени; скромно за ними возникал зеленый купол церкви с золотым крестом. На песке у самого берега поставлена батарея, направо от нее верфь, еще младенец, с остовом нового судна, дальше целый лагерь палаток, две-три юрты, и между ними кочки болот. Вот и весь Аян.

Это ни город, ни село, ни посад, а фактория американской компании.[5] Она возникла лет десять назад, для замены Охотского порта, который неудобен ни с морской, ни с сухопутной стороны. С моря он гораздо открытее Аяна, а с сухого пути дорога от него к Якутску представляет множество неудобств, между прочим так называемые *Семь хребтов,* отраслей Станового хребта, через которые очень трудно пробираться. Трудами преосвященного Иннокентия, архиепископа Камчатского и Курильского, и бывшего губернатора камчатского, г. Завойки, отыскан нынешний путь к Охотскому морю и положено основание Аянского порта.

Этот порт открыт только с S, и ветер с этой стороны разводит крупное волнение. Американская компания имеет здесь склады иностранных товаров, привозимых ее судами, и снабжает иностранные суда разными потребностями: деревом, якорями, морскими картами, сухарями, холстом и т. п.

Если здесь разовьется торговля и примет когда-нибудь большие размеры, то, вероятно, устроится и брекватер, или мола, для защиты рейда от S ветров. Теперь же пока это скромный, маленький уголок России, в десяти тысячах пятистах верстах от Петербурга, с двумястами жителей, состоящих, кроме командира порта и некоторых служащих при конторе лиц с семействами, из нижних чинов, командированных сюда на службу казаков и, наконец, якутов. Чиновники компании помещаются в домах, казаки в палатках, а якуты в юртах. Казаки исправляют здесь военную службу, а якуты статскую. Первые содержат караул и смотрят за благочинием; одного из них называют даже полицеймейстером; а вторые занимаются перевозкой пассажиров и клади, летом на лошадях, а зимой на собаках. Якуты все оседлые и христиане, все одеты чисто и, сообразно климату, хорошо. И мужчины и женщины носят фризовые капоты, а зимой — олений или нерпичий мех, вывороченный наизнанку. От русских у них есть всегда работа, следовательно, они сыты, и притом, я видел, с ними обращаются ласково.

«Отдай якорь!» — раздалось для нас в последний раз, и сердце замерло и от радости, что ступаешь на твердую землю, чтоб уже с нею не расставаться, и от сожаления, что прощаешься с морем, чтоб к нему не возвращаться более.

Конец благополучну бегу,
Спускайте, други, паруса! —

воскликнул бы я, от избытка радости, если б в самом деле это был конец бегу. Но десять тысяч верст остается до той красной кровли, где будешь иметь право сказать: я дома!.. Какая огромная Итака и каково нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп! Десять тысяч верст: чего-чего на них нет! Тут целые океаны снегов, болот, сухих пучин и стремнин, свои сорокаградусные тропики, вечная зелень сосен, дикари всех родов, звери, начиная от черных и белых медведей до клопов и блох включительно, снежные ураганы, вместо качки — тряска, вместо морской скуки — сухопутная, все климаты и все времена года, как и в кругосветном плавании...

Проберешься ли цело и невредимо среди всех этих искушений? Оттого мы задумчиво и нерешительно смотрели на берег и не торопились покидать гостеприимную шкуну. Бог знает, долго ли бы мы просидели на ней в виду красивых утесов, если б нам не были сказаны следующие слова: «Господа! завтра шкуна отправляется в Камчатку, и потому сегодня извольте перебраться с нее», а куда — не сказано. Разумелось, на берег.

Но в Аяне, по молодости лет его, не завелось гостиницы, и потому путешественники, походив по берегу, купив что надобно, возвращаются обыкновенно спать на корабль. Я посмотрел в недоумении на барона Криднера, он на Афанасья, Афанасий на Тимофея, потом поглядели на князя Оболенского, тот на Тихменева, а этот на кучера Ивана Григорьева, которого князь Оболенский привез с собою на фрегате «Диана», кругом Америки.

Люди наши, заслышав приказ, вытащили весь багаж на палубу и стояли в ожидании, что делать. Между вещами я заметил зонтик, купленный мной в Англии и валявшийся где-то в углу каюты. «Это зачем ты взял?» — спросил я Тимофея. «Жаль оставить»,— сказал он. «Брось за борт,— велел я,— куда всякую дрянь везти?» Но он уцепился и сказал, что ни за что не бросит, что эта вещь хорошая и что он охотно повезет ее через всю Сибирь. Так и сделал.

Нам подали шлюпки, и мы, с людьми и вещами, свезены были на прибрежный песок и там оставлены, как совершенные Робинзоны.[6] Что толку, что Сибирь не остров, что там есть города и цивилизация? да до них две, три или пять тысяч верст! Мы поглядывали то на шкуну, то на строения и не знали, куда преклонить голову. Между тем к нам подошел какой-то штаб-офицер, спросил имена, сказал свое и пригласил нас к себе ужинать, а завтра обедать. Это был начальник порта.

Барон Криднер ожил; облако исчезло с лица его. «Il y a une providence pour les voyageurs! * — воскликнул он,— много я на своем веку получал приглашений на обед или ужин, но всегда порознь и вот здесь, на пустом берегу, среди дикарей — приглашение на обед и ужин разом!»

Но обед и ужин не обеспечивали нам крова на приближавшийся вечер и ночь. Мы пошли заглядывать в строения: в одном лавка с товарами, но запертая. Здесь еще пока такой порядок торговли, что покупатель отыщет купца, тот отопрет лавку, отмеряет или отрежет товар и потом запрет лавку опять. В другом здании кто-то помещается: есть и постель, и домашние принадлежности, даже тараканы, но нет печей. Третий, четвертый домы битком набиты или обитателями местечка, или опередившими нас товарищами.

Но, однако ж, кончилось все-таки тем, что вот я живу, у кого — еще и сам не знаю; на досках постлана мне постель, вещи мои расположены как следует, необходимое платье развешено, и я сижу за столом и пишу письма в Москву, к вам, на Волгу.

— Décidement il y a une providence pour les voyageurs! ** — скажу вместе с бароном Криднером. Места поочистились, некоторые из чиновников генерал-губернатора отправились вперед, и один из них, самый любезный и приятный из чиновников и людей, М. С. Волконский, быстро водворил меня, и еще одного товарища, в свою комнату. Правда, тут же рядом, через перегородку, стоял покойник, и я с вечера слышал чтение псалмов, но это обстоятельство не помешало мне самому спать, как мертвому.

Через три дня предстояло отправляться далее, а мы жили буквально спустя рукава. Нас всех, Улиссов, разделили на три партии, чтоб не встретилось по дороге затруднения в лошадях. Одна партия уже уехала, другая выезжала через день. Оставались мы трое: князь Оболенский, Тихменев и я, да с нами четверо людей. У князя кучер Иван Григорьев, рассудительный и словоохотливый человек, теперь уже с печатью кругосветного путешествия на челе, да Ванюшка, молодой малый, без всякого значения на лице, охотник вскакнуть на лошадь и промчаться куда-нибудь без цели, да за углом, особенно на сеновале, покурить трубку; с Тихменевым Витул, матрос с фрегата, и со мной Тимофей, повар.

Только по отъезде третьей партии, то есть на четвертый день, стали мы поговаривать, как нам ехать, что взять с собой и прочее. А выехать надо было на шестой день, когда воротятся лошади и отдохнут. Зимой едут отсюда на собаках, в так называемых *нартах*, длинных низеньких санках, лежа, по одному человеку в каждых. Летом надо ехать верхом верст двести, багаж тоже едет верхом, вьюками. Далее, по рекам Мае и Алдану, спускаются в лодках верст шестьсот, потом

---

* «Провидение хранит путешественников!» (*франц.*),— *Ред.*

** Решительно провидение хранит путешественников! (*франц.*),— *Ред.*

сто восемьдесят верст опять верхом, по болотам, наконец, остальные верст двести пятьдесят, до Якутска, на телегах.

Еще в тропиках, когда мелькало в уме предположение о возможности возвратиться домой через Сибирь, бывшие в Сибири спутники говорили, что в Аяне надо бросить все вещи и взять только самое необходимое; а здесь теперь говорят, что бросать ничего не надобно, что можно увязать на вьючных лошадей все, что ни захочешь, даже книги.

Сказали еще, что если я не хочу ехать верхом (а я не хочу), то можно ехать в *качке* (сокращенное *качалке*), которую повезут две лошади, одна спереди, другая сзади. «Это-де очень удобно: там можно читать, спать». Чего же лучше? Я обрадовался и просил устроить качку. Мы с казаком, который взялся делать ее, сходили в пакгауз, купили кожи, ситцу, и казак принялся за работу.

«Помилуйте! — начали потом пугать меня за обедом у начальника порта, где собиралось человек пятнадцать за столом,— в качках возят старух или дам». Не знаю, какое различие полагал собеседник между дамой и старухой. «А старика можно?» — спросил я. «Можно»,— говорят. «Ну, так я поеду в качке».

«Сохрани вас боже! — закричал один бывалый человек,— жизнь проклянете! Я десять раз ездил по этой дороге и знаю этот путь, как свои пять пальцев. И полверсты не проедете, бросите. Вообразите, грязь, брод; передняя лошадь ушла по пояс в воду, а задняя еще не сошла с пригорка, или наоборот. Не то так передняя вскакивает на мост, а задняя задерживает: вы-то в каком положении в это время? Между тем придется ехать по ущельям, по лесу, по тропинкам, где качка не пройдет. Мученье!»

«Все это неправда,— возразила одна дама (тоже бывалая, потому что там других нет),— я сама ехала в качке, и очень хорошо. Лежишь себе или сидишь; я даже вязала дорогой. А верхом вы измучитесь по болотам; якутские седла мерзкие...»

«Седло купите здесь, у американской компании, черкесское: оно и мягко, и широко...» — «Эй, поезжайте в качке...» — «Нет, верхом: спасибо скажете...» — «Не слушайте их...» — «В качке на Джукджур не подниметесь...»

«Что это такое Джукджур?» — спросил я, ошеломленный этими предостережениями и поглядывая на всех.

«Вы не знаете, что такое Джукджур? — спросили меня вдруг все.— Помилуйте, Джукджур!..»

«Джукджур,— начал один учено-педантически,— по-тунгусски значит „большая выпуклость“...» «Так вы думаете, что я на эту выпуклость в качке...» — «Не подниметесь...» — «А верхом...» — «Не въедете!» — отвечали все. «Как же быть-то?» — «Пешком взойдете, особенно если проводники, якуты, будут сзади поддерживать вас в спину».— «А их кто же поддерживает?» — «Они привыкли». — «Велите подковать себя»,— посоветовал кто-то. Я мрачно взглянул на собеседника, доискиваясь причины обиды. «У якутов есть такие подковки для людей»,— прибавил мнимый обидчик. «Зачем подковки? теперь не зима: там щебень, ноги

не скользят»,— прибавил другой. «Так гора очень крутая?» — спрашивал я. «Да, так крута,— сказал один,— что если б была круче, так ни в качке, ни верхом, ни пешком нельзя было бы взобраться на нее».

Затем ли я не рискнул взобраться на Столовую гору и вообще обходил их все, отказываясь наслаждаться восхитительнейшими видами, чтоб лезть на какой-то тунгусский Монблан — поневоле!

«Полноте, это сущая безделица,— утешал меня один, самый бывалый собеседник,— я раз восемь спускался и поднимался на гору — ничего. Вот только как прошедший год спускался в гололедицу, так... того... Надо знать, что вершина у ней в самом деле выпуклая, горбом, так что прямо идти нельзя, а надо зигзагами. Была оттепель, потом вдруг немного подморозило, но так, что затянуло снег только сверху, и то на самой выпуклости. Якут хотел было подковать меня, но снег от оттепели сделался рыхл, можно было провалиться, и я пошел без подков. Пройти по самому выпуклому и трудному месту надо было сажен пятьдесят, наперекос; там начинались уже камни и снегу не было. Я пошел, а ниже меня сажен на десять шел товарищ. Надо было продавливать пяткой слой снега, но слегка, чтоб нога задерживалась только, а не вязла. Я прошел, хотя не скоро, но благополучно; оставалось сажен пять; вдруг пятка моя встречает сопротивление: я не успеваю продавить снег, срываюсь и лечу... («Ух», сделал я невольно) прямо на товарища: мы оба на краю пропасти. Он в ужасе. Я делаю усилие и что есть мочи вонзаю кулаком в снег, рука уходит по плечо. Я задержался и повис. Якуты выручили меня из западни».

Утешил, можно сказать, рассказом!

«Я тоже чуть не погиб там, года три назад,— сказал хозяин,— так, по своей глупости. Я ехал с человеком в двух нартах, третья была с провизией. Нас застала буря на самой горе. Ветер дул с вершины на нас так свирепо, что мы стеснились на полугоре в кучу и не знали, как подниматься. Лишь только он затих немного, якут схватил меня за руки и потащил на выпуклость. Доведя до полгоры, он бросил мне топор, а сам воротился за моим человеком. Я пополз вверх, вдруг порыв ветра... я крепко прижался к земле, но чувствую, что сил нет, меня тащит с крутизны, еще минута... Я кое-как надавил топор на снег, зацепился и повис; порыв ветра пронесся. Я вздохнул свободно и проворно пополз вверх. Еще сажень — и я на вершине: но другой порыв, сильнее прежнего, дунул мне прямо в лоб и помчал наши нарты, с якутами и оленями, вниз. Я закрыл глаза и, почти без памяти, налегая на топор, прижимался к горе. Мне казалось, что кругом меня забегали волки и медведи, которых много водится в этом месте. Вдруг сзади кто-то хватает меня. „Медведь!" — подумал я, опустив лицо в снег. Нет, это якут Иван хочет поднять меня. „Жаль мне тебя стало",— говорит он. Я поправился. „Поди спасай других!" — сказал я, сам добрался до вершины и, обессиленный, не чувствуя холода, лег у первых кустов. Через час пришли и нарты. Слава богу, никто не ушибся».

«Где же тут „глупость“?» — подумал я.

Тут же рассказали мне, что зимой не сходят и не съезжают, а сползывают с горы. Оленей отпрягают и пускают сойти самих, а к нартам привязывают длинную сосну с ветвями и сталкивают вниз, с людьми и с кладью. Путешественник, лежа в санях и опершись руками и ногами в стенки, раза два обернется головой вниз — и ничего. Особенно такой спуск с гор, покрытых снегом, употребителен на пути в Камчатку. Один, ездивший туда по службе, рассказывал, что тунгус, подъехав к одному крутому утесу, с которого даже собаки не могли бежать, отпряг их и, одну за другой, побросал с утеса. Путешественник пришел в ужас, когда очередь дошла и до той нарты, где он лежал.

«Стой, стой! что ты?» — кричал он в отчаянии из окошечка своих крытых санок. Но тот ответил ему что-то по-своему и толкнул нарту. Прежде нежели проезжий успел опомниться, он уже вертелся на воздухе и упал в рыхлый снег. Потом свалился и сам тунгус и начал вытаскивать увязших в снегу собак, запряг их в нарты и отправился дальше.

В некоторых местах нарты проезжают по ледяным окраинам, вроде карнизов, над морем, так что нарте приходится иногда одной стороной полозьев скользить по воздуху... Фу, даже гадко слушать!

Между тем мы гуляли по Аяну в ожидании лошадей, играли в карты, даже танцевали. Я ходил смотреть свою качку. Это небольшая лодка с маленьким навесом. Казак в сарае, набрав гвоздей полон рот, вынимал их оттуда по одному и усердно обивал качку ситцем и кожей.

«А есть ли у вас переметные сумы?» — спрашивали нас. «Что это такое?» — «Вы не знаете, что такое переметные сумы?» «Опять напугают!» — подумал я. «Слыхал,— отвечал я,— это что-то не хорошо: *и нашим и вашим...*» «Совсем не то; это просто две кожаные сумки, которые вешают по бокам лошади, для провизии и вообще для всего, что надо иметь под рукой».— «А ящики есть?» — спросили опять. «Нет; а разве надо?» — «Как же вы повезете вещи? В чемоданах и мешках не довезете: лошадь будет драть их и о деревья, и вязнуть в болотах, и... и... и т. д. А в каждый ящик положите по два с половиной пуда и навьючьте на лошадь. Чемодан бросьте».— «Зачем бросать? все возьмите!» — заметил бывалый. «А зонтик можно взять?» — спросил Тимофей, несмотря на мой свирепый взгляд. «И зонтик возьми»,— был ответ.

«Сары, сары не забудьте купить!» — «Это еще что?» — «Сары — это якутские сапоги из конской кожи: в них сначала надо положить сена, а потом ногу, чтоб вода не прошла; иначе по здешним грязям не пройдете и не проедете. Да вот зайдите ко мне, я велю вам принести».

И мой любезный хозяин Михаил Сергеевич повел меня к себе и велел позвать Александру. Пришла якутка, молодая и, вероятно, в якутском вкусе красивая, с плоским носом, с узенькими, но карими глазами и ярким румянцем на широких щеках. «Здравствуй...» — тут он сказал что-то по-якутски. «Что это значит?» — спросил я. «Прекрасная жен-

щина».— «Есть сары?» — «Есть».— «Принеси».— «Слусаю»,— отвечала она и через пять минут принесла сапоги на слона, с запахом вспотевшей лошади и сала, которым они и были вымазаны. «Вынеси, вынеси скорей! — закричал я,— ужели их надевают люди?» — спросил я Михаила Сергеевича. «И очень порядочные,— отвечал он,— и вы наденете».

Но я подарил их Тимофею, который сильно занят приспособлением к седлу мешка с чайниками, кастрюлями, вообще необходимыми принадлежностями своего ремесла, и, кроме того, зонтика, на который более всего обращена его внимательность. Кучер Иван Григорьев во все пытливо вглядывался. «Оно ничего: можно и верхом ехать, надо только, чтоб все заведение было в порядке»,— говорит он с важностью авторитета. Ванюшка прилаживает себе какую-то щегольскую уздечку и всякий день все уже и уже стягивается кожаным ремнем.

П. А. Тихменев, взявшийся заведовать и на суше нашим хозяйством, то и дело ходит в пакгауз и всякий раз воротится то с окороком, то с сыром, поминутно просит денег и рассказывает каждый день раза три, что мы будем есть и даже — чего не будем. «Нет, уж курочки и в глаза не увидите,— говорит он со вздохом,— котлет и рису, как бывало на фрегате, тоже не будет. Ах, вот забыл: нет ли чего сладкого в здешних пакгаузах? Сбегаю поскорей; черносливу или изюму: компот можно есть». Схватит фуражку и побежит опять.

Наконец в одно в самом деле прекрасное утро перед домиком, где мы жили, расположился наш караван, состоявший из восьми всадников и семнадцати лошадей, считая и вьючных. «А где же качка?» — спрашиваю я. Один из служащих улыбается, глядя на меня; а казак, который делал мне качку, вместо нее подводит оседланную лошадь. Гляжу: на ней и черкесское седло, и моя подушка. «Качки нет,— сказал мне барон,— не поспела». Я понял, что меня обманули в мою пользу, за что в дороге потом благодарил не раз, молча сел на лошадь и молча поехал по крутой тропинке в гору.

Все жители Аяна столпились около нас: все благословляли в путь. Ч. и Ф.,[7] без сюртуков, пошли пешком проводить нас с версту. На одном повороте за скалу Ч. сказал: «Поглядите на море: вы больше его не увидите». Я быстро оглянулся, с благодарностью, с любовью, почти со слезами. Оно было сине, ярко сверкало на солнце серебристой чешуей. Еще минута — и скала загородила его. *«Прощай, свободная стихия! в последний раз...»* [8]

От Аяна едешь по ложбинам между гор, по руслу речек и горных ручьев, которые в дожди бурлят так, что лошади едва переходят вброд, уходя по уши.[9] Каково седоку? Немного хуже, чем лошади. Теперь сухо, и мы едва мочили подошвы; только переправляясь через Алдаму, должны были поднять ноги к седлу.

Ничего нет ужасного в этих диких пейзажах, но печального много. По дороге идет густой лиственный лес; едешь по узенькой, усеянной пнями тропинке. Потом лес раздвигается, и глазам является обширное, заброcанное каменьями болото, которое в дожди должно быть непро-

ходимо. Щебень составляет природное дно речек, а крупные каменья набросаны, будто в виде украшений, с утесов, которые стоят стеной и местами поросли лесом, местами голы и дики. Нигде ни признака жилья, ни встречи с кем-нибудь. По этой дороге человек в первый раз, может быть, прошел в 1845 году, и этот человек, если не ошибаюсь, был преосвященный Иннокентий, архиепископ Камчатский и Курильский. Он искал другой дороги к морю, кроме той, признанной неудобною, которая ведет от Якутска к Охотску, и проложил тракт к Аяну.

По деревьям во множестве скакали зверки, которых здесь называют *бурундучками*, то же, кажется, что векши,[10] и которыми занималась пристально наша собака да кучер Иван. Видели взбегавшего по дереву будто бы соболя, а скорее черную белку. «Ах, ружье бы, ружье!» — закричали мои товарищи.

Дорогу эту можно назвать прекрасною для верховой езды, но только не в грязь. Мы легко сделали тридцать восемь верст и слезали всего два раза, один раз у самого Аяна, завтракали и простились с Ч. и Ф., провожавшими нас, в другой раз на половине дороги полежали на траве у мостика, а потом уже ехали безостановочно. Но тоска: якут-проводник, едущий впереди, ни слова не знает по-русски, пустыня тоже молчит, под конец и мы замолчали и часов в семь вечера молча доехали до юрты, где и ночевали.

Я думал хуже о юртах, воображая их чем-то вроде звериных нор: а это та же бревенчатая изба, только бревна, составляющие стену, ставятся вертикально; притом она без клопов и тараканов, с двумя каминами; дым идет в крышу; лавки чистые. Мы напились чаю и проспали до утра, как убитые.

Еще проехали день и ночевали в юрте, у подошвы Джукджура. Я нанял двух якутов сопровождать меня по горе и помогать подниматься. Что за дорога была вчера! Пустыни, пустыни и пустыни, девственные, если хотите, но скучные и унылые. Мы ехали горными тропинками, мимо оврагов, к счастию окаймленных лесом, проехали вброд множество речек, горных ручьев и несколько раз Алдаму, потом углублялись в глушь лесов и подолгу ехали узенькими дорожками, пересекаемыми или горизонтально растущими сучьями, или до того грязными ямами, что лошадь и седок останавливаются в недоумении, как переехать или перескочить то или другое место. И это еще, говорят, безделица в сравнении с предстоящими грязями, где лошадь уходит совсем. «А что ж в это время делает седок?» — спросил я. «Падает в грязь»,— отвечали мне.

Видели мы по лесу опять множество бурундучков, опять quasi-соболя, ждали увидеть медведя, но не видали, видели только, как якут, на станции, ведя лошадей на кормовище в лес, вооружился против «могущего встретиться» медведя ружьем, которое было в таком виде, в каком только первый раз выдумал его человек. Лошадям здесь овса не положено давать, за неимением его, зато травы из-под ног — сколько хочешь. По приезде на станцию их отведут в лес и там оставят до утра. Лес по дороге был лиственничный, потом стала появляться ель,

сосна, шиповник. Много росло по пути брусники и рябины. Матрос наш набрал целую кружку первой, а рябину с удовольствием ел кучер Иван, жалея только, что ее не хватило морозцем.

Видели мы кочевье оленных тунгусов, со стадом оленей. Тишина и молчание сопровождали нас. Только раз засвистала какая-то птичка, да, кажется, сама испугалась и замолчала, или иногда вдруг из болота выскакивал кулик, местами в вышине неслись гуси или утки, все это пролетные гости здесь. Не слыхать и насекомых.[11]

Вчера мы сделали тридцать пять верст и нисколько не устали. Что будет сегодня? Ах, Джукджур, Джукджур: с ума нейдет!

Наконец совершилось наше восхождение на якутский, или тунгусский, Монблан. Мы выехали часов в семь со станции и ехали незаметно в гору, буквально по океану камней. Редко-редко где на полверсты явится земляная тропинка и исчезнет. Якутские лошади малорослы, но сильны, крепки, ступают мерно и уверенно. Мне переменили вчерашнюю лошадь, у которой сбились копыта, и дали другую, сильнее, с крупным шагом, остриженную à la мужик.

Джукджур отстоит в восьми верстах от станции, где мы ночевали. Вскоре по сторонам пошли горы, одна другой круче, серее и недоступнее. Это как будто искусственно насыпанные пирамидальные кучи камней. По виду ни на одну нельзя влезть. Одни сероватые, другие зеленоватые, все вообще неприветливые, гордо поднимающие плечи в небо, не удостоивающие взглянуть вниз, а только сбрасывающие с себя каменья.

Я все глядел по сторонам, стараясь угадать, которая же из гор грозный Джукджур: вон эта, что ли? Да нет, на эту я не хочу: у ней крут скат, и хоть бы кустик по бокам; на другой крупны очень каменья. Давно я видел одну гору, как стену прямую, с обледеневшей снежной глыбой, будто вставленным в перстне алмазом, на самой крутизне. Ну, конечно, не эта,— сказал я себе. «Где Джукджур?» — спросил я якута. «Джукджур!» — повторил он, указывая на эту самую гору, с ледяной лысиной. «Как же на нее взобраться?» — думал я.

Между тем я не заметил, что мы уж давно поднимались, что стало холоднее и что нам осталось только подняться на самую «выпуклость», которая висела над нашими головами. Я все еще не верил в возможность въехать и войти, а между тем наш караван уже тронулся при криках якутов. Камни заговорили под ногами. Вереницей, зигзагами, потянулся караван по тропинке. Две вьючные лошади перевернулись через голову, одна с моими чемоданами. Ее бросили на горе и пошли дальше.

Я шел с двумя якутами, один вел меня на кушаке, другой поддерживал сзади. Я садился раз семь отдыхать, выбирая для дивана каменья помшистее, иногда клал голову на плечо якута. Двое товарищей уже взобрались и с вершины бросали на ледяную лысину каменья. Как я завидовал им! счастливцы! И собаке завидовал: она уж раза три вбежала на вершину и возвращалась к нам, а теперь, стоя

на самой крутой точке выпуклости, лаяла на нас, досадуя на нашу медленность. А мне еще оставалось шагов двести. Каменья катились под ногами; якуты дали нам по палке. Наконец я вошел. Меня подкрепила рюмка портвейна. Как хорошо показалось мне вино, которого я в другое время не пью! У одного якута, который вел меня, пошла из носа кровь.

Остальная дорога до станции была отличная. Мы у речки, на мшистой почве, в лесу, напились чаю, потом ехали почти по шоссе, по прекрасной сосновой, березовой и еловой аллее. Встретили красивый каскад и груды причудливо разбросанных как будто взрывом зеленоватых камней.

На Джукджуре всего более отличился мой слуга, Тимофей. Только что тронулся на крутизну наш караван и каменья зажурчали под ногами лошадей, вдруг Тимофей рванулся вперед и понесся в гору впереди всех. Он обогнал вьючных лошадей, обогнал проводников, даже собаку, и все еще, с распростертыми руками, в каком-то испуге, несся неистово в гору. «Тимофей! куда ты? с ума сошел! — кричал я, изнемогая от усталости,— ведь гора велика, успеешь устать!» Но он махнул рукой и несся все выше, лошади выбивались из сил и падали, собака и та высунула язык; несся один Тимофей. Наконец он и наши верховые лошади вбежали на вершину горы и в одно время скрылись из виду. «Зачем это ты?» — спросил я потом. «Однажды...» — начал он и не мог продолжать, задохся и уже на станции рассказал. «Зачем ты бежал так вверх?» — спросил я. Он, помолчав немного, начал так: «Однажды я ехал из Буюкдерэ в Константинополь и на минуту слез... а лошадь ушла вперед с дороги; так я и пришел пешком, верст пятнадцать будет...» — «Ну, так что ж?» — «Вот я и боялся,— заключил Тимофей,— что, пожалуй, и эти лошади уйдут, вбежавши на гору, так чтоб не пришлось тоже идти пешком». «Эти лошади уйдут!» — с горьким смехом воскликнул кучер Иван. А лошади, взойдя, стали как вкопанные и поникли головами.

27. Пустая юрта между Челасином и Маилом.

Вы, конечно, не удивляетесь, что я не говорю ни о каких встречах по дороге? Здесь никто не живет, начиная от Ледовитого моря до китайских границ, кроме кочевых тунгус, разбросанных кое-где на этих огромных пространствах. Даже птицы и те мимолетом здесь. Зверей, говорят, много, но мы, кроме бурундучков и белок, других не видали. И слава богу: встреча с медведем могла бы доставить удовольствие, а может быть, и некоторую выгоду — только ему одному: нас она повергла бы в недоумение, а лошадей в неистовый испуг.

Тоска сжимает сердце, когда проезжаешь эти немые пустыни. Спросил бы стоящие по сторонам горы, когда они и все окружающее их увидело свет; спросил бы что-нибудь, кого-нибудь, поговорил хоть бы с нашим проводником, якутом: сделаешь заученный по-якутски вопрос: *«Кась бироста ям?»* (сколько верст до станции). Он и скажет, да не поймешь, или *гра-гра* ответит (далеко), или *чугес* (скоро, тотчас), и опять едешь целые часы молча.

Выработанному человеку в этих невыработанных пустынях пока делать нечего. Надо быть отчаянным поэтом, чтоб на тысячах верст наслаждаться величием пустынного и скукой собственного молчания, или дикарем, чтоб считать эти горы, камни, деревья за мебель и украшение своего жилища, медведей — за товарищей, а дичь — за провизию.

Вчера мы пробыли одиннадцать часов в седлах, а с остановками двенадцать с половиною. Дорога от Челасина шла было хорошо, нельзя лучше, даже без камней, но верстах в четырнадцати или пятнадцати вдруг мы въехали в заросшие лесом болота. Лес част, как волосы на голове, болота топки, лошади вязли по брюхо и не знали, что делать, а мы, всадники, еще меньше. Переезжая болото, только и ждешь с беспокойством, которой ногой оступится лошадь.

Везде мох и болото; напрасно вы смотрите кругом во все стороны: нет выхода из бесконечных тундр, непроходимых без проводника. Горе тому, кто бы сам собой попробовал сунуться в сторону: дороги нет, указать ее некому. Болота так задержали нас, что мы не могли доехать до станции и остановились в пустой, брошенной юрте, где развели огонь, пили чай и ночевали. Холодно было; вчера летела изморозь, дул ветер, небо мрачное и темное — осень, осень. Наши проводники залезли к нам погреться; мы дали им по стакану чаю, хотели дать водки, но и у нас ее нет: она разбилась на Джукджуре, когда перевернулись две лошади, а может быть, наша свита как-нибудь сама разбила ее... Потом якуты повели лошадей на кормовище за речку, там развели огонь и заварили свои два блюда: варенную в воде муку с маслом и муку, варенную в воде, без масла.

Кучер Иван, по своей части, приобрел замечательное сведение, что здешние лошади живут будто бы по пятидесяти лет, и сообщил об этом нам. Не знаю, правда ли.

Уже вьючат лошадей, пора ехать, мы еще не сделали вчера сорока верст. Маил в нескольких верстах отсюда.

28. Опять пустая юрта.

Что Джукджур, что каменистая дорога, что горные речки — в сравнении с болотами! Подъезжаете вы к грязному пространству: сверху вода; проводник останавливается и осматривает, нет ли объезда: если нет, он нехотя пускает свою лошадь, она, еще более нехотя, но все-таки с резигнацией, без всякого протеста, осторожно ступает, за ней другие. Вдруг та оступилась передними, другая задними ногами, а та и теми и другими. Всадник в беспокойстве сидит — наготове упасть, если упадет лошадь, но упасть как можно безопаснее. Между тем лошадь чувствует, что она вязнет глубоко: вот она начинает делать отчаянные усилия и порывисто поднимает кверху то крестец, то спину, то голову. Хорошо в это время седоку! Наконец, побившись, она ложится на бок, ложитесь поскорее и вы: оно безопаснее. Так я и сделал однажды.

Мы дотащились до Маила, где нашли прекрасную новую юрту, о двух комнатах, опрятную, с окнами, где слюда вместо стекол, пол усыпан еловыми ветками, лавки чистые, камин хоть сейчас в гостиную,

только покрасить. Мы ехали от Маила до здешней юрты, всего двадцать верст, очень долго: нас задерживали беспрестанные объезды. Это своего рода пытка, вам неизвестная. В лесу немного посуше — это правда, но зато ноги уходят в мох, вся почва зыблется под вами. Вы едете вблизи деревьев, третесь о них ногами, ветви хлещут в лицо, лошадь ваша то прыгает в яму и выскакивает стремительно на кочку, то останавливается в недоумении перед лежащим по дороге бревном, наконец перескочит и через него и очутится опять в топкой яме.

Правду говорили мне в Аяне! Иногда якут вдруг остановится, видя, что не туда завел, впереди все одно: непроходимое и бесконечное топкое болото, дорожки не видать, и мы пробираемся назад. Пытка! Кучер Иван пытается утешать, говорит, что «никакая дорога без лужи не бывает, сколько он ни езжал». Это правда.

В Маиле нам дали других лошадей, все таких же дрянных на вид, но верных на ногу, осторожных и крепких. Якуты ласковы и внимательны: они нас буквально на руках снимают с седел и сажают на них; иначе бы не влезть на седло, потом на подушку, да еще в дорожном платье.

Погода вчера чудесная, нынче хорошее утро. Развлечений никаких, разве только наблюдаешь, какая новая лошадь попалась: кусается ли, лягается или просто ленится. Они иногда лукавят. В этих уже нет той резигнации, как по ту сторону Станового хребта. Если седло ездит и надо подтянуть подпругу, лошадь надует брюхо — и подтянуть нельзя. Иному достанется горячая лошадь; вон такая досталась Тимофею. Лошадь начинает горячиться, а кастрюли, привязанные у него к седлу, звенеть. Прочие по этому случаю острят, особенно кучер Иван.

Этот Иван очень своеобычен и с трудом отступает от своих взглядов и убеждений, но словоохотлив и услужлив. Он, между прочим, с гордостью рассказывал, как король Сандвичевых островов, глядя на его бороду и особенное платье, принял его за важное лицо и пожал ему руку. Однажды, когда к вечеру стало холоднее, князь Оболенский спросил свой тулуп. «Да далеко закладено в чемоданы и зашито»,— сказал Иван, «Неправда, он должен быть в мешке,— сказал князь Оболенский,— покажи!» «Никак нет, в чемодане»,— утверждал кучер, показывая мешок. «А это что у тебя в мешке?» — спросил тот. «Да это, кто ее знает, шкура какая-то».— «Посмотрите! — сказал нам князь Оболенский,— он змеиную шкуру из Бразилии положил поближе, а тулуп запрятал!» «Да я думал, что шкуру-то можно и выбросить,—сказал Иван,— а тулупчика-то жаль». «Вот этак же,— заметил князь Оболенский,— он вез у меня пару кокосовых орехов до самого Охотского моря: хорошо, что я увидал вовремя да выбросил, а то он бы и их в чемоданы спрятал». «Зачем это ты, Иван Григорьев, вез орехи? — спросил я.— Они понравились тебе — вкусны?» «Нет, какое вкусны,— отвечал он с величайшим презрением,— это все пустое! А я вез их по той причине, что в Москве видел, в лавке за этакие орехи просили по пяти целковых за штуку, так думал, сбуду их туда».

Нелькан. 29 августа.

Вчера, в осьмом часу вечера, насилу дотащились последнюю станцию верхом. Сорок верст ехали и отдыхали всего полтора часа на половине дороги, в лесу. Скучно, хотя по лесу встречалось так много дичи, что даже досадно на ее дерзость. Тетерева просто гуляют под ногами у лошадей, вальдшнепы вылетали из каждого куста, утки полоскались в каждой луже. «Как жаль, что нет ружья!» — сказал кто-то. «Как нет, есть два, славнейшие ружья».— «А порох есть?» — «И порох, и дробь, и пули».— «Так что же не стреляем? давай!» — «Далеко спрятаны, на дне чемодана»,— сказал Иван Григорьев. «А змеиную шкуру держит под рукой!» — упрекнул князь Оболенский. «Шкуру недолго и бросить»,— оправдывался Иван. «А кокосы напрасно не взял,— заметил я ему,— в самом деле можно бы выгодно продать...» «Оно точно, кабы взять штук сто, так бы денег можно было много выручить»,— сказал Иван, принявший серьезно мое замечание.

От Маильской станции до Нельканской идут все горы и горы — целые хребты; надо переправиться через них, но из них две только круты, остальные отлоги. Да и с крутых-то гор никакими кнутами не заставишь лошадей идти рысью: тут они обнаруживают непоколебимое упорство. Горы эти — все ветви Станового хребта, к которому принадлежит и Джукджур. У подошвы каждой горы стелется болото; и как ни суха, как ни хороша погода, но болота эти никогда не высыхают: они или мерзнут, или грязны. Болота коварны тем, что поросли мхом и травой, и вы не знаете, по колено ли, по брюхо или по морду лошади глубока лужа. «Ох!» — вырвется у того или другого, среди мучительного молчания, в продолжительном и изворотливом пробиранье между кочек, луж и кустов.

Наконец вчера приехали в Нелькан и переправились через Маю, услыхали говор русских баб, мужиков. А с якутами разговор не ладится; только Иван Григорьев беспрестанно говорит с ними, а как и о чем — неизвестно, но они довольны друг другом.

В Нелькане несколько юрт и несколько новеньких домиков. К нам навстречу вышли станционный смотритель и казак Малышев; один звал пить чай, другой — ужинать, и оба угостили прекрасно. За ужином были славные зеленые щи, языки и жареная утка. В доме, принадлежащем американской компании, которая имеет здесь свой пакгауз с товарами (больше с бумажными и другими материями и т. п. нужными для края предметами, которыми торговля идет порядочная), комната просторная, в окнах слюда вместо стекол: светло и, говорят, тепло. У смотрителя станции тоже чисто, просторно; к русским печам здесь прибавили якутские камины, или чувалы: от такого русско-якутского тепла, пожалуй, вопреки пословице, «заломит и кости».

Мы отлично уснули и отдохнули. Можно бы ехать и ночью, но не было готового хлеба, надо ждать до утра, иначе нам, в числе семи человек, трудно будет продовольствоваться по станциям на берегах Маи. Теперь предстоит ехать шестьсот верст рекой, а потом опять сто восемьдесят верст верхом по болотам. Есть и почтовые тарантасы,

но все предпочитают ехать верхом по этой дороге, а потом до Якутска на колесах, всего тысячу верст. Всего!

Мая извивается игриво, песчаные мели выглядывают так гостеприимно, как будто говорят: «Мы вас задержим, задержим»; лес не темный и не мелкий частокол, как на болотах, но заметно покрупнел к реке; стал чаще являться осинник и сосняк. Всему этому несказанно обрадовался Иван Григорьев. «Вон осинничек, вон соснячок!» — говорил он приветливо, указывая на знакомые деревья.

Лодка готова, хлеб выпечен, мясо взято — едем. Теперь платить будем прогоны по числу людей, то есть сколько будет гребцов на лодках.

30 и *31 августа.* Нельзя начать плавания при более благоприятных обстоятельствах, как начали мы. Погода была великолепная, теплая. Река, с каждым извивом и оборотом, делалась приятнее, берега или отлогие, лесистые, или утесистые.[12] Лодка мчится с неимоверной быстротой. Мы промчались двадцать восемь верст в два часа и прибыли на станцию *Бáтанга,* или *Вáтанга.* Дорогой наконец достали из чемодана ружье, после, однако ж, многих возражений со стороны Ивана Григорьева, и отдали Ванюшке. Он застрелил утку, подстрелил много еще, но нельзя было их достать. Издалека завидим мы их, они мчатся по течению, мы перегоняем, они улетают, а если остаются, то дорого платят за оплошность.

На *Бáтанге* живет очень смышленый старик, Петр Маньков, с женой в хижине. Все это переселенцы. Они стараются прививать хлебопашество, но мало средств, и земля не везде удобна. Отчасти промышляют зверями. От *Батанги* до *Семи Протоков* четырнадцать верст. Мы до Семи Протоков сделали быстрый переход. Но погода стала портиться: подул холодок, когда мы в темноте пристали к станции и у пылавшего костра застали якутов и русских мужиков и баб; последние очень красивы, особенно одна девушка, лет шестнадцати. Мы вошли в их бедную избу, пили чай и слушали рассказы о трудностях и недостатках, с какими, впрочем, неизбежно сопряжено первоначальное водворение в новом краю. В избе и около избы толпились ребятишки, с голыми ногами, грудью и даже с голым брюхом. Мы дали им две рубашки, и мальчишки с гордостью и радостью надели их. Благодарностям не было конца.

Пока мы сидели в избе, задул ветер, повалил хлопьями снег, словом, вьюга, или, по-здешнему, «пурга». Мужики стали просить подождать до луны, иначе темно ехать, говорили они: трудно, много мелей. Мы согласились, но пошли спать в лодку, чтоб тронуться тотчас же, лишь взойдет луна. Ночью во сне я почувствовал, что как будто еду опять верхом, скачу опять по рытвинам: это потащили нас по реке. Холод разбудил меня; мы на мели. Якуты, стоя по колени в реке, сталкивали лодку с мели, но их усилия натолкнули лодку еще больше на мель, и вскоре мы увидели, что стоим основательно, без надежды сдвинуться нашими силами.[13] Наши люди вооружились: кто шестом, кто веслом и стали толкаться: все напрасно.

«Никак нельзя!» — в один голос сказали все.

До станции было еще семь верст. Мы послали одного из русских проводников туда, привести лодку почтовую, а сами велели Тимофею готовить обед: щи, вчерашнюю утку. На носу была набросана земля и постоянно горел огонь. Скоро задымилась кастрюля, и через час мы обедали, знаете, как обедают на станциях, в роще, на пикнике и т. п. Кто ел из кружки, кто из чашки, на сундуке, на подставке. Когда нужно стол, обыкновенно говорили Ивану Григорьеву: «Чтоб был стол». «Слушаю»,— отвечал Иван и отправлялся в лес: через четверть часа перед нами стоял стол. В одной юрте не было ни окон, ни двери. Сказано Ивану Григорьеву, чтоб была дверь и окно. «Слушаю»,— сказал он и окна заткнул потниками от лошадей, а дверь так приладил, что наутро отворить было нельзя, а надобно было выколотить.

Наконец уже в четыре часа явились люди со станции снимать нас с мели, а между прочим, мы, в ожидании их, снялись сами. Отчего же просидели часа четыре на одном месте — осталось неизвестно.[14] Мы живо приехали на станцию. Там встретили нас бабы с ягодами (брусникой), с капустой и с жалобами на горемычное житье-бытье: обыкновенный припев!

Станция называется *Маймакан*. От нее двадцать две версты до станции *Иктенда*. Сейчас едем. На горах не оттаял вчерашний снег; ветер дует осенний; небо скучное, мрачное; речка потеряла веселый вид и опечалилась, как печалится вдруг резвое и милое дитя. Пошли опять то горы, то просеки, острова и долины. До *Иктенды* проехали в темноте, лежа в каюте, со свечкой, и ничего не видали. От холода коченели ноги.

От Иктенды двадцать восемь верст до *Терпильской* и столько же до *Цепандинской* станции, куда мы и прибыли часу в осьмом утра, проехав эти 56 верст в совершенной темноте и во сне. Погода все одна и та же, холодная, мрачная. *Цепандинская* станция состоит из бедной юрты, без окон. Здесь, кажется, зимой не бывает станции, и оттого плоха и юрта, а может быть, живут тунгусы.

Тунгусы — охотники, оленные промышленники и ямщики. Они возят зимой на оленях, но, говорят, эта езда вовсе не так приятна, как на Неве, где какой-то выходец из Архангельска катал публику: издали все ведь кажется или хуже, или лучше, но во всяком случае иначе, нежели вблизи. А здесь езда на оленях даже опасна, потому что Мая становится неровно, с полыньями, да, кроме того, олени падают во множестве, не выдерживая гоньбы.

Печальный, пустынный и скудный край! Как ни пробуют, хлеб все плохо родится. Дальше, к Якутску, говорят, лучше: и население гуще и хлеб богаче, порядка и труда больше. Не знаю; посмотрим. А тут, как поглядишь, нет даже сенокосов; от болот топко; сена мало, и скот пропадает. Овощи родятся очень хорошо, и на всякой станции, начиная от Нелькана, можно найти капусту, морковь, картофель и проч.

Якуты — народ с широкими скулами, с маленькими глазами, таким

же носом; бороду выщипывает; смуглый и с черными волосами. Они, должно быть, южного происхождения и родня каким-нибудь маньчжурам. Все они христиане, у всех медные кресты; все молятся; но говорят про них, что они не соблюдают постановлений церкви, то есть постов. Да и трудно соблюдать, когда нечего есть. Они едят что попало, белок, конину и всякую дрянь; выпрашивают также у русских хлеба. Русские все старообрядцы, все переселены из-за Байкала. Но всюду здесь водружен крест благодаря стараниям Иннокентия и его предшественников.

Чабда, станция, 2-го сентября.

Мы все еще плывем по Мае, но холодно: ветер из осеннего превратился в зимний; падает снег; руки коченеют, ноги тоже. Леса по берегам желтые; по реке несутся падшие листья; все печально. После завтрака посмотришь, посмотришь, да и ляжешь опять спать, а после обеда опять. Станции пошли русские. Якуты здесь только ямщики; они получают жалованье, а русские определены содержателями станций и получают все прогоны, да еще от казны дается им по два пуда в месяц хлеба на мужика и по одному на бабу. Они обязаны содержать в исправности данные им от казны почтовые лодки. Прогоны платят по $1^1/_2$ коп. серебром с человека. Всех станций по Мае двадцать одна, по тридцати, тридцати пяти и сорока верст каждая. У русских можно найти хлеб; родятся овощи, капуста, морковь, картофель, брюква, кое-где есть коровы; можно иметь и молоко, сливки, также рыбу, похожую на сиги. На некоторых станциях, например в Айме и вообще там, где есть конторы американской компании, можно доставать говядину.

Река, чем ниже, тем глубже, однако мы садились раза два на мель: ночью я слышал смутно шум, возню; якуты бросаются в воду и тащат лодку. Вчера один из гребцов кричит к нам в дверь каюты: «Ваше высокоблагородие! а ваше высокоблагородие!» — «Ну?» — сказал я. Товарищи мои спали. «Можно реветь?» — «Если это тебе нравится, пожалуй, только ты перебудишь всех. Зачем?» — «Станок (станция) близко: не видно, где пристать; там услышат, огонь зажгут».— «Ну, реви!» По реке понеслись фальцетто, медвежьи басы — ужас! И это повторяется каждую ночь, когда подъезжаем к станции.

Да, это путешествие не похоже уже на роскошное плавание на фрегате: спишь одетый, на чемоданах; ремни врезались в бока, кутаешься в пальто: стенки нашей каюты выстроены, как балаган; щели в палец; ветер сквозит и свищет — все á jour, * а слава богу, ничего: могло бы быть и хуже.

Сегодня Иван Григорьев просунул к нам голову: «Не прикажете ли бросить этот камень?» Он держал какой-то красивый, пестрый камень в руке. «Как можно! это надо показать в Петербурге: это замечательный камень, из Бразилии...» — «Белья некуда девать,— говорил Иван Григорьев, — много места занимает. И что за камень? хоть бы для точила годился!»

* ажурное, прозрачное (*франц.*),—*Ред.*

От Чабдинской станции тянется сплошной каменный высокий берег, версты на три, представляющий природную, как будто нарочно отделанную набережную. Река здесь широка, будет с нашу Оку; по берегам всюду мелкий лес. Мужики — всё переселенцы из-за Байкала. Хлеб здесь принимается порядочно, но мужики жалуются на прожорливость бурундучков, тех маленьких лесных зверков, вроде мышей, которыми мы любовались в лесах. Русские не хвалят якутов, говорят, что они плохие работники. «Дай хоть целковый в день, ни за что пахать не станет». Между тем они на гребле работают без устали, тридцать и сорок верст, и чуть станем на мель, сейчас бросаются с голыми ногами в воду тащить лодку, несмотря на резкий холод. Переселенцев живет по одной, по две и по три семьи. Женщины красивы, высоки ростом, стройны и с приятными чертами лица. Все из-за Байкала, отчасти и с Лены.

Усть-Маи, Алданская слобода, 3-го сентября.

Мы пока кончили водяное странствие. Сегодня сделали последнюю станцию. Я опять целый день любовался на трех станциях природной каменной набережной из плитняка. Ежели б такая была в Петербурге или в другой столице, искусству нечего было бы прибавлять, разве чугунную решетку. Река, разливаясь, оставляет по себе след, кладя слоями легкие заметки. Особенно хороши эти заметки на глинистом берегу. Глина крепка, и слои — как ступени: издали весь берег похож на деревянную лестницу.

Летом плавание по Мае — чудесная прогулка: острова, мысы, березняк, тальник, ельник, все это со всех сторон замыкает ваш горизонт; все живописно, игриво, недостает только сел, городов, деревень; но они будут — нет сомнения. Чем ниже спускались мы по Мае, тем более переселенцы хвалили свое житье-бытье. Везде строят на станциях избы, везде огород первый бросается в глаза; снопы конопли стоят сжатые. Тунгусы начинают перенимать. Вчера уже на одной станции, *Урядской* или *Уряхской*, хозяин с большим семейством, женой, многими детьми, благословлял свою участь, хвалил, что хлеб родится, что надо только работать, что из конопли они делают себе одежду, что чего недостает, начальство снабжает всем: хлебом, скотом; что он всем доволен, только недостает одного... «Чего же?» — спросили мы.[15] «Кошки,— сказал он,— последнее отдал бы за кошку: так мышь одолевает, что ничего нельзя положить, рыбу ли, дичь ли, ушкана ли (зайца) — все жрет».

Мы везде, где нам предложат капусты, моркови, молока, все берем с величайшим удовольствием и щедро платим за все, лишь бы поддерживалась охота в переселенцах жить в этих новых местах, лишь бы не оставляла их надежда на сбыт своих произведений. Желательно, чтоб все проезжие по мере сил поддерживали эту надежду. Сегодня мы с князем Оболенским пошли из слободы пройтись, зашли в лес и встретили двух якутов с корзинкой. В корзинке была дичь: два тетерева, утка и прекрасная большая рыба. «Куда вы идете?» — спросили мы. «Не толкуй»,— сказали они, то есть не знаем по-русски. «А это кому?» — спросили мы,

показывая на дичь и рыбу. «Торгуй», то есть покупай, — отвечали они. Я их послал на нашу квартиру, где у них все купили и заплатили, что они хотели, за что я был бранен распорядителем наших расходов, П. А. Тихменевым.

По случаю этих покупок наша лодка походила немного на китайскую джонку. Вверху лежала дичь и овощи (на крышке беседки), на носу говядина, там же тлел огонь и дымилась кастрюля. Эту фламандскую картину дополняла собака, которая виляла хвостом, норовя стащить плохо положенный кусок. В одной юрте она и так отличилась: якуты не имеют ни полок, ни поставцов, как русские, и ставят свои чашки и блюда под лавкой. Они поспешили встретить нас и спрятали туда остатки своего ужина. Пока мы усаживались, собака очистила все их чашки. «И дельно: не ставь снедь под лавку!» — заметил Иван Григорьев.

Одно неудобно: у нас много людей. У троих четверо слуг. Довольно было бы и одного, а то они мешают друг другу и ленятся. «У них уж завелась лакейская»,— говорит справедливо князь Оболенский, а это хуже всего. Их не добудишься, не дозовешься, ленятся, спят, надеясь один на другого; курят наши сигары.

Сегодня, возвращаясь с прогулки, мы встретили молодую крестьянскую девушку, очень недурную собой, но с болезненной бледностью на лице. Она шла в пустую, вновь строящуюся избу. «Здравствуй! ты нездорова?» — спросили мы. «Была нездорова: голова с месяц болела, теперь здорова», — бойко отвечала она. «Какая же ты красавица!» — сказал кто-то из нас. «Ишь что выдумали! — отвечала она,— вот войдите-ка лучше посмотреть, хорошо ли мы строим новую избу?»

Мы вошли: печь не была еще готова; она клалась из необожженных кирпичей. Потолок очень высок; три большие окна по фасаду и два на двор, словом, большая и светлая комната. «Начальство велит делать высокие избы и большие окна», — сказала она. «Кто ж у вас делает кирпичи?» — «Кто? я делаю, еще отец».— «А ты умеешь делать мужские работы?» — «Как же, и бревна рублю, и пашу».— «Ты хвастаешься!» Мы спросили брата ее, правда ли? «Правда»,— сказал он. «А мне не поверили, думаете, что вру: врать нехорошо! — заметила она.— Я шью и себе и семье платье, и даже обутки (обувь) делаю». «Неправда. Покажи башмак». Она показала препорядочно сделанный башмак. «Здесь места привольные,— сказала она,— только работай, не ленись; рожь славная родится, особенно озимая, конопля; и скотине хорошо — все. Вина нет, мужик не пьет; мы славно здесь поправились, а пришли без гроша. Теперь у нас корова с теленком, лошадь; понемногу заводимся. Вот новую-то избу хотим под станок (станцию) отдать».

Вина в самом деле пока в этой стороне нет — непьющие этому рады: все, поневоле, ведут себя хорошо, не разоряются. И мы рады, что наше вино вышло (разбилось на горе, говорят люди), только Петр Александрович жалобно по вечерам просит рюмку вина, жалуясь, что зябнет. Но без вина решительно лучше, нежели с ним: и люди наши трезвы, пьют себе чай, и, слава богу, никто не болен, даже чуть ли не здоровее.

Мы здесь нашли исправника. Он послал за лошадьми и вперед

дал знать, чтоб была подстава.[16] Опять верхом, опять болота и топи! Утешают, что тут дорога лучше,— дай бог! Можно, говорят, ехать верхом только верст восемьдесят, а дальше на колесах. Но лучше ли трястись на телегах, нежели верхом,— не знаю. А других экипажей здесь нет. Мы сделали восемьсот верст: двести верхом да шестьсот по Мае; остается до Якутска четыреста верст. А там Леной три тысячи верст, да от Иркутска шесть тысяч — страшные цифры! Надо спешить из Якутска сесть в лодку на Лене никак не позже десятого сентября, иначе не доберешься до Иркутска до закрытия реки.

В лесу, на тундре. 5-го сентября.

Мочи нет, опять болота одолели! Лошади уходят по брюхо. Якут говорит: «Всяко бывает, и падают; лучше пешком или *пешкьюём*», как он пренежно произносит. «Весной здесь все вода, все вода,— далее говорит он,— почтальон ехал, нельзя ехать, слез, *пешкьюем* шел по грудь, холодно, озяб, очень *сердился*».

Мы вторую станцию едем от Усть-Мая или Алданского селения. Вчера сделали тридцать одну версту, тоже по болотам, но те болота ничто в сравнении с нынешними. Станция положена, по их милости, всего семнадцать верст. Мы встали со светом, поехали еще по утреннему морозу; лошади скользят на каждом шагу; они не подкованы. Князь Оболенский говорит, что они тверже копытами, оттого будто, что овса не едят.[17]

Товарищи мои и вьюки все уехали вперед; я оставил только своего человека, и где чуть сносно — еду, где худо — иду. Большая дорога — корыто грязи. Проводник, со всею якутскою учтивостью, отламывает от дерева сук, отрубает ножом ветви и подает мне посох. Сегодня мы ночевали в юрте. Что это за наказание! Дрянные бревна едва сколочены, щели заклеены бумагой, лавки покрыты сеном, да камин, от огня которого некуда деваться. Зато мы вчера пили чай с дамами, с якутскими. Мы их позвали сесть с собой за стол, а мужчин оставили, где они были, в углу. Якутки были в высоких остроконечных шапках из оленьей шкуры, в белом балахоне и в знаменитых *сарах*. По этой причине мы все пятились от них. Две из них — молодые. Им налили чаю; они сняли шапки, поправили волосы и перекрестились, взяв стаканы. Одна принесла нам молока. Здесь есть уже коровы. Но до свидания: пора, пора, опять по кочкам!

Пока я писал в лесу и осторожно обходил болота, товарищи мои, подождав меня на станке, уехали вперед, оставив мне чаю, сахару, даже мяса, и увезли с тюками мою постель, белье и деньги. Через полчаса после моего приезда воротился князь Оболенский, встретивший на дороге исправника. Последний (г. Атласов, потомок Атласова, одного из самых отважных покорителей Камчатки) был так добр, что нарочно ездил вперед заготовить нам лошадей. С следующей станции можно, хотя с нуждою, ехать в телеге. Есть всего одна телега: ее оставляют мне, а прочие едут верхом.

Вот я один, с человеком, в самобеднейшей юрте, со множеством щелей, между якутами, в их семействе. Я принят очень хорошо. В камин подло-

жили дров, уступили мне передний угол, принесли молока. Не разговорчивы только: что ни спросишь, только и отвечают «не толкуй», то есть не знаю. Дико, бедно и... неопрятно, хотел было сказать, но оглядываюсь: ни одного таракана и ничего другого... Правду сказать, как и ужиться насекомому там, где стенки состоят из одиноких бревен без конопатки, едва кое-где замазанные глиной? Камин горит постоянно, покуда потушат; в юрте все равно, что на дворе. Ах, скорее бы выбраться из этих нежилых, безмолвных мест! Тоска: на расстоянии тридцати верст ни живой души, ни встречи с человеком, ни жилища на дороге, ни даже самой дороги! Лес и болото. Дорога отсюда, говорят, идет хуже: ужели хуже этой, что была на сегодняшних семнадцати верстах? До Якутска еще около трехсот пятидесяти верст. Нет, видно, не попасть мне на Лену до льда; придется ждать зимнего пути в Якутске.

Нет сомнения, что по этому тракту была бы уже давно колесная дорога, если б... были проезжие: но их так мало, и то случайно, что издержки и труды по устройству дороги не вознаградятся ничем.

Здесь, на станции, уже заметно обилие. У хозяина есть четыре или пять коров, и стол покрыт красной тряпкой.

6-го сентября. Сегодня проехали тридцать одну версту, и всё почти на рысях. Мне дали необыкновенно покойную, неспотыкливую лошадь. Хотя дорога несравненно лучше вчерашних семнадцати верст, но местами было так худо, что из рук вон! Едете по прекрасной тропинке, вдруг сажен на сто болото. Когда я вышел сегодня из юрты садиться на лошадь, все было покрыто выпавшим ночью снегом. Я недоумевал, как же нам ехать? Все рытвины, ямы и кочки прикрыты снегом — коварно прикрытый обман! А вышло лучше: не видишь, так и не думаешь. Сомнения и ожидания дурного тревожат более, нежели самое дурное: я думаю, это все испытывают на каждом шагу.

В лесу, на семнадцатой версте, лошадь ямщика захотела отдохнуть, а я позавтракать. Вся трава была мокрая от снега, и лечь на нее было нельзя. Я нашел в лесу оставленную кем-то нару (сани) и лег на нее, как на диван; кругом пустыня. Впрочем, что такое пустыня: сосновый да еловый лес, да по временам горы и болота! Отъезжайте верст за тридцать от Петербурга или от Москвы куда-нибудь в лес — и вы будете точно в такой же пустыне; вообразите только, что кругом никого нет верст на тысячу, как я воображаю, что здесь поблизости живут.

Сегодня, задолго до захождения солнца, при разгулявшейся погоде, приехали мы на станцию, не знаю какую — названия чудовищные. Кругом коровы, лошади и, между прочим,— телега; у главной юрты есть службы, хозяйственный вид порядка и довольства. Телега приготовлена для меня. Товарищи мои уехали сегодня утром вперед. Здесь видны уже признаки колес. Юрта здесь получше, только везде щелей много, да сверху из-под крыши все что-то сыплется на голову, должно быть мыши возятся. Две якутки хлопочут около какой-то кастрюли. По платью их не отличишь от мужчин, только и можно узнать по серьгам. Ямщики ужинают. Огонь трещит, искры летят во все стороны, так что страшно заснуть.

7-го сентября. Кажется, я раскланялся с верховой ездой. Вот уж другую станцию еду в телеге, или *скате*, как ее называют здесь и русские и якуты, не знаю только, на каком языке. Телега как телега, только гораздо больше, длиннее и глубже обыкновенной. Когда я сел сегодня в нее, каким диваном показалась она мне после верховой езды! Вы думаете, если в телеге, так уж мы ехали по дороге, по колеям: отнюдь нет; просто по тропинкам, да по мерзлым кочкам или целиком по траве. Взглянув на такую дорогу, непременно скажешь, что по ней ни пройти, ни проехать нельзя, но проскакать можно; и якут скакал во всю прыть, так что дух замирает. Мне сделали из ремней так называемый *плёт:* едешь точно в дормезе,[18] не тряхнет!

Другую станцию, *Ичугей-Муранскую,* вез меня Егор Петрович Бушков, мещанин, имеющий четыре лошади и нанимающийся ямщиком у подрядчика, якута. Он и живет с последним в одной юрте; тут и жена его, и дети. Из дверей выглянула его дочь, лет одиннадцати, хорошенькая девочка, совершенно русская, «Как тебя зовут?» — спросил я. «Матреной,— сказал отец. — Она не говорит по-русски»,— прибавил он. «Мать у нее якутка? Не эта ли?» — спросил я, указывая на какое-то существо, всего меньше похожее на женщину.[19] «Нет, русская; а мы жили всё с якутами, так вот дети по-русски и не говорят». Ох, еще сильна у нас страсть к иностранному: не по-французски, не по-английски, так хоть по-якутски пусть дети говорят! Отчего Егор Петрович Бушков живет на Ичугей-Муранской станции, отчего нанимается у якута и живет с ним в юрте — это его тайны, к которым я ключа не нашел.

Я только было похвалил юрты за отсутствие насекомых, как на прошлой же станции столько увидел тараканов, сколько никогда не видал ни в какой русской избе. Я не решился войти. Здесь то же самое, а я ночую! Но, кажется, тут не одни тараканы: ужели это от них я ворочаюсь с боку на бок?

Итак, сегодня я сделал пятьдесят четыре версты. Лошадей нет: всех забрали товарищи. Они, как я узнал от ямщиков, сделали одну станцию в телегах, а дальше поехали верхом. Здесь предпочитают ехать верхом все сто восемьдесят верст до *Амгинской* слободы, заселенной русскими; хотя можно ехать только семьдесят семь верст, а дальше на телеге; как я и сделал. Только не требуйте колеи, а поезжайте большею частью по тропинке или целиком по болоту, которое усеяно поросшими травой кочками, очень похожими на сжатые и связанные снопы ржи. Оно довольно красиво: телега подпрыгивает, якут едет рысью там, где наш ямщик задумался бы проехать шагом.

Дорога идет все оживленнее. Кое-где есть юрты уже не из одних бревен, а обмазанные глиной. Видны стога сена, около пасутся коровы. У Егора Петровича их десять.[20]

Лес идет разнообразнее и крупнее. Огромные сосны и ели, часто надломившись живописно, падают на соседние деревья. Травы обильны. «Сена-то, сена-то! никто не косит!» — беспрестанно восклицает с соболезнованием Тимофей, хотя ему десять раз сказано, что тут некому косить. «Даром пропадает!» — со вздохом говорит он.

Больших гор нет, но мы едем все у подножия холмов, усеянных крупным лесом. Беспрестанно встречаются якуты; они тихий и вежливый народ: съезжают с холмов, с дороги, чтоб только раскланяться с проезжим. От Амги шесть станций до Якутска, но там уже колесная езда, даже есть на станциях тарантасы. Нет сомнения, что будет езда и дальше по аянскому тракту. Все год от году улучшается; расставлены версты; назначено строить станционные домы. И теперь, посмотрите, какие горы срыты, какие непроходимые болота сделаны проходимыми! Сколько трудов, терпения, внимания — на таких пространствах, куда никто почти не ездит, где никто почти не живет! Если б видели наши столичные чиновные львы, как здешние служащие (и сам генерал-губернатор) скачут по этим пространствам, они бы покраснели за свои так называемые *неусыпные* труды... А может быть, и не покраснели бы!

Амгинская станция. 8-го сентября.

Не веришь, что едешь по Якутской области, куда, бывало, ворон костей не занашивал,— так оживлены поля хлебами, ячменем, и даже мы видели вершок пшеницы, но ржи нет. Хлеб уже в снопах, сено в стогах. День великолепный. Заслышав наш колокольчик у речки, вдруг вперед от нас бросилось в испуге еще непривычное здесь к этим звукам стадо лошадей; только очутившаяся между ними корова с удивлением, казалось, глядела, чего это они так испугались. Вол, с продетым кольцом в носу, везший якутку, вдруг уперся и поворотил морду в сторону, косясь на наш поезд.

В девяти верстах от *Натарской* станции мы переправились через речку *Амгу*, впадающую в Маю, на пароме первобытной постройки, то есть на десятке связанных лыками бревен и больше ничего, а между тем на нем стояла телега и тройка лошадей.

На другой стороне я нашел свежих лошадей и быстро помчался по отличной дороге, то есть гладкой луговине, но без колей: это еще была последняя верховая станция. Далее поля все шли лучше и богаче. По сторонам видны были юрты; на полях свозили ячмень в снопы и сено на волах, запряженных в длинные сани — да, сани, нужды нет, что без снегу. Искусство делать колеса, видно, еще не распространилось здесь повсюду, или для кочек и болот сани оказываются лучше — не знаю: Егор Петрович не мог сказать мне этого. «Исправные (богатые) якуты живут здесь»,— сказал он только в ответ на замечание мое о богатстве стороны. «А ржи не сеют?» — спросил я. «Нет-с».— «Что ж они едят?» — «А ячменную муку: пекут из нее лепешки с маслом и водой, варят эту муку».— «А за Амгинской слободой тоже сеют?» — «Нет, там не сеют: зябнет очень хлеб, там холодно». — «Да ведь всего разницы верст тридцать или сорок будет». — «Точно-с, и сами не надивимся этому».— «Ловится ли рыба в речке Амге?» — «Как же-с, разная, только мелкая».

О дичи я не спрашивал, водится ли она, потому что не проходило ста шагов, чтоб из-под ног лошадей не выскочил то глухарь, то рябчик. Последние летали стаями по деревьям. На озерах, в двадцати саженях,

плескались утки. «А есть звери здесь?» — спросил я. «Никак нет-с, не слыхать: ушканов только много, да вот бурундучки еще».— «А медведи, волки?..» — «И не видать совсем».

Вот поди же ты, а Петр Маньков на Мае сказывал, что их много, что вот, слава богу, красный зверь уляжется скоро и не страшно будет жить в лесу. «А что тебе красный зверь сделает?» — спросил я. «Как что? по бревнышку всю юрту разнесет».— «А разве разносил у кого-нибудь?» — «Никак нет, не слыхать».— «Да ты видывал красного зверя тут близко?» — «Никак нет. Бог миловал».

Мы быстро доехали до Амгинской слободы. Она разбросана на двух-трех верстах; живут все якуты, большею частью в избах, не совсем русской, но и не совсем якутской постройки. Красная тряпка на столе под образами решительно начинает преобладать и намекает на Европу и цивилизацию. В Амге она уже — не тряпка, а кусок красного сукна. Содержатель станции, из казаков, очень холодно объявил мне, что лошадей нет: товарищи мои всех забрали. «А лошадей-то надо», — сказал я. «Нет»,— холодно повторил он. «А если я опоздаю в город,— еще холоднее сказал я,— да меня спросят, отчего я опоздал, а я скажу, оттого, мол, что у тебя лошадей не было...» Хотя казак не знал, кто меня спросит в городе и зачем, я сам тоже не знал, но, однако ж, это подействовало. «Вы не накушаетесь ли чаю здесь?» — «Может быть, а что?» — «Так я коней-то излажу». Я согласился и пошел к священнику. В слободе есть деревянная церковь во имя Спаса Преображения. Священников трое; они объезжают огромные пространства, с требами.[21] В самой слободе всего около шестисот душ.

Все сделалось, как сказал казак: через час я мчался так, что дух захватывало. На одной тройке, в «скате», я, на другой мои вьюки. Часа через полтора мы примчались на *Крестовскую* станцию. «*Однако* лошадей нет»,— сказал мне русский якут. Надо знать, что здесь делают большое употребление или, вернее, злоупотребление из *однако*, как я заметил. «*Однако* подои корову»,— вдруг, ни с того ни с сего, говорит один другому русский якут: он русский родом, а по языку якут. Да Егор Петрович сам, встретив в слободе какого-то человека, вдруг заговорил с ним по-якутски. «Это якут?» — спросил я. «Нет, русский, родной мой брат».— «Он знает по-русски?» — «Как же, знает».— «Так что ж вы не по-русски говорите?» — «Обычай такой...»

Крестовская станция похожа больше на ферму, а вся эта Амгинская слобода, с окрестностью, на какую-то немецкую колонию. Славный скот, женщины ездят на быках; юрты чистенькие (если не упоминать о блохах).

«*Однако* лошадей надо»,— сказал я. «Нету»,— отвечал русский якут. «А если я опоздаю приехать в город,— начал я,— да меня спросят отчего...» — и я повторил остальное. Опять подействовало. Явились четверо якутов, настоящих якутских якутов, и живо запрягли. Под вьюки заложили три лошади и четвертую привязали сзади, а мне только пару. «Отчего это?» — спросил я. «Ту на дороге припряжем»,— сказали они. «Ну, я пойду немного пешком»,— сказал я и пошел по прекрасному лугу, мимо огромных сосен. «Нельзя, барин: лошадь-то коренная у нас с места пры-

гает козлом, на дороге не остановишь». — «Пустое, остановишь!» —сказал я и пошел. Долго еще слышал я, что *Затей* (как называл себя и другие называли его), тоже русский якут, упрашивал меня сесть. Я прошел с версту и вдруг слышу, за мной мчится бешеная пара; я раскаялся, что не сел; остановить было нельзя. *Затей* (вероятно, *Закхей*) направил их на луг и на дерево, они стали. Я сел; лошади вдруг стали ворочать назад; телега затрещала, *Затей* терялся; прибежали якуты; лошади начали бить; наконец их распрягли и привязали одну к загородке, ограждающей болото; она рванулась; гнилая загородка не выдержала, и лошадь помчалась в лес, унося с собой на веревке почти целое бревно от забора.

«Теперь не поймаешь ее до утра, а лошадей нет!» — с отчаянием сказал *Затей*. Мне стало жаль его; виноват был один я. «Ну, нечего делать, я останусь здесь до рассвета, лошади отдохнут, и мы поедем», — сказал я.

Он просиял радостью, а я огорчился тем, что надо сидеть и терять время. «Нечего делать, готовь бифштекс, ставь самовар»,— сказал я Тимофею. «А из чего? — мрачно отвечал он,— провизия с вьюками ушла вперед». Я еще больше опечалился и продолжал сидеть, в отпряженной телеге, с поникшей головой. «Чай готовить?» — спросил меня Тимофей. «Нет»,— мрачно отвечал я. Якуты с любопытством посматривали на меня. Вдруг ко мне подходит хозяйский сын, мальчик лет пятнадцати, говорящий по-русски. «Барин»,— сказал он робко. «Ну!» — угрюмо отозвался я. «У нас есть утка, сегодня застрелена, не будешь ли ужинать?» — «Утка?» — «Да, и рябчик есть». Мне не верилось. «Где? покажи». Он побежал в юрту и принес и рябчика и утку. «Еще сегодня они оба в лесу гуляли».— «Рябчик и утка, и ты молчал! Тимофей! смотри: рябчик и утка...» — «Знаю, знаю,— говорил Тимофей,— я уж и сковороду чищу». Через час я ужинал отлично. Якут принес мне еще две пары рябчиков и тетерева на завтра.

9 сентября. «Однако есть лошади?» — спросил я на *Ыргалахской* станции. «Коней нету», — был ответ. «А если я опоздаю, да в городе спросят» и т. д. «Коней нет»,— повторил русский якут.

Дорога была прекрасная, то есть грязная, следовательно, для лошадей очень нехорошая, но седоку мягко. Везде луга и сено, а хлеба нет; из города привозят. Видел якутку, одну, наконец, хорошенькую, и, конечно, кокетку.

Заметив, что на нее смотрят, она то спрячется за копну сена, которое собирала, то за морду вола, и так лукаво выглядывает из-за рогов...

Сосны великолепные, по ним и около их по земле стелется мох, который едят олени и курят якуты, в прибавок к махорке. «Хорошо, славно! — сказал мне один якут, подавая свою трубку,— покури». Я бы охотно уклонился от этой любезности, но неучтиво. Я покурил: странный, но не неприятный вкус, наркотического ничего нет.

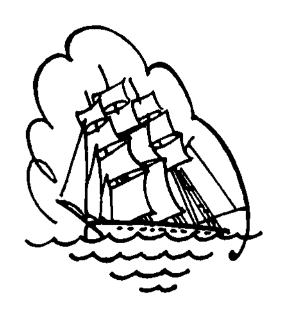
Еще я попробовал вчера где-то кирпичного чаю: тоже наркотического мало; похоже на какую-то лекарственную траву. Когда я подскакал на двух тройках к *Ыргалахской* станции, с противоположной стороны подскакала другая тройка; я еще издали видел, как она неслась. Коренная мчалась нахально, подымая шею, пристяжные мотали головами, то опу-

ская их к земле, то поднимая, как какие-нибудь отчаянные кутилы. Они сошлись с моими лошадьми и дружески обнюхались, а мы, то есть седоки, обменялись взглядами, потом поклонами. Это был заседатель. «Лошадей вот нет»,— сейчас же пожаловался я. Он оборотился к старосте и сказал ему что-то по-якутски. Я так и ждал, что меня оба они спросят: «Parlez vous jacouth?»*— и, кажется, покраснел бы отвечая: «Non, messieurs».**

Потом заседатель сказал, что лошади только что приехали и действительно измучены, что «лучше вам подождать до света, а то ночью тут гористо» и т. п.

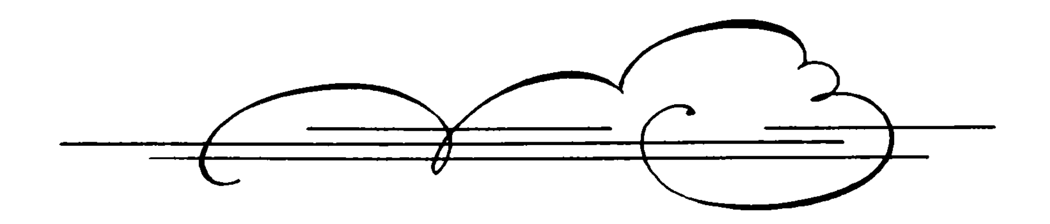
Нечего делать: заседатель — авторитет в подобных случаях, и я покорился его решению. Мы принялись за чай. «У меня есть рябчики, и свежие»,— сказал я. «А! — значительно сделал заседатель,— а у меня огурцы»,— прибавил он. «А! — еще значительнее сделал я.— У меня есть говядина»,— сказал я, больше затем, чтоб узнать, что есть еще у него. «У меня — белый хлеб».— «Это очень хорошо; у меня есть черный...» — «Прекрасно!» — заметил собеседник. «Да человек вчера просыпал в него лимонную кислоту: есть нельзя. Но зато у меня есть английские супы, в презервах»,— добавил я. «Очень хорошо,— сказал он,— а у меня вино...» «Вино!» Тут я должен был сознаться, что против него я — пас.

Он ехал целым домиком и начал вынимать из так называемого и всем вам известного «погребца» чашку за чашкой, блюдечки, ножи, вилки, соль, маленькие хлебцы, огурцы, наконец, покинувший нас друг — вино. «А у меня есть,— окончательно прибавил я,— повар».



* «Вы говорите по-якутски?» (*франц.*),— *Ред.*

** «Нет, господа» (*франц.*),— *Ред.*



VIII

ИЗ ЯКУТСКА

Ураса.— Станционный смотритель.— Ночлег на берегу Лены.— Перевоз.— Якутск.— Сборы в дорогу.— Меховое платье.— Русские миссионеры.— Перевод св. Писания на якутский язык.— Якуты, тунгусы, карагаули, чукчи.— Чиновники, купцы.— Проводы.

Было близко сумерек, когда я, с человеком и со всем багажом, по песку, между кустов тальника, подъехал на двух тройках, в телегах, к берестяной юрте, одиноко стоящей на правом берегу Лены.

У юрты встретил меня старик лет шестидесяти пяти, в мундире станционного смотрителя, со шпагой. Я думал, что он тут живет, но не понимал, отчего он встречает меня так торжественно, в шпаге, руку под козырек, и глаз с меня не сводит. «Вы смотритель?» — кланяясь, спросил я его. «Точно так, из дворян»,— отвечал он. Я еще поклонился. Так вот отчего он при шпаге! Оставалось узнать, зачем он встречает меня с таким почетом: не принимает ли за кого-нибудь из своих начальников?

Это обстоятельство осталось, однако ж, без объяснения: может быть, он сделал это по привычке встречать проезжих, а может быть, и с целью щегольнуть дворянством и шпагой. Я узнал только, что он тут не живет, а остановился на ночлег и завтра едет дальше, к своей должности, на какую-то станцию.

«А вы куда изволите: *однако* в город?» — спросил он. «Да, в Якутск. Есть ли перевозчики и лодки?»

«Как не быть! *Куда девается?* Вот перевозчики!» — сказал он, указывая на толпу якутов, которые стояли поодаль.

«А лодки?» — спросил я, обращаясь к ним. «Якуты *не слышат* по-русски»,— перебил смотритель и спросил их по-якутски. Те зашевелились, некоторые пошли к берегу, и я за ними. У пристани стояли четыре лодки. От юрты до Якутска считается девять верст: пять водой и четыре берегом.

«Мне надо засветло поспеть на ту сторону»,— сказал я.

«*Чего* не поспеть, поспеете!» — заметил смотритель и опять спросил перевозчиков по-якутски, во сколько времени они перевезут меня через реку. «Часа в три, говорят, перевезут».

«Что вы: да ведь через три часа ночь будет!» — возразил я.

«Извольте видеть, доложу вам,— начал он,— сей год вода-то очень низка: оттого много островов и мелей; где прежде прямиком ехали, тут едут между островами».

«Где же река?» — спросил я, глядя на бесконечное, расстилавшееся перед глазами пространство песков, лугов и кустов.

«А вот она и есть,— сказал смотритель, указывая на луга, пески и на проток, сажен в пять шириной, на котором стояли лодки.— Это-то все острова»,— прибавил он.

«Лена, значит, шире к той стороне, к нагорной, как Волга»,— заключил я про себя.

Смотритель опять стал разговаривать с якутами и успокоил меня, сказав, что они перевезут меньше нежели в два часа, но что там берегом четыре версты ехать мне будет не на чем, надо посылать за лошадьми в город.

«А там есть какая-нибудь юрта, на том берегу, чтоб можно было переждать?» — спросил я.

«*Однако* нет,— сказал он,— кусты есть... Да почто вам юрта?» «Куда же чемоданы сложить, пока лошадей приведут?» — «А на берегу: что им *доспеется*? А не то, так в лодке останутся: не *азойно* будет» (то есть не тяжело).

Я задумался: провести ночь на пустом берегу вовсе не занимательно; посылать ночью в город за лошадьми взад и вперед восемь верст — когда будешь под кровлей? Я поверил свои сомнения старику.

«Там берегом дорога хорошая, ни грязи, ни ям нет,— сказал он,— славно пешком идти».

«Человек мой города не знает: он не найдет ни лошадей, ни гостиницы»,— возразил я.

«*Однако* гостиницы нет в Якутске»,— перебил смотритель.

«Как нет: где же я остановлюсь?» — спросил я, испуганный новым, неожиданным обстоятельством.

«Извольте послать вашу подорожную в управу: сейчас квартиру отведут; обязаны».

«*A tout malheur remède*»,* — заметил я почти про себя.

«Чего изволите?»

«Нет, это я так, по-якутски обмолвился. Вот что, г. смотритель: я рассудил, что если я теперь поеду на ту сторону, мне все-таки раньше полночи в город не попасть. Надо будить всех. Не лучше ли мне ночевать здесь, в юрте?...» — «Оно, конечно, лучше,— ответил он,— юрта хорошая, теплая; тут ничего не воруют; только блох *дивно*».

Мне наскучил якутский язык, я обрадовался русскому, даже и этому, хотя не все и по-русски понимал. Решено: я остался. Мы вошли в юрту или, правильнее, *урасу*. Это просто большой шалаш, конической формы, из березовой коры, сшитый довольно плотно, так что ветер мало проходил

---

* «Лекарство от всех бед» (*франц.*).— *Ред.*

насквозь. Кругом лавки, покрытые сеном, так же как и пол. Посредине открытый очаг, вверху отверстие для дыма. Кроме того, там были два столика, крытые красным сукном; на одном лежала таблица, с показанием станций и числа верст, и стояла чернильница с пером. Юрта походила на военную ставку, особенно когда смотритель повесил свою шпагу на гвоздь.

Я пригласил его пить чай. «У нас чаю и сахару нет,— вполголоса сказал мне мой человек,— все вышло». «Как, совсем нет?» — «Всего раза на два».— «Так и довольно,— сказал я,— нас двое». «А завтра утром что станете кушать?» Но я знал, что он любил всюду находить препятствия. «Давно ли я видел у тебя много сахару и чаю?» — заметил я. «Кабы вы одни кушали, а то по станциям и якуты, и якутки, чтоб им...» — «Без комплиментов! давай что есть!»

«Скажите, пожалуйста, каков город Якутск?» — стал я спрашивать смотрителя.

О Якутске собственно я знал только, да и вы, вероятно, не больше знаете, что он главный город области этого имени, лежит под 62° с. широты, производит торг пушными товарами и что, как я узнал теперь, в нем нет... гостиницы. Я даже забыл, а может быть, и не знал никогда, что в нем всего две тысячи семьсот жителей.

Я узнал от смотрителя, однако ж, немного: он добавил, что там есть один каменный дом, а прочие деревянные; что есть продажа вина; что господа всё хорошие и купечество знатное; что зимой живут в городе, а летом на *заимках* (дачах), под камнем, «то есть камня никакого нет,— сказал он,— это только так называется»; что проезжих бывает *мало-мало*; что если мне надо ехать дальше, то чтоб я спешил, а то по Лене осенью ехать нельзя, а берегом худо, и т. п.

Потом он поверил мне, что он, по распоряжению начальства, переведен на дальнюю станцию, вместо другого смотрителя, Татаринова, который поступил на его место; что это не согласно с его семейными обстоятельствами, и потому он просил убедительно Татаринова выйти в отставку, чтоб перепроситься на прежнюю станцию, но тот не согласился, и что, наконец, вот он просит меня ходатайствовать по этому делу у начальства.

Я все обещал ему. «Плотников — моя фамилия»,— добавил он. «Очень хорошо — Плотников»,— записал я в книжечку, и мне живо представилась подобная же сцена из «Ревизора».[1]

Потом смотритель рассказывал, что по дороге нигде нет ни волков, ни медведей, а есть только якуты; «еще *ушканов* (зайцев) дивно», да по Охотскому тракту у него живут, в своей собственной юрте, две больные пожилые дочери, обе девушки, что «*однако*,— прибавил он,— на Крестовскую станцию заходят и медведи — и такое чудо,— говорил смотритель,— ходят вместе со скотом и не давят его, а едят рыбу, которую достают из *морды*...» «Из морды?» — спросил я. «Да, что ставят на рыбу, по-вашему мерёжи».

Смотритель говорил, не подозревая, что я предательски, тут же, при нем, записал его разговор.

Подали чай. Человек мой хитро сложил в пирамиду десятка полтора

кусков сахару, чтоб не обнаружить нашей дорожной нищеты. Я придвинул сахар к смотрителю. Он взял самый маленький кусочек, и на мое приглашение положить сахару в стакан отвечал, что никогда этого не делает — сюрприз для моего человека, и для меня также: у меня наутро оставался в запасе стакан чаю. Смотритель выпил три стакана и крошечный оставшийся у него кусочек сахару положил опять на блюдечко, что человеком моим было принято, как тонкий знак уменья жить.

Между тем наступила ночь. Я велел подать что-нибудь к ужину, к которому пригласил и смотрителя. «Всего один рябчик остался»,— сердито шепнул мне человек. «Где же прочие? — сказал я,— ведь у якута куплено их несколько пар». «Вчера с проезжим скушали»,— еще сердитее отвечал он. «Ну разогревай английский презервный суп»,— сказал я. «Вчера последний вышел»,— заметил он и поставил на очаг разогревать единственного рябчика.

Смотритель вынул из несессера и положил на стол прибор: тарелку, ножик, вилку и ложку. «Еще и ложку вынул!» — ворчал шепотом мой человек, поворачивая рябчика на сковородке с одной стороны на другую и следя с беспокойством за движениями смотрителя. Смотритель неподвижно сидел перед прибором, наблюдая за человеком и ожидая, конечно, обещанного ужина.

Я с удовольствием наблюдал за ними обоими, прячась в тени своего угла. Вдруг отворилась дверь и вошел якут с дымящеюся кастрюлей, которую поставил перед стариком. Оказалось, что смотритель ждал не нашего ужина. В то же мгновение Тимофей с торжественной радостью поставил передо мной рябчика. Об угощении и помину не было.

Как бы, кажется, около половины сентября лечь раздетому спать на дворе, без опасности простудиться насмерть? Ведь березовая кора не бог знает какие стены. В Петербурге сделаешь это и непременно простудишься, в Москве реже, а еще далее, и особенно в поле, в хижине, кажется, никогда. Мы легли. Человек сделал мне постель, буквально «сделал», потому что у меня ее не было: он положил на лавку побольше сена, потом непромокаемую шинель, в виде матраца, на это простыню, а вместо одеяла шинель на вате. В головах черкасское седло, которое было дано мне напрокат с тем, чтоб я его доставил в Якутск. Я быстро разделся и еще быстрее спрятался в постель.

Не то было с смотрителем: он методически начал разоблачаться, медленно снимая одну вещь за другою, с очков до сапог включительно. Потом принялся с тою же медленностью надевать ночной костюм: сначала уши заткнул ватой и подвязал платком, а другим платком завязал всю голову, затем надел на шею шарф. И так, раздеваясь и одеваясь, нечувствительно из старика превратился в старуху. Пламя камина освещало его изломанные черты, клочки седых волос, выглядывавших из-под платка, тусклый, апатический, устремленный на очаг взгляд и тихо шевелившиеся губы.

Я смотрел на него и на огонь: с одной стороны мне было очень тепло — от очага; спина же, обращенная к стене юрты, напротив, зябла. Долго сидел смотритель неподвижно; мне стало дрематься.

«Осмелюсь доложить,— вдруг заговорил он, привстав с постели, что делал всякий раз, как начинал разговор,— я боюсь пожара: здесь сена много, а огня тушить на очаге нельзя, ночью студено будет, так не угодно ли, я велю двух якутов поставить у камина смотреть за огнем!..»

«Как хотите,— сказал я,— зачем же двух?»

«Будут и друг за другом смотреть».

Пришли два якута и уселись у очага. Смотритель сидел еще минут пять, понюхал табаку, крякнул, потом стал молиться и, наконец, укладываться. Он со стонами, как на болезненный одр, ложился на постель. «Господи, прости мне грешному! — со вздохом возопил он, протягиваясь.— Ох, боже правый! ой-о-ох! ай!» — прибавил потом, перевертываясь на другой бок и покрываясь одеялом. Долго еще слышались постепенно ослабевавшие вздохи и восклицания. Я поглядывал на него и наконец сам заснул.

Проснувшись ночью, я почувствовал, что у меня зябнет не одна спина, а весь я озяб, и было отчего: огонь на очаге погасал, изредка стреляя искрами то на лавку, то на тулуп смотрителя или на пол, в сено. Сверху свободно струился в юрту ночной воздух, да такой, бог с ним, свежий... Оба якута, положив головы на мой sac de voyage,* носом к носу, спали мертвым сном. Смотритель спал болезненно: видно, что, по летам его, ему и спать уж было трудновато. Он храпел, издавая изредка легкое стенанье, потом почавкает губами, перестанет храпеть и начнет посвистывать носом.

Тут же я удостоверился, что в юрте в самом деле блох *дивно*.

На другой день, при ясной и теплой погоде, я с пятью якутами переправился через Лену, то есть через узенькие протоки, разделявшие бесчисленные острова. Когда якуты зашевелили веслами — точно обоз тронулся с места: раздался скрип, стук. После гребли наших матросов куда неискусны показались мне ленские гребцы! Один какой-то якут сидел тут праздно, между тем мальчишка лет пятнадцати работал изо всех сил; мне показалось это не совсем удобно для мальчишки, и я пригласил заняться греблей праздного якута. Он с величайшею готовностью спрятал трубку в сары и принялся за весло. «Кто это такой?» — спросил я. «Староста,— сказали мне,— с *наслега* едет в город». Я раскаялся, что заставил работать такого сановника, но уж было поздно: он так и выходил из лопаток, работая веслом. Мальчишка достал между тем из сапога грубый кусок дерева с отверстием (это трубка), положил туда щепоть зеленоватого листового табаку, потом отделил ножом кусочек дерева от лодки и покрошил туда же; из кремня добыл огня, зажег клочок моха, вместо трута, и закурил все это вместе. «Зачем дерево кладешь в табак?» — спросил я. «Крепше!» — отвечал он.

Вдали сияли уже главы церквей в Якутске. «Скоро ли же будет Лена?» — спрашивал я, все ожидая, что река к нагорному берегу будет глубже, следовательно, островов не имеет, и откроется во всей красе и величии. Один из якутов, претендующий на знание русского языка, старался мне что-то растолковать, но напрасно. У одного острова якуты вышли на

---

* саквояж, дорожная сумка (*франц.*).— *Ред.*

берег и потянули лодку бечевою вверх. Дотянув до конца острова, они сели опять и переправились уж не помню через который узенький проток и пристали к берегу, прямо к деревянной лесенке.

«Тут!» — сказали они. «Что тут?» — «*Пешкьюём* надо».— «Где же Лена?» — спрашиваю я. Якуты, как и смотритель, указали назад, на пески и луга. Я посмотрел на берег: там ровно ничего. Кустов *дивно*, правда, между ними бродит стадо коров да два-три барана, которых я давно не видал. За Лену их недавно послано несколько, для разведения между русскими поселенцами и якутами. Еще на берегу же стоял пастушеский шалаш из ветвей.

Один из якутов вызвался сходить в город за лошадьми. Я послал с ним человека, а сам уселся на берегу, на медвежьих шкурах. Нельзя сказать, чтоб было весело. Трудно выдумать печальнее местности. С одной стороны Лена — я уж сказал какая — пески, кусты и луга, с другой, к Якутску — луга, кусты и пески. Вдали, за всем этим, синеют горы, которые, кажется, и составляли некогда настоящий берег реки. Якутск построен на огромной отмели, что видно по пространным пескам, кустам и озеркам. И теперь, во время разлива, Лена, говорят, доходит до города и заливает отчасти окрестные поля.

От нечего делать я развлекал себя мыслью, что увижу наконец, после двухлетних странствий, первый русский, хотя и провинциальный город. Но и то не совсем русскии, хотя в нем и русские храмы, русские домы, русские чиновники и купцы, но зато как голо все! Где это видано на Руси, чтоб не было ни одного садика и палисадника, чтоб зелень, если не яблонь и груш, так хоть берез и акаций, не осеняла домов и заборов? А этот узкоглазый, плосконосый народ разве русский? Когда я ехал по дороге к городу, мне попадались навстречу якуты, якутки на волах, на лошадях, в телегах и верхом.

Городские якуты одеты понаряднее. У мужчин грубого сукна кафтан, у женщин тоже, но у последних полы и подол обшиты широкой красной тесьмой; на голове у тех и у других высокие меховые шапки, несмотря на прекрасную, даже жаркую погоду. Якуты стригутся, как мы, оставляя сзади за ушами две тонкие пряди длинных волос,— вероятно, последний, отдаленный намек на свои родственные связи с той тесной толпой народа, которая в Средней Азии разбрелась до берегов Восточного океана. Я в этих прядях видел сокращение китайской косы, которую китайцам навязали маньчжуры. А может быть, якуты отпускают сзади волосы подлиннее просто затем, чтоб защитить уши и затылок от жестокой зимней стужи.

Сколько я мог узнать, якутов, кажется, несправедливо считают кочующим народом. Другое дело тунгусы, чукчи и прочие племена здешнего края: те, переходя с одного места на другое, более удобное, почти никогда на прежнее не возвращаются. Якуты, напротив, если и откочевывают на время в другое от своей родной юрты место, где лучше корм для скота, то не надолго, и после возвращаются домой. У них большей частью по две юрты, летняя и зимняя. Этак, пожалуй, и мы с вами кочующий народ, потому что летом перебираемся в Парголово, Царское Село,[2] Ораниенбаум.[3]

Якутского племени, и вообще всех говорящих якутским языком, считается до двухсот тысяч обоего пола в области. Мужчин якутов сто пять тысяч. Область разделена на *округи*, округи на *улусы*, улусы на *наслеги*, или *нослеги*, или, наконец... не знаю как. Люди, не вникающие в филологические тонкости, попросту называют это здесь *ночлегами*.

В улусе живет до нескольких сот, даже до тысячи и более человек. Селений и деревень нет: их заменяют эти «наслеги». Наслегом называется несколько разбросанных, в двадцати, или около того, верстах друг от друга, юрт, в которых живет по два и по три, происходящих от одного корня, поколения или *рода*. Улусом управляет выборный, утвержденный русским начальством *голова*, наслегом — *староста* и его помощники, *старшины*. Членов одного *рода* называют по-русски *родовичами*. Они заботятся о взаимных нуждах, по крайней мере должны заботиться, и, кажется, отвечают за благочиние, порядок и исправный взнос повинностей.

Кстати, напомню вам, что Якутская область, с первого января 1852 года, возвышена в своем значении тем, что отделена от зависимости иркутского губернского начальства, и управление ее вверено особому гражданскому губернатору. Впрочем, она, на положении других губерний, подчинена главному управлению генерал-губернатора Восточной Сибири.

Нужды нет, что якуты населяют город, а все же мне стало отрадно, когда я въехал в кучу почерневших от времени одноэтажных деревянных домов: все-таки это Русь, хотя и сибирская Русь! У ней есть много особенностей как в природе, так и в людских нравах, обычаях, отчасти, как вы видите, в языке, что и образует ей свою коренную, немного суровую, но величавую физиономию.[4]

Пока я ехал по городу, на меня из окон выглядывали ласковые лица, а из-под ворот сердитые собаки, которые в маленьких городах чересчур серьезно понимают свои обязанности. Весело было мне смотреть на проезжавшие по временам разнохарактерные дрожки, на кучеров в летних кафтанах и меховых шапках или, наоборот, в полушубках и летних картузах. Вот гостиный двор, довольно пространный, вот и единственный каменный дом, занимаемый земским судом.

В гостином дворе, который в самом деле есть двор, потому что большая часть лавок открывается внутрь, я видел много входящих и выходящих якутов: они, говорят, составляют большинство потребителей. Прочие горожане закупают все, что им нужно, раз в год, на здешней ярмарке.

Я ехал мимо старинной, полуразрушенной стены и нескольких башен: это остатки крепости, уцелевшей от времен покорения области. Якутск основан пришедшими от Енисея казаками, лет за двести перед этим, в 1630 годах. Якуты пробовали нападать на крепость, но напрасно. Возникшие впоследствии между казаками раздоры заставили наше правительство взять этот край в свои руки, и скоро в Якутск прибыл воевода.

Еще я видел больницу, острог, казенные хлебные магазины; потом проехал мимо базара, с пестрой толпой якутов и якуток. Много и русского и нерусского, что со временем будет тоже русское. Скоро я уже сидел на квартире в своей комнате, за обедом.

После обеда я пошел к товарищам, которые опередили меня. Через день они отправлялись далее; я хотел ехать вслед за ними, а мне еще надо было запастись меховым платьем и обувью: на Лене могли застать морозы.

«Где я могу купить шубу?» — спросил я одного из якутских жителей, которых увидел у товарищей. «Вам какую угодно: лисью, тарабаганью,[5] песцовую или беличью?» — спросил он. «Которая теплее».— «Так медвежью хорошо».— «Ну, медвежью».— «Азойно (тяжело) будет в медвежьей»,— промолвил другой. «Так песцовую».— «Теперь здесь мехов никаких не найдете...» — заметили мне. «В Якутске не найду мехов!» — «Не найдете; вот если б летом изволили пожаловать, тогда *дивно* бывает мехов: тогда бы славный купили, какой угодно, и дешево».— «А вот тогда-то бы и не купил: зачем мне летом мех?»

«Лучше всего вам *кухлянку* купить, особенно двойную...» — сказал другой, вслушавшийся в наш разговор. «Что это такое кухлянка?» — спросил я. «Это такая рубашка, из оленьей шкуры шерстью вверх. А если купите двойную, то есть и снизу такая же шерсть, так никакой шубы не надо».

«Нет, это тяжело надевать,— перебил кто-то,— в двойной кухлянке не поворотишься. А вы лучше под одинакую кухлянку купите *пыжиковое пальто,*— вот и все». «Что это такое *пыжиковое* пальто?» — «Это пальто из шкур молодых оленей».

«Всего лучше купить вам *борловую доху,*— заговорил четвертый,— тогда вам ровно ничего не надо». «Что это такое борловая доха?» — спросил я. «Это шкура с дикого козла, пушистая, теплая, мягкая: в ней никакой мороз не проберет».

«Помилуйте! — сказал тут еще кто-то,— как можно доху? шерсть лезет». «Что ж такое что лезет?» — «Как что: в рот, в глаза налезет?»

«Где ж мне купить доху или кухлянку?» — перебил я. «Теперь негде: вот если б летом изволили пожаловать,— дружно повторили все,— тогда приезжают сюда сверху, по Лене, из Иркутска, купцы; они закупают весь пушной товар».

«*Торбасами* не забудьте запастись,— заметили мне,— и пыжиковыми *чижами*». «Что это такое торбасы и чижи?» — «Торбасы — это сапоги из оленьей шерсти, чижи — чулки из шкурок молодых оленей».

«Но, главное, помните, меховые панталоны»,— сказал мне серьезно один весьма почтенный человек. «Нет, уж от этого позвольте уклониться».— «Ну, помянете меня!» — сказал он пророческим голосом. «Не забудьте также мехового одеяла»,— прибавил другой.

«Зачем же меховые панталоны?» — с унынием спросил я: так напугали меня все эти предостережения! «А если попадете на *наледи...*» — «Что это такое наледи?» — спросил я. «Наледи — это не замерзающие и при жестоком морозе ключи; они выбегают с гор в Лену; вода стоит поверх льда; случится попасть туда — лошади не вытащат сразу, полозья и обмерзнут: тогда ямщику остается ехать на станцию за людьми и за свежими лошадями, а вам придется ждать в мороз несколько часов, иногда полсутки... Вот вы и вспомните о меховых панталонах».

«Ну, а меховое одеяло зачем?» — спросил я. «На Лене почти всегда

бывает *хиус*...» — «Что это такое хиус?» — «Это ветер, который метет снег; а ветер при морозе — беда: не спасут никакие панталоны; надо одеяло...» «С кульком, чтоб ноги прятать»,— прибавил другой. «Только все летом!» — повторяют все. «Ах, если б летом пожаловали, тогда-то бы мехов у нас!..»

Меня даже зло взяло. Я не знал, как быть. «Надо послать к одному старику,— посоветовали мне,— он, бывало, принашивал меха в лавки, да вот что-то не видать...» «Нет, не извольте посылать»,— сказал другой. «Отчего же, если у него есть? я пошлю».— «Нет, он теперь употребляет...» — «Что употребляет?» — «Да... вино-с. Дрянной старичишка! А нынче и отемнел совсем».— «Отемнел?» — повторил я. «Ослеп»,— добавил он.

Стало быть, нельзя и ехать, потому что нельзя ничего достать, купить? Все можно: à tout malheur remède. Видя мое раздумье, один из жителей посоветовал обратиться к Алексею Яковличу, к Петру Федорычу или к Александру Андреянычу да Ксенофонту Петровичу: у них-де должны быть и дохи и медвежьи шкуры. «Кто это Алексей Яковлич и Петр Федорыч?» — «А вот они: здешние жители, один управляет тем, другой этим».— «Но я не имею удовольствия их знать...» Алексей Яковлевич, Петр Федорыч и Александр Андреяныч сами предупредили меня. Они начали с того, что позвали к себе обедать и меня и товарищей, и хотя извинялись простотой угощения, но угощение было вовсе не простое для скромного городка. У них действительно нашлись дохи, кухлянки и медвежьи шкуры, которые и были уступлены нам на том основании, что мы проезжие, что у нас никого нет знакомых, следовательно, все должны быть знакомы; нельзя купить вещи в лавке, следовательно, надо купить ее у частного, не торгующего этим лица, которое остается тут и имеет возможность заменить всегда проданное.

Но ведь этак, скажут мне, не напасешься вещей, если каждый день будут являться проезжие, и устанешь угощать: оно бестолково. Если каждый день будут проезжие, тогда будет и трактир; если явятся требования на меха, тогда не всё будут отсылать вверх, а станут торговать и здесь. В том-то и дело, что проезжие в Якутске — еще редкие гости и оттого их балуют пока. Но долго ли это будет? сомневаюсь. Еще несколько лет — и если вы приедете в Якутск, то, пожалуй, полиция не станет заботиться о квартире для вас, и вы в лавке найдете, что вам нужно, но зато, может быть, не узнаете обязательных и гостеприимных Ксенофонтов Петровичей, Петров Федорычей, Алексеев Яковличей и других.

Вот теперь у меня в комнате лежит доха, волчье пальто, горностаевая шапка, беличий тулуп, заячье одеяло, торбасы, пыжиковые чулки, песцовые рукавицы и несколько медвежьих шкур, для подстилки. Когда станешь надевать все это, так чувствуешь, как постепенно приобретаешь понемногу чего-то беличьего, заячьего, оленьего, козлового и медвежьего, а человеческое мало-помалу пропадает. Кухлянка и доха лишают употребления воли и предоставляют полную возможность только лежать. В пыжиковых чулках и торбасах ног вместе сдвинуть нельзя, а когда наденешь двойную меховую шапку, или, по-здешнему, малахай, то мысли начинают вязаться

ленивее в голове и одна за другою гаснут. Еще бы что-нибудь прибавить, так, кажется, над вами того и гляди совершится какая-нибудь любопытная метаморфоза.

Все это надевается в защиту от сорокаградусного мороза. «Сорок градусов! — повторил я,— у нас когда и двадцать случится, так по городу только и разговора, что о погоде: забудут всякие и политические и литературные новости». «У вас двадцать хуже наших сорока»,— сказал один, бывший за Уральским хребтом. «Это отчего?» — «От ветра: там при пятнадцати градусах да ветер, так и нехорошо; а здесь в сорок ничто не шелохнется: ни движения, ни звука в воздухе; над землей лежит густая мгла; солнце кровавое, без лучей, покажется часа на четыре, не разгонит тумана и скроется».— «Ну, а вы что?» — «А мы — ничего, хорошо; только дышать почти нельзя: режет грудь».— «Вы что делаете в эти морозы?» — спросил я одну барыню. «Визиты, говорит, делаем».— «Что вы!..» — «Да как же? а в Рождество, в Новый год: родные есть, тетушка, бабушка, рассердятся, пожалуй, как не приедешь».

Впрочем, здесь, как я увидел после, и барыня, и кучер, и лошадь — все визиты делают. Барыню вводят в гостиную, кучера в людскую, а лошадь в сарай.

«В чем же вы ездите, в дохе и в малахае?» — спросил я ее. «Нет, в шляпках, в салопах».— «Конечно, не в таких салопах, которые носят барыни в Петербурге и которые похожи на конфектные бумажки, так что не слыхать, есть ли что на плечах или нет! Верно, здесь кроют байкой или сукном?»

А оказалось, что в таких же: «материей, говорит, крыты».

Несмотря, однако ж, на продолжительность зимы, на лютость стужи, как все шевелится здесь, в краю! Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религия и цивилизация борются с дикостью и вызывают к жизни спящие силы. Изменяется вид и форма самой почвы, смягчается стужа, из земли извлекается теплота и растительность — словом, творится то же, что творится, по словам Гумбольдта,[6] с материками и островами посредством тайных сил природы. Кто же, спросят, этот титан, который ворочает и сушей и водой? кто меняет почву и климат? Титанов много, целый легион; и все тут замешаны, в этой лаборатории: дворяне, духовные, купцы, поселяне — все призваны к труду и работают неутомимо. И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, а так же не допытается, как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне. Сама же история добавит только, что это те же люди, которые в одном углу мира подали голос к уничтожению торговли черными, а в другом учили алеутов и курильцев жить и молиться — и вот они же создали, выдумали Сибирь, населили и просветили ее и теперь хотят возвратить творцу плод от брошенного им зерна.[7] А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом...

Я не уехал ни на другой, ни на третий день. Дорогой на болотах и на реке Мае, едучи верхом и в лодке, при легких утренних морозах, я простудил ноги. На третий день по приезде в Якутск они распухли. Доктор сказал, что водой по Лене мне ехать нельзя, что надо подождать, пока пройдет опухоль.

Через неделю мне стало лучше; я собрался ехать. «Куда вы? как можно! — сказали мне,— да теперь вы ни в каком *разе* не поспеете добраться водой: скоро пойдет *шуга*». «Что это такое шуга?» — «Мелкий лед; тогда вы должны остановиться и ждать зимнего пути где-нибудь на станции. Лучше вам подождать здесь».— «А берегом?» — спросил я. «*Горой* ехать? помилуйте! почта два раза в год в распутицу приходит горой, да и то мучается, бьется. Ведь надо ехать верхом по утесам, через пропасти, по узеньким тропинкам. А вы еще с больными ногами! Лучше подождите: всего каких-нибудь два месяца...»

«Два месяца! Это ужасно!» — в отчаянии возразил я. «Может быть, и полтора»,— утешил кто-то. «Ну, нет: *сей год* Лена не станет рано,— говорили другие,— осень теплая и ранний снежок выпадал — это верный знак, что зимний путь не скоро установится...»

Опухоль в ногах прошла, но также прошла и всякая возможность ехать до зимы. Я между тем познакомился со всеми в городе; там обед, там завтрак, кто именинник, не сам, так жена, наконец, тетка. Для вас, не последних гастрономов, замечу, что здесь есть превосходная рыба — нельма, которая играла бы большую роль на петербургских обедах. Она хороша и разварная, и в пирогах, и в жарком, да и везде; ее также маринуют. Есть много отличной дичи: рябчики, куропатки и тетерева — ежедневное блюдо к жаркому. Но коренные жители почти совсем не едят кур и телятины, как в других местах некоторые не едят, например, зайцев. Зелени тоже мало, кроме капусты и огурцов. Вина дороги: шампанское продается по 6 и 7 руб. серебром бутылка; зато хороши наливки.

Обычаи здесь патриархальные: гости пообедают, распростятся с хозяином и отправятся домой спать, и хозяин ляжет, а вечером явятся опять и садятся за бостон [8] до ужина. Общество одно. Служащие, купцы и жены тех и других, видятся ежедневно и... живут все в больших ладах.

Я заикнулся на этих словах не потому, чтоб они были несправедливы, а потому, что, пробегая одну книгу о Якутске («Поездка в Якутск»), я прочел там совсем противное о якутском обществе. Автор жалуется на господствующую будто бы здесь страсть к ябедничеству (стр. 126), на недостаток веселости в собраниях, на общее друг к другу недоверие [9] и т. п. Не знаю, что сказать: я ничего этого не видал, напротив, кажется. Впрочем, не спорю: тогда (в 1832 году) могло быть и так. Физиономия маленького города изменяется легко: это зависит от обстоятельств, от того, что за люди первенствуют в обществе. Что касается меня, я нашел много живости и разговоров на обедах; недоверия не заметил: все кушают с большою доверчивостью и говорят без умолку. Почти ежедневно собираются друг у друга, потому что кружок очень невелик. В приведенной книге даже сказано, что будто приглашенные вечером гости, просидев часу до второго, возвращаются домой к своему ужину. Теперь это не так: попробуйте уехать без

ужина, тихонько, так хозяева на крыльце за полу поймают. Я, по своей привычке не ужинать, часто затруднялся, как увернуться от этого, и кончал тем, что ужинал.

Сплетни, о которых тоже говорит автор книги, до меня не доходили, конечно потому, что я проезжий и не мог интересоваться ими. Автор прав, сказавши, что сплетни составляют общую принадлежность маленьких городов. Но полно — маленьких ли только? В больших их меньше слышно оттого, что не напасешься времени слушать и повторять слышанное. Нет, общество в том виде, как оно теперь в Якутске, право, порядочное. Да мне кажется, если б я очутился в таком уголке, где не заметил бы ни малейшей вражды, никаких сплетней, а видел бы только любовь да дружбу, невозмутимый мир, всеобщее друг к другу доверие и воздержание, я бы перепугался, куда это я заехал: все думал бы, что это недаром, что тут что-нибудь да есть другое... Замечу еще, что купцы здесь порядочно воспитаны, выписывают журналы, читают, некоторые сами пишут. Почти все они где-нибудь учились, в иркутской гимназии например; притом они не носят бород и ходят в европейском платье, от этого нет резкого неравенства в обществе.

Говоря о ябедничестве, автор, может быть, относил эту слабость к якутам: они действительно склонны к ябедничеству; но теперь оно, как я слышал, стараниями начальства мало-помалу искореняется.

Если вы, любезный Аполлон Николаевич, признаете, и весьма справедливо, *русский пикет в степи зародышем Европы* (см. фельетон «СПб. ведомостей» № 176, 11 августа 1854), [10] то чем вы признаете подвиги, совершаемые в здешнем краю, о котором свежи еще в памяти у нас мрачные предания как о стране разбоев, лихоимства, безнаказанных преступлений? А вот вы едете от Охотского моря, как ехал я, по таким местам, которые еще ждут имен в наших географиях, да и весь край этот не все у нас, в Европе, назовут по имени, и не все знают его пределы и жителей, реки, горы; а вы едете по нем и видите поверстные столбы, мосты, из которых один тянется на тысячу шагов. Конечно, он сколочен из бревен, но вы едете по нем через непроходимое болото. Приезжаете на станцию, конечно в плохую юрту, но под кров, греетесь у очага, находите летом лошадей, зимой оленей и смело углубляетесь, вслед за якутом, в дикую, непроницаемую чащу леса, едете по руслу рек, горных потоков, у подошвы гор или взбираетесь на утесы, по протоптанным и — увы! где романтизм? — безопасным тропинкам. Вам не дадут ни упасть, ни утонуть, разве только сами непременно того захотите, как захотел в прошлом году какой-то чудак-мещанин, которому опытные якуты говорили, что нельзя пускаться в путь после проливных дождей: горные ручьи раздуваются в стремительные потоки и уносят быстротой лошадей и всадников. Он не послушал, разгорячился, нашумел; якуты робки и послушны; они не противоречили более; поехал и был увлечен потоком. Надпись на кресте, поставленном на дороге, свидетельствует о его гибели и предостерегает неосторожных. Подъезжаете ли вы к глубокому и вязкому болоту, якут соскакивает с лошади, уходит выше колена в грязь и ведет вашу лошадь — где суше; едете ли лесом, он — впереди, устраняет от вас

сучья; при подъеме на крутую гору опоясывает вас кушаком и помогает идти; где очень дурно, глубоко, скользко — он останавливается. «Худо тут,— говорит он,— *пешкьюём* надо», вынимает нож, срезывает палку и подает вам, не зная еще, дадите ли вы ему на водку или нет. Это якут, недавно еще получеловек, полузверь!

«Где же страшный, почти неодолимый путь?» — спрашиваете вы себя, проехавши тысячу двести верст: везде станции, лошади, в некоторых пунктах, как, например, на реке Мае, найдете свежее мясо, дичь, а молоко и овощи, то есть капусту, морковь и т. п., везде; у агентов американской компании чай и сахар.

Не забудьте, все это в краю, который слывет безымянной пустыней! Он пустыня и есть. Не раз содрогнешься, глядя на дикие громады гор без растительности, с ледяными вершинами, с лежащим во все лето снегом во впадинах, или на эти леса, которые растут тесно, как тростник, деревья жмутся друг к другу, высасывают из земли скудные соки и падают сами от избытка сил и недостатка почвы. Вы видите, как по деревьям прыгают мелкие зверки, из-под ног выскакивает испуганная редким появлением людей дичь. Издалека доносится до ушей шум горных каскадов или над всем этим тяготеет такое страшное безмолвие, что не решаешься разговором или песнью будить пустыню, пугаясь собственного голоса. А пугаться нечего: вы едете безопасно, как будто идете с Морской [11] на Литейную. Я дорогой, от скуки, набрасывал на станциях в записную книжку беглые заметки о виденном. При свидании прочту вам их, и вы увидите подробные доказательства всему, что говорю теперь.

Может быть, мне возразят, что бывают неудачи, остановки, особенно зимой; иногда недостает оленей или, если случится много проезжих, лошади скоро изнуряются, и тогда... Да, переверните медаль — окажется, что проезжий иногда станет среди дороги. Надо знать, что овса здесь от Охотского моря до Якутска не родится и лошадей кормят одним сеном, оттого они слабы. Если случится много проезжих, например возвращающихся с наших транспортов офицеров, которые пришли морем из России, лошади не выносят частой езды. Недостаток оленей случается иногда от недостатка корма, особенно когда снега глубоки, так что олени, питающиеся белым мхом, не могут отрывать его ногами и гибнут от голода. Олень — нежное и слабое животное. Проезжий терпит от всего этого остановку на станциях. Случалось даже иногда путешественнику, от изнурения лошадей, дойти до станции пешком.

Но во всех этих неудобствах виновата, как видите, природа, против которой пока трудно еще взять действительные меры. Трудно, но не невозможно, конечно. Человек кончает обыкновенно тем, что одолевает и природу, но при каких условиях! Если употребить, хоть здесь например, большие капиталы и множество рук, держать помногу лошадей на станциях, доставлять для корма их, с огромными издержками, овес, тогда все затруднения устранятся, нет сомнения. Но для кого, спрашивается, все эти расходы и хлопоты: окупятся ли они? будет ли кому поблагодарить за это? Почта ходит раз в месяц, и дорога по полугоду глохнет в совершенном запустении. И то сколько раз из глубины души скажет спасибо

заботливому начальству здешнего края всякий, кого судьба бросит на эту пустынную дорогу, за то, что уже сделано и что делается понемногу, исподволь,— за безопасность, за возможность, хотя и с трудом, добраться сквозь эти при малейшей небрежности непроходимые места! В одном месте, в палатке, среди болот, живет инженерный офицер; я застал толпу якутов, которые расчищали землю, равняли дороги, строили мост. В алданском селении мы застали исправника, К. П. Атласова: он немного встревожился, увидя, что нам троим, с четырьмя людьми при нас и для вьюков, нужно до восемнадцати лошадей. «Я не знал, что вы будете,— сказал он,— теперь, может быть, по станциям уже распустили лишних лошадей. Надо послать нарочного вперед». Мы остались тут ночевать; утром, чем свет, лошади были готовы. Мы пошли поблагодарить исправника, но его уж не было. «Где ж он?» — спрашиваем. «Да уехал вперед похлопотать о лошадях,— говорят нам,— на нарочного не понадеялся». На третьей станции мы встретили его на самой дурной части дороги. «Все готово,— сказал он,— везде будут лошади»,— и, не отдохнув получаса, едва выслушав изъявления нашей благодарности, он вскочил на лошадь и ринулся в лес, по кочкам, по трясине, через пни, так что сучья затрещали.

Кроме остановок, происходящих от глубоких снегов и малосильных лошадей, бывает, что разольются горные речки, болота наводнятся и проезжему приходится иногда по пояс идти в воде. «Что ж проезжие?» — спросил я якута, который мне это рассказывал. «Сердятся»,— говорит. Но это опять все природные препятствия, против которых принимаются, как я сказал, деятельные меры.

Меня неожиданно и приятно поразило одно обстоятельство. Что нам известно о хлебопашестве в этом углу Сибири, который причислен, кажется, так, из снисхождения, к жилым местам, к Якутской области? что оно не удается, невозможно: а между тем на самых свежих и новых поселениях, на реке Мае, при выходе нашем из лодки на станции, нам первые бросались в глаза огороды и снопы хлеба, на первый раз ячменя и конопли. Местами поселенцы не нахвалятся урожаем. Кто эти поселенцы? Русские. Они вызываются или переводятся за проступки из-за Байкала или с Лены и селятся по нескольку семейств на новых местах. Казна не только дает им средства на первое обзаведение лошадей, рогатого скота, но и поддерживает их постоянно, отпуская по два пуда в месяц хлеба на мужчину и по пуду на женщин и детей. Я видел поселенцев по рекам Мае и Алдану: они нанимают тунгусов и якутов обработывать землю. Те сначала не хотели трудиться, предпочитая есть конину, белок, древесную кору, всякую дрянь, а поработавши год и поевши ячменной похлебки с маслом, на другой год пришли за работой сами.

Есть места вовсе бесплодные: с них, по распоряжению начальства, поселенцы переселяются на другие участки. Подъезжая к реке Амге (это уже ближе к Якутску), я вдруг как будто перенесся на берега Волги: передо мной раскинулись поля, пестреющие хлебом. «Ужели это пшеница?» — с изумлением спросил я, завидя пушистые, знакомые мне золотистые колосья. «Пшеница и есть,— сказал мне человек,— а вон и яровое!»

Я не мог окинуть глазами обширных лугов с бесчисленными стогами сена, между которыми шевелились якуты, накладывая на волов сено, убирая хлеб. Я увидел там женщин, ребятишек, табуны лошадей и огороженные пастбища. «Где же это я? кто тут живет?» — спросил я своего ямщика. «*Исправные* якуты живут» (исправные — богатые),— отвечал он. Погода была великолепная, глаза разбегались, останавливаясь на сжатом хлебе, на прячущейся в чаще леса богатой, окруженной сараями и хлевами юрте, на едущей верхом на воле пестро одетой якутке.

Хлебопашество и разведение овощей по рекам Мае и Алдану — создание свежее, недавнее и принадлежит попечениям здешнего начальства. Поселенцы благословляют эти попечения. «Все сделано для нас,— говорят они,— а где не родилось ничего — значит, и не родится никогда». Когда якуты принялись за хлебопашество около Якутска, начальство скупило их урожай и роздало майским поселенцам. Так в прошлом или третьем году куплено было до 12 тысяч пудов. Якуты принялись еще усерднее за хлебопашество, и на другой год хлеб продавался рублем дешевле на пуд, то есть вместо 2 р. 50 к. ассигнациями продавали по 1 р. 50 к. На реке Амге хлебопашество — новость только вполовину. Оно заведено было там прежде, но, по словам тамошних жителей, шло до нынешнего времени очень плохо. Теперь с каждым годом оно улучшается. Частные люди помогают этому, поощряя хлебопашство и скотоводство: одни жертвуют хлеб для посева, другие посылают баранов, которых до сих пор не знали за Леной, третьи подают пример собственными трудами.

На Мае есть, между прочим, отставной матрос Сорокин: он явился туда, нанял тунгусов и засеял четыре десятины, на которые истратил по 45 руб. на каждую, не зная, выйдет ли что-нибудь из этого. Труд его не пропал: он воротил деньги с барышом, и тунгусы на следующее лето явились к нему опять. Двор его полон скота, завидно смотреть, какого крупного. Мы с уважением и страхом сторонились от одного быка, который бы занял не последнее место на какой-нибудь английской хозяйственной выставке. Сорокин живет полным домом; он подал к обеду нам славной говядины, дичи, сливок. Теперь он жертвует всю свою землю церкви и переселяется опять в другое место, где, может быть, сделает то же самое. Это тоже герой в своем роде, маленький титан. А сколько их явится вслед за ним! и имя этим героям — легион: здешнему потомству некого будет благословить со временем за эти робкие, но великие начинания. Останутся имена вождей этого дела в народной памяти — и то хорошо. Никто о Сорокине не кричит, хотя все его знают далеко кругом и все находят, что он делает только «как надо». На стенах у него висят в рамках похвальные листы, данные ему от начальников здешнего края. Висят эти листы в тени, так что их и не отыщешь скоро. Сорокин повесил их, конечно, не из хвастовства, а больше по обычаю русского простого человека вешать на стену всякую официальную бумагу, до паспорта включительно.

Еще одно важное обстоятельство немало способствует этим начинаниям. От берегов Охотского моря до Якутска нет ни капли вина. Я писал

вам; что упавшая у нас на Джукджуре, или Зукзуре, якутском или тунгусском Монблане, одной из гор Станового хребта, вьючная лошадь перебила наш запас вина (так нам донесли наши люди), и мы совершили путь этот по образу древних, очень патриархально, довольствуясь водой. Люди наши прожили эти пятнадцать или восемнадцать дней, против своего ожидания, трезво. Один из наших товарищей (мы ехали сначала втроем), большой насмешник, уверяет, что если б люди наши знали, что до Якутска в продаже нет вина, так, может быть, вино на горе не разбилось бы.

А вина нет нигде на расстоянии тысячи двухсот верст. Там, где край тесно населен, где народ обуздывается от порока отношениями подчиненности, строгостью общего мнения и добрыми примерами, там свободное употребление вина не испортит большинства в народе. А здесь — в этом молодом крае, где все меры и действия правительства клонятся к тому, чтобы с огромным русским семейством слить горсть иноплеменных детей, диких младенцев человечества, для которых пока правильный, систематический труд — мучительная, лишняя новизна, которые требуют осторожного и постепенного воспитания,— здесь вино погубило бы эту горсть, как оно погубило диких в Америке. Винный откуп,[12] по направлению к Охотскому морю, нейдет далее ворот Якутска. В этой мере начальства кроется глубокий расчет — и уже *зародыш не Европы в Азии,* а русский, самобытный пример цивилизации, которому не худо бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от Ост-Индии до Китая и обратно.

Но довольно похищать из моей памятной дорожной книжки о виденном на пути с моря до Якутска: при свидании мне нечего будет вам показать. Воротимся в самый Якутск.

Я познакомился почти со всеми членами здешнего общества, и служащими и торгующими, и неслужащими и неторгующими: все они с большим участием расспрашивали о моих странствованиях и выслушивали с живым любопытством мои рассказы. Но кто бы ожидал, что в их скромной и, по-видимому, неподвижной жизни было не меньше движения и трудов, нежели во всяких путешествиях? Я узнал, что жизнь их не неподвижная, не сонная, что она нисколько не похожа на обыкновенную провинциальную жизнь; что в сумме здешней деятельности таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас из скромности, молчат. Только в якутском областном архиве хранятся материалы, драгоценные для будущего историка Якутской области. Некоторые занимаются здесь и в Иркутске разбором старых рукописей и, конечно, издадут свои труды в свет. Но эти труды касаются прошедшего: подвиги нынешних деятелей так же скромно, без треска и шума, внесутся в реестры официального хранилища, и долго еще до имен их не дойдет очередь в истории.

Упомяну прежде о наших миссионерах. Здесь их, в Якутске, два: священники Хитров и Запольский. Знаете, что они делают? Десять лет живут они в Якутске и из них трех лет не прожили на месте, при семействах. Они постоянно разъезжают по якутам, тунгусам и другим племенам: к одним, крещеным, ездят для треб, к другим для обращения.

«Где же вы бывали?» — спрашивал я одного из них. «В разных местах,— сказал он,— и к северу, и к югу, за тысячу верст, за полторы, за три». «Кто ж живет в тех местах, например, к северу?» — «Не живет никто, а кочуют якуты, тунгусы, чукчи. Ездят по этим дорогам верхом, большею частью на одних и тех же лошадях или на оленях. По колымскому и другим пустынным трактам есть, пожалуй, и станции, но какие расстояния между ними: верст по четыреста, небольшие — всего по двести верст!»

«Двести верст — небольшая станция! Где ж останавливаются? где ночуют?» — спрашивал я. «В иных местах есть *поварни*», — говорят мне.

При этом слове, конечно, представится вам и повар, пожалуй, в воображении запахнет бифштексом, котлетами...

«Поварня,— говорят мне,— пустая, необитаемая юрта, с одним искусственным отверстием наверху и со множеством природных щелей в стенах, с очагом посредине — и только». Следовательно, это quasi-поварня. Если хотите сделать ее настоящей поварней, то привезите с собой повара, да, кстати, уж и провизии, а иногда и дров, где лесу нет; не забудьте взять и огня: попросить не у кого, соседей нет кругом; прямо на тысячу или больше верст пустыня, направо другая, налево третья и так далее.

«Слава богу, если еще есть поварня! — говорил отец Никита,— а то и не бывает...» «Как же тогда?» — «Тогда ночуем на снегу».— «Но не в сорок градусов, надеюсь».— «И в сорок ночуем: куда ж деться?» — «Как же так? ведь, говорят, при 40° дышать нельзя...» — «Трудно, грудь режет немного, да дышим. Мы разводим огонь, и притом в снегу тепло. Мороз ничего,— прибавил он,— мы привыкли, да и хорошо закутаны. А вот гораздо хуже, когда застанет пурга...»

Пурга стоит всяких морских бурь: это снежный ураган, который застилает мраком небо и землю и крутит тучи снегу: нельзя сделать шагу ни вперед, ни назад; оставайтесь там, где застала буря; если поупрямитесь, тронетесь — не найдете дороги впереди, не узнаете вашего и вчерашнего пути: где были бугры, там образовались ямы и овраги; лучше стойте и не двигайтесь. «Мы однажды добрались в пургу до юрты,— говорил отец Никита,— а товарищи отстали: не послушали инстинкта собак, своротили их не туда, куда те мчали, и заблудились. Три дня ждали их, и когда прояснилось небо, их нашли у дверей юрты. Последнюю ночь они провели тут, не подозревая жилья». Какова должна быть погода!

На днях священник Запольский получил поручение ехать на юг, по радиусу тысячи в полторы верст или и больше: тут еще никто не измерял расстояний; это новое место. Он едет разведать, кто там живет, или, лучше сказать, живет ли там кто-нибудь: и если живет, то исповедует ли какую-нибудь религию, какую именно и т. п., словом, узнать все, что касается до его обязанностей.

«Как же вы в новое место поедете? — спросил я,— на чем? чем будете питаться? где останавливаться? По этой дороге, вероятно, поварен нет...» «Да, трудно; но ведь это только в первый раз,— возразил он,— а во второй уж легче».

А он в первый раз и едет, значит, надеется ехать и во второй,

может быть, и в третий. «Можно разведать,— продолжал он,— есть ли жители по пути или по сторонам, и уговориться с ними о доставке на будущее время оленей...» «А далеко ли могут доставлять оленей?» — спросил я. «Да хоть из-за шести- или семисот верст, и то доставят. Что вы удивляетесь? — прибавил он,— ведь я не первый: там, верно, кто-нибудь бывал: *в Сибири нет места, где бы не были русские»*. Замечательные слова! «Долго ли вы там думаете пробыть?» — спросил я. «Летом, полагаю, я вернусь». Летом, а теперь октябрь!

Вы видите, что здесь в религиозном отношении делается все то же самое, что уже сделано для алеутов. Не нужно напоминать вам имя архипастыря, который много лет подвизался на пользу подвластных нам американских племен, обращая их в христианскую веру. Вам известен он как автор книги *«Записки об уналашкинском отделе Алеутских островов»*. Изд. в 1840 году протоиерея (ныне Камчатского, Алеутского и Курильского архиепископа Иннокентия) Вениаминова. Автор в предисловии скромно называет записки *материалами для будущей истории наших американских колоний;* но, прочтя эти *материалы*, не пожелаешь никакой другой истории молодого и малоизвестного края. [13] Нет недостатка ни в полноте, ни в отчетливости по всем частям знания: этнографии, географии, топографии, натуральной истории; но всего более обращено внимание на состояние церкви между обращенными, успехам которой он так много, долго и ревностно содействовал. Книга эта еще замечательна тем, что написана прекрасным, легким и живым языком. Кроме того, отцом Вениаминовым переложено на алеутский язык Евангелие, им же изданы алеутский и алеутско-кадьякский буквари, с присовокуплением на том и на другом языках заповедей, символа веры,[14] молитвы господней, вседневных молитв, потом счета и цифр. То же самое, кажется, если не ошибаюсь, сделано и для колош.

Если хотите подробнее знать о *состоянии православной церкви в Российской Америке,* то прочтите изданную, под заглавием этим в 1840 году, брошюру протоиерея И. Вениаминова. Теперь он, то есть преосвященный Иннокентий, подвизается здесь на более обширном поприще, начальствуя паствой двухсот тысяч якутов, несколька тысяч тунгусов и других племен, раскиданных на пространстве тысяч трех верст в длину и в ширину области. Под его руководством перелагается евангельское слово на их скудное, не имеющее права гражданства между нашими языками наречие. Я случайно был в комитете, который собирается в тишине архипастырской кельи, занимаясь переводом Евангелия. Все духовные лица здесь знают якутский язык. Перевод вчерне уже окончен. Когда я был в комитете, там занимались окончательным пересмотром Евангелия от Матфея. Сличались греческий, славянский и русский тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и поверялось всеми членами.

Почтенных отцов нередко затруднял недостаток слов в якутском языке для выражения многих не только нравственных, но и вещественных понятий, за неимением самых предметов. Например, у якутов нет слова *плод*, потому что не существует понятия. Под здешним небом не родится ни

одного плода, даже дикого яблока: нечего было и назвать этим именем. Есть рябина, брусника, дикая смородина, или, по-здешнему, *кислица*, морошка — но то ягоды. Сами якуты, затрудняясь названием многих занесенных русскими предметов, называют их русскими именами, которые и вошли навсегда в состав якутского языка. Так хлеб они и называют хлеб, потому что русские научили их есть хлеб, и много других, подобных тому. Так поступал преосвященный Иннокентий при переложении Евангелия на алеутский язык, так поступают перелагатели священного Писания и на якутский язык. Впрочем, так же было поступлено и с славянским переложением Евангелия с греческого языка.

Один из миссионеров, именно священник Хитров, занимается, между прочим, составлением грамматики якутского языка, для руководства при обучении якутов грамоте. Она уже кончена. Вы видите, какое дело замышляется здесь. Я слышал, что все планы и труды здешнего духовного начальства уже одобрены правительством. Кроме якутского языка, Евангелие окончено переводом на тунгусский язык, который, говорят, сходен с маньчжурским, как якутский с татарским. Составлена, как я слышал, и грамматика тунгусского языка, все духовными лицами. А один из здешних медиков составил тунгусско-русский словарь из нескольких тысяч слов. Так как у тунгусов нет грамоты и, следовательно, грамотных людей, то духовное начальство здешнее, для опыта, намерено разослать пока письменные копии с перевода Евангелия в кочевья тунгусов, чтоб наши священники, знающие тунгусский язык, чтением перевода распространяли между ними предварительно и постепенно истины веры и приготовляли их таким образом к более основательному познанию священного Писания, в ожидании, когда распространится между ними знание грамоты и когда можно будет снабдить их печатным переводом.

При этом письме я приложу для вашего любопытства образец этих трудов: молитву господню на якутском, тунгусском и колошенском языках,* которая сообщена мне здесь. Что значат трудности английского

* Молитва Господня. Мат<ф>. VI.9—13.

1. На якутском языке:

Бисиги Агабыть, энь баргынъ халланнаръ-юрдяляригярь! Сибетя йуянниҒгъ атыҒгъ Эеня, келлиҒгъ Энь СарстваҒгъ, кёі ггюлюгъ Эеня боллуҒгъ сирьгя-да, хайтахъ [баръ кини] халланъ-юрдюгярь; бюгюю кюньгя асыръ аспытынъ кулу бисяха, халларъ бисяха бисиги еспитинь, хайтахъ бисиги-беэбить даганы естяхтярьбитигярь халлары-бытъ, килляримя оисигини альчжархайга, быса бисигини абасытынъ.

2. На тунгусском языке:

Амкнты́ му́ть-ни ня́нялъ-дула биши! да бидинъ гэ́ринъ-ди гырбы́шъ Хи́нни; да амди́нъ ца́рство Хи́нни; да би́динъ Хин джа́лысъ, то́ръ-ли, о́нка ня́нь-ли. Клѣбъ мутъ-нивъ элэ́ и́ныгъ-ла бу́ли мутъ-тутыкъ. Ама́ли-да му́тъ-ту ко́талъ-бутъ му́тъ-нивъ, о́нка мутъ амава́ттецъ коталка́салъ-буръ му́тъ нилъ буръ; Амика́нъ-да бу́ръ му́ту урериду; аистили-да муту улкъ тукъ.

3. На колошенском языке.

Аишъ ааги, кусу Тыкикъ сгатыгіа, укатуваннъ исаги.

Атъенка́ны Царствіе јаги; екуkкасты тл̆ютах̆ъ ту јаги, тл̆zткъ, васса тыкикъ;

Катувахагіатъ ачитъ-ты яекигикатъ;

Ишанте́нъ атаkх̆ъ итунаты́ уанъ л̆юшике́гіатъ, васса уанъ ишанте́нъ та атутехkъ̆ ныгате аткуту-сыагиkӑ.

[9]Лил̆ь тучи́хъ аисаакъ люшикегигете; эакасных̆ъ уанъ цивикикувутахъ.

выговора в сравнении с этими звуками, в произношении которых участвуют не только горло, язык, зубы, щеки, но и брови, и складки лба, и даже, кажется, волосы! А какая грамматика! то падеж впереди имени, то притяжательное местоимение слито с именем и т. п. И все это преодолено!

Я забыл сказать, что для якутской грамоты приняты русские буквы, с незначительным изменением некоторых из них, посредством особых знаков, чтобы пополнить недостаток в нашем языке звуков, частью гортанных, частью носовых. Но вы, вероятно, знаете это из книги г. Бетлинка, изданной в С.-Петербурге: «Ueber die jakûtische Sparache»,* а если нет, то загляните в нее из любопытства. Это большой филологический труд, но труд начальный, который должен послужить только материалом для будущих основательных изысканий о якутском языке. В этой книге формы якутского языка изложены сравнительно с монгольским и другими азиатскими наречиями. Сам г. Бетлинк в книге своей не берет на себя основательного знания этого языка и ссылается на другие авторитеты. Для письменной грамоты алеутов и тунгусов приняты тоже русские буквы, за неимением никакой письменности на тех наречиях.

Теперь от миссионеров перейдем к другим лицам. Вы знаете, что были и есть люди, которые подходили близко к полюсам, обошли берега Ледовитого моря и Северной Америки, проникали в безлюдные места, питаясь иногда бульоном из голенища своих сапог, дрались с зверями, с стихиями — все это герои, которых имена мы знаем наизусть и будет знать потомство, печатаем книги о них, рисуем с них портреты и делаем бюсты. Один определил склонение магнитной стрелки, тот ходил отыскивать ближайший путь в другое полушарие, а иные, не найдя ничего, просто замерзли. Но все они ходили за славой. А кто знает имена многих и многих титулярных и надворных советников, коллежских асессоров, поручиков и майоров, которые каждый год ездят в непроходимые пустыни, к берегам Ледовитого моря, спят при 40° мороза на снегу — и все это *по казенной надобности?* Портретов их нет, книг о них не пишется, даже в формуляре их сказано будет глухо: «Исполняли разные поручения начальства».

Зачем же они ездят туда? Да вот, например, понадобилось снабдить одно место свежим мясом, и послали чиновника за тысячу верст заготовить столько-то сот быков и оленей и доставить их за другие тысячи верст. В другой раз случится какое-нибудь происшествие, и посылают служащее лицо, тысячи за полторы, за две верст, *произвести следствие* или просто осмотреть какой-нибудь отдаленный уголок: все ли там в порядке. Не забудьте, что по этим краям больших дорог мало, ездят всё верхом и зимой и летом, или дороги так узки, что запрягают лошадей гусем. Другой посылается, например, в Нижне-Колымский уезд,— это ни больше, ни меньше, как к Ледовитому морю, за две тысячи пятьсот или три тысячи верст от Якутска, к чукчам — зачем, вы думаете: овладеть их землей, а их самих обложить податью? Чукчи остаются до сих пор еще

** «Учебник якутского языка» *(нем.)*,— *Ред.*

в диком состоянии, упорно держатся в своих тундрах и нередко гибнут от голода, по недостатку рыбы или зверей. Завидная добыча, нечего сказать! Зачем же посылать к ним? А затем, чтоб вывести их из дикости и заставить жить по-человечески, и все даром, бескорыстно: с них взять нечего.

Чукчи держат себя поодаль от наших поселенцев, полагая, что русские придут и перережут их, а русские думают — и гораздо с бóльшим основанием, что их перережут чукчи. От этого происходит то, что те и другие избегают друг друга, хотя живут рядом, не оказывают взаимной помощи в нужде во время голода, не торгуют и того гляди еще подерутся между собой.

Чиновник был послан, сколько я могу узнать, чтоб сблизить их. «Как же вы сделали?» — спросил я его. «Лаской и подарками,— сказал он,— я с трудом зазвал их старшин на русскую сторону, к себе в юрту, угостил чаем, уверил, что им опасаться нечего, и после того многие семейства перекочевали на русскую сторону».

И они позвали его к себе. «Мы у тебя были, теперь ты приди к нам»,— сказали они и угощали его обедом, но в своем вкусе, и потому он не ел. В грязном горшке чукчанка сварила оленины, вынимала ее и делила на части руками — какими — боже мой! Когда он отказался от этого блюда, ему предложили другое, самое лакомое: сырые оленьи мозги. «Мы ели у тебя, так уж и ты, как хочешь, а ешь у нас»,— говорили они.

Он много рассказывал любопытного о них. Он обласкал одного чукчу, посадил его с собой обедать, и тот потом не отходил от него ни на шаг, служил ему проводником, просиживал над ним ночью, не смыкая глаз и охраняя его сон, и расстался с ним только на границе чукотской земли. Поступите с ним грубо, постращайте его — и во сколько лет потом не изгладите впечатления!

Любопытно также, как чукчи производят торговлю, то есть мену, с другим племенем, коргаулями, или карагаулями, живущими на островах у устья рек, впадающих в Ледовитое море. Чукча и каргауль держат в одной руке товар, который хотят променять, а в другой по длинному ножу и не спускают друг с друга глаз, взаимно следя за движениями, и таким образом передают товары. Чуть один зазевается, другой вонзает в него нож и берет весь товар себе. Об убитом никто не заботится: «Должно быть, дурной человек был!» — говорят они и забывают о нем.

О коряках, напротив, рассказывают много хорошего, о тунгусах еще больше. Последние честны, добры и трудолюбивы. Коряки живут тоже скудными рыбными и звериными промыслами, и в юртах их нередко бывает такая же стряпня, как в *поварнях,* по колымскому и другим безлюдным трактам. В голод они делят поровну между собою все, что добудут: зверя, рыбу или другое. Когда хотели наградить одного коряка за такой дележ, он не мог понять, в чем дело. «За что?» — спрашивает. «За то, что разделил свою добычу с другими».— «Да ведь у них нет!» — отвечал он с изумлением. Бились, бились, так и не могли принудить его взять награду. Хвалят тоже их за чистоту нравов. Дочь одного коряка изменила правилам нравственности. По обычаю коряков, ее следовало убить. Отец не мог

исполнить этого долга: она была любимая и единственная дочь. «Не могу,— сказал он, подавая ей веревку,— удавись сама». Она удавилась, и он несколько лет оплакивал ее.

Не то рассказывают про якутов. Хвалят их за способности, за трудолюбие, за смышленость, но в них, как в многочисленном, преобладающем здесь племени, уже развиты некоторые пороки: они, между прочим, склонны к воровству. Убийства между ними редки: они робки и боятся наказаний. Но в воровстве они обнаруживают много тонкости, которая бы не осрамила лондонских мошенников. Один якут украдет, например, корову и, чтоб зимой по следам не добрались до него, надевает на нее сары, или сапоги из конской кожи, какие сам носит. Но и хозяин коровы не промах: он поутру смотрит не под ноги, не на следы, а вверх: замечает, куда слетаются вороны, и часто нападает на покражу, узнавая по шкуре зарезанной коровы свою собственность.

Однажды несколько якутов перелезли на чужой двор украсть лошадь. Ворота заперты, вывести нельзя; они вздумали перетащить ее через забор: передние ноги уже были за забором; воры усердно тащили за хвост и другую половину лошади. Она, конечно, к этому новому способу путешествия равнодушна быть не могла и сильно протестовала с своей стороны и копытами, и головой. Хозяин вышел на шум, а воры мгновенно спрятались, кроме того, который был на улице. «Хозяин, хозяин,— кричал он,— смотри, что я застал: у тебя лошадь воруют». «И так воруют».— «Бери же ее назад». Стали тащить назад — не подается: вор с улицы крепко придерживал ее за узду. «Туда нейдет,— говорил он,— ты лучше подтолкни ее сюда; а потом отвори ворота, я ее приведу». Так и сделано. Само собою разумеется, что вор ускакал на лошади, не дождавшись хозяина.

Якуты здесь всё: кучера, слуги и ремесленники; они — хорошие скорняки, кузнецы, но особенно способны к плотничной и столярной работе. Им недостает вкуса, потому что нет образцов. Здешние древние диваны и стулья переходят из дома в дом, не меняя формы; по ним делают и новую мебель. Дайте им образец — они сделают совершенно такую же вещь. Знаете ли, что мне обещал принести на днях якут? бюст Рашели[15] из мамонтовой кости или из моржового зуба. Сюда прислан бюстик из гипса, и якут делает по нем. Якут и Рашель — каково сближение!

Кстати об изделиях из мамонтовой кости. Вы знаете, что кость эту находят не только в кусках, но в целых остовах. Мне сказывали здесь, что про найденный недавно остов мамонта кто-то выдумал объявить чукчам, что им приведется везти его в Якутск, и они растаскали и истребили его так, что теперь и следов нет.

Нет проезжего, к которому бы не явились якуты, и особенно якутки, с этими изделиями. Я купил резную подставку для часов, только она не стоит на месте. Но что это за изделия! Работа такая же допотопная, как и сама кость, с допотопными надписями гребне: *в знак любве* или *кого люблю, того дарю.* На ящиках зачем-то вырезан русский герб. Жаль, что отдаленность и глушь края мешают обратить на это внимание: кости здесь очень много, якутов еще больше, так что наши столики были бы

заставлены безделками из этого красивого материала. Один из моих спутников, князь Оболенский, хотел купить кусок необделанной кости и взять с собой. «Если немного, так, пожалуй, можно достать»,— отвечали ему. «Мне небольшой кусок»,— сказал он. «Пудов восемнадцать, что ли?» — спросили его. Но он отступился.

Еще слово о якутах. Г-н Геденштром (в книге своей «Отрывки о Сибири», С.-Петербург, 1830), между прочим, говорит, что «Якутская область — одна из тех немногих стран, где просвещение или *расширение понятий человеческих* (sic) (стр. 94) более вредно, чем полезно. Житель сей пустыни (продолжает автор), сравнивая себя с другими мирожителями, понял бы свое бедственное состояние и не нашел бы средств к его улучшению...» [16] Вот как думали еще некоторые двадцать пять лет назад!

Автор берет пороки образованного общества, как будто неотъемлемую принадлежность просвещения, как будто и самое просвещение имеет недостатки: тщеславие, корысть, тонкий обман и т. п. Кажется, смешно и уверять, что эти пороки только обличают в человеческом обществе еще недостаток просвещения. Если дикари увлекаются скорее всего заманчивостью блеска или чувственных удовольствий — что совершенно справедливо, то за ними, как за детьми, надо смотреть, что́ здесь и делается. Я выше сказал, что от Якутска до Охотского моря нет вина; против тайного провоза его приняты очень строгие меры. Если зло затем и прокрадется, так в такой незначительной степени, что оно уже не составит общей гибели. Факты свидетельствуют, что ябедничество тоже уменьшилось по судам. «Тщеславие, честолюбие и корысть», конечно, важные пороки, если опять-таки не посмотреть за детьми и дать усилиться злу; между тем эти же *пороки,* как их называет автор, могут, при разумном воспитании, повести к земледельческой, мануфактурной и промышленной деятельности, которую даже без них, если правду сказать, и не привьешь к краю. Что делается без честолюбия и корысти, в известной степени, разумеется? «Житель пустыни (говорит автор) понял бы свое бедственное положение и не нашел бы средств к его улучшению». Напротив, тогда-то и нашел бы, когда бы понял, или ему нашли бы, и находят.

Просвещение якута пока состоит в том, чтоб приучить его к земледелию, к скотоводству, к торговле; все это и делается. Нужды нет, что он живет в пустыне, просвещение находит средство справиться и с пустыней. Думали же прежде, что здесь не родится хлеб; а принялись с уменьем и любовью к делу — и вышло, что родится. Вот теперь разводят овец. Конечно, долго еще ждать, когда мы будем носить сукна якутских фабрик; но этого и не нужно пока. Слава богу, да, слава богу, не во гнев автору, что якуты теперь едят хлеб, а не кору, носят русское сукно, а не сырую звериную кожу! Дикие добродетели, простота нравов — какие сокровища: есть о чем вздыхать! Говорят, дикари не пьют, не воруют — да, пока нечего пить и воровать; не лгут — потому что нет надобности. Хорошо, но ведь оставаться в диком состоянии нельзя. Просвещение, как пожар, охватывает весь земной шар. «Но да пощадит оно,— восклицает

автор (то есть просвещение) (стр. 96),— якутов и подобных им, к которым природа их земли была мачехою!» Другими словами: просвещенные люди! не ходите к якутам: вы их развратите! Какой чудак этот автор! А где же взять шубу? ведь это все у якутов, не у них, так у тунгусов, наконец, у алеутов, у колош и т. д., все у тех же дикарей! Природа не совсем была к ним мачеха, наградив их край соболями, белками, горностаем и медведями.[17]

Книга г. Геденштрома издана в 1830 году; может быть, автор с тех пор и сам отказался от своего парадокса.

Впрочем, обе приведенные книги, «Поездка в Якутск» и «Отрывки о Сибири», дают, по возможности, удовлетворительное понятие о здешних местах и вполне заслуживают того одобрения, которым наградила их публика. Первая из них дала два, а может быть, и более изданий. Рекомендую вам обе, если б вы захотели узнать что-нибудь больше и вернее об этом отдаленном уголке, о котором я, как проезжий, встретивший нечаянно остановку на пути и имевший неделю-другую досуга, мог написать только этот бледный очерк.

Не указываю вам других авторитетов, важнее, например, книги барона Врангеля:[18] вы давным-давно знаете ее; прибавлю только, что имя этого писателя и путешественника живо сохранилось в памяти сибиряков, а книгу его непременно найдете в Сибири у всех образованных людей.

Мне остается сказать несколько слов о некоторых из якутских купцов, которые также достигают до здешних геркулесовых столпов, то есть до Ледовитого моря или в противную сторону, до неведомых пустынь. Один из них ездит, например, за пятьсот верст еще далее Нижнеколымска, до которого считается три тысячи верст от Якутска, к чукчам, другой к югу, на реку Уду, третий к западу, в Вилюйский округ.

«Свет мал, а Россия велика»,— говорит один из моих спутников, пришедший также кругом света в Сибирь. Правда. Между тем приезжайте из России в Берлин, вас сейчас произведут в путешественники; а здесь изъездите пространство втрое больше Европы, и вы все-таки будете только *проезжий*. В России нет путешественников, всё проезжие, несмотря на то, что теперь именно это стало наоборот. Разве по железным дорогам путешествуют? Они выдуманы затем, чтоб «проезжать» пространства, не замечая их. Теперь я вижу, что у нас, в этих отдаленных уголках, только еще и можно путешествовать, в старинном, занимательном смысле слова, с лишениями, трудностями, с запасом чуть не на год провизии, с перинами и самоварами. Да и то, благодаря здешнему начальству, исчезает понемногу. И здесь заводятся удобства: того и гляди скоро не дадут выспаться на снегу, и в поварни приставят поваров — беда: совсем истребится порода путешественников! Обратимся к купцам.

Они берут известное число лошадей, смотря по количеству товара, иногда до сорока, едут, каждый по своему радиусу, в некоторые сборные пункты, которые называются великолепным именем *ярмарок*. Туда к известному дню стекаются якуты, чукчи, тунгусы и прочие, и производится мена. Чукчи покупают простой листовой табак, называемый здесь *черкасским*, и железные изделия, топоры, гвозди и проч., якуты — бумаж-

ные и шерстяные материи, дабу,[19] грубые ситцы, холстину, толстое сукно, также чай, сахар; последний большею частию в леденце, вывозимом из Китая.

Купцы выменивают от них пушной товар, добытый в течение лета и осени; товар этот покупают у них, как выше сказано, приезжающие сюда на ярмарку в июле иркутяне, перепродают на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки или в Кяхту, оттуда в Китай и т. д.

Вот вам происхождение горностаевых муфт и боа, беличьих тулупов и лисьих салопов, собольих шуб и воротников, медвежьих полостей — всего, чем мы щеголяем за Уральским хребтом! Купцы отправляются в ноябре и возвращаются в апреле. Им сопутствуют иногда жены — и все переносят: ездят верхом, спят если не в поварнях, так под открытым небом, и живут по многим месяцам в пустынных, глухих уголках, и не рассказывают об этом, не тщеславятся. А американец или англичанин какой-нибудь съездит, с толпой слуг, дикарей, с ружьями, с палаткой, куда-нибудь в горы, убьет медведя — и весь свет знает и кричит о нем!

Купцы, однако, жаловались мне, что торг пушными товарами идет гораздо тише прежнего, так что едва стоит ездить в отдаленные края. Они искали разных причин этому, приписывая упадок торговли частью истреблению зверей, отчего звероловы возвышают цены на меха, частью беспокойствам, возникшим в Китае, отчего будто бы меха сбываются с трудом и дешево.

Но, кажется, причина тут другая: на некоторых пунктах по Лене открылись золотые прииски: золотопромышленники основали там свое пребывание, образовав около себя новые центры деятельности. Туда потянулось народонаселение, понадобились руки, там и товар находит сбыт. Вскоре, может быть, загремят имена местечек и городков, теперь едва известных по имени: Олекминска, Витима и других. Здесь имена эти начинают повторяться чаще и чаще. Люди там жмутся теснее в кучу; пустынная Лена стала живым, неумолкающим, ни летом, ни зимою, путем. Это много отвлекло рук и капиталов от Якутска.

Я так думал вслух, при купцах, и они согласились со мною. С общей точки зрения оно очень хорошо; а для этих пяти, шести, десяти человек — нет. Торговля в этой малонаселенной части империи обращается, как кровь в жилах, помогая распространению народонаселения. Одно место глохнет, другое возникает рядом, потом третье и так далее, а между тем люди разбредутся в разные стороны, оснуются в глуши и, вместо золота, начнут добывать из земли что-нибудь другое.

Но довольно. Как ни хорошо отдохнуть в Якутске от трудного пути, как ни любезны его жители, но пробыть два месяца здесь — утомительно. Боже сохрани от лютости скуки и сорокаградусных морозов! Пора, пора, морозы уже трещат: 32, 35 и 37°; скоро *дышать будет тяжело.* В прошедшем году мороз здесь достигал, говорят, до 48°.

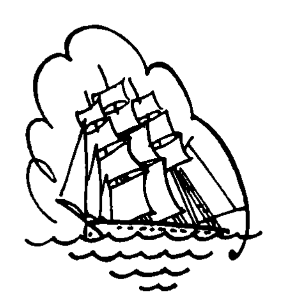
А я все хожу в петербургском байковом пальто и в резиновых калошах. Надо мной смеются и пророчат простуду, но ничего: только брови, ресницы, усы, а у кого есть и борода, *куржевеют*, то есть покрываются льдом, так что

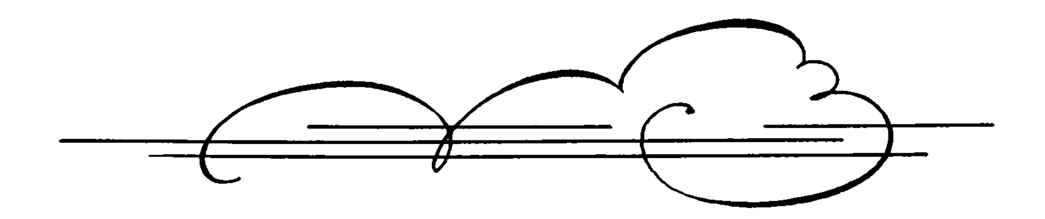
брови срастаются с ресницами, усы с бородой и образуют на лице ледяное забрало; от мороза даже зрачкам больно.

Вот и повозка на дворе, щи в замороженных кусках уже готовы, мороженые пельмени и струганина [20] тоже; бутылки с вином обшиты войлоком, ржаной хлеб и белые булки — все обращено в камень.

Я простился со всеми: кто хочет проводить меня пирогом, кто прислал рыбу на дорогу, и все просят непременно выкушать наливочки, холодненького... Беда с непривычки! Добрые приятели провожают с открытой головой на крыльцо и ждут, пока сядешь в сани, съедешь со двора,— им это ничего. Пора, однако *шибко* пора!

Якутск, ноябрь, 1854.





IX

ДО ИРКУТСКА

Город Олекма.— Лена.— Станции по ней.— Сорок градусов мороза.— Вино и щи в кусках.— Юрты с чувалами.— Леса.— Тунгусы.— Витима.— Киренск.— Лошади и ямщики.

Я выехал из Якутска 26 ноября, при 36° мороза; воздух чист, сух, остр, режет легкие, и горе страждущим грудью! но зато не приобретешь простуды, флюса, как, например, в Петербурге, где стоит только распахнуть для этого шубу. Замерзнуть можно, а простудиться трудно.

И какое здесь прекрасное небо, даром что якутское: чистое, с радужными оттенками! Доха, то есть козлиная мягкая шкура (дикого горного козла), решительно защищает от всякого мороза и не надо никакого тулупа под нее: только тяжести прибавит. Она легка, пушиста и греет в 40°! Не защитит лишь от ветра, от которого ничто не защитит. Как же тогда? Опустите замет[1] у повозки, или спрячьтесь, или, наконец, как знаете. Лошади от ветра воротят морды назад, ямщики тоже, и седоки прячут лицо в подушки — напрасно: так и режет шею, спину, грудь и непременно доберется до носа. У меня даже пятка озябла — эта самая бесчувственная часть у всякого, кто не сродни Ахиллесу.[2]

Ну, так вот я в дороге. Как же, спросите вы, после тропиков показались мне морозы? А ничего. Сижу в своей открытой повозке, как в комнате; а прежде боялся, думал, что в 30° не проедешь тридцати верст; теперь узнал, что проедешь лучше при 30° и скорее, потому что ямщики мчат что есть мочи; у них зябнут руки и ноги, зяб бы и нос, но они надевают на шею боа.

Еду я все еще по пустыне и долго буду ехать: дни, недели, почти месяцы. Это не поездка, не путешествие, это особая жизнь: так длинен этот путь, так однообразно тянутся дни за днями, мелькают станции за станциями, стелются бесконечные снежные поля, идут по сторонам Лены высокие горы с красивым лиственничным лесом.

Еще однообразнее всего этого лежит глубокая ночь две трети суток над этими пустынями. Солнце поднимается невысоко, выглянет из-за гор, протечет часа три, не отрываясь от их вершин, и спрячется, оставив после себя

Олекма. Фотография. ИРЛИ. Ленинград.

продолжительную огнистую зарю. Звезды в этом прозрачном небе блещут так же ярко, лучисто, как под другими, не столь суровыми небесами. [3]

По Лене живут всё русские поселенцы и, кроме того, много якутов: оттого все русские и здесь говорят по-якутски, даже между собою. Все их сношения ограничиваются якутами да редкими проезжими. Летом они занимаются хлебопашеством, сеют рожь и ячмень, больше для своего употребления, потому что сбывать некуда. Те, которые живут выше по Лене, могут сплавлять свои избытки по реке на золотые прииски, находящиеся между городами Киренском и Олекмой.

Зимой крестьяне держат лошадей на станциях. Лошади не сильны, хотя и резвы; корм их одно сено, и потому, если разгон велик, лошади теряют силу и едва выдерживают гоньбу по длинным расстояниям между станциями. Все станции расположены на пригорках, оттого при подъеме и спуске всегда берутся предосторожности. Экипажи спускают на Лену на одной лошади, или *коне,* как здесь все говорят, и уже внизу подпрягают других, и тут еще держат их человек пять ямщиков, пока садится очередный ямщик; и когда он заберет вожжи, все расступятся и тройка или пятерка помчит что есть мочи, но скоро утомится: снег глубок, бежать вязко, или, по-здешнему, *убродно.*[4]

Мне странно показалось, что ленские мужички обращают внимание на такую мелочь, спускают с гор на одном коне: это не в нашем характере. Ну, как бы не махнуть на тройке! Верно, начальство притесняет, велит

остерегаться! Впрочем, я рад за шею ближнего, и в том числе за свою.

Многим нравится дорога не как путешествие, то есть наблюдение нравов, перемена мест и проч., а просто как дорога. Есть же охотники переезжать с квартиры на квартиру; гулять по осенней слякоти и т. п. Славно, говорят любители дороги, когда намерзнешься, заиндевеешь весь и потом ввалишься в теплую избу, наполнив холодом и избу, и чуланчик, и полати, и даже под лавку дунет холод, так что сидящие по лавкам ребятишки подожмут голые ноги, а кот уйдет из-под лавки на печку... «Хозяйка, самовар!» И пойдет суматоха: на сцену является известный погребец,[5] загремят чашки, повалит дым, *с душистой струей,*[6] от маленького графинчика, в печке затрещит огонь, на сковороде от поливаемого масла раздается неистовое шипенье; а на столе поставлена уж водка, икра, тарелки etc., etc.* Если спутник не один, идет шумный разговор, а один, так он выберет какого-нибудь старика и давай экзаменовать его: «Сколько хлеба, да какой, куда сбываете? А ты что спряталась, красавица? — тут же скажет девке мимоходом,— поди сюда!» Или даст разинувшему рот, не совсем умытому мальчишке кусок сахару: все это называется «удовольствием». Пожалуй, почему и не так? Но когда это удовольствие тянется так долго, как мое, тогда дашь ему и другое название.[7]

Здесь идет правильный почтовый тракт, и весьма исправный, но дорога не торная, по причине малой езды. Проедет почта или кто-нибудь из служащих, и опять замолкнет надолго путь, а дорогу заметет первым ветром. Приходится проезжему вновь пролагать ее по снежным буграм: от этого здесь дорога постоянно тяжела для лошадей. Едут и рекой, где можно, лугами, островами и берегом. На одной станции случается ехать по берегу, потом спуститься на проток Лены, потом переехать остров, выехать на самую Лену, а от нее опять на берег, в лес. Иногда же, напротив, едешь по Лене от станции до станции, любуешься то горами, то торосом, то есть буграми льда, где Лена встала неровно; иногда видишь в одном месте стоит пар над рекой. «Что такое?» — спросишь. «Наледи»,— говорят, то есть проступающая сквозь лед вода или вытекающие на ленский лед горные ключи, вероятно минеральные, которые иногда вовсе не замерзают, может быть от присутствия в них газов. К весне, в феврале и марте, дорога по Лене, говорят, очень хороша, укатана.

Какие развлечения на таком длинном переезде? Приедешь на станцию: «Скорей, скорей дай *кусочек* вина и *кружок* щей». Все это заморожено и везется в твердом виде; пельмени тоже, рябчики, которых здесь множество, и другая дичь. Надо иметь замороженный черный и белый хлеб. На станциях есть молоко, кое-где яйца, местами овощи, но на это нельзя рассчитывать. Жители, по малому числу проезжих, держат все это только для себя или отправляют, если близко, на прииски, которые много поддерживают здешние места, доставляя работу. Туда стекается народ: предметов потребления надобится все больше и больше, обозы идут чаще из Иркутска на прииски и обратно — и формируется центр сильного народонаселения и деятельности. Та же история, что в Калифорнии, в Австра-

* и т. д., и т. д. *(лат.)*.— *Ред.*

лии. Это напоминает басню о кладе,[8] завещанном стариком своим детям. Дело — не в золоте.

Первые дни мороз был уж очень силен. Высунешь на минуту руку поправить что-нибудь — и пальцы озябнут до костей; дотронешься даже до дерева, и то жжется, как железо. На одной станции я спросил, сколько считают они градусов такого мороза. «Градусов пятьдесят, батюшка»,— сказала мне старуха. Человек мой усмехнулся. «Градусов пятьдесят не бывает»,— сказал он. «И! родимый! у нас и семьдесят бывает»,— отвечала она. «Когда же кончаются эти морозы?» — «А в апреле, кормилец; в мае все тает, а уж в июне, в половине, и высохнет все».— «Как вы это живете тут?» — спросил я. «Да мы уж *обнатуренные*»,— сказала она. «А лето у вас хорошо?» — спросил я. «*Годявое,* да только коротко: сеем ярицу, да озябает, не каждый год родится, а когда родится, так хорошо».

В другом месте станционный смотритель позабавил меня уж другим языком. Он предложил обедать у него. «А что у вас есть?» — «Налимы имеются».— «А мясо есть?» — «Имеется баранина».— «Да скоро ли все это поспеет?» — «Быстро соорудим».

Откуда этот язык, да и *обнатуренные* — кто завез сюда?

Хороши камельки, или чувалы, на станциях и вообще в юртах. Как войдешь с морозу, охватит вас и в минуту согреет тепло, которое так и пышет от целого костра стоймя горящих поленьев лиственницы. Она лучше даже березы на дрова: славно горит и долго держит жар. Толпа крестьян, женщин, мальчишек в минуту похватают у вас кто шарф, кто шапку, рукавицы и тотчас высушат, держа у камина. Тот вам подвигает скамью, другой — стул. На станциях большею частью опрятно, сухо и просторно; столы, лавки и кровати — все выстругано из чистого белого дерева. Ветхие избы предположено весной перестроить по новому, лучшему образцу. Тесниться в духоте уже не позволено. Со мною в одно время ехал посланный из Якутска офицер, для осмотра старых строений.

Пустыня имеет ту выгоду, что здесь нет воровства. Кибитка стоит на улице, около нее толпа ямщиков, и ничего не пропадает. По дороге тоже все тихо. Нет даже волков или редко водятся где-то в одном месте. Медведи зимой все почивают.

Мне, по случаю трудной дороги, подпрягают пять и шесть лошадей, хотя повозка у меня довольно легка, но у нее есть подрези,[9] а здесь ездят без них: они много прибавляют тяжести по рыхлому снегу. Еще верст двести, триста, и потом уже будут запрягать лошадей гусем, по семи, восьми и даже десяти лошадей, смотря по экипажу. Там глубоки снега и дорога узенькая, так что тройка не уместится в ряд.

Каменская станция. 7-го декабря.

Мороз не смягчается ни на минуту: везде по станциям говорят, что он свыше 40°. Я думал гораздо больше об этом морозе; я его легко переношу. Сегодня попались плохие лошади, и мы ехали тридцать верст $4^1/_2$ часа — мне и горя мало! Еще под Якутском один ямщик предложил мне «проехать

зараз, вместо двадцати, сорок пять верст».— «Что ты, любезный, с ума сошел: нельзя ли, вместо сорока пяти, проехать только двадцать?» — «Сделайте божескую милость,— начал он умолять,— на станции гора крута, мои кони не встащат, так нельзя ли вам остановиться внизу, а ямщики сведут коней вниз и там заложат, и вы поедете еще двадцать пять верст?» «*Однако* не хочу,— сказал я,— если озябну, как же быть?» «Да как-нибудь уж...» Я сделал ему милость — и ничего. Только с носа кожа лупится.

Сегодня я проехал мимо полыньи: несмотря на лютый мороз, вода не мерзнет, и облако черного пара, как дым, клубится над ней. Лошади храпят и пятятся. Ямщик франт попался, в дохе, в шапке с кистью, и везет плохо. Лицо у него нерусское. Вообще здесь смесь в народе. Жители по Лене состоят и из крестьян и из сосланных на поселение из разных наций и сословий; между ними есть и жиды, и поляки, есть и из якутов. Жидов здесь любят: они торгуют, дают движение краю.

Сегодня я ночевал на *Ноктуйской* станции; это центр жительства золотоприискателей. Тут и дорога получше, и все живее, потому что много проезжих. Лена делается у́же; в ином месте и версты нет, только здесь выдался плес, версты в две. Берега, крутые оба, сплошь покрыты лесом.

Скоро ехать нет возможности, как ездят, например, в европейской России. Там можно, не выходя из экипажа, переменить лошадей и ехать далее. Можно даже закусить в экипаже и выйти на пять минут, съесть кусочек сыру, ветчины, холодной телятины: а здесь все замерзает до того, что надо щи рубить топором или ждать час, пока у камина отогреются. Вот и остановка. Вы с морозу, вам хочется выпить рюмку вина, бутылка и вино составляют одну ледяную глыбу: поставьте к огню — она лопнет, а в обыкновенной комнатной температуре не растает и в час; захочется напиться чаю — это короче всего, хотя хлеб тоже обращается в камень, но он отходит скорее всего; но вынимать одно что-нибудь, то есть чай, сахар — нельзя: на морозе нет средства разбирать, что взять, надо тащить все: и вот опять возни на целый час — собирать все!

Беда еще, когда столкнется много проезжих — лошадей мало. Вот нас едет четыре экипажа, мы и сидим теперь: я здесь, на Каменской станции, чиновник с женой и инженер — на Жербинской, другой чиновник — где-то впереди, а едущий сзади купец сидит, говорят, не на станции, а на дороге. Лошади устали, или *пристали*, как здесь говорят. Всему этому причина почта, которая настигла нас. Я забыл сказать, что мы сутки пробыли в Олекме. Это маленький, бедный городок. Там живет исправник, почтмейстер, окружной лекарь да несколько купцов. Нам указали квартиру у одного из последних. Останавливаться бы незачем, да надо возобновить запас хлеба. Добрый купец и старушка, мать его, угощали нас как родных, отдали весь дом в распоряжение, потом ни за что не хотели брать денег. «Мы ради добрым людям,— говорили они,— ни за что не возьмем: вы нас обидите». Мы немало смеялись над madame К., которая в уверенности, что возьмут деньги, командовала в доме, требуя того, другого.

На Каменской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря,— это две тысячи верст: до Иркутска столько же

остается — что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по европейской России!

К удивлению моему, здешние крестьяне недовольны приисками: все стало дороже: пуд сена теперь стоит двадцать пять, а иногда и пятьдесят, хлеб девяносто коп.— и так все. Якутам лучше: они здесь природные хозяева, нанимаются в рабочие и выгодно сбывают на прииски хлеб; притом у них есть много лугов и полей, а у русских нет.

Поледуйская станция. 13 декабря.

Все еще пустыня, все Лена! Я сейчас из леса: как он хорош, осыпанный, обремененный снегом! Столетние сосны, ели, лиственницы толпятся группами или разбросаны врозь. Взошел молодой месяц и осветил лес, чего тут нет? Какой разгул для фантазии: то будто женщина стоит на коленях, окруженная малютками, и о чем-то умоляет: все это деревья и кусты с нависшим снегом; то будто танцующие фигуры; то медведь на задних лапах; а мертвецов какая пропасть! Особенно когда заснешь — беда: у шапки образуются сосульки и идут к бровям, от бровей другие к ресницам, а от ресниц к усам и к шарфу. Сквозь эту ледяную решетку лес кажется совсем фантастическим. Это природная декорация «Нормы».[10]

Пока я носился мыслью так далеко, повозка моя вдруг засела в яме, в вымерзнувшей речке: эта яма из ям. Я вышел вон и стал на холме. Пней множество, настоящий храм друидов: я только хотел запеть «Casta diva»,*[11] как меня пригласили в совет, как поступить. Лошади не могут вытащить. Тимофей советовал бить передовых лошадей (мы ехали гусем), я посоветовал запрячь тройку рядом и ушел опять на холм петь, наконец ямщик нарубил кольев, и мы стали поднимать повозку сзади, а он кричал на лошадей.— «Эй, ну, дружки, чтоб вас задавило, проклятые!» Но дружки ни с места.[12] К счастью, морозу было всего каких-нибудь 31, много 32 °, а не 44, как на Николин день. [13]

Но прочь романтизм, и лес тоже! Замечу только на случай, если вы поедете по этой дороге, что лес этот находится между *Крестовской* и *Поледуевской* станциями. Но через лес не настоящая дорога: по ней ездят, когда нет дороги по Лене, то есть когда выпадают глубокие снега, аршина на полтора, и когда проступает снизу, от тяжести снега, вода из-под льда, которую здесь называют *черной водой*.

От Жербинской станции начинается Иркутская губерния и *Киренский* округ. Здесь выпадают ужасные снега, и оттого везут гусем верст на шестьсот, то есть почти от *Олекмы* до *Киренска* и даже далее. На Жербинской станции я застал беспорядок. Староста умер, и все ямщики отказывались ехать, под предлогом, что не их очередь. «А если я опоздаю в город, да меня спросят, отчего...» — начал я было свою угрозу, которая так помогала за Якутском: но здесь не помогла. Ямщики разбежались по избам и спрятались. Я сам пошел отыскивать их. Вошел в одну избу — ямщики все сидели по печкам с завязанными ногами и охали. «Батюш-

* «Дева пречистая» (*итал.*),— *Ред.*

ки! — стонали они,— смерть пришла, ноженьки, ой, ноженьки, мочи нет!» «Что у вас?» — спросил я. «Горячка»,— говорят.

Наконец одного здорового я застал врасплох и потребовал, чтобы он ехал. Он отговаривался тем, что недавно воротился и что надо лошадей кормить и самому поесть. «Сколько тебе нужно времени?» — спросил я. «Три часа».— «Корми четыре, а потом запрягай»,— сказал я и принялся, не помню в который раз, пить чай.

Ямщик пообедал, задал корму лошадям, потом лег спать, а проснувшись, объявил, что ему ехать не следует, что есть мужик Шеин, который живет особняком, на юру, что очередь за его сыновьями, но он богат и все отделывается. Я послал за Шеиным, но он рапортовался больным. Что делать? вооружиться терпением, резигнацией? так я и сделал. Я прожил полторы сутки, наконец созвал ямщиков и Шеина тоже и стал записывать имена их в книжку. Они так перепугались, а чего — и сами не знали, что сейчас же привели лошадей.

Я проехал мимо приисков, то есть резиденции золотоискателей, или «разведенции», как назвал ямщик, указывая целую колонию домиков на другом берегу Лены. [14]

«Какова дорога впереди?» — спрашиваю. «Торосовато или убродно»,— отвечал ямщик. По Лене свирепствует теперь, и часто, повальная горячка, единственная местная болезнь. Она много похитила жертв, и я на каждой станции встречаю бледные, больные лица. Еще чаще встречаю людей с знаками на лбу, щеках и особенно на носу... Mais hony soit qui mal y pense.* Это следы озноба. С любопытством всматриваюсь и вслушиваюсь во все. На Жербинской станции мне понравилась одна женщина, наполовину русская, наполовину якутская по родителям, больше всего тем, что любит мужа. [15] Когда я записал и его имя в книжку за нерадение, она ужасно начала хлопотать, чтоб мне *изладить* коней: сама взнуздывала, завязывала упряжь, помогала запрягать, чтоб только меня успокоить, чтоб я не жаловался на мужа, и делала это с своего рода грацией. Она недурна собой.

Встретил еще несчастливца. «Я не стар,— говорил ямщик Дормидон, который попробовал было бежать рядом с повозкой во всю конскую прыть, как делают прочие, да не мог,— но горе меня одолело». Ну, начинается обыкновенная песня, думал я: все они несчастливцы, если слушать их. «Что же с тобой случилось?» — спросил я небрежно. «Что? да сначала, лет двадцать пять назад, отца убили...» Я вздрогнул. «Тогда не то, что теперь: не открыли убийцу...» Я боязливо молчал, не зная, что сказать на это. «Потом моя хозяйка умерла: ну, бог с ней! Божья власть, а все горько!» «Да, в самом деле он несчастлив»,— подумал я; что же еще после этого назвать несчастьем? «Потом сгорела изба,— продолжал он,— а в ней восьмилетняя дочь... Женился я вдругорядь, прижил два сына; жена тоже умерла. С сгоревшей избой у меня пропало все имущество, да еще украли у меня однажды тысячу рублей, в другой раз тысячу шестьсот. А как наживал-то! как копил! Вот как трудно было!» Мне стало жутко от этого

* Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (*франц.*).— *Ред.*

мрачного рассказа. «Это страдания Иова!»[16]— думал я, глядя на него с почтением. Дормидон претерпел все людские скорби — и не унывает, еще возит проезжих, сбывает сено на прииски — и ничего. А мы-то: палец обрежем, ступим неосторожно... «Вон, слышите *колоколец?* — спросил он меня.— Это мой Васютка заседателя везет.— Эй, малый, вези по старой дороге,— крикнул он весело (слышите — весело!),— что нам новую-то проминать своими боками!»

Сегодня наткнулись мы на кочевье тунгусов. Пара оленей отделилась и бросилась от наших лошадей вперед и все мчалась по дороге и забежала верст за семь от кочевья, а наши лошади пятились от них. Здесь сеют рожь, ярицу и ячмень; но первая вызябает, вторая, по краткости лета, тоже не всегда удается, но зато ячмень очень хорош. Берега Лены утесисты и красивы. Островов тут почти нет; река становится все у́же. По-якутски почти никто не говорит, и станции пошли русские; есть старинные названия, данные, конечно, казаками при занятии Сибири.[17]

Чуйская станция, 13 декабря. Витима.

Лена, Лена и Лена! Но все еще пустая Лена; кое-где на лугах видны большие кучи снегу — это стога сена; кое-где три, четыре двора, есть хижины, буквально заваленные снегом, с отверстиями, то есть окошками, в которых вставлены льдины вместо стекол: ничего, тепло, только на улицу ничего не видать. В других избах, и это большею частию, окна затянуты бычачьими пузырями. На каждой станции кучи ямщиков толпятся у экипажа. Деревеньки содержат гоньбу[18] всем миром, то есть с каждого мужика требуется пара лошадей. Все ямщики «ладят коней» и толпой идут спускать с горы. Двое везут.

Витима — слобода с церковью Преображения, с сотней жителей, с приходским училищем, и ямщики почти все грамотные. Кроме извоза они промышляют ловлей зайцев, и тулупы у всех заячьи, как у нас бараньи. Они сеют хлеб. От Витимы еще около четырехсот верст до Киренска, уездного города, да оттуда девятьсот шестьдесят верст до Иркутска. Теперь пост, и в Витиме толпа постников, окружавшая мою повозку, утащила у меня три рыбы, два омуля и стерлядь, а до рябчиков и другого скоромного не дотронулись: грех!

Кажется, я миновал дурную дорогу и не «хлебных» лошадей. «Тут уж пойдут *натуральные* кони и дорога торная, особенно от Киренска к Иркутску»,— говорят мне. «Натуральные» — значит — привыкшие, приученные, а не сборные. «Где староста?» — спросишь, проехав на станцию... «Коней ладит, барин. Эй, ребята! *заревите* или *гаркните* (то есть позовите) старосту»,— говорят потом.

Смотрители здесь не везде: они заведовают пятью станциями. Из них один на *Мухтуйской* станции — франт. Он двумя пальцами грациозно взял подорожную,[19] согнув мизинец в кольцо. Форменный сюртук у него в рюмочку; сам расчесан. *Мухтуй* — называют здесь Парижем, потому что крестьяне (из ссыльных) ходят в пальто и танцуют кадрили. Но я пробыл на ней четверть часа и ничего этого не видал. Один проезжий мне сказывал, что, выехав рано утром, после проведенной здесь ночи, и вглядываясь

в лицо своего ямщика, он увидел знакомое лицо, но не мог вспомнить, где он его видел. «Я где-то видел тебя?» — спросил он наконец ямщика. «А вчера я был вашим визави в кадрили, на вечеринке»,— отвечал тот. Это уж не «натуральный» ямщик, говоря по-здешнему.

Вчера ночью я проехал так называемые *щеки,*[20] одну из достопримечательностей Лены. Это — огромные, величественные утесы, каких я мало видал и на морских берегах. Едешь у подошвы, и повозки с лошадьми похожи на ползающих насекомых. Они ужасно изрыты, дики, страшны, так что хочется скорей миновать их. Щеки эти находятся между *Пьяно-быковской* и *Частинской* станциями, верстах в тысяче двухстах от Иркутска. Какие названия станций! Всему есть местные причины, до которых археологу не трудно добраться, по молодости края. Например, *Пьяным быком* прозвали утес, о который когда-то разбилась барка с вином. Спешу сообщить вам это археологическое сведение, опасаясь, что оно погибнет от времени. Деревень еще мало: скоро пойдут, говорят, чаще, чем ближе к Иркутску. Встречаются часто приискатели, приказчики их, возы. Дорога уже лучше, торнее, морозы возобновились, да еще с ветром: несносно, спрятаться некуда.

Киренск. Решительно нельзя ехать: скоро очень везут. Только приедешь куда-нибудь, только скинешь с себя все и расположишься у теплой печки, как уж говорят, что лошади готовы. А все оттого, что кони *натуральные* и ямщики тоже. Не могу нахвалиться расторопностью и радушием здешних ямщиков: они не знают, как принять проезжего, где посадить, и угощают, чем богаты — сальной свечкой, лучинкой, скамьей. Потом (это уж такой обычай) идут все спускать лошадей на Лену: «На руках спустим»,— говорят они и каждую лошадь берут человека четыре, начинают вести с горы и ведут, пока лошади и сами смирно идут, а когда начинается самое крутое место, они все рассыпаются, и лошади мчатся до тех пор, пока захотят остановиться.

Слава богу! все стало походить на Россию: являются частые селения, деревеньки. Лена течет излучинами и ямщики, чтоб не огибать их, едут через мыски и *заимки*, как называют небольшие слободки. В деревнях по улице бродят лошади: они или заигрывают с нашими лошадьми, или, испуганные звуком колокольчиков, мчатся что есть мочи вместе с рыжим поросенком в сторону. Летают воробьи и грачи, поют петухи, мальчишки свищут, машут на проезжающую тройку, и дым столбом идет вертикально из множества труб — дым отечества! [21] Всем знакомые картины Руси! Недостает только помещичьего дома, лакея, открывающего ставни, да сонного барина в окне... Этого никогда не было в Сибири, и это, то есть отсутствие следов крепостного права,[22] составляет самую заметную черту ее физиономии.

Киренск город небольшой. «Где остановиться? — спросил меня ямщик,— есть у вас знакомые?» «Нет».— «Так управа отведет».— «А кто живет по дороге?» — «Живет Синицын, Марков, Лаврушин».— «Поезжай к Синицыну».

Повозка остановилась у хорошенького домика. Я послал спросить, можно ли остановиться часа на два погреться? Можно. И меня приняли,

сейчас угостили чаем и завтраком — и опять ничего не хотели брать.

В Киренске я запасся только хлебом к чаю и уехал. Тут уж я помчался быстро. Чем ближе к Иркутску, тем ямщики и кони *натуральнее*. Только подъезжаешь к станции, ямщики ведут уже лошадей, здоровых, сильных и дюжих на вид. Ямщики позажиточнее здесь, ходят в дохах из собачьей шерсти, в щегольских шапках. Тут ехал прискатель с семейством в двух экипажах, да я — и всем доставало лошадей. На станциях уже не с боязнью, а с интересом спрашивали: *бегут ли за нами еще подводы?*

Стали встречаться села с большими запасами хлеба, сена, лошади, рогатый скот, домашняя птица. Дорога все — Лена, чудесная, проторенная частой ездой между Иркутском, селами и приисками. «А что, смирны ли у вас лошади?» — спросишь на станции. «Чего не смирны? словно овцы: видите, запряжены, никто их не держит, а стоят».— «Как же так? а мне надо бы лошадей побойчее»,— говорил я, сбивая их. «Лошадей тебе побойчее?» — «Ну, да».— «Да эти-то ведь настоящие черти: их не удержишь ничем». И оно действительно так.

Верстах в четырехстах от Иркутска, начиная от Жегаловской станции, лошади на взгляд сухи, длинношеи, длинноплечи и не обещают силы. Они уныло стоят в упряжи, привязанные к пустым саням или бочке, преграждающей им самовольную отлучку со двора: но едва проезжие начнут садиться, они навострят уши, ямщики обступят их кругом, по двое держат каждую лошадь, пока ямщик садится на козлы. «Ты, парень,— говорят ему, — пошевеливайся, *коренняк-то* больно торопится». В самом деле, коренная поворачивает морду то направо, то налево, стараясь освободиться, пристяжные переминаются и встряхивают головой. Вот ямщик уселся, забрал вожжи, закрутил их около рук... «Ну!» — говорит он. Все мгновенно раздаются в сторону, и тройка разом выпорхнет из ворот, как птица, и мчит версты две, три вскачь, очертя голову, мотая головами, потом сажен сто резвой рысью, а там опять вскачь — и так до станции. Седок не имеет надобности побуждать ямщика, а ямщик — лошадей. Чуть лошади немного задумаются — ямщик поднимет над ними только руку или гикнет — и опять пошли. И не увидишь, как мелькнут двадцать пять верст.

К Иркутску все живее: много попадается возов; села большие, многолюдные; станционные домы чище. Крестьянские избы очень хорошие, во многих местах с иголочки.

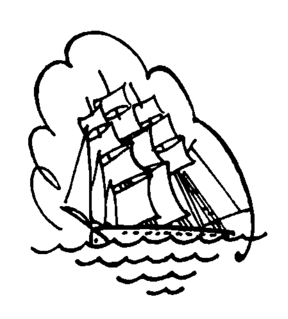
На последних пятистах верстах у меня начало пухнуть лицо от мороза. И было от чего: у носа постоянно торчал обледенелый шарф: кто-то будто держал за нос ледяными клещами. Боль невыносимая! Я спешил добраться до города, боясь разнемочься, и гнал более двухсот пятидесяти верст в сутки, нигде не отдыхал, не обедал.

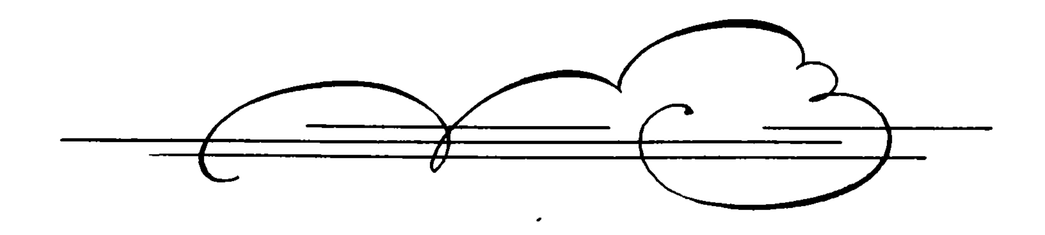
От слободы Качуги пошла дорога степью; с Леной я распрощался. Снегу было так мало, что он не покрывал траву; лошади паслись и щипали ее, как весной. На последней станции все горы; но я ехал ночью и не видал Иркутска с «Веселой горы». Хотел было доехать бодро, но в дороге сон неодолим. Какое неловкое положение ни примете, как ни сядьте, задайте себе урок не заснуть, пугайте себя всякими опасностями — и все-таки

заснете и проснетесь, когда экипаж остановится у следующей станции.

Я проснулся, однако, не на станции. «Что это? — спросил я, заметив строения,— деревня, что ли?» «Нет, это Иркутск».— «А Веселая гора?» — «Э, уж давно проехали!»

В самую заутреню [23] Рождества Христова я въехал в город. Опухоль в лице была нестерпимая. Вот уж третий день я здесь, а Иркутска не видал. Теперь уже — до свидания.





ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ*

I

11-го декабря 1873 года и 6-го января 1874 года небольшое общество морских офицеров собралось отпраздновать дружеским обедом двадцатилетнюю годовщину избавления их от гибели в означенные числа на море при крушении в 1854 году в Японии фрегата «Диана».[1]

На втором из этих обедов присутствовал и я, ласково приглашенный главным лицом этой группы, в которой было несколько офицеров, перешедщих на фрегат «Диана» с фрегата «Паллада».

Многое возобновилось в памяти плавателей за этим обедом, много приведено было забытых подробностей путешествия, особенно при крушении «Дианы». Японская экспедиция была тут почти вся в сборе, в лице главных ее представителей, кроме бывшего командира «Паллады» (теперь вице-адмирала и сенатора И. С. Унковского), и я в этом знакомом мне кругу стал как будто опять плавателем и секретарем адмирала. Возьму же опять перо, перенесусь на двадцать лет назад и доскажу, между прочим, о том, что сталось с «Палладой» и как заключилось дальнейшее плавание моих спутников после того, как я расстался с ними.

А заключилось оно грандиозной катастрофой, именно землетрясением в Японии и гибелью фрегата «Дианы», о чем в свое время газеты извещали публику. О том же подробно доносил великому князю, генерал-адмиралу, начальник экспедиции в Японию генерал-адъютант (ныне граф) Е. В. Путятин.[2]

Бывают нередко страшные и опасные минуты в морских плаваниях вообще: было несколько таких минут и в нашем плавании до берегов Японии. Но такие ужасы, какие испытали наши плаватели с фрегатом «Диана», почти беспримерны в летописях морских бедствий.

Обязанность — изложить событие в донесении — лежала бы на мне, по

---

* Эти главы были помещены в литературном сборнике «Складчина», изданном в пользу голодающих самарцев.

моей должности секретаря при адмирале, если б я продолжал плавание до конца. Но я не жалею, что не мне пришлось писать рапорт: у меня не вышло бы такого капитального произведения, как рапорт адмирала («Морской сборник», июль, 1855).

Я могу только жалеть, что не присутствовал при эффектном заключении плавания и что мне не суждено было сделать иллюстрацию этого события, под влиянием собственного впечатления, наряду со всем тем, что мне пришлось самому видеть и описать.

В то самое время, как мои бывшие спутники близки были к гибели, я, в течение четырех месяцев, проезжал десять тысяч верст по Сибири, от Аяна на Охотском море до Петербурга, и, в свою очередь, переживал если не страшные, то трудные, иногда и опасные в своем роде минуты.

Я совершенно случайно избежал участи, постигшей моих товарищей. Открылась Крымская кампания. Это изменяло первоначальное назначение фрегата и цель его пребывания на водах Восточного океана. Дело, начатое с Японией о заключении торгового трактата и об определении наших с нею границ на острове Сахалине, должно было, по необходимости, прекратиться. Адмирал, в последнее наше пребывание в Нагасаки, решил идти сначала к русским берегам Восточной Сибири, куда, на смену «Палладе», должен был прибыть посланный из Кронштадта фрегат «Диана»; потом зайти опять в Японию, условиться о возобновлении, после войны, начатых переговоров. Далее нельзя было предвидеть, какое положение пришлось бы принять по военным обстоятельствам: оставаться ли у своих берегов, для защиты их от неприятеля, или искать встречи с ним на открытом море. Может быть, пришлось бы, по неимению известий о неприятеле, оставаться праздно в каком-нибудь нейтральном порте, например в Сан-Франциско, и там ждать исхода войны.

Я испугался этой перспективы неизвестности и «ожидания» на неопределенный срок, где бы то ни было, у наших ли пустынных азиатских берегов, или хотя бы и в таком новом для меня занимательном месте, как Сан-Франциско. Что там делать месяцы, может быть, год или годы — ибо как было предвидеть конец войны? Тогда Pacific Rail Road * еще не было, чтобы пробраться через американский материк домой,— и мне пришлось бы отдать себя на волю случайных обстоятельств, то есть оставаться там без цели, праздным и лишним лицом.

Притом два года плавания не то что утомили меня, а утолили вполне мою жажду путешествия. Мне хотелось домой, в свой обычный круг лиц, занятий и образа жизни.

Я намекнул адмиралу о своем желании воротиться. Но он, озабоченный начатыми успешно и не оконченными переговорами и открытием войны, которая должна была поставить его в неожиданное положение участника в ней, думал, что я считал конченным самое дело, приведшее нас в Японию. Он заметил мне, что не совсем потерял надежду продолжать с Японией переговоры, несмотря на войну, и что, следовательно, и мои обязанности секретаря нельзя считать конченными.

---

* Тихоокеанская железная дорога (в США, *англ.*),— *Ред.*

Императорская гавань. Вышеславцев.

А того, что кончилось мое желание путешествовать, он не заметил, несмотря на мой глубокий вздох, которым я встретил его ответ.

Да я и не путешествовал, а плавал по «казенной надобности». Я был «командирован для исправления должности секретаря при адмирале, во время экспедиции к нашим американским владениям»: так записано было у меня в формулярном списке. Следовательно, у меня и не было никакого права на «хочу» или «не хочу» оставаться или воротиться. Но потом, после нескольких разговоров с адмиралом об этом, он сам сжалился. Я видимо стал скучать, да, может быть, он и сам сомневался, удастся ли ему идти в Японию, так как на первом плане теперь была у него обязанность не дипломата, а воина.

И вот он, неожиданно для меня, с свойственной ему добротой, однажды решил: «Бог с вами, поезжайте: я знаю, что здесь вам скучно будет теперь».

Я не заставил повторять себе этого приглашения и ни одну бумагу, в качестве секретаря, не писал так усердно, как предписание себе самому, от имени адмирала, «следовать до С.-Петербурга, и чтобы мне везде чинили свободный пропуск и оказываемо было в пути, со стороны начальствующих лиц, всякое содействие» и т. д.

Все это происходило в устьях Амура. Фрегат «Диана» уже пришел на смену «Палладе», которая отслужила свой срок, состарелась и притом избита была вытерпенными нами штормами, особенно у мыса Доброй Надежды, и ураганом в Китайском море. Сначала ее хотели ввести в устье Амура, но по мелководью это оказалось невозможно. Ее оставили в Татарском проливе, в Императорской бухте. Ее разоружили, то есть сняли с нее пушки, порох, такелаж, все, что можно было снять, а ветхий остов ее был оставлен под надзором моряков и казаков, составлявших наш пост в этой бухте, с тем, чтобы в случае прихода туда французов или англичан его затопили, не давая неприятелю случая похвастаться захватом русского судна.

Так «Паллада» и кончила свое существование в этой бухте: от нее оставалось одно днище, которое, вероятно, пригодилось на что-нибудь нашим людям, содержавшим там пост.

Во время этих хлопот разоружения, перехода с «Паллады» на «Диану», смены одной команды другою, отправления сверхкомплектных офицеров и матросов сухим путем в Россию, я и выпросился домой. Это было в начале августа 1854 года.

Тогда же приехал к нам с Амура бывший генерал-губернатор Восточной Сибири, Н. Н. Муравьев, и, пробыв у нас дня два на фрегате, уехал в Николаевск, куда должна была идти и шкуна «Восток», для доставления его со свитою в Аян, на Охотском море. На этой шкуне я и отправился с фрегата и с радостью, что возвращаюсь домой, и не без грусти, что должен расстаться с этим кругом отличных людей и товарищей.

Помню еще теперь минуту комического страха, которую я испытал, впрочем напрасно, когда, отойдя на шкуне версту от фрегата, мы стали на мель в устье Амурского лимана. Он весь усеян мелями, так что даже и легкая шкуна наша, и до Николаевска, и после него до Охотского моря, беспрестанно становилась на мель. Но это ей, и всякому маленькому

судну, нипочем. Она так же легко снималась с мелей, как и становилась на них. Я был внизу в каюте и располагался там с своими вещами, как вдруг бывший наверху командир ее, покойный В. А. Римский-Корсаков, крикнул мне сверху: «Адмирал едет к нам: не за вами ли?» Я на минуту остолбенел, потом побежал наверх, думая, что Корсаков шутит, пугает нарочно. Нет, не шутит: вон синяя гичка и в ней адмирал! «Да, верно передумал!» — с ужасом думал я, глядя на гичку.

Но адмирал приехал за каким-то другим делом, а более, кажется, взглянуть, как мы стоим на мели, или просто захотел прокатиться и еще раз пожелать нам счастливого пути — теперь я уже забыл. Тут мы окончательно расстались до Петербурга.

II

Обращаюсь к вышесказанным мною словам о страшных и опасных минутах, испытанных нами в плавании.

«Страшные» и «опасные» минуты — это не синонимы, как не синонимы и сами слова «страх» и «опасность» вообще, на море особенно. Страшных минут для иных вовсе не существует, для других — их множество. Это зависит от привычки или непривычки к морю, то есть от знакомства или незнакомства с его характером, с устройством и управлением корабля, и наконец, от нервозности характера или от воспитания плавателя. Новичку все кажется страшно или сомнительно на корабле. «Пошел все наверх!» — скомандует боцман, и четыреста человек бросятся, как угорелые, точно спасать кого-нибудь или сами спасаться от гибели, затопают по палубе, полезут на ванты: не знающий дела или нервозный человек вздрогнет, подумает, что случилась какая-нибудь беда. Ничего не бывало: надо прибавить или убавить парусов или что-нибудь в этом роде. А там загремит бегущий по роульсам (колесцам) канат. Не то так от качки, как будто с отчаяния, распахнет свои дверцы какой-нибудь шкаф в каюте, и вся его внутренность, то есть посуда, с треском и звоном полетит во все стороны и разобьется вдребезги. Чего не представится испуганному воображению нового плавателя при этом треске! Минута — «страшная», но только разве для буфетчика, который не запер крепко дверцы и которому за это достанется.

Так и мне, не ходившему дотоле никуда в море далее Кронштадта и Петергофа, приходилось часто впадать в сомнение при этих, по непривычке «страшных», но вовсе не «опасных» шумах, тресках, беготне, пока я не ознакомился с правилами и обычаями морского быта.

Другое дело «опасные» минуты: они не часты, и даже иногда вовсе незаметны, пока опасность не превратится в прямую беду. И мне случалось забывать или, по неведению, прозевать испугаться там, где бы к этому было больше повода, нежели при падении посуды из шкафа, иногда самого шкафа или дивана.

О многих «страшных» минутах я подробно писал в своем путевом журнале, но почти не упомянул об «опасных»: они не сделали на меня впечатления, не потревожили нерв — и я забыл их или, как сказал сейчас,

прозевал испугаться, оттого, вероятно, прозевал и описать. Упомяну теперь два-три таких случая.

Идучи на фрегате «Паллада» из Кронштадта в Англию, мы проходили Зунд.

Я писал тогда, как неблагоприятно было наше плавание по Балтийскому морю, в октябрьскую холодную погоду, при противных ветрах и туманах. Кроме того, как я тоже писал, у нас умерло три человека от холеры. И привычным людям казалось трудно такое плавание, а мне, новичку, оно было еще невыносимо и потому, что у меня, от осеннего холода, возобновились жестокие припадки, которыми я давно страдал, невралгии с головными и зубными болями. В каюте, от внешнего воздуха с дождем, отчасти с морозом, защищала одна рама в маленьком окне.

Иногда я приходил в отчаяние. Как, при этих болях, я выдержу двух- или трехгодичное плавание? Я слег и утешал себя мыслью, что, добравшись до Англии, вернусь назад. И к этому еще туманы, качка и холод!

С приближением к Дании воздух стал гораздо мягче, теплее, но туманы продолжались. При входе в Зунд мы, как всегда делается в узких проходах, вызвали лоцмана, чтобы провести нас проливом. Вызывают обыкновенно лоцманским флагом, а если флаг не виден, палят из пушки. Но, вероятно, флага, за туманом, с берегу не было видно (я теперь забыл эти подробности), а пушка могла палить и по другой причине: что бы там ни было, но лоцман не явился. Мы шли, так сказать, ощупью, подвигаясь тихо, осторожно, но все же подвигались: нельзя стать в открытом море на одном месте. Когда туман прояснился, мы были уже в проливе.

Было тепло, мне стало легче, я вышел на палубу. И теперь еще помню, как поразила меня прекрасная, тогда новая для меня, картина чужих берегов, датского и шведского.

Обаяние, производимое величественною картинностью моря и берегов, возымело свое действие надо мною. Я невольно отдавался ему, но потом опять возвращался к своим сомнениям: привыкну ли к морской жизни, дадут ли мне покой ревматизмы? Море и тянет к себе, и пугает, пока не привыкнешь к нему. Такое состояние духа очень наивно, но верно выразила мне одна француженка, во Франции, на морском берегу, во время сильнейшей грозы, в своем ответе на мой вопрос: «Любит ли она грозу?» — «Oh, monsieur, c'est ma passion,*— восторженно сказала она,— mais... pendant l'orage je suis toujours mal à mon aise!»**

Капитан и так называемый «дед», хорошо знакомый читателям «Паллады», старший штурманский офицер (ныне генерал),— оба были наверху и о чем-то горячо и заботливо толковали. «Дед» беспрестанно бегал в каюту, к карте, и возвращался. Затем оба зорко смотрели на оба берега, на море, в напрасном ожидании лоцмана. Я все любовался на картину, особенно на целую стаю купеческих судов, которые, как утки, плыли

* «О сударь, это моя страсть... (*франц.*),— *Ред.*

** ...но ...во время грозы мне всегда не по себе!» (*франц.*),— *Ред.*

кучей и всё жались к шведскому берегу, а мы шли почти посредине, несколько ближе к датскому.

Тревожился поминутно капитан, тревожился и дед и не раз, конечно, назвал лоцмана за неявку «каторжным». Он побежал в двадцатый раз вниз. Вдруг капитан послал поспешно за ним.

Они, казалось, оба были чем-то поражены.

— Мы на мели! — дошли до моего слуха тихие слова.

Я пощупал ногой палубу: она перестала двигаться, ноги стояли как будто на земле.

Я смотрел на все это рассеянно и слушал с большим равнодушием, что говорили кругом. Меня убаюкивал тихий плеск моря, теплая погода и поглощала картина новых берегов, а еще более радовала затихшая головная и зубная боль.

— Какая благодать! — говорил я себе, ощутив под ногами неподвижные доски палубы.

Но что за суматоха поднялась на фрегате — «из-за таких пустяков!» — думал я.

Засвистали всех наверх, поднялась возня, шум: «спускать шлюпку! завозить верпы!» — только и слышалось. Офицеры, кто спал, кто читал или писал, все принялись за дело.

«Верпы» — маленькие якоря, которые, завезя на несколько десятков сажен от фрегата, бросают на дно, а канат от них наматывают на шпиль и вертят последний, чтобы таким образом сдвинуть судно с места. Это — своего рода домашний способ тушить огонь, до прибытия пожарной команды.

Но тяжелый наш фрегат, с грузом не на одну сотню тысяч пуд, точно обрадовался случаю и лег прочно на песок, как иногда добрый пьяница, тоже «нагрузившись» и долго шлепая неверными стопами по грязи, вдруг возьмет да и ляжет средь дороги. Напрасно трезвый товарищ толкает его в бока, приподнимает то руку, то ногу, иногда голову. Рука, нога и голова падают снова, как мертвые. Гуляка лежит тяжело, неподвижно и безнадежно, пока не придут двое «городовых» на помощь.

И фрегат, потрогиваемый слабыми верпами, как будто подастся, поползет, крякнет, раздадутся радостные восклицания — а он ни с места. Нет, надо послать за «городовым». И послали.

Смотрел я на всю эту суматоху и дивился: «Вот привычные люди, у которых никаких „страшных“ минут не бывает, а теперь как будто боятся! На мели: великая важность! Постоим, да и сойдем, как задует ветер посвежее, заколеблется море!» — думал я, твердо шагая по твердой палубе. Неопытный слепец!

— Подступиться разве к ним и спросить, что их так тревожит? — Приступу нет: и не глядят!

Я помню только, что один из офицеров, барон Шлипенбах, оделся в полную форму и поспешно послан был в Копенгаген за пароходом, помочь нам сняться с мели.

Пока моряки переживали свою «страшную» минуту, не за себя, а за фрегат, конечно,— я и другие, неприкосновенные к делу, пили чай,

ужинали и, как у себя дома, легли спать. Это в первый раз после тревог, холода, качки!

«Какая благодать! — твердил я, ложась, как на берегу, дома, на неподвижную постель.— Завозите себе там верпы, а я усну, как давно не спал!»

Чуть ли не грезилось мне тогда во сне, что мы дальше не пошли, а так на мели и остались, что морское начальство в Петербурге соскучилось ждать, когда мы сдвинемся, и отложило экспедицию, и что мы все воротились домой безмятежно спать на незыблемых ложах.

Но под утро, сквозь сон, я услышал звук боцманских свистков, почувствовал, как моя койка закачалась подо мной и как нас потащил могучий «городовой», пароход из Копенгагена. Тогда, кажется, явился и лоцман.

На другой день, когда вышли из Зунда, я спросил, отчего все были в такой тревоге, тем более, что средство, то есть Копенгаген и пароход, были под рукой? Тогда только объяснили мне техническую сторону дела: что значит, когда судно «приткнется» к мели. Прежде всего, даже легкое приткновение что-нибудь попортит в киле или в обшивке (у нашего фрегата действительно, как оказалось при осмотре в портсмутском доке, оторвалось несколько листов медной обшивки, а без обшивки плавать нельзя, ибо-де к дереву пристают во множестве морские инфузории и точат его), а главное: если бы задул свежий ветер и развел волнение, тогда фрегат не сошел бы с мели, как я, по младенчеству своему в морском деле, полагал, а разбился бы в щепы!

«И опять-таки мы все воротились бы домой! — думал я, дополняя свою грезу,— берег близко, рукой подать: не утонули бы мы, а я еще немного и плавать умею».— Опять неопытность! Уметь плавать в тихой воде, в речках, да еще в купальнях, и плавать по морским, расходившимся волнам — это неизмеримая, как я убедился после, разница. В последнем случае редкий матрос, привычный пловец, выплывает.

Таким образом «опасная» минута, продолжавшаяся ночь, была мною вовсе не замечена.

Но не на море только, а вообще в жизни, на всяком шагу, грозят нам опасности, часто, к спокойствию нашему, не замечаемые. Зато, как будто для уравновешения хорошего с дурным, всюду рассеяно много «страшных» минут, где воображение подозревает опасность, которой нет. На море в этом отношении много клеплют напрасно, благодаря «страшным», в глазах непривычных людей, минутам. И я бывал в числе последних, пока не был на море.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы и сами моряки были вовсе нечувствительны ко всем случайностям, постигающим плавателей. Не из камня же они: люди — везде люди, и искренний моряк — а моряки почти все таковы — всегда откровенно сознается, что он не бывает вполне равнодушен к трудным или опасным случаям, переживаемым на море. Бывает у моряка и тяжело и страшно на душе, и он нередко, под влиянием таких минут, решается про себя — не ходить больше в море, лишь только доберется до берега. А поживши неделю, другую, месяц на берегу,— его

неудержимо тянет опять на любимую стихию, к известным ему испытаниям.

Но моряк, конечно, не потревожится никогда пустыми страхами воображения и не поддастся мелочным и малодушным опасениям на каждом шагу, по привычке к морю с ранней молодости.

III

По приходе в Англию забылись и страшные и опасные минуты, головная и зубная боли прошли благодаря неожиданно хорошей для тамошнего климата погоде, и мы, прожив там два месяца, пустились далее. Я забыл и думать о своем намерении воротиться, хотя адмирал, узнав о моей болезни, соглашался было отпустить меня. Вперед, дальше манило новое. Там, в заманчивой дали, было тепло и ревматизмы неведомы.

Упомяну кстати о пережитой мною в Англии морально-страшной для меня минуте, которая, не относясь к числу морских треволнений, касается, однако же, все того же путешествия, и она задала мне тревоги больше всякой качки.

Адмирала с нами не было: он прежде фрегата уехал один в Англию делать разные приготовления к продолжительному плаванию и, между прочим, приобрел там шкуну «Восток», для плавания вместе с «Палладой», и занимался снаряжением ее и разными другими делами. В Петербурге я видел его мельком, и уже на портсмутском рейде явился к нему в качестве секретаря и последовал за ним в Лондон. Он сейчас же поручил мне написать несколько бумаг в Петербург, между прочим изложить кратко историю нашего плавания до Англии, и вместе о том, как мы «приткнулись» к мели, и о необходимости ввести фрегат в портсмутский док, отчасти для осмотра повреждения, а еще более для приспособления к фрегату, тогда еще нового, водоопреснительного парового аппарата.

Он мне показал бумаги, какие сам писал до моего приезда в Лондон. Я прочитал и увидел, что... ни за что не напишу так, как они написаны, то есть таким строгим, точным и сжатым стилем: просто не умею!

«Зачем ему секретарь? — в страхе думал я,— он пишет лучше всяких секретарей: зачем я здесь? Я — лишний!» Мне стало жутко. Но это было только начало страха. Это опасение я кое-как одолел мыслью, что если адмиралу не недостает уменья, то недостанет времени самому писать бумаги, вести всю корреспонденцию и излагать на бумагу переговоры с японцами.

Самое худшее было впереди, когда я вернулся из Лондона в Портсмут и когда надо было излагать в рапорте историю плавания до Англии и причины ввода фрегата в док. Я думал, что это ровно ничего не значит. Я помнил каждый шаг и каждую минуту — и вот взять только перо да и строчить привычной рукой: было, мол, холодно, ветер дул, качало или было тепло, вот *приехали* в Данию... (боже вас сохрани сказать когда-нибудь при моряке, что вы на корабле «приехали»: покраснеют! «Пришли», а не приехали!) Нет — вижу, не клеится. Ничего не выходит. «А вы возьмите,— говорят мне,— шканечный журнал, где шаг за шагом

описывается все плавание». Кроме того, я взял еще книги и бумаги подобного содержания. Погляжу в одну, в другую бумагу, или книгу, потом в шканечный журнал и читаю.

«Положили марсель на стенгу»,— «взяли грот на гитовы»,— «ворочали оверштаг»,— «привели фрегат к ветру»,— «легли на правый галс»,— «шли на фордевинд»,— «обрасопили реи»,— «ветер дул NNO или SW». А там следуют «утлегарь», «ахтерштевень» — «шкоты», «брасы», «фалы» и т. д., и т. д.

Этими фразами и словами, как бисером, унизан был весь журнал. «Боже мой, да я ничего не понимаю! — думал я в ужасе, царапая сухим пером по бумаге,— зачем я поехал!»

Мне припомнилась школьная скамья, где сидя, бывало, мучаешься до пота над «мудреным» переводом с латинского или немецкого языков, а учитель, как теперь адмирал, торопит, спрашивает: «Скоро ли? готово ли? Покажите, говорит, мне, прежде нежели дадите переписывать...»

«Что я покажу? — ворчал я в отчаянии, глядя на белую бумагу. Среди этих терминов из живого слова только и остаются несколько глаголов, и между ними еще вспомогательный: много помощи от него!

В трехнедельный переезд до Англии я, конечно, слышал часть этих выражений, но пропускал мимо ушей, не предвидя, что они, в течение двух, трех лет, будут моей почти единственной литературой.

«Зачем я здесь? А если уж понесло меня сюда, то зачем я не воспользовался минутным расположением адмирала отпустить меня и не уехал? Ах, хоть бы опять заболели зубы и голова!» — мысленно вопил я про себя, отвращая взгляд от шканечного журнала.

Кроме этих терминов, целиком перешедших к нам при Петре Великом из голландского языка и усвоенных нашим флотом, выработалось в морской практике еще свое особое, русское наречие. Например, моряки говорят и пишут: «приглубый берег», то есть имеющий достаточную глубину для кораблей. Это очень хорошо выходит по-русски, так же как, например, выражение: «остойчивый», «остойчивость», то есть прочное, надлежащее сиденье корабля в воде; «наветренная» или «подветренная» сторона или еще: «отстояться на якоре», то есть воспротивиться напору ветра, и т. д. И таких очень много. Некоторые из этих выражений и подобные им, например «вытравливать (вместо выпускать) канат или веревку»,— и т. п., просятся в русскую речь и не в морском быту.

Но зато мелькают между ними — очень редко, конечно, и другие — с натяжкой, с насилием языка. Например, моряки пишут: «Такой-то фрегат где-нибудь в бухте стоял *мористо*»: это уже не хорошо, но еще хуже — выходит «мористее», в сравнительной степени. Не морскому читателю, конечно, в голову не придет, что «мористо» значит близко, а «мористее» ближе к открытому морю, нежели к берегу.

Это «мористо» напоминает двустишие какого-то проезжего (не помню, от кого я слышал), написанное им на стене после ночлега в так называемой «чистой горнице» постоялого двора: «Действительно, здесь чисто,— написал он,— но тараканисто, блохисто и клописто!»

Жаль, Греча нет, усердного борца за правильность русского языка![3]

Не помню, как я разделался с первым рапортом: вероятно, я написал его береговым, а адмирал украсил морским слогом — и бумага пошла. Потом и я ознакомился с этим языком и многое не забыл и до сих пор.

IV

Теперь перенесемся в Восточный океан, в двадцатые градусы северной широты, к другой «опасной» минуте, пережитой у Ликейских островов, о которой я ничего не сказал в свое время. Я не упоминаю об урагане, встреченном нами в Китайском море, у группы островов Баши, когда у нас зашаталась грот-мачта, грозя рухнуть и положить на бок фрегат. Об этом я подробно писал.

В путешествии своем, в главе «Ликейские острова», я вскользь упомянул, что два дня, перед приходом нашим на ликейский рейд, дул крепкий ветер, мешавший нам войти,— и больше ничего. Вот этот ветер чуть не наделал нам большой беды.

Мы подходили к островам около вечера. На глазомер оставалось версты три, и нам следовало зайти за коралловый риф, кривой линией опоясывавший все видимое пространство главного, большого острова. Издали чуть-чуть видно было, как буруны перекатывались, играя пеной, через каменную гряду. В этой гряде было два входа на рейд, один узкий с севера, другой еще у́же — с юга. Фрегату входить надо было очень верно, как карете въезжать в тесные ворота, чтобы не наткнуться на риф. Адмирал не решился в сумерки рисковать и предпочел подождать рассвета. Отдали якорь при тихом, ласковом ветре, в теплой, южной ночи — и заранее тешились надеждой завтра погулять по новым прелестным местам. Наши суда: «Князь Меншиков» и шкуна «Восток», кажется, оба — (забыл теперь) уже пришли прежде нас и проскользнули в узкости легко. Небольшим судам, неглубоко сидящим в воде,— это нипочем. Офицеры оттуда приезжали к нам повидаться и уехали.

Вдруг около полуночи задул ветер, не с берега, а с океана к берегу — а мы в этом океане стояли на якоре! Отдали другой якорь — и готовились бороться с неожиданным и внезапным врагом. Мы, не моряки, спали опять безмятежно и безмятежнее всех — я. По своему береговому, не совсем еще в морском деле окрепшему понятию, я все думал, что стоять на месте все-таки лучше, нежели ходить по морю. Оно, пожалуй, и так, если стоять во время шторма в закрытом порте, но мы стояли в океане! Так провели ночь, беспокойно, то есть они, моряки, следя за успехами ветра. На другой день, около полудня, ветер стал стихать: начали сниматься с якоря — и только что второй якорь «встал» (со дна) и поставлены были марселя (паруса), как раздался крик вахтенного: «Дрейфует!» (тащит). «Отдать якорь!» — вслед за тем немедленно раздалась команда.

Все это, то есть команда и отдача якорей, уборка парусов, продолжалось несколько минут, но фрегат успело «подрейфовать», силой ветра и течения, версты на полторы ближе к рифам. А ветер опять задул крепче. Отдан был другой якорь (их всех четыре на больших военных судах) —

и мы стали в виду каменной гряды. До нас достигал шум перекатывающихся бурунов.

Я — ничего себе: всматривался в открывшиеся теперь совсем подробности нового берега, глядел не без удовольствия, как скачут через камни, точно бешеные белые лошади, буруны, кипя пеной; наблюдал, как начальство беспокоится, как появляется иногда и задумчиво поглядывает на рифы адмирал, как все примолкли и почти не говорят друг с другом. Да и нечего говорить, разве только спрашивать: «Выдержат ли якорные цепи и канаты напор ветра или нет?» Вопрос, похожий на гоголевский вопрос: «Доедет или не доедет колесо до Казани?»[4] Но для нас он был и гамлетовским вопросом: быть или не быть? [5]— Чуть ветер тише — ну, надежда: выдержит; а заревел и натянул канаты — сомнение и злоба. А фрегат так и возит взад и вперед, насколько позволяют канаты обоих якорей — и вот-вот, немножко еще — трах... и...

— И что? — допытывался я уже на другой день на рейде, ибо там, за рифами, опять ни к кому приступу не было: так все озабочены. Да почему-то и неловко было спрашивать, как бывает неловко заговаривать, где есть трудный больной в доме, о том: выздоровеет он или умрет?

— Как «что»! Лопни канаты — и через несколько минут фрегат наваливает на рифы: ну — и в щепы!

— Сейчас и в щепы! хорошо, положим — и в щепы. Конечно, это огромная беда, но все же люди спаслись бы...

— Тут, у этих рифов, при этом волнении? Подите!

Я не унывал нисколько, отчасти потому, что мне казалось невероятным, чтобы цепи — канаты двух, наконец, трех и даже четырех якорей не выдержали, а главное — берег близко. Он, а не рифы, был для меня «каменной стеной», на которую я бесконечно и возлагал все упование. Это совершенно усыпляло всякий страх и даже подозрение опасности, когда она была очевидна. И я смотрел на всю эту «опасную» двухдневную минуту, как на дело, до меня нисколько не касающееся.

И только на другой день, на берегу, вполне вникнул я в опасность положения, когда в разговорах об этом объяснилось, что между берегом и фрегатом, при этих огромных, как горы, волнах, сообщения на шлюпках быть не могло; что если б фрегат разбился о рифы, то ни наши шлюпки — а их шесть-семь и большой баркас — ни шлюпки с других наших судов не могли бы спасти и пятой части всей нашей команды. При волнении они, то есть шлюпки, имели бы полный комплект гребцов, и места для других почти не было бы совсем, разве для каких-нибудь десяти человек на шлюпку, а нас всех было более четырехсот. И те десять человек стесняли бы свободные действия гребцов — и не при этом океанском волнении. «И просто не выгрести бы на таких волнах!» — говорили мне.

Бывшие на берегу офицеры с американского судна сказывали, что они ожидали уже услышать ночью с нашего фрегата пушечные выстрелы, извещающие о критическом положении судна, а английский миссионер говорил, что он молился о нашем спасении.

Однако лейтенант Савич, чуть ли не на двойке (двухвесельной шлюпке) с двумя гребцами, изволил оттуда прокатиться до нас по этим

волнам. «Посмотреть, что вы тут делаете»,— сказал он. И. посидевши с нами, так же отправился назад. И теперь помню, как скорлупка-двойка вдруг пропадала из глаз, будто проваливалась в глубину между двух водяных гор, и долго не видно было ее, и потом всползала опять боком на гребень волны. Я не спускал глаз с Савича, пока он не скрылся за риф,— и, конечно, не у него, а у меня сжималось сердце страхом: «Вот, вот кувырнется и не появится больше!»

Провели мы еще, что называется, mauvais quart d'heure * в Татарском проливе, где мы медленно подвигались к устьям Амура. Офицеры на шлюпках посылались вперед для измерения глубины — и по их следам шел тихо и фрегат, беспрестанно останавливаясь, иногда в ожидании прилива. И вот в один вечер стали на якорь на хорошей глубине. По сторонам видны были оба берега, маньчжурский и острова Сахалина,— и очень близко. Мы расположились покойно. Утром стали сниматься с якоря, поставили грот-марсель, и в это время фрегат потащило несколько десятков сажен вперед. Якорь опять отдали. Глубины под килем все-таки оказалось достаточно, но далее подвигаться не решились, ожидая, что с приливом воды прибудет. Но оказалось, что мы стоим уже на большой воде, на приливе, и вскоре вода начала убывать, и, когда убыла, под килем оказалось всего фута три, четыре воды.

Вот тут и началась опасность. Ветер немного засвежел, и помню я, как фрегат стал бить об дно. Сначала было два, три довольно легких удара. Затем так треснуло, что затрещали шлюпки на боканцах и марсы (балконы на мачтах). Все, бывшие в каютах, выскочили в тревоге, а тут еще удар, еще и еще. Потонуть было трудно: оба берега в какой-нибудь версте; местами, на отмелях, вода была по пояс человеку. Но если бы удары продолжались чаще и сильнее, то корпус тяжело нагруженного и вооруженного фрегата, конечно, мог бы раздаться, и рангоут, то есть верхние части мачт и реи, полететь вниз. А так как эти деревья, кажущиеся снизу лучинками, весят которое двадцать, которое десять пуд,— то всем нам приходилось тоскливо стоять внизу и ожидать, на кого они упадут.

После смешно было вспоминать, как, при каждом ударе и треске, все мы проворно переходили одни на место других на палубе. «Страшновато» было! — как говорил, бывало, я в подобных случаях спутникам. Впрочем, все это продолжалось, может быть, часа два, пока не начался опять прилив, подбавивший воды, и мы снялись и пошли дальше.

V

Мы подвергались опасностям и другого рода, хотя не морским, но весьма вероятным тогда и обязательным, так сказать, для военного судна, которых не только нельзя было избегать, но должно было на них напрашиваться. Это встреча и схватка с неприятельскими судами.

---

* неприятную минуту (*франц.*).— *Ред.*

Сколько помню, адмирал и капитан неоднократно решались на отважный набег к берегам Австралии, для захвата английских судов, и кажется, если не ошибаюсь, только неуверенность, что наша старая, добрая «Паллада» выдержит еще продолжительное плавание от Японии до Австралии, удерживала их, а еще, конечно, и неуверенность, по неимению никаких известий, застать там чужие суда. В последнее наше пребывание в Шанхае, в декабре 1853 года, и в Нагасаки, в январе 1854 года, до нас еще не дошло известие об окончательном разрыве с Турцией и Англией; мы знали только, из запоздавших газет и писем, что близко к тому — и больше пока ничего. Я помню, что в Шанхае ко мне все приставал лейтенант английского флота, кажется Скотт, чтоб я подержал с ним пари о том, будет ли война или нет? Он утверждал, что не будет, я был противного мнения. Пари не состоялось, и мы ушли сначала в Нагасаки, потом в Манилу — все еще в неведении о том, в войне мы уже или нет — и с каждым днем ждали известия и в каждом встречном судне предполагали неприятеля.

В этой неизвестности в войне пришли мы и в Манилу и застали там на рейде военный французский пароход. Ни мы, ни французы не знали, как нам держать себя друг с другом, и визитами мы не менялись, как это всегда делается в обыкновенное время. Пробыв там недели три, мы ушли, но перед уходом узнали, что там ожидали английскую эскадру.

Так как мы могли встретить ее или французские суда в море, и может быть уже с известиями об открытии военных действий,— то у нас готовились к этой встрече и приводили фрегат в боевое положение. Капитан поговаривал о том, что в случае одоления превосходными неприятельскими силами необходимо-де поджечь пороховую камеру и взорваться.

Все были более или менее в ожидании, много говорили, готовились к бою, смотрели в зрительные трубки во все стороны.

Один только отец Аввакум, наш добрый и почтенный архимандрит, относился ко всем этим ожиданиям, как почти и ко всему, невозмутимо покойно и даже скептически. Как он сам лично не имел врагов, всеми любимый и сам всех любивший, то и не предполагал их нигде и ни в ком: ни на море, ни на суше, ни в людях, ни в кораблях. У него была вражда только к одной большой пушке как совершенно не нужному в его глазах предмету, которая стояла в его каюте и отнимала у него много простора и свету.

Он жил в своем особом мире идей, знаний, добрых чувств — и в сношениях со всеми нами был одинаково дружелюбен, приветлив. Мудреная наука жить со всеми в мире и любви была у него не наука, а сама натура, освященная принципами глубокой и просвещенной религии. Это давалось ему легко: ему не нужно было уменья — он иным быть не мог. Он не вмешивался никогда не в свои дела, никому ни в чем не навязывался, был скромен, не старался выставить себя и не претендовал на право даже собственных, неотъемлемых заслуг, а оказывал их молча и много — и своими познаниями, и нравственным влиянием на весь кружок плавате-

лей, не поучениями и проповедями, на которые не был щедр, а просто примером ровного, покойного характера и кроткой, почти младенческой души.

В беседах ум его приправлялся часто солью легкого и всегда добродушного юмора.

Кажется, я смело могу поручиться за всех моих товарищей плавания, что ни у кого из них не было с этою прекрасною личностью ни одной неприятной, даже досадной минуты... А если бывали, то вот какого комического свойства. Например, помню, однажды, гуляя со мной на шканцах, он вдруг... плюнул на палубу. Ужас!

Шканцы — это нечто вроде корабельной скинии,[6] самое парадное, почти священное место. Палуба скоблится, трется кирпичом, моется почти каждый день и блестит, как стекло.

А отец Аввакум — расчихался, рассморкался и — плюнул. Я помню взгляд изумления вахтенного офицера, брошенный на него, потом на меня. Он сделал такое же усилие над собой, чтоб воздержаться от какого-нибудь замечания, как я — от смеха. «Как жаль, что он — не матрос!» — шепнул он мне потом, когда отец Аввакум отвернулся. Долго помнил эту минуту офицер, а я долго веселился ею.

В другой раз, где-то в поясах сплошного лета, при безветрии, мы прохаживались с отцом Аввакумом все по тем же шканцам. Вдруг ему вздумалось взобраться по трехступенной лесенке на площадку, с которой обыкновенно, стоя, командует вахтенный офицер. Отец Аввакум обозрел море и потом, обернувшись спиной к нему, вдруг... сел на эту самую площадку «отдохнуть», как он говаривал.

Опять скандал! Капитана наверху не было, и вахтенный офицер смотрел на архимандрита — как будто хотел его съесть, но не решался заметить, что на шканцах сидеть нельзя. Это, конечно, знал и сам отец Аввакум, но по рассеянности забыл, не приписывая этому никакой существенной важности. Другие, кто тут был, улыбались — и тоже ничего не говорили. А сам он не догадывался и, «отдохнув», стал опять ходить.

При кротости этого характера и невозмутимо покойном созерцательном уме он нелегко поддавался тревогам. Преследование на море врагов нами или погоня врагов за нами казались ему больше фантазиею адмирала, капитана и офицеров. Он равнодушно глядел на все военные приготовления и продолжал, лежа или сидя на постели у себя в каюте, читать книгу. Ходил он в обычное время гулять для моциона и воздуха наверх, не высматривая неприятеля, в которого не верил.

Вдруг однажды раздался крик: «Пароход идет! Дым виден!»

Поднялась суматоха. «Пошел по орудиям!» — скомандовал офицер. Все высыпали наверх. Кто-то позвал и отца Аввакума. Он неторопливо, как всегда, вышел и равнодушно смотрел, куда все направляли зрительные трубы и в напряженном молчании ждали, что окажется.

Скоро все успокоились: это оказался не пароход, а китоловное судно, поймавшее кита и вытапливавшее из него жир. От этого и дым. Неприятель все не показывался. «Бегает нечестивый, ни единому же ему гонящу!» — слышу я голос сзади себя.

Это отец Аввакум выразил так свой скептический взгляд на ожидаемую встречу с врагами. Я засмеялся, и он тоже. «Да право так!» — заметил он, спускаясь неторопливо опять в каюту.

VI

Но как все страшное и опасное, испытываемое многими плавателями, а также испытанное и нами в плавании до Японии, кажется бледно и ничтожно в сравнении с тем, что привелось испытать моим спутникам в Японии! Все, что произошло там, представляет ряд страшных, и опасных, и гибельных вместе,— не минут, не часов, а дней и ночей.

Много ужасных драм происходило в разные времена с кораблями и на кораблях. Кто ищет в книгах сильных ощущений, за неимением последних в самой жизни, тот найдет большую пищу для воображения в «Истории кораблекрушений», где в нескольких томах собраны и описаны многие случаи замечательных крушений у разных народов.[7] Погибали на море от бурь, от жажды, от голода и холода, от болезней, от возмущений экипажа.

Но никогда гибель корабля не имела такой грандиозной обстановки, как гибель «Дианы», где великолепный спектакль был устроен самой природой. Не раз на судах бывали ощущаемы колебания моря от землетрясения,— но, сколько помнится, больших судов от этого не погибало.

Пересев на «Диану» и выбрав из команды «Паллады» надежных и опытных людей, адмирал все-таки решил попытаться зайти в Японию и если не окончить, то закончить на время переговоры с тамошним правительством и условиться о возобновлении их по окончании войны, которая уже началась, о чем получены были наконец известия.

Перед отплытием из Татарского пролива время, с августа до конца ноября, прошло в приготовлениях к этому рискованному плаванию, для которого готовились припасы на непредвиденный срок, ввиду ожидания встречи с неприятелем.

По окончании всех приготовлений адмирал, в конце ноября, вдруг решился на отважный шаг: идти в центр Японии, коснуться самого чувствительного ее нерва, именно в город Оосаки, близ Миако, где жил микадо, глава всей Японии, сын неба, или, как неправильно прежде называли его в Европе, «духовный император». Там, думал не без основания адмирал, японцы струсят неожиданного появления иноземцев в этом закрытом и священном месте и скорее согласятся на предложенные им условия.

Так и сделал. «Диана» явилась туда — и японцы действительно струсили, но, к сожалению, это средство не повело к желаемым результатам. Они стали просить удалиться, и все берега свои заставили рядами лодок, так что сквозь них надо было пробиваться силою, а к этому средству адмирал не имел полномочия прибегать.

Японцы тут ни о каких переговорах не хотели и слышать, а приглашали немедленно отправиться в город Симодо, в бухте того же имени, лежащей в углу огромного залива Иеддо, при выходе в море. Туда, по словам их,

Залив Симодо. Рисунок Можайского.

отправились и уполномоченные для переговоров японские чиновники. Туда же чрез несколько дней направилась и «Диана». В этой бухте предстояло ей испытать страшную катастрофу.

Здесь я кладу перо как путешественник и автор. Далее меня не было с плавателями, и я являюсь только редактором некоторых их воспоминаний, рассказов и донесений о крушении «Дианы» и о возвращении в Россию.

Постараюсь сделать это в нескольких общих чертах, как можно короче, чтобы не лишать большого интереса тех из читателей, которые пожелают ознакомиться с событием из самого рапорта адмирала, где все изложено — полно, подробно и весьма просто и удобопонятно, несмотря на обилие морских терминов.

Все это событие и последствия его принадлежат истории нашего мореплавания, а теперь пока они теряются на страницах малодоступного большинству публики специального морского журнала.

«Одним из тех ужасных, редких явлений в природе, случающихся, однако, чаще в Японии, нежели в других странах, совершилась гибель фрегата „Диана“». Так начинается рапорт адмирала к великому князю генерал-адмиралу,— и затем, шаг за шагом, минута за минутой, повест-

вует о грандиозном событии и его разрушительном действии на берегах и на фрегате.

Прочитав это повествование и выслушав изустные рассказы многих свидетелей,— можно наглядно получить вульгарное изображение события, в миниатюре, таким образом: возьмите большую круглую чашку, налейте до половины водой и дайте чашке быстрое, круговращательное движение — а на воду пустите яичную скорлупу или представьте себе на ней миниатюрное суденышко, с полным грузом и людьми. Вот положение судна и людей. Но в чашке нет ни скал, стоящих в виде островов посередине, ни угловатых берегов,— а это все было в бухте Симодо.

Надо заметить, что бухта Симодо не закрыта с моря и, следовательно, не может служить безопасным местом для стоянки судов.

11 декабря, в 10 часов утра (рассказывал адмирал), он и другие, бывшие в каютах, заметили, что столы, стулья и прочие предметы несколько колеблются, посуда и другие вещи прискакивают, и поспешили выйти наверх. Все, по-видимому, было еще покойно. Волнения в бухте не замечалось, но вода как будто бурлила или клокотала.

Около городка Симодо течет довольно быстрая горная речка: на ней было несколько джонок (мелких японских судов). Джонки вдруг быстро понеслись не по течению, а назад, вверх по речке. Тоже необыкновенное явление: тотчас послали с фрегата шлюпку с офицером, узнать, что там делается. Но едва шлюпка подошла к берегу, как ее водою подняло вверх и выбросило. Офицер и матросы успели выскочить и оттащили шлюпку дальше от воды. С этого момента начало разыгрываться страшное и грандиозное зрелище.

Вот рисунок этой картины в двух-трех главных штрихах.

Вследствие колебания морского дна у берегов Японии в бухту Симодо влился громадный вал, который коснулся берега и отхлынул, но не успел уйти из бухты, как навстречу ему, с моря, хлынул другой вал, громаднее. Они столкнулись, и не вместившаяся в бухте вода пришла в круговоротное движение и начала полоскать всю бухту, хлынув на берега, вплоть до тех высот, куда спасались люди из Симодо. Второй вал покрыл весь Симодо и смыл его до основания. Потом еще вал, еще и еще. Круговращение продолжалось с возрастающей силой и ломало, смывало, топило и уносило с берегов все, что еще уцелело. Из тысячи домов осталось шестнадцать и погибло около ста человек. Весь залив покрылся обломками домов, джонок, трупами людей и бесчисленным множеством разнообразнейших предметов: жилищ, утвари и проч.

Все это прибило к одному из берегов в такой массе, что образовало, по словам рапорта адмирала, «как бы продолжение берега».

А что делалось с фрегатом в это время?

По изустным рассказам свидетелей, поразительнее всего казалось переменное возвышение и понижение берега: он то приходил вровень с фрегатом, то вдруг возвышался саженей на шесть вверх. Нельзя было решить, стоя на палубе, поднимается ли вода, или опускается самое дно моря? Вращением воды кидало фрегат из стороны в сторону, прижимая на

какую-нибудь сажень к скалистой стене острова, около которого он стоял, и грозя раздробить, как орех, и отбрасывая опять на середину бухты.

Потом стало ворочать его то в одну, то в другую сторону с такой быстротой, что в тридцать минут, по словам рапорта, было сделано им сорок два оборота! Наконец начало бить фрегат, по причине переменной прибыли и убыли воды, об дно, о свои якоря и класть то на один, то на другой бок. И когда во второй раз положило — он оставался в этом положении с минуту...

И страх, и опасность, и гибель — все уложилось в одну эту минуту!

Все уцепились, кто за что мог. Все оцепенело в молчании. Потом раздались слова молитвы: все молились, кто словами, и все, конечно, внутренно, так усердно, как, по пословице, только молятся на море!

Бог услышал молитвы моряков, и «провидению,— говорит рапорт адмирала,— угодно было спасти нас от гибели». Вода пошла на прибыль, и фрегат встал, но в каком положении!

Не все, однако, избавились и от гибели, один матрос поплатился жизнью, а двое искалечены. Две неприкрепленные пушки, при наклонении фрегата, упали и убили одного матроса, а двум другим, и между прочим боцману Терентьеву, раздробили ноги.

Помню я этого Терентьева, худощавого, рябого, лихого боцмана, всегда с свистком на груди и с линьком или лопарем в руках. Это тот самый, о котором я упоминал в начале путешествия и который угощал моего Фаддеева то линьком, то лопарем по спине, когда этот последний, радея мне (без моей просьбы, а всегда сюрпризом), таскал украдкой пресную воду на умыванье, сверх положенного количества, из цистерн, во время плавания в Немецком море.

Несколько часов продолжалось это возмущение воды при безветрии и наконец стихло. По осмотре фрегата он оказался весь избит. Трюм был наполнен водой, подмочившей провизию, амуницию и все частное добро офицеров и матросов. А главное, не было более руля, который, оторвавшись вместе с частью фальш-киля, проплыл, в числе прочих обломков, мимо фрегата — «продолжать берег», по выражению адмирала.

Фрегат разоружили: свезли все шестьдесят орудий на берег и отдали на сохранение японцам, объяснив им, как важно для нас, чтобы орудия не достались неприятелю. И японцы укрыли и сохранили их тщательно, построив для того особые сараи.

Вообще они, несмотря на то, что потерпели сами от землетрясения, оказали нашим всевозможную помощь и послуги. Японские власти присылали провизию и снабжали всем нужным.

Наш государь оценил их услуги и, в благодарность за участие к русским плавателям, подарил все 60 орудий японскому правительству.

Но и наши не оставались в долгу. В то самое время, когда фрегат крутило и било об дно, на него нанесло напором воды две джонки. С одной из них сняли с большим трудом и приняли на фрегат двух

японцев, которые неохотно дали себя спасти, под влиянием строгого еще тогда запрещения от правительства сноситься с иноземцами. Третий товарищ их решительно побоялся, по этой причине, последовать примеру первых двух и тотчас же погиб, вместе с джонкой. Сняли также с плывшей мимо крыши дома старуху.

Когда утихло, адмирал послал на развалины Симодо К. Н. Посьета и доктора, подать помощь раненым. Но, ради все того же страха, раненых спрятали и объявили, что их нет. Но наши успели мельком заметить их.

Так кончился первый акт этой морской драмы,— первый потому, что «страшные», «опасные» и «гибельные» минуты далеко не исчерпались землетрясением. Второй акт продолжался с 11-го декабря 1854 года по 6-е января 1855 года, когда плаватели покинули фрегат, или, вернее, когда он покинул их совсем, и они буквально «выбросились» на чужой, отдаленный от отечества берег.

Фрегат повели; приделав фальшивый руль, осторожно, как носят раненого в госпиталь, в отысканную в другом заливе, верстах в 60 от Симодо, закрытую бухту Хеда, чтобы там повалить на отмель, чинить — и опять плавать. Но все надежды оказались тщетными. Дня два плаватели носимы были бурным ветром по заливу, и наконец должны были с неимоверными усилиями перебраться все (при морозе в 4 °) сквозь буруны, на шлюпках, по канату, на берег, у подошвы японского Монблана, горы Фудзи, в противуположной стороне от бухты Хеда.

С наступлением тихой погоды хотели, наконец, посредством японских лодок, дотащить кое-как пустой остов до бухты — и все-таки чинить. Если фрегат держался еще на воде в тогдашнем своем положении, так это, сказывал адмирал, происходило, между прочим, оттого, что цистерны в трюме, обыкновенно наполненные пресной водой, были тогда пусты, и эта пустота и мешала ему погрузиться совсем.

Сто японских лодок тянули его; оставалось верст пять, шесть до места, как вдруг налетел шквал, развел волнение, все лодки бросили внезапно буксир и едва успели, и наши офицеры, провожавшие фрегат, тоже, укрыться по маленьким бухтам. Пустой, покинутый фрегат качало волнами с боку на бок...

Ночью нельзя было следить за ним, а наутро его уже не было видно...

Когда читаешь донесения и слушаешь рассказы о том, как погибала «Диана», хочется плакать, как при рассказе о медленной агонии человека.

Вот эти два числа — 11 декабря, день землетрясения, и 6 января, высадки на берег, как знаменательные дни в жизни плавателей, и были поводом к собранию нашему за двумя вышеупомянутыми обедами.

Наконец, третье действие — это возвращение путешественников, тоже под страхом и опасностями своего рода, разными путями, в Россию...

Так кончилось крушение «Дианы», которое займет самое видное место в летописи морских бедствий.

VII

К этому остается прибавить немногое, что еще рассказывали мне мои бывшие спутники о дальнейших своих похождениях и о заключении этой замечательной во всех отношениях экспедиции.

От подошвы Фудзи наши герои, «по образу пешего хождения», через горы, направились в ту же бухту Хеда, куда намеревались было ввести фрегат, и расположились там на бивуаках (при 4° мороза, не забудьте!), пока готовились бараки для их помещения временного и, по возможности, не долгого, потому что в положении Робинзонов Крузе пятистам человекам долго оставаться нельзя. Надо было изыскать средство уйти оттуда каким бы то ни было образом. Дожидаться ответа на рапорт, пока он придет в Россию, пока оттуда вышлют другое судно, чего в военное время и нельзя было сделать,— значит нести все тягости какого-то плена. Не затем прошли сквозь все гибели, чтобы киснуть на полудиком прибрежье, сложив руки, когда «наши там... дерутся!» — думали плаватели.

Решились искать помощи в самих себе — и для этого, ни больше ни меньше, положил адмирал построить судно собственными руками, с помощью, конечно, японских услуг, особенно по снабжению всем необходимым материалом: деревом, железом и проч. Плотники, столяры, кузнецы были свои; в команду всегда выбираются люди, знающие все необходимые в корабельном деле мастерства. Так и сделали. Через четыре месяца уже готова была шкуна, названная в память бухты, приютившей разбившихся плавателей, «Хеда».

Из донесений известно, что наши плаватели разделились на три отряда: один отправился, на нанятом американском судне, к устьям Амура, другой на бременском судне был встречен английским военным судном. Но англичане приняли наших не за военнопленных, а за претерпевших кораблекрушение, и, разделив по своим судам, доставили их, кругом мыса Доброй Надежды, в Европу.

Наконец, сам адмирал, на самодельной шкуне «Хеда», с остальною партиею около сорока человек, прибыл тоже, едва избежав погони английского военного судна, в устья Амура и по этой реке поднялся вверх до русского поста Усть-Стрелки, на слиянии Шилки и Аргуни, и достиг Петербурга.

Чего стоило одно странствование по этой пустынной, тогда еще не исследованной нашей Миссисипи!

Сам адмирал, капитан (теперь адмирал) Посьет, капитан Лосев, лейтенант Пещуров и другие, да человек осьмнадцать матросов, составляли эту экспедицию, решившуюся в первый раз, со времени присоединения Амура к нашим владениям, подняться вверх по этой реке на маленьком пароходе, на котором в первый же раз спустился по ней генерал-губернатор Восточной Сибири, Н. Н. Муравьев.

Последний воротился тогда в Иркутск сухим путем (и я примкнул к его свите), а пароход и при нем баржу, открытую большую лодку, где находились не умещавшиеся на пароходе люди и провизия, предоста-

вил адмиралу. Предполагалось употребить на это путешествие до Шилки и Аргуни, к месту слияния их, в местечко Усть-Стрелку, месяца полтора, и провизии взято было на два месяца, а плавание продолжалось около трех месяцев.

И чего не случалось с нашими странниками! То вдруг воды в реке нет и плыть нельзя, то сильно несет течением. То дров в изобилии, то один мелкий хворост по берегам, негодный и на лучину, нечем пищу варить и топить пароход! В иных местах у туземцев: мангу, орочан, гольдов, гиляков и других, о которых европейские этнографы, может быть, еще и не подозревают, можно было выменивать сушеное оленье мясо, просо на бисер, гвозди и т. п. А в других местах было или совсем пусто по берегам, или жители, завидев, особенно ночью, извергаемый пароходом дым и мириады искр, в страхе бежали дальше и прятались, так что приходилось голодным плавателям самим входить в их жилища и хозяйничать, брать провизию и оставлять бусы, зеркальца и т. п. предметы взамен. Сами ловили рыбу и иногда роскошничали за стерляжьей ухой, особенно в первой половине плавания.

Когда не было леса по берегам, плаватели углублялись в стороны, для добывания дров. Матросы рубили дрова, офицеры таскали их на пароход. Адмирал порывался разделять их заботы, но этому все энергически воспротивились, предоставив ему более легкую и почетную работу, как-то: накрывать на стол, мыть тарелки и чашки.

В последние недели плавания все средства истощились: по три раза в день пили чай и ели по горсти пшена — и только. Достали было однажды кусок сушеного оленьего мяса, но не свежего, с червями. Сначала поусумнились есть, но потом подумали хорошенько, вычистили его, вымыли и... «стали кушать», «для примера, между прочим, матросам»,— прибавил К. Н. Посьет, рассказывавший мне об этом странствии. «Полно, так ли,— думал я, слушая,— для примера ли, не по пословице ли: „голод не тетка“?»

За два дня до прибытия на Усть-Стрелку, где был наш пост, начальник последнего, узнав от посланного вперед орочанина о крайней нужде плавателей, выслал им навстречу все необходимое в изобилии, и между прочим теленка. Вот только где, пройдя тысячи три верст, эти не блудные, а блуждающие сыны добрались до упитанного тельца!

Так кончилась эта экспедиция, в которую укладываются вся Одиссея и Энеида — и ни Эней, с отцом на плечах,[8] ни Одиссей не претерпели и десятой доли тех злоключений, какие претерпели наши аргонавты, из которых *«иных уж нет, а те далече!»* [9]

Одних унесла могила: между прочим архимандрита Аввакума. Этот скромный ученый, почтенный человек ездил потом с графом Путятиным в Китай, для заключения Тсянзинского трактата,[10] и по возвращении продолжал оказывать пользу по сношениям с китайцами, по знакомству с ними и с их языком, так как он прежде прожил в Пекине лет пятнадцать при нашей миссии. Он жил в Александро-Невской лавре и скончался там лет восемь или десять тому назад.

Нет более в живых также капитана (потом генерала) Лосева, В. А. Римского-Корсакова, бывшего долго директором морского корпуса,

обоих медиков, Арефьева и Вейриха, лихого моряка Савича, штурманского офицера Попова.*

Из остающихся в живых — старшие занимают высокие посты в морской и в других службах, осыпаны отличиями,— младшие на пути к отличиям.

С самыми лучшими чувствами симпатии и добрых воспоминаний обращаюсь я постоянно к этой эпохе плавания по морям, к кругу этих отличных людей и встречаюсь с ними всегда, как будто не расставался никогда.

Мне поздно желать и надеяться плыть опять в дальние страны: я не надеюсь и не желаю более. Лета охлаждают всякие желания и надежды. Но я хотел бы перенести эти желания и надежды в сердца моих читателей и — если представится им случай идти (помните «идти», а не «ехать») на корабле в отдаленные страны — предложить совет: ловить этот случай, не слушая никаких преждевременных страхов и сомнений. Читатель, может быть, возразит на этот совет, что довольно и того, что написано в этой главе, чтобы навсегда отбить охоту к морским путешествиям. Напротив, именно этот рассказ и подтверждает мой совет. Как же: в то время, когда от землетрясения падали города и селения, валились скалы, гибли дома и люди на берегу, фрегат все держался, и из пятисот человек погиб один! И после, потеряв корабль, плаватели отделались благополучно и все добрались домой, и большая часть живут и здравствуют доныне.

Русский священник в Лондоне посетил нас перед отходом из Портсмута и после обедни сказал речь, в которой остерегал от этих страхов. Он исчислил опасности, какие можем мы встретить на море,— и, напугав сначала порядком, заключил тем, что «и жизнь на берегу кишит страхами, опасностями, огорчениями и бедами,— следовательно, мы меняем только одни беды и страхи на другие».

И это правда. Обыкновенно ссылаются на то, как много погибает судов. А если счесть, сколько поездов сталкивается на железных дорогах, сваливается с высот, сколько гибнет людей в огне пожаров и т. д., то на которой стороне окажется перевес? И сколько вообще расходуется бедного человечества по мелочам, в одиночку, не всегда в глуши каких-нибудь пустынь, лесов, а в многолюдных городах!

«А все же „страшновато" как-то на море: сомнения, неуверенность, одни ожидания опасностей чего стоят!» — скажут на это.

Да, тут есть правда: но человеку врожденна и мужественность: надо будить ее в себе и вызывать на помощь, чтобы побеждать робкие движения души и закалять нервы привычкою. Самые робкие характеры кончают тем, что свыкаются. Даже женщины служат хорошим примером тому: сколько англичанок и американок пускаются в дальние плавания и выносят, даже любят, большие морские переезды!

---

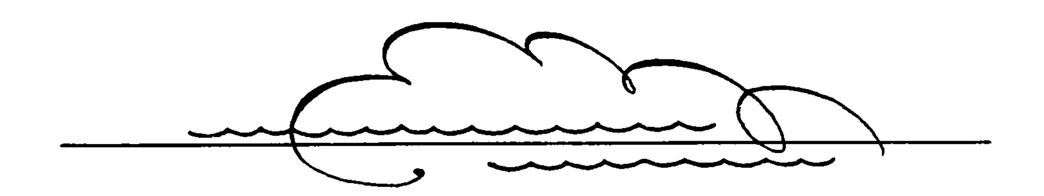
* К этому скорбному списку надо прибавить скончавшихся в последние годы И. П. Белавенеца, служившего в магнитной обсерватории в Кронштадте, и А. А. Халезова, известного под названием «деда» в этих очерках плавания.

Зато какие награды! Дальнее плавание населит память, воображение прекрасными картинами, занимательными эпизодами, обогатит ум наглядным знанием всего того, что знаешь по слуху,— и, кроме того, введет плавателя в тесное, почти семейное сближение с целым кругом моряков, отличных, своеобразных людей и товарищей.

И этого всего потом из памяти и сердца нельзя выжить во всю жизнь: и не надо — как редких и дорогих гостей.

Конец

ДОПОЛНЕНИЯ



ДВА СЛУЧАЯ ИЗ МОРСКОЙ ЖИЗНИ

«Что это за *морская жизнь*: разве жизнь не одна, а много... нельзя сказать — „жизней“? Жизнь и в грамматике множественного числа не имеет!» — возразит педант и поправит вместо *морская жизнь* — *жизнь на море*. Можно спросить его, а что такое *монастырская жизнь, семейная жизнь, светская жизнь*? — пусть поправляет все это, если есть охота и время! Никто не будет разуметь под этим другую какую-нибудь жизнь: жизнь везде одна, то есть мотив ее один и тот же, как один мотив проходит в иной опере через все акты сквозь ряд варьяций. Характер и обстановка жизни — то же, что варьяции на заданную тему.

Вас много собралось около меня слушать мой простой и правдивый рассказ о том, как терпят бедствия на морях: на лицах у вас написано удивление. Вы, я вижу, не верите, что жизнь на море и на берегу одно и то же? «Как: на берегу так покойно, а там качает! — скажет тот или другой, та или другая из вас; — на берегу,— продолжаете вы,— разнообразно, видишь — сегодня сад, завтра реку, поедешь в театр, к mon oncle или к ma tante, * на танцевальный класс, покатаешься в коляске или верхом. А там все видишь небо да море: ни направо, ни налево ступить нельзя, все сиди в каюте, читай, пиши и вздыхай о береге...» Кто это говорит? это вы, молодой человек, с беспокойным взглядом, узел галстука у вас на стороне, спина выпачкана в белом... Вы, должно быть, охотник побегать, пошуметь, вы верно первый нетерпеливо оставляете класс, когда учитель еще сидит на месте и все прочие дослушивают последние его слова. Вы соскучились бы видеть на море одно и то же, вам негде бегать, шуметь: утешьтесь, вы можете лазить там по мачтам, по снастям и предаваться такой гимнастике, какой нет на берегу; для вас есть рыбная ловля, пляска и песни матросов и много других удовольствий. Но разве удовольствия стоят на первом плане путешественника? Или лучше спросить, разве у путеше-

* дядюшке или к тетушке (*франц.*),— *Ред.*

ственника должны быть те же удовольствия, что на берегу? Вы слышите: тема, то есть жизнь, одна, а варьяции другие. Это самое несходство в варьяциях и есть удовольствие. Оно и кладет печать оригинальности на всякий ваш шаг на корабле, на всякий обычай. Притом, кто едет морем, у того, конечно, на уме другие цели, важнее беганья. Если он едет недалеко, например во Францию, в Англию или Италию, у него одна мысль — о том, что увидит он, как поразит его новая страна, новый народ, все, что непохоже на виденное им у себя... И мало ли вопросов родится у него в голове, мало ли ожиданий зашевелится в сердце? О скуке не может быть и помину, разве помучаешься только нетерпением, скоро ли увидишь все это? Но нетерпение — не скука: в нетерпении сердце замирает, мысли кипят, в ногах и руках делается зуд, волнуешься: весело, это жизнь! Даже самый резвый, пылкий юноша, как вы, например, и тот присмиреет, сделается важен, задумчив и будет походить на мужчину. А если ехать дальше, в Америку, в Индию, в Китай,— одна мысль как будто поднимает вас на аршин от земли! Это не путешествие, это целый том жизни! Тут одно приготовление к обозрению этих стран поглотит все время, тут человек в месяц вырастет и созреет в ученого мыслителя, географа, этнографа, филолога, естествоиспытателя или поэта, поклонника красот природы.

— Но на берегу иногда являются неожиданные удовольствия,— слышу ваше возражение,— приезд кузеней и кузин, театр, сюрпризы; перед Рождеством елка, подарки... А летом поездки на дачу, катанье по пруду... на островке мы пьем иногда чай...

Смешно и жалко слушать вас: елка, подарки, катанье по пруду: это вы называете сюрпризами, удовольствиями! На море, конечно, этого нет. Зато есть... Представьте себе: вы сидите, например, в каюте, читаете, пишете или думаете о доме, о елке, сюрпризе, катанье по пруду, может быть... Положим, это будет на Рождестве или около Крещенья: а вы в белой курточке и панталонах, без жилета, без галстука, потому что душно в каюте, а на воздухе солнце печет... Вдруг кто-нибудь мимоходом бросит вам два слова, всего только два, но какие магические слова! «Берег виден!» и только. Боже мой! что с вами: вы покраснели от радости, дрожите, хватаете зрительную трубу и бежите, не чувствуя под собой ног, наверх. Что же это за берег? Не островок ли пруда, с полинявшим храмом Славы, с безносой статуей, с тремя деревьями, под которыми вы собираетесь пить чай?.. Нет, это остров Куба, или Ява, или Люсон, или берег Китая, Индии, Америки... Боже мой! какие горы, какие скалы, что за леса! что за народ! Вот это сюрприз! Когда и от чего затрепещешь еще так в жизни? Это не то, что дача, где песчаная дорожка обсажена тощими деревьями: вы идете в мрак тысячелетнего пальмового леса, видите рой пестрых, невиданных у нас птиц, бабочек, величиной с вашу фуражку, да еще к этому присоединится поэзия страха: ожидание, что выскочит к вам тигр, выползет боа...[1] А подарки на елку? Вам дома подарят — самое лучшее — это часы или чернильницу: а здесь — боже мой! Вас окружают лодки, на корабль с обеих сторон лезут негры, малайцы, дикари: тот привез живую обезьяну,

другой звериных шкур, третий редких раковин, насекомых, а там едет целая лодка с ананасами или такими плодами, которых вы не видывали, которых не умеете назвать и которые так и тают во рту. Иные — не знаешь, как и есть: в Китае, в лавке, я увидел маленький фрукт, взял его, облупил кожу и бросил, а средину положил в рот: кисло, гадко! я с гримасой выплюнул, а китайцы расхохотались. Дело в том, что средину надо было бросить, а кожу съесть: она превкусная. Глаза разбегаются: вы покупаете и птицу, и обезьяну, и кучу раковин, и сотню ананасов — за полтора рубля, и потом засмеетесь сами над собой, не зная, что с этим делать. Обезьяна вам надоест, ананаса вы и одного не съедите, прочие бросите, потому что завтра привезут свежих... Вы накупили всего и в радости мечтаете, как вы, возвратясь домой, уберете ими свой кабинет, как в кругу друзей будете вспоминать, показывая то ту, то другую вещь: вот эту трость я купил в Батавии: она из тамошнего тростника; это ожерелье из кораллов променял у дикого на бусы, на островах Отаити; эту фарфоровую чашку сам купил в Кантоне, эти страусовые перья и шкуру пантеры добыл в Африке, и припомните, как и у кого. Каждый день, стоя у какого-нибудь берега, вы будете ездить то в ту, то в другую сторону, и каждый шаг, каждый предмет внесете, как богатое приобретение, драгоценный вклад, в архив памяти, и все послужит живым памятником живого изучения природы, чужих стран и людей, уже не по тетрадке и не по книге, не со слов учителя, не по картинке, а собственным опытом. После всего этого что станется с вашими воспоминаниями о даче, с подарками на елку, с вашим прудом и островком, с безносой статуей Славы! Сознайтесь, что побледнеют эти воспоминания, а сами вы покраснеете от стыда, что такие мелочи ставили наравне с великолепными развлечениями, сюрпризами и необыкновенными удовольствиями путешествия!

После всего этого и переход морской, хотя бы он продолжался месяц, два, не покажется вам скучным. Вы употребите это время на приведение в порядок ваших впечатлений, перенесете их на бумагу, разберете коллекцию собранных чучел, раковин, камней, насекомых. А потом? потом будете готовиться к новому уроку, который пошлет вам судьба, то есть к новому берегу, к новому небу, к новым городам, к новым чудесам, сюрпризам и подаркам, и даже иногда, поверите ли, пожалеете, что скоро пришли к новому месту, что еще старое впечатление не улеглось, что вы еще не успели выпить до конца прежней сладкой чаши и вот уже новый напиток подносит вам как будто услужливая рука той доброй волшебницы, о которой вам рассказывала няня или о которой вы читали в сказках.

Что? Вы, я вижу, задумались: куда и резвость девалась? И не шалите вы, не щиплете тихонько товарища, не ломаете нетерпеливыми руками переплета книжки... значит, согласились со мной.

— Но на море качает? — говорите вы в ответ,— тогда и ходить нельзя по кораблю, нельзя лазить...

— А вы все свое, все гулять и лазить! А на берегу, если идет дождь, если грязно, ветрено, сильный мороз, вы тоже сидите дома, не гуляете,

или бегаете в комнатах: не бог знает какое развлечение! Это все не беда: зато в тихую погоду вы не сойдете с палубы вниз, не устанете смотреть на море, на небо, особенно на небо! Вы здесь привыкли видеть одни звезды, в южном полушарии увидите другие. Сначала вас займет их богатый узор: светила разбросаны, как песок, и каждая звезда светит своим особенным блеском, ярким, нежным, разноцветным. Никакой хрусталь, никакие брильянты не сверкают такими огнями, ни на какой картине не увидите вы таких красок, какими горит небо и днем и ночью! Какая тишина, какая теплота и нега разлита в тропическом воздухе! Море днем лежит около корабля как необозримое поле, чуть-чуть волнуясь, а иногда не зыблется вовсе и как будто дремлет в мертвом покое. Вода прозрачна, и взгляд глубоко погружается в кристальную влагу, следя иногда за ходом рыбы. Ночью море блещет фосфорным светом, который окружает корабль потоками серебра и пламени. А на небе, в пучине розово-палевого Млечного Пути сверкают эти яркие необыкновенные звезды... *Кто на море не бывал, тот богу не маливался*, говорит пословица: да, это правда; но не от страху молится на море человек, а оттого, что ближе чует бога над собою и явственнее видит чудеса его руки. Как горячо вы будете там плакать и молиться, когда будете стоять лицом к лицу с этими роскошными чудесами мироздания! Что представит вам лучше и величавее берег? С какими удовольствиями сравните вы эти... не удовольствия — это мало и слабо, нет, эти радости, это счастье, выходящее из круга обыкновенного счастья и дающееся немногим?

Да! всякая мелочная мысль, всякое возражение покажется пошлым и бессильным перед такими наслаждениями.

Но не стану лукавить и скрывать от вас, что это все окупается, как и всякая радость на земле, некоторыми неудобствами, даже подчас горем... Ведь жизнь, сказал я вначале, везде жизнь, то есть одна и та же; так она создана, стало быть, и на море, как и на берегу, перемешана пополам с горем. Вы упомянули о качке: это ничего, что она мешает гулять или заниматься делом, но она порождает болезнь, известную под именем *морской*. Это одно из главных зол, которое подчас заставляет пожалеть о береге. Я не знал этой болезни, ни разу не испытал ее, но это редкое, счастливое исключение, которое в пример другим поставить нельзя. Почти все подвержены ей, одни более, другие менее. Что же это за болезнь? Человек не испытывает в ней никакой боли: когда спросишь больного после качки, что он чувствовал, он и рассказать не может. Он опять здоров, весел, даже счастлив, потому что пришел опять в себя и не хочет помнить зла. А когда спросишь во время качки, он молчит, только стонет, мучительно озирается вокруг, и опять ничего не добьешься. А если и скажет, то неопределенно: «Тоска, сердце ноет, слабость, рвота, не глядел бы ни на что, жизнь не мила». Но качка прекратилась, больной смеется и просит есть, потому что во время припадка пища на ум нейдет и он суток трое просидел без обеда и без ужина, даже без чаю. Стало быть, в качку нет житья? Ведь она иногда продолжается недели две, три: все болезнь да болезнь — это отравляет

жизнь и — бог с ними — со всеми этими чудесами! Утешьтесь: *к морю привыкают*, и после двух, трех хороших качек болезнь действует все менее, менее и, наконец, совершенно прекращается. Такие примеры редки, чтобы всегда укачивало. Из четырехсот человек у нас один только никогда не мог привыкнуть к морю, но он вообще был болезненного сложения. Видите ли, и тут есть утешение! А прожив на корабле месяца два, потом уже не обращаешь внимания на качку, даже ходишь свободно, нужды нет, что пол колеблется под ногами: вы стоите как будто на земле, только поднимаете то одну, то другую ногу, как будто приплясываете. Это называется приобресть *морские ноги*. Качка, бури — все это входит в число обыкновенных явлений жизни, как на берегу дождь, слякоть, ветер, гололедица и т. п. явления.

Теперь, кажется, все возражения и сомнения решены, вы молчите и, стало быть, согласны со мной, что морская жизнь не представляет существенной разницы от береговой, а только имеет другую обстановку, то есть другие внешние обстоятельства, которые придают ей свою оригинальную физиономию, и очень занимательную.

Я еще не сказал вам о некоторых важных выгодах морской жизни. Например, там нельзя жить дурному человеку, то есть с дурным характером, правилами... Или, ежели и попадется такой человек, он непременно делается хорошим — хоть на время по крайней мере. Там каждый шаг виден, там сейчас взвесят каждое слово, угадают всякое намерение, изучат физиономию, потому что с утра до вечера все вместе, в нескольких шагах друг от друга, привыкают читать выражения лиц, мысли. Лгун, например, или злой, скупой, гордый, как он станет проявлять свои наклонности? Сейчас все обнаружится — и как ему будет худо, если все осудят его общим судом, накажут презрением: хоть вон беги! А куда бежать? Он тогда решительно будет один *в целом мире* и поневоле будет хорош, иной даже исправляется навсегда.

На море не тратится время по-пустому, нет визитов, нет принуждения, не надо играть чувствами, то есть оказывать сожаление или радость, когда это не нужно или нужно для приличия; не надо остерегаться и держать, как говорят на берегу, «камень за пазухой» против явного и тайного врага; все это или сокращено, или упрощено: вражда превращается в дружбу или оставляется до берега, ссоры невозможны, они мешают жить прочим, а там целое общество живет не какою-то двойной, про себя и вслух, жизнию, не имеет в запасе десять масок, наблюдая зорко, когда какую надеть, а живет одною жизнию, часто одною мыслию, одними желаниями. Только воспоминания и цели у всех различные, то есть прошедшее и будущее, настоящее принадлежит всем одинаково, оно у всех общее. Там не нужно ни краснеть, ни бледнеть...

Что я слышу? «Страшно на море!» Кто это сказал: повторите. Что ж вы все молчите? кто говорит «страшно»? Ужели вы, молодой человек? По вашим черным глазам, с выражением самоуверенности, по крепкому сложению, я так и назначал вас мысленно «на марсы» вверх, так и вижу, как, в крепкий ветер, вы лезете по вантам, идете по реям...

Но вы делаете презрительную мину... нет, это не вы: извините! Кто же? не вы ли, с кротостью на лице, вы что-то задумались... Вы не слышите моего вопроса: вы замечтались о чем-то... вздыхаете...

— Я следил за вами, я был на берегах Индии, Китая, я был в пальмовых лесах, смотрел на небо, на море... Вы увлекли к чудесам мира: не грех ли вам подозревать меня в трусости...

— Извините, пожалуйста, но вас много — кто же это?

— Не мы, не мы,— говорите вы, почти все.

— А кто же это спрятался сзади всех? Пожалуйте сюда. Девица: ну, я очень рад. А прекрасная девица: стройная, высокая не по летам, нарядная. Бархатные ленточки в косах, кружевная оборка около ног, ботинка парижская, кисейное платье, брошка, три колечка... Ну, вы не пойдете в море: никто от вас и не потребует этого. Вы будете ездить в карете, вас на лестницу поведет лакей, двери сами станут отворяться перед вами. Вам «страшно» кажется на море. Но я думаю, что вам страшно остаться и в комнате одной: вы, вероятно, из тех неземных существ, которые в каждом темном углу воображают вора, которые не могут взглянуть без дурноты на ящерицу, на лягушку, боятся не только собаки, но гуся, индийского петуха, и везде видят беду, ужас, вред?.. Вы краснеете: я угадал. Если вы не боитесь мертвецов, домовых, леших, так потому только, что у вас нянька-англичанка, ходит в чепце и не слыхала о домовых и оттого не верит им. А будь на ее месте какая-нибудь Терентьевна, с платком на голове, в очках, с чулком, так вы бы боялись заснуть одни в своей комнате, вам бы снились ведьмы... Что сказать вам? Боитесь вы от избалованности, от непривычки. Я знал одну барыню, которая боялась и воров, и собак, и лягушек, и домовых. Лишь только останется одна в комнате, ей непременно почудится что-нибудь и она закричит что есть мочи: бежит няня (у ней была Терентьевна), бежит маменька, бегут горничные, суетятся, приводят в чувство... Потом я видел эту барыню в зрелой поре, без няни, без кареты, без мамаши и горничных. Она скромно ходила пешком, давала уроки на фортепиано (как изменчива судьба!) и тем доставала себе пропитание. Что же? она рассказывала мне, что, возвращаясь откуда-то к себе, вечером, в четвертый этаж по лестнице, и ощупывая в потемках стену, она вдруг слышит стон, потом умоляющий голос просит помощи... Что ж она? упала в обморок, спросите вы? Прибежали горничные, няня? Нет, она спросила «кто тут?» И не получив ответа, пошла дальше, а потом зажгла свечу, вышла посмотреть и нашла какого-то жильца того же дома, который не смог дойти до своей квартиры, прислонился к стене и заснул на лестнице. А проснувшись, не мог понять, где он... Она расхохоталась, велела дворнику довести его до его квартиры. А прежде бывало! Это, конечно, *случай* не из *морской жизни,* но и он, может быть, пригодится вам, милая трусиха! Кто знает, какая участь постигнет вас! Но боже меня сохрани быть, быть... oiseau de mauvaise augure, * скажу, для вас, по-французски! Это вам понятнее.

* предвестником несчастья (*франц.*),— *Ред.*

Что же страшного на море? «Бури, конечно, грозы, валы!» Это все обыкновенные происшествия там. На крепком корабле это ровно ничего не значит, а не на крепком никто не ездит. Случаются кораблекрушения, гибнут люди... А на берегу разве не случается пожаров, не падают потолки, не умирают от холеры? Я не знаю, как вы решаетесь ездить на ваших горячих лошадях: посмотрите, кучер насилу их держит. Стоит какому-нибудь шалуну вдруг выскочить из-за угла и крикнуть, уськнуть на них — они и взбесились, и понесли вас: коляска на бок, вы падаете головой на мостовую... Чем же лучше опрокинутая коляска опрокинутого корабля?

Иные так разборчивы, что ужасно затрудняются в выборе смерти. Многих заблаговременно занимает этот вопрос. Некоторым особенно не нравится тонуть... А чем же это хуже, повторяю, паденья из коляски и разбитого о мостовую черепа, например? Волна, как живой послушный зверь, так и вытягивает свой длинный хребет, свою изумрудную голову, так красиво играет жемчужной гривой, как будто говоря: «Пожалуйте ко мне, если угодно утонуть: я очень вежлива, не стану хватать вас насильно, принуждать; вам стоит только упасть, а я и утоплю вас, не сделаю никакой боли, и не изуродую, ни крови не будет, даже не изорву и не изомну вашего платья; если угодно, я всегда к вашим услугам: вы как будто заснете...»

Но думать о смерти — значит уже заглядывать за пределы жизни: такая предусмотрительность вам не по летам. А если уж непременно хочется, то чем заглядывать в мечтах, воображением, послушайте лучше, как мы чуть было не заглянули туда два раза на самом деле и как беды пронеслись мимо без всяких последствий.

Вы, может быть, ожидаете от меня какой-нибудь великолепной картины крушения: вам, конечно, хотелось бы, чтобы судно разбилось об утес, а мы спасались бы на досках, или ураган сломал бы все три мачты, оторвал руль, унес паруса, чтобы беспомощный корабль носился по воле ветров несколько суток, пожалуй, недель, по бурному морю; мы простирали бы к небу руки, умоляя о спасении... Между тем провизия вышла, мы томимся голодом и жаждой, доходим до отчаяния, готовы съесть друг друга. Наконец нас принесло к неизвестному острову и разбило об утесы, мы попадаем в руки диких. Они пляшут около нас военную пляску, зажигают костер... и делают из нас жаркое...

Поэзия старых времен! Все это можно видеть, не выезжая из Петербурга, в балете или опере. Там даже оно красивее, нежели в натуре: больше блеску, ярче. На море теперь это редкое явление. А говорят, все эти бедствия — не выдумка, не сказки: многие мореходы не воротились: Кук, Лаперуз,[2] недавно еще Франклин![3] А сколько неизвестных, темных имен погибло в волнах, у подножия безмолвных утесов, под ножом диких, под зубами львов, тигров! Великие благородные жертвы знания и труда! Эти герои угладили нам путь по своим следам, запечатленным кровию; мы, по милости их, одерживаем теперь легкие

победы над океанами, над зверями и над дикарями. А каково было им!

Мрака неизвестности теперь нет: каждый уголок моря, залив, бухта, глубина, подводные камни, каждый берег — все описано в так называемых *лоциях*, показано на картах, как кварталы, площади и улицы города. Известен характер каждого моря, как нрав человека: его сердитые и тихие минуты, все привычки и капризы. Времена года под каждой широтой — все исследовано и записано, и новейший мореход плывет по готовому, уже растолкованному уроку. Он только наслаждается плодами предшественников и если попадет на подводный камень, так по собственной неловкости или по небрежности. Голодная смерть — тоже мудреное дело: морские переходы, благодаря парам и изучению теории ветров под всеми широтами, сократились более нежели втрое: в Америку из Англии прежде надо было плыть месяца три, а теперь ходят туда в две недели; на мыс Доброй Надежды вместо полугода приходят в пять, много шесть недель. Легко запастись на такой срок провизией и водой. Провизию сушат, прессуют и сохраняют в наглухо закупоренных ящиках на целые годы. Наконец, придумали паровой снаряд для превращения соленой морской воды в пресную, следовательно, нельзя умереть и от жажды. Корабли так крепко строят теперь, что мачты редко ломаются, и рули тоже, а если и случится такой грех, то искусство и опыт научили заменять на время мачту *стеньгой* (верхняя часть мачты, на которой прикрепляется парус), вместо настоящего руля делают фальшивый и кое-как добираются до ближайшего места, а в ближайшем месте есть верфь или европейская фактория: путешественников ласково приютят и починят судно, а если нельзя починить, то с первой почтой, а не то так еще скорее, по телеграфу, дадут знать домой и вместо разбившегося судна вышлют новое. Попадешься к диким... Да где нынче дикие? Если и есть, так те потеряли вкус к человеческому мясу: прежде, бывало, они любили водку, а теперь подавай им шампанского! Бывало, они расписывали себе тело яркими красками, а теперь рядятся в мундиры. Сколько их приезжает в Париж, в Лондон! Дома у себя кто содержит трактир, кто завел карету и ездит кучером; другие моют белье, шьют на европейцев платье, все спекулируют на любопытство и карман путешественника. Пойдет ли тут в горло человеческое мясо!

Но вы, я вижу, нетерпеливо ждете рассказ о двух случаях, как мы попали было в беду... Сейчас, сейчас! Еще одно замечание: вам, кажется, не нравится слово *было*, поставленное после *попали*? Я вижу это по вашим недовольным лицам. *Попали было* — значит и освободились: не так интересно. Ужели вы такие злые? Не может быть: это мне так показалось.

У меня в портфеле сохранился листок дневника, который я вел на пути от Японии к Ликейским островам: там записано, шаг за шагом, день за днем, все, начиная от погоды до грозившей нам опасности включительно. Прочитаю вам его почти без перемен, как отрывок из морской жизни, который, может быть, покажется вам любопытен, только вставлю некоторые необходимые объяснения, относящиеся до

морского дела, чтоб для вас не встретилось чего-нибудь непонятного.

24 января 1854 года мы вышли на фрегате «Паллада» из Нагасаки. Небо облачно, но море тихо. Идем от двенадцати до четырнадцати верст в час, прямо к югу, с попутным ветром. Ночью мы спали покойно, как будто стояли на якоре. Утром Фаддеев (служивший мне матрос) на мой вопрос, под каким ветром идем, сказал: «Идем *фардак*, ваше высокоблагородие!», то есть на *фордевинд*. Это такой ветер, который дует сзади, прямо в корму. Ветра, дующие с боков, называются *бакштаг* и *галфвинд*. Это все попутные ветра. Когда идут на фордевинд, паруса ставятся прямо и покрывают мачты сверху донизу; судно не клонится на сторону и представляет самый картинный вид.

С 25 января чувствительно, что подаемся к югу: в воздухе все теплее и теплее. Ход так же хорош; к ночи полагают пройти мимо островка Клеопатра, а к восьми часам утра увидеть другой островок, Сульфур, с курящимся пиком, от которого, говорят, далеко по морю разносится запах серы.

Около фрегата медленно и как будто уныло носились альбатросы, огромные морские чайки. Капитан велел принести ружье, попробовать своей и моей ловкости. Но оба мы дали по промаху. Да и настоящие стрелки, в качку, притом пулей и влет, не попали бы в птицу. А когда зарядили ружья дробью, альбатросы отлетели от фрегата на расстояние вне выстрела и сели на воду, как будто догадались, в чем дело.

Не в восемь часов утра, а в три пополудни подошли мы к *Сульфуру* (по-латыни значит *сера*), потом оставили его на ветре, и на нас в самом деле раза два пахнуло серой. Но ни дыма, ни огня на вершине пика мы не заметили. Мы легли в дрейф, то есть расположили паруса так, чтоб одни из них влекли судно вперед, а другие противудействовали и удерживали его на одном месте; спустили шлюпки на воду, и некоторые из наших поехали на берег, да там и сели. Бурунами их почти выкинуло на берег, а во время отлива шлюпка замелела, и они должны были заночевать там. Остров со всех сторон имеет крутые красноватые бока, местами только зеленеет на них трава. Наши нашли там жителей, которые ласково приняли гостей, то есть сначала знаками просили не подъезжать, а когда увидели, что их не слушают, то встретили с поклонами. Это, кажется, общепринятое на крайнем востоке правило гостеприимства в отношении к чужестранцам. Утесы так круты, что надо подниматься вверх с помощию веревок. Жилища жителей состоят из хижин, очень чистых, устланных циновками. Около хижин есть поля с посевами риса и кусты. Кругом острова и нашего фрегата беспрестанно играют киты мелкой породы; пускаемые ими фонтаны то и дело брызжут тонкой струей, и кое-где покажется хребет или голова зверя. В воздухе разлита влажная теплота.

Сегодня только, 26, в семь часов утра явились наши искатели приключений. Они провели ночь на камнях, под парусом, хотя жители и звали их к себе. Они даже ничего не ели: им послали провизии и чаю, но катер, по причине сильных бурунов, не мог пристать к берегу. Мы посмеивались над ними. «Есть по крайней мере что вспомнить!» —

говорили они в утешение себе, как будто все воспоминания хороши! Все, что видели они, было в японском вкусе: жители, их деревенька, костюмы и поклоны. Кажется, это колония ликейцев, обработывающих серу.

30. Темнота, дождь так и льет, как будто у нас в Петербурге. Впрочем, конец января и февраль самое неприятное время здесь, по словам путешественников: бурно, дождливо и холодно, то есть по-нашему жарко, о морозе и помину нет, но здешние жители находят, что им холодно. Фрегат бежит, как добрая тройка лошадей, и нам пора бы быть на Лю-Чу. Но темнота помешала в полдень определить место, где мы были, и вечером пришлось держаться открытого моря, чтоб не наткнуться на один из мелких островов. Раза два подходили к большому острову Лю-Чу, но в тумане проскочили мимо, дальше к югу.

Наконец сегодня подошли к острову: он уже в виду, на глазомер занимает почти полгоризонта. Берег неровный, изрытый: то холм, то едва видная узкая полоса, то громадный гранитный утес. Но все еще сливается в одну массу и в один цвет — синеву, колорит всякой дали. В шесть часов вечера подошли ближе. Нас, от берега и рейда, отделяет длинная гряда коралловых рифов, в которой есть только два узких, как ворота, входа; ночью войти нельзя — как раз стукнешься о камни. Последние или скрыты под водой, или показывают свои ослепительно белые, омываемые водой и обвеваемые ветром головы: точно зубцы гребня или крепости. Прочие наши суда уже на рейде, корвет «Оливуца» и транспорт «Князь Меншиков». Оттуда приехал офицер и сказал, что он уже был на берегу, что прежде нас заходили американские суда, ушедшие в Японию, и оставили на Лю-Чу несколько больных матрос и двух офицеров да груз каменного угля для своих пароходов. Мы бросили якорь в виду берега, недалеко от каменных рифов, и легли было спать, надеясь завтра быть на рейде, за каменной стеной, в безопасности, гулять по новому берегу, познакомиться с жителями. Все мечтали о *сюрпризах*, о *подарках*...

Ночью задул крепкий ветер, началась сильная качка. Надо помнить, что мы стояли на якоре не на рейде, не в гавани, закрытой со всех сторон от ветра и моря, а в самом океане, на просторе, где ветрам и волнам полный разгул и свобода. Стали травить канат, то есть выпускать более и более каната, чтобы он не натягивался от напора ветра и не подвергался опасности лопнуть. Кажется, было вытравлено до восьмидесяти сажен прежде, да теперь стали прибавлять еще. Весь канат имеет до ста пятидесяти сажен длины. Кругом была непроницаемая мгла. Дождь хлестал с остервенением, в воздухе реяли огненные струи, ветер ревел, заглушая гром. Того и гляди *подрейфует*, то есть силой ветра потащит судно и с якорем, а сняться в темноте, среди рифов, и думать нельзя. Все поглядывали заботливо друг на друга. Спать — отложили попечение. Да и качка была такая, что с постели сбрасывало. Ну, как приткнет к каменьям? Через час волнением разобьет судно в щепы. До полуночи мы были в сомнительном положении. Потом, о счастье! с переменой течения переменился и ветер, стал дуть

от берега к морю, в простор. Проглянула луна, звезды, стало тепло... Пойду гулять.

Не надо ни на что полагаться слепо в жизни: судьба как будто подкарауливает человека, когда он перестанет оглядываться вокруг, не летит ли откуда-нибудь камень, и только забудется — она и отрезвит его от забвения, как отрезвила нас. Больно от спокойствия и беспечности возвращаться к тревожному чувству тоски! Нам предстояло провести еще сутки на рубеже жизни и смерти. 30 января начали было сниматься с якоря, но вдруг набежал с моря шквал: это бурный и внезапный порыв ветра. Отдали другой якорь, и от этого положение наше стало вдвое хуже. Выдайся час или два тихие — и мы успели бы вытащить один канат и один якорь, но наматывать двести сажен вместо ста, вытаскивать два якоря — надо два времени и две трудные работы. Вдобавок к этому якорная цепь за что-то задела; долго провозились за этим и стали поднимать второй якорь: в шпиле (на который наматывается канат) перевернулось что-то: ряд неудач! и он не пошел. Опять новая, непредвиденная возня и работа, и все на счет коротенького выдавшегося нам периода сносной погоды! А между тем порывы ветра повторялись все чаще. Работали неутомимо, с двойным усердием и силой: еще четверть часа — и второй якорь был бы поднят; поставили уже паруса, как вдруг дунул жестокий порыв ветра, паруса надулись... «Дрейфует!» — закричал вдруг наблюдавший за лотом штурман, и закричал особенным голосом, какой является только в необыкновенную минуту: нас, с невынутым еще якорем, быстро тащило парусами — прямо на рифы... За этим криком следовал момент всеобщего оцепенения и тягостного молчания. «Отдать якорь! марсогитовы тянуть!» — раздалась в одно время команда — и в одно время загремела цепь, бухнул якорь в воду и паруса исчезли. Фрегат остановился: мы свободно вздохнули. Перед нами, менее нежели в полуверсте, играли буруны, неистово переливаясь через рифы: солнце ярко озлащало сверкавший в глазах наших поток жемчуга, алмазов и изумрудов, кипевших, крутившихся и исчезавших в белой пене бурунов, и еще ярче обливало золотом зеленый, смеющийся берег. Вблизи зияющая могила, за ней глядела на нас жизнь, со всей роскошью и красотой! Вы видали, как вода кипит и бурлит под мельничным колесом: представьте исполинское колесо, на версту или более роющее воду. Океан свободно катит волны и вдруг разбивается о каменную стену! Он как будто толкал нас туда, в клокочущую бездну, и мы упирались у порога ее, как упирается человек или конь над пропастью. Ветер все крепчал, и нам оставалась борьба с океаном и вопрос с сомнением, кто одолеет? Останемся ли мы или... Смерть от нас в двухстах саженях: как надеяться, что канат, даже два, устоят против напора ветра, волн и тяжести огромного судна? Зыбь идет ужасная; длинные океанские волны играют судном, как скорлупой; качка килевая, то есть вдоль фрегата, который поднимает высоко нос и бьет им со всего размаха о воду... Мы ходим под страхом, в томительном ожидании, все носят в себе тупое чувство тоски, неизвестности, стараются не глядеть друг на друга,

отворачиваются, но беспокойные взгляды падают все на одну картину, все на жемчужно-изумрудную длинную; теряющуюся вдали полосу белых волн — в свирепой игре с ветром: чу! как воет: memento mori (помни смерть!) слышится в этом реве! А дальше, дальше — равнодушный, неподвижный берег: все дремлет там в покое, все дышит и блещет теплотою, радужною жизнию. Под защитой его стоят и не шелохнутся наши суда, по берегу видны кровли, движутся фигуры людей, счастливых, конечно! Туда бы! [4]

Как ни быстро убрали паруса и отдали якорь, а нас в это время успело отнести более кабельтова (кабельтов — сто сажен) к рифам. Но каково, однако, сутки глядеть в глаза смерти! Говорят, кому случалось на один миг стать с ней лицом к лицу, те седели. Может быть, оттого именно, что один миг, а в сутки можно и привыкнуть немного... даже умереть. К чему не привыкает человек! Если б лопнул канат, надежды к спасению не предстояло, а если б у кого и затаилась она, так сейчас найдется услужливый товарищ, который очень обязательно и обстоятельно докажет, что она тщетна. «Как тут спастись? — говорил мне один,— шлюпки с наших судов, конечно, бросятся на помощь, да ничего не сделают: к бурунам подъехать им нельзя, их как щепки втянет и измелет о камни. А если и подъехали бы — что толку? Разве посмотреть, из любопытства, как будет бить фрегат о каменья, как посыплются пушки, люди, как мы будем нырять один за другим в бездну: в этакую погоду им надо взять полное число гребцов на шлюпки, иначе не выгребут: много ли же останется места для четырехсот утопающих? Да где тут!» — заключил он, махнув рукой на рифы и отворачивая глаза в другую сторону. Смельчак Савич приехал в вельботе навестить нас, как приятель приходит навестить безнадежного больного, вперит в него любопытно-сострадательный взгляд, постоит, вздохнет и печально отойдет прочь. Я смотрел, как он понесся по океану в утлом вельботе, назад, за рифы, на корвет, в мирную пристань, где ни печали, ни воздыхания не было. Волны ужасные; за третьей, за четвертой волной вельбот вдруг пропадал из глаз, с мачтой, с парусами, и потом опять вылезал на пятую волну, точно из ямы, медленно, неловко, сначала носом, потом уже кормой, и не успеет стать прямо, как вдруг провалится, и минуты три не видать его, думаешь, пошел ко дну... нет, вон вылез! Долго следил я за ним, отчасти любопытными, отчасти завистливыми глазами. «Отчего же было не поехать с ним?» — может быть, шевелится у вас вопрос в голове. А какое я имею право? Всем, конечно, хотелось бы быть на берегу, а всем нельзя. Начальник экспедиции, капитан имели полную возможность уехать, но кто же это сделает? Никому и в голову не приходило об этом. Такое эгоистическое попечение о своей жизни встречено бы было — уж я и не знаю чем. Но как ни любопытно было смотреть в глаза смерти, однако ж надо было все-таки поддерживать остаток жизни, хотя, может быть, очень краткий, обедать, спать. В кают-компании — ничего особенного: по-прежнему читают, пишут, курят: почему ж и не покурить, не почитать перед смертью? «А если канат не лопнет?» Эта надежда даже внушает некоторым веселые мысли: вон

Болтин по обыкновению дразнит Урусова;[5] сердит Зеленого; этот последний по обыкновению хохочет. К ночи все легли спать, конечно занятые одной мыслию...

Утром... Утром солнце кротко сияло над укротившимся океаном, буруны с журчаньем тихо переливались через каменную гряду: мы залюбовались, глядя на нее. Мы чуть-чуть скользим мимо рифов, минуем вход и подбираемся к берегу. Берег блещет яркими лучами солнца, улыбается, как будто поздравляет с избавлением от опасности. А ночь, а тоска, томительное ожидание? Э! подите! до того ли? Зовут на берег: прощайте!

В другой раз — это было в июне месяце того же года: мы пробирались по Татарскому проливу, к берегам Сибири. Мы дошли до того места, где остановился знаменитый французский мореход Лаперуз и не пошел дальше. В то время неизвестно было, отделяется ли остров Сахалин от Азиатского материка проливом или соединен с ним. Задача эта решена практически, на деле, очень недавно, если не ошибаюсь, в 1851 году, русским транспортом «Байкал».[6] Он первый пробрался по бесчисленным мелям Амурского лимана между Азиатским материком и островом Сахалином и благополучно вышел в Охотское море. Лаперуз, дошедши до глубины шести сажен, ожидал, и весьма основательно, что глубина будет все уменьшаться и поставит его в затруднительное положение. Если б к решению этого вопроса присоединялись какие-нибудь выгоды, то не он, так другие, например *ученые* американские китоловы, давно бы простерли свои изыскания до этих мест. Но ничто не манило туда: слева тянется пустой, лесистый, ненаселенный маньчжурский берег, на который не ступала нога пытливого наблюдателя, где зима на полгода почти так же сурова, как у полюсов. Известна только линия берега, но что дальше — никто не знает, никто не был, не рылся там. Не видать ни одной хижины, ни засеянного поля; редко-редко появится полунагой житель, гиляк, или уродливая гилячка, в звериной шкуре, с ребенком за спиной, не то проскользнет байдарка дикого рыболова. Или медведь придет к берегу половить рыбы, в период ее перехождения из одного моря в другое. Справа тянется — узенькой, утопающей в море полосой, песчаный берег Сахалина: там, кроме мелкого кустарника, ничего не видать и не слыхать. Тишина невозмутимая и на земле и в воздухе. Что могло приманить туда? Другое дело, если б американцы или англичане заподозрили там золото, каменный уголь, сейчас бы снарядили, во имя науки и человечества, ученую экспедицию, начали бы просвещать дикарей, делать их людьми.

Мы пошли дальше Лаперуза, не думая ни о золоте, ни о каменном угле; эти места соприкасаются с нашими владениями, тамошние дикари — наши соседи: нам сроднее всех следовало узнать эти места, описать их во всеобщее сведение и, может быть, населить их. Колонизация, то есть заселение и обработывание пустых мест, со времен глубокой древности всегда было обязанностью образованных наций. Вспомните

финикиян, греков и других. Впрочем, мы с фрегатом не с этой целью пустились по следам Лаперуза, а просто мимоходом: нам лежал путь к берегам Сибири, где, по случаю войны, [7] назначено было сборное место всем нашим судам, находившимся тогда в Восточном океане. Туда впоследствии прибыли фрегаты «Диана», «Аврора», корвет «Оливуца», шкуна «Восток» и некоторые суда американской компании.

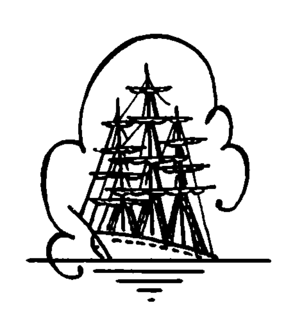
Вы, конечно, знаете, что в Татарский пролив, под 55° сев. широты, вливается огромная река Амур: она образует при устье ⟨так⟩ называемый *бар* (barre), или порог, наносимый ею из песка и ила. Такой бар образуется у устья всех больших рек, вливающихся в океаны. Бар очень часто меняется, смотря по течению реки, то есть одно лето она промывает прежний бар и наносит преграду дальше, в другое время главная струя течения берет другое направление, и там образуется и бар, а с ним и множество наносных мелей. Все это засоривает фарватер и затрудняет плавание. Нам, вместо волн и ветров, предстояла скучная, утомительная борьба с мелями. Надо было завоевывать каждый вершок пространства: возни, работы, бессонных ночей и усталости было гораздо более, нежели в открытом море, в ураган. Там сделают, что надо сделать по правилам, уберут парус, спустят брамстеньги, укрепят двойными талями (веревками) пушки, чтобы они не вздумали оторваться, и потом отдыхают. А тут несколько шлюпок идут вперед, ощупывая поминутно лотом (длинная веревка с свинцовой гирькой) дно, на судне беспрестанно меняют то тот, то другой парус, бросают или поднимают якорь. Сколько раз достаточная глубина заманит на такую дорожку, что и выхода нет: дальше окажется мелко, надо сворачивать. Каково ворочать судно, которое сидит в воде четыре сажени! Часто в сутки делали миль двадцать, а иногда и меньше.

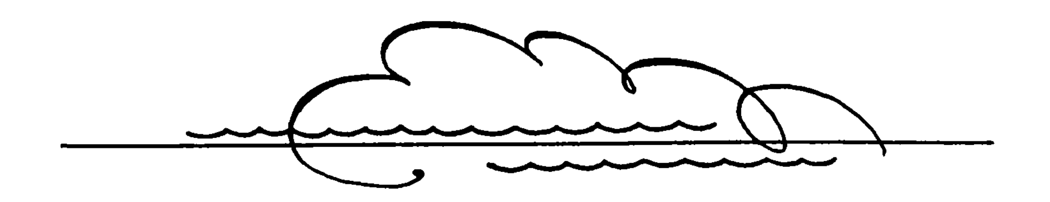
Хотя мы были на севере, почти у себя, но июнь везде июнь: тепло, погода ясная. Оба берега в виду: ветры и волны уже не страшны нам в местах, отвсюду запертых берегами. Тихо, как в реке; приятно читать, срисовывать виды. К нам ездили тунгусы и гиляки, возили рыбу, пили с матросами водку, стреляли медведей и лосей. Уж пахло «дымом отечества»: еще несколько дней, много-много недели две, и мы у себя дома. Однажды вечером утомились работой и бросили якорь на глубине семи или восьми сажен: чего лучше, безопаснее? Все занялись своим делом; в кают-компании пили чай, разговаривали о войне, о России, кто лег спать. Я, с начальником экспедиции, ходил по шканцам (это парадная часть на судне). Вдруг с севера подул умеренный ветер: пусть себе, никто и внимания не обратил. Но вместе с этим на носу фрегата раздался глухой звук, как будто отдаленного пушечного выстрела, и фрегат свободно двинулся по ветру. Несколько матрос побежали с носа на шканцы. «Канат лопнул, канат лопнул!» — тревожно кричали они. «Ну, не кричать!» — строго сказал адмирал и, оборотясь к вахтенному офицеру, приказал отдать другой якорь. Приказание тотчас было исполнено, и все успокоились. «Слава богу, что лопнул теперь, а не тогда, у Лю-Чу!» — сказал я. Но и то — не слава богу. Пока отдавали якорь, нас отнесло с прежней глубины сажен на тридцать назад, и под

фрегатом стало глубины вместо трех или четырех сажен всего какая-нибудь сажень. Потолковали о новой неожиданной на завтра работе — отыскивать оторвавшуюся цепь с якорем, поднимать последний — и разошлись. «Завтра сойдем»,— сказал я, уходя, вахтенному офицеру. «Да,— отвечал он,— если мы стоим на малой воде...» «Как так?» — «Так: ведь неизвестно, на прибыль или на убыль идет вода; ну, если теперь прилив, а к утру начнется отлив...» Я не дослушал и ушел спать. «Большая важность! — думал я,— что тут, разобьет, что ли, в этой луже? до берега версты три, шлюпок у нас множество...» И лег спать. Утром не сам я проснулся, не Фаддеев разбудил меня, а сильный толчок, так что я припрыгнул на постели и быстро вскочил. Я думал, что спускают шлюпки на воду: эта операция всегда сопровождается некоторым шумом, однако ж не таким. «Что за странность...» — начал было я рассуждать, желая определить, какого рода был толчок. Вдруг опять толчок, сильнее прежнего; на шканцах что-то затрещало. «Сосед!» — закричал я к К. Н. Посьету через перегородку. «Что вам?» — откликнулся он. «Что это за толчки?» — «Мы на мели!» — сказал он, я хотел выйти на палубу — новый толчок: я покачнулся в дверях. Все на палубе: все начальство и матросы. «Живо, живо, скорей!» — раздавалась торопливая команда. Матросы не хо́дят, а бегают на шпиле, наматывая канат. Беда: надо поднять якорь, поставили паруса, чтоб сдвинуться с мели, а каната еще много. «Что это?..» — спросил я у мичмана Пещурова. Он хотел что-то ответить, но вместо того мы оба прыгнули в разные друг от друга стороны — от нового толчка. На верху бизань-мачты опять сильно затрещало: мы инстинктивно бросились от нее прочь, к грот-мачте. Но ведь и та может так же затрещать, тогда... Я не додумал: фрегат сильнее прежнего грянулся о дно. Мы молча переглядывались между собой, как будто спрашивая один у другого, чем это может кончиться. Иной хотел улыбнуться и не мог. «Хорошо еще, что дно песчаное,— сказал один,— а если б камни...» Вдруг еще удар: надо было схватиться за пушечные тали, чтоб не упасть. Опять переменишь место без цели, без смысла, а так, машинально. Хотя дно и песчаное, но если постучит хорошенько о него часа три тяжело нагруженное, притом старое судно, с пятьюдесятью двумя огромными пушками, то не устоит ни киль, ни обшивка, дно раздастся. Утонуть было трудно на полутора саженях глубины и в трех верстах от берега, но быть разбитым, изувеченным, убитым — предстояла полная возможность. От сильных ударов мачты не устояли бы на месте, они повалились бы набок и опрокинули судно́. Да еще прежде падения самых мачт, от постоянного и сильного сотрясения их, полетел бы, конечно, рангоут (верхние составные части мачт, стеньги, брам-стеньги), реи, марсы: все это, если смотреть издали, похоже на зубочистки, а между тем одна такая зубочистка весит пуд пятнадцать, другая более, третья менее — и все валилось бы на палубу, в кучу людей. Как знать, куда отойти, укрыться? Уйти в каюту? но брошенные с размаху и с высоты десяти, пятнадцати сажен двадцать пуд прошибут и не дощатые полы и покрышки. Потом, когда остов судна опрокинется, кто может быть уверен, что не

попадет под падающую пушку, станок, шлюпку? Удастся ли устоять на ногах, удержаться и выкарабкаться... да — боже мой! Как рассчитать и предвидеть все последствия от такого события? Пусть скажут вам, что опрокинется дом на сторону — это все то же. Вот отчего мы кидали друг на друга вопросительные взгляды и машинально, при каждом толчке, меняли места. Конечно, все, кто уцелеет, доберутся до берега, да кто именно уцелеет? Этот вопрос был у всякого в голове. «Живо, скорей!» — повторялась команда, впрочем, без надобности, потому что живей и скорей работать было невозможно. Между тем еще толчок, через пять минут опять, потом еще новый сильнее и новый обмен значительных взглядов и ожидание нового толчка, который и не замедлил повториться. Ветер свежеет и попутный — ах, если б не якорь!.. Конечно, можно расклепать цепь, да теперь это возьмет не меньше времени, сколько нужно, чтоб сняться с якоря. А тут толчок за толчком: «Скоро ли конец?» — думаешь в тоске. «Якорь встал!» — кричат несколько обрадованных голосов, то есть приподнялся на дне. Но это еще не все, надо поднять его со дна — и тогда все кончено. «Ну, слава богу!» А между тем раздался удар самый сильный, так что голова закружилась. Теперь на фок-мачте что-то затрещало. Следующий будет еще сильнее... Я уперся ногами в палубу, чтоб не упасть, ухватился за веревки и напряженно ждал. Вот поднимает, поднимает фрегат, сейчас хватит... Ах ты, боже мой! Но... толчка не было: что это? фрегат движется вперед: мы сошли, только лишь якорь подняли. Ну, слава богу! Пойдемте пить чай.

Через полчаса все забыли об этом и за чаем говорили совсем о другом.





ПО ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

В Якутске и в Иркутске

Лет тридцать с лишком тому назад [1] я провел два месяца, с конца сентября до конца ноября, поблизости полюса,— северного конечно. Это — в Якутске, откуда до полюса рукой подать. Я писал об этом областном городе в очерках своего кругосветного плавания — и не угрожаю читателю возвращаться к новому описанию.

Правду сказать, и нечего описывать. Природа... можно сказать — никакой природы там нет. Вся она обозначена в семи следующих стихах, которыми начинается известная поэма Рылеева «Войнаровский»:

На берегу широкой Лены
Чернеет длинный ряд домов
И юрт бревенчатые стены.
Кругом сосновый частокол
Поднялся из снегов глубоких,
И с гордостью на дикий дол
Глядят верхи церквей высоких.

И только.

Напрасно я в своих очерках путешествия силился описывать Якутск,— я полагаю, что силился. А навести справку, заглянуть в книгу, да еще свою,— меня на это не хватает. Стоило бы привести эти семь стихов — и вот верный фотографический снимок и с Якутска и с якутской природы.

— Да это и в Петербурге все есть,— скажет читатель,— и широкая река, снегу — вдоволь, сосен — сколько хочешь, церквей тоже у нас здесь не мало. А если заглянуть на Петербургскую. или Выборгскую стороны, то, пожалуй, найдешь что-нибудь похожее и на юрты. О *гордости* и говорить уж нечего!

Для полноты картины не хватает в Петербурге якутских морозов, а в Якутске — петербургских оттепелей.

Петербург, пожалуй, может еще похвастаться, что иногда отмораживает щеки извозчиков и убеляет снегом их бороды,— но куда до Якутска. Зато уже Якутск пас перед Петербургом насчет оттепелей.

И то и другое весьма естественно: Якутск лежит под 62° северной широты, и Петербург ушел от него: он расположен под 61°.

Но я изменяю обещанию не описывать якутской природы. Если я в путешествии моем вдался в какое-либо описание, а не привел, для краткости, вышеозначенных изобразительных стихов, то это вовсе не оттого, что я не знал или не помнил этого начала поэмы. Напротив, я помню, что, подъезжая к городу, я декламировал эти стихи; а не привел их, как принято выражаться в печати,— «по не зависящим от автора обстоятельствам». Приводить что-нибудь из Рылеева — даже такое простое описание природы — тогда было неудобно. [2]

Но бог с ней, с мертвою, ледяною природой! Обращусь к живым людям, каких я там нашел.

Сколько холодна и сурова природа, столько же добры и мягки там люди. Меня охватили ласка, радушие, желание каждого жителя наперерыв быть чем-нибудь приятным, любезным.

Я не успел разобраться со своим спутником с корабля, как со всех сторон от каждого жителя получил какой-нибудь знак внимания, доброты. Я широко всем этим пользовался, не потому, чтобы нуждался в чем-нибудь. Собственно для моих нужд и даже прихотей совершенно достаточно было двух моих чемоданов-сундуков и моего спутника: omnia mecum portabam. * Но я так же тепло принимал все эти знаки радушия, как тепло они предлагались. Я видел, что им самим нужнее было одолжить меня, чем мне принимать одолжение,— и это меня радовало, как их радовало одолжать.

В самом деле, сибирские природные жители добрые люди. Сперанский [3] будто бы говаривал, что там и медведи добрее зауральских, то есть европейских. Не знаю, как медведи, а люди в самом деле добрые.

Я в день, в два перезнакомился со всеми жителями, то есть с обществом, и в первый раз увидел настоящих сибиряков в их собственном гнезде: в Сибири родившихся и никогда ни за Уральским хребтом с одной стороны, ни за морем с другой — не бывших. Петербург, Москва и Европа были им известны по слухам от приезжих «сверху» чиновников, торговцев и другого люда, как Америка, Восточный и Южный океаны с островами известны были им от наших моряков, возвращавшихся Сибирью или «берегом» (как говорят моряки) домой, «за хребет», то есть в Европу.

Итак, весь люд составляло общество, всего человек, сколько помнится, тридцать, начиная с архиерея и губернатора и кончая чиновниками и купцами. Все это составляло компактный круг, в котором я, хотя и проезжий с моря — по застигшим меня морозам и частию по болезни ног, занял на два месяца прочное положение и не знал, когда выеду.

Поневоле пришлось вглядываться в эту кучку новых для меня лиц и в каждое лицо отдельно.

---

* все свое носил с собою (*лат.*),—*Ред.*

Но не природных сибиряков было всего три-четыре человека, приехавших из Европы, то есть из Петербурга: это губернатор да еще, может быть, несколько чиновников — и только. Архиерей был урожденный сибиряк.

Остальные духовные лица, чиновники и купцы тоже все сибиряки, частью местные, частью приезжие сверху, из Иркутска. Все это составляло сибирскую буржуазию, там на месте урожденную, выросшую и созревшую или, скорее, застывшую в своих природных формах и оттого имеющую свой сибирский отпечаток: со своим оригинальным свободным взглядом на мир божий вообще и свой независимый характер, безо всякой печати крепостного права, хотя в то же время к «предержащим властям» почтительную, скромную, но носящую в себе свое достоинство.

Припоминаю, что в путевых своих очерках («Фрегат „Паллада"») я слегка говорил о якутском обществе огулом, не сказав лично почти ни о ком. Протекло с тех пор тридцать лет с лишком: я перезабыл имена, но не забыл добрые, ласковые лица, радушие и баловство, оказываемое ежедневно мне, как и невольному путешественнику, нечаянно, по болезни и по милости замерзавшей реки, двухмесячному гостю.

Значит, у меня «память сердца» сильнее «рассудка памяти печальной». [4] Что ж, это, надеюсь, хорошо!

Зачем помнить имена, когда предо мной целая галерея полных жизни лиц, как будто я гляжу на них и они все на меня? Я забыл сказать, что я ⟨не⟩ застал тут своих спутников с фрегата. Они торопились и уехали до того, как река стала. То же радушие, то же гостеприимство было оказано и им, и кстати или некстати, и мне.

Из не сибиряков упомяну о гражданском губернаторе, управлявшем Якутскою областью с тех пор, как она, незадолго до нашего приезда туда, отделена была от иркутского гражданского управления. Но главным шефом и военной и гражданской части оставался все-таки генерал-губернатор Восточной Сибири, известный впоследствии под именем графа Амурского, Николай Николаевич Муравьев. [5]

Губернатором же был — назову его Петром Петровичем Игоревым (настоящих имен я принял за правило не приводить: не в именах дело) — бывший до Якутска губернатором в одной из губерний Европейской России, [6] где как-то неумело поступил с какими-то посланными в ту губернию на житье поляками — и будто бы за это «на некое был послан послушанье» [7] в отдаленный край. Стало быть, он в своем роде был почетный ссыльный.

Лично любезный, тонкий, пожалуй образованный... чиновник. Чиновник — от головы до пят, как Лир [8] был король от головы до пят.

И все почти тогда такие были: „Grattez un Russe,— говорит старый Наполеон, [9] — et vous trouverez un Tartare»; * он прибавил бы: „ou un tchinovnik, ** если бы знал нас покороче.

Сибирь не видала крепостного права, но вкусила чиновничьего —

---

* «Поскоблите русского, и вы найдете татарина» *(франц.)*,— *Ред.*

** «или чиновника» *(франц.)*,— *Ред.*

чуть ли не горшего — ига. Сибирская летопись изобилует такими ужасами, начиная с знаменитого Гагарина [10] и кончая... не знаю кем. Чиновники не перевелись и теперь там. Если медведи в Сибири, по словам Сперанского, добрее зауральских, зато чиновники сибирские исправляли их должность и отличались нередко свирепостью.

Вглядываясь поближе в губернатора, я не мог надивиться, как могли назначить на такой пост петербургского, пожалуй умного, тонкого редактора докладов, отношений, донесений, словом, примерного правителя любой канцелярии, в глухой край, требующий энергии, силы воли, железного характера, вечной бодрости, крепости, свежести лет и здоровья, словом, такой личности, как был генерал-губернатор Н. Н. Муравьев. Он, кажется, нарочно создан для совершения переворотов в пустом, безлюдном крае! Он и совершил их не мало. Об этом скажет история, «но мы истории не пишем...» [11] — повторю вслед за нашим баснописцем.

Этот Петр Петрович был довольно дряблый старичок, с приятным, но значительно подержанным лицом, не без морщин, с подагрическим румянцем, с умными, тонко, отчасти лукаво смотревшими из-за золотых очков глазами,— маленький, кругленький, с брюшком.

Это начальник края, раскинувшегося с Ледовитого моря с одной стороны, до Восточного океана с другой и до подножия Станового хребта с третьей. И ничего: дела шли себе ни валко, ни шатко, ни на сторону. Это и можно объяснить только тем, что в этой ледяной пустыне было больше зверей, чем людей, так что, собственно, губернатор был бы не нужен. А со зверями купцы распоряжались отлично.

«Тут бы такого же молодца военного,— думалось мне,— как генерал-губернатор, которого я успел несколько покороче рассмотреть в устьях Амура, куда он приезжал посмотреть нашу эскадру и в свите которого я плыл с Амура по Охотскому морю на нашей шкуне „Восток" и провел несколько дней в местечке Аяне, нашем крайнем пункте на этом море».

В беседах с ним я успел вглядеться в него, наслушаться его мыслей, намерений, целей!

Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями, с «bâtons dans les roues»,* как он выражался, которыми тормозили его ретивый пыл! Да это отважный, предприимчивый янки! Небольшого роста, нервный, подвижной. Ни усталого взгляда, ни вялого движения я ни разу не видал у него. Это и боевой отважный борец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях.

Его угадал император Николай Павлович, [12] и из гражданского губернатора Тулы призвал на пост генерал-губернатора Восточной Сибири. Ни тот, ни другой не были чиновниками и поняли друг друга.

И вдруг такому деятелю, в своем роде титану, как Муравьев, дали в помощники чиновника, дельца, редактора докладов, донесений и отношений! «Да ведь вы не на своем месте!» — хотелось мне сказать

---

* «с палками в колесах» (*франц.*),— *Ред.*

после первых свиданий и разговоров с губернатором. У меня еще так свеж был в памяти образ настоящего пионера-бойца с природой, с людьми на месте — с инородцами, разными тунгусами, орочами, соседними с Сибирью китайцами, чтоб отвоевать от них Амур,[13] — и в то же время бороться за хребтом с графом Нессельроде,[14] о котором он не мог говорить хладнокровно и обо всех, кто кидал ему «bâtons dans les roues» — в Петербурге, с одной стороны, с другой — там на месте, он одолевал природу, оживлял, обрабатывал и населял бесконечные пустыни.

Но его в свою очередь одолевали чиновники, между прочим, и якутский губернатор, на которого он постоянно косился и также на других, приезжих из-за хребта петербургских чиновников.

Чиновники не разделяли его пыла, упирались, смотрели на все его затеи, задумчиво ковыряя в носу, и писали доклады, донесения, тоже подкидывали исподтишка, где могли, своему шефу «bâtons dans les roues».

Пылкий, предприимчивый дух этого энергического борца возмущался: человек не выдерживал, скрежетал зубами, и из обыкновенно ласкового, обходительного, приличного и любезного он превращался на мгновение в рыкающего льва. И тогда плохо было нарушителю закона. Я видел его ласковым, любезным, и тоже рыкающим. Он со мной на Амуре был откровенен, не стеснялся в беседах, как с лицом посторонним тамошним делам.

Впрочем, это я видел после в Иркутске... А теперь я увлекся воспоминанием о Муравьеве и отвлекся от якутского губернатора. Но кто не увлекался этою яркою личностью, кто сколько-нибудь знал ее: только враги ее!

Когда я, разобравшись на своей квартире, пришел к губернатору Игореву и отдал человеку карточку, Игорев почти выбежал ко мне в залу, протянул ласково руку и провел прямо в кабинет, к письменному столу, заваленному бумагами, пакетами, газетами и частью книгами.

— Милости просим, мы давно ждали вас,— сказал он, оглядывая меня зорко из-за очков.

— Каким образом? Разве вы знали обо мне что-нибудь? — спросил я не без удивления.

Я ожидал, что он отпустит мне комплимент насчет литературы: «Вон у него книги, думал я, газеты, может быть, есть „Современник", где я печатал свои труды».[15] Я уж поднял голову, стал играть брелоками: «Вот, мол, каково: от моря и до моря, от чухон до чукчей и якутов...»[16] Но он быстро разочаровал меня.

— Как же,— сказал он,— ведь вы с Николаем Николаевичем ехали по Охотскому морю. Он недавно проехал и сказывал... рекомендовал...

Я упал с облаков. Он наслаждался моим смущением и лукаво смотрел на меня сквозь очки.

— Откушать, откушать милости прошу ко мне,— наконец заговорил он. — Вы наш гость... на нас лежит обязанность... Вам где отвели квартиру? Хорошо ли, удобно ли?

— У мещанина Соловьева: очень удобно,— сказал я. — Две большие комнаты, просто, но прилично меблированные. Я и насчет стола уговорился с хозяевами...

— Ну, какой у них стол! Языки оленьи да пельмени, пельмени, пельмени да языки... Сегодня откушаете у меня и завтра у меня. Я попрошу и его преосвященство. Вы были у него?

— Вот сейчас еду...

— Так поедемте вместе — вот и кстати. У меня повар, я вам скажу, порядочный, конечно из Петербурга. Пробовал я приучать из здешних... да куда!..

Тут он вдался в кулинарные подробности, напоминал отчасти гоголевского Петуха, [17]— потом превратился опять в лощеного, чистенького, светского петербургского чиновника-маркиза и представил меня архиепископу Иннокентию, которому суждено было впоследствии занять кафедру московского митрополита.

Я уже писал в своем путешествии об этой почтенной своеобразной личности, о которой теперь есть полная, прекрасная книга (Барсукова), [18] и не стану ни повторять своего, ни заимствовать из чужой книги.

Он — тоже крупная историческая личность. О нем писали и пишут много и много будут писать, и чем дальше населяется, оживляется и гуманизируется Сибирь, тем выше и яснее станет эта апостольская фигура.

Личное мое впечатление было самое счастливое. Вот природный сибиряк, самим господом богом для Сибири ниспосланный апостол-миссионер!

— А что за душа! Что за характер! — хвалил его губернатор, когда мы ехали к нему. — Вы только представьте себе, что он сотворил в наших американских колониях [19] — именно «сотворил»,— повторил он с ударением.— А нашу Якутскую область он, представьте, искрестил вдоль и поперек. Где только он не был!.. На Алеутских островах жил с алеутами, учил их и молиться и жить по-человечески, есть не одну рыбу да белок, а с хлебом. Теперь, как его сделали архиереем, он еще учительствует между двухсот тысяч якутов... Он верхом первый открыл вместо Охотска Аян, более удобный пункт для переезда через прежнее Семигорье...

Мы в это время подъехали к архиерейскому дому.

Я слышал и читал много и сам о преосвященном: как он претворял диких инородцев в людей, как разделял их жизнь и прочее. Я все-таки представлял себе владыку сибирской паствы подобным зауральским иерархам: важным, серьезным, смиренного вида.

Доложили архиерею о нас. Он вышел нам навстречу. Да, действительно, это апостол, миссионер!.. Каким маленьким, дрябленьким старичком показался мне любезный, приятный, вежливый маркиз-губернатор пред этою мощною фигурой, в синевато-серебристых сединах, с нависшими бровями и светящимися из-под них умными ласковыми глазами и доброю улыбкой.

Он осенил меня широким крестом и обнял.

— Добро пожаловать, мы вас давно ждали...

Я испугался. «И он! Да что это такое...»

— Николай Николаевич так много сказал нам доброго и хорошего о вас, что мы с нетерпением ждали, хотели познакомиться. Мы рады такому гостю.

— Ах, этот Николай Николаевич! — сорвалось у меня,— оценил меня в рубль и не дал заслужить пред вами самому хоть на гривенник.

Владыка закатился таким добрым и сердечным хохотом, что заразил и губернатора и меня.

— Прошу садиться. Пожалуйте, пожалуйте в мою келью! — усаживал он нас на диван и присел сам, продолжая ласково смотреть на меня.

Мы стали беседовать. Преосвященный расспрашивал меня подробно о моем путешествии и всей эскадры тоже. Оказалось, однако, что и суша и море были одинаково знакомы владыке с того времени, когда он еще в сане протоиерея Вениаминова жил с дикарями, учил их веровать в бога, жить по-человечески и написал об этом известные всему ученому свету книги. Архиерей питал глубокое уважение и к московскому митрополиту Филарету,[20] о жизни и познаниях которого говорил с большим увлечением. Долго мы беседовали, но пора было уходить, и тогда только Игорев приступил со своею просьбой к преосвященному.

— Я к вашему преосвященству с покорнейшею просьбой,— сказал губернатор.

— Слушаю, ваше превосходительство, и исполню приказание! — шутил архиерей.

— Вот наш приезжий гость обещал сегодня у меня обедать... так не удостоите ли, ваше преосвященство, разделить мою убогую трапезу.

Они не переставали титуловать друг друга — преосвященством и превосходительством.

— Его превосходительство «без просьбы» к убогой трапезе не пригласит! — не без иронии заметил архиерей. — Я, ваше превосходительство, со своей стороны, готов исполнить приказание, но надо доложить архиерею: не знаю, какую резолюцию он положит, позволит ли монаху Иннокентию отлучиться из кельи — хоть бы и «на убогую трапезу» к игемону [21] Петру...

Он опять закатился смехом, мы тоже. Поговорив еще кое о чем, мы, приняв его благословение и обещание «разделить убогую трапезу», которая была назначена в четыре часа,— уехали.

Я отправился к себе все еще устраиваться, а губернатор сказал, что ему надо написать несколько бумаг в Иркутск генерал-губернатору и, между прочим, уведомить его также о моем прибытии.

— Зачем? — с удивлением спросил я.

— Да он так рекомендовал вас его преосвященству и мне: видно, что он очень благоволит вам: ему будет небезынтересно узнать, что вы благополучно доехали.

Обед, или «убогая трапеза», у губернатора совершилась очень прилично. Кроме архиерея обедал еще один чиновник, служащий у губернатора. Была уха, жаркое — рыба для архиерея и дичь для меня. Пирожное не помню какое.[22]

Время между тем шло да шло. Советники областного правления, другие чиновники и купцы перебывали у меня все. Тут были и Акинф Иванович, и Павел Петрович, и разные другие. Все объявляли, что приходят ко мне как к заезжему гостю и как к человеку, которого очень хвалил, слышь, Николай Николаевич преосвященному и губернатору.

Так незаметно подкралась зима со своими 20, 25° мороза. Все облеклись в медвежьи шубы и подпоясались кушаками.

В один хороший зимний день, то есть когда морозу было всего градусов двадцать, к крыльцу моему подъехал на своей лошади и вошел ко мне Иван Иванович Андреев.

— Осторожней, осторожней! — услышал я его голос еще из передней. Он принял от кучера две бутыли, поставил их на стулья и вошел в комнату своеобразно, свободно, с шиком, свойственным сибирякам.

Это был плотный человек высокого роста, коренастый, с красноватым здоровым лицом, такими же руками и шеей. Одним словом, он блистал здоровьем, как лучами. Я уже знал его, потому что прежде виделся с ним у него, на его обедах, и у других.

Бутыли обратили мое внимание.

— Что это такое? — спросил я.

— А водка-с!

— Я не пью водки, ведь вы знаете! — сказал я засмеявшись.

— Знаем, знаем — не в первый раз мы это видали... Но вы никого не потчуете!.. Мы сами выпьем.

Он с любовью посмотрел на бутыли и все не мог успокоиться и приговаривал:

— Как же не пить водки!

— Я не пью не от добродетели,— заметил я,— а потому что нервы мои не позволяют.

Он задумался и налил себе рюмку.

— Нервы! — повторил он и от удивления захлопал глазами.

— Точно вы не слыхали никогда о нервах: ведь они и у вас есть,— сказал я.

Он задумчиво смотрел на меня, точно я говорил ему о предмете, ему вовсе неизвестном.

— Как не слышать,— сказал он и поставил рюмку на стол. — Слыхать-то слыхал,— проговорил он наконец. — За хребтом, говорят, много женщин есть, нервами страдают. И здесь есть одна: все нервы да нервы!

— Поверьте, они и у вас есть... да только вы не нервный. Мне вредно пить, оттого я и не пью,— прибавил я.

— И мне и всем, говорят, вредно, да вот мы пьем же.

И он задумался.

— А впрочем, кто их знает, они, пожалуй, и у меня есть,— сказал он потом. — Вот, когда пожалуете откушать ко мне... Я за тем и приехал,

чтобы просить вас... Так если пожалуете за полчаса до обеда, я расскажу вам о случае со мной и с архиереем. Покажу вам письмо его...

— Хорошо, я буду у вас за полчаса до обеда.

Он выпил рюмку своей же водки и уехал.

Дня через два я явился к Ивану Ивановичу за полчаса до обеда. Маленький слон уже ждал меня.

— Милости просим, пожалуйте!

И он увлек меня к себе в кабинет. Домашние его были заняты хозяйством в ожидании приезда других гостей.

— Вот, изволите видеть,— начал Иван Иванович, садясь сам и усаживая меня,— здесь письмо архиерея. А вот что было со мной. Надо вам доложить, что ко мне приходят разные лица по винному управлению и с каждым я выпиваю по стаканчику — это утром — водки. А потом уж пойдет чай и все другое прочее. Водка стоит у меня на столе. Всякий войдет и прямо к столу...

— А вы, Иван Иванович?

— И я: без меня никто не пьет. Закусим чем бог послал: икры, нельмовых пупков, селедки... У нас везде, знаете, закуска своя и чужая, из-за хребта... Ну-с, закусим и выпьем. А там и за дело. Придет, бывало, еще и доктор Добротворский: он тоже не глуп выпить водки, но где ему против меня! Он на двенадцатой, много, много на пятнадцатой рюмке отстает, а я продолжаю. Потом позовут на обед, то у того, то у другого: опять водка...

— Сколько же рюмок в день на вашу долю придется, Иван Иванович? — широко раскрывая глаза, спросил я.

— Да рюмок тридцать, сорок. Ведь после обеда ужин: опять водка! Так в день-то и наберется...

Я смотрел на него если не с уважением, то с удивлением и не знал, что сказать. А он весело смотрел на меня своими ясными, светло-серыми глазами.

— Ну вот, точь-в-точь так и архиерей смотрел на меня, как вы смотрите... Лекаря Добротворского куда-то услали на следствие,— продолжал он, помолчав. — Я по обыкновению выпивал свои тридцать, сорок рюмок в день, ничтоже сумняшеся,— и ничего. Как вдруг получаю от преосвященного вот это самое письмо...

И он подал мне письмо. Я забыл теперь точную редакцию его, но содержание было следующее: «До меня постоянно доходят слухи, да и сам я нередко бываю свидетелем, как вы, почтеннейший Иван Иванович, злоупотребляете спиртными напитками. Не в качестве какого-нибудь нравоучителя, а в качестве друга вашего и вашего семейства я предостерегаю вас, что последнее может лишиться отца, если вы не сделаетесь умереннее в употреблении горячих напитков. Поэтому прошу вас,— я не говорю совсем прекратить, а только уменьшите количество потребляемых вами спиртных напитков, и вы сохраните вашей семье отца...» и так далее в том же тоне.

Я медленно свернул письмо и отдал ему.

— И что же, только? — спросил я.

— Нет-с, не только... Я прочел это самое письмо... и затосковал. Когда на другой, на третий день ко мне приехали по винному откупу с отчетами, я выпил, это правда, только меньше прежнего; на второй, на третий день еще меньше, а на четвертый я ни с кем не выпил определенного стаканчика. Напрасно ко мне приступают, чтоб я пил. Ни-ни! Я только все больше да больше задумываюсь и повторяю: «Не могу!» — «Да почему не можете?» — добиваются. «Нутро болит!» — отвечаю я. Дальше все то же, становлюсь задумчивее и к архиерею не еду: совестно владыки-то. День за днем, я тоскую, худею, никуда не показываюсь. Знакомые уговаривают пить, а я все свое: «Нутро болит!» Владыко не раз обо мне спрашивает: «А что это не видать Ивана Ивановича? Что с ним?» Говорят ему: «У него нутро болит. Он не пьет водки и от всех прячется». А архиерей только смеется. Так прошло месяца полтора. Я тоскую, худею, молчу, совсем зачах...

Тут великан вздохнул на всю комнату.

— ...На меня уж рукой махнули и пьют водку без меня. Я вздыхаю да задумываюсь. У меня для всех и на все один ответ: «Нутро болит!» Вот, вдруг говорят, приехал со следствия лекарь Добротворский. Он, на радостях, чуть не прямо с дороги — ко мне. Вбежал и остановился, так и шарахнулся даже назад и все глядит на меня, словно никогда не видал. «Что с тобой? — наконец закричал в изумлении. — Ты на себя не похож! Что у тебя болит? Говори!» Я только взглянул на него и головой покачал. Велел подать закуски, водки, налил ему: «А ты что ж?» — говорит. Я опять только смотрю на него да головой качаю. Так лекарь и уехал, ничего не добился. По всем домам только и звону, что я водки не пью, стало быть, нездоров. Наконец он заставил-таки меня заговорить. Я рассказал ему все, что и вам докладываю, и показал письмо архиерея. Он слушал меня, слушал, а когда я кончил, руками всплеснул и закричал: «Дурак ты, ах ты дурак!» Схватил рюмку, налил в нее водки и, наступая на меня, приказывал: «Пей!» — «Нутро болит»,— говорю я. «Врешь, ничего у тебя не болит. Пей!» Ну... мы вот и выпили. Я рюмки три: больше он не дал. «Довольно, говорит, будет с тебя сегодня». На другой день я выпил четыре, на третий, четвертый — тоже. И так... недели в три... дошел до своего счета. И вот теперь, слава богу, пью по-прежнему и здоров по-прежнему. Когда я владыке все это рассказал, он засмеялся и только рукой махнул. «Делайте, говорит, как знаете!»

— Что ж это значит: к чему этот рассказ? — спросил я.

— Вот это и значит, что у меня нервы, должно быть, есть. Они мне эту болезнь и дали, хворость-то!..

Он замолчал и задумался. Я засмеялся, как архиерей. Да что и было другого делать?

— Ну, вот и гости пожаловали,— сказал Иван Иванович,— милости просим откушать!

Тут гостеприимные хозяева и приехавшие гости сели за стол: всех человек пятнадцать. Пошли кулебяки и разные разности. Перед обедом все мужчины выпили и закусили. За обедом ели с большим аппетитом и говорили с одушевлением.

После обеда гости разъехались, а хозяева легли спать. Я тоже ушел домой, но вечером, по настойчивому приглашению хозяев, опять вернулся, и другие вслед за мной. Все уселись за бостон, кроме меня. Я не умел играть в эту устаревшую игру и подсаживался от нечего делать то к одному, то к другому из играющих. И опять то тот, то другой выйдут из-за карточного стола — и к водке.

— Вот какие вы в ваши лета,— сказал мне один гость,— кровь с молоком! А я моложе вас, да весь серый стал...

— Отчего же,— спросил я,— от сибирских морозов, должно быть...

— Нет-с, не от морозов; что нам морозы, а все от водочки! — сказал он, выпив уж не знаю которую рюмку.

С наступлением зимы началось катанье на бешеных лошадях. Других там и не было. Хорошая упряжь была только у одного советника. Другие, опоясавшись кушаками, мчались в чем попало́ и как попало — и всегда на бешеных лошадях.

Так проводили мы время в Якутске. Я дома приводил в порядок свои путевые записки и обедал то у того, то у другого из жителей города, редко дома, между прочим, изредка у губернатора.

Другая «убогая трапеза» состоялась опять у него. Однажды зимой он пришел ко мне в медвежьей шубе, в очках, со своими подагрическими пятнами на щеках, любезный по обыкновению: маркиз маркизом. Его сопровождали два казака с пиками, чтоб отгонять собак. На дворе было всего градусов двадцать морозу. Всего! Excusez du peu! * Игорев для моциона не ездил на лошадях, а ходил пешком. Впрочем, до меня было недалеко.

— Нынче я получил нельму,— начал он,— вон какую,— и он показал какую. — Что с ней делать? Как приготовить?

Я подумал немного.

— Так легкомысленно нельзя решать. Надо спросить у архиерея,— отвечал я с улыбкой, усаживая Игорева в кресло. Казаки остались в прихожей.

— И в самом деле нельзя: я же хотел просить и его преосвященство к обеду. От вас я прямо к нему. А вы тоже не пойдете ли со мной? — сказал губернатор.

— Пожалуй, хоть я недавно был у него,— отвечал я.

Немного спустя мы отправились ко владыке. Он с обычною добротой и веселостью встретил нас обоих и усадил в своих покоях.

Игорев «изложил ему свою просьбу» в виде нового приглашения на новую «убогую трапезу».

— У меня нельма,— объявил он и ему,— вот какая! — Он показал какая. — Что из нее сделать?

Архиерей ласково посмотрел на него, на меня, подумал с минуту и коротко отвечал: «Ботвинье!»

Мы все засмеялись, преосвященный первый.

— Ботвинье, так ботвинье и сделаем,— сказал Игорев.

---

* Самая малость! (*франц.*),— *Ред.*

Ботвинье и сделали, да еще со льдом. А вместо пирожного подали мороженое. И это при двадцати градусах морозу! Запили все глотком рому или коньяку из-за хребта, уж не помню, и я вернулся домой в одном пальто с бобровым воротником. И ничего!

Преосвященный не звал никогда к себе обедать. Он держался строгой монашеской жизни: ел уху да молочное, а по постным дням соблюдал положенный пост. А светским людям, по его мнению, необходимо было за обедом мясо.

Кроме того, губернатор полагал, что и оклад преосвященного был умеренный, и не позволял ему особых расходов на стол. Но преосвященный любил, чтоб я ездил к нему на вечерний чай. Он выставлял тогда целый арсенал монашеского, как он называл, угощения. Кроме чаю тут появлялись чернослив, изюм, миндаль и т. д. — но вдобавок ко всему вино. Преосвященному хотелось угостить меня на славу. Сам он выпивал, по-монашески, одну рюмку, а я, увы!. ни одной, особенно вечером.

За обедом, тогда и после, я еще мог выпить рюмку мадеры; пивал также и наливку из чудесных сибирских ягод: мамуры,[23] морошки, и других. Но вечером ничего не мог пить, не исключая и мадеры, в чем и сознался откровенно архиерею.

— Так я знаю, чем вас угостить! — сказал он ласково. и велел подать лафиту.

Служка поставил бутылку красного вина, которого я в рот не беру, два стаканчика и с поклоном вышел.

Не помню, как я отделался от красного вина в этот вечер. Но в следующие дни я ездил к архиерею не один, а привозил с собою молодого прокурора,[24] который, выпив свой стаканчик, выпивал и мой, чуть преосвященный отвернется в сторону.

— Ведь это для вас особенной жертвы не составит? — осторожно осведомился я.

— Ни малейшей! — весело сказал прокурор,— напротив...

И он продолжал осушать стаканчик за стаканчиком.

Видя вообще воздержный, чисто монашеский образ жизни владыки, я дивился, конечно про себя, встречая его на обедах, на которых приводилось быть мне самому. Он точно угадал мою мысль и однажды заметил мне:

— Вот вы меня нередко встречаете на обедах у здешних жителей, начиная с губернатора, областных чиновников и до купцов. Все они составляют здесь одно общество, из которого выдаемся разве только мы с губернатором. Приняв раз приглашение у кого-нибудь из них — ну, хотя бы на именины хозяина,— на каком основании откажу я другому?.. Вот я поневоле и езжу ко всем; но везде меня угощают моими монастырскими кушаньями. Я приеду, благословлю трапезу, прослушаю певчих, едва прикоснусь к блюдам и уезжаю, предоставляя другим оканчивать обед по-своему.

И архиерей добродушно засмеялся.

На этих вечерних беседах у преосвященного говорилось обо всем,— всего более о царствовавшем тогда императоре Николае Павловиче. Преосвященный любил рассказывать о приеме его государем, о раз-

говоре их, о расспросах императора о суровом крае Восточной Сибири. Между прочим, преосвященный рассказал мне о своем назначении, когда в Петербурге узнал о смерти своей жены, сначала в архимандриты и вслед за тем на кафедру Якутского, Алеутского и Курильского архиепископа.

— На Курильских островах и церкви нет,— заметил докладывающий.

— Выстроят,— сказал государь и продолжал писать.

Я теперь забыл, была ли на этих островах выстроена церковь, может быть преосвященный и сказал мне, да я забыл. Знаю только, что преосвященный Иннокентий, по высочайшему повелению, именовался Якутским, Алеутским и Курильским архиепископом.

Так проходило время и близилось к моему отъезду. Между тем в городе случилось происшествие. Как-то ночью из острога отлучились арестанты, да не одни, а с сторожившими их казаками. В ту же ночь был убит один якут.

Не будь этого последнего обстоятельства, никто не стал бы наводить справки о том, отлучались ли арестанты одни или вместе с казаками.

Город всполошился, особенно вследствие предполагаемого участия казаков в попойке арестантов и в убийстве якута. Все общество разделилось на две партии: одна доказывала, что арестанты уходили из острога тайком, через подкоп; другая, напротив, стояла на том, что дело не обошлось без содействия и участия казаков.

В интересах губернатора было утверждать первое, тогда как архиерей поддерживал второе мнение.

Я в это время уже собирался ехать в Иркутск, где мне предстояло свидание с генерал-губернатором, и обе партии старались наперерыв заинтересовать меня — каждая в свою пользу.

Я только усмехался про себя, положив ни слова не говорить об этом генерал-губернатору. Судьба, однако, решила иначе.

Но вот настало и двадцать седьмое ноября, день моего отъезда из Якутска. Я приступил к прощальным визитам, объездил всех: и областных чиновников и купцов. Архиерей на прощанье опять осенил меня широким благословением, обнял и расцеловал, сопроводил добрыми напутствиями и целою приветственною речью к генерал-губернатору.

От него поехал я к губернатору, но, к удивлению, не застал его. Его даже в городе не оказалось: он уехал объезжать область, сказали его домашние.

Прощальный обед мне состоялся у Ивана Ивановича, куда собрался меня провожать почти весь город.

Угощение было, что называется, на славу — чисто сибирское. Наливка лилась рекой. Не было забыто и «холодненькое» (шампанское) из-за хребта. Оно там стоило семь рублей бутылка — это правда: но там нет ни театров, ни других увеселительных мест, ни тех дам... которые стоят мужчинам больших расходов, так что денег было тратить некуда.

На этом обеде дело еще не кончилось. Прямо из-за стола все поехали меня провожать за город до какой-то церкви, в двух, если не ошибаюсь, верстах от Якутска.

Там опять из саней вынырнуло «холодненькое», и ему снова была оказана немалая честь. И на мою долю пришлась еще пара стаканов. По словам одного из тогдашних жителей Сибири, которого я иногда вижу и теперь, я, держа этот последний стакан в руках, обратился к присутствующим с речью:

— Вы, господа, думаете, что я ничего не пью, но я все притворялся. Я горький пьяница и только от вас прятался.

— Знаем, какой вы пьяница! — со смехом отвечали мне из толпы,— нас не проведете!

Так мне рассказывал о моем отъезде из Якутска и о моих последних словах мой знакомый.

От него же слышал я следующее сказание о преосвященном Иннокентии. «Были мы в светлое воскресение в соборе,— говорил мой знакомый,— губернатор, все наши чиновники, купцы... Народу собралось видимо-невидимо. Служил владыко с нашим духовенством. После обедни его преосвященство благословил всех нас, со всеми похристосовался. „Ну, говорит, а теперь прошу за мной!" Губернатор, чиновники, купцы и все мы недоумевали, куда он нас везет, и с разинутыми ртами последовали за ним. Смотрим, а он из церкви прямо в острог, христосуется с заключенными и каждого дарит на праздник от скудных средств своих. И что за лицо у него было при этом: ясное, тихое, покойное! Невольно и мы за ним полезли в карманы и повытаскивали оттуда кто что мог. Раскошелились и купцы — пуще всех Иван Иванович. В общем набралось много денег, которые все и пошли в пользу арестантов. Тогда только владыко, еще раз благословив всех, отпустил нас по домам».

Но возвращаюсь к рассказу о моем отъезде из Якутска. Объявив присутствующим о том, что я горький пьяница, я расцеловался со всеми и повалился в свою повозку.

Станции три я проспал. Мой Тимофей расплачивался с ямщиками. На четвертой, открыв глаза, я увидел возок. Спрашиваю: кто тут?

— Губернатор Игорев,— говорят.

— Как, губернатор! — невольно повторил я. — Я хотел с ним проститься в Якутске, да мне у него дома сказали, что он уехал в объезд своей области.

— Да он и объезжает ее,— отвечали мне.

Я вошел в станционную избу.

— Ба, ба, ба! — воскликнул Игорев, делая вид, что удивился. — Я и не знал, что вы уезжаете от нас...

Я смотрел на него, как смотрят все с похмелья и, должно быть, с недоверчивою улыбкой на лице.

— Право, так,— продолжал он. — А я, вот видите, делаю объезд своей области. Да как же вы-то уехали, не дождавшись моего возвращения? Вы теперь в Иркутск ведь? Да?

— Да, в Иркутск,— заметил я смеясь.

Мы напились вместе чаю: у него был дорожный несессер. Он много говорил об объезде Якутской области, о происшествии в городе, об

убитом якуте, о том, что арестанты уходили по ночам через подкоп одни, а что казаки, сторожившие их, в попойке и драке не участвовали: ни-ни! И прочее. Словом, все противное тому, что пред моим отъездом говорила мне другая партия, в надежде, что я разделю то или другое мнение и соответственно тому донесу обо всем генерал-губернатору в Иркутске.

В моих печатных записках, «Фрегат „Паллада“», я упоминал, кажется, что приехал в Иркутск с сильно отмороженным лицом, в самый праздник Рождества Христова.[25] Я позвал доктора.

Эскулап спросил:

— Скоро ли вам надо поправиться?

— Да к новому году. С недельку, так и быть, посижу дома.

Он велел прикладывать к опухоли винную ягоду да теплого молока. Через день все лицо вздулось, но зато через неделю опухоль значительно опала, и в первый день 1855 года я мог явиться к генерал-губернатору Восточной Сибири с поздравлением.

Его зала была полна генералами, чиновниками, купцами. Николай Николаевич Муравьев в мундире и орденах с большим достоинством принимал поздравления. Я явился к нему на этот раз в полном параде — в черном фраке и белом галстуке. Сначала он очень обрадовался мне. Потом вдруг отступил и, обыкновенно обходительный и любезный, обратился ко мне, как строгий начальник, с сердитым лицом и побелевшим носом.

— Отчего это нет почты из Аяна? — спросил он у меня сурово.

— Да... теперь им там не до почты,— отвечал я, невольно изменяя своему плану вследствие этой внезапной суровости генерал-губернатора. — Ведь город, губернатор и архиерей заняты тем, что убили якута и...

— Странно,— перебил меня Муравьев,— они все там заняты тем, что всякий день везде случается, и никто не заботится о том, чего нигде не бывает, то есть что почта не приходит. — Отчего же ее нет из Аяна? — строго допрашивал он меня.

Я и тут нашелся.

— Ваше превосходительство,— заметил я,— почта не могла прийти, потому что снега нынче очень глубоки. Олени не могут отрывать мох, который служит им пищей, и дохнут во множестве. Оттого и почта не пришла.

На мое замечание, что губернатор занят теперь объездом своей области, генерал-губернатор спросил, почему я это знаю и где я его встретил? Выслушав мой ответ, он только улыбнулся и не сказал ничего.

Николай Николаевич Муравьев немедленно отправил офицеров: одного в Камчатку, снять там пост после геройского отбития англичан[26] от этого полуострова, а другого в Аян, откуда не приходила почта.

После того он опять сделался гуманен, обходителен, приглашал меня каждый день обедать у него, и, как я ни порывался ехать дальше, в Европу, он старался удержать меня до какого-то бала, который должен быть у него в скором времени.

С. Г. Волконский. Фотография 1859 г. ИРЛИ. Ленинград.

М. Н. Волконская. Фотография 1860 г. ИРЛИ. Ленинград.

Подоспевший командир нашего фрегата успел-таки до этого бала уехать в европейскую Россию, подозревая почему-то, что генерал-губернатор нарочно задерживает нас для того, чтоб его письменные донесения пришли в Петербург прежде наших словесных объяснений. Во всяком случае, не моих объяснений: я, по возвращении, несколько дней, кроме друзей, ни с кем не виделся. Другое дело командир фрегата.

За обедом у себя генерал-губернатор всячески старался быть нам приятным и потчевал нас тропическими блюдами. Чего-чего не подавали у него! Между прочим, в десерте фигурировали маринованные ананасы, в своем соку разумеется.

— У вас есть лучше угощение,— сказал я однажды,— это нам и в Индии надоело: там каждый день возили ананасы, как картофель, на лодках...

— Какое же? — спросил Николай Николаевич.

— А огурцы и квас, каких нигде нет,— сказал я смеясь.

С тех пор огурцы и квас стали появляться на столе генерал-губернатора.

Жена Николая Николаевича, француженка, не меньше его отличалась гуманностью, добротой и простотой. Она избегала пользоваться его выдающимся положением в Сибири и со своей стороны не заяв-

И. Д. Якушкин
Рисунок с натуры К. П. Мазера 1851 г.
ИРЛИ. Ленинград.

С. П. Трубецкой. Фотография 1850-х гг.
ИРЛИ. Ленинград.

ляла никаких претензий на исключительное внимание к себе подвластных мужу лиц. Раз как-то она заметила мне, что боится ходить по улицам Иркутска пешком от бродячих коров. Я вспомнил якутского губернатора Игорева, который шествовал по Якутску с двумя казаками, вооруженными пиками, для защиты его от собак, и сказал супруге Николая Николаевича, что она может составить себе охрану и не из двух казаков.

Она возразила, что предпочитает вовсе не ходить по улицам, чем лично для себя пользоваться услугами солдат и других лиц, зависящих от ее мужа.

Точно так же поступила она и муж ее с одним заседателем, который не выставил ей каких-то лошадей на станции. Между тем генерал-губернатор очень распек того же заседателя, который вздумал сделать это с каким-то проезжим. Может быть, этого требовала сибирская политика?.. И то может быть!

Со всеми в городе Е. Н. Муравьева была очень внимательна и обходительна и нередко посещала, даже вне Иркутска, например Трубецких,[27] чего сам Николай Николаевич не мог делать по своему положению.

Но я, в качестве свободного гражданина, широко пользовался

своим правом посещать и тех, и других, и третьих, не стесняясь никакими служебными или другими соображениями.

Так, по приглашению Свербеева,[28] я перебывал у всех декабристов, у Волконских,[29] у Трубецких, у Якушкина[30] и других. Они, правда, жили вне города, в избах. Но что это были за избы? Крыты они чем-то вроде соломы или зимой, пожалуй, снега, внутри сложены из бревен, с паклей в пазах, и тому подобное. Но подавали там все на серебре, у князя (так продолжали величать там разжалованных декабристов князей) была своя половина, у княгини своя; людей было множество. Когда я спросил князя-декабриста, как это он сделал, что дети его родились в Сибири, а между тем в их манерах заметны все признаки утонченного воспитания,— вот что он ответил: «А вот, когда будете на половине (слышите: «на половине»!) моей жены, то потрудитесь спросить у нее: это ее дело».

И точно. Глядя на лицо княгини,[31] на изящные черты ее, на величие, сохранившееся в этих чертах, я понял, что такая женщина могла дать тонкое воспитание своим детям.

Я тогда не застал уже в Иркутске молодого князя М. С. Волконского[32] (ныне обер-гофмейстера и товарища министра просвещения), который так ласково приютил меня на пустынном берегу Аяна. Я встретил его, после крайнего Востока, на крайнем Западе, именно в Вильдбаде, когда он шел рядом с колясочкой больного ногами своего отца.

Другой княгини-декабристки[33] я не застал уже в живых. Зато тут же познакомился с декабристами: Якушкиным и недавно женившимся Поджио.[34]

Между тем тот же князь-декабрист Волконский ходил в нагольном тулупе по базарам, перебранивался со ссыльными на поселении или просто с жителями.

Для него, как для китайца, весь мир заключался в той среде, в которой он вращался, и не разбавленное другим миросозерцание было основою всей его жизни.

Он наделил меня письмами в Москву и Петербург, потому-де, что будто письма от декабристов в Казани на почте вскрываются. Это, может быть, была и правда.

Говорят, не знаю, правда ли, что какой-то чиновник, приехавший из Иркутска в Петербург с какими-то донесениями к государю, очень хотел накидать «bâtons dans le roues» генерал-губернатору. Представляя свои донесения императору, он, между прочим, сказал, что Н. Н. Муравьев, где встретит, очень ласково обращается с поселенными вне Иркутска декабристами, никакою работой их не занимает, что хотя по положению своему сам не бывает у них, но что супруга его посещает декабристов и т. д.

Император будто бы выслушал чиновника и заметил: «Стало быть, Муравьев понял, чего я хотел».

Но это я привожу в виде анекдота, не ручаясь за правду его.

Кстати, теперь же приведу другое сказание, которое слышал от

самого Н. Н. Муравьева, когда мы плыли еще вместе по Охотскому морю на шкуне «Восток». Однажды вечером мы вдвоем ходили по палубе, и речь зашла о государственных преступниках, которых у него было не мало, между прочим о Петрашевском. На вопрос мой, где он находится, Муравьев сказал мне, но я теперь забыл. Я прибавил только, что видал его где-то мельком, но что знакомые мои говорили, что он — сумасшедший, что он собирал в своей квартире рабочих, раздавал им деньги, учил их не повиноваться своим хозяевам и прочее. Те брали у него деньги и смеялись над ним. Словом, все считали его за сумасшедшего.[35] Муравьев внимательно выслушал меня и потом заметил: «Вы мне открываете глаза на этого человека: я считал его в здравом уме и, получив о нем важную бумагу, как о серьезном преступнике, счел нужным сам поехать к нему. Я едва вошел к нему в тюрьму, как он начал бомбардировать меня жалобами... как вы думаете, на кого и на что? на сенат, на государя, что его не так судили... и бог знает понес какую ахинею, точно приехал из-за тридевяти земель! Я счел необходимым предупредить его, что я приехал, чтоб облегчить его положение, а он делает все, чтоб отягчить его, потому что все, что он теперь мне скажет, я, по обязанности своей, вследствие данной мне о нем инструкции, обязан донести правительству. Поэтому нет ли чего-нибудь такого в его положении, чем я, как генерал-губернатор, мог бы облегчить его участь. Тогда он стал жаловаться, что приставленный к нему унтер-офицер стесняет его... Я не дал ему договорить: „Вот это мое прямое дело“,— сказал я и приставил к нему другого унтер-офицера. „Что ж он, работает?“— спросил я.— Славны бубны за горами,— сказал Муравьев. — Какое работает, ничего не делает! Но вы открыли мне на него глаза. Он, точно, сумасшедший».

Так, кажется, Муравьев и поступал со всеми ссыльными.

Другой княгини, Трубецкой, декабристки, как я сказал, я уже не застал в живых. Но дочери ее были уже просватаны — одна за москвича Свербеева,[36] другая за моего петербургского приятеля, кяхтинского градоначальника Ребиндера,[37] и даже чуть ли уже не была за ним замужем: я теперь забыл. Обе они тогда носили траур[38] и были очень интересны, особенно младшая.

Вдруг явилась там княгиня Волконская, супруга фельдмаршала, князя П. М. Волконского. Где она только не бывала? В Париже и в Чите, в Петербурге и в Египте. Свербеев рассказывал мне о ней баснословные вещи. В Иркутске она явилась просто повидаться со своим родным братом С. Г. Волконским.[39] Свербеев убеждал меня, что и мне следует к ней явиться.

— Зачем же? — спросил я.

— Да как же? все перебывали у нее, а вы нет! Поедемте! — и повез меня.

У нее был круг кресел — вроде как были табуретки при французском дворе,— и она сама председательствовала на диване. Это была очень живая, подвижная старушка и без умолку говорила то с тем, то с другим посетителем. Представление меня она сочла должным и

сейчас же заговорила со мной по-французски. Потом обратилась к Свербееву, потом к новому посетителю и так далее.

— Sans adieu! * — сказала она мне на прощанье. И таким образом визит мой кончился.

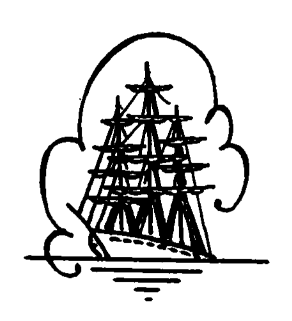
Я тут перезнакомился со многими другими, между прочим с гражданским губернатором, военным генералом Венцелем,[40] которого очень хвалили все, начиная с генерал-губернатора, за его мягкость, гуманность, с инженером Клейменовым, с адъютантами генерал-губернатора, из которых один, его родной племянник, был потом сам генерал-губернатором Восточной Сибири,[41] когда дядя его уволился с этого поста и был назначен, кажется, членом Государственного совета.

Делать больше в Иркутске было нечего. Я стал уставать и от путешествия по Сибири, как устал от путешествия по морям. Мне хотелось скорей в Европу, за Уральский хребет, где... у меня ничего не было. Брат мой был женат, сестры были замужем, одна из них вдова.[42] Все они были заняты своими интересами. В Петербурге тоже я был один, свободен, как ветер.

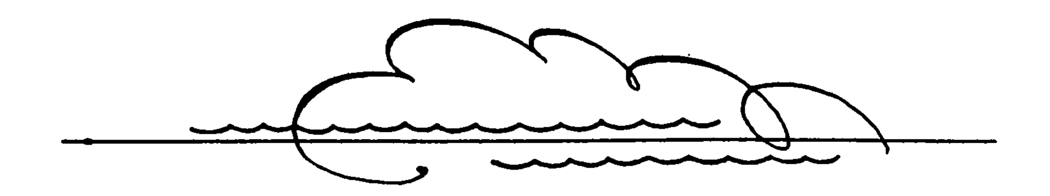
Не помню, дождался ли я пресловутого бала у генерал-губернатора: думаю, что нет, иначе бы я помнил его.

Знаю только, что 14 января 1855 года я покинул Иркутск и погряз в пространной Барабинской степи, простирающейся чуть не до Екатеринбурга.

Жидки эти «воспоминания о Якутске»,— скажет читатель. Что делать? В свое время я написал, что мог, что написано в печатной книге. Остальное пишу на память, сквозь туман прошлого: не мудрено, что вышло туманно...



* Не прощаюсь! (*франц.*).— *Ред.*



ПИСЬМА

1

Е. А. и М. А. Языковым

23 августа 〈1852 г. Петербург〉 *

Напрасно Вы, матушка Екатерина Александровна, упрекаете меня, что я Вас забыл: в то время когда Вы писали мне это письмо, я тоже писал к Вам и надеюсь, что мое послание уже получено Вами. [1] Следовательно, наши письма расходятся в пути. Я очень доволен, что Вы хорошо проводите время в деревне и что откровенно сознаетесь в этом: по большей части со всех сторон слышишь жалобы на несчастья да неудачи; это большая редкость, когда кто скажет, что ему хорошо. Благодарю и за то, что вспоминаете обо мне. Только напрасно желаете, чтоб я пожил в деревне у Вас, полагая, что моя хандра должна там пройти: Анненков [2] правду сказал Элликониде Алекс〈андровне〉, [3] что я никогда, нигде и ничем бы не был доволен, что мне ни дай. Это в самом деле так. Хандра моя, как я Вам, кажется, уже писал, есть не что иное, как болезненное состояние, которому причиной нервы. Вы посмотрите на всех нервозных людей: у них ум, воля и все ее проявления подчинены нервам. Оттого эти люди вдруг делаются скучны, мрачны или внезапно переходят к веселью, бог знает отчего. Это очень неудобно не только для себя, но и для других. От этого я и стараюсь и прятаться и, кроме Майковых да Вас, ни к кому не хожу.

А знаете ли, что было я выдумал? Ни за что не угадаете! А все нервы: к чему было они меня повели! Послушайте-ко: один из наших военных кораблей идет вокруг света на два года. Аполлону Майкову предложили, не хочет ли он ехать в качестве секретаря этой экспедиции, причем сказано было, что, между прочим, нужен такой человек, который бы

* Здесь и далее в угловых скобках даются редакторские дополнения к датам Гончарова.— *Ред.*

хорошо писал по-русски, литератора. Он отказался и передал мне; я принялся хлопотать из всех сил, всех, кого мог, поставил на ноги и получил письмо к начальнику экспедиции.[4] Но вот мое несчастье: на днях этот начальник выехал на некоторое время в Москву и, воротясь оттуда, тотчас отправится в море, так что едва ли я успею видеть его; потом, как я узнал после, нужен человек собственно не для русского, но более для переписки на иностранных языках; а этого я на себя не приму. Впрочем, во всяком случае мне советовали повидаться с начальником экспедиции и узнать от него подробнее, что нужно. Стало быть, надежда не угасла еще совсем.

Вы, конечно, спросите, зачем это я делаю? Но если не поеду, ведь можно, пожалуй, спросить и так: зачем я остался? Поехал бы затем, чтоб видеть, знать все то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что говорят. Я полагаю, что если б я запасся всеми впечатлениями такого путешествия, то, может быть, *прожил* бы остаток жизни повеселее. Потом, вероятно, написал бы книгу, которая во всяком случае была бы занимательна, если б я даже просто, без всяких претензий литературных, записывал только то, что увижу. Наконец, это очень выгодно по службе. Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь — я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости. Внезапные перемены составляют мой характер, я никогда не бываю одинаков двух недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен и верен своим привычкам и склонностям, так это от неподвижности форм, в которых заключена моя жизнь.

Свойство нервических людей — впечатлительность и раздражительность, а следовательно, и изменяемость. Может быть, я бы скоро и соскучился там, что и вероятно, мучился бы всем — и холодом, и жаром, и морем, и глушью, дичью, куда бы заехал, но тогда бы поздно было каяться и поневоле пришлось бы искать спасения — в труде.

Что скажете Вы, матушка Катерина Алекс⟨андровна⟩ и Вы, мой милый и добрый друг Михайло Алекс⟨андрович⟩, одобрили ли бы Вы эти мои намерения?

Евгения Петровна[5] уж плакала, что я не ворочусь, погибну или от бури, или дикие съедят, не то змея укусит.

Но, к сожалению, это все мечты, приятный сон, который вот и кончился. Вчера я рыскал и по Васильевскому острову и в Петергофе был,— словом, объехал почти вокруг света, все отыскивая моряка, да нет, и рекомендательное письмо товарища министра[6] лежит у меня в кармане, уже значительно там позамаслившись. Если же бы какимнибудь чудом я поехал, то это должно так скоро сделаться, что Вы едва ли бы и застали меня. Но, кажется, мне придется не воевать с дикими, а мирно попивать чаек в тихой пристани среди добрых друзей, под Невским монастырем,[7] на заводе. Так уж пусть эти друзья едут скорее, а то, право, скучно.

Весь и всегда Ваш
И. Г.

Поклонитесь Элликониде Александровне и поцелуйте детей. Старик Щепкин здесь играет, [8] но я в театре не был, а слышал, как он у Корша читал «Разъезд» Гоголя; [9] кому-то хочет читать еще.

2

В. П. Боткину

⟨26 сентября 1852 г. Петербург⟩

Любезнейший Василий Петрович,

Всем приятелям хочется сказать хоть по одному слову перед отъездом в дальний и неверный путь. Мне осталось пробыть в Петербурге всего несколько часов: что ж могу сказать, кроме *прости*, но прости *до свидания*. Языков Вам объяснит, куда и зачем я еду,— еду везде, но зачем, еще сам хорошенько не знаю! Еду вокруг света, но далеко ли уеду с своим здоровьем и не вернусь ли с дороги,— это вопрос, которого теперь разрешить не берусь.

Во всяком случае, до свидания: я увезу с собой воспоминание о Вашем дружеском слове, которым Вы приветствовали мое появление на литературном поприще и однажды даже письменно. [1] Я помню, что это мне сделало большое удовольствие: Ваше одобрение чего-нибудь да стоит.

Поклонитесь добрейшему любезнейшему Николаю Петровичу. [2]

До свидания, до свидания, до свидания.

Ваш Гончаров

26 сентября 1852.
Накануне отъезда. [3]

3

М. А. и Е. А. Языковым

Лондон, 3/15⟨—4/16⟩ ноября 1852.

Любезнейший мой друг Михайло Александрович
и милая, добрая Екатерина Александровна!

После трехнедельного трудного, опасного и скучного плавания мы наконец бросили якорь в Портсмуте. Долго было бы рассказывать все, что с нами было в это время, а было понемногу всего. Мы немножко прихватили холеры, от которой умерло трое матросов, четвертый немножко упал с мачты в море и утонул, немножко сели в Зунде на мель,

но снялись без всяких повреждений, выдержали три бури, которые моряки не называют никогда бурями, а свежими и крепкими ветрами. Вчера втянули фрегат с рейда в гавань и будут привинчивать водоопреснительный аппарат. Наш адмирал тотчас же явился из Лондона в Портсмут, осмотрел и фрегат и нас, велел мне написать бумагу, а потом, уезжая, сказал мне, что я могу отправиться в Лондон.

Что Вам сказать о себе, о том, что разыгрывается во мне, не скажу под влиянием, а под гнетом впечатлений этого путешествия? Во-первых, хандра последовала за мной и сюда, на фрегат; потом новость быта, лиц — потом отсутствие покоя и некоторых удобств, к которым привык,— все это пока обращает путешествие в маленькую пытку, и у меня так и раздаются в ушах слова, сказанные, кажется, при Вас одним моим сослуживцем: Tu l'as voulu, George Dandin, tu l'as bien voulu! *[1] Впрочем, моряки уверяют меня, что я кончу тем, что привыкну, что теперь и они более или менее страдают сами от неудобств и даже опасностей, с которыми сопряжено плавание по северным морям осенью. В самом деле, едва мы вышли из Кронштадта, как нам прямо в лоб с дождем и снегом задул противный ветер, потом мы десять суток лавировали в Немецком море и за противными же ветрами не могли попасть в Английский канал. Между тем плавание по Финскому заливу и по Каттегату считается весьма опасным и не в такую глубокую осень. Слава богу, что на меня совсем не действует качка: это, говорят, зависит от расположения грудобрюшной преграды, то есть чем она ниже расположена, тем лучше. Видно, она помещена у меня в самом брюхе, потому что меня не тошнит вовсе и голова не кружится и не болит, так что нет никакого признака морской болезни, и я до сих пор, слава богу, не знаю, что это значит. Вот что скажет океан: там, говорят, качка бросает корабль, как щепку. Но я, однако ж, должен сознаться, что качка и на меня действует скверно, хотя и иначе, нежели на других. Она производит сильное нервическое раздражение: я в это время не могу ни читать, ни писать, ни даже думать свободно. Стараешься развлечься, забыться, зарыться в смысл фразы, которую читаешь или пишешь — не тут-то было: непременно надо уцепиться за стол, за шкаф или за стену, а то полетишь; там слышишь от толчка волны что-нибудь на палубе с грохотом понеслось из одного угла в другой; в каюте дверь и окно постоянно друг с другом раскланиваются. К этому прибавьте вечный шум, топот матросов, крик командующего офицера, свистки унтер-офицеров — и днем и ночью, вечно нужно исполнять какой-нибудь маневр, то поднимать один парус, то распустить другой, то так поставить, то эдак,— покоя никогда нет. Можно, конечно, ушам привыкнуть к этой суматохе, но голове — никогда. Я не понимаю, как я буду писать бумаги там? Это приводит меня не только в сомнение, даже в некоторое отчаяние. В качестве вояжера меня еще можно как-нибудь протащить вокруг света, но дельцом, работником едва ли! Я бы даже обрадовался, если б какой-нибудь случай вернул меня назад,

* Ты сам этого хотел, Жорж Данден, ты этого очень хотел! (*франц.*),— *Ред.*

а то, право, совестно ехать: ни себе, ни другим пользы не сделаешь и прокатишься, высуня язык. Я был очень болен зубами: у меня ревматизм обратился, как я вижу, в хронический; если б это повторилось еще теперь, пока мы в Англии, очень не мудрено, что я бы и воротился: и без того трудно путешествовать человеку, не воспитанному с детства для моря, но странствовать больному — беда.

У нас на фрегате дня два гостил у капитана его товарищ, находящийся по службе в Лондоне, некто Шестаков. [2] Оба они сегодня предложили мне ехать в Лондон — и вот я — в Лондоне. Часа два как приехали из Портсмута по железной дороге. С жадностью вглядывался я в новую страну, в людей, в дома, в леса, поля — потом вздремнул, когда смерклось. Отсюда до портсмута 84 мили ($1^1/_2$ версты) мы ехали часа три, поезд был огромный; со всех сторон стекаются на похороны Веллингтона, или дюка, [3] как его просто называют здесь. Я еще здесь ничего не видал; от станции железной дороги мы промчались в кебе (каретка в одну лошадь) по лучшим улицам до квартиры Шестакова. Мне приготовлена вверху маленькая комнатка, а товарищи мои ушли к нашему адмиралу. Через час хотели зайти за мной, чтоб отправиться в таверну ужинать, потому что выехали из Портсмута, позавтракав налегке. Мне бросилось в глаза и в вагоне, и на станциях, и на улицах множество хорошеньких женщин. Это, кажется, царство их. Наконец здесь, где я теперь остановился, на целый дом прислуживает прехорошенькая девушка лет 20, miss Эмма. Меня ужас берет, как посмотрю, что она делает. Она отперла нам двери, втащила наши sacs de voyages, * развела в трех комнатах огонь, приготовила чай, является на каждый звонок и теперь топает над моей головой, приготовляя мою комнату. Она же убирает комнаты, будит по утрам господ (и меня, слышь, станет будить). Увидев, что мы с капитаном выпялили на нее глаза, Шестаков серьезно начал упрашивать нас *не начинать* с ней ничего, говоря, что это здесь не водится и т. п. Мне было очень смешно. Вот, подумал я, Панаева [4] никакими способами нельзя бы было упросить. Чувствительный Карамзин называет англичанок *миловидными*: [5] это название очень верно, хотя и смешно. Но на меня эта *миловидность* действует весьма оригинально: как увижу миловидную англичанку, сейчас вспомню капитана Копейкина. [6] Но вот miss Эмма спрашивает меня что-то, никак не разберу сразу, заставляю повторять себе по два и по три раза, а когда сам, ворочая всячески мой собственный и английский язык, совру что-нибудь непонятное, она говорит мне вопросительно sir? а когда скажу так — молчит. Во всяком случае я бы привел сюда мерзавца своего Филиппа и всех российских Филиппов посмотреть, как работают английские слуги. До завтра: идем ужинать.

Утро превосходное, не английское. Тепло как у нас в августе. Мы оставили в России морозы, а только спустились за Ревель, началось тепло, продолжающееся до сих пор, так что пальто Клеменца [7] из

* саквояжи, дорожные сумки (*франц.*),— *Ред.*

толстого трико гнетет меня, как панцирь. Спал я как убитый, может быть от портера, который я употребляю ежедневно, а также и устриц: сотня стоит всего два шиллинга. Я бы написал о миллионе тех мелких неудобств, которыми сопровождается вступление мое на чужие берега, но я не отчаиваюсь написать когда-нибудь главу под названием *путешествие Обломова*: там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десяти раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России, о Филиппе и т. п. Все это происходит со мной и со всеми, я думаю, кто хоть немножко не в черном теле вырос.

Пишите ко мне, пожалуйста, но пишите сейчас же, иначе письмо, может быть, и не застанет меня; мы пробудем недели четыре. Адресуйте так:

England, Portsmouth,
Russian frigate Pallas
To M-r John G...

У Вас, милая прекрасная Элликонида Александровна, целую ручки и чуть не со слезами благодарю за многие знаки дружбы и внимания: и варенье, и корпия [8] для ушей, и графин — все это оказалось чрезвычайно полезным. Я так часто и с таким чувством вспоминаю о Вас, как Вы и не поверите.

До свидания, всегда Ваш
И. Гончаров

Кланяюсь всем Вашим братьям и Ростовским: другу моему Ав⟨дотье⟩ А⟨ндреевне⟩ [9] скажите, что я сам не верю тому, *где я.* Покажите это письмо Майковым [10] и попросите написать ко мне по этому адресу, не ожидая от меня писем; я к ним писал из Дании и буду на днях опять писать.

О себе напишите поподробнее: что бог дал Вам и здорова ли Екатерина Александровна. Панаевым, [11] Некрасову и Анненкову и прочим приятелям дружеский поклон.

Иду шататься по Лондону: вчера вечером, идучи из таверны, отстал от товарищей и позаблудился, но к счастию запомнил улицу и № дома. Все дома страх похожи на кулисы и на праздничные балаганы в колоссальных размерах, а на улицах чисто и красиво, как в комнатах.

Поблагодарите кн⟨язя⟩ Оболенского за рекомендательную записочку, [12] которую он мне дал к капитану фрегата: он так ласков и внимателен ко мне, что и не знаю, как отблагодарить его.

Обедаю я у него ежедневно; он всячески устраняет все неудобства путешествия и делает все, чтобы мне было сноснее, полагая, что я хандрю от скуки на фрегате. Другие тоже все внимательны.

До свидания, до свидания. Ах, если б меня прогнали отсюда назад в Россию. Перед отходом я еще напишу Вам.

Еще слово о капитане: он отличный моряк, страстно любит свое дело и спорит со мной против пароходов.

Поклонитесь и Вячеславу Васильевичу [13] с супругой.

4

Е. П. и Н. А. Майковым

Портсмут, 20 ноября/2 декабря 1852.

Я не писал еще к Вам, друзья мои, как следует. Постараюсь теперь. Не знаю, получили ли Вы мое маленькое письмо из Дании,[1] которое я писал во время стояния на якоре в Зунде, а если правду говорить, так на мели.[2] Тогда я был болен и всячески расстроен, все это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так чтоб это хотя слабо отразилось и в Вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не люблю, я стараюсь прибирать ключ к ним, а если не нахожу, то освещаю их светом своего воображения, может быть фальшивого, и иду путем догадок там, где темно. Теперь еще пока у меня нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения. Все это еще подавлено рядом опытов, более или менее тяжелых, немножко новых и совсем не занимательных для меня, потому *для меня*, что жизнь начинает отказывать мне во многих приманках на том основании, на каком скупая старая мать отказывает в деньгах промотавшемуся сыну. Так, например, я не постиг поэзию моря и моряков и не понимаю, где тут находили ее. Управление парусным судном мне кажется жалким доказательством слабости ума человечества. Я только вижу, каким путем истязаний достигло человечество до слабого результата — проехать по морю при попутном ветре; в поднятии или спуске паруса, в повороте корабля и всяком немного сложном маневре видно такое напряжение сил, что в одном моменте прочтешь всю историю усилий, которые довели до уменья плавать по морям. До паров еще, пожалуй, можно было не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли же до того, что плаваем себе да и только, но после пароходов на парусное судно совестно смотреть. Оно — точно старая кокетка, которая нарумянится, набелится, подденет десять юбок, затянется в корсет, чтоб подействовать на любовника, и на миг иногда успеет, но только явится молодость и свежесть — и все ее хлопоты пойдут к черту. Так и парусный корабль, завесившись парусами, надувшись, обмотавшись веревками, роет туда же, кряхтя, скрыпя и охая, волны, а чуть противный ветер — и крылья повисли; рядом же мчится, несмотря ни на что, пароход, и человек сидит, скрестя руки, а машина работает. Так и надо. Напрасно капитан водил меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны или как фрегат ляжет боком на воду

и скользит по волнам по 12 узлов (узел $1^3/_4$ версты) в час. «Эдак и пароход не пойдет»,— говорит он мне. «Да зато пароход всегда пойдет, а мы идем двое суток по 12 узлов, а потом десять суток носимся взад и вперед в Немецком море и не можем, за противным ветром, попасть в Канал». «Черт бы драл эти пароходы!»,— говорит капитан, у которого весь ум, вся наука, все искусство, а за ними самолюбие, честолюбие и все прочие страсти расселись по снастям. А между тем все фрегаты и корабли велено строить с паровыми машинами: можете вообразить его положение и прочих подобных ему господ, которые пожертвовали лет двадцать, чтобы заучить названия тысячи веревок.

Само море тоже мало действует на меня, может быть оттого, что я еще не видал ни *безмолвного*, ни *лазурного* моря. [3] Я, кроме холода, качки, ветра да соленых брызг, ничего не знаю. Приходили, правда, в Немецком море звать меня смотреть фосфорический свет, да лень было скинуть халат, я не пошел. Может быть, во всем этом и не море виновато, а старость, холод и проза жизни. Если вы спросите меня, зачем же я поехал, то будете совершенно правы. Мне, сначала, как школьнику, придется сказать — *не знаю*, а потом, подумавши, скажу: а зачем бы я остался? Да позвольте еще: полно — уехал ли я? Откуда же? Только из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я вчера уехал из Лондона, а в 1834 году из Москвы, [4] зачем через две недели уеду из Портсмута и т. д. Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет своего угла, семьи, дома? Уехать может тот, у кого есть или то, или другое. А прочие живут на станциях, как и я в Петербурге и в Москве. Вы помните, я никогда не заботился о своей квартире, как убрать ее заботливо для постоянного житья-бытья; она всегда была противна мне, как номер трактира, я бежал греться у чужой печки и самовара (высоким словом — у чужого очага), преимущественно у вашего. Поэтому я — только выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы и волнения, которые помешали бы мне ехать. Как будто этого ничего нет на берегу? Я вам назову только два обстоятельства, известные почти всем вам по опыту, которые мешают свободно дышать: одно — недостаток разумной деятельности и сознание бесполезно гниющих сил и способностей; другое — вечное стремление удовлетворить множество тонких потребностей, вечный недостаток средств и оттого вечные вздохи. А миллионы других, хотя мелких, но острых игл, о которых не стоит говорить; пробегите историю последних ваших двух или трех недель — и найдете то же самое; жизнь не щадит никого. Здесь не испытываешь сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей; эти пружины тут не в ходу, они ржавеют. Но зато тут другие двигатели, которые тоже не дают дремать организму: это физические бури, лишения, опасности, иногда ужас и даже отчаяние. Следует смерть: да где же она не следует? Здесь только быстрее и, стало быть, легче, нежели где-нибудь. Так видите ли, что я имел причины уехать или не имел причин оставаться — это все равно. Тут бы только кстати было спросить, к чему бы этот ряд новых опытов посылается человеку усталому,

увядшему, пережившему, как очень хорошо говорит Льховский,[5] самого себя, который вполне не может воспользоваться ими, ни оценить, ни просто даже вынести их. А вот тут-то и не приберу ключа, не знаю, что будет дальше; после, вероятно, найдется.

По силе всего вышесказанного я из всех моих товарищей путешествия один, кажется, уехал покойно, с ровно бьющимся сердцем и сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря о петербургской станции, умолчал о дружбе, которую там нашел и которой одной было бы довольно, чтоб удержать меня навсегда. Вы, Евгения Петровна, конечно, к слову *дружба* поспешите присовокупить и *любовь*! На это отвечайте теперь же Вы, Юнинька,[6] за меня: что я получил от Вас в награду за свою 19-летнюю страсть? Три единственные поцелуя на пароходной пристани при прощанье — мало: не из чего было оставаться в отечестве. Сколько раз изменили и теперь изменяете опять, знаю, вашему постоянному рыцарю. А другая-то, лукаво скажете Вы, которая плакала? А заметили ли вы, какие у ней злые глаза? Эта змея, которая плакала[7] крокодиловыми слезами, как говорит Карл Моор,[8] и плакала, моля чуть не о моей погибели. Это очень смешная любовь, как, впрочем, и все мои любви. Если из любви не выходило никакой проказы, не было юмора и смеха, так я всегда и прочь; так просто одной любви самой по себе мне было мало, я скучал, оттого и не женат. Ну, о любви довольно: припомните, как я всегда о ней говорил, так скажу и теперь: нового ничего не будет. О дружбе я обязан сказать яснее, особенно перед Вами: Вы можете требовать от меня ясного и подробного отчета за целых 17 лет, как оценил я капитал, отпущенный мне Вами, не закопал ли навсегда в землю, где он пропадает глупо, или пустил его в рост? Употребил ли его и как?

Дружба, как бы сильна ни была, не могла бы удержать меня, да *истинная, чистая дружба* никого не удержит и не должна удерживать от путешествия. Влюбленным только позволительно рваться и плакать, потому что там кровь и нервы — главное, как Вы там себе, Евгения Петровна, ни говорите противное, а известно, что когда происходит разладица в музыке нерв да нарушается кровообращение, тогда телу или больно или приятно, смотря по причине волнения. Дружба же — чувство покойное: оно вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании и, царствуя там, оттуда же разливает приятное усладительное чувство на организм. Вы можете страстно влюбиться в мерзавца, а я в мерзавку, мучиться, страдать этим, а все-таки любить; но вы отнимете непременно дружбу у человека, как скоро он окажется негодяем, и не будете даже жалеть. Дружбу называют обыкновенно чувством бескорыстным, но настоящее понятие о дружбе до того затерялось в людском обществе, что это сделалось общим местом, пошлой фразой и в самом-то деле бескорыстную чистую дружбу еще реже можно встретить, нежели бескорыстную или истинную, что ли, любовь, в которой одна сторона всегда живет за счет другой. Так и в дружбе у нас постоянно ведут какой-то арифметический расчет вроде памятной или приходо-расходной книжки и своим заслугам, и заслугам друга, справ-

ляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птоломеевой астрономии и географии [9] или Квинтилиановой риторики, [10] все еще ищут, нет ли чего вроде Пиладова подвига, [11] и когда захотят похвалить друга или похвалиться им (одной дружбой хвастают, как китайским сервизом или собольей шубой), то говорят — это *испытанный* друг, даже иногда вставят цифру XV—XX, даже XXX-летний друг, и таким образом дают другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Остается только положить жалованье — и затем прибить вывеску: *здесь нанимаются друзья.* Напротив, про *неиспытанного* друга часто говорят — этот только приходит есть да пить, а чуть что, так и того, даже ведь не знаешь его, каков он *на деле.* Им нужны *дела* в дружбе — и они между тем называют дружбу бескорыстной — что это? Проклятие и в дружбе, такое же непонимание и непризнавание прав и обязанностей ее, как и в любви? Нет, я только хочу сказать, что, по-моему, истинная, бескорыстная и испытанная дружба та, когда порядочные люди, не одолжив друг друга ни разу, разве как-нибудь не нарочно, и не ожидая ничего один от другого, живут целые годы, хоть полстолетия вместе, не неся тягости уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и наслаждаясь дружбой, как прекрасным небом, чудесным климатом без всякой за это кому-нибудь платы. В такой дружбе отраднее всего уверенность, что никто не возмутит и не отнимет этого блага, потому что основание его — порядочность обеих сторон. Вот Вам моя теория дружбы, да, полно, теория ли только?.. Проследите мысленно все 17 лет (а Вы, Юнинька, 19) нашего знакомства и *Вы* скажете, что я всегда был одинаков, пройдет еще 17 лет и будет то же самое. Я никогда и ни у кого не просил ни рыданий, ни восторгов, а только прошу — не изменитесь. Я очень счастлив уверенностью, что Вы вспомните обо мне всегда хорошо. Отправляясь с этой уверенностью и надеждой воротиться, мог ли я плакать, жалеть о чем-нибудь? Тем более не мог, что, уезжая от друзей, я вместе с тем покидал и кучу надоевших до крайности занятий и лиц, и наскучившие одни и те же стены, и ехал в новые, чудесные, фантастические миры, в существование которых и теперь еще плохо верю, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда надо пристать в Китай, когда в Новую Голландию, и уверяет, что был уже там три раза. Так, пожалуйста, не жалейте обо мне и запретите жалеть Языкову, которого самого и семью отчасти сливаю в уме (видите, *в уме*, ведь не ошибся, не сказал *в сердце*) с Вашей, хотя знаю, что он любит меня не так, как Вы, а иначе, и любит потому, что не может почти никого не любить, стало быть, по слабости характера; он даже изменит мне по-женски, посадит кого-нибудь другого на мое место. Но это ничего: я только приеду и опять найду тотчас свое местечко в сердце у них и за круглым столом.

Прочтя все это, Вы, Евгения Петровна, скажете: «Так вот наконец ваше profession de fois, * а, высказались! Ну, я очень рада». Как не

* исповедание веры (*франц.*),— *Ред.*

так! Ведь говорю, что не поймете меня никогда! Что же эта вся тирада о дружбе? Не понимаете? А просто пародия на Карамзина и Булгарина.[12] Вижу только, что вышло длинно, нечего делать, переделывать не стану, читайте, как есть. Я обещал Вам писать, что ни напишется, а Вы обещали читать — читайте.

«Так вот зачем он уехал,— подумаете Вы: — он заживо умирал дома от праздности, скуки, тяжести и запустения в голове и сердце; ничем не освежалось воображение и т. п.!» Все это правда, там я совершенно погибал медленно и скучно: надо было изменить на что-нибудь, худшее или лучшее,— это все равно, лишь бы изменить. Но при всем том я бы не поехал ни за какие сокровища мира... Вы уж тут даже, я думаю, рассердитесь: что ж это за бестолочь, скажете — *не поехал бы*, а сам уехал! Да! сознайтесь, что не понимаете, так сейчас скажу, отчего я уехал. Я просто — *пошутил*. Ехать в самом деле: да ни за какие миллионы, у меня этого и в голове никогда не было. Вы, объявляя мне об этом месте (секретаря), прибавили со смехом: «Вот вам бы предложить!» Мне захотелось показать Вам, что я бы принял это предложение. А скажи Вы: С какой бы радостью вы поехали! — я бы тут же стал смеяться над предположением, что я поеду, и, разумеется, ни за что бы не поехал. Я пошутил, говорю Вам, вон спросите Льховского: я ему тогда же сказал, а между тем судьба ухватила меня в когти, и вот я — жертва своей шутки. Вы знаете, как все случилось. Когда я просил Вас написать к Аполлону,[13] я думал, что Вы не напишете, что письмо не скоро дойдет, что Аполлон поленится приехать и опоздает, что у адмирала кто-нибудь уже найден, или что, увидевшись с ним, скажу, что не хочу. Но адмирал, прежде моего «не хочу», уже доложил письмо, я — к графу,[14] а тот давно подписал бумагу, я хотел спросить в Департаменте, а тут друзья (ох, эти мне друзья, друзья) выхлопотали мне и командировку и деньги, так что, когда надо было отказаться, возможность пропала. Уезжая, я кое-кому шепнул, что вернусь из Англии, и начал так вести дело на корабле, чтобы улизнуть. Я сильно надеялся на качку: скажу, мол, что не переношу моря, буду бесполезен, и только. На другой же день по выходе в море я просыпаюсь — меня бьет о стенку то головой, то пятками, то иной более мягкой частью; книги мои все на полу, шинель, пальто качаются, в окне то небо появится, то море. Не тошнит ли, думаю: нет, хочется чаю, хочется курить — все ничего. Пошел вверх — суматоха, беготня, а море вдруг очутится над головой, а потом исчезнет. Стою, смотрю, только крепко держусь за веревку, ничего, любопытно, и только. «Э, да вы молодец,— говорят мне со всех сторон,— поздравляем, в первый раз в море и ничего! Каков!» А кругом — кого тошнит, кто валяется. Так на качку вся надежда и пропала. Думал было я притвориться, сказать, что меня, мол, тошнило, и даже лечь в койку, это мне нипочем! Но морская болезнь лишает аппетита, а я жду, не дождусь первого часа, у капитана повар отличный, ем ужасно, потому что морской воздух дает аппетит. Другая хитрость: я стал жаловаться на вечный шум, на беготню и суматоху, что вот-де я ни уснуть, ни заняться не могу. Этому помогала моя хандра,

о которой не знали на фрегате. Я говорил, что меня тревожит и топот людей, и стук упавшего каната, и барабан, и пушка. Обо мне стали жалеть серьезно, поговорили, что лучше конечно воротиться, чем так мучиться. Но и это вскоре рушилось. Я сошел как-то во время чая вечером в кают-компанию; кто-то спросил, зачем часов в 5 палили из пушки? — Да разве палили? — сорвалось у меня с языка, опомнился, но поздно. Все расхохотались, и уж и я с ними, а пушка-то стоит почти рядом с моей каютой, да ведь какая: в 4 аршина. Сказать разве, что, мол,— боюсь опасностей. Но этого даже и своей маменьке нельзя сказать. Наконец я сознался капитану, что мне просто ужасно не хочется, что Китай и Бразилия и занимают-то меня, как я теперь вижу, не слишком много, что я уж и не молод, а здесь беспокойно, на вытяжке, и нравы и привычки, обычаи не по мне. «Ну, хотите я вам устрою возвращение?» — сказал он. «О благодетель!» И в самом деле устроил, наговорил адмиралу, что я ужасно страдаю, скучаю и мало сплю (*не ем* он не говорил, язык не поворотился, я ведь у него ел, так он видел, а спать, так когда же я много спал?)

Адмирал выслушал с участием, призвал меня (это было в Лондоне), сказал, что он очень жалеет, что удерживать меня не станет, что лучше конечно воротиться теперь, чем заехать подальше и мучиться. Только жаль, прибавил он, что вы не предвидели этого в Петербурге: теперь некого взять на ваше место. Он выхлопотал мне даже у посланника [15] поручение в Берлин и Варшаву, чтобы я мог воротиться на казенный счет. И я несколько дней прожил в Лондоне надеждою увидеться скоро с Вами опять. Посланник сказал, чтобы я съездил скорей в Портсмут за своими вещами и явился опять к нему за бумагами. Я приехал третьего дня в Портсмут и — не поехал более в Лондон, а еду дальше вокруг света. Опять задача — вот поймите-ка меня, не поймете. Уж так и быть скажу: когда я увидел свои чемоданы, вещи, белье, представил, как я с этим грузом один-одинехонек буду странствовать по Германии, кряхтя и охая отпирать и запирать чемоданы, доставать белье, сам одеваться да в каждом городе перетаскиваться, сторожить, когда приходит и уходит машина и т. п.,— на меня напала ужасная лень. Нет уж, дай лучше поеду по следам Васко-де-Гамы, Ванкуверов, [16] Крузенштернов [17] и др., чем по следам французских и немецких цирюльников, портных и сапожников. Взял да и поехал. Опять тот же капитан устроил дальнейшее мое путешествие, сказал адмиралу, что я не прочь и дальше ехать, что я надеюсь привыкнуть. Адмирал был здесь и опять призвал меня, сказал, что конечно мне лучше ехать, что ревматизм в щеке пройдет под тропиками, где о зубной боли не слыхивали, что к шуму и беготне я так привыкну, что перестану и замечать, что если для меня, как для незнакомого человека с морем, страшны опасности, лишения, так в обществе 500 человек их легче сносить, что, наконец, я буду после каяться, что отказался от такой необыкновенной экспедиции. Я остановил его словами: *я еду*. И вот еду, прощайте. Все, что только есть дурного в морском путешествии, мы испытали и испытываем. Выехали мы в мороз, который заменился резкими вет-

рами; у Дании стало потеплее, как у нас бывает в сенях осенью; а я перед открытым окном раздевался, потому что когда окно закрыто, да выпалят, так окно вдребезги; уж у меня два раза вставляли стекла. В качку иногда целый день не удается умыться, некогда, а в Немецком море, когда мы десять дней лавировали взад и вперед, нисколько не подвигаясь дальше, стали беречь пресную воду, потому что плавание могло продолжиться еще месяц, и выдавали для умыванья морскую, которая ест глаза и не распускает мыла. Мой Фаддеев воровал мне по два стакана пресной воды, будто для питья. И на капитанском столе стала тогда чаще являться солонина, так что состарившиеся более от качки и морских беспокойств, нежели от времени, и ослепшие от порохового дыма куры и утки да выросшие до степени свиньи поросята поступили в число тонких блюд. И теперь, сидя за этим письмом, закутанный в тулуп и одеяло, я весь дрожу от холода, в каюте сыро; отвсюду дует, дохнешь и пустишь точно струю дыма из трубки, а все дальше хочется, дальше. Мало того, меня переводят из адмиральской каюты в самый низ, с офицерами, где каюты темные, душные и маленькие, как чуланчики, рядом в общей комнате вечный крик и шум, других кают нет, фрегат битком набит, и я еду, еду, с величайшей покорностью судьбе и обстоятельствам, даже с странной охотою — испытать эти неудобства, вкусить крупных и серьезных превратностей судьбы. Говорят, что мы вкусили будто бы самое неприятное,— не верится. Впереди — если не будет холода, так будут нестерпимые жары, если не будет беспокойной качки Немецкого моря, так будут океанские штормы и тому подобные удовольствия. Правда, как только мы выступили, у нас сорвался сверху и упал человек в море: спасти его было нельзя, он плыл за фрегатом и время от времени вскрикивал, потом исчез. Таково было наше обручение с морем. Потом появилась холера: мы по-морскому похоронили троих матросов, потом в Зунде сели на мель. Были туманы, крепкие ветры, а плавание до Англии считается самым опасным. Я Вам не писал ничего об этом, чтоб не было преувеличенных толков, потом хотелось мне написать Вам побольше, вдруг, да все или развлекался, или зубы болели. Когда офицеры узнали, что я хочу воротиться, они — странно — опечалились, стали упрашивать, чтоб я остался, я сказал, что предоставил капитану переделать дело, как он хочет: если переделает опять, я останусь и буду молчать, если нет, тоже молча уеду. Некоторые побежали к капитану и просили опять поговорить адмиралу. И что я им сделал, что им во мне? Дуюсь, хандрю, молчу — а они! чудаки! Адмирал сказал мне, что главная моя обязанность будет — записывать все, что мы увидим, услышим, встретим. Уж не хотят ли они сделать меня Гомером своего похода? Ох, ошибутся: ничего не выйдет, ни из меня Гомера, ни из них — аргивян.[18] Но что бы ни вышло, а им надо управлять судном, а мне писать, что выйдет из этого — бог ведает.

Я воображал, Николай Аполлонович, милейший, неиспытанный, но прочнейший друг мой, Вас на своем месте и часто; как бы Вы довольным были всякою дрянью: и в койке-то Вам бы казалось спать лучше

всякой постели, и про солонину сказали бы, что лучше на берегу не едали. Как бы Вы сами себе доставали белье, скидали и надевали сапоги и как бы уладили все в своей каюте. А работы много — надо уставить все так, чтоб от качки не падало: и комод пригвоздить к стене (а у меня только привязан, Вы бы пригвоздили и себе и мне), и книги, и подсвечники, графины укрепить, и *подпилить почти все ножки* у мебели. На Немецком море особенно я вспомнил о Вас: около фрегата появились *касатки*, млекопитающие животные, толстые, черные, и беспрестанно перекидывались поверх волн.

Фрегат наш теперь в доке; кое-что исправляют, прибавляют еще пушек, приделывают аппарат для выделывания пресной воды, и мы пробудем здесь, пожалуй, недели три. Хотел было в Париж ехать, да меня сбило с толку предполагавшееся возвращение в Россию. Дня через два думаю ехать опять в Лондон ($3^1/_2$ часа езды по железной дороге) и, если будет возможность,— во Францию, хоть на неделю.

Мы пока помещены в гавани, на старом английском корабле, всё в беспорядке.

Вот письмо к концу, скажете Вы, а ничего о Лондоне, о том, что вы видели, заметили. Ничего и не будет теперь. Да разве это письмо? Опять не поняли? Это вступление (даже не предисловие, то еще впереди) к *Путешествию вокруг света*, в 12 томах, с планами, чертежами, картой японских берегов, с изображением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании. И. Обломова.[19]

Ну, обнимаю Вас, друзья мои, и смущаюсь только тем, что увижу Вас не раньше трех лет. Ах, если бы годика через полтора! Я бы даже готов был воротиться через Сибирь на этом условии. А мы еще не знаем, как пойдем. Говорят, не через Бразилию, а прямо в Новую Голландию: дней 80 пробудем в море, не видя берега. Вы, Николай Ап⟨оллонович⟩, и Вы, Евг⟨ения⟩ Петровна, не прочтете моего маранья, но Вы, Аполлон, Старик (целую Вашу Старушку),[20] и Вы, Льховский, конечно, поможете разобрать, если только станет охоты. Капитан,[21] я думаю, посмотрит да и скажет: за какое это наказание читать? Буръка,[22] а ты что? Чай все по игрушечным лавкам?

Теперь следует, как у мужиков водится, начать: и кланяйтесь Александру Павловичу,[23] да Владимиру Григорьевичу,[24] да Василью Петровичу и Любови Ивановне, Анне Васильевне, Михаилу Васильевичу, да Юлии Петровне[25] с детьми, да Дудышкину,[26] да Мансуровым,[27] да Филиппову,[28] да Марье Федоровне,[29] да Михаилу Петровичу,[30] да Степану Дмитриевичу,[31] но пусть извинят меня те, кого не упомянул, я не забыл и не забуду никого, а просто лень.

Что касается до этого и следующих писем, то Вы, Николай Апол⟨лонович⟩, обещали не давать их никому, а прятать до меня, потому что после я сам многое забуду, а это напомнит мне: быть может, понадобится. Притом я пишу без претензий для Вас и других самых коротких друзей, оттого и желал бы, чтобы прочли *только* они; Вы их всех знаете. Если будут спрашивать, скажите, что кто-нибудь взял, да и не принес. Языковым напишу. Катерине Федоровне привет.

Прочитав все, что написал, совещусь, посылать ли, но и писать опять лень, так не давайте же читать никому, тем более, что это письмо относится только до одних Вас, да Юнии Дмитриевны, да Льховского — да только: для своих.

Элькану[32] кланяйтесь, скажите, что предсказания его фальшивы: я не спился, да и надежды нет: моряки пьют по рюмке водки за обедом, да по рюмке вина, а за ужином опять по рюмке водки, а вина нет, и только. А некоторые и совсем не пьют, чуть ли я не главный пьяница. Англичанки — чудо, но о женщинах после когда-нибудь.

Я уже в Д⟨епартамен⟩т писал к Кореневу,[33] что еду назад: Вы, Старик, скажите ему, что это опять изменилось, меня даже испугала мысль воротиться. Перед отъездом я опять напишу ему и тогда скажу, как можно ко мне писать и куда. Адмирал писал в Петербург, чтобы нашим родным и знакомым дозволили посылать письма через Англию с казенными депешами из Министерства иностранных дел (Заблоцкий[34] знает) туда, где будем: надо только наблюдать сроки, но я напишу об этом.

5

Е. А. и М. А. Языковым

Портсмут, 8/20 декабря. ⟨1852 г.⟩

Пять дней тому назад я воротился из Лондона, и мне тотчас же вручили Ваши письма, любезные друзья Михайло Александрович и Екатерина Александровна. Наверно я больше обрадовался им, нежели Вы моему письму. Я здесь один — почти в полном смысле слова, Вы же в семье и с друзьями.

Поздравляю Вас с дочерью: это мой будущий друг, по крайней мере я не отчаиваюсь рассказать и ей *об африканских людях.* Вы, Екат⟨ерина⟩ Алек⟨сандровна⟩, пишете, что Вам скучно: не верю, не от чего. Стоит только послать Михаила Алекс⟨андровича⟩ месяца на два в Финляндию или в Москву, так и скука пройдет: ожидание, а потом возвращение его — вот Вам и радость. Просто Вы блажите, потому что счастливы — как только может быть счастлива порядочная женщина — мужем и детьми. Разве что денег нет — вот это горе, но уж если так заведено, что без какой-нибудь занозы никак нельзя прожить, так нечего делать, надо побыть и без денег. Я так вот очень рад, что Ваше *происшествие*, как Вы называете рождение дочери, сошло с рук благополучно. Вы и не путешествовали, а происшествий-то у Вас было не мало.

Нужно ли Вам говорить, что я беспрестанно вспоминаю о Вас? И в Лондоне, и здесь, и на пути до Англии мне все еще мерещилось мое петербургское житье-бытье, и я при каждом случае мысленно вызывал то того, то другого из своих приятелей разделить какое-нибудь впечатление. Когда будете у Майковых, они, может быть, прочтут Вам

кое-какие подробности моего путешествия из письма, которое посылаю к ним сегодня же. Прибавить к этому почти нечего, разве только то, что мы все продолжаем испытывать неудобства, не наслаждаясь еще ничем из того, что так манило вдаль. Небо, море, воздух почти все те же, что и у нас. Здешняя зима — это наша осень, и на дворе сносно, в комнатах тоже хорошо, потому что в каждой комнате непременно камин, но на корабле холодно и сыро. Пока я был в Лондоне, дождь шел там почти каждый день, и этот город, и без того мрачный от дыма, тумана и некрашенных, закоптелых домов, казался еще мрачнее. В полдень надо было писать при свече. Я осмотрел, что только мог в 17—18 дней, и вот опять здесь. Наскучит сидеть на корабле, пойдешь бродить по портсмутским улицам, исходишь весь город, воротишься и опять очутишься в кругу тех же людей, с которыми придется пробыть года три. Как я порассмотрел некоторых из них, так меня немного коробит при мысли — встречаться с ними ежедневно лицом к лицу. Другие сносны, а некоторые и очень милы, только весьма немногие. Впрочем, я не очень тужу об этом, особенно когда беспристрастно спрошу себя: да сам-то я мил ли? Ответивши самому себе, тоже по возможности беспристрастно, на этот вопрос, я уже без всякой желчи протягиваю руку всем, и милым, и немилым, и сносным. Терпимость — великое достоинство или, лучше сказать, совокупность достоинств, обозначающих в человеке характер, стало быть, все. Впрочем я, как только могу, стараюсь примириться со всеми настоящими и будущими неудобствами путешествия, даже мысленно, воображением укатываю разные кочки и успеваю иногда до того, что мне делается легче при толчке. Этим искусственным способом я выработал в себе драгоценную способность — не скучать. Для этого мне стоит только по временам живо напоминать себе мое петербургское житье со всеми подробностями и особенно продолжить его вперед по той же программе, и в одну минуту во мне опять возрождается охота ехать дальше и дальше; тогда мне ясно представится, что, уезжая, я выигрываю все, а проигрываю только материальное спокойствие да некоторые мелкие удобства, лишение которых исчезает перед интересом моей затеи. А когда воображение разгуляется да немного откроет картину чудес, ожидающих нас впереди, когда почувствуешь в себе не совсем еще угасшую потребность рисовать,— так в одну минуту увидишь, что непременно надо было уехать, даже покажется, что иначе и не могло случиться. От этого я довольно равнодушен к тому, что вот уже третий месяц я живу как будто в сенях, в холоде и сырости, сплю в койке, до которой прежде, может быть, не решился бы дотронуться, помещаюсь, пока фрегат еще в доке, на бивуаках, вчетвером в одной каюте старого английского корабля, что вещи мои разбросаны, бумаги и книги в беспорядке, что разъезжаю по рейду в лодчонке в такую погоду, в которую в Петербурге не показываю носа на улицу, и т. п. Даже еще хуже: теперь, когда на фрегате поселился адмирал, стало теснее, и мне придется жить в одной из офицерских кают; не знаю, видели ли Вы их, Мих⟨аил⟩ Алекс⟨андрович⟩, когда мы вместе были на фрегате? Это гораздо мень-

ше того уголка, в котором жил у вас Софрон ⟨?⟩ с Андрюшей, [1] и без окна, с круглым отверстием, чуть не с яблоко величиною, которое великолепно называют люминатором, так что почти ни света, ни воздуха. В верхней каюте я выпросил только себе уголок поставить столик для занятий. К этому ко всему представьте странность или фальшивость моего положения среди этих людей, которые почти все здесь — в своей тарелке, военные формы, к которым я не привык и которых не люблю, дисциплина, вечный шум и движение,— и Вы сознаетесь, что мне дорого обойдется дерзкое желание посмотреть *африканских людей.* Ваша Еничка [2] правду говорит, что я уехал на *Лысую гору*, почти вроде этого, только и недостает что ведьм, [3] судя по тому, что рассказывает наш штурман, [4] который едет вокруг света *в четвертый* раз. Что будем делать, еще сами не знаем, только к 50 пушкам прибавили здесь еще 4 бомбические пушки (для бросания бомб), а в трюме лежит тысяча пуд пороху.

Адмирал изредка поручает мне писать кое-какие бумаги, но в должность свою я порядком еще не вступил. Большую часть бумаг, и именно по морской части, пишет он сам с капитаном Посьетом, который взят по особым поручениям. Мне он объявил, что главною моею обязанностию будет вести журнал всего, что увидим, не знаю, для чего, для представления ли отчета или чтоб напечатать со временем. Вы верно знаете, что я хотел было воротиться, так болел у меня висок, щека и зубы; адмирал согласился и даже выпросил было мне у посланника казенное поручение, но потом он был очень доволен, когда я остался, сказав, что отъезд мой поставил бы его в большое затруднение, что ему некем заменить меня. Ревматизм мой, слава богу, пока молчит, чтоб не сглазить только. В субботу (сегодня понедельник) назначено выйти отсюда, но только удастся ли, не знаю. Вон наш транспорт «Двина» хотел было уйти месяц тому назад, да за противными ветрами стоит еще и теперь на рейде.

Кстати о «Двине»: однажды у нас на фрегате обедали все офицеры с «Двины»; между ними я увидел одного с таким же румянцем и усиками, как у друга моего, Авдотьи Андреевны, с такими же глазами, какие *были* у нее,— я тотчас же догадался, что это должен быть Колзаков, [5] подсел к нему, и мы проболтали целый вечер; причем перебрали всех Колзаковых и Вас. Он поручил мне кланяться Вам, а я его просил о том же.

Может быть, это мое последнее письмо к Вам из Англии. Едва ли успею написать еще: надо писать и к своему начальству, и к сослуживцам, и к родным, а времени немного. Я пользуюсь отсутствием адмирала; он воротится из Парижа, куда отвез жену, и верно завалит бумагами. До свидания же, не забудьте, ради бога, меня, пишите мне чаще обо всем по тому же адресу, который я послал Кореневу. Если увидите его, скажите, что я ему напишу перед отъездом. Кланяйтесь всем нашим общим приятелям и Анненкову; я думаю, он у Вас теперь: мне завидно.

До свидания, до свидания. Целую Ваших детей. Весь и всегда

Ваш Гончаров

Не забудьте поклониться Ростовским, Андрею Андреевичу с Александрой Александр⟨овной⟩ [6] и Вячеславу Васильевичу с семейством.

Целую Ваши ручки с обеих сторон, Екатерина Александровна, по случаю прошедших Ваших именин. Я очень живо представляю себе этот день! Сначала были дети Язык⟨овы⟩, потом часов в 12 ночи Панаев и Лонгинов [7] и прочие; недоставало только меня: я по обыкновению забрался бы с утра.

Лонгинову, Панаеву, Некрасову, Мухортову, [8] Боткину, Никитенке [9] etc., всем напомните обо мне, поблагодарите особенно князя Одоевского [10] за добрую память и расположение.

Едем через неделю.

6

Е. А. и М. А. Языковым

Портсмут, Спитгедский рейд, $\frac{27\ \text{дек.}}{8\ \text{янв.}}$ 18 $\frac{52}{53}$

Не удивляйтесь, что я, распростившись с Вами надолго во втором моем письме, пишу еще третье. Мы все ни с места. Буквально сидим у моря и ждем погоды, а с нами еще до полусотни кораблей. Мы каждый день собираемся в океан, а ветер дует оттуда, да ведь какой: иногда воем своим целую ночь не дает соснуть. Перед праздниками мы вытянулись на рейд, думая через день, через два уйти, да как бы не так. Тут некоторые недавно сунулись было, но поднялась буря, и они обломанные и общипанные воротились назад, а один в канале натолкнулся на риф и разбился в щепы. Сегодня праздники; [1] меня в эти дни особенно прихватила хандра. Я всегда был враг буйного веселья, в армяке ли оно являлось передо мной или во фраке, я всегда прятался в угол. Здесь оно разыгралось в матросской куртке. Я вчера нарочно прошел по жилой палубе посмотреть, как русский человек *гуляет*. Группы пьяных, или обнимающихся, или дерущихся матросов с одним и тем же выражением почти на всех лицах: *нам море по колено; подойди кто-нибудь: зубы разобью*, а завидят офицерский эполет и даже мою скромную жакетку, так хоть и очень пьяны, а всё домогаются покоробиться хоть немножко так, чтоб показать, что боятся или уважают начальство. Я ушел в свою каюту, но и сюда долетает до ушей топот, песни, *звучные* слова и волынка. Скучно, а уйти некуда. Письма — единственное мое развлечение. Когда я с утра собираюсь писать к приятелям, мне и день покажется сносен. Не знаю, как я буду в море: пойдем прямо в Вальпарайзо и, стало быть, около трех месяцев не увидим берегов.

В первый день праздника была церковная служба, потом общий обед, то есть в кают-компании у офицеров, с музыкой, с адмиралом,

с капитаном, с духовной властью и гражданскими чиновниками. Вечером отыскали между подарками, которые везем в дальние места, китайские тени [2] и давай показывать. На столе десерт, вино, каюта ярко освещена, а на палубе ветер чуть с ног не сшибает; уж у отца Аввакума две шляпы улетели в море, одна поповская, с широкими полями, которые *парусят* не путем, а другая здешняя. Все бы это было очень весело, если б не было так скучно. [3] Но слава богу, я выношу сверх чаяния довольно терпеливо эту суку, морску скуку (не для дам) (см. Тредьяковского); [4] меня с нею мирит мысль, что в Петербурге не веселее, как я уже писал Вам.

Вы, Екатерина Александровна, в Вашем письме пожалели, что я претерпеваю бедствия. Да, не знаю, что будет дальше, а теперь претерпеваю. Сами посудите: только проснешься утром, Фаддеев (что мой Филипп перед этим? тот — поляк в форме русского холопа, весь полонизм ушел в грязный, русский, лакейский казакин, и следов не осталось, а этот с неимоверной смелостью невредимо провез костромской элемент — через Петербург, через Балт⟨ийское⟩ и Немец⟨кое⟩ моря и во всей его чистоте, с неслыханною торжественностью, внес на английский берег и, я уверен, так же сохранно объедет с ним вокруг света и обратно привезет в Кострому),— так вот этот самый Фаддеев принесет мне в каюту чай, потом выйдешь на палубу, походишь, зайдешь к капитану, тот пьет кофе или завтракает, с ним съешь кусочек стильтона. [5] Опять бежит Фаддеев: «Поди, ваше высокоблагородие: адмирал зовет тебя (мы с ним на *ты*) обедать». «Что ты врешь: в 11 часов обедать?» — «Ну так вино, что ли, пить — только поди, а то мне достанется: подумают — не сказал». Адмирал звал чай пить: он думал, что я до обедни не пил чаю.

После того зайдешь в кают-компанию, там садятся обедать: возьмешь да и поешь или выпьешь стакан портеру, рюмку вина. Часа в три опять зовут к капитану или к адмиралу — обедать. После этого только лишь приотдохнешь, как в кают-компании в 7 часов подают чай и холодный ужин. Опять на палубу, или *на улицу*, как я называю это, погулять. Посланный от капитана зовет *посидеть* вечерок; а как этот вечерок тянется иногда до 2-х часов, то и опять закусишь.

Вот что терпишь иногда в море. Зато сколько удовольствий впереди: жары, от которых некуда спрятаться; на палубе и в верхних каютах пропекает насквозь тропическое солнце, а внизу духота; у Горна морозы, от которых еще мудренее защититься, и бури, от которых нет вовсе защиты; по временам солонина, одна солонина с перемежкой ослепших от порохового дыма и состаревшихся от качки кур и гусей, да вода, похожая на квас, да одни и те же лица, те же разговоры. Я дня три тому назад с особенною живостию вспомнил и даже вздохнул по Вас и по Вашей теплой и светлой зале. [6] Соскучившись на фрегате, я взял шлюпку да и в Портсмут, хотя и там не много веселее, я город знаю наизусть. Шатался, шатался там, накупил по обыкновению всякой дряни полные карманы, благо все дешево. Сигарочницу, а их у меня уж шесть, еще немножко сигар, а их лежит в ящике 600, до Америки

станет, какую-то книгу, которую и не прочтешь, там футляр понравился, или покажется, что писчей бумаги мало, и писчей бумаги купил, да так и прошатался до вечера. А ехать до фрегата добрых версты три, четыре, с версту гаванью, а остальное открытым морем. Между тем ветер свежий и холодный; поехал я на вольной шлюпке, потому что фрегатскую долго на берегу держать нельзя. Пока ехали гаванью, не казалось ни очень холодно, ни ветрено, а как выехали за стены, да как пошла шлюпка зарываться в волнах — так мне и показалось, что у Вас в зале, между Мих⟨аилом⟩ Алекс⟨андровичем⟩ и Анненковым, против Екат⟨ерины⟩ и Элликониды Александровны гораздо удобнее и теплее. Но это бы все ничего, а беда в том, что на рейде стоит более полусотни кораблей, саженях в 150, 200 и более друг от друга. А ночью tous les chats sont gris: * ни я, ни перевозчики (их двое) не знаем, где рошиен фри́гэт (russian frigate), да и только. Подъезжали судам к десяти, и все слышим — no, да nein. А ветер, а холод: только и знаешь, что одной рукой держишь шляпу, а другой натягиваешь пальто на ноги. «Ну, думаю, как приеду, выпью целый чайник чаю, спрошу водки, ужинать». Приехал, а у нас всенощная, и я около часу стоял, дрожа и переминаясь с ноги на ногу! И сколько таких, и слава богу, если еще только таких, эпизодов ждет каждого из нас впереди.

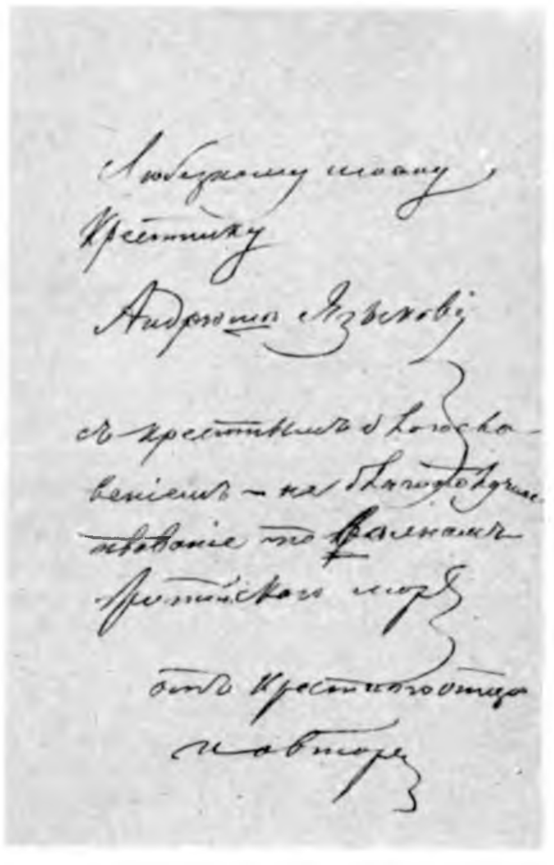
Ну наконец мне отвели постоянную квартиру: Вы ее знаете, Михаил Александрович? это та самая, в которой, помните, мы так долго ждали лейтенанта Бутакова? Только ее перегородили на две части: одну отдали Посьету, адъютанту адмирала, а другую мне. Подле двери окно и маленькая щель, или, по-здешнему, люминатор, сверху дают мне свет. Мне предлагали каюту внизу, вместе с офицерами, но там ни света, ни воздуха и вечный шум от 20 чел⟨овек⟩ офицеров, собирающихся тут же рядом в кают-компании. Вверху тоже шум от маневров с парусами, но к этому, говорят, можно привыкнуть, притом он происходит все-таки вне каюты, а внизу — в самой каюте, потому что она в одной связи с общей комнатой. Я или, лучше сказать, Фаддеев убрал очень порядочно мой уголок. Я купил хорошенькой материи для обивки, клеенки, а казна дала прекрасное бюро и комод. Наделали мне полок, на которых разместились все книги и разная дрянь, составляющая неизбежную утварь всякого угла, как бы он ни был мал. Только Фаддеев распорядился так, что книги все (он же у меня и библиотекарь) уставил назад по темным углам за занавеской, а дрянь, как-то: туфли, щетки, ваксу, свечи и т. п. выставил вперед. «Зачем, мол, это ты так распорядился?» — «А легче — слышь, доставать». — «Да ведь и книги надо доставать!» — «Третий месяц как едем, ни одной не доставали!» — простодушно отвечал он. «Правда твоя,— сказал я,— оставь их там, где поставил».

Посылаю два вида Портсмутской гавани [7] — Николеньке, [8] охотнику до кораблей. Вот где мы простояли недель пять: саженях во ста подле этого корабля «Victory», который Вы тут видите на большой

* все кошки серы (*франц.*),— *Ред.*

картинке. На другой, поменьше, виден паровой плавучий мост, переправляющий за одну пенни из одной части города в другую. Скажите моему маленькому другу, что я до *африканских людей* еще не доехал. Всех прочих целую. Что Ваше здоровье, что Вы делаете? Когда получу ответ на этот вопрос и где? Сам постараюсь писать даже с моря: говорят, можно с встречными кораблями отправлять в Европу письма.

Вот и день прошел. К вечеру мне делается как-то тяжело, не от этих обедов и завтраков, а нервическая тяжесть. Утром я бодр и иногда даже весел, но к ночи не знаю, куда деться от хандры. У капитана только и есть маленькое прибежище: к нему придет мой сосед Посьет, еще кто-нибудь, например Римский-Корсаков, командир отправляющейся с нами же шкуны; каюта отделана роскошно; в ней жил великий князь прежде, засветят лампы, окна настежь, камин, чай, фортепиано и живой разговор — все это помогает забываться, иногда так забудешься, что как будто сидишь где-нибудь в Морской.[9] Досадно только, что на военных судах есть некоторые скучные ограничения: например, на палубе нельзя сесть, это парадная площадь; курить, разумеется, вовсе нельзя, кроме как в кают-компании и в капитанской каюте, но мы покуриваем и в своих; в воскресенье надо быть в форме, а как у меня нет никакой, то я по будням хожу в старой жакетке и в старом жилете, а в праздник надеваю новую и черный жилет. Фрак берегу для больших оказий.



Дарственная надпись И. А. Гончарова А. Языкову на книге «Фрегат „Паллада"» 1879 г. издания. Библиотека Н. К. Пиксанова. ИРЛИ. Ленинград.

Что вам сказать еще? Теперь пока не имею права ничего говорить: наш настоящий поход еще не начался. Что будет, как выдержу все труды, страхи и лишения, не знаю, только задумываюсь. Впрочем, кого из близко знакомых ни поставлю на мое место, вижу, что едва ли бы кто годился вполне в этот подвиг. Все не понимаю, зачем это судьба

толкнула меня сюда? Я решительно никуда теперь не гожусь по летам, по лени, по мнительному и беспокойному характеру и, наконец, по незавидному взгляду на жизнь, в которой не вижу толку. Мне даже стыдно становится подчас: сколько бы людей нашлось подельнее, которые бы с пользой и добром себе и другим сделали этот вояж! А я точно дерево, как будто и не уезжал никуда с Литейной. [10] Разве что суждено мне умереть где-нибудь вдалеке, так это могло бы случиться и проще, дома, особенно теперь, в холеру. [11] Тут есть какой-то секрет; узел мудрен, не могу распутать. Подожду, что будет.

Прощайте, до свидания. Обнимаю Вас, милый мой друг Михайло Александрович, и Вас, если позволите, Екатерина Александровна. Желаю Вам хорошего Нового года. Не забудьте меня, а я припоминаю Вас всех на каждом шагу; увижу ли что-нибудь замечательное, случится ли что-нибудь особенное, сейчас мысленно зову Вас разделить мое удовольствие или неудовольствие, смотря по обстоятельствам. Кланяйтесь всем, Коршам, пожалуйста, не забудьте. А писем моих не показывайте никому: они пишутся к Вам и для Вас, без всяких видов и пишутся небрежно, а другие взыщут. Вас, Элликонида Александровна, прошу уделить мне немножко дружеской памяти. Я во втором письме писал к Вам особо маленькое письмо — получили ли Вы его? Прощайте и надолго. Кланяйтесь Андрюше.

Весь Ваш Гончаров

Не сердится ли Вячеслав Васильевич, что я послал ему доверенность с просьбой переслать ее в Симбирск? [12]

Другу моему, [13] знаете какому, вечный и неизменный поклон.

Андрею Андреевичу, Александре Александровне, [14] Михаилу Александровичу тоже.

7

М. А. Языкову

Английский канал, 9/21 ⟨—11/23⟩ января. ⟨1853 г.⟩

Я уж Вам сказал, кажется, что писать письма к приятелям для меня большая отрада. Вот отчего, после отправленного дней пять тому назад письма к Вам, пишу опять, и пишу на ходу, во время сильной качки; хотя строки выходят кривы, рука отходит от стола или стол от руки, но я утвердился в своей позиции крепко. Мне кажется, если б я теперь воротился домой, то первые дни жил бы непременно под влиянием нынешних моих впечатлений. Я бы не мог равнодушно смотреть на свободно стоящую мебель: мне все казалось бы, что ее надо *принайтовать*, а окна *задраить*, книги и разные мелочи уставить на полках *с рейками* и вообще взять нужные предосторожности против качки.

При первом *свежем* ветре, я, забывшись, ждал бы, что сейчас *засвистят всех наверх брать рифы,* то есть уменьшать паруса, как это делают в настоящую минуту. Вот неудобства плавать на парусном судне: ни погулять свободно, ни сметь отдохнуть на палубе; надо совершенно благословенную погоду, чтобы можно было ходить прямо или чтобы на палубе не топталось человек 200, а часто и все 400. Этою погодою наслаждаются только в тропиках, где от сотворения мира неизменно дует один и тот же ветер, в северном полушарии в одну, а в южном — в другую сторону, т. е. *пассат.* Но до тех пор нам еще недели три или даже месяц ждать, а теперь мы бьемся третьи сутки в Англий(вишь, ведь, как качнуло!)ском канале. Снялись с якоря 6-го января в Крещенье, рано утром, при попутном ветре, а к вечеру задул противный, и мы лавируем то правым, то левым галсом, а вперед почти ни на шаг. Делать нечего: казенные бумаги мы все отправили с консулом, снимаясь с якоря, тогда и я послал к Кореневу и Майковым, а это письмо пошло с английским лоцманом, который провожает нас по всему каналу, до самого океана. Делать, я говорю, теперь нечего: маленький, 13-тилетний Лазарев (сын адмирала),[1] с которым я по просьбе капитана занимаюсь русским языком, занят теперь другим делом: его тошнит, или *травит,* как здесь шутя говорят, толкнешься к отцу Аввакуму — тот или сидит у адмирала и кушает или почивает; чиновника из Министерства иностр⟨анных⟩ дел *травит* пуще Лазарева; капитан и офицеры в свежий ветер неистово преданы своему делу, кричат, командуют, все наверху, мой сосед, милый добрый Посьет, пишет вот рядом со мной письма. Отчего ж и мне не написать? Я знаю, что Вы не будете в претензии, как бы и что бы я ни написал: видите, как я уверен в Вашей дружбе!

Плавание в бурное время по Английскому каналу считается не совсем удобным: место не широкое, раздолья большому судну мало, а валяет на обе стороны так, что держись: оттого и берут лоцмана, хорошо знающего местность. Он и в туман, по грунту, доставаемому лотом, узнает место и указывает, куда держать. Всего опаснее ночи: боятся, как огня, встречи с кораблями, которых снует по каналу взад и вперед множество. Если столкнуться с кораблем побольше нашего, то мы пойдем ко дну, если поменьше, то ему худо, но во всяком случае, если и не ко дну, то обломает и то и другое. От этого, лишь завидят впереди огни, поднимают вопли, жгут бенгальские огни, а иногда и палят, чтоб дать знать о себе встречному судну. Моя каюта, как Вы видели, вверху, и я все не могу привыкнуть к шуму, постоянно раздающемуся у меня над самой головой, особенно в бурю, когда работы, а с ними и шум, усиливаются. Тогда я беру подушку и отправляюсь спать в кают-компанию, на диван, с немалым ворчаньем и de très mauvaise humeur * на качку. Вот уж это третью ночь так делается: напрасно я хочу заснуть, только одолеет дремота, вдруг толчок на бок, все заскрипит, зашевелится, и быстро проснешься: опять заснешь — потянут какие-нибудь

* очень сердитый (*франц.*).— *Ред.*

брасы, или *шкоты,* или *фалы,* человек 60 затопают ногами — как не взбеситься? Но вчера мне совестно стало за свою досаду: я лег в кают-компании и начал засыпать, несмотря на сильную качку, как вдруг выбежал из своей каюты в одной рубашке бедный Гошкевич, чиновник; он со стоном бросился на круглый диван, потом перебежал на скамью, потом лег на пол и нигде не находил места. Его рвало желчью; он мучился и тоской, и головной болью. Я дал ему воды, а потом уж и не знал, что делать; нашел на полу кусочек апельсинной корки и дал ему пожевать, думая, авось поможет. Нет, ничто не помогает: я оставил его и заснул, если не сладко, то весьма покойно: но мне и сквозь сон все слышались его стенания. Многих укачивает, между прочим и некоторых офицеров: иной командует, стоя на вахтенной скамье, потом его *потравит* за борт, и он опять командует. Между прочим, и адмирала однажды тоже укачало. Это здесь нипочем. Матросам просто не велят укачиваться: пусть его *травит*, а он все-таки должен делать свое дело. Вчера что-то медленно накрывали на стол. Первый лейтенант послал узнать о причине; ему донесли, что повара укачало. Он строго послал ему сказать, *чтобы его не укачивало*,— и обед тотчас подали. Я третьего дня почувствовал было какой-то намек на дурноту, но без всяких последствий, и не от качки, а от посторонних причин: я целый день не выходил на воздух, потом обедал, выпив, разумеется, две-три рюмки вина, и доспался до того состояния, до какого бывало, и я, и Вы, Михаил Алекс⟨андрович⟩, сыпáли и дома, т. е. проснешься и чувствуешь, что на голову будто надета горячая сковорода, а рта не разожмешь сразу, так в нем слипнется все от тяжелого и сытного дыхания. Вы в таком случае прибегали, помнится, к бане, как самому полезному средству, а я искал спасения в соде. Вот и здесь со мной случился такой же грех, а я еще выкурил трубку прекрепкого, купленного в Портсмуте табаку и вдруг почувствовал, что меня как будто хочет укачивать, но я уверил себя, что это глупость. И в самом деле, только лишь вышел на воздух, как и следов не осталось. Так до сих пор морская болезнь и не коснулась меня, аппетит, как у кадета в воскресенье, а морской воздух почти совершенно заменяет моцион. Если Майковы получили и читали Вам мое письмо, [2] то Вы уже знаете, что мы идем не через Америку, а через мыс Доброй Надежды, потом через Зондский пролив в Манилу, оттуда к маленьким островкам, под 27° с. ш., Бонин-Сима, где к нам пристанет русский корвет и еще компанейское судно, назначенные идти вместе. С нами же отсюда вышла и шкуна паровая, купленная здесь; она ныряла, как утка, а потом и разлучилась с нами: от Бонин-Сима пойдем уже в Китай и т. д. Обратный путь предполагается через Америку. И обо всем этом гораздо меньше толкуют, нежели, как бывало, при сборах куда-нибудь в Царское Село или Ораниенбаум. А хотите знать расстояния? От Англии до Азорских островов 2 250 миль (каждая миля $1^3/_4$ версты), оттуда до экватора 1020 миль; от экватора до м⟨ыса⟩ Доб⟨рой⟩ Надежды — 3180 м; от м⟨ыса⟩ Д⟨оброй⟩ Н⟨адежды⟩ до Зондского пролива 5400, да нет, скучно; лучше проехать, нежели считать. Узнавайте через

Ал⟨ександра⟩ Петровича Коренева, куда и как отправлять ко мне письма. Если напишете, тотчас же и отнесите Ваше письмо или к Кореневу или в Азиатский департамент М⟨инистерства⟩ и⟨ностранных⟩ д⟨ел⟩к столоначальнику Заблоцкому, а если случай есть, то к самому Любимову,[3] так, может быть, поспеете к здешней ост-индской почте, и тогда я получу Ваше письмо на мысе Доброй Надежды. Из Азиатского д⟨епартамента⟩ отправят письмо с казенными депешами и скажут Вам адрес. А Вы просто напишите такому-то, на русский фрегат «Паллада», по-русски и по-английски: to be forwarded on board of the russian frigate Pallas. * И впоследствии не уставайте время от времени писать и отдавать в Азиатский д⟨епартамент⟩, справляясь там, когда посылать. Ну до свидания. Скоро второй час, сейчас обедать, а до тех пор надо побегать по палубе или, лучше сказать, потанцевать, потому что в строгом смысле *ходить* нельзя. Огромные зеленого, почти изумрудного цвета волны грудами катятся, и фрегат с треском, охая тяжело, с трудом переваливается через каждую такую гряду. Берегов не видать.

До вечера.

11/23 янв⟨аря⟩. До вечера: как не до вечера! Вот только на третий день после того вечера я мог взяться опять за перо. Теперь я вижу, что адмирал был прав, вычеркнув в одной моей бумаге слово *непременно*. На море нет *непременно*, сказал он. И точно нет. Мы при попутном ветре хотели *непременно* выйти в океан, а вот уже пятые сутки бьемся еще в Английском канале и теперь только в сию минуту проходим знаменитый Эддинстонский маяк, огромный столп, построенный на камне среди моря. Бурун хватает, говорят, до самого фонаря. Что же помешало мне писать к Вам третьего дня вечером? Буря, но ведь какая! Я лег было после обеда спать, как нашел первый шквал: это проходное облако с дождем, градом и молниею. Суматоха поднялась страшная, беготня, топот, командование и свистки. Облако набежало на фрегат, затрясло, закачало и вымочило его. Но я так тепло укрылся в своей койке, что как ни любопытно было подойти к окну и отдернуть занавеску — но искать туфли, надевать халат! так и перетерпел любопытство, а потом, когда стало опять светло, утешил себя мыслью, что *не успел*. Вдруг опять потемнело; ветер загудел, как в лесу, рванул фрегат в одну, в другую сторону, и опять прошло. Через четверть часа опять стало темнеть; вижу, что спать нет возможности от возни наверху,— нечего делать — оделся собственноручно и вышел на палубу. Там было все начальство — и вся команда, разумеется кроме отца Аввакума, который насчет бурь и качки одинакового со мной мнения, то есть что удобнее быть в горизонтальном положении и преимущественно в своей койке, нежели стоять на ногах, когда качает. Его тоже не укачивает. Между тем чиновник Гошкевич, отнюдь не разделяя нашего мнения насчет горизонтального положения, должен, однако же, поневоле последовать нашему примеру, по невозможности стоять на ногах: так

* доставить на борт русского фрегата «Паллада» (*англ.*),— *Ред.*

сильно *травит* его. Шквалы все сильнее и сильнее повторялись весь вечер и всю ночь, самую беспокойную с тех пор, как мы выехали. Я добрался кое-как до кают-компании и опять-таки лег там на том самом голубом диванчике, который Вы, Михаил Александрович, видели в верхней каюте, и даже мы, помните, сидели на нем, ожидая долго Бутакова. Офицеры то бегали наверх, то сбегали покурить, а качка все усиливалась. Фрегат рылся носом в волнах или ложился совсем на бок. При одном таком толчке, прежде нежели я опомнился, меня с диваном бросило от стены в сторону. Сначала бывшие тут офицеры: Криднер, Бутаков и Лосев напугались, думая, что диваном ушибет меня, но когда увидели, что диван помчался к дверям, а я перевалился прямо на софу, устроенную около бизань-мачты, разразились хохотом, за ними и я. Они удивились, с какой ловкостью и как быстро я улегся на новом месте и как покойно падал, вытянув руки и ноги, как будто заранее приготовился. Но и всякий из них что-нибудь да получил: тот плечом хватился о косяк, другой приобрел шишку, ударившись головой о потолок, а третьего озадачило дверью.

8

Языковым и Майковым

18/30 января 1853.
Фунчал, на о. Мадере.

Милые друзья мои, Языковы и Майковы.

Пишу Вам общее письмо, потому что нет решительно времени писать особо. Неделю тому назад я писал к Вам, Мих⟨аил⟩ Алекс⟨андрович⟩, последнее письмо, и большое, из Портсмута, а теперь вот уже где я: на Мадере! От Англии до этого острова считается 1200 итальянских миль (около 2000 верст): мы пробежали их в пятеро суток с небольшим, случай редкий, но нас гнал штормовый ветер, и мы плыли буквально между двумя рядами холмов, из которых каждый величиной по крайней мере с парголовский Парнас.[1] Не стану описывать, чего натерпишься в этом плавании, когда фрегат кладет то на один, то на другой бок, когда все на нем так и ходит взад и вперед, все скрыпит, трещит и вот того и гляди развалится. И это пятеро суток, не переставая. Я и трусил жестоко, и каялся, что, впрочем, предвидел до начала путешествия, и даже не раз падал духом. А мы пробежали всего пятую часть одного океана, а их надо переплыть три или четыре. По временам находит сомнение, выдержу ли я. По ночам я валяюсь одетый, кое-как и где ни попало, днем тоже ищу покойного угла и не нахожу. Но подивитесь: если б мне теперь предложили воротиться, я едва ли бы согласился.

За пятидневные страдания я чувствую себя вполне вознагражденным. До сих пор все еще было холодно, даже и тогда, когда мы были

на параллели Португалии и Испании, но едва только сегодня подошли к Мадере, как сóлнце начало печь, как едва ли печет у нас в июле. Мы все высыпали на палубу: чудный остров, как колоссальная декорация, рос в наших глазах — и вот оно передо мной, все то, что я до сих пор видел только на картинах, видел и сомневался. Я чуть не заплакал, когда на меня дохнуло воздухом, какого легкие мои не вкушали никогда. Я, разумеется, сейчас же бросился на берег, и по мере того, как шлюпка подвигалась к земле, ароматический запах трав и цветов становился сильнее. Адмирал, я, старший лейтенант [2] и маленький Лазарев обедали у консула, который не знал, как и чем нас угостить. Само собою разумеется, что мадера всех сортов и цветов играла не последнюю роль за обедом и после обеда; за десертом стол покрылся всевозможными фруктами и цветами: бананы, апельсины и еще какие-то невиданные и неслыханные плоды красовались вместе. Мадера имеет, между прочим, ту особенность, что на ней растут и тропические и наши северные растения. Я взял один цветок и сказал хозяйке, что вложу в письмо к соотечественникам несколько листков с этого цветка. Вдруг моя португалка (консул португалец) прыг в сад и нанесла кучу цветов, прося послать несколько листков и от нее. Я этого бы не сделал, разумеется, а сказал так только, чтобы как-нибудь ее поблагодарить за гостеприимство (она молодая, хорошенькая, бледная, с черными глазами и чудесно сложена), но теперь вот посылаю Вам, Евгения Петровна, Екатерина Александровна, Юния Дмитриевна и Элликонида Александровна,— вы, кажется, все охотницы до этой дряни, не подеритесь только — это память с Мадеры. * Но главная часть пребывания моего на Мадере ознаменовалась преоригинальной поездкой в горы. Консул и товарищи мои пустились верхом. Я тоже подумывал было занести ногу на серого коня, но вспомнив, как дорого обходились мне такие поездки болью в ногах, остановился в раздумье, как вдруг хозяин предложил, не угодно ли мне ехать в паланкине. Весьма угодно — и вот явилось двое португальцев с носилками: это нечто вроде детской колясочки — и помчались в горы, между виноградниками, а двое мальчишек, из которых один болтал по-французски, а другой по-английски, шли по бокам. Надо было лечь в колясочке, и я, вообразив всех вас около себя, помирал со смеху, а потом привык, как будто это всегда должно быть так. По каким местам они несли меня, где я останавливался, что видел, всего не опишешь. Скажу только, что если б я больше ничего не увидел, то было бы и этого помнить всю жизнь. А они говорят, что еще у них зима, природа, слышь,— мертва и т. п. Что же летом, когда я не знал, что мне делать в моем суконном пальто? Прогулка моя продолжалась пять часов, я въехал с одной стороны горы, а воротился по другой. Вдруг навстречу мне мои донкихоты. И мы, глядя друг на друга, разразились хохотом. Носильщики еще на половине дороги заметили, что я, должно быть, толст. Они останавливались у трех трактиров и потчевали меня вином, но как я мочил только губы, то пили усердно, разумеется

* *Рядом на полях приписка*: Выбросил цветок.

на мой счет, а пот с них ручьями. Что за край, что за воздух, что за небо! Ах, друзья мои, зачем вас нет здесь: не уехал бы никогда, кажется. Сами жители признались, что у них никогда трех дней не бывает дурной погоды.

Обнимаю вас всех, Мих⟨аила⟩ Алек⟨сандровича⟩, Кат⟨ерину⟩ и Эл⟨ликониду⟩ Алекс⟨андровну⟩, Евгению Петровн⟨у⟩, Никола⟨я⟩ Аполл⟨оновича⟩ и Аполлона, и Владимира с женой (ей тоже листок), и Льховского, и всех, всех. Не забудьте поклониться Алек⟨сандре⟩ Алек⟨сандровне⟩ и Андрею Анд⟨реевичу⟩, братьям Вашим, Вячесл⟨аву⟩ В⟨асильевичу⟩ и Ростовским и особенно другу моему.[3]

9

Семье Н. А. Майкова

17/29 марта 1853.
Мыс Доброй Надежды.
Cape town, Капштат тож.

Получили ли Вы мое письмо с острова Мадеры от 18 января? Я, кажется, писал оттуда в одном письме с Языковыми.[1] А теперь вот *уже* где мы, или вот *еще* где мы! Это первая станция нашего огромного путешествия. Я не считаю за станцию Мадеры, где мы пробыли один день, ни островов Зеленого Мыса, куда тоже забежали освежиться и оправиться на одни сутки, и именно на остров Сант-Яго, в Порто-Прайя. Тут я видел первый, но полный образчик африканской природы и климата. Зной, песчаные холмы, гранитные скалы, а между ними в долинах роскошнейшая тропическая растительность: банановые, кокосовые, фиговые и другие рощи, а рядом опять жгучий песок, голь, нищета в природе и людях. Весь переход от мыса Лизарда до мыса Доброй Надежды мы сделали в 63 дня, то есть выехали от английских берегов 11-го января, а сюда пришли 10 марта. Плавание в тропиках обворожительная прогулка. Больших жаров мы не испытали: вообразите дней пятьдесят сряду отличной погоды где-нибудь в деревне среди садов и полей, где небо ни разу не поморщится. Над палубой ставили тент, и лучи до нас и не доставали. Впрочем, жар ни в северном, ни в южном тропике не превышал 23 градусов, в тени разумеется. Экватор мы пересекли 3-го февраля в 5 часов утра. Все почивали, и я тоже. Но мы еще накануне собрались у капитана и, не переходя экватора, поздравили друг друга теплым шампанским. Что делать? Где взять холоду в тропиках? Один из нас, старший штурман, пересек его в одиннадцатый раз. Видели мы и акул, и летучую рыбу, и прочие тропические особенности. Всего удивительнее тамошние вечерние зори и колорит неба вечером. Ни красками, ни пером этого неба и облаков не опишешь. Так вот прошел я тропики, *удара избежав*: не знаю, что будет дальше. Нам обещают страшную жару в Китайском море, которое лежит

в северном тропике, а мы предполагаем быть там летом — то есть в июне или июле месяцах. Это самое жаркое, да и самое ураганистое время там. Теперь мы пока приходим всюду к осени. На Мадере и островах Зеленого Мыса были в январе, стало быть зимой; лето было тогда в южном полушарии, а когда мы перевалились в южное полушарие, солнце перешло назад, и мы пришли сюда к началу осени. Вы, Аполлон, перед моим отъездом говорили, что магнитная стрелка перевертывается, слышь, на экваторе вдруг от севера к югу. Нет, душа моя, такого фокуса не бывает — один конец все-таки продолжает показывать к северу, а другой к югу — зане оба конца намагничены и каждый верно показывает свой полюс. Только чем ближе вы к полюсу, тем более конец стрелки наклоняется к своему полюсу, так что на самом полюсе стрелка должна стать вертикально. Есть, однако, перемена, но не такая, как вы думаете; стрелка ложится только горизонтально на экваторе, и то не на общем, а на магнитном экваторе, который лежит тремя градусами южнее настоящего. Да еще, кажется, Филиппов говорил, что штилевая полоса лежит на три градуса по обеим сторонам экватора; неправда; она начинается и кончается в северном полушарии, начинается иногда в шестом, иногда в пятом градусе и кончается в третьем или втором, различно. Тут же, в северном полушарии, встречается и южный пассат.

Шестьдесят три дня в море! «Верно соскучился»,— скажете Вы: нет, время проходит с неимоверной быстротой, особенно если призаймешься. У меня было немало дела. Я вел и веду общий журнал, прохожу словесность с гардемаринами по просьбе адмирала; пробовал вести и свои записки, но сделал очень мало. Причиной этому моя несчастная слабость — выработывать донельзя.

Материалов, то есть впечатлений, бездна, не знаю, как и справиться, времени недостанет; а если откладывать — пожалуй, выдохнется. Жалею, что писал Вам огромные письма из Англии: лучше бы с того времени начать вести записки — и потом все это прочесть Вам вместе, а теперь вышло ни то ни се. И охота простывает, и времени немного, да потом большую часть событий я обязан вносить в общий журнал — так и не знаю, выйдет ли что-нибудь. Впрочем, постараюсь: одна глава написана — это собственно о море и о качке. Читал — смеялись. До Мадеры, до Зеленого Мыса, до тропиков еще не дотрогивался. Мне как-то совестно и начинать говорить об этом. Я все воображаю на своем месте более тонкое и умное перо, например Боткина, Анненкова [2] и других,— и страшно делается. Зачем-де я поехал? Другой на моем месте сделал бы это гораздо лучше, а я люблю только рисовать и шутить. С этим хорошо где-нибудь в Европе, а вокруг света!

Миль за 300 до Капа нас прихватил опять свежий ветер и качка. Что это за скука! Мы в тропиках отвыкли было от этих удовольствий, а тут опять. К счастию, это продолжалось дней пять. Но ведь пять дней ни читать, ни писать, ни есть, ни спать порядочно нельзя. Мы остановились не в Столовой бухте, а в Саймонсбей (Simons-bay), в которой безопаснее стоять судам. Саймонсбей составляет маленький

уголок большого залива, наз⟨ываемого⟩ Falsebay. Та слишком открыта ветрам. В Саймонсбей всего десятка три домов, есть английское адмиралтейство и красный солдат на часах — Англия везде и всюду, куда ни сунешься. На островах Зеленого Мыса, на Мадере, здесь — все негры, мулаты, готтентоты и малайцы (этих много навезли сюда еще голландцы), все говорят по-английски, хотя острова Зеленого Мыса принадлежат португальцам. Учитесь, друзья мои, по-английски, учитесь — чтоб ехать путешествовать, скоро надо будет учиться и для того по-английски, чтоб с большим удобством дома сидеть. Я благословляю судьбу, что учился, а теперь от беспрестанной практики навострился хоть куда. Иначе путешествие — не путешествие.

Фрегат наш теперь *разоружили*: он очень безобразен. Его расснастили, спустили реи, весь такелаж. Это будет продолжаться *еще* недели две или больше, а мы неделю здесь живем. Все попеременно ездят в Капштат, дня на два, на три. Капштат от Саймонсбей всего 18 миль (30 верст). Дорога чудесная: сначала идет между страшных утесов по морскому берегу, а потом по аллее между дачами и фермами. Я вглядываюсь в траву, в песок, в камни, в деревья, в птиц — и нет уже ничего, ни былинки, которая бы напомнила о севере. Все другое. Рыбы, Николай Аполлонович, ловится бездна, просто пустят толстый крючок и кусок говядины, сала, чего хотите, и вытаскивают огромных и вкусных рыб, похожих немножко на наших лещей. Удят всё матросы. Попадается ядовитая рыба, прекрасивая, но есть нельзя. Если съесть, то умрешь через 5 минут. Было несколько примеров тому. Теперь, когда является чужое судно, капитан над портом посылает печатную программу, как вести себя в порте, и в этой программе упоминается и о рыбе, чтобы матросы ошибкой не ели ее. Ее иногда выбрасывает на берег, и если свинья съест, то закружится и тут же околевает.

Ну вот, любезный Льховский, я и в стране змей. Берег и горы в Саймонсбей покрыты мелким кустарником: в полдень просят не ходить близко к кустам, выползают змеи. Но я и барон Крюднер ходили; однако не видали их. По дороге в Капштат жгут траву и кусты, чтобы расчищать места для поселений и выгнать змей.

Завтра семеро нас отправляемся на семь дней далее вовнутрь. Адмирал был так внимателен и любезен, что спросил, как бы желал я путешествовать. Я объяснил ему, что путешествие по берегам не очень занимательно, что надо стараться как можно подалее проникать внутрь, а без знакомых-де этого сделать трудно. Он вчера же отправился с нами в Капштат и устроил нам презанимательную поездку. Взял у здешних банкиров рекомендательных писем к разным лицам по колонии. Один банкир сыскал нам экипаж, проводника и даже распределил порядок дней, станций и предметов, которые нужно осмотреть. Между прочим, есть у нас письмо к английскому инженеру, который делает дорогу. Он нам покажет замечательные места, между прочим горячие источники, потом тюрьмы, где содержатся преступники из всех племен Южной Африки. Предположено ехать одной, а воротиться другой дорогой. На возвратном пути хотим осмотреть Констанскую

гору и знаменитые виноградники. Всюду у нас есть письма. На этой горе содержится теперь один из предводителей кафров[3] с женой. И его хотят показать нам. Вы по газетам знаете, что война с кафрами кончена[4] и заключен мир — только надолго ли, бог знает. План очень хорош: каково-то будет исполнение. Нас едет семь человек. Адмирал всем дал занятия на все путешествие. Одному, Гошкевичу (чиновнику М⟨министерства⟩ и⟨иностранных⟩ д⟨ел⟩), поручена геологическая часть, доктор со шкуны, ученый немец, займется ботаникой. Посьет, которого Ю⟨ния Д⟨митриева⟩ видела (рыжий офицер), изучает голландский язык. Едет еще молодой мичман в помощь Гошкевичу. С нами едет и фотографический прибор для снимания местности и типов жителей также. Вы видите, что это целая экспедиция. Мне надо будет внести все подробности в журнал.

Ехать завтра, ранехонько, часов в 6 утра, в огромной повозке на шести и восьми лошадях, как здесь вообще путешествуют.

Странно это Вам слышать от меня — *в экспедицию* — *в Африке* — *внутрь края* — *ранехонько*. Я ли это? Да, я — Ив⟨ан⟩ Ал⟨ександрович⟩ — без Филиппа, без кейфа — один-одинехонек с sac de voyage едет в Африку, как будто в Парголово. У меня трость с кинжалом, да и ту, я думаю, брошу — мешает; у барона пара пистолетов за поясом, вот и все. У прочих не знаю что. Я полагаю, что мы это все оставим, а возьмем лучше побольше сигар.

Вчера мы сделали огромную прогулку по всему Капштату, к подошве Столовой горы, рядом с ней Чертова, слева, а справа Львиная гора. Львиная гора в самом деле похожа на лежащего льва, а вот Столовая не знаю почему Столовая гора. Это просто плоскость, круто обрубленная отвесно. Как хотите, так и назовите: фортепиано, стол, стена какой-то громадной крепости или площадь. Вчера она *накрывалась скатертью*, то есть облаками, которые спускаются по обрыву. Это очень оригинально. Впрочем, это уже не ново для нас: в первый день приезда один из утесов в Сеймонсбей накрылся туманом, как париком. Я не понимаю, как ходят на Столовую гору: с вида она неприступна. Нам показывали тропинку, но ее трудно простым глазом видеть. Наши, то есть адмирал, капитан и некоторые офицеры, хотели было идти сегодня на гору, да невыносимо жарко, отдумали. Я объявил, что ни за что не пойду ни на какую гору, если она выше трех сажен, так же точно как без крайней необходимости не поеду верхом. Если уже нельзя иначе, так нечего делать. А то вот сегодня наши приехали сюда верхом, да теперь и не могут ходить.

(Сию минуту ворочусь: звонили завтракать — это уж в третий раз сегодня, а теперь всего два часа. Будет в $6^1/_2$ часов обед, а там еще что-то.)

Нас человек 10 завтракало: мне досталось хозяйничать, то есть разливать и разрезывать. Все перепортил. Я бросил и передал нож слуге-малайцу. Мы объедаемся виноградом. Вкуса и букета ни с чем сравнить нельзя. Никто нигде не ел такого. Еще продолговатые арбузы в три четверти длиной, но неважные, груши и прочее тоже хорошо,

свежие фиги и т. п. Но главные плоды уже прошли. Когда опять перейдем экватор и вступим в северное полушарие летом, там надеемся вознаградить себя. Констанское, или капское, вино — так себе: мадера, красное — изрядны, а сладкое приторно и напоминает малагу.

Я надеялся получить здесь письма от Вас, но обманулся, и мне стало скучно. Видно, Вы не получили моего письма, где я просил Вас адресовать письма через Азиатский д⟨епартамен⟩т на мыс Доброй Надежды, или поленились поскорее отвечать. Другой пароход должен привезти письма, но мы его, я думаю, не дождемся, и бог знает, где они застанут нас. Вы все-таки пишите через Азиатский д⟨епартамент⟩ — где-нибудь да настигнет.

До свидания, Евгения Петровна и Николай Аполлонович, Ю⟨ния⟩ Д⟨митриевна⟩, Аполлон, Владимир, Катерина Павловна, Бурька и все и все: всем кланяюсь. Прочтите письмо Языкову. Ему я тоже напишу, но коротенькое; Льховский, Капитан, Александр Павлович, верно, прочтут у вас.

Весь Ваш И. Г.

Если вернусь, подробности путешествия перескажу, а если запишу их — то прочту.

Кланяйтесь Бенедиктову; скажите, что Южный Крест — так себе. Из Китая я сам напишу к нему. Я писал еще Языкову и Кореневу.

10

Е. А. и М. А. Языковым

Капштат 17/29⟨—18/30⟩ марта ⟨1853⟩
Мыс Доброй Надежды.

Любезнейшие друзья
Михайло Александрович и Екатерина Александровна!

«Где я?» — имею я полное право воскликнуть теперь. Вот уж неделя, как мы на якоре в Falsebay, в 18 милях от Капштата и вот второй день, как я здесь. Завтра мы отправляемся всемером верст за сто внутрь. Но прочтите письмо к Майковым,[1] я там пишу поподробнее. Ваш Коля прав был, когда пророчил мне об *африканских людях*. С них и началось наше путешествие. Мы с Мадеры пошли на острова Зеленого Мыса: это совершенный клочок Африки по климату, по растительности и по людям. Я набрасываю иногда заметки всего, что вижу, и, если достанет терпения и охоты обделать это,— то может быть когда-нибудь, если бог даст свидеться, прочту у Вас за чайным столом о своих приключениях. Отсюда мы недели через две уйдем в Гон-Конг: это английская колония близ Китая: оттуда предполагается идти на острова Бонин-Сима, а там и в Японию. Но на море никогда нельзя непременно

решить, куда зайти и куда нет. Что-нибудь сломается, испортится или провизии недостанет,— поневоле зайдешь, куда не хочется. Я здоров и не очень скучал, несмотря на то, что мы были в море 63 дня. Плавание в тропиках — наслаждение. Тишина и вечный умеренный ветер — пассат. Жару большого тоже не испытали. Иногда меня прихватывала — не скука, а хандра; вот ее-то я боюсь пуще всего. Она мешает мне во всем. Иногда, впрочем, оставляет меня в покое, и тогда я бываю совсем счастлив. Но ни путешествие, ни хандра не мешают мне толстеть. Я еще потолстел, и самому становится гадко смотреть. Платья узки, я ленюсь и тяжелею: вот что-то скажут здешние утесы и пески, по которым мы завтра пускаемся странствовать на неделю или более.

К сожалению, некогда больше писать. Пожалуйста, заезжайте, милый Михайло Алекс⟨андрович⟩, в Департамент, вызовите Андрея Петровича Коренева, скажите, что я ему кланяюсь, тоже Богаеву, Козловскому, Средину, [2] и что по возвращении из нашей экскурсии буду писать к нему. А теперь дайте ему прочесть эти письма: из них он узнает, что я и где я.

Кланяйтесь Августе Андреевне и Михаилу Алекс⟨андровичу⟩ *с родителями,*— обоим братьям Вашим тоже, Коршам, Анненкову и всем нашим приятелям.

Иногда ужасно хочется к Вам: так бросил бы все, да и назад, поиграть с детьми. Что третий Ваш — сын или дочь? забыл что. Вы оба, здоровы ли? А Элликонида Александровна?

Обнимаю Вас всех без исключения.

Ваш Гончаров

На меня наводит иногда хандру мысль — что еще далеко и долго ехать. Ведь мы сделали только всего 12 тысяч верст каких-нибудь, а надо всех сделать более 80 тысяч верст взад и вперед. Увидимся ли, когда? До свидания.

18 марта. Мы едем завтра, а не сегодня — не трудитесь заезжать к Кореневу: я написал к нему.

Прощайте: звонят обедать (в гостинице): это уж второй раз сегодня, а в шесть часов опять обедать, в третий раз.

Майковым кланяйтесь.

11

Е. П. и Н. А. Майковым

29 марта/10 апреля 1853. Капштат.

Может быть, сегодня, а может быть, и прежде вы должны получить от меня письмо отсюда же, перед отъездом моим внутрь Африки. [1]

Вот уж три дня, как я воротился в Капштат и живу опять в гостинице. На фрегат не хочется, да и здесь невесело. А когда подумаю, сколько еще надо странствовать, так духом и упаду. Одно поддерживает меня, что и в Петербурге было бы не веселее. Особенно как если вернешься туда зимой, да вы запоете. Кланяйтесь Языковым: я им тоже писал перед поездкой внутрь, но боюсь, доходят ли письма; говорят, здесь почта не совсем надежна. Правду сказали Вы, Евгения Петровна, в Вашем письме в Англию, что я *неугомонный*, хотя, давая мне этот эпитет, Вы в то же время этим самым доказываете, что *не поняли меня.*

Что сказать Вам о наших приключениях? А ничего. Съездили верст на сто с лишком, странствовали в ущельях по новой, только пробитой дороге, по таким горам, которых и во сне не видал. Над головой страшные утесы, а внизу пропасти еще страшнее. Оступись лошадь, и прощай все: полетишь с высоты футов в двести, в глыбы камней. В этих горах водятся тигры и большие обезьяны, но мы их не видали. Были там в тюрьмах, где содержатся черные преступники всех здешних племен. Кафры, готтентоты, бушмены, финго, etc., etc. рядом сидят или лежат скованные. Их употребляют на работы по дорогам. Осмотрели горячие источники, заезжали к фермерам в гости и вообще видели много нового и занимательного. Теперь надо все это записывать и вносить в журнал, прочитав наперед историю войны с кафрами. Это скучновато, да нечего делать — надо.

Я часто думаю о Вас, глядя на здешнюю природу: на дубовые рощи, на сады из всевозможных растений, которые у нас держатся за стеклами. Например, из кактусов, алоя и других колючих и толстых растений, которые у Вас в маленьких горшочках берегутся на окнах, здесь делают плетни и заборы; не перелезешь через такой забор. Вчера ездили мы кругом Львиной горы — преживописный вид. Весь залив — как на ладони, а по берегам голые каменные утесы. Между утесами, у камней, плещется такое множество огромной рыбы, что, кажется, руками можно ловить. Я долго думал об Вас, милый мой Николай Аполлонович, и о Вас, Аполлон,— верно, думал я, оба они сидели бы тут в белых шляпах и таких же куртках, замазанные, загорелые, и копались бы целый день. Вдобавок к Вашему удовольствию — невыносимая жара, какой у нас не бывает, и это еще осенью (здесь ведь осень). Летом, говорят, не знают, куда прятаться, а один доктор, приехавший из Индии в отпуск, говорил, что там зимой так жарко, как здесь летом. Что же летом в Индии? — спросил я.— Надо там быть,— отвечал он,— а объяснить этого нельзя. А мы говорим, что в Петербурге жарко! Вчера я вышел было на площадь, на базар, но через 10 минут должен был воротиться и не мог часа полтора прийти в себя. При этом жаре меня удивляет, что здесь мало тени, то есть мало заботятся о разведении больших тенистых деревьев. Кругом города всё дачи, но они окружены такими низкими деревьями, что негде спрятаться от жары. Впрочем, все домы построены с жалюзи и навесами, и в комнатах духоты нет. Видно, деревья плохо растут, но я видел, однако ж, в некоторых местечках целые дубовые рощи. Вообще же вид этой части

Африки довольно печален: песок, мелкий кустарник и камни. Мы переправлялись вброд через многие речки, которые зимой, в дождливое время, превращаются в огромные реки. Когда мы проезжали по песчаным равнинам, усеянным мелким разнообразным кустарником, в котором гнездится множество змей, ящериц и черепах (мы поймали двух маленьких черепах), м-р Бен, инженер, возивший нас в ущелье, сказал, что по этим равнинам мы можем судить о всей Южной Африке, кроме берегов. Вся она такова — горы, песок и мелкий кустарник. Путешествие наше продолжалось дней десять. Мы сделали верст триста взад и вперед. Есть места чрезвычайно живописные — Паарль, то есть перл, Стелленбош и другие. Я рад, что видел их и имею понятие об Африке, но в другой раз не поеду. Пора на фрегат, в Сеймонский залив, но там, говорят, затевают бал и обед в отплату данного нашим обеда. Вот я задумываюсь, куда бы деться от этих удовольствий? А тоска-то, тоска-то какая, господи, твоя воля, какая! Бог с ней, и с Африкой! А еще надо в Азию ехать, потом заехать в Америку. Я все думаю: зачем это мне? Я и без Америки никуда не гожусь: из всего, что вижу, решительно не хочется делать никакого употребления; душа наконец и впечатлений не принимает. Как бы все это пригодилось другому! Боюсь, выдержу ли я: что-то силы падают, хотя я и толстею.

Ну, а вы что? Отчего от вас писем нет? Говорят, еще пришел пароход из Англии, а мне ничего, кроме только одного письма, полученного через Англию — не от Вас. Ужели Вы ленитесь или забыли старого приятеля? Не поверю: не может быть. Я убежден, что мое место среди Вас сохранится для меня, если я только сам уцелею. Но когда подумаешь, сколько шансов не уцелеть, так и не верится, что воротишься. И море грозно, и пропасти в горах глубоки, или стоит какой-нибудь кобре-капелле кольнуть в пятку, или лучу солнечному поласкать северную лысину,— вот и кончено. Вы что, друг мой Ю⟨нинь⟩ка, не подадите голоса, Вы аккуратнейшая из моих друзей? Здоровы ли все, что делают, что Ваш Александр Павлович и девочка? [2] Кланяйтесь ему и скажите, что я перегнал его и толщиной и усами. А Вы, юная чета, [3] здоровы ли? Глядите ли иногда на портрет старого холостяка, смеетесь ли над его сединой? Смейтесь, только чаще вспоминайте. Что Капитан? Так же *не ужинает* никогда и все еще ходит к Креншиной? А Вы, милый Льховский. Ужели в Африку-то не напишете мне ни слова? Да Вам я — чай — некогда: поди все влюблены там в кого-нибудь? Мальчишка, [4] здравствуй: что, каково учишься? начал ли глаголы из русской грамматики. Я бы теперь тебя вересковыми-то розгами да, кстати, и Марью Федоровну тоже, за то, что здесь чай скверный. В самом деле — чай отвратительный. На фрегате пока был русский чай — хорошо, а купили английского — никуда не годится: микстура. Сливки, Евгения Петровна, разве не много лучше Ваших, несмотря на множество ферм и *скотства*, как говорит наш доктор немец вместо скотоводства. Кофе тоже почти хуже Вашего. Одно только и хорошо, что три раза в день обедают. Как встанут, сейчас и за говядину, за котлеты, часу в

первом — смотришь — арап звонит опять к обеду, а в семь часов еще, и ничего, желудок не расстраивается.

Кланяйтесь всем и пока прощайте.

Ваш И. Гончаров

Обнимаю Вас, Аполлон, а если Вы женаты, то и жену,[5] — а вы обнимите еще кого-нибудь.

12

Е. А. и М. А. Языковым

Зондский пролив, в виду о. Явы.
18/30⟨19/31⟩ мая 1853.

Вручитель этого письма — тот самый Бутаков (Иван Иванович), который, помните, любезный мой друг, Михайло Александрович, еще нагрубил нам на фрегате тем, что заставил ждать себя часа два? Он оказался славным добрым малым, готовым на всякое обязательное дело. Примите же его и как вестника о приятеле и как хорошего человека, тем более, что у него в Петербурге знакомых — ни души. Он весь век служил в Черном море — и недаром: он великолепный моряк. При бездействии он апатичен и любит приткнуться куда-нибудь в уголок и поспать; но в бурю и вообще в критическую минуту — весь огонь. Вот и теперь, в эту минуту орет так, что, я думаю, голос его разом слышен и на Яве и на Суматре. Он второе лицо на фрегате, и чуть нужна распорядительность, быстрота: лопнет ли что-нибудь, сорвется ли с места, потечет ли вода потоками в корабль — он тут — голос его слышен над всеми и всюду, а быстрота его соображений и распоряжений — изумительна. Адмирал посылает его курьером просить фрегата поновее и покрепче взамен «Паллады»,[1] которая течет, как решето, и к продолжительному плаванию оказывается весьма неблагонадежной. На другой или третий день по выходе с мыса Доброй Надежды нас трепнула буря, которая, обнаружив непрочность судна, и заставила просить другого. А то, пожалуй, пришлось бы слезть с него на чужом берегу или, еще хуже, середи моря. Между тем мы идем в самые сомнительные, малоизвестные и ураганистые моря. Не знаем, дадут ли другой фрегат или велят воротиться через Камчатку и Сибирь. Последнее едва вероятно: куда деть 400 человек матросов? В Камчатке ни в одном порте не хватит помещения и продовольствия для них.

Вы конечно получили мои письма с мыса Доброй Надежды?[2] К тем сведениям, какие там есть, прибавить почти нечего. 12-го апреля мы снялись с якоря и вышли в Южный океан. 14-го вытерпели вышесказанную бурю, потом понеслись по 11 узлов (18 верст) в час и вот в месяц пронеслись до Зондского пролива, то есть 5800 морских миль,

а это составляет ровно 10 000 верст. Да и засели у входа в пролив: трое суток продолжается мертвый штиль. До Батавии всего 30 миль, берег виден со всех сторон, с сопками, лесами, скалами, а не дается. Небо чудесно, особенно ночью: что за луна, что за звезды! Не хочется уйти с палубы. То мелькнет блестящий метеор, то сверкает ослепительная молния. Но что за жары стоят — а еще зима! Мы в 6-м градусе южной широты, солнце теперь свирепствует по ту сторону экватора, а здесь дожди, тучи, грозы и жары, там же — просто жары. Не знаешь, куда уйти, куда деться. Днем жар палит, ночью душит. По лбу, по вискам, по щекам текут ручьи. А что еще ожидает нас по ту сторону экватора, куда идем через несколько дней? Не говорите никогда в России: *жарко*, по крайней мере при мне: осмею. Но Иван Иваныч Вам все расскажет. Если придется вовремя, то оставьте его у себя, вместо меня, на щи или на ботвинью, а вместо пирожного велите подать ему пару сырых луковиц — любит. Мы с ним на Мадере ходили у консула по саду и вдруг, между ананасами, кофейными, банановыми деревьями и олеандрами, видим — что же? — наш зеленый лук. Хотя нас ожидал за обедом десерт из тропических плодов, но мы взяли да потихоньку и съели с ним лучку.

Он Вам все расскажет: как я думал, что никогда не привыкну к морю и хотел воротиться, как шум каната, топот людей и свисток не давали мне спать, и я уходил уснуть в общую каюту, как я прежде в качку не мог ступить шагу и просиживал по суткам на одном месте или падал со всех ног при малейшем покушении пройти, как мечтал о возвращении в Россию и как наконец привык ко всему; в качку хожу, как матрос, сплю и не слышу подчас пушечного выстрела, ем и не проливаю супа, когда стол ходит взад и вперед, как, наконец, привык к этой странной, необыкновенной жизни и как не хочется воротиться теперь. Конечно он скажет Вам то, что Вы очень хорошо знаете, то есть что я так же ленив, так же не нахожу никогда досуга для работы, как мне все мешает дело делать, и качка, и жар, и неловко сидеть, и неудобно писать и т. п.

Вы что, прекрасный, добрый друг мой Екатерина Александровна. Дайте мне руку, обе — целую их с обеих сторон. Верите ли Вы, что меня нет, что я не прихожу ежедневно вечером показывать Вам свою большую физиономию? Я часто вижу во сне всех вас и вашу залу, только не новую, а прежнюю, к новой не привык. Что Коля? Что Еня? А новая каково ведет себя? Часто ли приходится Вам краснеть за ее невежливости при гостях? Что друг мой Авд⟨отья⟩ Андр⟨еевна⟩ делает? Я полагаю — то же, что Вы.

Здоровы ли Вы, Элликонида Александровна: браните ли меня или заступаетесь? Но авось не приходится Вам делать ни того, ни другого: меня большая часть приходящих к Вам друзей забыли — пусть их — не забывайте лишь Вы.

Да где это я? Неужели в самом деле в Батавии, а не на Литейной, у Симеона? [3] Иногда сильно хочется уверить себя в противном, хочется побежать к Вам, потом в клуб. Не верится мне что-то в эти океаны, в эту

Яву да Суматру, не верится потому, что переходы морские как-то не заметны. Не увидишь, как проглотишь 10 000 верст. Я боюсь, что земля покажется мне чересчур мала, когда мы объедем ее всю.

Я никому не пишу, кроме Вас, а хотел бы написать к Майковым, разумеется, но я подозреваю их где-нибудь на даче (ведь у Вас лето теперь?), и мне совестно, если Бутаков понапрасну будет отыскивать их по городу и должен будет отдать письмо в прихожей. Вы дайте им прочесть это письмо и скажите, что я располагаю написать к ним с почтой из Гон-Конга, и к Кореневу тоже.

У Вас везде знакомые, мой милый Михайло Алекс⟨андрович⟩; не достанете ли Вы Бутакову билета в Эрмитаж? Ему хочется посмотреть. Но Вы так добры ко всем, что, верно, будете добры еще более к человеку, приехавшему издалека, да еще с вестями о многолюбящем Вас приятеле.

Вашему попечению, Екатерина Александровна, вверяю прилагаемое здесь письмо. Прикажите повернее отдать его на почту. Это к родным, и потому мне хочется, чтоб оно дошло. Я потому не прямо Вас прошу, Михайло Александрович, что видал не раз, как Вы, взяв какое-нибудь нужное письмо, счет и т. п., а иногда и деньги, положите в бумажник, потом ездите, ездите по городу, да и привезете назад, вместо того, чтобы отдать, где следует, а иногда и потеряете. Вот я и надеюсь, что Екатерина Александровна не допустит Вас до такого гнусного поступка.

В Бутакове мы лишаемся еще и ночного собеседника. Четверо нас собираемся всегда у капитана вечером *закусить* и сидим часов до двух. Вот и Иван Иваныч (друг и товарищ Унковского, капитана) присутствует тут же.

Кланяйтесь, пожалуйста, всем знакомым, не забудьте Ваших родных, Коршей также, Анненкову (да не тут ли Вы, П⟨авел⟩ В⟨асильевич⟩?), так возьмите поклон лично. И всем — всем, Никитенке, Одоевскому, Лонгинову, Современникам, и Отеч⟨ественным⟩ записк⟨ам⟩.

Напишите ко мне, пожалуйста, да не мешкайте, в Гон-Конг. Уведомьте обо всем и обо всех. Адрес так:

Hong-Kong via England
M-r Gontcharoff China.

On board of the russian frigate «Pallas».

To the care of Mess-rs Williams Anthon a C°.

а впрочем, спросите Бутакова, не будет ли казенных отправлений. Он тоже будет писать.

19. Сейчас подходим к берегу, к анжерскому рейду. Фрегат ожил, все приоделось, зашевелилось. К нам наехало множество малайцев — с бананами, ананасами, апельсинами etc. Полуголые, с жвачкой во рту, похожие на обезьян. А какой берег смотрит на нас: весь утонул в лесу, не то что на мысе Д⟨оброй⟩ Н⟨адежды⟩. Если нельзя ехать отсюда Бутакову на пароходе в Индию, то и мы не остановимся, а прямо пройдем в Сингапур, чтобы застать пароход, отправляющийся в Суэц. Жаль,

хотелось бы съездить в Батавию. До свидания: бумаг множество — тороплюсь.

Весь и всегда Ваш
И. Гончаров

Когда мы стояли на мысе Доброй Надежды, туда же пришла и «Двина». Опять мы свиделись с Колзаковым.

13

Семье Н. А. Майкова

25 мая/6 *июня ⟨— 26 мая/7 июня⟩ 1853.
Сингапорский пролив.

Здравствуйте, Николай Аполлонович, Евгения Петровна и вы все милые и милыя люди.

Не хотел было я писать к Вам — сердит, что Вы не пишете, а еще подозреваю, что Вы где-нибудь на травке (ведь у Вас лето) *жарите опенок,* да *не-ловите* рыбу, и потому боялся, дойдет ли письмо, не напрасно ли тружусь. Но авось. Не ожидайте от меня писем с описаниями, картинами и т. п. Зачем же пишу так *много* и так *глупо к Вам*? спросите Вы, имея полное право на то. А затем, что писать для меня, как я окончательно убедился, сделалось, или и прежде было, да я не замечал, такою потребностью, как для Чичикова Петрушки — читать.[1] Как он читать — так я люблю писать без цели, так, для самоуслаждения или, пожалуй, ich singe wie ein Vogel singt.**[2] Пишешь — выходят слова, строки, в которых что-то звучит, которые можно не только читать, но запечатать и послать к друзьям. Зачем же *глупо* пишу, следует вопрос? Тупею с летами — это раз, а потом — чуть явится путная мысль, меткая заметка, я возьму да и запишу в памятную книжку, думая, не годится ли после на что, хотя после холодного размышления сам же увижу, что ничего не будет. Третий вопрос: зачем *к Вам* пишу? Ужели отвечать на этот вопрос и ужели Вы его сделаете? Прибавлю к этому последнему вопросу только, что пишу с моря, боясь недосуга и суматохи, которой подвергаешься неминуемо, как только станешь на якорь. К вечеру надеемся прийти в Сингапор, где на минуточку остановимся, чтобы ссадить нашего офицера Бутакова, отправляющегося через Ост-Индию в Европу и Петербург курьером просить другого фрегата вместо «Паллады», отказывающейся служить, за ветхостью и дряблостью. Не дадут — так придется ворочаться Сибирью, и то еще хорошо, если придется *ворочаться.* Но в Камчатке нечем кормить и негде поместить 400 человек: оттого и нужно ехать морем.

---

* В подлиннике ошибочно: 7.— *Ред.*
** я пою, как поет птица (*нем.*),— *Ред.*

Сингапор! Вот он мелькает множеством огней в темноте; мы сию минуту стали на якорь. Джахор — какие названия, что за места! Воздух точно в теплице, не просто жарок, а влажно жарок. К нам пристали миль за 40 четыре малайца. Они говорят, да я вчера в путешествии американской экспедиции и сам читал, что Сингапор изобилует фруктами. Они привезли нам несколько превосходных ананасов и завтра обещали привезти бесчисленное множество по доллару за сотню! Фруктов родится здесь до двадцати сортов. Мы теперь в северном полушарии опять, в 2-х градусах от экватора. С нетерпением буду ждать утра, чтобы взглянуть на этот клочок Индии, восточный базар и европейский рынок, на котором толпится до двадцати азиатских племен кроме европейцев. Корабли всех родов, форм и видов стоят на рейде; город — сплав Европы, Китая и Индии, торговля всемирная и без запрета, даже малайские пираты смело приезжают для сбыта награбленных товаров. Какая ночь теперь, если б Вы видели, друг мой Евгения Петровна: ни за что бы не легли так рано спать, как обыкновенно ложитесь. Я понимаю теперь, почему под таким небом родятся поэтические грезы вроде индийских поэм, арабских сказок, почему воображение здесь создавало только гигантские или страстные образы, перед которыми так бледны наши создания и от которых северному читателю делается тяжело, как от кошемара. Только в таком влажном, проникающем организм, раздражающем нервы воздухе и можно выдумать Сакунталу. [3] Вот где бы делать любовь-то, в этом отечестве ядовитых перцев. Ах, Ю⟨нинь⟩ка, друг мой; зачем Вы не здесь теперь: мы бы предались индийской любви, и Ваше 19-летнее упорное сопротивление пало бы перед силой палящих лучей здешнего солнца, перед теплой сыростью воздуха, перед жгучестью крепкого перцу.

Да от меня ли Вы, полно, слышите все это — Ява, Сингапур, Джахор? Куда это занесет иногда судьба человека! И главное, чем хорошо — занесет незаметно. Вы — дома: читаете, пишете в своей комнате, ложитесь в свою постель, мелькнет месяц, два, вдруг Вам говорят, что Вы за десять верст от того места, в котором были, кажется, вчера. Если придется Вам ехать далеко, ступайте морем — не заметите, говорю Вам. Давно ли я был на мысе Доброй Надежды (откуда писал Вам два письма)?[4] А теперь, через 43 дня, перенесся за 6000 миль (10 000 верст). Мы плыли счастливо: в 34 дня дошли до Зондского пролива и на сутки останавливались у о. Явы, но не в Батавии, которой избегают суда ради нездорового климата, а в 70 милях от нее, на анжерском рейде. Сначала я возроптал что не идем в Батавию, а потом обрадовался, когда съехал на берег в Анжере. Это маленькая деревушка, состоящая из двух-трех переулков без — домов. Живут там китайцы и малайцы просто в лесу. Сойдя на этот берег, я был почти счастлив: наконец я путешествовал, как мечтал путешествовать, среди лесов, в глуши, в невозделанной красоте. До сих пор, даже в Африке, мы ездили по расчищенным местам, по проложенным дорогам, заезжали в удобные отели: здесь ничего этого нет. Человек начинает врубаться в нетронутый лес, а лес-то состоит из кокосовых пальм, фиговых и множества других неизвестных мне, по крайнему моему невежеству в ботанике, деревьев, сквозь которые и пробраться нельзя. Мы целой

толпой пошли гулять и, несмотря на страшный жар, не утомились: так было все ново, прекрасно. Все противоположно виденному: в Африке глаз ищет зелени и едва находит кучу кустарников, везде сырые мрачные утесы, здесь — негде ноги поставить на голую землю, все в зелени. Даже отдельные брошенные на воду камни и те обросли деревьями, как бородой. В Анжере тем прекрасно, что никого, так сказать, нет. Здесь первенствуют еще звери, и природа дает им великолепнейшие квартиры в своих пальмовых лесах и тростниках, а несколько европейцев живут (трое) в низеньком кирпичном доме; есть и голландская крепостца с двумя-тремя пушками, в которые, я думаю, мальчишки тоже, как в Белгородской* крепости, понабросали камешков[5] и всякой дряни; прочие же, то есть ма́лайцы и китайцы, живут в каких-то хлевах из бамбуковых жердей с крышами из кокосовых листьев. Китайцы, с косами, в своих костюмах, но отлично говорят по-английски; малайцы по пояс голые, а внизу кругом тела обернут в виде юбки кусок бумажной материи, да платок на голове — вот и все; под юбкой же нет ничего, то есть платья — я разумею — нет. Они навезли нам и обезьян, и попугаев, и оленей с барана ростом, и плодов, бананов, ананасов, кокосов и т. п. И вот опять у нас целую неделю до самого Сингапура появляются тропические плоды за десертом. Здесь-то, в этих жарах, мы познали сладость кокосовых орехов и постигли всю важность роли, которую они играют в тропических странах. В нем заключается жиденькое, разведенное будто водой молоко, утоляющее жажду, но не очень вкусное; а мы придумали выжимать и из ядра молоко, как из миндаля,— вышло превосходное питье, соединяющее в себе свой аромат, немного похожий на миндаль, потом густоту коровьих сливок и прохладительность оршада.[6] Я, как проснусь, мой Фаддеев несет мне целую бутылку таких сливок, добываемых из одного ореха с небольшой примесью воды. Мы еще придумали есть это молоко с бананами.

Мы остались в Анжере и вечером: опять я вспомнил Вас, Ев⟨гения⟩ Петровна, сидя на балконе китайской лавки, в которой мы пили чай, лимонад. Что это за вечер! Этот животворный, жаркий воздух, светлое тропическое небо, которое без луны блестит, как у нас в лунную ночь, наконец, разнообразнейший говор, треск, вопли, чириканье птиц и насекомых. Вдруг в воздухе начали плавать не то звезды, не то огоньки — особенно красиво освещали они колоссальное дерево *баниан,* под которым в Анжере располагается целый съестной рынок. Эти огоньки просто — светящиеся мухи. Мы наловили несколько и стали рассматривать, откуда это у них льется свет. Откуда бы вы думали, mesdames? Из-под хвоста! Да еще какой свет: фантастически зеленый, как бенгальский огонь. Ползет, а из-под хвоста так и льются лучи этого света, несмотря на свечи. Я перевернул одну, желая добраться до источника, что же: под самым хвостом помещена у нее прекрасная яркая звезда: каковы мухи? Вот что у них под хвостом: не то что у наших! Мы четверо шли по лесу сзади других и прозевали чудесную вещь: они вдруг увидели в мутной речке крокодила, пробиравшего⟨ся⟩ по каменьям, бросились за ним, но он

* *Так в подлиннике, вместо:* Белогорской

скрылся в чащу кустов, куда они не решились следовать за ним, боясь змей. Видели и даже убили змею.

Вечером малайцы сидели в куче на пятках на улице, и одни готовили из какой-то дряни ужин, другие резали траву для жвачки. У всех за щекой набито этой травы: от этого у всех рот похож на трубку, из которой лет десять курил жуковский табак. [7] Мы уехали середи этой живой, полной призраков темноты и были как нельзя более довольны прогулкой. Уеду далеко, может быть, вернусь в Россию, но долго мне не забыть Явы.

Вообще весь Зондский пролив, Ява, Суматра и мелкие острова — это будто сады зелени: не знаешь, куда смотреть, чем любоваться. У нас есть шкипер Яков Васильевич: я на другой день после Анжера спросил его, отчего не видать его почти никогда на берегу? Что там делать: по-ихнему,— отвечал он, указывая на Анжер,— я говорить не умею, да и не люблю как-то съезжать: берега — это только баловство и деньгам перевод; скажут, берег, должность позабываешь, тянет туда, а зачем-с?.. И он очень неблагосклонно поглядывал то на Яву, то на Суматру.

Жарко, ах жарко! И Вы бы, друг мой Николай Аполлонович, не сказали, что не *жарко*, а *только хорошо*. Хорошо для ананасов да черепах (которых мы тоже накупили), да еще для Фаддеева. Я изнемогаю, сижу с поникшей головой, во рту сохнет, аппетита нет, а он войдет ко мне в каюту и только приговаривает: «Господи! Как тепло, хорошо!» Вчера он отличился, когда пристала шлюпка с малайцами. Он в это время доставал из-за борта воду и обливал меня.— Кто это там приехал на шлюпке?— спросил я.— Должно быть, опять, чухны, Ваше высокоб⟨лагоро⟩дие,— отвечал он, разумея малайцев.

Сингапур 26. Утро. Какое оживленное утро! Мы кругом в островах, в зелени; около нас целая флотилия индийских и китайских лодок, крик, шум на всех языках. Ко мне в дверь (моя каюта наверху, подле капитанской) ломятся толпой индийцы, портные, прачки, маклера, все суют рекомендации от разных судов. Вот и Иван Иваныч (Бутаков, который едет курьером в П⟨етербург⟩) стучится в дверь. — Чего, мол, Вам? — Да вот, говорит, попробуйте фрукт *мангустан,*— и дал какое-то яблочко: в нем кисло-сладкое беловатое ядро, окруженное красным мясом — едят белое ядро — отлично. Пишу, а самого так и тянет туда, на палубу; индийцы горланят, продают раковины, фрукты; вижу, матросы охапками носят ананасы — и какие — с дыню, не только желтоватые, но красные, по полуторы копейки серебр⟨ом⟩ штука, дюжина шиллинг, сотня — полтора целковых. Мне Гошкевич мимоходом бросил четыре ананаса в каюту, и они заняли целую полку, вот режу один — сок течет. Позвольте попотчевать Вас: вот этот Вам, Е⟨вгения⟩ П⟨етровна⟩; этот – Вам, Ю⟨нинь⟩-ка, Вам, маленькая старушка,[8] недостает — эй, Фаддеев, принеси дюжину... Вон все матросы вооружены ножом и ананасом. А жарко, жарче вчерашнего. Нельзя поверить, сколько градусов, термометр сейчас лопнул — от пушечных выстрелов, которыми, по обыкновению, салютовали здешнему флагу. Но у нас случилось несчастье: одному заряжавшему пушку матросу оторвало обе руки совсем — делают операцию — слышен стон... Эпизод не хорош, но что делать? Этот трагический случай как-то

дополняет оживленную картину утра и этой новой для нас суматохи. Сколько хочется накупить всякой всячины, но, к сожалению, некуда деть. Возьму, что можно: беда, если придется перемещаться на другое судно.

Вы, Аполлон, как-то говорили мне, чтобы я не забыл сказать Вам о сильной тропической буре и о моих к ней отношениях. С нами случилось то, о чем вы говорили,— но что сказать? Почти нечего. Во-1-х, бури нет, а есть свежие и крепкие ветра, штормы и ураганы. Нас прихватил шторм у м⟨ыса⟩ Д⟨оброй⟩ Н⟨адежды⟩, лишь только мы отъехали от него верст 200. Этот шторм окончательно и доказал, что фрегат наш более чем плох. Я сидел в кают-компании, когда буря началась. Качка усиливалась, сначала *взяли рифы*, то есть уменьшили паруса, но ветер крепчал, их убрали совсем, кроме самых необходимых. Началась течь, как в решете, все ничего, в общей каюте было еще сухо, но фрегат начал черпать бортами, да еще дождь проливной пошел, и вдруг хлынули целые потоки к нам вниз. Меня адмирал звал не раз, через посланного, вверх — полюбоваться картиной, где блеск луны и молнии спорил друг с другом, но как на палубе на четверть ходила вода, то я и не пошел, думая удержать свою сухую позицию до конца бури. А когда вода хлынула в десять каскадов и к нам, мы оттуда поневоле бросились вон, вверх, по трапам лились тоже потоки, а я в башмаках и летнем костюме. Вверху я насмотрелся и молнии и луны, наслушался и грома и ветра, но через пять минут я весь был мокрехонек, добрался до своей каюты, переменил белье, заснул и не знаю до сих пор, как и когда кончился шторм. Хорошая сторона морских неприятностей замечательна своею странностью: через час не остается даже воспоминания от претерпенного беспокойства, страха, мокроты и морской болезни, у кого она бывает. Я до сих пор продолжаю не понимать, что это за болезнь. Вообще я, слава богу, так во многом свыкся с морем, что теперь некоторых своих беспокойств, тревог, страхов и неудобств даже не понимаю и удивляюсь, как могло тревожить меня вначале то или другое. Бывало, от шума маневров, стука и пальбы я не мог уснуть, а теперь ни за что не проснусь, разве сбросит совсем с постели; прежде, бывало, беспрестанно в голове присутствует сомнение, не случилось бы того, другого, а теперь не верится никак, чтобы могло случиться — словом, как прежде хотелось бы отвсюду воротиться, так теперь ни за что не воротился бы, хотя в некоторых отношениях мне бывает нехорошо. Но ведь куда ни спрячься, везде постигнет своя доля нехорошего, и я, похандрив, заключаю частенько, что мне очень хорошо. Нехорошо мне особенно потому, что я до сих пор не веду своих записок, а боже мой! сколько интересного видишь и сколько способности чувствуешь в себе записать это! И между тем часто недели проходят в бездействии: от качки невозможно физически писать, все рвется из рук, а чуть выдается свободная минута, надо приниматься за казенный журнал. И в том много отстал. Это досаднее всяких бурь. À propos* о бурях, еще слово о них: 21-го мая, когда уж мы вышли из Зондского пролива, меня разбудил крик: *Смерч* —

* Кстати (*франц.*).— *Ред.*

пушку зарядить ядром! Я выбежал — смотрю: в одном месте море кипит столбом, как будто пароход идет, а из тучи тянется к нему какая-то труба, вроде насоса, и тянет воду. Стрелять не понадобилось, смерч лопнул сам, не дошедши до нас. Красиво, но слабо, я ожидал больше. Вот разве дальше, в Китайском море, потешат нас тайфуны, то есть тифоны, так те любят поломать стеньги, а иногда и мачты. Вообще вторая часть нашего плавания знаменовалась беспрерывными штилями, ежедневными грозами и шквалами — то-то бы страшновато было другу моему, Е⟨вгении⟩ П⟨етровне⟩, а нам, старым морякам, некогда было и замечать этого. Я раз в грозу занялся — чем бы Вы думаете? Перекладывал тихохонько из деревянного ящика в жестяной — тысячу спичек: *тихохонько* — потому что спички — великий грех на корабле. Не сказывайте Ивану Ивановичу (Бутакову), если увидите его у Языкова или если он сам привезет Вам письмо: он второе лицо на фрегате, друг и товарищ командира Унковского. По возвращении, пожалуй, отнимет спички, а мне — мат без них. Он лихой моряк и добрый малый.

Но довольно об всем: простите, что так долго занял Вас собою. Погодите, напишу разве еще из Гон-Конга, а там уйдем в такие места, где и почты нет. Странное дело, меня никогда не интересовало слишком *тридесятое* государство, куда мы стремимся: оно не дико, но и не цивилизованно, и я мало занимался им, а теперь лишь подумаю, что придется увидеть его, так сердце замирает.

Здоровы ли Вы, что делаете? Сходитесь ли в известные часы и вспоминаете ли об отсутствующем приятеле? Он помнит Вас — будьте в том уверены, если только память его на что-нибудь годится Вам, и $^3/_4$ радости в возвращении полагает в надежде увидеть Вас всех здоровыми, вместе в том же укромном и многолюбимом уголке, в котором он так ласково был пригрет половину своей жизни. Вы что делаете, *молодые*, в обоюдном смысле? Не мудрено, я думаю, угадать, *что*. Вы что — Ю⟨нинька⟩, как обнял бы Вас несмотря на Ал⟨ександра⟩ Павл⟨овича⟩. Я отсюда даже с Малакского полуострова чую, Ю⟨нинька⟩, что у Вас опять — другой или который бишь? Ах, как я растолстел — куда ему? Должно быть, от морских бедствий — не знаю, только у меня растет другое брюхо рядом с прежним, повыше. Это бы ничего, уж видно горькая участь такая, но что досадно, так это то, что каждый из моих спутников, встретясь со мной утром, непременно потрогает пальцем это второе мое брюхо, как будто не веря, в самом ли деле это так или накладка. Ты, Бурька, что? А Вы, милый мой Льховский... что за странность, что во всяком письме приходится Вам стоять рядом с Бурькой? Поди, чай, вы понемногу складываетесь — в следующем письме разлучитесь. Что бы Вам сказать особенное о себе или о путешествии: да вот что: часть известных Вам зверских наклонностей, несмотря на всю гуманность, сопутствует мне и вокруг света. На мысе Д⟨оброй⟩ Н⟨адежды⟩, например, я прибил на Львиной горе готтентота — зачем надул! (Не правда ли, громко: *Львиная гора, готтентот, прибил*!) А на днях велел высечь Фаддеева. Последнее обстоятельство замечательно тем, что я с самого начала похода проповедовал о гуманности и жарко спорил с капитаном, который меньше 150 линьков винов-

ным не дает, говоря, что меньше ему стыдно давать, не по званию. А вдруг и сам высек, но, будучи маленького звания здесь, выпросил я, чтоб ему дали только двадцать. Худо служит, а знаете ли, отчего? Я не бью его, не кричу, а прошу и плачу жалованье. Невероятно, а правда. Скажите: «О, род людской, достойный...»[9] и т. д.

До свиданья. Пишите или чрез Азиатский департамент, или в Гон-Конг: у Языкова есть адрес, как хотите, только пишите. Весь и всюду Ваш

Гончаров

Мы, кажется, пробудем здесь неделю и потом в Гон-Конг. Кланяйтесь всем, но писем, пожалуйста, другим не читайте, а берегите до меня, может быть, понадобятся мне для записок. Не показывайте потому, что пишу их решительно для Вас, небрежно.

Кланяйтесь Бороздна\м,[10] княжне, Поздеевой, Яновскому, Кошкаревым,[11] Дудышкину,[12] Солику,[13] Павлу Степ⟨ановичу⟩, etc., etc. К Влад⟨имиру⟩ Григ⟨орьевичу⟩ хочу написать из Гон-Конга. Марья Фед⟨оровна⟩, что сегодня за обедом? Не ботвинья ли? Ах, если бы. У нас щи и салат из ананасов.

Что Вы, Капитан: приучаетесь ли понемногу говорить правду или все еще того... Во всяком случае здравствуйте, любезнейший друг!

14

Е. А. и М. А. Языковым

26 мая/7* июня 1853.
Сингапур.

Вот куда занесло меня, любезнейший друг Мих⟨аил⟩ Алек⟨сандрович⟩.

Но прочтите прежде другое письмо на Ваше имя; я запечатал его давно и вскрывать не хочется. Я думал, что не успею написать ни к кому, но времени достало, потому что в Батавии мы Бутакова не высадили, а должны были нарочно ехать сюда и вот четвертый день стоим здесь в ожидании ост-индского парохода, на котором Бутаков отправится с депешами в Россию. Прилагаемые письма потрудитесь поаккуратнее отдать по адресу; тут два: одно к Майковым, а другое к Кореневу.

Что Вам сказать про Сингапур? Кто побывает здесь, тому, кажется, незачем ездить ни в Китай, ни на Индийский полуостров. Это образчик и того, и другого. Здесь до 60 т. жителей; из них европейцев всего 400 человек (теперь с нами 800, если только мы в самом деле европейцы), индийцев и малайцев тысяч 20, в этом же числе и персы, и армяне,

* *В подлиннике ошибочно:* 10.

а остальные 40 тысяч — китайцы. Колония понемногу падает, на ее счет возвысилась в последнее время другая — в Гон-Конге. Два больших рынка не могут ужиться в таком близком соседстве.

Остров Сингапур верст 50 в длину, да около 20 в ширину, весь в непроходимых лесах и болотах, чего-чего тут нет, всего более тигров, которые съедают круглым числом по человеку в день, выключая другого скота. Фруктов неимоверное множество, и между прочим бездна таких, за которые не знаешь, как и приняться. Роскошнейший из плодов, нет сомнения, *мангу*: вкус сливочного мороженого соединяется в нем с легкой кислотой, и все это приправлено каплей какого-то наркотического вещества. Есть его нельзя, то есть жевать нечего, надо сосать. Ананасы нипочем — и какие: я пробовал захватить в руки четыре штуки и не мог. Матросы таскают их вязанками, как дрова, но вот уже второй день их никто не ест — надоели. Сотня их продается по 1 р. 35 к. сер⟨ебром⟩ на наши деньги. Третьего дня я с раннего утра забрался на берег и с двумя, тремя товарищами исходил и изъездил город и окрестности. Ново, оригинально, поразительно. Это множество столкнувшихся здесь на маленьком клочке азиатских племен, не похожие на наши костюмы, обычаи, деятельность, наконец, великолепнейшие кокосовые, мускатные леса, исполинские банианы, ползучие лианы, цветы — не отвел бы глаз, но боже мой! Какое свинство рядом с этой роскошью. По китайским кварталам нет возможности пройти и проехать. Со мной однажды сделалась та болезнь на берегу, с которой я не знаком на море. Я был на китайской джонке: никакой художник не придумал бы удачнее карикатуры на все то, что называется кораблем; был в китайских лавках, потом в заведениях, где курят опиум,— и везде одно и то же, особенно в лавках: запах поту, ананасов, чесноку, мускуса и разной дряни, развешанной на солнце, которую они едят,— все это составляет убийственный букет. Китайцы все делают на улице, как и везде на Востоке, у лавок: бреют головы, чешут косы, моются, едят, спят и т. п. ... Все это заставляет умолкнуть самое живое любопытство. Смесь этих запахов помешала мне зайти в китайский театр.

Индийцы — другое дело: в них не видать грязи, хотя здесь все ходят голые, обвязывая только около поясницы род юбки. Впрочем, индийцы побогаче ходят все в белом кисейном костюме и одни (магометане) в чалмах, другие в каких-то шапочках. У всех серьги в ушах, у многих в носу, на лбу какие-то бляхи, некоторые красят лоб и грудь белой краской и почти все ногти красной. Кольца и на руках и на ногах. В походке и движениях индийцев много гордой сладострастной и ленивой грации. Пройдись у нас кто-нибудь так — расхохочешься, а к ним идет. Только жарко и душно: я вчера заболел лихорадкой или чем-то вроде этого. Воздух так растворен разными наркотическими запахами от растений, что язвит непривычное тело, несмотря на сквозные галереи, полумрак в домах и исполинские вееры в комнатах. Съедешь на один день на берег, а воротишься, точно измученный тяжелой работой. Посмотрите же, что делает индиец: здесь ездят в каретках, в которые садятся по двое и могут сесть даже четверо, на малорослых лошадях, меньше вятских; индиец посадит вас в такую карету, а сам, взяв за узду лошадь, бежит рядом с ней, да ведь

как бежит! Ни один извозчик не повезет вас так. Он скачет так грациозно — за доллар целый день. Сначала мне было неловко, стыдно ездить так, но через полчаса я привык, и они тоже: на лице ни малейшей усталости — стройны, гибки, бегут, улыбаясь и обнаруживая ряд удивительных зубов.

Я бы был совершенно доволен своим путешествием, если б мог располагать временем по своему произволу. Но в качку работать нельзя, в зной тоже, не знаешь, куда уйти: внизу душно, вверху печет, и ночь едва-едва прохлаждает воздух; когда же выдается свободная минута, принимаешься за казенное дело; и так отстал.

Был в китайских лавках, хотел купить кое-каких вещиц — более для Вас, милые барыни,— но не советуют, не довезешь. Все эти японские и китайские изделия: коробочки, веера и т. п. до того хрупки и нежны, что едва позволяют дотрогиваться до себя, а на море и железо, и медь, и кожа, не говоря уже о платье и белье, все как будто горит огнем — плесневеет и зеленеет.

Дня через три положено идти отсюда в Гон-Конг, а так в китайские порты, в Шанг-Хай и другие. Оттуда на маленькие острова Бонин-Сима, к югу от Японии, а потом в тридесятое государство. Но вот мы слышим, что того и гляди последует разрыв с Англиею за Турцию: нам так свободно разгуливать нельзя, бог ведает, куда мы тогда денемся.

Дайте руку, Элликонида Александровна: здоровы ли Вы, где Вы? Чувствуете ли Вы, что я ежедневно благодарю Вас за массивный графин, которым Вы снабдили меня? В нем теперь постоянно наливается кокосовое молоко. Как море ни портит вещи, но я в благодарность за графин, ермолку и прочие знаки Вашей внимательности обязуюсь привезти заморский гостинец, лишь бы только не попасться нам в плен к японцам или англичанам.

До свидания же — когда? Ах поскорее бы. Путешествие утомило меня, особенно жара. Поклонитесь, Екатерина Александровна, нашим общим друзьям, поговорите обо мне с детьми: я думаю, и Николенька забыл меня.

Будьте здоровы и не забудьте много Вас любящего

И. Гончарова

После обеда. Сейчас опять с берега: осматривал китайские и индийские кумирни, был за городом, видел китайскую процессию вроде поминок по мертвым. Когда Вам случится видеть индийские пагоды и китайские храмы на театрах, то представьте, что действительность далеко выше: резная работа, позолота, постройка — изумительны странностью восточной фантазии и исполнением тоже, делающим честь терпению китайцев. Но я разнемогаюсь больше и больше: где изловчился простудиться — в полутора градусах от экватора, в таком месте, где нет ни осени, ни весны, зимы, разумеется, еще меньше. Одно вечное лето и еще с каким снисхождением: большею частию с сереньким небом и почти с ежедневным дождем.

Но зато почти никогда ни малейшего ветра, вечный штиль, никакого движения в воздухе.

Прощайте; каково после ананасов приниматься за sel de guindre?*

15

Е. А. и М. А. Языковым

Гон-Конг.
19 июня/1 ** июля 1853.

Милые мои Михайло Александрович и Екатерина Александровна!

Вы, надеюсь, получили мои два письма с Бутаковым? Вот Вам еще: это, может быть, последний голос, после которого замолчу надолго.

Мы более недели стоим у китайских берегов и любуемся видом китайских джонок, полунагих бритых китайцев и наслаждаемся запахом кокосового масла и сандального дерева.

Наши поехали в Кантон, я — нет: помешала проклятая лихорадка, приобретенная мной в Сингапуре. Вообще я несчастнейший человек в жарком климате. Лишь только вошли в Зондский пролив, я потерял аппетит, желудок ослабел, пищеварение испортилось, и по телу пошла сыпь, так что я завтра принимаюсь за декокт.[1] Все это помешало мне отправиться вместе с нашими в Небесную Империю, хотя мне следовало ехать, кроме любопытства, и по обязанности. Но как нынешней зимой предполагается пойти во все пять открытые для европейцев китайские порта,[2] то я и не печалюсь нынешней своей неудачей. Даже если б пришлось совсем не быть там, то не заплачу. Ведь я принадлежу к числу тех путешественников, для которых путешествие — некоторая пытка. Чуть надо изменить привычку, обычный ход дня, увидеть новое лицо, принудить себя поговорить и т. п., а особенно лазить самому в чемодан за бельем и за платьем, так хоть и не надо ничего.

Вот хоть бы здесь в Гон-Конге я уж другой день не съезжаю на берег, потому что многие из здешних жителей перебывали на фрегате, перезнакомились с нами и начали звать к себе. После того нельзя ступить шагу на берегу, всё знакомые — тоска! Раз немец-купец тащил к себе обедать, там английские офицеры повели в свою *мессу* (офицерские помещения в казармах), а то как одолели попы: доминиканцы, францисканцы, французы и португальцы, все миссионеры.

Здесь всего от 500 до 600 европейцев и 30 000 китайцев. Весь Гон-Конг — не что иное, как скала. Город расположен по берегу, но, распространяясь все дальше и дальше, просится в гору. Какие дома у англичан: дворцы! А что за клуб! Рейд очень оживлен: китайские джонки, одна

* Здесь: тяжкий труд (*франц.*),— *Ред.*
** *В подлиннике ошибочно:* 2.

другой уродливее и страннее, и перевозные ялики, управляемые женщинами, снуют взад и вперед по реке. Несмотря что много места и на берегу, целые семейства китайцев живут на лодках. Все это движется около нас, по вечерам и европейцы ездят вокруг фрегата послушать нашей музыки.

Но я от европейцев удаляюсь, особенно англичан, которых одних почти только и видел с самого отъезда. Я люблю шататься по китайскому городу, который здесь почище и получше, нежели в Сингапуре. Я с большим любопытством смотрю на сметливые и лукавые китайские физиономии, гляжу, что они делают, что и как едят и пьют, а иногда в лавке у них напьюсь и чайку. Но все эти прогулки обходятся недешево: как ни пойдешь, то и накупишь долларов на десять каких-нибудь безделок, то резной веер из кости или сандала, то картинок на рисовой бумаге, ящик какой-нибудь и т. п. А пожалуй, придется бросить все, да еще года в два путешествия все отсыреет и пропадет на море.

Скажите, пожалуйста, Бутакову, Мих〈айло〉 Алекс〈андрович〉, что по выходе из Сингапура нас задержали штили и мы миль 350 плыли дней десять, а остальные тысячу миль, как только задул попутный муссон, сделали в четверо суток. Еще расспросите его, пожалуйста, и напишите мне в Гон-Конг по тому адресу, который я Вам дал, сколько ему стал весь путь от Сингапура до Петербурга. Очень немудрено, что по возвращении из Яп〈онии〉 сюда кого-нибудь из наших опять пошлют с донесением, так необходимо знать, во что обойдется дорога. Если мое здоровье окажется решительно негодным для жаркого климата, то, может быть, и я попрошусь тогда домой.

Что за женщины здесь, Екатерина Александровна: не причесывайтесь, пожалуйста, никогда á la Chinoise — некрасиво. Женщины ходят в широких шароварах и длинной широкой же кофте. А как ходят: некоторых двое ведут за руки, а те, которые идут одни, переступают так, как будто на ногах у них, кроме мозолей, ничего нет: так малы и уродливы ноги. Нет никакой надежды влюбиться здесь. Вот что скажут наши, воротясь из Кантона?

Воров здесь несть числа, несмотря на то, что полисмены, которые в Англии своею палочкою имеют только право дотрогиваться до нарушителя порядка, бьют ею здесь китайцев без милосердия, по голым ногам.

Прощайте, поцелуйте за меня детей. Коле скажите, что меня еще не съели ни африканские, ни азиатские люди. Вот что будет между дикими? Дайте ручку, Элликонида Александровна, и пожелайте мне здоровья да скорого возвращения домой, хотя я не знаю, где у меня это *домой*? Может быть, отчасти и на Стеклянном заводе: только не забыли ли меня там?

Кланяйтесь всем вообще и каждому в особенности. Майковым я писал из Сингапура, теперь пока не напишу, так и скажите. А если кому напишу сегодня или завтра, так Вы передайте письмо.

16

Ю. Д. Ефремовой

20 июня/2 июля ⟨1853 г.⟩ Гон-Конг.

Здравствуйте, вечно юный и прекрасный друг мой
Юния Дмитриевна..

Я простился письмом из Сингапура с Майковыми и Языковыми перед отъездом в дальние и неведомые страны: не могу уехать, не простясь и с Вами надолго, а кто знает, может быть, и навсегда. Но полно вдаваться в чувствительность, скажите лучше, вспоминаете ли Вы иногда обо мне, видите ли мысленно меня, то бросаемого качкой из угла в угол каюты, то изнемогающего от лучей здешнего язвительного солнца, или гуляющего среди пальм и потом лениво отдыхающего на мраморной веранде гонконгского клуба, или сингапурской отели, где по вечерам над головами бегают ящерицы, а около балкона летают мыши и прочая т. п. дрянь? Может ли Ваше северное воображение не представить себе все эти картины, сцены, китайские, индийские и малайские, которые я вижу не во сне и не воображением? Что касается до меня, я часто слежу за Вами, невидимо являюсь среди Вас, то с апатией, то с какой-нибудь резкой трескучей шуткой или просто раздражительной бранью, со всем тем, что так великодушно сносили и прощали мне вы все, мои друзья, в уважение бог знает каких заслуг. Я теперь в странном моральном состоянии, не знаю, чего пожелать: продолжать путешествовать,— но порыв мой, старая мечта — удовлетворились; любознательности у меня нет; я никогда не хотел *знать*, я хотел только *видеть* и поверить картины своего воображения, кое-что стереть, кое-что прибавить; желать вернуться — зачем? Опять к прежнему, и дай бог, если еще к прежнему, а если того не найдешь? Это прошло, исчезло, то изменилось. Так и не знаешь, что с собой делать. В ожидании чего-нибудь лучшего, пока пью декокт и плачу дань климату — лихорадкой.

Через три дня мы уходим отсюда, но из тропиков долго еще не выберемся. Может быть, в августе придем и к цели своего путешествия. Но все это еще не ведет к обратному пути: ранее двух лет не видать России тем из нас, кому суждено ее видеть.

Я пока шляюсь все по китайскому городу да наблюдаю китайцев, чтоб было что порассказать о них, если вернусь. Между прочим, покупаю разных безделушек, то веер, то резной портфель для визитных карточек и т. п. дряни. Есть хорошенькие ящики для чаю и рукоделья, но крупных вещей некуда брать, особенно таскать еще с собой два года.

Что Александр Павлович, что Феня?[1] Обнимите за меня обоих. Алек⟨сандра⟩ Павл⟨овича⟩, я полагаю, не удастся.

Хотя здешние китаянки и не хороши, но Вы здесь не были бы красави-

цей и между ними: хоть велики и скоро ходите: они вовсе не ходят.

Ну, до свиданья, друг мой.

Весь Ваш И. Гончаров

Майковым поклон — писать не буду: недавно писал, и то, я думаю, они бранят меня.

17

И. И. Льховскому

Двадцать которое-то июля ⟨—20 августа⟩ 1853.
Острова Бонин-Сима, Порт Ллойда.
27°с. ш. 142° в. д. ⟨— Нагасаки⟩

Здравствуйте, милый друг Льховский.

Сегодня мы только *ввалились*, сказал бы я, если б странствовал посуху, *но служа во флоте*, должен сказать — бросили якорь в вышепоказанном порте. Вот дней пять как я лежу больной: у меня нарыв, отчасти с рожей — на ноге, все от жаров. Сам я здоров, но нога не дает ступить шагу, и я лежу. От этого я довольно равнодушно вслушивался в суматоху, какою обыкновенно сопровождается вход в порт и бросанье якоря; все в это время наверху, я один только не мог видеть хотя необитаемого, незанимательного, но все-таки нового берега. Зато как я был награжден за свою болезнь, скуку и за томительный переход от Гон-Конга сюда: через час после нашего прихода мне вдруг привезли до десяти писем от всех вас, от Яз⟨ыковых⟩, Кор⟨енева⟩ и еще кое от кого. Добрый Мих⟨аил⟩ Парфенович[1] (которого да благословит аллах до десятого колена) запечатал их в один пакет, отчего все письма более или менее слиплись, как слипаются в моем сердце самые авторы этих писем. Письма привезены одним из судов, составляющих нашу эскадру (я служу теперь в эскадре). Но что Вам до всего этого за дело? Не стану Вам говорить ничего о нашем плавании, о новых, виденных мною местах, ни об урагане, или *тай-фунс* (тифоне), который мы испытали при выходе из Китайского моря в Тихий океан,— все это отчасти прочтете Вы в общем письме к Майковым.[2] А теперь обращусь скорее к Вашему письму, которое так мило, так тепло и так напоминает мне Вас, что оно разбудило мою дремоту, лень, хандру, и я спешу отвечать Вам сегодня же, хотя Вы, может быть, получите это письмо разве через многие месяцы, если только получите. Мне хочется отвечать поскорее и потому, что спустя некоторое время я, может быть, охладею к некоторым из Ваших замечаний, которые в эту минуту шевелят меня. Начну сначала. Мне очень жаль, что Вы так решительно отказались говорить *о себе*, сообщать мне кое-что из того заветного мира, который так тщательно закрывали почти от всех, а вот теперь

и от меня. Я говорю про Ваше сердце: до сих пор Вы держали дверь туда назаперти, вдруг отперли на минуту, да как будто и раскаялись. Конечно, *этому виноват* я сам. Вас пугает разврат или холод моего анализа: но Вы предполагаете его во мне иногда больше, нежели его есть; есть вещи, до того нежные, чистые и вместе искренние, что я умиляюсь перед ними, как пушкинский дьявол, увидавший у райского порога ангела.[3] Или, может быть, я неуклюже и грубо озадачил и оскорбил Вашу стыдливую, поэтическую печаль поспешным желанием утолить ее хоть немного. Зная тонкость Вашего анализа, я хотел только это, вышибенное внезапным ударом из рук Ваших оружие — поднять и дать Вам опять в руки, надеясь, что Вы, владея им мастерски, справитесь посредством его со всяким горем. Но я, надеясь на Ваш ум, позабыл в Вас юношу (знаю, что слово смешно, да, право, не умею заменить). Я думал, что Вы разложите Ваше горе так же тонко, как все, что попадалось Вам в руки, что ум Ваш и прошедшее будут Вам руководителями, но я забыл, что у Вас нет прошедшего и что в этом отношении я ставил себя на Ваше место. Грубая ошибка! Потом — отчего Вы так ухватились за слово *высшее*? Суля Вам высшее впереди, я никак не думал потешить Вас ни большим жалованьем, ни чином, ни даже каким-нибудь не столько материальным благом. Нет, я не хотел сворачивать Вас с того же пути, то есть с пути любви и наслаждений. Я там Вам и сулил это высшее (ужели я так глупо выразился?) или это лучшее? Тот же плод, но созрелый и прекрасный. Как Вы ни будьте тонки, умны и образованны со всех сторон, но в ранней молодости, какова Ваша, Вы никогда не в состоянии будете дать любви, или, вернее, любовь не в силах явиться к Вам со всею глубиною своей, со всею определенною строгостью и достоинством своих качеств, с их разнообразием,— словом, с своею всеобъемлемостию, за недостатком многих начал к ее восприятию, чтоб заманить к себе эти начала, надо немножко побольше жизни, побольше опытности. Иногда я с удовольствием, а иногда с каким-то страхом прислушивался, как тонко, а вместе как мучительно Вы бились посредством одного анализа разложить какой-нибудь случай, для которого требовалось не более трехдневного опыта, то есть просто надо было пережить его, а Вы тратили бездну гипотез, даже целых теорий, одна другой остроумнее, и ошибались иногда. Положим, даже я уверен, что Ваша любовь была и та любовь, которую я разумею, но я также уверен, что, низведенная с поэтической точки воззрения любовника в будничную жизнь мужа и хозяина, она вскоре отодвинулась бы на второй план и уступила бы место — чему? А тому, что должно предшествовать ей,— *опыту* Хотелось бы испытать других обольщений (смотря у кого что) — одному опьянелости самолюбия, голоса славы, другому чина и т. п. Положим, после придешь к сознанию, что то́ все хуже, да часто поздно возвращаться к тому единственному чистому источнику увядшего и неоцененного счастья. Не лучше ли же оставить все то назади и знать, встретя *высшее*, что лучше, глубже впереди нет ничего? Вот то разумное и высшее благо, которое я осмелился сулить Вам, зная Ваш тонкий ум и давно чуя глубоко симпатичное сердце, которое, может быть, ценю больше еще, нежели ум. Сердце Ваше теперь облилось кровью, но ни на волос не

лишилось жизненной силы и способности вновь сосредоточить в себе всю роскошь тех ощущений, на которых созидалось здание Вашего потерянного счастья.

Вы спрашиваете меня, а знал ли я сам это *высшее*? Нетути. Так как же, мол... и т. д.? Как же могу сулить его другому? Во-первых, я сулю не другому, а Вам, во-вторых, Вам потому, что сознаю в Вас множество преимуществ пред собою, в-третьих, я не знал этого *лучшего*, но чувствовал в себе способность к нему, теперь уже утраченную, или если не так, то сильно чуял эту способность в других. Преимущества Ваши состоят, между прочим, и в том, что Вы сознательно воспитывались и сохранили в себе, по прекрасной ли своей аристократической натуре или по обстоятельствам, первоначальную чистоту, этот аромат души и сердца, а я, если б Вы знали, сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий, ума, сердечных движений души проходил я от пелен и чего стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и материальной грязи и заблуждений, чтоб выкарабкаться и на ту стезю, на которой Вы видели меня, все еще грубого, нечистого, неуклюжего и все вздыхающего по том светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится мне и за которым, чувствую, буду всегда гоняться так же бесплодно, как гоняется за человеком — его тень. Я должен был с неимоверными трудами создавать в себе сам собственными руками то, что в других сажает природа или окружающие: у меня не было даже естественных материалов, из которых я мог бы построить что-нибудь, так они испорчены были недостатком раннего, заботливого воспитания.

Вот еще: Вы говорите, что я не так отжил, как кажусь, что роскошная природа, океаны, все чудеса, которые я вижу, не воскресили бы меня, а я, слышь, обновляюсь, глядя на Мадеру и т. п. Говоря об этом способе воскресения, Вы тут же и изрекли мне смертный приговор. Представьте, что ведь это меня не занимает и не обновляет. Мадера на минуту разбудила меня: мы пробыли на ней всего часов двадцать и пришли туда прямо из незанимательного Портсмута, после постоянного холода, жестокой, непрерывной в течение семи дней бури — и вдруг там тепло, тихо, южно, да еще и хорошо пахнет — и это было первое место, не похожее на все то, что я прежде видел и знал, я точно немного ожил, но вот уже с тех пор до сей минуты и не оживал больше, а между тем я видел и мыс Д⟨оброй⟩ Надежды, и Яву, Сингапур, уголок Китая Гон-Конг, но видел холодно. Это, между прочим, и оттого, что я болен. Чувствую, что меня ничто и никогда не расшевелит: геморрой ли это, печень ли, не знаю, знаю только, что по целым неделям мне что-то внутри меня не дает ни думать, ни дышать свободно, ни — словом — жить. Я не сомневаюсь, что во мне гнездится и физический недуг, который много прибавляет сонливости, лени и даже иногда боли. Я совсем не хочу оправдываться в минутном проявлении жизни, напротив, я с отчаянием заглядываю в будущее и вижу, что странствовать мне еще долго, если не умру на дороге, а мне уже о сю пору скучно. Увидав, например, крутые живописные скалы на Мадере, потом в Африке, побывав в пальмовых рощах на о⟨стровах⟩ Зеленого Мыса и поглядев с некоторым вниманием и любопытством, я потом уже холодно

смотрел на все утесы и на все пальмовые леса и в других местах, потому что соскучился и одряхлел, а внешняя природа может двигать только здоровый, живой дух. Если же в письме моем и выразилось будто живое впечатление, так это потому, что я, при некоторой настроенности, вследствие весьма известного Вам воззрения, забочусь более о зрителях и слушателях, нежели о себе: как же я постоянно буду звучать им в уши на тот тон, который раздается в моей душе. Притом я писал второпях, как почти все свои письма, и желал, разумеется, высказать как можно больше, спешил и высказывал неполно, не отчетливо одни резкие черты — вот отчего письма мои и нелепы. О себе все говорить не позволено, а другое не так интересует меня (то есть что вижу), чтобы могло выйти интересно в письме. Впрочем, я уже писал к Майковым из Сингапура о том, отчего письма мои выходят и глупы и неполны: я все надеюсь вести записки и даже написал главу о плавании от Англии до Мадеры и о Сингапуре, а писать письма так же подробно и отчетливо, как записки, некогда, одно вредит другому. Служба и здесь занимает почти все мое время, а чего не отнимает она, отнимают жары, качка.

К Вам я писал из Гон-Конга через Языкова. Там же и к Юнии Дмитриевне — особо, а к Майковым из Сингапура. Дошли ли мои письма?

До свидания. Не заключаю письма, которое, верно, пролежит в моем бюро несколько месяцев. На Бонин-Сима почты нет: там живет человек тридцать беглых матрос; в Японии, куда мы идем на днях, тоже нет. Впрочем, если оттуда пойдет какое-нибудь судно в место, где есть почта, с ним и пошлю. Ну вот мы касаемся наконец предела нашего плавания — что-то будет?

20 августа
Нагасаки, Япония.

А ничего пока не было. *Взяли да и приехали* — пока только; хорошо, если б *приехали да взяли.* Впрочем, с японцев взятки гладки. Вот они, с своими косичками, бритые, в юбках без штанов, в мягких туфлях, приседающие, похожие на женщин до того, что до некоторой степени возбуждают фальшивую похоть к себе — а что в них толку? они так и высматривают, чтоб мы убирались, откуда приехали. Мы сидим пока на фрегате: губернатор не смеет без спросу ни пустить нас на берег, ни принять, ни сам приехать, ни дать нам есть — обо всем послал спросить в столицу. Узнав, что у нас есть письмо к властям, он спросил: зачем же мы одно письмо привезли на четырех судах? О бестия! Что-то будет! До свиданья, милый друг.

Прочитывая письмо, я уж и совещусь послать: мне уж хочется совсем другое сказать, но посылаю как есть, потому что послезавтра захочется сказать опять третье, а там четвертое. Не взыщите: так всю жизнь было со мной. Ах, Льховский: если я умру, растолкуйте, пожалуйста, другим, что я был за явление. Вы только и можете это сделать. Вам я завещаю мысль свою о *художнике*:[4] если не сумеете изобразить, расскажите — и будет прекрасно.

18
А. Н. и А. И. Майковым

29 июля/10 августа / ⟨21 августа/2 сентября⟩ 1853. Bonin Islands. / Бонин-Сима. ⟨Нагасаки⟩

24° с.ш. / 142° в.д.

Милый друг Аполлон и
не менее милая Анна Ивановна.

Глядя на эти *беспрерывные* дроби, Вы, может быть, подумаете, что я предался демону спекуляции и расчета: нет, я к такой гнусности не способен вообще, а в отношении к друзьям в особенности. А если из Вас и вышла дробь, так это сделалось само собою: у меня был один друг в лице Аполлона, теперь стали два, но эти два составляют что-то одно — арифметическая формула тут подвернулась кстати.

Письма от Вас одних, писанные хотя ровно за 5 м⟨еся⟩цев, я прочитал, испытывая то отрадное, успокоительное чувство тихой радости, которое лежит на самом дне дружбы. Это чувство не дается легко: оно выработано чуть не 20-ю годами чистой, искренней и благородной связи. Хоть я не был в том положении, в котором Вы описываете себя, Аполлон, но понимаю его хорошо и еще лучше ему сочувствую. Не удивляюсь я отнюдь, Анна Ивановна, что Вы почтили ласковыми строками старого друга Вашего мужа и всего *его*, и теперь Вашего семейства: я скорее удивился бы — или, лучше сказать, опечалился бы, не получив привета от Вас или по крайней мере поклона. Но Вы сделали лучше — Вы так мило и дружески уведомили меня сами о том, что я знал давно и о чем шепнул мне при отъезде и Аполлон, что сразу подарили мне право на Вашу дружбу — Ich danke Ihnen recht sehr, *— восклицаю я по обыкновению, принимаю его,— а о том, как я храню такие подарки,— скажет Вам Аполлон.

Вы мне желаете такого же счастья, каким теперь наслаждаетесь сами: вот уж и смеетесь над новым другом! Нет, лучше лет через пяток позовите меня нянчить детей у себя, или, когда разобьет меня паралич, чего, кажется, мне не миновать, если только море не поглотит меня, так приготовьте кресла пошире, из которых бы я мог *безмолвно* (если пришибет и язык) любоваться Вашей идиллией, как называет Аполлон домашний быт. Я здесь слыву стариком — и в самом деле старик, да еще больной и брюзгливый, так что не мог остановить на себе внимания ни китаянок, ни индиянок, несмотря на то, что от тех и других пахнет кокосовым маслом, сандальным деревом и т. п. дрянью, а от меня только табаком.

Вы еще пишете, что, занимая мое место за столом, Вы чувствуете, что можете занять его только на стуле, а не в умах и т. п. А вот и неправда: на стуле-то именно Вы и не можете занять моего места: Вас не достанет. Впрочем я, даже до Ваших нынешних прав и значения в семействе Майковых, всегда готов бы был, со всевозможным для меня проворством, уступить Вам свое место за обедом и смиренно идти на тот конец, куда сажали

* Большое Вам спасибо (*нем.*).— *Ред.*

обыкновенно Кошкарева и кадет,[1] если бы только Аполлон эгоистически и упрямо не увлекал Вас сесть подле себя.

Вы пишете, что жена Мих⟨аила⟩ Парф⟨еновича⟩ жалуется, что он угрюм, а жалуется ли она, что он *сух*?

Напрасно, Аполлон, Вы исчисляли все возможные носы и губы, в которых могли застать меня Ваши письма. Они нашли меня в таком пустом месте, что я до сих пор хорошенько не знаю, как оно называется. Группа островов называется Бонин-Сима, что по-японски значит *безлюдные*, а сам остров, по которому я вчера гулял, не знаю, как называется, знаю только, что заливец, где мы стоим, носит имя *порта Ллойда*. Здесь живет человек 30, частию беглых матросов, частию бывших пиратов; они сеют овощи, плоды, разводят свиней, кур и продают все это заходящим сюда китобоям. Те иногда платят за это деньги, а иногда берут даром — насильно. Года четыре тому назад вот эдакой приехал да и взял у одного поселенца всех кур, а у другого свинью и жену, да и уехал в Америку. Из женщин мы видели только одну кривую *каначку*, то есть сандвичанку, лет 50.

Вы удивляетесь, что *меня именно* пойдут искать Ваши письма по морям, меня, который не мог ночевать в другом доме, который не мог одеться, раздеться и т. п. без помощи Филиппа и т. п. А разве теперь не то же, разве, Вы думаете, я изменился? Разве я люблю ночевать где-нибудь, кроме своей каюты? Ведь я в ней — у себя. Корабль ежедневно меняет место, скажете Вы, да мне что за дело? Разве планета наша и не меняет ежеминутно места и никогда на старое не приходит, а разве я заботился об этом, лежа у себя на Литейной?[2] И здесь точно так же, как, бывало, собираться на дачу, я последний соберусь на берег, да зато и оттуда последний; необитаемых мест терпеть не могу, а люблю больше возделанные берега, да еще с набережной, хорошо снабженные и удобные отели и учтивых диких, которые бы умели мыть белье и говорить по-французски или по-английски.

Без Филиппа — я: а Фаддеев-то на что? Точно так же я без него не раздеваюсь и тому подобного не делаю... Он меня купает, только черпает воду не у водовоза из бочки, а прямо из Тихого океана, причем я иногда любуюсь в сумерки, как по моим приятным формам каскадом льются огненные искры и падают опять в море — это медузы. Вот сегодня и завтра Фаддеев отправлен на берег в речку мыть мое белье (разумеется, не голландское) за неимением здесь прачки; вот вчера он повернулся, как медведь, в каюте, повалил все с полки и был выдран за то мною за власы и ударен по голове; вот утром он несет мне в постель чай, приходит будить и после обеда, так же натягивает на меня чулки и часам к 10 мы с ним готовы. Чем же он не Филипп, а я не я? — скажите на милость? да еще делает то, чего не сделает ни за что Филипп: в бурю, например, когда я не могу сойти с места под опасением слететь с ног и удариться головой о пушку или носом о мачту, он, балансируя, приносит мой обед и держит у самого рта тарелку с супом, не проливая ни капельки — где же Филиппу?

Много бы, много бы написал Вам — но пропасть дела, остальное прочтите в письме к родителям. Спасибо Вам за разные вести и о приятелях,

и о литературе, благодарю и за прекрасное изображение тихой среды, которую Вы как мудрец-художник избрали себе: и прозаические строки Вашего письма отзываются Горацием, а стихи дышат простотой древнего мира и глубиной современной жизни. Пишите, когда только будет случай, и Вы, Анна Ивановна, хоть по слову.

Весь и всюду Ваш
И. Гончаров

21 августа: я в Японии — жарко и на департамент похоже, потому что много работы.

У нас 40 человек матросов солнцем обожгло спины, в том числе и Фаддееву: они все, вымазанные маслом, сидят в простынях и воют.

19

Э. А. Белавиной

30 июля ⟨11 августа⟩/20 августа ⟨1 сентября 1853⟩
Бонин-Сима.

Элликонидия Александровна.

Не знаю, как и что сказать Вам приятное за Ваше милое письмо, Элликонида Александровна, чем бы обрадовать Вас? Вы еще сомневаетесь, что мне приятно получить весть о Вас непосредственно от Вас самих: да это Вы так только говорите, а сами конечно уверены в дружбе моей, основанной как на Ваших милых качествах, так и на благодарности за Вашу приязнь, которой я, по совести сказать, не очень стою. Больной, скучающий, иногда злой и дикий, я должен был надоедать Вам, а Вы говорите, что будто бы не скучали при мне: уж это так только, женская доброта заставляет Вас умалчивать правду. Я немного испугался, прочтя у Вас в письме, что Вы запрещаете мне благодарить Вас за Ваше внимание: а я только что поблагодарил опять из Сингапура или из Гон-Конга! Ну, не сердитесь: это в последний раз, больше не стану.

Вот лучше скажите-ка мне: не подметили ли Вы за другими, что они скучают, получая так часто мои длинные и неразборчивые письма? Не бранят ли меня, не смеются ли? Мне очень жаль, что Михайло Александрович возит от Майковых мои письма домой к себе: прочитал бы там, да и дело с концом, потом бы пересказал о содержании Вам и жене. А то они попадутся в руки чужих мне людей, совершенно равнодушных ко мне, которые будут искать в них *литературы*, а не найдя, станут привязываться, осуждать или смеяться. Если такое письмо попадется Вам в руки, прячьте его, пожалуйста, подальше *от других* и возвращайте потом Майковым: Вы этим меня обяжете. Письма же — чисто дружеские и могут быть только интересны для тех, к кому писаны.

Меня немало печалит в моем путешествии то, что некоторые знакомые и незнакомые ожидают, как я слышал, каких-то записок или писем что ли о моих странствиях. Вот этого я боялся пуще всего: ни писем, ни записок никаких нет и не будет, и на ум мне об этом нейдет, потому что я и нездо-

ров, и некогда мне, а тут ждут. Я часто каюсь, что поехал: другой, помоложе и посвежее, оправдал бы эти ожидания, а у меня нет ни малейшей охоты, ни времени делиться с другими, да еще печатно, тем, что я вижу. Я смотрю на все просто и сам про себя испытываю и переживаю все, что со мной происходит, как будто беспечно прогуливаюсь по неизмеримому полю или саду. Замечаю и записываю только то, чего не смею не записывать, то есть за что получаю жалованье. Да и то делаю не совсем аккуратно, особенно с тех пор, как мы вступили в полосу жаров: я почти постоянно болен. Отсутствие моциона и жар сильно вредят мне. Я растолстел, то есть расплылся от недостатка движения, и чувствую, что это прибавило мне нездоровья и тяжести. Подчас мне даже кажется, что я не выдержу, как, например, в то время, когда нас прихватил тифон, или ураган, и когда мы две ночи не спали и почти не ели. Я от бессонницы и жестокой качки так ослабел, что едва через неделю поправился. Ни в каюте, ни на палубе — места не было: бросает из угла в угол как мячик и иногда обо что-нибудь ударит головой или плечом. Сколько шишек оказалось потом на голове, сколько ушиб⟨л⟩енных рук, ног, пятен на глазах или на ребрах! А одного несчастного матроса так ударило железным гаком (крюком) по голове, что пробило череп до мозга, и он умер.[1]

Я вовремя, в разгаре бури, ушел в капитанскую каюту на мягкий диван и не выходил целый день, а любовался морем из окна, хотя, впрочем, безобразнее его. быть ничего не могло. Небо слилось с морем в серую массу; вода крутилась как кипяток; ничего не видать, кроме пены, водяных облаков и брызг, ничего не слыхать, кроме всезаглушающего воя ветра. Нет: больше бы не нужно эдаких картин! Бог с ними! То ли дело сидеть в низеньком, спрятавшемся в зелени домике, смотреть на сверкающую вдали Неву да тихо беседовать с Вами... Когда-то бог приведет?

Пока не прощаюсь с Вами: письмо еще долго не пойдет. Я пишу заранее, чтобы потом не суетиться, когда надо посылать.

Надеюсь, что этого письма неразборчивым не назовете.

Не забудьте усердно поклониться от меня К. А. Горбунову.[2] А что делает А. Попов?[3] Успевает ли?

20 августа. Я в Японии: на рейде, между зеленых, прекрасных холмов, островков, заливов — но мне жарко и скучно — прощайте.

20

Е. А. и М. А. Языковым

Острова *Бонин-Сима,* в Тихом океане,
в 27° с. ш. и 142° в. д.
31 июля/12* августа 1853.

Михайло Ал⟨ександрович⟩ и Екатерина Ал⟨ександровна⟩.

Дней пять тому назад мы, после скучного и утомительного перехода из Гон-Конга, бросили здесь якорь. Я был болен от жаров и лежал в постели,

* *В подлиннике ошибочно:* 11.

но полученные здесь от всех Вас письма так оживили меня, что я тотчас поправился. Все пишут: кроме Вас еще Майковы, Ефремовы, Коренев, Льховский. Это настоящий подарок. Получаете ли Вы мои письма? Я даю знать о себе из всех мест, куда ни заходили; писал к Вам с мыса Доброй Надежды, из Сингапура и Гон-Конга; к некоторым письмам были приложены письма в Симбирск и в Москву: получили ли Вы их и отослали ли по принадлежности? Раздали ли также письма и Ефремовым и Льховскому, вложенные в Ваши,— это из Гон-Конга. Из Сингапура я писал с Бутаковым, адресуя на Ваше имя целый чемодан писем ко всем петербургским друзьям и, помнится, тоже в Симбирск. Он обещал доставить их лично в Контору[1] или на Завод.

С величайшим вниманием и участием прочитал я новости о благоприятной перемене в Конторе Вашей и о благоприятной же не-перемене в службе. Вы всегда желали вступить в товарищество с П. В. Зиновьевым[2] (которому весьма напомните обо мне глубоким поклоном) — дай бог Вам всякого успеха! Найти Вас опять на заводе — мое заветное желание, и, я надеюсь, это состоится, если только не утону, или если мне не распорят брюхо в Японии, где этот обычай весьма употребителен.[3]

Спасибо Ивану Сергеевичу[4] и кн. Одоевскому за память: я часто и любовно вспоминаю о них. Князю скажите, что хотя я не член Общества п⟨осещения⟩ бедных, но осмелился взять на себя горячо защиту этого милого для меня во многих отношениях общества[5] — против нашего адмирала, который, не знаю кем, жестоко против него предубежден. Сколько красноречия, жарких *спичей* стоило это мне: но он, хотя и замолчит, а все недоверчиво качает головой. Дело все в женских школах, в которых будто бы происходит много беспорядков и злоупотреблений.

Поклонитесь В. П. Боткину и скажите, что один из присланных сюда к нам с депешами курьеров, молодой Бодиско, [6] племянник нашего посланника в Америке, [7] — большой поклонник «Писем об Испании» и особенно их автора.

С этим Бодиско (который, вероятно, повезет наши письма назад) мы часто вспоминаем Василья Петровича.

Вы, милый друг Екатерина Александровна, поскупились написать мне: отчего бы такая немилость? Да еще кончили двумя неутешительными словами: «Я что-то другой день нездорова». Это просто варварство! и о детях ни слова — Вы знаете, как я дружен с ними. А сами приглашаете писать побольше и почаще. Знаете что: мне что-то не верится, чтобы строка на поле Вашего письма была написана рукой моего милого и своенравного друга, то есть А⟨вдотьи⟩ А⟨лександровны⟩. Этот друг обещает писать больше, только в другой раз: нельзя ли Вам способствовать, чтобы это исполнилось, да и самим написать? Пишите, не дожидаясь никаких курьеров, а просто через Азиатский департамент М⟨инистерства⟩ и⟨ностранных⟩ д⟨ел⟩; оттуда часто посылают депеши, с ними пришлют и письма. А почта ходит всего дней 40, через Англию, Ост-Индию, в Китай, куда мы будем посылать из Японии и за депешами и за провизией.

Острова Бонин-Сима, где мы теперь стоим на якоре, почти необитаемы: *почти* потому, что здесь живет человек 30 бывших пиратов и беглых матро-

сов. Вчера я целый день шатался на берегу: он весь состоит из гор и скал, покрытых сплошным, местами непроходимым лесом пальм и превосходного красного дерева да разных кустарников. Жар нестерпимый: все мы терпим от него. У кого сыпь, вереда, у кого желудочная лихорадка. У меня все. Кто неосторожно побудет час на солнце, у того от солнечного удара покраснеет шея, плечи и с обожженного места кожа падает кусками. С нетерпением ждем, когда выйдем из полосы жаров.

Из Гон-Конга сюда мы шли, вместо каких-нибудь семи, осьми дней, целый месяц: всё противные ветры штили держали нас на одном месте, а 8-го и 9-го июля, при выходе из Китайского моря в Тихий океан, на нас грянул ураган. К счастию, он задел нас концом, а то беда бы с нашим старым судном. Он изорвал в клочки три паруса и так расшатал грот-мачту, что она чуть не упала: бог знает, спаслись ли бы мы тогда! Теперь поправляемся, чтобы идти дальше: приближается осень, здесь бурно в это время.

Я был нездоров: у меня кроме сыпи сделалась рожа на ноге, но теперь ничего. Дела у меня много: все, разумеется, по службе; о своем и подумать некогда. Качка, жары, болезни и служба губят много времени, так что мне придется, по возвращении, рассказывать о виденном изустно à qui voudra entendre.* Не кончаю письмо и не прощаюсь, оно пойдет, может быть, месяца через два, тогда припишу о том, что случится нового.

Кланяйтесь всем.

21

М. А. Языкову

20 августа/1** сентября 1853.
Нагасаки, в Японии.

Помните ли Вы, Михайло Александрович, один из удачнейших Ваших каламбуров? Кто-то сказал однажды, что японцы готовят кушанья на касторовом масле, Вы заметили, что оттого они *жепонцы*: я помню это, помню даже, как Авдотья Андр⟨еевна⟩ улыбнулась при этом — и вот эти жепонцы теперь мелькают у меня в глазах. В самом деле *жепонцы*: темя бреют, а сзади оставляют косичку, прикрепляя ее к маковке, ходят в кофтах и юбках, без штанов и подштанников, бледные, желтоватые лица, выбритые донельзя и гладкие, как у менял; улыбаются и приседают: что-то чрезвычайно странное — не то мужчины, не то женщины; хотя носят по две шпаги, но трусливы и раболепны, учтивы и мягки; пальца, однако ж, класть в рот нельзя: лукавы и злопамятны. Они встретили нас задолго до рейда и с тех пор ежедневно посещают с расспросами, пьют наливку, слушают музыку, шепчутся и низко, низко кланяются. Сначала я не спускал с них глаз, рад был, что служба обязывает меня присутствовать при

---

* каждому встречному и поперечному *(франц.)*,— *Ред.*

** *В подлиннике ошибочно:* 2.

свиданиях с нагасакскими чиновниками, а потом и надоело. Одно и то же, одно и то же: вздорные, мелочные вопросы, предосторожности, подозрения, просьбы не ездить на берег и т. п. Впрочем, они очень внимательны и предусмотрительны к нам благодаря нашим 60 орудиям (на 4-х судах).

Чернь ходит голая, едва прикрываясь какой-то повязкой... Жепонцы! Все интересное впереди: вероятно, нас примут и в Нагасаки, а может быть, и дальше. Я одно из необходимых лиц по своей должности, следовательно, и мне нужно всюду ехать, куда понадобится. Но вот беда: у меня нет мундира: один фрак, и тот изношенный, и шпаги нет! — а у них и с одной-то шпагой ходят солдаты, без шпаг купцы и чернь, а высшее сословие носят по две. Мне советуют при черном фраке прицепить саблю, и может быть, это надо будет сделать не шутя.

О, зачем Вас нет здесь, мой милый друг: что это была бы за комедия! Я часто вспоминаю Вас, когда эти буквально — санкюлоты[1] соберутся на совещание к нам: вот бы и Вы тут сидели, но когда они начнут сморкаться в бумажки, которых для этого носят множество, или когда поданное им варенье, пирожки и даже хлеб (к чаю) завертывают тоже в бумажки и берут домой, тогда я и рад, что нет тут ни Вас, ни одного из приятелей,— один я кое-как удерживаюсь от смеха, а с кем-нибудь беда! Впрочем, есть что-то такое в них, что мне и нравится. Из разных мелочных наблюдений, из того, что мне удалось схватить в их манерах, я вижу много залогов чего-то весьма умного, логичного, справедливого и тонкого. Они мягки, не дики, не грубы и скорее других поддались бы нашему европейскому развитию, а если до сих пор не поддаются, так это только вследствие политической системы своего правительства; у самих же так и выглядывает из глаз желание познакомиться, подружиться, узнать то, понять другое. С каким любопытством они осматривают все, как внимательно вслушиваются в объяснения нового; они так и говорят глазами: мы на все готовы, да не смеем.

И в самом деле за ними строго смотрят: куда один пойдет, за ним побегут двое, трое. В этом взаимном невольном шпионстве есть что-то иезуитское, печальное.

Поклонитесь всем от меня, не забудьте Коршей, Никитенку, Павла Васильевича, Ростовских и Ваших братьев.

До свидания. Всегда и всюду

Ваш И. Гончаров

22

Е. П. и Н. А. Майковым

Нагасаки, 15/27 сентября 1853 г.

Хотя я и недавно писал к вам, милые друзья, но меня так тешит мысль, что строки эти дойдут до Вас, что я за неимением времени *выдумываю*

минуты писать к вам. Вот выдумал писать в два часа ночи, несмотря на то, что с рассветом начнут *мыть палубу* с песком и камнями, что делается над самой головой, потом станут *брам-реи* и *брам-стеньги* подымать, потом артиллерийское учение делать, следовательно, поспать вдоволь не дадут. Я даже не уверен, что письмо дойдет до Вас при нынешних обстоятельствах в Европе и в Китае. Вчера нам привезли известие, что Шанхай (самый важный из 5-ти открытых европейцам портов) взят инсургентами, что в России война, англичане против нас: это должно затруднить наши сношения с Петербургом. Дай бог, чтобы слухи о войне[1] не оправдались: это расстроило бы наши планы во многом. Мы только что завязали деятельные сношения с японцами, а тут надо все бросить и уйти, хотя на время, а может быть и совсем, не кончив дел. Впрочем, мы как-нибудь да получим Ваши письма, пишите только через Министерство иностранных дел, а оттуда пришлют тем или другим путем, с депешами или с курьерами.

Я писал к Вам в начале августа, и если англичане не перехватывают на своих конторах адресованных в Россию депеш, то около половины ноября Вы должны получить через Михаила Парфеныча кучку вот эдаких же безобразных листков от меня. Тогда же писал и к Языковым, к Кореневу и Льховскому. А это письмо привезет к Вам, может быть, наш курьер m-r Бодиско (дядя его наш посланник в Америке): это очень милый, любезный, умный и, как видите, mesdames, красивый молодой человек (трепещите, юные мужья, а Вы, Ю⟨нинь⟩ка, берегитесь и не измените мне в 26-й раз). Он русский по рождению и подданству, а воспитан в Америке, в Соединенных Штатах: les extremités se touchent, * как видите: я разумею здесь extremites du monde ** — только, а не другие, потому что этот милый американец спит и видит служить России из всей своей мочи. Он обещал свято передать лично мои письма: надеюсь, что Вы, друг мой Евг⟨ения⟩ Петровна, посадите его на самое лучшее место в своей гостиной, то есть между Катериной Павловной и Анной Ивановной, сами, с обычным Вам достоинством, в чепце непременно с палевыми лентами (этот цвет Вам так к лицу), с лорнеткой сядете на диван, имея подле себя с правой стороны Ю⟨ниньку⟩, а с левой Бурьку; Марью Алексеевну, M-lle Sainte, Настасью Степановну[2] и Кошкарева в тот день из дома удалить, буде они тут случатся. Тогда Вы ему на французском или английском наречии (Вы ведь учились, я помню), потому что он по-русски не силен, и скажете, что Вам заблагорассудится. Он Вам расскажет про мое житье-бытье. А Вы, Николай Аполлонович, покажите ему Ваши картины, особенно женские головки, а если можно, так и не одни головки. Он Вам, пожалуй, порасскажет о цветных женщинах. Если спросите его невзначай о сандвичанках, то он наверное покраснеет.

Что Вам сказать о себе — нечего, разве что я чудовищно потолстел, что иногда бываю так болен своею печенью, что теряю надежду даже воротиться. Недавно такая боль около печени и сердца и вместе такая тоска одолела, что я опасался слечь. К счастию явилось развлечение,

---

* крайности сходятся (*франц.*),— *Ред.*
** края света (*франц.*),— *Ред.*

и легче стало. Развлечение это состояло в свидании адмирала с нагасакским и губернатором. Я бы описал Вам всю эту церемонию, да долго будет и не сумею. Скажу только, что вся эта сцена будто вырвана из какого-нибудь фантастического балета или оперы. Я думал, что я сижу в партере Большого театра или вижу одну из тех картин, которых действительности не веришь.

Вы там в Европе решаете теперь вопрос, *быть* или *не быть*,[3] а мы спорим о том, *сидеть* или *не сидеть*, то есть стоя ли принять бумагу от нас или сидя, и опять задумались над вопросом, как сидя: на полу, или на стульях, и наконец решили, что на том и на другом: мы — на стульях, японцы — на полу. Теперь представьте себе, вдруг семь наших военных шлюпок двинулись при звуках музыки, при кликах ура, по рейду, между тем как суда наши с верху до низу покрылись разноцветными флагами всех наций и матросы стояли по реям. Мы, в строгом порядке, все с музыкой ехали верст пять мимо великолепнейших, обработанных берегов, цветущих холмов, бухт, деревень. Берег усыпан был любопыт⟨ны⟩м, тощим, голым, жалким на взгляд народом и еще более жалкими солдатами; на берегу мы отказались сесть в носилки, в которые трудно было влезть всякому из нас, а мне просто нельзя, и пошли пешком.

Впереди шел церемониальным маршем наш караул, потом музыканты, потом офицеры наши, потом адмирал и вместе с ним его небольшая свита, в которой был и я. Все были в парадных мундирах, а я в единственном и, стало быть, в самом парадном фраке. Мы шли по узенькой улице, поднялись на какую-то лестницу. Колонна солдат змеилась, идя по лестнице, музыка далеко разносилась по берегу, по сторонам стояли какие-то чучелы с ружьями (в чехлах) и сонно смотрели на нас. Я сам думал, не во сне ли я? Нет: явно слышу крик офицера по-русски: *левое плечо вперед — марш*! Потом стройный топот шагов, вижу блеск штыков, и вот колонна скрылась под какие-то ворота, музыка заиграла глухо. И вдруг стихла. Мы пришли. Смотрю — открытая галерея: это вход в губернаторский дом. Мы вошли по ступенькам и шли по ряду комнат до приемной залы. Все комнаты унизаны были по стенам сидевшими в несколько рядов на полу японскими офицерами и чиновниками в парадных платьях. Представьте себе до ста человек, которые бы побились об заклад о том, кто сделает глупее рожу: вот эдакие сидели тут. Может быть, многим из них не нужно было очень и стараться об этом. Они, по восточной манере, не глядели ни на кого и ни на что, но все видели. В приемной зале по сторонам сидело тоже человек 30, по-своему, на пятках, с такими же сонными и бессмысленными лицами.

Желание и обычай их казаться при старшем как можно глупее доходит до самоотвержения. Тут я увидел много знакомых, даже приятелей. Некоторые, очень бойкие на фрегате, тут совершенно присмирели. Я хотел некоторым из них кивнуть: куда! и не глядят, не смеют. Вот, например, друг мой *Баба-Городзаймон,* который, лишь завидит меня на фрегате, кричит: Гончаров! жмет руку и чокается рюмкой, тут и не замечает ничего. Он не глядит ни направо, ни налево, ни прямо, как это они умеют делать, не знаю,— он даже похудел немного от усилия показаться как можно по-

чтительнее. Вышел губернатор с важным и весьма не глупым выражением на лице — это, я думаю оттого, что он был тут старший. При другом, старшем себя, он бы тоже поглупел немало. Стали разговаривать через переводчиков, которые (двое) лежали, касаясь лбом пола, и по-голландски передавали нам слова губернатора. Тут я чуть было не нарушил всей важности этой сцены. Надо знать, что пол у японцев покрыт тонкими и мягкими циновками и так как у них нет ни столов, ни стульев и они едят на полу, то адмирал, чтобы оказать им внимание, придумал, чтоб мы все и он сам надели сверх сапог белые, нарочно для это⟨го⟩ сшитые башмаки вроде бальных дамских. Вот эти-то проклятые башмаки погубили было всю торжественность случая. Едва я вошел в залу, как потерял один башмак, а шага через два и другой. Однако же я поднял их и, держась за соседа, начал втаскивать на ноги. Все это совершено мною не без оханья и кряхтенья, да и то не помогло. Через пять минут я поглядел случайно на свои ноги — они были без башмаков. Нечего делать, я взял эту обувь и положил в шляпу, да так и остался. Отдав губернатору бумагу, адмирал хотел было продолжать разговор, но губернатор попросил нас *отдохнуть* — бог весть от какой усталости — и ушел в одну сторону, а нас повели в другую. Там в *отдыхальне* стояли привезенные нами же кресло и четыре стула. На кресле сел адмирал, а на стульях старшие из свиты, в том числе и я. Слуги принесли каждому по чашке чая, которую поставили у ног. Чай не дурен, вроде желтого, разумеется без сахару. Потом принесли прибор с табаком, трубками, величиной с половину наперстка, и с пепельницей с горячими угольями. С тем же кряхтеньем нагибался я достать табак. Наконец, принесли каждому по хорошенькому деревянному ящику с конфектами, из которых многие очень хороши. Между прочим, недурна и засахаренная морковь. Эти ящики, из которых мы взяли по одной или по две конфекты, передали нашим слугам, чтобы отвезти за нами на фрегат. Вот он стоит у меня на бюро; конфекты я все съел, а в ящик кладу сигары. Потом пошли опять к губернатору и, поговорив немного, простились. Проходя через отдыхальню, увидели большой стол, вероятно занятый у голландцев, с паштетами, рыбами, лафитом, мадерой и т. п. Желудки наши взыграли было при этом виде, но адмирал на усильные просьбы японцев отвечал, что он не иначе примет угощение, как с тем, чтобы в нем участвовал и губернатор, а он не участвовал, и угощение было отвергнуто, как несообразное с нашими обычаями. Он очень хорошо сделал: всякий вздор, всякая мелочь принимается японцами к сведению и по ним они составляют себе идею о людях. Так мы и уехали. Хотите знать, как зовут губернатора? *Овосава Бунгоно-ками-сама.* Ками — это намек на небесное происхождение лица, а сама — земной почетный титул.

Что Вам сказать еще? Американцы пристают к японцам с другой стороны. Те вломились прямо в Иедо[4] и, оставив письмо, ушли, сказав, что придут за ответом через полгода.[5] Если правда, что в Европе война, то нам придется тоже уходить на время отсюда или в Ситху или в Калифорнию, иначе англичане, пожалуй, возьмут нас живьем. А у нас поговаривают, что живьем не отдадутся,— и если нужно, то будут биться, слышь,

до последней капли крови. Да и здесь стоять тоже не находка: иногда дуют такие ветры, что, живучи на берегу, ничего подобного и представить себе нельзя. Теперь, пока погода прекрасная; я купаюсь еще на открытом воздухе,

Если же в Европе мир и если дела с японцами затянутся в долгий ящик, то адмирал располагает отправиться на зиму в Манилу. Говорят, это земной рай, та же Испания с мантильями, сеньорами (до которых мне никакого нет дела: так я растолстел), с плодами и цветами, с монахами и хорошими сигарами и вдобавок еще Испания тропическая.

Вы, может быть, спросите меня, весело, скучно ли мне? Ни то, ни другое — отвечу я: в некоторых местах состояние в этом отношении делается безразличным и оттого я терпеливо ожидаю, когда кончится моя *шалость*, то есть путешествие (см. 1-ое мое письмо из Лондона).

Но Вы здоровы ли, веселы ли, что делали летом? Как располагаете провести зиму? Счастливцы: летом гуляли под березами, ели белые грибы и ботвинью да наслаждались северными ночами, а зимой — несчастные — будете слушать оперу. Мое лето длится восемь месяцев, началось оно 18 января с острова Мадеры и вот не может кончиться. Как бы охотно отдал я тропические ночи, ананасы, все чудеса и приключения — за час, проведенный у Вас на диване или на балконе и за другой на Стеклянном заводе. Но полно: Tu l'as voulu, George Dandin, tu l'as bien voulu!*[6] — слышится мне беспрестанно, когда я захандрю, и хандра проходит. До свиданья, обнимаю Вас всех, преимущественно друзей женского пола — Вы, Капитан, и Вы, Льховский, обойдетесь и без объятий: зачем Вас не было у нагасакского губернатора. Описание мое, конечно, было бы полнее. Вы, Старик, поклонитесь А. П. Кореневу и скажите, что я бы написал ему, но пишу бумаги и потому оставляю до октября. Получил ли он мое письмо через Заблоцкого? Вам, Аполлон и Анна Ивановна, кланяюсь низко и прошу поклониться всем — не забудьте Катерину Федор⟨овну⟩, Яновского, Дудышкина, Краевского, Никитенку etc.

23

А. Н. Майкову

20 сент⟨ября⟩ / 2 окт⟨ября⟩
Нагасаки

Любезный друг Аполлон,

два слова еще в дополнение к моему большому письму к Вам: у меня готово огромное письмо к А. С. Норову, заключающее коротенькое обозрение нашего путешествия. Если я успею переписать его до отъезда нашего транспорта в Китай, то пошлю сегодня же, а если нет, принужден

* Ты сам этого хоте. Жорж Данден, ты этого очень хотел! (*франц.*)— *Ред.*

буду оставить до 30 октября. Вы стороной узнайте, получено ли оно, и если нет, то скажите ему, что оно будет, лишь бы только на почте не затерялось,— все это затем, чтоб он не подумал, что я забыл хоть чем-нибудь поблагодарить его за его рекомендацию, то есть, говоря попросту, чтоб он не счел меня свиньей.[1]

Да еще особенно усердно поклонитесь от меня Ал⟨ександру⟩ Вас⟨ильевичу⟩ Никитенке и Казимире Казимировне:[2] скажите, чтоб они не сердились, что не пишу особо — средств нет — и депеши, и бумаги к японцам (по-русски) — всё я пишу. Я надеюсь, что Абрам Сер⟨геевич⟩ покажет им как соседям мое письмо и они узнают, что́ и где я.

Наконец, познайте из моего примера, как опасно *шалить*. Из одной шалости проистекают другие, горшие: я говорю про свое путешествие. Плавать по морям — уже есть сама по себе свирепая шалость, а из нее проистекает вот что: говорят, что в России война с англичанами.[3] Ну, оно бы нам и ничего здесь, жалко только, да вот беда: у англичан в Китае есть военные корабли, и командиры этих кораблей знают, что мы здесь, и конечно сочтут священнейшею обязанностию захватить русскую эскадру, да еще с адмиралом (и, пожалуй, с его секретарем). А у нас хотят сделать вот что: если не одолеем, то провести к пороховой камере какие-то *стапины* и, зажегши их, броситься всем в море и плыть к берегу. Не говоря уже о том, как неудобно на собственных мышцах плыть с версту до берега, причем конечно надо принимать в расчет, что взорванные на воздух мачты, пушки и паруса не преминут ударить вас по спине или по прочему, и выйти-то на берег надо — прямо в объятия японцев. Сойти же предварительно на берег во флоте не принято, да и самому не хочется, совестно. Да и самое меньшее из зол не совсем хорошо, то есть если англичане захватят в плен. Они дают на содержание в плену всего по 6 пенсов, то есть по двугривенному в день, а иногда предлагают погрести или покопать землю. Познайте же, говорю я, мой друг, как опасно шалить и как из одной шалости проистекают другие, горшие.

Прощайте, обнимаю Вас и кланяюсь низко как только могу Вам, Анна Ивановна.

24

А. С. Норову

⟨20 сентября (2 октября) 1853. Нагасаки⟩

Ваше превосходительство,

в письме моем из Англии я мог только выразить Вашему превосходительству признательность за благосклонное доставление мне случая видеть свет. Теперь, объехав полсвета и достигнув крайних пределов и цели нашего странствия, я, кроме повторения выражений благодарности, считаю себя вправе сообщить Вам, хотя вкратце, беглый перечень нашего плавания. Осмелюсь напомнить, что Вы изволили дать мне это право, изъявив

желание получить известие о замечательных событиях экспедиции. Пользуюсь этим и довожу до сведения Вашего только то, что сочту не недостойным Вашего внимания.

Оставив Портсмут 6-го января нынешнего года, мы 18-го того же месяца были уже на Мадере, а 25-го на островах Зеленого Мыса, куда заглянули мимоходом, всего на сутки. Долее всего мы пробыли на мысе Доброй Надежды, именно с лишком месяц. Мы пришли туда 10-го марта и дней через пять, вшестером, сделали, по распоряжению е⟨го⟩ п⟨ревосходительства⟩ Ефима Васильевича, интересную поездку внутрь колонии, застали там развязку кафрской войны, видели толпами возвращавшихся по домам негров, кафров и готтентотов, посетили находящегося в плену у англичан одного из кафрских предводителей, по имени Сейоло, осматривали тюрьмы черных, фермы, виноградники, минеральные ключи, взбирались на горы, словом, путешествовали вполне. Но всего занимательнее было, по крайней мере для меня, видеть победу англичан над природой, невежеством, зверями, людьми всех цветов и, между прочим, над голландцами. Оценив, что сделали англичане в короткое время своего господства над Капской колонией и что могли бы сделать и не сделали в двухсотлетнее пребывание там голландцы, не пожалеешь о последних. Девиз их, кажется, везде, куда они ни пробрались: делать мало для себя и ничего для других; девиз англичан, напротив: большую часть для себя, а все вместе для других. Я не англоман, но не могу, иногда даже нехотя, не отдать им справедливости. Теперь на Капе кипит торговля, мануфактурная деятельность, по портам ходят пароходы, сквозь утесы проведены превосходные дороги, над пропастями висят великолепные мосты. Это не фразы: я сам проехал по прекрасному, едва конченному шоссе, идущему по горам, в две тысячи фут над уровнем моря, сквозь такие ущелья, куда разве могли только заходить дикие козы, и там смотрел в пропасти с мостов, построенных на каменных основаниях в 70 фут высоты. Поговаривают, что скоро проложат железные дороги в места, где до сих пор водились только львы да тигры.

12-го апреля мы поплыли далее и на другой день выдержали сильный шторм, напомнивший прежнее название, которое носил мыс Доброй Надежды, то есть мыса Бурь. Зато дальнейшее плавание по Индийскому океану было необыкновенно быстро и счастливо. Мы пробежали это пространство, составляющее около 6000 миль, в 31 день, чего ни одному судну до сих пор, как известно из журналов путешествий, не удавалось.

Со входа в Зондский пролив, то есть с 14-го мая, беспощадные экваториальные жары жгли нас до самой Японии. Куда мы ни заходили, везде попадали в самый разгар лета. Ни красота Явы и Суматры и группы мелких цветущих островов, мимо которых мы шли, ни чудеса южного неба и тропических ночей не выкупали беспокойств и изнеможения, производимого зноем. Особенно досталось нам в Сингапуре и потом в Гонконге. Когда мы были в последнем, солнце стояло в зените, и лучи его падали на нас, как каленые стрелы. Все эти места лежат в пределах солнечного движения: Ява в 6 °, Сингапур в 11,2 ° и Гонконг в 21 ° сев. широты. На Яву, и именно в малайское селение Анжер, зашли мы, можно сказать,

на минуту и провели чудесный вечер в пальмовом лесу, среди сильной тропической растительности.

Сингапур и Гонконг, где мы пробыли около двух недель,— два новые и живые создания силы воли и энергии англичан. Везде памятники неимоверных усилий, гигантских работ, везде цивилизация, торговля и комфорт, особенно торговля. Как на мысе Д⟨оброй⟩ Н⟨адежды⟩ голландцы и цветные племена отказались почти от своих природных языков в пользу английского, так и в Сингапуре 40 т⟨ыс.⟩ китайцев и 20 т⟨ыс.⟩ индийцев и малайцев говорят по-английски, торгуют английскими товарами, покупают и продают на английскую монету. Сингапур, этот маленький клочок, на котором отразились Индия, Китай и Малакка, представляет яркое смешение племен, нравов и одежд всех трех стран; всего понемногу, но все живо, оригинально, пестро, все блещет жарким колоритом тропического пояса, и над всем этим носится холодное, покойное и разумное могущество английского духа. Англичан всего четыреста человек там, но они господа, а 60 т⟨ыс.⟩ их покорнейшие слуги, в ожидании чести сделаться братьями по Христу и по человечеству. В Гонконге то же самое; он весь состоит из одной улицы, вырубленной в скале, но какая улица, какие дворцы на ней! Это клочок Regentstreet [1] или, пожалуй, нашего Невского проспекта. Надо вспомнить, что эта улица, дворцы и миллионеры существуют там только с 1842 года. [2] В этих двух пунктах сосредоточилась, как Вашему превосходительству известно, вся торговля крайнего Востока. Отсюда же англичане зорко наблюдают за китайцами, прикрывая вывеской торговли свои пушки, направленные прямо в ворота Небесной империи, в Кантон, отстоящий оттуда на 30 миль.

9-го июля, при выходе из Китайского моря в Тихий океан, после продолжительных и несносных штилей при 25° жара в тени, мы встретили одну из тех бурь, которые известны в здешних морях под именем тифонов. К счастию, она задела нас стороной, и мы боролись с ней около 30 часов. Что за сила, что за порывы ветра! Небо и море будто слились в одну темную, непроницаемую массу; волн не было видно, это было какое-то кипение и клокотание воды в пене, в водяных облаках и вихрях. Качка была ужасная; фрегат ложился иногда почти совсем на бок и тек немилосердно. У нас вырвало два паруса и наконец зашаталась грот-мачта. Но вслед за тем ураган стал стихать, или, лучше сказать, мы вышли из его круга, и мачту кое-как удержали на своем месте.[3]

Судно наше, старое, отслужившее уже положенный срок, оказалось еще в Атлантическом океане неблагонадежным к продолжительному плаванию. О возвращении на нем домой и думать нельзя. Это обстоятельство заставило адмирала послать из Сингапура курьера в Петербург, с просьбою о высылке к весне будущего года нового судна. Бог знает как распорядится высшее начальство. Нам пишут из Шанхая, что у нас готовятся к войне; в таком случае начальству не до нас.

Перед приходом в Японию зашли мы на Бонин-Сима (японское название, по-русски: безлюдные острова), где немного поправились и принарядились, то есть достали из трюма лишние пушки и расставили по местам, отпустили сабли, тесаки, вычистили ружья, выкрасили самый фрегат и,

после пятидневного плавания, похожего больше на прогулку, нежели на путешествие (так оно было покойно, так хорошо сияло небо, так попутен был ветер), явились 10-го августа в Нагасаки, перед изумленными и озадаченными японцами. К ним никогда не приходило более двух судов зараз, а тут вдруг пришло четыре! Я забыл сказать, что на островах Бонин-Сима ожидал нас пришедший из Камчатки 20-ти пушечный корвет и из Ситхи транспорт Американской компании да с нами пришла купленная в Англии паровая шкуна. Это заставило японцев сделать нам наивный вопрос: зачем, имея только одно письмо к ним, приехали мы на четырех судах?

До сих пор японцы впускали военные судна на свой рейд с большими предосторожностями, отбирали у них оружие и порох, тесно окружали их лодками и не позволяли судам сообщаться между собой на шлюпках. Нам они и не подумали предложить ничего подобного. Первые японцы, приехавшие к нам, едва смели приблизиться к судам и только после настоятельного приглашения решились, со страхом и трепетом, взойти на фрегат. Говорят, начальник американской эскадры, Перри, озадачил их еще больше нашего, прибыв прямо в Иедо и разом нарушив все их правила и предостережения. Он передал японским властям письмо от президента Штатов и холодно объявил, что через полгода воротится за ответом, а сам ушел. Видно по всему, что, в случае упрямства японцев вступить с ним в сношения, он не задумается от дипломатических переговоров перейти к другим, более действенным средствам.

Наш адмирал действует по другой системе: твердо, настойчиво, но кротко, с соблюдением тех из японских обычаев, которые не противоречат достоинству его звания. Как бы то ни было, но тот и другой способ оказывают свое действие. Японцы в большом недоумении. Давно ли с сарказмом отвечали они на письмо голландского короля, который увещевал их сблизиться с европейцами, приводя в пример наказанное упорство китайцев, допускавших европейцев только в один порт? Японцы отвечали (через два года после получения письма), что китайцы не испытали бы горькой участи, если б не пускали никого и в один порт. И вдруг на них самих надвинулась нежданная туча; пришла и их очередь решать вопрос: пускать или не пускать иноплеменных в Японию, а это все равно для них, что вопрос быть или не быть. Они не могут не спрашивать себя с тоской, что им делать, если пришельцы вдруг, без спроса, преступят все их обычаи, запрещения, пойдут на берег, вступят в непосредственные сношения с жителями и т. п.? Они с большей тоской должны ответить себе, что делать нечего. Мы видим, что они строят новые батареи, работают, шумят, к чему-то готовятся, ездят к нам, считают пушки, меряют фрегат, смотрят на наше ружейное ученье, парусные маневры и не знают, как им вести себя. Иногда они просят не делать того, другого, ссылаются на свои обычаи и законы; но за всеми этими притязаниями кроется страх, что мы не послушаемся и вдруг разоблачим их от тысячелетней неприступной гордости. Противопоставить им этому непослушанию нечего. Глядя на свои пушки без станков и на свою единственную мортиру и сравнив их с нашими 24-х фунтовыми и полуторапудовыми бомбовыми ору-

диями, они поняли, что их артиллерия и батареи пародия наших. Повязка падает с глаз, и они не могут не сознаться сами себе, что их так хитро придуманная система держаться взаперти от остального мира, в которую они твердо веровали, падает в одно мгновение, как затея школьников при появлении учителя. Им остается только сквозь слезы сознаться, что они виноваты, как дети, и как детям отдаться под руководство старших. Кто будут эти старшие? С одной стороны явилась толпа отважных и предприимчивых американцев, которые нелегко отказываются от надежды на успех, имея в виду выгоды, с другой стучится в заветные ворота горсть русских матросов. Русские штыки, пока еще мирные и безобидные, уже блеснули на японском берегу при церемониальном посещении нами, с караулом и музыкою, нагасакского губернатора; там уже раздался наш народный гимн и команда русского офицера: «Марш вперед!». Avis au Japon!*

Если не нам, то американцам, если не американцам, то следующим за нами, кому бы ни было, все равно, но скоро суждено внести в Японию другую веру, жизнь, новые силы, огонь и свет, вместо темного невежества и слепого, ребяческого понятия о мире. Судя по кратковременному наблюдению над этим народом, я заключаю, что с ним легче будет ладить европейцам, нежели со всяким другим. В народе собственно незаметно нерасположения к иностранцам, Японцы вполовину готовы к сближению с ними: они во многом уже цивилизованы, общежительны, охотно увлекаются новизной и вовсе не прочь подружиться с нами, если бы над ними не тяготела запретительная система правительства, преследующая, как контрабанду, каждый обмененный с чужестранцами взгляд, всякое сказанное слово. Они тайком, под великим страхом, сказывали нам, что им хотелось бы побывать где-нибудь, хоть недалеко, видеть других людей, знать и уметь все, что мы знаем и умеем.

Говорят еще про них, что они коварны, злопамятны, даже кровожадны. Трудно поверить этому, глядя на мягкое, добродушное выражение их лиц, на их приседания, земные поклоны, слушая их наивные вопросы. Если иностранцам следует остерегаться против чего-нибудь вроде Варфоломеевской ночи, то конечно не со стороны здешнего народа, а только системы, им управляющей.

Адмирал передал губернатору письмо от нашего правительства в торжественном свидании, 9-го сентября, в высокоторжественный день рождения е⟨го⟩ и⟨мператорского⟩ в⟨ысочества⟩ великого князя Константина Николаевича. [4] Теперь ожидаем ответа, ехать ли нам в Ieddo или нет. Если не поедем и переговоры отложены будут до весны, то е⟨го⟩ п⟨ревосходительство⟩ Ефим Васильевич располагает провести зиму с судами в Маниле, в таком, однако ж, только случае, когда в России нет войны, о которой мы получили известия из Шанхая. Если же справедливо, что Россия объявила войну Англии, тогда мы пойдем в Ситху, или С.-Франциско, чтобы англичане, зная о нашем нынешнем местопребывании, не нагрянули, в превосходных силах, из Китая сюда.

* К сведению Японии! (*франц.*).— *Ред.*

Боясь утомить внимание Вашего превосходительства, кончаю это бесконечное письмо и прошу покорнейше извинить беглости и торопливости моего пера: завтра наш транспорт идет в Шанхай, и мы спешим отправить с ним наши бумаги и письма. Адмирал, одобрив мое намерение напомнить Вам о себе, хотел писать к Вашему превосходительству сам и просил, если угодно будет Вам почтить его ответом, адресовать последний к нему, на фрегат «Палладу», в Гонконг, всего лучше через Азиатский Департамент М⟨инистерства⟩ и⟨ностранных⟩ д⟨ел⟩, если только мир в Европе не нарушен, в противном случае в С.-Франциско. Я сочту себя счастливым, если в ответе к адмиралу Вы изволите упомянуть, что желание мое известить о себе и о делах наших не показалось Вам нескромным и докучливым. Прибавлю еще, что адмирал постоянно удостоивает меня благосклонного внимания и ценит мои труды, может быть, выше их достоинства. Свидетельствуя Вашему превосходительству и милостивой государыне супруге Вашей чувства глубокого уважения и преданности, честь имею быть Вашим покорнейшим слугой.

И. Гончаров

20 сентября (2 октября) 1853 г.
Нагасакский рейд, фрегат «Паллада».

25

Е. А. и М. А. Языковым

15/27 декабря 1853. Saddle-Islands.

Я сегодня получил Ваше письмо, любезный друг Михайло Александрович. Нечего и говорить, какое утешение доставило оно мне: все равно, как будто я просидел у Вас целый вечер и пришел домой покойный и довольный — до следующего вечера. Вы удивляетесь, что я не получил Ваших писем: когда я писал к Вам с Бутаковым, то у меня писем Ваших еще не было — я их получил ровно через два месяца после того, то есть отъезда Бутакова; их привезли нам курьеры Кроун и Бодиско. Министерство иностр⟨анных⟩ дел так распоряжается, как я вижу теперь, что собирает все письма и, скупясь отправлять их с депешами по почте, ждет случая послать с курьером. Но теперь курьера долго не предвидится, и потому я долго не дождусь и писем от Вас, если только Вы давали их туда. Вы отлично распорядились, что послали с почтой через Гон-Конг: сделайте и опять так же. Несмотря на то, что мы долго не посылали в Гон-Конг и письмо Ваше много времени лежало там, я получил его через три месяца, а это очень сносный срок для такого расстояния.

О кончине Андрея Андреевича Колзакова Вы, должно быть, или вовсе не писали ко мне, или письмо Ваше в самом деле затеряно. О переменах в конторе я получил от Вас известие в письме, присланном с курьерами, но там ничего об этом нет. Во всяком случае, я как нельзя более благодарен и за письмо и за все, что сообщаете нового о знакомых лицах, о

Петербурге etc. От Майковых я после писем, привезенных в августе курьерами, других не получал: они или ленятся, или пишут через Министерство и⟨ностранных⟩ д⟨ел⟩, а то держат у себя. Если бы они поленились (что непростительно грешно), то написала бы Ю. Д. Ефремова или Льховский. Научите и их написать по почте: я могу получить письмо через два, много три месяца. Адрес тот же, то есть China Gong-Kong M-rs Williams, Anthon et C°. To be forwarded on board of the russian frigate Pallas. A внизу по-русски: такому-то.

В заглавии письма Вы видите Saddle-Islands: это группа маленьких островов, у которых стоит наша эскадра на якоре. Дальше, в реке Янгтсекиянг, суда по мелководью идти не могут, то есть фрегат. Мы здесь уж другой месяц стоим: я дней пять как воротился из Шанхая, куда вместе с адмиралом и другими спутниками нашими ездил и по службе и так — посмотреть Китай. Шанхай — это один из пяти открытых для европейцев портов. Ходя по улицам европейского квартала, среди великолепных домов, или сидя в роскошной гостиной какого-нибудь консула, не веришь, что это — недавно еще неприступный азиатский берег; по улицам кипит толпа народа, с бритыми головами, с косами, но все почти говорят по-английски. С зарей по улицам начинают таскать тюки товаров, всё к англичанам или американцам. Чай таскают ящиками, оставляя по следам дорожку этой травки, которую у нас подобрали бы не одни нищие,— как у нас иногда оставляют от кулей дорожки муки. Китайские дома, рынки, базары, лавки, говор, крик, харчевни — все это так напоминает мне — знаете что? — наш простонародный русский быт! Обо всем этом я иногда, на досуге, набрасываю заметки в тетрадь; не зная, пригодится ли на что-нибудь. Но досуга немного: я никак не воображал, чтобы так много было дела. А если и дела нет, то под парусами в море не много распишешься: холодно, как теперь, например, или качает так, что столы и шкапы срываются с мест.

Спасибо Вам за то, что Вы заботитесь о присылке журналов к нам. Этого я даже всего и не приму на свой счет, потому что мне самому едва ли придется прочесть все. Но это будет благодеяние для всей нашей эскадры; охотников читать много, и все поблагодарят Вас. Только меня приводит в смущение выноска, сделанная в Вашем письме: что редакторы ожидают от меня статейки. Вот это-то и беда. Поверите ли, что у меня набросано на бумагу в виде писем всего три-четыре статейки? Одну какую-нибудь я, может быть, и послал бы Андрею Алекс⟨андровичу⟩,[1] исполняя давнишнее обещание, да мне не пришло в голову о возможности напечатать без себя: лучше уж вместе все, если только наберется побольше. Но все это такие пустяки, что совестно и показывать. А потом неудобно еще печатать заранее и потому, что о нашей экспедиции печатно, помнится мне, ни разу не говорилось. Иногда мне бывает просто лень писать, тогда я беру — как вы думаете что? — книжку Ивана Сергеевича:[2] она так разогревает меня, что лень и всякая другая подобная дрянь улетучивается во мне и рождается охота писать. Но тут другая беда: я зачитаюсь книги, и вечер мелькнет незаметно. И вчера, именно вчера, случилось это: как заходили передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи,

нивы, поля и — что всего приятнее — среди этого стоял сам Иван Сергеевич, как будто рассказывающий это своим детским голоском, и прощай Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, море, где я — все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг — так и ходят около. Кланяйтесь ему и скажите это от меня. И Павлу Васильевичу кланяйтесь: так он издает Пушкина![3] Как я рад, я, жаркий и неизменный поклонник Александра Сергеича. Он с детства был моим идолом, и — только один он. Я было навязывался на подарок экземпляра, да Павел Васильевич, уклончивый вообще, в этом случае уклонился с особенным старанием. Коршу мой поклон и семейству тоже. Я рад, если он наследует Надеждину, но мне жаль Николая Ивановича.[4]

26

Е. А. и М. А. Языковым

13/25 марта 1854.
Остров Камигуин, порт Pio-Quinto.

Не только Вы, мои малосведущие в географии друзья: Михайло Александрович и Екатерина Александровна, но и все наши приятели, члены Географического общества, едва ли сразу, без справки, скажут, откуда я к Вам пишу, что это за остров Камигуин? Зачем я туда попал, спросите Вы. Скажу Вам сначала это, а потом что-нибудь другое. Остров Камигуин принадлежит к группе Филиппинских островов. «А где бишь эти Филиппинские острова?»— скажете Вы непременно, Мих⟨аил⟩ Алекс⟨андрович⟩, и, по обыкновению, рассмешите всех присутствующих этим самопожертвованием, не исключая и тех, которые знают об этом еще меньше Вас. Возьмите общую карту Азии, или просто обоих полушарий и к югу от Китая и Японии вы увидите как будто засиженное мухами небольшое пространство: это и будет архипелаг Филиппинских островов. Их всех до тысячи: у одной из этих тысячных долей, отмеченных на карте точкою, лежащей немного к северу от главного острова Люсона, стоят в заливе, в порте Пия V, наши два судна,[1] прячась от англичан. Если у нас с ними война,[2] то конечно они не замедлят явиться из Китая со всеми своими фрегатами и пароходами в Восточный океан искать и взять нас. Наши отдаваться не намерены, предпочитая, если не одолеем, взлететь на воздух. Не одно опасение встретиться с англичанами заставило нас зайти на этот покрытый сильною тропическою растительностию, но безлюдный островок: судно наше все более и более напоминает, что ему пора на покой. Еще во время выдержанного нами в июле прошлого года тифона грот-мачта зашаталась у нас, а в нынешнем году погнулась набок и фок-мачта и на днях дала трещину. Надо было куда-нибудь забежать, чтобы взнуздать ее немножко, пока придем на север, в свои колонии, и дождемся там «Дианы». В другое время мы сейчас же бы зашли в Шанхай, Гон-Конг, а теперь того и гляди началась с англичанами война: эти порты в их руках, и мы попались бы к ним живьем. Нейтральных портов вблизи нет, кроме

Манилы (на Люсоне) да Нагасаки. Но англичане не уважат нейтральных прав, потому что и Испания и Япония слабы и помешать им не в силах. Вот чему Вы обязаны удовольствием или неудовольствием получить письмо из неслыханного места.

Что сказать Вам о путешествии, откуда продолжать, где я остановился? Ничего не знаю, потому что не знаю, получаете ли Вы мои письма. А я часто писал и именно: из Нагасаки два раза. Первый раз целую кучу писем послал я, и все наши, с почтой через Министерство иностр⟨анных⟩ дел. Но дошли ли они — сомневаюсь. Их адресовали в казенном пакете, с другими пакетами, на имя нашего консула в Египте; но тогда уже начинались несогласия с Турцией[3] и, может быть, консул выехал: в таком случае письма, вероятно, пропали. В другой раз я писал с нашим курьером Бодиской, который отправился в ноябре. Если его не захватили дорогой, то конечно письма уже у Вас в руках. О первых же письмах, посланных через консула, потрудитесь справиться в канцелярии Министерства иностр⟨анных⟩ д⟨ел⟩ или в Азиатском д⟨епартамен⟩те, у Заблоцкого, на имя которого я послал их все в одном общем пакете. Наконец, в последний раз я писал с другим нашим курьером, лейтенантом Кроуном в декабре; этот поехал в самый разгар войны и, может быть, захвачен, если только не отправился чрез Батавию или чрез Америку. Кроун поехал из Шанхая. Вскоре после его отъезда мы вторично пошли в Японию, в Нагасаки. Она так надоела нам, эта Япония, что никто из нас ни за какие коврижки не согласился бы отправиться в Иедо. Во всем застарелое младенчество, наивная глупость в важных жизненных и государственных вопросах и мудрость в пустяках; лицемерие, скрытность, ребячество, юбки, косички и поклоны — все это надоело. На меня находит хандра при одной мысли, что, может быть, еще придется заглянуть нынешним летом опять туда. Последний месяц нашего пребывания там был довольно, впрочем, занимателен: в Нагасаки прибыли из Иедо два важные лица с большой свитой для переговоров с адмиралом. Мы через день ездили в Нагасаки, обедали там по-японски, и полномочные два раза были у нас и провели по целому дню. Они *были поражены*, по собственному признанию, всем, что видели у нас: нашим приемом, угощением, музыкой, разнообразием и богатством подарков, видом большого судна, артиллерийским и парусным ученьем, всем, всем и, между прочим, отличной вишневкой и шампанским. Оттуда мы отправились на *Ликейские острова* (Лю-Чу) (вот опять Вам случай сказать Ваше милое *не знаю, где*). Я много читал об этих островах, о наивности жителей, о их гостеприимстве, смирении, кротости, патриархальном образе жизни и прочих добродетелях золотого века и считал все это за шутку первого посетившего их Базиля Галля. Но, к удивлению моему, я нашел, что картина его этой брошенной среди океана идиллии далеко не полна. Представьте, что все так, как он пишет, по крайней мере наружно. Действительно — это ряд восхитительных долин, холмов, журчащих ручейков под темным сводом прекрасных разнообразных деревьев. Везде обработанные поля, труд и довольство. На берегу нас приветствовали какие-то длиннобородые старцы, с посохами в руках, с глубокими поклонами, с плодами. Черт знает что такое: вспомнишь не

то Феокрита, не то Галлера,[4] не то русскую сказку о стране, где текут реки меду и молока. А здесь — лучше меду — сахарный тростник, молоко из кокосов, бананы и т. п. Я дополнил, как умел, картину Базиля Галля, записал, что видел, да, боюсь, не поверят.

С этих блаженных островов пошли мы в Манилу и через неделю, из глуши, вдруг очутились в месте, тоже отчасти сказочном, хотя в другом роде.

Что это за ералаш! Вот, например, длинные улицы, с висячими сплошными балконами, с жалюзи, из-за которых выглядывает бледная, черноглазая испанка чистой крови или жеманное лицо какого-нибудь dottore Bartholo:*[5] с монастырями, с толпой монахов всевозможных орденов, метисов и индийцев. Тут тишина, сон и лень. Но выйдешь за стены испанского города, картина меняется вдруг: с одной стороны деятельная, кипучая торговля между полунагими полубритыми китайцами, которые по влиянию и многолюдству играют важную роль, с другой — деревни тагалов (индийское племя), которые во сне и лени не уступают своим господам — испанцам, которые все — нищие, живут в каких-то птичьих клетках, но которые ни в чем не нуждаются. Одеваются в материю домашней работы из волокон дерева, пища над головой или под ногами — банан и рис. Наслаждения — стравить петухов и выиграть заклад. А за этим за всем идут поля и плантации. Какие поля, какие леса и деревья!

Я каждый день, лишь спадет жар, углублялся в эти нескончаемые темные аллеи из бамбуков, пальм, фиг, хлебного дерева, саго (я называю здесь только то, что знаю, а сколько незнакомых!) и все не мог привыкнуть к этому зрелищу. Я жил в отеле и утро⟨м⟩ осматривал город, ездил (здесь никто не ходит пешком, кроме простого народа) по лавкам. С полудня до четырех часов все спят: я свято соблюдал этот обычай. Зато вечером — в коляску и в поля, оттуда на публичное катанье, вроде как у нас у качелей, оттуда на Эскольту, есть мороженое, потом на площадь слушать превосходную полковую музыку, потом ужинать, пить чай, сидеть на веранде, любуясь на тропическую ночь, лунную, с удивительными звездами, теплую, даже жаркую. Все идут после этого спать, а я раздевался в своем номере до невозможности и, кусаемый до невозможности же комарами, при свете подлейшего ночника с кокосовым маслом (couleurs locales) ** писал... Со мной бодрствовали ящерицы да *канирля,* как называет хозяин-француз огромнейших, более вершка, летучих тараканов. И те и другие бегают по стенам, не делая никому вреда. Что же я писал — спросите вы. Да записывал: то о Маниле, то доканчивал о мысе Доброй Н⟨адежды⟩, то чего не кончил в свое время. Делал это просто, не мудрствуя лукаво, с свойственным мне беспорядком, начиная с того, чем другие кончают, и наоборот. Дурно, бестолково, ничего нового, занимательного; занимательно будет только для меня одного, если только в мои лета, с моими недугами, станет у меня охоты вспоминать о чем-нибудь. Мой собственный частный портфель набит довольно туго пустяками, это правда, но уж

* доктор Бартоло (*итал.*),— *Ред.*

** (местный колорит) (*франц.*),— *Ред.*

больше туда не лезет, и я думаю, по случаю этого естественного препятствия, кончить, положить перо туриста и взяться за должностной свой труд, который отстал. Адмирал несколько сердится на меня, что официальный журнал остановился и нейдет вперед. Да как ему идти? Мне никто не помогает: специальных ученых у нас нет, а записывать происшествия нашего плавания так, как они есть, не стоит, выходит пусто; о морском деле я писать не могу. Да и некогда было: в Японии было много бумаг, много прямого дела, а остальное время мы шатались по морю: а там немного напишешь: при малейшей качке нет средств писать, в жары тоже, спрятаться здесь негде. Впрочем, мы так мало были везде у берегов, что от нас никакого журнала и требовать нельзя.

Вам, прекрасный друг мой Екатерина Александровна, ни до каких журналов дела нет, это я знаю; Вам бы конечно хотелось слышать что-нибудь позанимательнее. Но что я могу сказать, чтобы Вас заняло? Скорей мне надо просить Вас рассказать мне новости, случившиеся в кругу наших знакомых. Еще приятнее бы было мне услышать от Вас, что Вы так же дружески любите меня, что, по возвращении, опять будете говорить мне: «Придите вечером, придите завтра, послезавтра», и так же не будете тяготиться моим ежедневным присутствием, как не тяготились до моего отъезда.

Что дети Ваши? Что друг мой Авдотья Андреевна? Кланяйтесь ей и мужу ее. Надеюсь, с «Дианой» получить от Вас письмо. Но до этого еще долго. Ах, как мне скучно, как бы хотелось воротиться скорее! Зачем, спросите Вы? И сам не знаю. Ну, хоть затем, чтобы избавиться от трудов и беспокойств плавания. Как надоело мне море, если б вы знали: только и видишь, только и слышишь его.

Весь ваш И. Гончаров

Вы, Элликонида Александровна, конечно прочли все это письмо и видите, что мне скучно, даже тяжело, хотите утешить меня, даже успокоить? Повторите, что Вы сказали в одном из Ваших писем, ну, хоть солгите, если бы правды не хватило: скажите, что Вам веселее будет, когда я ворочусь, что Вы с Екатериной Александровной по-прежнему будете каждый день пускать меня к себе и терпеливо выносить, как я буду сидеть по целым часам молча или бранить желчно, кто попадется под руку? Да? Так? Ну, покорно Вас благодарю. До свидания же, дайте руку и не сердитесь, что мало пишу — устал.

Ваш И. Гончаров

Письмо это повезет одно из наших судов в Камчатку и там отдаст на почту. Кланяйтесь всем: Никитенке, Коршам, Одоевскому, Панаеву и прочим.

Прилагаемое письмо передайте Майковым; я не знаю, там ли они все живут. Потрудитесь сказать А. П. Кореневу, что я и ему буду писать с Амура. Получил он мое письмо с нашим курьером Кроуном?

27

Е. П. и Н. А. Майковым

14/26-го марта 1854.
Филиппинские острова. О. Камигуин,
порт Пио-Квинто.

Нужды нет, что отсюда до вас более 25 тысяч верст, но Вы все постоянно присутствуете в моем воображении, я всех Вас вижу и зорко слежу за каждым и за каждой. Вы, Евгения Петровна и Николай Аполлонович, занимаете середину картины, на двух ваших диванах, а кругом в живописном беспорядке и все прочие, которых не называю, но которые конечно, как на перекличке, все скажут *я*! Здоровы ли Вы, что делаете? Вот вопросы, которые постоянно посылаю мысленно, словесно и письменно к северу и не могу добиться ответа. Если захотите послать такие же вопросы к юго-востоку, то адресуйте к Языкову: на некоторые он ответит сейчас же. Я пишу к нему, где я был и что делал до сих пор. Вам скажу только, что путешествие надоело мне, как горькая редька, до того, что даже Манила, куда мне так хотелось и где мы пробыли недели две, едва расшевелила меня, несмотря на свою роскошную растительность, на отличные сигары, на хорошеньких индиянок и на дурных монахов. Мне прежде все хотелось в Америку, в Бразилию, а теперь рад-радехонек буду, если бы пришлось воротиться хоть через Камчатку и Сибирь. Я за недостатком моциона хирею и толстею так, что меня теперь в хороший дом пустить нельзя. На море бы и не глядел: другие свыкаются с ним и любят, а я чем больше плаваю, тем больше отвыкаю. Качка меня бесит, буря, обыкновенное явление на море, пугает, образ жизни на корабле томит. Люди надоели и я им тоже. Вот третий день стоим у островка на якоре, берега покрыты непроницаемой кудрявой зеленью, такой, что Вы, Евгения П⟨етровна⟩, за счастие бы сочли каждую травку и ветку посадить в горшок в своей комнате, а я еще не съехал ни разу на берег, несмотря на то, что сегодня там был шумный обед с музыкой — и разными удовольствиями. В тропиках мне невыносимо жарко, а подвинемся к северу — холодно. Зубы опять болят, и в тропиках и на севере. Ревматизм просто водворился и в виске и челюстях и беспрестанно напоминает о себе. Нет, чувствую, что против натуры не пойдешь: я, несмотря на то, что мне только 40 лет, прожил жизнь. Теперь, куда ни пошлите меня, что ни дайте, а уж я на ноги не поднимусь. Пробовал я заниматься, и , к удивлению моему, явилась некоторая охота писать, так что я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова — все это записано у меня и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас; но эти труды спасли меня только на время. Вдруг показались они мне не стоящими печати, потому что нет в них фактов, а одни только впечатления и наблюдения, и то вялые и неверные, картины бледные и однообразные — и я бросил писать. Что ж я стану делать еще год, может быть, и больше?

Но жаловаться нечего и не на кого, я ни минуты не раскаивался в том, что поехал, и не раскаиваюсь до сих пор, потому что, сидя в Петербурге, жаловался бы еще больше. Лучше скажу, что мы намерены делать. Мы узнали в Маниле, что английский и французский флоты уже вошли в Черное море и, следовательно, война почти неизбежна, вот мы и тягу оттуда, чтоб не пришли английские суда вдвое сильнее наших и не взяли нас. Теперь плавание наше делается все скучнее и скучнее. Нет ни одного порядочного места, где бы не было французов и англичан. Поневоле должны идти на север, прятаться где-нибуль около Камчатки. Уж если так, лучше бы вернуться. Но, вероятно, придется зайти еще в Японию. В последнее время мы зажили с японцами дружески. Они давали обеды нам, а мы им. Чего я не ел тут! Помните, я всегда обнаруживал желание пообедать у японцев и китайцев? Желание мое было удовлетворено свыше ожиданий. Мы обедали у японских вельмож раз десять и, между прочим, были однажды угощены торжественным обедом от имени японского императора. Так как японцы столов не употребляют, то для каждого из нас сделан был особенный стол, на каждом столе было поставлено до двадцати и более чашечек и блюдечек с разными кушаниями. Мяса не едят и нас потчевали рыбой, зеленью, дичью, трепангами (морскими улитками), сырой рыбой, приправленной соей, и т. п. Но всего этого подают так немного, что я съел все 20 или 30 чашек, да еще, приехавши домой, пообедал как следует; и другие тоже. Сиогун прислал нам подарки, состоящие из материй (предрянных) и фарфору. Адмиралу и трем из его свиты, в том числе и мне, подарили по нескольку кусков этой материи, офицерам по дюжине тончайших, как почтовый лист, чашек. Подарки с нашей стороны были роскошны. Вельможи, напротив, надарили адмиралу превосходных вещей — такое множество, что из них можно составить прелюбопытный музеум. Некоторым из нас, и мне тоже, прислали они кое-что в подарок: лакированных ящиков, трубок, чернильниц, своего табаку. Все вздор, но я храню как редкость и как воспоминание. Если довезу, то поделюсь с Вами. К сожалению, всего этого мало: мы хотели купить, да не продают.

Не сердитесь, что письмо вяло и неполно. Я сообщаю Вам кое-какие крупные сведения, на выдержку. Подробности записаны у меня в путевых записках, иногда с литературными заметками, но без всякой лжи. Если доеду и привезу их, то прочту, разумеется, Вам первым. Если утону, то и следы утонут со мной. Посылать не хочу, потому что большая часть набросана слегка и требует большей обработки. Да и кто разберет мое писанье? Не знаю, даст ли мне бог этот праздник в жизни: сесть среди Вас с толстой тетрадью и показать Вам в пестрой панораме все, что происходит теперь передо мной. А хотелось бы.

Вас, Аполлон, и Вас, Старик, [1] обнимаю, так же как и супруг ваших: старику это позволительно.

На Вас, прекрасный друг Юния Дмитриевна, я предъявляю всегдашние свои неотъемлемые права, то есть обнимаю без спроса Александра Павловича, которому дружески кланяюсь. Я было хотел написать к Вам особо, да выходило чересчур мрачно и холодно, согласно тому, что проис-

ходит у меня на душе. Зачем? Это не хорошо, не годится. У Вас мраку, холоду и печали довольно и без того. Здесь же так светло, тепло, роскошно, что совестно быть эгоистом и навязывать другим свою скуку.

Вам, милый Льховский, только поклон и больше ничего. Я к Вам пишу в особых письмах такие глупости, что, я думаю, Вы удивляетесь и спрашиваете себя: ужели это писал человек, который по обыкновенному порядку вещей должен бы, кажется, поумнеть, увидя свет или хоть полсвета? Если будет случай написать через Сибирь, то напишу, в таком только, впрочем, случае, когда будет повеселее. А то все одно и то же: жить не хочется, а умирать боюсь.

Хотел было я в Маниле запастись сигарами, чтоб стало и всем Вам, да нет никакой возможности. Я купил себе три тысячи в 12 ящиках, и они так загромоздили мою маленькую норку, что два ящика стоят на постели в ногах, а один я должен был вскрыть и разложить сигары по ящикам в бюро. Сигары стоят 14 талеров лучшие, большие, а маленькие по 8 талеров за тысячу. А у нас за них платят, кажется, по 7 и 8 руб. сер⟨ебром⟩ за 100. Каков процент берут! Здравствуй, милый Бурька: вырос ли ты? Купили ли наконец тебе галстук, тросточку и часы? А что делает Марья Федоровна? Все ест постное?

Поклонитесь от меня всем и прощайте.

Ваш Гончаров

28

Е. П. и Н. А. Майковым

15 июля 1854.

Я большой эгоист, Вы это знаете, особенно Вы, Евгения Петровна, Вы, много раз меня в этом упрекавшие; и так как я не отрекаюсь от этого титула, то позвольте же мне воспользоваться и присвоенными ему правами, например, еще напомнить о себе. «Зачем? Мы этого не требуем»,— скажете Вы. Да мне-то что за дело? *Я* нуждаюсь в этом — вот и причина, весьма достаточная, для письма. Угадайте, откуда пишу? Из лесу. Из какого, откуда — не велено сказывать: пожалуй, предадите англичанам, особенно опять-таки Вы, мой друг, Евгения Петровна. Ведь Вы женщина, стало быть, предательство Вам разрешено самой природой. Мы теперь одни, других судов нет с нами, и оттого мы бегаем от англичан, как, по словам отца Аввакума, *бегает нечестивый, ни единому же ему гонящу,* то есть когда никто за ним не гонится. Мы укрылись в одно из самых новых наших заселений, где никто еще и не живет, а кочуют тунгусы, мангуны, орочаны, медведи, лоси, соболи и выдры; где еще ничего не заведено, кроме кладбища. На нем уже успело улечься прошлой зимой до 30 чел., умерших от цинги. Мы живем все на фрегате. Я думаю даже, что берег вреден для меня, [1] и оттого схожу редко. Я так привык к палубе,

к своей каюте, перед которой из окна видна бизань-мачта с кучей снастей, а через борт море, во всех его видах, что, когда переехал в Маниле недели на полторы пожить на берегу, мне стало скучно в первые дни. Мы стоим теперь в заливе, обставленном таким частым пихтовым и еловым лесом, что он не пускает на берег. Однако ж мы ходим по едва протоптанной дорожке. Я познакомился уже кое с кем: с Афонькой тунгусом, например, который подряжен бить нам оленей и сохатых (лосей) для мяса и который все просит «бутылочку», не пустую разумеется. Залив называется *Хаджи,* одна его бухта *Ма*, друга *Уи*, а всё вместе *Ырга.* Не угодно поискать на карте? Мы, говорят, пробудем здесь зиму, а зимой бывает до 36° мороза. Домов еще нет. Ужасно, не правда ли? И я бы сказал это самое, если б ужасался — но чего не делает привычка, во-первых, а во-вторых, невозможность изменить? Ехать назад кругом Америки — ведь это более 25 тысяч верст, семь, восемь месяцев езды морем, мимо англичан и французов. Сухим путем ближе, всего каких-нибудь 10 тысяч верст: но не знаю, хватит ли сил пробраться через сибирские дебри и тундры, где до Иркутска надо ехать то верхом на лошадях, а я теперь не усижу верхом и на бревне, то на собаках или в лодках тянуться целые месяцы по рекам, есть тюленину, спать на снегу? Нечего делать — станем зимовать здесь. Афонька уж обещал мне принести к зиме медвежьих шкур за «бутылочку». А что я стану делать? Если меня не потревожит слишком холод, голод, цинга и особенно смерть, то я желал бы — писать. И знаете ли, что меня больше всего побуждает к этому? То, что Вы так дружески благословили меня на труд, то, что мне стыдно бы было явиться с пустыми руками, не в публику, а к Вам, в Ваш маленький кружок, самый маленький то есть,— да Вы знаете, кто его составляет. Из посторонних прибавьте сюда Бенедиктова и Льховского, если только они посторонние. К Вам я прежде всего пойду искать награды, а потом уж в публику или к Андрею Алекс⟨андровичу⟩.[2] И это единственный знак дружбы, который только и могу дать за то, что двадцать лет принадлежу, так сказать, к Вашему семейству. Лишним считаю напоминать о Вас, друг мой Ю⟨ниньк⟩а: Вы нераздельны у меня в мыслях с Майковыми; я беспрестанно Вас тасую с Аполлоном, Стариком, дядюшкой, тетушкой; если ошибкой попадется Кошкарев, так я быстро выкидываю его, как гадальщицы выкидывают пикового валета или другую негодную карту, раскладывая игру на столе. Иногда позволяю себе помечтать; будто я с толстой тетрадью вхожу к Вам, и Николай Апол⟨лонович⟩ обрадовался почти так же, как тогда, когда поймал леща. К сожалению, радоваться нечему. Тетрадь действительно толстая, но из нее наберется так немного путного, и то вяло, без огня, без фантазии, без поэзии. Не подумайте, чтоб скромничал, это не моя добродетель. Я хотел послать кое-что в «Отеч⟨ественные⟩ зап⟨иски⟩», да прошу переписать. Нет, уж пожелайте, чтоб сам приехал. Меня пугает одна мысль. Может быть, Вам совсем не *до* того, не *до* меня, может, Вас поглотили семейные обязанности, которые, конечно, расплодились вместе с детьми. Ну, все-таки пожелайте, чтоб воротился: дети Ваши не найдут такого друга себе, как я. В самом деле, мне здесь нечего делать. Теперь в Японию ходить нельзя, да и незачем больше. Наши укрепляются здесь,

строят батареи, готовятся драться: смотрите, Евгения Петровна, остерегитесь сказать что-нибудь при этом. Помните, Вы сказали: «Вот если б Вам предложили, Ив⟨ан⟩ Алек⟨сандрович⟩, ехать кругом света, то-то бы рассердились»,— и я поехал. Вот молвите только: «Пойдете вы драться с англичанами, как бы не так»,— и посмотрите, если я первый не полезу к пушке. Не берите же еще греха на душу, скажите лучше: «А чего доброго Ив⟨ан⟩ Ал⟨ександрович⟩, пожалуй, сунется и в сражение»,— и я струшу. Странно? Ну, да ведь уж это дело решенное, что Вы меня не понимали никогда. Это подтвердит и Николай Аполлонович, и Аполлон, и Старик, и особенно Льховский.

Мне надо бы воротиться уж и потому, что меня до крайности утомило путешествие: je fais un mauvais rêve,* а не путешествую, и уж давно. Мне все казалось в Петербурге, что я нигде не был, ничего не видел, оттого и скучаю, что о природе знаю по книгам. «Дай-ко, мол, сам посмотрю, так авось-либо». И поехал не в Германию, не в Италию, а взял крайности. Евгения Петровна удалила меня в другое полушарие, и что ж? У меня усилился геморрой от недостатка движения на корабле да выросло такое брюхо, что я одним этим мог бы сделаться достопримечательностью какого-нибудь губернского города. Я знаю, что такое эти тропики со своим небом и Крестом,[3] эти бананы, пальмы да ананасы у себя дома, вся эта аристократия природы, и плебеи ее — негры, малайцы, индийцы etc. Дальше уж мне и не хочется, в Америку например, потому что по трем известным легко сыскать четвертое неизвестное. Будет ли мне веселее в Петербурге — не думаю: боюсь, напротив, что приеду и места нигде не найду, кроме, однако ж, места столоначальника, которое министр обещал оставить за мной. Пуще всего утомительно своим однообразием плавание. Да и притом никак нельзя изолироваться от свежих и крепких ветров, холода и зноя, от качки: во всем надо принимать деятельное участие, особенно в штормах. Штормы напоминают мне отчасти детство. Как буря разыгрывается, свирепеет, грозит, точно бывало в детстве грозят высечь, а стихнет -- вдруг будто простили. Да, пора в Петербург, хотя я знаю, что там примусь за прежнее. Умственная деятельность вся опять сосредоточится в департаменте, физическая — в хождении по Невскому проспекту, а нравственная — в строгой честности, и то отрицательной, то есть не будешь брать взяток, надувать извозчиков, хозяина квартиры. Но зато хоть отдохнешь у Вас, у Языковых. Дай бог только, чтоб все было по-прежнему у Вас, если уже нельзя, чтоб было к лучшему.

Я забыл сказать, что мы были в Корее, где вовсе не бывало европейцев. Я сошел всего два раза на берег, и то чтоб только очистить совесть, чтоб не упрекали, что не ступил ногой на не известный никому берег. А то надоело. Чувствую, что я всего менее путешественник и особенно по диким невозделанным местам. Но я вижу, что уж слишком неумеренно воспользовался правами эгоиста, говоря все о себе. А что бы я стал говорить о Вас? Знаете, с которых пор я не получал от Вас писем? С августа прошлого года. Курьеры привезли тогда из Петербурга. А с тех пор ни

* я вижу дурной сон *(франц.)*,— *Ред.*

одного. Говорят, все письма на «Палладу» лежат в Камчатке, а мы не там. Пойдем ли туда, еще неизвестно, как неизвестно потом, что из всего этого будет, то есть что привезет нам генер⟨ал⟩-губ⟨ернатор⟩ Муравьев, которого ждут здесь на днях? Поедем ли мы домой, останемся ли — не знаю. И писем от Вас, если только они есть в Камчатке или в другом месте, я не получу, по крайней мере долго, и долго не узнаю, что у Вас делается. Сам я писал к Вам почти отвсюду, даже с пустого тропического островка Камигуина (в группе островов Бабуян, к северу от острова Люсона). Не знаю, дошло ли письмо оттуда через Ост-Индию. Теперь туда мы не пойдем, и письма из России иным путем не дойдут, да и через Сибирь — не вернее.

Теперь к Вам преимущественно обращаю свою речь, рыболовы. Как Вы упали все в моем мнении, Вы, Николай Аполлонович, который всю жизнь носитесь со своим лещом, и вы все — Аполлон, Старик со своими окунями. Знаете, что мы *выудили* при выходе из тропиков в нынешнем марте? Акулу! Это уж не ловля, а бой, опасное сражение. Мы с топорами и кольями стояли вокруг и при малейшем взмахе хвоста отскакивали — кто куда мог. Я записал всю эту борьбу и посвящаю ее Вам, Николай Аполлонович. Хотелось бы послать теперь этот небольшой отрывок из дневника, да он все-таки величиной с *мой* лист: мучительно переписывать. Но это все акула, скажете Вы, а не рыба. А! не рыба, а Вам рыбы надо,— извольте. Я не стану говорить о ловле неводом — это Вы презираете, а мы ловим им от 10 до 15 пуд. рыбы в каких-нибудь три-четыре часа и не презираем: теперь это наш насущный хлеб. Но мы ловим и крючками. Когда матросам ехать с неводом нельзя, а между тем к столу надо рыбы, тогда возьмут да и пошлют вестовых, то есть денщиков, наловить тут же с фрегата крючками. И в час, в два кто несет пять-шесть камбал, кто палтуса, кто бычков, треску, род налимов — словом, рыбы всяких форм и видов. И крючки-то какие: не те красивые из английск⟨ого⟩ магазина, с изящным поплавком, стальные с разными затеями, а просто грубые, железные. Вам еще вон надо червей копать да разводить их на зиму в цветах у Евгении Петровны, а здесь приманка — кусочек жиру, мяса или той же рыбы. Я теперь убеждаюсь окончательно, что кто купит удочку в «Cosmetique» * или выпишет ружье неслыханной отделки и цены из Лондона или Парижа, тот никогда ничего не поймает и не застрелит. Вот Афоньке дали ружье двухствольное, щегольское с пистоном — он пошел в лес и воротился с пустыми руками. «Не умею,— говорит,— из этого стрелять — возьмите ружье». А из чего он стреляет? Из ружья, которое после всякого выстрела разваливается и которое всякий раз ему складывают и починивают наши слесаря на фрегате. А он на днях убил из него двух лосей. Эх, вы, рыболовы!

Ну, вы, молодые мои друзья, что: кланяюсь вам братски и целую руки у ваших жен. Обнимаю детей, буде таковые есть. Поклонитесь, Аполлон, приятелям, а Вы, Старик, А. П. Кореневу. Скажите ему, что я писал к нему с месяц назад, но письмо пошло в Камчатку, а оттуда уж обещали

* «Косметике» (*франц.*)— *Ред.*

отослать с почтой. Когда-то оно дойдет? Вы, Юния Дмитриевна, обнимите Александра Павловича, только смотрите осторожнее... А Вы, Капитан,— кого бы поручить Вам обнять? Прочтите это письмо и вспомните хоть на минуту, вечный ветреник, одного из искренних Ваших приятелей. После этих искренних излияний и объятий — позвольте с Вами распроститься.

Вам, Льховский, я было написал еще письмо, да так скверно, что после и сам не мог разобрать, оттого и разорвал его.

Ваш И. Гончаров

Поклонитесь всем от меня. А что делает Бурька?

29

М. А. Языкову

5 августа 1854.

Любезнейший друг Михайло Александрович.

Адмирал поручил мне отправить по почте письмо к своей адмиральше. Но он не знает нынешней ее квартиры и оттого не написал адреса, полагаясь на обещание мое доставить письмо как можно аккуратнее через моих знакомых. Поймите же, друг мой, как нужно мне, чтоб письмо было передано верно. Извините, что обременяю Вас этими пустяками, но что ж делать? Потрудитесь заехать в адресный стол узнать квартиру г⟨оспо⟩жи Путятиной, или спросите у Анны Ив⟨ановны⟩ Колзаковой, которая с ней знакома, или, наконец, в Морском министерстве. Но только постарайтесь отдать лично, если можно, и притом поскорее.

Я теперь сижу на мели, в устье Амура, не на фрегате, а на шхуне «Восток». Фрегаты «Паллада» и «Диана» стоят в проливе, у Сахалина, а я послан к генер⟨ал⟩-губ⟨ернатору⟩ Муравьеву, который теперь здесь. Он очень любезен, звал к себе в гости в Иркутск, был у нас на фрегате и на всех нас произвел преприятное впечатление. С «Дианой» я получил до двадцати писем, в том числе и Ваше. Благодарю за книги, за «Отеч⟨ественные⟩ зап⟨иски⟩», за «Соврем⟨енник⟩», за «Записки Геогр⟨афического⟩ общ⟨ества⟩». Бутаков дружески Вам кланяется и благодарит за гостеприимство. Он отдал мне письма, а книги нет. Я пожертвовал их, и также все бывшие со мной книги, для наших новых заселений на устьях Амура. Многие из нас сделали то же.

«Паллада» остается в Амуре, «Диана» идет в Америку. Я еще и сам не знаю, куда направлюсь. Так как теперь дела наши (торговые, дипломатические) почти кончены, то мне бы нечего было делать здесь. Может быть, мы в средине нынешней зимы и увидимся с Вами. Приготовьтека мне какое-нибудь местечко на заводе, кочегара или что-нибудь попо-

койнее, только подле Вас. Рады ли будете Вы, Екатерина Ал⟨ександровна⟩ и Элликонида Алекс⟨андровна⟩, моему приезду? Два года отсутствия повыгнали, я думаю, меня из Вашей памяти. Я все тот же, только пообъемистее, так же бы стал ходить к Вам, играть с детьми или по целым вечерам хранить тоскливое молчание. Во всяком случае, сочту большим праздником, когда дружески обниму Вас всех: надеюсь, Вы мне позволите это теперь, ради моей старости. До свиданья же, и дай бог до скорого.

Ваш Гончаров

Кланяюсь всем вообще, и другу моему Авд⟨отье⟩ Андр⟨еевне⟩ в особенности. Коршам тоже.

30

М. А. Языкову

17 августа ⟨1854⟩

Милый друг Михаил Александрович. Я расквитался с морем, вероятно навсегда. Теперь возвращаюсь сухим путем, но что мне предстоит, если бы Вы знали, боже мой: 4 тысячи верст и верхом через хребты гор, и по рекам, да там еще 6000 верст от Иркутска. Теперь хлопочу о качалке[1] вместо верховой лошади.

Вот один из самых лихих моряков, лейтенант Савич, который взялся доставить это письмо. Прилагаю и записочку, заготовленную мною прежде. В ней я прошу Вас передать письмо адмиральше Путятиной,[2] но Савич взялся доставить его лично: спросите, пожалуйста, доставил ли? Они едут с бароном Крюднером курьерами, следоват⟨ельно⟩, скоро, а мы обыкновенным образом, то есть очень долго. До свидания, до свидания, некогда.

Весь Ваш
И. Гончаров

Майковым напишу из Иркутска.

31

Семье Майковых

14-го сентября 1854.
Якутск.

Я получил все Ваши письма, посланные с Бутаковым. Ровно через год отвечаю на них. Застали они нас в Татарском проливе, когда мы отчаялись в приходе «Дианы», думали, что ее захватил неприятель или она укрылась

куда-нибудь в нейтральный порт. «Паллада» по ненадежности должна была остаться в устьях Амура, и все путешественники готовились уже к возвращению через Сибирь, как вдруг в один ненастный вечер пришла «Диана» и Ваши письма. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что был счастлив этими письмами, перечитываю их через два месяца и опять счастлив! Вот Ваше длинное письмо, бесценная Евгения Петровна. Вы в нем не сообщили мне ни одной новости, почерпнули весь материал из себя, оттого оно так и вышло дружески занимательно, следов⟨ательно⟩, хорошо. Я просидел будто целый вечер с Вами на балконе и ушел домой успокоенный и свободный от желчи и хандры до завтра. Хотя я знаю, что Вы большая лгунья, особенно насчет любви, мужчина держи с Вами ухо востро, но меня Вы сумели обольстить, и я верю словам Вашего письма, что Вы меня любите. Не верю только я Вашей песне, что Вы «стареете». Вы тут же и проговорились, как Вы еще молоды, как в Вас не улеглись многие мечты. Да, я еще не отчаиваюсь, что когда-нибудь, после долгого сиденья на балконе со мной, мы разыграем сцену из Ромео и Юлии.[1] Дай бог только нам увидеться. Увидите, что упаду в обморок от волнения, когда опять войду в Ваш уголок и увижу Вас по-прежнему председательницею семейного комитета. А вот и Ваши строки, милый друг Николай Аполлонович: Вы как будто сказали свое, коротко, сжато и ясно, да и канули в свою мастерскую. Больше и не надо, тут все. Спасибо Вам за дружбу и желание возвращения: я уже возвращаюсь, но возвращусь ли, бог весть! Вы, Аполлон, как ни скверненько написали, а я уразумел Ваше послание, равно как и Ваше, Старик, и твое, милый мой Бурька (да ты, брат, умеешь писать! говори, кто водил тебе руку), и Ваше, Юния Дмитриевна, и Ваше, неизлечимый Капитан,— все это я прочитал с таким усердием и радостью, с каким не прочитал бы никакого Гоголя, никакого Пушкина. Я не говорю Бенедиктова потому, что два полученные от него письма я прочитал тоже с волнением и радостью, как от Вас. Отвечать на эти письма через год — бесполезно. Вы конечно уже забыли сами их содержание. Поздравляю только Вас и себя с умножением Майковых. Теперь и моя обязанность у Вас в доме должна увеличиться: играть с детьми, которые как будто и мне приходятся внуками. Давность службы в Вашей семье дает мне на это права. Ну, теперь опять надоем Вам собою.

Вам конечно через Языкова, Коренева и Бенедиктова, к которым я недавно писал с приехавшим уже в Петербург офицером (Савичем), известно, что в первых числах прошлого месяца началось обратное мое шествие в отеческие края. Вот как это уладилось. Когда решено было оставить «Палладу» в Татарском проливе, адмирал пересел на «Диану» и взял кое-кого из состоящих при нем лиц с собою. Мне предстояла та же участь, и я напрасно несколько раз намекал, что мне пора домой. Он был глух к этому. Я с благодарностью скажу, что он постоянно оказывал мне особенное внимание и уважение, перешедшее под конец в какое-то весьма приязненное чувство, и всегда ценил мои труды,[2] конечно выше того, чего они стоили. Он все ожидал, что война с Англией не состоится или внезапно кончится и что он в состоянии будет оканчивать свои поручения в Японии и Китае в тех же размерах и не торопясь, как начал, причем ему необходим

будет и секретарь. Но известия о разрыве с Англией были так положительны, что надо было думать только о защите фрегата и чести русского флага, следовательно, плавание наше, направленное к мирной и определенной цели, изменялось. Фрегат должен будет крейсировать, может быть, драться, и если и зайдет в Японию, то мимоходом и, вероятно, ненадолго. Словом, цель путешествия изменилась, с этим прекратилась и надобность во мне. Может быть, фрегату придется ходить по нейтральным портам или долго простоять в одном из них: во всем этом мне нет никаких занятий, и я понапрасну странствовал бы по морям. Все это дало адмиралу возможность предоставить мне возвратиться через Сибирь в свое министерство, что я и исполняю. Генерал-губернатор Сибири Н. Н. Муравьев был в августе в Татарском проливе и на шкуне «Восток» возвращался Охотским морем в Аян, оттуда в Иркутск. Я и некоторые возвращающиеся в Россию с «Паллады» офицеры примкнули к нему и шумной толпой высыпали в половине августа на отечественный берег. Едва я ступил на родную почву, как перестал быть путешественником; я вдруг стал *проезжим*. Ведь в России нет путешественников, все *проезжие*. И я вдруг почувствовал, как умалилось достоинство моего звания, когда мне вручили подорожную по казенной надобности с будущим при мне. А между тем истинное путешествие в старинном трудном смысле, словом, подвиг только с этого времени и начался. Да, Евгения Петровна, Вы в письме своем называете меня героем, но что за геройство совершить прекрасное плавание на большом судне, с роскошными каютами, с кухней, библиотекой и в обществе умных людей, по местам, каких и во сне не увидишь? Нет, вот геройство, проехать 10 500 верст берегом, вдоль целой части света и местами, где нет дорог, где почти нет почвы под ногами, все болота, где нет людей, откуда и звери бегут прочь: страшные пустыни, леса, громады гор, горные потоки, все эти леса, горы и реки без имени, некому назвать их. К сожалению, я в этом подвиге не герой. Я проехал всего 1200 верст, то есть десятую часть предстоящего мне пути, и изнемогаю от тоски и нездоровья. В Аяне объявили мне, что вещей с собой много брать нельзя, что вся поклажа везется не на повозках, а на вьючных лошадях, что на каждую лошадь вьючат от 3 до 5 пуд. Я подарил все свои книги одному из наших новых поселений в Татарском проливе и роздал на фрегате весь запас манильских сигар. Потом сказали мне, что 200 верст надо ехать верхом, потом 600 верст рекой Майей, потом 180 верст опять верхом, потом уже 200 верст до самого Якутска на телегах и только под самым Якутском, мол, переправитесь вы через Лену, а там она 9 верст ширины. Все это было бы очень смешно, ежели не было так скучно. [3] Да, Вам смешно, сидя дома, я знаю. Вы уж хохочете, читая это. А мне каково? Двадцать лет я не садился на лошадь, да когда и садился, так всегда чувствовал себя совершенно в ее распоряжении. «А нет ли другого способа езды?» — спросил я. «Есть, в качалке, на двух лошадях, одна спереди, другая сзади»,— говорят мне. «Так вот прекрасно, я поеду». Но мне говорят, что в качалке возят больных старух. И это не поколебало меня, равно как и то, что вот такая-то женщина приехала верхом (сидя по-мужски, дамских седел нет) и такая-то уехала. Я все-таки заказал качалку и, может быть, поехал бы.

Но один из приятелей, зная мой характер, ни слова не говоря, в день отъезда велел подать к крыльцу оседланную лошадь. Спрашиваю, где качалка? Говорят, не готова. Я сел на лошадь и поехал и вдруг вспомнил, что я когда-то гонялся за зайцами верхом. Эта воспоминание так помогло мне, что я в первый день сделал 30 верст и насилу слез с лошади, а потом уже делал по 40 верст, не сходя с седла, и жалел только, что ночь мешала ехать дальше. Мы все разделились на партии, по два и по три человека. Генер<ал>-губернатор уехал с своими вперед дня за три до нас. Я ехал с двумя офицерами.[4] У нас четыре человека прислуги, у меня повар, он же и лакей. Это адмиральский повар, отпущенный со мною домой. Повар этот — немалое утешение для меня. Сколько раз, мучимый предвкушением огромного пути, лежал я в дымной, грязной юрте или на лодке на Майе и постепенно успокоивался, глядя, как этот повар суетится со сковородой около якутского чувала или около разложенного на носу лодки огня, как успешно поджаривается котлетка или нами же застреленная на реке утка и один раз купленные мною у якута только что убитые рябчики. Мрачные мысли тихохонько исчезали, я на минуту мирился с судьбой и кушал. Зато сколько раз, среди болот, я в отчаянии слезал с лошади, садился или ложился на поваленный пень и почти решился не ехать вперед, а остаться в лесу. На какую гору поднимались мы! Еще об ней в Аяне говорили, как об якутском Монблане, но когда мне показали на нее и сказали, что через нее лежит путь, я засмеялся и не поверил. А вышло правда: на нее надо было идти пешком, ехать нельзя, лошади без всадников одни насилу входят, и то кувыркаются вниз головой. На вершине ее, на самом крутом месте лежит глыба не растаявшего и никогда не тающего льда. Крутизна самая всего с версту, но зато это совершенная стена, и по ней идут зигзагами. Гора вся состоит из острых неровных больших камней, которые катятся под ногами. Это-то и помогает идти. Зимой ходят в сапогах с подковами, а сани, оленей и пассажиров (прикрепив к санкам) сталкивают с крутизны вниз, потому что съехать нельзя. Гора по-якутски называется *Джукджур*, что значит «большая выпуклость». Я нанял двух якутов: одного держал за кушак, и он тащил меня, а другой сзади подталкивал, и то я семь раз садился отдыхать. Кроме того, всем путешественникам, виноват, проезжим, якуты раздают по толстой палке. У одного якута, который меня вел, пошла, от напряжения, носом кровь.

Это была довольно оригинальная картина, и я, несмотря на усталость, любовался ею, когда все наши лошади, числом с вьючными и провожатыми всего 17, изломанной линией потянулись при понудительных криках якутов по горе, спотыкаясь, падая и перевертываясь; камни как будто заговорили, катясь из-под ног. В разных местах взбирались с трудом, в поте лица, люди. Среди всего этого меня поразило одно явление: Тимофей, мой человек и повар, вижу, с распущенными врозь руками, с растрепанными волосами, стремительно бежит по горе, вперегонку со своей лошадью: она прибавит шагу, он вдвое. «Куда ты, зачем, стой, с ума сошел»,— кричат ему. Он махнул рукой и бежит дальше, откуда взялись эти сверхъестественные силы? Никто не мог понять, что это значит. Явление почти фантастическое. Он с лошадью прежде всех взбежал наверх. Я стал его спрашивать о

причине. «Однажды... в Константинополе... с барином...» Одышка не давала ему говорить, мы отложили объяснение до ночлега и, выпив по рюмке уцелевшего портвейна, отправились дальше. Каким гамбсовским креслом [5] показалось мне седло после этого восхождения, как покойно и торжественно ехал я остальные 25 верст. В юрте Тимофей объяснил мне, что «однажды в Турции с барином он ехал из Буюкдере в Константинополь верхом и, слезши на минуту с лошади (зачем, не объяснил), нечаянно выпустил из рук уздечку, и лошадь убежала, а он прошел 15 верст пешком».— «Ну, так что ж».— «Так я боялся, что и теперь лошадь уйдет вперед одна, а я останусь». С одним из моих спутников, именно с князем Оболенским, приехал из деревни, кругом Америки, на «Диане», его кучер. Тот тешил меня еще больше Тимофея своим воззрением на виденные им страны, *Сандвичевские* острова, *Апаразию* (Вальпарайсо) etc., его обращение с змеиными шкурами, разными редкостями, взятыми князем, и, между прочим, камнями с разных гор. Он просил сделать божескую милость позволить выбросить камни, говоря, что белья и других хороших вещей некуда деть, а тут каменья вози, а уж ежели возить каменья, так просил взять один камень для точила, который увидал где-то в Бразилии. Между тем сам он, тихонько от барина, запрятал еще на Сандвич⟨евых⟩ островах в чемодан несколько кокосовых орехов. «Зачем ты набрал этого? — спросил князь,— разве не наелся там, нравится тебе, что ли, это?» «Нет, это все пустое,— с презрением отвечал Иван относительно вкуса кокоса и вообще всех тропических плодов; — а я видел в Москве в одной лавке, как барин какой-то купил по 5 целковых за штуку, так вот хорошо бы привезти». Когда наконец он добрался до седла, то весело засмеялся: «Любезное дело — верхом ехать»,— воскликнул он, и гора ему не гора, кочка не кочка.

Меня болота доехали. Лошадь уходит по брюхо, а иногда не в силах вытащить ног, дергает, дергает то той, то другой ногой и ляжет на бок. Если болото слишком глубоко, тогда пускались в объезд, целиком по лесу, сквозь сучья, через наваленные грудой пни, через ямы, так что и умная, осторожная якутская лошадь задумывалась и не шла. А сколько горных речек переехали вброд: они все необыкновенно быстрые, и дно усеяно острыми каменьями. Лошадь выходит на противуположный берег гораздо ниже того места, где вошла в реку, так сильно течение. Частенько ноги седока почти что по колено уходят в воду. Все бы это ничего. Но настали утренние легкие морозы, и у меня зябли немного ноги, зябли и у других, но потом согрелись, и все прошло, а у меня стали гореть и теперь пухнут. Я, кажется, приобрел ревматизм. В лодке ногам было еще холоднее, и когда я в 18-й день дотащился до Якутска, зуд и жар в ногах усилились, и я не знаю, как я пущусь по Лене. А по ней до Иркутска около 3000 верст. Ездят в почтовых лодках, но скоро пойдет лед, тогда пришлось бы ехать берегом и опять верхом: другого способа ездить по берегу нет. А не ехать берегом, так надо ждать здесь, пока Лена установится, что случается в конце октября или в первых числах ноября. Это ужасно, это двухмесячная ссылка. Товарищи мои все уехали, я остался один. Сегодня был у меня доктор и прописал спирт, не знаю, что будет. Губернатор К. Н. Григорьев

и преосвященный Иннокентий, здешний архиепископ, и другие тоже уговаривают остаться и подождать зимнего пути, говоря, что если я пущусь теперь, то все-таки должен буду остановиться, когда лед пойдет, где-нибудь на полдороге и ожидать зимы на скверной станции. Не знаю, я еще ни на что не решился. Живу на квартире, где имею и стол. Здесь даже нет и трактира. Столица якутская так жалка и бедна, что больно смотреть. Сотни три-четыре чуть живых деревянных домов, один только каменный, да 6 церквей, вот и все. Общество состоит из нескольких чиновников, почти бессемейных, следов женского общества нет. Я не называю женщинами якуток: это коровы на задних ногах. Две из них приходили ко мне продавать будто вещи из мамонтовой кости, но это только был предлог, а собственно они умышляли против моей добродетели, но нашли во мне, как Вы конечно и ожидаете, прекрасного Иосифа [6] да еще с хлыстом и тростью к их услугам. Но пора спать, дня через два припишу еще. Если останусь здесь до зимы и не съест меня хандра и ревматизм, то надеюсь привести в порядок хоть часть путевых своих записок. Да еще прежде надо решить, годятся ли они, можно ли хоть что-нибудь извлечь из них.

Перечитывая это письмо, я в одном месте наткнулся на выражение: «уцелевшего вина»: это вот что значит. Люди наши, числом четверо, на второй или третьей станции от Джукджура донесли нам, что весь запас наш вина и водки упал, якобы, с опрокинувшейся лошадью на горе и разбился о каменья; а остались-де всего две бутылки портвейна. Так мы до самого Якутска и странствовали весьма патриархально, то есть трезво. На всем этом пространстве нельзя достать не только вина, даже хлеба; пустыня впереди, пустыня сзади, и по сторонам тоже, с одной, до китайских границ, с другой, до Ледовитого моря. Везде рассеяны юрты якутов да изредка встретишь кочевья оленных тунгусов. В двух, впрочем, слободках русских переселенцев по Майе можно найти хлеб, мясо, а по станкам (станциям) и овощи.

Я не жаловался на пролитие вина на горе, потому что редко так бывал здоров желудком, как тут без вина. Худо то, что люди наши, из которых каждый, будучи взят отдельно, препорядочный малый, а вместе все они образовали быстро *лакейскую*, со всеми ее гнусностями, не исключая и запаха. Лень, сон, вялость и прожорливость не знали границ. Когда надо, их не докличешься, когда не надо, они стоят и слушают, разиня рот, не касающийся до них разговор, быстро уничтожают целые головы сахару и *проливают* по горам вино. Но вот мы расстались; товарищи мои едут по Лене на лодке, наслаждаясь покойною прогулкою по такой погоде, какая, говорят, никогда не бывает в Якутске, особенно в сентябре. Теперь будто май. Обыкновенное благорастворение воздуха здесь от 30 до 40° мороза, а губернатор сказывал, что доходило в прошлом году до 48°. Я сомневаюсь в возможности одолеть этот путь, боясь, чтобы со мной не случилось чего-нибудь серьезно-неприятного. На огромном протяжении на 3000 верст от Якутска до Иркутска есть всего два городишка Олекма и Киренск, то есть куча лачуг, где можно достать хлеба, а то все надо брать с собой. Наконец, пусть одолею я и этот путь, подумайте, что от Иркутска до вас

еще 6000 верст. Ну, скажите на милость: что значит в сравнении с такими пространствами и переездами по ним похождения древних, хотя бы самих изральтян или рыцарей в Палестину [7] и т. п.? А мы немели от ужаса и удивления, читая их! [8] Когда я буду в Казани, в Симбирске, в Москве, в Петербурге и буду ли еще? Морем было ближе до всего этого! Пока до свидания: еду с визитами и, между прочим, надо хлопотать о *кухлянке, дохе, торбасах* и *малахае*. Кухлянка — это рубашка по покрою, из оленьей шерсти, доха — козья шкура, вместо шубы; торбасы — меховые сапоги, из которых в каждый можно спрятать Вас, Катерина Павловна, и с маленькой Евгенией; малахай — шапка. Мне уж принесли медвежьих шкур, без которых нельзя и выехать. Их подстилают под себя, ими покрываются. Я насладился поэзией жаркого пояса не только благополучно, даже счастливо: каково перенесу полярную поэзию? Я люблю все подбирать ключ к близким мне событиям и никак не приберу его вот к этому, то есть не могу решить, зачем это пало на мою долю выпить эти две чаши, горячую и холодную, и что толку от этого опыта как мне самому, так и другим. А все Вы, хрупкий и нежный друг мой, Евгения Петровна, наделали! Не правда ли, Николай Аполлонович; без Евгении Петровны ведь я бы сидел теперь покойно и нянчил *наших* внучат? Едучи верхом, я, между прочим, из толпы одолевавших меня воспоминаний остановился с особенным удовольствием на одном, именно припомнил, как Василий Петр⟨ович⟩ и Люб⟨овь⟩ Ив⟨ановна⟩ собирались в Чернигов, как об этом говорено было целую зиму, как Василий Петр⟨ович⟩ заказал целый ковчег и ежедневно ездил смотреть, прочен ли он, поместителен ли, как купил себе несессер с ящиками, баночками, графинчиками — и как они недели две, при всем желании, пытались выехать и насилу выехали и все это, чтоб сделать тысячу верст. Я вспомнил все это и прегромко засмеялся в лесу. Припомните это им и поклонитесь от меня душевно. Если Анна Вас⟨ильевна⟩ не вышла еще замуж, так попросите погодить: скоро, мол, будет. У меня всего три седых волоса, а впрочем, я стал красивее, то есть потолще.

Весь и всегда Ваш
И. Гончаров

Вы, Аполлон, пишете, что Анна Ив⟨ановна⟩ писала ко мне, вместе с Вами, через Америку. Да я те письма все получил, и Вы конечно получили уже мои ответы. Если мало Вам нынешнего моего письма, то не отчаивайтесь, я прибавлю к нему еще, потому что почта идет через две недели. Поручаю Вам изъявить Анне Ив⟨ановне⟩ какую-нибудь нежность за меня, а Старику — Старушке. Узнайте, получили ли мои письма Яз⟨ыковы⟩, Коре⟨нев⟩, Бенедикт⟨ов⟩ и маленькую записочку Никитенко. Кланяйтесь Андрею Алекс⟨андровичу⟩ и скажите ему, что я часто о нем думаю и забочусь. Степану Семеновичу [9] и Яновскому тоже и другим равномерно.

P. S. Краевскому не кланяйтесь, я сам написал к нему. Что это значит, что мне никто не скажет о Солоницыне? [10] О нем, кажется, как будто о бежавшей из родительского дома с любовником дочери, стараются не

говорить в огорченном семействе. Ужели это так? да что ж он делает? Играет на бильярде, теперь уже почти как я? или в карты в клубе? Потом еще что?

Вам, Льховский, жму руку: не сетую, не знаю отчего, что Вы не написали; хотя бы Вы мне сделали этим бездну удовольствия. Будете ли Вы, при свидании, тем же милым Льховским ко мне, каким были, скажите хоть это?

Писать ко мне больше не следует, потому что я и сам не знаю, где и когда я буду.

Вам, милый Капитан, угрожаю своим приездом. Если письма мои Вам покажутся коротки, так Вы сделайте для меня собственно вечер (с кулебякою из осетрины), а я Вас угощу повестями, которые будут подлиннее Ваших чатырдагских и лопухинских рассказов.[11]

32

А. А. Краевскому

Якутск ⟨14⟩ сентября ⟨— 25 ноября⟩ *1854.*

Любезнейший и почтеннейший Андрей Александрович. По-настоящему мне бы не следовало писать туда, куда еду сам, а скорее назад, где был, в Китай или Индию, но возвращение мое восвояси, ко всему отечественному, между прочим и к «Запискам»,[1] совершается с медленностию, истинно одиссеевскою, и между началом и концом этого возвращения лежит треть года, две трети полушария и половина царства. Стало быть, написать можно, тем более из Якутска, откуда Вы едва ли от кого-нибудь и когда-нибудь получали письма. Медленность странствия моего происходит: частию от употребительного здесь и тоже достойного гомеровской эпохи способа езды, то верхом, то на лодке, а инде пешком, где нет ни земли, ни воды под ногами, а есть своего рода пятая стихия, тундры, то есть мох, прикрывающий тину, воду, переплетшиеся корни деревьев и еще многое другое, о чем, может быть, «не грезилось нашим геологам»,[2] частию же от опухоли в ногах, приобретенной мной не то в лодке, не то на лошади, среди болот, при легких утренних морозцах, которые так полезны для рябины и других плодов здешнего климата и совсем бесполезны для ног. Все эти обстоятельства заставляют меня пробыть в столице якутского царства долее, нежели нужно вообще и нежели я желал в особенности. Если опухоль скоро не опадет, то, пожалуй, придется сидеть у берега и ждать буквально погоды, зимней, когда станет Лена, а это может случиться месяца через полтора. Берегом, или, как здесь говорят, *горой*, можно ехать, только все-таки верхом, другого способа нет, и не при одних только утренних морозцах. От нечего делать я осматривал здешнюю столицу. В ней много замечательного, есть и древности, например остатки деревянной крепостной стены с башнями и гостиный двор. Крепость построена казаками, за 200 лет, для защиты от набегов якутов, которых

казаки сами же и притесняли. Твердыня очень тверда, топор не берет дерева, отчего оно и предпочитается здешними мещанами, при постройке домов, всякому новому еловому и сосновому дереву, за которым еще надо ездить в лес, тогда как это лежит готовое на площади. Губернатор [3] велел, однако, огородить эту древность забором, не против набегов мещан и не из антикварских побуждений, а потому, что стены и башни клонятся все на сторону, между тем якутки ходят садиться в тень ее, затем ли, чтоб оплакивать свой Иерихон, [4] или с другою, более практическою целью, этого я, в своих ученых исследованиях, добиться не мог. Гостиный двор — здание превеличественное, облезлое, выцветшее, заплеванное, засморканное и зачиханное, что все придает ему зеленовато-античный вид. Его засморкало время, больше некому, купцов нет, они все сидят дома, и лавки отпираются, когда являются покупатели. Затем следуют допотопные древности, гребни и коробочки из мамонтовой кости, с древними надписями на русском языке, видимыми еще и поныне на фарфоровых чашках: «В знак любве» и т. п. Гребня я себе не купил: плохо сделаны, никак не расчешешь волос... Есть еще здесь шесть церквей и сотни три-четыре домов, всё деревянные, кроме одного, и все похожие на дом Бабы-Яги, не исключая и губернаторского. Вот и Якутск. Лена, говорят, прекрасна и широка даже, говорят мне, я живу на самом ее берегу. Не знаю, может быть, я ее не видал, хотя даже переправился через нее. Я вижу из окошек огромные луга, пески, болота и озера, но под этим всем мне велят разуметь Лену.

Путешествие мое по Якутской области, то есть от Охотского моря до сих древних стен, представило мне несколько замечательных фактов. Майковы, если при свидании спросите их, подробнее расскажут обо всем, между прочим и о том, как, вступив на наши берега, я из путешественника вдруг обратился только в *проезжего*, потом как мы (с товарищи) втроем совершили этот переезд с патриархальной трезвостью, достойной самого патера Mathew, по милости наших слуг, которые *пролили* весь запас господского вина и водки на *Джукджуре*, якутском Монблане, а достать его было нельзя, и от Аяна до Якутска пьяных — хоть шаром покати — не встретишь ни одного; как далее вязли в болотах, карабкались над пропастями, терялись в лесах и т. д. Всего замечательнее мне показалось, что здесь якуты не учатся по-русски, а русские по-якутски говорят до непозволительной степени. В одной юрте вижу хорошенькую, беленькую девочку лет 11, у которой скулы не похожи на оглобли и нет медвежьей шерсти на голове, вместо волос,— словом, русскую. Спрашиваю, как ее зовут: «Она не говорит по-русски»,— отвечает Егор Петров Бушков, мещанин, содержатель почтовых лошадей, ее отец. «Что так? Мать у ней якутка?» — «Никак нет, русская».— «Отчего ж она не говорит по-русски?» Молчание. Далее Егор Петрович, везя меня, встретил в одной слободе с лица русского человека и заговорил с ним по-якутски. «Кто это?»— спросил я. «Брат мой».— «Да он говорит по-русски?» — «Как же, он природный русский!» — «Зачем же вы говорите по-якутски?» Молчание. И всю дорогу везде подобные случаи. Станционные смотрители, все русские, говорят с ямщиками по-якутски. Мало того: на одной станции съехался я с двумя чинов-

никами, такими же, как мы все, в вицмундирах. Мы разменялись поклонами и молча глядели друг на друга. Один из них обратился к ямщикам и на чистейшем якутском диалекте отдал приказание, за ним другой тоже. Я так и ждал, что вдруг они спросят меня: «Parlez-vous yacouth?»,* и чувствовал, что, краснея от смущения, ответил бы, как бывало в детстве: «Non, monsieur», ** когда спрашивали: «Parlez-vous français?» *** Здесь есть целая русская слобода, Амгинская, на реке Амге, где почти ни один русский не говорит, то есть не знает, по-русски, а все по-якутски. Чего! недавно только дамы в Якутске, жены и дочери чиновников, перестали в публичных собраниях говорить этим языком. Вы, может быть, подумаете, что все это так, анекдоты, литературный прием á la Dumas:[5] клянусь Вашей сединой, все правда. Последний случай я почерпнул из верных рук. Не только язык, даже начали перенимать обычаи у якутов, отдавали детей на воспитание якуткам, которые прививали им свои нравы и многое другое, между прочим сифилис. Но теперь зло остановлено.

Вы, конечно, спросите, что я делаю. Да теперь пока вот что: вчера и сегодня, например. Лежу, а не сижу, как Манилов на балконе,[6] лежу в полумраке, ноги натерты спиртом и зудят до смерти. У меня нет желаний ни ехать вперед 9500 верст, ни назад 20 000 миль опять по морям. Закроешь глаза, мерещится крупная надпись: «Очерк истории Якутской области. Исторический опыт в двух частях И.**** Г.; с приложениями, картами, литографическими снимками замечательнейших рукописей, хранящихся в Якутском архиве, 1855 г., СПб. В типогр. Э. Праца. Цена 5 руб. сер〈ебром〉». Ведь завлекательно! В перспективе рисуется академический венок, Демидовская премия,[7] потом отличный разбор Дудышкина в «От〈ечественных〉 зап〈исках〉», где я поместил прежде большой отрывок и взял с Вас неимоверное количество денег.

Я уж говорил с преосв〈ященным〉 Иннокентием и думал, не шутя, выманить что-нибудь для Вас, но он человек такого, как говорит немецкий булочник Каратыгина, *здорового* ума,[8] что у него не выманишь. Сам он, как видно, трудится и над историей и над языком якутов, но если будет издавать, то осторожно, «потому что я в этом случае буду единственным авторитетом,— говорит его преосв〈ященст〉во,— которому, конечно, поверят, следоват〈ельно〉, надо говорить верно, а верного мало». Есть еще здесь любитель древностей, купец Москвин, с которым увижусь. Ну, как они да на беду мою дадут мне сведения, источники: что я стану с ними делать? хуже, чем Манилов с своим мостом. Я целиком отошлю или отвезу к Вам, а Вы делайте, что хотите.

Иногда я просматриваю свои путевые тетради — какая нагая пустота! никакой учености, нет даже статистических данных, цифр — ничего. Ну, как пошлешь что-нибудь к Вам и что? Вот на выдержку вынулся «Шанхай»: нет, нельзя: тут много ипотез чересчур смелых, надо сверить с какими-нибудь источниками, а я не мог одолеть даже отца Иоакинфа,

* «Вы говорите по-якутски?» *(франц.)*,— *Ред.*
** «Нет, сударь» *(франц.)*,— *Ред.*
*** «Вы говорите по-французски?» *(франц.)*,— *Ред.*
**** *В рукописи, вероятно ошибочно:* Н.

а уж он ли не весело пишет? «Сингапур» — тут много восторгов: не по летам. Ищу «Мадеры» (острова), но напрасно шарю рукой, я вспомнил, что она еще в проекте, как «Очерк истории Якутской области»; «Мыс Доброй Надежды» — это целая книга, с претензиями на исторический взгляд: надо повыкрасть кое-каких данных из других путешествий; «Анжер» на Яве — годится, да всего три страницы. «Манила»... вот Манилу бы хорошо, она готова почти, да того... не переписана, а здесь писарей не видать. Да и кто пойдет сюда в писаря, когда вина так мало, а какое и есть, так то проливается на горах? Вот к Майковым, если не поленюсь, так выпишу страницы две о том, как мы изловили акулу, единственно потому, что они рыболовы. Если эта страница будет годиться в печать, то тисните ее, пожалуй, куда-нибудь подальше в «Смесь», [9] где тискаются разные подобного рода анекдоты из иностр⟨анных⟩ журналов, но только *без подписи имени,* conditio sine qua non. * Совестно, слишком ничтожно, да и в «Смеси» под статьями не подписываются. О помещении же чего-нибудь побольше в «О⟨течественных⟩ з⟨аписках⟩» из моих записок мы потолкуем при свидании, если только пожелаете Вы. Благодарю Вас за присылку выканюченного у Вас Языковым экземпляра «О⟨течественных⟩ з⟨аписок⟩», но я их, вместе с своими книгами, отдал одному из наших новых поселений в Татарск⟨ом⟩ проливе, где еще нет никаких записок. Приношение принято с благодарностью.

Будьте здоровы и не забудьте искренно преданного

Гончарова.

С. С. Дудышкину зело кланяюсь: не пишу потому, что полагаю, когда он будет у Вас, Вы дадите ему прочесть это письмо, из которого он и узрит, что я, где и как. Домашним Вашим, то есть Елизавете Яков⟨левне⟩, мое почтение, чадам тоже; на них советую положить метки, как на белье, чтоб гости, в том числе и я, могли узнавать, который Евгений, который Александр.

Если у Вас по-прежнему бывают Заблоцкие, Милютины, [10] Арапетов, [11] Никитенко, всем им при случае прошу напомнить обо мне и кланяться. Если видитесь с кн. Одоевским — и ему, подвернется Соллогуб, [12] и тому поклонитесь, наконец, даже и Алексею Гр⟨игорьевичу⟩ Теплякову.[13] Уж если будете кланяться Теплякову, так почему ж не поклониться и Элькану.

33

Ю. Д. Ефремовой

Якутск, 15 сентября ⟨1854 г.⟩

Прекрасный друг мой, Юния Дмитриевна. Писанное Вами за год и, конечно, уже забытое теперь письмо я получил с «Дианой» и обрадовался ему, как голосу сестры и друга. Нужды нет, что Вы прочтете большое письмо к Майковым,[1] прочтите и это, собственно к Вам. Мне так приятно

* обязательное условие (*лат.*).— *Ред.*

вызвать мысленно Вас издалека сюда, в глухой и пустынный Якутск, посадить Вас вот хоть на медвежью шкуру и не наглядеться на Вас, слушать и не наслушаться, говорить и не наговориться. Ведь это любовь, душа моя, право, должно быть, любовь! Я даже чувствую сладкий трепет, воображая, как бы крепко я с Вами поздоровался; или это, может быть, так после бани мне кажется. Что бы там ни было, но если мне предстоит пробыть здесь ужасных полтора-два месяца, что может свести с ума и не такую нетерпеливую голову, какова моя. Я только одну отраду и вижу в моем заточении: это надеяться на свидание с друзьями, и в этой надежде время от времени писать к ним, воображать их здесь, говорить с ними, как я делаю теперь и делал вчера с Майковыми. Даже некоторые из здешних жителей как будто из жалости советуют мне уезжать скорей. Только архиерей да губернатор желают, чтобы я остался, и некоторые другие, из эгоизма, как они говорят. Это очень лестно, но еще более скучно. Н. Н. Муравьев (генерал-губернатор В⟨осточной⟩ Сибири) был тоже как нельзя более любезен, звал в Иркутск дождаться там зимы. Вот в этом приглашении больше заманчивого: там большое и порядочное общество, разнообразие в людях, жизненные удобства, наконец, женщины, которых я так давно не видел, по крайней мере русских. Все-таки то — столица Сибири, а здесь, боже мой, деревня с претензиями быть городом. Что это судьба делает со мной? Куда забросила меня? Ужели мало показалось ей моего скитания по океанам, по зною, по диким и пустым берегам, по негостеприимным странам, как Япония и Китай, наконец, по сибирским тундрам. Надо, видно, истомиться и истощиться мне до конца и нравственно, как истомился я материально, и приехать к Вам хуже и старее всякой затасканной тряпки. Зачем это? Чтобы умереть? Но это можно было бы сделать проще и короче. Чтобы лучше жить? Но после такой ломки трудно жить. Мне уж и не желается как-то ничего и не снится надежд никаких, и вял я сделался, а ведь, если жить, так надо работать, хоть для пропитания. Но что это я, чем занимаю Вас: ропотом? Прочь эти мрачные мысли, передо мной теперь Вы, с ясным взглядом и дружеской улыбкой. Не до тоски мне. Она временно только набегает на меня шквалами. (Простите моряку за выражение.) Если б я отдался ей совсем, то был бы не достоин... хоть дружбы такой милой женщины, как Вы. В письме к Майковым Вы прочтете, что у меня сделалась опухоль в ногах. Еще не знаю, что это такое. Был доктор, но и тот еще ничего не решил, а между тем завтра же надо уезжать или ждать здесь зимы. Как я поеду: если случится подобное в дороге, то можно умереть, не имея пособий. До Иркутска 3000 верст, и только два городишка и то зауряд.

Прощайте или до свидания, как богу угодно. Поклонитесь хорошенько Александру Пав⟨ловичу⟩ да поцелуйте Феню. Попеняйте на досуге Льховскому, что он меня забыл. Теперь уж не пишите ко мне, бесполезно. Если я пробуду и два месяца здесь, все-таки письмо не успеет оборотиться, разве что я останусь здесь до весны или целую вечность, что все равно и от чего боже храни.

Весь Ваш
Гончаров

34

К. Н. Григорьеву

⟨31 декабря 1854 — 15 января 1855. Иркутск⟩

Милостивый государь Константин Никифорович,

не могу уехать из Сибири, не засвидетельствовав Вашему превосходительству еще раз искренней благодарности за постоянное радушие, которым Вы заставляли меня забывать скуку двухмесячного пребывания моего в Якутске. Вы лишили меня всякого права жаловаться на Якутск в каком бы то ни было отношении, начиная с самого города до границы области, то есть до Каменской станции включительно. Но зато с Жербинской станции начались мои дорожные мучения: там господствует совершенная анархия, на которую я грозил пожаловаться государю императору, потом генерал-губернатору, наконец, самому исправнику. Только последняя угроза и расшевелила ямщиков. Но окончательно подействовали на них волостные старшины, через посредство которых я только и мог получить лошадей. До этой печальной станции мы ехали целым обществом и очень весело. Душою нашего общества был Павел Петрович Лейман, который переходил из экипажа в экипаж, но более проводил время в возке Крамера.[1] Я думал, что он укрывается там от жестоких морозов и находил это весьма естественным, но когда он воротился от нас назад, муж горько жаловался мне, что Павел Петрович, сверх прямых своих обязанностей, то есть осмотра станций, занимался дорогой, лежа в возке, еще тем, что ловил m-me Крамер за ноги. Они все уехали от меня вперед, и я, прибывши на Жербинскую станцию, Крамеров не застал, а нашел только одного Павла Петровича, выбритого, расфранченного и с лукавым выражением на лице.

Могу ли просить покорнейше Ваше превосходительство взять на себя труд выразить чувства моей признательности его преосвященству за его благосклонное ко мне расположение, которым я так дорожу и которое постараюсь сохранить за собой и на будущее время? Не имея теперь достаточного повода, я не решаюсь тревожить владыку особым письмом, но как только представится удобный случай, я возьму на себя эту смелость. Я недаром противился советам преосвященного насчет дороги: морозы созданы как будто не для меня, или уж я чересчур нагрелся в тропиках, только я в одной дохе сносил их весьма равнодушно, ни разу не почувствовав нужды ни в медвежьем одеяле, ни в меховых горностаевых панталонах, которыми советовал запастись его преосв⟨ященст⟩во. И мне остается пожалеть, что не заказал себе таких панталон, разве только потому, что, по приезде в Петербург, нечего будет подарить дамам на шапки и на муфты. Наледей я, правда, видел много, но только больше у себя под носом. Сосульки, бахромой висевшие на шапке, капали оттуда на брови, с бровей на нос и под носом постоянно присутствовала глыба льда, от чего у меня и образовались две шишки, одна в носу, другая в роту, с нестерпимою болью. Я, по милости их, отчаивался уже видеть Иркутск, но доктор вылечил меня с неимоверной быстротой: он приложил к шишкам винную

ягоду, а на другой день ткнул меня одним пальцем в нос, другим в рот, шишки прорвались и я через день был уже у Николая Николаевича, [2] потом на бале в Собрании. Достопримечательностей у Лены я почти не видал, то есть знаменитых *столбов и щек,*[3] потому что больше интересовался поверстными столбами и наблюдал за своими собственными щеками, стараясь уберечь их от ознобов на реке и от сучьев в лесу и вообще от всяких подобных путевых впечатлений.

Морозы, однако ж, мешали спать в экипаже: если не закрываться, мерзнул нос, закроешь лицо, того и гляди задохнешься. Вот отчего поневоле приходилось останавливаться ночью на несколько часов для отдыха. Не мудрено после этого, что путешествие мое кончилось только 24-го декабря ночью. Два дня я просидел дома, а 27-го выехал. В тот день я обедал у Николая Николаевича, а на другой день у К. К. Венцеля. Мне подтвердилось все, что Вы говорили мне об этом семействе. Добрее и радушнее людей найти трудно. Я передал им Ваш поклон. Карл Карлович сказал, что он ожидал Вас самих и что Вы обещали у него остановиться. Николай Николаевич встретил меня так же благосклонно и ласково, как и на устьях Амура, и вместо того, чтобы гнать вон за неумеренно долгое пребывание в Якутске, он, со свойственною ему любезностью, приглашает погостить.

Здесь все ожидают большого бала, который он собирается дать.

Я бы за приятный труд счел сообщить Вам здешние новости, но задолго вперед до этого письма отправляются гг. Мартынов и князь Энгалычев курьерами, первый в Камчатку, второй в Аян: они конечно передадут Вам все. К сожалению, я не застал здесь ни Буссе, ни Козаневича, [4] ни Волконского, но зато имел удовольствие познакомиться с г. Корсаковым. [5]

Затем имею честь, с искренним уважением и преданностию быть

Вашего превосходительства
покорнейшим слугою.
И. Гончаров

Иркутск
31 декабря 1854.

Кланяюсь усердно И. П. Антонову [6] и Николаю Ивановичу: кончилась ли их ссора? Исполнил ли Николай Ив<анович> мое поручение поцеловать Дарью, мерячку?

13-го января. Письмо залежалось до сих пор. Я еду отсюда 15-го января. Унковский приехал: он в восторге от Вас и от Якутска.

35

М. С. Волконскому

13 января 1855.

Я в большом горе, почтеннейший Михайло Сергеевич, что не имел удовольствия застать Вас в Иркутске. Несмотря на то, я взял смелость

представиться Вашему семейству, которым был принят весьма любезно и внимательно. К сожалению, недостаток времени, а еще более совестливость помешали мне пользоваться приятным приглашением Вашего семейства бывать в нем чаще. При Вас я бы считал себя более вправе на то, а без Вас совестился беспокоить членов Вашего дома своим появлением. Оправдайте меня перед ними.

Вас самих не знаю как и благодарить за Ваше внимание ко мне в Аяне. Между прочим, я вспомнил, что Вы желали иметь мой резинковый непромокаемый плащ для летних Ваших поездок; сегодня с этим письмом отвезу его к Вам в дом. Пусть он напомнит Вам обо мне где-нибудь на аянской дороге или за Байкалом. Мне не совестно его предложить Вам на память, потому что я не надевал его и двух раз и он совсем нов, хотя и измят в чемодане.

Не прощаюсь с Вами, а говорю до свидания, в надежде увидеться когда-нибудь за Уральским хребтом.

Будьте уверены в моем к Вам искреннем уважении.

И. Гончаров

36

Е. П. и Н. А. Майковым

13 января 1855.
Иркутск.

Как это случилось, что я сегодня получил Ваши письма, из которых одно и то же писано от января 1853 и сентября 1854 года и адресовано и в Иркутск и в Японию? Как ни приятно получить такое письмо, но все-таки странно.

Я так живо сочувствую тому, что движет Вас и всю Русь в настоящее время, что прощаю Вам, друг мой Евгения Петровна, письмо Ваше, наполненное политическими новостями. Я иначе не надеюсь Вас видеть по приезде в Петербург, как с пикой в руках, в чепце немного на сторону, как Вы спешите на дрянном извозчике, но по таксе, мимо Гостиного двора, не удостоив взгляда даже голландские лавки, прямо на Английскую набережную отражать нападение союзников. [1] Вам, милый мой Аполлон, сочувствую и делом: в Якутске прочитал я Ваш фельетон в СПб. вед⟨омостях⟩ 11 август⟨а⟩ 1854 года № 176 и тотчас же отбросил путевые записки, которыми тогда занимался, и написал статью *Якутск*, в которой фактами подтверждаю Вашу мысль о том, как Россия подвластным ей народам *открывает обширное поприще деятельности и разумного приложения сил.* [2]

При свидании все это, бог даст, прочтем и переговорим. При свидании — легко сказать! Я проехал четыре тысячи верст, остается еще шесть тысяч. Это не поездка, потому что слишком продолжительно, не путешест-

вие, потому что не занимательно, это жизнь своего рода или, лучше сказать, пародия на жизнь, потому что очень противоречит недостатком главных условий жизни понятию, которое мы составляем о ней. Все это, впрочем, касается не городов, а здешних пустынь, разделяющих эти города. В городах очень хорошо, здесь например, даже в Якутске не худо. В пустынях раздается сильное эхо от патриотических кликов нашей народной массы, очень сильно, как всегда бывает в пустынях. Здесь есть величавые, колоссальные патриоты. В Якутске, например, преосвященный Иннокентий: как бы хотелось мне познакомить Вас с ним. Тут бы увидели русские черты лица, русский склад ума и русскую коренную, но живую речь. Он очень умен, знает много и не подавлен схоластикою, как многие наши духовные, а все потому, что кончил ученье не в Академии, а в Иркутске и потом прямо пошел учить и религии и жизни алеутов, колош, а теперь учит якутов. Вот он-то патриот. Мы с ним читывали газеты, и он трепещет, как юноша, при каждой счастливой вести о наших победах.

Другой патриот, человек бодрый, энергический, умный до тонкости и самый любезный из русских людей — это Никол⟨ай⟩ Ник⟨олаевич⟩ Муравьев, генерал-губернатор Восточной Сибири. Имя его довольно популярно у нас: все знают, как сильно и умно распоряжается он в Сибири, не секрет уже и то, что он возвратил России огромный и плодоносный лоскут Сибири по реку Амур включительно, вопреки Министерству иностр⟨анных⟩ дел, действуя под непосредственным надзором и полномочием царя, при множестве врагов, доносов и проч. Молодец! И хозяин он славный, принимает гостей радушно, как русский, и вежливо, как европеец вообще. Я теперь у него в гостях, то есть ежедневно у него обедаю, за неимением приглашений в другие дома. Знаете ли, что камчатская победа [3] была плодом его распоряжений. Мы плыли в Татарском проливе на шкуне в Аян. «А что, если англичане придут в Камчатку?» — спросил я. «А пусть придут,— отвечал он: — теперь там 70 пушек, и я послал туда 300 человек казаков: пусть придут!» «Какой чудак,— подумал я; — что он сделает 70 пушками, когда на каждом военном судне около 50 пушек и до 400 человек народу!» А вот он предсказал успех, стало быть, был уверен. Но это еще ничего, что он патриот, иначе и быть не может и не должно. А вот жена его, француженка, парижанка, та, говоря о русских, говорит мы, то есть *nous*, а о французах *eux*, *ils* и с радостью предсказывает, что *nous* поколотим *eux* везде и всегда. Она любит не только Россию и русских, но Сибирь и Камчатку, куда ездила с мужем и верхом по горам и болотам и морем, и в мае сбирается в те места вторично по Амуру на барке.

Вчера она сказала, что велела мне сварить и заморозить в куски на дорогу *чи*, то есть щи, и напечь кренделей. Когда французы что соврут в газетах, она называет их *lâches*.*

Я могу выехать через два дня, 15-го числа. Николай Никол⟨аевич⟩ удерживает меня до 19-го, до великолепного бала, который он дает, но когда сочли время, то увидели, что мне надо приехать в Петербург к 25-му

* трусы, подлецы (*франц.*),—*Ред.*

февраля. Скакать сломя голову я не могу: если я три дня еду день и ночь, на четвертые сутки надо остановиться, а то делаются приливы к голове, геморроидальные припадки и несварение желудка, обнаруживающееся сильной рвотой.

Если Бенедиктов получил уже мое письмо, то Вы должны получить огромных два письма через контору Языкова, на его имя, с передачей Вам. В одном письме я послал *морскую идиллию,* ловлю акулы, отрывок из своих записок для напечатания в «Отеч⟨ественных⟩ *записках»* (только там) в *Смеси, но без имени моего* (непременно). А другое письмо — так себе письмо, оба писаны из Якутска.[1] Извините, Аполлон, что не пишу особо ответа на Ваше чудесное письмо с чудесными стихами («Философической свободы Вам было мало, господа», и т. д.). Некогда и потом повторяю Ваши же слова: «Надеюсь скоро видеться и писать больше не хочу». Я уж Вам, и родным своим, из Якутска запрещал накрепко писать, да вот не уймешь. Когда сам-то уймусь — не знаю. Видно, и впрямь людям при рождении назначены роли: мне вот хлеба не надо, лишь бы писать, что бы ни было, все равно, повести ли, письма, но когда сижу в своей комнате за пером, так только тогда мне и хорошо. Это, впрочем, не относится ни к деловым бумагам, ни к стихам, первых не люблю, вторых не умею.

Поцелуйте за меня и от меня милую Анну Ивановну и неизвестного или неизвестных мне будущих моих друзей, маленьких Майковых. Вы приглашаете остановиться пока у себя — ни за что: уж это один из моих обычаев, которых я, вы знаете, не изменяю. А поближе квартиру нанять — оно бы, пожалуй, хорошо, если б не было Литейной: я не умею себе представить, как жить в Петербурге не на Литейной?

Вы пишете, что chinoiserie* в большой моде и что продаются разные фигурки рублей по 50 сер⟨ебром⟩: если я с сундуком как-нибудь доберусь до Петербурга, то эдак, пожалуй, у меня и на тысячу руб. наберется, болванчиков и вазочек штук до 30 наберется, да рисунков, да резных четок из бамбука и орехов, что все куплено мною самим в Шанхае. Если выйдет выгодная спекуляция, так ни Евгения Петровна, ни Катерина Алекс⟨андровна⟩,[5] ни Юнинька (которую нежно целую) не увидят ни синя пороха. Лишь бы мне доехать только. Ах дай-то бог поскорее!

Вы, друг мой Николай Аполлонович, написали всего две строки на полях и то успели нагадить: как это Вы сделали, что у Вас чернила и на хорошей бумаге прошли насквозь? А ты, Бурька, что так мерзко написал? Не только хуже Аполлона, даже хуже отца? Что Марья Федоровна смотрит, отчего не бьет тебя по рукам? Посмотрите-ка, как нацарапал: я только и разобрал *жду Вашего возвращения.* Вот погоди, я ворочусь, да того... помочами тебя. А ты уж, чай, думаешь, что ты студент, поди беспрестанно употребляешь слова *личность* да *тип,* а может быть, чего доброго, и водку? Я — тебя! А Старик — что? Старик — самозванец, фальшивый! Вот я настоящий старик стал, признаки ясные: болтлив и не хочу умереть. Что Ваша Старушка? Забыла, я думаю, меня: ведь она была еще дитя,

---

* китайские безделушки (*франц.*),— *Ред.*

когда я поехал. Павел Ст⟨епанович⟩,[6] верно, помнит. А Юнинька, а Льховский? Кланяюсь Вам и Языковым тоже. А Капитан где? Сражается что ли?

Почта пойдет дня через два после меня, но приедет, я думаю, месяцем раньше и потому посылаю с ней. До свидания. Ваш И. Гончаров.

Еду отчасти и не без тоски при мысли, что надо приниматься опять за ежедневное хождение в службу, от чего я на корабле отвык.

37

М. С. Волконскому

⟨14 января 1855 Иркутск⟩

Вот вторая записка к Вам, почтеннейший Михайло Сергеевич, но в ней я надоедаю Вам уже не о себе, а об общем нашем знакомом Лазареве, который желает быть переведен в Иркутскую или Енисейскую губернии как ближайшие к его родине, Казани. В Якутске и холодно, да и мало средств к существованию, занятий никаких. Жена у него не выносит тамошнего климата и больна, словом, положение их незавидно. Туда надо людей покрепче и пожестче.

Я взял смелость довести об этом до сведения его высокопре⟨восходительст⟩ва, с покорнейшим ходатайством об исполнении желания Лазарева. Николай Николаевич, выслушав, обещал исполнить при возможности и приказал мне передать прилагаемую записку о Лазареве Вам, с тем, чтобы Вы взяли труд доложить ее его высокопр⟨евосходительству⟩ при открытии лекарских вакансий в тех местах, где бы желал служить Лазарев. Мне очень приятно передать дело нашего общего знакомого в такие доброжелательные и надежные руки. Я уверен, что Вы не оставите дела без внимания.

До свидания
Ваш покорнейший слуга
Гончаров

14 января 1855.
Иркутск.

38

Н. А. Гончарову

1 декабря 1855. ⟨Петербург⟩

⟨...⟩ Я получил давно твое письмо, где ты пишешь о редакторской своей должности. И очень хорошо делаешь, что не перепечатываешь моих статей: ведь журналы в Симбирске получаются, зачем же одно и то же повторять дважды?

Мне очень недосуг, оттого и пишу такое микроскопическое письмо. Приехал адмирал Путятин, с которым я плавал, и выпросил у министра откомандировать меня м⟨еся⟩ца на два писать отчет государю об экспедиции.

Сестра Анна Алек⟨андровна⟩ [1] вручит тебе экземпляр отдельно вышедшей моей книжки о Японии, составленной из статей, помещенных в «Морском сборнике» ⟨...⟩ [2]

39

И. И. Льховскому

5/17 ноября 1858 года. ⟨Петербург⟩

Пишу почти без надежды, что до Вас дойдут эти строки, любезный друг Иван Иванович, потому что наставление Ваше писать к Вам сначала в Бразилию, потом на мыс Доброй Надежды кажется мне сомнительным. Впрочем, чем же я рискую? Листком бумаги да полтинником, а между тем все-таки греюсь маленькой надеждой, что авось Вы и получите письмо. Сказать Вам что-нибудь новое обо всем, что может Вас интересовать, вот первоначальная мысль, с которою я сел за письмо, но, подумав, вижу, что нового ничего не случилось: и это самое лучшее, что могу сказать. Молите бога об одном, чтоб не было перемен к Вашему возвращению: я так желал, когда ездил, и был очень счастлив, что желание мое исполнилось ⟨...⟩

Вчера с Боткиным и Анненковым обедали у Дружинина:[1] все справлялись о Вас, и Анненков, подпрыгивая, объявил, что Вы напишете отличную книгу. Я верю этому.

О «Фрегате „Палладе"» сейчас прочел я в «Атенее» весьма благоприятный отзыв, [2] где автор доказывает, что глупо созидать детскую литературу, что она заключается уже готовая в недетской литературе и что образцовые вещи в этом роде: «Записки внука Багрова», [3] «Бежин луг», [4] «Сон Обломова»,[5] «Фрегат „Паллада"» и кое-что из Григоровича. Пишу это на случай, что, может быть, и Вы примете это в соображение. Все это признает он классическими произведениями педагогической литературы по языку и скромности.

⟨...⟩ подчас я почти завидую Вам, хотя, впрочем, Вы не наслаждаетесь теперь так, как я наслаждаюсь: воспоминания в таком деле лучше действительности, потому что из них выплывает на поверхность одно прекрасное, а горечь улетучивается. Когда я вспомню, где Вы, и то, что я был там, пробегу памятью по этим местам, вспомню небо, леса, воздух, ночи и то ощущение беспечного счастья, почти младенческой тогдашней радости, готов плакать от умиления: я делаюсь счастлив ⟨...⟩

40

И. И. Льховскому

2/14 апреля 1859 года. ⟨Петербург⟩

Милый, милый друг Иван Иванович! Неделю тому назад мы были обрадованы получением Ваших писем. Я понес свое к Старику и Старушке, думая удивить их, а они приготовили мне тот же сюрприз. Я думал, что я уж вовсе не способен к поэзии воспоминаний, а между тем одно имя *Стелленбош* расшевелило во мне так много приятного: я как будто вижу неизмеримую улицу, обсаженную деревьями, упирающуюся в церковь, вижу за ней живописную гору, и голландское семейство, приютившее нас, все, все. Точно так же известие о смерти Каролины [1] произвело кратковременное чувство тупой и бесплодной тоски. Восхождение Ваше на Столовую гору — подвиг, на который я никогда бы не отважился. Не знаю почему, но мне невообразимо приятно знать, что Вы увидели и, может быть, увидите и еще места, которые видел и я. Меня даже пленяет эта разница во взгляде Вашем с моим: Вы смотрите умно и самостоятельно, не увлекаясь, не ставя себе в обязанность подводить свое впечатление под готовые и воспетые красоты. Это мне *очень* нравится: хорошо, если б Вы провели этот тон в Ваших записках и осветили все взглядом простого, не настроенного на известный лад ума и воображения и если б еще вдобавок уловили и постарались свести все виденное Вами в один образ и одно понятие, такой образ и понятие, которое приближалось бы более или менее к общему воззрению, так чтоб каждый, иной много, другой мало, узнавал в Вашем наблюдении нечто знакомое. Это значит — взглянуть прямо, верно и тонко и не заразиться ни фанфаронством, ни насильственными восторгами: именно, как Вы в немногих словах отозвались о Бразилии и мысе Доброй Надежды.

Между прочим, этот тон отнюдь не исключает возможности выражать и горячие впечатления и останавливаться над избранной, не опошленной красотой. Если я не сделал ничего этого, так это отчасти потому, что я, по своему настроению вообще, был искренен, и, кроме того, потому, что этим настроением только и мог действовать на читателя, потому что в языке и красках я сильнее, нежели другим путем. А у Вас настоящий взгляд, приправленный юмором, умным и умеренным поклонением красоте, и тонкая и оригинальная наблюдательность дадут новый колорит Вашим запискам. Но давайте полную свободу шутке, простор болтовне даже в серьезных предметах и ради бога избегайте определений и важничанья. Под лучами Вашего юмора китайцы, японцы, гиляки, наши матросы — все заблещет ново, тепло и занимательно. Пишите, как пишете к Старику и ко мне. Даже не худо, если б Вы воображали нас постоянно перед собою. Abandon, * полная свобода — вот что будут читать и поглощать. À propos, ** чтобы не забыть. Я сказал Краевскому, что получил от Вас письмо,

* Непринужденность *(франц.)*.— *Ред.*
** Кстати *(франц.)*.— *Ред.*

и он, не дав мне договорить, спросил быстро: «А что ж, пришлет ли он что-нибудь в „Отеч⟨ественные⟩ записки“?» — «Ничего не пишет об этом»,— был мой ответ. «Так попросите его, пожалуйста, от меня!» — заключил он. Передаю Вам с математическою точностию его слова и ничего к этой просьбе не прибавлю. Вы сами знаете, как полезно поместить что-нибудь в журнале, но советую также дать в то же время статью и в «Современник»: [2] эти два журнала обеспечивают репутацию Ваших записок. В «Библ⟨иотеку⟩ для чтения», само собою разумеется, тоже дадите, ибо редактор, только что примирившийся с Вами, не простил бы этого. [3] На что хуже «Записок» Лакиера, а и те были замечены, чему были обязаны единственно тем, что появлялись в этих журналах. [4] Прежде всего, конечно, Вам следует послать в «Морской сборник», и не одну статью, даже все морские, касающиеся плавания статьи, а сухопутными можете располагать по произволу: так тогда и великий князь ⟨Константин Николаевич⟩ разрешил. Вы можете через Морское министерство адресовать статьи в журналы на мое имя, а я стану наблюдать за их печатанием и, пожалуй, копить деньги. Назначьте и цену: не знаю, дадут ли только более 60 рублей. А впрочем, напишите, что Вы хотите ⟨...⟩.

41

Д. Н. Цертелеву

22 ноября, 1890. ⟨Петербург⟩

Многоуважаемый князь Дмитрий Николаевич.

Вы очень поторопились прислать мне *тысячу* рублей, которая хранится у меня неприкосновенно до тех пор, пока вопрос о напечатании моей статьи в Вашем журнале «Русское обозрение» не будет решен окончательно. Я не видал г. *Буртона*, а деньги мне принес артельщик из какой-то мануфактуры. Я расписался в получении этой тысячи рублей, на Вашей телеграмме, которая вероятно отправлена к Вам.

Через день после того мне принесли с почты и корректурные листы моей статьи [1] в гранках. На 11-й гранке я сделал вставку о князе М. С. Волконском, но так как он не был у меня, как хотел, а я так слаб ногами, что подняться к нему не могу, то позвольте предоставить это Вашему усмотрению. Поля гранок не широкие, и я написал кое-как, а Вы исправьте, как Вам заблагорассудится.

Корректурные листы я прочел и полагаю с почтой же отправить в Москву, в редакцию Вашего журнала, так как Вы своего адреса мне не дали. Адреса Вашей редакции тоже не знаю, словом, я в большом затруднении.

От г⟨оспод⟩ Клюшникова и Маркса я тоже не получил никакого удостоверения, что статья моя переходит в «Русское обозрение». Оно бы, пожалуй, и не нужно, так как г. Маркс не желал дать ее на просмотр

князю М. С. Волконскому, а запер в свой железный сундук, но в редакции «Нивы» [2] сделан набор ее. Теперь, вероятно, статью разобрали.

Надеюсь, что Вы уведомите меня как о получении этого моего письма, так и сообщите мне точный адрес Ваш и редакции «Русского обозрения», также научите меня, что мне делать с корректурой, посылать ли ее с почтой или нет? Мне не хотелось бы, чтоб она миновала Ваши руки или где-нибудь запропала.

Прошу покорнейше также Вас сделать для меня *до 15 отдельных оттисков на веленевой бумаге,* если статья моя будет напечатана в январской книжке «Русского обозрения».

В заключение примите мой сердечный поклон и передайте его Вашей супруге, вместе с глубоким поклоном.

И. Гончаров

42

Д. Н. Цертелеву

27 ноября, 1890. ⟨Петербург⟩

Я получил Ваше письмо от 23 ноября, многоуважаемый князь Дмитрий Николаевич, и 23-го же числа корректура моей статьи пошла в Москву и теперь должна быть в Ваших руках.

Это случилось просто. Ко мне пришла Софья Алек⟨сандровна⟩ Никитенко [1] и сказала, что корректуры посылает к Вам Н. Д. Ахшарумов и что Ваш адрес ей известен. Она взяла и мои корректуры и доставила мне с почты расписку.

Прибавлю к этому следующее; если Вы узнаете в Москве, что бывшие декабристы умерли все, то есть: *Якушкин* и *Поджио*, а также и Ник⟨олай⟩ *Свербеев*, о которых упоминается в моей статье, то их имена можно привести *en toutes lettres.* * Но я оставляю это Вашей предусмотрительности.

Имя же П. (Петрашевский) так и должно оставаться под буквой *П*, как у меня показано.

Надеюсь, что Вы уведомите меня как о получении этого моего письма, так и корректуры моей статьи.

Благодарю Вас за обещание отдельных оттисков.

Князь Волконский не был еще у меня, да теперь, пожалуй, это и не нужно, так как я корректуры моей ему показать не могу: она уже у Вас.

Г. Клюшников тоже не был у меня, но Софья Ал⟨ександровна⟩ Никитенко уверяет, что и это не надобно, ибо-де как Маркс, так и г. Клюшников на мою статью никакой претензии не изъявляют.

Нужно ли прибавлять, что я очень рад этому?

Прошу Вас принять и передать княгине мой сердечный поклон.

И. Гончаров

* полностью (*франц.*),— *Ред.*

43

Д. Н. Цертелеву

29 декабря, 1890. 〈Петербург〉

Многоуважаемый князь Дмитрий Николаевич.

У меня недавно был князь М. С. Волконский: ему хочется переменить в моей статье фразу о его отце, когда он перебранивался с чернью на базаре, что он *делал это из чудачества*. Он желает сказать, что отец его *сжился с народом*. Он хотел сам написать Вам об этом и теперь, вероятно, уже написал.

Я не вижу препятствия не исполнить его желания, точно так же он сказал, что *Свербеев* и декабристы *Якушкин* и *Поджио* давно все умерли и что теперь можно печатать их имена toutes lettres. Я совершенно равнодушен к этому вопросу и позволяю предоставить это Вашей редакторской мудрости.

Что касается до *П.* (Петрашевского), то хотя он тоже, по словам князя, умер, но все-таки имя его следует печатать под одной заглавной буквой *П.*, так как многие из его современников и участников этого дела еще живы.

Я ждал, что Вы, по выпуске 12-й книжки «Русского обозрения» пришлете мне в *сверстке* и мою статью для 1-го № журнала 1891 года, однако до сих пор не получил. Я тотчас же бы прислал ее в Вашу контору. Впрочем, может быть, Вы передумали.

Благодарю Вас за 12-ю книжку Вашего журнала, которую получил на днях. Отдельные оттиски моей статьи, которые Вы мне любезно обещали, прошу Вас покорнейше отпечатать на белой бумаге и сброшюровать как следует, так как я намерен разослать их к высокопоставленным лицам.

Примите мой привет и мое поздравление с наступающим Новым годом княгине — и Вам.

Всегда Ваш истинно преданный

И. Гончаров

P. S. Моя статья называется «По Восточной Сибири. В Якутске и Иркутске». Между тем в объявлении об издании «Русского обозрения» в 1891 году она названа иначе. [1]

44

Д. Н. Цертелеву

2-го января 1891. 〈Петербург〉

Многоуважаемый князь Дмитрий Николаевич.

Я получил Ваше письмо и корректуру в *сверстке* моей статьи. Теперь в Ваших руках должно быть и мое письмо.

Отправлю с этим вместе обратно к Вам корректуру в контору «Русского обозрения», в дом № 46, на Тверской бульвар.

Князю М. С. Волконскому желалось бы отозваться о своем отце сообразно нынешнему его положению товарища министра, но я не знал, как это сделать в *сверстке*, и поступил проще: я совсем вычеркнул фразу *он делал это из чудачества*, не заменив ее другою, как хотелось князю.

Даю Вам *carte blanche* * делать как Вам угодно: что Вы ни прибавите или убавите в статье — я спорить и прекословить не буду, лишь бы книжка не опоздала выходом к 15-му января.

Еще князь Волконский (который теперь болен) сказал мне, что *Свербеев*, так же как и декабристы — *Волконский, Трубецкой, Якушкин* и *Поджио* давно все умерли и что ныне существующий *Поджио* есть сын племянника *Поджио* и с декабристом ничего общего не имеет.

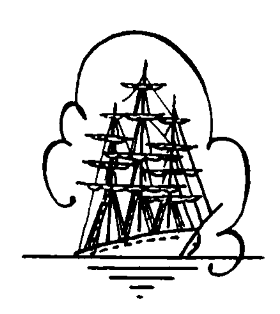
Оттого я и выставил в *сверстке* имена их en toutes lettres, так как восстание 14 декабря и сами декабристы составляют теперь историческую страницу в русской жизни и прятаться им не нужно.

Но если Вы заблагорассудите поступить иначе, то есть уничтожить имена и оставить одни инициалы, то я спорить не стану.

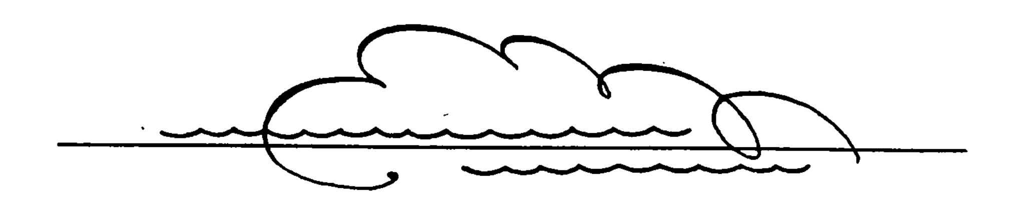
Примите и передайте княгине мой поклон и поздравление с Новым годом.

И. Гончаров

P. S. Сейчас я получил из Ораниенбаума карточку Софьи Петровны. Пустынька вся сгорела. [1]



* свободу действий (*франц.*).— *Ред.*



Б. М. Энгельгардт

«ФРЕГАТ „ПАЛЛАДА“»

Если в первых критических статьях о «Фрегате „Паллада“» (Дружинин, [1] Дудышкин, [2] Кеневич [3]) гончаровские очерки кругосветного путешествия трактовались еще как литературное произведение: обсуждался их художественный замысел и тематика, их стиль, ставились вопросы о путешествии как особом литературном жанре, делались попытки определить их место среди различных литературных направлений — романтического, реалистического и т. д.,— то уже с конца 60-х годов все это было забыто, и на книгу установился твердый взгляд как на простое описание дальнего плавания, содержание которого определялось, с одной стороны, культурными интересами автора, а с другой, объективными данными, так сказать, географического порядка.

Книга была занесена в разряд географических сочинений, особо полезных и рекомендуемых для юношества, а критик и историк литературы снимали ее с школьных полок лишь для того, чтобы воспользоваться ею как биографическим источником.

Удивлялись точности отдельных описаний, отдавали должное отдельным картинам тропической природы, но еще более говорили об убожестве гончаровского мировоззрения, о тривиальности его вкусов и т. д., и т. д.

Книга, строго говоря, была забыта. Она перестала ощущаться как литературное произведение. А между тем она, конечно, представляет собою замечательное явление именно в области художественной литературы. Она занимает свое особое место в истории жанра путешествий, где очень трудно подыскать к ней какую-нибудь аналогию во всей европейской литературе,— и в развитии русской реалистической школы, являясь блестящим и тонким памфлетом против романтических традиций в описаниях природы и пресловутого романтического couleur locale. *

* местного колорита (*франц.*).

И наконец, что, пожалуй, всего существеннее,— она играет значительнейшую роль в системе гончаровского творчества. Без преувеличения можно сказать, что «Фрегат „Паллада“» является таким произведением, где, с одной стороны, нашла законченное и яркое выражение вся тематика его творений, начиная с фельетонов «Современника» и кончая «Обрывом», а с другой, отразились с большой отчетливостью те художественные приемы и стилистические особенности, которые характерны для Гончарова. В этом смысле «Фрегат „Паллада“» подводит нас к более углубленному пониманию главного труда его жизни — его трех романов.

Гончаров называет свою книгу «правдивым до добродушия рассказом» [4] о путешествии; он неоднократно и настойчиво подчеркивает свою роль простого и немудрящего повествователя событий и фактов похода, он хочет, чтобы его книга рассматривалась как добросовестный отчет об экспедиции. Но историк литературы не только не обязан верить ему на слово, но, напротив, самая настойчивость автора должна заставить его насторожиться и заподозрить правдивость и искренность этих утверждений. Проверка же эта возможна только путем восстановления подлинной истории экспедиции на основе официальных документов, дневников, писем, статей других участников экспедиции. Только противопоставив точно проверенные события и факты их литературному изображению у «певца», хотя бы и «ex officio»,* похода, можно убедиться, насколько прав Гончаров, толкуя о своей точности, и правильно поставить вопрос о «литературном материале» очерков. Это первая задача исследователя, из которой, естественно, вытекает следующая.

В самом деле: если бы оказалось, что правдивое повествование значительно расходится с действительностью, тогда необходимо было бы выяснить, чем именно обусловлено это расхождение, то есть какие художественные замыслы положены в основу произведения, какие тематические и стилистические задания ставил себе писатель, когда он не просто давал отчет о кругосветном плавании, а уже сознательно использовал факты путешествия как материал для художественного произведения. Указаний на эти особые художественные задания следует искать, конечно, как в самом произведении, так и около него: в тех частных и личных записях, письмах и других материалах, которые сохранились в литературно-биографическом наследстве писателя.

Но вскрытые таким путем особые литературные задания, лежащие в основе данного произведения, необходимо сопоставить с тематическими и стилистическими заданиями других произведений этого писателя. Только при помощи такого сопоставления можно установить место этого произведения в художественном творчестве писателя в целом и выяснить его внутренний смысл и значение.

Именно таким путем и идет предлагаемое исследование. Оно начинается изложением подлинной истории путятинской экспедиции, как ее можно восстановить на основе различных официальных документов, писем и дневников ее участников и других источников. В дальнейшем

* по должности (*лат.*).

полученные выводы сопоставляются с показаниями частных писем Гончарова из плавания и делается попытка при помощи сравнительного анализа тематики стилистических заданий «Фрегата „Паллада“» и трилогии определить смысл и значение этого произведения в истории гончаровского творчества.

I

Когда в конце 50-х годов появились наконец гончаровские очерки плавания на фрегате «Паллада», они вызвали среди кронштадтских моряков, хорошо знавших подробности экспедиции из уст ее участников, чувство неопределенного разочарования, недоумения и даже обиды. Им, осведомленным из первых рук о всех событиях героического похода, трудно было помириться с изображением его в виде какой-то увеселительной прогулки по трем океанам. Впрочем, для того, чтобы почувствовать, что в гончаровских очерках не все ладно в смысле их соответствия действительному ходу событий путешествия, не надо было ни быть моряком, ни обладать особой осведомленностью. Довольно было иметь хоть некоторое представление об условиях и обстановке кругосветного плавания на парусном судне, чтобы сразу заподозрить правдивость его повествования и признать необходимым произвести сравнение гончаровских очерков с действительной историей экспедиции, как она рисуется на основании разнообразных показаний участников и официальных документов. [5]

Уже в частных письмах Гончарова, особенно первой половины плавания (да и в самих очерках), мы находим целый ряд жалоб и причитаний насчет различных тягостей путешествия. Выраженные по большей части в шуточной форме и притом с нарочитой подчеркнутостью исключительной избалованности автора, они теряют всякую остроту и очень часто звучат как забавные признания изнеженного барина. Однако не нужно было быть ни неженкой, ни барином, чтобы жаловаться на суровость экспедиционной обстановки. Кругосветное путешествие на парусном судне было тяжелым испытанием не только для непривычного штатского, но и для моряка-профессионала. Тесные и темные помещения, скученность населения, духота, вечная сырость, подчас плохое питание и скверная вода (на «Палладе» в Англии поставили опреснитель, но он почти не действовал) — все это при бесконечно длительных переходах создавало благоприятную почву для развития различных болезней: чахотки, гнилой горячки (тифа), лихорадок и в особенности цинги (не избежала ее и «Паллада» под конец своего плавания). А рядом с этим тяжелый труд, изнурительная авральная работа и днем и ночью, вечное «настороже», свирепая дисциплина, вызванная необходимостью быть всегда готовыми к отражению опасности, и проч., и проч. Мы отнюдь не сгущаем красок: «изнурительные труды и лишения» — это выражение очень часто встречается в официальных бумагах того времени. Дальнее плавание было тогда «военным походом» и «длительной экспедицией», соединяя в себе тягость военного режима с лишениями и случайностями экспедиционного быта.

Но на «Палладе» все эти неблагоприятные условия плавания усугубля-

лись еще целым рядом привходящих обстоятельств, среди которых, в первую очередь, нужно отметить: крайне плохое состояние судна, сборную, мало обученную команду и, наконец,— для второй половины плавания — тревоги военного времени.

Построенная в 1831—1832 гг. и тимберованная в 1841 г. «Паллада» [6] в 1852 г., строго говоря, уже не годилась для кругосветного плавания по своей «дряхлости и ненадежности».

Так как команда «Паллады» состояла из чинов гвардейского экипажа, то ее ни в каком случае нельзя было целиком отправить в дальнее плавание. Приходилось, списав старый состав с судна, формировать его заново за счет других балтийских экипажей, а сделать это вполне успешно в такой короткий срок (по заданию «Паллада» должна была открыть кампанию в середине августа, а приготовления к походу начались только в конце июня) было почти невозможно.

Некоторые партии матросов прибыли на фрегат чуть ли не накануне отплытия. Они не знали друг друга и своих унтер-офицеров; не успели осмотреться и обжиться на фрегате, приноровиться к требованиям новых начальников; приемы и манеры управления судном, особые у каждого командира, были им незнакомы. Все это не сулило впереди ничего хорошего.

К тому же Балтийское море встретило моряков крайне неприветливо. «Нынешняя осень,— писал один из участников экспедиции,— грозно прошлась по нашему северу. При выходе из Зунда мы видели на шведском берегу четыре купеческие судна, лежащие на боку, пробитые и выброшенные бурей. По ночам была слышна *отдаленная пальба*, возвещавшая о затруднительном положении и гибели купеческих судов. Сердце сжималось при мысли, что нельзя помочь тем, которых жалобы столь ясно доходили до нас. В Немецком море нашлись два корпуса без мачт; мы направились к первому на случай, что найдем кого-либо в живых, спустили шлюпку, подъехали, обежали каюты, осмотрели трюм — ни души. Судно держалось на воде только потому, что было нагружено досками. Грустно зрелище такого разрушения». [7]

Вот при каких условиях дряхлому судну и неопытной команде пришлось начать кампанию. Не мудрено, что всякого рода злоключения посыпались на него с первых же моментов плавания.

Начались бесконечные поломки рангоута и порча парусов. Плохо обученная команда скверно справлялась с маневрированием, и чуть ли не каждый день случались различные неприятности. Порывистый, постоянно отходивший ветер изрядно трепал заслуженное судно, а вечная «пасмурность и туман по горизонту» чрезвычайно затрудняли и без того опасное в осеннюю пору плавание по Балтике и Северному морю. От качки на фрегате зачастую показывалась течь; помпы постоянно работали, но вода в трюме стояла довольно высоко; в жилых палубах было сыро и холодно.

Среди команды начались заболевания. Как ни береглись, но успели захватить заразу в Кронштадте, и до выхода из проливов похоронили одного за другим троих матросов. Кроме холеры на «Палладе» появилась

и гнилая горячка, от которой умерло еще двое людей. Лазарет не пустел; настроение было подавленное, и команда выбивалась из сил.

В довершение всего с фрегатом едва не произошло большое несчастье: 12 октября в пасмурную и туманную погоду при самом тихом ветре «Паллада», входя в Зунд, приткнулась к мели.

Последствием посадки фрегата на мель явилась необходимость введения его в док в Портсмуте, куда он добрался лишь 12 ноября, задержанный в Немецком море свирепыми противными ветрами. А между тем для такого старого судна, каким была «Паллада», новая постановка на подпорах в сухом доке грозила еще большим расшатыванием всех креплений корпуса судна. Излагая все эти соображения в донесении морскому министерству, Путятин прибавлял, что и вообще ремонт потребуется капитальный, так как судно плохо сопротивляется невзгодам плавания. Это была первая из тех бесчисленных жалоб, которыми засыпал Путятин Петербург в течение всего похода.

Как бы там ни было, но «Палладу» разгрузили и ввели в док; портсмутские мастеровые принялись за пересмотр и конопатку ветхого судна: тут, между прочим, выяснились не только размеры повреждений от посадки на мель, но и гнилость многих креплений и балок корпуса. Ремонт действительно вышел капитальный, но, как будет видно ниже, не принес значительной пользы делу, а только затянул пребывание «Паллады» в Портсмуте до декабря месяца, когда начались обычные в это время юго-западные ветры, задержавшие экспедицию в Англии еще на месяц.

В силу этого идти вокруг мыса Горн, как предполагалось ранее, было уже поздно. «Если бы я теперь отправился прежде намеченным путем,— писал Путятин кн. А. А. Меншикову,— то прибыл бы в большие южные широты около весеннего равноденствия, времени, самого неблагоприятного для обхода мыса Горна, между тем как, идучи на восток, те же ветры будут содействовать скорейшему совершению похода. Поэтому я решаюсь отправиться отсюда прямо на мыс Доброй Надежды, а оттуда Зондским проливом войти в Китайское море. Следующим после мыса Доброй Надежды местом пристанища я избираю Манилу, а оттуда отправляюсь к островам Бонин-Сима».

Таким образом из-за бесконечных починок «Паллады» Путятину, еще не покидая Европы, пришлось коренным образом изменить маршрут путешествия. В будущем экспедиции предстояло много подобных сюрпризов.

Оставив 6 января 1853 г. Спитгэдский рейд, «Паллада» 9-го вышла наконец в океан. Ветер, хотя и попутный, все время крепчал, разводя огромную волну. «Что за бурное стоит время,— отмечает в своем дневнике один из моряков,— в 6 часов вечера во время моей вахты, начали опять собираться облака; небо помрачилось; мы взяли у парусов все рифы. К полночи ветер, скрепчав, заревел и поднял резкий свист между снастями, зашумели кипящие волны, и по временам раздавался гул от ударов их о борта. Я и раньше видел бурное море в этих же широтах, но такого страшного волнения, какое теперь было, не видывал никогда». [8]

Для «Паллады» пришло время показать себя в борьбе с океаном. Но нельзя сказать, чтобы она удачно выдержала это испытание. Во время

перехода от Англии до Мадеры, гласит отчет Путятина, «качества фрегата оказались весьма неудовлетворительными, что должно приписать излишнему грузу».

Таким образом как для команды, так и для офицеров снова настали черные дни. Фрегат било крупным волнением, и приходилось зорко смотреть, чтобы не случилось какой-нибудь беды. Настроение на «Палладе» опять сделалось тревожным и нервным, и матросы снова выбивались из сил, помогая дряхлому судну в его борьбе с бурным морем. Общее положение отозвалось, конечно, и на Гончарове. К тому же, по должности адмиральского секретаря, он, конечно, не мог не знать всех тревожных подробностей дела. Но любопытно отметить, что, изображая этот переход, он не упоминает ни о каких происшествиях и, главное, строит свой рассказ, как будто все обстояло совершенно благополучно и нормально, как тому следует и быть, а только ему — избалованному горожанину — казалось чем-то необычайным. Между тем, как мы только что видели, показания самих моряков говорят совершенно обратное, отмечая как большую неудовлетворительность качеств судна, так и исключительный размах волнения. Здесь уже в полной мере обнаруживается та своеобразная манера, в которой поведено все повествование очерков и которая не позволяет рассматривать книгу как правдивое отражение действительности.

Отдохнуть от всех невзгод бурного плавания удалось только в атлантических тропиках. Переход от Мадеры до мыса Доброй Надежды (с 18 января по 10 марта) был действительно благоприятным во всех отношениях, несмотря на то, что за экватором «Палладу» все-таки прихватили штили. Впрочем, с точки зрения удобств и благополучия плавания штили ничему не мешали; бояться недостатка в воде и провианте не приходилось: фрегат в изобилии был снабжен самым необходимым, и путешественникам оставалось только беззаботно наслаждаться покоем среди океана. Гончаров, по-видимому, больше других наслаждался этим «сияющим летом на тихих просторах тропических вод». По крайней мере именно этому переходу да еще, пожалуй, Маниле посвящены наиболее восторженные страницы его книги.

Только в начале марта, после сорокадневного с лишком пребывания в море, «Паллада» выбралась наконец из штилевой полосы: «Опять пошло свое,— замечает по этому поводу Гончаров,— ни ходить, ни сидеть, ни лежать порядком! 〈...〉 Не стану повторять, о чем уже писал, о качке. Только это нагнало на меня такую хандру, что море, казалось, опротивело мне навсегда. Хотя это продолжалось всего дней пять, но меня не обрадовал и берег, который мы увидели в понедельник» (с. 98). *

Проскользнув ночью мимо входа в Falsbay, «Паллада» только на следующий день вошла на саймонсбейский рейд и бросила якорь на отведенном ей месте. Перед походом через бурный Индийский океан судну необходимо было снова подремонтироваться и привести себя в полный порядок. Поэтому стоянка в Саймонсбее затянулась почти что на месяц. Часть офицеров была отпущена в Капштадт; шестеро под руководством К. Н. Посье-

* Здесь и далее в скобках указаны страницы настоящего издания.— *Ред.*

та отправились в экскурсию в глубь страны; остальные принялись за судовые починки. «Весь фрегат был снова проконопачен, как снаружи, так и изнутри, гнилые части обшивки были заменены новыми». Рангоут был пересмотрен и исправлен; ванты вытянуты, мачты проверены, и все вообще тщательно почищено и окрашено. Казалось, что все было предусмотрено для предстоявшего тревожного плавания, и Пуятин надеялся, что судно благополучно выдержит крепкие ветры и сильное волнение, которых можно было ожидать на следующих переходах, тем более что «и прежде сего на фрегате были сделаны немаловажные исправления в Портсмуте». Однако будущее не оправдало этой надежды: напротив, первое же крупное волнение поставило ребром вопрос о годности «Паллады» к океанскому плаванию вообще.

Покинув 12 апреля гостеприимные берега Капа, «Паллада», отойдя от мыса Доброй Надежды всего на 12 миль, встретила жестокий противный шторм, который в течение 19 часов выдерживала под одними триселями. Шторм был классический по всей форме: с разорванными в сетку облачками, мчавшимися по небу, «с светлостью луны и блистанием молнии, с дождем и громом». «С 8 часов гроза два раза обошла вокруг горизонта». «Волнение шло горами, достигая порой такой высоты (до 45 футов), какой бедное судно еще не видывало. Фрегат ложился то на один, то на другой бок и, несмотря на вторичную, полную конопатку в Саймонсбее, потек всеми палубами и показал весьма значительное движение в надводных частях корпуса». [9]

Последнее обстоятельство чрезвычайно встревожило командиров. Теперь объяснилась наконец подозрительная течь, замеченная еще на переходе из Портсмута до Мадеры. А вместе с тем ставился вопрос не только о плохих качествах фрегата, о чем Путятин доносил морскому начальству и из Англии, и с Мадеры, и с саймонсбейского рейда, но и о пригодности «Паллады» к дальнейшему плаванию вообще. Приходилось отказываться от намерения идти прямым рейсом на Манилу: при той ненадежности всех креплений корпуса, которая обнаружилась во время шторма, «Паллада» могла не выдержать такого длинного перехода и рассыпаться в пути на мелкие куски, так что, по выражению Гончарова, пришлось бы высаживаться среди моря. Все, на что можно было рассчитывать,— это на короткие переходы из порта в порт с бесконечными починками в каждом из них. Мало того, было совершенно ясно, что если до Японии еще можно кое-как доползти, то для обратного пути и даже для длительного пребывания в тихоокеанских портах «Паллада» совершенно не годилась. Необходимо было подумать о замене ее новым фрегатом, либо же заранее подготовить обратное возвращение экспедиции сухим путем через Сибирь. Само собою понятно, что все это кардинально изменяло картину путешествия и требовало от командующего быстрых и ответственных решений. И Путятин принял эти решения.

Отказавшись от прямого похода на Манилу, он направился к северу, в Анжер, на Яву, с тем, чтобы остальной путь совершить по линии Анжер — Сингапур — Гонконг — Бонин-Сима, всегда имея под рукой оборудованные порты для необходимых починок. Кроме того, он остановился на мысли

спешно отправить в Россию курьера с настойчивой просьбой как можно скорее выслать на смену «Палладе» другое, более надежное судно. Курьером был избран И. И. Бутаков, старший офицер «Паллады», которому Путятин дал инструкцию всеми силами добиваться отправления в ту же осень из Кронштадта нового фрегата.

17 мая, после месячного перехода, добрались наконец до Анжера. Плавание было неблагоприятным, хотя фрегат все время имел попутные ветры. Погода держалась неровная, постоянно налетали шквалы и разводили волнение. Поддавшееся после первого шторма судно не выдерживало крупной зыби: крепления корпуса снова и снова приходили в движение, и палубы текли всеми швами. В жилых помещениях постоянно было сыро. С наступлением жары повсюду появилась вредная для здоровья плесень; вода, застоявшаяся в разных укромных уголках, загнивала, заражая воздух. Лазарет снова начал наполняться; появились тропические болезни: вереды, лишаи, легкие формы лихорадки. В этой знойной, удушливой атмосфере на ветхом, гниющем судне лихорадили и здоровые,— для слабогрудых она была настоящим ядом. Среди матросов открылась чахотка: в Сингапуре и Гонконге пришлось сдавать в госпитали безнадежно больных.

Из Сингапура, куда пришли 25 мая, Бутаков на первом же отходившем пароходе поспешил в Петербург с депешами и письмами от адмирала к великому князю, в Морское министерство, в Министерство иностранных дел, а фрегат после легких исправлений пошел в Гонконг.

Здесь снова принялись за тщательную конопатку и починку судна, а тем временем Путятин во исполнение той части инструкции, преподанной ему Министерством иностранных дел, которая касалась торговли с Китаем, отправился на шхуне в Кантон. Однако поездка эта не принесла никаких положительных результатов. Китайский резидент заявил адмиралу, что морская торговля с Россией не может быть разрешена, так как с русскими Китай и без того торгует по сухопутной границе, что и оформлено в соответствующих статьях договоров. В силу этого Путятину не оставалось ничего другого, как утешаться тем, что относительно захода русских военных судов в пять недавно открытых для европейской торговли портов китайцы не имели ничего против, считая это, по-видимому, вполне естественным. Впрочем, для длительных переговоров с китайцами у Путятина и времени не было. Фрегат и без того опаздывал, а между тем в Гонконге он узнал, что коммодор Перри, его американский соперник в японских делах, уже отправился с весьма внушительной по размерам эскадрой [10] к месту своих главных действий. Путятину приходилось спешить, «чтобы не пропустить благоприятное для переговоров время». Поэтому, едва вернувшись из Кантона, он приказал сейчас же сниматься с якоря.

Утром 7 июля «Паллада» вступила в Тихий океан. Погода и ветер по-прежнему были скверные; находили шквалы, разводя крупную зыбь, к вечеру по горизонту с огромной быстротой стали проноситься зловещие черные облака; луна взошла в нимбе. Все предвещало близость тайфуна.

И действительно на следующий день уже с утра барометр начал заметно падать. Все время налетали шквалы с дождем. Вечером ветер сильно

крепчал, вызывая огромную зыбь; густая мрачность окутала горизонт: фрегат, паруса и люди сливались в какую-то сплошную массу. Всю ночь напролет брали рифы и спускали паруса, но ход фрегата не уменьшался, превышая к утру 14 узлов.

Волнение было огромное и неправильное от частой перемены ветра, который все время переходил на несколько румбов. Небо еще более потускнело, дождь лил потоками, а барометр все падал.

Боковая качка была невероятная; размахи доходили до 45°; фрегат черпал сетками, концы грота-рей не раз уходили в воду, так что едва не смыло нескольких матросов; у орудий задние колеса при наклонах приподнимались на два дюйма от палубы. Надводная часть судна «по обыкновению» тотчас дала движение, и по верхним палубам открылась течь. Вода хлестала во все люки, текло всюду; все помпы работали непрерывно, но никак не могли справиться с этим наводнением; на фрегате не осталось ни одного сухого местечка, а в трюме вода быстро поднималась.

Но худшее было еще впереди. Вечером один за другим изорвало грот, фок и фор-марсель. Остальные паруса убрали, и фрегат мчался всего-навсего под двумя, взятыми на четыре рифа. Тем не менее ход его не падал ниже 10 узлов. В 10-м часу частью от напора ветра, частью от подвижки корпуса начали лопаться ванты, преимущественно у грот-мачты. Впрочем, и вообще крепление вант не выдержало, и они так ослабели, что с силой бились о сетки. Ходить по ним не было никакой возможности. Немного погодя тронулась и сама грот-мачта. Во времена размахов она гнулась, как трость, выжимая вон из гнезд клинья, которыми она была закреплена.

Положение судна становилось критическим. Близкое падение грот-мачты грозило ему верной гибелью. Закреплять мачту в порядке обычной команды не представлялось возможным из-за крайней опасности дела. Путятин вызвал охотников. Лейтенанту Савичу вместе с группой удальцов-матросов удалось заложить в помощь вантам особые блоки. Во время этой отчаянной работы одному из матросов разогнувшимся крюком раздробило голову. Но мачту все-таки слегка закрепили, а позднее, пользуясь временным затишьем, заложили внизу вокруг нее канат.

Между тем неустанно следили за переходами ветра; по ним установили центр урагана, взяли в сторону и постепенно начали выходить из самой опасной сферы. С 4 часов дня 10 июля ветер стал заметно стихать, но качка не уменьшалась: верхушки волн уже не срывало силой ветра, и они всею массою били фрегат. Однако главную опасность можно было считать избытой. [11]

Ураган наделал немало бед на фрегате. Водой, заливавшей трюм, была подмочена большая часть провизии: много всякого добра перебилось и перепортилось. Наступившие вслед за ураганом штили принесли с собою невыносимую тропическую жару, и на фрегате снова показалась всякая зловонная гниль и плесень, а вместе с ними и разные болезни. Снова лазарет наполнился больными; да и из офицерского состава редкий избежал нездоровья. Гончаров слег с желудочной лихорадкой и рожистым воспалением на ноге. Между тем штили продолжались; «Паллада» еле-еле

плелась по спокойным просторам океана, и плавателям грозил если не голод, то большие лишения из-за порчи провианта. Обнаружилась нехватка сухарей, часть которых за негодностью пришлось выбросить за борт. Для больных недоставало свежих продуктов. Опреснитель снова закапризничал, так что морякам приходилось довольствоваться застоявшейся водой из цистерн.

Только в 20-х числах задул наконец попутный ветер, и 26 июля фрегат прибыл в порт Ллойд на Бонин-Сима, употребив ровно месяц на недельный переход.

В порте Ллойд «Паллада» застала всю эскадру. Еще в Петербурге было решено присоединить к путятинской экспедиции в водах Тихого океана два из находившихся там судов. Рандеву первоначально было назначено в Гонолулу на Сандвичевых островах, а затем в связи с изменением маршрута «Паллады» — на Бонин-Сима. Здесь-то и поджидал запаздывавший фрегат транспорт «Князь Меншиков» и корвет «Оливуца». На них была доставлена с Сандвичевых островов провизия и, главное, сухари, что было очень кстати, так как на островах Бонин-Сима все наличные припасы забрала эскадра коммодора Перри, заходившая сюда до прибытия Путятина.

Кроме того, на транспорте прибыли курьеры из Петербурга и Вашингтона с депешами, предписаниями и письмами. Между прочим, Путятин получил из Министерства иностранных дел предписание начать переговоры в Нагасаки и, по возможности, воздержаться от посещения Иедо, чтобы не раздражать японцев.

4 августа покинули гостеприимные острова Бонин-Сима и направились в Нагасаки. «Плавание до сего последнего порта,— доносил Путятин генерал-адмиралу,— было одним из самых счастливых во всех отношениях. Нам постоянно дул умеренный попутный ветер, при котором весь отряд держался соединенно. Несмотря на то, что фрегат все время имел на буксире шхуну, он шел от шести до девяти узлов, оставляя за собой все прочие суда. Но и при этом замедлении переход от Бонин-Сима до Нагасаки, составляющий 850 миль, совершен с небольшим в пять суток.

В прекрасную летнюю погоду, засветло, миновали мы мелкие острова, составляющие южную оконечность Японского архипелага. 9-го числа, вечером, подошли к Нагасакскому рейду, но, по малоизвестности оного, эскадра не вошла в темноте и всю ночь держались у входа, под малыми парусами. На следующее утро, 10-го августа, я приказал поднять на фрегате флаг уполномоченного, и мы пошли на первый, или наружный, рейд, где штиль продержал нас до четырех часов пополудни. После сего, в сопровождении нескольких японцев, прибывших на фрегат для обычных осведомлений, коими они встречают все европейские суда, мы в боевом порядке, при звуках национального гимна, прошли первые с моря нагасакские батареи, наполненные любопытствующими японцами, и около 6-ти часов вечера бросили якорь на среднем рейде».

Цель десятимесячного плавания была достигнута. Но успех этот дался экспедиции в напряженной борьбе с бесчисленными препятствиями. Сравнивая походы «Паллады» с аналогичными плаваниями других судов

этого же типа, приходится признать, что пальма первенства в смысле всякого рода «изнурительных трудов, лишений и опасностей» безусловно остается за ней. Во всяком случае, ей пришлось пережить много такого, что не выпадало на долю других русских судов и что никак не укладывается в рамки мирного и безмятежного морского вояжа.

Впереди же путешественников ждало еще множество различных более или менее тягостных приключений.

II

Еще во время пребывания в Гонконге члены экспедиции во главе с самим адмиралом были смущены дошедшими сюда сведениями о русско-турецком конфликте и остроте дипломатических переговоров по этому поводу.

Как для Путятина, так и для всех остальных было ясно, что этот конфликт постепенно приобретает европейское значение, а тон английских газет не оставлял никаких сомнений в позиции, занятой британским кабинетом. Само собой понятно, что и без того сложное положение экспедиции неизмеримо усложнялось.

Легко себе представить, в каком положении оказалась экспедиция, и в особенности Путятин, страстный англоман, все свои расчеты строивший на английской поддержке, когда в Гонконге после всяческих любезностей англичан в Портсмуте и на мысе Доброй Надежды [12] он натолкнулся не только на глухое противодействие в его кантонских переговорах, но и на целый ряд мелких затруднений при ремонте фрегата и пополнении запасов. В связи с газетными известиями о русско-турецком конфликте все это приобретало характер весьма зловещих симптомов.

Положение «Паллады» с выходом в Тихий океан становилось прямо отчаянным. Было совершенно очевидно, что в случае начала военных действий английская эскадра, занимавшая ближайшие китайские порты, узнает об этом раньше «Паллады» и, будучи в подробностях осведомлена о маршрутных предположениях экспедиции, легко захватит ее в том или ином месте. С другой стороны, в силу натянутых отношений с Америкой, Путятину было решительно невозможно ни опереться на шедшую впереди эскадру коммодора Перри и ее отлично оборудованные базы, ни рассчитывать на радушный прием в американских портах, буде дряхлой «Палладе» удалось бы туда добраться.

Япония, китайское побережье Тихого океана и Филиппины с англо-французскими стационерами — в этом треугольнике Путятин был заперт, как в мышеловке. Оставался, правда, путь на север, мимо неизвестных берегов Кореи, в открытый Невельским Татарский пролив, но русские порты Охотского моря представляли собою весьма ненадежное убежище от мощного неприятеля, оставаться же в Амурском лимане было рискованно по чисто морским соображениям.

А между тем приходилось во что бы то ни стало продолжать поход. На совещании у Путятина в Гонконге было решено идти в Японию и приступить к переговорам, но в то же время держать постоянную связь с ближайшим китайским портом, чтобы всегда быть в курсе всех дел.

Во исполнение этого решения Путятин вскоре по прибытии в Нагасаки отправил транспорт «Князь Меншиков» в Шанхай «за провизией и новостями», а шхуну «Восток» послал на север, с поручением проверить съемку Сахалина, обследовать лиман Амура и Императорскую бухту, которая на худой конец предназначалась служить базой для эскадры.

Что же касается непосредственной цели экспедиции, то здесь полномочному послу очень скоро пришлось убедиться, что переговоры непременно затянутся на долгий срок.

Внешний ход переговоров изложен у Гончарова довольно точно. «Паллада» пришла в Нагасаки 10 августа, но только через месяц, 9 сентября, удалось передать письмо Нессельроде в Верховный совет, причем губернатор заявил, что «скоро ответа на письмо получено быть не может». И действительно, прошел еще месяц, подходил к концу и другой, а известий из Иедо все не было и не было. Между тем вернулась из плавания шхуна «Восток», командир которой блестяще выполнил все поставленные ему задания; из Шанхая пришел обратно транспорт. Он привез свежую провизию и последние газеты, сообщавшие об отъезде кн. Меншикова из Константинополя.

Война оказывалась все более и более вероятной, а вместе с тем и настроение на эскадре становилось все более и более напряженным и тревожным. Приходилось подумывать об отыскании какого-нибудь убежища. «Я получил,— писал тогда же Путятин генерал-адмиралу,[13] — известия о предстоящем разрыве с Турцией, Англией и Францией. Если бы оные известия подтвердились, положение наше в Японии будет весьма затруднительным, и я буду принужден удалиться в Ситху или Сан-Франциско, как нейтральный порт».

Однако вскоре адмирал резко изменил намерение, что свидетельствует о его некоторой растерянности.

Так как из Иедо ответа все еще не было получено, то он решил прервать переговоры и идти на Манилу, рассчитывая в этом нейтральном порту в течение зимы снова капитально отремонтировать фрегат и весной, смотря по обстоятельствам, либо прямо направиться в Иедо, либо пуститься в крейсерство в Тихом океане. Начали готовиться к выходу в море, но как только губернатор Нагасаки узнал об этом, то, опасаясь, как бы Путятин не пошел в Иедо, он бросился уговаривать подождать еще немного. Когда все эти уговоры оказались тщетными, японцы «рискнули на последнее средство: раскрыли свои карты, официально уведомив о скором прибытии уполномоченных из Иедо».

Это существенно меняло дело. Теперь не было никакого смысла тащиться на Манилу: приходилось дожидаться уполномоченных и так или иначе договориться с ними. Тем не менее Путятин решил использовать остающееся до их приезда время для того, чтобы самому побывать в Шанхае и у консулов нейтральных стран собрать все необходимые сведения о политическом положении в Европе. 11 ноября, ровно через три месяца после прибытия в Японию, «Паллада» снялась с якоря и в сопровождении шхуны «Восток» двинулась в Шанхай.

С этого момента начинается, строго говоря, последний период плавания «Паллады», период вечных неожиданных переходов с места на место с целью скрыть свои следы.

Утром 14 ноября подошли к Седельным островам. Опасаясь вводить фрегат в реку, где он мог оказаться в ловушке, Путятин оставил его под парусами у входа в Ян-Тсе-Кианг, а сам на шхуне, «почти инкогнито», [14] отправился в город. Проходя устье, осведомились на опиумной флотилии о состоянии дел и узнали, что войны еще нет, но что со следующей почтой, ожидавшейся недели через две, должны прийти решительные известия. Получив эти сведения, Путятин поспешил в Шанхай, где распорядился постановкой потрепанной в Татарском проливе шхуны в док, а сам занялся дипломатической рекогносцировкой.

Между тем политическая атмосфера все сгущалась и сгущалась. В среду, 8 декабря, адмирал поздно вечером явился в гостиницу, где стояло большинство русских офицеров, и вызвал в отдельную комнату Посьета и Римского-Корсакова. «Я вошел первым,— рассказывает последний,— и застал его встревоженным. Он объявил нам, что пришла из Гонконга шхуна, адресованная на имя португальского консула, которая привезла известия о входе соединенной англо-французской эскадры в Босфор и об объявлении войны между Россией и Турцией». [15] Приходилось торопиться, чтобы не попасть в руки стоявших на рейде английских судов. Не теряя ни минуты, Корсаков поехал на шхуну и распорядился, чтобы с трех часов утра приступили к работам и готовились к отплытию. На рассвете снялись с якоря и, на ходу вытягивая ванты, поднимая рангоут и прикрепляя паруса, пошли на соединение с фрегатом. Адмирал прибыл несколькими днями позже, инкогнито, на частной яхте. Он дождался почты из Гонконга и, убедившись, что пока еще с Францией и Англией официально разрыва нет, спешил в Нагасаки на свидание с уполномоченными.

Через несколько дней, по возвращении в Нагасаки, туда прибыли и «groote Herren» * из Иедо и начались переговоры по существу дела. Но и тут, после первого же заседания, Путятину пришлось убедиться, что тактика затягивания и всяческих проволочек будет продолжаться и впредь. Было очевидно, что в Иедо еще не вполне отказались от надежды умышленным промедлением и множеством представляемых затруднений отсрочить дело на неопределенное время и охладить наше и американское правительство к достижению открытия портов и что там решились бы на последнее только в случае совершенной невозможности противиться нашим настояниям. Вывод этот был совершенно правильным, особенно если принять во внимание, что с японской стороны все переговоры были в руках Кавадзи, ожесточенного противника всяких сношений с иностранцами, резко восстававшего позднее против заключения договора с Америкой.

Как бы там ни было, но переговоры приняли затяжной характер. Свидание следовало за свиданием; приемы, чаепития, собеседования отличались крайним радушием, любезностью и дружелюбием: стороны обменивались комплиментами, подарками, но дело не шло на лад. «Логи-

---

* «великие господа» (*гол.*).

ческие», по выражению Путятина, доводы не действовали на японцев. Напрасно он приводил уполномоченным сотни доказательств, составлял для них красноречивые и убедительные записки, соблазнял последними завоеваниями промышленной и военной техники. Кавадзи не поддавался ни на какие убеждения и, прикидываясь чуть ли не сторонником политики открытых дверей, очень ловко, не оскорбляя достоинства противной стороны, уклонялся от всяких положительных обещаний.

А между тем время шло, и с каждым днем положение экспедиции становилось опаснее и опаснее. Лишенная каких-либо известий, так как Путятин опасался посылать свои суда в Шанхай, она всякую минуту могла ожидать внезапного нападения неизмеримо более сильного врага. Необходимо было на что-нибудь решиться, и Путятин остановился на своем прежнем плане: идти на Манилу, там основательно починиться и весной начать крейсерство в Тихом океане. На эскадре мечтали о набеге на Австралию, о каперстве у берегов Индии и пр., и пр.

Уходя, адмирал оставил японцам проект трактата, обещая вернуться весной для его обсуждения, и обменялся с уполномоченными нотами, которыми Россия объявлялась наиболее благоприятствуемой страной по торговле, с обязательством распространения на нее всех возможных привилегий, какие могут быть выданы другим державам.

Вслед за тем (27 января 1854 г.) после прощального обеда эскадра вышла в океан и направилась на Манилу с заходом на Ликейские острова, где коммодор Перри устроил свое депо и где Путятин надеялся разузнать последние новости из Европы.

Утром 29 января завидели главный из этих островов и к вечеру подошли к рейду в гавани Напа-Кианг.

Здесь «Палладу» ожидало новое злоключение. Берег отделялся от океана длинной грядой коралловых рифов, сквозь которые было только два узких прохода. Проскользнуть в них ночью не представлялось никакой возможности; приходилось ждать утра. Фрегат бросил якорь в виду берегов, неподалеку от рифа, надеясь на рассвете попасть на рейд.

Надежда эта не оправдалась. Ночью поднялся крепкий, переходящий в шторм ветер с моря, прижимавший несчастное судно к рифу. При этих условиях нечего было и думать сниматься с якоря: прежде чем успели бы поднять его, «Палладу» подрейфовало бы на камни. Приходилось отстаиваться на месте. «Кругом была непроницаемая мгла. Дождь хлестал с остервенением, в воздухе реяли огненные струи, ветер ревел, заглушая гром» (с. 587). Среди плавателей снова воцарилась тревога. Стоило только лопнуть канату или сдать якорю, и судну грозила неминуемая гибель на рифах. К утру ветер начал было стихать, но потом снова задул с прежней силой, продержав моряков более двух суток «на рубеже жизни и смерти». Дважды пытались поднять якорь, и всякий раз приходилось бросать дело на половине: судно сейчас же начинало дрейфовать к берегу. В результате этих попыток только приблизились к скалам чуть ли не на 200 сажен.

«Перед нами,— пишет Гончаров,— менее нежели в полуверсте, играли буруны, неистово переливаясь через рифы ⟨...⟩ Океан ⟨...⟩ как будто толкал нас туда, в клокочущую бездну, и мы упирались у порога ее, как

упирается человек или конь над пропастью. Ветер все крепчал, и нам оставалась борьба с океаном и вопрос с сомнением, кто одолеет? Останемся ли мы или... Смерть от нас в двухстах саженях...» (с. 588).

Гибель казалась столь близкой, что «бывшие на берегу офицеры с американского судна сказывали впоследствии, что они ожидали уже услышать ночью с нашего фрегата пушечные выстрелы, извещающие о критическом положении судна, а английский миссионер говорил, что он молился о нашем спасении» (с. 564).

Однако судьба и на этот раз сжалилась над дряхлой «Палладой». На исходе второй ночи ветер стал стихать, меняя направление, и утром судно получило наконец возможность перебраться за рифы — на спокойный, хотя и усеянный мелями рейд.

Описание Ликейских островов принадлежит к самым очаровательным страницам «Паллады». К сожалению, обстоятельства не позволяли экспедиции задержаться в этом чудесном месте. Адмирал попытался довольно неудачно войти в сношения с местными властями, но, убедившись, что японские обычаи по отношению к иностранцам пустили глубокие корни и на этих островах, к слову сказать, подвластных Японии, ограничился лишь тем, что разузнал в депо американцев о последних европейских новостях и о намерениях Перри. 9 февраля двинулись на Манилу.

Уже давно моряки мечтали об этой «тропической Испании».

Манила представлялась им каким-то убежищем от всяких зол и невзгод тяжелого и трудного плавания. Нейтральный порт и притом дружественной державы, где можно было спокойно и не торопясь вычинить истрепанные суда; богатые склады корабельных припасов, позволявшие переменить изношенный рангоут, такелаж и паруса; старинный испанский город с культурным обществом, с своеобразным укладом жизни и, наконец, великолепная природа — казалось, что здесь соединялось все, что путники могли пожелать при данных обстоятельствах.

Однако уже при входе на рейд их ждал весьма неприятный сюрприз: первым судном, замеченным с «Паллады», оказался старый знакомец по Шанхаю — французский военный пароход «Кольбер». Его присутствие значительно усложняло пребывание русской эскадры на Маниле.

Как русские, так и французы не знали, как вести себя по отношению друг к другу, и отказались от традиционного обмена визитами. Это обстоятельство уже само по себе создавало напряженное настроение на рейде. С другой стороны, всегда можно было ожидать, что в один прекрасный день «Кольбер» уйдет в Гонконг или Шанхай и вернется оттуда с целой неприятельской эскадрой. Сверх того пребывание в городе французов затрудняло переговоры с испанцами, которые оказывались между двух огней и должны были держать строгий нейтралитет.

Впрочем, и сами испанцы далеко не приветливо отнеслись к русской эскадре, что было вторым разочарованием для Путятина.

Вот что доносил об этом Бурбулон своему министру 4 апреля 1854 г. русский адмирал далеко не остался доволен сделанным ему там приемом и циркулировали в манильском обществе и попали даже в местные газеты,

«Если верить сведениям, которые, по словам командира „Кольбера“,

сам в своих сношениях с испанскими властями не проявил достаточной сдержанности и такта. Говорят, что вслед за прибытием русской эскадры в Манилу новый губернатор Филиппинских островов ген. Павиа дал знать адмиралу, что в связи с позицией, занятой Петербургским кабинетом по отношению к правительству королевы, он, по своему званию правителя испанской колонии, может принять его не как русского адмирала, а лишь как частное высокопоставленное лицо; соответственно этому через несколько дней со стороны губернатора последовало частное приглашение на обед, которое и было принято Путятиным. Говорят также, что, несмотря на столь явное предупреждение, русский адмирал, прибывший в Манилу для починки своих судов, все же обратился к генералу с письмом, в котором содержалась просьба не более не менее, как о предоставлении русским особого места в порту, где бы они могли возвести все необходимые сооружения, поднять свой флаг, словом — устроить депо для своего флота.

Единственным ответом на эту просьбу было „предложение русским судам в трехдневный срок покинуть манильский рейд". На возражение Путятина, что у него нет угля, губернатор заявил, что он выдаст таковой из правительственных складов. Путятин принял предложенный уголь и действительно покинул рейд до истечения трехдневного срока». [16]

Любопытно отметить, что ни в донесениях и письмах Путятина, ни в воспоминаниях других участников экспедиции нельзя найти никаких откликов или намеков на этот инцидент. Только в очерках Гончарова глухо упомянуто о внезапности их отплытия из Манилы (с. 442). Однако именно эта быстрота и внезапность, с какой Путятин, располагавший надолго обосноваться в Маниле, покинул ее рейд, подтверждает правильность сообщения Бурбулона. [17] Весьма вероятно, что его донесение сгущает краски в неблагоприятном для русского адмирала смысле, но сущность содержащихся в нем сведений, по всем данным, близка к истине.

Как бы там ни было, но надежды на Манилу не оправдались, а вместе с этим рушились и все планы о крейсерстве в Тихом океане, о походе в Австралию и пр., и пр. Состояние «Паллады» было таково, что не приходилось мечтать даже о простом переходе в Сан-Франциско или какую-нибудь другую удобную американскую гавань. Оставалось только одно: идти к ближайшим русским владениям, а оттуда пробираться в Петропавловск или Ситху. И то и другое очень не улыбалось Путятину, так как он знал, что ни в одном из этих портов нельзя найти ни средств для капитального ремонта фрегата, ни продовольствия для команды. Однако никакого другого выхода у него не было. Во всяком случае с Манилой нужно было расставаться, и чем скорее, тем лучше, потому что в городе распространились слухи о скором прибытии английской эскадры.

Наметив корейский остров Гамильтон первым этапом плавания к русским владениям, Путятин поспешил покинуть негостеприимный порт, тщательно скрывая направление своего движения. 27 февраля эскадра вышла в море с перспективой встретиться с гораздо сильнейшим врагом.

Первоначально суда держались вместе, но вскоре затем Путятин послал шхуну вперед, на Батан, заготовить провизию, а транспорт — к Шанхаю на рекогносцировку.

Таким образом «Паллада» и «Оливуца» как вполне пригодные боевые суда остались одни.

Настроение у моряков было крайне возбужденное. С минуты на минуту ждали встречи с неприятелем. Фрегат привели в боевую готовность; пушки зарядили двумя ядрами; было решено во всяком случае принимать бой и при неблагоприятном исходе взорваться. На эту тему в кают-компании шли бесконечные волнующие разговоры; наблюдение за горизонтом было усилено; все жили начеку. Несколько раз происходила ложная тревога.

И среди всех этих волнений «Палладу» ждала новая, еще горшая беда. Погода все время стояла бурная; дули крепкие противные ветры с порывами. Между тем приходилось спешить изо всех сил, и старое судно несло гораздо больше парусов, нежели могло выдержать. В результате, после двух или трех особенно сильных шквалов, обе главные мачты — грот и фок — сдали, последняя дала настолько серьезную трещину, что пришлось убрать большую часть парусов.

О продолжении плавания к берегам Кореи нечего было и думать. Прежде всего нужно было хоть на скорую руку исправить аварию. Но где это сделать? Идти в Гонконг или Шанхай не представлялось возможным: это означало бы прямую капитуляцию. Из Манилы только что вежливо прогнали. Пробираться в Батавию слишком далеко, да и опасно из-за весьма вероятных встреч с англо-французами. А в то же время болтаться в море с уменьшенной парусностью, под угрозой гибели от первого шторма или в первом столкновении с неприятелем, было бессмысленно. В этой крайности командиры решили спуститься назад, к группе островов Бабуян, на островок Камигуин, в порт Пио-Квинто, недалеко от Люсона.

Предварительно заглянули на Батан, приняли провизию и уведомили шхуну, чтобы она шла в порт Гамильтон, не дожидаясь фрегата.

Оттуда в двое суток перешли в Пио-Квинто, где принялись за исправление повреждений: одна партия рубила деревья в тропическом лесу, другая изготовляла из них соответствующие шкалы, в которые, словно в корсеты, зашнуровывали ослабнувшие мачты; закрепили также расхлябанные от гнилости палуб мачтовые гнезда. Работа производилась наспех, чтобы только как-нибудь добраться до берегов Сибири. Несмотря на это починка вышла на славу, и с этого времени вплоть до конца похода пометки в шханечном журнале о слабости мачт совершенно прекращаются. Таким образом «Паллада» снова получила возможность развивать свою обычную скорость.

Утром 21 марта снялись с якоря и двинулись к северу. Для моряков снова началась тревожная жизнь военного времени; снова фрегат был приведен в боевую готовность и шел с заряженными пушками, с вооруженной командой; опять пошли усиленные вахты, напряженное наблюдение за горизонтом, ложные тревоги.

Между тем ветер, первоначально попутный, изменил направление и задул прямо в лоб. Приходилось лавировать, теряя массу дорогого времени на бесцельное и опасное блуждание по морю. Только 26-го пересекли северный тропик, чтобы уже больше никогда не спускаться к нему. Через несколько дней с севера начало весьма чувствительно «попахивать холо-

дом», пошли бесконечные дожди, разводя на судне сырость; горизонт нередко закрывала непроницаемая пелена тумана. «Паллада» навсегда прощалась с полуденными широтами. Еще через несколько дней завидели пустынные скалы Гамильтона и 6 апреля вошли в угрюмую, дикую гавань. На рейде застали только шхуну; транспорта из Шанхая еще не было. Впрочем, он не заставил себя долго ждать: пришел в тот же день. Однако из Европы «новости» были все те же, какие получили еще в Маниле: дипломатические сношения с Францией и Англией прерваны, но объявление войны еще не состоялось.

Рассчитав сроки получения почты и выяснив, что известие о начале военных действий не может достигнуть Шанхая раньше, чем через две недели, Путятин решил использовать это время, чтобы снова напомнить о себе в Нагасаки. Во исполнение этого решения 7 апреля снялись с якоря и на другой день явились в Нагасаки. Узнали у губернатора, нет ли ответа из Иедо; ответа, конечно, не было. Но Путятин и не рассчитывал на него; он уже давно решил, что в Нагасаки ничего путного не добьется, и ждал лишь удобного случая, чтобы понаведаться в какой-нибудь порт поближе к резиденции микадо и сиогуна. Остальное время стоянки прошло в обычных церемониях с получением провианта, разменом подарков и проч. и проч. По выходе из Нагасаки эскадра снова разделилась: транспорт направился прямо в Императорскую бухту, корвет «Оливуца» Путятин отослал в распоряжение Невельского, Римскому-Корсакову поручил разведку у Шанхая, а сам, желая выждать, пока Татарский пролив очистится от льда, двинулся к берегам Кореи, где, по его расчетам, враги едва ли бы стали его искать; в то же время он намеревался произвести съемку неизвестных районов.

Покинув Нагасаки 14 апреля, 18-го миновали Цусиму и 20-го завидели корейский берег. Этот день и надо считать началом знаменитой в летописях русского плавания съемки, продолжавшейся около месяца. Работа происходила в невероятно трудных условиях. Погода все время стояла отвратительная. Лишь изредка в шханечном журнале попадаются заметки: «ясность, светлость луны, блистание звезд» или «малооблачно, с просиянием солнца». Большей частью небо было обложено низкими тучами, шли непрерывные дожди; налетали шквалы; по горизонту вечно стояла «мрачность». Когда же несколько продвинулись к северу, «Палладу» стали одолевать туманы. А между тем при таких условиях и простое плавание было сопряжено с большими опасностями и трудами, производство же описи превращалось в какое-то сплошное мытарство, изнурявшее моряков. Для многих участков берега никакой предварительной съемки не было вовсе; для других существовали совершенно неверные карты конца прошлого столетия. Приходилось идти ощупью, наугад, останавливаясь в туманные дни на якоре или отбегая подальше от суши в случае усиления ветра. Судно не раз было на краю гибели: то внезапно подымалась пелена тумана, и береговые скалы, до которых по расчетам было еще далеко, оказывались близехонько, чуть ли не в двух шагах, то едва не под носом фрегата неожиданно выступала из пасмурности полоса буруна, признак мели и подводных камней. Непрерывно — по два, по три раза на день — спускали

гребные суда для промеров и рекогносцировок. Офицеры и матросы проводили добрую половину времени на шлюпках, выбиваясь из сил в тяжелой работе, под проливным дождем и холодным ветром. Несколько раз останавливались на день-два в неизвестных гаванях. Тогда отправлялись на берег, старались завести сношения с жителями. Это удавалось плохо: корейцы упорно сторонились чужеземцев, иногда встречали их камнями и дубинами, упорно отказывались продавать какие-либо припасы. Впрочем, и самый край выглядел таким убогим и бедным, что на получение сколько-нибудь серьезных партий провианта рассчитывать не приходилось. А на фрегате между тем начинала ощущаться острая нужда в свежих припасах. Скудные подарки нагасакского губернатора давно уже кончились; приходилось переходить на старую солонину; но хуже всего было, что приходили к концу сухари; на Маниле из-за спешности отплытия не успели запастись ими, а взяли муку, и теперь приходилось экономить. А между тем именно теперь команда нуждалась в усиленном довольствии: от постоянной сырой и пасмурной погоды, от изнурительной работы на фрегате стали показываться подозрительные по цинге заболевания.

Тем не менее опись продолжалась: поверялись старые карты, составлялись новые, и корейский берег постепенно начал менять свои традиционные очертания. Открыли три новые превосходные бухты, которым дали имена: бухты Унковского, порта Лазарева, залива Посьета. Заносимые на карту новые мысы и острова также крестили в честь участников экспедиции: мыс Гошкевича, остров Пещурова и т. д.; один островок выпал и на долю Гончарова. Наконец уже в середине мая съемка закончилась; дальше начинался хорошо обследованный Лаперузом маньчжурский берег. «Паллада» покинула береговую полосу и вышла в открытое море, взяв курс на Татарский пролив. 17 мая у самого входа в него неожиданно встретились с спешившей в Императорскую гавань шхуной «Восток».

Среди депеш и бумаг, доставленных Путятину Римским-Корсаковым, только одна заключала в себе положительные указания насчет дальнейших действий. Это было очень сухое лаконическое письмо от великого князя, которое гласило: «Донесения Ваши через г. Бодиско получены. По нынешним политическим обстоятельствам государь император повелевает Вам идти немедленно при первой возможности в гавань Де-Кастри близ устья Амура и находиться там со всеми вверенными Вам судами в распоряжении ген.-губернатора Восточной Сибири, от которого получите дальнейшее назначение».

Исполнить это повеление Путятин, однако, не мог. Он уже назначил сборным местом для всей эскадры Императорскую гавань, и теперь ему оставалось только спешить туда. 20 мая подошли к входу в гавань, но не могли попасть в нее из-за густых туманов. Только через двое суток горизонт несколько расчистился, и вечером 22 мая «Паллада» вошла наконец на рейд, которому суждено было стать ее могилой.

Продолжать плавание они уже не могли. «Фрегат „Паллада“,— доносил несколько позднее Н. Н. Муравьев генерал-адмиралу,— закончил свою службу совсем, и хотя в свидетельстве комиссии сказано только, что он не может идти в море без исправления в порте, то есть введения

в док, но, как мне известно, эти исправления были бы такие, что строить новый фрегат; впрочем, он выслужил все сроки и плавал 8 лет после тимберовки».

Однако дело с «Палладой» не кончилось так просто. Было решено для безопасности ввести «Палладу» в лиман Амура с тем, чтобы после войны попытаться отконвоировать ее в Кронштадт.

Команда ее с частью офицеров должна была пойти на усиление Амурской экспедиции Невельского, сам же Путятин собирался вернуться сухим путем в Петербург.

С тяжелым сердцем принялись моряки за приготовление фрегата к последнему плаванию. 28 июня покинули Императорскую гавань и, зайдя за день в залив Де-Кастри, 1 июля вступили в так называемый Сахалинский фарватер Татарского пролива с целью проникнуть в Амурский лиман. Начался последний, если не самый опасный, то самый мучительный этап плавания.

Два с половиной месяца бился Унковский над проводкой «Паллады» в устье Амура и все же был вынужден отказаться от этой задачи.

Хотя и были найдены глубины, почти подходившие для разоруженного фрегата, но вся беда была в том, что провести огромное парусное судно по узкому и крайне извилистому фарватеру, пользуясь притом только «полной водой» без помощи сильных буксиров, не представлялось никакой возможности. Крутые и узкие извилины не давали достаточно места для поворотов, приливы и отливы служили большой помехой для точных промеров; сильное течение в протоках прижимало фрегат к банкам; вечная перемена ветров постоянно сулила неприятные сюрпризы. «Палладе» не раз угрожала гибель: то при крупном и неправильном волнении старое судно начинало бить о дно на мелководье, то налетевший шквал притискивал ее к мели, то в часы отлива вода буквально убегала из-под киля, и фрегат грозил лечь на бок. Тогда на «Палладе» поднималась тревога, спускали гребные суда и поспешно перетягивались на другое место. Впрочем, «тянуться» морякам приходилось постоянно. Со дня вступления в Сахалинский фарватер движение под парусами почти прекратилось; шли на буксире у своих же шлюпок.

К 15 июля кое-как дотащились до мыса Лазарева, у входа в Амурский лиман. Теперь предстояла самая трудная часть пути: перетянуть фрегат через мелководный бар. С этой целью с него сняли решительно все: орудия, материалы, припасы. Фрегат несколько поднялся, но этого было мало. Тогда решили подвести под корму, чтобы несколько приподнять ее, воздушные ящики, легкие цистерны. Однако из этого ничего не вышло: цистерны либо ломались, либо выскакивали из-под корабля. Между тем самая установка их была чрезвычайно трудна: люди, проводившие целые дни в воде, простужались, заболевали и доходили до полного изнеможения.

Не зная, что предпринять, Унковский обратился к Муравьеву. Но для Муравьева проходимость Амурского лимана для больших судов была главной картой против Нессельроде во всей его амурской политике. В силу этого в донесении Унковского он усмотрел чуть ли не желание скомпрометировать его перед Петербургом, куда он уже сообщил о вводе «Паллады»

в устье Амура; в весьма резкой и категорической форме он снова подтвердил свое первоначальное приказание. Тогда Унковский запросил Путятина, но раздраженный своей подчиненностью Муравьеву как генерал-губернатору Восточной Сибири Путятин в официальном отзыве рекомендовал Унковскому «исполнить волю высшего начальника».

Снова начались медленные скитания по Татарскому проливу; фрегат на буксире перетаскивали из одного протока в другой в тщетной надежде найти где-нибудь удобный доступ к лиману. В конце концов опять очутились у мыса Лазарева, где скинули с фрегата все возможное, и начали тянуться через бар. Каких усилий стоило это команде, об этом лучше всего говорит запись шханечного журнала; начиная с июля месяца в нем постоянно попадаются отметки о смерти того или другого матроса; за время своего пребывания в Татарском проливе «Паллада» потеряла больше людей, нежели за все плавание, хотя и там процент смертности сравнительно с другими экспедициями был очень высок. Среди офицерского состава умер штурман Истомин, все остальные переболели тяжелыми простудными заболеваниями (горячки). Сверх всего прочего на фрегате появилось много подозрительных по цинге случаев.

В это время произошло событие, существенно изменившее картину. Тот новый фрегат на смену «Паллады», о котором так хлопотал Путятин и в прибытии которого он уже отчаялся, наконец прибыл. В ночь на 22 июля на «Палладу», все еще стоявшую у мыса Лазарева, неожиданно явился лейтенант барон Н. Г. Шиллинг с донесением от капитана Лесовского о приходе «Дианы» в Де-Кастри. [18]

С приходом «Дианы» оживились надежды на проводку «Паллады» в реку: увеличивалось как количество опытных рабочих, так и число гребных судов.

26 июля «Диана» была подведена к «Палладе», куда переместили часть ее команды, и работа снова закипела. В то же время Путятин занялся перевооружением своего нового судна за счет старого: дианские единороги были заменены 68-фунтовыми орудиями с «Паллады»; на нее перенесли оттуда и меньшую крюйт-камеру, увеличив таким образом боевые запасы судна. Вслед за тем встал вопрос о команде. Дело в том, что в связи с рядом столкновений с матросами, имевших место у Лесовского во время плавания, команду «Дианы» нельзя было считать надежной для такого трудного и опасного предприятия, какое затевал Путятин. Поэтому он решил перевести на «Диану» и большую часть испытанной палладской команды, всего свыше 300 человек. Вместе с этим шло и перекомплектование офицерского состава. Переходя на «Диану», Путятин кроме своего штаба брал с собою и нескольких особенно симпатичных ему офицеров: Лосева, Зеленого, Болтина, Пещурова, Колокольцева и др. Часть же дианских офицеров была списана с судна: Бутаков, Бирюлев и др. Из образовавшегося таким образом «офицерского запаса» несколько человек с Бутаковым во главе должны были остаться на Амуре, остальным же предоставлялось право вернуться в Петербург. Кроме того, лейтенанта барона Криднера Путятин посылал туда со специальной миссией представить личные объяснения генерал-адмиралу, рассчитывая, что этот последний к

своему бывшему адъютанту отнесется более благосклонно, чем к кому-либо другому.

Этим моментом и воспользовался Гончаров, чтобы также «проситься домой». Ему решительно не хотелось пускаться в новое и к тому же чисто военное плавание, и он сумел представить адмиралу множество соображений, по которым его присутствие на «Диане» будет совершенно бесполезным и ненужным. Привязавшийся к нему Путятин с неохотой согласился на эту просьбу и дал просимое разрешение.

«2 августа,— гласит краткая запись шханечного журнала,— по приказу его превосходительства ген.-ад. Путятина переведены на шхуну „Восток": отправляющийся курьером в С.-Петербург лейтенант барон Криднер, лейтенант Тихменев и секретарь при генерал-адъютанте Путятине — коллежский асессор Гончаров».

Расстались они дружески. Путятин вполне оценил недюжинные способности своего секретаря, очень дорожил его путевыми заметками и отпускал его с большим сожалением. Он позаботился о выдаче путникам щедрых подъемных и прогонных и просил Муравьева оказать им содействие в трудном путешествии. В то же время он писал генерал-адмиралу: «При перемещении моем с фрегата Паллады на Диану я, между прочим, признал более целесообразным предоставить находящемуся в экспедиции арх. Аввакуму и назначенному секретарем при мне чиновнику М-ва финансов кол. ас. Гончарову возвратиться сухим путем через Сибирь в С.-Петербург.

Если бы вашему императорскому высочеству благоугодно было бы иметь какие-либо сведения сверх имеющихся в моих донесениях о пребывании нашем в Японии, я беру смелость донести, что г. Гончаров удовлетворительнее других сможет изобразить все подробности наших свиданий с японскими уполномоченными, ибо он, по назначению моему, присутствовал при всех переговорах с ними». Генерал-адмирал, однако, не пожелал видеть «историографа экспедиции», хотя и прочел позднее с большим удовольствием его путевые очерки.

4 августа шхуна подошла к фрегатам, приняла путешественников и немедленно направилась в Николаевский порт за Муравьевым, собиравшимся на ней в Аян. Таким образом, день 4 августа был для Гончарова днем расставания с «Палладой» и с ее дружной и милой кают-компанией.

Забрав в Николаевском порту Муравьева и его свиту, шхуна двинулась в дальнейший путь. Но и на этом последнем морском переходе судьба не побаловала Гончарова спокойным, приятным плаванием. «Переход шхуны в Аян,— заносит в свой дневник Римский-Корсаков,— был вообще неудачен. Муравьеву нужно было зайти в Петропавловское зимовье, и там шхуне пришлось отстаиваться на якоре из-за свежих ветров четверо суток. Кроме того, на переходе в Зимовье часто становились на мель, и только 15 августа попали в Аян». [19] Так как шхуна должна была немедленно идти в Петропавловск, то путников торопили с высадкой. Вечером того же дня Гончаров был на берегу. Путешествие его закончилось: из путешественника он превратился в «проезжающего по казенной надобности».

Между тем в Амурском лимане все шло по-старому. Несмотря на пополненную команду и удвоенное число гребных судов, все попытки

Унковского провести «Палладу» через бар в устье реки не имели успеха. «Все решительно рукава в этом лабиринте мелей были исследованы и оказались слишком мелководны. Во время этих работ фрегат выдержал несколько штормов. Из них исключительным по силе был шторм 10 сентября, ни в чем не уступавший тайфуну; этим штормом было разбито у борта „Паллады" несколько шлюпок с „Дианы"».

Наконец Путятин, видя, что из всех этих попыток все равно ничего не выходит, и торопясь до наступления осенних бурь покинуть негостеприимный Татарский пролив, решил принять на себя ответственность за неисполнение муравьевского распоряжения. Приказом от 15 сентября Унковскому предписывалось сдать «Палладу» Лесовскому для отвода ее на зимовку в Императорскую гавань, а самому следовать в С.-Петербург. Унковский вздохнул с облегчением: 24-го числа сдача состоялась, и Лесовский немедленно повел отслужившее все сроки судно к месту его последней стоянки. В Императорской гавани «Палладу» поставили в одной из самых укромных бухт (Константиновской).

Перезимовав благополучно, команда на следующее лето была отправлена на Амур. Надводную часть «Паллады» сожгли и затем потопили фрегат, боясь, чтобы он не попал в руки англичан.

Бывший в Императорской гавани несколько лет спустя А. В. Вышеславцев так описывает эти места: «Но вот довольно обширная просека ⟨...⟩ тут остатки батарей, возведенных Путятиным. Быльем и мусором поросло здесь пепелище первых русских построек; против этого места указывают могилу „Паллады"; говорят, будто иногда, в ясный день, виднеется абрис ее бизань-мачты». [20]

III

Все вышеприведенные материалы с полной очевидностью показывают, что подлинная история путятинской экспедиции не имеет почти ничего общего с «правдивым до добродушия» рассказом Гончарова. «Фрегат „Паллада"» — прежде всего литературное произведение, сделанное в строго определенном литературно-художественном плане, а отнюдь не простой отчет путешественника. Печатаемые выше письма представляют исключительный интерес именно в том отношении, что они позволяют раскрыть художественный замысел, лежащий в основе гончаровских очерков.

Как бы сдержан и осторожен ни был Гончаров в этих письмах, как бы ни фильтровал он содержание своих писем (многое в них к тому же служит предварительными эскизами к тексту очерков, то есть уже является *литературным* фактом), но все же мы находим в них много указаний на то, как он подходил к решению ответственной задачи описания путешествия, как заранее подыскивал тематико-идеологический и стилистический план для будущего произведения, какие при этом испытывал колебания и сомнения. Попробуем же более детально вскрыть значение публикуемых писем, анализируя с их помощью материал очерков на фоне документальной истории экспедиции.

Несмотря на внешнюю твердость и быстроту, с какой Гончаров принял решение «бежать» от скучной и нудной петербургской жизни в кругосветное путешествие, внутренне он все время пребывал в мучительной растерянности и колебаниях. Более того: еще не взойдя на корабль, он подумывал уже о возвращении с пути. [21]

Его пугали не только предстоящие лишения, тревоги, опасности, вопросы здоровья и долгий срок плавания — его постоянно преследовала мысль о тех обязательствах, которые возлагало на него как на литератора участие в столь замечательной экспедиции. Сознание литературной ответственности ни на минуту не оставляло его ни в счастливые дни перед отплытием, ни позднее, в течение всего путешествия. Его частные письма друзьям полны различных замечаний по поводу работы над очерками, то унылых и разочарованных, то бодрых и самонадеянных. В этом отношении он остается верен самому себе, и среди тревог и волнений тяжелого плавания так же сосредоточен на своих художественных замыслах, как в покойной петербургской квартире. «Видно, и впрямь людям при рождении назначены роли,— замечает он сам по этому поводу,— мне вот хлеба не надо, лишь бы писать, что бы ни было, все равно, повести ли, письма, но когда сижу в своей комнате за пером, так только тогда мне и хорошо» (с. 714). Кажется, и само путешествие переживалось им по-разному, в зависимости от писательства; ладился его литературный труд, тогда и все представлялось ему в розовом свете; наступала какая-нибудь заминка, одолевали сомнения — и все окружающее окрашивалось в мрачный колорит.

Первоначально Гончаров с радостью ухватился за мысль написать книгу путевых заметок. Это соображение сыграло значительную роль в его решении принять участие в экспедиции. Отчаиваясь в успешном завершении «Обломова» и «Обрыва», работа над которыми не клеилась, он надеялся создать здесь такое произведение, которое во всяком случае было бы занимательно, если бы он даже просто, без всяких литературных претензий, записывал бы только то, что увидит.

Но постепенно и тут его стали одолевать привычные сомнения в своих силах, и соблазнительная сначала мысль о путевых записках превратилась в «грозное привидение». Ведь предстояло объехать весь мир и рассказать об этом так, чтобы слушали рассказ без скуки, без нетерпения. «Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какою физиономией явиться в общество?» (с. 12).

В самом деле, как и что рассказывать? Когда Гончаров, еще не покидая Петербурга, стал вдумываться в предстоящую ему задачу, она поразила его своею сложностью и громадностью. Ведь он не просто путешественник, ведущий беспристрастную запись пережитого; он литератор, художник — «артист», с которого спросят не простой отчет об испытанном, но художественное описание. Он обязан дать не беспорядочный дневник, но стройную картину, с гармоничным распределением частей и искусной выборкой материала. Задача сложная, не менее сложная, чем создание какой-нибудь повести или даже романа. Вот почему, еще никуда не уехав и ничего не увидев, он уже спрашивает себя, что и как описывать. Ему надо заранее определить свое отношение к материалу — свой художест-

венный подход к нему: для поэтического претворения этого материала ему нужна какая-то литературная установка, литературный замысел.

А между тем именно жанр путешествия не обладает твердыми, традиционными формами. «Нет науки о путешествиях,— замечает Гончаров,— авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики», и благодаря этому «никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику» (с. 12).

Но в то же время Гончаров ясно понимает, что к нему будут предъявлены читателями особые требования: отделаться географией, историей, археологией ему не удастся: «Отошлите это в ученое общество,— скажут ему,— а беседуя с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес, поэзии, огня, жизни и красок!» (с. 12).

«Чудес, поэзии, огня, жизни и красок» — Гончаров не ошибался, что именно такие требования и будут предъявлены к его литературному отчету о странствии в «волшебной дали, загадочной и фантастически прекрасной» (с. 9). Еще и поныне эта даль остается таинственной и чудесной — в пятидесятых же годах, когда в сознании широких кругов читателей, с одной стороны, были еще свежи традиции «морской» прозы Марлинского, а, с другой — само кругосветное путешествие рисовалось каким-то фантастическим предприятием, поэтическое описание его в глазах широкой массы «людей всякого образования» не могло быть ни чем иным, как патетическим и красочным повествованием о героическом, исполненном невзгод и приключений походе аргонавтов к таинственно прекрасным берегам.

Но еще более любопытно, что и сам Гончаров в глубине души также сочувствовал именно такой установке повествования; он сам жил романтической мечтой, сам грезил о чудесах загадочной дали, сам говорил о них «хорошим слогом». «Нет, не в Париж хочу,— восклицал он,— не в Лондон, даже не в Италию ⟨...⟩ — хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом превращает в камень все, чего коснется своим огнем; где человек, как праотец наш, рвет несеянный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето,— туда, в светлые чертоги божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться» (с. 9).[22]

В этих восклицаниях дана исходная формула для построения книги путевых заметок, продолжающая как стилистически, так и тематически традицию русского романтизма тридцатых и сороковых годов. Гончаров отказался от нее в своих «Очерках путешествия», но в то же время он не может отделаться от мысли, что нечто подобное должно было бы войти в состав его произведения. Позднее, уже имея в руках ряд глав, написанных совсем по иному основному плану, с иными тематическими и стилистическими заданиями, он все время испытывает беспокойство по поводу отсутствия в них патетического и романтического элементов.

«Пробовал я заниматься,— пишет он Майковым, подводя итоги плаванию,— и, к удивлению моему, явилась некоторая охота писать, так что

я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова — все это записано у меня и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас; но эти труды спасли меня (от тоски,— *Б. Э.*) только на время. Вдруг показались они мне не стоящими печати, потому что нет в них фактов, а одни только впечатления и наблюдения, и то вялые и неверные, картины бледные и однообразные...» (с. 691). «Тетрадь действительно толстая,— замечает он в другом письме,— но из нее наберется так немного путного, и то вяло, без огня, без фантазии, без поэзии. Не подумайте, чтоб скромничал, это не моя добродетель» (с. 694).

Таких сетований немало в его письмах. Гончаров ясно сознавал, что в той картине чудес, которая перед ним развернулась, в той бездне величественных и ярких впечатлений, которые на него хлынули со всех сторон, многое заслуживало бы иной трактовки — в патетическом, взволнованном тоне. И тем не менее он категорически отказался от всяких притязаний на патетический стиль и романтическую тематику в своем рассказе о плавании и, несмотря на боязнь не оправдать ожидания читателя, несмотря на свою собственную неудовлетворенность, предпочел совершенно иной тематико-стилистический план повествования.

Причин этого непонятного на первый взгляд явления следует искать прежде всего в литературных позициях автора, в отчетливом понимании им недостаточности своих сил в области «повышенной» прозы.

Уже с первых шагов путешествия он начинает изнемогать от массы новых ярких и сильных впечатлений и — именно как художник — испытывает острое чувство растерянности, не зная, справится ли он со всеми ими. «Не знаю,— пишет он Майковым из Портсмута,— смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так чтоб это хотя слабо отразилось и в Вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не люблю, я стараюсь прибирать ключ к ним, а если не нахожу, то освещаю их светом своего воображения» (с. 621). «Материалов, то есть впечатлений, бездна, не знаю, как и справиться,— замечает он позднее,— времени недостанет; а если откладывать — пожалуй, выдохнется. Жалею, что писал Вам огромные письма из Англии: лучше бы с того времени начать вести записки — и потом все это прочесть Вам вместе, а теперь вышло ни то ни се. И охота простывает, и времени немного, да потом большую часть событий я обязан вносить в общий журнал — так и не знаю, выйдет ли что-нибудь. Впрочем, постараюсь: одна глава написана — это собственно о море и о качке (1-я часть II главы — Атлантический океан и остров Мадера,— *Б. Э.*). Читал — смеялись. До Мадеры, до Зеленого Мыса, до тропиков еще не дотрогивался. *Мне как-то совестно и начинать говорить об этом. Я все воображаю на своем месте более тонкое и умное перо, например Боткина, Анненкова и других,— и страшно делается. Зачем-де я поехал? Другой на моем месте сделал бы это гораздо лучше, а я люблю только рисовать и шутить. С этим хорошо где-нибудь в Европе, а вокруг света!»* (с. 643). «А тоска-то, тоска-то какая, господи твоя воля, какая. Бог с ней, и с Африкой. А еще надо в Азию ехать (писано с м⟨ыса⟩

Добр⟨ой⟩ Надежды,— *Б. Э.*), потом заехать в Америку. Я все думаю: зачем это мне? *Я и без Америки никуда не гожусь: из всего, что вижу, решительно не хочется делать никакого употребления; душа наконец и впечатлений не принимает. Как бы все это пригодилось другому!»* (с. 649); курсив мой,— *Б. Э.*).

Если оставить в стороне отзвуки ипохондрических настроений, прорывающихся в последних фразах, да преувеличенную оценку «пера» Боткина и Анненкова,— смысл этих признаний совершенно ясен. Гончаров сам отлично учитывал сильные и слабые стороны своего литературного дарования. Он знал, что спокойное, слегка ироническое, шутливо-добродушное описание наиболее далось ему. Но точно так же он давал себе ясный отчет, что много и много впечатлений кругосветного плавания не может уложиться в рамки такого описания, что для них нужна и беспокойная героическая тематика и повышенный эмоционально напряженный стиль. Поэтому-то он говорит, что с его преобладающей способностью «рисовать и шутить», пожалуй, далеко не уедешь, что с этим хорошо где-нибудь в Европе, а не кругом света.

И снова Гончаров был совершенно прав. В силу особого характера его творческого сознания «патетическое» давалось ему чрезвычайно трудно. Об этом свидетельствуют не только признания его интимных писем, не только его рукописи, но и своеобразная трактовка проблемы творчества в третьей части его трилогии.

Кругосветное путешествие поставило Гончарова перед такой, отчетливо осознанной им антитезой: с одной стороны, его художественная манера, выражающаяся прежде всего в умении «рисовать и шутить», с другой — героический поход, исполненный лишений и опасностей, изнурительных трудов и самоотвержения, преданности долгу, суровая и тревожная жизнь на военном корабле, пробирающемся под вечной угрозой развалиться от дряхлости по трем океанам, сквозь штормы и туманы, иногда сквозь строй врагов к таинственным берегам «тридесятого государства», грандиозные картины тропической природы, стоянки в экзотических портах с экзотическим цветным населением, бесконечная смена климатов, стран, ландшафтов, народов и проч., и проч.

Казалось бы, что перед нами две величины почти несоизмеримые. И действительно: с теми литературными данными, которыми располагал Гончаров, он не мог отважиться на попытку оформить все это в естественно напрашивающемся лирико-патетическом плане, не мог создать той романтической эпопеи, которой от него требовали как современный ему читатель, так и позднейшие критики.

Ему приходилось, с риском заслужить неодобрение тех и других, искать какого-то иного плана, иной тематической и стилистической установки, которая более соответствовала бы его силам и принципам его творческого восприятия жизни.

И можно только удивляться той быстроте, с какой он ориентировался в стоящей перед ним чрезвычайно трудной и сложной задаче, и той оригинальности, остроумию и проницательности, с какими он разрешил ее.

«Вы требуете чудес, поэзии, огня, жизни и красок,— обращается он

к читателю.— Вы запаздываете со своим требованием — отстаете от века».

«... их нет, этих чудес: путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса. *Все подходит под какой-то прозаический уровень.* Колонисты не мучат невольников, покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками; в пустынях учреждаются станции, отели; через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь ряд португальцев и англичан — на Мадере и островах Зеленого Мыса; голландцев, негров, готтентотов и опять англичан — на мысе Доброй Надежды; малайцев, индусов и... англичан — в Малайском архипелаге и Китае. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве ⟨...⟩ Что удивительного теряться в кокосовых неизмеримых лесах ⟨...⟩ А море? И оно *обыкновенно* во всех своих видах, бурное или неподвижное, и небо тоже, полуденное, вечернее, ночное ⟨...⟩ *Все так обыкновенно, все это так должно быть»* (с. 12—13; курсив мой,— *Б. Э.*).

Ну, а само путешествие? — спросите вы. «Не величавый образ Колумба и Васко де Гама гадательно смотрит с палубы вдаль, в неизвестное будущее: английский лоцман, в синей куртке, в кожаных панталонах, с красным лицом, да русский штурман, с знаком отличия беспорочной службы, указывают пальцем путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит в „безбрежную даль“ океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии? „Гостиницы отличные,— отвечают ему,— на Сандвичевых островах найдете все ⟨...⟩ В Австралии есть кареты и коляски, китайцы начали носить ирландское полотно; в Ост-Индии говорят все по-английски; американские дикари из леса порываются в Париж и в Лондон, просятся в университет ⟨...⟩ Лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольца удава или в когти тигра и льва ⟨...⟩ Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства» (с. 11).

А вот тот центральный образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. «И какой это образ! Не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями ⟨...⟩ Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!» (с. 13—14).

Здесь дана совершенно оригинальная исходная «установка» кругосветного путешествия. Оно берется не в плане героического похода или тяжелой экспедиции, а в плане успехов мореплавания. Путевые заметки должны поведать читателю не об опасностях и приключениях долгого плавания, не о «чудесах и тайнах» волшебной дали, но прежде всего о распростра-

нении европейской цивилизации по всему миру, о разительных завоеваниях труда и техники, о постепенном превращении путешествий вокруг света в комфортабельно обставленную спокойную прогулку; они должны рассеять смутные представления широкой публики о какой-то недоступности, загадочности и таинственности тропических стран; показать, что уже не осталось ничего недоступного, ничего чудесного и таинственного, что, напротив, все становится обыденным, знакомым и привычно доступным, что все подходит под один и тот же общеевропейский «прозаический уровень». В центре повествования оказывается уже не само путешествие с его невзгодами, лишениями и страхами, с бездной острых, необычайных впечатлений и переживаний, с его поэзией и красками, а упорный труд человека, его отвага и предприимчивость, покорившие ему весь мир, сделавшие этот мир его привычным достоянием. И с этой точки зрения совершается своеобразная переоценка всего наличного материала наблюдений и впечатлений. Опасные приключения, штормы, рифы, туманы, нехватка провизии, появление на судне болезней, военные опасности отходят назад, искусно затушевываются; вперед выдвигаются все достижения, настоящие и будущие, европейской цивилизации, техники и комфорта, на которые натыкаешься во всех углах мира; в этом плане, действительно, тихоокеанский тайфун имеет меньше значения, нежели вопрос об отелях на Капе, о колясках в Австралии, о прачках на Сандвичевых островах и т. п., и т. п.

Именно из всей массы этих тонко подобранных и хитросплетенных мелочей и возникает тот основной бытовой фон картины, который придает ей в целом колорит безусловной и добродушной правдивости.

Но соответственно этому должно измениться и описание картин природы посещенных стран, самого океана, по которому проложен маршрут путешественников. Это уже не безбрежная таинственная даль, полная чудес и опасностей, а большая проезжая дорога; по ней спешат быстрые почтовые и пассажирские пароходы, тянутся обозы торговых кораблей, едут купцы, чиновники, военные — по своей и казенной надобности. Эта дорога хорошо изучена; тут штилевая полоса, там в такое-то время года такой-то ветер, еще дальше наткнешься на плавучие водоросли, а там увидишь сидящих на воде птиц. Сама великолепная тропическая природа также должна быть охвачена художником по-особому. Прекрасно, что и говорить, но... *«все это так и должно быть»*,— удивление, наивные восторги, артистическая растерянность среди массы резких и новых впечатлений здесь не уместны. Все это не ново, не загадочно; все это уже вошло в быт европейской и — следовательно — мировой культуры; этим можно любоваться и восхищаться, как восхищались видами Италии или Альп, но именно характерное для кругосветного путешественника того времени ощущение новизны, странности, чудесности всего окружающего должно быть осторожно устранено из его литературных записок. Как само путешествие, так и все впечатления от него должны трактоваться не в плане чего-то необыкновенного, исключительного, неожиданного, а как раз напротив, в плане чего-то привычного, всегдашнего, будничного — в безразличном «прозаическом уровне».

Так решает Гончаров возникшую перед ним как перед певцом хотя бы ex oficio «похода» литературную задачу. «Мое умение рисовать и шутить,— думает он,— хорошо где-нибудь в Европе»,— так превратим весь мир в такую «Европу», изобразим кругосветное путешествие, словно какую-нибудь поездку из Москвы на Кавказ, из Парижа в Рим; в этом плане при тщательном отборе материала мне, быть может, и удастся уложить все в «шутливый рисунок».

А в то же время такая литературная установка вводила «Фрегат „Паллада“» в знакомый Гончарову идеолого-тематический план. Строго говоря, рецензент «Отечественных записок» был совершенно прав, когда не без иронии говорил по поводу «Фрегата „Паллада“»: «И здесь нас преследует все тот же идеально-величавый образ лавочника, который не покидал г. Гончарова и во всех прочих произведениях его, во имя которого он вооружался и против сентиментальной взбаломочности (*sic*!) Адуева-племянника и против спячки Обломова, и против наивного эстетического эпикурейства Райского, и против бесшабашности Марка Волохова».[23] Действительно, тематика «Фрегата „Паллада“» теснейшим образом связана с тематикой всей гончаровской трилогии[24] в целом. Более того: именно в этом «идеально-величавом образе лавочника», противопоставление которого русскому барину составляет как бы символическое вступление к описанию похода от берегов Европы, нашла свое наиболее чистое, яркое и последовательное выражение буржуазная идеология Гончарова. Все гончаровские Штольцы, Адуевы, Тушины — действительно отвлеченные, бледные, неполно развитые характеры, вовсе лишенные конкретной жизненности и убедительности. Но если все эти опыты построения новых характеров не увенчались успехом, то развертывание относящихся сюда тем и идей на материале очерков путешествия было проведено Гончаровым с исключительным блеском.

Таким образом, в «Фрегате „Паллада“» мы находим одну из основных тем гончаровского творчества вообще.

Как мы уже видели, в «Фрегате „Паллада“» весь «дальний вояж» показан с точки зрения тех огромных достижений, которых успел уже добиться человек на путях покорения себе всего земного шара, а не с точки зрения тех тягостей, опасностей и страданий, которые выпадают еще на долю путешественника. В этом плане все тяжелое и опасное плавание преподнесено читателю как приятная и безопасная прогулка, и условная литературная установка так искусно замаскирована «правдивым до добродушия» рассказом, что читатель остается вполне убежденным в фактической верности повествования.

Однако такой переоценки и перемещения объективно данных впечатлений и фактов было еще недостаточно для построения книги путевых записок. В литературном описании путешествия огромную роль в качестве организующего фактора играет образ самого путешественника, около которого размещается вся система объективной тематики. И в соответствии с этим Гончарову пришлось искать и новую центральную фигуру для своего произведения.

Само собой разумеется, что, переводя свой дневник в чисто литера-

турный, оторванный от действительности план, он не мог оставить себя самого в своем, так сказать, натуральном виде, в качестве главного действующего лица повествования.

Образ путешественника необходимо было подвергнуть той же условной стилизации, как и все остальное. По отношению к целому записок как чисто литературному произведению он должен был сыграть роль центрального персонажа; по отношению же к самому Гончарову, который ведь не сочинял и не фантазировал, сидя у себя в кабинете, но описывал в конце концов события, им пережитые, и впечатления, им испытанные, образ этот явился *художнической маской*.

Совершенно ясно, что если успехи цивилизации должны были составить главную тему путевых очерков, то и сам путешественник должен был уделять им очень много внимания. Не в теоретическом плане: тогда бы очерки сделались научным исследованием исторического характера; а именно в практически-бытовом — в своем личном экспедиционном обиходе путешественник должен быть чувствителен к комфорту, непосредственно заинтересован в удобстве отеля и коляски, лично озабочен вопросами о прачке, о прислуге и проч., и проч. Необходимо, чтобы все путешествие как бы преломлялось для него сквозь призму повседневного быта, чтобы этот последний всегда служил для него основным фоном картины. Только тогда может выступить на передний план тот общеевропейский «прозаический уровень», в тематико-стилистических рамках которого строится весь рассказ, и в то же время окажется возможным избежать введения в повествование дисгармонирующих патетических картин: отвести, например, описание шторма словами: «безобразие, беспорядок».

А вместе с тем по вполне понятным причинам этому «герою» путешествия нельзя было придавать черт сухого практицизма и деловитости, представлять его равнодушным к поэзии и красоте дальних странствий. Мелкие заботы и тягости бытового характера должны были сыграть столь значительную роль в его страннической жизни не в силу прозаизма и практицизма его натуры, а по причинам как раз обратного порядка: в силу его непрактичности, его житейской беспомощности и избалованности.

Именно вокруг такой фигуры поэтически настроенного и исполненного добродушного юмора, но крайне избалованного, крайне чувствительного к мелким удобствам повседневного быта, в то же время беспомощного и озабоченного разными житейскими мелочами человека и было легче всего ориентировать прозаически стилизованный рассказ о путешествии вокруг всесветной «Европы». Отлично подходя друг к другу, оба эти образа, обе основные тематические линии, тесно сплетаясь друг с другом в сложной системе повествования, сообщали ему глубокое внутреннее единство и тон убедительнейшей правдивости.

Так, со страниц путевых очерков Гончарова встает излюбленный образ его романов. «... я не отчаиваюсь,— замечает он в письме к Языковым,— написать когда-нибудь главу под названием *путешествие Обломова*: там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десяти раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России,

о Филиппе и т. п.» (с. 620). Несколько позднее, отправляя к Майковым большое письмо, почти целиком вошедшее в печатный текст очерков, он так заканчивает его: «Вот письмо к концу, скажете Вы, а ничего о Лондоне, о том, что вы видели, заметили. Ничего и не будет теперь. *Да разве это письмо? Опять не поняли? Это вступление (даже не предисловие, то еще впереди) к Путешествию вокруг света, в 12 томах, с планами, чертежами, картой японских берегов, с изображением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании. И. Обломова»* (с. 628; курсив мой,— *Б. Э.*).

Таким образом сопоставления документальной истории экспедиции с частными письмами Гончарова из плавания достаточно убедительно показывают: 1) что Гончаров, еще не трогаясь в путь, уже искал и нашел литературную форму для будущих очерков; 2) что эта литературная форма теснейшим образом связывает «Фрегат „Паллада“» с его трилогией, и 3) что раскрыть внутренний смысл и литературное значение этого произведения можно только путем сравнительного анализа его тематики и стиля с тематикой и стилем трилогии в целом. Иначе говоря, вместо того чтобы толковать это произведение в плане биографической характеристики самого Гончарова, историк литературы должен прежде всего выяснить, как преломились здесь на почве материала путешествия те же тематико-стилистические задания, которые являются преобладающими в гончаровском творчестве вообще.

Глубокая внутренняя связь тематики «Фрегата» с тематикой «Обломова», которую подчеркивает в шутливой форме и сам автор, совершенно очевидна и не требует дальнейших пояснений. И здесь и там одно и то же противопоставление: трезвой, реалистической, деловой идеологии лавочника — «обломовщине»: очень сложному сочетанию высоких романтических требований с психологией вырождающегося дворянского барства... Только взаимоотношение между обоими членами противопоставления различно. В романе весь передний план занят великолепно осуществленным образом барина, а лавочнику отведено место на втором плане, в качестве довольно бледной эпизодической фигуры, смутно и неясно обрисованной. В очерках путешествия, напротив: образ лавочника вырастает до идеально величавых размеров, а путешественник показан очень скромно.

Но рядом с этим центральным кругом обломовской тематики в «Фрегате» легко вскрывается иной тематический слой, имеющий непосредственное отношение к «Обрыву» и прежде всего к проблеме *«художника»*. И этот тематический ряд тем более интересен, что он дан не только в своей, так сказать, отвлеченно-теоретической форме, но и реализуется практически, в самом произведении, определяя его поэтику и стиль.

Если Обломов, стоя на почве романтического мировоззрения, ищет в жизни готовых, прекрасных форм, органически не понимая, что такие формы не даются готовыми, а вечно создаются вновь, в процессе непрестанного творчества, труда и борьбы, то его младший брат, художник занимает аналогичное положение по отношению к искусству. Подобно тому, как Обломов ищет для себя «жизни-романа», ибо «жизнь и поэзия — одно», точно так же Райский ищет *своего романа в жизни,* то есть гонится

за прекрасным, даваемым действительностью, в свою очередь не сознавая, что дело художника в том и заключается, чтобы не искать «готовых красот», но воплощать в прекрасном художественном произведении самые разнообразные впечатления жизни. Отсюда безмерное ослабление напряженности самого творческого процесса. Ведь для Райского речь идет уже не столько об поэтическом преобразовании наличного опыта, сколько об отыскании готового прекрасного в жизни. А в связи с этим ему оказывается совершенно непонятной проблема художественного мастерства. Он не может одолеть техники того или иного искусства не по недостатку преданности ему или из-за высокомерного презрения к черной работе. Ему прежде всего совершенно чуждо переживание творческого становления художественного произведения, в процессе которого эстетически безразличный материал превращается в «прекрасное создание». Прекрасное представляется ему как бы в готовом виде, в качестве «поэтических явлений жизни» в начале работы, и оно же подсказывается ему услужливым воображением как ее итог. Он знает прекрасное только как начало и конец творчества, но не постигал его чудесного возникновения из безобразного и бесформенного материала. А не постигая этого, он не мог понять и всей значительности мастерства, которое одно только дает художнику власть и господство над этим материалом.

Представители одной и той же социальной группы, исповедники одного и того же мировоззрения — романтизма тридцатых-сороковых годов и Обломов и Райский являются один — при всем своем уме, духовной силе и голубиной чистоте — ничтожеством в жизни, а другой, несмотря на весь свой талант и пыл,— дилетантом в искусстве. Как преломилась обломовская тематика в очерках путешествия, мы уже видели, но и тематика «Обрыва» (точнее, первой редакции романа, когда он был только «художником») нашла себе тут яркое выражение. Именно в этом произведении Гончаров направляет самые сокрушительные удары на эстетику Райского, а сквозь нее и на всю художественную идеологию романтизма. Он самым решительным образом восстает против поисков художником «особо поэтических» впечатлений: именно для поэта нет и не должно быть никаких готовых форм ни прекрасного, ни безобразного, а все является одинаково материалом для творчества, одинаково ценным объектом поэтического пересоздания и оформления.

«„Ну, что море, что небо? какие краски там (в тропиках,— *Б. Э.*)? — слышу я ваши вопросы.— Как всходит и заходит заря? как сияют ночи? Все прекрасно — не правда ли?“ — „Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день...“ Вы хмуритесь? А позвольте спросить: разве есть что-нибудь не прекрасное в природе? Отыщите в сердце искру любви к ней, подавленную гранитными городами, сном при свете солнечном и беготней в сумраке и при свете ламп, раздуйте ее и тогда попробуйте выкинуть из картины какую-нибудь некрасивую местность. По крайней мере со мной, а с вами, конечно, и подавно, всегда так было: когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и зданий, на минуту, случайно, падали на первый болотный луг, на

крутой обрыв берега, всматривались в чащу соснового леса с песчаной почвой: как полюбишь каждую кочку, песчаный косогор и поросшую мелким кустарником рытвину! Все находило почетное место в моей фантазии, все поступало в капитал тех материалов, из которых слагается нежная, высокая, артистическая сторона жизни. Раз напечатлевшись в душе, эти бледные, но полные своей задумчивой жизни образы остаются там до сей минуты, нужды нет, что рядом с ними теснятся теперь в душу такие праздничные и поразительные явления. Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет чрез Аничков и Полицейский мосты, медленно опустится за Чекуши; когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновение разольется туман, и потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров. Сознайтесь, что и Мурино, и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, жемчуг, изумруды...» (с. 81—82).

«*Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики*»: они у вас под рукой, повсюду, где есть хотя бы капля жизни. Этот по существу глубоко иронический совет целиком направлен против романтической традиции в жизни, в искусстве, в поэтике. Не ищите готовых эстетических форм, художественных штампов, освященных многовековым культурным опытом; не противопоставляйте высокомерно «бледным образам» окружающих вас будней «праздничных и поразительных явлений»; не отвертывайтесь с пренебрежением от песчаного косогора («Люблю песчаный косогор...» — Пушкин) и мелкого кустарника ради снеговых вершин и тропических пальм. Именно как поэты вы не имеете на это никакого права. Все это: и пальмы, и пропасти, и рытвины с кочками — одинаково служит материалом для художника, преломленное в художественном творчестве может быть одинаково поэтически ценным. Воспринятые писателем впечатления эти — будничные и бледные, праздничные и поразительные безразлично — одинаково поступают в «капитал» высокой, артистической жизни, образуя тот фонд, откуда без конца будет черпать свой материал художественное творчество. И это последнее только тогда и заслуживает своего имени, когда, пренебрегая готовыми штампами традиционного эстетического созерцания, «возводит в перл творения» эстетически незаметное и бледное.

Но будучи прямым вызовом романтической традиции, это поэтическое credo налагало в то же время тяжелые обязательства и на самого Гончарова. Если, с одной стороны, оно требовало самого напряженного творческого внимания к серым и будничным явлениям действительности как достойному объекту эстетического оформления, то, с другой стороны, оно воспрещало подходить к эффектному, праздничному, экзотическому именно в плане его эффектности и красивости, то есть воспринимать его в оценках традиционного эстетического опыта, ибо эти оценки должны

быть признаны условными и внешними по отношению к самой сущности созерцаемого явления. В самом деле: навязывая объекту уже на первых ступеньках художественного созерцания признаки поразительного, необычайного, красивого, художник уже тем самым налагает на это явление некую готовую форму, то есть вкладывает в него известное содержание, подсказанное традиционным эстетическим каноном. Но тем самым индивидуальная, внутренняя форма, которая потенциально задана в созерцаемом явлении, не может свободно раскрыться и принять ясные и отчетливые очертания; ее подавляет и заслоняет привнесенная условная форма.

Подобно тому, как живописец, изображая лицо, которое он считает безусловно прекрасным, то есть подходящим под его эстетический канон, должен прежде и больше всего позаботиться о передаче «не красивого» в нем, то есть взять его вне этого канона, точно так же необходимо поэт должен остерегаться искать опоры для творческой трактовки объекта в его «поэтических» элементах. «Красивое» и «поэтическое» придет само собой; если же художник упустит то, что в данном явлении не подчиняется никакому эстетическому канону, то его создание утратит свою конкретно индивидуальную форму и превратится в условный эстетический штамп. Искусство должно уметь освобождать объект творчества от всех эстетических оценок, которые невольно навязываются ему культурной традицией, чтобы проникнуть к заложенной в нем действительно своеобразной и поразительной, индивидуальной форме.

Гончаров тщательно избегал трактовать «праздничные и поразительные явления» именно в их экзотике, напротив, он напряженно стремился постичь формы их как бы прозаического, будничного бытия для себя, а не того условного великолепия, в котором они предстояли сознанию, воспитанному в определенных эстетических традициях.

И для разоблачения их «бытовой», если можно так выразиться, сущности он прибегал к чрезвычайно своеобразному приему применения к ним формул и схем бытовой трактовки привычных для него явлений русской действительности. Этим приемом достигалось разрушение их условного эстетического оформления и облегчался доступ к их имманентной форме. Вот как он описывает плавание в атлантических тропиках: «В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии фрегат принимает вид какой-то *отдаленной степной русской деревни*. Встанешь утром, никуда не спеша 〈...〉 с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уж высоко; жар палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой маркизы на балконе, и все прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настежь окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уж отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молотка по наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмя-

тежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов... Чуткое воображение, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес — какие-то отдаленные образы...

Выйдешь на палубу, взглянешь и ослепнешь на минуту от нестерпимого блеска неба, моря; от меди на корабле, от железа отскакивают снопы лучей; палуба и та нестерпимо блещет и уязвляет глаз своей белизной» (с. 92; курсив мой,— *Б. Э.*).

Описание открывается неожиданным и смелым сравнением фрегата в океане со *«степной русской деревней»*. Этим определяется дальнейшее развитие темы разом в двух семантических планах; с одной стороны: маркиза над балконом, стрекозы в поле, рожь, гумно; с другой: вода из океана, тент, каюты, матросы, пушки; иногда оба плана сливаются: стук молота в кузнице, пенье петухов,— закрепляя тем самым единство целого.

В итоге получается полное разрушение традиционного художественно-эстетического штампа и создается бытовая, будничная установка для характеристики тропического дня.

В дальнейшем сопоставление обрывается: палуба («улица», как любит говорить Гончаров) показана в ослепительном сверкании тропического солнца. Но тон задан, и повествование развертывается в спокойном, бытовом плане. Однако постепенно в него начинают вступать новые мотивы, окрашенные специальным «местным» колоритом; эмоциональная напряженность описания медленно повышается, и отрывок заканчивается великолепной картиной солнечного заката и тропического звездного неба, выдержанной в патетических тонах. Это обычное построение описания Гончарова. Подходя к незнакомому, поразительному явлению, он прежде всего стремится созерцать его в его будничном, повседневном бытии, настойчиво отстраняя тот аспект, в котором оно предстает сознанию путешественника, воспитанного в определенных художественно-эстетических традициях. Так же построен рассказ о жизни в Welch's Hotel на Капе с его прелестным лирическим заключением: «Долго мне будут сниться широкие сени, с прекрасной „картинкой", крыльцо с виноградными лозами...» (с. 182); описание Анжера с его мелочной лавочкой: «Представьте себе мелочную лавку где-нибудь у нас в уездном городе: точь-в-точь как в Анжере. И тут свечи, мыло, связка бананов, как у нас бы связка луку, потом чай, сахарный тростник и песок, ящики, коробочки, зеркальца...» — и ее патетическим финалом: «Что это за вечер! Это волшебное представление...» (с. 194).

Аналогичный же прием можно встретить в очерках Сингапура, Бонин-Сима, Манилы (Люсонг — «уездный город») и т. д., и т. д. [25] Исключение, пожалуй, составляет картина Ликейских островов. Соблазненный примером Базиля Галля (давшего первое описание этих островов), Гончаров рисует ее в эффектном идиллическом плане. Однако — и это очень характерно для его манеры — он тут же сознательно разоблачает «литературность» рассказа ссылками на Феокрита, Гесснера, Дезульер, чтобы в конце концов, опираясь на авторитет местных миссионеров, опорочить и его фактическую достоверность.

«Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики», советовал Гончаров своим романтически настроенным друзьям. А если пойдете туда, мог бы он прибавить, не увлекайтесь эффектной, парадной стороной встреченного; старайтесь понять явление в его независимом, повседневном существовании, ищите его имманентной формы; остальное придет само собой. Для Гончарова действительно остальное пришло само собой, но нигде, быть может, высокая плодотворность его точки зрения не проявилась с такой силой, как в изображении людей различных рас и культур, которых он встретил в своем долгом странствии.

Эта задача была, пожалуй, одной из самых трудных: ибо для него речь шла здесь не о том, чтобы, используя внешние эффекты, «живьем отпечатать» [26] экзотические типы различных народностей, а, напротив, в том, чтобы, по возможности отстраняя эпатирующую в своей причудливости этническую маску, разглядеть под ней прежде всего знакомое человеческое лицо, угадать и выявить общечеловеческие черты характера,— все то, что обычно ускользает от взора соблазненного внешностью путешественника и чего вовсе не хочет знать лавочник-колонизатор. И в исполнении этой задачи он идет своим привычным путем.

Прежде всего он стремится наблюдать этих новых для него людей в самых незатейливых, простейших явлениях их быта. И заглядывая в эту серенькую, будничную сферу жизни, он жадно ловит все проявления общечеловеческих чувств и слабостей, где бы они ни встречались. В этом отношении от его поистине изумительной наблюдательности не ускользает решительно ничего. Обида старой негритянки в Порто-Прайя и гримаса английской мисс, порезавшей себе пальчик, забавные страстишки кучера в колонии, наглый хохот черных женщин, сладострастные ужимки бреющегося китайца, азарт тагала, кокетливые взгляды мулатки, вороватость черных мальчишек, важность китайского богача — все «находило почетное место в его фантазии, все поступало в капитал тех материалов», из которых складывались потом такие живые и человечные образы встречных людей.

А в то же время он настойчиво пытается уничтожить тот налет театральности, который неизбежно присущ впечатлениям путешественника от чуждых ему и причудливых явлений. Подобно тому, как ему хотелось взглянуть на связку бананов так, как он смотрел бы на связку луку в деревенской лавочке, точно так же во что бы то ни стало хочет он наблюдать негров, малайцев, лучинцев, тагалов, китайцев не как представителей экзотических рас именно в их экзотической своеобычности, а просто как людей, живущих в определенных условиях, работающих, страдающих, радующихся и т. д., и т. д.— словом, в их имманентно-бытовой данности.

С этой целью он и по отношению к ним пользуется приемом сопоставления с русскими бытовыми явлениями или смелого применения нарочито бытового русского словаря. Перед нами снова своеобразная игра образов: негритянка — и старуха-крестьянка, загорелая, морщинистая, с платком на голове; играющие в карты негры и уездная лакейская; почесывающийся тагал — и русский простолюдин; китайский рынок в Шанхае — и наша толкучка и т. д. А рядом с этим и просто: негритянская баба, китайские

мужики, парень-тагал, шинок в Фунчале, харчевня в Шанхае и т. д., и т. д.

Было бы большой наивностью относить все это за счет самого Гончарова как личности, строить всякие догадки об узости его натуры и о неспособности его выйти за пределы привычных созерцаний родной Обломовки. Само собой разумеется, что здесь мы имеем дело с вполне сознательным приемом разрушения условной театральности в переживании нового и поразительного с целью вскрыть общечеловеческое, стоящее за этнической маской, и тем обусловить возможность построения конкретного характера.

Гончаров решительно отказывался «ловить кого-либо на улице» и «отводить» если не в тюрьму, так в музей. Действительно, у него почти нельзя найти музейных экспонатов, этнических масок во всей экзотичности их облика и наряда. Но зато в его очерках перед читателем проходит целая вереница живых человеческих образов, с индивидуальным характером, неподдельным своеобразием общего облика, с печатью личности. Вот негритянская красавица и безобразная старуха из Порто-Прайя, вот очаровательная мисс Каролина, проворный слуга Ричард, веселый Вандик, бледная Этола со своими «two shillings» и много, много других. Огромная галерея человеческих лиц, изображенных иногда двумя-тремя штрихами, но всегда живых, всегда индивидуальных, характерных и своеобычных.

Так словом и делом отвечает Гончаров в своем «Фрегате „Паллада“» на условный романтический эстетизм, дилетантскую погоню за готовыми красотами, на упорные, но безнадежные попытки извлечь свой роман, свое искусство из «поэтической стороны жизни», с презрением отворачиваясь от ее «будней». Этим воззрениям он противопоставляет теорию подлинного художественного творчества, возводящего в «перл создания» эстетически безразличные и неоформленные явления действительности, и на восторженные мечтания о тропической экзотике иронически приглашает найти прекрасное в серенькой природе петербургских болот, беспощадно обрушиваясь на один из краеугольных камней романтизма — теорию couleur locale, против которой он выдвигает требование рассматривать все «необычное», экзотическое именно в его обычности, в его прозаическом, будничном бытии. И подобно тому, как, превращая исполненную опасностей, трудов и лишений экспедицию в приятную прогулку по трем океанам, он снижает романтический пафос экспедиционной жизни, точно так же своими художественно-стилистическими заданиями он сводит на нет романтический пафос в описаниях природы и обитателей тропиков. Здесь оба тематических круга — круг обломовской тематики и тематики художника Райского — замыкаются в крепком творческом единстве, обеспечивая в то же время органическую цельность и внутреннюю завершенность очерков как художественного произведения.

Теперь остается только подвести некоторые итоги. Мы видим, что «Фрегат „Паллада“» — прежде всего литературное произведение, в основе которого лежит определенный художественный замысел и которое преследует цели, далеко выходящие за пределы бесхитростного и правдивого описания путешествия. Как и все три романа Гончарова, оно направлено против художественных и бытовых традиций русского романтизма трид-

цатых и сороковых годов. Его тематика предваряет в этом смысле основные темы трилогии, а его стиль в значительной мере предопределяется такими эстетическими принципами, которые звучат резким вызовом романтической поэтике. Более того: в известном смысле эта книга является едва ли не самым полным и завершенным произведением Гончарова, где с особенной ясностью вскрывается основная задача всей его литературной деятельности: задача преодоления романтизма. Ибо не нужно забывать, что Гончаров, основные произведения которого были задуманы и в значительной части уже написаны в период с конца тридцатых до середины пятидесятых годов и который в значительной мере является литературным предшественником, а не современником великих прозаиков: Тургенева, Достоевского, Толстого, именно в романтизме видел своего главного врага. Однако — и это сообщает его произведениям исключительный интерес — он рассматривал романтизм не как чисто литературное направление, но широкое культурное явление, социальные корни которого он пытался выяснить. Поэтому-то он и стремился противопоставить этой идеологии оскудевающего дворянского класса новое реалистическое и жизненно действенное мировоззрение, которого он искал отчасти в силу своего происхождения («из купцов», как отмечалось в его формуляре), главным же образом в силу объективно-исторических причин у представителей крепнувшего русского буржуазного сознания.[27]

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Т. И. Орнатская

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ФРЕГАТА „ПАЛЛАДА“»

Гончаров говорил, что «путешествия в дальние концы мира имеют вообще привилегию держаться долее других книг». [1] Было ли это вполне серьезным его убеждением, судить трудно. Но что это было выражением особенного авторского пристрастия к «Фрегату „Паллада“»,— хорошо известно. Так, в 1878 г. Гончаров в одном из писем говорил о своем произведении: «Это одна книга, которая, как роза без шипов, принесла мне самому много приятного или, лучше сказать, одно приятное, не причинив ни одного огорчения». [2]

А в 1879 г., когда после литературного чтения на петербургских Высших женских педагогических курсах среди курсисток зашла речь о романе «Обрыв», писатель вмешался в разговор со следующими словами: «Я бы вам рекомендовал мое любимое произведение, которое мне никогда не надоедает 〈...〉 Читайте „Фрегат «Палладу»“!» [3]

Авторское пристрастие именно к «Фрегату „Паллада“» объясняется и еще одной причиной: исключительной любовью Гончарова к жанру путешествий вообще. И не только к жанру, но и к самим путешествиям.

Уже в глубокой старости, в 1887 г., вспоминая о своем воспитателе, отставном морском офицере Н. Н. Трегубове, у которого он прошел курс морских наук, Гончаров писал: «Я жадно поглощал его рассказы и зачитывался путешествиями. „Ах, если бы ты сделал хоть четыре морские компании (морскою компаниею считаются каждые полгода, проведенные в море), то-то бы порадовал меня!“ — говаривал он часто в заключение наших бесед. Я задумывался в ответ на это: меня тогда уже тянуло к морю〈...〉. Поддаваясь мистицизму, можно, пожалуй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника — для будущего моего дальнего странствия». [4] «Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать!» — читаем во II главе книги (с. 68). И это — лейтмотив всего произведения.

---

[1] В статье «Лучше поздно, чем никогда» — *СС*, т. 8, с. 64.

[2] Письмо к П. Б. Ганзену от 30 августа 1878 г., цит. по: *Летопись*, с. 232.

[3] *Павлова С. В.* Из воспоминаний.— *Гончаров в воспоминаниях, с. 190.*

[4] *СС*, т. 7, с. 238. Приведем в дополнение к этому свидетельство симбирского учителя Г. Н. Потанина, близкого к семье Гончаровых. В 1853 г. он посетил старика

ФРЕГАТЪ
ПАЛЛАДА

ОЧЕРКИ ПУТЕШЕСТВІЯ

Ивана Гончарова

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ИЗДАНІЕ А. И. ГЛАЗУНОВА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1858

Титульный лист отдельного издания «Фрегата „Паллада“» 1858 г. Библиотека ИРЛИ. Ленинград.

Текст «Фрегата „Паллада“» в таком виде, как он известен современному читателю, сложился не сразу. Работа над книгой, вышедшей отдельным изданием в 1858 г., продолжалась и позднее, особенно в 1879 и 1886 гг. Для издания 1879 г. Гончаров настолько серьезно переработал текст, что появилась новая редакция этого, казалось бы, давно сложившегося произведения.

Каковы же были причины, потребовавшие такой переработки, и какова вообще история создания книги?

Миссия морской экспедиции, возглавлявшейся адмиралом Е. В. Путятиным, была чрезвычайно важной и ответственной: под видом обозрения российских колоний в Северной Америке экспедиция должна была (в который раз!) попробовать подготовить почву для заключения русско-японского договора о торговле и границах.[5] И вот в составе этой экспедиции после энергичных собственных хлопот оказался столоначальник Департамента внешней торговли Министерства финансов коллежский асессор И. А. Гончаров, «редактор докладов, отношений и предписаний» (с. 10). «Да я и не путешествовал, а плавал по „казенной надобности“,— читаем во «Фрегате „Паллада“».— Я был „командирован для исправления должности секретаря при адмирале...“: так записано было у меня в формулярном списке» (с. 556). Однако Путятину нужен был не просто секретарь, а именно литератор, писатель с именем, который бы не только вел путевой журнал и занимался перепиской, но и стал бы «летописцем» важного и интересного похода.[6] А Гончаров как никто другой подходил на эту роль. Он был признанным

Трегубова. Тот «...восторженно заговорил: — Плавает! Иван мой плавает в восточных морях! Понимаете мою радость?

— И его, и вашу понимаю, Николай Николаевич. Он еще в детстве о морском путешествии вздыхал.

— А вы и это помните? — прибавил он с умилением <...>. Садитесь, смотрите: вот он! Из Японии прислал мне подарок.

Я взглянул на портрет Ивана Александровича и не узнал,— он лет на десять помолодел!..». *Потанин Г. Н.* Воспоминания о Гончарове.— *ИВ*, 1903, № 2, с. 118.

Путешествие на «Палладе» для Гончарова осталось навсегда «прекрасным» воспоминанием. Приведем свидетельство старого друга писателя А. Ф. Кони о «маленькой квартире нижнего этажа (на Моховой улице.— *Т. О.*), наполненной вещественными воспоминаниями о фрегате „Паллада“» (*Кони А. Ф.* Воспоминания. Л., 1965, с. 43). Подробнее об этих «вещественных воспоминаниях» свидетельствует упомянутый выше Г. Н. Потанин. Среди вещей кабинета писателя он отметил: «...много этажерок, загроможденных японскими вазами, китайским фарфором, уродливыми китайскими куклами, шкатулками и ящиками слоновой кости, изящной филигранной работы — все это из путешествия по Востоку» (*Потанин Г. Н.* Воспоминания о Гончарове, с. 118).

[5] Этот договор был подписан уже без Гончарова 26 января 1855 года, в г. Симода; им устанавливались дипломатические отношения между странами. Для русского судоходства открывались три порта: Симода, Хакодате и Нагаса́ки. В первых двух разрешалась взаимная торговля.

[6] Год спустя в письме к министру народного просвещения А. С. Норову Путятин писал: «...не могу умолчать, как много я обязан Вам за рекомендацию и содействие в назначении г. Гончарова в состав нашей экспедиции. Он чрезвычайно полезен мне как для теперешних наших сношений с японцами, так и *для описания всех происшествий, которые со временем должны сделаться известными публике* <...>. Имея даро-

писателем, а многолетняя служба по Департаменту внешней торговли держали его в курсе текущих мировых событий. Все это, подкрепленное знанием основных европейских языков и наблюдениями, обретенными еще в Петербурге, при исполнении функций переводчика иностранной переписки в департаменте, обеспечило писателю возможность создания произведения, сочетавшего в себе художественные достоинства, не уступающие по силе изобразительности его замечательным романам, с глубокими обобщениями исторического характера. «Грандиозной панорамой международной жизни трех континентов» назвал эту книгу современный ученый. [7]

На страницах одной из журнальных публикаций автор обращался к читателям с такими словами: «... только не ждите, пожалуйста, никакой истории и географии, никаких справок; довольствуйтесь *одними впечатлениями и легкими очерками*». [8] По-видимому, не случайно Гончаров отбросил эту фразу: в его книге рядом оказались и чисто художественные главы (таковы «Русские в Японии», «Шанхай», сибирские главы), и очерки-пейзажи («Плавание в атлантических тропиках»), и очерки-рассказы («Акула», «Смотритель», «Купец Вампоа»), и исторические, вернее научно-популярные («Капская колония», «Манила», «Корея»). Правда, деление это весьма условно: и в «легких очерках» появляются смелые гипотезы и исторические прозрения. [9] Возникает вопрос, какова же роль источников всякого рода: исторических, экономических, географических, литературных — в книге Гончарова? Справедливы ли те, правда немногочисленные, упреки писателю в «неподготовленности», поверхностности, иногда и просто лени. [10]

Что касается подобных «упреков», то все они основаны либо на недоразумении, либо вызваны какими-то побочными причинами. Ибо трудно не заметить, несмотря на постоянные заверения путешественника в том, что он будет «просто рассказывать» увиденное и услышанное, или «представлять» «только внешнюю сторону» путешествия, или «передавать только самое общее и поверхностное понятие, не поверенное циркулем и линейкою», имен авторов многих и многих «ученых» книг и исследований, послуживших ему именно *источниками* или позволяющих отослать читателя к ним *как к источникам*. [11] Таковы имена В. М. Головнина, К.-П. Тунберга,

---

вание живо представлять предметы, г. Гончаров в состоянии будет придать им занимательный и яркий колорит и тем может возбудить симпатию в публике к соседственной нам стране...» (*РА*, 1899, кн. 1, с. 198. Курсив мой,— *Т. О.*).

[7] *Пиксанов Н. К.* Гончаров и колониализм.— В кн.: Материалы юбилейной гончаровской конференции. Ульяновск, 1963, с. 48.

[8] Глава «Манила».— *ОЗ*, 1855, № 10, с. 244. Курсив мой,— *Т. О.*

[9] Так, специалисты пишут по поводу очерка об истории Капской колонии: «...Гончаров рассказал читателям все, что видел, узнал и понял, сойдя на южноафриканский берег. И еще раз подчеркнув читателю, что „здесь все в полном брожении теперь", он сумел разглядеть основную проблему Южной Африки».— *Давидсон А., Макрушин В.* Африка глазами Гончарова.— В кн.: Восточный альманах. М., 1975, вып. III, с. 582.

[10] См. ниже. с. 783—784.

[11] См. его шутливые слова из письма Краевскому, в связи с главой о «Мысе Доброй Надежды»: «...надо повыкрасть кое-каких данных из других путешествий» (наст. изд., с. 708).

Э. Бельчера. Ф. Бичи, Ф. Литке, В. Нопича, Э. Кемпфера, Карона и Гагенара, Базиля Галля, В. Броутона и Г. Ванкувера, М. Геденштрома, С. Билля и многих других.[12]

Несомненно, какие-то из этих книг были знакомы Гончарову и до отправления в плавание; известно также, что на «Палладе» была великолепная библиотека, содержавшая книги по всем отраслям знаний — и конечно же исторические, экономические, этнографические и географические сочинения, касающиеся стран, лежавших на пути фрегата; Гончаров уже по долгу службы должен был знать всю необходимую литературу — и хорошо знал ее.[13] В одном из писем читаем: «Теперь надо все это записывать и вносить в журнал, прочитав наперед историю войны с кафрами...» (с. 648). Об этом же знании свидетельствует и критический подход к названным выше источникам. Например, Гончаров иронизирует по поводу некоторых концепций Кемпфера; не всегда доверяет Галлю; пародирует Бельчера; полемизирует с Геденштромом.

Наконец, Гончаров мог воспользоваться недостававшими во время путешествия источниками уже по возвращении из плавания. И несомненно, прибегал к этому, хотя бы потому, что осенью — зимой 1855 г. он составлял для Путятина «отчет», или «донесение», об экспедиции. Это «донесение» было опубликовано в январском номере «Морского сборника» за 1855 г.[14]

Еще до отправления в плавание у Гончарова было намерение написать книгу. В письме к Языковым, написанном до получения согласия на просьбу о прикомандировании к экспедиции Путятина, он уже говорит о будущей книге как о чем-то само собой разумеющемся: «Поехал бы затем, чтоб видеть, знать все то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что говорят. Я полагаю, что если б я запасся всеми впечатлениями такого путешествия, то, может быть, *прожил* бы остаток жизни повеселее. Потом, вероятно, написал бы книгу, которая во всяком случае была бы занимательна, если б я даже просто, без всяких претензий литературных, записывал только то, что увижу» (с. 616). В семье Майковых знали и о форме будущей книги — в виде писем, и о том, что посланные им письма должны будут вернуться к нему по возвращении: «Что касается до этого и следующих писем, то Вы, Николай Аполлонович, *обещали* не давать их никому, а прятать до меня, потому что после я сам многое забуду, а это напомнит мне: быть может, понадобится» (с. 628); курсив мой,— *Т. О.*). Разговор с Путятиным о предстоящем плавании состоялся после

---

[12] Более подробные сведения об этих источниках см. в примечаниях к тексту книги.

[13] В тексте письма его к А. С. Норову содержится упоминание о чтении каких-то «журналов путешествий» (см. наст. изд., с. 681).

[14] См. о нем и о связи «донесения» с текстом «Фрегата „Паллада"» в статье: *Алексеев А. Д.* И. А. Гончаров — автор официального «Отчета о плавании фрегата „Паллада"».— В кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». К 90-летию Н. К. Пиксанова Л., 1969, с. 370—375. Вопрос о специальных источниках книги Гончарова рассматривался в работах Н. С. Державина (Фрегат Паллада И. А. Гончарова. Пг., 1924), Н. К. Пиксанова (Гончаров и колониализм.— см. выше, с. 766), В. А. Михельсона (Записки В. М. Головнина и «Фрегат Паллада» И. А. Гончарова.— Учен. зап. Краснодарск. гос. пед. ин-та, 1955, вып. XIII) и др.

написания первого из упомянутых выше писем, и, возможно, во время этой беседы речь шла и о том, что Гончаров получит возможность работать над будущей книгой. Не случайно почти сразу же по отправлении «Паллады» адмирал начинает явно «щадить» своего секретаря. «Большую часть бумаг, и именно по морской части,— сообщает Гончаров Языковым,— пишет он сам с капитаном Посьетом, который взят по особым поручениям. Мне он объявил, что главною моею обязанностию будет вести журнал всего, что увидим, не знаю, для чего, для представления ли отчета или чтоб напечатать со временем» (с. 631). Гораздо позднее, упоминая о событиях 1852 г., писатель подчеркивал: «На море, кроме обязанности секретаря при адмирале Путятине, еще учителя словесности и истории четверым гардемаринам, я работал только над путевыми записками...».[15] Правда, это утверждение не совсем точно: чуть ниже Гончаров сам признавался: «Обе программы романов были со мной, и я кое-что вносил в них, но писать было некогда». Речь идет о программах романов «Обломов» и «Обрыв». Как явствует из письма к М. А. Языкову, преимущественно обдумывался план «Обломова», и в частности накапливался материал для одной из глав будущего романа. «Я бы написал о миллионе тех мелких неудобств, которыми сопровождается вступление мое на чужие берега,— пишет Гончаров,— но я не отчаиваюсь написать когда-нибудь главу под названием *путешествие Обломова:* там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десяти раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России, о Филиппе и т. п.» (с. 620). Как известно, «путешествие» Обломова не состоялось; в романе же появились лишь некоторые эпизоды и мотивы, корнями своими уходящие в путешествие Гончарова; отдельные «реалии» обнаруживаются и в романе «Обрыв».[16]

Отправляясь в кругосветное плавание, Гончаров и не предполагал, что оно окажется столь тяжелым. И не только для него, страдавшего от хандры, зубной боли, отсутствия привычного комфорта и покоя, словом, «от миллиона мелких неудобств». Нет, уже начало плавания было просто опасным — по той причине, что северные моря осенью вообще опасны для мореплавания, а «Паллада» к 1852 г. была старым и даже дряхлым судном. Проведенный уже в Портсмуте капитальный ремонт ненадолго исправил положение, и Путятин был вынужден просить Петербург заменить фрегат на новый.[17] Да и на самом корабле, в этом «маленьком русском мире, с четырьмястами обитателей» (с. 5) кроме болезней

---

[15] В статье: Необыкновенная история.— В кн.: Сборник Российской Публичной библиотеки. Т. II. Материалы и исследования. Пг., 1924, вып. 1, с. 13.

[16] Таковы два разговора Штольца и Обломова о предстоящем Илье Ильичу путешествии в гл. III и IV части второй; таков эпизод с „Casta diva“ в гл. IV той же второй части и описание предстоящего отправления Обломова в путешествие в гл. V и т. д.; таково рассуждение о словечке «непременно» в «Обрыве» (*СС*, т. 6, с. 426), попавшее сюда из «Фрегата „Паллада“» (с. 54, 639), см. также статью: *Горенштейн М. С.* К вопросу о роли кругосветного плавания и путевых очерков «Фрегат „Паллада“» в творческой биографии И. А. Гончарова. В кн.: Материалы юбилейной конференции. Ульяновск, 1963, с. 125, 128, 131, 145—163.

[17] Подробнее см. в статье Б. М. Энгельгардта, наст. изд. с. 725—726.

и стихийных бедствий было немало сложностей, отражавшихся на жизни всей команды: с самого начала плавания, например, обнаружилась взаимная неприязнь адмирала Путятина и командира «Паллады» И. С. Унковского, едва не приведшая к дуэли.

Но не столько состояние «Паллады» и прочие трудности тревожили участников похода, сколько вскоре догнавшие экспедицию сведения о русско-турецком конфликте и о позиции Англии в этом вопросе. В любой момент «Палладу» могла захватить в плен стоявшая в ближайших китайских портах английская эскадра. Вот как А. Ф. Кони пересказал со слов самого Гончарова один из моментов этих дней: «Когда в далеком Японском море адмиралом Путятиным было получено на „Палладе" известие об объявленной России Францией и Англией войне, он созвал к себе в каюту Посьета и, сколько мне помнится, Лесовского и, в присутствии Гончарова, связав их обязательством хранить тайну, объявил им, что, зная невозможность для парусного фрегата успешно сразиться с винтовыми железными кораблями неприятеля или уйти от него, он решил сцепиться с ним вплотную и взорваться...».[18]

О трудностях и опасностях плавания много писали и участники похода и его исследователи. Казалось бы, и в книге Гончарова они должны были занять подобающее место. Но этого не произошло. «Фрегат „Паллада"» не стал ни летописью похода, ни отчетом о кругосветном плавании. Все, что писатель наблюдал: иные страны, их уклад, людей с их бытом и нравами, природу и т. д. и т. п. — все это стало лишь материалом для художественного произведения, замысел которого раскрыт самим Гончаровым на страницах книги. «Голых фактов я сообщать не желал бы,— читаем в первой же главе, правда, написанной после того, как книга была закончена,— ключ к ним не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения...». И продолжал: «Теперь еще у меня пока нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения: все это подавлено рядом опытов...» (с. 31). Такой «ключ», однако, вскоре оказался подобранным: «Да, путешествовать с наслаждением и с пользой — значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: *тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия.* Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь⟨...⟩ дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь» (с. 35; курсив мой,— *Т. О.*). Итак, было желание написать книгу, был найден и «ключ», но Гончарову все еще казалось, что он не может приступить к писанию ее. Мешали непривычные условия жизни на фрегате, мешала, наконец, качка. «...я в это время не могу ни читать, ни писать, ни даже думать свободно,— жаловался он.— Стараешься развлечься, забыться, зарыться в смысл фразы, которую читаешь или пишешь — не тут-то было⟨...⟩ К этому прибавьте вечный шум, топот матросов, крик командующего офицера, свистки унтер-офицеров ⟨...⟩ покоя никогда нет. Можно, конечно, ушам привыкнуть к этой суматохе, но голове — никогда. Я не понимаю, как я буду писать бумаги там?» (с. 618).

[18] *Кони*, с. 297.

И однако, писались и «бумаги» (к сожалению, большинство их утрачено) и части будущей книги (именно части, ибо первоначальное намерение написать книгу вдруг испугало писателя огромностью задачи и неясностью характера будущего сочинения). К марту 1854 г. «целый портфель» оказался «набитым» «путевыми записками». «Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова — все это записано у меня и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас...».

Печатание действительно вскоре началось: первый очерк («Ликейские острова») появился в № 4 «Отечественных записок» за 1855 г. (он вышел из печати 5 апреля), а в №№ 505—508 «Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» за 1857 г. (выходили с 23 августа по 5 октября) вышел очерк «От Кронштадта до мыса Лизарда».

Рукописи «Фрегата „Паллада“» не сохранились. Не располагаем мы сейчас и таким ценным источником для суждения об истории текста очерков, как судовой «Общий журнал»,[19] в который Гончаров записывал во время похода все сколько-нибудь значительные факты и события. Не сохранилась и личная рабочая тетрадь («памятная книжка»), в которую заносились первоначальные редакции будущих очерков и различные заметки для них.[20] До нас дошли лишь некоторые письма Гончарова из плавания, послужившие ему набросками начальных глав будущей книги. Почему начальных? А потому, что лишь на первых порах Гончаров писал письма с целью в будущем использовать их как материал для очерков (см. в письме Е. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г. из Портсмута).[21] Таковы письма (кроме только что названного) к М. А. Языкову от 23 августа — 3 (15) ноября 1852 г., Е. А. и М. А. Языковым от 8 (20) декабря 1852 г., им же от 27 декабря (8 января) 1852—1853 гг., И. И. Льховскому от 9 (21) января 1853 г., Языковым и Майковым от 18 (30) января 1853 г.[22]

Но уже весной 1853 г. письма стали делаться все суше и суше, параллельно пишутся сами очерки. Так, фраза из письма к Майковым из Капштадта «Южный Крест — так себе» в очерке превращается в поэтический гимн, в истинное «стихотворение в прозе»: «...с любовью успокоиваетесь от нестерпимого блеска на четырех звездах Южного Креста: они сияют скромно и, кажется, смотрят на вас так пристально и умно. Южный Крест... Случалось ли вам (да как не случалось поэту!) вдруг увидеть женщину, о красоте, грации которой долго жужжали вам в уши, и не найти

[19] О журнале см. также в письме семье Н. А. Майкова от 17 (29) марта 1853 г.— с. 643.
[20] См. о ней в письмах семье Н. А. Майкова от 26 мая (7 июня) 1853 г. и от 15 июля 1854 г.— с. 659, 694.
[21] См. выше, с. 621—629.
[22] О характере переработки материала из писем в очерки см.: *Горенштейн М. С.* Творческая история путевых очерков И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада“» — Учен. зап. Адыгейск. гос. пед. ин-та, Майкоп, 1957, т. 1, с. 122—128; *Михельсон В. А.* Письма И. А. Гончарова из плавания и «Фрегат „Паллада“». — Учен. зап. Краснодарск. гос. пед. ин-та, 1957, вып. XXI, с. 171—193.

в ней ничего поражающего? „Что же в ней особенного? — говорите вы, с удивлением всматриваясь в женщину,— она проста, скромна, ничем не отличается..." Всматриваетесь долго, долго и вдруг чувствуете, что любите уже ее страстно! И про Южный Крест, увидя его в первый, второй и третий раз, вы спросите: что в нем особенного? Долго станете вглядываться и кончите тем, что, с наступлением вечера, взгляд ваш будет искать его первого, потом, обозрев все появившиеся звезды, вы опять обратитесь к нему и будете почасту и подолгу покоить на нем ваши глаза» (с. 96).

Теперь Гончаров стал работать над отдельными «путевыми записками» (в журнальной редакции гл. I «От Кронштадта до мыса Лизарда» еще имелся подзаголовок: «Из путевых записок»; Гончаров и впоследствии так определял жанр своей книги), называемыми также и главами («...одна глава написана — это собственно о море и о качке. Читал — смеялись»,— пишет он в письме к семье Н. А. Майкова 17 (29) марта 1853 г., с. 643) или «главами из дневника».[23] Речь здесь идет еще не о «главах» будущей, еще не сложившейся книги, а именно о главах, т. е. частях, «дневника». Представляется, что в предисловии к публикации первого очерка Гончаров изображает дело именно так, как оно и было в действительности: т. е. что четкого представления о будущей книге в это время еще не было, что работа шла над каждым очерком («отрывком») отдельно, и шла, как правило, непосредственно под первым впечатлением,[24] что писателя в основном занимали два его романа. Вот текст этого предисловия: «Автор недавно возвратился из путешествия, которое начал в конце 1852 года, с Балтийского моря и кончил в прошлом году Охотским. Здесь он вышел на русский берег и проехал через всю Сибирь до Санкт-Петербурга. Он объехал вокруг Европы, Африки и Азии... Автор не имел ни возможности, ни намерения описывать свое путешествие как записной турист или моряк, еще менее как ученый. Он просто вел, сколько позволяли ему служебные занятия, дневник и по временам посылал его в виде писем к приятелям в Россию, а чего не послал, то намеревался прочесть в кругу их сам, чтоб избежать изустных с их стороны вопросов о том, где он был, что видел, делал и т. п. Теперь же эти приятели хором объявляют автору, что он будто бы *должен* представить отчет о своем путешествии публике. Напрасно он отговаривался тем, что он не готовил описания для нее, что писал только беглые заметки о виденном или входил в подробности больше о самом себе, занимательные для них, приятелей, и утомительные для посторонних людей, что поэтому дневник не может иметь литературной занимательности, что автор, по обстоятельствам,[25] не имеет времени приготовить

[23] См. в цитируемом ниже предисловии к первой журнальной публикации очерков.

[24] Вспомним, кстати, его слова А. Н. Майкову, сказанные по поводу предполагаемых «записок вояжа» поэта: «...схваченные наблюдения записывайте, а то простынут, и тут обделывайте путевую записку из всякой стоянки, даже двухдневной» — *СС*, т. 8, с. 316. Письмо от 11 (23) апреля 1859 г.

[25] Эти «обстоятельства» заключались во всепоглощающей работе над первой частью «Обломова», работе, которую предсказал читателям критик «Современника» в рецензии на отдельное издание «Русских в Японии...»: «Как ни прекрасны, как ни умны, как ни полезны интермедии вроде книги „Русские в Японии",— писал Дружинин,— за ними

его для публики, что, наконец, он не успел даже собрать всех посланных в разные времена и места отрывков и потому нельзя представить всего журнала с начала и в связи. Ничто не помогло; приятели окончательно заключили, что «если не автор и не перо его, так посещенные им края занимательны сами по себе, и напиши о них что хочешь, описание не будет лишено всякого интереса». Автор не мог не согласиться с ними в последнем и только потому решается представить первую, какая попалась, главу не на суд, а на снисходительное внимание публики. Если читатели будут смотреть на этот дневник с той же точки зрения, с какой смотрит сам автор и его приятели, то он по временам, сколько позволят ему другие занятия, будет продолжать печатать и прочие главы дневника. Авт⟨ор⟩».[26] Обратим особенное внимание на фразу: «Он просто вел⟨...⟩ дневник и по временам посылал его в виде писем...».

Эти «прочие» «Главы из дневника» (или «журнала») появлялись в различных изданиях с мая 1855 г. до августа 1857 г.[27]

Каковы бы ни были дальнейшие намерения автора насчет будущей книги, пока это действительно были самостоятельные очерки без «начала» и «связи», лишь первоначально обработанные автором и в полной мере сохранившие те самые дневниковые «подробности» «о самом себе», которые впоследствии будут им тщательно искореняться. Мы можем довериться Гончарову и в том, что он «по обстоятельствам» не имел времени «приготовить» свой «журнал» для публики. Эти же «обстоятельства» не позволили ему уделить первому отдельному изданию «Фре-

---

должна идти главная пьеса, и мы ее дождемся ⟨...⟩ г. Гончаров есть живописец современной жизни, романист-поэт по преимуществу. Те силы, которых он еще не сознал в себе, те стремления, которых он еще не признавал за собой до своих путешествий, ныне им созданы и признаны. Он понимает свое значение и не отдаст деятельности романиста за славу первоклассного европейского туриста. Под чужим небом он еще больше выучился ценить русскую природу, посреди новых впечатлений он мечтал о поэзии нашего вседневного быта, между людьми отдаленных племен мечтал он о русском человеке ⟨...⟩ Будем же нетерпеливо выжидать времени, когда воспоминания о разнообразных приключениях за морем, мирно улегшись в фантазии г. Гончарова, дадут место произведениям его прежней фантазии и прежнего творчества».— *Совр.*, 1856, № 1, разд. Критика, с. 25—26.

[26] *ОЗ*, 1855, № 4, с. 239—240.

[27] В 1855 г.: «Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири» в № 5 «Морского сборника»; «Атлантический океан и остров Мадера» в № 5 «Отечественных записок»; «Из Якутска» — в № 6 «Морского сборника»; первая статья очерка «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» в № 9 «Морского сборника»; «Манила» в № 10 «Отечественных записок»; «От Мыса Доброй Надежды до Явы» в № 10 «Современника»; вторая статья очерка «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» в № 10 «Морского сборника»; третья статья очерка «Русские в Японии...» в № 11 «Морского сборника»; в 1856 г.: «Остров Бонин-Сима» в № 2 «Современника»; «Сингапур» в № 3 «Отечественных записок»; начало и окончание очерка «На Мысе Доброй Надежды» в №№ 8—9 «Морского сборника»; начало очерка «От Кронштадта до мыса Лизарда» в № 6 «Русского вестника»; в 1857 г.: «Плавание в атлантических тропиках» в № 9 «Русского вестника»; «От Кронштадта до мыса Лизарда» в №№ 505—508 «Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений»; некоторые главы будущей книги выходили отдельными оттисками («От мыса Доброй Надежды до Явы», «Сингапур», «Манила», «От Лю-Чу до Манилы»), в виде сброшюрованных оттисков и даже книгой («Русские в Японии»).

гата „Паллада"» достаточно времени. Конечно, в тексте были сделаны отдельные исправления,[28] кое-что было снято,[29] что-то добавлено (например, глава «Гон-Конг» и оглавления перед отдельными очерками), сделаны отдельные композиционные изменения (например, из очерка о Японии выделена глава «Шанхай»), но все это не носило характера коренной переработки текста. Действительно, инициатива отдельного издания принадлежала издателю его, И. И. Глазунову: об этом свидетельствует сам Гончаров. В декабре 1858 г. он писал в автобиографии для «Русского художественного листка»: «По возвращении из путешествия в Японии Гончаров поместил в течение трех лет почти все главы путевых своих записок по разным журналам ⟨...⟩, а в нынешнем году московский книготорговец Глазунов собрал их все и издал под заглавием „Фрегат «Паллада»" (со включением одной новой главы Гон-Конг) в двух томах»; [30] об этом же говорится и в заключительном абзаце «Предисловия» (от издателя) к первому отдельному изданию: «...предлагая публике, в последовательном порядке, *собрание этих очерков, печатавшихся в разбивку в разных журналах в течение двух лет,* издатель смеет надеяться не только на успех, но и на благодарность публики».[31]

Это предисловие, написанное другом писателя И. И. Льховским, содержит ряд положений, безусловно исходящих от самого Гончарова и как бы повторяющих то, что говорилось им в приведенном выше «Предисловии» к первой журнальной публикации. «Очевидно, не одна скромность заставила г. Гончарова назвать описание своего путешествия: *Письмами к друзьям, путевыми записками*; — писал Льховский,— он сказал правду и вместе с тем самым названием и формой охарактеризовал уже отчасти свое произведение. Действительно, несмотря на строгую законченность некоторых эпизодов и классическое совершенство языка, задушевный тон рассказа, преобладание подробностей, в которых так искренно и без всяких претензий выражается личность автора, порой намеки на обстоятельства частной жизни, порой проскользнувшее в печать собственное имя, наконец, самая небрежность и недосказанность в некоторых местах — все это показывает, что автор писал к действительным, а не к воображаемым друзьям, и что он не хотел принять на себя обязательной роли хоть сколько-нибудь специального путешественника». Отметив, что Гончаров плавал «по должности» и что потому у него не было времени должным образом подготовить книгу, Льховский продолжал: «При таких условиях автор лично для себя и для публики мог сделать только то, что он сделал, то есть не забыть о призвании, доставившем уже ему известность и внимание публики; не забыть,

---

[28] Примеры таких исправлений см. в названной выше статье М. С. Горенштейна «Творческая история...», с. 132—134.

[29] Примеры таких изъятий см. в «Примечаниях».

[30] *СС*, т. 8, с. 223—224.

[31] *1858*, с. VI. Курсив мой,— *Т. О.*

ФРЕГАТЪ

ПАЛЛАДА

ОЧЕРКИ ПУТЕШЕСТВІЯ

ИВАНА ГОНЧАРОВА

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ

ТОМЪ I

Изданіе третье, съ перемѣнами.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА ИВАНА ИЛЬИЧА ГЛАЗУНОВА.

1879

Титульный лист отдельного издания «Фрегата „Паллада“» 1879 г. Библиотека ИРЛИ. Ленинград.

что на нем, по выражению одного критика, „почил дух Пушкина“ — и в своем быстром и случайном пути взглянуть на разнообразные картины беспрестанно сменявшейся перед ним панорамы, на мелькавшие перед ним явления чуждой жизни, с точки зрения поэта».[32]

Еще меньше внимания смог уделить Гончаров изданию 1861—1862 гг. Здесь изменения уже единичны.

И лишь в 1879 г., возобновляя по настойчивым требованиям читателей издание «Фрегата», писатель заново переработал текст книги (и эту переработку продолжил в 1886 г.), о чем самым определенным образом уведомлял публику в «Предисловии»: «Если этот фрегат, *вновь пересмотренный, по возможности исправленный* и дополненный заключительною главою ⟨...⟩, прослужит (как это бывает с настоящими морскими судами после так называемого «тимберования», то *есть капитальных исправлений*) еще новый срок ⟨...⟩, автор сочтет себя награжденным сверх всяких ожиданий» (с. 6, курсив мой,— *Т. О.*).

Чем же было обусловлено это возвращение писателя к книге, текст которой, казалось бы, уже сложился, устоялся, стал привычным? Тем более что это было не просто возвращение, а всерьез предпринятая «капитальная» переработка книги. Ответ прост, и его оставил сам Гончаров. Он заключается в том, что писатель всегда различал работу над *романами* и *не романами*. «Путевые записки» не требовали от него таких мучительно-титанических усилий, которые были направлены на создание романов. К концу 70-х годов творческая фантазия Гончарова ослабела; у него не было больше того захватывающего интереса, который, например, не давал ему передышки в течение двадцатилетнего периода работы над последним крупным произведением — романом «Обрыв».

И потому теперь, когда речь зашла о переиздании «Фрегата», Гончаров решился на коренную переработку своего старого и любимого детища. Мы не можем с уверенностью сказать, когда в нем созрело это намерение. Утверждать можно только одно: Гончаров не был удовлетворен текстом сложившейся в 1858 г. книги, и, конечно же, он хорошо представлял себе, какой она должна быть. Книге явно не хватало той «выношенности», о которой А. Ф. Кони писал: «Другой особенностью, свойственной творчеству Гончарова, была *выношенность* его произведений ⟨...⟩ ⟨они⟩ писались долгие годы и появлялись сначала в виде отдельных, имевших целостный характер, отрывков».[33] И хотя речь здесь идет о романах, замечание это полностью можно отнести и к «Фрегату „Паллада“».

Сравнение текстов всех предыдущих изданий с изданиями 1879 и 1886 гг. привело к неожиданному, казалось бы, выводу: этот окончательный текст сложился под прямым воздействием Пушкина, под влиянием одного из его «вечных образцов»[34]— «Путешествия в Арзрум».

---

[32] *1858*, с. I—III.

[33] *Кони*, 281.

[34] В 1878 г. в статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров писал: «Пушкин как великий мастер этими двумя ударами кисти (имеются в виду типы Татьяны и

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

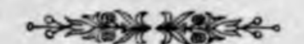
СОЧИНЕНІЙ

И. А. Гончарова.

Съ портретомъ автора, гравированнымъ академикомъ И. П. Пожалостинымъ и факсимиле.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ ГЛАЗУНОВА.
1886.

Титульный лист 6-го тома Собрания сочинений И. А. Гончарова, в котором помещен 1-й том «Фрегата „Паллада"».

Пушкинское «Путешествие» в истории русской путевой прозы занимает совершенно особое место. Оно взорвало изнутри традиционный жанр, расшатало его, казалось бы, незыблемые каноны и явилось «вечным образцом», который, однако, не был в достаточной мере оценен современниками, хотя влияние его и ощущается в последующих «путешествиях», и больше всего во «Фрегате „Паллада"». В самом деле, книга Гончарова, по форме столь близкая карамзинским «Письмам русского путешественника», абсолютно свободна от тех примет допушкинских «путешествий», которые так ярко были сформулированы В. А. Жуковским в его рецензии на «Путешествие в Малороссию» князя П. Шаликова (1803). «Не будем же искать в этой книге ни географических, ни топографических описаний,— писал Жуковский.— Мы не узнаем, сколь многолюден такой-то город, могут ли ходить барки по такой-то реке и чем больше торгуют в такой-то провинции,— *мы будем бродить вместе со странником, куда глаза глядят* 〈...〉 *вздохнем близ могилы его друга* 〈...〉 *и вместе с ним вспомним о прошедшем*».[35] Эти слова, хоть и не в полной мере, относятся и к карамзинским «Письмам русского путешественника», в которых отбор реального материала все-таки подчинен желанию путешествующего автора передать свои эмоции, является в значительной степени поводом для его «самовыражения».

Факты постоянного интереса Гончарова к творчеству Пушкина общеизвестны.[36] Обратим внимание на один из них. В декабре 1853 г., находясь в Шанхае, он пишет Е. А. и М. А. Языковым: «И Павлу Васильевичу кланяйтесь: так он издает Пушкина! Как я рад, я, жаркий и неизменный поклонник Александра Сергеича. Он с детства был моим идолом, и — только один он. Я было навязывался на подарок экземпляра, да Павел Васильевич, уклончивый вообще, в этом случае уклонился с особенным старанием» (с. 687).

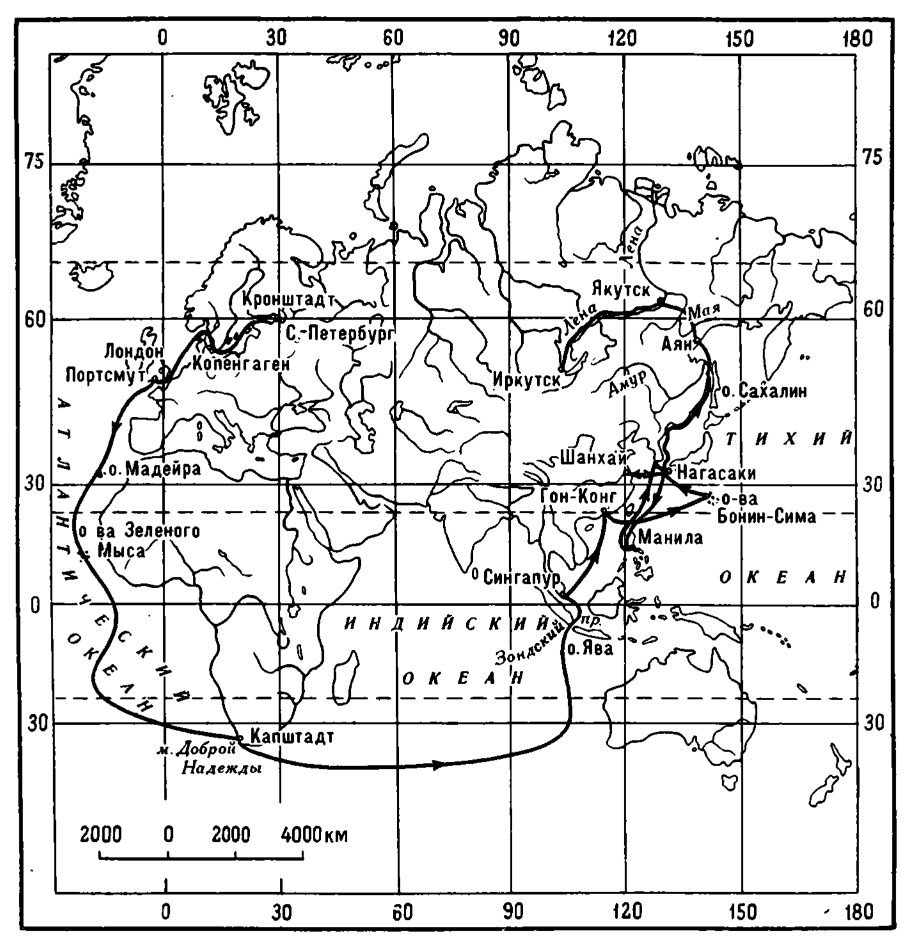
У нас нет прямых свидетельств того, когда Гончаров приобрел анненковские «Материалы для биографии А. С. Пушкина». Судя по нетерпению, отразившемуся в только что цитированном его письме,— тотчас по возвращении из плавания.[37] И этот том он прочел с вниманием и особой тщательностью и, конечно же, не мог не обратить внимания на

Ольги,— *Т. О.*), да еще несколькими штрихами, дал нам вечные образцы, по которым мы и учимся бессознательно писать, как живописцы по античным статуям» (*СС*, т. 8, с. 78).

[35] *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. Пг., 1918, т. III, с. 11. Курсив мой,— *Т. О.*

[36] Интерес этот особенно ярко проявился во «Фрегате „Паллада"»: текст книги изобилует пушкинскими реминисценциями, цитаты из его произведений, поэтические образы, словечки, отзвуки буквально пронизывают все повествование. Пушкинские слова появляются уже в самом начале книги: «Едешь в вагоне, народу битком набито, а тишина, как будто „во гробе тьмы людей"...»; ими же заканчивается рассказ о путешествии: «Так кончилась эта экспедиция <...> и ни Эней, с отцом на плечах, ни Одиссей не претерпели и десятой доли тех злоключений, какие претерпели наши аргонавты, из которых „иных уж нет, а те далече"» (с. 41, 574; см. также «Примечания», с. 794, 827; подробнее см. об этом: *Орнатская Т. И.* От «Путешествия в Арзрум» к «Фрегату „Палладе"».— В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1981, с. 156—165.)

[37] Впоследствии, как известно, он «цензуровал» это издание (см.: *Летопись*, с. 72, 75).



Карта плавания фрегата «Паллада».

переданный Анненковым следующий рассказ лицейского товарища Пушкина Федора Матюшкина, обращенный к самому Анненкову. Анненков пишет: «Один из лицейских его товарищей, занимающий ныне почетное место в морской службе, получил от Пушкина, при первом своем отправлении вокруг света, длинные наставления, как вести журнал путешествия. Он рассказывал нам, что Пушкин долго изъяснял ему настоящую манеру записок, *предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы»*.[38]

Эти слова Пушкина относятся к 1817 г. В этом году Федор Матюшкин,

[38] *Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 165. Курсив мой,— *Т. О.*

будущий крупнейший мореплаватель и путешественник, впоследствии адмирал и сенатор, отправлялся в кругосветное плавание и в своем дневнике записал, что он «сбирался» его «вести по совету и плану Пушкина».[39] Знаменательно, что в словах 17-летнего Пушкина, приведенных Анненковым, заключена буквально реформа существовавшего в то время жанра путешествий и что сам он в 1835 г. будет создавать по этому «рецепту» свое «Путешествие в Арзрум». И эта же пушкинская методология почти через 50 лет ляжет в основу переработки «Фрегата „Паллада"».

Есть все основания полагать, что и советы Матюшкину и «манера» «Путешествия в Арзрум» легли в основу того окончательного текста «Фрегата „Паллада"», который Гончаров выработал в 1879 г. Это именно тот текст, по которому в дальнейшем печатались все издания «Фрегата» и который значительно отличается от всех предыдущих изданий. Возможно, что именно в это время Гончаров перечитал и «Путешествие в Арзрум», о чем свидетельствует тот факт, что в новое издание не попадает один эпизод, который представляет собою почти цитату из пушкинского путешествия или, вернее, не цитату, а невольное заимствование, объяснявшееся просто цепкой писательской памятью, в которой задержался данный пушкинский эпизод. В «Путешествии в Арзрум», в главе третьей, читаем: «Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. *Огонь освещал картину, достойную Сальватора Розы, речка шумела во мраке*».[40]

Во всех изданиях «Фрегата „Паллады"» в главе «Гон-Конг» было: «...*красный отблеск огня на вершинах дерев, движущиеся силуэты людей, котлы, дым, а на небе яркие звезды — все это достойно было кисти Сальватора Розы*».[41]

Вообще же преимущественная переработка «Фрегата „Паллада"» велась прямо по рекомендации Пушкина Матюшкину: избегать «излишнего разбора впечатлений». И Гончаров последовательно освобождает текст своих очерков от такого «разбора». Так, из главы «Плавание в атлантических тропиках» выпадает крупное «лирическое отступление»: «Давно ли еще я с томительным чувством скуки и нетерпения глядел со шканцев или из окна капитанской каюты на величественные, конечно, но однообразные водяные бугры и, от нечего делать, ожидал по временам того периодического вала, который называют девятым, и сравнивал, как сильно накренит он судно против предыдущего вала, как с глухим шумом ударит в корму, как корабль будет ложиться на один бок, потом встанет, чтоб перелечь на другой... А теперь шатаешься по улицам южного города, сидишь в португальском семействе, поднимаешься в горы, как будто вдруг после скучного чтения разверну-

---

[39] Цит. по: *Руденская М., Руденская С.* Они учились с Пушкиным. Л., 1976, с. 99.

[40] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Л., 1940, т. 8, с. 470. Курсив мой,— *Т.О.*

[41] *1858,* с. 499. Курсив мой,— *Т. О.*

лась самая живая страница книги. С этого утра я убедился, что недаром завидуют страннической жизни и стремятся пожить ею».[42]. В главе «От мыса Доброй Надежды до острова Явы» писатель сокращает еще одно «впечатление»: «Мы останавливались и озирались кругом; немея от изумления, от восторга, не верили глазам, не верили себе, что мы не во сне и не на сцене видим эту картину, что мы в центре чудес природы. Что шаг, то новый, роскошный и невиданный для северных глаз ландшафт».[43] Из главы «Манила» он убирает целую страницу текста, начинающуюся словами: «Не ждите от меня описаний чего-нибудь нового, каких-нибудь поразительных красот Манилы: я побывал в эти полтора года под многими прекрасными небесами, ступал на многие жаркие и цветущие берега; тропическая природа имеет все одну и ту же обаятельную физиономию, на которую не устаешь любоваться...».[44]

В главе «От Манилы до берегов Сибири» вплоть до последнего издания было такое рассуждение по поводу приготовленного омара: «Прекрасное чудовище на взгляд, и на вкус; говорят, тоже. Я не ел, во-первых, потому, что меня не было: я уехал до ужина домой, то есть на фрегат, во-вторых, не люблю гомаров; они многим нравятся, но мне кажутся грубы, жестки и приторны. То ли дело наши речные раки? Я пробовал всех возможных шримсов, креббов и лобстеров — и ни одни не сравняются с теми».[45] Особенно много таких субъективных моментов («Я пошел...», «Я заглядывал...» и т. п.) и «разборов впечатлений» убрал Гончаров из глав «Из Якутска» и «До Иркутска».[46] Предшествующая же им глава «Обратный путь через Сибирь» была переделана радикально, начиная с заглавия. Первоначально она называлась так: «Аян (Заметки из памятной книжки на сибирских станциях)». Гончаров намеренно убирает эту явную «реальность»: он действительно заносил эти «заметки» в «памятную книжку».[47] Последующий текст переделывается в связи с измененным заглавием: снимаются приметы «памятной книжки» — даты, заголовки: «От Аяна до станции Алдана»; «Джукджурская станция. 25 августа»; «Челасинская станция. 26 августа» [48] и т. д.

Усиленной правке подверглись начальные страницы книги. Гончаров полностью освобождает их от чересчур «личных» реалий, перешедших со страниц журнальных публикаций в издание 1858 г. Из первой главы уходит «биографическая» подробность: в строчке «...мотив из вчерашней оперы» вычеркивается слово «вчерашней»; из второй убираются упоминания имен друзей; вместо фразы «...в сочельник

---

[42] *ОЗ, 1855*, № 5, с. 88
[43] *Совр.*, 1855, № 10, с. 150.
[44] Наст. изд., с. 817, примеч. 12.
[45] *М. сб.*, 1855, т. XVI, отд. 1, с. 451.
[46] См. раздел «Примечания», с. 822—826.
[47] Упоминание об этом сохранилось и в окончательном тексте — см. с. 504—512.
[48] Все эти даты — подлинные. Они могли бы служить дополнительными вехами в «Летописи жизни и творчества» Гончарова.

и в ваши именины, Е⟨вгения⟩ П⟨етровна⟩» остается лишь обозначение дня «...в сочельник»; вместо подробного «...ваша гостиная, или языковская зала» остается безличная «...ваша гостиная»; обращение «...мой друг, Ю⟨ния⟩ Дмитриевна...» превращается в безымянное «...мой прекрасный друг». «Не повезло» и П. В. Анненкову: и в «Отечественных записках» и в издании 1858 г. было: «...пожить бы эпикурейцем, насмешливым наблюдателем всех этих проказ, как пожил мой земляк П. В. А⟨нненков⟩» — в издании 1879 г. последние слова вычеркиваются

* *
*

Книга Гончарова была, по выражению Д. И. Писарева, встречена современниками «с такою радостью, с какою редко встречаются на Руси литературные произведения».[49]

Г. Н. Потанин передал такую сценку, происшедшую между ним и воспитателем Гончарова моряком Н. Н. Трегубовым. Трегубов спросил его:

«— А вы читали Ваню моего в „Морском сборнике"?

— И в „Русском вестнике" читал! Кто теперь не читает прекрасных писем Гончарова?»

«У нас в это время,— продолжал Потанин,— появились „Письма" Боткина об Испании, „Письма" Ковалевского из Италии, но все это было ничто в сравнении с письмами Гончарова, где так мастерски, живо, пластично изображены картины тропической природы, африканские и индийские порты, пестрая жизнь Востока, словом, все, что для нас было тогда так ново, как волшебный мир сказки.

Письма эти были так живы и увлекательны,— продолжал мемуарист,— что их читали все нарасхват, а когда в целом было напечатано путешествие Гончарова ⟨...⟩ так „Палладу" раскупили... чуть ли не в месяц, и через год потребовалось второе издание».[50]

Богатство и разнообразие картин и форм жизни, которые писатель наблюдал в течение почти трехлетнего плавания, необыкновенная красочность описаний природы и меткость бытовых зарисовок, истинный гуманизм автора, наконец, самый тон повествования, правдивый «до добродушия»,[51] — все это действительно снискало путевым очеркам признание, ничуть не меньшее, чем классическим романам. Уже в 1855 г., когда в «Оте-

---

[49] *Писарев Д. И.* Соч.: В 4-х т. М., 1955, т. 1, с. 197.

Переходя к обзору отзывов современников и критиков о «Фрегате „Паллада"», отметим, что все они относятся к первоначальным изданиям ее. Огромная работа, проделанная автором в 1879 и 1886 гг., была не отмечена (и не замечена?) ни при жизни автора, ни позднее.

[50] *Потанин Г. Н.* Воспоминания о Гончарове, с. 118.

[51] В главе «Русские в Японии» Гончаров пишет: «Не берусь одевать все вчерашние картины и сцены в их оригинальный и яркий колорит. Обещаю одно: верное, до добродушия, сказание о том, как мы провели вчерашний день» (с. 351).

чественных записках» появился очерк «Манила», Н. А. Некрасов писал в «Современнике»: «...статья прекрасна, отличается живостью и красотой изложения, свежестью содержания и той художнической умеренностью красок, которая составляет особенность описаний г. Гончарова, не выставляя ничего слишком резко, но в целом передавая предмет со всею верностью, мягкостью и разнообразием тонов...».[52] Касаясь в этой же рецензии очерка «От мыса Доброй Надежды до Явы», напечатанного ранее в «Современнике», Некрасов подчеркивал, что по нему «могут судить читатели, как увлекательно рассказывает романист-путешественник свои впечатления».[53] Это же мастерство рассказчика подчеркнул и рецензент «Библиотеки для чтения» педагог В. Ф. Кеневич. «Рассказ г. Гончарова не требует похвал,— пишет он.— В нем почти никогда не встретишь неудачного выражения, или картины, оскорбляющей эстетическое чувство 〈...〉Это истинная поэзия». Касаясь напечатанных к этому времени «японских» глав, он продолжал: «Заметки о Японии гораздо выше всех других заметок г. Гончарова и более всех их удовлетворяют современным требованиям от развитого, европейски-образованного путешественника, каким все, конечно, признают нашего талантливого автора».[54]

Еще до выхода отдельного издания «Фрегата» с подробным разбором всех вышедших глав выступил рецензент «Отечественных записок» С. С. Дудышкин. Он особенно подчеркнул, что Гончаров «описывает только то, *чтó видел,* и описывает так, как понял, не прибегая ни к каким книгам, из которых он мог бы почерпнуть гораздо больше, нежели сколько мог увидеть в короткое время». «Везде кажется,— продолжает критик,— что все эти сведения, которые мы приобретаем от путешественника, были уловлены им самим при простом взгляде на природу и людей, которых он видел, кажется даже, что они дались ему легко — с таким талантом они изложены! 〈...〉 У Гончарова как художника труд скрыт; его никто не знает, кроме автора, и читателю остается наслаждаться одними картинами, которые рисует послушное перо художника...». Особенно подчеркивая «большой талант и великую способность наблюдательности» писателя, Дудышкин выделяет и «еще одну сторону» его таланта, проявляющуюся в «уменье схватывать тончайшие поэтические черты 〈...〉, сливать эти черты в один поэтический образ и *самой поэзией* картины, как лучшей эссенцией нашей жизни, лучшим зеркалом, дать почувствовать эту жизнь». Все это поз-

---

[52] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. М., 1950, т. XI, с. 337.

[53] Там же. Эту «увлекательность» отметил в 1855 г. и друг писателя поэт А. Н. Майков, посвятивший Гончарову-путешественнику стихотворение, которое начиналось строфой:

Море и земли чужие,
Облик народов земных,—
Все предо мной, как живые,
В чудных рассказах твоих.

(*Майков, с. 129*)

[54] *Б. д. чт.,* 1856, январь — февраль, разд. V, с. 25—44, за подписью: ...вич.

волило критику сделать вывод, к которому придет и современный исследователь,[55] что в путевых записках проявился тот же Гончаров, «который написал „Сон Обломова"». Здесь «те же приемы в подборе мелких поэтических красок, то же уменье связать их все в один узел, та же сила общего впечатления». Однако это тонкое наблюдение не помешало Дудышкину почти ничего не оставить от разбираемой книги. «Что нового вносит в нашу литературу путешествие г. Гончарова?» — спрашивал он в заключение. И отвечал: «...много картин южной природы и жизни, нарисованных опытною рукою художника-наблюдателя, картин, на которые долго будут смотреть с большим удовольствием».[56]

Как бы в унисон с этой последней оценкой и впоследствии раздадутся отдельные критические голоса, носители которых не увидели в книге ничего, кроме «гастрономических» пристрастий автора или его желания выставить себя «главным действующим лицом».[57] Другой критик утверждал, что «симпатии автора на стороне жизни благодушного покоя и эстетического эпикурейского наслаждения всеми благами, которые даются цивилизацией, высоко ценимой нашим романистом».[58]

Еще один рецензент «проницательно» замечал, что «и во „Фрегате «Палладе»" преследует нас все один и тот же идеально-величавый образ лавочника, который не покидает г. Гончарова и во всех прочих произведениях его».[59] Характерно, что этот рецензент не заметил слов, которые сказаны об этом же «лавочнике» на других страницах той же книги: «...холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали вдаль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли» (с. 14). Даже О. Ф. Миллер в предисловии к тому II своих «Чтений, речей и статей» писал: «Когда явилось новое издание „Паллады",[60] то это, по нашему мнению, вместо того, чтобы напомнить о Гончарове как о путешественнике, должно было вызвать глубокое сожаление о прекращении его деятельности в области социального романа».[61] Отметим также, что злой отклик А. И. Герцена, озаглавленный «Необыкновенная история о ценсоре Гон-ча-ро из Ши-пан-ху»,[62] содержащий те же упреки — в неподготовленности автора и «плотоядности» его, был вызван отнюдь не желанием отозваться на публикацию путевых очерков, а лишь намерением «заклеймить» писателя, вступившего на цензорскую стезю.

[55] См. наст. изд., с. 753.

[56] *Дудышкин С.* Из путешествия г. Гончарова...— *ОЗ*, 1856, т. CIV, разд. Журналистика, с. 35—50.

[57] *Попов В. П.* Гончаров как писатель.— Общезанимательный вестник, 1857, № 13, с. 481.

[58] *Острогорский В. П.* Очерки литературной деятельности И. А. Гончарова.— Дело, 1887, № 1, январь, с. 68.

[59] Обзор «Новые книги».— *ОЗ*, 1879, № 8, август, с. 261.

[60] Речь идет об издании 1886 г.

[61] *Миллер О.* Русские писатели после Гоголя. 5-е изд. СПб.; М., б. г., т. II, с. 1.

[62] Колокол, 1857, 1 декабря, л. 6, с. 49.

Почти одновременно с упоминавшейся выше рецензией Дудышкина в журнале «Современник» с разбором только что вышедшей книги «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» выступил писатель и критик А. В. Дружинин. Отдав должное «мастерскому слогу» Гончарова, «в одно время простому и изящному, картинному и безукоризненно правильному», и отметив, что книга «читается с великим наслаждением», Дружинин с удовлетворением писал, что «прежний Гончаров, петербургский романист, историограф молодого Адуева и живописец мирной Обломовки, остался прежним Гончаровым и на острове Мадере, и на Ликейский островах, и в Нангасаки, и в Шангае, и в гостиной японского полномочного, и на палубе русского военного корабля 〈...〉 он везде был верен своему воззрению, своему краю, поэзии своего сердца, смыслу своего таланта». «Таким образом,— продолжал критик,— бессознательно повинуясь влечению собственной своей натуры, автор книги 〈...〉 сразу завоевал себе сочувствие читателя...». «В Японии был чисто русский поэт, пребывание свое в этой стране описал он для русских людей, и книга его будет прочитана каждым русским человеком»,— подытоживал Дружинин.[63] Характерно, что с рецензией Дружинина полностью согласился отнюдь не единомышленник его — Н. А. Добролюбов. Рецензируя в «Современнике» отдельное издание «Фрегата „Паллада“» 1858 г.,[64] он писал: «Мы полагаем, что читатели наши не забыли этой живой и остроумной статьи, в которой автор 〈...〉 представляет вообще характеристику таланта этого блестящего, увлекательного рассказчика 〈...〉 мы считаем излишним повторять здесь то, что было в ней высказано...». Подчеркнув, что в новом издании читатели «найдут и несколько новых статей, еще не бывших напечатанными в журналах», Добролюбов сослался на «обстоятельную и полную характеристику достоинств таланта г. Гончарова», содержащуюся в «Предисловии от издателя».[65] Анонимное «Предисловие» это, как говорилось выше, принадлежало И. И. Льховскому. Оно было не только выражением мыслей самого Гончарова по поводу собственной книги,[66] но и критическим разбором, где настойчиво подчеркивался особенный, индивидуальный характер произведения, в котором «автор сделал, сперва для друзей, а потом для публики — героем путешествия самого себя и таким образом придал обыкновенным впечатлениям путешественника индивидуальный характер».

«Сделав все это,— писал далее Льховский,— г. Гончаров вышел из обыкновенной колеи, сбросил с себя условия, которые риторика и рутина под разными предлогами стараются наложить даже на путешествие, и описал свою поездку вокруг света так, что она не похожа ни на какое другое произведение этого рода». И эта «непохожесть», утверждал он, обеспечила книге особенный успех. «Прием журналов,—

---

[63] *Совр.*, 1856, № 1, разд. Критика, с. 19—25.

[64] *Совр.*, 1858, № 6, отд. II, с. 195—197.

[65] *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9-ти т. М.; Л., 1962, т. 3, с. 159—160.

[66] См. выше, с. 773.

говорилось в «Предисловии»,— спешивших дать место каждому отрывку „Путевых записок" на своих страницах, и отзывы критики, угадавшей и оценившей поэтическое и национальное значение этой *скромной одиссеи*, служат очевидными тому доказательствами». Далее определялось, в чем же состояла эта «непохожесть»: прежде всего в характере «дарования» Гончарова. «В коротеньком описании Ликейских островов,— пишет Льховский,— в очерках англичан, в эскизах колониальной жизни на мысе Доброй Надежды, в журнале переговоров с японцами и т. д. явственно обозначаются поэтические черты национальных типов: ветхозаветный быт ликейцев, образ английского купца, властвующего в мире, черты отжившей голландской цивилизации и ребяческой мудрости японцев — все это этнографические данные, возведенные, так сказать, в эпические образы. Голос поэта эпического, романиста, постоянно слышится в рассказе путешественника». И еще в том, что эта книга как бы рассчитана на самые разные круги читателей. «Устранив из описания своего путешествия почти все, хоть сколько-нибудь специальные данные, цифры и вообще все то, что очень часто пропускается и наскучает даже тем, кто педантически требует этого, и сосредоточив все внимание на живой и поэтической стороне предмета,— пишет далее Льховский,— автор расширил круг своих читателей; классически простое, ясное и веселое, как день, изложение путевых впечатлений и наблюдений человека, одаренного оригинальным умом, поэтическим талантом и глубоко русской природой, всегда найдет ценителей не только в кругах дилетантов, но и в кругу читателей, занятых вовсе нелитературными интересами или не сознающих еще этих интересов. Путевыми очерками г. Гончарова может наслаждаться самый ученый специалист, а между тем они, кажется, доступны и для ребенка».[67]

Вскоре же по выходе отдельного издания Льховский выступил и с рецензией в журнале «Библиотека для чтения». «Почти все отзывы о путевых очерках,— подытоживал он,— наполнены похвалами художественной стороне, которая, однако же, в этом произведении 〈...〉 признается за что-то случайное, второстепенное, за что-то заменяющее или выкупающее, более или менее, недостаток другой, будто бы существенной стороны. В чем же заключается эта существенная сторона 〈...〉 никто не потрудился определить вполне». «Многие сочли нужным заметить,— продолжал Льховский,— что путешествие И. А. Гончарова не ученое, не специальное, но никто, как нам кажется, не указал на те ученые и специальные путешествия, к которым оно не принадлежит. Какие же это ученые и специальные путешествия, как они пишутся и где читаются? У нас таких, на русском языке, можно сказать, почти нет, ни оригинальных, ни переводных». «Любознательность,— утверждал рецензент,— не должна лишать художника, поэта, права быть художником, поэтом, не должна обрекать, например, странствующего живописца на рисование восхитительных географических карт и составление прият-

[67] *1858*, с. IV—VI.

ных учебников. ⟨...⟩ У них своя специальность ⟨...⟩. Никому более не доступен жизненный смысл явлений и их интимный характер, как современному поэту с его свободными воззрениями, тонким психологическим развитием и сознательным стремлением к истине».[68]

Стремясь определить глубокое своеобразие книги Гончарова, прижизненная критика почти не применяла к ней критериев того жанра, в котором она была написана и каноны которого, казалось бы, должны были быть учитываемы в данном случае прежде всего. Более того, как раз этому-то жанру, то есть жанру «путешествий», «Фрегат „Паллада“» преимущественно и противопоставлялся. Тот же Д. И. Писарев особо подчеркивал, что на книгу Гончарова «должно смотреть не как на путешествие, но как на чисто художественное произведение».[69] Это, разумеется, не было обычным в таких случаях предостережением против слишком педантического прочтения путевых очерков, уже в силу своей жанровой природы претендующих на определенную достоверность; не было это и только констатацией высоких художественных достоинств книги, и без того очевидных. Было же это признанием подлинно новаторского значения произведения, которое, смело разрушив давно сложившиеся эстетические каноны жанра, подняло его на невиданную дотоле высоту и на многие годы само сделалось его своеобразным эталоном.

Эта «жанровая революция», осуществленная Гончаровым во «Фрегате „Паллада“», приобретала тем больший масштаб, что победа, одержанная над канонами жанра, была одновременно и одной из выдающихся побед реализма над романтизмом, поскольку к середине 50-х годов, когда создавалось это произведение, последним оплотом уходящего романтизма оставался в русской литературе именно жанр «путешествий». Именно в нем с наибольшей силой продолжало сказываться влияние традиций «морской» прозы Марлинского, ее экзотически-пышной палитры, ее изобразительной и эмоциональной неумеренности.

Книга Гончарова разрушила эту последнюю цитадель романтизма, утвердив новую традицию — реалистическую, которой следовало не одно поколение русских писателей и которая не утратила своего значения и до сих пор.[70] Все это обеспечило «Палладе» долгую жизнь — не только

---

[68] *Б. д. чт.*, 1858, № 7, разд. Литературная летопись, с. 2—11.

[69] *Писарев Д. И.* Соч.: В 4-х г., т. 1, с. 201.

[70] После «Фрегата „Паллада“» появился целый поток описаний путешествий, претерпевших литературное влияние книги Гончарова. Это прежде всего несколько очерков того же И. И. Льховского в «Морском сборнике» (1861, №№ 1, 2, 11; 1862, № 2), «Морская поездка» и «Путевые очерки» А. Ф. Писемского (там же, 1857, апрель, часть неофициальная) и конечно же «Корабль „Ретвизан“» Д. В. Григоровича (очерки печатались в 1859—1863 гг. на страницах «Морского сборника», а также «Современника» и «Времени»). Совершенно перекликаясь с Гончаровым, Григорович пишет, например: «Каждый, приезжая в любую страну или город, наталкивается на случаи, происшествия и на людей, которых вчера не было и которые не встретятся или не повторятся завтра;

во времени, но и в пространстве. Книгу (и отдельные ее главы) начали переводить еще при жизни Гончарова (на болгарский, французский и чешский языки); позднее она выходила на немецком, польском, румынском языках; «японские» ее главы печатались в Токио в 1930 и 1941 гг.,[71] в 1960—1961 г. гл. IV первого тома «На мысе Доброй Надежды» вышла в Кейптауне под заголовком «Кап в описании русского» и в сопровождении комментария, сведения для которого извлекались из «Капского альманаха» и современных путешествию южноафриканских газет.[72]

путешественник, передающий бумаге свои впечатления, непременно внесет что-нибудь новое в самую богатую массу наблюдений своего предшественника» (*Григорович Д. В.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т. СПб., 1896, т. IX, с. 184). И следуя за практикой Гончарова, он задается целью «...рисовать корабельную жизнь, схватывать общие черты стран, мимо которых проходим, наблюдать обычаи чужеземных берегов и <...> стараться, по возможности, вести параллель между этими обычаями и обычаями нашего родного берега» (там же, с. 114). Влияние Гончарова испытал и живописец и искусствовед, автор «Очерков пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах», А. В. Вышеславцев, прямо писавший на одной из страниц своей книги: «...почти все эти места вы знаете уже по превосходным описаниям г. Гончарова, которые, кроме своего литературного достоинства, отличаются удивительною верностью»

[71] Сведения об этих переводах см. в кн.: *Алексеев А. Д.* Библиография И. А. Гончарова (1832—1964). Л., 1968, с. 49—64.

[72] Подробные сведения об этом переводе см.: *Давидсон, Макрушин,* с. 317 319.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Гончарова книга вышла в свет в пяти изданиях — в 1858, 1862, 1879, 1884 и в 1886 гг. В настоящем издании текст печатается по 6 и 7 тт. «Полного собрания сочинений И. А. Гончарова. С портретом автора, гравированным академиком И. П. Пожалостиным, и факсимиле. Издание второе. СПб., издание Глазунова, 1886» со сверкой по журнальным публикациям, всем прижизненным изданиям и следующими исправлениями по ним:

Том I

С. 15, строка 25: «Морских ног нет еще у вас» вместо «Морских ног нет у вас» (*РВ, 1879*).

С. 19, строка 47: «а об водке ни полслова!» вместо: а об водке ни полслова! (*РВ*).

С. 30, строка 23: «Тот не уезжает» вместо: «Тот уезжает» (*РВ*, по письму 4 и по смыслу).

С. 32, строка 23: «испытанный друг» вместо «истинный друг» (*РВ, 1879*, письмо 4).

С. 32, строка 26: «неиспытанного друга» вместо «неистинного друга» (*РВ, 1879*, письмо 4).

С. 44, строка 37: «1852» вместо «1851» (*РВ, 1858, 1879*).

С. 44, строка 44: «поднимем» вместо «поднимаем» (*РВ, 1858, 1879*).

С. 45, строка 38: «чего» вместо «что» (*РВ, 1879*).

С. 58, строка 32: «немалого» вместо «немало» (*РВ, 1879*).

С. 60, строка 22: «в куче» вместо «в кучке» (*РВ, 1858, 1879*).

С. 79, строка 13: «поверить» вместо «проверить» (*РВ, 1858, 1879*).

С. 85, строка 15: «подставляющие» вместо «поставляющие» (*РВ, 1858, 1879*).

С. 85, строка 19: «кучка» вместо «куча» (*РВ* и по смыслу; ср. также с. 88: «кучки негров... толпились»).

Том II

С. 377, строка 18: «и за доставку воды» вместо «и доставку за воду» (*М. сб.* (там: «доставку воды») и по смыслу).

С. 378, строка 6: «черенком для ножа» вместо «черенков» (*М. сб.* и по смыслу).

С. 449, строка 20: «становиться» вместо «остановиться» (*М. сб., 1858* и по смыслу).

С. 451, строка 20—21: «продраться» вместо «пробраться» (*М. сб., 1858*).

С. 457, строка 9: «взбежали» вместо «вбежали» (*М. сб., 1858* и по смыслу).

С. 525, строка 4: «от сорокаградусного мороза» вместо «сорокаградусного мороза» (*М. сб., 1858* и по смыслу).

С. 547, строка 10: «сосны, ели, лиственницы» вместо «сосны или лиственницы» (*Б.д.чт.* и по смыслу).

Наиболее характерные разночтения и существенные варианты других изданий даются среди постраничных примечаний. Примечания дополняются указателями имен и географических названий, необходимость которых вызвана большим количеством реальных персонажей, исторических лиц и географических названий, упоминаемых в книге, и словарем морских терминов.

Нераскрытые факты и неустановленные имена в примечаниях не оговариваются.

Орфография и пунктуация текста памятника приближены к современным (не сохраняются такие написания как: «пастет», «систерна», «мекинтош», «комфортэбельно», «бифстекс», «галстух»); отдельные названия даются с привычной для XIX в. прописной буквы (напр., названия христианских праздников: Пасха, Святки, Святая неделя, Рождество и т. п.).

По всему тексту вводится полное написание имен и фамилий, печатавшихся Гончаровым сокращенно (так как еще были живы упоминаемые в книге лица): т. е. вместо П. печатаем Посьет (без угловых скобок, как это делалось в предыдущих изданиях: П<осьет>); вместо З.— Зеленый и т. д.

Основание для этого дал сам Гончаров, с самого начала печатавший часть имен полностью и дополнительно раскрывавший другие (от издания к изданию; см., напр., письма к Д. Н. Цертелеву: наст. изд., с. 719—721).

Редакционные переводы иностранных слов и выражений даются в тексте под строкой с обозначением: *Ред.* Остальные подстрочные примечания принадлежат Гончарову.

Даты писем из заграничного плавания приводятся по двум стилям; из России — только по старому стилю. Все редакционные дополнения даются в тексте в угловых скобках; в них же дополняются недописанные части дат и мест отправления писем.

* * *

ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К 3-МУ, ОТДЕЛЬНОМУ, ИЗДАНИЮ «ФРЕГАТА „ПАЛЛАДА“»

[1] *...после долгого промежутка...*— Последний раз перед изданием 1879 г. книга выходила 17 лет назад, в 1862 г.

[2] *...в литературном сборнике «Складчина» в 1874 году...*— Решение об издании сборника «Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии» было принято 15 декабря 1873 г. на собрании петербургских литераторов; Гончаров был избран одним из членов редакционного комитета (вместе с А. А. Краевским, Н. А. Некрасовым и др.) и провел большую работу в качестве редактора сборника, его цензора и рецензента (см. об этом: *Алексеев А. Д.* И. А. Гончаров — член редакционно-издательского комитета сборника «Складчина».— *РЛ*, 1971, № 3, с. 86—94). «Складчина» вышла в свет в конце марта 1874 г. В числе 48 авторов были Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, А. К. Толстой и др.

[3] *...без малого столетие...*— Свое столетие фирма Глазуновых отметила в 1903 г.

[4] *...известный русский художник...*— Издание сопровождалось портретом, выполненным гравером И. П. Пожалостиным (1837—1909) с фотографии К. И. Бергамаско, снятой в 1873 г.

[5] *...недавно портрет покойного поэта Некрасова.*— Н. А. Некрасов умер 27 декабря 1877 г. В 1878 г. Пожалостин выгравировал его портрет (с портрета И. Н. Крамского; в этом же году он был приложен к «Отечественным запискам»).

ТОМ ПЕРВЫЙ

I. ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА

Впервые напечатано: *РВ*, 1858, т. VI, ноябрь, кн. 1, с. 13—104, с подзаголовком: (Из путевых записок). В дальнейшем глава почти не перерабатывалась.

[1] *...как могли вы...*— Это «письмо», в отличие от следующих далее, не имело конкретного адресата (см. об этом в статье Т. И. Орнатской, с. 767—771).

[2] *...романы Купера или рассказы Марриета...*— Гончаров хорошо знал серию романов американского писателя-романтика Фенимора Купера (1789—1851) «Кожаный Чулок», где изображалась борьба индейцев против хищничества американских колонизаторов, история гибели их родового уклада; в таких романах Купера как «Лоцман», «Красный корсар», «Два адмирала» и других герои — мужественные и суровые моряки, контрабандисты, пираты. Английский писатель моряк Фредерик Марриет (1792—1848) был автором многих приключенческих повестей и морских романов (в 1837 г. на русский язык был переведен его роман «Морской офицер»).

[3] *...когда учитель сказал мне...*— Речь идет об отставном морском офицере Николае Николаевиче Трегубове (ум. в 1849 г.), крестном отце и воспитателе Гончарова, потерявшего отца в семилетнем возрасте.

[4] *...с правого берега Волги, на котором я родился...*— Гончаров родился в г. Симбирске (ныне г. Ульяновск).

[5] *...перешел к подвигам и приключениям Куков...*— Знаменитый английский мореплаватель Джемс Кук (1728—1779) руководил тремя кругосветными экспедициями, в результате которых был совершен ряд географических открытий; о первой и второй экспедициях он оставил записки (*Cook J.* Voyage round the world in 1768—1771. London, 1774, v. 1—2; A voyage towards the South Pole and round the world ... in the years 1772—1775. London, 1784, v. 1—2; см. трехтомный русский перевод с современного английского издания записок: Первое кругосветное плавание капитана Джемса Кука. Плавание на «Индевре» в 1768—1771 гг. М., 1960; Второе кругосветное плавание капитана Джемса Кука. Плавание к южному полюсу и вокруг света в 1772—1775 гг. М., 1964; Третье плавание капитана Джемса Кука. Плавание в Тихом океане в 1776—1780 гг. М., 1971).

[6] *...Ванкуверов...*— Английский мореплаватель Джордж Ванкувер (1757—1798) участвовал в двух последних путешествиях Кука. В 1791 г. возглавил экспедицию в северную часть Тихого океана, о которой сам написал в книге: A voyage of discovery round the world in the years 1790—1795. London, 1798, 3 vol.

[7] *...Аяксы* (или Эанты) — имена двух друзей-героев: Большого, или Великого, Эанта и Малого Эанта, участников Троянской войны, описанной в «Илиаде» Гомера.

[8] *...Ахиллесы...*— Ахиллес — герой Троянской войны, совершивший ряд подвигов во время осады города.

[9] *...Геркулес...*— Сын Зевса, герой ряда мифов.

[10] *...даже не в Италию, как звучно вы о ней ни пели, поэт...*— Имеется в виду прежде всего поэтический цикл А. Н. Майкова (1821—1897) «Очерки Рима», сложившийся под впечатлением заграничного путешествия поэта в 1842—1843 гг. Возможно, что Майков знакомил Гончарова и со стихами из «Неаполитанского альбома», которые начали появляться в печати с 1859 г.

[11] *...на живой космос.*— Здесь слово «космос» употреблено в его старом значении: мир, вселенная (см.: *Даль*, т. II, с. 173).

[12] *...вспомнить давно забытых мною кругосветных героев.* — В одной из поздних автобиографий Гончаров, вспоминая о детстве, перечислял «прилежно читавшиеся», «почти выученные наизусть» книги, и среди них «Кука, Крашенинникова в Камчатку, Мунго-Парка в Африку и др.» (*СС*, т. 8, 228).

[13] *...скромный чиновник...*— Перед отправлением в экспедицию коллежский асессор Гончаров исполнял должность столоначальника Департамента внешней торговли Министерства финансов.

[14] *...новый аргонавт... в недоступную Колхиду...*— В греческой мифологии 50 мореплавателей направлялись на корабле «Арго» (названном так по имени его строителя) в далекую, неопределенную страну Эю (за которую, со времени Пиндара, принимали Колхиду — грузинское побережье Черного моря).

[15] *Петергоф* (ныне Петродворец) — грандиозный дворцово-парковый ансамбль под Петербургом, первоначальный замысел которого принадлежал еще Петру I.

[16] *Парголово* — старинный поселок под Петербургом. Живописные окрестности и удобное сообщение с городом сделали его излюбленным дачным местом.

[17] *...путь этот уже не Магелланов путь...* — Ф. Магеллан (1480—1521) в 1519—1521 гг. руководил испанской экспедицией, искавшей западный путь к Молуккским островам (Индонезия). Обогнув Южную Америку и открыв неизвестный ранее пролив (названный его именем), через который экспедиция вышла в Тихий океан, Магеллан достиг Филиппинских островов, где и погиб в схватке с местными жителями.

[18] *Колумб* Христофор — знаменитый мореплаватель (1451—1506), руководил несколькими испанскими экспедициями, во время которых был совершен ряд важнейших географических открытий.

[19] *Васко де Гама* — португальский мореплаватель (1469—1524), совершил 3 плавания из Лиссабона в Индию, впервые проложив морской путь из Европы и Южную Азию (в 1497—1499 гг.).

[20] *...будут ездить туда в сорок восемь часов...* — В конце 1830-х—начале 1840-х гг. между Европой и Америкой начали курсировать первые винтовые пароходы, развивавшие значительно большую скорость, чем парусные корабли.

[21] *Пуф* (от франц. pouf) — ложное известие, выдумка.

[22] *...под ферулу риторики...* (от лат. ferula — розга) — т. е. под строгие правила красноречия; в Европе ферулой именовали линейку, которой били по ладоням провинившихся учеников.

[23] *...с римский огурец...* — Это шутливо-ироническое выражение, характеризующее чрезмерное преувеличение, вошло в литературный обиход (и даже в разговорную речь) из известной басни И. А. Крылова «Лжец» (1818). Крылов же использовал сюжетные мотивы басен А. П. Сумарокова «Хвастун», И. И. Хемницера «Лжец» и В. А. Левшина «Лгун».

[24] *...на «дальнем севере»* — Отклик на стихотворение А. Н. Майкова, начинающееся словами «На дальнем Севере моем...» (1844; см.: *Майков,* с. 90).

[25] *...страна вечного зефира...* — Зефир — в прямом смысле — западный ветер. В европейской поэзии слово приобрело значение приятного и легкого ветра (по Гомеру, зефир дует на «островах блаженных», где нет непогоды).

[26] *...музы... законные дочери парнасских Камен...* — По имени одной из италийских нимф, Камены, в Риме называли муз, богинь поэзии, искусств и наук, обитавших на горе Парнас.

[27] *...«Rule, Britannia, upon the sea».* — Начальные слова национальной патриотической песни Великобритании, извлеченной из финала маски «Альфред» (1740) композитора Т. Арна. Позднее была вытеснена гимном «Боже, храни короля».

[28] *...на богомолье, в Киев...* — Древний Киев с его знаменитой Киево-Печерской лаврой был постоянным местом паломничества христиан.

[29] *...тронуться четыремстам человек...* — Личный состав «Паллады» состоял из 486 человек. Вот справка из дел канцелярии Морского штаба:

«Личный состав

фрегата „Паллада“, под командою флигель-адъютанта его императорского величества, Гвардейского экипажа капитан-лейтенанта и кавалера Ивана Семеновича Уньковского 1-го, при начале кампании означенным фрегатом (25 сентября 1852 года).

Командующий фрегатом, флигель-адъютант его императорского величества, Гвардейского экипажа капитан-лейтенант Иван Семенович Уньковский; под командою его: 18 флотского экипажа капитан-лейтенант Посьет; лейтенанты: 14 экипажа Воин Римский-Корсаков, 41 — Иван Бутаков, 15 — Петр Тихменев, Гвардейского экипажа адъютант его высочества великого князя Константина Николаевича, лейтенант барон Николай Крюднер, 15 — Сергей Тырков, 25 — Никанор Савич, 35 — Сергей Шварц, 13 — Иван Белавенец, 14 — барон Александр Шлипенбах; мичманы: 24 — Петр Анжу, 24 — Александр Болтин, 20 — Павел Зеленый, 23 — Александр Колокольцев; Корпуса морской артилле-

рии капитан Константин Лосев, унтер-цейхватер коллежский секретарь Василий Плюшкин; Корпуса флотских штурманов штабс-капитан Александр Хализов, поручик Лев Попов 1-й, подпоручик Иван Моисеев 3-й, кондуктор 1, содержатель по шхиперской части Гвардейской ластовой полуроты подпоручик Яков Истомин, старший врач 25 флотского экипажа коллежский асессор штаб-лекарь Александр Арефьев, младший врач 14 флотского экипажа доктор медицины Гейнрих Вейрих, Корпуса корабельных инженеров подпоручик Иван Зарубин, С.-Петербургской епархии Троицко-Александровской лавры архимандрит Аввакум, столоначальник Департамента внешней торговли коллежский ассесор Иван Гончаров, Министерства иностранных дел Азиатского департамента коллежский ассесор Иосиф Гошкевич, Морского кадетского корпуса гардемарин 4, Морского гвардейского экипажа юнкер 1, нижних чинов сводной команды флотских экипажей: учебного экипажа музыкантов 24, 1 экипажа рядовых 19, 2 — унтер-офицеров 1, рядовых 18, 3 — унтер-офицеров 2, рядовых 18, 4 — унтер-офицеров 1, рядовых 26, 5 — унтер-офицеров 1, рядовых 25, 6 — рядовых 22, 7 — унтер-офицеров 1, рядовых 28, 8 — рядовых 19, 9 — унтер-офицеров 3, рядовых 16, 14 — унтер-офицеров 2, рядовых 9, 19 — унтер-офицеров 8, рядовых 55, 20 — унтер-офицеров 1, рядовых 2, 22 — унтер-офицеров 2, рядовых 24, 23 — унтер-офицеров 3, рядовых 27, 24 — унтер-офицеров 1, рядовых 30, 25 — унтер-офицеров 5, рядовых 25, 26 экипажа рядовой 1, нестроевых разных флотских экипажей 10, Корпуса морской артиллерии кондукторов 3, Арсенальной № 3 роты рядовой 1, рабочих экипажей: 1 — рядовых 2, 3 — экипажа 2, 4 — экипажа 5, 5 — экипажа 4, 7 — экипажа 2, Кронштадтской портовой роты рядовых 3, Штаба кронштадтского госпиталя фельдшер 1; всего унтер-офицеров 32, музыкантов 26, рядовых 365, нестроевых 30» (Цит. по: *Ляцкий Евг.* Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Пб., 1912, с. 309—310).

30 *...где провел лет семнадцать.*— Гончаров приехал из Симбирска в Петербург в начале мая 1835 г.

31 *Английская набережная* — набережная по левому берегу реки Невы от памятника Петру I до Ново-Адмиралтейского канала.

32 *...снялся с якоря.*— «Паллада» вышла из Кронштадта 7 октября 1852 г. (по ст. стилю).

33 *Барон Криднер* (Крюднер) Николай, лейтенант гвардейского экипажа, до плаванья на «Палладе» был адъютантом вел. кн. Константина Николаевича.

34 *...Фаддеев... давно познакомил вас.*— В журнальных публикациях настоящая первая глава печаталась последней: отсюда это «давнее» знакомство читателя с денщиком Гончарова.

35 *...«а об водке ни полслова»!* — Строка из стихотворения Дениса Давыдова «Песня старого гусара» (1817).

36 *...деду.*— Т. е. Александру Антоновичу Халезову (Хализову; ум. 1877), старшему штурманскому офицеру на «Палладе», впоследствии генерал-майору, четвертый раз шедшему в кругосветное плаванье.

37 *...«милый Борнгольм» и таинственную, недосказанную легенду Карамзина?* — В романтической повести «Остров Борнгольм» (1793) сюжет не завершен (отсюда ее «недосказанность», «таинственность»); здесь же, во вставной балладе «Законы осуждают», содержатся и приведенные Гончаровым слова («О Борнгольм, милый Борнгольм! К тебе душа моя Стремится беспрестанно»).

38 *...припоминали могилу Гамлета...*— По преданию, могила датского принца Гамлета находится на берегу Зундского пролива, близ Эльсинора.

39 *...о несправедливости зундских пошлин...*— В 1425—1857 гг. Дания взимала с иностранных судов пошлины за право следования через Большой и Малый Зунд.

40 *...«История кораблекрушений»...*— Речь идет о книге «Описание примечательных кораблекрушений, в разное время случившихся. Сочинение господина Дункена. С английского перевел и пополнил примечаниями и пояснениями, в пользу российских мореплавателей, флота капитан-командор Головнин. Напечатано по повелению Государственного Адмиралтейского Департамента. В трех частях. СПб., 1822». Русский мореплаватель, путешественник и писатель В. М. Головнин (1776—1831) действительно переработал книгу при переводе, написав четвертую часть ее под названием «Описание достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных российскими мореплавателями».

[41] *В. А. Корсаков* — Воин Андреевич Римский-Корсаков (1822—1871) — командир шхуны «Восток», шедшей в составе экспедиции Путятина. Впоследствии адмирал. В 1895—1896 гг. в «Морском сборнике» были напечатаны материалы «Из дневника Воина Андреевича Римского-Корсакова», а в 1956 г.— «Письма из Китая» («Новый мир», № 6).

[42] *...капитан.*— Речь идет о капитан-лейтенанте (позднее адмирале) Иване Семеновиче Унковском (1822—1886), командующем «Палладой». Он был учеником адмирала М. П. Лазарева.

[43] *...отец Аввакум...*— В миру Честной Дмитрий Семенович (1801—1866), востоковед и синолог. В бытность свою архимандритом петербургской Александро-Невской лавры неоднократно жил в Китае; составил «Каталог книгам, рукописям и картам на китайском, маньчжурском, монгольском, тибетском и санскритском языках библиотеки Азиатского департамента» (1843); исполнял функции постоянного переводчика при официальных сношениях русского правительства с Китаем.

[44] *...не видал ни «безмолвного», ни «лазурного» моря...*— Намек на начальные строки элегии В. А. Жуковского «Море» (1822).

[45] *...а несколько лет тому назад из Москвы...*— В июле 1834 г., окончив словесное отделение Московского университета, Гончаров вернулся в Симбирск.

[46] *...умолчал о дружбе...*— Эти строки относятся к Е. П. и Н. А. Майковым (см. письмо к ним из Петербурга от 20 ноября (2 декабря) 1852 г.— с. 621—629).

[47] *...Птоломеевой географии и астрономии...*— Имеются в виду сочинения К. Птолемея «Альмагест», в котором изложена геоцентрическая система мира его автора, и «География», дающая свод географических сведений античного мира.

[48] *...или Аристотелевой риторики.*— Речь идет о знаменитом сочинении Аристотеля «Риторика» (ср. также Дополнения, с. 624).

[49] *...вроде Пиладова подвига...*— Т. е. высшего проявления дружбы. Греческий миф рассказывает о фокидском царевиче Пиладе, друге Ореста, отправившемся вместе с последним в Микены, чтобы отомстить за убийство его отца Агамемнона. Пилад готов был умереть за Ореста, когда того хотели принести в жертву Артемиде; он доказал свою верность Оресту, когда того терзали фурии за матереубийство.

[50] *...туннель под Темзой... бесполезен.*— В 1823 г. был построен Блекуэльский туннель (он строился 7 лет); в 1825 г. ниже Лондонского моста англичане проложили туннель для непрерывности движения судов; позднее по нему прошла железная дорога.

[51] *...церковь св. Павла...*— Строительство собора св. Павла в Лондоне (по образцу собора св. Петра в Риме) началось в 1675 г. по проекту архитектора Кристофера Ренна (или Вренна, 1632—1723) и было закончено в 1710 г.

[52] *...королева... спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити...*— Так символизировалась ограниченность королевской власти в буржуазной Англии. Сити — деловой центр Лондона, выделенный в особый административный округ, обладающий целым рядом привилегий.

[53] *...времен Кошихинских...*— Т. е. России XVII в., описанной подьячим Посольского приказа, общественным деятелем и писателем Г. К. Котошихиным (ок. 1630—1667) в его сочинении «О России в царствование Алексея Михайловича» (1666 г.; впервые издана в 1840 г.).

[54] *Меркуриев жезл.*— Один из олимпийских богов, Гермес (лат. Меркурий), глашатай Зевса, считался также покровителем купцов, богом торговли и прибыли. Его жезл (кадуцей), бывший первоначально эмблемой вестников, глашатаев, парламентеров, в новое время стал эмблемой торговли.

[55] *...процессия похорон Веллингтона.*— В последние годы жизни герцог Артур Уэсли Веллингтон (1769—1852) пользовался огромной популярностью. Держась в стороне от враждующих партий, он сосредоточивал в своих руках несколько ответственнейших постов: был главнокомандующим войсками, губернатором Тауэра, лордом-хранителем пяти гаваней и канцлером Оксфордского университета. Англия хоронила его с королевскими почестями.

[56] *...с гидом в руках...*— Здесь *гид* — справочная книга, путеводитель (от франц. guide).

[57] *...Британский музеум... колоссальное собрание редкостей и предметов знания.*— Британский музей — один из крупнейших в мире музеев, основанный стараниями нескольких частных лиц в 1753 г., был открыт в 1759 г. Он знаменит своим собранием

редких книг, рукописей, монет, произведений первобытного, древнего и средневекового искусства, собранием гравюр, рисунков, керамики.

[58] *...Regentstreet, Oxfordstreet, Trafalgarplace... не звучит ли в именах память прошедшего...*— В «именах» названных здесь двух улиц и площади действительно «звучит» история Англии: на Риджентстрит находятся старинные королевские замки; Оксфордстрит получила свое название в честь старейшего в Англии университета, а Трафальгарская площадь названа в честь победы англичан над французами, одержанной 21 октября 1805 г. у мыса Трафальгар.

[59] *Вестминстерское аббатство* — замечательный памятник средневековой английской готики (постройка его началась в XIII в.); на протяжении столетий собор св. Петра в Вестминстере служил местом коронации английских королей, а также усыпальницей королей и великих людей Англии.

[60] *...национальную картинную галерею... два-три пейзажа Клода.*— «Национальная галерея живописи» открылась в 1824 г. и первоначально в ней было лишь 38 картин, ранее принадлежавших банкиру Ангерстейну. К 1840 г. их число выросло до 200; среди них было несколько полотен Рембрандта («Христос и грешница», «Купающаяся в ручье женщина», «Саския в виде аркадской пастушки» и «Портрет Маргариты Трип») и пять первоклассных пейзажей Клода Лоррена («Отплытие св. Урсулы», «Отплытие царицы Савской», «Пейзаж с Кефалом и Прокридой», «Свадьба Исаака и Ревекки» и «Агарь и ангел»).

[61] *Марко Паоло* — итальянский путешественник Марко Поло (ок. 1254—1324) был первым европейцем, рассказавшим о Китае и Памире в написанной с его слов «Книге» (1298).

[62] *Фланёр* (от франц. flâneur) — праздношатающийся.

[63] *Шехеразада.*— Здесь: сказочная красота, богатство, разнообразие (по имени мудрой дочери визиря царя Шахрияра из арабского сборника сказок «Тысяча и одна ночь», ставшего известным в Европе по французскому переводу Галлана; Париж, 1704—1717 гг.).

[64] *Пломпудинг* — род пудинга, т. е. запеканки из крупы или муки, творога, мяса и т. д., с добавлением яиц, молока, пряностей.

[65] *Дюк* (от франц. duc) — герцог; Веллингтон получил этот титул в 1814 г.

[66] *...на гравюру погребальной колесницы.*— Похоронная колесница Веллингтона была отлита из пушек, захваченных им в разных сражениях.

[67] *...Ватерлоо...*— Фельдмаршал Веллингтон, командовавший англо-голландскими войсками, 18 июля 1815 г. в сражении у бельгийской деревни Ватерлоо успешно отразил атаку Наполеона, а во второй половине дня, вместе с прусской армией, обратил французов в бегство.

[68] *...британского Агамемнона...*— Имя аргосского царя Агамемнона, предводителя греков в Троянской войне, стало нарицательным для обозначения выдающихся воинских заслуг кого-либо.

[69] *Форпенс* — т. е. четыре пенса (пенс — то же, что пенни, английская бронзовая монета, равная 1/240 фунта стерлингов).

[70] *...особенно обриты. ...Языков непременно сказал бы: здесь каждый — бритт.*— Намек на любовь М. А. Языкова к острым словечкам и каламбурам (игра слов: бритт — англичанин и бритый).

[71] *...«в гробе тьмы людей», по выражению Пушкина.*— Слова из Песни второй поэмы «Полтава» (1828—1829); у Пушкина: «Как будто в гробе, тьмы людей Молчат».

[72] *Фидий* (V в. до н. э.) — греческий скульптор.

[73] *Канова* Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор-классицист, возрождавший античные традиции.

[74] *...мистрис Домби...*— Персонаж романа Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848).

[75] *...после всякой хорошенькой англичанки мне мерещится капитан Копейкин.*— Имеется в виду эпизод с «кутнувшим» в ожидании пенсиона гоголевским героем («Мертвые души», гл. X).

[76] *...показывали диораму восхождения на Монблан...*— Впервые (в 1786 г.) достигли вершины Монблана швейцарцы Ж. Бальма и М. Паккар.

[77] *...только с четвертою попыткой удалось мне «отвалить» из отечества.*— См. об этом выше, с. 14.

[78] *24-го, в сочельник...*— Т. е. накануне праздника рождества (сочельник — канун церковных праздников — рождества и крещения).

[79] *Всенощная* — церковная служба накануне праздников, ночью.

[80] *...в вояже* (от франц. voyage) — т. е. в путешествии.

[81] *...празднуешь два Рождества... два Крещенья.*— В России новый стиль был введен лишь с февраля 1918 г., тогда как в большинстве европейских стран он действовал с 1582 г.

[82] *Гуманитет.*— Здесь: интеллигентность (ср. у Даля: „Гуманный—... свойственный человеку истинно просвещенному» — т. I, с. 418).

[83] *...«Times» или «Herald»...*— Названия распространенных лондонских газет.

[84] *Обед гомерический...*— Здесь в переносном смысле: изобильный (от имени Гомера, описавшего в «Илиаде» и «Одиссее» пиршества богов).

[85] *...исполняя евангельскую заповедь и проходя сквозь бесконечный ряд нищих...*— Заповеди о милостыне в различных вариантах содержатся в Евангелиях от Матфея (гл. 19, ст. 21), от Луки (гл. 18, ст. 22) и от Иоанна (гл. 13, ст. 29). Например, в Евангелии от Луки на вопрос одного «из начальствующих»: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную», Иисус советует: «Всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах».

[86] *Обедня* — название одной из христианских служб, совершаемой утром или днем.

[87] *Павловск* — пригород Петербурга; с середины XIX в. излюбленное дачное место горожан.

II. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ОСТРОВ МАДЕРА

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1855, № 5, с. 71—102. В дальнейшем глава не претерпела значительных изменений.

[1] *Что за штука?*— Возможно, что здесь в тексте опечатка. В журнальной публикации и в издании 1879 г. употреблено слово «шутка».

[2] *...«безбрежен, мрачен, угрюм... неукротим»...*— Намек на стихотворение А. С. Пушкина «К морю» (1824).

[3] *Иван Иванович* Бутаков (1822—1882), лейтенант, старший офицер на «Палладе». Позднее командир «Дианы», погибшей в бухте Симодо. Впоследствии вице-адмирал.

[4] *Лосев* Константин Иванович, капитан морской артиллерии, старший артиллерист на «Палладе».

[5] *Далее было:* Тут-то я и поселился. Качка усиливалась (*ОЗ*, с. 77; *1858*; *1879*).

[6] *Далее было*: как я видел потом (*ОЗ*, с. 80; *1858*).

[7] *Шпиц* (от нем. Spitze) — то же, что шпиль.

[8] *Далее было*: Вам все отлично,— возразил я: — если б вы умирали с холоду, так вы бы сказали, что отлично замерзли (*ОЗ*, с. 83).

[9] *Гошкевич* (Гашкевич) Осип Антонович, чиновник Министерства иностранных дел, знаток Дальнего Востока, плыл на «Палладе» переводчиком; позднее первый русский посланник в Японии; составил словарь японского языка, собрал большие коллекции (хранятся в Зоологическом музее АН СССР в Ленинграде).

[10] *Далее было:* 14-го, 15-го, 16-го числа (*ОЗ*, с. 85).

[11] *...Людовик-Наполеон только что вошел на престол.*— Луи Наполеон Бонапарт (Наполеон III; 1808—1873) был провозглашен императором 2 декабря 1852 г. в результате государственного переворота, уничтожившего республику.

[12] *Dahin...*— «Dahin, dahin» — строка из стихотворения Гете «Mignon» («Kennst du das Land»), включенного и в роман «Годы учения Вильгельма Мейстера» (кн. III, гл. 1; 1795—1796).

[13] *...в Гренаду... путешествовал эпикуреец Боткин...*— В последней главе книги В. П. Боткина «Письма об Испании» (1857) описывается путешествие в Гренаду («Гранада и Альамбра. Октябрь»; она была напечатана в «Современнике», 1851, № 1, отд. II, с. 73—120). Гончаров шутливо именует Боткина эпикурейцем (от имени греческого философа Эпикура (342—270 до н. э.), считавшего стремление к наслаждению движущим принципом человеческой деятельности) по традиции, сложившейся в кругу их общих друзей и знакомых, единодушно отмечавших, что чувственный, гедонистический характер писателя особенно отразился в его книге (подробнее см.: *Звигильский А.* Творческая история

«Писем об Испании».— В кн.: *Боткин В. П.* Письма об Испании. Л., 1976 (Серия «Литературные памятники»), с. 299—301).

[14] *...чую еще север смущенной душой...*— Гончаров перефразирует стихи Пушкина «На перевод Илиады» (1830): «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи; Старца великого тень чую смущенной душой».

[15] *Cogito, ergo sum...*— Слова французского философа Р. Декарта (1596—1650).

[16] *Далее было:* Давно ли еще я с томительным чувством скуки и нетерпения глядел со шканцев или из окна капитанской каюты на величественные, конечно, но однообразные водяные бугры и, от нечего делать, ожидал по временам того периодического вала, который называют девятым, и сравнивал, как сильно накренит он судно против предыдущего вала, как с глухим шумом ударит в корму, как корабль будет ложиться на один бок, потом встанет, чтоб перелечь на другой,— и одно и то же с утра до вечера, да холод, иногда дождь? А теперь шагаешь по улицам южного города, сидишь в португальском семействе, поднимаешься в горы, как будто вдруг после скучного чтения развернулась самая живая страница книги. С этого утра я убедился, что недаром завидуют страннической жизни и стремятся пожить ею (*ОЗ*, с. 88; *1858*, с. 131).

[17] *...nur nicht heute» ... согласно с известным немецким двустишием.*— Слова из стихотворения Христиана Феликса Вейсе (1726—1804) «Отсрочка», начинающегося строками «Morgen, morgen. Nur nicht heute, sagen alle faulen Leute» <завтра, завтра, не сегодня, так ленивцы говорят> , ставшими пословицей. Стихотворение бытовало также в качестве детской песенки. В переводе Б. М. Федорова (1794—1875) оно включалось во многие школьные хрестоматии.

[18] *Спенсер.*— Здесь: короткая облегающая куртка.

[19] *... пахнет гелиотропом.*— Гелиотроп — декоративное растение семейства бурачниковых с душистыми цветками.

[20] *Оссиановской, сырой и туманной погоды...* — Популярный английский поэт Джемс Макферсон (1736—1796) выдавал свои романтические поэмы за сочинения легендарного кельтского барда Оссиана, жившего, по преданию, в III в. на юге Ирландии. Действие в этих поэмах обычно происходит на фоне сурового пейзажа Севера с его дождями и туманами.

[21] *Сьеста* (от исп. siesta) — полуденный отдых в жарких странах.

[22] *Фаустрехт* (от нем. Faustrecht — самоуправство) — кулачное право.

[23] *...возьмет сам золото, да еще и отравит, как в Китае например...*— Намек на английскую торговлю опиумом в Китае (см. наст. изд., с. 207).

[24] *Дагерротип.*— Так назывался первый технически разработанный (в 1839 г.) способ фотографирования (по имени одного из его изобретателей, художника Луи Жака Дагерра), по которому прямо в аппарате на посеребренной металлической пластинке получалось (в единственном экземпляре) позитивное изображение.

[25] *Я дышал, бывало, воздухом нагорного берега Волги...*— Гончаров родился и до 1822 г. жил в приволжском городе Симбирске.

[26] *...царствующего императора.*— Т. е. Педру II (1831—1889).

[27] *блаженной памяти... герцог Лейхтенбергский.*— Речь идет о герцоге Максимилиане-Евгении-Иосифе-Наполеоне (1817—1852), женатом (с 1839 г.) на вел. княжне Марии Николаевне, дочери Николая I. Он состоял президентом Академии художеств, возглавлял Горный институт. Ему был дан Николаем I титул императорского высочества.

[28] *...сцену из «Фенеллы» ... все это покупает и продает.*— В действии третьем оперы Д. Обера «Немая из Портичи» (1828; или «Немая», или «Фенелла») представлена полная народу рыночная площадь в Неаполе.

III. ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ

Впервые напечатано: *РВ*; 1857, т. IX, кн. 1, с. 47—72, с подзаголовком: (Письмо к В. Г. Бенедиктову). В дальнейшем глава не претерпела значительных изменений.

[1] *В поэтическом и дружеском напутствовании... в полном собрании стихотворений Бенедиктова.*— Послание к Гончарову было впервые опубликовано в «Полном собрании стихотворений» поэта в 1856 г. Вот его текст:

И. А. ГОНЧАРОВУ

(Перед кругосветным его путешествием)

И оснащен, и замыслами полный,
Уже готов фрегат твой растолкнуть
Седых морей дымящиеся волны
И шар земной теченьем обогнуть.

Под бурями возмужествуй упрямо!
Пусть вал визжит у мощного руля!
Вот Азия — мир праотца Адама!
Вот юная Колумбова земля!

И ты свершишь плавучие заезды
В те древние и новые места,
Где в небесах другие блещут звезды,
Где свет лиет созвездие Креста.

Поклон ему! Взгляни как триумфатор
На сей трофей в хоругвях облаков,
Пересеки и тропик и экватор —
И отпируй сей праздник моряков!

И если бы тебе под небесами
Неведомых антиподов пришлось
Переверстаться с здешними друзьями,
Ногами в ноги, головами врозь,—

То не роняй отрады помышленья,
Что и вдали сердечный слышен глас,
Что не одни лишь узы тяготенья
Всемирного соединяют нас.

Лети! — И что внушит тебе природа
Тех чудных стран,— на пользу и добро
Пусть передаст, в честь русского народа,
Нам твой рассказ и славное перо!

Прости! — Вернись и живо и здорово
В суровые приневские края,
И радостно обнимут Гончарова
И М⟨айко⟩вы, и все его друзья.

Сентябрь — начало октября 1852.

(*Бенедиктов*, с. 284—285)

[2] *Где искать поэзии? ... Научите.*— Вся глава «Плавание в атлантических тропиках» — это диалог писателя-реалиста с поэтом-романтиком, это утверждение красоты, разлитой в обычной, даже обыденной жизни (подробнее см. в статье: *Михельсон В. А.* К вопросу об идейном содержании и композиции очерков Гончарова «Фрегат „Паллада"» («Плавание в атлантических тропиках»).— Учен. зап. Краснодарск. пед. ин-та, 1959, вып. 2, с. 146—150).

[3] *Реперовы таблицы.*— Вычислительные таблицы для навигационных и астрономических наблюдений на море.

[4] *...«ночной зефир струил эфир»...*— Гончаров перефразирует строку из стихотворения А. С. Пушкина «Ночной зефир» (1824).

[5] *...песчаный косогор...*— Пушкинская реминисценция (см. в статье Б. М. Энгельгардта, с. 755).

[6] *Торцовая мостовая.*— Т. е. сделанная из торцов — коротких, обычно шестигранных брусков из поперечно разделанного бревна.

[7] *Аничков* мост переброшен через реку Фонтанку на Невском проспекте.

[8] *Полицейский* (ныне Народный) мост переброшен через реку Мойку на Невском проспекте.

[9] *Чекуши* находились в районе Васильевского острова (там во второй половине XVIII в. были открыты новые верфи).

[10] *Мурино* — село под Петербургом; одно из живописнейших дачных мест.

[11] *Крестовский остров* — излюбленное место гулянья петербуржцев и ближнее дачное место.

[12] *...Бельчер... первый заметил, что нет причины держаться ближе Америки... в Австралию...*— Речь идет о следующем сочинении английского путешественника, морского офицера Э. Бельчера (1799—1877): «Narrative of a voyage round the world performed in her majesty's ship sulphur, during the years 1836—1842. London, 1843, vol. I, II», содержащем описание кругосветного путешествия автора.

[13] *...к эскадре коммодора Перри.*— Американская эскадра коммодора (коммодором в Англии, Америке и Голландии именовался командир соединения кораблей, не имевший адмиральского чина) Перри (1794—1859), состоявшая из двенадцати кораблей во главе с флагманом — паровым фрегатом «Миссисипи», вышла из Норфолка 24 июня 1852 г. и прибыла в залив Иедо 7 июля 1853 г. Она направлялась в Японию с явно военными, агрессивными целями. Экспедиция должна была, во-первых: «Добиться открытия Японии, установить с нею торговые отношения и получить на ее территории базы для китобойного и торгового флота», во-вторых: «Захватить в свои руки инициативу в сношениях с японцами, оттеснив на задний план Англию, Россию, Францию и другие страны, и обеспечить США преобладающее политическое влияние в Японии»; и в-третьих: «Собрать всевозможные разведывательно-информационные данные о Японии и других странах Дальнего Востока, которые облегчили бы в дальнейшем проникновение американского капитала на восточные рынки» (см.: *Петров Д. В.* Колониальная экспансия Соединенных Штатов Америки в Японии в середине XIX века. М., 1955, с. 67—147). Опорной базой эскадры был порт Наха на о. Окинава.

[14] *... сказки об окаменелом царстве.*— Действительно, эта картина чрезвычайно близка к описанию окаменелого города из сказки «Окаменелое царство» (см.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3-х т. М., 1957, т. 2, № 273).

[15] *Спекуляция.*— Здесь в значении: предпринимательство; *спекулянты* — предприниматели.

[16] *Савич* Никанор Никанорович (ум. 1860), лейтенант на «Палладе».

[17] *...заглянул в Араго...*— Т. е. в книгу французского астронома, физика и путешественника Ж. Араго «Путешествие вокруг света» (рус. пер. 1844—1845 гг.). Одна из глав книги называется «Штиль».

[18] *Зеленый* (Зеленой) Павел Алексеевич (1833—1909), мичман на «Палладе», потом на «Диане»; после ее крушения попал в плен к англичанам; в 1857—1860 гг. совершил еще одно кругосветное плавание; впоследствии генерал, одесский градоначальник.

[19] *Пересеки и тропик и экватор... предписывали вы мне... Владимир Григорьевич...*— Строки из приведенного выше «послания» В. Г. Бенедиктова (см. примеч. 1 на с. 796).

[20] *...не догадались вызвать Нептуна...*— Переход через экватор обычно сопровождается праздничным маскарадом, во время которого все лица, впервые пересекающие экватор, представляются богу морей Нептуну (греч. Посейдон). Он изображается по традиции подобным Зевсу зрелым мощным мужем.

[21] *...топот трепака...*— Возможно, что здесь содержится перекличка со строками из главы «Путешествие Онегина» (у Пушкина: «Теперь мила мне балалайка Да пьяный топот трепака...»).

[22] *Прюнелевые ботинки.*— Т. е. сделанные из прюнели (от франц. prunelle) — тонкой плотной хлопчатобумажной, шелковой или шерстяной ткани.

[23] *«Магеллановы облака».*— Наименование хорошо видных в Южном полушарии двух звездных систем в виде туманных пятен.

[24] *«Угольные мешки».*— Так называют беззвездные пятна на фоне Млечного Пути.

[25] *Презервы.*— Здесь: консервы (от англ. preserve).

[26] *...морской устав Петра Великого.*— Т. е. лично составленный и изданный Петром I «Устав Морской о всем, что касается к доброму управлению в бытность флота на море»; он заключал в себе и изложение обязанностей всех чинов на судах военного флота.

[27] *Бониты.*— Тунцы (рыбы из семейства скумбриевых), до 3-х метров в длину.

[28] *...как сама Диана.*— Диана (лат.), а в греческой мифологии Артемида — целомудренная богиня-дева.

[29] *Берите же, любезный друг, свою лиру ... а я ... умолкаю!* — Через год после появления в печати этой главы Бенедиктов, совершивший летнее путешествие в Швейцарию, отозвался на призыв Гончарова новым стихотворным посланием (*ОЗ*, 1858, № 10, с. 639—640):

И. А. ГОНЧАРОВУ

Недавно, странник кругосветный,
Ты много, много мне чудес
Представил в грамотке приветной
Из-под тропических небес.
Все отразилось под размахом
Разумно-ловкого пера:
Со всею прелестью и страхом
Блестящих волн морских игра,
Все переломы, перегибы
И краска пышных облаков,
И птичий взлет летучей рыбы,
И быт пролетный моряков,
Востока пурпур и заката,
И звезд брильянтовая пыль,
Живое веянье пассата,
И всемертвящий знойный штиль.
За эти очерки в отплату
Хотел бы я, свой кончив путь
И возвратясь теперь, собрату
Представить также что-нибудь.
Оставив невскую столицу,
Я тоже съездил за границу,
Но, тронув море лишь слегка,
Я, как медведь гиперборейской,
Чужой средь сферы европейской,
На все смотрел издалека.
Я видел старые громады
Альпийских гор во весь их рост,
В странах заоблачных каскады,
И Сен-Готард, и Чертов мост.
Кому же новость — эти горы?
Я видел их картинный строй,
Уступы, выступы, упоры;
Чрез целый горизонт порой,
Игрой всех красок теша взоры,
Тянулись в блеске их узоры —
Казалось, в небе пир горой...
Но что сказать о них? Спокойны
Подъяты в ужас высоты;
В венце снегов, они достойны
Благоговейной немоты.
К сравненьям мысли простираю...
Но что мне взять в подобье им
Пред тем, кто, бурями носим,
Ходил в морях от края к краю?

Я соблазняюсь и дерзаю
Прибегнуть к образам морским:
Гора с горой в размерах споря
И снежной пенясь белизной,
Вдали являлась предо мной
В твердыню сжавшегося моря
Окаменелою волной,
Как будто, ярой мощи полны,
Всплеснулись к небу эти волны,
И, поглощая прах и пыль,
Сквозь тучи хлынув в высь лазури,
Оцепенели чада бури,
И вдруг сковал их вечный штиль,
И, не успев упасть, нависли
В пространстве,— над скалой скала
И над горой гора, как мысли,
Как тени божьего чела.

30 сентября 1858.

(*Бенедиктов*, с. 464—466)

IV. НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Впервые напечатано: *М. сб.*, 1856, № 8, отд. III, с. 102—169; № 9, отд. III, с. 317—404, с подзаголовком: (с 10 марта по 12 апреля 1853 г.).

В мемуарах А. Ф. Кони передан, со слов Гончарова, «...рассказ о том, как в окрестностях Капштадта, подойдя к кучке матросов, что-то любопытно разглядывавших, он (Гончаров,— *Ред.*) увидел на ладони одного из них огромного скорпиона, тщетно силившегося пробить ядовитым хвостом толстый сплошной мозоль на ладони руки, привыкшей лазить по вантам. „Что ты? Брось! Брось! — воскликнул Гончаров.— Он тебя до смерти укусит!“. „Укусит? — недоверчиво спросил матрос, презрительно скосив глаза на скорпиона.— Этакая-то сволочь?! Тьфу!“. И он бросил скорпиона на землю и раздавил его необутой для прохлады ногой» (*Кони*, с. 297).

[1] *Фура* — длинная телега для клади.

[2] *...присущи у меня ... в желудке...*— Гончаров употребляет слово «присущи» в его исконном значении, т. е. присутствия, наличности (см.: *Даль*, т. III, с. 449).

[3] *Сильфида.*— В средневековых поверьях сильфида — мифическое легкое воздушное существо, олицетворяющее стихию воздуха.

[4] *...еще воюют с кафрами.*— Наименование «кафры» происходит от арабского слова «кафир» — неверный. Так европейские колонизаторы называли некоторые негритянские племена (коса, зулу и т. д.). В 1851—1853 гг. между англичанами и кафрами велась так называемая третья война (первая происходила в 1834—1835 гг., вторая — в 1846—1847).

[5] *Телеграф.*— Здесь: оптический телеграф, т. е. аппарат для передачи сведений при помощи световых сигналов.

[6] *...крытые аспидом...*— Т. е. сланцем.

[7] *Но остатки голландского владычества редки.*— Капская колония была основана голландской Ост-Индской компанией (могущественной торговой и политической организацией) в 50-х годах XVII в. В 1795 г. она была захвачена англичанами, а в 1803 г. отдана ими под управление голландских властей, правда ненадолго: в 1806 г. англичане вновь овладели колонией (см. также: *Давидсон, Макрушин*, с. 176—177).

[8] *...издающихся здесь двух газет...*— Первая газета Капской колонии «The Cape Town Cazette and African Advertiser» выходила в Капштадте с 1813 по 1869 г. На самом деле здесь выходило 7 газет (см.: *Давидсон, Макрушин*, с. 318).

[9] *Один из новых писателей о Капской колонии, Торнли Смит...*— Возможно, что Гончаров допустил ошибку в написании имени автора. Речь может идти о следующих

книгах: Report of the Expedition for Exploring Central Africa from the Cape of Good Hope. Cape town, 1836; *Smith A.* Illustrations of the zoologi of South Africa. London, 1849. Возможно, что именно об этом писателе сообщалось в № 3 «Библиотеки для чтения» за 1834 г. Статья называлась «Экспедиция д-ра Смита в Южную Африку».

[10] *...с Плиниевыми троглодитами...*— Древнегреческое название племен, находящихся на низших ступенях развития (от греч. troglodyti — жители пещер). О троглодитах пишет римский писатель и ученый Плиний Старший (23 или 24—79) в своем энциклопедическом сочинении «Естественная история».

[11] *...служащий в Ост-Индии.*— Т. е. в Ост-Индской компании (см. примеч. 7).

[12] *...доктор Whetherhead.*— Речь идет о капштадтском враче Томасе Весереде, авторе нескольких сочинений по медицине (*Давидсон, Макрушин,* с. 313).

[13] *Шримсы* — разновидность креветок.

[14] *Далее было*: По дороге назад зашел я в кондитерскую, на окнах которой написано: «продажа льду», спросил мороженого, но мне сказали, что все вышло.

В одном магазине я встретил женщину лет двадцати, смугло-желтую, с темными как деготь глазами, с сросшимися бровями и с усиками. Черты лица европейские, а цвет африканский. Я спросил ее по-английски, кто она, какого племени. «Африканка»,— отвечала она. «А кто ж ваш отец?» Она смутилась. «Француз»,— тихо сказала она. «А мать?» — «Черная»,— отвечала она еще тише, потупляя глаза. «Так вы, верно, говорите по-французски?»— спросил я ее по-французски же; но она посмотрела на меня пристально и молчала.

Я купил себе шляпу — с вуалью. С вуалью? да, с вуалью. Еще в Саймонстоуне я видел, как на дворе одной дачи садился в карету высокий, красивый мужчина, в усах, в белой жакетке, в серой шляпе с страусовыми перьями и серой вуалью. Его провожала хорошенькая женщина, сзади ее стояла негритянка; кучером был готтентот. Они простились довольно нежно — просто сцена из «Ромео и Джулии». Молодой человек, выехав со двора, обернулся еще раз к крыльцу, кивнул молодой женщине, тут попались ему на глаза мы: он бегло взглянул в лорнетку на нас, отвернулся и закрыл лицо вуалью. Мы посмеялись тогда над этим театральным костюмом, а через несколько дней купили себе шляпы с вуалью, не зная, зачем вуаль; но здесь все носят ее. Купец и не спросил, хотим ли мы вуаль или нет, а просто навязал ее на шляпу и сказал, что все это стоит шесть шиллингов (*1858*, 234—235).

[15] *Вандик.*— В комментарии к кейптаунскому переводу комментируемой главы приведены сведения об этом лице, почерпнутые из «Капского альманаха» за 1853 г. «Звали его Эверт Йоханнес ван Дик и был он кучером Уорчестерского омнибуса» (см.: *Давидсон, Макрушин,* с. 318).

[16] *...знаменитого живописца...*— Речь идет о фламандском художнике Антонисе Ван-Дейке (1599—1641).

[17] *Далее было*: Ричард,— крикнул я однажды малайца. Он вытаращил глаза, подбежал ко мне, приставил ухо свое мне к самому рту, собрал все лицо в складки и ждал, что я ему скажу.

«Кто эта девица,— спросил я про Каролину:— родственница ли она м. Вельч или так, знакомая?» Лицо Ричарда вдруг разгладилось и он покатился со смеху.

«Что ты смеешься? Я спрашиваю тебя»,— начал было я; но Ричард не мог владеть собой, так и заливался продолжительным и раскатистым хохотом. Как я ни спрашивал, он не мог ответить и только хохотал (*1858*, с. 243).

[18] *...читал еще у Вальяна о Мысе...*— Французский путешественник и натуралист Франсуа Ле Вайян (1753—1824) оставил несколько книг о путешествиях на мыс Доброй Надежды и внутрь Африки. Последняя из них (Voyage autour du monde pendant les annеé 1836—1837 sur la corvette la Bouche. Paris, 1841—1844, livre 1—15) могла быть известна Гончарову в оригинале. Две его книги были переведены на русский язык: Путешествие г. Вальяна во внутренность Африки чрез мыс Доброй Надежды в 1781, 1782, 1783, 1784 и 1785 годах. М., 1793, т. 1—2; Второе путешествие Вальяна во внутренности Африки чрез мыс Доброй Надежды. СПб., 1824—1825, т. 1—3.

[19] *...Гершель здесь делал ... наблюдения над луной и двойными звездами...*— Английский астроном и физик Джон Гершель (1792—1871) с 1833 по 1838 г. жил и работал на мысе Доброй Надежды в основанной им лаборатории, результатом чего явился его труд «Results of astronomical Observation Rade at the Cape of Cood Hope» (1847).

[20] *Сочинения ... Барро, Смитов, Чезов ... о Капе образуют целую литературу...*—

Имеются в виду, в частности, следующие сочинения: *Barrow J.* An account of travels in the interior of Southern Africa. London, 1801—1804 (ее автор Джон Бэрроу (1764—1848), основатель английского Королевского географического общества, жил на юге Африки в 1797—1802 гг. и много путешествовал по стране; о сочинениях А. Смита см. выше, примеч. 9 на с. 800); *Chase C.* The Cape of Good Hope and the Eastern Province of Algoobay. London, 1843.

[21] *Ост-Индия.*— Так в XVII — начале XIX в. в Европе называли Индию, Юго-Восточную Азию и Китай.

[22] *...историю колонии... занятие колонии англичанами...*— См. примеч. 7.

[23] *...из прекрасной немецкой статьи ...энциклопедического описания новейшей истории».*— Названный Гончаровым том энциклопедии вышел в Лейпциге в 1850 г.; статья о мысе Доброй Надежды (с. 507—554) напечатана без подписи.

[24] *...умертвили самого вице-короля...*— Португальский мореплаватель и флотоводец, завоеватель Западной Индии Франсишку Алмейда (ок. 1450—1510) снарядил ряд экспедиций на Мальдивские острова, Цейлон и Мадагаскар. В 1505—1509 гг. был первым вице-королем Индии. Убит африканцами близ мыса Доброй Надежды по пути в Португалию.

[25] *Тогу (Toguh).*— Так Гончаров называет предводителя кафров Чаки. В 1818—1828 гг. он успешно командовал войском кафров, введя военную организацию с новой системой вооружения и боя (см. *Муравейский*, с. 687).

[26] *...по случаю отмены нантского эдикта.*— Этим эдиктом, изданным в Нанте в 1598 г., завершились религиозные войны между католиками и протестантами (гугенотами). Однако в 1685 г. эдикт был отменен, и из-за вновь начавшегося преследования множество гугенотов бежало из Франции.

[27] *По амьенскому миру ... возвращена была Голландии...*— По мирному договору, заключенному между Францией (с ее союзниками Испанией и Голландией) и Англией в городе Амьене 27 марта 1802 г., Англия возвращала противной стороне захваченные ею колонии.

[28] *... венским трактатом 1815 года.*— Этот трактат явился результатом Венского конгресса 1814—1815 гг., состоявшегося после разгрома наполеоновских войск. По нему Англии возвращались колонии, захваченные ею у Голландии во время наполеоновских войн (Капская колония входила в их число).

[29] *...занятым англичанами пространством... «Orange river sovereignty».*— В 1854 г. англичанами была признана бурская республика Оранжевая.

[30] *Коронный чиновник.*— Государственный или казенный служащий.

[31] *Гербовая пошлина.*— Эта пошлина взималась с отдельных лиц и организаций при оформлении документов по гражданско-правовым сделкам.

[32] *Акр* — мера земельной площади (в Англии и Сев. Америке), равная 4047 кв. м.

[33] *Морген* — старинная земельная мера (в Германии и Голландии) от 2500 до 9700 кв. м.

[34] *Посьет* Константин Николаевич (1819—1899), капитан-лейтенант, состоял при Путятине для особых поручений; почетный член Академии наук и Географического общества, известный исследователь северо-восточной части Тихого океана, автор сочинений «Вооружение военных судов» (1850) и «Письма с кругоземного плавания» (1855); позднее адмирал, министр путей сообщения.

[35] *...Не бил барабан перед смутным полком...*— Начальная строка стихотворения И. И. Козлова «На погребение английского генерала сира Джона Мура» (1825).

[36] *Сени новые, кленовые...*— Строки из русской народной песни, ранний вариант которой встречается в песенниках 1790—1791 гг.

[37] *...африканской Коробочки.*— Т. е. скопидомки. Коробочка — персонаж из III главы «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

[38] *...Геттингеном или Оксфордом.*— Города Геттинген (в Германии) и Оксфорд (в Англии) были знамениты своими университетами.

[39] *Френология.*— Антинаучное учение о связи формы черепа и психических свойств человека, принадлежащее австрийскому врачу и анатому Францу Иозефу Галлю (1758—1828). По френологии (от греч. phrēn — душа, ум, сердце), те или иные психические способности локализуются в различных участках мозга, и их можно различить, ощупывая рельефы черепа.

[40] *Нанковый.*— Т. е. сделанный из нанки — грубой хлопчатобумажной ткани.

[41] *...повеяло Поль Поттером, Миерисом, Теньером.*—На полотнах этих мастеров изображались преимущественно пейзажи и жанровые сцены (голландец Поль Поттер, 1625—1654), сцены из жизни богатых горожан (голландец Франс Ван Миерис, 1635—1681), бытовые сценки, сельские пирушки, свадьбы (фламандский живописец Давид Теньер, 1610—1690)

[42] *...крытые штофом козетки...*— Т. е. двухместные диванчики, кушетки, обитые плотной шелковой тканью с разводами.

[43] *Яхташ* (ягдташ) — охотничья сумка для дичи.

[44] *Спенсеры.*— Здесь: корсажи со шнуровкой.

[45] *Муслин-де-лень.*— Шерстяной муслин (муслин — легкая мягкая ткань).

[46] *...сестра, лет двенадцати ... пейзажи.*— Посетивший Капскую колонию вслед за Гончаровым А. В. Вышеславцев писал: «А помните ли вы, в рассказе г. Гончарова, двенадцатилетнюю девочку, дочь хозяина гостиницы в Паарле? Она вышла замуж за аптекаря в Веллингтоне; сделалась отличною хозяйкой, что, впрочем, неудивительно, но, сделалась и премилою дамою. До обеда она председательствует на кухне, стряпает своими беленькими ручками; а вечером, переодевшись, любезна и мила, право, не хуже наших дам» (*Вышеславцев,* с. 109).

[47] *...ни Абдель-Кадеры и Сандильи ... не помешают...*— Алжирский полководец, оратор и поэт, Абд-эль-Кадир (1807—1883) в 1832—1847 гг. возглавлял восстание арабов против французских колонизаторов; Сандилья был предводителем кафров в войнах с английскими колонизаторами.

[48] *Ненаглядный ты мой ... У Антони дочка...*— Песни из репертуара П. А. Зеленого, упоминаемые здесь и ниже (за исключением особо прокомментированных), характеризуют его пристрастие к так называемому «жестокому» или «цыганскому» романсу. Почти все они входят в состав популярных дешевых песенников начала—середины XIX в.

[49] *...мистер Бен* (Бейн) Эндрю (1796—1864) — английский геолог, инженер; с 1820 г. жил в Капской области, исследуя ископаемую фауну Южной Африки; его именем названо ущелье в окрестностях Капштадта (см.: *Давидсон, Макрушин,* с. 312—313).

[50] *...с портретами королевы Виктории и принца Альберта...*— Т. е. с портретами английской королевы Виктории (1819—1901) и ее супруга принца Альберта (1819—1861).

[51] *Орден Подвязки.*— Так назывался Орден св. Георгия (высший орден Британской империи), учрежденный английским королем Эдуардом III в 1350 г. для особо узкого круга приближенных (25 кавалеров) (один из знаков ордена — ленту из темно-синего бархата с вытканной золотой каймой и золотой надписью «Honni soit qui mal y pense» ⟨«Да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает» (*франц.*)⟩ носили ниже левого колена, прикрепляя золотой пряжкой).

[52] *Рубини* Джованни Батисто (1795—1854) — итальянский певец (тенор); Гончаров мог слышать его во время гастролей Рубини в Петербурге в 1843—1845 гг.

[53] *Фальцетто* (от итал. falsetto) — способ воспроизведения звуков на основе горловых обертонов (призвуков).

[54] *Шень* (или шен) — «известная выступка, прием в пляске, переборка, проход» (*Даль,* т. IV, с. 628).

[55] *Балансе* (от франц. balancé) — па в танцах.

[56] *...гора Гринберг, зеленая не по одному названию.*— По-английски green — зеленый.

[57] *Близко города Славянска... горы.*— Песня Торопки из романтической оперы А. Верстовского на либретто М. Загоскина «Аскольдова могила» (1835).

[58] *Адонис.*— Здесь: мужчина редкой красоты (по греческой мифологии прекрасный юноша Адонис — сын красавицы Смирны, возлюбленный Афродиты).

[59] *«И это мой брат, ближний!»* ...— Возможно, в этих словах содержится намек на одну из начальных сцен гоголевской «Шинели» (молодому чиновнику, обидевшему Акакия Акакиевича, вспоминается его горестное восклицание «оставьте меня, зачем вы меня обижаете?». «...И в этих проникающих словах звенели другие слова: „Я брат твой“»). *Отмечено Е. А. Майминым.*

[60] *Архимедов рычаг.*— По преданию, древнегреческий математик Архимед, установив закон рычага, сказал: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Выражение употребляется в значении силы, двигающей кем-либо или чем-то и заставляющей сделать что-либо.

[61] *Мыза* (от финск. moisio) — загородный дом, дача с собственным отдельным хозяйством.

[62] *...какой-нибудь Плантагенет или Стюарт.*— Т. е. кто-либо из представителей английской или шотландской династий времен средневековья.

[63] *... что клад зарыт в земле ... изрыли ее всю.*— Распространенный сказочный сюжет, восходящий к басне Эзопа «Земледелец и дети его».

[64] *Английская миля* равняется 1.6 км.

[65] *Настоящий Авраам — после божественного посещения!* — Здесь имя библейского Авраама употреблено в переносном смысле: т. е. пастыря с многочисленной паствой (согласно библейскому преданию, бог приказал Аврааму покинуть Харран и дом свой и направиться в землю, которую он ему укажет. Авраам выполнил волю бога, отправившись в путь со своей семьей и многочисленными рабами; см.: Бытие, гл. 12, 13).

[66] *...вершков четырнадцати...*— Т. е. 2 м 4.5 см (рост человека исчислялся в вершках сверх двух аршин: вершок 4.45 см, аршин — 71.12 см).

[67] *...с нашими войнами на Кавказе.*— Т. е. войнами, связанными с завоеванием Кавказа (происходили с 1817 по 1864 г.) и закончившимися присоединением Кавказа к России.

V. ОТ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ ДО ОСТРОВА ЯВЫ

Впервые напечатано: *Совр.*, 1855, № 10, с. 143—156, с подзаголовком: (Из путевых записок).

[1] *Далее было*: Из прежних писем вы знаете, кого мы звали дедом. Он старше других, но вовсе не стар, и прозван так только потому, что шел четвертый раз вокруг света (*Совр.*, с. 145).

[2] *...в Страстную среду... Остальные дни Страстной недели...*— Страстной именовалась последняя неделя перед праздником пасхи (в память «страстей господних», т. е. страданий Иисуса Христа перед смертью); пасха — весенний праздник у христиан, установленный в память воскресения Христа.

[3] *...по Реомюру...*— Т. е. по спиртовому термометру, названному так по имени его изобретателя Р.-А. Реомюра (1683—1757), французского физика XVIII в. Шкала этого термометра — 80° от точки таяния льда до кипения воды.

[4] *...нашего стиля...*— Т. е. старого стиля (см. примеч. 81 на с. 795).

[5] *...упоминает еще Тунберг.*— Речь идет о четырехтомном сочинении шведского естествоиспытателя Карла Петера Тунберга (1743—1828) «Resa uti Europa, Africa, Asia förrätted åren 1770—1779. Upsala, 1788—1793», в последнем томе которого повествуется о путешествии автора по Анжеру.

[6] *Далее было*: Мы останавливались и озирались кругом; немея от изумления, от восторга, не верили глазам, не верили себе, что мы не во сне и не на сцене видим эту картину, что мы в центре чудес природы. Что шаг, то новый, роскошный и невиданный для северных глаз ландшафт (*Совр.*, с. 150).

[7] *... детскую басню о лгуне...*— Сюжет басни (или сказки) о лгуне (см. выше, примеч. 23 на с. 791) восходит к фольклорным и лубочным источникам.

[8] *...у Зама...*— Т. е. в петербургском зверинце В. Зама, находившемся на углу Большой Морской (ныне ул. Герцена) и наб. реки Мойки, у Кирпичного переулка.

[9] *...от бетеля ... раздражает десны.*— Небольшой лазящий кустарник семейства перечных (Aper betle). А. В. Вышеславцев (о нем см. на с. 787) поясняет эту фразу: «...на лист бетеля кладут кусок *чунáма* (самая лучшая известь), величиною с боб, часть ореха с ореховой пальмы, потом немного табаку и инбиря, и все это завертывают в другой лист бетеля. Эту смесь жуют несколько часов сряду, так что сильно текущая слюна получает красный цвет, а зубы — черный. Рак в щеке — самая обыкновенная болезнь между жующими эту отвратительную жвачку» (*Вышеславцев,* с. 145).

[10] *Баниан* (или баньян) — огромный бенгальский фикус со съедобными плодами и широко раскинутой кроной, не пропускающей дневной свет.

[11] *Долго ли англичане владели Явой и как давно...*— В 1811 г. Англия захватила у Голландии Индонезию, но продержалась там недолго — до 1814 г.

[12] *Areca.*— Пальма арека дает оранжево-красный плод величиною с куриное яйцо, содержащий внутри так называемый арековый или бетелев орех, употребляемый для приготовления бетеля (см. примеч. 9).

VI. СИНГАПУР

Впервые напечатано: *ОЗ,* 1856, № 3, с. 27—58.

[1] *Проа* — узкий челн с одинаковыми носом и кормой и с треугольным парусом из циновки; малайцы употребляют его для прибрежного плавания.

[2] *Указания ... Горсбурга ... этих морей...* — Речь идет о книге Джемса Горсбурга «The India Directory, or Directions for Sailing to and from the East Indies, China, New Holland, Cape of Good Hope, Brazil. London, 1841, vol. I; 1843, vol. II».

[3] *Брама* (или Брахма) — бог-творец, создатель мира; в индуистской религии он — мифическое начало всех творений, мировая душа, верховное божество индуистской троицы (Брахма — Вишну — Шива).

[4] *Далее было*: Однажды бледно-зеленый, как бенгальский огонь, метеор медленно катился по небу, от востока к северу, оставляя за собой огненный штрих. Мы позвали толпившихся на палубе товарищей посмотреть явление, но оно потухло, прежде нежели они успели подойти к борту. «Как жаль, что мы не видали?» — говорили они. «Подождите,— заметил я,— может быть, еще будет». Но они разошлись, а мы с бароном остались. Вдруг быстро прокатился другой метеор, ярче и блистательнее первого. Мы вскрикнули от удовольствия и удивления. Товарищи наши проворно воротились и стали на наше место, а мы ушли. Они прождали до полуночи, но явлений больше не было. Это всегда так бывает: есть какая-то теория противоречии у судьбы, чтоб мучить род людской! (*ОЗ*, с. 28—29; *1858*, с. 410—411).

[5] *...американец Вилькс насчитывает до двадцати одних азиатских племен.*— В 1838—1842 гг. офицер американского флота Чарлз Вилькс (1798—1877) возглавлял научную экспедицию по исследованию ряда островов Тихого океана; он оставил пятитомное описание этого путешествия (Narrative of the United States exploring expedition during the years 1838—1842. Philadelphia, 1845).

[6] *Намаз* — мусульманская молитва, совершалась утром (утренний намаз) и вечером (вечерний намаз).

[7] *Мускус* — сильно пахнущее вещество животного или растительного происхождения в виде зернистой бурой массы с жирным блеском; употребляется в медицине и парфюмерии.

[8] *Баядерка* — индийская танцовщица или певица, участвующая в культовых церемониях (при храмах) или общественных увеселениях.

[9] *...на эспланаде...* — Здесь: эспланада — широкая улица с аллеями посредине (от франц. esplanade).

[10] *Далее было*: Все они часов до 12 утра заняты, потом завтракают и спят, или прячутся до пяти часов, потом едут по эспланаде кататься, а после уже обедают (*ОЗ*, с. 37).

[11] *Парси* — персы.

[12] *...в Елагинском парке.*— Петербургский дворцово-пейзажный парк на Елагином острове (по имени его владельца, обер-гофмейстера двора Екатерины II И. П. Елагина) в описываемое время был летней резиденцией царей — сначала Александра I, потом Николая I. Здесь проходили празднества и карнавалы.

[13] *Дук* (от англ. duck) — грубое полотно, парусина.

[14] *Далее было*: И лучшим оттенком было выражение того, что французы называют candeur. Но в то же время в этой красоте было чересчур много спокойствия, почти гордости, влекущей и вместе отталкивающей недоступностью, что характеризует красоту англичан, особенно англичанок. В английской женщине не видать страсти: это богиня, которая, кажется, может осчастливить смертного, осыпáть его дарами — не по увлечению, не с жаром, без упоения, а стыдливо и покойно, только по сознанию написанной ей на роду обязанности. Так, по крайней мере, смотрит она; да и в самом деле, говорят, она такова. До сих пор лучшие жены и матери семейств, эти богини дома — англичанки. Англичанин три четверти жизни проводит на бирже, в клубе, в парламенте, но он покоен: если он верен чувствами своему домашнему божеству, то оно еще вернее ему (*ОЗ*, с. 41—42; *1858*, с. 432—433).

[15] *Далее было*: Недаром англичане признают всякого джентльмена, по воспитанию и манерам, красавцем, будь он ряб и кос! (*ОЗ*, с. 42).

[16] *...не дым, а лед отечества нам сладок и приятен!* — Перефразировка строки из действия первого комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», представляющей собою цитату

из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа» (1798) «Отечества и дым нам сладок и приятен», восходящей, в свою очередь, к латинской пословице «Dulcis fumus patriae» («Сладок дым отечества»).

[17] *Стен Биль ... автор путешествия...*— Датский адмирал Стен Билль в 1845—1847 гг. в чине капитана совершил кругосветное плавание. В 1853 г. выпустил описание этого путешествия.

[18] *...на... колючих глазетовых постелях...*— Глазет — парча с цветной шелковой основой и гладким золотым или серебряным утком; употреблялась обычно для изготовления церковных одеяний и придворных платьев.

[19] *...никакие Крезы...*— По имени Креза (560—545 до н. э.), царя Лидии, славившегося своим богатством.

[20] *...до геркулесовых столпов...*— Здесь: дойти до предела. Так называются две скалы на противоположных берегах Гибралтарского пролива, которые у древних означали западную границу обитаемого мира. По греческому мифу, Геракл, пройдя всю Европу и Ливию, поставил эти скалы в память своих странствий.

[21] *Эпанча* — широкий и длинный нарядный плащ.

[22] *...хоть Испанию ... в какую дырявую мантию нарядилась она после!* — Речь идет о расцвете Испании в результате открытия Америки и притока золота из нее и о последовавшем экономическом и политическом упадке страны (XVI—XVII вв.).

[23] *Валансьенские кружева* исстари изготовлялись в Валансьенне, городе на севере Франции.

[24] *Далее было:* Здесь вопрос «быть или не быть» на втором плане; на первом «продать или не продать, купить или не купить» (*ОЗ*, с. 47).

[25] *Далее было:* Что старая ветошь против этих страшных сил (*ОЗ*, с. 47).

[26] *Будда* — букв. просветленный (в религии буддизма существо, достигшее состояния высшего совершенства).

[27] *...жуковский табак.*— Название табака по имени В. Г. Жукова (1800—1882), основателя табачной фирмы.

[28] *Еще одно, последнее сказанье...*— Первая строка монолога Пимена (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре») из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1824—1825).

[29] *Нимврод.*— В библейской мифологии имя «сильного зверолова», искусного охотника, внука патриарха Ноя (Бытие, гл. 10, ст. 9).

[30] *Арабески* — сложившийся в арабском искусстве сложный орнамент, основанный на прихотливом сочетании геометрических и стилизованных растительных мотивов; может включать в себя и надпись.

[31] *...индийской пери...*— В персидской и восточной мифологии пери — доброе, волшебное существо в образе прекрасной крылатой женщины. В русскую культуру это понятие вошло благодаря В. А. Жуковскому, переведшему в 1821 г. поэму Т. Мура «Лалла Рук» (под названием «Пери и ангел»). Спустя несколько лет Жуковский написал стихотворение «Пери».

[32] *Сакунтала* — имя верной жены в одноименной древнеиндийской драме поэта Калидасы (IV—V в.; см. также с. 654, 836)

VII. ГОН-КОНГ

Впервые напечатано в отдельном издании 1858 г.

[1] *...по нанкинскому трактату...*— Первая Опиумная война Англии с Китаем (1840—1842) закончилась поражением Китая и подписанием в 1842 г. Нанкинского договора, по которому англичанам был отдан Гонконг, а также открыты для торговли пять портов (Кантон, Шанхай, Амой, Фучжоу, Нинбо). Кроме того, Китай обязался выплатить контрибуцию в 21 млн. долларов.

[2] *Ноги ... изуродованы.*— Китаянкам с детства бинтовали ступни ног с целью задержать их рост и придать ступням различную форму. «В искалеченной ступне четыре малых пальца подгибаются компрессом, а большой палец растет, образуя с атрофируемыми следами пальцев как бы треугольник. От этого носок получается острый...» (в кн.: *Пу Сун-лин.* Рассказы Ляо Чжая о чудесах/В пер. с китайского В. М. Алексеева. М., 1973, с. 539).

[3] *...в ...римском училище пропаганды.*— Речь идет о высшем духовном учебном заведении «Collegium urbanum pontificum de propaganda fide», основанном в 1627 г.

VIII. ОСТРОВА БОНИН-СИМА

Впервые напечатано: *Совр.*, 1856, № 2, с. 141—157 с подзаголовком: (с 26 июня по 4 августа 1853 г.).

[1] *...завоет, как зверь...*— Очередная пушкинская реминисценция (ср. стихотворение «Зимний вечер», 1825).
[2] *Алькад* — распространенная в России форма передачи испанского слова alcalde (алькальд), судья, представитель местной администрации или судебной власти.
[3] *Хлябь* — бездна; водные глубины.
[4] *Далее было*: В самом деле, только камнями и можно удержать эти волны: они с ревом бросаются на каменья, ударятся об один, отскочат в другой и рассыпаются на последнем, пустив вверх столб пены и водяной, чистой как снег, пыли. Один утес при входе отстал и стоит одиноко: подле него еще камень (*Совр.*, с. 149).
[5] *...здесь были: Бичи ... капитан Литке и, кажется, недавно Вонлярлярский...*— Английский мореплаватель Фр. У. Бичи (1796—1856) был на островах Бонин в 1827 г.; русский мореплаватель и географ Федор Петрович Литке (1797—1882) в 1828 г. совершил кругосветное путешествие, во время которого тоже заходил на Бонин (написал книгу «Путешествие вокруг света на военном шлюпе „Сенявин" в 1828—1829 гг.»); в 1843—1845 гг. русский мореплаватель Иван Васильевич Вонлярлярский возглавлял кругосветное путешествие на транспорте «Иртыш» и также побывал на этих островах.
[6] *Ям* (ямс, иньям) — многолетнее травянистое вьющееся растение с съедобными клубнями, богатыми крахмалом.
[7] *Далее было*: Они сказали, что оба были больны сильным кашлем, который, незадолго до нашего прихода, сделался у них после какого-то сильного ветра, и они чуть от этого не умерли оба (*Совр.*, с. 152).
[8] *Бичи пишет...*— Речь идет о книге: Narrative of a voyage to the Pacific and Beerig's strait performed in the years 1825—1828. London, 1831.
[9] *Далее было*: Раздавались шум буруна, клики матросов по лугу да пение из палатки, то мотива из оперы, то цыганской песни. Красный отблеск огня на вершинах дерев, движущиеся силуэты людей, котлы, дым, а на небе яркие звезды,— все это достойно было кисти Сальватора Розы (*Совр.*, с. 156; *1858*, с. 499).

ТОМ ВТОРОЙ

I. РУССКИЕ В ЯПОНИИ

в конце 1853 и в начале 1854 годов

Впервые напечатано: *М. сб.*, 1855, т. XVIII, № 9, отд. I, с. 14—84; отд. II, с. 127—162.

[1] *...другим трем...*— «Палладу» сопровождали шхуна «Восток», корвет «Оливуца» и транспорт «Князь Меншиков».
[2] *...у Кемпфера говорится...»* — Имеется в виду сочинение немецкого врача и путешественника Энгельберга Кемпфера (1651—1716) «History of Japan. London, 1727» (широкой известностью пользовалось немецкое издание этой книги, вышедшее в 1777—1779 гг.) и «Путешествие от Нагасаки до Эдо» (Lemao, 1777—1779). В 1690—1692 гг. Кемпфер жил в Японии.
[3] *...было в прежние времена.*— Речь идет о так называемом харакири. Обычай не ограничивался эпохой феодализма, но существовал и в более позднее время. Ф. Зибольд (о нем см. примеч: 12) так описывает этот обычай: «...мальчиков обучают <...> великой

тайне *гара-кири*, или искусству распарывать себе брюхо; честному японцу часто случается прибегать к этому роду смерти. Их учат порядочно совершать эту операцию, с надлежащею для этого случая церемониею, и объясняют им разные причины, по которым такого рода самоубийство бывает необходимо благовоспитанному человеку» (*Зибольд*, с. 11; см. также с. 44, 56).

[4] *Сиогун* (сёгун) — так именовался крупнейший из японских феодалов, фактически управлявший страной (до буржуазной революции 1868 г.).

[5] *...семидесяти толковников.*— Греческий перевод Ветхого завета был назван «переводом LXX толковников» или «Septuaginta — перевод LXX». Название это пошло от предания, согласно которому царь Птоломей Филадельф попросил иерусалимского первосвященника прислать ему экземпляр еврейских священных книг и людей, которые перевели бы эти книги на греческий язык. Первосвященник послал и экземпляр и 72 переводчика, изготовивших перевод. В названии его число 72 было округлено до 70 (по числу членов синедриона).

[6] *...жизни или «мышьей беготни»...*— Слова из стихотворения А. С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» (1830).

[7] *...гимн «Коль славен наш господь в Сионе...»*— Первая строка христианского гимна, приписывающегося миланскому епископу Амвросию.

[8] *Эта система взаимного шпионства немного похожа на иезуитскую.*— Шпионаж друг за другом, доносы, лицемерная казуистика и вообще всякое сознательное нарушение нравственных норм (по принципу: цель оправдывает средства) были характерны для католического ордена иезуитов (он был основан в 1534 г. испанским монахом Игнатием Лойолой (1491—1556) с кучкой единомышленников; в Китай иезуиты проникли с 1549 г.).

[9] *...вспомнив, какими вопросами осыпали японцы с утра до вечера нашего знаменитого пленника, Головнина... глупы.*— В книге «Записки флота капитана Головнина о приключениях его у японцев в 1811, 1812, 1813 годах» (СПб., 1816) неоднократно приводятся примеры бессмысленных и бесконечных вопросов, вынуждавших русских придумывать искусные ответы, на которые, в свою очередь, нельзя было бы задать следующего вопроса. В качестве характерного примера сошлемся на эпизод с Владимирской лентой. Пленники определили ее просто как полосатую. «Если бы сказать им истинное значение сего наименования,— пишет В. М. Головнин,— то они стали бы нас пять или шесть часов мучить вопросами; надлежало бы сказать, кто учредил орден сей, на какой конец, кто был *Владимир*, когда царствовал, чем прославился, почему ордену дано его имя, есть ли какие другие ордена в *России*, какие их преимущества и т. п., словом, надобно было бы объяснять им все наши орденские статуты...» (цит. по изданию 1894 г., с. 71. См. также с. 47, 62—63, 89, 90 и др.).

[10] *...потерпевших кораблекрушение ... не пускали назад, в Японию.*— Об этом упоминается и в названной выше книге Головнина (см. с. 60, 61).

[11] *...«Grâce, grâce» из «Роберта».*— Начальные слова арии Роберта из оперы Дж. Мейербера «Роберт-дьявол»)1830).

[12] *...в книге Зибольда...*— Речь идет о сочинении немецкого натуралиста врача Филиппа Зибольда (1796—1866) (на голландском языке) «Nippon. Archief voor de beschrijving van Japan. Leiden, 1834—1841», переведенном В. М. Строевым на русский язык под названием: Путешествие по Японии, или описание Японской империи в физическом, географическом и историческом отношении Ф. Зибольда, дополненное сведениями и известиями из Кемпфера, Фишера, Дёфа, Шарльвуа, графа Гогендорна, Крузенштерна, Тунберга, Титсинга, Варениуса и др.— «Библиотека путешествий» А. А. Плюшара. СПб., 1854, т. 1—3. Зибольд долгое время жил в Японии и консультировал экспедицию Путятина перед отправкой в эту страну.

[13] *...вавилонского столпотворения!* — Выражение родилось из библейского мифа о попытке построить в Вавилоне башню до неба: разгневанный столь дерзкой попыткой бог смешал языки строителей, и они не смогли продолжать начатую работу.

[14] *...религия Синто...*— возникла из древнего культа одухотворения природы и обожествления умерших предков. Синто в переводе с японского означает «путь (учение) богов». По синтоистическому учению, человек ведет свое происхождение от одного из богов (ками); душа умершего при определенных обстоятельствах может стать таким ками.

[15] *Буддизм.*— В период расцвета японского феодализма (X—XVI. вв.) буддизм преобладал в религиозной жизни страны; он был ее официальной религией. Вот что пишет

А. В. Вышеславцев: «Вторая религия — *буддизм*, распространившаяся из Цейлона, через Корею, в 543 году. Буддизм в Японии имеет восемь главных сект, и бонзы их наводняют всю страну. В настоящее время буддизм до такой степени смешался с религией синто, что храмы одних служат часто капищами для сектаторов другой религии, и часто, в одном и том же храме, рядом с изображением древних *ками*, стоят буддийские идолы» (*Вышеславцев*, с. 319—320).

[16] *...с упрямством Галилея, буду утверждать...*— Итальянский ученый Галилео Галилей (1564—1642), подвергнутый суду инквизиции за активную защиту гелиоцентрической системы мира, был вынужден отречься от учения Н. Коперника и провел конец жизни в ссылке. Сохранилась легенда, рассказывающая, что после того, как Галилей, стоя на коленях и положа руку на Евангелие, отрекся перед особой чрезвычайной комиссией от «ереси» Коперника, он встал и произнес: «E pur si muove» ⟨А все-таки она движется» (*итал.*)⟩.

[17] *... на одну старую книжку... и Івана Горліцкого.*— Гончаров говорит о книге: «Описание о Японе, содержащее в себе три части, то есть: известие о Японе и о вине гонения на христиан, историю о гонении на христиан в Японе и последование странствования Генрика Гагенара, которое исправною ландкартою и изрядными фигурами украшено». СПб., 1734; третья часть книги имеет отдельное заглавие: «Исследование странствования Генрика Гагенара в восточную Индию. Сочиненное чрез Франциска Карона. Первая часть переведена Степаном Коровиным Синбирениным, остальные Иваном Горлицким».

[18] *...вероятно, современница Телемахиды!* — Под таким названием в 1766 г. В. К. Тредиаковский опубликовал стихотворный перевод (русским гекзаметром) романа Ф. Фенелона «Похождения Телемака» («Les aventures de Telémaque», 1699; первый русский перевод в 1747 г.). Гончаров иронизирует по поводу перевода, сделанного в характерной для поэта архаической манере, что затрудняло его понимание. При дворе Екатерины II этот перевод заставляли читать вслух в качестве наказания.

[19] *Фарсёр* — человек, склонный к грубым шуткам, шутовским проделкам (от франц. farce — шутовская выходка, грубая шутка).

[20] *Камчадалы.*— Так в XVIII в. называли коренное население Камчатки — ительменов, позднее — их потомков, коряков и чуванцев, слившихся с русскими (см.: *Крашенинников С. П.* Описание земли Камчатки. СПб., 1751).

[21] *Вместо*: на берег ... как скорлупки.— *было*: ... на берег, рвались выше скалы, и обессиленные, скачками падали назад, затопляя на мгновение хижины, батареи, плетни и палисады. Японские лодки, притаясь под берегом, качались как скорлупки. Слабость спасала их от конечного разрушения (*М. сб.*, с. 35).

[22] *Далее было*: Мы смотрели на нее в телескоп, на Венеру и на Юпитера тоже. Осип Антонович говорит, что у Венеры слева фазис, а я утверждал, что справа: кто прав, кто виноват? А кажется, нетрудно решить. Я думаю, я прав, потому что Осип Антонович — левша (*1858*, с. 43).

[23] *Сибилла* (или сивилла).— Так народы античного мира называли женщин-пророчиц, принадлежавших разным временам и народам.

[24] *...посланника Резанова... меньше свиты.*— Государственный деятель Николай Петрович Резанов (1764—1807) был инициатором первой русской кругосветной экспедиции. 3 октября 1804 г. он прибыл в Нагасаки в качестве полномочного посланника. Переговоры его с представителями японского правительства закончились неудачей: русским кораблям запрещалось посещать Японию. Резанову был отведен небольшой участок берега, где он жил несколько месяцев почти на положении пленника.

[25] *Прожил ли один час из тысячи одной ночи...*— «Тысяча и одна ночь» — сборник средневековых арабских сказок (впервые на русском языке — с французского перевода — опубликован в Москве в 1763—1774 гг.).

[26] *...у Излера...*— Имеется в виду популярный загородный сад «Минеральные воды» (в Новой деревне), владельцем которого был Иван Иванович Излер (1811—1877), «забавник и любимец петербургской публики» (см.: Петербургский листок, 1865, 1 июня, № 79, Городской дневник); здесь устраивались праздничные гулянья, сопровождавшиеся хитроумными затеями, снискавшими Излеру славу чародея.

[27] *Вы там в Европе хлопочете ... быть или не быть...*— Слова из монолога Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос» (У. Шекспир, «Гамлет», акт III, сцена 1) употреблены здесь в связи с событиями Крымской кампании.

[28] *...как угощали друг друга Журавль и Лисица...*— Сюжет этой широко известной сказки восходит к басне Федра (I в. н. э.).

[29] *Горочью* — наименование верховного совета при сиогуне (см. примеч. 4 на с. 808).

[30] *Массака.*— Темно-красный цвет с синим оттенком.

[31] *...как говорит, кажется, Тунберг?* — К. П. Тунберг является автором четырехтомного описания путешествий (см. примеч. 5 на с. 804) «Resa uti Europa, Africa, Asia förratted åren 1770—1779». Upsala, 1788—1793; он же составил «Флору Японии» («Flora Japonica» Leipzig, 1784).

[32] *...тьмы людей.*— См. примеч. 71 на с. 794.

[33] *Далее было*: Я смотрел, как на волшебное представление, на все это шествие, и жалел, что я участник, а не зритель: что не любуюсь на это откуда-нибудь, с выгодного пункта. Взошли на лестницу, там другая площадка: завешенные домы, около них люди, вроде стражи, с длинными жердями, как у старика с злым лицом. Видно, это полиция (*1858*, с. 61).

[34] *...голландского короля...*— Т. е. Вильгельма I, короля Нидерландов в 1813—1840 гг.

[35] *...открытие пяти портов...*— См. примеч. 1 на с. 806.

[36] *...пускать или не пускать... быть или не быть.*— Гончаров возвращается к гамлетовскому вопросу «быть или не быть» (см. примеч. 27).

[37] *Талер.*— Старинная немецкая серебряная монета достоинством в 3 марки.

[38] *Тут хитрые... американцы...*— Речь идет об экспедиции коммодора Перри (см. примеч. 13 на с. 798).

[39] *...мой ученый источник...*— См. примеч. 17 на с. 809.

[40] *...в приезд Резанова...*— См. примеч. 24 на с. 809.

[41] *Далее было*: Они храбрятся, пытаются отвечать твердо, но голос дрожит, в нем слышатся мольбы о пощаде (*М. сб.*, с. 57).

[42] *...толпа миссионеров.... когда настанет пора восстановить дерзко поверженный крест...*— Расцвет христианства в Японии (в основном среди крестьянства) относился к XV в.: к концу века в стране насчитывалось около двухсот тысяч христиан. Эдиктом 25 июля 1587 г. христианство и его проповедь были запрещены, а миссионерам предложили покинуть страну в течение двадцати дней; указ 1597 г. подтвердил этот эдикт, и началось массовое разрушение церквей, высылка христианских проповедников из Японии и их аресты, пытки и казни. Эта политика продолжалась и позднее: в 1614 г. был издан указ о полном и безоговорочном запрещении христианства; в 1612, 1613 и 1618 гг. были изданы указы, а в 1633, 1636 и 1639 гг. последовали 1-й, 2-й и 3-й указы о «закрытии» страны.

[43] *Далее было*: Трудно было нагнуться со стула к жаровне, стоявшей на полу: я хотел взять уголь рукой, но роль Сцеволы оказалась не по мне, и я уронил уголь на циновку; надо было проворно поднять его, чтоб не испортить циновки, и положить в жаровню, потом дуть на пальцы. Я проклял журавлиное угощение (*1858*, 76).

[44] *Далее было*: Иначе и быть не может: они ни с кем не знакомы, следовательно, не знают, что и как делается у других; никого не любят, следовательно, не имеют друзей, и во всех подозревают врагов. Оно досадно, это правда; но можно ли и должно ли безусловно винить японцев в этом отчуждении от всех, в ребяческой боязни при виде нового и неизвестного? (*1858*, 80).

[45] *Португальские миссионеры привезли им религию...*— В португальской колониальной экспансии, начавшейся в 1415 г. и активно продолжавшейся в последующие годы (в Японию португальцы проникли в 1542 г., в Китай — в 1516—1520 гг.), огромную роль играла католическая церковь.

[46] *Варфоломеевские ночи.*— Название пошло от массового истребления гугенотов католиками, начавшегося в Париже в ночь под праздник св. Варфоломея 24 августа 1572 г. Екатерина Медичи приурочила резню к свадьбе Генриха Наваррского, на которую съехалось множество знатных гугенотов,

[47] *Восковой кабинет.*— Так называли петербургский «Кабинет восковых фигур» Шульца, помещавшийся на углу Невского проспекта и Владимирской улицы; существовало следующее печатное описание его — путеводитель: Сокращенное описание галереи художеств, составленное в таком порядке, в каком расположены предметы. СПб., 1841.

[48] *Далее было*: Ночью ко мне в каюту заглянули две головы, Б<олтин> и Л<осев>, оба наперерыв спешили сказать, что наша дозорная шлюпка встретила японскую лодку чересчур близко к фрегату и отбуксировала ее дальше, и как внезапно проснувшийся в ней

японец, увидев наших, с испуга закричал. Бедный Л<осев>, кажется, испугался еще больше японца, а я прибавил ему страху, сказав: «Вот завтра будет вам за это» (*1858*, с. 90).

[49] *Далее было*: Видно, появление четырех вооруженных судов в одном месте, да стольких же в другом, озадачило их и сбавило спеси (*М. сб.*, 76).

[50] *«Тяжба»* — сцена из неоконченной комедии Н. В. Гоголя «Владимир третьей степени». Она ставилась на театре еще при жизни Гоголя; в ней любил играть М. С. Щепкин.

[51] *Айвазовский* Иван Константинович (1817—1900), русский живописец-маринист.

[52] *...morgen, morgen, nur nicht heute...*— См. примеч. 17 на с. 796.

[53] *...накануне Покрова.*— Т. е. накануне праздника Покрова пресвятой Богородицы, приходившегося на 1 октября.

[54] *Повестка* — предупредительный сигнал.

[55] *Каин* и *Авель.*— По библейскому преданию, сыновья Адама и Евы.

[56] *Пенное* (или пенник) — крепкое хлебное пиво.

[57] *Ренское* (рейнское вино, рейнвейн) — сорт виноградного вина (названо так по наименованию реки Рейн в Германии).

[58] *Назимов* Николай Николаевич (1822—1867), командир корвета «Оливуца», присоединившегося к экспедиции Путятина на островах Бонин; впоследствии контр-адмирал.

[59] *Кн. Физенский.*— Это, очевидно, то же лицо, которое у Зибольда названо «князем Фиценом» (*Зибольд*, с. 42—43).

[60] *...новых сирен...*— В греческой мифологии сирены — полуптицы-полуженщины, своим волшебным пением завлекали мореходов в опасные, гибельные места.

[61] *Далее было*: Ах, если б кто мог заглянуть в наш маленький плавучий мир и посмотреть, что в нем делается: то же в миниатюре, что и в большом... В бурях особенно недостатка нет. Вот третьего дня заревела опять такая же, как 2-го сентября, то есть почти такая. Ветер был так силен, что когда я отворял дверь в своей каюте, меня толкало с нею назад. Гул и рев ужасный; даже читать мешал, а я было собрался спать, но куда! Выйти тоже нельзя: дождь лил потоками — и я не видал моря. На палубе шум, беготня, все это рядом с моей каютой; пойти в кают-компанию, тем более что уже 5 часов: там, вероятно, встали и скоро чай подадут. Я было вниз, а тут *свистят всех наверх*: *стеньги и нижние реи спускать*. Не шутка! В кают-компании ни души: только кот Васька дремлет на лавке. Янцен дал чаю, через четверть часа офицеры воротились, измокшие (*М. сб.*, с. 84).

[62] *Далее было*: ...он даже напоминает немного фигуру Байрона: я уверен, что он влюбчив и сочиняет стихи. Его и косичка не безобразит; в нем мало японского. Он, по обыкновению, был задумчив; Кичибе один не смущался, толстый, или толстой, как говорит Фаддеев, с густым колоритом лица, суетливый в движениях, хлопотун наружно, но внутренно равнодушный ко всему на свете (*М. сб.*, с. 85; *1858*, с. 105).

[63] *Эпоха.*— Здесь: срок, рубеж.

[64] *...ящик с музыкой ... движение вала.*— Очевидно, на «Палладе» был один из видов механических музыкальных инструментов (типа более поздней шарманки), действовавший посредством вала со штифтами и работавший с помощью бумажной (или картонной) ленты или металлического диска с перфорацией. Штифты и перфорации, размещенные в определенной последовательности, и представляли собой механическую «запись» музыки. Вал же приводился в движение или ручкой, или при помощи часового механизма.

[65] *Иллюстрация* — Здесь: иллюстрированное издание.

[66] *...с Паппенберга некогда бросали католических, папских монахов...*— Русские моряки неслучайно называли эту гору Поповой, или Поповской: по преданию, с нее в конце XVI в., после издания закона о запрещении миссионерской деятельности, японцы сбрасывали католических монахов.

[67] *Далее было*: Больше нечего писать. Вы конечно не ожидали от меня описаний неслыханных чудес; где их взять?.. (*М. сб.*, с. 100).

[68] *Зер спудиг* — очень скоро (от гол. zeer spóedig).

[69] *бухту Кибач ... занимал ... Резанов.*— См. примеч. 24 на с. 809.

[70] *Пещуров* Алексей Алексеевич, гардемарин; в декабре 1854 г. был произведен в мичманы во время стоянки «Паллады» у Седельных островов; впоследствии вице-адмирал.

II. ШАНХАЙ

Впервые напечатано: *М. сб.,* 1855, т. XVIII, № 10, отд. I, с. 299—327, отд. II, с. 417—453, под заглавием: Статья II. От Нагасаки до Шанхая.

[1] *Фуругельм* Иван Васильевич (Юган Халтусович), с 1853 г. командир транспорта «Князь Меншиков», присоединившегося к Путятину в порту Ллойд; впоследствии контр-адмирал.

[2] ... *теньеровские картины...*— Фламандский живописец Теньер Давид Младший (1610—1690) изображал преимущественно бытовые сценки, пирушки, свадьбы.

[3] *А у китайцев суматоха... вокруг...*— Имеется в виду движение китайских крестьян и городской бедноты (тайпинов) (1848—1864) против политики правившей страной маньчжурской династии. Тайпины уничтожали маньчжуров, конфисковывали имущество богачей. Особое недовольство тайпинов вызывала внешняя политика правительства, открывшего англичанам несколько портов, что привело к широкому ввозу опиума в Китай (отсюда название движения «опиумные войны»). Гнев их был направлен также против буддизма и католицизма. *Инсургенты* — повстанцы, участники восстания (от лат. insurgentis).

[4] *Далее было:* Пришел капитан и увел меня, часу в шестом, пить чай (*М. сб.,* с. 113).

[5] *...à propos des bottes.*— Французская поговорка (в буквальном переводе означает: «по поводу сапог»).

[6] *...в России готовятся к войне с Турцией.*— Речь идет о предстоящей Крымской войне 1853—1856 гг.

[7] *Кроун* Александр Егорович, лейтенант, плавал на «Палладе» с 1839 г.; в 1852—1853 гг. на корвете «Оливуца» перешел из Кронштадта в Петропавловск; был отправлен Путятиным из Шанхая в Петербург курьером; впоследствии вице-адмирал.

[8] *Белавенец* Иван Петрович (ум. 1878), лейтенант; на «Палладе» занимался астрономическими и магнитными наблюдениями; отправился в Петербург вместе с Гончаровым; впоследствии капитан 1-го ранга.

[9] *...островок Гуцлав, названный так в честь ... Гуцлава.*— Гуцлав (Гюцлав) Карл (1803—1851) — с 1831 г. немецкий миссионер в Китае. В период первой опиумной войны проводил активную агитацию в пользу Англии, и англичане присвоили его имя островку у р. Янцзы.

[10] *Далее было*: Картина известная: от торта пахнет жареной телятиной, от чаю сыром, сахар соленый, все это и у нас было, не исключая и толстой синей бумаги, в которую завертывают пироги и жаркое (*М. сб.,* с. 118).

[11] *...по простоте своей, был достоин троянской эпохи.*— Т. е. эпохи троянской войны, изображенной в «Илиаде» Гомера (пиршества богов и героев отличались обилием и простотой яств).

[12] *...при огненном столпе израильтян...*— Имеется в виду библейское сказание о боге Иегове, говорившем с пророком Моисеем из горящего тернового куста у горы Хорив (см.: Исход, гл. 3, ст. 1—22; гл. 4, ст. 1—17).

[13] *Далее было*: Как странно на берегу с непривычки! Я отвык ходить и насилу плелся за своими спутниками: ноги расползались врозь по мокрой глине. Мы шли по улице, вдоль длинных каменных заборов. Пока еще ни Европы, ни Китая не видать. И в комнате первые минуты было немного дико. Я так привык к морю и кораблю, что боялся, не будет ли уж берег вреден мне, не нажить бы какой-нибудь береговой болезни (*1858,* с. 157).

[14] *Далее было*: Камины дымят, двери из сеней и по коридорам все отворены настежь. Видно, что зима здесь так, ошибка, случай (*М. сб.,* с. 127).

[15] *Эти чаи называются здесь пекое* (*Pekoe flower*).— Гончаров несколько неточен, называя рядом пекое и Pekoe flower: это разные сорта чая. По английскому способу изготовления чаев выделяется несколько частей растения: Flovery pekoe, т. е. верхушечная почка, Orange pekoe — это следующий за нею недоразвившийся лист. Вместе с почкой этот лист дает сорт так называемого Pekoe tipl или Procken pekoe; второй лист дает Pekoe и т. д.

[16] *...отец Иоакинф тоже говорит о ... подмеси...*— Имеется в виду сочинение синолога Никиты Яковлевича Бичурина (мирское имя о. Иоакинфа, 1771—1853) «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение» (1840).

[17] *Бергамот.*— Так называется дерево из рода цитрусовых. Корка его плодов дает ценное эфирное масло, применяемое в основном в парфюмерии.

[18] *...парси, или фарси...*— Здесь Гончаров неточен: фарси — это язык персов (именуемых парси).

[19] *...чернорабочий... около вовсе «нелилейного чела».*— Ироническое сопоставление со строкой «Вокруг лилейного чела Ты дважды косу обвила» из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1829).

[20] *Далее было*: Я думал, авось его нет дома и я отделаюсь карточкой, но (*М. сб.*, с. 135).

[21] *...черная похлебка, едва ли лучше спартанской...*— «Ежедневное блюдо (воинов спартанцев,— *Ред.*) составлял известный черный кровяной суп из свиного мяса, варенного в крови, с уксусом и солью» (см.: *Штолль Г. В.* Герои Греции в войне и мире. История Греции в биографиях. СПб., 1868, с. 15).

[22] *Пачули.*— Эти духи, изготовляемые из эфирного масла одноименного растения, обладали сильным, резким запахом.

[23] *Четыре разбойника.*— Сильно пахнущие духи.

[24] *Кунжутное* масло.— Масло из семян одноименного растения, употребляемое на Востоке в пищу, а также в мыловаренном, шерстяном, кондитерском и парфюмерном производствах.

[25] *...называемого жировиком.*— По определению Даля, «жировик или жирник 〈ничек〉, камень жировик, белесоватый, зеленоватый, жирный на вид и на ощупь, из которого китайцы работают разные вещицы» (*Даль*, т. 1, с. 543).

[26] *Карл IV* (1748—1808), испанский король в 1788—1808 гг.

[27] *Фердинанд VII* (1784—1833), испанский король в 1814—1833 гг.

[28] *Пристенок.*— Так называлсь игра в бабки или деньги, которые бросались в стену; выигрывал тот, чья бабка или монета, отскочив, ложилась ближе к чужой.

[29] *...лагерь империалистов...*— Речь идет о войсках сторонников маньчжурской династии.

[30] *...заперлись себе в крепости ... знать ничего не хотят.*— Речь идет о тайпинском восстании — крупнейшем крестьянском движении в Китае, к которому примкнули также городские низы. Оно вспыхнуло в конце 1848 г. в г. Гуанси и стало быстро распространяться. В 1853 г. повстанцы овладели гг. Ханькоу, Нанкином, Шанхаем и подошли к Пекину. Восставшие уничтожали маньчжуров, конфисковывали имущество богачей, отбирали помещичьи земли.

[31] *Далее было*: Где бы, кажется, и пить чай, как не здесь? Да разве этот черный горький настой похож на тот тонкий, ароматический напиток, который пьет вся Русь, начиная от ямщика до избалованного барина? (*М. сб.*, с. 148—149).

[32] *Далее было*: Мы требовали себе ужин часов в десять. «Вот говорят про нас,— сказал один англичанин другому, заглянув в столовую,— что мы поздно обедаем, а русские обедают еще позже». «Yes»,— сказал тот, поглядев на нас равнодушно (*М. сб.*, с. 149; *1858*, с. 185).

[33] *Шлафор-сюртук* — домашний халат в виде сюртука.

[34] *Далее было*: потому что за провоз контрабанды виновный подвергается строгому взысканию и судно его конфискуется (*М. сб.*, с. 156).

[35] *...еще до китайской войны...*— Имеется в виду так называемая первая опиумная война, которая была вызвана запрещением ввоза английского опиума из Ост-Индии в Китай (о ней см. примеч. 1 на с. 806). Со времени поражения Китая правившая страной маньчжурская династия утратила свой престиж и в стране начались волнения (см. примеч. 3 на с. 812).

[36] *Тайпин-Ван.*— Так Гончаров называет основателя секты тайпинов (тайпин — великое благоденствие) Хун Сюцианя. В основу его религиозно-мистического учения легло христианство. Тайпины боролись с буддизмом, католицизмом. Столицей организованного ими государства был г. Нанкин, а Хун Сюциань стал императором.

[37] *...пробравшимися с востока несторианами...*— Несторианство — религиозно-политическое течение в Византии в V в., названное по имени его основателя, константинопольского епископа Нестория (ум. ок. 451 г.). Несториане считали Христа человеком (а не богочеловеком). После Эфесского собора 431 г., объявившего несторианство ересью, несториане расселились в основном в Иране и Средней Азии, затем часть их переселилась в Китай.

[38] *Учение Конфуция — не религия ... практическая философия...*— Конфуцианство было основным идейным течением древнего и средневекового Китая. Основы его были заложены в VI в. до н. э. Конфуцием. Одним из важнейших принципов этого учения было нравственное самоусовершенствование и соблюдение норм общественного поведения и обычаев. До начала XX в. конфуцианство являлось официальной государственной идеологией.

[39] *...Новый завет...*— Название христианской части Библии (составленной якобы учениками Христа и их последователями и признаваемое только христианской церковью) в отличие от Ветхого завета (это название христианские богословы дали бóльшей, дохристианской части Библии. Тем самым признавался «священный» характер Ветхого завета, но подчеркивалось, что его законы утратили уже свою силу).

[40] *Наши синологи...*— Синологами (специалистами по Китаю) на «Палладе» были О. А. Гошкевич и Д. С. Честной (о. Аввакум).

[41] *...русскую, пятишаровую партию...*— В игре на биллиарде в России различались пятишаровая партия, или русская, трехшаровая, или берлинская, пирамида (из 15 шаров) и карамбольная партия, или французская, которую играли на биллиарде без луз (отверстий).

[42] *Далее было*: Он уверял, что они очень хороши. Рожки были тоже водяной плод. Мы взяли с собой несколько и попробовали: недурно, похожи вкусом на наши молодые орехи (*1858*, 206).

[43] *Книга была — Конфуций.*— Очевидно, это была книга «Лунь юй» («Беседы и суждения»), составленная последователями философа и представляющая собою запись его бесед с учениками.

[44] *...получены были ... известия о близком разрыве с западными державами.*— 23 декабря 1853 г. (4 января 1854 г.) англо-французский флот вышел в Черное море. 9 (21) февраля 1854 г. Россия объявила войну Англии и Франции.

III. РУССКИЕ В ЯПОНИИ

Впервые напечатано: *М. сб.*, 1855, т. XIX, № 11, с. 63—128 под заглавием: «Статья III и последняя».

[1] *Элиотроп* — то же, что гелиотроп (см. примеч. 19 на с. 796).

[2] *Саки* (саке) — ароматный рисовый напиток светло-желтого цвета, содержащий 15% алкоголя.

[3] *Далее было*: Слышите, mesdames? Ах, варвар! (*М. сб.*, с. 176).

[4] *Далее было*: рассеянные кое-где острова, от рефракции, кажутся совсем отделившимися от горизонта воды и повешенными в небе. Ночью чуть ли не лучше, не красивее. Звезды здесь кажутся непомерно велики. В безлунную ночь светло: они так и пронзают воздух холодными своими лучами, как стальными спицами. Венера бессовестно сияет; ядро ее видно простым глазом. Оно кажется с маленькое яблоко.— «Каррикатура южных зим», говорит Пушкин про наше северное лето: «правда»,— думал я, расхаживая в девять часов вечера по палубе в летнем шерстяном пальто. В Петербурге этого и в июле не сделаешь (*М. сб.*, с. 178; *1858*, с. 221—222).

[5] *Далее было*: Если трудно, как говорят, хитрить с женщиной, то с японцами просто невозможно. Там, после нескольких примеров, наблюдательный человек приобретает данные и действует по ним уже безошибочно; а к этим полудиким и полупросвещенным нравам нет ключа. Не знаешь, как и куда примет направление мысль японца; что кроется в его словах. У него другие убеждения, следовательно, другой силлогизм и софизм, нежели у нас, другая философия и нравственность. Так же трудно действовать с ними, как трудно заговорить на их языке, не имея грамматики и лексикона (*М. сб.*, с. 179; *1858*, с. 222—223).

[6] *Далее было*: По прибытии нашем они действовали по старой методе, не смея изменить ее, хотя конечно видели сами, что настали другие времена (*М. сб.*, с. 180).

[7] *...русского стиля...*— См. примеч. 81 на с. 795.

[8] *Далее было*: «Вот место, которое нам отводят губернаторы,— сказал капитан Фуругельм, ездивший с К. Н. Посьетом смотреть место» (*М. сб.*, с. 187).

[9] *Далее было*: Я стал рассматривать каждое лицо отдельно и должен был сознаться, что картинки, на которых рисуют отдаленных народов, еще не вполне передают действительность. Нарисуй я эти четыре стоящие перед нами фигуры — и вы не поверите мне (*М. сб.*, с. 189; *1858*, с. 235).

[10] *...вроде моар...*— Т. е. муар, рубчатая шелковая ткань, отливающая на свету.

[11] *Деревянное масло* — низший сорт оливкового масла, негодный в пищу.

[12] *Далее было*: В этом у нас с ними оказалась резкая разница в понятиях о приличии. Мы душим междометия в груди, с опасностью задохнуться, а они не скрывают, что хорошо покушали. Мне как-то не верилось, когда я читал об этом у Тунберга, но теперь же нисколько не сомневаюсь (*М. сб.*, с. 201; *1858*, с. 250).

[13] *«Кисел виноград...»* — Неточная цитата из басни «Лисица и виноград» (1808). У Крылова:

На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой...

Гончаров как бы напоминает читателю другие слова басни: «Хоть видит око, Да зуб неймет».

[14] *Далее было*: Пока тот говорит, он едва поднимет голову от земли, а когда перестанет говорить, он опять поклонится. Наши переводчики постоянно сохраняли это положение во время разговора полномочных (*М. сб.*, 206).

[15] *...едва ли в Лионе делают материи лучше...*— Этот французский город занимал тогда первое место в мире по производству шелковых материй.

[16] *Далее было*: Но мне, еще больше этой, нравится другая крупная рыба, бониты. Я видел ее только в тропиках, как она там гонится за летучей рыбой. Последняя, как стая воробьев, вдруг поднимется и, пролетев сажен пять, падает, обессиленная, в воду, в жертву врагу, которого она обманула, но ненадолго. В прозрачной воде бонит блещет, как яхонт, фиолетовой спиной; но для меня он больше блещет на столе: он очень хорош и напоминает вкусом осетрину. Но обратимся к обеду (*М. сб.*, с. 219; *1858*, с. 272).

[17] *Амфитрионы.*— Здесь: гостеприимные, хлебосольные хозяева.

[18] *Головнин прав... давали мало есть.*— В. М. Головнин в названной выше книге (см. с. 808) писал: «В *Хакодате* кормили нас отменно дурно, а особливо сначала: обыкновенную нашу пищу составляли: каша из сорочинского пшена, похлебка из простой горячей воды с тертою редькою без всякой приправы, горсточка зеленого луку, мелко накрошенного, или вареных бобов, а иногда вместо луку или бобов кусочка по два соленых огурцов или соленой редьки...» (с. 55).

[19] *Давно ли еще Грибоедов посмеялся, в своей комедии, над «подачкой»?*— В д. III (явл. 10) комедии «Горе от ума» старуха Хлестова говорит Софье:

От скуки я взяла с собой
Арапку-девку да собачку.—
Вели их накормить, ужо, дружочик мой;
От ужина сошли подачку.

[20] *Разговоры.*— Здесь: разговорник, т. е. учебник иностранного языка, содержащий образцы бесед на разные обиходные темы.

[21] *Волшебный фонарь.*— Так называли аппарат, служивший для показа на экране в увеличенном виде изображений, сделанных на стекле.

[22] *...японцы открыли три порта для американцев.*— Гончаров здесь неточен: 31 марта 1854 г. был подписан Канагавский японо-американский договор о мире и дружбе; два японских порта — Хакодате и Симода открывались для торговли с американцами (7 февраля 1855 г. подобный договор был подписан между Россией и Японией. Для русской торговли открывались три порта: Симода, Хакодате и Нагасаки).

IV. ЛИКЕЙСКИЕ ОСТРОВА

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1855, № 4, с. 239—268. С предисловием к подготавливаемому отдельному изданию.

[1] *...мой задумчивый артист...*— Обращение к художнику Николаю Аполлоновичу Майкову (1796—1873), в семье которого Гончаров постоянно бывал с 1835 г.

[2] *карта... Бичи.*— См. примеч. 5 на с. 807.

[3] *Возьмите путешествие Базиля Галля...*— В 1816—1817 гг. английский путешественник и писатель Б. Галль (1788—1844) исследовал берега Кореи и острова Лиу-Киу; в 1818 г. он издал книгу «Account of a voyage of discovery to the west coast of Corea and the Great Loocho Island in the Japan Sea». В 1834 г. в «Библиотеке для чтения» (т. 4, № 3) был опубликован следующий перевод: «Плавание около мыса Доброй Надежды. Из записок Базиля Галля».

[4] *Далее было*: Как ни скоро шли товарищи, но я останавливался полюбоваться красавцами тропических лесов — банианами, у которых зелень с твердым, масляным и блестящим листом, как шапка, густой непроницаемой тенью покрывает толстый серый ствол с переплетшимися корнями; от ветвей его перпендикулярно до самой земли тянутся серые прутья, или нити, пускающие новые корни. Иногда я карабкался на забор и заглядывал на дворы (*ОЗ*, с. 243).

[5] *...на картинах Вато.*— Пейзаж на полотнах французского художника Антуана Ватто (1684—1721) служил обычно фоном для изображения различных «галантных» сцен.

[6] *Ужели Феокрит в самом деле прав?* — Древнегреческий поэт Феокрит (III в. до н. э.), создатель жанра идиллий и представитель «буколической» поэзии, воссоздавал сценки из быта наивных и радушных пастухов и простых горожан.

[7] *...поверишь и мадам Дезульер ... с их Меналками, Хлоями и Дафнами...*— Перечисляются имена героев «Идиллий» и «Стихотворений» швейцарского поэта и художника Саломона Геснера (1730—1788) и сентиментальных пасторалей французской поэтессы Антуанетты Дезульер (1637—1694), ставшие нарицательными.

[8] *...коммодор Перри, отплыл в Японию.*— Экспедиция Перри началась весной 1853 г.; берегов Японии она достигла к 8 июля.

[9] *Веси* — селения.

[10] *Кущи* — хижины.

[11] *Пажити* — пастбища с густой и сочной травой.

[12] *Методист* — член англо-американской религиозной секты, требующей точного исполнения обрядов англиканской церкви.

[13] *...пруд, вроде Марли...*— т. е. вроде пруда при замке Марли на берегу р. Сены (замок времен Людовика XIV в 12 км от Парижа). По его подобию в Петергофе был создан искусственный пруд, также получивший название Марли.

[14] *Далее было*: Вот, если б снять этот вид! — заключили мы и пошли по каменному мосту, с трудом отрывая взгляды от этой картины (*ОЗ*, с. 249).

[15] *Амбра* — воскообразное серое ароматическое вещество, извергаемое кашалотами. Применяется в парфюмерии.

[16] *Идиом* (от франц. idiome) — местное наречие, говор.

[17] *...как Диоген, попросили бы не загораживать им солнца.*— Одна из легенд, связанных с именем знаменитого Диогена-киника (циника; 404—423 до н. э.), гласит, что в Коринфе, где Диоген жил у купившего его Ксениада, встретился он однажды с Александром Великим и попросил у него одной-единственной милости — не загораживать ему солнца. На это царь, якобы, сказал: «Если бы я не был Александром, то желал бы быть Диогеном».

[18] *Начало этого города напоминает начало Рима: оба составились из бродяг.*— В легендарной истории Рима есть ряд эпизодов, содержащих повествование о том, как в Лациум (древнее название города) прибыли разбитые троянцы во главе с Энеем; как родились Ромул и Рем и как Ромулова дружина похитила сабинянок, что и положило начало римскому народу, и т. д. Сан-Франциско был основан после открытия золотых приисков в 1848 г. (до этого, в 1776 г., здесь была поселена миссия францисканских монахов). Еще в 1846 г. жителей в нем было 600 человек (в 1852 г.— 34 870).

[19] *Вся Европа в трепетном ожидании...*— В октябре 1853 г. началась Крымская война.

[20] *Далее было*: Идем прямо, заворотим направо, дойдем до конца — и упремся в новый забор, а по сторонам тянется новая бесконечная улица... (*ОЗ*, с. 259).

[21] *Далее было*: Мы вышли от него через другие ворота: на них было изображение солнца, луны и звезд. Миссионер дал им священное название и подписал по-английски рядом с китайскими надписями (*ОЗ*, с. 260—261).

[22] *Далее было*: Однако ж я на другой день проснулся с лихорадкой. Накануне забыли привезти мне на берег пальто, и я, после чая, на воде простудился. Но таково действие этого мягкого климата, что я походил с полчаса по палубе, на солнце — и простуды как не бывало (*ОЗ*, с. 262; *1858*, с. 331).

[23] *Папуша* (от рум. papuşă) — связка, пучок табачных листьев.

[24] *Далее было*: Вдруг увидел я, идут по дороге трое, но не ликейцы, вглядываюсь — наши матросы, которых отпустили гулять, и между ними мой Фаддеев. Давно мне хотелось достать лист с ближнего папируса, но ветви были так высоко, что если б двое из нас стали друг другу на плечи, то и тогда бы не достали. — Фаддеев, добудь мне ветку с этого дерева,— сказал я ему. Сначала он попробовал было прыгнуть до ветвей, но видя, что этого ему не удастся, в одну минуту вскарабкался на дерево, забрался в чащу ветвей — и все затрещало там. Он слез и принес мне целый сук. Мы пошли на сахарную плантацию. Она отделялась от большой дороги полями с рисом, которые были наполнены водой и походили на пруды с зеленой стоячей водой. Я прошел мимо, пошел по берегу речки, и не знал, где перейти через довольно широкую грязную канавку. Я высматривал место, пробовал там и сям — везде вязко; спросить не у кого, хотя по берегу и много ходит народа и в речке купаются.

— Вот где, ваше высокоблагородие, хорошо будет перейти,— вдруг заговорит мне голос с реки. Ищу глазами, кто это: одна голова высунулась из реки.— Да ты кто! — спрашиваю.— Матросик с корвета (*1858*, с. 336—337).

[25] *Далее было:* Я сам ел, в Сингапуре, кажется: что говорить — нехорошо, но все-таки едят же, на том основании, я полагаю, на котором некоторые думают, что можно съесть «обсахаренную подошву». Если б сварить в сахаре кусочек березовой коры, так оно, пожалуй, вышло бы не лучше, конечно, но и не хуже (*ОЗ*, с. 266).

[26] *Далее было:* Англичане уже переняли этот способ; если он водворится у нас, тогда вы, мой друг, Е⟨вгения⟩ П⟨етровна⟩, много разлюбите поля... (*ОЗ*, с. 267).

V. МАНИЛА

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1855, № 10, с. 241—298, с подзаголовком: С 9 по 16 февраля 1854 года. Фрегат Паллада.

[1] *Обсервация* (от лат. observatio) — наблюдение.

[2] *Креолы* — потомки европейских колонизаторов, родившиеся в испанских, португальских и французских колониях.

[3] *...американец Вилькс...*— См. примеч. 5 на с. 805.

[4] *...француз Малля (Mallat)...*— Речь идет о двухтомном сочинении французского путешественника Ж. Малля; Les Philippines, histoire, géographie, moeurs, agriculture, industrie et commerce de colonies espagnoles dans l'océanie. Paris, 1846; по словам комментатора, оно было «лучшим сочинением о Филиппинских островах» (*Муравейский*, с. 699).

[5] *Реал* — старинная испанская серебряная монета.

[6] *Тагал* — представитель народности (индонезийской или протомалайской группы), жившей главным образом на о. Люсон.

[7] *Пиастр* — старинная денежная единица разной ценности в Испании, Португалии и латиноамериканских странах.

[8] *Пикули* — маринованные в уксусе с пряностями овощи, употребляемые как приправа к мясным и рыбным блюдам.

[9] *Кальсадо* — букв. шоссе (от исп. calzada).

[10] *...с отвагой и шпагой...*— Измененная строка из стихотворения «Я здесь, Инезилья» (1830) (у Пушкина: «...с гитарой и шпагой...»).

[11] *...с шелковыми петлями.*— Распространенный словесный образ из былины «О царе Маламане, царице Саламании и прекрасном царе Василье Окульевиче» (см., напр.: Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, М., 1862, ч. II, с. 298).

[12] *Далее было:* Не ждите от меня описаний чего-нибудь нового, каких-нибудь поразительных красот Манилы: я побывал в эти полтора года под многими прекрасными небесами, ступал на многие жаркие и цветущие берега: тропическая природа имеет все одну и ту же обаятельную физиономию, на которую не устаешь любоваться. Сколько ни глядишь на нее, все глядишь как на любимую женщину: все кажется в ней ново, все как будто видишь в первый

раз, а нового сказать нечего. Впрочем, я, может быть, ошибся, сказав «*тропическую* природу», просто бы сказать *природу*, которая всегда нова, или уж в человеке так много изменчивого и нового. Но что б там ни было, а я смотрел с новым наслаждением на открывшуюся передо мной массу зелени и высовывающиеся из нее хижины на подставках. «Где же тут Манила?» — спросите вы. Манила осталась позади, в испанском городе и тагальском предместье. Там река, суда, грузы товаров, суетливый китаец и недвижущийся испанец, бледные и коричневые женщины, сигары, балконы, жаркие, как натопленная баня, и душные улицы — вот и вся Манила. Далее начинается природа с ее *чудесами и таинствами*; о ней не берусь рассказывать. Я сам растерялся, когда вдруг был поглощен, с коляской и лошадьми, этими безыскусственными и бесконечными аллеями пальм, бамбука, хлебного и красильного деревьев и тех, которые вы видите у себя в комнатах, сидите, лежите на них, которые одеваете бархатом, шелком и золотом — всех этих красавцев жаркого пояса, которых здесь насчитывают до тысячи пород. Они здесь блещут в природной красе своей. Вон как вцепились друг другу в кудри, переплелись и перепутались между собою, отнимая один у другого каждый вершок земли (*ОЗ*, с. 275; *1858*, с. 367).

[13] *Далее было*: ...и вдруг напомнят, если не вглядываться пристально, знакомые, бесконечные нивы, поднимающиеся на холмы и спускающиеся в овраги (*1858*, с. 369).

[14] *...на Черной речке тоже.*— Т. е. на Черной речке в Петербурге, в районе Новой деревни.

[15] *Августинец.*— Монах римско-католического нищенствующего ордена, основанного в XIII в.; устав его был написан на основании сочинений богослова Августина.

[16] *Гласис* — пологая земляная насыпь перед наружным рвом укрепления.

[17] *Под Новинским или в Екатерингофе...*— Называемые Гончаровым Новинский бульвар в Москве и Екатерингофский парк в Петербурге были в прошлом излюбленными местами гуляний горожан.

[18] *...исключая львов...*— Здесь: лев — модный щеголь. В России это слово получило широкое распространение после появления повести В. А. Соллогуба «Лев» (1841). В 1830-х годах оно уже широко применялось в Англии и Франции для обозначения законодателей мод, покорителей женских сердец, скрывавшихся под маской демонической загадочности.

[19] *Далее было*: Я любовался картиной, наслаждался теплою ночью. Завтра долгий день опять нагонит бездействие и сон, и кончится таким же теплым вечером, с луной, с мягким ветерком, с чашкой мутного чаю и с тоской от избытка наслаждения, от потери цены ему (*ОЗ*, с. 262; *1858*, с. 376).

[20] *...на портретах Веласкеца...*— На портретах испанского художника-реалиста Диего де Сильва Веласкеса (1599—1660) запечатлены многие его современники.

[21] *...о турках, об англичанах, о синопском деле...*— Речь идет о морском сражении у Синопа 18 (30) ноября 1853 г., в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова разбила основные силы турецкого флота.

[22] *Вместо:* молчание — *была строка из Пушкина:* «точно в гробе тьмы людей» (*ОЗ*, с. 264).

[23] *Далее было*: Но спросите у англичанина что-нибудь, он ответит и замолчит, но не протянет ног дальше своего места, не запоет рядом с вами, не закурит в вагоне или за столом (*ОЗ*, с. 264).

[24] *...«Don Basilio!»...*— Имя персонажа (монаха) в комедии Бомарше «Севильский цирюльник» и в одноименной комической опере Дж. Россини.

[25] *...благовест... Это Angelus.*— Эта католическая молитва, начинающаяся словами «Angelus Domini nunciavit Mariae» ⟨«Ангел господень благовестил Марии» (*лат.*)⟩, исполняется утром, в полдень и вечером при звоне большого колокола.

[26] *Пате* — табурет с мягким сиденьем.

[27] *Далее было*: Я, сверх того, прикинул в уме, примерно, сколько у редактора могло быть подписчиков (*ОЗ*, с. 272).

[28] *Далее было*: и сначала пошел было в кучку пешеходов, но они все толпились у самой музыки, и хотя шум от нее и неприятен, как на табачной фабрике, однако оглушителен. Я пошел кругом площади. Какой вечер! Какое небо! Что за вид! Поглядывая вокруг себя, я вышел на минуту из своего будничного расположения духа, очнулся от равнодушия — чудесная картина! Только в опере и в балете увидишь у нас, на Севере, такое фантастическое здание, как этот собор, да эту ратушу; впрочем, ратушу, я думаю, и в Риге увидишь: церковь (*1858*, с. 399).

[29] *Далее было*: Я заглядывал в экипажи. В них сидели больше женщины, с открытой

головой, и говорили с толпившимися пешеходами. Особенно одна коляска обратила мое внимание; там сидели две испанки, одна — пожилая, худая, с впалыми глазами, вся в черном; другая — молодая, высокая, с пышной грудью, вся в белом. Пожилую ярко освещала луна и оттого я видел ее в лицо; молодая сидела с другой стороны, в тени, и только раза два обратилась лицом к свету. Она все наклонялась к молодому человеку, который стоял подле коляски. Они говорили тихо, тихо и долго; я обошел сквер раз десять, а они все говорили. Пожилая дуэнья старалась не глядеть, не слушать. Что это? испанские нравы, что ли? Беглянка из дома, от мужа, от тетки, под предлогом гулянья? Объясните, автор «писем об Испании»!

В другой коляске сидела одна дуэнья; в уголку, рядом, место было, по-видимому, занято и опустело на время. Как почитаешь об испанцах, послушаешь до посмотришь немножко, как они обращаются с любовью, так покажется, что они до сих пор придают ей много донкихотовской важности. Так думал я, идучи по площади, и в тени наткнулся на двух женщин: обе индиянки, одна молодая, другая старая. Когда я подошел поближе, старуха отошла прочь от молодой, я прошел мимо, и она воротилась на свое место... А это какие нравы? (*ОЗ*, с. 277; *1858*, с. 400—401).

[30] *Далее было*: Явление объяснилось вполне; оставалось узнать, кто был мужчина в черном и отчего они все молчали. Но мне суждено не узнать никогда этого важного обстоятельства; я не знаю его и до сих пор (*ОЗ*, с. 278).

[31] *Обращение св. Павла.*— Картина на религиозный сюжет, отражающая один из моментов жития апостола Павла: на пути в Дамаск, куда он направлялся для расправы над христианами, с ним (тогда еще он носил имя Савла) произошло чудесное превращение, и он стал великим проповедником христианства (Деяния, гл. IX, ст. 20—28).

[32] *Мурильо* Бартоломе Эстеван (1617—1682), испанский живописец; основная тематика его полотен — религиозные сюжеты и жанровые сценки с испанскими детьми.

[33] *Далее было*: Мне стало неловко.— «Да, конечно, может быть,— стал я поправляться: — мы сами видели у Saddle Islands до 500 лодок...». Барон закашлялся смехом (*ОЗ*, с. 281).

[34] *Дублон* — старинная золотая испанская монета, содержавшая до 7.5 г чистого золота.

[35] *Кайман.*— С. Д. Муравейский отметил, что Гончаров здесь неточен. Он пишет: «...кайманы распространены лишь в Северной и Южной Америке; речь, видимо, идет о гребнистом крокодиле — опасном и весьма распространенном на Зондских и Филиппинских островах» (*Муравейский*, с. 700).

[36] *...летучие мыши, величиной с ястреба и больше.*— Речь идет о так называемых «летучих собаках» (колонг); размах их крыльев достигает 1.5 м (*Муравейский*, с. 700).

[37] *...ящерицы... кидаются на грудь человеку... на свое отражение.*— Комментатор отметил, что Гончаров повторяет здесь одну из небылиц о так называемых гекконах токи, которые «в Сиаме, например, живут в городах почти в каждом доме» (*Муравейский*, с. 700).

[38] *...что мы скоро снимаемся с якоря, дня через четыре.*— Испанские власти предложили русскому фрегату покинуть Манилу в трехдневный срок, опасаясь, что в условиях приближающейся войны (см. примеч. 19 на с. 816) может произойти столкновение русских судов с стоявшим на рейде французским судном.

[39] *...в Луконии.*— Так именовалась фантастическая страна в «Правдивых историях» Лукиана (II в. до н. э.). Писатель-сатирик пародировал в них греческие романы, изображавшие несуществующие земли и страны.

[40] *...на Невском проспекте, у Тенкате...*— Голландский табачный магазин «Тенкате и К°», принадлежавший купцу 2-й гильдии Корнелиусу Тенкате, помещался в доме № 23 по Невскому проспекту.

[41] *...в Эперне не удастся выпить бутылки хорошего шампанского...*— Этот французский город (на Марне) славился своим шампанским.

[42] *...в Торжке не найдешь теперь и знаменитых пожарских котлет...*— В этих словах содержится явная перекличка и с пушкинской «Подорожной» (1826), прославившей котлеты хозяйки гостиницы Дарьи Евдокимовны Пожарской, и с реальным фактом: Пожарскую приглашали в Петербург готовить котлеты для царской фамилии.

[43] *Далее было*: Тоска, тоска такая же, какую испытывает человек в страстной ласке беспредельно любящего его существа. Мучаешься томительным сознанием, что дожил уже до границ страсти, что дальше ей хода нет, что нет впереди желаний и увлечений, а есть

уныние, пресыщение или боязнь, что страсть должна или пойти назад, или сокрушиться и сокрушить это любящее существо. И вы с грустью принимаете ласку. Даже тоска лежит и в предчувствии, что завтра встанет то же солнце, так же горячо протечет по безоблачному небу и измучает своей беспощадной щедростью природу. Больно и сладко... Отчего же сладко? отчего нега? Оттого, кажется, что вы испытали и разделили эту страсть, что по жилам вашим пробежал огонь, измучил вас, оставил, с болью ощущений, и остроту наслаждений и потом дал вам отдых, бездействие и воспоминания (*ОЗ*, с. 296; *1858*, с. 433).

[44] *Вторая экспедиция приставала... в 1524 году...* — С. Д. Муравейский исправляет неточность Гончарова: Хуан де Лоаиза не достиг Филиппинских островов, он умер в пути, а его корабль прибыл к островам только в октябре 1525 г. (*Муравейский*, с. 700).

[45] *Филипп II* (1527—1598), испанский король с 1556 г.

[46] *В 1664 году Мигель Лопец Легаспи... основал нынешний город...*— Здесь Гончаров также неточен: Манила была основана Легаспи в 1571 г. (*Муравейский*, с. 700).

[47] *...по плану архитектора, строившего Эскуриал.*— Этот знаменитый комплекс (королевский дворец, усыпальница королей, церковь, монастырь и другие здания) был построен в Испании в конце XVI в. по проекту Х. Б. де Толедо, работавшего под руководством Микеланджело.

[48] (*Зри... W. N. Nopitsch*».) — Это сочинение было написано Нопичем в результате совершенного им кругосветного путешествия на датском корвете «Галатея» под командой Стен Билля.

VI. ОТ МАНИЛЫ ДО БЕРЕГОВ СИБИРИ

Впервые напечатано: *М. сб.*, 1855, т. XVI, № 5, отд. I, с. 53—121, под заглавием: Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири. С 27 февраля по 22 мая 1854.

[1] *Далее было*: Я спал у капитана в каюте, на диване, полуодетый, ночи три (*М. сб.*, с. 54).

[2] *Далее было*: надоело. Любопытство мое давно удовлетворилось этой природой, жителями, растительностию, другими небесами; я устаю, только лишь начну думать о том, куда мы потом пойдем и когда доберемся, по нынешним обстоятельствам, до дому (*М. сб.*, с. 55).

[3] *Далее было*: В это время напор волн поднимает его снизу; при обыкновенной, правильной качке следовало бы упасть на другой бок и т. д., но тут с противной стороны выросла опять волна, и обе они яростно устремляются друг на друга, поднимая судно высоко на вершины свои, потом расступятся внезапно, и оно летит вниз (*М. сб.*, с. 56—57; *1858*, с. 441).

[4] *Далее было*: «Дай-ка я перейду через него»,— подумал я и пошел, полагая, что и подошвы не замочу, и вдруг увяз в илистое дно, чуть не по колени; в одну минуту сапоги наполнились водой; но зато в этом жаре тотчас же и высохли, лишь только я ступил шагов десяток по горячему песку (*М. сб.*, с. 58—59; *1858*, с. 444).

[5] *Лаокоон.*— Здесь подразумевается эпизод гибели троянского героя, жреца Апполона Лаокоона, запечатленный родосскими скульпторами Агесандром, Атенодором и Полидором в широко известной по римской копии скульптурной группе «Лаокоон и его сыновья». Боги, предрешившие гибель Трои, послали двух огромных змей удушить Лаокоона с сыновьями за то, что они пытались не дать троянцам втащить в город деревянного коня.

[6] *Далее было*: Облитый потом, я дотащился до палатки и лег, а через час вернулся на фрегат, довольный, что видел хотя и не совсем новые, но всегда занимательные предметы (*М. сб.*, с. 62; *1858*, с. 284).

[7] *Далее было*: Качка, качка — какая тоскливая вещь! Ни ходить, ни сидеть (*М. сб.*, с. 73).

[8] *Далее было*: А то ночью не спится. Ляжешь: качает и вдруг как будто кто-нибудь стащит за ногу в конец постели и проснешься. Ночь не спишь, зато спишь целый день — беспорядок (*М. сб.*, с. 73—74).

[9] *Клапрот... перевел на французский язык.*— Речь идет о сочинении: «Claproth G. Apercu géneral de trois royaumes. Paris. 1883». Книга сопровождалась французско-корейским словарем и словарем языка айно.

[10] *...с амфазом...*— Т. е. напыщенно, с пафосом (от франц. emphase).

[11] *Это отчасти напоминало мерное пение наших нищих о Лазаре.*— Имеется в виду «Стих о бедном Лазаре», который обычно пели нищие, выпрашивая милостыню. В основе стиха лежит евангельская притча о нищем Лазаре (см.: Лука, гл. 16, ст. 20—21).

[12] *...Бельчер... в 1842 году.*— См. примеч. 12 к с. 798.

[13] *Далее было*: Государю своему они повинуются, как старшему в семействе, без сознания политической необходимости в верховной власти. Эта необходимость ничем не освящена, ни религией, ни наукой, ни сравнением с опытами государственной жизни других, о которой они не знают. А старшему они повинуются, как дети, потому что он сильнее, или умнее, или просто потому, что он в младенчестве их овладел их волею. Если кто из них и знает, и блюдет свои личные чувства и отношения к государю, то он не заботится о том, блюдет ли их та или другая провинция и все вместе: ему до этого дела нет. Ему не приходит в голову убеждение, что он обязан думать и о других, пещись о безопасности государя и своего соседа и за его собственность, и что другой обязан тем же в отношении к нему, что в этом вся тайна жизни целого государства. Ему что за дело до целого? Видишь, по мелочной суетливости китайца, по вниманию ко всему, что касается до окружающей его деятельности, и по беспечности во всем, что не входит в сферу его торга, промысла, семьи, что взгляд его не простирается к главному началу всей этой деятельности, что у него нет никакой симпатии к этим началам, что весь он утонул в частных целях и оттого он эгоист, знает жену, отца, детей да Конфуция, который учит его так жить. Вспыхнул мятеж. Претендент на престол, наняв толпу голодных бродяг, идет в Пекин, застает врасплох другую, такую же толпу, нанятую охранять престол, низвергает царствующую династию и воцаряется, как это случилось хоть бы двести лет назад. Народ покойно узнает об этом и начинает покойно признавать нового государя, как старшего, или сильнейшего, не входя в разбирательство его прав. Ни один голос, ни одна рука не поднялась из толпы на защиту прежнего, законного, потому что в толпе каждый знает себя, отца, брата, жену, детей и дальше никого. Нужно, чтобы около верховной власти сплошною стеной — кроме лично-облагодетельствованных и преданных ей людей — стояли еще люди, проникнутые сознанием необходимости защищать самое начало (*М. сб.*, с. 84—86; *1858*, с. 475—476).

[14] *Далее было*: Гордость и ребяческий, невежественный страх мешают выглянуть наружу, занять сил и капиталу жизни у других — и народ гибнет нравственно. Нет центра в этой жизни, нет убеждений, нет горизонта и солнца, ни света, ни теплоты, ни разума; есть индивидуальная смышленость, простирающаяся на пол-аршина вокруг, да мелкие нуждишки. Карлики с улыбкой смотрят на взрослых и, в детской слепоте и гордости, смеются... (*М. сб.*, с. 86; *1858*, с. 478).

[15] *...старую, законную династию...*— Часть тайпинов (см. примеч. 36 на с. 813) боролась за уничтожение маньчжурской династии (Цин) и восстановление китайской (Мин), правившей до 1644 г.

[16] *...как изменилось на Сандвичевых островах например.*— В этих словах обнаруживается знакомство Гончарова с рассказами В. М. Головнина о переменах в королевстве и о Коцебу Тамеамеа на Сандвичевых островах (подробнее см.: *Михельсон В. А.* Записки В. М. Головнина и «Фрегат „Паллада“» И. А. Гончарова.— Учен. зап. Краснодарск. пед. ин-та, 1955, вып. XIII, с. 80—81).

[17] *Синофилы* — букв.: любящие все китайское.

[18] *Талейран*-Перигор Шарль Морис, герцог (1754—1838), французский дипломат и мастер политической интриги. Предание приписывает ему многие распространенные французские выражения и поговорки.

[19] *Далее было*:. 27-е. Сколько отдаленных и близких очерков и силуэтов гор и островов остается в памяти после морского путешествия! Вот хоть бы корейский берег теперь: как разнообразен при всем своем бесплодии! То плоские берега манят выйти на траву, то пики отталкивают угрюмостью прочь. Иногда у самого моря резкими очертаниями тянутся холмы, а сзади их далеко чуть синеют, как тучи, грозные горы, и рисунок их сливается с рисунком облаков (*М. сб.*, с. 99; *1858*, с. 493).

[20] *...поверка карты Броутона...*— Английский мореплаватель В. Р. Броутон (1769—1821) обследовал на корабле «Провидение» берега Японии и Кореи. Он описал это путешествие в книге: A voyage of discovery to the north Pacific Ocean in the years 1795—1799. London, 1804. Во времена плавания «Паллады» Восточно-Корейский залив назывался заливом Броутона.

[21] *...вместе с Ванкувером...*— См. примеч. 6 на с. 790.

[22] *...как у проклятой смоковницы...*— Евангельский образ (см. Матф., гл. 21, ст. 19; Марк, гл. 11, ст. 13—14).

[23] *Далее было*: Мы шли, шли, а баркаса все не видать. Я углубился в размышление о корейцах, перешел к суете мирской и, между прочим, к суете путешествий, поднимал

и опять бросал раковины, толкал ногой камешки и зябнул. «Утка, утка!» — шепотом скажет Ш⟨липенбах⟩ и вдруг — хлоп. Я выходил из задумчивости (*М. сб.*, с. 103; *1858*, с. 497).

[24] *...услышав фортепиано...*— На «Палладе» в качестве юнкера флота плыл 13-летний Миша Лазарев, сын крупнейшего флотоводца и ученого Михаила Петровича Лазарева (1788—1851), который был учителем и ближайшим начальником большинства офицеров «Паллады». Миша был прекрасный музыкант. Для него в каюте Унковского стояло фортепиано.

[25] *Далее было*: Много еще наивности, природной грубости и простоты нравов в этом народе, как поглядишь на него; недостает ему опытов, столкновения с другими понятиями и бытом, что все должно повести к сравнениям, выводам и переменам. А теперь корейцы пока ходят в полной уверенности, что все, что у них есть, что они делают, так и должно быть. Размен немногих обиходных идей и опытов между собою да разве с японцами и китайцами совершился — и больше нечего им делать. Они с изумлением смотрят на все, что не их, в том числе и на наше судно, на нас, на наши вещи (*М. сб.*, с. 106—107; *1858*, с. 502).

[26] *Далее было*: Я согласен с тобою,— потому что не слыхивал, чтоб киты...— Водяной, или кит, дохнул еще сильнее... Чудовищные вздохи периодически продолжались. Напрасно напрягал я зрение: ночь хоть глаз выколи, только изредка мелькали фосфорические искры, да на берегу, милях в двух, на горах кое-где, горели большие огни, о которых мы все еще не решили, что они значат: выжигают ли корейцы места для посевов, как это, видели мы, делают в Капской колонии, или это просто сигнальные огни (*М. сб.*, с. 110; *1858*, с. 506).

[27] *...отец Иакинф рассказывает...*— Н. Я. Бичурин с 1807 г. возглавлял русскую духовную миссию в Китае; с 1826 г. служил переводчиком с китайского в Министерстве иностранных дел. Он является автором большого числа переводов исторических сочинений с китайского, маньчжурского и других языков народов Восточной Азии и автором нескольких книг о Китае, Корее, Монголии, Тибете и Средней Азии (см. о нем: *Бернштам А. Н.* Н. Я. Бичурин (Иакинф) и его труд «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена».— В кн.: *Бичурин Н. Я.* Собрание сведений... М.; Л., 1950, т. I, с. V—LV).

[28] *...разыгрывались свои Илиады... никогда не станет.*— См. примеч. 84,11 на с. 795, 812.

[29] *Город, вроде Илиона...*— Илион — одно из названий Трои.

[30] *Далее было*: Вчера мы с к⟨апитаном⟩ вышли вечером *на улицу* пройтись, сделать моцион: ночь темная, ни зги не видно. Мы ощупью шли по шканцам, где знаем наизусть каждую половицу. Ветер то совершенно смолкнет, то вдруг дунет так порывисто, что паруса захлопают, как будто кто-нибудь по ним палками колотит. Туман закрывает мачты до половины. Моросит дождь, и волны плеснут в бока судна и смолкнут, смотря, как дунет ветер. Мы, цепляясь друг за друга, начали скучную ежедневную работу, предпринимаемую только из холодного сознания пользы ее, то есть хождение (*М. сб.*, с. 113; *1858*, с. 510).

[31] *Далее было*: Я всякий день, пока мы здесь чинимся для дальнейшего пути, иногда два раза, хожу по пням и кочкам от какого-нибудь мыса к другому, до скалы или до бухточки, мешающей идти дальше, отдыхаю у ключа, к которому матросы наши подставили желоб, чтоб шлюпки могли наливаться водой. У ключа пасется свезенный с фрегата скот, шанхайские бараны, с всклокоченной шерстью, манильские свиньи, японские куры и московские утки — так называют англичане, не знаю почему, уток крупной породы. Собак, принадлежащих кочующим племенам, привязали к деревьям, потому что они, из животных, терпеливо сносят общество только своего брата — собак, а других рвут на части, исключая, конечно, человека; баранам и курам досталось было от них. Одна или две собаки остались на свободе. Встретишь такую собаку в лесу, она возвращается, нужды нет, что шла в противоположную сторону, и провожает снисходительно назад (*М. сб.*, с. 118; *1858*, с. 515—516).

[32] *Dahin*! *dahin*! — См. примеч. 12 на с. 795.

VII. ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

Впервые напечатано: *Б. д. чт.*, 1857, № 4, с. 145—195, под заглавием: Аян. Август. 1854. (Заметки из памятной книжки на сибирских станциях).

[1] *...не решенную Лаперузом задачу.*— Речь идет об открытом в 1849 г. исследователем Дальнего Востока, адмиралом Г. И. Невельским (1813—1876), проливе между Сахалином и материком.

[2] *...геройское, изумительное отражение... в Камчатке.*— 17—24 августа англо-фран-

цузская эскадра из шести кораблей предприняла осаду Петропавловска-на-Камчатке и потерпела полное поражение.

[3] *Кто не бывал Улиссом на своем веку... не отыскивал глазами Итаки?* — Улисс (или Одиссей), царь острова Итаки, славившийся отвагой, красноречием и хитроумием. Герой «Илиады» и «Одиссеи» Гомера после двадцатилетних странствий добрался до родной Итаки, где его ожидала верная жена Пенелопа.

[4] *Пакгауз* — Закрытое помещение для хранения грузов или товаров при таможне (от нем. Packhaus).

[5] *...фактория американской компании.*— Речь идет об учрежденном русскими купцами в 1799 г. акционерном обществе «Российско-американская компания», торговавшем со странами Дальнего Востока и русской частью Америки (Аляской и прилегающими к ней островами).

[6] *Робинзон* — Герой книги английского писателя Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове...» (1719).

[7] *Ч. и Ф.*— По предположению С. Д. Муравейского, под аббревиатурой Ф. скрывается А. Ф. Филиппеус, отправлявшийся в это время чиновником на Камчатку (*Муравейский*, с. 704). Здесь же высказана мысль об возможной описке Гончарова в отношении «Ч». Возможно, что имелся в виду чиновник Хитрово, следовавший вместе с Филиппеусом.

[8] *«Прощай, свободная стихия! в последний раз»...*— Начальные слова стихотворения А. С. Пушкина «К морю» (1824).

[9] *Далее было*: «И часто это случается?» — «О! очень. Для этого привязывают лошадям по две сумы на бока, чтоб седоку удобнее было свалиться, когда лошадь упадет». Это отрицательное удобство считается лучше положительного неудобства — увязнуть с лошадью (*Б. д. чт.*, с. 159; *1858*, с. 543).

[10] *Векша* — белка.

[11] *Далее было*: ...земля не оттаивает здесь никогда глубже аршина, а если в конце августа и оттает, то на несколько дней; морозы начинаются в сентябре. 14 сентября здесь уже начинается санная езда на оленях, и снега выпадает на сажень и более. Мы дорогой, у подошвы горы, видели толстую глыбу нерастаявшего снега.

Лошади оседланы: пора (*Б. д. чт.*, с. 159).

[12] *Далее было*: ...иногда утесы сжимаются в ущелье. Река мчится и мчит лодку с неимоверной быстротой. Посредине иногда тянется песчаная мель, дно почти видно везде, мелей, к сожалению, пропасть. Но зато иногда река мчит так стремительно по извилине, что все вдруг закричат: греби, греби сильнее — и лодку проносит мимо (*Б. д. чт*, с. 167).

[13] *Далее было*: «Да нельзя ли как-нибудь сняться? И мы поможем»,— сказали мы и тоже взялись за шесты (*Б. д. чт*, с. 168).

[14] *Далее было*: Князь Оболенский уехал на байдарке, выехавшей к нам с якутом, вперед, Тихменев отправился на ней на берег и хотел дойти пешком. Но они встретили почтовую лодку, шедшую к нашей, и воротились, а я глубоко спал и вдруг проснулся от выстрела. Ванюшка убил утку (*Б. д. чт*, с. 168).

[15] *Вместо:* «Чего же?» — спросили мы.— *было:* А все недостает, все недоволен, все еще есть желание... подумал я: — таков человек, и после этого «нового» рассуждения, спросил, чего же ему недостает? (*Б. д. чт.*, с. 171).

[16] *Подстава* — т. е. лошади, выставленные впереди по пути следования для замены уставших.

[17] *Далее было*: Не оттого ли у них такая резигнация. Но сегодня мне показалось, что они точно так же скользят, как и русские лошади (*Б. д. чт.*, с. 174).

[18] *Дормез.*— Большая дорожная карета, приспособленная для сна в пути (от франц. dormeuse).

[19] *Вместо*: меньше похожее на женщину.— *было*: похожее больше на поставленную на задние ноги корову. (*Б. д. чт.*, с. 176).

[20] *Далее было*: На здешней, *Натарской*, станции, вдруг смотрю, после захождения солнца, одна корова шагнула в юрту, за ней другая, потом третья; я за ними — их нет, а они особым ходом ушли в свою комнату, перегородкой отделенную от юрты. Вот одна глядит, лежа и жуя апатически, на мою свечку. Зато воздух хорош! (*Б. д. чт.*, с. 177; *1858*, с. 572).

[21] *Требы.*— Религиозные обряды (крестины, венчание, исповедь, панихида), совершаемые священником по просьбе прихожан.

VIII. ИЗ ЯКУТСКА

Впервые напечатано: *М. сб.*, 1855, т. XVI, № 6, отд. IV, с. 271—317.

[1] *...подобная же сцена из «Ревизора».*— Вероятно, имеются в виду явления VII, X и XI действия четвертого пьесы Гоголя (сцены с Добчинским, купцами, слесаршей и унтер-офицершей).

[2] *Царское Село* (ныне г. Пушкин) — дворцово-парковый ансамбль под Петербургом.

[3] *Ораниенбаум* (ныне Ломоносов) — дворцово-парковый ансамбль под Петербургом на берегу Финского залива.

[4] *Далее было*: Взгляните на усеянные мшистыми кочками необозримые пространства тундр, или на дикие и угрюмые, без растительности горы, с нетающим снегом в трещинах, на реку, которая повезет вас на своих водах не одну тысячу верст, на дикий, сбившийся в непроницаемую чащу на тысячу же верст сосняк, ельник и исполинскую лиственницу: увидите иногда зимой пылающее в ослепительно-розовом пожаре полночное небо и тут же у кого-нибудь, может быть у себя, побелевший как снег нос и замерзающее при сорокаградусном благорастворении воздуха дыхание; а летом не увидите ни яблока, ни вишни. Вы скажете, это Сибирь. Увидите вы потом скачущего на бешеной тройке, запрятавшегося в повозку, зарывшегося в меха человека — и все: лошади, повозка, человек и кучер его, и усы, и борода, и брови у обоих — все оковано льдом и засыпано снежным пухом; услышите, что он мчится за несколько сот верст к приятелю, на именинный пирог, или за три, четыре тысячи верст перемолвить о деле; взглянете на его дорожный провиант — чуть не камни: щи в кусках, мерзлая, сырая, наструганная, как щепки, рыба; узнаете, что он никогда не бывал в больших городах, не знает наших театров, раутов, пуще всего тесноты; что он не переступал за Уральский хребет, но увидите, однако ж, у него на столе живые ананасы и апельсины; он пьет шампанское как квас, небрежно сыплет груды золота, которое находит у себя под ногами, на своем золотом дне, и сыплет часто на помощь своим же братьям, сибирякам, да на благосостояние и украшение своей же любимой Сибири; иногда брызги металла летят дальше, перескакивают за Урал — это опять сибиряк. Увидите в лесу косматого, неуклюжего обитателя, гоняющегося за оленем, оленя, отрывающего из-под глубокого снега мох, скачущего по горам дикого козла, прыгающих по деревьям соболей, белок — это все сибиряки и сибирячки. А какое разноплеменное семейство, разъезжающее на собаках, на оленях, питающееся одной рыбой без хлеба, или хлебом без рыбы, или ни тем, ни другим, а чем-нибудь третьим, что есть не показано, но и не запрещено, напр⟨имер⟩ кониной, древесной корой и т. п., разгуливает по дебристой, тундристой и гористой Сибири, которую ее разумные обитатели нарекли *матушкой*, как мы, зауральские жители, нарекли Русь, Москву и Волгу! Вглядитесь в эту матушку и вы увидите, что она имеет свою коренную, немного суровую, но величавую физиономию (*М. сб.*, с. 281—283; *1858*, с. 594—595).

[5] *...тарабаганью...*— Т. е. легкую и теплую шубу «халатом», сшитую из шкурок маленького земляного зайчика (бабука) или сурка.

[6] *...по словам Гумбольдта...*— Немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник, почетный член Русского географического общества, Александр Фридрих Вильгельм Гумбольдт (1769—1859) в 1829 г. путешествовал по Уралу, Средней Азии и Сибири (см.: Путешествие барона Александра Гумбольдта, Эренберга и Розе в 1829 году по Сибири и Каспийскому морю. СПб., 1873).

[7] *...плод от брошенного им зерна.*— Имеются в виду слова из Евангелия от Иоанна: «...если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (гл. 12, ст. 24).

[8] *Бостон* — род карточной игры.

[9] *...пробегая одну книгу о Якутске («Поездка в Якутск»)... на общее друг к другу недоверие...*— Речь идет о книге Н. С. Щукина «Поездка в Якутск» (СПб., 1833). «Наклонность к тяжбам и ябедам,— пишет здесь автор,— нигде, кажется, так не господствует ⟨...⟩. Сею болезнию заражены и русские и якуты. Говорят, что здесь есть люди, которые ходят по домам, спрашивая, нет ли какого иска? ⟨...⟩ Подав ябеду или донос, они воображают, что уже погубили своего противника, уже гордятся своим поступком. ⟨...⟩ Говорят, что в прежние времена не проходило ни одной пирушки, где бы несколько человек не подралось между собою в сильной подгулке, и чтоб назавтра не подали друг на друга прошений. ⟨...⟩ Я был на обеде в первом здешнем купеческом доме ⟨...⟩. Каждый сидел молча,

углубив нос в тарелку, изредка кидая недоверчивые взгляды на своих соседей; или, сказав слова два, осматривался на все стороны, не подслушивает ли кто» (с. 162—163).

[10] *...(см. фельетон «СПб. ведомостей» № 176, 11 августа 1854 г.)...*— А. Н. Майков в фельетоне «Отрывок из письма к А. Ф. Писемскому» писал: «Нас в Европе называют варварами: а могли бы варвары менее чем в полвека устроить и довести до такого процветания все эти некогда пустыни, известные ныне под именем Новороссийского края, Крыма, Астраханской и Оренбургской губерний и Южной Сибири?.. Нет, надобно думать, что это сделали не варвары. Нет, это народ цивилизованный, и что еще важнее, еще выше — народ цивилизующий. Казацкий пикет в Киргизской степи — это зародыш Европы в Азии».

[11] *Морская.*— Ныне ул. Гоголя.

[12] *Винный откуп* — право на взыскание государственного дохода от продажи вина, предоставленное за денежное вознаграждение частному лицу.

[13] *...автор книги... малоизвестного края.*— Этнограф и естествоиспытатель Иван Евсеевич Вениаминов (камчатский архиепископ, впоследствии митрополит Московский и Коломенский; 1797—1879) составил описание Алеутских островов «Записки об островах Уналашкинского отдела» (СПб., 1840).

[14] *Символ веры* — краткое изложение основных догматов христианской религии.

[15] *Рашель* Элиза (1820—1858), французская трагическая актриса; в 1853—1854 гг. гастролировала в России.

[16] *Г-н Геденштром (в книге своей... к его улучшению...»* — Цитируемые Гончаровым слова содержатся в главке «Якуты». Она завершается таким выводом: «Пускай просвещение достается на часть тех народов, которым провидение указало земли, могущие удовлетворить рождающимся желаниям и соделать их счастливейшими; но да пощадит оно якутов и подобных им, к которым природа их земли была мачехою. Просветившись, они тем еще были бы несчастнее, что не могли бы оставить земли своей для приискания лучшей» (с. 96).

[17] *Далее было*: Если бы не мы к ним, так дикари сами бы пришли к нам с этими же мехами, просить взамен чего-нибудь другого, и, все равно, не избегли бы просвещения, все равно узнали бы добро и зло и, прошедши сквозь огонь опыта, усвоили бы первое, научившись избегать второго, в чем и состоит истинное просвещение. Как же вдруг хотеть, чтоб дикарь прямо из Якутской области вдруг прыгнул в область добродетели? Что касается до диких добродетелей, то — храни нас боже до них! ведь у диких зарезать чужого и отнять добычу — предобродетельное дело. Черкесы тоже добродетельный народ: пока вы у него в сакле, он вас не только не тронет, но и угостит кумысом и чихирем, а уедете — догонит и тогда угостит уже другим. Многие этим восхищаются. Когда-то и мы были добродетельны, и норманны тоже, и средневековые рыцари, но бог избавил нас от этих добродетелей!

Смешно было бы оспаривать все это, если б мнение о вреде просвещения для дикарей и о преимуществе диких добродетелей выразилось только в книжке г. Геденштрома; но оно повторяется иногда и другими, даже до сих пор. Мы, европейцы, конечно, просвещеннее других, но странно было бы вообразить, что мы просвещены совершенно (*М. сб.*, с. 312—313; *1858*, с. 631).

[18] *...книги барона Врангеля...*— Речь идет о книге русского мореплавателя и исследователя барона Фердинанда Петровича Врангеля (1796—1870) «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820—1824 гг. СПб., 1841».

[19] *Даба* — китайская дешевая бумажная ткань, напоминающая кумач, белая или крашеная.

[20] *Струганина* (строганина) — строганая мороженая рыба (иногда мясо).

IX. ДО ИРКУТСКА

Впервые напечатано: *Б. д. чт.*, 1857, № 4, с. 182—194, под заглавием: От Якутска. Город Олекма.

[1] *Замет* — Кожаная покрышка у повозки.

[2] *...эта самая бесчувственная часть у всякого, кто не сродни Ахиллесу.*— Героя Троянской войны, Ахиллеса,— гласит греческий миф,— его мать, морская богиня Фетида, во младенчестве окунула в священные воды Стикса, после чего его телу не могло уже

повредить никакое оружие. Уязвимой у Ахиллеса осталась только пятка, за которую его держала мать, опуская в воду.

[3] *Звезды в этом прозрачном небе блещут так же ярко... небесами.*— Гончаров обыгрывает начальные строки описания украинской ночи из песни второй поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828—1829).

[4] *Далее было*: Я удивился этим предосторожностям при спуске с гор, чем, конечно, проезжие обязаны начальству. Сами мужички, как мне сказывали езжавшие прежде, обходились без предосторожностей, да и станет ли принимать их русский мужичок? Во всяком расположенном на крутизне селе видишь и не понимаешь, как это лепится на боку горы воз с человеком и с кладью? Иногда он и сорвется, двое пойдут подымать его, а прочие возы тянутся туда же. Я знаю в одной деревеньке холм, под ним речку, за речкой лес; с холма к речке за водой, а зимой за речку за дровами съехать невозможно. По крайней мере, если послать туда англичан да немцев, так они, вымеряв, взвесив и исчислив, сказали бы, что тут не съедешь, а мужички ездят, потому что объезжать кругом горы будет чуть не версту. Они не то что ездят — им это редко удается, они низвергаются вдруг, и с дровнями, и с боченками, и с лошадью зимой быстро, в одно мгновение, а летом потише, но вскачь, так что лошадь с размаха по брюхо забежит в воду.

В другом месте, в маленьком городе, я знаю большую гору, по которой извилинами идет между садами дорога вверх. По этой дороге спустится или поднимется пустая телега весьма осторожно, или всадник, и то на такой лошади, которую в три кнута насилу со двора сгонишь. В других экипажах никто по этой горе никогда и не съезжал. Но один купец, очень веселый человек, умный и словоохотливый, любивший попировать, тот, если позовут его в гору, на пир вечером, спускался к себе под гору, на возвратном пути, всегда по этой горе в дрожках и сам правил. Утром, едучи не с пира, а из своей лавки, он возвращался по обыкновенной дороге, и никогда не случалось, чтоб Михей Евлампьевич (так звали купца) и конь не воротились домой, хотя частенько они возвращались порознь (*Б. д. чт.*, с. 183—184; *1858*, с. 639—641).

[5] *Погребец* — дорожный сундучок с напитками и съестными припасами.

[6] *...с душистой струей...*— Возможно, перекличка со следующими строками из «Евгения Онегина»: «По чашкам темною струей Уже душистый чай бежал...» (гл. третья, строфа XXXVII).

[7] *Далее было*: Да, как в 35 ° замерзнут брови и ресницы, от дыхания шарф закуржевеет и примерзнет к лицу, на шапке замерзшее дыхание обращается в сосульки, которые тают и каплют на лицо, тогда пожелаешь поскорее кончить дорогу (*Б. д. чт.*, с. 185).

[8] *...басню о кладе...*— См. примеч. 63 на с. 804.

[9] *Подрези* — железные полосы, прибитые к низу санных полозьев.

[10] *Это природная декорация «Нормы».*— Действие в названной опере итальянского композитора В. Беллини (1801—1835) начинается в священной роще друидов темной ночью, при блуждающих огнях.

[11] *«Casta diva»* — начальные слова каватины Нормы.

[12] *Далее было*: и я опять ушел на холм и загремел известный хор из «Нормы» (*Б. д. чт.*, с. 189).

[13] *Николин день.*— Речь идет о празднике Николы Зимнего (6 декабря).

[14] *Вместо*: или «разведенции»... на другом берегу Лены.— *было*: — Что это? — спрашиваю сегодня у ямщика, завидя домики, трубы и дым на берегу Лены.— Разведенция,— отвечает он (*Б. д. чт.*, с. 190).

[15] *Далее было*: (я очень нравственный человек) (*Б. д. чт.*, с. 190).

[16] *«Это страдания Иова!»* — По библейскому преданию, бог послал праведному Иову жестокие и незаслуженные страдания, отняв у него дом, жену, детей и самого поразив проказою (Книга Иова, гл. 1, ст. 42). Трагическая символика книги Иова привлекала многих русских писателей.

[17] *...названия, данные... казаками при занятии Сибири.*— Речь идет о событиях XVI в.: в 1582 г. казачий отряд под предводительством Ермака (ум. в 1585 г.) разбил войска сибирского хана Кучума и занял столицу ханства Кашлык. Это положило начало колонизации Сибири.

[18] *Гоньба.*— Здесь: ямская повинность.

[19] *Подорожная.*— Документ, удостоверяющий право едущего пользоваться определенным количеством почтовых лошадей.

[20] *...проехал так называемые щеки...*— «Верстах в 250 ниже Киренска,— писал известный ученый,— между деревнями Частинкою и Дубровкою, находятся так называемые *щеки*, или крутые живописные утесы, возвышающиеся то на правом, то на левом берегу Лены...» (см.: *Семенов П.* Географическо-статистический словарь Российской империи. СПб., 1867, т. III, с. 29).

[21] *...дым отечества!* — См. примеч. 16 на с. 805.

[22] *...отсутствие следов крепостного права...*— В Сибири отсутствовало помещичье землевладение; крестьяне были сравнительно достаточно обеспечены землей и платили денежную ренту.

[23] *В самую заутреню...*— Т. е. очень рано (заутреня — христианская церковная служба, совершаемая ранним утром).

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Впервые напечатано: Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. СПб., 1874, с. 525—560, под заглавием: Из воспоминаний и рассказов о морском плавании.

[1] *...отпраздновать... двадцатилетнюю годовщину... фрегата «Диана».*— Гончаров не совсем точен: «Диана», получив серьезные повреждения во время землетрясения 11 декабря 1854 г., затонула 6 января 1855 г. Следовательно, отмечаемая годовщина была девятнадцатой.

[2] *О том же подробно доносил... Е. В. Путятин.*— Имеется в виду «Рапорт генерал-адъютанта Путятина его императорскому высочеству управляющему Морским министерством», помещенный в «Морском сборнике» за 1855 г. в отделе «Официальные статьи и известия» (с. 231—243).

[3] *Жаль, Греча нет, усердного борца за правильность русского языка!* — Журналист и филолог Николай Иванович Греч (1787—1867), издавший «Практическую русскую грамматику» (1827), «Пространную русскую грамматику» (1827—1830) и «Начальные правила русской грамматики» (1828), считал себя борцом за чистоту русского языка.

[4] *...гоголевский вопрос: «Доедет или не доедет колесо до Казани?»* — Неточная цитата из 1-го тома «Мертвых душ» (гл. 1).

[5] *...гамлетовским вопросом: быть или не быть?* — См. примеч. 27 на с. 809.

[6] *Скиния* — святилище, священное место.

[7] *«Истории кораблекрушений»...у разных народов.*— См. примеч. 40 на с. 792.

[8] *...и на Эней, с отцом на плечах...*— Герой Троянской войны Эней (по поэме Вергилия «Энеида») покинул горящую Трою, уведя с собой сына, жену и унеся на плечах старого отца Анхиса.

[9] *...«иных уж нет, а те далече!»* — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. восьмая, строфа XI).

[10] *...для заключения Тсянзинского трактата...*— Этот русско-китайский трактат был подписан 1 (13) июня 1858 г. в г. Тяньцзине Е. В. Путятиным и с китайской стороны уполномоченными богдыхана Гуй-лянем и Хушаном. По нему Россия получала те же торговые льготы и права, что и другие западноевропейские державы.

ДОПОЛНЕНИЯ

В отделе публикуются очерки «Два случая из морской жизни» и «По Восточной Сибири», тесно связанные с вошедшими во II часть «Фрегата „Паллада“» главами, расширяющие материал, вошедший в очерк «Через двадцать лет» (с. 553) и главы «Обратный путь через Сибирь», «Из Якутска» и «До Иркутска» (с. 487, 516, 542). Письма Гончарова из плавания и написанные позже, но также относящиеся к творческой истории очерков, тесно связаны с текстом памятника и зачастую дополняют его. Здесь же помещается статья советского литературоведа Б. М. Энгельгардта, до сих пор не превзойденная в исследовательской литературе о Гончарове.

ДВА СЛУЧАЯ ИЗ МОРСКОЙ ЖИЗНИ

Впервые напечатано: журнал «Подснежник», 1858, кн. 2, с подзаголовком: «Статья первая» и кн. 3, с подзаголовком «Статья вторая». Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации.

Работа над очерком относится к концу 1857 — началу 1858 г.: 20 января 1858 г. рукопись была отдана в цензуру, а 4 февраля вышел из печати № 2 журнала «Подснежник» (предназначавшийся «для детского и юношеского возрастов») с началом очерка (№ 3 вышел 10 марта этого же года). Журнал издавался старым другом писателя Вл. Н. Майковым, по просьбе которого и был написан очерк. По содержанию он связан с написанным гораздо позднее (в 1874 г.) очерком «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» (см. с. 553); «Статья вторая» (она начинается со с. 584) представляет собою подлинный «листок дневника» (с. 585) и является органическим продолжением гл. III второй части (с. 344—379) и VI (с. 448—486). В дальнейшем Майков еще обращался к Гончарову с просьбой написать что-нибудь для его журнала. Отвечая на одну из таких просьб, Гончаров писал ему: «...я тоже нечаянно написал книгу для юношества — „Палладу"; ⟨...⟩ я полагаю, что писать для детей собственно нельзя, а можно помещать в журнал детский что-нибудь уже готовое, что написано и лежит в портфеле, путешествие, рассказ, история — все, что годится и для взрослых и что не имеет в себе ничего, что бы только могло повредить детскому уму и воображению» (письмо из Булони от 9 (21) августа 1860 г.— *СС*, т. 8, с. 349).

[1] *Боа* — крупная южноамериканская змея из семейства удавов.

[2] *Лаперуз* Жан-Франсуа (1741—1788), французский мореплаватель, исследователь Канады и побережья северной части Тихого океана.

[3] *...недавно еще Франклин!* — Английский мореплаватель Джон Франклин (1786—1847) в 1845—1847 гг. возглавлял экспедицию по отысканию Северо-западного морского прохода. Он погиб вместе с членами экспедиции, достигнув острова Кинг-Уильям.

[4] *Туда бы!* — Скрытая цитата из Гете (см. примеч. 12 на с. 795).

[5] *Урусов* Сергей Степанович, князь, гардемарин, потом мичман на «Палладе».

[6] *...в 1851 году, русским транспортом «Байкал».*— Здесь Гончаров неточен. См. об этом на с. 488, 822 и примеч. 1 к ней.

[7] *...по случаю войны...*— Т. е. Крымской кампании (см. с. 816, примеч. 19).

ПО ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Впервые напечатано: *РО*, 1891, № 1. Сохранился черновой автограф части очерка, а также копии его с поправками Гончарова (*ИРЛИ*). Печатается по журнальному тексту со сверкой по автографам.

Очерк создавался в 1889 г. К ноябрю этого года он был готов и отдан на отзыв А. Ф. Кони, который и вернул его писателю 9 ноября этого же, 1889 г. Очерк предназначался для первого номера нового журнала «Русское обозрение», с редактором которого, поэтом и переводчиком кн. Д. Н. Цертелевым, Гончаров был знаком.

Очерк тесно связан с последними главами «Фрегата „Паллада"», дополняя их подробными описаниями якутского и иркутского общества, рассказами о ссыльных декабристах, о Петрашевском — и о себе самом в связи с описываемыми людьми и событиями. Так, в сохранившейся копии есть одна вставка рукою Гончарова, представляющая собою очень характерную сценку между ним и князем С. Г. Волконским: «Между тем тот же князь-декабрист В⟨олконский⟩ как будто застыл государственным преступником. Он шлялся в нагольном тулупе по базарам, перебранивался с ссыльными на поселение или просто с жителями. „Варнак" — нередко слышалось брошенное им или обращенное к нему весьма употребительное в России бранное слово. Он делал это из чудачества.

Как вы думаете, о чем просил меня этот неисправимый декабрист на прощанье: „Не возите нам ничего другого,— сказал он,— только запрещенных книг". „Как! — сказал я ему на это смеясь,— так вы полагаете, что и я поеду по той же дороге..." „Нет, нет,— горячо возразил он,— вы поедете, ежели поедете, так в качестве губернатора".

Каков радикал!».

История этой «сценки» отражена в сохранившихся письмах писателя к Д. Н. Цертелеву (см наст. изд., с. 720—721). Тотчас по выходе книжки журнала с очерком Гончаров писал ему: «Статью мою похваливают и в газетах, и кн. Волконский и другие довольны ею, но сам я вечно недоволен своим трудом — таково свойство моей натуры» (*ИРЛИ*).

[1] *Лет тридцать с лишком тому назад...*— Гончаров прибыл в Якутск около 12 сентября 1854 г.

[2] *...известная поэма Рылеева «Войнаровский»...тогда было неудобно.*— Поэма «Войнаровский» увидела свет еще при жизни Рылеева: она вышла отдельным изданием в Москве в 1825 г. и вызвала ряд положительных отзывов в печати. Как известно, лишь с 1856 г. произведения поэта-декабриста стали появляться в заграничных нелегальных изданиях, а с 1861 они начали публиковаться в России. В 1872 г. в С.-Петербурге вышло первое собрание его сочинений: «Сочинения и переписка Кондратия Федоровича Рылеева» (издание его дочери. Под ред. П. А. Ефремова).

[3] *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839), государственный деятель, юрист и дипломат, с 1808 г. был ближайшим доверенным лицом Александра I, однако с 1812 г. впал в немилость, отстранен от дел и сослан. С 1819 по 1821 гг. был генерал-губернатором Сибири.

[4] *...«память сердца» сильнее «рассудка памяти печальной».*— Начальные строки стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений» (1815) («О, память сердца! Ты сильней Рассудка памяти печальной»).

[5] *Николай Николаевич Муравьев* (1809—1881), граф, русский государственный деятель, дипломат. В 1847—1861 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири. В середине июля 1854 г. на пароходе «Айгунь» прибыл на «Палладу» и отдал распоряжение ей и шхуне «Восток» войти в реку Амур; Гончаров возвращался в Петербург с ним и его свитой; в 1858 г. за успешное заключение Айгунского договора с Китаем, определившего русско-китайскую границу по Амуру, получил титул графа Амурского. С 1861 г. в отставке, был членом Государственного Совета.

[6] *...бывший до Якутска губернатором в одной из губерний Европейской России...*— Под именем Петра Петровича Игорева выведен бывший костромской губернатор Константин Никифорович Григорьев (1799—1871); в 1850—1856 гг. он был якутским губернатором.

[7] *...«на некое был послан послушанье»...*— Строка из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825; слова Пимена из гл. «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»).

[8] *...как Лир...*— герой трагедии У. Шекспира «Король Лир» (1605).

[9] *«Grattez un Russe»,— говорит старый Наполеон...*— Эта фраза («Grattez le Russe et vous trouveres le Rartare») приписывается не только Наполеону I, но и французскому писателю и государственному деятелю Жозефу Мари де Местру, в 1802—1818 гг. жившему в Петербурге в качестве посланника сардинского короля, и принцу де Линю и др.

[10] *...начиная с знаменитого Гагарина...*— Приближенный Петра I, князь Матвей Петрович Гагарин, в 1711—1719 гг. был сибирским губернатором и в течение своего правления нажил хищениями огромное состояние. Петр не раз вызывал его в Петербург и даже отдавал под следствие. В 1718 г. Гагарин проходил по делу царевича Алексея Петровича, но был отпущен в Сибирь. Повешен в 1721 г.

[11] *...«но мы истории не пишем...»...*— Строка из басни И. А. Крылова «Волк и ягненок» (1808).

[12] *Николай Павлович...*— Николай I (1796—1855), император с 1825 г.

[13] *...чтоб отвоевать от них Амур...*— По Айгунскому договору 1858 г. за Россией закреплялся левый берег Амура. Пекинским договором 1860 г. это положение еще раз подтверждалось. По Амуру (а также рекам Сунгари и Уссури) разрешалось плавать только русским и китайским судам (см. также примеч. 5).

[14] *...с графом Нессельроде...*— Речь идет о Карле Васильевиче Нессельроде (1780—1862), управляющем Министерства иностранных дел.

[15] *...«Современник», где я печатал свои труды.*— В «Современнике» к этому времени были опубликованы «Обыкновенная история» (1847, №№ 3, 4), «Иван Савич Поджабрин» (1848, № 1) и «Письма столичного друга к провинциальному жениху» (1848, № 11, 12).

[16] *...от моря и до моря, от чухон до чукчей и якутов...»* — Возможно, здесь содержится скрытая перекличка со второй строфой «Памятника» (1836) А. С. Пушкина.

[17] *...напоминал... гоголевского Петуха...*— Речь идет о персонаже из II тома «Мертвых душ».

[18] *...есть полная, прекрасная книга (Барсукова)...*— Монография И. Барсукова «Иннокентий, митрополит московский и коломенский». М., 1883.

[19] *...в наших американских колониях...*— 30 марта 1867 г. полуостров Аляска и прилегающие острова, открытые и освоенные русскими промышленниками, были проданы Соединенным Штатам Америки.

[20] *Филарет* (Дроздов Василий Михайлович, 1782—1867), московский митрополит с 1821 г.

[21] *Игемон* — правитель.

[22] *После*: не помню какое.— *было*: Зато помню закуску — очень хорошую. Между прочим, был и лимбургский сыр, который попал сюда из-за Уральского хребта. Игорев был гастрономом, и у него всегда водился обширный запас здешних и иностранных закусок.

Лимбургский сыр особенно обратил наше внимание. Я попробовал его слегка, архиерей тоже, губернатор Игорев основательно. Но чиновник-секретарь ни за что не хотел коснуться его, потому что от этого сыра разнесся запах по всей столовой.

На другой и на третий день я, по совету губернатора, развез свои карточки некоторым советникам и купцам. Они не замедлили перебывать у меня все.

[23] *Мамура* — красная морошка.

[24] *...молодого прокурора...*— Вероятно, речь идет о Хрисанфе Ивановиче Филиппове.

[25] *...я упоминал... в самый праздник Рождества Христова.*— См. письмо 6.

[26] *...после геройского отбития англичан...*— Речь идет об августовских событиях 1854 г., когда англо-французская эскадра, подойдя к Камчатке, тщетно пыталась высадить в Петропавловске десант (см. также примеч. 2 на с. 823).

[27] *...Трубецких...*— Т. е. семью декабриста Сергея Петровича Трубецкого (1790—1860).

[28] *Свербеев* Николай Дмитриевич (1829—1860), с 1851 г. служил сначала в Якутске, затем в Иркутске при Н. Н. Муравьеве, в 1854—1855 гг. участвовал в возглавляемых им амурских экспедициях.

[29] *...у Волконских...*— Т. е. в семье декабриста Сергея Григорьевича Волконского (1788—1865).

[30] *Якушкин* Иван Дмитриевич (1796—1857), декабрист.

[31] *...княгини...*— Т. е. Марии Николаевны Волконской (рожд. Раевской, 1805—1863).

[32] *Волконский* Михаил Сергеевич, князь (1832—1907), сын С. Г. Волконского; в 1854—1856 гг. чиновник особых поручений при Н. Н. Муравьеве.

[33] *Другой княгини-декабристки...*— Речь идет о Екатерине Ивановне Трубецкой (рожд. Лаваль, 1800—1854), жене С. П. Трубецкого.

[34] *Поджио* Александр Викторович (1798—1873), декабрист.

[35] *...о Петрашевском... что он — сумасшедший... все считали его за сумасшедшего.*— Об эксцентрическом характере переводчика в Департаменте внутренних сношений Министерства иностранных дел Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского (1821—1866) в Петербурге ходили легенды. Эксцентричность эта проявлялась и в его эпатировавшем общество наряде, и в необычном поведении: так он пытался обратить в социалистическую веру дворников. Один из участников собраний петрашевцев приводил позднее его любимый девиз: «Да свершится правосудие, хотя бы погиб мир» (подробнее см.: Петрашевцы. Сборники материалов. М.; Л., 1926, т. I, с. 99, 101—102, 105, 137—138 и др.). Однако известно, что маской чудака Петрашевский часто прикрывался совершенно обдуманно (см.: *Семевский В. И.* Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922, т. III, с. 86—87).

[36] *...одна за москвича Свербеева...*— Речь идет о Зинаиде Сергеевне Свербеевой, жене Н. Д. Свербеева (см. примеч. 28).

[37] *...другая за моего петербургского приятеля... Ребиндера...*— Речь идет о Александре Сергеевне Трубецкой, вышедшей в 1854 г. замуж за генерала Николая Романовича Ребиндера (1810—1865), тогда кяхтинского градоначальника; позднее он стал попечителем киевского и одесского учебных округов, а в 1859—1861 гг. директором Департамента Министерства народного просвещения (с 1861 г. — сенатором).

[38] *...носили траур...*— В 1854 г. умерла их мать, Е. И. Трубецкая.

[39] *...она явилась... повидаться... С. Г. Волконским.*— В «Иркутской летописи» за 1855 г. сообщалось: «В июле месяце из Иркутска выехала в С.-Петербург статс-дама, светлейшая

княгиня София Григорьевна Волконская, супруга покойного министра императорского двора Петра Михайловича Волконского, прибывшая в Иркутск еще в прошедшем 1854 году, для свидания с родным братом, государственным преступником Сергеем Григорьевичем, проживающим в Иркутске» (цит. по: *Зильберштейн И. С.* Художник декабрист Николай Бестужев. М., 1977, с. 545).

[40] *Венцель* Карл Карлович, генерал, иркутский военный и гражданский губернатор.

[41] *...был потом сам генерал-губернатором Восточной Сибири...*— Речь идет о генерал-майоре Михаиле Семеновиче Корсакове (1826—1871), который с 1848 г. был чиновником особых поручений при Н. Н. Муравьеве, с 1855 — военным губернатором Забайкальской области, а затем генерал-губернатором Восточной Сибири, командующим войсками свиты его императорского величества.

[42] *Брат мой был женат, сестры были замужем, одна из них вдова.*— Речь идет об Н. А. Гончарове, А. А. Музалевской и А. А. Кирмаловой, муж которой, М. М. Кирмалов, умер в 1850 г.

ПИСЬМА

1. Е. А. и М. А. Языковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 344—345. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.

Семья директора Стеклянного завода Михаила Александровича Языкова (1811—1885) была одной из самых близких Гончарову. Петербургский приятель В. Г. Белинского и большинства писателей, группировавшихся вокруг «Отечественных записок», а потом «Современника», М. А. Языков был радушным хозяином и веселым, остроумным собеседником. Его жена, Е. А. Языкова — друг и постоянный адресат Гончарова.

[1] *...я тоже писал к Вам... получено Вами.*— Это письмо от 12 августа не опубликовано (хранится в *ИРЛИ*).

[2] *Анненков* Павел Васильевич (1813—1887) — литературный критик и мемуарист.

[3] *...Элликониде Алекс*⟨андровне⟩*...*— Э. А. Белавиной (ум. 1894), сестре Е. А. Языковой.

[4] *...к начальнику экспедиции.*— Т. е. к Е. В. Путятину.

[5] *Евгения Петровна* — Е. П. Майкова.

[6] *...письмо товарища министра...*— Рекомендательное письмо было написано А. С. Норовым (о нем см. в примеч. к письму 24).

[7] *...под Невским монастырем...*— Речь идет об Александро-Невской лавре.

[8] *Старик Щепкин здесь играет...*— Гастроли М. С. Щепкина (1788—1863) в Петербурге начались 20 августа и продолжались до 3 сентября 1852 г.

[9] *...читал «Разъезд» Гоголя...*— Это чтение происходило, вероятно, в начале августа 1852 г.: в это время Гончаров часто бывал в семьях публициста и юриста В. Ф. и журналиста Е. Ф. Коршей. Сохранилось свидетельство о другом чтении М. С. Щепкина — в доме А. С. Норова, на котором кроме Гончарова были А. Н. Майков, А. В. Никитенко, В. И. Даль и Г. П. Данилевский (см.: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1898, т. XII, с. 195). Данилевский так писал об этом чтении М. П. Погодину: «В среду третьего дня у Авр⟨аама⟩ Серг⟨еевича⟩ был замечательный литературный вечер. Щепкин читал „Театральный разъезд" и „Развязку" „Ревизора". Тут был ⟨...⟩ Гончаров, который по ходатайству Авр⟨аама⟩ Серг⟨еевича⟩ получил место на эскадре ⟨...⟩, отправленной вокруг света ⟨...⟩ и был на вечере накануне своего отъезда из России на три года» (*ГБЛ*, ф. 231, разд. II, к. 10, ед. хр. 28).

2. В. П. Боткину

Впервые напечатано: «Голос минувшего», М., 1923, № 2, с. 169.
Подлинник неизвестен.

О В. П. Боткине см. с. 795, примеч. 13.

[1] *...однажды даже письменно.*— Этот отзыв неизвестен.

[2] *...Николаю Петровичу.*— Речь идет о брате адресата и приятеле Гончарова Н. П. Боткине (1813—1869).

[3] *Накануне отъезда.*— На следующий день отъезд не состоялся.

3. М. А. и Е. А. Языковым

Впервые напечатано (с пропусками): *Лит. насл.*, с. 346—348. Подлинник в *ИРЛИ*. Печатается по подлиннику.
Использовано частично в I гл. «Фрегата „Паллада“» (см. с. 7—55).

[1] *...Tu l'as voulú... bien voulu!* — Цитата из трехактной комедии-фарса Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж», ставшая поговоркой: «Ты сам виноват, пеняй на самого себя» (см.: *Бабкин А. М., Шендецов В. В.* Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода. М.; Л., 1966, кн. 2, с. 1263).

[2] *Шестаков* Иван Алексеевич (1820—1888) — военный моряк; в 1852 г. был командирован в Англию, чтобы заказать два винтовых корвета для Черноморского флота. Впоследствии адмирал.

[3] *...похороны Веллингтона, или дюка...*— См. примеч. 85 на с. 793.

[4] *Панаев* Иван Иванович (1812—1862) — писатель, фельетонист, поэт-сатирик, редактор (вместе с Некрасовым) журнала «Современник», приятель Гончарова.

[5] *...Карамзин называет англичанок миловидными...*— См. «Письма русского путешественника», главку «Дувр».

[6] *...вспомню капитана Копейкина.*— См. примеч. 75 на с. 794.

[7] *Клеменц* — петербургский портной.

[8] *Корпия* — растеребленная до пушистости ткань для перевязывания ран и язв.

[9] *...Ростовским... Ав⟨дотье⟩ А⟨ндреевне⟩...*— Речь идет о приятельнице Гончарова А. А. Колзаковой (в замужестве Ростовской) с супругом.

[10] *...Майковым...*— Семье Н. А. Майкова.

[11] *Панаевым...*— Т. е. И. И. Панаеву и его жене Авдотье Яковлевне (1820—1893).

[12] *Поблагодарите... за рекомендательную записочку...*— Эта «записочка» кн. Дмитрия Александровича Оболенского (1822—1881) к И. С. Унковскому неизвестна.

[13] *Вячеслав Васильевич* — вероятно, родственник Э. А. Белавиной.

4. Е. П. и Н. А. Майковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.,* с. 349—358. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.
Использовано в значительной мере в I гл. «Фрегата „Паллада“» (см. с. 7—55).

Семья академика живописи Николая Аполлоновича Майкова (1796—1873) и его жены поэтессы и беллетристки Евгении Петровны (рожд. Гусятниковой, 1803—1880) стала близкой Гончарову со времени их первого знакомства летом 1835 г.

[1] *...маленькое письмо из Дании...*— Это письмо неизвестно (как и большинство писем к самому писателю; в дальнейшем отсутствующие письма не оговариваются).

[2] *...на якоре в Зунде... на мели.*— В книге «Обзор заграничных плаваний судов русского военного флота с 1850 по 1868 год» в разделе «Постановки судов на мель», сообщалось: «12 октября 1852 года фрегат „Паллада“ вошел в Зунд и при $3^1/_2$ узлах ходу, в туманную и пасмурную погоду, до приезда лоцмана, который за туманом не мог подойти к фрегату,— наткнулся на Дриннский риф, весьма легко и без малейшего толчка; чрез несколько часов фрегат снялся с мели, без всякой выгрузки и пожертвований» (*Обзор,* т. II, с. 53).

[3] *...не видал ни безмолвного, ни лазурного моря.*— См. примеч. 44 на с. 793.

[4] *а в 1834 году из Москвы...*— См. примеч. 45 на с. 793.

[5] *Льховский* Иван Иванович.— См. с. 837.
[6] *Юнинька* — Ю. Д. Ефремова, см. с. 837.
[7] ...*которая плакала*...— Речь идет об А. А. Колзаковой.
[8] ...*крокодиловыми слезами, как говорит Карл Моор*...— Шутливая интерпретация следующих слов Карла Моора из второй сцены первого действия «Разбойников» (1781) Ф. Шиллера: «Люди, люди! Лживое, коварное отродье крокодилов! Вода — ваши очи, сердце — железо» (пер. М. М. Достоевского).
[9] ...*Птоломеевой астрономии и географии*...— См. с. 793, примеч. 47.
[10] ...*или Квинтилиановой риторики*...— Речь идет о трактате Фабия Квинтилиана (ок. 39—96) «Воспоминание оратора», представляющем собою систематическое изложение античной теории словесности.
[11] ...*вроде Пиладова подвига*...— См. с. 793, примеч. 49.
[12] ...*пародия на Карамзина и Булгарина*.— Намек на первые страницы «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина, начинающиеся словами «Расстался я с вами, милые, расстался...» и рассуждение о дружбе в романе писателя и журналиста Ф. В. Булгарина (1789—1859) «Иван Выжигин» (1829).
[13] ...*к Аполлону*...— А. Н. Майкову, см. с. 838.
[14] ...*к графу*...— Речь идет о Федоре Павловиче Вронченко (1780—1852), в 1844—1852 гг. министре финансов, начальнике Гончарова по службе в Департаменте внешней торговли.
[15] ...*у посланника*...— Посланником в Англии в это время был граф Филипп Иванович Бруннов (1797—1875).
[16] ...*Васко-де-Гамы, Ванкуверов*...— См. примеч. 6, 19 к с. 790, 791.
[17] ...*Крузенштернов*...— Русский мореплаватель, адмирал Иван Федорович Крузенштерн (1770—1846) возглавлял первую русскую кругосветную экспедицию (1803—1806 гг.) на кораблях «Надежда» и «Нева».
[18] ...*ни из них — аргивян*.— См. примеч. 68 к с. 794.
[19] *Это вступление... Обломова*.— Работа над романом «Обломов» была начата в 1848 г. и шла «медленно и тяжело» (*СС*, т. 8, с. 245). Отправляясь в плавание, Гончаров собирался продолжать работу над обоими романами — «Обломовым» и «Обрывом».
[20] ...*Старик... Старушку*...— Речь идет о журналисте и переводчике Владимире Николаевиче Майкове (1826—1885) и его жене, беллетристке Екатерине Павловне (рожд. Калите, 1836—1920), прозванной «Старушкой» потому, что «Стариком» дружески именовали ее мужа.
[21] *Капитан* — так в семье Майковых называли брата Н. А. Майкова, офицера Главного штаба Константина Аполлоновича (1811—1891).
[22] *Бурька* — домашнее имя будущего историка русской литературы Леонида Николаевича Майкова (1839—1900), с 1891 г. — академика, с 1893 г. — вице-президента Академии наук.
[23] *Александру Павловичу* Ефремову (1810—1879), мужу Ю. Д. Ефремовой, служившему казначеем при управлении Николаевской железной дороги.
[24] ...*Владимиру Григорьевичу* Бенедиктову, о нем см. примеч. 1 на с. 796.
[25] ...*Юлии Петровне* Кошкаревой (рожд. Гусятниковой) — сестре Е. П. Майковой.
[26] ...*Дудышкину* Степану Семеновичу (1820—1866), журналисту и литературному критику, с 1847 г. возглавлявшему критический отдел «Отечественных записок».
[27] ...*Мансуровым*...— Вероятно, Николаю Павловичу Мансурову (1829—1911) с семьей.
[28] ...*Филиппову* Тертию Ивановичу (?) (1825—1899), публицисту, славянофилу.
[29] ...*Марье Федоровне* Пасовыевой, экономке в семье Майковых.
[30] ...*Михаилу Петровичу*...— Возможно, речь идет об историке и журналисте М. П. Погодине (1800—1875).
[31] ...*Степану Дмитриевичу* Яновскому (1817—1897), врачу, мужу актрисы А. И. Шуберт, близкой к литературным кругам.
[32] *Элькану* Александру Львовичу (ум. 1868), журналисту и переводчику.
[33] ...*писал к Кореневу*...— Это письмо к Андрею Петровичу Кореневу (1821—1891), сослуживцу Гончарова, неизвестно.
[34] *Заблоцкий*-Десятовский Михаил Парфенович (ум. 1858), статистик, чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел.

5. *Е. А. и М. А. Языковым*

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 361—365. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.
Датируется 1852 г. по содержанию.

[1] *...Софрон с Андрюшей...*— Вероятно, речь идет об Андрюше Колзакове с воспитателем.
[2] *Еничка* — дочь Языковых Евгения.
[3] *... на Лысую гору... недостает ведьм...*— Украинские предания гласят, что трижды в год, на Коляду, при встрече весны и в ночь Ивана Купалы, в темную грозовую ночь ведьмы слетаются на Лысую гору и что если ухватиться за ведьму в тот момент, как она собирается лететь, то можно побывать на ведовском шабаше (см.: *Афанасьев А. Н.* Древо жизни. М., 1983, с. 387—389).
[4] *... наш штурман...*— А. А. Халезов.
[5] *...все офицеры с «Двины»... Колзаков...*— На транспорте «Двина» по «Списку офицерам, находившимся в заграничных плаваниях» были следующие лица: «Командир, капитан-лейтенант Бессарабский; лейтенанты: Селиванов, фон-Гроте, Кроун, Назимов; мичманы: Племянников, Лосев, Шефнер, Калзаков. Корпуса флотских штурманов штаб-капитан Клет и прапорщик Семенов. Врач Вишняков» (см.: *Обзор*, т. II, с. 709). Названный здесь Калзаков (Колзаков) — брат А. А. Колзаковой.
[6] *...Андрею Андреевичу с Александрой Александр⟨овной⟩...*— Т. е. А. А. Колзакову (ум. 1853), генерал-майору, члену Совета военно-учебных заведений, и его жене, сестре М. А. Языкова, родителям А. А. Колзаковой.
[7] *Лонгинов* Михаил Николаевич (1823—1875), историк литературы, библиограф, библиофил; в 1850-х годах был близок к кругу «Современника».
[8] *Мухортов* Захар Николаевич (ум. 1876), вице-президент Вольного экономического общества, гофмейстер двора.
[9] *Никитенко* — См. примеч. 2 к письму 23.
[10] *Одоевский* Владимир Федорович, князь (1803—1869), писатель и музыкальный критик, общественный деятель.

6. *Е. А. и М. А. Языковым*

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 361—365. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.
Использовано (частично) в I и II гл. «Фрегата „Паллада“» (с. 7—78).

[1] *Сегодня праздники...*— Рождество.
[2] *... китайские тени...*— Так называли игрушечный картонный театр с декорациями из промасленной бумаги и картонными куклами. Куклы двигались между рамой, обтянутой белой бумагой, и занавесом, за которым помещался зажженный фонарь; на раме-экране отражались силуэты кукол и декораций.
[3] *... если б не было так скучно.*— Лермонтовская реминисценция (см. стихотворение «А. О. Смирновой» (1840). У Лермонтова: «Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно»).
[4] *... эту суку... (см. Тредьяковского)...*— Неточная цитата из стихотворения В. К. Тредиаковского «Песенка, которую я сочинил, еще будучи в московских школах, на мой выезд в чужие края». Оно начинается так: «Плюнь на суку Морску скуку...» (см.: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения/Под ред. акад. А. С. Орлова. Л., 1935, с. 133).
[5] *Стильтон* (от англ. stilton) — сорт жирного сыра.
[6] *вздохнул... по Вашей теплой и светлой зале.*— Вплоть до издания 1879 г. в главе «Атлантический океан и остров Мадера» присутствовали следы этой «залы»: «... ваша гостиная или языковская зала» (*1858, с. 110*).
[7] *Посылаю два вида Портсмутской гавани...*— Один из этих «видов» воспроизведен на с. 30.
[8] *...Николеньке* — сыну Языковых.
[9] *...в Морской.*— На Большой Морской ул. помещался фешенебельный ресторан «Дюссо» (ныне ул. Герцена, 11/6).

[10] *...как будто и не уезжал никуда с Литейной.*— В путешествие Гончаров отправился из занимаемой им квартиры на Литейной в доме Шамшева (ныне Литейный проспект, 52).

[11] *...теперь, в холеру.*— В конце 1852 — начале 1853 г. в Петербурге свирепствовала очередная эпидемия холеры.

[12] *...доверенность с просьбой переслать ее в Симбирск?* — Это письмо не сохранилось. «Доверенность», очевидно, была связана со смертью матери Гончарова (в апреле 1851 г.).

[13] *Другу моему...*— А. А. Колзаковой.

[14] *Андрею Андреевичу, Александре Александровне...*— См. примеч. 6 к предыдущему письму.

7. М. А. Языкову

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 365—368 (ошибочно как письмо И. И. Льховскому). Подлинник в *ИРЛИ* (конец письма утрачен).

Печатается по подлиннику.

Датируется 1853 г. по содержанию.

Использовано частично в конце I — начале II гл. (см. с. 52—60).

[1] *...13-тилетний Лазарев (сын адмирала)...*— См. примеч. 24 на с. 822.

[2] ...мое письмо...— См. письмо 4.

[3] *Любимов* Николай Иванович (1811—1875), с 1852 г. директор Азиатского департамента.

8. Языковым и Майковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 368—370. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

Использовано во II гл. (см. с. 56—78).

[1] *...величиной... с парголовский Парнас.*— Гора Парнас — одна из достопримечательностей расположенного вблизи Парголова Шуваловского парка (заложен во 2-й половине XVIII в.).

[2] *...старший лейтенант...*— К. Н. Посьет.

[3] *...другу моему.*— А. А. Колзаковой.

9. Семье Н. А. Майкова

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 370—373. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

Использовано частично в IV гл. (см. с. 98—185).

[1] *...письмо... от 18 января? ...с Языковыми.*— См. предыдущее письмо.

[2] *...перо... Анненкова...*— Здесь Гончаров допустил, вероятно, намеренное преувеличение, очевидно расчитанное на то, что Анненков прочтет письмо. К этому времени критик напечатал свои «Провинциальные письма», которые были тонко оценены И. С. Тургеневым. В письме к С. Т Аксакову он писал: «Анненкова не должно судить по его „Письмам“ — в нем собственно таланта немного — но он человек чрезвычайно умный, с тонким и верным вкусом...» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма. М.; Л., 1961, т. II, с. 109).

[3] *...один из предводителей кафров...*— Речь идет о Сейоло.

[4] *...война с кафрами кончена...*— См. с. 800, примеч. 4.

10. Е. А. и М. А. Языковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 374—375. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

[1] *...письмо к Майковым...*— См. предыдущее письмо.

[2] *Богаеву* В. И., *Козловскому* Н. Ф., *Средину* А. А.— сослуживцам Гончарова по Департаменту внешней торговли.

11. Е. П. и Н. А. Майковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 377. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.
Использовано в IV гл. (см. с. 98—185).

[1] *...перед отъездом моим внутрь Африки.*— См. письмо 9.
[2] *...Александр Павлович и девочка?* — Речь идет об А. П. Ефремове с дочерью.
[3] *...юная чета...*— В. Н. и Е. П. Майковы.
[4] *Мальчишка* — Л. Н. Майков.
[5] *Обнимаю Вас, Аполлон... и жену...*— Об А. Н. Майкове и его жене см. примеч. к письму 18.

12. Е. А. и М. А. Языковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 377—379. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.

[1] *...Бутаков... поновее и покрепче взамен «Паллады»...* — Е. В. Путятин писал в Петербург в своем донесении: «Для подробнейшего объяснения всех предположений по сему предмету и для выиграния времени я счел нужным послать курьером старшего офицера фрегата Бутакова, полагая отправить его через Батавию, и для сего остановился на несколько часов в местечке Анжер, лежащем в Зондском проливе. Узнав здесь, что голландский пароход идет довольно неправильно, я предпочел идти в Сингапур 〈...〉. Из Сингапура лейтенант Бутаков отправится в Цейлон, оттуда на английских ост-индских пароходах чрез Красное море и Египет достигнет Европы» (*Обзор*, т. I, с. 30—31).
[2] *...письма с мыса Доброй Надежды?* — См. письма 9,10.
[3] *...на Литейной, у Симеона?* — Т. е. у церкви Симеона Богоприимца в Симеоновом переулке.

13. Семье Н. А. Майкова

Впервые напечатано. *Лит. насл.*, с. 380—385. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.

[1] *...как для Чичикова Петрушка — читать.*— Герою Гоголя «...нравилось не то, о чем читал он, но больше само чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения...» («Мертвые души», гл. II).
[2] *...ich singe wie ein Vogel singt.*— Строка из знаменитого стихотворения И. В. Гете «Певец» (1783). (У Гете: Ich singe, wie der Vogel singt, Der in den Zweigen wohnet... 〈Я пою, как поет птица, живущая на ветке... (нем.)〉.
[3] *...можно выдумать Сакунталу.* — «Шакунтала» (или «Узнанная по кольцу Шакунтала») — название драмы древнеиндийского поэта и драматурга Калидасы. В основе ее лежит история взаимной любви царя Душьянты и Шакунталы, дочери нимфы Менака и мудреца Вишвамитры. В России была впервые переведена (с английского) Н. М. Карамзиным («Московский журнал», 1792, ч. VI, кн. 2—3).
[4] *...два письма)?* — Известно лишь одно из этих писем (см. письмо 11).
[5] *...мальчишки тоже, как в Белгородской крепости, понабросали камешков...*— См. гл. VI («Пугачевщина») «Капитанской дочки» (1836) А. С. Пушкина.
[6] *Оршад* (оржад) — миндальное молоко с водой и сахаром.
[7] *...жуковский табак.*— См. с. 806, примеч. 27.
[8] *...маленькая старушка...* — Ек. П. Майкова.

[9] *О род людской, достойный...»* — Неточная цитата из стихотворения «Полководец» (1835). У Пушкина: «О люди, жалкий род, достойный слез и смеха!»

[10] *...Бороздам...* — Поэту Ивану Петровичу Бороздне (1803—1858) с семьей, дружившему с Майковыми.

[11] *...Кошкаревым...* — Семье Ю. П. Кошкаревой.

[12] *Дудышкин* Степан Семенович (1820—1866), журналист и литературный критик.

[13] *Солику* — возможно, имеется в виду поэт Владимир Аполлонович Солоницын (ум. после 1863).

14. Е. А. и М. А. Языковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 385—388. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

Использовано в гл. VI (см. с. 196—221).

15. Е. А. и М. А. Языковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 388—389 (с ошибкой в дате: 7 (20) июля). Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

Использовано в гл. VII (см. с. 222—230).

[1] *Декокт* (лат. decoctum — варево) — отвар из лекарственных растений.

[2] *...во все пять открытые для европейцев китайские порта...*— См. примеч. 1 на с. 806.

16. Ю. Д. Ефремовой

Впервые напечатано: Временник Пушкинского Дома, 1914. ПГ., 1915, с. 107—124. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

Год устанавливается по содержанию.

Юния Дмитриевна Ефремова (рожд. Гусятникова), племянница Евг. П. Майковой, близкая приятельница Гончарова.

[1] *Феня* — вероятно, дочь Ю. Д. и А. П. Ефремовых.

17. И. И. Льховскому

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 390—394. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

Использовано в VIII гл. (см. с. 231—243).

Иван Иванович Льховский (1829—1867), друг Гончарова; публицист, чиновник Министерства финансов.

[1] *Мих⟨аил⟩ Парфенович* Заблоцкий-Десятовский.

[2] *...в общем письме к Майковым.*— См. письмо 13.

[3] *...как пушкинский дьявол, увидавший у райского порога ангела.* — Намек на вторую строфу стихотворения «Ангел» (1827):

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

[4] *...мысль свою о художнике...* — Речь идет о романе «Обрыв» и его герое Райском.

18. А. Н. и А. И. Майковым

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.
Публикуется впервые.
Частично отразилось в VIII гл. (см. с. 231—243).

Письмо обращено к поэту А. Н. Майкову (1822—1897), ученику (в 1835 г. Гончаров был его домашним учителем) и другу писателя, и его жене А. И. Майковой (рожд. Штеммер; 1830—1911). Майков посвятил Гончарову несколько стихотворений («Анакреон» (1852), «И. А. Гончарову» (1855) и «Рыбная ловля» (1856)).

[1] *...Кошкарева и кадет...* — Речь идет о муже и детях Ю. П. Кошкаревой.
[2] *...у себя на Литейной?* — См. примеч. 10 к письму 6.

19. Э. А. Белавиной

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *ЦГАЛИ*.
Публикуется впервые.
Использовано в VIII гл. (см. с. 231—243).

[1] *А одного несчастного матроса... он умер.* — В официальном донесении об этом случае писалось: «10 июля 1853 г. 〈...〉 при тяге сей-талей, заложенных в помощь грот-вантам, подавшихся на бензелях от сильного шторма, стоявшему на грот-путенс-вантах матросу Ян Ларю разогнувшимся гаком ударило в голову и раздробило темянные и затылочную кости, отчего он через пять дней умер» (*Обзор*, т. II, с. 201).

[2] *Горбунов* Кирилл Антонович (1822—1893), художник-портретист; в конце 1840-х гг. написал портрет Гончарова (масло; *ИРЛИ*, Лит. музей, № 5617).

[3] *А. Попов.* — Возможно, речь идет об Андрее Александровиче Попове (1821—1898), позднее адмирале, посещавшем Гончарова в 1881 г. (*Летопись*, с. 249). Не исключено также, что это тот А. П. Попов (Александр Павлович), который упоминается Гончаровым в письме к И. И. Льховскому от 5 (17) ноября 1868 г. Льховский и Попов плыли на корвете «Рында» вокруг света.

20. Е. А. и М. А. Языковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 304—305. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.

[1] *...в Контору...* — Т. е. в «Комиссионную контору М. А. Языкова и комп.», учрежденную в 1848 г. и находившуюся на Невском проспекте у Аничкова моста в доме Лопатина. П. А. Плетнев писал Я. К. Гроту в ноябре 1848 г.: «Можешь оттуда, начиная с книг, выписывать все на свете, до зубных щеточек» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896, т. III, с. 355).

[2] *П. В. Зиновьев* (1812—1863), чиновник Министерства финансов, богатый помещик; был знаком со многими писателями.

[3] *...распорят брюхо... употребителен.*— См. примеч. 3 на с. 807.

[4] *...Ивану Сергеевичу* Тургеневу.

[5] *...этого милого для меня во многих отношениях общества...*— В. Ф. Одоевский состоял председателем «Общества посещения бедных».

[6] *Бодиско* Федор Николаевич, чиновник посольства в Вашингтоне, был направлен к Путятину с дипломатической почтой.

[7] *...посланника в Америке...* — Речь идет об Александре Андреевиче Бодиско.

21. М. А. Языкову

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 395—396. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.

Использовано в I гл. второго тома (см. с. 244—306).

[1] *Санкюлоты* (от франц. sans-culottes — букв. без коротких штанов). Гончаров употребляет это слово в смысле: без штанов.

22. Е. П. и Н. А. Майковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 396—400. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.
Использовано в I гл. второго тома (с. 244—306).

[1] *...слухи о войне...* — Англия и Франция объявили войну России 24 марта 1854 г. См. также наст. изд., с. 732—734; 812, примеч. 6; 823, примеч. 2.
[2] *...Марью Алексеевну... Настасью Степановну...* — Вероятно, членов семьи Майковых.
[3] *...быть или не быть...* — Эта цитата из «Гамлета» неоднократно встречается (или обыгрывается) в тексте «Фрегата „Паллада"» (см. с. 809, 810, 827).
[4] *...вломились прямо в Иедо...* — 8 июля 1853 г. эскадра коммодора Перри подошла к бухте Урага и 14 июля высадилась на берег, в то время как ни один иностранный корабль не мог войти ни в один порт, кроме Нагасаки.
[5] *...что придут за ответом через полгода.* — Перри заявил японским представителям, что за ответом он вернется только следующей весной.
[6] *Tu l'as... voulu!* — См. с. 832, примеч. 1.

23. А. Н. Майкову

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.
Публикуется впервые.

[1] *...поблагодарить его... свиньей.* — См. письмо 24.
[2] *... Ал⟨ександру⟩ Вас⟨ильевичу⟩ Никитенке и Казимире Казимировне...* — А. В. Никитенко (1805—1877), друг Гончарова; в 1832—1864 гг. он состоял профессором словесности в Петербургском университете, в 1833—1848 гг. был цензором Петербургского цензурного комитета, а в 1847—1848 гг.— официальным редактором «Современника», позднее — академик (с 1855 г.) и член Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания (в 1861—1865 гг.). Казимира Казимировна — его жена.
[3] *...война с англичанами.* — См. примеч. 1 к письму 22.

24. А. С. Норову

Впервые напечатано: *РА*, 1899, № 1, с. 192—197, с примечанием: «Это и следующее письмо печатается с подлинников, любезно сообщенных в „Русский архив" племянником А. С. Норова Н. П. Поливановым». Подлинник неизвестен.
Печатается по тексту первой публикации.

Авраам Сергеевич Норов (1795—1869), востоковед, филолог; в 1850—1854 гг. был товарищем министра народного просвещения; с апреля 1853 г. в связи с болезнью П. А. Ширинского-Шихматова исполнял обязанности министра.

[1] *Это клочок Regentstreet...*— На лондонских улицах Нью-Бонд и Риджентстрит, пролегающих среди обширного парка, размещались королевские дворцы и богатые магазины.
[2] *...только с 1842 года.* — В 1842 г. Гонконг был оккупирован англичанами по Нанкинскому договору и перешел во владение Великобритании.
[3] *...мы встретили одну из тех бурь... на своем месте.* — Описание этой бури см. на с. 186—187.
[4] *Константин Николаевич* Романов, в кн. (1827—1892), государственный и военный

деятель, генерал-адмирал; с 1852 г. товарищ начальника Главного морского штаба; в 1855—1881 гг. управляющий флотом и Морским министерством. с 1865 г.— председатель Государственного совета.

25. Е. А. и М. А. Языковым

Впервые напечатано: Временник Пушкинского Дома. Пг., 1914, с. 98—103. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

Использовано во II гл. второго тома (см. с. 307—343).

1 *...Андрею Алекс⟨андровичу⟩* Краевскому.

2 *...книжку Ивана Сергеевича...* — Речь идет о первом отдельном издании «Записок охотника», вышедшем в Москве в 1852 г.

3 *...издает Пушкина!* — П. В. Анненков работал в это время над изданием собрания сочинений Пушкина (см.: Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии, портрета, снимков с его почерка и с его рисунков и проч. Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855—1857, т. I—VII).

4 *...жаль Николая Ивановича.*— В 1853 г. критика, ученого и журналиста Н. И. Надеждина разбил паралич, и он оставил редакторство «Журнала Министерства внутренних дел»; старания В. Ф. Корша получить освободившееся место редактора не увенчались успехом.

26. Е. А. и М. А. Языковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 402—406. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

Использовано в V гл. второго тома (см. с. 402—447).

1 *...наши два судна...* — В состав эскадры кроме фрегата «Паллада» входили корвет «Оливуца», шхуна «Восток» и транспорт «Князь Меншиков»; два последние судна подошли к «Палладе» и «Оливуце» 2 апреля у острова Гамильтон.

2 *Если у нас с ними война...* — См. примеч. 1 к письму 22.

3 *...начинались несогласия с Турцией...*— В 1852 г. обострились распри между католическим и православным духовенством из-за обладания «святыми местами» в Палестине. В феврале 1853 г. Николай I уполномочил чрезвычайного посла кн. А. С. Меншикова потребовать от Турции поставить всех православных турецкой империи под покровительство русского царя. В мае 1853 г. турецкое правительство отвергло русский ультиматум, и Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией.

4 *...вспомнишь... Галлера...*— Вероятно, речь идет о поэме швейцарского поэта и естествоиспытателя А. фон Галлера (1708—1777) «Альпы», дающей идеализированное изображение швейцарских горцев, особенно их патриархального быта и нравов, и являющейся образцом описательно-дидактической, ландшафтной поэзии.

5 *...dottore Bartholo...* — Персонаж оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» (1816), забавный старик.

27. Е. П. и Н. А. Майковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 406—408. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

1 *Старик* — В. Н. Майков.

28. Е. П. и Н. А. Майковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 408—411. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

Использовано в VI гл. второго тома (см. с. 448—486).

[1] *...берег вреден для меня...* — Перефразировка строки из «Евгения Онегина» (у Пушкина: «Но вреден север для меня», гл. первая).
[2] *...к Андрею Алекс⟨андровичу⟩* Краевскому.
[3] *...и Крестом...* — Т. е. созвездием Южный Крест.

29. М. А. Языкову

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.
Публикуется впервые.

30. М. А. Языкову

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 411—412. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.

[1] *...хлопочу о качалке...*— См. наст. изд., с. 494.
[2] *...адмиральше Путятиной...* — Речь идет о Марье Васильевне Путятиной (1822—1879).

31. Семье Майковых

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 412—417. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.
Использовано в VII гл. и очерке «По Восточной Сибири» (см. с. 487—515, 594—614).

[1] *...сцену из Ромео и Юлии.* — Шутливая отсылка к сцене второго акта трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1597).
[2] *...всегда ценил мои труды...* — Еще в сентябре 1853 г. Е. В. Путятин в письме к А. С. Норову одобрительно отзывался о работе Гончарова и благодарил министра за «рекомендацию и содействие» в назначении Гончарова на должность секретаря (письмо опубликовано: *РА*, 1899, № 1, с. 198—199). Вскоре Путятин направил в Петербург ходатайство о представлении Гончарову старшинства в чине коллежского асессора (см.: Огни. Пг., 1916, кн. 1, с. 176), а 26 июля 1854 г. в рапорте морскому министру об откомандировании Гончарова сухим путем в Петербург писал: «Я не могу не выразить вновь моей благодарности за благосклонное ходатайство Ваше о назначении г. Гончарова в экспедицию. ⟨...⟩ Он по своим способностям и образованию весьма полезен для службы, и я смело могу рекомендовать его Вашему превосходительству для исполнения всякого рода важных поручений» (см.: *РС*, 1911, т. X, с. 50—51).
[3] *Все это было бы очень смешно... скучно.* — См. примеч. 3 к письму 6.
[4] *...с двумя офицерами.* — Т. е. с К. В. Оболенским и П. А. Тихменевым.
[5] *...гамбсовским креслом...* — Т. е. креслом из петербургского мебельного магазина на Итальянской улице, владельцами которого были мебельщики Аристид, а потом Петер Гамбсы.
[6] *...нашли во мне... прекрасного Иосифа...* — По библейской легенде, Иосиф Прекрасный, проданный в рабство египетскому царедворцу, спасаясь от домогательств жены своего господина, бежал, оставив в ее руках свою одежду (Бытие, гл. 39).
[7] *...хотя бы самих израильтян или рыцарей в Палестину...* — В Библии рассказывается о переселении израильского народа из Египта в Палестину (Исход, гл. 14). *Рыцари* — здесь: крестоносцы.
[8] *...читая их!* — Речь идет об огромной литературе, посвященной крестовым походам (1096—1270).
[9] *...Степану Семеновичу* Дудышкину.
[10] *...о Колоницыне?*— См. примеч. 13 к письму 13.
[11] *...Капитан... повестями... подлиннее Ваших четырдагских и лопухинских рассказов.*— Рассказы К. Н. Майкова в печати не появлялись: вероятно, они читались на семейных вечерах.

32. *А. А. Краевскому*

Впервые напечатано: *РС*, 1911, № 10, с. 51—56. Подлинник в *ГПБ*.

Печатается по подлиннику.

Датируется по содержанию: здесь упоминается письмо к Е. П. и Н. А. Майковым от 14 сентября, в котором, в постскриптуме, сказано: «Краевскому не кланяйтесь, я сам написал к нему» (см. с. 704); в Якутске Гончаров пробыл до 26 ноября; следовательно, письмо могло быть написано только в этот период.

Использовано в VIII гл. второго тома (см. с. 516—541).

[1] *...ко всему отечественному... к «Запискам»...* — Обыгрывается название журнала Краевского «Отечественные записки».

[2] *...«не грезилось нашим геологам...»* — Перефразировка слов Гамлета из сцены V акта I трагедии «Гамлет». (У Шекспира: «Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Пер. М. П. Вронченко).

[3] *Губернатор* — К. Н. Григорьев.

[4] *...чтоб оплакивать свой Иерихон...*— Библейский Иерихон — город, павший от звука священных труб (книга Иисуса Навина, гл. 6).

[5] *...Dumas...* — Александр Дюма (отец; 1802—1870), французский писатель и драматург.

[6] *...как Манилов на балконе...* — Имеются в виду «размышления» Манилова в конце II главы «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

[7] *Демидовская премия* (в сумме 1420 руб. серебром) присуждалась ежегодно по всем отраслям наук (на общую сумму 20 тыс. руб. серебром).

[8] *...как говорит немецкий булочник Каратыгина, здорового ума...* — «Он человек здорового ума»,— слова булочного мастера Ивана Ивановича Клейстера, героя водевиля П. А. Каратыгина «Булочная, или Петербургский немец» (СПб., 1843, с. 20).

[9] *...тисните ее, пожалуй... в «Смесь»...* — Сцена с акулой вошла в главу «От Манилы до берегов Сибири»; в «Отечественных записках» (№ 4 за 1855 г.) появилась первая публикация из будущей книги — очерк «Ликейские острова» (впоследствии IV гл.).

[10] *Милютины* — т. е. экономист В. А. Милютин (1826—1855) и его братья.

[11] *Арапетов* Иван Павлович (1811—1877), чиновник.

[12] *...подвернется Соллогуб...* — Речь идет о писателе, драматурге и мемуаристе Владимире Александровиче Соллогубе (1814—1882); в 1858 г. ему был подарен экземпляр «Фрегата „Паллада“» (см. письмо Гончарова к нему от 19 мая 1858 г.— Архив Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР. Кол. Н. П. Лихачева, 271.252а).

[13] *Алексей Гр⟨игорьевич⟩ Тепляков* (1805—1872), беллетрист, брат поэта В. Г. Теплякова.

33. *Ю. Д. Ефремовой*

Впервые напечатано: Невский альманах. Пг., 1917, вып. II, с. 12—13. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

[1] *...большое письмо к Майковым...*— См. письмо 31.

34. *К. Н. Григорьеву*

Впервые напечатано: *РС*, 1911, № 10, с. 56—59. Подлинник в *ГПБ*.

Печатается по подлиннику.

Использовано в очерке «По Восточной Сибири» (см. с. 594—614).

[1] *Павел Петрович Лейман и Крамер* — якутские чиновники.

[2] *...у Николая Николаевича* Муравьева.

[3] *...не видал... знаменитых столбов и щек...*— О щеках см. с. 827, примеч. 20; «В 180 верстах выше Якутска, против станций Синей и Батамая,— пишет известный ученый,— нахо-

дятся самые живописные скалы всего течения Лены, известные под именем Ленских столбов...» (*Семенов П.* Географическо-статистический словарь Российской империи. СПб., 1867, т. III, с. 30).

[4] *...гг. Мартынов и князь Энгалычев... Буссе, Козаневич...*— иркутские чиновники.

[5] *Корсаков* Михаил Семенович, чиновник особых поручений при Н. Н. Муравьеве (см. о нем примеч. 41 на с. 831).

[6] *И. П. Антонов* — иркутский чиновник.

35. М. С. Волконскому

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.
Публикуется впервые.

36. Е. П. и Н. А. Майковым

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 419—422. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается по подлиннику.

[1] *...отражать нападение союзников.* — См. примеч. 1 к письму 22.

[2] *...фельетон... приложения сил.*— См. примеч. 10 на с. 825.

[3] *...камчатская победа...* — В 1854—1855 гг. Н. Н. Муравьев руководил экспедицией по Амуру до устья перед окончательным разграничением между Россией и Китаем.

[4] *...оба писаны из Якутска.* — См. письма 28 и 31.

[5] *Катерина Алекс⟨андровна⟩* Языкова.

[6] *Павел Ст⟨епанович⟩* Калита, отец Е. П. Майковой.

37. М. С. Волконскому

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.
Публикуется впервые.

38. Н. А. Гончарову

Впервые напечатано: *Н. вр.*, 1912, № 13017, 9 июня. Приложение.
Печатается (частично) по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.

Гончаров Николай Александрович (1808—1873), брат писателя, учитель симбирской гимназии; в 50-х — начале 1860-х гг. редактор «Симбирских губернских ведомостей».

[1] *Сестра Анна Алекс⟨андровна⟩* Музалевская (1818—1898).

[2] *...книжки о Японии... в «Морском сборнике»...* — Отдельным изданием очерк «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» вышел 2 ноября 1855 г. (отпечатан в типографии Академии наук).

39. И. И. Льховскому

Впервые напечатано: *Лит. архив*, Л., 1951, т. 3, с. 146—151. Подлинник в *ИРЛИ*.
Печатается (частично) по подлиннику.

И. И. Льховский плыл на корвете «Рында», совершавшем кругосветное путешествие по следам «Паллады».

[1] *Дружинин* Александр Васильевич (1824—1864) — писатель, критик и переводчик.

[2] *в «Атенее» весьма благоприятный отзыв...*— В журнале «Атеней» (1858, ч. VI, ноябрь—декабрь) с разбором отдельного издания «Фрегата „Паллада“» выступил М. Ф. де Пуле.

[3] *...«Записки внука Багрова»...* — Речь идет о вышедшей в 1858 г. автобиографической книге С. Т. Аксакова (1791—1859) «Детские годы Багрова-внука», написанной на основе семейных преданий и воспоминаний.

[4] *«Бежин луг»* И. С. Тургенева был опубликован в 1851 г. и затем вошел в состав «Записок охотника».

[5] *«Сон Обломова»*, напечатанный до написания всего романа, вошел позднее в него в качестве главки IX части первой.

40. И. И. Льховскому

Впервые напечатано (не полностью): *Лит. насл.*, с. 425—426; полностью: *СС*, т. 8, с. 311—314. Подлинник в *ИРЛИ*.

Печатается по подлиннику.

[1] О *Каролине* см. по указателю имен.

[2] *...советую также дать... статью и в «Современник»...* — В журнале «Современник» Льховский не печатался.

[3] *...редактор... не простил бы этого.* — Редактором «Библиотеки для чтения» был в это время А. В. Дружинин.

[4] *...«Записок» Лакиера... появлялись в этих журналах.*— Записки и очерки А. Б. Лакиера (1825—1870) помещались в «Современнике», «Русском вестнике» и «Отечественных записках», а затем они вышли в двух томах под общим заглавием «Путешествие по Североамериканским Штатам, Канаде и острову Кубе» (СПб., 1859).

41. Д. Н. Цертелеву

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.

Публикуется впервые.

Д. Н. Цертелев (1852—1911), поэт, переводчик и философ, в 1890—1898 гг. был редактором журнала «Русское обозрение». Гончаров познакомился с ним в 1873 г. (см.: *Летопись*, с. 206).

[1] *...моей статьи...* — Речь идет об очерке «По Восточной Сибири» (см. о нем: наст. изд., с. 828—829).

[2] *От г⟨оспод⟩ Клюшникова и Маркса... в редакции «Нивы»...*— А. Ф. Маркс был издателем журнала «Нива» (1870—1918) до 1904 г. Писатель В. П. Клюшников (1841—1892) был первым его редактором.

42. Д. Н. Цертелеву

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.

Публикуется впервые.

[1] *Софья Алек⟨сандровна⟩ Никитенко* (1840—1901) — дочь В. А. Никитенко, переводчица; на протяжении многих лет являлась помощницей Гончарова в его литературной работе.

В письме, отправленном на следующий день, Гончаров писал: «Мы играем с Вами как будто в прятки, многоуважаемый князь Дмитрий Николаевич: я только что отправил к Вам письмо, как получил Ваше от 25-го ноября ⟨...⟩

Я просил только во вчерашнем письме Вас самих вместо С. написать *Свербеев* (женатый на младшей Трубецкой, тот самый, который привез меня к жене фельдмаршала князя П. М. Волконского); да еще вместо бывших декабристов Я.— Якушкин и Поджио, вместо П., если все они умерли.

Остальное все по-прежнему...».

43. Д. Н. Цертелеву

Печатается (не полностью) по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.
Публикуется впервые.

44. Д. Н. Цертелеву

Печатается по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ*.
Публикуется впервые.

[1] *Пустынька вся сгорела.* — Речь идет об имении (под Петербургом) поэта графа А. К. Толстого (1817—1875), где вместе с вдовой поэта С. А. Толстой (рожд. Бахметевой; ум. 1892) жила ее племянница С. П. Хитрово (ум. 1910).

Бывал в Пустыньке и Гончаров. «Все в этом доме изящно, удобно и просто,— писал в своем дневнике А. В. Никитенко.— Самая местность усадьбы интересная. Едешь к ней по гнусному ингерманландскому болоту и вдруг неожиданно натыкаешься на реку Тосну, окаймленную высокими и живописными берегами. На противоположном берегу ее дом, который таким образом представляет красивое и живописное убежище» (Никитенко А. В. Дневник в трех томах. Л., 1955—1956, т. I, с. 113).

Сохранилось еще одно письмо Гончарова к Цертелеву — от 4 февраля 1891 г. В нем писатель сообщал своему издателю: «Я получил две книжки „Русского обозрения“, за прошлый — последнюю и за нынешний год январскую — с моею статьею и очень Вам благодарен.

Также благодарю Вас и за отдельные оттиски моей статьи, принесенные мне с почты несколько дней назад.

Боюсь только, не был ли я нескромен, попросивши Вас прислать их мне? Я роздал пока 6 или 7 экземпляров, между прочим три экземпляра представил вел⟨икому⟩ князю и 4 экз⟨емпляра⟩ роздал разным лицам. Остальные еще хранятся у меня.

Статью мою похваливают и в газетах, и кн. Волконский и другие довольны ею, но сам я вечно недоволен своим трудом — таково свойство моей натуры...».

Б. М. Энгельгардт

«ФРЕГАТ „ПАЛЛАДА“»

Впервые напечатано: *Лит. насл.*, с. 309—343.

Известный советский литературовед Борис Михайлович Энгельгардт (1887—1942), автор книг «Александр Николаевич Веселовский» (1924), «Формальный метод в истории литературы» (1927) и ряда статей, посвященных Пушкину, Л. Толстому, Достоевскому и Блоку, большое внимание уделял творчеству Гончарова. Публикуемая здесь его вступительная статья к «Путевым письмам И. А. Гончарова из кругосветного плавания» отличается тщательностью разработки темы, оригинальностью анализа текста «Фрегата „Паллады“» и несомненно является одной из самых серьезных и интересных работ, посвященных книге.

Особый интерес представляют те разделы статьи, в которых исследователь стремится определить литературно-художественное своеобразие «Фрегата „Паллада“», выяснить, говоря его словами, «какие художественные замыслы положены в основу произведения, какие тематические и стилистические задания ставил себе писатель, когда он не просто давал отчет о кругосветном плавании, а уже сознательно использовал факты путешествия как материал для художественного произведения». Восстановив по многочисленным документам «подлинную историю экспедиции» и сравнив ее с тем, как она отразилась в повествовании Гончарова. Б. М. Энгельгардт убедительно доказывает, что «Фрегат „Паллада“» — прежде всего литературное произведение, в основе которого лежит определенный художественный замысел и которое преследует цели, далеко выходящие за пределы бесхитростного и правдивого описания путешествия. Более того: сами художественные принципы, которыми

руководствовался Гончаров в своем повествовании,— это, по мнению исследователя, те самые принципы, которые характерны для творчества Гончарова вообще. Как и все произведения Гончарова, утверждает он, «Фрегат „Паллада“» направлен «против художественных и бытовых традиций русского романтизма тридцатых и сороковых годов» и является «едва ли не самым полным и завершенным произведением Гончарова, где с особенной ясностью вскрывается основная задача всей его литературной деятельности: задача преодоления романтизма».

Для понимания идейно-художественной направленности «Фрегата „Паллада“», как и литературной позиции Гончарова вообще, эти наблюдения Б. М. Энгельгардта имеют первостепенное значение.

Статья Б. М. Энгельгардта была написана полвека назад, и вполне естественно, что отдельные ее положения кажутся сегодня не совсем бесспорными. Так, например, вряд ли можно согласиться с тою трактовкой, которую получила в статье «проблема автора» или, говоря конкретнее, образ повествователя во «Фрегате „Паллада“». Увлеченный стремлением (в основе своей вполне оправданным) доказать типологическое родство «Фрегата „Паллада“» со всеми другими произведениями Гончарова, в частности с его трилогией, Б. М. Энгельгардт (и уже совершенно неоправданно) экстраполирует на «Фрегат „Паллада“» и всю проблематику гончаровской трилогии; в идейно-тематической основе путевых записок ему видятся те же самые конфликты, те же самые нравственно-социальные антитезы, которые характеризуют и трилогию. «И здесь и там,— утверждает исследователь,— одно и то же противопоставление: трезвой, реалистической, деловой идеологии лавочника — „обломовщине“ ⟨...⟩ Только взаимоотношение между обоими членами противопоставления различно. В романе весь передний план занят великолепно осуществленным образом барина, а лавочнику отведено место на втором плане ⟨...⟩ В очерках путешествия, напротив: образ лавочника вырастает до идеально величавых размеров, а путешественник показан очень скромно».

Эта аналогия и сама по себе является достаточно очевидным преувеличением. Но дело не столько в ней, сколько в том, что в прямой зависимости от нее оказывается, в трактовке Б. М. Энгельгардта, и сам образ повествователя. Ибо если проблематика «Фрегата „Паллада“» типологически воспроизводит проблематику гончаровских романов, то и повествователь во «Фрегате „Паллада“» — это не И. А. Гончаров, а некая «литературная маска», полностью приспособленная к нуждам этой абстрагированной от самого путешествия проблематики. Индивидуально-биографические черты повествователя оказываются, таким образом, полностью игнорированными, и на месте одной крайности, против которой справедливо возражает Б. М. Энгельгардт (понимание «Фрегата „Паллада“» и как «отчета о кругосветном плавании»), возникает другая — стремление представить фигуру повествователя как некий условный образ, никак не соотносящийся с личностью писателя.

Художественным или нехудожественным произведение делает отнюдь не то, в какой степени присутствует в нем личность автора и насколько он, автор, следует в своем повествовании действительным фактам. В любом случае основу художественного произведения составляет система образов, в которых реализуются впечатления писателя от реальной действительности, его отношение к ней. Формируя эту систему, автор совершенно свободен в отборе фактов, ибо важны они для него не сами по себе, а лишь в той мере, в какой они способны выразить его конкретную мысль. Эта система образов во «Фрегате „Паллада“» и подлежит прежде всего изучению.

[1] *...Дружинин...*— Речь идет о статье «„Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов“. Из путевых заметок И. Гончарова». СПб., 1855.— *Совр.*, 1856, № 1, отд. III, с. 1—26 (без подписи).

[2] *...Дудышкин...*— Имеется в виду статья: «Из путешествия г. Гончарова: „Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов“. „Из Якутска“, „Атлантический океан“. „Остров Мадера“. „Ликейские острова и Манила“» — *ОЗ*, 1856, № 1, отд. III, с. 35—50.

[3] *...Кеневич...*— Подразумевается статья: «„Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов“ (Из путевых записок) И. Гончарова». СПб., 1855.— *Б. д. чт.*, 1856, т. CXXXV, № 2, отд. V, с. 25—44 (подпись -вич).

[4] *...«правдивым до добродушия рассказом»...*— Неточная цитата. В главе «Русские в Японии» Гончаров пишет: «Обещаю одно: верное, до добродушия, сказание о том, как мы провели вчерашний день» (с. 351).

[5] Кроме цитированной ниже литературы мною были использованы следующие дела, хранящиеся в Историческом отделе архива б⟨ывшего⟩ Морского министерства (ныне Центрального Государственного архива Военно-морского флота СССР в Ленинграде,— *Ред.*); 1) об отправлении в заграничное плавание фрегата «Аврора» и о замене оного фрегатом «Паллада». Дело Инспект. д-та за № 257; 2) об экспедиции фрегата «Паллада» под начальством адм. Путятина для осмотра берегов русских колоний в Америке. Воен.-походн. по флоту канцел. за № 138/75; 3) Путятин — об инструкциях, данных при отправлении в кругосветное путешествие. Воен.-походн. канц. секрет. по сдаточн. описи № 3; 4) плавание фрегата «Паллада» и шхуны «Восток». Инспект. д-та № 326. (1853 г.); 5) И. А. Гончаров. Назначение его секретарем при ген.-адм. Путятине. Инспект. д-та № 257; 6) по предмету заключения с японским уполномоченным трактата в г. Симоде и с запиской о действиях ген.-адм. гр. Путятина. Канцел. Морского м-ва № 14835; 7) всеподданнейшее донесение гр. Путятина о плавании фрегата «Паллада» и других судов. Гидрограф. д-та № 40; 8) о разрешении морским офицерам, участвовавшим под начальством гр. Путятина в дальнем вояже, поднести бывшему начальнику картину или портрет. Канцелярия морского м-ва № 15437 (*примеч. Б. Э.*).

[6] *...тимберованная в 1841 г. «Паллада»...* — Формуляр «Паллады» см.: «Список русских военных судов с 1668 по 1868 гг.». СПб., 1872, с. 107 (*примеч. Б. Э.*).

[7] *«Нынешняя осень... разрушения».— К. П⟨осьет⟩*. Письма с кругоземного плавания в 1852, 1853 и 1854 годах.— *ОЗ*, 1855, № 3, отд. VI, с. 2.

[8] *«Что за бурное стоит время... никогда»*. — Из письма молодого мичмана своим родителям с острова Мадеры от 22 января 1853 года. — *М. сб.*, 1853, № 9, с. 323 (имя мичмана — П. П. Анжу — не названо).

[9] Для описания шторма см.: Шханечный журнал, ч. I (1853), л. 138; Рапорт Путятина ген.-адм. от 1(13) июня (*примеч. Б. Э.*). *Посьет К. Н.* О плавании фрегата «Паллада» из Англии на мыс Доброй Надежды и в Зондский пролив в 1853 году. — *М. сб.*, 1853, № 9, с. 243; Замечания о шторме, выдержанном фрегатом «Паллада» в 1853 году. — Там же, 1856, № 2, отд. III, с. 459—468 (без подписи; *примеч. Б. Э.*).

[10] *...коммодор Перри... с весьма внушительной... эскадрой...*— См. примеч. 13 на с. 798.

[11] Отчет о плавании фрегата «Паллада», шкуны «Восток», корвета «Оливуца» и транспорта «Князь Меншиков» под командою генерал-адъютанта Путятина в 1852—1854 годах. — *М. сб.*, 1856, № 1, отд. III, с. 132—174; *Болтин А.* Шторм в Восточном океане, выдержанный фрегатом «Паллада». — Там же, 1855, № 7, отд. V, с. 7—10 (*примеч. Б. Э.*). Подробности выдержанного шторма так излагались позднее в сухом отчете, помещенном в разделе «Ураганы и вихри» «Обзора заграничных плаваний русских судов»: «Утром 9-го (июля,— *Ред.*) и в течение дня ветер продолжал усиливаться и на фрегате стали делать приготовления к выдержанию одного из тех жестоких вращательных штормов, которые случаются в здешнем море в летние месяцы. ⟨...⟩ Хотя шторм этот не произвел особенно важных повреждений в фрегате, но, однако же, показалась течь верхнею частию, и на всем фрегате нельзя было найти сухого места. Две помпы работали почти постоянно. Во время шторма генерал-адъютант Путятин успел убедиться в неудобстве употребления у вант железных винтов, у которых, кроме других важных недостатков, при сильной качке, лопаются крепительные планки, отчего они сами собою отвинчиваются. Ослабевшие от этого ванты увеличивают напор на остальные, которые уже не могут его выдержать и лопаются или сдают на бензелях. Это случилось с фрегатом во время описанного шторма и одно время были в опасности потерять грот-мачту; но вскоре начавший стихать ветер позволил заложить в помощь вантам сей-тали, а потом перетянуть и самые ванты» (*Обзор*, т. II, с. 103—104).

[12] В Портсмуте английское адмиралтейство заранее распорядилось о вводе «Паллады» в док, размещении команды и проч.; в Саймонсбее оно простерло свою любезность до того, что снабдило команду всем необходимым из своих складов по казенной расценке (*примеч. Б. Э.*).

[13] *...генерал-адмиралу...*— Речь идет о светлейшем князе, адмирале А. С. Меншикове (1787—1869), начальнике Главного морского штаба; в Крымскую войну он был главнокомандующим в Крыму (1853—1855).

[14] Отзыв Бурбулона, французского посла в Китае. См.: *Cordier A.* Le premier traité de la Frechca avec Japan. Tonng-Pao, 1912, w. III, p. 128 (*примеч. Б. Э.*).

[15] *Римский-Корсаков В. А.* Из дневника. — *М. сб.*, 1896, № 2, с. 173 (*примеч. Б. Э.*).

[16] *«Если верить... трехдневного срока».* — См.: *Cordier A.* Le premier traité..., p. 220—221.

[17] Только во всеподданнейшем отчете, уже по возвращении в Петербург, Путятин осторожно указывает на это обстоятельство и замечает, что новый генерал-губернатор Филиппинских островов, судя по холодному сделанному ему приему, смотрит не совсем благосклонно на пребывание русской эскадры на Маниле. — *М. сб.,* 1856, № 10, с. 62 (*примеч. Б. Э.*).

[18] *...с донесением от капитана Лесовского... в Де-Кастри.* — См.: *Шиллинг Н. Г.* Воспоминания. — *РА*, 1892, кн. 2, с. 128—143.

[19] *«Переход шхуны в Аян... в Аян».* — См.: *Римский-Корсаков В. А.* Из дневника, с. 117.

[20] *Вышеславцев,* с. 252.

[21] 26 сентября 1852 г. Гончаров писал В. П. Боткину: «...еду везде, но зачем, еще сам хорошенько не знаю! Еду вокруг света, но далеко ли уеду с своим здоровьем и не вернусь ли с дороги,— это вопрос, которого теперь разрешить не берусь (см. с. 617).

[22] *...а сердце биться».*— Ср. историю создания «Обрыва», как она отразилась в письмах Гончарова к Стасюлевичу, быть может наиболее искренних и откровенных из всех написанных им, в кн.: Стасюлевич и его современники в их переписке/Под ред. М. К. Лемке. СПб., 1911—1913, т. V (*примеч. Б. Э.*).

[23] *«И здесь нас преследует... Волохова».*— *ОЗ*, 1879, кн. 8, с. 261. Рецензия эта принадлежит к одним из самых замечательных высказываний о Гончарове вообще (*примеч. Б. Э.*).

[24] *...трилогии...* — Выражение, удачно воскрешенное В. Десницким. См. его статью «Трилогия Гончарова» в сборнике его статей «На литературные темы». Л., 1933, с. 253 и сл. (*примеч. Б. Э.*).

[25] *Аналогичный же прием... и т. д.*— Хороший подбор аналогичных примеров, хотя без всякой попытки их истолкования, см. у Н. Державина во вступительной статье к «Фрегату „Паллада“» (Л., 1924, с. 29 и сл.) (*примеч. Б. Э.*).

[26] Ср. замечательный разговор Обломова с Пенкиным о «журнальных писателях»: «Зачем это они пишут...» ⟨часть первая, гл. II⟩ и т. д. (*примеч. Б. Э.*).

[27] Ср.: *Десницкий В.* Трилогия Гончарова (*примеч. Б. Э.*).

СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ *

Ахтерштевень — толстый деревянный или металлический брус, установленный вертикально или наклонно. Им заканчивается набор кормовой оконечности судна. На парусных кораблях ахтерштевень называется старнпостом.

Бак — носовая часть верхней палубы судна от форштевня * до фок-мачты;* здесь производились телесные наказания матросов.

Бакштов — конец троса, выпускаемый с кормы судна для крепления на него шлюпок во время стоянки.

Банка — 1) отдельно лежащая в море мель, также всякое отдельно расположенное возвышение морского дна; 2) скамья на шлюпке; 3) место между двумя смежными бортовыми орудиями на парусных кораблях.

Банник — цилиндрическая щетка для чистки канала ствола орудия.

Баркас — большая парусно-гребная военно-морская шлюпка.

Бейдевинд — курс парусного судна, при котором угол между его курсом и встречным ветром меньше 90°.

Бензель — перевязка двух тросов тонким тросом или линем.

Бизань — 1) слово, прибавляемое к наименованиям рангоута, * такелажа * и парусов, * находящихся на бизань-мачте; * 2) нижний косой четырехугольный парус, поднимаемый позади бизань-мачты на гафеле. *

Бизань-мачта — третья от носа мачта на судне, имеющем три мачты и более.

Бизань-шкоты — снасти, которые служат для растягивания нижних углов бизани * при постановке паруса.

Бимсы — подпалубные поперечные связи набора корабля, служащие для поддержания палубы и придания ей жесткости.

Боканцы (боканец) — 1) один из кормовых брусьев, выдающихся за борт, для прохода снастей; 2) парные рычаги у кормы и с бортов судна для подъема и подвески гребных судов.

Бом — слово, добавляемое при названии парусов, рангоутных деревьев, * снастей и такелажа, * принадлежащих бом-брам-стеньге.

Бот — небольшое гребное или парусное судно для перевозок или специального назначения (лоцманский, спасательный).

---

* Составлен Л. Б. Булгаковым. Слова, определенные самим Гончаровым, не аннотируются; звездочками отмечены слова, имеющиеся в словаре.

Боцман — специалист унтер-офицерского состава по морскому делу: по рангоуту, * такелажу, * якорным и т. п. устройствам. На обязанности боцмана лежит также наблюдение за порядком и чистотой на верхней палубе и на бортах судна.
Брам — слово, добавляемое к названиям частей рангоута, * такелажа * или паруса, принадлежащих к третьему колену снизу мачты парусного судна (бом-брам-стеньге).
Брамсели — прямые паруса, поднимаемые над марселем * на брам-стеньге.
Брам-рея — рей на брам-стеньге для постановки брамселя * и для растягивания штоков бом-брамселя.
Брам-стеньги — рангоутное дерево, служащее продолжением (вверх) стеньги. *
Брандскугель — зажигательное ядро, род бомбы, гранаты, начиненной зажигательным веществом.
Брасы — снасти бегучего такелажа, * прикрепленные и служащие для поворота их вместе с парусами в горизонтальной плоскости. Название брасы получают по рею, который они поворачивают. Например, грота-брасы поворачивают грота-рей.
Брекватер — волнолом, каменная преграда.
Бриг — двухмачтовое парусное судно.
Бугшприт — (бушприт) — горизонтальный или наклонный рангоутный * брус, выдающийся впереди носа судна и служащий (вместе с утлегарем *) для постановки косых, треугольных парусов-кливеров * впереди фок-мачты. *
Ванты — снасти (тросы) стоячего такелажа, * которыми укрепляются с боков мачты, * стеньги * и брам-стеньги. *
Верейка — небольшая легкая лодка с парусом (то же, что шлюпка, ялик *).
Верп — небольшой вспомогательный якорь, который вывозят на шлюпке для стягивания судна с мели или для перемены места судна на рейде.
Вéстовый ветер — западный ветер.
Вестовой матрос — матрос, прислуживающий в кают-компании или офицеру.
Выстрел — рангоутное дерево, * прикрепленное к борту корабля шарнирным соединением и расположенное перпендикулярно к нему. В вываленном положении служит для постановки и крепления шлюпок и катеров во время якорной стоянки. На ходу корабля заваливается (убирается) к борту.
Галс — курс корабля относительно ветра (если, например, ветер дует с левого борта, то говорят, что судно идет левым галсом).
Гандшпуг — деревянный или железный рычаг для подъема и передвижения тяжестей.
Гардемарин — звание, установленное Петром I в 1716 г. для воспитанников старших рот в Морской академии при направлении во флот на практику.
Гафель — наклонное рангоутное дерево; * служит для крепления верхней кромки косоугольного паруса * и подъема кормовых флагов и сигналов.
Гик — горизонтальное рангоутное дерево, * служащее для крепления нижней кромки косоугольных парусов (триселя * и бизани *).
Гитовы — снасти бегучего такелажа, * служащие для уборки прямых парусов; они подтягивают шкотовые * углы парусов под середину рея.*
Гичка — узкая легкая гребная шлюпка.
Гон-дек — палуба с закрытой батареей.
Грот(а) — 1) составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих грот-мачте ниже марса; 2) нижний прямой парус на второй мачте от носа, крепится к грота-рею.
Грот-мачта — вторая от носа, обычно самая высокая мачта.
Гюйс — флаг, поднимаемый на носу судна при стоянке.
Док — сооружение, служащее для извлечения судов из воды, осмотра и ремонта их подводной части (докования), либо для постройки судов. В специальных доках отстаиваются суда, находящиеся в портах при отливе.
Зюйд — юг.
Иол — 1) парусное двухмачтовое судно водоизмещением 3—6 т; 2) гребная малая кананерская лодка с одной пушкой, помещающейся на носу или корме.
Кабельтов — 1) мера длины, равная 1/10 морской мили, т. е. 185.2 м; 2) толстый трос, используемый в качестве якорного каната.
Каболка — нить, свитая из волокон пеньки по ходу часовой стрелки. Из нее вьются пряди, из прядей — тросы.

Канонерская лодка — 1) корабль специальной постройки или переоборудованный из вспомогательных или гражданских судов. Предназначается для ведения боевых действий в прибрежных районах на мелководье; 2) гребное судно, вооруженное 4—6 пушками малого калибра.

Каперство — морской разбой.

Катер — небольшое судно (паровое, моторное, весельное), служащее для связи с берегом, для сообщения между судами.

Кают-компания — общая каюта, где собираются офицеры.

Киль (фальш-киль) — основная продольная связь (балка), устанавливаемая в диаметральной плоскости при днище судна и простирающаяся до штевней. * Служит для обеспечения продольной прочности судна. К нему в носовой части крепится форштевень, * с боков штангоуты, * в кормовой части — ахтерштевень, * создавая этим набор корабля — его каркас, покрываемый наружной оболочкой — обшивкой.

Кливер — косой треугольный парус, * ставящийся перед фок-мачтой. *

Кнехты — парные литые, чугунные или стальные клепаные тумбы, служащие для закрепления швартовых или буксирных концов.

Коммодор — в Англии, США и Голландии — командир соединения кораблей, не имеющий адмиральского звания.

Конец — снасть небольшой длины (отрезок троса, каната), а также целый трос.

Корвет — трехмачтовое военное судно с открытой батареей.

Кранец — деревянный брус, обрубок каната, парусиновый мешок, набитый и оплетенный каболкой, * служащий для смягчения ударов между судами или судном и стенкой пристани.

Крейсерская служба — совокупность самостоятельных боевых действий кораблей на морских коммуникациях противника.

Кубрик (или флоп-дек) — помещение для команды на корабле — палуба, идущая параллельно гон-деку, * но ниже его.

Лавировать — идти на парусном судне переменными курсами, т. е. то левым, то правым галсами. *

Леер — туго натянутый трос, служащий для ограждения открытых мест; также прикрепляется к реям для того, чтобы привязывать к ним прямые паруса.

Лисель — дополнительный парус, который ставится сбоку прямых парусов на фок- и грот-мачтах при слабом попутном ветре.

Лисель-спирты — тонкие рангоутные деревья, на фока- и грота-реях и на фор- и грот-марса-реях, служащие для постановки лиселей.

Лисель-фалы — снасти, служащие для постановки лиселя. *

Лопарь — веревка, продернутая в блоки и образующая с ними тали. *

Лот — навигационный прибор для измерения глубин моря с борта судна.

Лоция — описание морей и океанов, их берегов, навигационных условий плавания и других данных, необходимых во время плаваний.

Марс — площадка на мачте * в месте соединения ее со стеньгой; * служит для наблюдения за работой по управлению парусами. *

Марса-рей — второй снизу рей * на фок- и грот-мачтах,* к которому крепится марсель.*

Марса — приставка, означающая принадлежность следующего далее понятия к марселю или марса-рею. Впереди ставится название мачты, к которой относится это понятие (например: грот-марса-фал).

Марсель — второй снизу прямой парус, ставящийся между марса-реем и нижним реем.

Марсо-фалы — фалы, * принадлежащие марселю * или марса-рею. *

Мачта — вертикально поставленное на палубе рангоутное дерево,* служащее для несения парусов. * Так как трудно найти такое большое дерево, которое могло бы служить мачтой на большом корабле, мачты делают составными. Нижнее дерево мачты называют колонной мачты, первую надставку — стеньгой, вторую надставку — брам-стеньгой и третью — бом-брам-стеньгой.

Мер — железный прут или туго натянутый пеньковый или стальной трос, продетый через мерные стойки, укрепленные на бортах. Служит для ограждения открытых мест, а также крепится к реям * для того, чтобы привязывать к ним прямые паруса. *

Мола (мол) — сооружение, возводимое в море у гавани в виде прочной стены, примыкающей одним концом к берегу; служит для причала судов, а главное — для защиты порта от волн со стороны открытого моря.

Найтов — перевязка тросом двух или более рангоутных деревьев * или других предметов, а также соединение двух толстых тросов одним тонким.

Нок — оконечность всякого горизонтального или наклонного рангоутного дерева * (например: нок-рея, нок-гафенд).

Обрасопить реи — повернуть реи * с помощью брасов * таким образом, чтобы паруса стояли в бейдевинд. *

Обсервация — наблюдение по картам и небесным светилам для определения места корабля, т. е. его широты и долготы.

Оверштаг — поворот парусного судна против линии ветра с одного галса на другой, при котором нос судна пересекает линию ветра.

Палуба батарейная — горизонтальное перекрытие в корпусе судна, на котором располагается артиллерийская батарея. Обычно средняя, идущая ниже верхних.

Парус — несколько сшитых вместе особо скроенных полотнищ парусины. Они делятся на прямые и косые. Прямые устанавливаются поперек судна, крепятся к реям, * которые поднимаются на мачты * или стеньги. * Косые располагаются под углом к диаметральной плоскости и их передняя кромка удерживается у мачты * или штага, * в зависимости от того, где он поднят. Косые паруса бывают трапециевидные, например бизань. *

Пассат — воздушные течения в тропических широтах, сравнительно устойчивые в течение всего года (в северной полушарии — северо-восточные, в южном — юго-восточные).

Пеленг — направление, определяемое углом, отсчитанным от направления магнитной стрелки компаса. По пеленгу виден предмет или слышен звук.

Порт — отверстие в борту судна для орудий. (Полупортик — половина пушечного порта, раскрывается двумя створками в разные стороны).

Принайтовить — скрепить, закрепить, привязать найтовом.*

Проа (катамаран) — двухкорпусное судно или однокорпусное парусное судно с одним или двумя балансирами по сторонам.

Рангоут (или рангоутные деревья) — деревянные брусья круглого сечения, служащие для прикрепления и несения парусов. К рангоуту относятся мачты, * стеньги, * реи, * гафели, * гики, *, бушприт, * утлегарь * и т. п.

Рея (рей) — горизонтальное рангоутное дерево, подвешенное за середину к мачте * или стеньге. * Служит для крепления к нему прямых парусов. * Реи имеют названия по мачтам.

Рейд — место якорной стоянки судов вблизи берега или в порту.

Риф — горизонтальный ряд продетых сквозь парус * завязок (веревок), посредством которых можно уменьшить его поверхность. У марселей * бывает их четыре ряда, у нижних парусов — два.

Ростры — место на корабле, где складываются запасные части рангоута, * а также устанавливаются шлюпки.

Роульс — вращающееся на оси колесико или катушка.

Румб — одно из 32 делений компаса, равное $11^1/_4°$.

Руслень — площадка на борту парусного судна, служащая для крепления юферсов * и отвода вант. *

Салинг — рама из продольных и поперечных брусьев, устанавливаемая на топах * стеньг * в месте их соединения.

Склянки — удары в колокол через получасовой промежуток. Счет ведется с полудня: 12.30 — один удар, 13.00 — два и т. д. до восьми, после чего счет идет сначала.

Стационер — военное судно, стоящее в порту колоний и полуколоний и несущее полицейскую службу.

Стенга (стеньга) — вторая от палубы часть составной мачты. *

Такелаж — общее название всех снастей на судне, служащий для укрепления рангоута парусов и управления ими.

Такелаж бегучий — название всех подвижных снастей, с помощью которых производится подъем, опускание и изменение направления отдельных частей рангоута, подъем и уборка парусов, а также подъем тяжестей (см. фалы, * брасы *).

Такелаж стоячий — тросы, служащие для удержания частей рангоута в надлежащем положении: спереди — штаги, * с боков — ванты, * с боков и несколько сзади — бакштаги и фордуны.

Тали — грузоподъемное устройство, состоящее из системы блоков.

Топ — верхний конец всякого вертикального рангоутного дерева, * например, мачты, * стеньги * и т. п.

Трап — лестница на судне.

Трисель — косой четырехугольный парус, * ставящийся позади мачты * в дополнение к прямым парусам.

Трюм — помещение, предназначенное для перевозки грузов.

Узел — мера скорости судов, равная одной морской миле в час, т. е. 1,852 км/час.

Утлегарь — рангоутное дерево, являющееся продолжением бушприта. *

Фал — снасть бегучего такелажа, * служащая для подъема реев, * гафелей, * косых парусов * и флагов.

Фальшфейеры — тонкая бумажная гильза, наполненная пиротехническим составом, имеющим свойство гореть ярким пламенем белого цвета; применяется для ночных сигналов.

Фардак — см. фордевинд.

Фок (фока) — нижний прямой парус на фок-мачте. *

Фок-мачта — передняя мачта * на судне с двумя и более мачтами.

Фор — составная часть названий всех парусов рангоута * и такелажа, * принадлежащих фок-мачте выше фор-марса, например фор-марса-рей. Ниже марса к названиям прибавляется слово фока,* например фока-штаг.

Фордевинд — курс корабля, при котором ветер дует в корму. Поворот через фордевинд — это такое изменение галса * корабля, при котором он проходит линию ветра кормой. *Обрасопить реи на фордевинд* — поставить реи * поперек корабля, перпендикулярно диаметральной плоскости, чтобы ветер, дующий в корму, лучше их заполнял.

Фор-марсель — второй снизу прямой парус * на фок-мачте. *

Форштевень — передняя вертикальная или наклонная часть набора, образующая носовую оконечность корабля и служащая продолжением киля. *

Фрегат — трехмачтовый военный корабль с одной закрытой батареей и артиллерией на свободных местах верхней палубы (от 36 до 60 пушек). Второй по величине корабль после линейного. Предназначался главным образом для крейсерской и разведывательной службы.

Шкалы — брусья, скрепляющие поврежденные мачты. *

Шканцы — средняя часть верхней палубы корабля (от грот-мачты * до юта *). Здесь совершаются все официальные церемонии.

Шкафут — часть верхней палубы между фок- и грот-мачтами. *

Шканечный журнал — основной официальный журнал на кораблях парусного флота. В нем в хронологической последовательности записывались все события, происходившие во время плавания корабля или стоянки его на якоре. (С 1869 г. он был переименован в вахтенный журнал.)

Шкипер — заведующий корабельным имуществом палубной части военного корабля.

Шкоты — снасти бегучего такелажа * для управления парусами. *

Шкуна (шхуна) — парусное судно с двумя или более мачтами и преимущественно косым вооружением.

Шпангоут — «ребро» каркаса корабля, на которое крепится обшивка (днище и борта).

Шпиль — стоячий ворот для подъема якоря и других тяжестей.

Штаг — снасть стоячего такелажа, * расположенная в диаметральной плоскости и удерживающая мачты * и стеньги * спереди; название штаги получают от того дерева, которое они поддерживают, например, фока-штаг, крюйс-стень-штаг и т. п.

Штевень — особо прочная часть корпуса судна, которой заканчивается остов судна на носу и на корме.

Штиль — затишье, безветрие.

Шток — шест специального назначения.

Ют — кормовая часть верхней палубы судна от бизань-мачты * до ахтерштевня. *

Юферс — металлическая или деревянная круглая деталь (доска) с несколькими отверстиями для прохода снастей. Служит для обеспечения стоячего такелажа.

Ялик, ял — небольшая служебная судовая шлюпка на 2—8 весел.

NNO — северо-восточный ветер.

S — южный ветер.

O — восточный ветер.

N — северный ветер.

SW — юго-западный ветер.

W — западный ветер.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

Абдель-Кадер (Абд-эль-Кадир) 154, **803**
Абе Исено-ками-сама, японский чиновник 305
Абелло, Винсенто, чиновник в Маниле 419, 426—429, 437
Аввакум см. Честной Д. С.
Августин, богослов *818*
Авдотья (Августа) Андреевна см. Колзакова А. А.
Авель (библ.) 291, *811*
Авраам (библ.) 176, *804*
Агамемнон (миф.) 39, **794**
Адам (библ.) *811*
Адонис (миф.) 159, *803*
Айвазовский И. К. 20, 291, **811**
Аскаков С. Т. (1791—1859) 716, *835*, **844**
Алао Тосанно-ками-сама, японский чиновник 359
Александр I *829*
Александр Павлович см. Ефремов А. П.
Алексеев А. Д. *767, 787, 789*
Алексеев В. М. *806*
Алиса, служанка 176, 180
Альберт, принц 155, **803**
Альмейда (Алмейда) Фр. 126, **802**
Амвросий, епископ *808*
Ангерстейн, банкир *794*
Андрей Александрович см. Краевский А. А.
Андрюша см. Языков А. М.
Анжу П., мичман на «Палладе» *791, 845*
Анненков П. В. (1813—1887) 615, 620, 631, 643, 647, 652, 675, 686, 716, 748, *778—779, 781*, **831**, *835*, **840**
Анненковы 634
Антонов И. П. 711, **843**
Араго Ж. 89, **798**
Арапетов И. П. 708, **842**
Арефьев Александр, врач на «Палладе» 119, 575, *792*
Аристотель 12, 32
Арн Т. *791*
Артемида (миф.) *793*
Архимед 162, **803**
Атласов В. В. (ок. 1661/1664—1711), якутский казак, первый исследователь Камчатки 509
Атласов К. П. 509, 529
Афанасий, слуга барона Криднера 489, 492
Афанасьев А. Н. (1826—1871) *798, 834*
Афродита (миф.) *803*
Ахиллес (миф.) 542, *825—826*
Ахшарумов Н. Д. (1819—1893), беллетрист и критик 719

Баба-Городзаймон, японский чиновник 256—259, 261—263, 272, 284, 286, 677
Бабкин Д. С. *832*
Байрон Дж. Н. Г. (1788—1824) 66, 347, *811*
Барро (Бэрроу) Дж. 123, **802**
Барсуков И. 600, *830*
Барсуков Н. П. *831*
Батюшков К. Н. (1787—1855), поэт 597, *829*
Белавенец И. П. 575, *791*, **812**
Белавина Э. А. 615, 617, 634, 636, 641—642, 647, 651, 661, 663, 671—672, 690, 698, **831**, *838*
Белинский В. Г. (1811—1848) *831*
Беллини В. 93, 422, 547, **826**
Бельчер Э. 83, 205, 232, 257, 401, 464, *767*, **798**, *820*
Бен (Вейн) Эндрю (1796—1864), английский геолог, инженер 155—159, 161—165. 167—168, 172—175, 649, **803**

* Краткие пояснения даются к именам, не прокомментированным в разделе «Приложения». Страницы, на которых аннотируются имена, набраны полужирным шрифтом. Страницы «Приложений» набраны курсивом. Указатель составлен Л. Б. Булгаковым.

Бенедиктов В. Г. (1807—1873), поэт 13, 66, 79, 90—94, 628, 646 659, 699, 704, 714, **796—799**, *833*
Бергамаско К. И. *789*
Барклей Дж., главнокомандующий английской армией в войне с кафрами 134—135
Бессарабский *834*
Бетлинк 535
Беттельгейм, английский миссионер на Ликейских островах 390—392, 396, 402
Билль (Биль) С. (1797—1883) 211, 229, 336, *767*, **806**, *820*
Бирюлев 742
Бичи Фр. У. (1796—1856), английский мореплаватель 237, 242, 381, 401, *767*, **807**
Бичурин Н. Я. (о. Иакинф, Иоакинф) 320, 480—481, 707, **812**, **822**
Блок А. А. (1880—1921) *845*
Богаев В. И. 647, **836**
Бодиско А. А. («посланник») 673, 676, **838**
Бодиско Ф. Н. 673, 676, 685, 688, 740, **838**
Болтин Александр Арсентьевич, мичман на «Палладе» 18, 19, 291, 591, 742, *791*, *810*
Бомарше П. О. (1732—1799) 422, *818*
Бонэм, английский генерал-губернатор в Гонконге 228
Бороздна И. П. 659, **837**
Бороздны, семья 659, **837**
Боткин В. П. (1811—1869), писатель, критик и публицист 67, 617, 632, 643, 673, 704, 716, 748, **795—796**, 819, 831—832, 846
Боткин Н. П. 617, **832**
Брама (миф.) 198
Броутон В. Р. 474, *767*, **821**
Бруннов Ф. И. **833**
Будда, имя основателя буддизма Сиддхартхе Гуатаме (623—544 до н.э.) 214, 217, 326, 332
Булгарин Ф. В. 625, **833**
Бурбулон, французский посол в Шанхае 337, 736, 737, *846*
Буртон 718
Бурька см. Майков Л. Н.
Буссе 711, **843**
Бутаков И. И. 57, 77, 199, 443, 634, 640, 650—652, 656, 659, 662—663, 673, 685, 697, 698, 729, 742, *791*, **795**, *836*
Буташевич-Петрашевский М. В. 612—613, 719—720, *828*, **830**
Бушков Е. П. 511

Вайян Фр. 121, **801**
Вампоа, сингапурский купец 213, 217—220
Ван-Дейк (Ван Дик) А. («знаменитый живописец», «соплеменник») (1599—1641), фламандский художник, портретист 118, 147
Вандик, проводник по Капский колонии 118, 121, 137—144, 147—148, 151—154, 158, 163—164, 166, 173, 175, 177—178, 181, 759, **801**
Ванкувер Дж. 9, 474, 626, 767, **790**, *821*
Василий Петрович см. Боткин В. П.
Васко де Гама 11, 126, 626, **791**
Ватто (Вато) А. 382, **816**
Ведерхед, английский военный врач в Кейптауне («доктор») 114, 118—120
Вейнерт, житель Устера 169, 172
Вейрих Генрих, судовой врач на «Палладе» («доктор») 137—138, 140, 142, 144, 146, 165, 167, 172, 240, 450, 575, 645, *792*
Вейсе Х.-Ф. *796*
Веласкес (Веласкец) Д. 419, **818**
Веллингтон А.-У. («дюк») 34, 39, 43, 619, **793**, *794*, *832*
Вельч, г-жа, хозяйка гостиницы в Кейптауне 98, 109, 115, 116—117, 121
Вениаминов И. Е. (Иннокентий) 491, 498, 506, 533—534, 600—601, 607, 703, 707, 713, **825**
Венцель К. К. 614, 711, **831**
Вергилий Публий Марон (70—19 до н.э.) **827**
Верди Дж. 93, 430
Весеред Т. *801*
Виктория, королева 155, **803**
Виллалобос, испанский путешественник 445
Вильгельм I **810**
Вилькс (Вилкс) Ч. 199, 404, **805**
Витул, матрос-буфетчик на «Палладе» 28, 94, 195, 256, 493
Вишняков *834*
Владимир Григорьевич см. Бенедиктов В. Г.
Волконская М. Н. («княгиня») 610, 611—612, **830**
Волконская С. Г. 613, **830—831**
Волконские 611—612
Волконский М. С. 493, 496—497, 612, 711—712, 715, 718—719, 721, **830**, *843*
Волконский П. М. 613
Волконский С. Г. («князь-декабрист») (1788—1865), декабрист 610, 612, 613 *828*, **830**
Вонлярлярский И. В. 237, **807**
Врангель Ф. П. 539, **825**
Вронченко М. П. *842*
Вронченко Ф. П. («граф») 625, **833**
Вышеславцев А. В. 787, *803—804*, *809*
Гагарин М. П. 589, **829**
Гагенар Г. *767*, *809*
Гаика, предводитель одного из кафрских племен 126, 130, 133
Галилей Г. 260, **809**
Галлан *794*
Галлер А. 689, **840**
Галль Б. 381—382, 393, 688, 689, 757, *767*, **816**
Галль Ф.-И. *802*

Гамбсы, братья *841*
Ганзен П. Б. *763*
Гао, тунгус, основатель царства Гао-Ли 480
Гвальтьери, синолог 362
Геденштром М. М. (ок. 1780—1845), русский путешественник, руководитель первой экспедиции по исследованию Новосибирских островов 539, *767, 825*
Геркулес, Геракл (миф.) 9, *806*
Герцён А. И. (1812—1870) *783*
Гершель Дж. (1792—1871), английский астроном и физик 122, **801**
Геснер С. 382, 384, 757, **816**
Гете И. В. (1749—1832) 66, 486, *795, 828, 836*
Гинца, вождь кафров 126
Глазунов И. И. (1826—1889), петербургский издатель и книгопродавец 6, *773, 789*
Гоголь Н. В. (1809—1852) 44, 145, 160, 290—291, 518, 600, 619, 707, *794, 802, 811, 824, 827, 830—832, 836, 842*
Головнин В. М. 24, 256, 371, *766—767,* **792** *808, 815, 821*
Гомер 9, 39 («Агамемнон»), 383, 391 («Улисс»), 392 («Одиссея»), 397, 480, 491 («Улисс»), 492—493 («Итака»), 542 («Ахиллес»), 574 («Одиссея»), 627, 705, *790, 791, 795, 812, 823*
Гончаров Н. А. 614 («брат мой»), 715, *831,* **843**
Гораций 671
Горбунов К. А. 672, **838**
Горенштейн М. С. *770, 773*
Горсбург Дж., автор лоций Индийского океана 196, **805**
Гошкевич О. А. («натуралист») 66, 104, 121, 137, 146, 152, 159, 166—167, 171, 174, 180—182, 184, 186, 227, 240, 257, 314, 332, 334, 338, («наши синологи»), 342, 351, 358, 368, 371, 386, 389, 390, 438, 450—453, 455, 457, 463, 474, 476—477, 638—639, 645, 656, *792,* **795**, *809, 814*
Греч Н. И. 563, **827**
Грибоедов А. С. (1795—1829), 374, *805, 815*
Григорович Д. В. (1822—1899/1900) 716, *787*
Григорьев Иван, кучер 492—493, 498—506, 508
Григорьев К. Н. (Игорев П. П., «губернатор») 597—599, 605, 608, 611, 702, 706, 710—711, **829**, *830,* **842—843**
Грот Я. К. *838*
Гроте, фон *834*
Гумбольдт А. Ф. В. 525, *824*
Гуцлав (Гюцлав) К. 313, *812*

Давидсон А. *766, 787, 800—801*
Давыдов Д. (1784—1839), поэт, герой-партизан Отечественной войны 1812 г. 19, **792**
Дагерр Л. Ж. *796*
Даль В. И. (1801—1872) *795, 813, 831*
Данилевский Г. П. (1829—1890) *831*
Дезульер А. 382, 384, 751, **816**
Декарт Р. *796*
Демьен, владелец отеля в Маниле 417—419, 426
Державин Г. Р. (1743—1816) *806*
Державин Н. С. *767*
Дефо Д. (ок. 1660—1731) 237, 492, 573, («Робинзон Крузо»), *823*
Джердин, владелец верфи в Гонконге 229, 301
Диаз (Diaz), португальский мореплаватель 126
Диана (миф.) 96, *797*
Диккенс Ч. (1812—1870) 43, *794*
Динакур (Dinacourt), епископ в Маниле 420
Диоген 391, *816*
Добролюбов Н. А. (1836—1861) *784*
Дональд, хозяин отеля в Шанхае 334
Достоевский Ф. М. (1821—1881) 760, *789, 845*
Дроздов В. М. (Филарет) 601,**830**
Дружинин А. В. 716, 722, **784,** *843—846*
Дудышкин С. С. 628, 659, 679, 704, 707—708, 722, *782, 783—784,* **833**, *837, 841, 845*
Дьюпин, матрос-артиллерист на «Палладе» 297
Дюма А., отец 707, **842**

Ева (библ.) 811
Евгения Петровна см. Майкова Е. П.
Екатерина II (1729—1796) *805, 809*
Елагин И. П. *805*
Елизавета Яковлевна см. Краевская Е. Я.
Ермак Тимофеевич *826*
Ефремов А. П. 628—629, 646, 649, 658, 664, 692, 697, 709, **833**
Ефремов П. А. *829*
Ефремова Ю. Д. 623, 641, 645, 649, 654, 656, 658, 664—665, 668, 676, 686, 692, 697, 699, 708, 714—715, *833,* **837**, *842*
Ефремовы 673, *837*

Жуков В. Г. *806*
Жуковский В. А. (1783—1852) *777, 793, 806*

Заблоцкий-Десятовский М. П. 629, 639, 665, 670, 676, 679, 688, 708, **833**, *837*
Завойко Василий Степанович (1809—1898) адмирал, в 1830—1838 гг. совершил два кругосветных плавания; в 1849—1856 гг. камчатский губернатор. В августе 1854 г. отразил нападение англо-французской эскадры на Петропавловск 491
Загоскин М. Н. (1789—1852) 803
Зам В. 193, 204, **804**

Запольский 531—532
Зарубин И. *792*
Звигильский А. *795*
Зевс (миф.) *793, 798*
Зеленый П. А. 90, 93, 121, 137—138, 140, 142, 144—146, 148, 150, 152, 155, 157—159, 161—163, 165—168, 170—171, 173, 175, 187, 193, 291, 469, 591, 742, *791,* **798,** *803*
Зибольд Ф. 258, 469—470, *807*—**808**, *811*
Зильберштейн И. С. *831*
Зиновьев П. В. 673, **838**

о. Иакинф, Иоакинф см. Бичурин Н. Я.
Иван Иванович см. Бутаков И. И.
Иван Семенович см. Унковский И. С.
Иван Сергеевич см. Тургенев И. С.
Игорев П. П. см. Григорьев К. Н.
Иегова (библ.) *812*
Излер И. И. 267, *809*
Иисус (еванг.) *795, 804, 814*
Иннокентий см. Вениаминов И. Е.
Иоанн (еванг.) *795*
Иоанн II 126
Иов (библ.) 548
Иосиф (библ.) 703, *841*
Истомин 742
Истомин Я. *792*

Кавадзи Сойемонно Тосиакира, японский чиновник 359, 363, 367—368, 372—374, 376—379, 734—735
Каин (библ.) 291, *811*
Калидаса 219, 654, **836**
Калита П. С. 715
Камена (миф.) 13, *791*
Каннингам, американский консул в Шанхае 322—323, 331, 338—339, 342
Канова А. 43, **794**
Карамзин Н. М. (1766—1826) 21, 619, 625, *777, 792, 832—833, 836*
Каратыгин П. А. (1805—1879), актер и драматург 707, **842**
Карл IV (1748—1808), испанский король в 1788—1808 гг. 326, 414, **813**
Кармена, чиновник в Маниле 419, 426—429, 430, 435, 437
Каролина, жительница Кейптауна 109, 115, 116—117, 121, 175—176, 180, 717, 759, *801, 844*
Карон Ф. *767, 809*
Карпов, матрос на «Палладе» 93, 241
Квинтилиан Ф. 624, **833**
Кемпфер Э. 246, 251, 259, 261, 279, 301, 356, 367, *767,* **807**—808
Кеневич В. Ф. 722, **782,** *845*
Керн Михаил, матрос с «Паллады» 453
Кеткарт, губернатор Капской колонии 136
Кирмалов М. М. **831**
Кирмалова А. А. 614 («сестры») *831*
Кичибе, японский переводчик 266—269, 276, 279, 281—283, 286, 294—297, 299, 303, 305, 345—346, 349—350, 354—355, 357, 367, 375, 468, 470, *811*
Кичибе (сын), японский переводчик 295, 470
Клапрот Г., французский географ 461, **820**
Клейменов, инженер 614
Клеменц 619, **832**
Клет *834*
Клюшников В. П. 718—719, **844**
Козаневич 711, *843*
Козлов И. И. (1779—1840) 138, **802**
Козловский Н. Ф. 647, *836*
Колзаков (Калзаков) А. А. 631, 636, 642, 653, 685, *834—835*
Колзакова А. А. («друг мой») 620, 631, 636, 642, 647, 651, 673, 674, 690, 698, *832, 833, 834—835*
Колзакова А. И. 697
Колокольцев А. А., мичман на «Палладе» 18, 457, 742, *791*
Колумб Х. 11, **791**
Коля см. Языков Н. М.
Кони А. Ф. *765, 769, 775, 800, 828*
Константин Николаевич см. Романов К. Н.
Конфуций (или Кун-цзы; 551—479 до н.э.), древнекитайский философ 337, 341, **814,** *821*
Коперник Н. (1473—1543) *809*
Коренев А. П. 629, 631, 637, 639, 646—647, 652, 659, 665, 673, 676, 679, 690, 696, 699, 704, **833**
Кормчин, матрос на «Палладе» 394
Корсаков М. С. 614 («родной племянник»), 711, **831,** *843*
Корсаков см. Римский-Корсаков В. А.
Корш В. Ф. (1828—1883) 617, 687, **831**, *840*
Корш Е. Ф. **831**
Корши 636, 647, 652, 675, 687, 690, 698
Котошихин (Кошихин) Г. К. 33, **793**
Кошкарев 676
Кошкарева Ю. П. 628, 659, 670, **833,** *837—838*
Кошкаревы 659
Краевская Е. Я. 708
Краевский А. А. 679, 686, 704—708, 717, *766,* 789, 840—841, **842**
Краевский А. А. (сын) 708
Краевский Е. А. 708
Крамер 710, *842*
Крамской И. Н. (1837—1887) *789*
Крашенинников С. П. (1711—1755), русский путешественник, исследователь Камчатки *790, 809*
Крез 211, **806**
Криднер (Крюднер) Н. («барон») 15, 93, 102, 105, 114, 116, 121, 137—139, 140, 142—143, 145—146, 152, 155, 157, 161, 165—168, 171,

177, 187, 198, 207, 237—240, 253, 281, 290, 323, 327, 332, 338—339, 342, 351, 403, 406, 419—423, 432—433, 437, 442—443, 475, 479—480, 489, 492—493, 698, 742—743, *791*, **792**, *805*, *819*
Кроун А. Е. 316, 331, 339, 685, 688, 690, **812**, *834*
Крузенштерн И. Ф. 626, *808*, **833**
Крылов И. А. (1769—1844) 192, 264, 267, 274, 281, 360, 476, 598, *791*, *815*, 829
Кузьмин, матрос на «Палладе» 48
Кук Д. 9, 585, **790**
Купер Ф. 8, 64, **790**
Курциус Д. директор голландской фактории в Нагасаки 264

Лазарев М. П. 479, 637, *793*, **822**
Лазарев М. М. 637, 641, **822**, *835*
Лазарев 715
Лазарь *820*
Лакиер А. Б. 718, **844**
Лаокоон (миф.) 452, *820*
Лаперуз Ж. Ф. 480, 488, 585, 591—592, 740, *822*, **828**
Ларь Я. *838*
Левшин В. А. *791*
Легаспи М. Л., испанский мореплаватель 446, *820*
Лейман П. П. 710, *842*
Лейхтенбергский, герцог см. Максимилиан-Евгений-Иосиф-Наполеон
Лермонтов М. Ю. (1814—1841) 321, *834*
Леру, хозяин мызы Клейнберг 165
Лесовский 742, 744, *769*
Лесюер, судья в Устере 169, 170, 171
Ли, корейский царствующий дом 481
Литке Ф. П. 237, *767*
Лихачев Н. П. *842*
Лоаиза Хуан Гарсиа Хосе, де, испанский путешественник 445—446, *820*
Лойола И. 283, **808**
Ломоносов М. В. (1711—1765) 12
Лонгинов М. Н. 632, 652, **834**
Лопатин *838*
Лоррен К. (1600—1682) 36, 794
Лосев К. И. 64—65, 291, 302, 350, 398, 400, 439, 573—574, 640, 742, 791, **795**, *810—811*
Лука (еванг.) *795*, *820*
Лукиан *819*
Льода, переводчик 255, 257, 267—268, 281, 283, 293—295, 362
Льховский И. И. 628—629, 642, 644, 646, 649, 658, 665—668, 673, 676, 679, 686, 692, 697, 705, 709, 715, 716—718, *770*, *773*, *784—786*, *833*, *835*, **837—838**, *843—844*
Любимов Н. И. 639, **835**
Людовик XIV «Солнце» (1638—1715), французский король с 1643 г. 70, *816*
Людовик XV (1710—1774), французский король с 1715 г. 70
Людовик-Наполеон см. Наполеон III
Ляцкий Е. А. *792*

Магеллан Ф. 11, 423, 445—446, **791**
Майков А. Н. 9, 13, 527, 615, 625, 628, 642, 679—680, *771*, *782*, *790*, *791*, *825*, *831*, *833*, *836*, **838**—*840*
Майков В. Н. («Старик») (1826—1885) 628, 642, 649 («юная чета»), 679, 692, 696, 699, 704, 714, 717, *828*, **833**, *836*, *840*
Майков К. А. («Капитан») 646, 649, 659, 679, 699, 705, 715, **833**, *841*
Майков Л. Н. («мальчишка») 628, 649, 658, 669—671, 676, 693, 697, 699, **833**, *836*
Майков Н. А. («артист») 40, 380, 627—628, 642—650, 653, 676, 691—697, 699, 712—715, *770—771*, *816*, **832**, *836*, *839—841*
Майкова А. И. («жена») 650, 669—671, 676, 679, *836*
Майкова Е. П. 616, 628, 641—650, 656, 658, 676, 691—697, 699—700, 712—715, *817*, **832**, *836—837*, *839—841*
Майкова Ек. П. («Старушка») 628, 649 («юная чета»), 565, 676, 704, 714, 717, *833*, *836*
Майковы 615, 620, 621—629, 630, 637, 642—650, 653, 646, 652—659, 664, 665, 668—671, 673, 686, 690, 698—705, 708—709, 714, 753, *770*, *835*, *839*
Маймин Е. А. *803*
Макаров, матрос на «Палладе» 290
Макомо, предводитель одного из кафрских племен 133, 135
Макрушин В. *766*, *787*, *800*
Максимилиан-Евгений-Иосиф-Наполеон (герцог Лейхтенбергский) 75, **796**, *801*
Макферсон Дж. *796*
Малля Ж. 404, **817**
Малышев, казак в Нелькане 503
Мансуров Н. П. 628, **833**
Марко Паоло (Поло) 37, *794*
Маркс А. Ф. 718, *844*
Марлинский А. А. (1797—1837) 747
Марриэт Ф. 8, **790**
Мартынов 711, **843**
Марья Федоровна см. Пасовыева М.Ф.
Матабе, японский чиновник 301
Маттисон, владелец верфи в Гонконге 229, 301
Матфей (еванг.) *795*, *821*
Матюшкин Ф. Ф. (1799—1872) **778—779**
Мегфор, американский банкир в Маниле 438—440
Медгорст, английский миссионер в Шанхае 337

Медичи Е. *810*
Мейербер Дж. (1791—1864) 257, *808*
Мекиннок, подполковник, с 1835 г. начальник Кафрской области 135
Меншиков А. А., светлейший князь (1787—1869), адмирал. С 1827 г. начальник Главного морского штаба. В Крымскую войну — главнокомандующий в Крыму (1853—1855) 726, 733
Меркурий (миф.) 34, *793*
Местр Ж.-М. *829*
Метлэнд П., губернатор Капской колонии 134
Миерис (Мирис) Фр. 148, **803**
Мизно Чикогоно-ками-сама, нагасакский губернатор 288, 354, 469
Микеланджело Б. (1475—1564) *820*
Миллер О. Ф. *783*
Милютин В. А. 708, *842*
Михаил Парфенович см. Заблоцкий-Десятовский М. П.
Михельсон В. А. *767, 770, 797, 821*
Моисеев И. *792*
Моисей (библ.) *812*
Мольер Ж. Б. (1622—1673) 618, 679 («Жорж Данден...»), *832*
Москвин, купец в Якутске 707
Мотыгин, матрос на «Палладе» 48
Музалевская А. А. 614 («сестры...») 716, *831, 843*
Мунга-Парко *790*
Мур Т. (1779—1852) *806*
Муравейский С. Д. *802, 819, 820, 823*
Муравьев Н. Н. 489, 556, 573, 597—599, 601, 609, 610—613, 696—697, 700, 709, 711, 740—743, **829**, *830—831, 842—843*
Муравьева Е. Н. 610—611
Мурильо Б. Э. (1617—1682) 432, **819**
Мухортов З. Н. 632, **834**

Наваррский Г. *810*
Надеждин Н. И. (1804—1856) 687, **840**
Назимов Н. Н. 292, 351, **811**, *834*
Накамура Тамея, японский чиновник 369—370, 374—376, 379
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) 597, **794**, *829*
Наполеон III (Людовик-Наполеон) (1808—1873) 66, **795**
Нарабайоси (Нарабайоси 1-й, Гейстра) японский переводчик 255, 470
Нарабайоси 2-й, переводчик 261—262, 294
Нахимов П. С. (1802—1855) *818*
Невельской Г. И. 732, 739, 741, **822**
Некрасов Н. А. (1821—1877) 6, 620, 632, *782, 789, 832*
Нептун (миф.) 90, 92, 188, 312, *798*
Нессельроде К. В. 599, 733, 741, *829*
Несторий *813*
Никитенко А. В. 632, 652, 675, 679—680, 690, 704, 708, *831, 834*, **839**
Никитенко К. К. 680, *839*
Никитенко С. А. 719, **844**
Николай I Павлович (1796—1855), император с 1825 г. 597, 606, 612 («император»), *840*
Николай Аполлонович см. Майков Н. А.
Николай Николаевич см. Муравьев Н. Н.
Николенька см. Языков Н. М.
Нимврод (миф.) 217, *806*
Новичелис, маркиз 435
Ной (библ.) *806*
Нопич В. Н., датский путешественник 336, 447, *767, 820*
Норов А. С. 616 («товарищ министра»), 679—685, *765, 767, 831*, **839**, *841*
Нэпир Джордж, губернатор Капской колонии 134

Обер Фр. (1782—1871), французский композитор 76, *796*
Оболенский Д. А. 620, **832**
Оболенский К. В., князь, мичман с «Дианы» 492—493, 502—503, 507—509, 538, 702, *823, 841*
Овосава Бунгоно-ками-сама (Овосава), нагасакский губернатор 267, 279—280, 286, 288, 347, 350, 354—355, 357, 375, 469, 678
Одоевский В. Ф. 632, 652, 673, 690, *798*, **834**, *838*
Ойе-Саброски (Саброски, Ойя), японский чиновник 284, 293, 295, 298—299, 303—305, 345, 349, 356, 468—471
Омура, князь 306
Орест (миф.) *793*
Орлов А. С. *834*
Орнатская Т. И. *763—787, 790*
Оссиан 71, *796*
Островский А. Н. (1823—1886) *789*
Острогорский В. П. *783*

Павел (еванг.) 431, **819**
Павел Васильевич см. Анненков П. В.
Павиа, генерал 737
Павлова С. В. *763*
Паисов, матрос на «Палладе» 63
Паккар М. *794*
Панаев И. И. 619—620, 632, 690, **832**
Панаевы 620, *832*
Панафидин, лейтенант 402
Пасовыева М. Ф. 628, 649, 659, 693, 714, **833**
Педру II 75, *796*
Перлов А., фабрикант 207
Перри М. К., коммодор, один из проводников политики США на Дальнем Востоке 83,

346, 384, 391, 440, 469, 683, 729, 732, 735—736, **798**, *810, 816, 846*
Петр Александрович см. Тихменев П. А.
Петр I Великий (1672—1725) 92, 562, *791, 792, 799, 829*
Петрашевский см. Буташевич-Петрашевский М. В.
Петров Д. В. *798*
Пещуров А. А. 371, 480, 573, 592, 742, **811**
Пиксанов Н. К. *766—767*
Пилад (миф.) 32, *793*
Писарев Д. И. (1840—1868) *781, 786*
Писемский А. Ф. (1821—1881), *786, 825*
Плантагенет(ы) 167, *804*
Плетнев П. А. (1792—1865/1866), поэт, критик *838*
Плиний Старший (23—79), римский ученый и писатель 112, **801**
Плюшар А. А. *808*
Плюшкин В. *791*
Погодин М. П. 628, *831*, **833**
Поджио А. В. 612, 719—721, **830**
Поджио 721
Пожалостин И. П. 6 («известный русский художник»), *788, 789*
Пожарская Д. Е. *819*
Поздеева 659
Поливанов Н. П. *839*
Попов А. А. *838*
Попов А. П. 571, 672, *838*
Попов В. П. *783*
Попов Лев Александрович, поручик, штурманский офицер на «Палладе» 81, 575,*792*
Посьет К. Н. 17, 121, 137, 139—140, 146, 149, 152, 156, 166—169, 224—225, 227, 236, 238, 255, 257, 266, 269—271, 281, 287—289, 292, 294—297, 303, 309, 312, 333, 339, 345, 348—351, 355—356, 358, 362, 364—365, 367—368, 371, 374, 376—377, 379, 385, 390, 438, 450, 455, 470, 479, 572—574, 593, 631, 634—635, 637, 641 («старший лейтенант»), 645, 727, 734, 791, **802**, *835, 845*
Потанин Г. Н. *765, 781*
Поттер П. 148, **803**
Поттинджер Г., с 1847 г. губернатор Капской колонии 134—135
Птоломей (Птолемей) Клавдий (ок. 90 — ок. 160), древнегреческий астроном 32, 624, *833*
Птоломей Филадельф *808*
Пу Сун-лин *806*
Пуле М. Ф., де *843*
Путятин Евфимий Васильевич («адмирал»), граф (1803—1883), государственный деятель, адмирал. В 1822—1824 гг. совершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» под командованием М. П. Лазарева; начальник экспедиции на «Палладе»; позднее министр народного просвещения, член Государственного совета 16, 55, 188, 228, 257, 264, 266—267, 272—273, 280, 286, 288—289, 291, 293, 295—296, 298—299, 303—306, 323, 355—356, 360, 363, 365—366, 371—372, 374—379, 393—394, 396, 400, 448, 471, 553, 557, 561—563, 568, 573—574, 618—619, 625—627, 629—633, 638—639, 641, 644—645, 650, 657, 678, 680—685, 690, 692, 698, 716, 726—729, 731—737, 739—744, *765, 767—769, 793, 808, 811—812, 827, 831, 836, 841, 845—846*
Путятина М. В. 697—698, **841**
Пушкин А. С. (1799—1837) 41, 57, 66—67, 81, 217, 252, 272, 415, 497, 597, 658, 666, 687, 699, 755, *755, 777—779, 794, 796—798, 806—808, 812, 814, 818—819, 823, 826—827, 829, 836—837, 840—841, 845*

Рашель Э. 537, **825**
Ребиндер Н. Р. 613, **830**
Резанов Н. П. 266, 277, 305, **809**, *810—811*
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) 36, *794*
Рен (Врен) Кр. *793*
Реомюр Р.-А. 189, *804*
Рибек, фон, врач, голландской Ост-Индской компании 126
Римский-Корсаков В. А. 24, 318, 331, 339—340, 350—351, 460, 557, 574, 635, 734, 739—740, 743, *791*, **793**, *846*
Ринсифе, японский исследователь-географ 461
Ричард, слуга-малаец в кейптаунской гостинице 113, 114—116, 121, 175, 759, *801*
Робертсон, владелец книжного магазина в Кейптауне 117
Романов К. Н. («великий князь») 570, 635, 684, 718, *791*, **839—840**
Россини Дж. (1792—1868) **689**, *818, 840*
Ростовские 632, 642, 675, **832**
Рыбников П. Н. *817*
Рылеев К. Ф. (1795—1826) 595—596, *829*
Рубини Дж. 156, *803*
Руденская М. П. *779*
Руденская С. Д. *779*

Савич Н. Н. 88—89, 177—178, 187, 234—235, 239—240, 253, 564—565, 575, 590, 698—699, 730, *791*, **798**
Садагора, переводчик 255, 257, 267—268, 272, 281, 294—295
Салтыков-Щедрин М. Е. (1826—1889) *789*
Самбро, японский чиновник 256, 262, 284, 349
Самква, правитель шанхайского округа 319, 329, 468
Сандилья, сын Гаики 133, 135—136, 154, **803**
Сатсумский 250, 252, 388—389

Свербеев Н. Д. 612, 614, 719—721, **830**
Свербеева З. С. *830*
Севри (Севрэ), житель островов Бонин-Сима 238
Сейоло, предводитель кафров; с 1828 г. был вождем одного из крупных племен коса. В октябре 1852 г. был взят в плен и приговорен английским военным судом к смертной казни, замененной пожизненным заключением 182—184, 681
Секо, один из предводителей кафров 133
Селиванов *834*
Семевский В. И. *830*
Семенов *834*
Семенов П. *843*
Сервантес Сааведра Мигель, де (1547—1616) 203, 416
Сесиль, французский адмирал 392
Сибилла (миф.) 265
Синоуара Томотаро, японский чиновник 348
Смирна (миф.) *803*
Смит А. *802*
Смит Г., полковник, губернатор Капской колонии 133, 135—136
Смит Т. 112, 123
Содерленд 123
Соллогуб В. А. 708, *818*, **842**
Солоницын В. А. 659, 704, **837**, *841*
Соммерсет, английский полковник, служащий в Капской колонии 133, 135
Сорокин, матрос 530
Сперанский М. М. 596, 598, **829**
Средин А. А. 647, *836*
Старджис, американский банкир в Маниле 440
Стасюлевич М. М. (1826—1911) *846*
Степан Дмитриевич см. Яновский С. Д.
Строев В. М. *808*
Стюарты 167, **804**
Сумароков А. П. (1717—1777) *791*
Сцевола Муций *810*
Сьоза, японский переводчик 293—294, 303, 345, 362

Тайпин-Ван см. Хун Сюциань
Талейран-Перигор Ш. М. 470, *821*
Тальбот, коммодор английской эскадры 100
Тенкате К. 441, *819*
Теньер Давид Младший 148, 803, *812*
Тепляков А. Г. 708, **842**
Тепляков В. Г. *842*
Терентьев, боцман, унтер-офицер на «Палладе» 26, 27, 28, 48, 62, 571
Тимофей, повар на «Палладе» 492—493, 496—497, 500, 505, 511, 514, 519, 547, 608, 701—702
Тихменев П. А. 19, 27, 48, 76 («спутник»), 86, 89, 90—94, 102, 225, 252, 294, 331, 334, 342, 492—493, 497, 508, 743, *791*, *823*, *841*
Тогу см. Чаки
Толедо Х. Б. 446 («архитектор»), *820*
Толстая С. А. *845*
Толстой А. К. *789*, **844**
Толстой Л. Н. (1828—1910) *760*, *845*
Томсон, банкир в Кейптауне 121
Трегубов Н. Н. 8 («учитель»), **763**, *765*, *781*, *790*
Тредиаковский В. К. (1703—1768) 261, 633, *809*, *834*
Трубецкая А. С. **830**
Трубецкая Е. И. 612 («княгиня-декабристка») 613, **830**
Трубецкие 612
Трубецкой С. П. 611, 721, **830**
Тсутсуй Хизено-ками-сама (Тсутсуй), японский чиновник 359, 363, 368, 372—373, 376—378
Тунберг К. П. 190, 272, 367, 375, *766*, **804**, *808*, **810**, **815**
Тургенев И. С. (1818—1883) 673, 686—687, 716, 760, *789*, *835*, *838*, *840*, *844*
Тырков С., лейтенант на «Палладе» *791*

Унковский И. С. («капитан») 17, 25, 46, 48, 57, 60, 61, 90, 148, 187, 190, 200—201, 233, 303—305, 311, 351, 356—357, 379, 398, 451, 455, 457, 553, 558, 586, 619—621, 633, 637, 652, 711, 741—742, 744, *769*, *791*, **793**, *822*, *832*
Урусов С. С. 312, 591, *828*

Ф. см. Филиппеус А. Ф.
Фаддеев Семен, матрос на «Палладе» 18, 20, 26—29, 47—48, 57—58, 60, 62—63, 66—67, 83, 94, 99, 102—103, 105, 113, 187, 198, 229, 234, 240, 246, 253, 226, 268—270, 279, 287, 297—299, 324, 344, 360—361, 379, 402, 409, 419, 426, 443, 451, 454, 478, 482—483, 571, 587, 593, 627, 633—634, 655—656, 658, 670—671, *792*, *811*, *817*
Федоров, матрос, сигнальщик на «Палладе» 291—292, 480, 482
Федоров Б. М. *796*
Федр (ок. 15 до н. э.— ок. 70 н. э.), римский баснописец *810*
Фенелон Ф. (1651—1715) *809*
Феокрит (III в. до н. э.), древнегреческий поэт 382, 417, 689, 757, *816*
Фердинанд VII 326, *813*
Ферстфельд, врач в Стелленбоше 146—150, 165
Фетида (миф.) *825*
Фидий (нач. 5 в. до н. э.— ок. 432—431 до н. э.), древнегреческий скульптор 43, **794**

Физенский 250, 252, 293, *811*
Филарет см. Дроздов В. М.
Филипп, слуга Гончарова 113, 619, 633, 645, 670
Филипп II 446
Филиппеус А. Ф., управляющий факторией в Аяне 497—498, 823
Филиппов 628, 643, *833*
Фог, американский купец в Шанхае 325, 332
Франклин Дж. 585, **828**
Фуругельм И. В. 308, 320, 331, 350—351, 382, 384, 387, **812**, *814*

Хагивари Матаса, японский чиновник 289, 303—304, 305, 345, 348—349, 356, 361
Халезов (Хализов) А. А. («дед») 20—21, 26, 64—66, 68, 81—82, 90, 99, 187, 242, 246, 265, 288, 307, 405, 482, 558, 575, **792**, *834*
Хемницер И. И. (1745—1784) *791*
Хитров 531, 534
Хитрово, чиновник на Камчатке 497—498
Хитрово С. П. 721, *845*
Хун Сюциань (Тайпин-Ван) 337, *813*

Цертелев Д. Н. 718—721, 828, **844**—*845*

Чаки (Тогу) 126, *802*
Чез К. 123, **802**
Честной Д. С. (Аввакум) 25, 39, 47, 86, 180—181, 214, 228, 233, 294, 303, 309, 311, 320, 338, («наши синологи») 342, 389—390, 460, 462—463, 475, 477, 566—568, 574, 633, 637, 639, 693, *792*, **793**, *814*
Чикузен (Цикузен) князь 298

Шаликов П. И. *777*
Шамшев, петербургский домовладелец *835*
Шварц С. П., лейтенант на «Палладе» 312, *791*
Шведов, матрос на «Палладе» 63
Шендецов В. В. *832*
Шекспир У. 23, 276, 597, 699, *792*, *801*, *809*, *829*, *841—842*
Шестаков И. А. 619, **832**
Шиллер И. Ф. (1759—1805) 623, *833*
Шиллинг Н. Г. 742, *846*
Ширинский-Шихматов П. А. *839*
Шлипенбах А. Е., барон, лейтенат на «Палладе» 18, 24, 264, 457, 476, 559, *791*, *822*
Штолль Г. В. *813*
Шульц *810*

Щепкин М. С. 617, **831**
Щукин Н. С. 526, *824*

Эдуард III **803**
Эзоп (VI в. до. н.э.), греческий баснописец 337, *804*
Эйноске Марияма, японский переводчик 288—290, 294, 295, 299, 304, 345—347, 349—350, 354—355, 357—358, 361, 363—364, 367, 374—377, 468
Элликонида Александровна см. Белавина Э. А.
Элькан А. Л. 629, 708, *833*
Энгалычев 711, **843**
Энгельгардт Б. М. 722—760, *768*, *827*, **845**—*846*
Эпикур (341—270 до н.э.) *795*
Этола, жительница Гонконга 227, 759

Юлия Петровна см. Кошкарева Ю. П.
Юнинька (Юния Дмитриевна) см. Ефремова Ю. Д.

Языков А. М. 631, 635
Языков М. А. 40, 615—621, 624, 629—642, 646—647, 650—652, 659—663, 668, 672—675, 685—691, 697—699, 714, *768*, *770*, **777**, *794*, **831**—*832*, *834—841*, *837—838*, *840—842*
Языков Н. М. 634, 651, 661, 663, **834**
Языкова Е. А. 615—621, 629—642, 650—652, 659—663, 672—674, 685—690, 698, *770*, *777*, *831—832*, *834—841*, *837*, *843*
Языкова Е. М. 631, 651, *834*, *837—838*, *840—842*
Языковы 642, 664—665, 668, 676, 695, 704, 708, 715, *767—768*
Якушкин И. Д. 611—612, 719—721, **830**
Яновский С. Д. 628, 659, 679, 704, **833**
Янцен (Янцев), матрос-буфетчик на «Палладе» 93, 256
Ясиро, японский переводчик 295

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ *

Австралия 11, 18, 69, 83, 119—120, 168, 205, 211, 216, 394, 544, 566, 735, 737, 750
Азия 205—206, 259, 285, 488, 590, 649, 687, *771, 825*
Азорские острова 638
Айма, *станция* 506, 512
Алдама, *река* 497—498
Алдан, *река* 493, 530
Алданская слобода 507
Алеутские острова 600
Алжир 154
Альбани, *провинция* 126, 128—130, 133
Альберт, *провинция* 130
Альгоа (Альгоабей), *бухта* 129, 136
Аляска *823, 830*
Ама-Керима 402
Амга, *река* 512—513, 529, 530, 707
Амгинская станция 511—513, 707
Америка 12, 54, 64, 69, 83, 90, 187, 419, 439, 474, 492, 531, 580, 586, 596, 633, 638, 649, 670, 673, 688, 691, 694—695, 697, 702, 704, 734, *823*
Амой 335, 346, *806*
Амстердам, *остров* 188
Амьен 128, 802
Амур, *река* 487—488, 556, 565, 573, 592, 597—599, 690, 697, 699, 713, 733, 740—742, *829*
Амурский лиман 488, 556, 591, 732, 741—743
Английский канал (Британский канал, Канал) 26, 55, 56—57, 618, 622, 636—637, 639
Англия 7, 13, 18, 19, 29, 33, 35—45, 54, 66, 68—69, 74, 79, 90, 102, 104, 111, 112, 115—117, 119, 127—129, 131, 136—137, 150, 155, 168, 207—208, 227—228, 253, 258, 278, 292, 301, 322, 328, 331, 334, 336, 338, 368, 390, 394, 446, 472, 484, 492, 558, 561—562, 566, 580, 586, 619, 625, 627, 629, 638, 640, 643—644, 648—649, 663, 668, 673, 683, 699—700, 724, 727, 733, 739, *793, 794, 798, 804, 806, 812, 814, 839*
Андалузия 66
Анжер 190, 194—195, 435, 654—655, 681, *804, 836*
Анива 471
Апаразия (Вальпарайсо) 702
Аравийский залив 465
Аравия 125
Аргунь, *река* 574
Архангельск 505
Астрахань 825
Атлантический океан 57, 79, 92, 97, 130, 188, 682
Африка 11, 14, 83—84, 99, 102—103, 105, 108, 125, 128, 140, 142, 148, 154—155, 190, 212, 465, 581, 645—647, 649, 655, 667, *771, 790, 801*
Аян 488—492, 494, 496—498, 502, 554, 556, 598—600, 609, 612, 700—701, 706, 711—713, 743

Бабуян, *острова* 449, 696
Байет, *острова* 445
Байкал, *озеро* 506—507, 529, 712
Балтийское море 22, 26, 59, 83, 633, 725, 771
Балтика 725
Барабинская степь 614
Батавия 190, 302, 581, 651, 653—654, 659, 688, *738, 836*
Батан, *остров* 232, 448—449, 455, 471, 737—738

* Географические названия даются в той форме (или формах), какую они имеют в тексте памятника и в разделе «Дополнения». Краткие пояснения и страницы примечаний набраны курсивом. Указатель составлен Л. Б. Булгаковым.

Батанга (Ватанга), *станция* 504
Баши, *острова* 231, 403, 450, 455, 471, 563
Бенсклюфе, *ущелье* 168, 176
Берлин 418, 539, 626
Бинондо, *провинция* 406, 422, 434
Бирманская империя 211
Бискайская бухта 64, 66
Бо-Тсунг, *деревня* 390, 398
Большая рыбная река (Рыбная река) 126, 129, 133
Бонин-Сима, *острова* 231, 235, 237, 242—244, 253, 262—263, 638, 646, 668—673, 682—683, 691, 726, 731, 757, *811*
Борнео, *остров* 464
Босфор, *пролив* 465, 734
Бофорт, *провинция* 130
Бразилия 9, 11, 252, 506, 626, 628, 691, 717
Брееде, *река* 169
Британская Кафрария 135—137
Буйволова река 134
Буюкдерэ, *город* 500, 702

Вааль, *река* 128
Вайт, *остров* 29, 45, 301
Валансьенн, *город* 211, *806*
Вампоа, *бухта* 213
Варшава 626
Ватерлоо, *деревня* 39, 102, 794
Вашингтон 731
Веллингтон 154, 155, 158—159, 174
Вена 35
Венгрия 326
Венеция 211—212
Веселая гора 551—552
Византия 813
Виктория, *провинция* 130—131
Виктория 224
Вильдбад 612
Вильямстоун 136
Вилюйский *округ* 539
Винберг, *местечко* 106, 122
Винтерберг, *провинция* 133
Витима, *слобода* 540, 549
Волга, *река* 8, 75, 441, 493, 517, 529, *790, 824*
Воскресная река 126
Восток 125, 465
Восточная Индия 123
Восточная Сибирь 487, 522, 554, 556, 595—614, 709, 713, *828, 831*
Восточно-Корейский залив 821
Восточный Лондон, *провинция* 131—132
Восточный океан 238, 429, 480, 592, 596, 598, 687
Восунг (Вусун, Усун, Woosung), *река* 309, 315, 317—318, 322, 327—329, 332, 334, 339, 341

Гавана 428
Галлоперский маяк 27
Гамильтон, *остров* 448, 459, 464, 468, 472, 475, 737—739, *840*
Гао-Ли, *царство* 480—481
Гвинейский залив 83
Гекс, *река* 169
Германия 169, 626, 695, *802, 811*
Геттинген 145, *802*
Голландия 26, 118, 127—129, *802, 804*
Гон-Конг 7, 205, 222, 229, 231—232, 264, 272, 301, 311, 313, 321, 334—336, 338, 346, 394, 398, 406, 437, 449, 464, 646, 652, 658—659, 662—664, 667, 672—674, 681, 685, 687, 732, 734, 736, 738, *806, 839*
Гонолулу (Гонолюлю, Гоноруру) 481, 731
Гончарова, *остров* 740
Горн, *мыс* 54, 312, 726
Готланд (Гохланд), *остров* 21, 189
Гото (Готосима), *острова* 307, 344, 471
Гошкевича, *мыс* 740
Грааф-Рейнет, *провинция* 130
Гремстоун (Грем) 129, 133, 135
Гренада, *провинция* 66, *795*
Гринберг, *гора* 158
Гуцлав, *остров* 313—314

Дальний Восток 795, 798, *823*
Дамаск 819
Дания 7, 22, 23 («датский берег»), 29, 561, 620—621, 626, 792, 832
Двух братьев, *остров* 195
Де-Кастри, *гавань* 740
Де-Кастри, *залив* 741—742
Дезертос, *остров* 68
Джаксон, *порт* 221
Джахор 654
Джеджиан (Чечиан, Шешиан), *провинция* 420
Джордж, *провинция* 130
Джукджур (Зукзур), *гора* 494, 498, 503, 531, 701, 703, 706
Доброй Надежды (Бурь), *мыс* 13, 18, 54, 83, 86, 89, 93, 98, 102, 104, 114, 119, 121, 124—126 («мыс Бурь»), 152, 154—155, 169, 188, 221, 230, 270, 292, 309, 327, 339, 419, 452, 556, 573, 586, 638, 642, 646, 650, 652, 654, 657—658, 667, 681, 689, 691, 716—717, 726—727, 732, 747, *785, 801—802*
Доггерская банка (Доггер-банка), *отмель* 27
Дувр 29

Европа 12, 13, 33, 67, 69, 78, 80, 83, 102, 122, 127, 154, 171, 203, 205, 208, 211, 213, 216, 264, 267—268, 271, 285, 296, 302, 338, 379, 394, 416, 424, 431, 446, 466, 468, 472, 482, 539, 568, 537, 596—597, 609, 614, 635, 643, 653—654, 676—679, 685, 733, 739, 748, 750, 752, *771, 791, 806, 812, 825, 836*

Египет 125, 465, 613, 688, *836, 841*
Едо (Иедо) 252, 255—257, 263—264, 266—267, 276, 278, 284, 286, 288—289, 293, 295—297, 299, 303, 305—306, 345—349, 353—354, 356, 362, 372, 377, 379, 468, 471, 678, 683, 688, 731, 733—734, *839*
Екатеринбург 614
Екатерингоф 418
Елизабет, *порт* 129—132
Енисей, *река* 522
Енисейская губерния 715

Жегаловская, *станция* 551
Жербинская, *станция* 546—548, 710
Жиздра, *река* 687

Зеленого мыса, *острова* 13, 83—84, 642, 643—644, 646, 667
Змеиная горка (Шлянгенхель) 172—173
Зондские, *острова* 198, 316, 373
Зондский пролив 54, 189, 198, 638, 650, 654, 656—657, 662, 681, 726, *836*
Зунд, *пролив* 23, 24, 29, 558, 560, 617, 621, 627, 725—726, 792, 832

Ивосима, *остров* 244, 251, 300, 306
Иеддо, *залив* 569
Иктенда, *станция* 505
Императорская бухта 556, 733, 739—741, 744
Индийское море 54
Индийский архипелаг 205
Индийский океан (Индийские моря) 79, 188, 465, 727
Индийский полуостров 206, 217, 320, 429, 659
Индия 9, 14, 18, 33, 81, 114, 126, 128, 196, 207, 211, 218, 220, 225, 241, 335—336, 429, 465, 580, 584, 610, 612, 648, 654, 682, 705, 735, *791, 802*
Индонезия 791, 804
Иран 813
Ирбит 540 («Ирбитская ярмарка»)
Иркутск 542—552, 573, 594, 597, 599, 601, 607, 609, 611, 614, 697—698, 699, 700, 703, 709—711, 713, 715, *830—831*
Иркутская губерния 547
Ирландия 796
Испания 66—67, 80, 127, 190, 211, 379, 434, 445, 641, 679, 688, 736, *802*
Италия 9, 12, 102, 433, 580, 695
Ичугей-Муранская, *станция* 511

Кавита 405
Кавказ 18, *804*
Кагена, *остров* 251
Кадикс 67
Казань 214, 563, 612, 704, 715
Каледон, *провинция* 128, 130
Калифорния 168, 309, 398, 544, 678
Калькутта 229, 334
Каменосима, *остров* 251, 306
Каменская, *станция* 545, 546
Камигуин, *остров* 449—450, 459, 687, 691, 696, 738
Камчатка 18, 237, 255, 373, 489, 496, 509, 609, 650, 683, 691—692, 696, 711, 790, *830*
Канарские, *острова* 81
Кантон 202, 228, 334—335, 581, 682, 806
Кап, *провинция* 110, 130, 148, 750
Капская колония 110, 112, 117, 122—185, 643, 681, 766, *800, 802—803*
Капштат (Кэптоун, Кептаун, Кейптаун) 100, 104—106, 111, 118, 127—129, 131, 138—139, 141, 145, 154—155, 163, 175—176, 227, 644—646, 648, 727, *770, 787, 800, 803*
Каспийское море 259
Катакасима, *остров* 251
Каттегат 24, 618
Кафрария 130, 133
Качуга, *слобода* 551
Квельпарт, *остров* 464
Кей, *река* 126, 135
Кейскамма, *река* 123, 129—130, 133, 135
Кибач, *бухта* 251, 305
Киев 14, *791*
Киренск 543, 547, 549, 551, 703
Киренский округ 547
Китай 9, 11, 13, 14, 18, 33, 39, 54, 74, 114, 120, 196, 202—203, 205, 210, 213, 216, 218—219, 222, 225—226, 228—229, 259—260, 263, 265, 271—272, 275, 278, 294, 316—317, 319, 326, 335—336, 339, 369, 373, 379, 389—392, 400, 419—420, 430—431, 433, 437, 444—446, 452, 460, 465—467, 481, 531, 540, 580, 581, 584, 624, 626, 638, 646, 654, 659, 662 («Небесная империя»), 667, 673, 676, 679, 682, 686—687, 705, 709, *793—794, 797, 802, 806, 808, 812—814, 822, 829, 843*
Китайское море 221, 230—231, 403, 556, 563, 658, 674, 682, 726
Киузиу, *остров* 259
Клара, *остров* 244
Клейнберг, *мыза* 165, 173
Кленвильям, *провинция* 130
Клеопатра, *остров* 587
Ковальские ворота 248, 302, 306
Козерога, *тропик* 188
Колхида 9, 790
Кольсберг, *провинция* 130
Констанская гора 104—106
Константиновская бухта 744
Константинополь 500, 702
Копенгаген 24, 559—560
Корейский архепелаг 464
Корея (Кори, Чао-Син, Чау-Син, Чао-Сян) 271, 460—461, 464, 472, 474, 479—481, 695, 732, 738—739, *809, 816, 821—822*

Коррехидор 404, 420
Коссаки, *остров* 244
Кострома 18, 633
Кохинхина 211
Кошачья река 130, 133
Красное море 836
Кредок, *провинция* 130
Крестовская, *станция* 513, 518, 547
Кронштадт 14, 17, 18, 26, 102, 294, 554, 557—558, 575, 618, 725, 741, *792, 812*
Крысий, *остров* 302
Куба 580
Курск 687
Кяхта 320, 540

Лизарева, *мыс* 741—742
Лазарева, *порт* 740
Ледовитое море 500, 535—536, 598, 703, *825*
Лейт, *остров* 445
Лена, *река* 507, 516—518, 520—521, 523, 526, 529—530, 540, 542—544, 546—551, 700, 702, 705—706, 711, *826*
Лизарда, *мыс* 55—56, 642
Ликейские (Лиу-Киу, Рю-Кю, Лу-Чжоу, Лю-Чу, Ру-Ку), *острова* 278, 303, 379, 380—403, 405, 461, 471, 563, 586, 588, 592, 688, 691, 735, 757, *816*
Лион 369
Лиссабон 69, 86, 791
Ллойд, *порт* 237, 670, 731, 812
Лондон 9, 11, 18, 30, 33—34, 36—42, 47, 49, 112, 117, 156, 212, 237, 241, 327, 356, 375, 561, 575, 586, 617—620, 622, 626, 628—630, 679, 682, 696, *793, 839*
Львиная гора («Лев») 108, 110, 176—177, 178—179, 308, 645, 648, 658
Люсон, *остров* 403, 405, 443—446, 448—449, 452, 471, 580, 687—688, 696, 738, 757, *817*

Ма, *бухта* 694
св. Маврикия, *остров* 104, 150
Магинданао, *остров* 445
Мадера (Мадейра), *остров* 12, 13, 67, 69, 74, 78, 80, 83—85, 188, 246, 265, 345, 349, 468, 640—643, 646, 651, 667, 668, 679, 681, 727, *784*
Мадрас 135
Мадрит 35
Маил, *станция* 500—503
Маймакан, *станция* 505
Майя, *река* 700—701
Макао, *колония* 226—228
Малайский архипелаг 13
Малаккский полуостров 206, 210—211, 217, 658, 682
Манила (Майрон-Нила, Mai-Nila) 81, 190, 203, 252, 303, 379, 392, 402—448, 468, 470—471, 566, 638, 679, 688—689, 691—694, 726, 733, 735, 739—740, 757, *817, 820*
Манильский залив 404
Маньчжурия 479—480
Матсмая (Есо) 461, 481
Мая, *река* 493, 503, 505—507, 512, 513, 526, 528—530
Меджико-Сима, *острова* 474
Мельвиль, *залив* 391
Мельмсбери, *провинция* 130
Миако 252, 470, 568
Мигель, *предместье* 422—423
Микены 793
Минданао, *остров* 435
Миндоро, *остров* 445
Миссисипи, *река* 573
Монблан, *гора* 44, 495, 499, 531, 572, 706, *794*
Монголия 480, *822*
Москва 14, 18, 30, 81, 88, 169, 226, 314, 367, 418, 493, 502, 510, 519, 596, 612, 616, 622, 629, 673, 704, 818, 832
Мурино, *деревня* 82, 798
Мухтуйская, *станция* 549

Нагасаки 242, 244, 250, 252, 266, 271—272, 276, 286, 288—290, 292, 296, 306, 344, 348, 350, 353, 361—362, 371—372, 375, 377, 386, 459, 467, 469, 470, 474, 554, 566, 587, 674, 679—680, 683, 688, 731, 733, 734, 739, *765, 815, 839*
Нагасаки, *остров* 244
Нагасакский залив 348, 731
Нанкин 315, 336—337, 813
Напа-Киян (Напа-Кианг, Напа) 380, 384, 394, 400, 735
Наталь, *порт* 104, 132
Натарская, *станция* 512, *823*
Наха, *порт* *798*
Неаполь *796*
Нева, *река* 251, 307, 672, *792*
Нелькан, *станция* 503, 505
Немецкое море 25, 26, 59, 571, 618, 622, 627—628, 633, 725—726
Нижнеколымск 539
Нижнеколымский уезд 535
Нижний Новгород 104, 314, 540 («Нижегородская ярмарка»)
Николаевск 556
Николаевский порт 743
Нипон (Нифон), *остров* 256, 259, 470, 471—472
Ниппо (Нинпо, Нингпо) 317, 335, 346, 434, 806
Новая Голландия 624, 628
Новая Зеландия 238
Новинское 418
Ноктуйская, *станция* 546
Номо, *мыс* 246, 251, 306, 371

Номосима, *остров* 244
Норд-Кап 212
Нью-Йорк 208

Ока, *река* 316, 507
Окинава, *остров* 798
Оксфорд 145, 793, 802
Олекма 543, 546—547, 703
Олекминск 540

Оранжевая, *река* 130, *802*
Оранжевая республика 129, *802*
Ораниенбаум 521, 638, 721, *824*
Орел 687
Осаки (Оосаки) 470, 568
Ослиные уши, *остров* 308
Ост-Индия 114, 264, 472, 531, 653, 673, 696
Отаити, *острова* 581
Охотск 498, 600
Охотское море 379, 488—489, 491, 502, 527—528, 530—531, 538, 546, 554, 556, 591—592, 598, 612, 706, 732, *771*

Паарль, *гора* 151
Паарль, *провинция* 130, 151, 153—154, 159, 175, 649, 803
св. Павла, *остров* 188
Павловск 54, 795
Палауан, *остров* 445
Палестина 704, *840—841*
Пальма, *остров* 80, 81
Памир 794
Панай, *остров* 445
Паппенберг, *гора* 251, 297, 299, 300, 302
Парголово 9, 54, 384, 521, 640, 645, *791, 835*
Париж 9, 11, 66, 212, 418, 549, 586, 613, 628, 631, 696, 816
Пассиг, *река* 405, 411, 414, 419, 422, 425, 445—446
Пекин 320, 364, 389, 460, 477, 574, *813*
Петербург 13, 17, 21 («Невский проспект»), 26, 30, 35, 44, 77, 81, 82, 88, 110, 112, 188, 193, 206 («Елагинский парк»), 212, 241, 255, 263, 266 («острова»), 288, 311, 324, 339, 367, 379, 405, 418, 428, 441—442, 468, 491, 506—507, 510, 519, 528, 542, 554, 556—557, 560—561, 573, 585, 588, 595—600, 607, 610, 612—614, 616 («Васильевский остров»), 622, 626, 629—630, 633, 648, 650—651, 653, 663, 670 («на Литейной»), 676, 682 («Невский проспект»), 686, 692, 695, 699, 704, 710, 713, 720, 731, 741—743, *766, 795, 798, 804—805, 812, 814, 818—819, 825, 829, 830—831, 834—836, 841*
Петергоф 9, 13, 82, 557, 616, *791, 816*
Петровское зимовье 488—489
Петропавловск-на-Камчатке 264, 737, *812, 823, 830*

Пещурова, *остров* 740
Пиль, *остров* 237
Пио-Квинто (Pio Quinto), *порт* 449—450, 687, 691, 738
Пиренейский полуостров 339
Пия V, *порт* 687
Поледуйская, *станция* 547
Порто-Прайя 83—84, 86, 642, 758—759
Порто-Санто, *остров* 68
Портсмут 26, 30, 33, 45, 47, 58, 327, 561, 575, 617—622, 626, 633, 638, 640, 667, 681, 726, 732, *768, 770*
Портсмутская гавань 634, *834*
Португалия 66, 74, 86, 127, 641, *802*
Посьета, *залив* 740
Принца, *остров* 189
Псковская губерния 162
Пьхин-сян 480
Пьянобыковская, *станция* 550

Ревель 619
Рейн, *река* 811
Рига 818
Рим 791, *793, 816*
Рио, *пролив* 210
Рио (де)-Жанейро 208
Рождества, *остров* 189
Россия 43, 45, 78, 102, 224—225, 237, 255, 278, 287, 308, 312, 346, 349, 362—363, 377, 439, 477, 479, 491, 539, 547, 550, 556, 569, 573, 591, 610, 619—620, 628, 656, 659, 676, 696, 712—713, 734—735, *771, 795, 798, 814—815, 818, 824, 829, 831, 839—840, 843*

Садо, *остров* 471
Саймонсбей (Саймонская бухта, Сеймонский залив) 99—100, 106, 643—645, 649
Саймонстоун 99, 104, 131, 150, 177—178, 180—181, 185, *801*
Саксония 326
Самар, *остров* 445
Сан-Маттео, *предместье* 438
Сан-Мигель, *предместье* 429
Сан-Франциско 237, 238, 394, 398, 554, 685, 733, 737, *816*
Сандвичевы, *острова* 11, 81, 210, 212, 238, 252, 255, 339, 398, 467, 480, 502—503, 702, 731, 750, *821*
Сант-Яго, *остров* 83—84, 642
Санта-Круц, *предместье* 81, 422—423, 440
Сахалин, *остров* 467, 488—489, 565, 592, 697, 741, *822*
Сахара, *пустыня* 154
Свеллендам, *провинция* 130
Северная Америка 535, *765, 802*
Северное море 725
Северный полюс 9
Севилья 66

Седельные, *острова* (Сэдль, Saddle-Jslands) 308—309, 311, 313, 341, 344, 686, 734, *811*
Семигорье 600
Семь протоков, *станция* 504
Сена, *река* *816*
Сиам 211, *819*
Сибирь 263, 271, 470—471, 486—496, 492, 494, 525, 529, 539, 549—550, 554, 591—592, 596—600, 608, 612—613, 614, 628, 650, 653, 691—692, 696, 699—700, 710, 713, 738, *820, 824—826*
Сидней 119, 334
Самабара, *залив* 371
Симбирск 673, 704, 715, *790, 792—793, 796*
Симодо 568, 570—572, *765, 795, 815*
Симодо, *залив* 569—570
Сингапур (Сингапор) 199, 203, 205—206, 208, 210—213, 216—218, 220—221, 225, 229, 246, 260, 284, 313, 320—321, 327, 336, 339, 381, 384, 406, 410, 429, 437, 439, 445, 652, 654—656, 659, 662—664, 668—673, 681—682, 691, 708, 757, *817, 836*
Сингапур, *остров* 660, 667
Синоп 420, *818*
Ситха 237, 678, 733, 737
Скагеррак, *пролив* 24
Соединенные штаты (Америки) 336, 338, 346, 383—384, 385, 390, 395, 468, 683, *798, 830*
Соммерсет, *провинция* 130, 142
Спидгэдский рейд 29, 726
Средняя Азия 259, 521, *813, 822, 824*
Становой хребет 491, 502—503, 531, 598
Стелленбош, *провинция* 130, 144—146, 173, 175, 649, 717
Столовая, *бухта* 100, 126, 643
Столовая, *гора* 99, 106, 108, 110, 111, 117, 308, 495, 645, 717
Сульфур, *остров* 587
Сулу, *остров* 445
Суматра, *остров* 190, 195, 650, 652, 656, 681
Сучеу-Фу (Сучеу) 336
Суэц 652

Тагасаки, *остров* 244
Тамань (Тюймэн, Тай-мень, Тайманьга), *река* 479
Тамбов 18, 240
Татарский пролив 29, 481, 556, 565, 568, 591—592, 698—700, 708, 713, 732, 740—741, 742
Темза, *река* 33—34, 49, 375
Тенериф, *мыс* 81
Терпильская, *станция* 505
Тибет 320, *822*
Тихий (Великий) океан 232—233, 235, 382, 392, 400, 670, 674, 682, 732, 735, 737, *790, 791, 804*
Тондо, *предместье* 434, 437
Торжок 441, 819
Трафальгар, *мыс* *794*
Трех сестер, *остров* 195
Тсянзин 574, *827*
Тула 598
Турция 312, 566, 688, 702, 733—734, *840*

Уда, *река* 539
Уи, *бухта* *694*
Уитенхаг, *провинция* 130
Урал, *река* 441
Уральский хребет 525, 540, 596, 614, 712, *824*
Урядская, Уряхская, *станция* 507
Устер, *провинция* 130, 158, 165, 168, 170—171, 173
Усть-Мая 507
Усть-Стрелка, *пост* 574

Фальсбей (Fals bay), *бухта* 98—99, 644, 727
Ферст-ривер (Эршт-ривер), *река* 139
Филиппинские, *острова* 54, 435, 445, 687, 691, 737, *791*
Филиппинский архипелаг 446, 732
Финистерре 66
Финляндия 18, 629
Финский, *залив* 13, 21, 58, 82, 307, 320, 618
Фирандо, *селение* 470
Формоза, *остров* 231
Франция 29, 33, 66, 77, 102, 119, 120, 394, 558, 580, 628, 733, 739, *798, 802, 814, 839*
Фу-Чу-Фу 335
Фудзи, *гора* 573
Фунчал 69, 759

Хаджи, *залив* 694
Хакодате, *город* *765, 815*
Ханькоу, *город* *813*
Хеда, *бухта* 573

Царское село 521, 638, *824*
Цейлон *802, 809, 836*
Цепандинская, *станция* 505
Цусима 739

Чабда, *станция* 507
Чао-Син (Чау-Син, Чао-Сян) см. Корея
Частинская, *станция* 550
Челасин, *станция* 500—501
Черная речка 416
Черное море 650, 692, *814*
Чертова гора или пик 108, 110, 645
Чита 613
Чу-Сима, *остров* 472
Чуйская, *станция* 549
Чума, *приток реки Кейскаммы* 133
Чусан, *остров* 224
Чусанский архипелаг 313, 433
Чухлома 48
Чуя (Чуди, Шоу-Ли) 382—383, 394—395

Шанхай 299, 303, 307—343, 379, 448, 459, 468, 471—472, 566, 676, 682, 685—687, 691, 714, 733—734, 736, 737—739, 758—759, *777, 806, 812—813*
Швейцария *799*
Швеция 7, 23 («шведский берег»)
Шилка, *река* 574
Шотландия 129

Ырга 694
Ыргалахская, *станция* 514

Эддистонский маяк 55
Эльзенборг, *мыза* 169
Эльсинор 792
Эперне 441, *819*

Южная Азия *791*
Южная Америка *791*
Южная Африка 124, 128, 644, 649
Южнополярное море 79
Южный океан 596, 650
Южный полюс 9, 91, 105
Юлия, *остров* 244

Ява, *остров* 189, 194—195, 198, 203, 246, 260, 313, 381, 384, 415, 580, 650, 652, 654, 656, 667, 681, 708
Якукосима, *остров* 244
Якутск, *город* 494, 498, 504—505, 510, 512, 516—542, 545—547, 595—597, 600, 605, 607—608, 698, 700, 702—703, 705—714, 720, *829—830, 842—843*
Якутская область 529, 546, 600
Янсекиян (Янгтсекиянг), *река* 308—309, 311, 314, 332, 337, 343, 686, 734
Японский архипелаг 731
Япония 12, 14, 54, 81, 83, 222, 244—306, 308, 311, 313, 316, 320, 352—379, 384, 389, 393, 411, 461, 467—479, 553—556, 566, 569—570, 586, 588, 646, 663, 668, 672—674, 681—684, 688, 690—692, 699—700, 709, 712, 716, 733, 736, 743, *765, 773, 795, 798, 808—809, 816, 821*
Ярославль, *город* 338 («ярославские бабы»)
Ясико (Ессико) 471

French Hoek (Hook) 128
Hanglip, *скала* 99

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Б. д. чт. — «Библиотека для чтения» (журнал).

Бенедиктов — Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Вступ. статья. Ф. Я. Приймы/Сост., подгот. текста и примеч. Б. В. Мельгунова. Л., 1983 (Библиотека поэта. Большая серия).

Вышеславцев — Вышеславцев А. Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах. С 27-ю рисунками. Литогр. П. Пети. СПб., 1862.

Гончаров в воспоминаниях — И. А. Гончаров в воспоминаниях современников/Подгот. текста и примеч. А. Д. Алексеева и О. А. Демиховской. Л., 1969.

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

Давидсон, Макрушин — Давидсон А. Б., Макрушин В. А. Облик далекой страны. М., 1975.

Даль — Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. I—IV.

Зибольд — Зибольд Ф. Путешествие по Японии, или Описание Японской империи в физическом, географическом и историческом отношении... СПб., 1854.

ИВ — «Исторический вестник» (журнал).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).

Кони — Кони А. Ф. Иван Александрович Гончаров.— Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1968. Т. 6.

Летопись — Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.; Л., 1960.

Лит. насл. — Литературное наследство. М.; Л., 1935, т. 22—24.

Майков — Майков А. Н. Избранные произведения/Вступ. статья Ф. Я. Приймы. Сост., подгот. текста и примеч. Л. С. Гейро. Л., 1977 (Библиотека поэта. Большая серия).

М. сб. — «Морской сборник» (журнал).

Муравейский — Гончаров И. А. «Фрегат „Паллада“»/Сокращенное издание под ред., со вступ. статьей и коммент. С. Д. Муравейского. М., 1951.

Н. вр. — «Новое время» (газета).

Обзор — Обзор заграничных плаваний судов русского военного флота с 1850 по 1868 год. СПб., 1871, т. I, II.

ОЗ — «Отечественные записки» (журнал).

РА — «Русский архив» (журнал).

РВ — «Русский вестник» (журнал).

РЛ — «Русская литература» (журнал).

РО — «Русское обозрение» (журнал).

РС — «Русская старина» (журнал).

Совр. — «Современник» (журнал).

СС — Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1955.

ЦВММ — Центральный Военно-морской музей (Ленинград).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

1858 — Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия Ивана Гончарова в 2-х т./Издание И. И. Глазунова. СПб., 1858.

1879 — Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия Ивана Гончарова в 2-х т. Издание третье, с переменами. СПб., 1879.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

И. А. Гончаров. Гравюра И. П. Пожалостина по фотографии К. И. Бергамаско 1873 г. ИРЛИ. Ленинград. Вклейка
Фрегат «Паллада». Макет. ЦВММ. Ленинград. *С. 11*
И. А. Гончаров среди офицеров фрегата «Паллада». Местонахождение дагерротипа неизвестно. Воспроизведено по журналу «Солнце России», 1911, № 47. *С. 15*
И. А. Гончаров. Фотография начала 1850-х гг. ИРЛИ: Ленинград. *С. 16*
Адмирал Е. В. Путятин. Литография. ЦВММ. Ленинград. *С. 16*
И. С. Унковский, командир фрегата «Паллада». Государственный литературный музей. Москва. *С. 17*
К. Н. Посьет, капитан-лейтенант на «Палладе». ЦВММ. Ленинград. *С. 17*
Кронштадтский рейд. Картина И. К. Айвазовского. ЦВММ. Ленинград. *С. 20*
Портсмутский рейд. Гравюра. ИРЛИ. Ленинград. *С. 31*
Остров Мадера. Порт Фунчал. ЦВММ. Ленинград. *С. 68*
Мыс Доброй Надежды. Саймонсбейский рейд. Фотография. ЦВММ. Ленинград. *С. 100*
Мыс Доброй Надежды. Капштадт. С гравюры А. Вышеславцева, приведенной в книге: *Вышеславцев А.* Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858 и 1860 годах. С 27-ю рисунками. Литогр. П. Пети. СПб., 1862. В дальнейшем: Вышеславцев. *С. 101*
Мыс Доброй Надежды. С гравюры. Вышеславцев. *С. 107*
Жители мыса Доброй Надежды. Вышеславцев. *С. 113*
Батавия. Остров Ява. Гравюра. ИРЛИ. Лениград. *С. 191*
Сингапур. Вышеславцев. *С. 197*
Китайцы в Сингапуре. Вышеславцев. *С. 203*
Индусы. Вышеславцев. *С. 205*
Сингапур. Вышеславцев. С. *215*
Гонконг. Литография. ИРЛИ. Лениград. *С. 223*
Нагасакский рейд. Гравюра. ИРЛИ. Ленинград. *С. 245*
Японцы (Эддо). Вышеславцев. *С. 247*
Посольство адмирала Е. В. Путятина в Японии в 1853 г. Фрагмент (1-й) японской картины. ЦВММ. Ленинград. *С. 273*
Посольство адмирала Е. В. Путятина в Японии в 1853 г. Фрагмент (2-й) японской картины. ЦВММ. Ленинград. *С. 273*
Е. В. Путятин. Японская картина, изображающая его посольство в Японии в 1853 г. ЦВММ. Ленинград. *С. 280*
Свита. Японская картина, изображающая русское посольство адмирала Е. В. Путятина в Японии в 1853 г. Фрагмент. ЦВММ. Ленинград. *С. 282*
Накамура Тамея, секретать японских уполномоченных. Рисунок. *С. 369*
Манила. Улица в поселке. Гравюра. ИРЛИ. Лениград. *С. 407*
Карта восточного берега полуострова Кореи (*1* — Берег, снятый с атласа Крузенштерна, *2* — Берег, описанный офицерами фрегата «Паллада» в 1854 г.). *С. 473*
Гиляки. Гравюра. *С. 485*
Порт Аян. Литография П. Смирнова. 1875 г. ЦВММ. Ленинград. *С. 490*

Олекма. Фотография. ИРЛИ. Ленинград. *С. 543*
Императорская гавань. Вышеславцев. *С. 555*
Залив Симодо. Рисунок Можайского. *С. 569*
С. Г. Волконский. Фотография 1859 г. ИРЛИ. Ленинград. *С. 610*
М. Н. Волконская. Фотография 1860 г. ИРЛИ. Ленинград. *С. 610*
И. Д. Якушкин. Рисунок с натуры К. П. Мазера 1851 г. ИРЛИ. Ленинград. *С. 611*
С. П. Трубецкой. Фотография 1850-х гг. ИРЛИ. Ленинград. *С. 611*
Дарственная надпись И. А. Гончарова А. Языкову на книге «Фрегат „Паллада"» 1879 г. издания. Библиотека Н. К. Пиксанова. ИРЛИ. Ленинград. *С. 635*
Титульный лист отдельного издания «Фрегата „Паллада"» 1858 г. Библиотека ИРЛИ. Ленинград. *С. 764*
Титульный лист отдельного издания «Фрегата „Паллада"» 1879 г. Библиотека ИРЛИ. Ленинград. *С. 774*
Титульный лист 6-го тома Собрания сочинений И. А. Гончарова, в котором помещен 1-й том «Фрегата „Паллада"». *С. 776*
Карта плавания фрегата «Паллада». *С. 778*.

СОДЕРЖАНИЕ

ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

Предисловие автора к 3-му, отдельному, изданию «Фрегата „Паллада“» 5

ТОМ ПЕРВЫЙ

I

ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА

Сборы, прощание и отъезд в Кронштадт. — Фрегат «Паллада». — Море и моряки. — Кают-компания. — Финский залив. — Свежий ветер. — Морская болезнь. — Готланд. — Холера на фрегате. — Падение человека в море. — Зунд. — Каттегат и Скагеррак.— Немецкое море.— Доггерская банка и Галлоперский маяк.— Покинутое судно.— Рыбаки.— Британский канал и Спидгедский рейд.— Лондон.— Похороны Веллингтона.— Заметки об англичанах и англичанках.— Возвращение в Портсмут.— Житье на «Кемпердоуне».— Прогулка по Портсмуту, Саутси, Портси и Госпорту.— Ожидание попутного ветра на Спидгедском рейде.— Вечер накануне Рождества.— Силуэт англичанина и русского.— Отплытие 7

II

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ОСТРОВ МАДЕРА

Выход в океан. — Крепкий ветер и качка. — Прибытие на Мадеру. — Город Фунчал. — Прогулка на гору. — Обед у консула. — Отъезд 56

III

ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ

Норд-остовый пассат. — Острова Зеленого Мыса. — С.-Яго и Порто-Прайя. — Северный тропик. — Тропическая зима. — Штилевая полоса. — Экватор. — Южный тропик и зюйд-остовый пассат.— Летучие рыбы и акулы.— Опять штили.— Масленица.— Образ жизни на фрегате.— Купанье.— Море и небо 79

IV

НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Приход в Falsebay.— Саймонсбей и Саймонстоун.— Поправки на фрегате.— Капштат.— Welch's hotel.— Столовая гора, Львиная гора и Чертов пик.— Ботанический сад.— Клуб.— Англичане, голландцы, малайцы, готтентоты и негры.—

Краткий исторический очерк Капской колонии и войн с кафрами. — Поездка по колонии. — Соммерсет. — Стелленбош. — Ферма Эльзенборг. — Паарль. — Веллингтон. — Мистер Бен. — Тюрьмы и арестанты. — Дороги. — Ущелье. — Устер. — Минеральные ключи. — Обратный путь. — Змеиная горка. — Птица секретарь. — Винберг. — Кафрский предводитель Сейоло. — Отплытие 98

V

ОТ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ ДО ОСТРОВА ЯВЫ

Шторм.— Святая неделя.— Тридцать дней на Индийском океане.— Жары.— Смерч.— Анжерский рейд.— Вечер на Яве.— Китайцы и малайцы 186

VI

СИНГАПУР

Приход на рейд. — Малайцы и индийцы. — Прогулка по городу и окрестностям. — Европейский, малайский и китайский кварталы. — Продажа опиума. — Ананасы, мангу и мангустаны. — Кокосовые орехи. — Значение Сингапура. — Кумирни. — Купец Вампоа и его вилла 196

VII

ГОН-КОНГ

Вид рейда и города. — Улица с дворцами и китайский квартал. — Китайцы и китаянки. — Клуб и казармы. — Посещение фрегата епископом и генерал-губернатором. — Заведение Джердина и Маттисона 222

VIII

ОСТРОВА БОНИН-СИМА

Китайское море. — Шквалы. — Выход в Тихий океан. — Ураган. — Штили и жары. — Остров Пиль, порт Ллойд. — Корвет «Оливуца» и транспорт Американской компании «Князь Меншиков». — Курьеры из России. — Поселенцы. — Прогулка, обед и вечер на берегу 231

ТОМ ВТОРОЙ

I

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

в конце 1853 и в начале 1854 годов

Вход на нагасакский рейд.— Первые визиты японцев.— Вид рейда и города.— Батареи; деревни. — Переводчики и баниосы. — Караульные лодки и гребцы. — Передача письма к губернатору. — Ежедневные сношения с японцами. — Доставка провизии. — Визит голландцев из фактории. — Буря. — Новый переводчик. — Переговоры о церемониале свидания адмирала с нагасакским губернатором. — Губернаторские секретари. — Торжественный поезд в Нагасаки. — Пристань и носилки. — Японские солдаты. — Улица и домы. — Свидание с губернатором. — Передача письма от русского правительства к японскому. — Японское угощение. — Ожидание ответа из Едо. — Другой губернатор. — Еще переводчик. — Годовщина похода. — Спектакль на корвете «Оливуца». — Смерть сиогуна. — Гроза. — Ответ из Едо.— Катанье на шлюпках.— Паппенберг.— Крысий остров.— Подарки.— Важное известие из Едо. — Отъезд 244

II

ШАНХАЙ

Седельные острова. — Рыбачья флотилия. — Поездка в Шанхай на купеческой шкуне. — Гуцлав. — Янсекиян. — Пожар. — Река и местечко Вусун. — Военные

джонки и европейские суда. — Шанхай. — О чае. — Простой народ. — Таможня. — Американский консул. — Резная китайская работа. — Улицы и базары. — Лавки и продавцы.— Фрукты, зелень и дичь.— Харчевня.— Европейские магазины.— Буддийская часовня.— Шанхайские доллары и медная китайская монета.— Окрестности, поля, гулянье англичан.— Лагерь и инсургенты.— Таутай Самква.— Осада города продавцами провизии.— Обращение англичан с китайцами.— Торговля опиумом.— Значение Шанхая.— Претендент на богдыханский престол.— Успехи христианства в Китае.— Фермы и земледельцы.— Китайские похороны.— Возвращение на фрегат 307

III

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

Взаимные подарки. — Новые лица. — Известия о японских полномочных. — Условия свидания с ними. — Новый год. — Опять поезд в Нагасаки. — Салют. — Полномочные и оба губернатора.— Приветствия; обед; разговоры.— Междометия.— Посещение полномочными фрегата. — Встреча; обед. — Подарки. — Японские сабли. — Парадный прием и обед у японцев. — Подарки от сиогуна. — Письма от верховного совета. — Частые поездки в Нагасаки для конференции. — Японский новый год. — Вторичное посещение фрегата полномочными. — Прощальный обед у них. — Отъезд 344

IV

ЛИКЕЙСКИЕ ОСТРОВА

Вид берега. — Бо-Тсунг. — Базиль Галль. — Идиллия. — Дорога в столицу. — Столица Чуди. — Каменные работы. — Пейзажи. — Жители, домы и храмы. — Поля. — Королевский замок. — Зависимость островов. — Протестантский миссионер. — Другая сторона идиллии.— Напа-Киян.— Жилище миссионера.— Напакианский губернатор.— Корабль с китайскими эмигрантами.— Прогулка и отплытие 380

V

МАНИЛА

От Лю-Чу до Манилы

Манильский залив. — Островки *Коррехидор, Конь* и *Монахиня.* — Вход на рейд. — Река Пассиг. — Улицы, лавки, отель. — Предместье Бинондо и старый город. — Тагалы, китайцы, метисы и испанцы. — Окрестности. — Растительность. — Плантации.— Кальсадо.— Французские миссионеры.— Изделия из соломы и ананасных волокон. — Церкви Санта-Круц и Мигель. — Ученье солдат. — Женщины. — Ящерицы в домах. — Ванны. — Визиты к испанцам. — Табачная фабрика. — Французский епископ. — Испанский монастырь. — Собор. — Богомольцы и проповедники. — Петушьи бои. — Породы деревьев. — Канатная фабрика. — Запас сигар. — Дамы на фрегате. — Происхождение слов *Люсон* и *Манила.* — Красота природы. — Географическая, историческая и статистическая заметка о Филиппинских островах 402

VI

ОТ МАНИЛЫ ДО БЕРЕГОВ СИБИРИ

Качающаяся мачта. — Остров Батан. — Padre и алькад. — Сулой. — Остров Камигуин, порт Пио-Квинто.— Красное дерево.— Птицы и насекомые.— Бананы.— Дракон, пожирающий уток. — Обед в тропическом лесу. — Кит. — Акула. — Остров Гамильтон. — Камелии. — Корейцы. — Вести из Шанхая. — Нагасаки. — Второй губернатор.— Подарки.— Провизия.— Острова Гото.— Берега Кореи; опись их и поверка карт. — Залив Лазарева. — Прогулки по берегу. — Сильные туманы. — Змея. — Сношения с жителями. — Неприятность. — Река Тайманьга. — Историческая заметка о Корее. — Татарский пролив. — Шквал. — Большой залив. — Жители.— Тунгус Афонька.— Гиляки 448

VII
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

Плавание по Охотскому морю. — Китолов. — Петровское зимовье. — Аянские утесы и рейд. — Сборы в путь. — Верховая езда. — Восхождение на Джукджур. — Горы и болота. — Нелькан и река Мая. — Якуты и русские поселенцы. — Опять верхом. — Леса и болота. — Юрты. — Телеги . . . 487

VIII
ИЗ ЯКУТСКА

Ураса. — Станционный смотритель. — Ночлег на берегу Лены. — Перевоз. — Якутск. — Сборы в дорогу. — Меховое платье. — Русские миссионеры. — Перевод св. Писания на якутский язык. — Якуты, тунгусы, карагаули, чукчи. — Чиновники, купцы. — Проводы 516

IX
ДО ИРКУТСКА

Город Олекма. — Лена. — Станции по ней. — Сорок градусов мороза. — Вино и щи в кусках. — Юрты с чувалами. — Леса. — Тунгусы. — Витима. — Киренск. — Лошади и ямщики 542

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ . . . 553

ДОПОЛНЕНИЯ

Два случая из морской жизни . . . 579
По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске . . . 595

ПИСЬМА

1. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 23 августа 1852 г. . . . 615
2. *В. П. Боткину.* 26 сентября 1852 г. . . . 617
3. *М. А.* и *Е. А. Языковым.* 3/15—4/16 ноября 1852 г. . . . 617
4. *Е. П.* и *Н. А. Майковым.* 20 ноября/2 декабря 1852 г. . . . 621
5. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 8/20 декабря 1852 г. . . . 629
6. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 27 декабря 1852 г./8 января 1853 г. . . . 632
7. *М. А. Языкову.* 9/21—11/23 января 1853 г. . . . 636
8. *Языковым* и *Майковым.* 18/30 января 1853 г. . . . 640
9. *Семье Н. А. Майкова.* 17/29 марта 1853 г. . . . 642
10. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 17/29—18/30 марта 1853 г. . . . 646
11. *Е. П.* и *Н. А. Майковым.* 29 марта/10 апреля 1853 г. . . . 647
12. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 18/30—19/31 мая 1853 г. . . . 650
13. *Семье Н. А. Майкова.* 25 мая/6 июня—26 мая/7 июня 1853 г. . . . 653
14. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 26 мая/7 июня 1853 г. . . . 659
15. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 19 июня/1 июля 1853 г. . . . 662
16. *Ю. Д. Ефремовой.* 20 июня/2 июля 1853 г. . . . 664
17. *И. И. Льховскому.* 20-е числа июля—20 августа 1853 г. . . . 665
18. *А. Н.* и *А. И. Майковым.* 29 июля—21 августа/10 августа—2 сентября 1853 г. . . 669
19. *Э. А. Белавиной.* 30 июля/11 августа —/20 августа/1 сентября 1853 г 671
20. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 31 июля/12 августа 1853 г. . . . 672
21. *М. А. Языкову.* 20 августа/1 сентября 1853 г. . . . 674
22. *Е. П.* и *Н. А. Майковым.* 15/27 сентября 1853 г. . . . 675
23. *А. Н. Майкову.* 20 сентября/2 октября 1853 г. . . . 679
24. *А. С. Норову.* 20 сентября/2 октября 1853 г. . . . 680
25. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 15/27 декабря 1853 г. . . . 685
26. *Е. А.* и *М. А. Языковым.* 13/25 марта 1854 г. . . . 687

27. *Е. П.* и *Н. А. Майковым.* 14/26 марта 1854 г. 691
28. *Е. П.* и *Н. А. Майковым.* 15 июля 1854 г. 693
29. *М. А. Языкову.* 5 августа 1854 г. 697
30. *М. А. Языкову.* 17 августа 1854 г. 698
31. *Семье Майковых.* 14 сентября 1854 г. 698
32. *А. А. Краевскому.* 14 сентября — 25 ноября 1854 г. 705
33. *Ю. Д. Ефремовой.* 15 сентября 1854 г. 708
34. *К. Н. Григорьеву.* 31 декабря 1854 г.— 15 января 1855 г. 710
35. *М. С. Волконскому.* 13 января 1855 г. 711
36. *Е. П.* и *Н. А. Майковым.* 13 января 1855 г. 712
37. *М. С. Волконскому.* 14 января 1855 г. 715
38. *Н. А. Гончарову.* 1 декабря 1855 г. 715
39. *И. И. Льховскому.* 5/17 ноября 1858 г. 716
40. *И. И. Льховскому.* 2/14 апреля 1859 г. 717
41. *Д. Н. Цертелеву.* 22 ноября 1890 г. 718
42. *Д. Н. Цертелеву.* 27 ноября 1890 г. 719
43. *Д. Н. Цертелеву.* 29 декабря 1890 г. 720
44. *Д. Н. Цертелеву.* 2 января 1891 г. 720
Б. М. Энгельгардт. «Фрегат „Паллада“» 722

ПРИЛОЖЕНИЯ

Т. И. Орнатская. История создания «Фрегата „Паллада“» 763
Примечания (*сост. Т. И. Орнатская*) 788
Словарь морских терминов (*сост. Л. Б. Булгаков*) 849
Указатель имен (*сост. Л. Б. Булгаков*) 855
Указатель географических названий (*сост. Л. Б. Булгаков*) 864
Список сокращений 871
Список иллюстраций 873

Иван Александрович Гончаров

ФРЕГАТ „ПАЛЛАДА"

Утверждено к печати
Редколлегией серии „Литературные памятники"
Академии наук СССР

Редактор издательства *Е. А. Гольдич*
Художник *Л. А. Яценко*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Л. М. Бова, К. С. Фридлянд* и *Е. В. Шестакова*

ИБ № 8614

Сдано в набор 14.11.83. Подписано к печати 25.03.86. М-22634. Формат 70 × 90 $^1/_{16}$. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Фотонабор. Печать офсетная. Усл. печ. л. 65.35+ 0.07 вкл. Усл. кр.-отт. 66.30. Уч.-изд. л. 70.54. Тираж 50000 (1 завод 1–15000 экз.). Тип. зак. № 1158. Цена 8 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство „Наука". Ленинградское отделение. 199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Первой типографии издательства „Наука", 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12, с фотонабора Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения „Техническая книга" им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.